



И 396
141

Викторія
Лавловна.

(ИМЕНИНЫ).

А. Амфитеатровъ.

Издание Райской.

3-е издание.

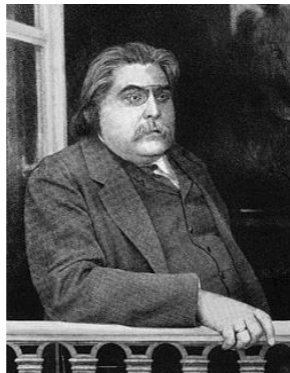


1907



Александр Валентинович
Амфитеатров

**Виктория Павловна. Дочь
Виктории Павловны.**
(Романы)



„А. В. Амфитеатров ярко талантлив, много на своем веку видел и между прочими достоинствами обладает

одним превосходным и редким, как белый ворон среди черных, достоинством — великолепным русским языком, богатым, сочным, своеобразным, но в то же время без выверток и щегольства... Это настоящий писатель, отмеченный при рождении поцелуем Аполлона в уста".

„Русское Слово" 20. XI. 1910. А. А. ИЗМАЙЛОВ.

«Он и романист, и публицист, и историк, и драматург, и лингвист, и этнограф, и историк искусства и литературы, нашей и мировой, — он энциклопедист-писатель, он русский писатель широкого размаха, большой писатель, неуёмный русский талант — характер, тратящийся порой без меры».

И.С.ШМЕЛЁВ

От составителя

Произведения "Виктория Павловна" и "Дочь Виктории Павловны" упоминаются во всех библиографиях и биографиях А.В.Амфитеатрова, но после 1917 г. ни разу не издавались ни в СССР, ни в пост-советской России (за исключением повести "Злые призраки", которая вошла в 8 том Собрания сочинений А.А., выпущенном в 2005 г. НПК "Интелвак"). В настоящее издание входит повесть "Виктория Павловна" и 2 повести из цикла "Дочь Виктории Павловны", которые распознаны со скан-копий оригинальных изданий, находящихся в свободной доступе в архивах Российской Государственной библиотеки (www.rsl.ru) и приведены в современную орфографию.

Текст повести "Виктория Павловна" приводится по изданию: 3-е изд., Издание Райской, Санкт-Петербург, 1907 г.

Роман "Дочь Виктории Павловны" изначально анонсировался как состоящий из 3 повестей — "Злые при-

зраки" (в настоящем сборнике текст приведен по изданию Кн-во Прометей Н.Н.Михайлова, Санкт-Петербург 1914 г.), "Законный грех" (издана в 1914–1915 году, в скан-копии не доступна) и "Товарищ Феня". На момент издания, повесть "Товарищ Феня" уже анонсировалась как роман, также состоящий из трех повестей — "Заря закатная" (Кн-во Прометей Н.Н.Михайлова, Петроград, 1915 г., входит в настоящий сборник), "Рубеж" и "Городок". Две последние повести не находятся в архивах Российской государственной библиотеки. Сведения об издании повести "Городок" есть на титульном листе романа "Сестры".

В повестях, входящих в цикл "Дочь Виктории Павловны", действуют и упоминаются некоторые персонажи из других произведений писателя, таких как цикл "Концы и начала" и романов "Паутина", "Отравленная совесть", "Разбитая армия", "Сумерки божков".

Содержание

Виктория Павловна (Именины) Из воспоминаний литератора Летние приключения в довольно странном обществе	0007
I.	0007
II.	0027
III.	0071
IV.	0091
V.	0115
VI.	0138
VII.	0178
VIII.	0213
IX.	0246
X.	0269
XI.	0289
XII.	0323
XIII.	0340
XIV.	0381
ПОСЛЕСЛОВИЕ	0395
Дочь Виктории Павловны. Роман в 3 повестях	0414
Часть 1. Злые призраки	0414
Часть 3. Товарищ Феня. Повесть первая — Звезда закатная	0972

**Александр Амфитеатров
Виктория Павловна. Дочь
Виктории Павловны**

Виктория Павловна (Именины) Из воспоминаний литератора Летние приключения в довольно странном обществе

I.

Садясь в вагон, я вдруг очутился лицом к лицу с Петром Петровичем.

— Ба-ба-ба! — завопил он, простирая объятия, — то русского духа слыхом не слышать, видом не видать, а ныне русский дух сам в руки пришел... Здравствуйте, голубчик! Присаживайтесь: попутчики будем. Ведь вы к Виктории Павловне?

— Да, к ней. На именины.

— Мы тоже. Я, да вот — Ванечка. Ванечка! встань, поклонись.

— Очень приятно. Сын ваш?

— Бог с вами! откуда у меня детям быть, у старого холостяка? Кабы и были, так прятал бы, а не то, чтобы с собою на показ развозить. Просто Иван Иванович Молочницын, служащий у меня по письменной части. Почерк от-

личнейший. Ванечкою же я зову его, во-первых, потому, что рылом он еще, белогубый, не вышел, чтобы его почтенный человек и Государю своему статский советник Иваном Ивановичем звал. Во-вторых, я сего тельца упитанного еще вот этакою козявкою — еле от земли — знал, даже собственноручно розгою дирал неоднократно...

Молодой человек, о котором шла речь, не конфузился бесцеремонных аттестаций своего патрона и широко улыбался мне толстым лицом, румяным и удивительно белобрысым. И волосы, стриженные до кожи нулевою машинкою, были белые, и ресницы белые, и на белорозовых ушах какой-то белесый пух рос. Усов и бороды Ванечка не носил, а, может быть, и не росли еще: на вид парню было лет двадцать, но у таких бессовестных блондинов — всегда задержанная растительность, которую они потом, годам к тридцати, наверстывают усиленною волосатостью. Парень был ни из красивых, ни из дурных — толстогубый, коротконосый, с жирными щеками, глаза веселые, изсераголубые, бойкие, но не очень умные — бабьи глаза; вообще, одеть его

в сарафан да кокошник, — вот те и кормилица.

— Что-с? каков троицкий поросенок? — спросил Петр Петрович, видя, что я рассматриваю его спутника. — А ну-ка Ванечка, покажи Александру Валентиновичу свой талант: представь троицкого поросенка.

— Да им не интересно-с, — пробормотал Ванечка. Но в ту же минуту — взглянул я на него и так и фыркнул на весь вагон: Бог знает, что он сделал со своим лицом! Глаза потускли и полузакрыты, губы вытянулись в целомудренный пятачок, даже уши как будто жалостно повисли, — так и вспомнился мне Охотный ряд в Москве, с белыми тушками поенных, молочных поросят, повешенных к потолку за хвост, с протестующими рыльцами долу и беспомощными лапками.

— Действительно, талант! — сказал я Петру Петровичу. Тот хохотал до слез.

— То ли он может!

— Жаль, места мало, — возразил Ванечка, — а то бы я вам показал, как пьяный приказчик мазурку танцует, — очень глупо выходит. Вот тоже хорошо, как кошка мышь пой-

мала, играет с нею, вдруг — хватать! мышь-то — р-рысь и ушла! Кошке — конфуз. Сидит, моется лапкою и делает вид, что ей все равно — так она с мышью-то, забавлялась только. А в самой-то в ней кипит, кипит, а глазом-то она на щель, куда мышь ушла, косит, косит, а мышь-то, шельма, на нее из норки: зига! зига!.. А то вот — чиновница ко всеобщей ушла, а чиновник, в халате, по комнатам ходит, дочка ихняя к предмету своему письмо с чувствами пишет, а сын гимназист из латинского к экзамену готовится... Горничная, Матрёшка, дура деревенская, — семнадцать лет, лицо чистое, особых примет не имеет, — пол моет. Чиновник походит-походит, да и к ней: Ну, что, Матреша? скучаешь по деревне? — Отстаньте, барин! я барыне скажу!.. — Ну, ну, глупая! вот и глупая! хорошенькая, а глупая... А гимназист слышит, и от ревности у него рожу в бок ведет, а из-за грамматики-то встать не смеет, а все исключения у него перед глазами- яко беси, яко беси, кувыркком, кувыркком...

И он сделал какой-то неуловимый, по столь выразительный жест рукою перед ли-

цом своим, что мне и впрямь показалось, будто между нами сыплются дождем всякие panis, piscis, crinis, finis, ut'ы, quin'ы и quominus'ы. Быстрота, с какою складывал он лицо свое то в сластолюбиво-геморроидальную мину отца семейства, то в испитого мрачного гимназиста на полу-возрасте, то в толстомясую деревенскую девку, с остолбенелым взглядом удивленной телки и обиженно распущенными губами, была прямо поразительна. Мы хохотали целую станцию, как сумасшедшие, — хорошо, что никого больше не было в вагоне.

Но теперь к нам подсели Михаил Августович Зверинцев и Павел Семенович Дунашевский, — местные помещики, а второй, вдобавок, и земский начальник. Они тоже ехали в Правослу, на именины землевладелицы, Виктории Павловны Бурмысловой, и были обременены преогромнейшими тюками и кулями, глядя на которые, мне стало совестно за торт и десятифунтовую коробку конфект, что покоились в моем собственном чемодане.

— Однако, господа, вы с запасцем! — воскликнул я.

— А как же иначе? — пробасил Михаил Августович, пятидесятилетний сивоусый и сивокудрый великан-ухитрившийся в своем прошлом оставить карьеры, казалось бы, совершенно несовместимые в одной жизни: в юности он был архиерейским дьяком, в зрелом возрасте оказался офицером чуть ли не турецкой армии, а на переломе четвертого десятка — статистом столичного балета. В последнем качестве, он прельстил своими богатырскими натурами богатую землевладелницу нашей губернии, даму дебелую, сырую, сентиментальную, злую, со склонностью к мелодраматическим сценам и из купчих. В наизаконнейшем браке с этою дивною особою и доживала свой век забубенная головушка весьма мирным провинциальным обывателем и совсем недурным отцом семейства.

— Как же иначе-то? Положение известное: радушие и кров — ихние, а угощение наше. Откуда ей взять, Виктории-то Павловне? Гола, как ласточка. Только и имеет недвижимого, что тетеньку свою, Анну Семеновну, которая в светелке десятый год без задних ног лежит, а движимого — усадебку родительскую,

что, — стоит хорошей буре ее потряхнуть, — так вся аредом и рассыплется. А ведь пить и поить ей придется человек мало-мало двадцать пять, а то, гляди, и все полсотни... Надо поддержать красавицу! Окромья того, что видите, еще в багажном вагоне две четверти телятины везу-с.

— Я вина ящик, сахарную голову, колбас малороссийских... — сказал земский начальник, странно картавя, как ребенок, на букву «р» и «л».

Петр Петрович вставил с своей стороны:

— А я тоже сахарную голову, чаю двадцать фунтов, сыру круг и окорок ветчины.

— Господа! — возопил я, — после всего, что вы сказали, мне остается лишь распроститься с вами на ближайшей станции: я еду, можно сказать, с пустыми руками, нищим, и не хочу явиться один в таком срамотном положении.

— Ну, вот еще! — сказал Михаил Августович, — вы у нас человек новый, приглашены впервые... откуда вам было знать? Она поймет.

— Поймет! — ободрил и Петр Петрович.

— Да, наконец, вы деньгами дайте, —

очень просто! — спокойно предложил земский начальник.

Я широко открыл на него глаза:

— То-есть — как же это?! Позвольте вас поздравить, очаровательная, с днем ангела и благоволите принять при сем четвертной билет? Христос с вами, Павел Семенович!

— Зачем же так? — хладнокровно возразил земский — это совсем иначе делается. Ведь и из нас никто не полезет лично к самой Виктории Павловне с телятиною и сахарными головами. Она про них в глаза знать не будет. Все мы ей поднесем, как приличие требует, — кто букет, кто конфет, кто торт, кто фруктов, а телятину, вино, головы и прочее примет Арина Федотовна.

— Это кто же такая?

— Ключница ее и управительница, — перебил Петр Петрович, — кстати сказать, вот этого соколика родная мать.

Он кивнул на Ванечку. Тот приятно улыбнулся.

— Да чего лучше? — рявкнул Михаил Августович, — вручите, что намерены, сколько там не жаль, Ванечке: он и передаст. Ванечка,

можешь передать? А то Александр Валентинович сами стесняются.

— Что же-с? — отвечал Ванечка, — я с удовольствием-с. Дело обыкновенное-с. Позвольте-с.

— Господа! в таком случае, вы уже научите меня и — сколько прилично дать... знаете, чтобы не попасть в чужой монастырь с своим уставом.

— А вы долго ли намереваетесь погостить у Виктории Павловны?

— Хотел завтра же назад.

Все расхохотались.

— Шутник! — забасил Михаил Августович, — что выдумал! Когда же это бывало, чтобы кто-либо от Виктории Павловны раньше трех ден уезжал? А то и неделю, и две, и даже по месяцу гостят... Ведь это, сударь, каникулы наши! Остров нимфы Калипсы, в некотором роде-с! Всякому лестно время-то провести беспечально...

Следующая станция была большая, с буфетом. Михаил Августович воскликнул было:

— Брандахлыстнемте-ка, господа!

И поднялся с места. Но, взглянув в окно ва-

гона, поспешно и смиренно сел на место и даже повернулся к станции спиной.

— Что с вами?

— Шелепиха с Келепихою по платформе треплются, — сквозь зубы пробормотал он. — Вот чёрт нанес!

Укрыться, однако, ему не удалось: у трепавшихся по платформе дам глаза оказались буравчиками, да едва-ли они и не сторожили знакомых, по нюху и предчувствию... Словом, трех минут не прошло, как они стояли уже под нашим окном и язвительно пели:

— Михаил Августович! Павел Семенович! Боже мой! какая неожиданная встреча! куда это вы собрались так вдруг — оба? Как? И Петр Петрович здесь? Ну, скажите, пожалуйста: словно сговорились! полон вагон знакомых.

Меня — им неизвестного — они осматривали искоса, точно укусить хотели:

— Не сей ли, мол, есть самый корень зла?

— Впрочем, что же я удивляюсь, — спохватилась Шелепиха, — совсем и забыла, что завтра 1-е июня... На именины едете?

— К Цирцею нашей уездной? — подхихик-

нула Келепиха, наслаждаясь смущением моих спутников, которые, надо им отдать справедливость, имели вид удивительно жалкий: словно пёсики под палкою.

— То-есть... гм... — проворчал Михаил Августович, — у меня, собственно, лесная рубка тут, по близости... приказчика обревизовать надо... но, конечно, того... гм... заеду к... — поперхнулся он — к Виктории Павловне...

— Еще бы! еще бы! — вторила Шелепиха, с язвительным сочувствием кивая головою. — Как мимо проехать, грех позабыть именинницу! А что же вы одни, Михаил Августович? Антонина Никаноровна, стало быть, дома осталась?

— Она... не совсем здорова, — пролепетал Михаил Августович, наливаясь кровью.

— Не совсем здорова, и вы все-таки ее покинули? Ах, какой вы, однако, легкомысленный муж! И она вас отпустила? Вот добрая! Я бы ни за что, ни за что...

— А может быть — приняла реплику Келепиха, — Антонина Никаноровна и не знают, куда вы стопы направили? Это бывает...

— Только не со мною, — принужденно

улыбнулся великан и вдруг, набравшись храбрости, ляпнул:

— А ваш супруг, Екатерина Семеновна, конечно, будет у Виктории Павловны? Если увидимся, — может быть, прикажете что-нибудь передать? или вашему, Пелагея Петровна?

Четыре буравчика блеснули, как молнии, и пронзили бедного Михаила Августовича на вылет.

— *Мой* муж, — с упором и расстановкою возразила Келепиха, краснея так, что, казалось, будто у нее не только тощее лицо ее, но и глаза, и волосы, и даже платье побагровели, — *мой* муж никогда не бывает там, где я почитаю бывать непристойным. Я не больна, как иные, и не так добра... меня не так-то легко обмануть, как *другие* наглые мужья проводят своих доверчивых жен. До свидания, Михаил Августович, желаю *вам* веселиться, а *бедной* Антонине Никаноровне здоровья...

Поезд тронулся.

— Ух, чёртовы бабы! даже в пот ударило! — воскликнул Михаил Августович, опускаясь на свое место, — чего-чего я на веку своем не перетерпел, а пред ехидною бабою до

сих пор теряюсь, слов не-хватает... Ну, господа! откровенно скажу: пропала теперь моя головушка! Уж и взвощка же мне будет, по возвращении!

— Все свое получим, — утрюмо возразил земский. — Меня ругать не будут, так зато в слезах потопят. Сырость-то эта еще с прошлого года в доме не высохла! Уж на что Петр Петрович — холостой человек, а и он, небось, от своей Аннушки тайком удрал, и, когда вернется домой, она ему бакенбарды-то пощиплет, пощиплет...

— Ничего невозможного нет, — философически согласился Петр Петрович и, дав подзатыльник ухмыльнувшемуся Ванечке, добавил:

— А ты, оселок, над старшими, да еще над начальством, смеяться не моги!

— А ведь это странно, господа, — заговорил Михаил Августович, — что Келепова не будет. Я его вчера в городе встретил. Клялся, что будет, — нарочно, говорит, и в город затем приехал, что отсюда ловче напрямиком в Правослухватить... А Келепиха так уверенно говорит, точно он у нее в кармане спрятан!

Ванечка опять захихикал.

— Да они здесь! — сказал он, скромно прикрывая рот ладонью.

— Как здесь? где? быть не может! — вскинулись мои спутники.

— Здесь, в поезде-с. И господин Шелепов, и господин Келепов. Как же-с! Я их видел на вокзале: они большой багаж сдавали и потом с кондуктором что-то говорили!..

— Ах, дьяволы! да где же они?!

И, выждав, когда кондуктор проходил через вагон, Зверинцев остановил его:

— Послушайте, любезнейший: у вас нет тут в поезде двух таких господ, которые спрятавшись?

— Были-с... — усмехнулся тот. — Теперь — вылезши. А то — так у централизовались... всему вагону было стеснение-с.

Пассажиры дружно загоготали. Поощренный кондуктор развязно продолжал:

— Ей Богу-с. Даже ропот был-с. Один офицер на предыдущем полустанке жалобу писать хотел. Я, кричит, так не могу. Что за монополия? Я тоже пассажир! А ежели они больны, посадите их в санитарный вагон.

Признаюсь откровенно, я начинал теряться — куда же, собственно, я еду? по-видимому, не в хорошее место: чтобы попасть туда, люди плутуют, скрываются от жен, прячутся в учреждения неудобоназываемые, знакомства с Викторией Павловной мужчины конфузятся, знакомством с Викторией Павловной дамы язвят... Наконец, что это за дом такой, куда можно отправлять, точно на собственную кухню, возами съестные припасы и даже посылать деньги?.. Я познакомился с Викторией Павловной всего две недели назад, быв представлен ей кем-то, по ее желанию, в городском театре, на гастрольном спектакле столичной знаменитости. Она произвела на меня очень симпатичное впечатление — и красивое, и умное, и сердечное. Видно, конечно, что кокетка страшная, занята собою сверх головы, не прочь разыграть из себя российскую Кармен, но при этом — ничего пошлого, вульгарного, естественна, проста. Не синий чулок, но кое-что читала — больше и серьезнее, чем полагается русской обольстительной девице, — ибо она была девица, и при том уже не самой свежей юности: она говорила, что ей

двадцать пять, п-ские дамы клялись, что ей за тридцать, — метрическое свидетельство, вероятно, показывало двадцать семь. Виктория Павловна — и тогда в театре, и потом, при визите моем к ней, в гостинице и дальнейших встречах, — держала себя, правда, не *gracie*'кою, но в то же время особою безукоризненно порядочною и приличною. Принимая с искренним удовольствием ее приглашение посетить ее в деревне, я уже никак не подозревал в ней госпожи, имя которой заставляет провинциальную добродетель презрительно крутить носами, к которой мужья ездят за каким-то запретным плодам, таючись от жен, и с дарами словно к кокотке. Правда, когда я, накануне отъезда, сказал приятелю моему, вице-губернатору, с которым мы с университета на ты, что собираюсь к Бурмысловой, он комически развел руками и воскликнул:

— Как ты громко об этом говоришь!

— А что?

— Да ничего... Во всяком случае, — *bonne chance en tout!* Она премиленькая. И с коготком.

— Ты бывал у нее?

— Представь себе: нет. Был представлен, любезничал с нею целый вечер. Правда, я дамский кавалер не из забавных, но тут старался, знаешь, не ударить в грязь лицом... сказал даже несколько mots, право же, не совсем глупых... Она мне очень понравилась. Навожу стороною справки, какое я на нее произвел впечатление? Отвечает — Двужкожное. — Что-о-о? — У него, говорит, эпидермы нет. — Ка-а-к? — Да так, что, если с него кожу снять, то под нею еще, наверное, найдется вицмундир с казенными пуговицами... — А наружностью как он вам показался? Ну, cher Alexandre, ты знаешь: я не из самомнящих, понимаю, что я далеко не bel homme, но она... того уже... превзошла... — Не видала, отвечает, каковы бывают комариные мощи, но думаю, что вице-губернатор наш — в этом жанре... Какова негодница? а?

Я посмотрел на впалые глаза моего друга, желтые торчковатые, едва обтянутые кожей, скулы и уныло повисшие к низу бледнорыжие усы тонкою, длинною-предлинною хворостиною, — и невольно засмеялся:

— Знаешь ли, Константин Федорович, а ведь девица-то не лишена наблюдательности!

— Ты находишь? *je ne dis pas non!* — но зачем же вслух это говорить? Так наше знакомство и не устроилось. Впрочем, бывать у нее мне и по официальному положению было бы неудобно... она там у себя в деревне, говорят, оргии какие-то устраивает... Впрочем, вероятно, сплетни — потому что на нее все здешние дамы ужасно злы, а мужчины влюблены поголовно... Ну, и клеветают!

— Однако, дыму без огня не бывает.

— Гм... конечно, по всей вероятности, есть какой-нибудь огонь, но — представь себе: наша милая провинция знает все про всех, а уж в особенности — кто в кого влюблен, кто с кем живет, кто кому изменил. На что уж я, человек занятой и не охотник до сплетен, а и то могу тебе по пальцам перечислить наших губернских львиц и их адораторов... При предводительше — барон Маустурм фон-дер-Раттенбург, при Головихе — *monsieur* Козиков и *monsieur* Клопиков, при Нимфодоре Яковлевне... гм... гм... не все же женщины, *mon cher,*

находят меня похожим не комариные мощи. Но о Бурмысловой — никто ничего не знает! Rien mais r-r-rien! Флёрт со всеми, серьезно — ни с кем. Вот наши матроны и бесятся. Сперва, по новой моде, в Сафо ее произвели-было! Вышло невероятно: она в дамском обществе никогда не бывает, уклоняется от дамских знакомств. Тогда, кричат, знаем, в чем дело: если она — ни с кем, то, значит, со всеми! И пошло: Калипсо! Цирцея! Мессалина! Я же думаю, что она просто *demi-vierge* и немножко психопатка...

Хотелось мне порасспросить моих спутников о Виктории Павловне подробно, но — ложный стыд помешал: вот-де человек гостить едет, а — к кому и зачем, не знает! Ограничился тем, что осведомился у Михаила Августовича:

— Скажите, голубчик: неужели ваши дамы у Виктории Павловны так-таки никогда и не бывают?

Он посмотрел на меня даже как бы с ожесточением некоторым и рывкнул:

— Нет-с, слава Богу, не бывают-с. И оттого-то, сударь мой, и тянет туда нашего брата,

как магнитом, что чего-чего другого, а уж этого сокровища, которое называется дамою нашею, там — дудки! не увидишь! Отдых полный, реставрация души-с... А вам, ангел вымой, так скажу: не навещай я Викторию Павловну на год три-четыре раза, давно бы мною черти в болоте в свайку играли, — да-с! Для молодости езжу-с, для молодых чувств...

— Живительная особа! — одобрительно сказал Петр Петрович.

А земский начальник, который был человек литературный, продекламировал себе в нос и с большим пафосом:

— При ней все женщины ревнивы, и все мужчины неверны.

Распространяться дальше им помешал свисток поезда: мы подходили к Правосле...

II.

От станции Правослы до усадьбы Виктории Павловны оказалось верст десять, прелестным проселком чрез молодое зеленое царство чистеньких березок, коренастого дубняка и бледной осины. Правда, на рытвинах подкидывало одноколку так, что колена подскакивали к подбородку, а зубы стучались челюсть о челюсть, но зато лес дышал благоуханною свежестью, птицы кричали тысячеголовым хором, а солнечные лучи, сквозь юную, будто лакированную листву, припекали горячими пятнами, и чрез них словно в тело новая жизнь сочилась. Поезд наш имел вид не столь величественный, сколь пространный: впереди катили в каком-то подобии тарантаса земский с Михаилом Августовичем, за ними трясся на крестьянской тележке-укладке Петр Петрович с Ванечкою, потом я в одноколке, и, наконец, в заключении кортежа, двигалась крохотная, мохнатенькая, пузатенькая лошаденка, необычайно похожая на беременную мышь. Это миленькое, но безоб-

разное создание, с приткостью, достойною всякой похвалы, волокно подводу с багажом моих спутников — «не возик и не воз, возище-то валил!» При миниатюрности везущего и громадности везомого, издали можно было подумать, что подвода движется автомобильным способом. Рядом с нею шагал невероятно долговязый и невероятно мрачный мужик — в поскони и босиком. У него были с лошаденкою личности. Она косилась на него с презрением, он смотрел на нее с ненавистью и говорил:

— Ползи-ползи! Эх ты, брюхоног!..

Виктория Павловна выбежала к нам навстречу за ворота усадьбы, радостная, резвая, возбужденная, вся сверкающая какая-то: и глаза угольками горят, и зубы слоновою костью блестят, и смуглый румянец лица жаром пышет...

— Стой! Стой! Стой! — кричала она еще издали, — слезайте с ваших одров, господа! Потому что неприлично, чтобы вы были конные, когда я пешая.

— Голубушка! Виктория Павловна! Да вы к нам! Удостойте! — взревел Михаил Августо-

вич, порываясь к ней из тарантаса, — именно порываясь, ибо, по-видимому, он и сам не заметил, как и когда две ноги его очутились за бортом повозки и теперь пренелепо болтали в воздухе огромными сапогами, нащупывая подножку, либо ступицу колеса.

— Экое чучело! Вот чучело! — хохотала Виктория Павловна. — Здравствуйте, Петр Петрович!.. Павлу Семеновичу, господину начальству, поклон и привет... Александр Валентинович! Вот это мило с вашей стороны, что не надули...

Мне и земскому она подала руку, Петра Петровича допустила «приложиться», на почтительный поклон Ванечки ласково кивнула головою, как слуге — не слуге, но и не равне, а с Михаилом Августовичем расцеловалась на обе щеки.

— Ибо ты дед! — нравоучительно заключила она, покончив приветственную церемонию. — Я это для вас, Александр Валентинович, говорю, чтобы вы не подумали обо мне по первому впечатлению дурно: что за оглашенная такая? С чужими мужиками целуется? Слушай! Федор! — закричала она мужику,

который вез земского с Михаилом Августовичем. — Что это у тебя за новости? С колокольчиком стал ездить? Откуда колокольчик взял?

— Да это не мой... их благородия! — отозвался возница, ткнув перстом в сторону земского начальника.

— Ваш?

Виктория Павловна всплеснула руками и залилась хохотом. Земский покраснел, начал-было:

— Что ты врешь, дур...

Но вдруг рассвирепел и окрысился:

— Ну, да, мой колокольчик, мой! Не понимаю, что тут смешного? Это моя привилегия, это мое право, это моя обязанность, наконец...

— Обязанность? Звонить-то? Да разве вы пономарь?

— Не пономарь, а... округ должен быть оповещен о моем проезде.

— Вот что! Понимаю! Понимаю! — продолжала хохотать Бурмыслова, — только... ох... как же вы, дорогой Павел Семенович, в вагоне-то... тоже с колокольчиком ехали, или он у вас в кармане был спрятан?

— Никак нет, их высокородие из коробка мне вынули, — подал голос возница.

Все засмеялись.

— Тебя не спрашивают, осел! — рыкнул земский, а Виктория Павловна безжалостно его доезжала:

— Господа! признавайтесь: звонил он в вагоне или не звонил?.. А, быть может, колокольчик у машиниста на шее висел? Чтобы все окрестности знали: с сим поездом изволит следовать его высокородие, господин земский начальник, единственный в округе, имеющий право разъезжать с колокольчиком... Федор! отвяжи колокольчик! Дай сюда!

Земский дрыгнул всем телом, как испуганный заяц, и взмолился:

— Виктория Павловна! На что вам?

— Как на что? Вы будете величественно шествовать к дому, а я пойду впереди вас и буду звонить...

— Виктория Павловна! Ну, зачем? Ну, бросьте!

— Ни-ни-ни! Вы сказали: ваша обязанность. Обязанности службы святы. Обязанности должны быть исполнены.

— Виктория Павловна!

— Ни-ни-ни! Округ должен быть постоянно оповещен о пребывании в нем благодетельного начальства.

И она шла, хохотала и звонила, а земский сконфуженно плелся сзади, и было в сокрушенной фигуре его нечто такое, что мне невольно пришло в голову:

— Вряд ли ты, милый друг, когда-нибудь еще колокольчик к дуге подвяжешь, да и вообще начальственного форсу теперь посбавишь.

И вдруг показалось мне, что я понимаю чудаковатую девушку, комически-крупно шагавшую пред нами, комически-широко размахивая оглушительным колокольчиком, и понимаю, почему ее так любят и так к ней стремятся «за молодыми чувствами».

Дом у Бурмысловой оказался огромный, старый, барский, с колоннами, с угловыми башнями, но, действительно, до того дряхлый, что в нем было двинуться жутко: каждая половица пела, потолки, когда-то лепные, поблупились, и кое-где зияли черные дыры до балок. Мебели почти никакой.

— В третьем году судебный пристав описал, — откровенно объяснила Виктория Павловна. — По иску Келеповой, Екатерины Семеновны. Плакал пристав-то, как описывал: лучше, говорит, было бы мне руку себе отрубить, чем такое огорчение вам доставить. А я ему: Ну, вот еще! На что мне ваша рука? Кабы ее на вес золота можно было продать, а то так только, мертвое мясо в погребке будет лежать... у меня, как на грех, и ледник-то ненаколочен. Месяцев шесть он меня избавлял, — ну, а больше не мог... больно уж надела Келепиха... ревнюча, бисова баба! Ну-с, господа, будьте как дома. Комнаты выбирайте любые. Этого добра — сколько угодно. Кроватей нет, а сенники вам будут положены по востребованию. Кто мыться желает, может пройти на черное крыльцо: там два рукомоЙника болтаются. Полотенца у вас, как у порядочных людей, должны быть свои. Вам, Александр Валентинович, как знакомцу новому и столичному гостю, предлагаю для туалета свои собственные аппартаменты... у меня умывальник — английский с педалью, с душем: князь Белосвинский прислал... дурак! Рублей три-

ста заплатил, лучше бы он мне половину деньгами подарил: нам с тетенькой, да Ариною Федотовною в ту зиму есть было нечего, на сквозном чаю да ржаных лепешках сидели...

Пока я приводил себя в порядок в ее комнате— бедной, как и все, но сохранившей печать женственной уютности — чистенькой, с большим темным образом без ризы, с огромною деревянною кроватью и висячею над нею полочкою книг, — я все время слышал, как по дому и саду, — в который выходили окна, так что ветви берез ломились в стекла, — неумолкаемо звенел голос молодой хозяйки, ласковый, теплый и впрямь какой-то «живительный»... Посмотрю, думаю, что за книги она читает? Библиотечки, особенно, маленькие, часто — целые характеристики. Гляжу: Вундта «Душа человека и животных»... ага! «Новейшие анекдоты о Балакиреве»... нельзя сказать, чтобы совместимо!.. Полный курс двойной итальянской бухгалтерии... Вопросы-ительного знака «О женщинах»... Сочинения Лермонтова... «Училище благочестия»... «Bel Ami»... «"Как живут наши мертвые» монаха

Митрофана... Писарев... либретто оперы «Кармен»... Ну нет! — это не характеристика, это — каша.

На комодe и над комодом — фотографические портреты. Стоят и висят в рамках, пыльной грудой лежат в старой, корельской березы, шкатулке без крышки, с жалобно оскаленными вверх медными зубьями давно оторванного замка: торчат кипую из ветхого кожаного альбома без застежек, разинутого и распухшего, точно кит, собирающийся изрыгнуть из себя нескольких Ион. И тут тоже — «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состоянья». Знаменитый профессор, критик-эстет и зверовидный чэмпιον Геркулес из цирка, с напряженным скотским лицом и чудовищно надутыми мускулами на сложенных наполеоновски, голых руках. На первом портрете автограф: «Прелестной оппонентке на память о наших спорах в Алушке»; на втором: «Викторее Паловне от незабвенна Карла Тура». Архимандрит со строгим, аскетическим профилем, генерал в густых эполетах, гимназистка, желающая «всего, всего для вас хорошего от любящей ученицы»; известный актер jeune

premier с умным и наглым цыганским лицом и, в свободном поле фотографии, с меланхолическою фразою из «Гамлета»: «Будь чиста, как лед, бела, как снег, — ты все-таки не уйдешь от клеветы»; студент-медик, студент-техник, еще студент, еще, еще, еще; черноглазый красавец-моряк, Михайло Августович Зверинцев; безвестная танцовщица с незначительным, длинным лицом, овечьими глазками и тощими ногами; дама в седых стриженных кудрях и с значком женщины-врача на суконной кофточке; бородатый священник с веселыми глазами и грушевидным носом; Петр Петрович, гимназист, опять любящая ученица, надувшая губки бантиком; широкоплечий гигант в чуйке — не то лабазник, не то артельщик, с испугом пред фотографическим аппаратом на широкоскулом энергическом лице; велосипедист, кормилица с толстым ребенком; ряд бритых, актерских физиономий, должно быть, глухо провинциальных, потому что совершенно незнакомых; несколько барынь и барышень театрального пошиба, в эффектных поворотах, — что называется, фотографии для антрепрене-

ров; труппа служащих крупной книгопродавческой фирмы и, в числе их, личико самой Виктории Павловны; пожилая монахиня с кротким взглядом из под шапочки, низко надвинутой на лоб; красивая тельная купчиха из старозаветных, в наколке и шали до пола; католический ксендз-поляк с умным, длинноносым лицом, похожий на старого хитрого дятла; изящная петербургская нянюшка с двумя унылыми, анемичными детьми, девочка в мордовском костюме, мальчик в матроске, и коленки у обоих вопиют о прикрытии; всем известный кабардинец, проводник на Бештау; петербургский сановник высшего полета, о котором говорят, как о непременном кандидате на каждый открывающийся министерский пост; негр-клоун, много смешивший лет пять тому назад садовую публику Петербурга; две молодые горничные, под ручку, некрасивые, жеманные, в пышно накрахмаленных передниках; известный лев беллетрист с слабыми признаками растительности над высоким челом, но с бакенбардами, великолепнейшими в мире; опять священник — вдохновенное византийское лицо, вроде

Владимира Соловьева, огромные мистические глаза впали в глубокие ямины; тощий юноша в «толстовской» блузе; усатый круглоголовый, низко стриженный господин наглого, старо-интендантского или ташкентского типа, в погонах, — жирное, чувственное монгольское лицо, с крошечными пьяными глазами... портрет остановил мое внимание тем, что надпись на его обороте была тщательно выскоблена ножом; группа студентов с рядом фамилий под посвящением «чудному человеку, дорогому товарищу»; Мазини, Комиссаржевская; курчавая еврейка, дерзко и умно улыбающаяся живым интеллигентным лицом; укротитель зверей в клетке с тиграми; старик с Владимирским крестом на шее — бывший местный губернатор... Почти на всех фотографиях — надписи, свидетельствующие о самых дружеских отношениях Бурмысловой с оригиналами портретов.

— Пестрое знакомство у Виктории Павловны, — подумал я.

Над кроватью висел, без рамы, натянутый на подрамник, портрет-набросок Виктории Павловны масляными красками; смелая, соч-

ная кисть показалась мне знакомою, — в нижнем уголке картины я прочел характерную монограмму знаменитого русского художника-импрессиониста и пометку: «В. П. Б. н. п.л. 189. в. П. Р.», что я перевел: «Виктории Павловне Бурмысловой на память лета 189. в Правосле». Другой портрет той же кисти и тоже неоконченный помещался над умывальником. Он изображал пожилую, но моложавую женщину в темном полушалке цветочками, причесанную под ним помещански надвое, гладко и масляно, с белым пробором по середине. Толстое, свежее лицо женщины было красиво чертами, но неприятно выражением острых серых глаз и притворно улыбающегося недоброго рта. Лицо это я как будто уже видал где-то. Однако, вглядываясь, я сообразил, что видел не эту женщину, а необычайно схожего с нею чертами Ванечку, веселого писца моего приятеля Петра Петровича, и догадался, что это его мать, та ключница-домоправительница, о которой меня предупреждали дорогою. Еще портрет — тоже очень большой, но фотографический — стоял на полу, прислоненный к стене по инвалидности.

Подставка рамы была сломана, и разбитое стекло треснуло вокруг проломленного места звездою, точно в него швырнули издали чем-нибудь тяжелым. Дама на портрете показалась мне молодою и эффектною издали и оказалась весьма противною и уже лет под сорок вблизи. По-звериному округленные, выпуклые глаза глядели дерзко и бесстыдно; низкий лоб под курчавыми завитками, вздернутый нос с широкими ноздрями и вывороченные негритянские губы придавали этому широкому лицу выражение бесшабашное и, если бы оно не улыбалось, я сказал бы — свирепое; огромное тело было обтянуто какого-то особенно узкою амазонкою, явно рассчитанною удивлять публику преувеличенно развитыми формами дамы. Все в этой особе было аляповато и нагло: нагл жест, которым она, рукою с хлыстом, подхватила хвост амазонки; нагл шаг, которым она ступила на крыльцо, открывая изящно обутую, красивую ногу и рисуясь округлостью колена. В общем она была, пожалуй, декоративна, в деталях отвратительна. Попадись мне на глаза такой портрет в комнате мужчины, я не колебался бы опре-

делить, что оригинал его — проститутка или певица-солистка из низкопробного кафе-шантана. Между «нашими интересными подсудимыми», убивающими своих любовников ради рекламы и газетного шума, тоже попадаются подобные госпожи. Но здесь эти предположения, конечно, оказывались не у места, — тем более, что антипатичный портрет выставлялся на показ с такою невинною откровенностью. Вверху фотографии, на свободном поле серого платинового фона, красовалась надпись размашистым, почти мужским почерком: «Премудрой Витьке от сумасшедшей Женьки. Ялта», год и число. Вот какая интимность, даже до амикошонства, что называется. Стало быть, приятельницы, подружки.

— Пестрое знакомство у Виктории Павловны!

— Чаю вам не будет, — встретила меня хозяйка, когда я вышел, — потому что сейчас станем обедать. Уже стол накрыт, и вся моя команда в сборе. Пойдемте. Надо вас перезнакомить. Мы обедаем сегодня в саду... Это, — кивнула она на стол с красною скатертью и несколькими фантастически-разнокалибер-

ными приборами, поставленный на садовой террасе, — специально для самоубийц. Надеюсь, вы не из их числа?

И она показала пальцем на более чем сомнительные балки косого навеса над балконом.

— Да старенек ваш палаццо, — согласился я.

— Ужас что такое. Решето какое-то. Летом оно, конечно, — споллагоря, а вот зимою... брр... Этакие сараи, а жить негде: холод — все равно, как на дворе. Только одна моя комната — вот, где вы мылись, — еще и обитаема с грехом пополам, а в остальные выйти — приходится шубку надевать.

— Ого!

— А у меня, если топить — не жалеть, все-таки можно нагнать градусов до двенадцати даже в лютый мороз. Вот в прошлую зиму плохо было, когда хватили крещенские. Дров сожгли уйму, — благо даровые, а тепла — ничуть. Так мы до оттепелей все в одной комнате и ютились, втроем, — я, Арина Федотовна, да Анисья стряпка. Сумерки ранние, окна на палец льдом заросли, свечи на исходе, —

жаль их жечь, денег стоят... Часов в восемь вечера похлебаем щей, да и спать. Так, втроем, в повалку, под тулупами и спали: вы видели, — кровать-то у меня дедовская, исполин. Анисья моя богатырь-баба, печь ходячая. Ари-ну Федотовну тоже Бог телом не обидел. Ну, между ними морозу ко мне и не добратся. А, проснемся по-утру, — ан, в комнате вода застыла. Шесть недель так прожили.

— Нельзя сказать, чтобы весело и приятно.

— Да, скверно. Особенно ночи эти... Длинные, угрюмые... Темно. Волки за садом гудут, ветер гудет. Анисья храпит, Арина храпит, а я часам к двенадцати ночи уже выпалась, — и сна у меня, что называется, ни в одном глазу, а в уме, как у сказочной лисицы, когда она сидела на дне колодца, тысячи-тысячи думушек... Из соседей, точно на зло, хоть бы кто-нибудь заглянул за все это время. А, впрочем, пожалуй, и слава Богу: где бы я стала их принимать? Нельзя же гостей, как волков морозить. Когда пали оттепели, приезжает Позаренко. Вы его знаете?

— Нет, незнаком.

— Податной инспектор. Милый малый, —

только фронт такой, сохрани Боже; всегда tiré à quatre épingles, корректен до тошноты. Ну, рада ему, угощаю, чем случилось, беседуем, смеемся, оба в духе, словно только-что из карантина выпущены. Но вдруг среди разговора, он мне — со всею, свойственною ему, почитательностью. — Извините меня, Виктория Павловна, но, по праву наших дружеских отношений, я позволю себе заметить вам, что вы уже в третий раз говорите вместо «хотя» — «хучь», два раза утерли губы рукою и, когда смеетесь, то как-то странно сипите при этом горлом, — точь-в-точь ваша почтеннейшая Арина Федотовна... И вообще, ужасно у вас в доме стало деревенскою бабою пахнуть... Вот, стало быть, до чего одичала.

Она засмеялась, качая головою.

— Вот моя столовая. Не взыщите: чем богата, тем и рада.

Мы очутились на зеленой лужайке, на которой, под двумя большими сиреневыми кустами, перемешавшими свои ветви, благоухающие белыми и фиолетовыми цветочными шапками, была постлана прямо на траву ска-терть, чистая, но драная, как рубище Иова, а

на ней сверкали бутылки, жестянки консервов, вилки, ножи... Человек пятнадцать мужчин, весьма пестрых возрастами и одеяниями, возлежали в разных позициях вокруг сиреней, питаясь и выпивая. Шум стоял изрядный...

— Садитесь, Александр Валентинович! — сказала Бурмыслова, опускаясь на землю. — Или, вернее, ложитесь. Вы все о Риме пишете, — так вам такие позы не должны быть удивительны. Словом, помещайтесь и насыщайтесь. Советую заняться закусками. Они и вино у меня всегда хороши. Я, сказать вам откровенно, не знаю, откуда у меня берутся закуски и вино, но сильно подозреваю, что их привозят из города те, кто любят закуски и вино и не обожают моего обеда. Это доказывает их изящный вкус и ручается нам за достоинство закусок. Потому что обед у меня, предупреждаю, действительно, всегда самый непреотвратительнейший, и прикоснуться к супу моей кухни даже меня, привычную, может заставить лишь полное разочарование в прелести ржаных лепешек и сквозного чая. Потому-что варит обед стряпка Анисья, кото-

рая рубцы считает деликатесом, а сладену в бараньем сале — первым из пирожных на земном шаре... Вот — Сеничка Ахметов, студюзуз этот, что по левую руку от вас, — Сеничка! вы протяните лапку новому гостю: он не кусается, — Сеничка знает, что это за прелесть. Так как он, изволите видеть, по младости лет своих, не может равнодушно видеть женщин весом от восьми пудов и выше, а Анисья, в благодарность за его поклонение, питает его сладенами...

— Уж вы отрекомендуете! — засмеялся студент — красивый, кудрявый парень с добрым голубым светом в глазах.

И-в таком балагурном тоне — она познакомила меня со всею своею свитою. В том числе и с господами Келеповым и Шелеповым, которые порядком запоздали против нас, не найдя на станции свободных лошадей.

— Это — друг мужа описавшей меня кредиторши, — представила она Шелепова, зеленоватого блондина, с унылым и как бы голодным выражением лица, похожего на судачье рыльце. — А это — сам муж описавшей меня кредиторши.

Келепов, наоборот, смотрел Пугачёвым: черномазый, волосы ежом, косматобородый, рачьи глаза на выкат.

— Келепов, Сергей Степанов, — густо и сочно отчеканил он, — землевладелец здешний...

Виктория Павловна подхватила:

— По прозванию — «бесплодные усилия любви». А этот, — перевела она глаза на Шелепова, — «Покушение с негодными средствами».

Зеленый человек вдруг сделался малиновым и взвился, как боа на хвосте:

— Виктория Павловна! — доколе же вы эту пошлостью меня попрекать будете?

— А дотоле, друг мой, пока сердце мое на вас не откипит.

— Четвертый уж год! Пора бы и забыть.

— Ишь какой забывчивый.

— И еще при постороннем лице!

— При каком это постороннем? У меня посторонних не бывает. Если я позвала к себе, то, значит, свой, а не посторонний... Этот голубчик, — обратилась она ко мне, — кругом посмеивались, очевидно уже знакомые с тем, что она собиралась рассказать, — этот голуб-

чик в спальню ко мне ночью изволил за-
браться. Как же! Лежу в постели, читаю, —
вдруг шорох... глядь: объявилось сокровище...
о костюме умолчу, а лицо... нет ли здесь ва-
шего Ванечки, Петр Петрович? нету? Жаль,
мне такой гримасы не состроить... Истин-
но-слаждкострастный павиан, который чрезвы-
чайно много мыслит и оттого век не долгий
имеет...

— Эх, Виктория Павловна!

— Ну-с, посмотрела я на него. Вижу: нехо-
рошо. — Вот, говорю, как вы кстати, Шеле-
пушка. Я с вечера шею мыла, а ведро с гряз-
ною водою дура-Анисья не вынесла, забыла.
Унесите, пожалуйста. Он так и обалдел.

— И?... — невольно повернулся я к Шеле-
пову. Глядя в землю и разводя руками, он про-
бормотал:

— Вынес-с.

Я не выдержал и захохотал вслед за други-
ми. Очень уж живо вообразилась мне его ми-
зерная фигурка, глупо ковыляющая с ведром
в руках, с яростью, изумлением и гипнотиче-
скою покорностью спокойному дружескому
приказу — на лице. А тут еще припомнились

его утрешние прятки в поезде. Впрочем, он й сам смеялся.

— А поутру, — продолжала Виктория Павловна, — к чаю вышел, — бух мне в ноги и плакать... Простите! как я посмел? да болван я, да подлец я, да убить меня надо, да неужели вы меня выгоните, да я пропащий буду человек, да я больше о глупостях и думать не посмею, да я раб ваш на всю жизнь, накажите меня, как хотите, испытывайте, как знаете... Вот с тех пор он и слывет у нас, как «Покушение с негодными средствами».

Она рассказывала спокойно, с ясным прямым взглядом, улыбаясь.

— Это дитяtko, — указала она на Келепова бутербродом с ветчиною, который держала в руке, — это дитяtko куда ловче штучку устроило. Даром, что кабаном смотрит, а лисичка преизрядная.

— Под-ряд что ли шельмовать друзей собрались, Виктория Павловна? — возопил Келепов.

— Ничего, потерпите: умыться лишний раз никогда не мешает. Задолжала я супруге его дражайшей, свет Екатерине Семеновне,

тысячу рублей, — то есть не я, собственно, за-должала, а мамаша моя, да я, вместе с дивным палаццо этим, долг на себя приняла. Хорошо.

Проходит год, другой, третий, — Екатерина Семеновна долга с меня не спрашивает и умно делает: видит ведь, что с меня взятки гладки. А этот бывает у меня... часто... ну, ухаживает, конечно, — кто же из вас, distinguished синьоры, по первому началу за мною не ухаживал? Я с ним — как со всеми, по-товарищески, думаю, что путный... Он же, вдруг, и возмечтай. Прилетает ко мне папильоном — и хватать декларацию: я вас люблю, вы меня любите, увенчайте мой пламень.

— Подите, проспитеесь! — А? так-то? Хорошо же!.. Скачет к своей супруге: Скажи, пожалуйста, Катенька, почему ты не взыскиваешь денег с мерзавки Бурмысловой...

— Я так не говорил, — перебил Келепов. Виктория Павловна прищурилась на него:

— Ой-ли? не хуже ли сказал? Я так слышала, что вы меня прямо публичною женщиною назвали, да по-хамски, всеми буквами... Смотрите, Келепушка! Лицемерие-то в сторону!

Катенька отвечает: оттого, Сереженька, что и весь-то этот долг сомнительный. Давным-давно случилось, что старуха Бурмыслова у меня триста рублей заняла и вексель дала, и еще серьги бриллиантовые в залог мне оставила, на эти триста рублей она переплатила мне процентов рублей пятьсот, да и серьги так у меня в закладе и пропали, а одни они тысячу стоят; переписывали мы, переписывали вексель, и вырос он в тысячу рублей. Кабы, — говорит, — старуха была жива, то, конечно бы, я на ней промышляла, но дочь-то, сказывают, совсем нищая осталась... совестно... свое я давно с излишком получила, а она чем виновата?.. Словом, даже ростовщичье сердце расчувствовалось. Что же наш милейший Сергей Степанович? Великолепен и великодушен. Ты, кричит, дура! Какое право ты имеешь расточать свою собственность? У нас дети! Не допущу, не потерплю. Это грабеж собственного дома, подрыв семейного очага. Такой, право, отец семейства вдруг оказался. И в три дня выхлопотал на меня исполнительный лист. Прилетел гроза грозою. Entweder— oder!.. Я отвечаю: Энтведер, поди вон!.. — Разорю! —

Разорь. — Всю до нитки продам. — Продавай. — Что вы ломаетесь-то, — кричит, добродетель какая! Разве я не знаю, что вы и со Зверинцевым, и с земским, и с князьком... Знаете, так и ваше счастье, а вот с вами не будет... Раз пять он меня стращать приезжал... Только однажды является, — лица на нем нет. — Если можете простить, простите меня, подлеца. Так ведь, Сереженька, подлеца?

— Подлеца, — с твердостью отозвался Келепов.

— Я вас, — кажется, — чёрт знает за кого принимал, люди ложь — и я то-ж... Только теперь мне Зверинцев и земский глаза открыли... Ну, словом, умный ангел ему в ночи с розгою явился. Совсем паинька. Лист исполнительный, дурацкий этот, у меня перед глазами изорвал.

— Описать-то вас, все-таки, описали! — ухмыльнулся Петр Петрович.

— Только не я-с! — огрызнулся Келепов.

— Это не он, — заступилась и Бурмыслова. — Это уж супруга его проведала откуда-то стороною, как он со мною амурничал, — и приревновала.

— Помимо меня новое взыскание провела, — горячо перебил Келепов — я сколько молил... неукротима в чувствах!

— И вот таким-то образом приобрела я двух друзей, — насмешливо закончила Виктория Павловна, — Шелепушку да Келепушку. И оба в меня до сих пор влюблены. И оба друг от друга меня сторожат. Шелепушка — от Келепушки, а Келепушка — от Шелепушки. А когда пьяны, — плачут один другому в жилет и жалуются на мою жестокость... То-то! А то: продам, разорю... комики!.. Господа, есть здесь хоть один стакан чистый? Я бы глоток вина выпила...

Признаюсь откровенно: никогда в жизни не был я так решительно сбит с позиции и типом, и обстановкою, как на этом странном «подножном» корму, рядом с этою странною, не то вовсе безумною, не то чересчур уже здравомысленною девушкою. И дикие откровенности ее, и непостижимая покорность, с которою рабы ее, — потому что в этом, право же, чувствовалось что-то рабское, — выслушивали ее оскорбительные признания, производили впечатление самое хаотическое. Не

то — Бедлам, не то какая-то наглая комедия, мистификация, клоунада дерзости. Виктория Павловна, конечно, видела мое недоумение и, среди болтовни, хохота, песен, речей, острот, которыми был полон этот шальной обед, улучила минуту, чтобы, наклонясь к моему уху, тихо спросить:

— Чудно вам, я думаю?

— Да... как вам сказать? — замялся я.

— А вот мы с вами поговорим, ужо как-нибудь на свободе, — тогда, может, и не так чудно станет... или...

Она вдруг остановилась, как бы пораженная внезапною мыслью, подумала несколько секунд и, еще ярче сияя глазами и разгоревшимся лицом, договорила:

— Или еще чуднее станет...

И, резко отвернувшись от меня, закричала студенту:

— Что? Что? мою карточку фотографическую? Нет, покорно благодарю, — больше никогда и никому. Меня Миоловский проучил. Выпросил у меня портрет, а потом Буреносов привозит его ко мне: возьмите, говорит, да больше этому дураку не давайте... — А что

случилось? — Да то, что был я в Петербурге, Миоловского видел... — Где? — Да, так, в вертепе одном... Пьяный, две девы около него, еще пьянее, на столе — портер, и вот эта ваша карточка лежит. Девы к нему ластятся, а он плачет и орет — Не вас целую, не вас люблю, — ее, богиню мою, чрез вас фантазией моей воображаю... Удивительно лестно... Раскольников этакий от седьмой заповеди!.. Я так была благодарна Буреносову, что он выручил мою физиономию — выкрал у трагика этого...

Рассматривая пирующую мужскую толпу, я видел, что вся она поголовно влюблена в Викторию Павловну, которая была в ней «одна женщина». Видел влюбленных, которые «благоговели богомольно перед святынею красоты» и, как Михаил Августович Зверинцев, в самом деле, чуть ли не святую какую-то в ней разглядеть хотели; видел влюбленных сентиментальных, мрачных, влюбленных с шуточками, влюбленных с вождедеющими притязаниями и платоников без всяких притязаний, влюбленных, готовых остаться хоть навсегда при одном «взаимоуважении», и

влюбленных, глаза которых говорили очень откровенно: так бы и проглотил тебя целиком. Но все были влюбленные, — это ясно. И еще яснее другое: между всеми этими влюбленными не было ни одного счастливого. Справедлива, нет ли была молва дамского злословия, навязывая Виктории Павловне десятки любовников, я судить, конечно, еще не мог, но что из присутствующих ни один ее любовником никогда не был, в том готов был биться об заклад — хоть руку на отсечение.

В странной и шумной атмосфере искательской любви, носившейся над этою сценою, голова кружилась. Воспользовавшись минутою, когда Виктория Павловна, отвернувшись от меня, горячо заспорила о чем-то с Петром Петровичем, я встал, — на ногах были уже многие, — и потихоньку, за сиреневым кустом, прошел вглубь сада, к сверкавшему между дерев пруду.

— Александр Валентинович! — окликнул меня мужской голос.

Гляжу: на скамейке, над самою водою, сидит молодой человек, красы неописанной, хоть сейчас пиши с него какое-нибудь

«Christianos ad leones» или что-либо в этом роде. На полянке, за обедом, я видел его лицо и фигуру издали, но, по близорукости своей, не рассмотрел.

— Мы немножко знакомы, — продолжал он, вставая и протягивая руку. — Вы, конечно, меня забыли. Я у вас в редакции был, рисунки приносил.

— Ах, припоминаю теперь. Господин Бурун?

— Он самый-с. Алексей Алексеевич Бурун, свободный... о, весьма свободный художник. Рисунки вам не понравились... и, правду сказать, нравиться нечему было: преотвратительно были сделаны. Самому стыдно. Я тогда совсем работать не мог... карандаш еле в руках держал... не до того было... Следовало бы уничтожить их, чтобы не срамиться, а все-таки продал их в одно неразборчивое издание... — он назвал. — Там ведь лишь подпись была бы порядочная... лицом товара не смотрят. Деньги больно нужны были.

Я посмотрел на Буруна: щеголь такой, костюм шикарный, с иголки, запонки золотые, галстух лондонский; на нуждающемсяся

не похож! Он понял мой взгляд и нахмурился:

— На это-то самое и надо было, — проворчал он. — Сюда торопился.

— Ага!

Помолчали.

— Вы что же сюда пожаловали? — вдруг спросил он, глядя мне в упор огромными черными глазами, полными лихорадочного блеска. — Тоже в состязатели?

Теперь я понял его и засмеялся.

— Нет, не собираюсь.

Он вздохнул, — хотел трагикомически, а вышло трагично:

— Ну, а я состязатель, — сказал он, — и очень даже состязатель. Боюсь, что из состязателей состязатель.

Каюсь, когда я увидел Буруна вдали от всех, на этой красивой, уединенной скамейке, как будто предназначенной для любовного свидания, первую мыслью моей было: уж не этот ли красавец? Но теперь, слыша его раздраженный голос и наблюдая беспокойные огоньки в глазах и горькие складки в уголках рта, красивого, надменного и бесхарактерного, я подумал:

— Нет, милый друг, ты тоже ни при чем, как все другие, и даже, может-быть, больше всех других.

Поговорили о том, о сем, о петербургских знакомых, об искусстве. В живописи Бурун оказался одним из тех нерешительных полу-декадентов, которых так много расплодилось в последнее время: мода и соблазны красочного чутья тянут их к новым течениям художества, к Малявиным, к Бенарам, а школа и робость полу-талантов, подражателей, втайне экзаменующих себя: сумею ли? да выйдет ли? да по чину ли мне такая дерзость? — держат их за фалды при старых, отживших свой век, академических традициях. Человек не решается ни порвать со старым лагерем, ни отказаться от увлекательной дружбы с новым, и шатается между ними, как живой маятник, норовя ужитья в обоих. Художественная гамлетовщина— иногда, впрочем, не без примеси и почтеннейшего Алексея Степановича Молчалина. Поэтическая раздвоенность, в тени которой частенько вызревает, однако, и лукавенькое себе на уме, рассчитывающее одолеть публику и критику не мытьем, так

катаньем, Бурун восхищался Беклином, Штуком, Сашею Шнейдером; сказал мне, между прочим, что сам начал здесь, в Правосле, картину в Беклиновом роде.

— Будут сатир и нимфа, — понимаете? Как древние мастера эти штуки писали. Только — на русский лад. Чтобы и природа была наша, русская: лесок березовый... небо изсиня-зеленоватое, с тучками... у пенька мухомор рдет... И они, сатир и нимфа, тоже особые, русские, — духи нашей северной, бледной стороны... славяне, даже финны немножко, чёрт бы их подрал...

— Но в славянской мифологии не было нимф и сатириков, — заметил я.

— Ну, русалки были, лешие, лесовики, — с нетерпением возразил он. Как будто дело в имени? Вон, в Сибири верят, будто в тайге живут маленькие человечки, уродцы на козьих ножках, с золотыми рожками на голове. Их зовут царьками. Разве это не те же сатиры? Мне такого-то и надо — маленького сатира, плюгавенького...

— Это зачем же?

— А — в соответствии с пейзажем, чтобы

природу символизировать. Греческие-то да римские Паны и прочие козлоногие черти слишком для нас великолепны... Это— пряная, наглая экзотика на виноградном соку, Вакхова команда, откровенное божественное безумие пьянства и чувственности. У нас такого чёрта быть не может: мы бражники, пивники, водочники, горелочники... у шкапчика больше Бахус-то наш. Вот и мой сатир будет этакий плутоватый, исподтишка грешничек потайной, оглядывающийся, трущобный Карамазов этакий...

— Странные у вас затеи! — засмеялся я.

— Оригинально, не правда ли?

— Оригинально. И не без остроумия.

— Спасибо за комплимент. Впрочем, он не по адресу. Не надо плагиата: признаться откровенно, я эти подробности не сам выдумал, — Виктория Павловна идею дала. Я хотел было — просто этюдик в старом роде, в классическом. А она увидела набросок, заинтересовалась и посоветовала: вы вот как напишите...

— Что же, успешно идет ваша картина?

Он поморщился.

— Моделей подходящих нету здесь, в глуши нашей православской.

— Ну, батюшка, — намекнул я, с улыбкою кивая в сторону поляны, все громче и вольнее шумевшей гостями, — вы, должно быть, уж чересчур взыскательны.

— Да не для сатира, — перебил он меня, хмуря брови. — Его написать, разумеется, не штука: безобразия на Руси — не искать стать. А вот насчет нимфы.

— Ах, для нее, значит, вы классические предания красоты, все-таки, допускаете? А я, признаться уже опасался, что вы и нимфу изобразите в *pendant* своему трущобному Карамазову — какую-нибудь Елизаветою Смердящею, что ли...

— Нет, — с убеждением сказал художник. — Многие из моих собратьев, конечно, так бы и написали. Может- быть, по-настоящему, так бы и следовало написать: правда, логика, тон «серенькой действительности» того требуют. Но я не могу. По-моему, женщину только тогда и стоит переносить на полотно, если она прекрасна. Я не умею, не хочу, не в состоянии писать наготу женского тела без-

образною. Что в женщине безобразно, должно быть спрятано. Das Ewig-Weibliche должно быть всегда очаровательно, роскошно, изящно, ярко...

— Ну, положим, Ewig-Weibliches — это совсем не о теле сказано.

— Да, ведь, оно каждому особо является, каждому свое. Для нас, художников, формы тела — та же музыка души, что для других открывается в разговоре женщины, в пении, стихах, в подвиге ее ума или сердца. Линию красоты дайте мне: вот оно, мое Ewig Weibliche! Ну-с, а на скуластом, курносом, веснушчатом и жидковолосом севере нашем — насчет линий красоты, ах, как слабо. Личики еще попадаются сносные. Но фигуры! ужас! Либо кости, еле обтянутые кожей, либо мяса египетские...

Бурун задумался и потом, потупясь и запинаясь, признался:

— Я с Виктории Павловны хотел бы написать.

— Да, батюшка, — сочувственно согласился я, — это вам модель. В ней этих ваших линий красоты столько, что растеряться можно.

— Не желает, — с жалобною досадою возразил художник. Ужасно жаль. Не желает. Даже рассердилась, когда я стал было уговаривать. А ведь сама идею дала. И согласна со мною...

— В чем согласна?

— Что нимфа должна быть прекрасна... А откуда я ее, прекрасную, возьму? Одна она у нас здесь, пре-красная-то.

Глаза его загорелись.

— А хороша ведь? правда, очень хороша? — обратился он ко мне с восторженным каким-то, словно бы против самого себя зло-радным любопытством. Я молча кивнул головой.

— Мучительница... — прошептал он, почти злобно метнув огненный взгляд в сторону полянки. — Мучительница, чёрт!.. Ее убьет кто-нибудь...

А с полянки, от сиреней, летел шумный говор и хохот.

— Нет, вы полезайте.

— Вы достаньте! похвастались достать, — так достаньте!

— Ха-ха-ха! С его-то благоутробием!

— Что слоны по бутылкам ходят, — это я видал, но, чтобы по деревьям лазили...

— В чем дело, господа? — крикнул я, подходя с Буруном.

— Да вот, — помирая со смеха, отвечал Зверин-Пев, — Виктория Павловна, по обыкновению, изволит рядить нас в шуты гороховые.

— Врет, врёт дед, не верьте, — весело отозвалась Бурмыслова. — Не я ряжу, сами рядятся. Добровольцы.

— Изволите ли видеть: тут, в некотором роде, «Кубок», баллада господина Фридриха Шиллера. «Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой»...

— Понимаете? — перебил Зверинцева земский, возбужденный, красный, хмельной, хохочущий. — Петр Петрович сейчас же ползет вон на ту березу, снимет с нее грачевое гнездо и повергнет к стопам Виктории Павловну.

— А я его за это три раза поцелую, — звонко захохотала она. — Таков уговор.

Петр Петрович толстенький, кругленький, в чесунче, стоял под березою, расставя ноги вилами, уперев руки в боки, и комически смотрел на совершенно гладкий ствол дере-

ва, — без сучочка, беленький, глянцеви́тый, точно почтовою бумагою оклеенный.

— Ну-с, поддразнивала Бурмыслова, — Петр Петрович, что же вы! Шутка ли? Три поцелуя! Ведь это — три блаженства: сами же вы сейчас меня уверяли...

— Блаженства-то, блаженства... — протяжно возражал мой почтенный спутник, — а только и гладкая же береза...

Новый взрыв общего хохота покрыл его слова. Он, ухмыляясь, поплевал на руки.

— Да, ну уж, попытаюсь... где наша не пропадала? Тряхну стариною.

И полез. Мне и сейчас смешно, как вспомню его шарообразное туловище, с ручками и ножками, охватившими березу, словно четыре круглые франкфуртские сосиски. От усилия все мускулы Петра Петровича напряглись и так наполнили телом его легкое одеяние, что — страшно! за панталоны страшно стало мне!.. Аршина на два он поднялся, но потом застрял и — ни с места; только шея покраснела, как кумач, да чесунчовая спина потемнела потными пятнами.

— Петр Петрович — закричал вдруг Ванеч-

ка, вынырнув из-за куста рядом со мною, голосом, полным ужаса и отчаяния, и подмигивая окружающим лукавым глазком:

—Петр Петрович! у вас штаны лопнули!

Петр Петрович так и покатился кубарем вниз по березе. Публика визжала, кашляла, плевала от дикого смеха. Зверинцев, держась за живот, ревел, как бык. Земский даже на землю лег и пищал истерически. Виктория Павловна схватила какую-то зеленую ветку и била ею Ванечку, крича, сквозь хохот, вся пунцовая:

— Ах, дрянь-мальчишка! ах, какая дрянь!

Ванечка чувствовал себя героем и только ежился.

Петр Петрович, отряхиваясь и ощупываясь, приблизился к Бурмысловой, виновато выпятил губы и сказал:

— Высоко!

И потом — к Ванечке:

— А ты, молодой свиненок, как смеешь шутить над старшими? И, кроме того, врешь: на, посмотри, — целехоньки!

На смену Петру Петровичу стали пробовать счастья другие гости, но проклятая бере-

за не давалась никому, как заколдованная. Выше других поднялся было Келепов, но и он сверзился, не добравшись до нижних суцьев, — к полному восторгу ранее провалившихся неудачников. Зверинцева Виктория Павловна до состязания не допустила.

— Нет, нет... Профессионалы исключаются. Экое диво, что бывший гимнаст сумеет взобраться на дерево. Да, кроме того, я вас, дед, и без грачей, целую.

Бурун, не смеясь, а, напротив, с каким-то особенно серьезным и нахмуренным лицом, тоже взялся было за березу. Мне показалось, что Виктория Павловна следит за ним с любопытством, более внимательным и участливым, чем за другими, и лицо ее будто потемнело в тревоге сочувственного ожидания. Но, покачавшись у дерева малую толику, как бы расправляя мышцы на согнутых руках, Бурун смерял расстояние от земли до Грачевых гнезд недоверчивым оком и, залившись гневным румянцем, отступил.

— Высоко, — пробормотал он, точь-в-точь Петр Петрович.

— То-то высоко, — сквозь зубы «бросила»

Виктория Павловна, как актрисы на сцене бросают многозначительные реплики *à parte*.

В эту минуту Ванечка опять всех рассмешил, являсь откуда-то с преогромною дворовою лестницею: приставил ее к заклЯтой березе, влез, снял грачевое гнездо без малейшего труда и сбросил, во всем его растрепанном безобразии, вниз, пред Викторией Павловной.

Она хохотала, как ребенок и била в ладоши.

— Ай да Ванечка! ай умница! Господа! Да ведь это Колумб! Ну, как же его не поцеловать, комика такого? Все выбиваются из сил и ничего не могут сделать: ах, трудно! ах, высоко! А он, один, себе на уме: принес лестницу и — готово... Ах, Ванечка, Ванечка! если бы ты знал, как ты мне сейчас угодил и какое премудрое указание сделал.

В голосе ее и во взгляде, которым она косилась на сердитого и сконфуженного Буруна, было что-то и смешливое, и глубоко обидное.

— Нет, братец, ни при чем ты, — снова подумал я, — ах, как сильно ни при чем. А теперь вряд ли когда-нибудь при чем и будешь.

Виктория Павловна весело продолжала:

— Целоваться с тобою, Ванечка, — про-
сти, — не стану. Во-первых, не хочется, во-вто-
рых, молод ты еще меня целовать. А, взамен,
вот тебе мое благословение и пророчество:
при твоей простоте и находчивости, много ты
побед одержишь на своем веку, — и преуспе-
ешь, и процветешь, и женщины будут тебя
любить, хорошие женщины...

Покосилась на Буруна, прикусила ниж-
нюю губу и заключила:

— Потому что мямли да нытики уж слиш-
ком нашей сестре надоели. И без них жизнь
кисла, точно богадельня.

III.

Ни сегодня, ни завтра, «ужо», обещанное Викторией Павловной, чтобы «поговорить по душам», не наступило. Впрочем, и где уж было! Гости все подъезжали да подъезжали. Во дворе усадьбы, у людского флигеля, вечно торчал воз, с которого Ванечка, мать его, ключница и стряпка Анисья снимали и уносили в кладовки разные аппетитного вида свертки, ящички и коробки. Опустеет одна подвода, — глядь, уже другая ползет со станции.

От множества незнакомых лиц голова шла кругом. Когда я попадаю в деревню после долгой городской суеты, я немножко шалею, как бы пьянею от воздуха. Перестанешь думать и только существуешь; смотришь, дышишь, слышишь, обоняешь, тянет спать на мягкой траве, под деревьями. Сел к березке, умную книжку из кармана вынул, перевернул страницы две-три... а потом... умная книжка из рук выпала, и щека как-то сама на пушистый мох опустилась, и дрозды, которые прыгали, суетились и кричали над моей головой, вдруг

начинают прыгать, суесться и кричать где-то ужасно далеко-далеко, а вблизи почему-то и откуда-то выглядывает седая борода секретаря редакции, который говорит мне унылым голосом:

— А репортер благовещенский заметки об убийстве в Царском Селе не доставил, — говорит, что у него на железную дорогу денег не было, а контора была заперта...

— Сколько же раз... — трагически начинаю я и просыпаюсь от щелчка старым желудем, метко брошенным мне в самый лоб. Надо мною стоит Виктория Павловна и хохочет. Лицо ее, в янтарном загаре, будто пропитано солнечным лучом; ямочки на щеках играют... Приподнимаюсь в конфузе:

— Простите, ради Бога... я, кажется...

— Вот выдумал — извиняться! Сделайте одолжение, земли мне, что ли, жалко? А бока ваши, — устанут, у вас же и болеть будут. Я вас только потому разбудила, что пора простоквашу есть... Что вы на меня уставились?

— Нарядная вы сегодня.

Она равнодушно взглянула на свою щегольскую пеструю кофточку, — видимо, па-

рижскую модель, и только-что с манекена.

— Да, расфрантилась. Арина Федотовна заставила надеть. Кто-то для дня ангела привез. Не вы?

— К сожалению, нет.

— Ах, да! я забыла: вы что-то другое совершили, более важное... — засмеялась она. — По крайней мере, Арина Федотовна даже настаивала, чтобы я вам написала особое «мирси». Ну, чем писать, я вам просто мерсі скажу. За что, — не знаю, но во всяком случае, — мерсі. Вы ей, должно быть, денег дали? В такую почетительную ажитацию она у меня приходит только при виде хороших денежных знаков. Ну, идем! идем!

— Скажите-ка, новый гость! — продолжала она уже на ходу, искоса и полусерьезно на меня поглядывая, — вы меня очень осуждаете, что я... так... яко птица небесная? в некотором роде, общественным подаянием живу?

— Как вы ставите вопрос...

— Прямо ставлю. Что же тут? Дело видимое. Лживка, лукавка, вежливка не поможет. Сквожу на чистоту. Щами накормить не в состоянии, а омарами — сколько угодно, потому

что — милостивцы навезли. Вчера ходила с драными локтями, сегодня — вон какое *oeuvre de Paris* вырядила, потому что милостивец привез. Так вы не церемоньтесь: сразу! «Я приговор твой жду, я жду решенья!» — запела она во весь голос.

Я только руками развел:

— Ну, милая барышня, и альтище же у вас!

— Покойный Эверарди очень хвалил, — равнодушно отвечала она. — Я одну зиму училась, о сцене мечтать было начала...

— Что же? учиться надоело?

— Нет, а — ни к чему. Актриса! какая же это жизнь?

— Почему нет? — возразил я. — Конечно, дорога артистки на русских сценах — да и на всяких, впрочем, — весьма тернистая, но, как бы то ни было, покуда — это единственный вид женского труда, который хорошо оплачивается, дает известную самостоятельность.

— Удивительную! — насмешливо отозвалась она, — вы вот, должно быть, артистический мир-то наизусть знаете. Так вот вы и скажите мне: много ли знавали артисток, вышедших в люди без того, чтобы их мужские

руки подсаживали? Мужья там, любовники, покровители... Знали таких?

— Знал, — храбро ответил я.

— Ой ли? и многих? — с сомнением возразила она.

— Нет, этого не могу сказать.

— То-то! Да и то, небось, Ермоловых да Дузе каких-нибудь назовете, которым Бог такие таланты дал, что за ними в этих барынях и женщина-то совсем пропадает, — остается одна душа-великан, на которую все, как на восьмое чудо света, с благоговейными восторгами смотрят и любуются. А вы пониже линией возьмите. И увидите: знаменитость ли, простая ли статистка, — на этот счет — все одним миром мазаны. Посчитайте-ка этих артисток, которых вывоз к успеху и популярности только их сценический талант, — немного насчитаете. Та выехала на антрепренере, та — на властном режиссере или капельмейстере, та связалась с первым тенором, комиком или *jeune premier*, которые заставляли импрессионистов приглашать ее на первые роли: с другою-де играть не стану. Та к богачу-меценату на содержание попала и такими туалетами

обзавелась, что и играть нечего: только ходи по сцене, да ослепляй! Той влиятельный журналист покровительствует и рекламу во все трубы трубит. Поройтесь в любой женской артистической биографии и, на дне известности, вы найдете, что фундамент-то ее совсем не искусство, — оно надстройка, не более! — а тот же поганый самочий успех. Растаял перед нами «ходовой» мужчина, — ну, и дело в шляпе. Мы садимся к нему на плечи. Он сам вперед идет и нас тащит. Самостоятельность артистки! Где она? Будь вы известность хоть семи пядей во лбу, а вы в руках у первого хама, который приезжает к вам с интервью и лезет целовать ваши руки; у режиссера, который весьма хладнокровно передает ваши роли первой красивой бездарности, если она на тело податлива; от зрителя, который просил о чести нанести вам визит в вашей уборной и, когда вы извинились: не могу принять, переодеваюсь, — идиот обиделся, вернулся в кресла и стал вам шикать...

— Ну, не всем же так не везет. многие артистки умели великолепно поставить себя в деле самозащиты.

— Да. Те, у которых за спиною мужчина стоит. Вы не знавали Бронницкую-Верейскую? Старая актриса, опытная, умная. Я у нее уроки декламации брала. Так у нее — насчет самостоятельности и добродетели актрис — хорошая поговорка была. Начнут, бывало, при ней осуждать какую-нибудь бедняжку, что она и с тем, и с этим. А она вздохнет тяжело и скажет: «Эх, душенька! Что судите? Легкое ли дело провинциальной актрисе добродетель соблюдать? У нас, по провинции, душенька, добродетельны только те актрисы, которые с губернаторами живут».

— Это почему же? — улыбнулся я.

— А потому что — табу! Больше уже никто к ним приставать не смеет: и антрепренер на цыпочках ходит, и «Ведомости» в кольцо вьются, и товарищи свинствовать не дерзают, и первый ряд заискивает. А то я вам еще факт расскажу. Подруга у меня была по гимназии. Лидочкою звали. Поступила на сцену. Таланту — выше головы! Ничего, — служит, имеет успех, а хода настоящего все получить никак не может. Целомудренная была такая, щепетильная, и тельце, и душа нежненькие,

скромненькие. Пооборвала она дюжины две театральных нахалов разного чина и звания, перестали к ней с гнусностями лезть, даже уважать начали, — вы, говорят, сцену нашу облагораживаете! вы у нас феникс! Но— феникс-то феникс, а феникса-то все в темный угол, да в темный угол. — Голубушка! ваша роль, но потерпите: должен был дать Звонской-Закатальской! Лидин-Тарарабумбиев потребовал: знаете... он с ней живет... — Вам бы следовало играть, да его превосходительство желают в этой роли Орешкову-Многогрешкову видеть... знаете... он ей покровительствует. Совсем затерли девочку... А я ее спасла. И, знаете, — как? Замуж выдала. Студенты ее очень любили. Ну, негодовали, что ее обижают. А главарем у них был Самосолов, медик, — мужичинища, вам скажу... Петр Великий! подковы ломает, кочерги узлом вяжет. Влияние среди молодежи страшное. При этом благородство чувств. Я его и оседлала: женись на Лидочке, будьте ее защитником! — Да, она меня не любит. — Полюбит! — И Лидию пилю: выходи за Самосолова! По крайней мере, будет кому за тебя заступиться. — Да я его

не люблю. — Полюбишь!.. Окрутила. Через неделю после свадьбы — неприятность: роль у Лидочки отняли и другой актрисе передали, режиссерской любовнице. Лидочка ревмя ревет. Я — Самосолову — Что же вы? господин мужчина! жену вашу оскорбляют, а вам и горя мало? Он — шапку на голову и в театр. Возвращается через часок. На эту роль, говорит, Лидочка, плюнь, дабы не показать, что ты за нею уж очень гонишься. А вот — ты «Марию Стюарт» хотела играть, так на — тебе роль, просили передать. А она за «Марией Стюарт» года три ходила да вождеделела, — допроситься не могла. Мы так и ахнули: Как же это вы? Что такое? Ничего говорит: мускулатура им моя не нравится. В другой раз обидели ее... ну, обидчица на этот раз была с такою протекцией, что антрепренер и мускулатуры не испугался: хоть изувечьте, клянется, батенька, а не могу! их превосходительство меня в бараний рог согнут и к Макару в кампанию пасти телят отправят. Хорошо. Что же Самосолов? Прямо из театра — в студенческую столовую. — Товарищи! оскорбляют! Честную артистку, любимицу публики! Для кого же! Для

какой-то превосходительной наложницы ко-котки... Что же это? Артистке и честною женщиною быть нельзя? Что она — жена бедного студента, так ее всякие хлыщи и в грязь топтать будут?.. Ну-с, и в жизнь свою я такого свиста не слыхала, как в спектакле, когда Лидочкина соперница ее роль играла... Теперь Лидочка тысячи загребаает, — ну, а кто из них двоих ее карьеру сделал, Самосолов или она сама, — судите как знаете. Вот вам и удобнейшая форма женского труда. Нет, спасибо и за удобнейшую, и за неудобнейшие! Не верю я ни в какой женский труд и не хочу никакого.

— А вы пробовали?

Она комически воздела руки к небесам.

— Боже мой! да чем я не была?

Ну, уж про гувернантские и тому подобные места не говорю: на них порядочная девушка — всегда мученица. Разве только совсем уже орангутангица с лица и фигуры избегает этой проклятой доли, а то всякая *mademoiselle* — дичь, преследуемая всею мужского половиною дома, и ревнуемая, ненавистная для половины женской. Я в течение года семь мест переменила, и ни с одного

не ушла — вот хоть бы настолько, хоть бы чуточку по своей вине. На последнем... знаете, за что меня выгнали? «Сам» мне за обедом баранью почку уступил: никогда никому — ни жене, ни детям — не уступал, сам жрал, а тут развежился, почкою победить хотел. А после обеда он в клуб уехал, а мне супруга его объявляет: чтоб завтра вас в доме не было. Зло меня взяло. Выслушала я, и говорю: знаете ли что? уйти-то я от вас уйду, жизнь с вами не сахар — только уйду не раньше, чем через месяц, когда найду себе место хорошее и по вкусу, и аттестат вы должны мне выдать самый блистательный. А не то — вот вам честное слово: никогда у меня с вашим лысым дураком никаких интимностей не было, но если вы меня выкинете на улицу, так только вы его и видели. Разве я не вижу, что это за цаца? Свистну — так он собачкою за мною побежит не то, что деньги там, брильянты... вас в ломбарде заложит и мне на серебряном блюде квитанцию преподнесет. А через месяц я сама от вас уйду, и будет у вас тишь, гладь и Божья благодать... Она — флюсастая такая была, чирая — сперва было на дыбы, а потом

вдруг — со слезами, чуть не коленопреклонно: Ангел благодетельница! пощадите! не погубите!.. Уж и танцевала же она предо мною весь этот месяц на задних лапках! Первое лицо я в доме была. Так что муж-то, тайно охраняемый, даже выговоры ей делал: что ты, матушка, с Викторией Павловной так уж очень жантильничаешь? Неловко. Гуманность гуманностью, но все-таки ты хозяйка дома, а она служащий человек... А у той-то от таких его слов по сердцу — масло! масло!! Значит, держу я слово, — не амурничаю, не разрушаю очаг. Зато, как сказала я: сегодня уезжаю! — так она деньги-то мне дрожащими руками заплатила, а у самой — все флюсы от злобы на сторону... Надеюсь, шипит, что мы видимся в последний раз в этой жизни. А я ей: э! матушка! гора с горою не сходится, а человек с человеком всегда сойдется.

Виктория Павловна захохотала коротко и зло.

— Была я, любезнейший мой Александр Валентинович, конторщицею в большом торговом учреждении, служила в банке, в редакции, в статистике, в правлении железной до-

роги. Служила всюду хорошо, по службе нигде никогда никаких упущений, но... всюду и везде все и всегда как будто немножко, а иные так и очень множко, недоумевали: зачем это мне? Красивая, а служит! Ей бы на содержании жить, в колясках ездить, а не над конторкою спину гнуть. — Иван Иванович, будет нам к празднику награда? — спрашивает бухгалтера моя товарка по службе, Агнеса Свистулькина, — вдесятеро меня умнее и полезнее, но — одна беда: Бог ей зубы вызолотить не вызолотил, а чернью покрыл. — Не знаю-с — сухо отвечает Иван Иванович и идет мимо. — Бурмыслова! спросите вы! — шепчут товарки. Вам он скажет: вы хорошенькая! — Иван Иванович, будет награда? — Бухгалтер слаще меда и мягче пряника — Вам, Виктория Павловна, всенепременно, — помилуйте! еще бы! вы гордость наша! сам г. директор изволили намедни осведомляться: а как здоровье той изящной барышни, что у вас исходящие записывает... Женский труд! Боже мой! Я работала, как вол, по двенадцати часов в сутки, — и не могла подняться выше пятидесяти рублей жалованья! Когда я горевала, что мало

получаю, на меня широко открывали глаза и говорили: помилуйте! это мужской оклад! столько у нас мужчины получают! Но стоило мне перестать быть служащей, а улыбнуться и пококетничать, как полагается женщине по природе ее, и... Сезам отворялся. Вам деньги нужны? Да возьмите ссуду. — Страшно. Вычитать помногу станете. — Виктория Павловна! с вас-то?! Эх! Да что — ссуда! Кабы вы ласковым взглядом подарили, да я бы — коляску с рысаками, квартиру в три тысячи... — Полно вам глупости молоть! Вы лучше, в самом деле, жалованья прибавьте. Ведь я же за двоих работаю. — Не могу-с! этого не могу! но принципу-с: мужчины столько получают... — Да ведь они за пять часов получают и еще спустя рукава вам все делают, а мы по двенадцати сидим... — Не могу-с... зато они, хе-хе-хе, и мужчины-с. Так вот и тычут тебе в нос всю жизнь: покуда ты, баба, будешь заниматься мужским делом, дотоле тебе, бабе, цена ломаный грош, — хоть будь ты сама Семирамида Ассирийская. А вот займись ты, баба, своим женским делом, и — благо тебе будет: купайся в золоте, сверкай в бриллиантах, держи ты-

сячных рысаков! А женское-то дело выходит, по-ихнему, — проституция.

Она с волнением схватила меня за руку:

— Ну, разве не права я? Разве, даже, когда тот же бухгалтер Иван Иванович не удостоивает ответа уродливую Свистулькину, а передо мною вьется и сюсюкает, разве уже в этой мелочи не чувствуется этого подлого протитуционного начала? Что, мол, с той разговаривать? Пусть она умная, работающая, да — «для этого» не годится: ну, и не суйся! Кой в ней нашему брату прок? А вот эта — «для этого» весьма годится, — с нею ничего, поговорим!.. Женский труд!.. Ох, господа мужчины! уж и не знаю, кто из вас хуже? противники женского труда или стоятели за него? Потому что я помню инженера, который издевался надо мною — Зачем вы портите ваши прекрасные глазки над графами наших глупых росписей? Поедьте-ка лучше за границу, я вам туалеты у Raquin закажу и тысячу рублей в месяц — на булавки. Но помню и редактора прогрессивного органа, который жал мои руки, восторженно глядел мне в глаза и декламировал — как это хорошо, что вы такая пре-

красная, светлая, умная, трудолюбивая! Необходимо подумать, как бы сделать, чтобы вам легче было жить. Честный труд — что лучше, что выше этого? Но, знаете ли, корректуры, переводы, переписка, даже авторство... все это ужасно мизерно, голубушка! — Как же быть-то? — Подумаем!.. И мы думали. И почему-то все думали в *cabinets particuliers*. И завтраки, обеды и ужины, сопровождавшие наши думы, конечно, могли бы оплатить годовое содержание не одной корректорши, переводчицы, переписчицы... А кончилось-то тем же, что и у инженера: я вас люблю, — удалимся под сень струй и грабьте за то меня, сколько лапа осилит! То-то! Что на земле, низу, что на горе, верху, — все одно и то же. Совсем вам, господа, труженица не нужна, а нужна проститутка.

Глаза ее горели мрачным огнем. Она нервно раздирала на части кленовый листок и говорила:

— Актрис вы помянули. Выгодный заработок. Верно. Тысячи вы им платите.

Но за что им платят эти большие жалованья? За что или, вернее, на что дают прибав-

ки к жалованьям? Я бы желала видеть прошение актрисы, которая, требуя прибавки, ссылается на свой талант, на свое просвещающее влияние на массы. Так просят актеры, и такие просьбы уважаются только от актеров. А женщина-артистка должна иначе молить: дайте мне на туалеты: т.е., на украшение моего тела, от которого вы требуете прежде всего, чтобы оно было заманчиво и увлекательно, а талант — это статья вторая. Дайте мне на туалеты, потому что, без туалетов, вы меня, лицемеры искусства, не станете держать в театре. Я не буду вам «нравиться», и вы наплюете на мой талант, скажете, что я на сцене чёрт знает на что похожа, не умею одеваться и «товар» лицом показать. Так что, если вы мне не дадите на туалеты, мне придется либо бросить сцену, либо истратить на них те деньги, что я привыкла тратить на жизнь, а где я возьму тогда на жизнь, не знаю... авось, кто-нибудь да выручит! Ну, скажите, пожалуйста, — может ли не быть содержанкою актриса на первых ролях, получающая в год четыре, пять, даже шесть тысяч рублей? Огромные деньги! И, однако, ведь это — как раз стои-

мость ее туалета! И выходит, что без содержания-мужа или содержания-любовника ей не жить, а если и ухитрится жить, то в таких каторжных тисках, что — не дай-то, Господи! проклянешь и себя, и святое искусство... Негина-то права, когда не за Мелузовым на голод пошла, а к Великатову в свою деревню поехала... Сядем!

Мы уселись на старой, покосившейся скамье под смолистыми тополями, весело поблескивавшими на солнце серебряною листвою.

— Вы меня извините, что я так нервно! — снова заговорила Виктория Павловна. — Но я не могу... Я все это на себе пережила, за все своею кровью расплатилась. Что подделаете? По-моему, пред женщиною в быту нашем три дороги: либо она — по-старинному, жена и мать, что весьма возвышенно и благородно, но для многих скучно, да и не выводит женщину из вечного рабства у вашего брата, мужчин; либо мученица-героиня свободного труда, всеми силами борющаяся против фатума стать проституткой, но редко фатум этот побеждающая; либо, наконец, проститутка

просто, с покорностью фатуму, с наслаждением жизнью, — пока можно, и поганую смертью, — когда уже нельзя...

— А монахини? а женщины науки?

— Это — отклонения, исключения, аномалии, выработанные теми женщинами, которые не хотели пойти ни по одной из трех торных дорог. Это — тропки, а не большаки. Мало ли каких тропок-то не натоптано! Вон феминистки: и так и этак изошряются, чтобы вековую дорожную грязь сбоку обойти. Ну, что же, давай им Бог... авось, и добьются чего-нибудь, изобретут.

— Вы не из их числа?

— А, право, не знаю. Судя по тому, что женщины меня, обыкновенно, ненавидят, — должно быть, нет.

Она лукаво покачала головою.

— От мужчин освободиться трудно. Надо их уметь на место поставить.

— Ну, вы-то, кажется, умеете! — вырвалось у меня.

Она спокойно согласилась:

— Выучилась. Когда надо большие дороги по тропочке обойти, — так выучишься, ста-

нешь изобретательною. Женою и матерью я быть не могу: инстинкта домашности нету. Полная атрофия. В труженицах на всех доступных мне путях провалилась и больше пробовать не хочу: устала. Третья дорога... знаете ли, чуть-чуть я на нее не ринулась в один злой, подлый момент, когда всему отмстить хотелось, — да... брезглива я уж очень... волею брезглива... гордость помешала. Вот и изобрела себе тропку, и бежала по ней сюда, и забралась в норку эту, и сижу здесь, голая, как церковная мышь, и такая же свободная...

IV.

День ангела Виктории Павловны, конечно, прошел очень шумно и радостно. Она получила столько телеграмм, что любой юбиляр с сорокалетием деятельности мог умереть от зависти. Какой-то моряк аж из Сингапура расписался. Даже обед был на славу, потому-что князь Белосвинский — тот самый «князёк», которым, в ревнивых притязаниях своих, попрекал Викторину Павловну Келепов, — оказался догадлив: привез с собою своего повара, роскошный сервиз и какую-то феноменальную походную кухню. Князек этот показался мне очень милым человеком, полуобразованным, правда, как большая часть высшего русского дворянства, с громкими фамилиями, но настолько умным, чтобы не иметь обычных нашему «обиженному» братству, пустословно-полицейских *points d'honneur*, или, по крайней мере, настолько благовоспитанным, чтобы не выставлять их напоказ. Поздно вечером, после фейерверка, который весело и пышно сторел над прудом, — это Шелепов от своего усердия поста-

рался, — я, Белосвинский и Михаил Августович Зверинцев сидели в темной аллее, гудевшей хрущами, мер-давшей с нежносиней полосы неба бледными робкими звездами.

— А что, князь, вам не влетело еще от хозяйки? — насмешливо гудел бас Михаила Августовича.

Князь пыхнул папиросою.

— Нет, по-видимому, отложено до завтра.

— А за что вас? — полюбопытствовал я.

— За сервиз, — отвечал, вместо князя, Михаил Августович. — Зачем сотенный сервиз привез. Умывальником-то она который год вас травит?

— Травит, — усмехнулся князь, — а умывальник, все-таки, бережет. Ничего не поделаешь: женщина! Вещь кокетливая, — трудно от нее отказаться. Вот за судьбу сервиза, между нами говоря, опасаясь. Весьма может быть, что Арине Федотовне уже приказано уложить его в солому, а завтра Ванечка повезет его в город и спустит в три-дешева в какой-нибудь посудной лавке. Но я на этот раз решил не уступать. Если она продаст этот сервиз, немедленно привезу другой, третий, чет-

вертый, — переупрямлю упрямыцу. Диогенство ее очень интересно и оригинально, однако, надо же и ей когда-нибудь иметь обстановку, комфорт, жить человеком.

— А ведь вы это про меня, — неожиданно прозвучал голос Виктории Павловны, и она показалась в двух шагах от нас, на повороте аллеи, под руку с кем-то, длинным и тощим: по широкой шляпе и манере нервного покашливания, я признал Буруна.

— Держу пари, что про меня! — продолжала Виктория Павловна, оставляя руку своего кавалера и садясь к нам. Потому что я князю знаю. Если про комфорт, обстановку, умывальники, да сервизы, — всеконечно он! больше некому! Он у нас — настоящий князь, русалочий. Десятый год он мне эту песню поет: «Ты здесь с голода умрешь, пойдем лучше в терем!» А я ему только с постоянством отвечаю: спасибо! не хочу в терем! заманишь, а там, пожалуй, и удавишь!

— Виктория Павловна, когда же я... — начал было князь со звуком искренней обиды и огорчения в голосе.

Она ласково положила ему руку на плечо.

— Я шучу, дорогой мой, — сказала она мягко и нежно. — Я знаю, что вы не такой. Но о комфорте моем, все-таки, беспокоиться не трудитесь. Знаете ли, — свободен только тот, кто ничего не имеет. Я очень благодарна судебному приставу, который дал мне познать эту истину практически. Комфорт — опора собственности. Не знаю, кража ли собственность, как говорят умные люди, но она — тюрьма, а комфорт — ее цепи. Не хочу снова в тюрьму, не хочу цепей — ни золотых, ни фарфоровых, ни бархатных, ни всяких других, — а, в том числе, и всего наипаче... — протяжно и в нос заговорила она, с комическим пафосом, — помилуй и спаси нас, Боже, от цепей амура.

Бурун сердито кашлянул. Зверинцев фыркнул, точно морж, и когда он заговорил, по дрожи его толстого голоса было слышно, что он смеется в усы.

— А как статистика гласит? — спросил он — сколько предложений руки и сердца за нынешний высокоторжественный день?

— Представьте себе! — с изумлением отозвалась Виктория Павловна, — здесь, на ме-

сте, всего только три. Да двое удостоили чести изъяснить, что сердце и жизнь их принадлежат мне, но руки, к сожалению, уже абонированы законными половинами. Однако, если я девушка без предрассудков, руке в любовном обиходе большого значения не придаю и, вообще, не прочь быть «вне оно́го, но как бы в оно́м», то стговорчивее их дураков не найти. Итак, в наличности всего пятеро. А по почте и телеграфу — трое. При чем моряк ненадежен: уж больно далеко его Сингапур, — покуда вернется, его ветром пообдует, матримониальные-то поползновения и рассохнутся...

Все-таки, будем считать для круглости восемь. Только восемь! Плохо. Либо я стареюсь, либо «народы Греции» умнеют.

Бурун совсем сердито раскашлялся.

— Вы женаты, Алексей Алексеевич? — спросил Зверинцев все тем же смеющимся голосом.

— А вам какое дело? — получил он неласковый ответ.

— Да так... что же? уж и спросить нельзя?

— Да ведь я вас не спрашиваю?

— Что меня спрашивать? Обо мне здесь

всякая собака знает, что я женат: очень женат, чрезвычайно женат, преувеличенно женат. А вы у нас внове, — вот и интересуюсь.

— Ну, женат... легче вам стало?

— Не то, что легче, а уяснительнее. Стало-быть, из всех нас, здесь сидящих, неженатый-то гуляет один его сиятельство...

— Добавьте, любезнейший Михаил Августович: который и не женится — вставил князь.

— Ой-ли? — засмеялась Виктория Павловна.

— Разве только в том случае, если вы замуж выйдете, — принужденно возразил князь.

— Тьфу, типун вам на язык!

Михаил Августович даже рукою махнул.

— Почему же нет? — сдержанным и угрюмым тоном сказал Бурун.

— Как почему? — полусерьезно воскликнул Зверинцев, — а куда же мы-то, горемычные, денемся? Ведь только нам тут в Правосле и вздоху свободного, покуда Виктория Павловна — вольный казак... А там — какого мужа она себе ни заведи, хоть будь совсем те-

ленок и лядаций мужишка, но — ау! чужая будет. Не очень-то к ней разлетитесь, как сейчас, с душою нараспашку... Так я говорю или нет?

— Так, — засмеялась Виктория Павловна.

— Муж-то спросит: вам, милостивый государь, что, собственно, от супруги моей угодно? — Поговорить с нею хочу. — Ах, очень приятно. Витенька! Милейший Михаил Августович поговорить с тобою приехал. Так вот — вы поговорите, а я послушаю. — Да мне бы по душам... — Позвольте! почему же, если по душам, то я не должен присутствовать? Что за интимность? Кажется, я муж и в чьем-либо разговоре с моею женою не могу быть лишним. — Но, если у меня на сердце такое накипело, что я никому, кроме Виктории Павловны, изъяснить не могу? — Странные секреты-с, очень странные-с, чтобы не сказать даже: для супружеского моего достоинства оскорбительные. — Но если только от Виктории Павловны я могу утешение в чувствах моих получить? — Позвольте, м. г., вам заметить, что получать утешение в чувствах от Виктории Павловны — тем более, наедине, —

это моя-с исключительная привилегия, по законам божеским и человеческим, ибо я муж-с, ибо мне Исаия ликовал-с. А вы, коль скоро жаждете утешений в чувствах, обратитесь за оными к вашей собственной почтенной супруге, нас же покорнейше прошу излишними посещениями не баловать. Так я говорю или нет?

— Так, — опять подтвердила Виктория Павловна. Зверинцев продолжал:

— Это, если муж в моем роде вам попадет-ся, — ухарь старый. А вот, если бы вы за Буруна замуж пошли...

— Нельзя ли без примеров? — нетерпеливо заметил художник, но Виктория Павловна закричала:

— Нет, нет, это любопытно. Так что же Бурун-то, Михаил Августович?

— Он бы вас исплаксил.

— Что-о?

— Такого и глагола-то нет, — проворчал Бурун.

— Глагола-то, может-быть, и нет, но плакс на свете — сколько угодно. И все они ревнивые, властолюбивые, рабовладельцы, чёрт их

поberi. Пилы, а не люди!

— Так-что, по-вашему, я бы Викторию Павловну тоже в терем запер, как вы сейчас излагали про себя? — едко возразил художник, — запер бы и затем неотступною ревностью извел? так, что ли?

— Нет, не так! Напротив: вы бы предоставили ей полную свободу и хвалились бы на всю вселенную, что ничем не стесняете ее воли, но... после нескольких сцен и драм...

— Откуда же сцены и драмы, если я, по-вашему, буду даже рисоваться тем, что у меня своя воля, а у жены своя?

— А! надо же вам будет показать и ей, и вселенной, и, главное, себе самому, что столь великодушное благородство вам недешево достается... чтобы видела, жестокая, как вы страдаете и характер свой африканский для нее ломаете, видела и казнилась! Может-быть, и стрельнуться слегка даже попробуете...

— Очень уж вы себе много позволяете, Михаил Августович, — окончательно разозлившись, сказал Бурун.

— Я, батенька, с разрешения Виктории

Павловны. А не нравится — так и замолчу.

— Не ссориться, Бурун! — приказала Бурмыслова. — Дед прав: вы ходили бы за мною с жалким лицом до тех пор, что либо мне сбежать от вас через месяц, либо вы меня растрогали бы, — и вот я сама вам предлагаю: другой, запремся вдвоем на всю жизнь, будем друг другу. в очи глядеть, таять и млеть, и плюнем на все остальное человечество! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

— Примерьте уж князя! — уныло буркнул Бурун.

— Да что же князь? Человек лучше не надо. Рыцарь, джентльмэн...

— Пощадите, Виктория Павловна! — отозвался Белосвинский.

— И — если замуж за него выйти — таким же рыцарем и джентльмэном останется и в мужьях. Но они, эти джентльмэны, ведь чем изводчивы? Все будет стараться, как бы жену нравом собственности своей не огорчить и при этом себя так деликатно повести, чтобы даже и великодушным в ее глазах не показаться? Вдруг, мол, оскорбится великодушным-то? за унижительное снисхождение его по-

четет? И все будет князинька ухитряться, как бы очки мне втереть, что это, дескать, не благородство у меня, а только так... привычка... пустяки, шалость, собственно... мамка в детстве ушибла...

В потемках раздался дружный хохот. И князь смеялся.

— Ах, Виктория Павловна, Виктория Павловна! — повторял он.

— Право же. Я представляю себе такую картину. Две недели после свадьбы. Медовый месяц. Поцелуи, объятия и прочее — дело хорошее, но мне успели уже приесться. Физиономия моего милого супруга красива и выразительна, но я бы с удовольствием взглянула бы уже и на лица моих добрых старых друзей... — Что это давно Буруна нет? — зевая, говорю я князю. — Вам угодно его видеть?.. Вы, князь, простите: я не могу вообразить вас говорящим жене «ты»... — Да нет... я так, к слову... Князь незаметным образом исчезает, и — за обедом или завтраком, когда вам угодно, — у нас, откуда ни возьмись, является Бурун. — Им, вероятно, надо поговорить tête à tête, — соображает князь про себя, — не скажу, чтобы

это мне нравилось, но, конечно, не буду настолько неделикатен, чтобы препятствовать... Не успели кофе выпить, — где — князь? ау! нету князя!.. Бурун, конечно, сейчас же — в излишнии чувств, он без этого не может, особенно, если коньяку хватит, а коньяк у князя будет хороший, и Бурун сам не заметит, как целый графин его высушит. Дуэт — О, не гони, меня ты любишь! — Онегин, вы должны меня оставить!.. Я другому отдана, я буду век ему верна!.. И вдруг — князь. Бледен, но улыбается. С Буруном — сама вежливость и предупредительность. Понимаю: все слышал. Бурун — за шляпу, ушел. — Ну, думаю, сейчас будет мне гонка. Никаких. Воплощенная нежность! Но на завтра, поутру, горничная подает мне пакет. Что такое? — От его сиятельства. — В пакете — дарственная на все имения князя и письмо. «Дорогая моя! По зрелом размышлении, я нашел, что было ужасным эгоизмом с моей стороны жениться на вас, тогда как вам, быть-может, гораздо более хотелось выйти замуж за г. Буруна. Поэтому — храни вас Бог, да подаст Он вам всякое счастье, а я считаю своим долгом устранить

себя с вашей дороги. Прилагаемую безделку прошу вас принять на булавки от искреннего друга вашего, князя Артемия Белосвинского... Post-scriptum. Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашему будущему супругу и, если таковым окажется г. Бурун, дружески рекомендовать ему: не пить фин-шампань в таком ужасающем количестве. Это вредно для здоровья».

— Дался вам мой фин-шампань! — усмехнулся Бурун.

— Что за ерунда? — кричу я, — где князь? Подайте мне князя! — Они в библиотеке запершись. — Ломаем дверь в библиотеку, — князь висит на гвозде, синий пресиний, и даже по смерти выражает лицом своим: извините, Виктория, что я так грубо... язык вам высунул... *Que faire? c'est plus fort que moi!*.. Ах, вы, князинька, князинька моя милая!

Она прислонилась к его плечу головою и задумчиво продолжала:

— Нет, все вы народ хороший, но ни замуж я ни за кого из вас не пойду, ни «вне оного, но как бы в оном» никому из вас не поддамся. Да ведь оттого вы меня и любите все, что знаете

это, оттого и между собою не кусаетесь... Грубый ли, нежный ли, страстный ли, размазня ли, повелительный или плаксивый, ревнивый тиран или деликатный подуститель, — собственник все же остается собственником, а я свободною родилась — свободной и умру!

— Раненько зарекаетесь — заметил я. — Молоды еще. Полюбить — времени пред вами много.

— Полюбить? — Да я люблю... — сказала она просто и даже как бы с удивлением, что я не знаю такой общеизвестной вещи, — так что я даже смутился.

— Я люблю, много, и очень сильно люблю, — продолжала она. — Решительно всех люблю, кто меня окружает. Человека мне антипатичного я около себя не потерплю, а если человек принят в мое общество, значит, я люблю его крепко, и душа его в моей душе...

— Верно! — рявкнул Зверинцев. А князь, молча, поднял руку ее к своим губам. Бурун молчал.

— Ваши дамы, — задумчиво и воодушевленно говорила Бурмыслова, — сплетничают про меня, что я развратница, что чуть ли не все

вы — мои любовники. Они лгут, потому что думают о теле. Никто из вас телом моим не владел и владеть не будет. А, если бы они поглубже в душу заглянули, так, пожалуй, ведь и правы остались бы. Ведь по душе-то я тебе, Михаил Августович, куда больше жена, чем твоя многодесятилетняя половина...

— Еще бы! — воскликнул Зверинцев.

— Да! И знаю о тебе я больше, чем она, и несешь ты ко мне часто такие свои горя, радости, сомнения, которых ей не покажешь, да и показать за обиду себе почтешь, даром, что десять лет в браке и чуть не десять штук детей наплодили... А, вернее, именно потому, что наплодили детей. Любви-то у вас никогда не было, а размножение пошло прежестокое. Ведь вы, господа, как женитесь? Кто — на десятинах, кто — на красивом личике, кто — для хозяйства, кто — для связей, кто — потому, что в лета взошел и род продолжать желает. Либо по влюбленности, либо, как говорится, по расчету, либо по расчету и влюбленности вместе, а по любви брака и одного на сто не собрать... Его только хочется всем, и все, женясь или беря любовниц, воображают, что

это — по любви, и что они любят, а не блажат и не обдeldывают своих практических дел. Ну, и благо тому, кто этого не разглядит и не почувствует — так при воображении своем и останется до конца своих дней. А человеку чуткому, совестливому оно скоро жутко становится: как же, мол, это я душу-то свою — думал, что к другой душе ее привязываю, а на самом деле к десяти чернозему ее приклеил? Тут-то эти господа и начинают крутить — пьют, делают глупости, заводят наложниц, капиталы на них просаживают: все — души в ответ на свою душу ищут. А того и не понимают, что — если одно женское тело на другое переменить, — то душе от того легче ничуть не станет.

И вот, господа, в такую-то драматическую пору своей жизни все вы, здешние, на меня и набегаете. Жить без любви нельзя, а у вас ее нет и не было, либо вы ее чёрт знает в каком свинстве похоронили. Помните подрядчика Туловина? Что потом в Сибири застрелился? Смотрю, матушка, — говорит, бывало, — все-то вокруг тебя ветчина, — Гамлетом ряженая. Около меня нет людей, не потрепанных про-

махом в любви или не тоскующих по ее убыли. И ты грустишь, Михаил Августович, что влюбленною десятиною твои всесветные бродяжества придавило. И вы, князь, грустите, что швыряли вы швыряли десятки и сотни тысяч, чтобы вам современные Мефистофели разные вызывали Гретхен и Елен Прекрасных, а в душе-то ни искорки светлой от того не зажглось, а только жизнь изнасилась, да накопилось где-то внутри противное тошнотное чувство. И вы, Бурун, красавец-мужчина, избалованный поклонением талант, прибежали ко мне, потому что «бабы много, а тепла нет»... сами вы мне такое словцо предподнесли при второй или третьей нашей встрече. И так как все вы воображали, — а вы, Бурун, еще и воображаете, — что любить женщину значит владеть ею, то все вы в свое время хотели, — а вы Бурун, еще и хотите — сделать из меня свою наложницу. В виде жены, в виде содержанки, в виде любовницы, но все на самочьей основе.

Мужчины молчали.

Бурун кашлянул и заговорил голосом низким, точно извиняясь, но против убеждения:

— Да если не могу я понять этого духовного братства, которое вы вокруг себя создаете. Не могу я представить себе любовь к женщине без полового чувства. Ну, пусть не вся она — половое чувство. Это, конечно, безобразие, дикость, скверна. Но, чтобы — любя женщину душою, не желать ее и телом, этого, простите, я так же не в состоянии постичь, как и поверить, что та женщина любит душою, которая бережет от любимого человека свое тело. Ведь этак выходит, что душу-то свою вы отдаете в чужие руки куда с меньшею разборчивостью, чем тело, а следовательно, и дорожите ее чувствами и привязанностями куда меньше, чем похотями и привычками тела.

Виктория Павловна отвечала:

— Вы ошибаетесь, Бурунчик. Я не только не делаю такой нелепой расценки, но в вопросах любви я совсем не принимаю в расчет того, что велит тело.

— Ну и счастье ваше, — желчно сказал Бурун, — что вы уродились таким бесстрастным монстром.

— Да я совсем не бесстрастная, — нервно

возразила Виктория Павловна. — Что вы все, господа, хвалитесь своими страстями, точно чем-то удивительно благородным и возвышенным? Утешьтесь, Бурун: я очень хорошо знаю, как в глазах мутится от поцелуя, как мороз бежит по коже от пожатия руки, как бросает в жар при одной мысли о человеке, который тебе нравится. Но вот тут-то вы уж и умеете разделять половое чувство от любви. Это две силы, совсем не одинаковые. А я так даже думаю, что враждебные. Мне от вас таиться нечего. Совсем я не бесстрастная, как воображают Бурун и ему подобные, и совсем я не святая, как воображают Келепов, Шелепов и другие, которые, обжегшись на молоке, научились потом дуть и на воду. А только этой страстности, этого темперамента, которым вы хвастаетесь, я стыжусь и прячу его под спуд всею силою своей воли, за тридевять замков, и ключи, как царевна в сказке, забрасываю. И духовного братства нашего, — это вы, Бурун, отлично сказали, — я никогда не оскверню "амурами". Потому что — стоит мне хоть маленький шаг, хоть полшага в этом направлении сделать, и будет у нас не духовное

братство, а конкуренция разврата: кто овладел, а кто остался с носом. Ибо не Мессалина же я и не Цирцея, в самом деле, хоть ваши дамы так меня и величают.

— Читала я как-то раз исторический очерк, — заговорила она вновь, после небольшой паузы. — О последнем странствующем рыцаре, Ульрихе фон-Лихтенштейне. Это был человек глупый, но большой любви. И вот именно он, как и ваша покорная слуга, которая, быть может, тоже очень неумна, никак не мог совместить, чтобы любовь и половое чувство были одно и то же. Поэтому женщиною, которую он, истинно и страстно, любил в течение всей своей жизни, он никогда не обладал физически и даже, по всей вероятности, был бы очень огорчен и разочарован, если бы она обнаружила внезапную податливость и «увенчала его племень». Но в то же время он был женат, имел кучу детей и не почитал того изменою своему идеалу, потому что с тем и брал жену, чтобы она не рассчитывала владеть его душою: свою любовь он помещал, таким образом, в один банк, а продолжение рода — в другой. Видите, Бурунчик:

и мужчины, стало быть, бывали одних со мною взглядов.

— Только это сомнительно, — проворчал Зверинцев.

— Что?

— Да вот — что рыцарь-то огорчился бы, кабы его Дульцинея ему на шею повисла.

— Вы думаете? А представьте, Михаил Августович: я, когда очерк этот читала, то поверила именно тогда, как вас, в роли этого Лихтенштейна, вообразила.

— Ну, уж вы скажете!

— Да верно. Ну, шепни я вам сейчас на ухо: Мишель, довольно нам ломать комедию; приходите попозже в беседку: я ваша. Счастье вам даст это? Спервоначалу-то, конечно, вот как вспыхнете — обрадуетесь. А потом и грустно станет, скучно и пусто: вот, — мол, сияло между нами шесть лет что-то милое, особенное, чего у меня с другими женщинами не бывало, а теперь это светлое погасло, и она для меня — как все, и я для нее — минутный, капризом созданный любовник. И вот — уж не к кому пойти мне от моей десятины душу отвести, — потому что какой же теперь отвод

души, коль скоро между нами завелось как раз то же самое, для чего меня завела при себе моя десятина? И щемило бы у тебя сердце, дед, что знали мы и любили сколько времени, как два человека, а вот одною минутою все это светлое равенство уничтожили, и стали друг для друга мужик да баба.

Она вдруг расхохоталась.

— Не неправда, дед, что я говорю о тебе и Лихтенштейне, а такая правда, что... даю вам слово, господа: был такой рыцарь, что от меня отказался. Кто, — не скажу вам: человек вам всем, кроме Александра Валентиновича, знакомый, а вы, мужчины, в таких случаях род преглупо насмешливый... сейчас на сцену Иосифа Прекрасного и жену Пентефрия. А тут не было ни того, ни другого. Иосиф, наоборот, все ныл об увенчании племени, а жена Пентефрия говорила: отвяжись, бесстыдник. Но знала и чувствовала, что это он не серьезно ноет, а лишь форму исполняет — питает пред-рассудок, что без таких притязаний канитель любви не полна. Поэтому рискнула. Хорошо, — говорю, — приезжайте туда-то: ваша! На всю жизнь не обещаю, а — доколе не опо-

стылите... Никак он этого не ожидал, опешил, однако спохватился, надекламировал всяких хороших слов и ушел в восторге. Потом опять приходит, мрачный. — Знаешь ли, Витенька, — говорит. — Ведь после этого мне в жизни и желать нечего будет. — По крайней мере, вы мне так клялись. — Значит, Витенька, я и тебя желать уже не буду. — Да что же вам меня желать, когда я стану вашею собственностью? — Витенька! да ведь это же прескучно! — По-моему, тоже невесело... Толковали мы, толковали — и договорились. — Витенька! — просит, — будем считать твое обещание не существовавшим, как насильственно вынужденное моим приставанием, а меня за глупость извини. Я слишком дорожу нашею дружбою, чтобы опошлять ее... Нет, милый дед! Если рыцарь тебе недостоверен, так ты хоть славянские побратимства вспомни. Вот она — где любовь-то: между названным братом и названною сестрою. И тем-то она и сильна, что половой примеси в ней нету ни капли, и так сильна, что сильнее и супружеской связи, и кровного родства... Прощайте, однако! Время позднее... спать хочу.

Она быстро пожалала нам руки и исчезла в темноте.

— Виктория Павловна! — крикнул ей вслед Бурун.

— Ну?

— Все это прекрасно в вашей теории: любовь — особо, половое чувство — особо. Только как же на практике-то?

— Э! милый Бурун! Это в вас мужское лицемерие кричит. Если бы практика разделения для мужчин была трудна, так на свете не было бы таких милых учреждений, как проституция, и таких эффектных кличек, как жертва общественного темперамента...

— Ну, хорошо. Это — мужчины. А женщины-с? — язвительно и зло выкрикнул он.

— Ты, брат, не завирайся, однако... — сердито шепнул Михаил Августович, а князь болезненно застонал:

— Как вы так неловко...

Но, в ответ, прозвучал из темноты спокойный и ясный голос:

— А вы про амазонок читали?

— Да, конечно...

— Ну, так что же? они ведь женщины бы-

ли...

И ушла.

Мы долго молчали. Князь нервно ходил по аллее, сверкая звездочкою папирасы. Михаил Августович сердито сопел. Бурун, опершись локтями на колени, тяжело раскачивался из стороны в сторону...

V.

Зверинцев был прав, когда сулил мне, что скоро от Виктории Павловны не уехать. Вторую неделю гостил я в Правосле и чувствовал себя прекрасно. Человеку необходимо, чтобы временами в жизнь его врывалось что-нибудь, ставящее вверх дном весь его быт. Избаловавшись комфортом, хорошо попасть на Валаам, где тебя сажают на сухоядение; где — недельку погостил, а потом не угодно ли вздеть монашеский балахон на плечи, да стать на черную работу; где, после службы и незаметно совершаемой огромной ходьбы среди прекрасной и дикой природы, так сладко спится на жестких досках, едва прикрытых блинообразным тюфяком; где трижды в ночь и раннее утро звонки послуш-

ников, пробегающих по коридорам, требовательно будят вас; иди в церковь. Удручась публичностью, приятно очутиться в городе, где ни одна живая душа вас не знает и не обращает на вас ни малейшего внимания. Привыкнув к заботливому уходу за собою, с наслаждением переносишься в обстановку самопомощи, одинокой свободы.

А независимостью жизнь в Правосле была богата. Случались дни, что я не видал хозяйки с утра до вечера, случалось и самому пропадать из дома на целые сутки, скитаясь по соседним деревням, и, по возвращении, хозяйка не спрашивала меня, где я был, не говорила приторного: «А мы уже начали-было за вас беспокоиться», — вообще, я думаю, она даже и не замечала моего отсутствия, хотя встречала меня всегда очень радостно.

По окрестности дворянских усадеб, с жиущими по ним владельцами, не было. Управляющие — полуграмотные латыши — конечно, не такой народ, чтобы стоило их расспрашивать о Виктории Павловне. А знать соседские о ней впечатления мне очень хотелось. Мужики хвалили:

— Душевная госпожа.

Но больших восторгов к ней, все-таки, не питали.

— Чудная! — говорил мне пчелинец Сергей, на пасеке, верстах в трех от Правослы. — Блажи на себя много напустила. Барышня, а мирскою захребетницею живет. Между господ, кажись бы, так и не водится.

— Что же это, по твоему, хорошо или худо?

— Не наше дело, барин. Вы образованные: вам виднее.

— А все-таки?

— Худого мы от нее ничего не видали. Добрая. Землею она не займется, — силы у нее нету землю поднять. Так мы, крестьяне, арендаторы, выходим... Ничего, не обижает нас арендою. Сходно платим.

— С самою поладили?

— Где ей! Мы ее только и видели, как условие подписывали. С Ариною покончили. У нее Арина председатель.

— Действительно, председатель!

Приглядевшись к быту Правослы, я убедился, что эта женщина — главная пружина здешней жизни, по крайней мере, внешней.

Отношения у нее с хозяйкою своею были пре-
странные. Это — не прислуга. Я никогда не
видал в доме Виктории Павловны, чтобы она
сама или гости ее звали себе на помощь при-
слугу вообще, не говоря уже об Арине Федо-
товне. Ей все, кроме самой Бурмысловой, го-
ворили «вы» и обращались с нею, как с рав-
ною. Барышня говорила Арине «ты», но и та
ей «ты» говорила — на правах старой няни.

— Я ведь у нее на руках росла, — извиняла
Виктория Павловна.

Однако, это — и не друг, но крайней мере,
не пылкий, самозабвенный друг, готовый, как
низший, положить голову за высшего. Той
теплой общности, мягкого инстинктивного
родства, какими обычно отличается дружба
сжившихся между собою пожилых нянь и их
питомиц, между ними решительно не чув-
ствовалось. То были две натуры, согласные и
привычные жить параллельно, но весьма со-
мнительно, чтобы они когда-либо могли, да и
пожелали слиться в одну линию, учредить те
сентиментальные полурабство, полутира-
нию, взаимность которых между людьми на-
зывается дружбою и определяется как «одна

душа в двух телах».

— Вот мы с вами толковали как-то раз о феминизме, — смеясь, сказала мне однажды Виктория Павловна. — Вы еще настаивали, что он — движение искусственное, наносное, раздражительное. Поговорите с моею Ариною Федотовною. Уж на что черноземнее? И про феминизм, и про женские права, конечно, никогда ни краем уха не слыхала. Баба! А между тем другой такой феминистки, более последовательной и убежденной, — я вам голову на отсечение даю, — вы не найдете во всей России.

Черноземная феминистка благоволила ко мне более, чем ко всем другим гостям, чему способствовали, конечно, высокие рекомендации о моей особе, нашептанные Ванечкою, и переданные через него деньги. Со всеми степенная и молчаливая, меня она удостаивала даже — сама заговаривать со мною и посвящать меня в интимности быта Правослы. Подойдет, бывало, неслышными шагами, станет насупротив, положит локти между бюстом и животом и долго молчит, глядя в сторону, мимо меня, и хитро, неприятно улыбаясь краси-

вым, жирным лицом. Потом вдруг крикнет, как утка:

— Бурун вчера опять предложение делал.

— Да неужели? — притворно удивляюсь я:

Бурун, по этому самому трагическому случаю, плакал мне в жилет целое утро.

Арина Федотовна торжествующе кивает головою:

— Пятое. Отказала. Теперь топиться пошел.

— И вы так спокойно об этом?

— Не утопится. Он, ведь, — всегда: как барышня скажет ему: «Не люблю», — сейчас на пруд — и топиться. Ходит вокруг пруда и воду щупает: мокрая, аль нет? Ну, известно, мокрая, холодная... что приятного? Не утопится и домой придет. А один раз уже по колено влез-было. Хорошие штаны испортил.

— Отчего вы его так не любите?

— Я его не люблю? Бог с вами! За что мне его не любить? Смешно только, что человек никакого характеру не имеет.

— Вы бы лучше, Арина Федотовна, уговорили барышню, и в самом деле, за него замуж пойти?

Она презрительно крутила губами и возражала:

— За такового-то широкополого?!

— Да, ведь, надо ей замуж-то выйти! Пора!

— И без надобности, батюшка, живем, да Бога хвалим. Радость, что ли, замужем-то? Мужчинишки— они пьяницы.

— Ну, не все же, Арина Федотовна.

— Все. Только который потайной, он из пузыря суслит. В кармане пузырь имеет. За обедом там, либо завтраком — ни Боже мой! Не пью, в рот не беру. А после — в-одиночку, запрется в кабинет или в какое недостойное место, да из пузыря свою препорцию и высуслит. Знаю я! Сама была замужем. Натерпелась.

— Да, ведь, этак вы, Арина Федотовна, с барышней свой род человеческий прекратить желаете!

Она лукаво улыбалась и говорила:

— Ну, уж и прекратить. Так вот оно — оттого, что девки да вдовы дуром замуж выскакивать не станут, — так вот и прекратится.

— Да как же иначе-то, Арина Федотовна?

Она отшучивалась:

— Наша сестра хитра. Устроится.

В тихом и здоровом раздольи Правослы я начал писать большую вещь, и мне не хотелось уезжать, покуда я ее не кончу, хоть в общих чертах. Когда именинная публика похлынула, остались гостей у Бурмысловой четверо: я, Бурун, студентик Ахметов, да некто Иван Афанасьевич — пожилой, уже порядочно за пятьдесят лет, красноносый господин алкоголического типа, лысый и весьма обдерганный, в одеждах далеко не брачных. Признаюсь, я только теперь его и заметил.

— Кто сей? — спросил я Викторю Павловну.

— Несчастный... — равнодушно отвечала она. — Был архитектор или кто-то в этом роде. Теперь — сами видите: Иван Афанасьевич, которому, как Мармеладову, некуда идти.

— Фамилия-то его как?

— Э, он без фамилии...

Арина же Федотовна выражалась о нем кратко, но энергично:

— Прощелыжина!

И, помолчав, прибавляла:

— В шею бы его!

Однако в шею Ивана Афанасьевича не гнали, а стороною я дослышал, что вот уже пятый год, как пришел он, после аукциона крохотного своего именишка, в Правослу, приютился, с разрешения Виктории Павловны, на три дня в старой бане, да так уже и не выехал, сел на шею правослянок тихим и бесполезным приживальщиком. Виктория Павловна никогда с ним не разговаривала, — по крайней мере, при мне. Да и он как будто чувствовал себя при ней очень неловко, заметно избегал часто попадаться ей на глаза и, слышав ее голос, обыкновенно спешил ступаться, как бы расточаясь в воздухе. Арина Федотовна обращалась с Иваном Афанасьевичем грубо и с язвительностью:

— Пропади мои глаза, — слышал я однажды под окном ее слегка гнусавый, насмешливый голос. — Чтоб мне не разогнуться, коли я еще в дворянки не выйду. Потому, как я полагаю, Афанасьич, не иначе затем ты подле нас, сирот, околачиваешься, чтобы меня, вдову, замуж взять. Что-ж, сватай, — пойду. Как только увижу, что тебе сутки до смерти остались, так и пойду. Чтобы, значит, тебя, сокро-

вище ненаглядное, в могилку, а чин твой дворянский — на мне...

Он, впрочем, никому не мешал. Я видал его очень редко, ибо он был великим любителем певчей птицы и по целым суткам пропадал в лесах, ставя западни и следя за силками. А, между прочим, кажется, и за грибницами и ягодницами, ибо оказался сластолюбив, как обезьяна. Однажды он попался нам с Буруном в роще за садом с весьма юною деревенскою девицею, почти подростком, в позе нашептывания более, чем недвусмысленного. Девица взвизгнула и скрылась в орешнике, подобно лесной фее, а Иван Афанасьевич, как ни в чем не бывал, приятно нам улыбнулся и рекомендовал:

— Это Дашенька-с.

— Очень интересно слышать, — фыркнул Бурун. — Только как же вы это так, а?

— Послушайте, — заметил я старику, — ведь с такими похождениями недолго и в уголовщину попасть.

Он завертелся, заухмылялся, затоптался на месте.

— Хи-хи-хи. Дашенька не скажут. Я им пла-

точек подарю, — они и не расскажут.

— Вот вам и трущобный Карамазов, — сказал я Буруну, когда мы отошли. — Половина картины есть.

Он вздохнул.

— Другую-то где искать прикажете?

Студентик, малый неглупый, развитой, много читавший и, как видно, работяга, — сильно переутомился зимою и теперь, давая себе драгоценный отдых, жил чисто животною жизнью.

— Жру, сплю и лобызая Анистью! — восторгался он. — Месяца два подобной сарданапализации, — так мне потом на зиму и стипендии не надо: проскриплю до весны, питаюсь собственным туком.

— А этика? — шутил я. Он же весело возражал:

— Этика будет потом. Не хочу этики. Не может быть у меня сейчас этики. Я себя на два месяца в скоты отдал. А у скотов этики не бывает.

— Ай-ай-ай! да, ведь, вы же толстовец?

— Зимою. Но сейчас — non possumus. Не только толстовцем, но самим Толстым обе-

щайте меня сделать, — не желаю. Хочу быть не Толстым, но толстым. О, радость! совершенствуюсь!! дохожу!!! Уже и каламбуры у меня стали скотские! А в воздухе тянет пирогом и горелым салом, что предвещает мне от Анисьи вкуснейшую сладёнку... Летом — сладёнка, а зимою — этика.

И веселый чудака бежал в припрыжку на кухню, вопия на бегу:

— Анисья! *delicium generis humani!* утешение рода человеческого! изложи мне кратко, но ясно: что чего, по-твоему, лучше, — этика ли сладёны или сладёна этики?

Необъятная Анисья дружелюбно улыбалась ему лицом, похожим по цвету и форме на солнце при закате, и возражала:

— Скажете тоже... бесстыдники!..

Новые гости не наезжали.

— Это всегда так бывает, — сообщила мне Арина Федотовна. — На именины нагонит народу, — посадить-положить негде. А потом с месяц — как ножом отрежет: никто и носу не покажет. Самое хорошее время, коли кто к нам на отдышку затеял. Покой!..

И, улыбаясь своею нехорошею улыбкою,

заклучала:

— Это «они» теперь по домам сидят, а жены их поедом едят. Не шляйся в Правослу! Не вози гостинцев Хлипсе!

— Что-о-о?

— Это барышню так дамы по уезду ругают. Дурны потому что. Хлипса! Нашли похожую! Барышня наша — огурчик зеленый. Вот они — так Хлипсы. Оттого от них и мужья бегут.

— Да не Хлипса же, Арина Федотовна. Калипсо, может быть? Нимфа такая была, Калипсо звали.

— Вот, вот. И нимфою ее тоже обзывают. А какая она нимфа? Сами нимфы. Злющие. Вон — Ванька мой из города намедни приехал, сказывает: Петру-то Петровичу Аннушка евойная баку напрочь оторвала... Не жена — полюбовница, а на лик посягает. Дурак Петр Петрович-то, развратник старый. Да и все дураки, — неожиданно резюмировала она.

— И развратники? — невозмутимо спросил я, уже привычный к ее выходкам.

— И развратники.

Ванечка приезжал каждую субботу, аккуратный, как почтарь, всегда обремененный

посылками, пакетами, цветами от городских друзей Виктории Павловны. Мне этот парень нравился. Смышленный, знает себе место, держится на нем с достоинством. Поразительно было сходство его с матерью, но лицо его имело гораздо более мягкое и симпатичное выражение.

— Арина Федотовна! — вопиял иногда наш шальный студияз, с комическим ужасом, отмахиваясь от нее руками, — оставьте, не смотрите на меня! Не улыбайтесь! «Я не люблю иронии твоей — оставь ее отжившим и не жившим!» Я не хочу! Вы улыбаетесь, как сатирик. Под вашу улыбкую я всегда чувствую себя зеленым ослом. Это ужасно неприятно видеть улыбку на лице человека, который заведомо тебя умнее. Пусть мне улыбается Ванечка. У него лицо и улыбка ласкового юмориста. Ванечка! вы Джером-К.-Джером улыбки! Вы — Стерн! Вы — Варламов!.. По сему случаю, изобразите нам, как городской поросенок резвится на лоне природы. Что это? Вы, кажется, изволите меня передразнивать? После моих комплиментов, поведение ваше — по меньшей мере, неблагоприятно...

Подражательный талант Ванечки, изумивший меня еще по дороге в Правослу, теперь, когда парень перестал меня конфузиться, и, что называется, развернулся, доставлял нам огромное удовольствие. Комизм бил из него ключом — непроизвольно. Стоило Ванечке начать какой-либо самый обыкновенный рассказ, — ну, хоть бы: — еду я деревнею. Колодец. У колодца очеп длинный-длинный. На очепе ворона сидит, задумчивая такая... А внизу баба с ведрами стоит и, — Бог ее знает с чего — так-то ли на ту ворону жалобно смотрит...

И мы хохотали до боли в боках. Потому что Ванечка, рассказывая эти пустяки, успевал с быстротою молнии мимировать нам и нелепый, долговязый изгиб очепа, и задумчивую ворону, и разжалобившуюся бабу, и самого себя, как он видит всю эту картину, трясаясь в тележке по немощенному деревенскому косо-гору.

Виктория Павловна любила эти спектакли чрезвычайно. Бывало, вся пунцовая сделается от смеха и только машет Ванечке рукою:

— Ой, Ванечка, уйдите! Арина Федотовна,

убери его! Так, ведь, и до истерики можно дойти...

— Вам дурно? у вас бывают истерики? — отрывисто и патетично восклицал Ванечка, потирая руку об руку, суча на месте ножками и как-то необычайно деловито поджимая губы. Виктория Павловна снова закатывалась хохотом.

— Клавдия Сергеевна, вылитая Клавдия Сергеевна!.. Это он докторшу нашу, врача земского изображает, — поясняла она.

— Вам бы не у Петра Петровича в конторе сидеть, а в актеры пойти, — говорил я Ванечке. Он отвечал:

— Что вы-с! где мне?

Но глаза у него так и блестели.

А Виктория Павловна говорила:

— Боже мой, какая хорошая вещь смех! Как я люблю смех! Кажется, нет ничего на свете лучше и дороже смеха. Какой вы счастливец, Ванечка, что Бог дал вам такой дар. Сколько удовольствия можете вы доставить людям. Ведь смех — это все равно, что солнце...

Ванечка тупился и возражал:

— Помилуйте-с...

Словом, время проходило бы мило и приятно, если бы в бочку меду не подливал ложек дегтю злополучный Бурун.

Ужасно положение всякого нечаянного и не желающего конфиденции конфиденнта, но конфиденты в любви, да еще в несчастной — злополучнейшие люди в мире.

Бурун удостоил меня чести наперсничества и надоедал мне страшно. Я знал каждое слово, которое сказал он Виктории Павловне, и что она ему сказала, и какой задний смысл должен скрываться в этих словах, и что он ей теперь на это скажет, и...

— Как вы думаете, поразит ее это или не поразит?!

— Поразит! — храбро ручался я, втайне скрежеща зубами.

— Хорошо. Но что она может ответить мне на это?

— Батенька! да почему же я знаю?

— Ах! ну, поставьте себя на ее место!

— Ей Богу, милый человек, никогда девицею не был, и предложений мне никто не делал.

— Да должны же вы уметь воображать! Вы литератор. Вообразите себя Викторией Павловной...

— Не воображайте! — орал, внезапно врываясь в комнату, студиоз, — он вас еще целовать бросится!

— Шут! — рычал Бурун.

— А вы... сверхчеловек!

Чудак убежал, и вскоре к нам доносился от кухни дикий дуэт его и Ванечки. Теперь они были помешаны на глупейших стихах и еще глупейших мелодиях и по целым часам орали архикозлиными голосами какие-то чудовищные импровизации на мотив немецкой шансонетки — «Mitten an der Elbe schmmmt ein Krokodill»:

*Две больших собаки,
А у них хвосты...
Отрастил я баки,
Отрастишь и ты!*

— Так, что же вы ответили бы на ее месте? — продолжал пиявить меня Бурун.

— Подите к чёрту! — хотел бы ответить я, и на своем, и на Виктории Павловны месте, но — на Буруна глядеть страшно: не человек,

а живое «Сумасшествие от любви». Вот-вот заревет на весь дом неточным голосом, начнет биться о стену головою, за револьвер схватится... Я побеждал язвительный позыв и говорил кротко:

— Конечно, ответил бы «да» или там... ну, одним словом, подал бы вам надежду...

— Вот-с! Не правда ли? Не правда ли, что так должна поступить всякая честная и благородная женщина?

— Всякая честная и благородная.

Тогда он страшно таращил на меня свои великолепные глаза, косматил волосы и убитым голосом возражал:

— А если вдруг — она не честная и не благородная?

Затем погружался в молчание, — этак часа на полтора. Сидит и молчит. Молчит и вздыхает. Премилое препровождение времени. А за окном звенит веселый голос студента:

— Анисья! Ты сверхчеловек или подчеловек?

— У! бесстыдник!

— Всего приятнее, — жаловалась мне Вик-

тория Павловна, — что он теперь ревновать меня вздумал. По какому праву, неизвестно. Но разве эти герои романов о правах себя спрашивают? Впрочем, я тут немножко сама виновата. Вылечить его хотела. Ведь у него какая логика? — Вы меня не любите? — Не люблю. — Но и никого не любите? — Никого. — В таком случае, любите меня! спасите меня! я не могу жить без вас! вы должны принадлежать мне! вы не имеете нравственного права мучить меня своим эгоизмом! Вы губите не только меня, но и мой талант! Вас вся Россия проклинаяет!.. Словом: коли ты — место пусто, так объявляю тебя своим владением. Ну, меня зло взяло. Я и скажи ему, со злато: ну, а, если место не пусто? тогда что? образумитесь вы или нет?.. — Я вас, говорит, тогда презирать буду.

— За что? — Не знаю, только чувствую, что буду презирать.

— Это очень, говорю, великодушно с вашей стороны — презирать свободную, ничем вам не обязанную женщину за то, что она принадлежит не вам, а другому. Итак, меня вы будете презирать. А себя как устроите? —

Уеду, забуду вас, уйду в работу, в искусство. — Превосходно!.. Ну, если так, знайте же: все я вас дурачила, за нос водила, — у меня есть любовник... Даже зашатался... — Кто?

— А это уж не ваше дело. — Вы на себя лжете! Имя! — Не ваше дело... И ничего он не уехал, и ничего не изменилось, а только теперь он по-новому мне сцены устраивает:

— Признайтесь: лгали вы тогда или нет? — Нет не лгала... — Кто же он? — Не скажу. — Тогда я не верю: вы лгали. — Ну, лгала... — Дьявол вы! я вас изувечу!.. Миленькие разговоры! приятнейшее положение!.. И следить стал. Любовника этого самого моего ищет. Куда я, — туда и он. За всеми наблюдает, — как я что кому скажу. Поймать на слове, на взгляде хочет. Все норовит вдали, да в тени стать... глаза инквизиторские... и жаль его, и глупо, и досадно! Не люблю, когда накладывают руки на мою свободу.

— Цепи любви, — извинял я.

Она покачала головою.

— Это не любовь. Это самолюбивая дурь в нем разыгралась. Вот — растай-ка пред экстазами этими! поверь-ка этим эффектным чув-

ствам! сойдишь-ка с таким красивым сокровищем! — ведь, — раба, навеки раба... А он еще из лучших мужчин... Шутка ли? Уже до проклятия России договорился. Россия меня проклянет за то, что я господину художнику Буруну решительного свидания не назначаю. Ну, а если назначу, благословит меня Россия?

Она искусственно рассмеялась.

— Вы вот как-то раз насчет моего темперамента прошлись, — сказала она сквозь зубы. — Право же, я не ледышка и не деревяшка — напротив, слишком, чересчур напротив. И сознаюсь вам начисто: этот проклятый темперамент иной раз даже тянет меня к Буруну. Он красивый, страстный, увлекательный. Глуп немножко, о проклятии России много говорит, — зато бесспорно талантлив. А уж красавец!.. Право, я не раз была готова броситься ему на шею: люблю! твоя!

Я в недоумении развел руками:

— Тогда за чем же дело стало?

Она нетерпеливо стукнула рукою в грудь.

— Да, ведь, понимаю я, что это — не любовь, а тело поганое зовет! Душа молчит: чужой он для нее; а тело обрадовалось, своего

почуяло, навстречу криком кричит. И не бывать тому, чтобы оно меня одурачило, чтобы я за миг свиданья свободу свою продала и красивому павлину себя поработила.

Ее позвали.

— Смотрите, — сказал я ей вслед. — Очень уж храбро вы муштруете это бедное тело и издеваетесь над ним. Не отомстило бы оно вам за себя.

Она остановилась, взглянула на меня, в пол-оборота, странным взглядом — светлым и лгуцим и загадочным, и как бы наглым.

— А почему вы думаете, что я муштрую и издеваюсь? А только... телу — своя страсть, а душе своя. Смешивать эти два чувства не хочу. Кощунство это.

— Хитро все это очень, дорогая, тонко. А где тонко, знаете, там и рвется.

— Вот-вот. Поэтому-то я тонко-чувствительных драм и не люблю. Темперамент — дело простое, грубое. И, если покоряешься ему, покоряйся просто и грубо, без этих возвышающих обманов, которых ищет Бурун. А если чувствуешь, что любви нет, но темперамент тянет тебя к ее подлогу, к возвышаю-

щим обманам, — надо бежать. Бог с ним, с этим сказочным принцем, за которого проклинает Россия... Он красиво говорящий рабовладелец. Я же хочу быть сама себе госпожою. Не возьму себе господина. Хочу, даже отдавшись, чувствовать себя госпожою, а не мужчину — завоевателем каким-то...

VI.

Бурун ходил сам не свой. В confidentстве он, слава Богу, немножко поостыл и даже как будто в чем-то от меня таился. В последние дни он свел дружбу с красноносым Иваном Афанасьевичем и, по всей вероятности, перенес излитие чувств своих в недра его более благодарного и отзывчивого внимания. Отношения между ними двумя установились очень дикие. Точно герой и лакей-наперсник из старинной комедии, Бурун обращался с Иваном Афанасьевичем чертовски свысока, как великан с обласканным пигмеем. Иван Афанасьевич раболепствовал, вился ужом, говорил со слово-ериками. Он казался влюбленным в Буруна, льстил ему безбожно и, куда бы тот ни двинулся, Иван Афанасьевич уже

тут, как тут, улыбающийся, готовый услужить. Сносить обид от кумира своего ему приходилось не мало, ибо кумир взял довольно скверную привычку, — после каждого столкновения с Викторией Павловной срывать сердце на своем добровольном Санчо-Пансо. Дважды имел я неудовольствие присутствовать при этих сценах и должен сказать по совести, что Бурун вел себя глупо и отвратительно, а Ивана Афанасьевича я нашел далеко не столь нежно расположенным к кумиру втайне, как он изображает явно. В философическом терпении, с каким он принимал грубые издевательства художника, чувствовался оттенок тайной насмешки.

— Ладно, мол. Ругайся, ерунди над бедным человеком. Самому, должно быть, влетело от высшего начальства по первое число, — вот ты и измываешься.

Я уже говорил, что Иван Афанасьевич усердно волочился на деревне и, сколько успевал при часто нетрезвом виде и ветхих ризах своих, занимался собою. Эту-то слабость Бурун и ставил, по преимуществу, мишенью для своих остроумий. Так он уверял, будто,

отправляясь на этюды, больше не берет с собою спичек, потому что закурить папиросу можно и о пылающий нос Ивана Афанасьевича. Тот хихикал.

— Что же делать-с? Огненный нос имею, точно-с, не смею спорить: пламя. Болезнь печени знаменует и пристрастие к спиртным напиткам-с. Это оттого, что я уже старичок-с и водочку пью. А когда был молоденький, вот, как вы-с, и водочки еще не пил, то и я имел носик аккуратный — бледненький-с и греческой формы-с.

— То-есть, на манер грецкого ореха? — глумился Бурун.

Мне сдавалось, что, при всем видимом добродушии Ивана Афанасьевича, шуточки Буруна уязвляют его в самое сердце, и обижается он ими гораздо глубже и больнее, чем позволяет себе обнаружить. Впрочем, иногда он и огрызнуться умел, — и даже, пожалуй, не без тонкой злобности.

— Видел я вчера твою Дашеньку, — начинал Бурун. — Уж и вкус же у тебя, Афанасьич. У нее губа заячья.

— Хи-хи-хи. Это ничего-с. Это называется: в

три поцелуя-с.

— И косит. Один глаз на нас, другой в Арзамас.

— И прекрасно-с. Стало-быть, когда целуемся, по сторонам видим: не идет ли кто, не несет ли что.

— Ах, ты, лысый чёрт!

— Всеконечно-с, что лысый. Оттого, что лысый да старый, и за Дашенькою хожу-с. Кабы у меня такие кудерки вились, как у вас, красавца, орла нашего, так и я бы на Дашенек-то — тьфу, и ножкою растереть. Потому что кудрявый, — он кудрями тряхнул, сокольным оком сверкнул, свистнул, гаркнул, — так тут, по щучьему веленью, по евоному прошенью, все царь-девицы в теремах и преклоняются пред ним, траве подобно. Ну, а коль скоро ты не более, как лысый чёрт, то и заячьей губе угоди да поклоняйся.

При неудачах «кудрявого» Буруна у правосленской царь-девицы, наивные, а может быть, и рассчитанные речи старика приобретали очень ядовитый смысл, и неудивительно, если художник, — вместо того, чтобы отвести травлею Ивана Афанасьевича душу и

развеселиться, впадал в еще злейшую хандру.

— Ну, поехали наши, замолол! — хмурился он. — К чёрту тебя с твоим юродством. Айда в лес!.. Тащи мольберт, ящик, зонтик. Забирай сетки свои дурацкие...

И исчезали куда-то на целый день. Птиц и этюдов они приносили мало, а возвращались домой поздно и, довольно часто, оба выпивши.

Дружба эта почему-то очень не нравилась Виктории Павловне, а Арина Федотовна прямо возмущалась ею до бешенства, и — стоило ей увидеть Буруна с Иваном Афанасьевичем вместе — она вся наливалась кровью, как вишня, летела к Виктории Павловне и долго и возбужденно шептала ей. Та хмурила брови, недовольно пожимала плечами и громко отвечала:

— Да оставь их... Пусть... Какое мы имеем право?.. Ах, не все ли равно...

Однажды я застал в саду, в надпрудной аллее, Викторю Павловну в очень строгом и холодном разговоре с Иваном Афанасьевичем. У нее был вид королевы, дающей выговор виновному вассалу, у него — вид побитой

дворняжки. Когда я подходил, до меня долетели слова Виктории Павловны:

— Вы ему и Феню успели показать...

И — жалобный ответ красноносого господина:

— Матушка, смею ли я? помилуйте...

Боясь быть лишним, я повернул в другую сторону. Виктория Павловна видела меня, но не окликнула. Очевидно, я и впрямь был ей некстати. Впрочем, в последние дни, она, вообще, стала какая-то странная — не то сама не своя, не то уж слишком в себя углубленная. Что-то неискреннее явилось в ней: взгляд косяй, фальшивый, порочный; смех неестественно звучит какою-то сухой, возбужденною страстностью. Губы сухие, лихорадочные; глаза запали, полны острого, напряженного блеска. Не то больна, не то влюблена... Да в кого, чёрт побери? в кого?

Тем же самым вечером, сумерничаем мы с Буруном на любимой его скамье над прудом. Он* по обыкновению, изливается. Я, по обыкновению, слушаю его в пол-уха, гораздо более интересуясь первыми золотыми блестками, брошенными на воду месяцем сквозь седину

спящих раки. И вдруг мой бедный Ярб оборвал свои трогательные жалобы на полуслове, привстал, воззрился...

— Что вы?

— Там... за прудом... кто-то ходит... в белом...—удивленно бросал он отрывочные слова, вглядываясь в сумеречную темь. Я взглянул: действительно, за ракетами легко и быстро скользило большое белое пятно.

— Да это Виктория Павловна, — сказал я.

— Виктория Павловна? — пробормотал Бурун изменившимся голосом. — Не может быть! Она давеча, после чая, простилась и к себе ушла, сказала, что больше не выйдет. У нее голова болит... Она, вероятно, давно уже в постели... Что ей там, в саду, делать?

— А вот окликнем. Виктория Павловна!

Пятно приостановилось было, но потом полетело еще быстрее, уходя вдоль по берегу пруда вглубь сада — туда, где он, через ветхую изгородь, соединялся с опушкой рощи. Бурун не выдержал и, со всех ног, бросился вдогонку, вопия, как зарезанный:

— Виктория Павловна! Виктория Павловна!

— Ну? — послышался издадала недовольный голос.

— Это вы?

— Нет, привидение.

— Вы в лес? Так поздно? по росе?

— Я босиком, — раздалось лаконическое возражение в тоне очень неласковом.

— Да как же? куда же вы одни?

— А что мне станется? Волки что ли съедят? Теперь лето, они сытые.

— Да все-таки... Можно мне с вами?

Виктория Павловна ответила не сразу.

— Идите, пожалуй.

В голосе ее звучала почти нескрываемая досада человека, которому помешали в момент, когда он того менее всего ожидал и желал. Бурун побежал к ней вокруг пруда.

— А, впрочем, нет, — продолжала Бурмылова, — вы правы: темно и сыро. Действительно, не стоит идти в рощу. Еще на гадюку наступишь, либо глаз себе выколешь. Не гонитесь, Бурун. Я лучше сама к вам приду. Подождите.

Она и впрямь была босиком, в какой-то белой распашонке, и куталась в светлый шелко-

вый платок.

— Уговор, Бурун: рук целовать не лезьте, — сказала она, садясь между нами, — потому что высвободить их из-под платка не могу: я без лифа... ужас, что сегодня за духота.

И точно: от нее так и пыхало разгоряченным телом, жарким, молодым дыханием. Глаза ее, сквозь сумерки, сверкали странным, жутким огнем. Что-то острое, хищное было в неопределенной улыбке, с которою вглядывалась она в быстро темнеющую ночь.

— Какою вы сегодня, однако... — начал я.

— Что? — спросила она резко, сторожко, подозрительно.

— Вакханкою. Я вас такую еще не видал.

Виктория Павловна засмеялась трепетно и фальшиво.

— Влюблена, Александр Валентинович, — возразила она с шутовского, опять-таки напускною, неискреннею ужимкою.

А Бурун сердито ворчал:

— Куда это вы, вакханка, стремиться изволили, в таком милом неглиже? вы вот что лучше нам расскажите.

— Боже мой, — все так же дурашливо и

притворно отвечала она сквозь прежнюю досаду и скуку. Вот уж и нескромно-то спрошено, и... глупо, преглупо. Куда? куда? Говорю же вам, что влюблена. Ну, стало-быть, бежала на любовное свидание. Куда же еще?

Бурун только рукою махнул. Виктория Павловна продолжала насмешливо:

— Он ждет меня, пылая страстью, я, как газель, лечу в его объятия... и вдруг — вы! Ах, как некстати! Ах какой удар для двух любящих сердец... .

Овладевая собою, она все более и более входила в свой обычный тон полупризнания, полудурачества, в котором так трудно бывало разобрать, где правда граничит с обманом, действительность с ролью.

— Не водите вокруг такими страшными глазами, милый Бурун. Уже темно, и вы его не увидите. К тому же он у меня мастер прятаться. Обшарьте хоть все кусты, — не найдете: сквозь землю ушел. Он у меня дьявол, Бурун. Веселый, смешной плут-дьявол.

— Будет издеваться-то, — угрюмо отозвался художник. — Клеплете на себя невесть что. Сами знаете: шутка шутке рознь.

Виктория Павловна залилась нехорошим, злым смехом, с вздрагивающими страстным возбуждением нервными нотами:

— А вдруг я не шучу? Будто бы вы уж так уверены, что я шучу? Александр Валентинович! Вы как думаете? Шучу я или нет?

— Бог вас знает, — с самому себе неожиданною искренностью ответил я. — Во всяком случае, если и впрямь на свидание спешили, — ночьку выбрали на диво. Самая романтическая, обольстительная, оперная ночь. «В такую ночь она поверила ему».

— И отлично сделала, — почти сердито буркнула Виктория Павловна.

— Кто же вам мешает? — попытался я поддержать шутку. — Поверьте и вы...

— Кто? — перехватила она реплику, с коротким смехом, — как кто? Да вы помешали.

Я не нашелся, что возразить. Бурун нелепо скрипел горлом, стараясь изобразить саркастический смех.

— Так вы ступайте на ваше свидание, ступайте, мы не задерживаем, — выговорил он суконным языком. Виктория Павловна нетерпеливо шевельнулась на месте.

— Вот что французы называют желтым смехом, — колко заметила она и зевнула. — А который-то теперь час?

Я взглянул на часы:

— Двадцать шесть минут одиннадцатого.

— Ого!

Она резко вскочила на ноги и распрощалась с нами бойким, шаловливым поклоном:

— Милорды, покойной ночи.

— Все-таки, на свидание? — улыбнулся я.

— Нет, — отвечала она, уже на-ходу, — вы меня расхолодили. Заряд пропал даром.

— Извините, извините... — скрипел Бурун.

— Ничего, — хладнокровно возразила Виктория Павловна, — Бог простит. Наше время не ушло. Наверстаем, что пропустили. Еще раз, — adios, caballeros!

— Стало-быть, прямо в постельку?

— Спать, спать, спать, — отозвалась она, мелькая белым платьем по аллее.

— А, может-быть, задержитесь по дороге? — насильственно и нагло крикнул Бурун.

— Может-быть, и задержусь, — откликнулась она, уже исчезнув за деревьями, с такою же насильственною наглостью, с таким же

неестественным и злобным весельем. Бурун так было и рванулся за нею. Я едва успел поймать его за рукав.

— Перестаньте вы... Что это, право? Гимназист вы что ли?

У него руки ходили ходенем, губы прыгали, зубы стучали... А издали, от дома, помчались к нам широкие, порывистые звуки знакомого контральто, — Виктория Павловна запела милую, лукавую песню Леля из «Снегурочки» Римского-Корсакова:

*Повстречался девкам чуж-чуженин,
Чуженинушко, стар-старичек...
Девки глупые, с ума вы что ль
сбрели?
Что за радость вам аукаться?
Что за прибыль ей откликнуться?
Вы б по кустикам пошарили...
Лель мой, Лель,
Лели, Лели, Лель!*

Голос ее страстно дрожал, отчетливо посылая задорные слова сквозь душный сон безветренной, томящей ночи. Я оглянулся: пруд

под лунным столбом не шелохнется, бурчат лягушки, в светлом небе чуть мигают белесые звездочки, сад дышит донником, боли-головою... Сладострастное, язвительное пение это...

— Хмелевые ночи-то теперь, — неожиданно для самого себя прошептал я, непроизвольно откликаясь на общее настроение, выражая то, что зазвучало во мне самом, в ответ и луне, и пруду, и душному вечеру, и прекрасной певице — Хмелевые, Ярилины ночи...

А Бурун рядом корчится, как бесноватый.

— Дразнить меня? Издеваться? Ну, погоди же ты, чёрт! погоди!

Оставил я его злым и взбешенным, как никогда, и, признаюсь, с предчувствием, что на завтра он устроит своей мучительнице какую-нибудь пренелепую и жестокую сцену. Однако, какими-то чудесами день прошел, сверх ожидания, спокойно. Впрочем, Буруна с утра и до позднего вечера не было дома. Уже в темных сумерках, сидя на дворовом крыльце, я за приметил их, — Буруна и Ивана Афанасьича, — возвращающимися из дальних странствий. На приветствие мое Бурун

буркнул что-то неразборчивое и прошел мимо, не изъявляя охоты к дальнейшей беседе. Иван Афанасьевич хромал, кряхтел и, когда я разглядел его ближе, оказался весь мокрый и в каком-то илу, отделявшем болотный дух, далеко не благоуханный.

— Что с вами? — удивился я.

Он пропищал жалостно:

— По несчастью моему-с... В ручей свалился... В Синдеевский-с...

— Как вас угораздило?

— Да уж вот-с... неловкость-с...

— Не ушиблись?

— Самую малость. Но промок очень... При этом, напугался...

— АФФФанасьич!!! — почти свирепо позвал его Бурун в окно своей комнаты.

— Много пил сегодня этот Рафаэль, — подумал я.

— Иду уж, иду-с, иду... — заторопился Афанасьич. Мне слышно было, как он ворчал на ходу:

— Аника Воин! Вот уж истинно Аника Воин.

— Подрались они что ли между собою? —

задал я себе мысленный вопрос. Или их прибил кто-нибудь?

Ночью разыгралась глупейшая и сквернейшая история.

Я уже ложился спать, когда в дверь ко мне постучали не особенно осторожную рукою, и, вслед за стуком, с треском вошел Бурун: сильно подконьяченный, волосы — копною, глаза — в крови, и при этом — то деланное опасное спокойствие человека, притворяющегося трезвым, которое является обычным предисловием к скандалу.

— Извините, коллега, — хрипло заговорил Бурун — Я вам мешаю спать, коллега? Но ночь так прекрасна... можно ли спать в такие ночи? Ночь любви! ночь упоения!

Amis, la nuit est belle...

Тюр-лю, тюр-лю, тюр-ли-ти-ту!

Запел он во все горло и грузно сел на мою кровать.

— Тише вы, безумный человек! — сказал я с досадою, — перебудите весь дом. Виктория Павловна проснется.

— Виктория Павловна?

Он злобно захохотал и, хитро подмигнув,

оскалил зубы, белые и острые, как у собаки... Ужасно мне почему-то вдруг поколотить его захотелось.

— Виктория Павловна? Хе! да зачем же ей просыпаться, коллега? Она и так не спит. Хе!

— Тем хуже для вас. Значит, она вас слышит, и, если вы думаете таким способом ей понравиться...

— Не слышит. Не слышит она ничего, коллега. Не слышит и не услышит. Хотя не спит. А? Что? загадка, коллега? Не спит, а слышать не может. Ибо—

Amis, la nuit est belle.

Тюр-лю, тюр-лю, тюр-ли ти-ту!

— А мы с вами фофаны-с! фофаны! фофаны!

— Говорите за себя, мой друг, — посоветовал я, нельзя сказать, чтобы с дружелюбною кротостью.

Он встал с кровати.

— То-есть, виноват: это я фофан. Я! один! Но, коллега...

— Послушайте! с чего вы меня коллегою-то звать вздумали? Какой я вам коллега? Никогда вы со мною так не разговаривали...

Бурун вытаращил на меня глаза и с глубоким самоудивлением сказал:

— А, ведь, и впрямь никогда... Зачем же это я?

— Затем, что вы, во-первых, того...

— Может быть, — покорно согласился он.

— А во-вторых, вы с какою-то трагедией пришли. И «коллега» этот в ролю вашу входит.

— В ролю? — переспросил он, дико и тупо глядя на свечу.

— Ну, да. Напустили вы что-то на себя. Играете, рисуетесь.

— Я рисуюсь? я?

Он хотел взбеситься, но вдруг, неожиданно для меня и себя, всхлипнул, и по лицу его градом покатались тяжелые, светлые слезы... Я так и вскочил:

— Алексей Алексеевич! батюшка!

Он опустился на колени и уткнул лицо в подушку. Насилу я его водою отпоил... Он схватил меня за руки, ломал их и жал, точно хотел вытрясти целый воз дружеского сочувствия.

— Александр Валентинович! у нее кто-то

есть! — шептал он совершенно детским, обиженным голосом.

— У кого? где? что еще случилось?

Меня опять начинала брать досада: пошлет же чёрт этакое трагического надоеду, Эраста Чертополохова, да еще в ночной час. Он продолжал шептать:

— Есть кто-то. У нее. У Виктории Павловны. Я сам видел, как вошел. Да! С террасы. Сперва тень по стене вычернилась, — под луною-то ярко, ярко видно... и она, как вор какой, по стене ползла... А потом пропала. И я слышал: дверь скрипнула. С террасы. И потом — на занавесках, мужской силуэт... Я видел.

— Вам просто почудилось, — сказал я. — Вы со своею влюбленностью уже до галлюцинаций дошли.

Он встал на ноги и убежденно замотал головою:

— Нет. Не галлюцинация. Не я один. Иван Афанасьевич со мною был. Тоже видел. Он теперь там сторожит, Иван Афанасьевич-то. На террасе. Я его поставил. Умри на стойке! Шмыгнет кто от нее, — вцепись! мертвой

хваткой возьми!

Я только руками всплеснул:

— Вы с ума сошли, Бурун! Ведь это шпионство, гадость. По какому праву?

— Без права-с, — злобно оскалился он.

— Нехорошо, Бурун! Некрасиво и даже...

— Подло-с? Договаривайте, договаривайте.

Подло?

— Что же мне договаривать? Сами договорили.

— Ну, и пускай подло-с. Наплевать мне.

Он овладел собою и опять стал притворяться трезвым.

— Из ваших слов, — насмешливо продолжал он, как-то ухарски и фатовски качаясь на каблуках, — усматриваю, что вы правы: мы с вами, действительно, не коллеги. Очень жаль. А ведь я вас на охоту было пришел звать...

— На какую там еще охоту?

— А вот — как мы молодца-то... того... выследим, да выкурим... Осрамлю-с! Ха-ха-ха! Недотрога царевна! Василиса Прекрасная!

— Бурун! — завопил я, — несчастный вы человек! Подумайте: в какую пакость вы лезе-

те? Ведь завтра будет нельзя вам руки подать!

Он полгал плечами.

— Как угодно-с. Вы оставайтесь при благородстве чувств, а я желаю удовлетворить свое любопытство.

— Хорошо любопытство! Это сыск, Алексей Алексеевич, — и очень скверный, бесправный сыск, а не любопытство.

— Мнения свободны-с, — возразил он с искусственным равнодушием.

— Да кого же, наконец, вы подозреваете? Кому там быть? Откуда? Мы с вами — здесь, вот они. Ивана Афанасьевича вы оставили на террасе часовым. Студент, я слышу, во дворе, учит Анисью петь. «Я все еще его, безумная, люблю». Ванечка — не в счет, да его, кажется, и нет дома: с обеда еще собирался на Осну, рыбу ловить. Вот вам и все наши мужчины. Будьте же, если не логичны, то хоть арифметичны. Возьмите на себя труд сосчитать.

Он упрямо мотал головою.

— Никого не подозреваю. Не знаю, кого ловлю. Но ловлю-с. И выловлю с. Да-с. Уж это будьте благонадежны. Тогда и полюбуемся, что за птица, узнаем нашей красавицы вкус...

— Вы пьяны, — оттого и безобразничаете.

— Нет-с, я не пьян. Я несчастен, — отвечал он, трагически стуча себя в грудь. — И, так как я несчастен, любопытно видеть человека счастливого. Кто? Мне главное: кто?

— Я вас просто не пущу.

— Меня?

Он вынул из кармана револьвер, выразительно тряхнул им и опять положил в карман.

— Видали?

— Что-ж вы — в меня стрелять станете? — возразил я — каюсь: довольно презрительно, — я в эти трагические щелканья револьверами не верю; кто револьвером много щелкает, редко стреляет.

Но он серьезно отвечал;

— Боюсь, что я достаточно пьян для этого.

И пошел к дверям. На пороге остановился, как актер, делающий уход, повернул ко мне лицо, белое, как плат, с трясущеюся челюстью, и говорит:

— А ведь я думал, что это вы у нее... Ну, счастлив ваш Бог...

И исчез.

А я понял, что человек этот приходил меня убить, и мне стало холодно.

Опомнившись от смущения, я почувствовал себя в весьма глупом просаке. Почудилось ли Буруну, в самом ли деле, кто есть у Виктории Павловны, — все равно: если эти два пьяные дурака будут топтаться у ее дверей, скандал выйдет всенепременно. А если, паче чаяния, художник прав, то при его трагическом настроении и револьвере в кармане, — пожалуй, и кровавый скандал. Надо пойти и увести их прочь, покуда не поздно... Я быстро оделся и вышел.

Комната Виктории Павловны и терраса, к ней прилегающая, на которой Бурун оставил сторожить Ивана Афанасьевича, выходили в сад, и от меня попасть туда можно было, либо пройдя целый ряд пустых и темных комнат, либо — был у меня выход из соседней комнаты прямо на черное крыльцо, а оттуда, через двор, в садовую калитку. Я так и отправился.

Ночь была, действительно, чудная. Луна светила ярко до бесстыдства, выбелив землю, как снег, и вычернив все тени на ней, как уголь. Соловьев слышно не было, но вдали

сотнями голосов кричали и урчали лягушки. На завалинке у амбарушки я заметил две нежные тени и, подойдя ближе, услышал знакомый, веселый и безалаберный лепет:

— О, Агнеса! Милая Агнеса! Потому что, вообще, ты — Анисья, но в такую ночь ты Агнеса. Я Гейнрих Гейне, а ты Агнеса. Толстая Агнеса. Понимаешь?

Ленивый голос возражал:

— Чего понимать-то? бесстыдники!

Юноша продолжал лепетать:

— Он хотел обмакнуть столетнюю сосну в кратер пылающей Этны и написать на небе золотыми буквами: «Люблю тебя, Агнеса». Сосною! Но здесь нет Этны, нет кратера. И нету столетней сосны, потому что Виктория Павловна давным-давно продала лес на сруб маклаку Ведерникову. Но мы затопим печку, Агнеса! затопим жарко, как стихи! И дай мне полено, хорошее, доброе, русское полено: желаю писать по небу поленом...

— Врущий ты — врущий и есть! — резонировал ленивый голос.

Я окликнул студента. Он весело подбежал ко мне.

Я чувствовал доверие к этому славному малому, знал, что он предан Виктории Павловне душою и телом и будет рад помочь мне расстроить нелепую затею Буруна.

Я отвел его от смущенной и поспешившей стусеваться Дульцинеи и изложил причину, вызвавшую меня бродить полуночным призраком... Студент расхохотался.

— Вот идиоты-то! Вот олухи-то царя небесного! — говорил он. — Да, ведь, это у Виктории Павловны Арина Федотовна. Мы с Агнесою сами видели, как она недавно туда прошла. Еще я удивился, что так поздно. Но Агнеса говорит, что Арина Федотовна едет завтра с утра на базар в Успенское, — так, вероятно, забыла спросить, что барышне купить надо.

У меня — как гора с плеч. Трагедия превращалась в водевиль.

— Ах, жаль — Ваньки нет! — хохотал студент, — с вечера закатился на Осну рыбу ловить. Вот бы он нам изобразил рыцаря этого, печального образа... Ба, да вот и сама Арина Федотовна возвращается...

Фигура ключницы, белая и преувеличенно крупная при лунном свете, шаром выкати-

лась из калитки и, проворно мелькнув мимо нас, скрылась в своем флигельке.

— Арина Федотовна! — крикнул ей студент, — все ли благополучно? Соглядатаев-то видели?

— Уморушка! — отвечала она на-ходу, задушевым голосом, трясясь от смеха.

Мы не спали в эту ночь часов до двух — до белого утра. Сперва, сидя на крылечке, а потом — у меня в комнате, куда явились и герои глупого приключения, сконфуженные, что называется, до пуговиц, а Иван Афанасьевич еще и еле на ногах стоящий: столь наугостился. Он был сконфужен, весело хихикал, потирал руки, ухмылялся всем своим, разряженным от хмеля, лицом. Художник, наоборот, был бледен и мрачен, точно промах ревнивого подозрения, который должен бы, судя по здравому смыслу, его обрадовать, его несказанно огорчил... Лица у обоих — и смеющееся, и унылое — были удивительно смешные и глупые.

— Кабаллерос, — встретил их студент, — даю вам честное слово: на конкурсе дурацких рож вы получили бы первые премии.

— Отстань! — рыкнул Бурун.

А Иван Афанасьевич залился резким смешком и бессмысленно повторял:

— Да что же-с? Уж такая вышла оказия...

Студент посмотрел на него и рукою махнул:

— Эх вы!.. Красноносая оказия.

— Ну, что этот с ума сходит, — зло сказал я, ткнув пальцем в Буруна, — хоть сколько-нибудь объяснимо: влюблен до одурения, ревнует, мучится... Но вас-то, Иван Афанасьевич, вас-то кой чёрт понес на эту авантюру? Да, — что бы там вам ни было, кто бы там ни был, — вам-то какое дело? Пьяный вы человек! нелепый вы человек! ну, какое вам дело?

Он, — красный, лоснистый, с маленькими масляными глазками, — все сыпал свой дробный, противный смешок, в котором звучали и смущение, и что-то себе на уме, затаенное, хитрое.

— А, может быть, и есть-с? — бормотал он сквозь свой хихикающий, подмигивающий, двусмысленный хмель. Отчего вы так полагаете, что мне никакого уж и дела в сем случае быть не может? Ан, вот и есть-с. Вы у нас

здесь человек новый, а я-с тут испокон веку... ан, вот и есть-с.

— Что вы хотите сказать? — сухо и не без отвращения спросил я его, в ответ на эти кривлянья.

Он посмотрел на меня искоса, с пьяным лукавством, помолчал, как бы собираясь с мыслями, и горчайше прослезился:

— Викторию Павловну — мою, можно сказать, покровительницу и благодетельницу, — дерзают подозревать, как последнюю развратную тварь какую-нибудь, а мне дела нет-с? Что вы-с! Меня поят, кормят, в доме приют мне дают, а я попущу, чтобы этикие нарекания на них взводились, и мне дела нет-с? Я, Александр Валентинович, милостивый вы государь мой, Викторию-то Павловну знал еще девчоночкою, в коротеньких платьицах-с, обласкан ими от юности ихней, счета благодарениям ихним ко мне, малому человеку, сложить невозможно, — вот что-с. Так, ежели бы после всего того я не оберег их от дурного слова, от злого обидчика-с, — так уж что же, в таком разе, был бы я за человек? Был бы я свинья, а не человек. Обыкновенная чернорылая

свинья-с!

— Тогда как сейчас ты еще только красно-рылая, — заметил студент, со свойственной ему любовью к точным определениям.

Пафос, с которым Иван Афанасьевич выкликал свои чувствительные фразы, и даже бил себя в грудь кулаком, мне почему-то очень не нравился; в нем слышались фальшивые ноты, не только неестественные, но даже как бы глумливые. Бурун, во время декларации своего странного приятеля, сидел на краешке стола, схватясь руками за голову, и мычал, как человек, одержимый жесточайшею мигренью или зубною болью.

— Довольно бы уж актерствовать-то! — с серьезною досадою прикрикнул на него студент. — Эх, ты! Трагик Дальский-по три с половиною кресло, первый ряд!

Насилу я прогнал всю компанию — спать. Бурун уходил последним.

— Надеюсь, Бурун, вы теперь успокоились? — сказал я ему серьезно, — и больше этих пошлостей не будет?

Он с силою сжал мне руку и трагически воскликнул:

— Ах, Александр Валентинович! Если бы вы знали...

— Да что знать-то? Ведь убедились; знать-то нечего.

Он покачал головою:

— Нет, Александр Валентинович, вы не можете судить. Вы в заблуждении. Если бы вы про нее знали, что я знаю, то... Ведь это такая дрянь! такая тварь!.. От нее всего можно ждать...

— Ну, час-от-часу не легче. То богиня, царица, жить без нее не могу, — то тварь и дрянь... Как у вас все это скоро.

Он жал мне руку и лепетал:

— Да, да... это вы прекрасно... И богиня, и царица, и тварь, и дрянь... Всего есть, всего-с... Но, если ты такая, зачем же целомудренную Весту изображать? какое право издеваться, лицемерить? Будь нараспашку, не морочь публику...

Я ничего не понимал. Мне хотелось только, чтобы он поскорее выпустил мою злополучную руку и ушел прочь.

— Ну, да утро вечера мудренее, — спохватился он наконец. — Извините меня за все

эти дикие сцены. Прощайте.

На утро я встал поздно. Вышел в сад, к самовару. Бурун с Иваном Афанасьевичем жарко спорят, и второй, с похмелья и перепуга, имеет вид самый жалкий, растерянный и угнетенный.

— Не верю! — рычит Бурун и стучит по столу кулаком. А «красноногая оказия» умоляет:

— Алексей Алексеевич! оставьте-с! Ну, что приятного? Будьте так любезны и достоверны, — оставьте-с!

— В чем дело, господа? Из-за чего опять бурия?

Бурун не отвечал ничего, а Иван Афанасьевич ухватился за меня, как за якорь спасительный.

— Да, помилуйте, Александр Валентинович! Не спали они целую ночь и Бог весть чего, с грустей, надумали. Опять — за старую песню-с: якобы вчера Виктория Павловна нас только провела и обманула весьма ловко, при помощи Арины Федотовны, а совсем у них не Арина Федотовна была-с, но неизвестного звания человек, от коего нам — Алексею Алексе-

евичу то-есть— получается амурное огорчение-с.

— Как это глупо! архиглупо, Бурун! — со злостью вскричал я.

Он поднял на меня дикие глаза и медленно сказал:

— Иван Афанасьевич, мы с вами слышали шёпот и смех?

— Слышали-с.

— А поцелуи?

— Не смею утверждать, но как будто-с...

— Что же она? С Ариною Федотовною что ли, по-вашему, шепталась, смеялась, целовалась?

— Уж и целовалась! — сказал я.— Может-быть, та ей на прощание руку поцеловала, — вот и все...

Бурун мотал головою:

— Нет, нет, нет. Тут не то. Вы оставьте, Александр Валентинович, не защищайте. Они нас за нос водят.

— Кто?

— И Виктория, и Арина Федотовна. Я эту шельму сегодня все утро поймать для разговора не могу, а Ванечка — дурак-дураком: что

я ни намекну, ничего не понимает. Очевидно, в секрет не посвящен. Та — родительница-то — значит, в-одиночку сводничает.

— Полоумный вы человек — вот что!

— Нет, не полоумный. Вы ничего не знаете. А я знаю. И кабы вы знали, что я знаю, что вот он знает... — свирепо ткнул он пальцем чуть не в самый глаз Ивана Афанасьевича, — так не защищали бы эту... дрянь!!!

На лице Ивана Афанасьевича вдруг изобразилась тоска жестокого испуга. Он рванулся вперед и пролепетал:

— Алексей Алексеевич, если бы вы про это... были так добры... не намекали-с?

Бурун взглянул на него со свирепым презрением и — так и рванул:

— А ты молчи! Не спрашивают.

За такого рода милою беседою застала нас Виктория Павловна. Арина, с угрюмым, но лукавым видом, шла следом за нею.

Я до сих пор не познакомил читателя с наружностью Бурмысловой. Она — брюнетка, высокого роста, сильного, пожалуй, даже немного тяжеловатого сложения. Руки и ноги красивой, смелой формы, но, нельзя сказать,

чтобы маленькие. Талия гибкая, стройная, увлекательная, но бюст, шея, плечи немножко массивны, и, в иных поворотах, кажется, что у Виктории Павловны сидит на ее крупном туловище чья-то чужая — маленькая, очень красивая голова. Рисунок ее лица довольно правилен, но грубоват, и очарование ее — не в очертаниях, но в колорите: в янтарном загаре здоровой, румяной кожи; в пунцовом пятне резко очерченных губ, за которыми сверкают, при улыбке, удивительной белизны и ровности зубы; в ярком, полном юмора, свете больших карих глаз; в трепете ямочек на щеках; в гордом разлете властных бровей — темных, правильных и тонких...

Она подошла к столу — какая-то уж очень прямая, с гордо поднятым лицом, слегка бледнее, чем всегда, и левая бровь ее беспокойно шевелилась над глазом, и ноздри вздрагивали. Поздоровалась она со всеми сухо и руку подала — одному мне. Села, — и начался разнос.

— Я вам очень благодарна, Алексей Алексеевич, — начала она голосом ледяным и не предвещавшим ничего доброго, — что вы взя-

ли на себя обязанность оберегать по ночам дверь в мою спальню. Но в другой раз я прошу вас покорнейше — не утруждайте себя понапрасну. Я не желаю, чтобы вы лишали себя сна — самого драгоценного дара человеческого. Сон — очень полезная вещь, особенно — если человек напьется до того, что собою не владеет. Ни шпионства, ни шпионов я терпеть не могу и следить за собою ни за кем не признаю права. Вы мне ни муж, ни брат, ни любовник. Вы вчера вели себя по отношению ко мне, как сыщик, как непорядочный человек. Да еще этого безвольного и несчастного дурачка, — она кивнула на Ивана Афанасьевича, — втянули в свою гадкую игру... Я никогда никого не гнала из своего дома и вас не гоню, хотя вы этого стоите. Надеюсь, что вам самим стыдно и совестно за себя, что блажь напала на вас в первый и в последний раз, и больше подобных сцен не повторится...

Бурун выслушал ее в зловещем спокойствии, смуглое лицо его выцвело матовою бледностью, в глазах зажглись огоньки холодной, жестокой злобы...

— Извините меня, ради Бога, Виктория

Павловна, — заговорил он, и деланно-дружеский, чересчур развязный тон его голоса выдал, что он как-то уж слишком хорошо и неприятно-враждебно владеет собою при обидных словах, которых ему пришлось наслушаться. — Извините! я, конечно, скотина, идиот. Но теперь блажь прошла, и я, ей-Богу, больше не буду.

— Очень рада.

— А — что из дома меня не гоните, на том вам большое спасибо. Стою, — верно. Но впредь постараюсь вам особою своею не мешать. Вы меня и не увидите: все буду по окрестностям шляться, этюды писать...

— И отлично. Займитесь делом, — глупости в голову лезть перестанут.

Бурун язвительно улыбнулся.

— Разумеется, разумеется... Я вот и теперь уже начал этюдик один...

— Да, помню. Вы мне на-днях говорили, — небрежно сказала Бурмылова, не без усилия переводя голос с раздражительного выговора к тону обычной дружелюбной беседы. — Мифологическое что-то?

Бурун помолчал, барабаня пальцами по

столу.

— Это сатира и нимфу-то? — возразил он, наконец, с фальшивою и как бы наглою простотою. — Нет, бросил, раздумал. Теперь ведь эти штуки не по-старинному пишутся: из головы, да с академическим рисунком, да по воображаемой концепции. Теперь тут тоже живую натуру подай, да плэнэр, чтобы видела публика: с настоящего писано. Ну, а согласитесь, моделей, которые могли бы позировать, на подобный сюжет, у вас в Правосле не найдется... А если бы и нашлись, захотят ли? Вы вот отказали мне, — я было обиделся, а теперь вижу: правы были. Умно поступили, очень благоразумно сделали.

Он тяжело перевел дух. Мы смотрели на него в выжидательном недоумении: к чему человек речь ведет? чего кривляется?

Он продолжал:

— Нет, уж где нам в Беклины! Я проще сюжетик начал...

Запнулся, кашлянул и вдруг, уставясь на Викторию Павловну глазами, полными робкой, но отчаявшейся свирепости, выпалил громко и отчетливо:

— С натуры... головку детскую... да... По близости тут, в Нахижном, у старосты Мирошникова девочка в дочки взята... хорошенькая такая девочка, белокуренькая... Фе-нею зовут... Вы ее никогда не видали, Виктория Павловна?

При этих словах — Арина Федотовна налилась кровью, хлопнула себя обеими руками по крутым бедрам и взвизгнула:

— Ах, расподлая твоя душа! Матушка! Ну, не говорила ли я вам?

А Иван Афанасьевич позеленел, как трава, и как-то дико не то замычал, не то икнул, а стакан с чаем со звуком упал из его рук и разбился вдребезги.

Бурун поглядывал на них с красивою гримасою какого-то гордого, победного злорадства, полного и торжества, и в то же время глубочайшего отчаяния. Точно — он в пропасть летел...

Виктория Павловна — с лицом неподвижным, точно мраморным — встала с места таким сильным, решительным и красивым движением, что и мы все невольно поднялись вслед за нею. Я ничего не понимал, что

случилось, — только чувствовал, что Бурун сейчас бросил ей в лицо какую-то позорную обиду, и что она вся заледенела от оскорбления, и демоны гнева и гордости завладевают ею неукротимо.

Она подняла на Буруна глаза, и никогда не видал я взора более тяжелого, самоуверенно и спокойно оскорбительного.

— Продолжайте, Бурун, — сказала она очень просто и кротко, но у меня болезненно сжалось сердце, и мурашки побежали по спине от звука ее голоса.

Бурун вдруг осунулся, страшно покраснел, смутился, заторопился и заметался.

Она смотрела на него все так же тяжело и брезгливо.

— Александр Валентинович, — произнесла она топом гордого вызова, переведя глаза ко мне, — извините меня за трагикомедию, перед вами происходящую. Она глупа и скучна, но я обязана вам разъяснить ее, хотя бы затем, чтобы вы не чувствовали себя, как будто вокруг нас — дом сумасшедших. Тем более, что господин Бурун ведь затем и речь вел, чтобы, как говорится, осрамить меня перед

вами...

Бурун помялся на месте и промолчал. Арина Федотовна ела его глазами василиска. Виктория Павловна перевела дух и все медленнее, все явственнее и спокойнее продолжала:

— Дело в том, что девочка эта, Феня, о которой спрашивает меня Алексей Алексеевич, — моя дочь. А отец ее — вот этот человек.

И, протянув плавным жестом сильную, красивую руку, она — через стол — указала, едва не коснувшись... Ивана Афанасьевича!..

У того ноги подогнулись, и он опустился на стул, в состоянии глубочайшей растерянности и беспомощности. В одичалом и смятенном лице его ни кровинки не осталось, и только нос — от перепуга и волнения — пылал еще ярче.

VII.

Самый изумленный на свете человек был, конечно, тот грек, который разговаривал с Эсхилом в момент, как с небес, из когтей заоблачного орла, свалилась на темя великого трагика черепаха и проломила ему череп.

Если я, при неожиданной выходке Виктории Павловны, находился недалеко от чувств и настроений этого грека и, вероятно, имел соответственное выражение лица, то Бурун стоял не краше Эсхила с проломленною головою.

Первое мое впечатление было — что Виктория Павловна издевается над Буруном и, зарвавшись в издевке, лжет на себя, по грубому и злому вдохновению, тайно понятному лишь им двоим. Но, взглянув на Арину Федотовну, я прочел на лице ее лишь сердитую досаду, а вовсе не удивление:

— И с чего дурь нашла разбалтывать! — говорила ее гневная гримаса.

Убитый вид совсем пришибленного Ивана Афанасьевича тоже был достаточно красноречив.

Наконец, и сам Бурун казался пораженным не столько, как человек, услышавший жестокую обидную новость, сколько — тем, что все надежды, которые он робко возлагал, — авось-де безобразная новость эта только ложный слух и, при допросе лицом к лицу, рассеется дымом — все эти последние надежды распались и рухнули, и худшие его предположения оказались справедливыми. Он напомним мне больного, которого я встречал когда-то в приемной знаменитого московского врача. Это был больной мнительный и боявшийся быть мнительным. Он измучил врача допросами, что у него за легочный процесс такой — чахотка уже или нет? Но допросы свои он делал так спокойно, рассудительно, так философски говорил о необходимости приготовиться к смерти, как порядочному человеку и христианину, устроить дела, написать завещание и пр., что даже опытный, старый врач дался в обман и, поверив его мужеству, откровенно признался ему: вряд ли и месяц проживете. Я видел этого человека, как раз, когда он вышел из кабинета знаменитости, выслушав свой приговор. У него хватило

силы дойти до прихожей, надеть шубу, шапку, кашнэ, калоши. Но затем он внезапно лег ничком на коник и завыл на голос диким, нечеловеческим воем. Переполоху наделал страшного. Едва-едва его увезли. И всю дорогу до самого дома он выл, и дома плакал, и знаменитый врач должен был поехать к нему, созвать консилиум и чрез консультантов уверить несчастного, что сделал ошибку в диагнозе, и никакой чахотки у него нет, а он так лишь — немножко простудился, и Крым все, все поправит... Только тогда бедняга перестал стонать и жалобиться. А спустя десять дней он помер — и до самой смерти не думал, что умирает, а все — «только немножко простудился».

Не сказано было ни слова. Лицо Буруна кривилось, глаза померкли... Он шагнул-было к Виктории Павловне, хотел заговорить, но взгляд ее, холодный и враждебный, словно отбросил его, как пружиною. Он отвернулся, испустил какой-то хриплый, рыдающий звук, и быстрою, нетвердою походкою побежал к дому.

Виктория Павловна тихо опустилась на

стул.

— Ступайте отсюда, — мрачно сказала она Арине и Ивану Афанасьевичу, не глядя на них, — не до вас мне сейчас.

Когда мы остались одни, она долго сидела молча, грустно опершись головою на руку; по лицу ее ходила гневная, гадливая судорога.

— Я должна вам рассказать, в чем дело, — сухим официальным тоном сказала она, наконец. — Я боюсь, что уже сейчас у вас в душе осталось не слишком много уважения ко мне. Очень может быть, что, когда вы услышите мои признания, вы вовсе перестанете меня уважать, отвернетесь от меня с презрением, будете жалеть, что попали в такое противное знакомство и остались у меня гостить. Однако, нельзя осуждать преступника без следствия, — даже если он сам сознается. И мне не хочется расстаться с вашим добрым мнением обо мне без того, чтобы попробовать защищаться, сколько могу. Быть-может, вы найдете, что я, хоть и виновна, заслуживаю некоторого снисхождения.

Я хотел остановить ее, возразить:

— Какое мне дело? По какому нраву я ста-

ну проникать в вашу интимную жизнь? Судить вас я не имею ни охоты, ни возможности...

Но она прервала меня на полуслове.

— Случай открыл вам сторону моей жизни, о которой до сих пор никто из чужих не знал. Я знаю, что эта изнанка неприглядна. Вы не можете не осуждать меня, — так дайте хоть покаяться.

Голос ее задрожал искренним и глубоким волнением.

— Ведь сколько лет этот червяк во мне сидел, в одиночку меня грыз. Теперь — голову из земли показал, на солнце выполз. Каким вы его найдете, что про него скажете, — ваше дело. Но рекомендацию ему предпослать, предисловием вашу характеристику меня снабдить — мое законное право.

Она положила локти на стол и устремила прямо мне в лицо глаза свои — грустные, но ясные, смелые, спокойные.

— Все, что я сейчас сказала здесь, — начала она медленно и веско, — совершенная правда. Эта девочка Феня, питомка старосты Мирошникова в Нахижном, — действитель-

но, моя дочь. И прижила я ее, действительно, от этого... от Ивана Афанасьевича.

Она тяжело перевела дух, смачивая языком сохнувшие от волнения губы, и продолжала:

— Ей, этой девочке, восемь лет, девятый. Я кажусь моложе, чем на самом деле. Мне тогда шел двадцать второй год... я на лето к тетке из Петербурга, с драматических курсов приехала... Ну, а он...

Она вздохнула.

— Я могла бы вам солгать в свое оправдание, что тогда он не был тем ничтожным и даже... гадким Иваном Афанасьевичем, которого вы знаете теперь, и которого наш студентик зовет красноносою okazjiю. Но я буду правдива до конца. Разумеется, он был насколько моложе, бодрее, еще не вовсе опустился и спился с круга. Но красавцем он никогда не был, ни умом, ни образованием никогда не отличался, характерика был всегда мелкого, трусливого, лакейского. Теперь у него нету фамилии, — в то время еще была, но ее начинали позабывать. Его тогда всего два года как выгнали со службы, разорив в

конец начетом по казенному взысканию. Крал, говорят, сильно. Еще счастлив его Бог, что он не угодил в места не столь отдаленные.

— А угодил-на несчастье мое — в наши Палестины. У него здесь, верстах в пятнадцати, была хибарка и малюсенький кусочек земли — единственное достояние, уцелевшее после служебного разгрома. Сел он на этот кусочек: ничего-то не, знает, ничего-то не умеет — беспечный. человек, городской человек, пьяный человек. Жить нечем, тоска, образования никакого, натуришка низменная, стремлений никаких. И стал он скитаться по губернским магнатам нашим, вроде Белосвинского, Кутова, Зверинцевых, и сам оглянуться не успел, как из просто беспутного человека выродился в беспутного потешника и приживальщика... а теперь уже и потешность исчезла, — просто приживальщик-рюмочник, человек, которому некуда идти. Алкоголь его совсем доконал. Он уже старик, пришибленный, трепещущий, робкий, в унижении застылый старик. Но тогда он еще бодрился и, по захолустью нашему, слыл шутком довольно веселым и забав-

ным. Его любили, кормили и не очень обижали. Старики уже говорили ему «ты» и «братец», но молодежь и мы, дамы, держались еще «вы» и подавали ему руку. Он обедал, как гость, за столом, но после обеда пробирался в людскую курить и пить с кучерами и играть горничным на гитаре. Женолюбив был страшно. Пока был на службе и богат, имел содержанок, — теперь уловлял прелестниц по девичьим. А, впрочем, и по сейчас еще Арина Федотовна раза три в месяц гоняет его со двора коромыслом — именно за эти пагубные страсти. Ну-с, и от такого-то господина я имею дочь.

Новый глубокий вздох тяжело поднял ее грудь.

— Вы видели князя Белосвинского... Что у нас с ним роман был, это, я думаю, и слепой заметит, и глухой расслышит. Хороший роман. Чистый, братский, без всякой скверны, какие только в семнадцать лет переживаешь. Началось это за год перед тем... я еще в консерватории была — не бросила. Тоже летом на побывку приехала. Влюбились мы друг в друга по уши. Вздыхаем, страдаем, маемся. Он

мне — предложение за предложением, а я ему — отказ за отказом. Все ночи напролет реву, — так влюблена, а по утрам пишу: князь дорогой, милый, единственный мой любимый! обожаю вас, а женою вашею, простите, не буду. И каких уж, каких причин я ему не лгала Больше всего на том играла, что артисткою быть хочу и сцену люблю паче жизни, и искусству себя посвящаю, а от семьи отрекаюсь. А на самом-то деле, стыд мне мешал. Ложный, проклятый стыд за грех, в котором я не виновата.

Она вытерла на лбу мелкую росу пота, проступившую от волнения, и продолжала с принужденною, печальною улыбкою:

— Ну... все карты на стол!.. Я имею несчастье быть женщиною с четырнадцатью лет. Продали меня, дурочку дурочкою, соседу нашему, первой гильдии купцу, городскому голове и различных орденов кавалеру, Маркелу Ивановичу Парубкову, — и продали не кто другие, как вот эта самая Арина Федотовна, которую вы имеете удовольствие знать, да милейшая тетенька моя, что теперь во флигеле без задних ног лежит и смерти у Бога про-

сит, а Бог не дает — должно быть, за мою обиду маяться ее заставляет, запретил земле ее принимать. Взяли они за меня с купца Парубкова тысячу рублей, да на какую-то сумму он векселей отца моего, на имении лежавших, уничтожил. Купец Парубков побаловался мною всего несколько дней, а затем вдруг слышим: умер в одночасье — кондрашка его хватил. Так что погибель моя и огласиться не успела, а знали о ней он, я, Арина да тетка. Так тайна эта между нами четверьмя и осталась. И тетка с Ариною видели в том особенное счастье мое, перст Божий, мне благодетельный. Эх!

Она с отвращением махнула рукою.

— Годы были детские... ну, полудетские. Я понимала, конечно, что меня заставили сделать мерзость. Но и дома меня учили, и самой стыд подсказывал лишь одно: больше всего старайся, чтобы скрыто было! Что хорошо скрыто, — того не было. Лишь открытый позор позорен. Так вот, и веди себя так, чтобы никто и догадываться не смел и не мог, что ты не чистая девочка, а такая... И росло это во мне, росло... Все чистые, а я — такая!.. Подруг

дичилась, одиночкою, сама в себе заперлась и жила... все трусила, что вот-вот кто-нибудь подойдет, взглянет в глаза, да и скажет: уберите-ка эту подальше отсюда! Разве ей место между порядочными девушками? Она только маску ловко носит, скрываться мастерица, а на самом-то деле она — падшая, парубковская наложница...

И, покраснев темным, густым румянцем непримиримого гнева, Виктория Павловна злобно бросила в мою сторону:

— Тетка... подлая! Один раз обиделась на меня за что-то, — так мне кличку эту и швырнула в глаза... Десять лет прошло, — простить и забыть не могу. Умирать, кажется, будет, — так, когда прощаться приду, не утерплю и на ухо ей шепну: а помните, тетенька, как вы племянницу, которую сами же купцу Парубкову продали, потом парубковскою наложницею ругали? И всю-то жизнь вы, тетенька, у парубковской наложницы на шее просидели и — тварь вы, тетенька! — только милостью ее свой гнусный век в мире дожили...

— Уж извините, что волнуюсь! — неприятно и жалко улыбнулась она. — Скверно уж

очень, грязно... Ну, подросла, в длинные платья оделась, умом начала раскидывать самостоятельно, — немножко простила себя. Жить-то хочется, — простишь! Поняла, что греха моего никакого нет и не было, а сделали надо мною гнусность жестокие, негодные люди, — их и грех. А мне бы теперь лишь остальную-то жизнь провести честно, — за прошлое же себя самоистязать нелепо и даже против себя самой несправедливо. Жизнь-то впереди — большая, большая!.. Голос у меня открылся, поехала я в консерваторию. Приняли стипендиаткою. Занималась я, — как вол рабочий, нахвалиться мною не могли. Вся в работу ушла. Нигде не бывала, любовью, ухаживаний — никаких. Либо дома либо в консерватории. Даже профессорша меня бранила: уж очень вы, — скажет, бывало, — суровы, нелюдимы; будущей артистке так нельзя держать себя, — весталкою какою-то мраморною. Весталка! хороша весталка — из спальни купца Парубкова! Во мне это слово, бывало, все внутренности перевернет, и приду я домой, уткнусь головою в подушку, да и реву, реву, реву... всю ее насквозь проплачу.

Виктория Павловна вытерла набежавшую слезинку и, помолчав, заговорила:

— Вот, пришли каникулы, объявилась я к родным пенатам, встретила и познакомилась с князем, пошла любовь. Сперва я была счастлива безмерно, — все заботы прочь, вон из памяти, жизнь-то такая светлая, звучная, теплая, — и лес зеленее, и птицы слаще поют, и солнышко ярче светит... Домашние тоже радуются. — На лад идет дело! княгиню будешь!.. А тетка и прибавь один раз сдуру — Слава Тебе, Господи! Не погубил сироту, — грех-то твой, Витенька, теперь прикроется: спасибо, нашелся добрый человек. Только ты, Виктория, смотри: не упусти — лови! Да не проврись спросту-то. Ведь вы, девчонки, глупы: влюбилась, размякла. Ах, я должна тебе во всем признаться! — глядь, и покаялась. А жених — он, подлец, сейчас и от ворот поворот.

Ну... если вы хоть сколько-нибудь успели узнать меня и понимаете мой характер, — можете догадаться, что из этого премудрого совета и наставления вышло. И лес почернел, и солнце потускло, и птицы петть перестали. Вся

моя самозабвенная работа над собою, все извинения, объяснения пошли насмарку. И поняла я, что я — проклятая, и что не мне, купца Парубкова наложнице, за такого светлого и милого человека, как князь Белосвинский, замуж идти и его честную жизнь со своею оскверненною жизнью на век связывать... И тут-то начались его предложения, мои отказы, а у тетки — ужас и слезы: неужели я пропущу такой дивный случай стать княгинею и миллионершею?.. И, как ехала я по осени в Петербург, сердце на части рвалось: и любить-то, и любить-то не смеет, и — желанный-то ты мой! и — проклятая то я, тварь, наложница... Ну, проклятой-проклятая и жизнь! Не позволю себе любить! Забуду! Жизнь Сожду, а забуду!

— Закрутила я в Петербурге. Так закрутила, — вихрем! Трудно ли? Красивой девушке, да еще на артистической тропе—; только пальчиком к себе поманить, а Бэдлам мужской кругом сам создастся. Консерваторию я сперва забросила, потом бросила вовсе, в Савины захотела, на драматические курсы пошла. Ученья было мало, но флёрту... впрочем,

это теперь флёрт пошел, а тогда его еще флиртом звали, — флирту — сколько угодно. Мужчины увиваются — один другого известнее, один другого интереснее. Пикники, ужины, цыгане, катанья. По маскарадам шлялась, все интересных, демонических героев, сверхчеловеков искала. Как прославится актер там, что ли, журналист, поэт, музыкант, адвокат какой-нибудь, и пройдет молва, будто он у женщин успех имеет, и такая-то и такая-то ему на шею повесились, — сейчас же строчу ему анонимное письмо: хочу с вами познакомиться, приезжайте туда-то, — маска. Приедет. Легко они ездят-то, победители! Ходим. — Про тебя говорят, что ты очень развратный. — Маска, ты задаешь щекотливые вопросы. — Отчего же ты такой развратный? — Маска, ты женщина неглупая и должна- понять, что талант не может уживаться в рамках мещанской добродетели. — Так, значит, ты потому, такой развратный, — что такой талантливый? Или такой талантливый, потому что такой развратный?.. — М-м-м... это психологическая загадка... а ты, маска, шампанского хочешь? — Дурак!.. Романов любовных у меня было в ту

зимую — целая живая библиотека. Сойтись ни с кем не сошлась, — как-то уцелела, выдержала. Но флёртировала направо и налево с самым подлым и гнусным бессердечием. чёрт знает, до чего доходила! Сегодня с одним целуюсь, завтра с другим. И ужасно весела и самодовольна, что демонической девицею прослыла, Кармен этакою; что из-за меня, как в цыганской песни поется, — один застрелился, другой утопился, а третьего черти взяли, чтоб не волочился. До такой беды, слава Богу, не дошло: уберегла судьба. Но палить в меня один мальчик палил. Студент был из степнячков, первокурсник. И попал даже, — только, на счастье мое, пистолетишко имел поганый, и пуля на корсетной планшетке застряла. Уж так я счастлива была, что без свидетелей эта глупая история прошла, и ни скандала, ни суда из нее не вышло... Подруги у меня завелись — две безмужние жены, вдовица по третьему мужу, да *demi-vierge*. Тоже якобы в актрисы готовилась. Все такие же вихревые, как и я, только постарше и еще куда меня смелее, продувнее и постыдно-опытнее. Впоследствии из них, вероятно, совсем откровенные

кокотки повышли. Беспутная жизнь, беспутные чувства, беспутные речи. Мужчины — рады: ага! наш фрукт! девица без предрассудков! Развить, — так толк будет: дурь-то послетит, — так мамочка выйдет, всякому лестно на содержание пригласить. Ну, и развивали. День-деньской переливаешь из пустого в порожнее пошлости флиртовые, слушаешь на ушко дрянные анекдоты, развратные гадости. Книжку почитать привезут или посоветуют, — так и знай: французскую порнографию. В голове — смрадный пар какой-то. В сердце — пусто. В душе — кафе-шантан. Выпадет минутка просветления, — заглянешь в себя, жалко своей совести станет, ревешь... А вдовица или демивьержка уже тут, как тут: душечка Витенька! читали вы Катюль Мендеса, как маркиза к кокотке в горничные нанялась, и что из этого вышло? Ах, прочтите, милая! преинтересно! У нас ничего подобного не описывают! Ах, мы такие варвары! так отста-ли от Европы, так отста-ли!.. Витенька! как вы думаете: Леда и Лебедь — это миф один или, в самом деле, может быть такая красота в природе?... Витенька, вы желали бы быть Ледою?

Витенька! а вы слышали: такая-то приревновала такую-то к такой-то, и ужасный скандал вышел... говорят, будет дамская дуэль!.. Витенька! новый каламбур!.. Витенька! новый анекдот!.. Тебе врут, сама врешь, — и изобразились мы за год этот, и испошлились, в такой словесный и головной разврат впали, что теперь прямо вспомнить тошно.

Весною поехала в Правослу. Еду и проверяю себя дорогою. Что-ж это? Ума нету, — какой-то склад двусмысленных анекдотов на всякий случай. Что ни скажут кругом, мысль сейчас же либо повернет фразу в каламбурчик пошленький, либо самому обыкновенному, заурядному разговорному слову придаст оттенок грязного заднего смысла. «Не понимать» чего-нибудь — мало-мало, что не стыдно. Все понимаю. И обо всем могу говорить *сop amore, en connaissance des choses*. И уши девичьи золотом не завешаны... Кто с кем живет, кто у кого на содержании, кто из актеров альфонс, кто из актрис кокотка, — хоть на конкурсный экзамен могу идти. Падших знаменитостей по уменьшительным именам зову: Соня Ежик, Оля Каретникова, Гравюрка,

Мурка Хорек, — в туалетах, в манерах им подражаю. Петербургская девица! Петербургское образование!

Вместо сердца, какая-то патентованная дразнильная машина, полная самодовольным сознанием: ах, сколь восхитительно создала меня природа! как, при одном взгляде на меня, должны вождедеть господа мужчины, и как я необычайно ловка в искусстве превращать их в амурных скотов и дураков. Даже по дороге только тем и занималась, что побеждала сердца пассажиров и злила пассажиров.

Приезжаю, — князь!..

Зашевелилось старое пламя, а я не позволяю — тушу. Думаю: стой, подлое! справлюсь я с тобою! Мало я в Петербурге гадостей натворила, так ладно же: здесь себе такого сраму на душу навяжу, чтобы после того о князе-то и думать не посметь; чтобы непроходимая пропасть между нами выросла; чтобы при мысли одной о нем вся совесть во мне против него закричала: оставь его! не твой он... грязь! Проклятая ты, — в проклятии и живи, а чистого человека в омут свой не заты-

гивай.

Молодежь соседнюю к себе назвала, «царицею уезда» стала. Живем во всю, кутим, флёртируем, веселью и дурачествам конца краю нет. А на сердце кошки скребут. Князь подойдет, слово скажет, — так я вся замру, так у меня в душе-то все и похолодеет... вот она — где судьба-то моя, смерть...

И стал тут меня лукавый мутить:

— За что себя мучаешь? за что себя губишь? Любится, — так и люби. Любит он тебя, — и выходи замуж. А тонкости все эти и угрызения бросить надо. Скрой все, обмани — и будь счастлива.

Не могу!.. Счастья хочется, под руками оно, — так вот оно само и плывет к тебе. А руки не поднимаются взять, как каменные... Страх... стыд... мука... Боже мой, что это было за проклятое время!

Она прикрыла глаза рукою.

— Темперамент заговорил... Двадцать лет!.. Здоровая, сильная, влюбленная, да еще развращенная в корень... Чувственность проснулась... Вон — Бурун-то меня холодностью природы попрекал. А — бывало, князь го-

ворит со мною, а у меня перед глазами зеленые круги пляшут, и горло судороги сдавили, и я ногти-то втисну в ладонь, и давя-давя, пока до крови не прорежу, а не то — чувствую: не совладаю я с собою, брошусь ему на шею, — будь, что будет! к чёрту все соображения, страхи и принципы! люблю его! хочу его! бессонная, по целым ночам в постели с боку на бок катаюсь... Плачу... Исхудала. Бог знает на кого похожа стала...

Пребеспутный тогда вокруг меня кружок составился. Пять претендентов — один другого красивее, один другого удалее. Вот и моряк этот, что из Сингапура мне предложение-то прислал, был между ними: тогда он еще только-что корпус кончил. Все мы на ты. Пьем. Я — в мужском костюме, в шароварах, в шелковой рубаше. Влюблены все очень. У всех глаза на меня горят, как у волков...

Иван Афанасьевич был допущен в нашу молодую компанию за то, что он хорошо играл на гитаре, знал множество русских шансонеток, умел представлять жидков и армян и, вообще, был ходячим полным собранием всяких фокусов и анекдотов. Говорю вам: был

шут не без забавности. Он аккомпанировал, а Саша Парубков, — сын благодетеля-то моего, купца Парубкова! тоже умер он теперь... так до самой смерти и не догадался, почему я его всегда пасынком звала! — Саша Парубков пел цыганские песни. Прелестно пел. За гитару мы Ивана Афанасьевича только и терпели, а то он всем нам был мало приятен. Легко пьянел, а спьяну делался глуп и ехидно-зол, — при том, того и гляди, сальность какую-нибудь скажет, от которой уши завянут. Я же еще ненавидела его за манеру смотреть на меня. Сядет вдалеке, прищипится, да сбоку уставясь, и смотрит, не моргает. И глаза нехорошие такие — и робкие, и наглые — вороватой и часто битой собаки глаза. И — точно взглядом этим он раздевает... Не вытерпишь бывало, — крикнешь на него:

— Что вы таращитесь на меня? чего надо? какие узоры нашли?

Сконфузится:

— Помилуйте-с! ничего-с! Рад-с, что вы сегодня такие веселенькие с! Позвольте ручку по целовать-с.

Чмок, чмок!... А у меня дрожь по телу. Вам

не понять этого чувства: оно только женское. Это не стыд, не брезгливость. Это — вроде полового страха, что ли, предощущения какого-то гнусного. Чувствуешь инстинктом, что подлую-преподлую печать какую то к тебе распутный человек распутными губами своими в поцелуе незримо прикладывает, и такое срамное, такое гадостное о тебе воображает, что — даже не зная мыслей его, по инстинктивному чутью, жутко и тошно делается.

— Опять устались? Да что это за наказание такое?

— Хи-хи хи! Виноват-с. Прыщичек у вас на виске усмотрел-с, маленький такой-с... хи-хи-хи!

— Так вам-то что?

— Хи-хи-хи! ничего-с. Играние крови обозначает. Хи-хи-хи!

— Какая у вас, Иван Афанасьевич, всегда дрянь на уме!

— Хи-хи-хи! позвольте ручку поцеловать-с.

Куда я ни пойду, непременно, бывало, его встречу. И все этот подло-чувственный, искалеченный взгляд, особенно, если встретимся один-на-один. Словно влюбленный сыщик...

Следит и ждет чего-то...

— Ха-ха-ха! Витенька! — басит Орест Полу-
рябов: он теперь в доме умалишенных от про-
грессивного паралича умирает, — а ведь, ши-
ла-то в мешке не утаишь: Иван Афанасьевич
в тебя влюблен.

Все хохочут, и я хохочу, — дрожь-то свою
внутреннюю ломаю, — издеваюсь:

— Ах, бедняжка! Правда ли это? Иван Афа-
насьевич! Вы в меня влюблены?

— Хи-хи-хи! Влюблен-с. Кто же может быть
в вас не влюблен-с? хи-хи-хи! Позвольте руч-
ку поцеловать.

— И надеешься? — дурачится молодежь, —
надеешься, эфиоп, взаимности жаждешь?

— Хи-хи-хи! Надежда скадка-с посланни-
ца небес... стишок такой есть хорошень-
кий-с...

— Ах, ты, бестия! ах, ты рожа! ах, ты, вра-
лище необузданный!

И я ломаюсь:

— Не надейтесь, Иван Афанасьевич, — я,
ведь, — всем известно, — жестокая.

— Хи-хи-хи! А я подожду-с, а я подожду-с.
Потому что бывает оно-с, бывает так, что и

жестокие делаются добренькие, и непреклонные преклоняются-с. Хи-хи-хи! Вот я и подожду-с.

— Ну, ждите. Только долго ждать придется.

— Хи-хи-хи! Ничего-с. Мне спешить некуда-с. Я подожду. Это вот они, молодежь-с наша, ждать не могут, потому что жить очень желают и торопятся. А я уже пожил-с. Вот-с, и подожду.

— Терпеливый же у вас характер.

— Хи-хи-хи! позвольте ручку поцеловать.

— Да отвяжись ты от нее, наконец, — обрвет Орест. — Что это? Только и слышно: ручку да ручку. Сатир этакий!

— Хи-хи-хи! Сатир-с? А сатиры-то, сказывают, за нимфами всегда и ухаживали-с. А иногда и успевали-с... хи-хи-хи!

— Тебе, Иванус, за сравнения эти, по-настоящему, следовало бы шею намять, — лениво протянет Федя Нарович и пошевелится, уж стул под ним затрещит: ужас, какой был силачище.

Я заступалась:

— Оставьте. Пусть болтает, что хочет. Так смешнее.

— Хи-хи-хи! Смешнее-с. Именно, что так смешнее. Позвольте ручку поцеловать.

Чмок, чмок.

— Вот я Маланье-солдатке насплетничаю. Ловелас ты старый! — дразнит Орест, — расскажу, как ты ферлакурничаешь... она тебя — подворотней!

— Хи-хи-хи! Напрасно конфузите-с. Не верьте им, Виктория Павловна-с! Позвольте-с ручку поцеловать.

Лето бежало. Не знаю, проходила-ли любовь, но я чувствовала, что, втянувшись в свой дурацкий быт, я грубею и опускаюсь. Я с каким-то ожесточенным удовольствием начинала сознавать, что милая голова князя уже не всегда одна в моем воображении, что ее частенько начинают заслонять и эффектные темные вихры Саши Парубкова, и весело насмешливые, слегка безумные, красивые глаза Феди Наровича, — это сингапурский моряк... А князь — как нарочно задумал уезжать за границу: мать у него на водах больна была. Приехал прощаться.

— Скажите, — говорит, — слово — останусь.

Вся душа кричала: да! — а я:

— Нет, — говорю, — поезжайте. Это хорошо вам— проехаться. По крайней мере отвыкнете от меня.

— Да неужели не любите и не полюбите?

— И не люблю, и не полюблю.

И — ха-ха-ха, хи-хи-хи! А сама за косяк держусь, — боюсь: упаду, ноги-то подкашиваются.

Как уехал он, — зачертила. Да так, что даже мои компаньоны-обожатели изумлялись:

— Что-то веселье твое, Витенька, на истерику похоже!

А Иван Афанасьевич непременно, бывало, хихикнет и скажет:

— Истерика-с — дело молодое-с и цветущему возрасту весьма свойственное-с. А при постоянном препровождении времени среди столь влюбленных молодых людей-с, даже и необходимое-с. Последовательность природы-с. Это — как, ежели человек-с много соленого кушает, и напиток затем не имеет, то впадает в томление-с, а, через томление, впоследствии, и в бешенство-с...

— Не говорите глупостей!

— Хи-хи-хи! Позвольте ручку поцеловать!

— Опять? Ну, и в самом деле, не сатир ли вы?

— Хи-хи-хи! Сатир-с. Молод был, божком слыл. А, как стареть начал, спасибо скажи и в сатирах быть. А по мне, даже лучше-с...

— Лучше, чем в божках? Почему же?

— Хи-хи-хи! по тактике ихней-с...

— По какой тактике?

— Хи-хи-хи! боюсь говорить: разгневайтесь...

— Значит, пошлость скажете? Врите уж, — все равно: чего от вас ждать хорошего?

— Хи-хи-хи! Выдержкою характера своего брали-с. Нимфочкам-то этим, красавицам ихним, божки там разные все на свирелях играли, да любовь всякую оказывали. Ну, нимфочка слушает, слушает, — ан, глядь, в чувство и вошла... Хи-хи-хи!.. А божок, как молод и глуп, того не замечает: в свирелку-то все дудит да дудит, в чувствах-то все изъясняется, да изъясняется. Так что нимфочке оно уже делается и скучно, и становится она как бы сама не в себе. Вот тут-то-с сатиру — и не быть дураком-с: как, стало быть, нимфочку забвение

чувств осенило, он — тут, как тут... Хи-хи-хи!
Играй, божок, на свирели...

— Фу, подлость!..

— Хи-хи-хи! сами же говорить приказали.

— А ты ври, да не завирайся, — рванет басом Орест, как из пушки выстрелит, и даже кулаком по столу пристукнет.

— Хи-хи-хи!

— Теперь вы понимаете, откуда Бурун взял эту нимфу с сатиром? объяснились голубчики! Понравилось! Так раззлобился, — все выложил, ничего не оставил про запас. Не знает уж, как горше обидеть, — чем и куда еще поглубже да поядовитее уязвить. Эх!

— Бурун говорил мне — сказал я, — что это вы навели его на сюжет...

Она подумала и утвердительно склонила голову.

— Верно. Он ко мне в мрачную минуту подошел. У меня бывают минуты, когда я сама не своя от тяжелых мыслей, от покаянных воспоминаний. Такой ужасный гнет на душе, такой смрад, такая отравка, что, — кажется, — вот, подойди кто-нибудь в это время, да спроси участливо, что с вами, — тут же все ему,

как попу на духу, так и выльешь... Потому что одной с мыслями этими справиться просто силы нет: душат, за горло берут... Моя Арина Федотовна, слуга верная, отлично эти мои припадки знает и угадывает. И, как найдет на меня такая Сауля тоска, она меня сейчас же как-нибудь так устроит, что либо я людей не вижу, либо люди чем-нибудь меня рассмешат, перебьют настроение, и я опять вхожу в колею... В таком то милом настроении и застал меня Бурун со своею картиною... Я и внушила ему аллегорию, с автобиографическими чертами... Потому что страх как мне, в это время, хотелось какого-нибудь обидного кнута на себя, чтобы хлестнул меня больно и стыдно... На другой день, конечно, опомнилась и поняла, какую дурую была, чуть себя не выдала и не погубила. И позировать для картины отказалась, и от сюжета отсмеялась. Хорошо, что Арина про блажь мою не узнала. А то быть бы мне от нее руганною часа три..

Так вот-с: выжидающий сатир и окруженная влюбленными божками нимфа, которой от избытка флирта и рыцарских неясностей становится даже как-то уж и не по себе. Прав

он был, Иван Афанасьевич-то. Не проходят даром эти флиртовые обстановки. Душу они научают не стыдиться, а тело — желать. Желания заразительны. Когда все тебя желают, ответный инстинкт начинает говорить. Сначала это — просто кокетство, стремление нравиться, побеждать сердца, а — не выйдет такая соблазнительница во-время замуж, либо не совладает с собою, распустит инстинкт-то, — и сама не заметит, как чёрт знает, в какую несчастную мерзавку выродится.

Знаете ли вы? Я вам сейчас парадокс скажу, но, ей-Богу, в нем — правда. Молодые мужчины, даже сквернословящие, даже развратничающие, в огромном большинстве, по существу — совсем но развратны. Да! Это у них скверная мода, а не натура, поверхность, а не глубина. Возьмите хоть обстановку, в которой я тогда кружилась. Ведь, я же сумасшедшая была. Ведь, Саша, Федя, Орест, — каждый, шутя, мог меня в свою любовницу превратить, и все влюблены были, и все в любви клялись, и — милые люди! ни один не посмел, ни один не догадывался. Им женщина-товарищ, женщина-приятель нужнее, до-

роже, чем самка. О самке в женщине — прежде всего — мечтают уже зрелые, пожилые люди. А молодежь о женщине не скажет: невредная баба, *c'est une femme a prendre* — всякие там пошлости эти. Она и в проститутке-то Соню Мармеладову ищет и душевный разговор ей дороже сладострастного тела. «Она — хороший человек! Она — славный малый!» — вот они, термины-то молодежи о боготворимой женщине. Вы сами студентом были, небось, вращались в кружках. Признайтесь: где еще можно встретить большую близость, свободу обращения между полами, и где больше целомудрия, сдержанности взаимоважения в отношениях между полами? Ведь когда там товарищество и дружество переходят в интимные отношения, это — серьезнейшее обязательство на честь, опекаемое всеми. Ведь, студент, увлекший женщину-товарища в любовную связь, наградивший ее ребенком и потом охладевший, не сдержавший обещаний верности, нравственных обязательств связи, делается презреннейшим парией в своем обществе, — ему товарищи руки не подадут, он — в университете-то или

в академии, как на необитаемом острове одинок останется. Это замечательно! Молодые женщины всегда презирают обманутую, а молодые мужчины — обманувшего. И я думаю, что в знаменитой истории о яблоке и змие Адам был прав, когда извинялся пред Богом: жена моя соблазнила меня. Без инициативы со стороны Евы, он до конца дней своих думал бы, что эта прелестная особа послана ему исключительно для игры в крокет, серсо, для совместного чтения умных книжек и для идейных разговоров.

— Ну, Виктория Павловна, — невольно улыбнулся я, — вы уж очень льстите нашему брату, мужчине.

— Нисколько. История Адама и Евы повторяется каждый день, когда неопытный мальчик начинает ухаживать за молодой женщиной — заметьте, не девушкой, а женщиной. Ведь, и Ева была тоже не девушка, когда передала Адаму уроки змия и своим проснувшимся темпераментом разбудила его темперамент... Но я не собираюсь читать вам лекций по сексуальной психологии, а рассказываю про себя.

Так вот — играла я, играла собою, да и доигралась. Тело душу одолело. Князь из памяти вылетел, — даже с досадою его поминала: дурак! девичьих разговоров и кривляний испугался, всерьез их принял, отступил. Петербургский разврат этот головной так весь в памяти и встал, заполонил все воображение. Влюбчива стала невероятно. Хожу, да и разбираю про себя, кому на шею повиснуть — Феде или Оресту, а втайне нахожу, что они оба красавцы и молодцы. Днем — безобразные мысли, ночью — безобразные сны. Вижу я: дело мое плохо! надо взять себя в руки. Не то — ни за грош пропаду, ни даже за тень чувства, ни за искорку любви.

Стала я от компании своей отдаляться, одна старалась бывать. Я природу люблю и ходить охотница. Лес лиственный, весенний — страсть моя. Так вот я и ударилась в прогулочный спорт.

Уйду с утра в лес, скитаюсь с тропы на тропу, покуда ноги носят и с голоду боков не подведет. Зелень молодая, дубки свежие, ядреные, от шиповника дух идет, болотца прелью, прошлогодним листом вкусно пахнут — гриб-

ной такой аромат. Кукушка кричит, дятлы стучат, жаворонки заливаются, векши с ели на ель перепрыгивают, зайцы шмыгают. Иногда развлекало. А иной раз — наслушаешься, да насмотришься всей этой весны, надышишься этим воздухом любви, — так и еще хуже, тяжелее станет. Бродишь, как пьяная. По жилам черти не кровь гонят — свинец топлёный. Голова — в десять пуд, шальная. Тоска. Плакать хочется. Сердце рвется. Кажется, нет-то несчастнее тебя дуры на свете! И такое зло на себя, такая досада берет, что, бывало, бросишься наземь, лицо в траву уткнешь, от гнева да стыда, света не видишь, — рычу, да ругаю себя, как тварь последняя, ногтями мох деру.

И вот — такую-то полоумную — выследил меня в лесу Иван Афанасьевич. Я стою под березою, спиною к стволу прижалась, трясусь, как лист, зубами стучу. Смотрю на него, не узнаю: он ли, другой ли кто? Не понимаю: как, откуда он — из-за куста — вынырнул? А он — скрипучим и сладеньким своим голоском — улещает меня, что кругом на две версты лес и нет души человеческой, и никто ни-

когда не узнает, и он — человек маленький, скромный, и будет молчать, как могила. А я — как истукан. Молчу, и чудится мне, что бес привел его, либо сам пришел в его образе на мою дорогу. И, когда он осмелел и за руку меня взял, я пошла за ним и пала, как животное.

VIII.

Виктория Павловна долго сидела молча, опустив голову, уперев подбородок в грудь. Я видел, как рдели ее уши, как вздрагивали скулы, потому что она гневно кусала губы.

Наконец, она дерзко, даже свысока как-то, взглянула мне в лицо и высокомерно сказала:

— Если вы ждете от меня теперь чувствительных излияний — как я раскаялась, пришла в отчаяние, хотела от стыда утопиться или повеситься, то я обману ваши ожидания. Я не испытала тогда никакого раскаяния. Поэтому, раскаяние, стыд — удел тех, кто еще не долетел до дна пропасти, кувыркается в воздухе. А — если шлепнешься оземь из поднебесья, то с размаху-то так тебя ошеломит, что всякого самочувствия лишиться, а с ним и раскаяния, и стыда. Дьявол оттого и не сты-

дится своего зла, и раскаяться не может, что архангел Михаил уж очень жестоко его пихнул с самого высокого неба в самую черную адскую глубину. Он до сих пор опомниться не может, — оттого и безоглядно грешен, коварен и зол.

— Ну, дьявол — это романтизм, это высоко хвачено. Не опасайтесь: из Байрона цитат делать не стану. чересчур великолепно для такого мизерного случая, как шалое падение распутной девчонки. Но вот что вам скажу.

Знаете ли вы, что значит злоба разврата. Нет, не думаю. Мужчинам слишком много позволено, чтобы они могли переживать эту злобу. Это — бунт, рабский бунт плоти, которой все запрещено, все заказано, а она вот, вдруг, из тюрьмы-то улизнула, вырвалась на волю, все замки и запоры переломала, над всеми тюремщиками-сторожами, законами и правилами их надругалась и живет сама по себе, дурачится, буйствует, грязнит себя в свое полное удовольствие и самоуслаждается безумием своей воли. Вот — позволено мне все, и аминь! Я — чем хуже, тем лучше; чем глубже увязла в дерзость порока, тем любо-

пытнее он, тем наслаждение острее. Вы, Александр Валентинович, о Риме пишете. У вас же читала, как Мессалина от живого мужа-императора, у всех на глазах, замуж вышла за какого-то молодого человека и торжественно справила свою свадьбу, — плясала, пила и... то-то хохотала, небось. Потому что дерзость греха тешит, опьяняет, от дерзости весело и бодро становится. Вот это-то злоба разврата и есть. И, когда захватит она тебя, страшное существо становится женщина. Потому что злоба эта анестезиєю какою-то нравственною себя окружает. Потому что в злобе этой, мало, что подлости делаешь, а еще любишь себя на себя, — вот какая-мол я беспредельная, никому за мною не угнаться!

— Боже мой! — голос Виктории Павловны задрожал, — Боже мой!.. Теперь, когда все это безумие — давний отвратительный сон, бред мимо пролетевшей болезни, мне страшно вспомнить себя — да! не падение свое, не позор свой, а себя, именно себя: в какого злобно-го, развратного зверя я обратилась. Крадусь, бывало, на свидание, — кровь в глазах стоит от распутной злобы этой. Нимфа и сатир, —

так тому и быть. Прекрасно! очень хорошо! так и надо! Разврат, так разврат во-всю. По-зор, так — ниже чего не падают. Чем хуже, тем лучше; обнимаюсь — и хохочу. Ха-ха-ха! Красавица и зверь — блудливый, старый, безобразный зверь... Ха-ха-ха! молодец сатир! умел выждать и поймать нимфу. Ну, и твое счастье: владей, твое. А вас всех там, влюбленное дурачье, Сердечкиных, вздыхателей, Тогенбургов, — пусть чёрт возьмет: прозевали. И хороша Маша, да не ваша. Срамлюсь — и над всеми вами хохочу...

Это — как истерика была, сплошная долгая истерика.

Поймите: он, Иван Афанасьевич, — этот жалкий, павший человек, с грязною мыслью, с грязным словом, с грязными привычками и похотишками, — он, он струсил! Сквозь приторные слова и умильные взоры его я читала ясно во всем существе его, что он считает меня, по меньшей мере, сумасшедшею и, при всей гордости и утешении, что неожиданно досталась ему в лапы царевна Недотрога... ведь и теперь еще я собою недурна, а в то время, по двадцатой-то весне, что уж говорить:

красота была писаная... Так вот — даже торжеством над красотой и гордостью моею владея — он, — видела я, — все-таки, одним уголком душонки уже раскаивался, что «влопался в скверную историю», и боязливо недоумевал, к какой развязке я его приведу. И мне становилось еще веселее, безумно, жестоко весело, и я с хохотом спрашивала его:

— Иван Афанасьевич! очаровательный рыцарь мой! Сознайся, что ты ужасно меня боишься и, сколь я тебе ни мила, ты не заплачешь, если я провалюсь сквозь землю.

— Хи-хи-хи. Помилуйте-с. Чего же я должен бояться-с? Коль скоро вы ко мне снисходительны-с? Я признательность-с должен питать, а не боязнь-с. Позвольте ручку поцеловать.

— Это очень лестно, что признательность. Ну, а если я тебя отравлю или зарежу?

— Хи-хи-хи, — беспокойно смеялся он и бледнел, — шутите-с. Зачем же-с?

— Да затем, чтобы отделаться от тебя, — и больше ничего. Ведь не весь же век свой я к тебе в лес бегать буду? Ты мне и теперь уже надоел. Сбыть-то тебя надо будет куда-ни-

будь?

У него глазки моргают, бегают.

— Хи-хи-хи... зачем же сбывать-с? Вы прикажите-с, я и уйду-с, уйду-с.

А голос дрожит, и чувствую я: весь он полон жизнелюбивым страхом, — ужас в нем предо мною — и верит он мне, так меня разумеет, что — шутки шутками, а от меня станет-ся.

А я его на зло еще притравлю, еще.

— Да! как же! дуру нашел! отпусти его на все четыре стороны, чтоб ты всему свету разболтал, как Виктория Бурмыслова к тебе в овраг бегала.

Тут он даже хихикать переставал.

— Что вы-с? смею ли я-с?

— Спьяну сболтнешь.

— А коли спьяну сболтну-с, мне, все равно, никто не поверит-с. Помилуйте-с! статочное ли дело, чтобы поверить-с? Хоть икону со стены сниму, — и то в глаза наплюют-с. Уж лучше, мол, скажут, коли врать горазд, ты прямо китайскою богдыханшею хвастай, — все-таки, вероятнее...

— Так никто не поверит?

— Никто-с.

— Значит, у нас с тобою все козыри на руках?

— Хи-хи-хи! — позвольте плечико поцеловать-с.

Он хихикал, я хохотала и говорила:

— Иван! какое ты несравненное ничтожество!

— Хи-хи-хи!

— Какая незаменимая дрянь!

— Хи-хи-хи!

— Ты даже не обижаешься?

— Хи-хи-хи! могу ли я-с? На вас-то? Позвольте ножку-с поцеловать-с.

— Целуй... Гуинплэн!

А то — другую издевку поведу:

— Иван Афанасьевич!

— Что прикажете-с?

— Как ты думаешь, что теперь наши делают: Федя, Орест, Саша?

— Хи-хи-хи! Что же им делать-с! На террасе сидят-с! Винцо пьют-с. Известное занятие-с. Других не имеют-с. Винцо пьют-с и о вас разговаривают. Хи-хи-хи! Влюблены-с.

— А мы с тобою — тут!

— А мы с вами, хи-хи-хи, тут-с.

— И невдомек им, что любовь-то их — идеал-то надземный — на этом прелестном свидании утешается. Иван Афанасьевич! ведь невдомек?

— Хи-хи-хи! Где же-с!

— А что, если бы, сохрани Бог, Орест или Саша домекнулись?

— Хи-хи-хи... нельзя домекнуться-с... место такое пригляжено-с... укромное-с... с умом место-с.

— А если бы?

Молчит и — сразу весь зеленый.

— Ведь убьют, пожалуй?

Молчит.

— А?

Отзовется жалобно:

— Зачем вам об этом-с?

— Да — вот! Стану я темы выбирать, о чем с тобою разговаривать. Отвечай, коли спрашиваю: убьют или нет?

— Убьют-с. Александр Маркелович убьют-с.

— А Орест?

— Они еще хуже-с. Александр Маркелович

хоть помолиться дадут, а Орест Иванович — чем ни попадя-с.

— Так вот ты и знай: как опостылеешь ты мне вовсе, сейчас же я Оресту все расскажу — сама его наведу на это самое твое «с умом место-с».

— Они и вас убьют-с.

— Да мне-то наплевать, а ты — трусишка, — смерти и чертей боишься. Дрянюшка жизнелюбивая!

И до того его изведу, что он на коленях ползает:

— Не надо об этом-с.

Наломаешься, сердце жестокое сорвешь, — и самой, в самом деле, смешно станет.

— Иван Афанасьевич!

— Что еще-с?

— А ведь это забавно!

— Что-с?

— Да вот — что они-то там, а я-то тут.

— Хи-хи-хи! Забавно-с. Они там, а вы тут.

Очень увеселительно.

— Федя, вы говорите, недоступною, святою меня почитает?

— Молиться готов-с.

— А я тут. Вот дурак-то. Иван Афанасьевич! Ведь Федя дурак?

— Хи-хи-хи. Дурак-с, не дурак-с, а молодец-с... женщин не знает-с...

— Твари от порядочной отличить не умеет? так что-ли?

— Хи-хи-хи. Зачем же такие выражения-с? Просто-с...

— Взяться не горазд?

— Хи-хи-хи!

— А ведь красавец и парень не глупый. Как на твой вкус?

— Хи-хи-хи! Превосходный-с молодой человек-с.

— А вот ты, хоть и дурак, и негодяй, умным оказался, рассмотрел, кто я, и умел взяться. Молиться не молился, в святые не записывал, а я у тебя на коленях сижу...

— Хи-хи-хи! Зачем же вам в святые-с, когда вы душки-с? Позвольте в шейку-с поцеловать. Только и изобретательности.

— Удивительный ты человек, Иван Афанасьевич. Я тебя в глаза негодяем и дураком ругаю, а тебе, — как с гуся вода: только, знай, к ручкам да шейке прикладываться лезешь.

— Да что же-с? Если вам доставляет удовольствие обо мне такие слова произносить-с, должен я, всеконечно, от вас стерпеть-с — потому, как много вами удостоен-с.

— Да ты, пойми, ничтожество, что не слова это — от души я тебе их говорю, в самом настоящем деле, от всего нутра моего тебя презираю.

— Хи-хи-хи! Не философ-с я, не философ-с. Ума нет-с в чужое нутро-то проникать-с, — головёнки не хватает. А слова-с, — что же слова-с? Ветер их носит-с, — самое пустое дело. И довольно даже глупо было бы с моей стороны словами вашими огорчаться, коль скоро поступочки ваши доказывают совсем им наоборот-с.

— Так что — были бы поступочки, а то я тебе хоть в глаза наплюй? Практический ты мужчина, Иван Афанасьевич.

— Хи-хи-хи... родиночка у вас... позвольте в родиночку поцеловать-с.

Барахталась я в таком болоте шесть недель. И вдруг — словно отрезало. Проснулась однажды поутру и себя не узнаю: выздоровела! Престранное чувство. Точно у меня от

сердца что-то тяжелое, темное оторвалось и прочь укатилось. Ранки, где оно присосавшись было, болят, саднеют, но так это хорошо, что главное-то зло от сердца отошло, что на маленькие зла организм не обращает внимания, терпит: болят, — и пусть болят! Живы будем, так и заживут, залечим.

Совість свою проэкзаменовала:

— Животное я?

Отвечает:

— Была животное.

— Грязная я?

— Изгрязнилась, как только могла.

— Отчего же я более не страдаю от твоих покоров? Словно тебя во мне и нету?

— Не знаю. Только чувствую, что пресытила ты свою злобу и больше на разврат сейчас не побежишь, и ни души, ни тела своего сквернить не станешь.

Призвала я Арину Федотовну. Она, конечно, с самого первого начала во все посвящена была. Говорю:

— Ну, нянька, так и так: наделала я глупостей, а теперь — довольно, давай их разделять. Сейчас меня Афанасьевич в таком-то

яру поджидает. Ступай ты к нему и скажи, чтобы не ожидал. И чтобы он убирался из Правослы, и чтобы глаза мои его не видали. Скажи, что все кончилось, никаких свиданий больше не будет. Да — пусть держит язык за зубами. Если проболтается, — скажи: из собственных рук, как собаку, застрелю.

Арина ухмыльнулась:

— Отбегалась, значит? — говорит.

И так она меня этим словом ударила — словно долбнею по темени. Так вдруг стало мне ясно, что и новое бессовестное спокойствие мое — такое же скотское, как перед ним была скотскою бессовестная полоса разврата.

Поручение мое Арина исполнила в точности, и вышло, как по писанному, все, что я ожидала: отставку свою Иван Афанасьевич принял не только без драмы, но даже как бы с радостью, что дешево отделался, — гора с плеч. Впоследствии он откровенно признавался Арине, что не чаял выйти из приключения со мною живым, трепетал за себя денно и ночью и, если бы уже не так я хороша, давно бежал бы, куда глаза глядят... Стало быть, говоря вашим газетным языком, инцидент был

исчерпан к общему удовольствию. Ну, и славу Богу.

Все мне кругом опротивело: и люди, и места. Сейчас же, не дождавшись осени, в Петербург уехала. еду, и по пути мерзит мне вспомнить, что, ведь, еду-то я сейчас опять ни за чем; и ничто серьезное, содержательное, душевное меня впереди не ждет, и ничто мне сознательным приветом не улыбается: и опять потянется бездельная, бессмысленная, притворная жизнь, наполненная мнимо-артистическими притязаниями, самолюбованием, скабрёзными разговорами, а, может быть, и поступками, рисовкою, позою, — словом, всею этою порочною симфониєю эгоизма, год которой я так отчаянно закончила в Правосле. По приезде отправилась было я к директору курсов, — по инерции больше: к своему, мол, делу приехала. Уже на подъезд вошла, к звонку потянулась, да вдруг, — руку опустила. Вообразила я себе: ну, что мне? Таланта настоящего у меня нет, — стало быть, что же мне на курсах-то — в туалетные звезды, то есть, попросту, в сценические кокетки готовиться, что ли? Люблю искусство? Да ничуть

я его не люблю, слышала, что его любить надо, и вот так-то и так-то любовь выражать. Ну, и выражала, декламировала хорошие слова из книжек и с чужого голоса. Что же для меня курсы? Клуб. Мужчины по клубам и ресторанам между собою общаются, а наша сестра разные полухудожественные курсы себе придумала. И, как нарисовала я себе в уме этот клуб, и вдовицу, и деми-вьержку, и разводок, сняла я руку с звонка, сошла с подъезда и мирно вернулась восвояси.

Что меня веселило? Ничего. Что печалило? Ничего. Что интересовало? Ничего, ничего, ничего. Полнейшая апатия, — даже не тоскливая, а равнодушная, которая нападает, когда начинаешь отдыхать после сильного нервного переутомления. Деньги, случаев, были. Совсем перестала выходить. Сажу по целым дням одна одинешенька в меблированных комнатах. Зайдет кто, — хорошо. Не зайдет, — тем лучше. Корсет забросила, из блузы не выхожу. Толстею, изленилась так, что иной раз причесаться лень, встану с постели в восемь утра, а умываюсь только к обеду. Диван у меня был турецкий, так весь этот

диван пролежала: с ногами заберусь, платком серым покроюсь, под нос себе книгу брошу, роман какой-нибудь — понелепее, чтобы мыслей не будил, — в руке калач с икрою, подле на стуле — стакан с чаем, — так и лежу, час за часом, на животе — не то читаю, не то жую.

В это время приезжает из деревни Арина Федотовна: тетку паралич хватил, обездолела — так доложить, как оно было и что. Ну, обездолела, так обездолела! — Князь у себя в деревне проездом был, теперь за границу опять ускакал, говорят, ему там немецкую герцогиню сватают. — А сватают, так сватают. — Орест по тебе волком воет, а Саша со злости, что ты уехала, Битюковой Любочке предложение сделал. Отказали. Пьет. — Пьет, так и на здоровье. — Васюков инженер о тебе в клубе нехорошо говорил, а Федя Нарович услышал, да в ухо его и свистнул. Оглухнет, говорят, инженер-то. Хотели на поединке драться, да губернатор запретил и Федю из города к команде выслал. — Скатертью дорога. — Иван Афанасьевич твой по тебе утешился: теперь в Пурникове днюет и ночует: с лавочницею Ма-

рьей Терентьевной, люди сказывают, у них дела дошли... — И превосходно. С чем их обоих и поздравляю.

Посмотрела на меня Арина: щеки опухлые, глаза заплаканы, лежу валяюсь, сама неряха, все-то мне зябко, все-то мне с места двинуться лень — не женщина стала, Обломов какой-то в юбке. Приглядевшись, говорит:

— Витенька, ты беременна.

Так оно и вышло. Тогда и поняла я себя. Это — зародившаяся во мне новая жизнь мою жизнь своим развитием приостановила.

— Что же ты теперь делать будешь? — спрашивает Арина, — ну, родишь, — дитя-то куда?

— Растить будем.

— При себе?!

— При себе.

— Да ты, Витенька, с ума сошла. Ведь тебе двадцать годов всего, а ты себя пригульным дитём на всю жизнь по рукам, по ногам связать хочешь.

Говорю:

— Не в Неву же его.

Она мне прехладнокровно:

— В Неву— мудроно: городовых тут у вас много; а в Осну можно.

Меня, знаете ли, — мороз по коже подрал, так она это спокойно, с убеждением. Всегда я знала о ней, что человек бывалый, но тут — вижу: если не делывала, что говорит, то способна сделать, не поморщится.

— Нет, — говорю, — так нельзя. Это душегубство. Совесть всю жизнь съест.

Арина только плечами пожала:

— Эва!

Страшная баба. Зверь в ней сидит. Хладнокровный, жестокий, не верующий. Она скрытная очень, чужому человеку трудно вызвать ее на искренний разговор. И передо мною-то она разворачивалась нараспашку всего раз пять-шесть за всю нашу общую жизнь. Зато уж и разворачивалась. Слушать жутко становилось.

Я, когда читала письмо Белинского к Гоголю, остановилась, как дошла до фразы об атеизме русского народа, — думаю: это неправда. А потом соображаю: а моя Арина Федотовна? Во что она верит? чего боится? Ни Бога, ни чёрта. Только что не хвастает этим, красно-

речия не распускает, в молчанку живет. Но это — внутреннее безмолвное отрицание, замкнутое в самом себе, беспредельное и порешенное. Вы встречали в народе дерзновенных кощунов? Она — не то. Те — волнующиеся, страстные, они, посягая, святыню искушают — вдруг-де чудо будет? Вдруг, огонь изыдет и меня опалит, земля разверзнется, архангел с мечом явится, — и упаду я, Фома неверный в страхе, покаюсь и всему поверю, и Бог меня простит, и я в рай пойду. А она спокойная, холодная, самоуверенная. Вон у нас на деревне парень один прочитал о чуде соловецком, как иннок потерял петую просфору, собака ее съесть хотела, а из просфоры вышло пламя и опалило собаку. Из сомневающихся и дерзновенных оказался. Впало ему в голову — испытать. — Ну, и испытал... Только — просфору-то псу бросить отчаянности достало, а глядеть, как он ее есть будет, не хватило силы-выдержки, отвернулся и убежал. Приходит опять на то место: просфоры нету. Жучка! Жучка! — прибежала Жучка: жива, веселая. Свистнул ее к себе парень, да — вместе с нею в рощу. Ужо бабы в лес за хворостом пошли,

—глядь, на дереве удавленник висит, а рядом с ним Жучка повешена. Вот они, русские-то кощуны, каковы. А моей свет-Арине Федотовне никаких искусств не требуется. Ей и в голову не придет. Она просто все такие вопросы от себя отмела. Верит только в тело, любит только тело, душу считает чуть ли ни за пар, — что котенок, что ребенок — не все ли ей равно? Она — равнодушна, она — презирает. Счеты с каким-либо чувством, кроме своей выгоды или удовольствия, она считает за нуль. Кто живет в свое удовольствие, тот для нее человек; остальные — сор, шушера. Захотела и смогла, — вот у нее заповедь какая. Единственная! расскажите ей какое-нибудь отчаянное мошенничество, — увидите; если оно вышло удачно, все ее симпатии — на стороне мошенника. Она подлецом никого не ругает; у нее все неудачные подлецы — только дураки, которых надо презирать не за намерения, а за неумелость. Всякое преступное, грешное молодечество себе на уме — для нее предмет восторга. Знаете ли, что я окончательно стяжала ее благосклонность и привязанность именно тем, что связалась с Иваном

Афанасьевичем, проведя за нос целую стаю красивых, умных, богатых, молодых ухаживателей? Ей дерзость приключения, наглость контраста по душе пришлась. Тем более, что мужчин она, вообще, терпеть не может, и видеть их в глупых положениях — великая охотница. А до сих нор находит любовников, и посмотрели бы вы, как их муштрует. Пикнуть при ней не смеют, в глаза, как собачки, глядят. Властная, дерзкая, бесстыжая. Умна, как бес, — холодно, хитро, животно умна. Именно та русская баба, что обдумывает семьдесят семь уверток, пока с печи летит. Из каких угодно вод суха выйдет, да еще в глаза потом насмеется. Перед людьми она хоть страх наказания знает и почитает его стыдом, но пред собою ни стыда, ни страха. Полная атрофия нравственности. Века полтора-два назад из нее чудесная бы ведьма вышла. Она создана для шабаша.

— Крутенько судите, — сказал я. — А между тем, сколько я мог заметить, она, наоборот, вас обожает.

Виктория Павловна согласно склонила голову.

— Любит, — небрежно подтвердила она. — Даже на известные жертвы ради меня готова, если бы понадобилось. Откуда это чувство, — для меня всегда было психологической загадкой. Потому что ведь только меня одну она и любит. К Ванечке своему, например, она столько же равнодушна, как вон к этому петуху, разгуливающему под забором. Должно быть, есть такой тайный психический закон, что обязан каждый, даже самый жестокий человек иметь хоть одно любимое существо, — живой банк этакий, в который сложит он все свои сентиментальные побуждения и нежные чувства, и затем — кончено: для всего другого в жизни, для всего прочего мира остается уже со свободною совестью, — то есть мерзавцем наголо.

— Да ведь, если хотите, и я ее люблю, — продолжала она, подумав. — И надо признаться: она на меня влияние имеет. Теперь меньше, но было время, когда я, как девочка, совсем из ее рук смотрела. О делах практических я уже не говорю: она у меня всем орудует и заправляет. Но и в жизни своей мне десятки раз случалось слушаться ее, как учени-

це какой-то. Когда я наглуплю, попадусь в просак, окажусь в неловком положении, одна из первых моих покаянных мыслей: что-то мне моя Аринушка за это скажет, да нельзя ли как-нибудь от Аринушки этот промах мой скрыть. Бывает, что она бранит меня со всею бесцеремонностью своего бабьего языка, — и ссоримся мы тогда, конечно, но, в конце концов, и это между нами по душам, и проходит безобидно. Люблю. И это тоже странно. За что? Нравственные качества ее, как вы слышали, я ценю достаточно ясно. В прошлом... я же говорила вам, что именно чрез ее посредство тетка продала меня купцу Парубкову. И вот — тетку, поганую гадину, что, ради своей корысти, кровь мою выпила, ребенка погубила, я ненавижу всею душою, Арине — простила. И была бы очень огорчена, если бы пришлось ее потерять. Откуда разница? Оттуда ли, что тетка, когда губила меня, понимала, что губит, и не пожалела, не дрогнули руки у проклятой; а эта не ведала, что творила, и воображала, по темноте своей да по развратному своему разуму, чуть ли еще меня не облагодетельствовать? Оттуда ли, что силу я

очень люблю, и каторжность эта ее мне импонирует? Может быть, сходство натур обозначается? Потому что на шабаш-то вальпургиевский, ведь, не одних старых Баубо тянет, верхом на свинье... Заглянуть в иное молодое воображение, — так тоже найдется, за что отправить на костер: помыслов сколько угодно, только смелости, да опытности осуществить не хватает. Ну, а она — бесстрашная и безудержная; что задумала, то и сделала, — как топором отрубит. Взять хотя бы ее проект этот...

— Нет, — говорю, — ты мне этих предложений и делать не смей! Я тебя вон выгоню.

— Ну, в воспитательный снесем.

— Да это — разве лучше, чем в Неву?

— Оно правда. Только-что не у себя на глазах, да перед начальством права. Да на что оно тебе нужно — растить то? Средств у тебя нету. Тебе одну себя в пору прокормить, — не то, что его воспитать, образовать. Оно-те камнем ко дну потянет. Это — сейчас. А после, коли и вырастишь, так бедняку-то незаконному от жизни велики ли корысти? Ни ему нравов, ни себе радости. В отца пойдет, — пьяничка

выйдет, в мать — разбойник. С теткою — что историй будет, в доме его держать! И замуж выйти тебе с этим сокровищем на шее — ужу, девка! шалишь! Таких и у нас по крестьянству не в охоту берут, а बारे куда чваннее.

— А если я его люблю?

— Эва! За что полюбишь-то? Кабы от путевого человека было, а то — нашла что памятовать, хорош помин на всю жизнь!

Месяца три она меня так точила — все наезжала:

— Спровадь, да спровадь!

Наконец, приезжает уже перед самым кризисом.

— Вот что, — говорит, — придумала я, как — и блажь твою удовлетворить, чтобы ребенок на глазах у тебя остался, и руки тебе развязать, чтобы ни он тебе за подол не цеплялся, ни от людей сраму и нарекания не было. Нахиженских Мирошниковых помнишь?

— Знаю. Старики эти! богачи деревенские?

— Люди они бездетные, в годах преклонных, — своих ребят не ждут, а маленьких до страсти любят. Коли им дитя подкинуть, — почтут за благословение Божие, вырастят в

холе, в неге. Только ведь и вздоха: Господи! полная у нас всего чаша, — кабы только младенчика, ангельскую душку, в дом.

— Стало быть, дитя-то мое мужиком среди мужиков вырастет?

Она посмотрела на меня язвительно и говорит:

— А кем оно, при тебе живя, вырастет? генералом что ли? позволь спросить. По крайности, сытое будет.

Опять спорили мы до слез, до битвы, ссорились, грызлись, мирились.

— Ну, — говорит мне, наконец, Арина, — коли стоишь ты на своей дурости, чтобы ребеночка при себе оставить, так уж глупи до конца: тогда надо тебе, по-моему, и за Ивана Афанасьевича замуж выйти.

— Ты с ума сошла?

— Нет, право. Ведь дитя-то вырастет — спросит: ты мне мать, а отец кто? У всех отцы, а мой где? Что тогда отвечать станешь?

— До этого долго.

— Бог его знает. Понятливы дети ноне пошли. А, коли ты к тому времени жить наладишься, в холю войдешь, разум обретешь, —

так родителя-то, пожалуй, и показать дите станет конфузно, не то, что — поди к папеньке, признайся: я, мол, ваше чадушко, любите да жалуйте. Хорошо, как до тех пор Иван Афанасьевич вовсе сопьется и под забором помрет, а — коли ему Бог аредовы веки жить укажет? Ведь о нем и солгать-то ничего не придумаешь, — таково нещечко! Ведь детище-то взрослое в глаза тебе наплюет за родителя этакого... Да и то обмозгуй: теперь у Ивана Афанасьевича на тебя никакой улики нет, — значит, ты пред ним права, а он молчи, покуда цел быть хочет. Ну, а коли ребенок при тебе роста будет, да на грех еще сходство объявится, — он тебе, пьяница, душу вымотает, — как клещ, присосется: и деньги ему, и все добро, и самое себя отдашь, только бы душу на покаяние отпустил. Потому что — этого, чтобы все знали и говорили про тебя: смотрите! вон — она, гордячка-то! князьями брезговала, а Ивану Афанасьевичу любовница вышла! Да — ха ха-ха! да — хи-хи-хи! — этого ты на себя не возьмешь. Смела ты, дерзка, а врешь — не возьмешь: не под силу — никому не под силу. А если и возьмешь, так ли-

бо сама удавишься-утопишься через месяц времени, либо в какого-нибудь зубоскала или наглянку какую из пистолетахватишь. Это за Ивана-то Афанасьевича в Сибирь идти? суды и срамы принимать? Стало быть, секрет-то тебе нужен будет, за секрет-то ты ему все заплатишь. Смотри: не пришлось бы опять в лес бегать — только уж не своею волею, а по его, мерзавца, приказу.

— Ну, уж этого — врешь ты! — никогда не будет.

— Ой-ли? А ты про Дымиху слыхивала?

— Про какую Дымиху?

— Купчиха была, купца казанского дочь, Дымова Аннушка. Давно, за дедов-прадедов. Богатейшие купцы были, первые на всю Казань. А Аннушка — красавица, огневая, не хуже тебя. Вот она с парнем из приказчиков отцовских и слюбилась. Стал он к ней в светелку похаживать. Сидят они однажды вдвоем, тары-бары, целуются-милуются, — вдруг слышит Аннушка: в сенях отцовская клюка — тук-тук. Куда милого девать? Положила его на кровать под перину, подушками забросала, сама на кровать села — сидит. Отец вошел,

полчаса с дочерью говорит, час, полтора — на-силу убрался. Аннушка — милого высвобож-дать; а он, милый-то — синий, холодный: за-дохнулся. Куда покойника убрать? И подряди-ла она дворника молодого, чтобы он мертве-ца потихоньку из светлицы вынес, да в Ка-занке бы утопил. Сделал дворник работу, по-лучил плату. Мало — говорит. Прибавила. Ушел, деньги пропил. — Еще давай! — Нету больше денег. — Кольца, перстни, серьги да-вай!... Грабил — грабил, — все мало. Приказы-вает: Анна Ивановна, ты меня ноне жди, — я к тебе ночевать приду. А — непустишь, — пойду по начальству донесу: пропадай и моя, и твоя голова! вместе под плетью будем!.. Покорилась. Долго он над нею измывался, ба-хвалился. Только уж терпенья ее никакого не стало. Не ест, не пьет, ночи не спит — думает: как бы ей от варвара своего на волю уйти. А он все пуще да пуще ломается. Напился раз с приятелями в кабаке и расхвастался: хотите, друзья товарищи, знать, с какою я девушкою живу? — А ну! — С Дымовою дочерью! — Ври еще!.. Раскипелось в нем сердце похвальбою, кликнул он мальчонку, сидельца питейного,

и приказывает — Ступай, мол, к Дымовой Анне Ивановне, да скажи ей, чтобы беспрерывно, мол, сейчас же в нашу компанию шла, — Максим, любовник, мол, ейный, требует. Да чтобы бесперечь шла, а то худо будет... Побежал мальчонка, а компания над Максимом хохочет: Эка пьяница! Эко мелево! Эка врущий... Станет с ним хозяйская дочь жить! Да она взглянуть-то на тебя посрамотится!.. Однако, часу не прошло, — входит Анна Дымова. Все и рты поразинули. — Что, Максим Ефимович, угодно? — А вот товарищи не верят, что ты моя любовница, так ты меня поцелуй-приголубь, а их винцом угости. Ничего Аннушка не сказала против — только промолвила: — Бога ты, Максим, не боишься: отольются тебе мои слезы. Села с ним и стала пировать. Наравне со всеми пьет, а не пьянеет. И споила она всю эту рвань кабацкую и кабатчика самого: попадали все, заснули. А она мальчишке-сидельцу говорит: — Ты бы им хоть сена постелить принес, — нехорошо людям, как собакам, на полу валяться. Принес мальчик сена, разложил на полу, и пьяных они, вдвоем, на сено поклали. Спрашивает

Аннушка — Все здесь, которые с Максимом пили? Отвечает мальчик — Кажись, все. — Все пьяны? — Все. — Все крепко спят? — Все. — Ну, так и ты спи!.. Да — как полыхнет его ножом по горлу: из парня и дух вон. А она сено подожгла, кабак заперла, двери снаружи колом приперла, да — что духу: домой! Все пьяницы сгорели, и злодей ее с ними. И свидетелей на Аннушку нет. Только сама-то Аннушка стала словно бы в уме помешавшись, и, как следствие началось, пошла, да сама себя пред судьями во всем и обличила. Все рассказала, и чего она натерпелась, и как отплатила. Присудили ее к плетям, — счету плетям нет, и к довечной каторге, а приговор послали в Питер на подпись к царице: в то время царица на престоле сидела, Катерина царица. Прочитала она, ужаснулась. — Желаю — требует, — видеть эту несчастную преступницу!.. Придворные говорят: — Ваше величество, никак нельзя, — вы нервами расстройтесь. — Супротив нервов, — царица отвечает, — у меня есть иноземский дохтур Боткин, а вы извольте исполнить мою волю. Привезли Аннушку, поставили пред царицыны очи... Царица взя-

ла ее с собою наедине и говорит:

— Анна Дымова! Ты женщина, я женщина, — все вы женщины — сестры, должны друг друга понимать: рассказывай, как было дело!..

Объяснила Аннушка беду свою, — выслушала царица, в три ручья плачет.

— Ах, говорит, — Анна Дымова! Ты женщина, я женщина, — мы, женщины, можем друг друга понимать. Никакой вины я за тобой не вижу и плетьюми тебя драть не позволю, и в Сибирь не сошлю. — А что душегубство ты совершила и поступки свои оправить должна — так вот тебе приказ: ступай-ка ты в Нов-Девичий монастырь, да замаливай, черничкою, под клобуком, грех вольный и невольный. А я велю, чтобы иноземский дохтур Боткин тебя навещал и депорты мне писал о твоём здоровье, вся ли ты в своем уме, али в тебе нервы трепещут...

Придворные окружили царицу, недовольны, говорят: — Ваше величество! невозможно, как вы рассудили! если этакую душегубицу плетьюми не драть, в Сибирь не сослать, — никакого правосудия не будет: нас всех, мужеск

пол, бабы чем ни попадя перепортят... А царица им на то

— Это вы так рассуждаете, потому что мужчины. А мы, женщины, можем друг друга понимать. И вина вся тут не ее, а этого сгорелого негодяя, который над нею насильничал. И она, Анна Дымова, еще характеру доброго, а кабы я на ее месте пришлась, так, по обиде своей женской, и не такую бы еще отместку подстроила... И на этом слове растрепетались у царицы Катерины нервы, и начал дохтур Боткин ей иноземские капли поить. А придворные весьма в срам пришли... Так вот, голубушка — что секрет-то с нашею сестрою делает: до душегубства доводит.

IX.

Свершилось все это... Обошлось, слава Богу, легче легкого... Феню Арина Федотовна увезла, а я — опять одна, — на распутьи! оглядываюсь и выбираю:

— Куда?...

Отболела, что полагается, — в труд пошла. Думаю: все эти блажи у меня от распущенности, дисциплинировать себя надо. Денег кста-ти — ни гроша, жить не на что. Требования у меня малые, ленивые, — однако, и на то не хватает. Ну — что же? За педагогику! Призвания у меня к делу не оказалось ни малейшего. Детей я не люблю, и дети меня не любят. На всех местах я пребывала с моими питомцами в вежливо-холодных отношениях, — никогда не наказывала, но никогда и не ласкала, меня очень слушались, меня очень уважали, но расставались со мною без всяких жалостных сцен, как с чужим человеком. Няньки меня ненавидели:

— Какая это учительша? какая мамзель? У нее — не дите на уме, — а как бы деньги получить, вихри завить, да с офицером кататься

за город поехать.

Одна мне так в глаза и отпела.

Положим, насчет офицера и вихров она врала: никаких офицеров, ни кавалеров вообще я в ту пору не заводила и заводить не желала. Наоборот, даже удивлялась на себя, как и куда у меня это пропало — кокетство, флирт, чувственные мысли, позы. Года полтора я совсем бесполом существом прожила. Но, в общем-то, сердитая нянька была права: не нужны мне были эти дети, которых просвещать мне приходилось, как учительнице, или воспитывать, как гувернантке. Смотрела я на них, как на полки в магазине или амбаре, на которые надо сложить купленный у меня товар знания и манер, сложить добросовестно, полку не повредить, а сложив, получить добросовестный расчет.

Но, во-первых, добросовестный расчет в этом деле — великая редкость. Во-вторых, — словно на смех хоть бы один ребенок мне попался умный или способный. Дуботолки как на подбор, болезненные, малокровные, ленивые, сонные. Либо дьяволы во плоти. Стало быть, все время занимаешься, бывало, чрез

отвращение, рада-радехонька, когда отзвонишь, и с колокольни долой. В-третьих, — я вам жаловалась: наружность моя несчастная. Куда бы я ни поступила, через неделю — в семье история. Супруг, сынок, братец, либо друг дома влюблены и тают, а madame ревнует, рвет и мечет. Противно станет — уйдешь.

В течение трех с половиною лет я перебивалась учительницею, гувернанткою, помощницею бухгалтера в банке, телефонною барышнею, актрисою, счетчицею в железнодорожном правлении, секретарствовала у знаменитого писателя и заведывала книжным магазином.

И — всюду скучала, и всюду чувствовала, что притворяюсь, сама пред собою роль играю, занимаюсь делом, которое меня ничуть не интересует, ничуть мне не мило, делом терпимым, а не желанным. Кормит, — и слава Богу! Но, ведь, кормит-то скверно. Пятьдесят-шестьдесят рублей в месяц — разве это деньги для одиноко живущей женщины да еще — «со вкусами»?.

А тут — со всех сторон:

— С вашею ли красотою слюнявым ребя-

тишкам $a+B=a+b$ в голову вбивать? Скажите слово, — рысаки, квартира в три тысячи, обстановка от Свирского...

— Чем за прилавком-то красоту прятать, — угодно со мною — maritaliment? Я имею пятьдесят тысяч дохода в год, виллу на Ривьере и собственное pied à terre в Париже.

— Эх! спинку вы над бумагами гнете — только фигуру портите! На троечку бы нам, вас — в ротонду чернобурой лисы, да в Самарканд.

— Виктория Павловна! угодно — состояние на ваше имя переведу?

— Виктория Павловна! угодно — отцовскую кассу до дна вычищу?

Что меня спасло от всех этих зазывов продажности? Не добродетель же парубковской наложницы! не половая же порядочность самки, отдавшейся Ивану Афанасьевичу! Нет. Но есть у меня в характере хотя не деятельные, но пассивно-упрямые черты, не позволившие мне продать себя, превратиться в кокотку.

Рабства я не выношу, а — продалась, стало быть, рабою стала. Можешь повелителем сво-

им и командовать, и вертеть, как хочешь, а в сознании-то своем тайном— все-таки раба: вся от него зависишь. Хоть по щекам его, раба, бей, — а все-таки, захочет, в золоте выкупает, не захочет, на улицу выгонит, и ступай — ищи себе нового хозяина, который твою волю и твое тело купит.

Помню случай, — уже когда актрисою я была. Как же! была! была! шесть месяцев! Успеха никакого, обожателей — нетолченая труба. А я, как Негина, — одна из всей труппы — «сокровище блюду». Сезон ужасный. Денег — ни гроша, квартира не плачена, шуба заложена, нечего есть. Питаюсь от доброхотных дателей — конфеты на икру и белорыбицу в мелочную лавку вымениваю, ленты от венков и букетов — туда же. Не жизнь — ка-торга. А около меня, с открытия спектаклей, тоже, как около Негинной, Великатов один увивался. И — как мне особенно туго и скверно придется, он, Мефистофель, тут, как тут, с своими наиделикатнейшими объяснениями, намеками, предложениями. Кругом — товарищи, товарки, посредники из публики, мало того: смешно сказать, — даже из обожателей

моих иные — хором поют:

— Чего вы упрямитесь? чего зеваете? какого вам принца еще ждать? Ведь, лучше человека не найти во вселенной!

И, как человек, он мне самой вовсе не был противен. Красивый, не старый, умница, миллионер. Действительно, — чего лучше. Только в рабыни-то уж очень не хотелось.

Хорошо. Позволила я себя уговорить. Ваша! Назначаю ему свидание. Приезжает. Дары богатейшие. Приняла. Смотрим друг на друга... Он — чем дебютировать — не знает. Я — никакого ему поощрения, да вдруг — как расхожусь!

— Онисим Николаевич, а, ведь, что хотите, это мы с вами преглупо затеяли.

Он было оторопел.

— То-есть?

— Да ведь вы знаете, что я вас не люблю?

— К сожалению.

— Так на что же я вам?

— Я-то вас люблю.

— И это вздор! Вотсе вы меня не любите. Вас задело за живое, что я недотрогою прослыла. Вам хочется, чтобы весь город кричал,

что я с вами сошлась. Правда, ведь?

— Конечно, я от людей счастья своего прятать не намерен, но...

— Какое там «но»! Главное это, а чувство вы, только ради красоты, аксесуарами припустили. Да и — какие чувства? Сами подумайте: приехали вы — якобы влюбленный человек — зачем? Овладеть любимую, будто бы, женщиною, хотя сознаете: она вас не любит, глубоко к вам равнодушна, и, если бы не крайняя нужда, ни за что бы вам не отдалась. За бесчувственный кусок мяса платить тысячами собираетесь. Ей-Богу, дорого это, Онисим Николаевич! не коммерческий расчет.

Он тоже засмеялся и говорит:

— Потешница вы! А — если таков мой каприз? Каприз-то дороже денег-с.

— Ну, вот это слово уже гораздо умнее, чем — люблю. Но, каприз, ведь влечет за собою раскаяние. Опять-таки: стоит ли дорого платить за раскаяние? — как сказал какой-то древний муж. Я бы и за дешево его покупать не стала. Берите меня, если хотите. Я вам слово дала, свидание назначила, подарки приняла — назад мне не пятиться. Только — мне не

себя, вас жалко: разоряетесь на вещь не стоящую. То же самое вы можете получить, раз во сто дешевле, вон — хоть от Липы, моей горничной.

Вижу я: весело ему. — Пстой же, думаю, я тебя раз-балаганю! — Машет руками:

— Позвольте! позвольте! Дело коммерческое, так дело коммерческое! Торговаться, так торговаться! А красоту-то свою вы ни во что, стало быть, не цените?

— Да что же красота? Хотите на красоту любоваться, — велите картину с меня написать, статую сделать. Все дешевле обойдется, чем я живая.

— Картину! статую! Это — холодный-то, мертвый мрамор, вместо такой милой мягкой ручки...

— А вы не мраморную статую — из каучука фигуру закажите. Теперь делают. Очень мило и похоже выходит. Мягкая, гнется, как угодно, глазами ворочает, вздыхает. Чтобы теплая была, кипятком ее внутри наливают. Полная, иллюзия и никаких неприятностей, ссор, шпилек, уколов, дерзостей!

— Умора с вами! Ну, а голос? нежное слово,

за которое — иной раз, в любовном аффекте-то — рад полжизни отдать?

— Ах, Боже мой! Да привезите мне фонограф: я вам в него хоть миллион всяких ласковостей наговорю, — утешайтесь потом, когда и сколько вам угодно.

Тут уж и он балагурить стал:

— Хрипят и сипят они как-то, фонографы-то.

— А что же? Если я с вами сойдуся, то, значит, я уже не смею и насморка получить, и горлового катарра? Да вы деспот, Онисим Николаевич! Вы не хотите оставить мне даже права ноги промочить...

Так и отсмеялась. Махнул он на меня рукою:

— Бог с вами, в самом деле, — чудачиха вы! Любви от вас не дождешься, а дружбу испортишь. А я вашею дружбою дорожу; вы молодец, веселая. Жизнь-то скучна, веселые люди в ней дороги.

И спрашивает полусерьезно:

— Ну, а, — вот, что вы насчет показа людям-то говорили. Ведь это правда. Неловко мне без вас. Многие ждут. Расхвастался. Как

же мы с вами будем для людей-то?

— А это — как вам будет угодно. Пусть меня хоть вся Россия вашею содержанкою почитает, — только бы этой купли-продажи на деле не было. Ей-богу, Онисим Николаевич, не стоит. Вот сейчас нам с вами вдвоем — как хорошо и занимательно. Я вас уважаю, вы меня уважаете. А тогда ни мне вас, ни вам меня уважать будет уже не за что: уже не друзья, да и не любовники, — просто контрагенты по амурной части. И — хорошо еще, если я сумею быть добросовестною контр-агенткою, а то, ведь, — надую или стоимостью ниже сметы окажусь, — так вы «караул» закричите! Скажете, что я вас в невыгодную сделку вовлекла!

И — до самого конца сезона — весь город почитал меня особою на иждивении Великата моего, потомственного почетного гражданина Онисима Николаевича Прокатникова, а между нами интимности не было ни вот на такую маленькую чуточку. Что я не лгу, можете, я думаю, мне поверить: я пред вами всех позоров моей жизни не скрyla, так за такую-то мелочью, иронически подчеркнула

она, — не постояла бы.

Мне везло на мужчин такого закала, — которые уговаривать себя позволяют и, в конце концов, предпочитают теплую, искреннюю дружбу холодному, фальшивому разврату притворной любви. Столько везло, что, я думаю теперь, почти все неглупые и здоровые мужчины таковы: при известной выдержке, при терпении и способности к доказательствам от разума, их всегда можно привести к хорошим, трезвым отношениям. Конечно, если не целиком сладострастник вроде Ивана Афанасьевича. Такого только гнать остается от себя, и больно гнать надо, как собаку опасную. Я про прежнего Ивана Афанасьевича, разумеется, говорю, — небрежно заметила она и вдруг чистосердечно рассмеялась.

А сказать ли вам? В метаниях-то этих, — куда деваться, да что с собою делать, да как жить? — я ненароком чуть было и в самом деле не исполнила иронического рецепта моей Арины Федотовны...

— То-есть? — не понял я.

— Чуть было не сочеталась с Иваном Афанасьевичем наизаконнейшим браком. Что?

удивительно?

— Признаюсь.

Она продолжала смеяться нерадостно, горько, зло,

— Не думайте, чтобы это был, — как бишь по-ученому-то? — да, — рецидив того дикого припадка, которым бес нас сблизил... Нет, нет! Тут дело, как говорится, совсем из другой оперы: от идеи пошло. Видите ли. Познакомилась я в Москве с одним священником. Нового типа, знаете: из дворян, университетского образования, для духовного звания пренебрег хорошею карьерою. Умница, развитой, аскет, мистик. Говорит, — заслушаться надо, словечко пропустить жаль: Саванаролла, Златоуст. Расчувствовал он меня однажды, — я ему, вот как вам сейчас, все свое приключение и выложила на ладони. И принялся он мне тут петь о таинственном смысле отношений пола к полу, да — что такое дитя, да — какие нерушимые и мистические связи устанавливает оно между отцом и матерью... ну, словом, розановщину всю эту. Недолгое, но огромное влияние имел на меня. Нервы на все колки взвинчивал.

— И он-то хотел, чтобы вы вышли замуж за Ивана Афанасьевича?

— Да. По его выходило, что я и теперь Ивану Афанасьевичу, все равно, какая-то таинственная жена, и принадлежу ему в вечности, и никому другому женою стать уже не могу и не имею права, и с обоих нас друг за друга спросится, как с четы, не понявшей своего назначения и взбунтовавшейся против Промысла своим человеческим разумом и гордостью. Теория у него была такая, что жизнь дана человеку для страдания, что затем-то и грех настигает нас, где не чаем, чтобы умели мы найти в нем покаянное страдание и страданием очиститься. — Вы, мол, не понимаете ни себя самой, ни греха своего. Грех вам в крест дан. Ваше легкомысленное сладострастие должно искупиться тяжелым супружеством, трудными обязанностями матери. Пред вами — долг христиански воспитать вашу дочь и спасти, сделать человеком ее несчастного отца. Разве не явное указание в том, что грех предал вас, такую прекрасную и гордую, во власть падшего и презренного человека? Вам милость указана, которой Христос чаёт от детей своих:

умеете же разбудить в себе эту милость и исполнить волю ее.

Пел-пел, — и напел. Загипнотизировал. Просто, воли своей не стало. Решила: быть мне, как велит и благословляет мой Саванаролла. И милость в себе разбужу и жертву принесу, и крест житейский подниму на плечи. Ломать жизнь, так ломать. Отправилась я благословленная, с красноречивым напутствием, в родные Палестины. В деревню к себе не поехала, остановилась в губернии. Выписала в город Ивана Афанасьевича, под благовидным предлогом, — будто прошу его осмотреть и оценить мой городской дом, тогда я этого наследственного имущества еще не лишилась, — находится-де покупатель. Приплелся он. Ну... как узрела я его во всей неприкосновенности, все кресты, милости и жертвы вылетели у меня из головы, будто белые голуби: брезгливость так волною и хлынула в душу... Думаю, — по Саванароллы-то урокам: это дьявол мутит; это мне искушение гордостью; смирю себя, переломлю. Буду кроткою, ласковою, — светлою, как любил выражаться Саванаролла. Он ко всем, быва-

ло — Зачем вы темны? Будьте светлы. Да будет светлота правды над вами. Светлостью да просветитесь... Высветляла я себя четыре дня. Но Иван Афанасьевич метафизической светлоты моей взять в толк не мог, а понял, в простоте душевной, дело так, что, просто, я почему-то вдруг сдобрилась и хочу возвратить ему свои милости. И повел себя в соответственном тоне: увивается, хихикает. Всегда был не из привлекательных, а тут, за три года, что я его не видала, уже вовсе опустился: оглупел, облысел, водкой наливается, в каждом слове, жесте, взгляде — шутовство и жалкая чувственность не владеющего собою, разрушенного человека. Вижу: затея наша не только плоха, но и пошла, и глупа до чрезвычайности. За этакого замуж идти? Нет, отче Саванаролла. Мягко стелете, да жестко спать. Никакого тут подвига не совершишь, никаких милостей не проявишь. А просто свяжешь себя с распутным стариком, который будет изо дня в день отравлять твою жизнь, осквернять и тело твое, и душу, по наглой своей воле, по пьяной своей прихоти. И взяло тут меня, Александр Валентинович, такое-то зло и на

Саванароллу моего, и на себя самое: зачем была дура, распустила уши на его медовые слова. Иван Афанасьевич, конечно, был отправлен восвояси. И издевалась же надо мною Арина Федотовна, когда я потом приехала в деревню и рассказала ей про свою блажь.

— Что за охота вам теперь-то держать его здесь, вечно у себя перед глазами? — спросил я.

Она равнодушно пожала плечами.

— Куда же ему деваться? Усадебку свою он давно прожил. Ничего у него нет. Нищий, старый, бездельник, пьяница. Разумеется, удовольствие лицезреть его не велико. Но выгнать его, чтобы шел умирать под забором, духа не хватает. Все-таки, как хотите, не смею же я сказать, чтобы он был. мне вовсе чужой... Да, нет, вы мужчина, вы меня не поймете: это наше нарочное, исключительно женское чувство... Каков ни есть, — принадлежала же я ему. Это не забывается. Остается что-то, тянется какая-то ниточка...

— Ниточка — это хорошо. Но он легко может скомпрометировать вас.

— Не посмеет. Он дрессированный. Меня, — вы сами сейчас видели, — боится, как огня. Арины Федотовны еще больше. Совсем у нее в руках.

— Однако, сегодняшнее происшествие...

Виктория Павловна, с видом недоумения, развела руками:

— Прямо удивительно, что такое с ним случилось. Это еще надо расследовать, каким способом Бурун заставил его говорить. Что Иван Афанасьевич показывал ему Феню, это я знаю уже третий день. Но, чтобы он рассказал о Фене, — это новость. Я была уверена, что Бурун поручил ему найти красивенькую модель для детской головки, и Иван Афанасьевич свел его к Мирошниковым посмотреть Феню, потому что она, действительно, миленькая. Даже обрадовалась: рассчитывала, что Бурун напишет, а я выпрошу на память...

— Вы говорили мне, что Арина Федотовна умела скрыть рождение вашей дочки, так что происшествие кануло в воду. Но Иван-то Афанасьевич, значит, был, все-таки, посвящен в тайну?

Виктория Павловна досадливо тряхнула

ГОЛОВОЮ.

— Одна из моих глупейших сентиментальностей... вот — за которые Арина-то меня поедом ест... Сама ему призналась, в ту же пору, когда в покаянное замужество собралась. Вот уж бить-то было некому... А, впрочем, рано или поздно и сам бы догадался: девочка вырастает так на него похожа... А глаза мои... Улика живая. Оттого я и избегаю видеть ее при посторонних. Мне все кажется, что вот-вот сейчас люди вглядятся в нее, в меня, в него, и все поймут, и она все поймет... Время, когда она подкинута, сообразить не трудно... Афанасьевич же, надо отдать ему справедливость, ищейка с чутьем... До сих пор он молчал, как могила. Арина говорит, что он не любит даже, когда, с глаза на глаз, она пошутит что-нибудь с ним на мой счет или напомнит. А тут вдруг, точно плотину прорвало, — все разболтал. Не понимаю, решительно ничего не понимаю... Но довольно об этом. О чем, однако, я раньше-то говорила, — прежде чем отвлечься брачными проектами? Да, — о моих друзьях-мужчинах, как хорошо я с ними уживаюсь, и как добиваюсь от них трезвых, доб-

рых отношений...

— Однако, — заметил я, — не сумели же вы привести к хорошим, трезвым отношениям Буруна?

Виктория Павловна пожала плечами и коротко сказала:

— Бешеный.

Потом, помолчав, заговорила, постукивая пальцами по столу:

— Видите ли. Есть тут одно условие, в дружбах этих. Что соперничество есть, это ничего, это даже хорошо. Вы видели на моих именинах много соперников, связанных со мною равною дружбою. Это не мешает им относиться друг к другу очень хорошо. Но надо, чтобы не было соперников несчастных и счастливых, чтобы каждый думал, что они все несчастные, что ни один не имеет основания завидовать соседу: все — приятели, ни одного любовника. Бурун отлично-было начал дрессироваться в общий тон, да — угораздило его дорыться до Фени и истории ее происхождения. Ну, и вся мужская гордость сейчас же на дыбы! Помилуйте! Оскорбление полу нанесено! Как? Мое великое я унижено? какой-то

негодяй ею владел, а надо мною она издевается, мною брезгает? Не потерплю! сорву маску! накажу! осрамлю! Ну, и наказал, и осрамил... Э-эх!. Хорошо еще, что вчера, — и на устах Виктории Павловны вдруг зазмеилась лукавая улыбка, — он не убил бедную Арину, когда она от меня шла... Влюбленного, сумасшедшего на все хватит, мог и юбке, и платку на голове не поверить, а пуля дура... Нет, Бог с ним! Пусть его уезжает: чем скорее, тем лучше. Уж слишком он ревности и подозрений наглотался. Это — яд хуже алкоголя.

— Вы спросите, — продолжала она, круто оборвав о Буруне, — как ухитряюсь я сама-то выдерживать эти трезвые, хорошие отношения? Ну... я позволяю вам предполагать, что я далеко не всегда и не со всеми их выдерживала. Но никогда никто, кроме того, кому я доставалась, не знал о моем безумии. И с того, кому я доставалась, я никогда не требовала никаких обязательств, кроме вечного глухого молчания. Вы верите в запой? — быстро спросила она, глядя в сторону.

— Что значит «верите»? — удивился я.

— Да ведь запой иные баловством счита-

ют, распушенностью воли. А верите ли вы, что он — болезнь? что он — этакий циклон алкоголический? налетит на человека, истреплет его всего, измочалит в своей грозной власти и мчится дальше. А оставленный им в полусмертях человек едва понимает, что с ним было, и водки в рот не берет, и от винного духа бежит, как чёрт от ладана... Верите?

— Ну, верю

— Так поверьте и тому, что запой бывает не только на вино, но и на другие страсти.

Трезвые хорошие отношения... я не боюсь в них какой угодно близости хоть с Антино-ем, хоть с Аполлоном Бельведерским, потому что природа странно сотворила меня холодной и бесстрастной на огромно большую часть моей жизни. Я не понимаю этих постоянных огней, тлеющих под пеплом, этих темпераментов вечно трепещущих готовностью страсти. Но время от времени какой-то насмешливый и злобный бес отнимает у меня разум, волю, всю меня подчиняет крикливым требованиям тела и крови, внезапно бунтующей в его жилах. Это налетает именно, как запой, продолжается, как запой, и обрывается,

как запой. И, — как запойный пьяница, если не дать ему вина, водки, коньяку, пива, все равно напьется одеколоном, гофманскими каплями, столярным лаком, — так и здесь... Вот я вам рассказывала, как мы, три женщины, зиму здесь зимовали, и как одичала я в холодной тюрьме этой, с грубым, грязным бабьем. Ведь — самки же первобытные. благо сыты и труда нет, а, когда хотят, то и пьяны: кроме животных помыслов ничего на уме, кроме цинических разговоров, да нелепых, скверных сказок о поповнах, попадьях, батраках, ничего на языке в долгие зимние сумерки. Ну-ка, вообразите-ка, что в этакую-то скудоумную и безобразную пустыню врывается вдруг запойный вихрь-то, о котором я говорю... яростный, требовательный, неудержимый. Чего он, без узды-то, без противодействия, наделает? Куда занесет и бросит?.. Трудно бороться против себя в одиночку. Оставайся подле меня в подобные моменты хороший человек с сильным влиянием на меня, хотя бы таким, как у Арины Федотовны, он обуздал бы меня, не позволил бы мне наживать злые раскаяния. Ну, а она не удержи-

ница, а пособница. Только бы все было шито и крыто, а то — чем наглее, тем лучше. Она не понимает, как можно отказаться от своей прихоти, если безопасно ее исполнить. — зачем? Какая в том кому польза? Право, мне иногда кажется, что я для нее — то же, что для людей образованных театр с адюльтером или пикантный французский роман. Я забавляю ее. Она знает наизусть все мои увлечения, и это ее любимые воспоминания. Я ее беллетристика. И, конечно, чем больше томов поставлю я в эту ее, так сказать, библиотеку, тем будет ей веселее...

Х.

Виктория Павловна умолкла, и мы долго сидели тихо, — я, выжидая, она — что-то гневно припоминая и соображая. Потом лицо ее прояснилось, и она молвила тихо и многозначительно.

— Однажды, — вот, после того, как я в актрисах-то побывала, — напала на меня эта подлая запойная полоса. «Он», которому я при этом счастливом случае повисла на шею, увез меня к себе в деревню; прожила я три недели в угаре, — возвращаюсь в Москву, а «он» в деревне остался: техник был, имениями князька одного управлял. Денег слабо было, еду в третьем классе. Настроение духа омерзительнейшее. С техником моим едва простилась, — столь он мне противен стал, вспомнить не могу, — тошнит! Себя — и жаль, и — так бы вот и разорвала! Вообще, глаза бы не глядели на свет и — хоть под поезд головою.

А насупротив меня старик сидит: седой, бородатый, в бровях косматых, толстоносый такой... лицо как будто знакомое. Как взглянул

он на меня, — так серыми глазами, точно двумя гвоздями, меня к месту и пришил.

А он смотрит — и строго, и грустно, — прямо мне в лицо, и чудится мне, что он весь, с бородою и с сапогами высокими, вошел в душу мою и идет по ней, как по какому-то дому, и видит все ее запустение и неубранство, и качает, качает думною головою:

— Эх, мол, голубушка! как ты нарушила всю себя, а ведь хоромы-то Бог в сердце твоём построил- было чудесные...

И подступили мне к горлу слезы, и смотрю я на старика, и креплюсь всею волею: вот-вот не стерплю — разревусь, как дура, на весь вагон... И кажусь я себе — маленькая-маленькая — как в детстве была, и как обидят тебя несправедливо, и вся душа тогда надрывается от горя... И не замечаю я того, что слезы уже давно у меня по щекам текут и свет застыт... И вот старик этот самый вдруг говорит мне низким, спокойным, ровным голосом:

— Отчего вы так несчастны?

Я вся затрепетала — и ничуть не удивляюсь, что он так прямо с сердцем моим заговорил, — и отвечаю:

— Оттого, что я грешная, грязная. Не говорите со мною. Вам нельзя говорить со мною. Я не стою, чтобы вы говорили.

Он смотрит в упор:

— Нет совести безгрешной, нет белоснежных душ. Нехорошо приходить в отчаяние. Грех пред самою собою — грех. Вы вон плачете. Это уже хорошо. Слезы моют молодую душу. Нет пятна, которого бы они не отмыли. Не бойтесь. Успокойтесь. Кто вы такая?

И рассказала я ему всю свою жизнь. А он слушал и грустно светил серыми глазами, и не могла я солгать, под взглядом его, хотя бы одним словом. А когда я кончила, он сказал:

— Зачем же вы так скудно живете — вся только в самое себя?

Я молчу, — так меня и потрянуло от этого вопроса.

— Вы посмотрите на себя, — говорит. — Ведь вы себя поставили точкою, в которой сходятся все линии мира. Вы через себя первый меридиан провели. Ведь вы только о том и думаете всегда, как бы вам было хорошо, да жилось бы во всю свою блажь, во весь произвол, да все бы вас любили, находили прекрас-

ною, очаровательною, и через красоту и очарования все бы рабами вашими были.

— Я... я трудилась... — лепечу я.

— Да что же! какой труд? — возражает. — Сами сказали: без потребности в труде, через ненависть к нему. И быть не могло иначе. Не может самообожжающее существо с любовью трудиться. Кто не любит людей, тому труд — проклятие.

— Научите, — молю, — научите меня: как мне жить? что делать?

— Людей любите. Прощать умеете. Собою не любуйтесь. Ни в красоте, ни в уродстве. Потому что ведь в уродстве-то самолюбование — оно тоже увлекает. Правда?

— Правда.

— Вы кажетесь мне от природы умною и доброю. Но ум ваш работает на одно: как бы вам себя на свете хорошо и занимательно, то есть интересно, с красивым развлечением, устроить. А доброте вы роста не дали; она у вас не проверенная, бессознательная, инстинктивная. Довольно вам в позы становиться, обстановки себе сочинять. Попробуйте быть просто сами собою, дайте волю свет-

лым позывам души своей. Вспомните; как в детстве были. До срамов этих. Ведь помните? Ну, и вернитесь к тому, чего тогда хотелось. В них, хотеньях детских, правда.

— Я на подвиг идти не могу, — говорю. Опроститься там, либо в сестры милосердия, — это геройство выше меня.

Он бровями двинул:

— Кто же в праве требовать от вас подвига?

Молчу.

— Больше скажу. Если бы вас к подвигам даже потянуло, вы себя построже проверьте сперва: достойны ли вы пойти на подвиг? Не опять ли в вас самолюбование заговорило? Захотелось красивой роли, положения привлекательного?.. Нет ничего хуже лицемерно-го, обманного добра, потому что оно — добро бы только людей, — а хуже: собственную душу обманывает, прозренья внутрь себя заслоняет.

— Не подвиги, — говорит, — нужны, а любовь к людям. Где любовь эта есть, там о подвигах и рассуждать уже поздно: там подвиги уже сами собою являются. Что дурного сдела-

ли вам люди, простите. Умейте прощать. Мало на свете грехов и преступлений вершится злою волею, все больше неразумием. Люди очень хороши, в каждом есть прекрасные черты и стороны. И человек, который умеет другому его прекрасную сторону, скрытую в нем самом, показать, оказывает великую услугу ближнему. Потому что, если человекопознание дело трудное, то самопознание еще труднее. А от недостаточного самопознания в людях рождаются равнодушие к себе, попустительство греховному произволу, отчаянность. Не надо терять светлой искры в себе. Это все равно — что компас в море потерять. Будьте людям другом, правдивым, откровенным другом, не навязчивым, но искренним. Хорошо было бы, кабы каждый из нас мог стать совестью своего соседа. Что носиться со своими страстями, болями, горями, успехами, неудовольствиями? Не у вас они одной, у всех. Утешить чужое горе лучше, чем самоулаждаться анализом своего; залечить чужую рану полезнее, чем расковыривать свою собственную. Служить ответом на чужую душу человеческую, утешить страждущего, вра-

зумить недоумевающего, поддержать падающего — вот путь, на котором просветляются люди.

Подъезжаем к его станции, собрался выходить. Вооружилась я всею своею смелостью, говорю ему:

— А проклятые моменты эти, когда меня дьявол в болоте топит... что я могу тут? Скажите мне: как я должна бороться с ними?

Он встал и говорит:

— Дитя мое, ужасно это, но в отчаяние не приходите. Падение поправимо, отчаяние — смерть души. Боритесь, всеми силами старайтесь победить себя, переломить. Но не верьте в свою погибель. Не может Бог погубить человека за то, что сам Он вложил в его природу. Лишь не творите себе земного кумира из плоти, не идеализируйте ее порока, помните, что она — враг.

И вдруг — у него на глазах серый туман, и он стал из великана маленький, старенький и как-то всхлипнул, и закивал головою, как бедный, дряхлый, огорченный человек.

— Я стар, — говорит. — Мне за шестьдесят лет. А — победил ли я инстинкт этот? Нет. Ко-

гда он перестает одолевать тело, он бросается на мысль. Надо бороться с ним за ее чистоту, отстаивать ее целомудрие, ни на миг не давать ему над нею торжествовать. Да! А я старик. Так — судья ли я вам, такой молодой и могучей? Владейте собой, — вот все, чего могу вам пожелать. Владейте собою, не лгите себе и любите людей. За любовь человеку многое простится.

Поезд стал, — он вышел и исчез, как видение, в толпе, почтительно перед ним расступившейся. А я, едучи дальше, плакала и думала: если он прощает, — авось, уже не вовсе я пропала, не так уж без конца грешна и преступна.

Виктория Павловна растроганно умолкла. Я не нарушал ее задумчивости. Со двора бряцали бубенцами какие-то кони...

— Повозку с села привезли, — тихо сказала Бурмылова. — Должно быть, Бурун уезжает. Ишь, проститься не идет. Ну, Бог с ним... Когда-нибудь — умнее станет, поймет, что если я ему на шею не бросилась, так ему же добра желала... быть может, тогда пожалеет и простит, а куда — хоть бы не разбалтывал...

— Не думаю, чтобы стал, — сказал я, не слишком, впрочем, решительно, — он дик и порою даже нелеп, но все же человек порядочный.

Она горько улыбнулась.

— Может быть, хотя я очень мало верю в порядочность мужчин, когда они оскорблены в своем любовном самолюбии. Да — Бог бы с ним, — только тут особые обстоятельства. Если бы оттого получился вред только для меня одной, — пожалуй, пусть болтает. Чему другому, а презирать толки и слухи о себе я давно выучилась. Не лучше легенды слагали обо мне и слагают здешние дамы. Следовательно, станет одною скверною легендою больше — только и всего. Если бы я боялась огласки, разве трудно было мне разыграть роль оскорбленной, оклеветанной невинности? Сначала «не понять» обвинений Буруна, потом отречься, прийти в негодование, уверить его, что он одурачен, и, в конце концов, его же высмеять, поставить в глупое, обидное положение, заставить просить извинения за злые мысли, и так далее. Иван Афанасьевич только поддержал бы меня, а Бурун счастлив

был бы поверить. Ведь я видела: он чуть в обморок не упал, когда я все подтвердила. Я очень плохая актриса для сцены, но в жизни любая женщина, для подобных трагикомедии, готовая Дузэ. Их-то в народе и называют нашими бабьими увертками. Горазда и я на них, не хуже других. Вы, мужчины, так учили нас скрываться от вас и вас обманывать, что это стало нашим сексуальным талантом, второю натурою. Но, когда меня так дерзко и прямо вызывают на открытый бой, я не умею, не люблю вилять и всегда принимаю вызов. Вот почему я пошла навстречу его обвинению. Чтобы не смел думать, что я перед ним струсилась, чтобы не смел требовать отчета, воображать, будто он имеет какое-то право его требовать. Ну, да и разозлил он меня до зеленых чертей в глазах, — может себя поздравить. И без того уже я хожу сама не своя в последние дни, — процедила она сквозь зубы, с так знакомым мне, фальшивым взглядом вкось, — а он тут еще с своим сыском. Надоел, раздражил, утомил — терпения нету. Ссора, все равно, висела в воздухе, — не сегодня разбранились бы, так завтра. И, наконец, вижу:

готовится мне красивенькое *roug la bonne bouclie*. Собирается прекрасный молодой человек так-вот и плюнуть в меня при людях секретом о Фене. Ну, не выдержала, кровь бросилась в голову. А, ты так-то? пугать? Получи же, голубчик. Сама выдала себя. И слава Богу. Грех долой, — душе легче.

Она смущенно опустила голову, ломая в пальцах зеленую веточку липкого тополя. Потом взглянула мне в глаза прямым, ясным, честным взглядом.

— Князя очень жаль, — сказала она. — Ужасно будет, если дойдет до него. Хоть и нет между нами уже никакой любви, и все прошло, что я вам говорила, былшем поросло, старое чувство давным-давно погасло, и пепел его охладел, — а ведь друг он мне, из друзей друг, боготворит меня, молиться готов. Он и без того хандрил, пессимист, *blasé*, скучалка жизнью. Он не раз говорил мне, что я одна из немногих ниточек, которые привязывают его к привычке существовать, потому что жизнью своей жизни он не называет. Жестокий это для него нравственный крах. Боюсь за него... и... стыдно очень...

Она прикрыла глаза рукою. Затем продолжала с тем же ясным взглядом и с хорошою, грустною улыбкою:

— Да и всех их жаль, всю мою Правослупутную и бесталанную. И деда Зверинцева, и Келепушку с Шелепушкой, и всех. Уж очень все они свыклись с моею дружбою, слишком срослись сердцами с хорошим обо мне мнением. Всем будет больно отрываться от меня. А не оторваться нельзя. Одних злоба разочарования прогонит, другие придут в хамский восторг: недотрога-то наша, гордячка — нашего поля ягодою оказалась, и надо будет их прогнать. Разочарованных, в особенности, жаль. В самом деле, считали меня только-что не за святую, лучшие, чистейшие чувства свои урывали даже от недр семейных, чтобы снести ко мне, — а я — вон какая. Вы только представьте, вообразите себе, как станут торжествовать всякие Екатерины Семеновны и Антонины Никаноровны, которым я столько лет была как колючий терн в глазу; с какою злобною радостью будут они издеваться над мужьями; вот, мол, кого вы, в простоте душевной, — идеализировали, вот

пред кем благоговели. Взять хоть Михайлу Августовича, золотого друга моего. Ведь он своей десятине не позволял словом дурным обо мне никнуть. Как-то раз, при гостях, она осмелилась — ругала меня очень, сплетни грязные повторяла, развратницей назвала. Мишель и на постороннюю публику не посмотрел — Не умею, говорит, судить, кто добродетелен, кто грешен, ибо сам в беззакониях рожден. Полагаю, что праведен Бог один. Однако, говорит, уверен, что, если Виктория Павловна вздумает идти замуж, то не поедет в балет выбирать мужа по телосложению в трико, а, ты, матушка, там меня и обрящила... Самым великим, самым достойным людям дай Бог в удел такую крепкую к ним веру, таких сердечных, теплых друзей, таких фанатиков без рассуждения, как верили в меня, малую и не стоящую. А теперь — по этой-то вере — хватъ грязным кнутом. Выйдет на свет безжалостная старая правда, и окажется, что все они, Екатерина Семеновна, Антонина Никаноровна e tutte quante, правы, и я, действительно, и Мессалина, и Цирцея, и какие там еще глупые клички мне давали?.. Окажусь ху-

же, чем даже они думали обо мне. Кумир-то, стало быть, в куски, идеал-то в лужу, в омут, в болото. Возненавидеть за такой обман должно, — и возненавидят. Еще счастье мое, что Орест сидит в сумасшедшем доме. Тот бы не пожалел, — прав был Иван Афанасьевич: прямо пришиб бы меня на месте кулаком по темени. Вот-де тебе, змея-обманщица! Не лицемерь, не делай дураками честных людей, не смей играть святыми чувствами. От всех-то я требовала прежде всего искренности, прямо-ты, всех-то наставляла искать счастья в правде отношений житейских, — и всех обманула, провела, как ловкая фокусница. Не прощают таких издевок над собою хорошие, но грешные люди, вроде того же Михаила Августовича. И мне от них нельзя ждать доброго, да и им будет очень нехорошо. Потому что, какова я ни есть, а это смею сказать с гордостью и всегда утверждать буду: была я полезна им, слабым людям. Многие из них одной мне, только моему влиянию обязаны, что сохранили облик человеческий и не пасутся на подножном корму, подобно Навуходносорах. Многих я охранила, многих заснувших, опу-

стившихся разбудила. Сколько людей кругом думали и поступали хорошо, прежде всего, потому, что считали меня своею живою совестью, — иначе, мол, Виктории Павловне на глаза показаться стыдно. Келепушка до столкновения со мною, о котором я вам рассказывала, скот скотом жил, по всей губернии славился жадностью и бесстыдством. А теперь, — сам признается. — Как заходят, говорит, во мне злые бесы, я сейчас же и проверяю себя: а что-то нам на это Виктория Павловна скажет? Скверно скажет. Ну, стало быть, преодолеть себя надо. Провалитесь вы, бесы!.. Жаль мне, Александр Валентинович, жаль всех их — моей бедной, порочной, курьезной Правослы, куда больше, чем себя, жаль...

А полу-друзья и скрытые враги, которые не унижали меня только потому, что не смели, потому что пятна на мне найти не могли? для которых моя Правосла была приятным местом, потому что в ней можно держать себя без стеснений, но несколько скучным, потому что насчет амура плохо? Господа, которые, напившись, отпускали в городе фразы вроде: всем бы у Виктории Павловны хорошо, —

только, отчего она барышень не приглашает? Провели бы время с приятностью. А то — словно собака на сене, сама не ест и другим не дает. И, — главная группа опасных: господа, которые ухаживали за мною и получили отказ. Разве Бурун один? Много их у меня и есть, и было. Что обиженных, что втайне негодующих, как смела я оттолкнуть величие страстей и чувств их. Бурун открытие свое в трагедию принял, — какой-нибудь Позаренко, какой-нибудь Кутов сделает из него комедию, водевиль, и как радостны-то, как счастливы будут. Еще бы! сразу все цепи с языка и совести долой: не смеешь больше командовать нами, царевна Недотрога. Не смеешь больше не слушать наших пошлостей, не смеешь восставать против наших скотских взглядов и поступков, против нашего мужского превосходства и первенства. Потому что — довольно-с: покомандовала, пока тебя не раскусили, пока умела ты втирать нам очки, будто и впрямь ты особенная — стоишь где-то этажом выше нас. А теперь мы тебя раскусили, голубушку: не только ты такая же, как мы, но и похуже нас, потому что фарисейка, кривляка.

Так вот же тебе и дань должная — и подлый флирт, и наглое амикошонство... полюби нас черненькими, беленькими-то нас всякий полюбит.

Она задыхалась, красная, как пламя, глаза ее метали молнии, губы трепетали, голос звенел острою, горькою силою... Огорчение сделало лицо ее некрасивым и старым: теперь ей смело можно было дать ее двадцать девять лет.

— Успокойтесь, — сказал я, растроганный ее волнением, — дело, по всей вероятности, обстоит не так трагично, как вы его воображаете. Это первые острые впечатления. Повторяю вам: при всем своем легкомыслии, Бурун человек не бессовестный. При том собственная роль его в данном случае так жалка и некрасива, что, если он сумеет обсудить и уразуметь свое поведение, то вам нечего бояться: он должен молчать и будет молчать.

— Дай-то Бог, — возразила она, ежась будто от холода. — Если нет, то у меня не хватит силы воли оставаться жить здесь, в Правосле, а — что же мне тогда делать? куда деваться? Кроме Правослы, мне идти некуда. Вы даже

вообразить не можете, как плохи мои дела. Я нищая. У Арины Федотовны, вероятно, есть кое-какие средства. Но, как мы ни близки, а очутиться от нее хоть в маленькой материальной зависимости... нет, спасибо... я рабою быть не желаю...

Она примолкла на минутку и спросила меня застенчиво, запинаясь:

— Я боюсь, что, быть может... и вы тоже... не захотите более оставаться у меня?

Я замаялся в ответе. С одной стороны, уезжать мне не слишком хотелось: и работа была не кончена, и Петербург уж очень не манил. Но, с другой стороны, нет ничего неприятнее, как оставаться каким-то «благородным свидетелем» на месте, где только-что разыгрался крупный скандал, после которого всем становится не до других, все стараются не встречаться глазами друг с другом и думают об одном: как бы не заговорить о веревке в доме повешенного. Я предчувствовал с неудовольствием, что, пока не уляжется первое впечатление, воспоминания глупого утра будут вставать скучным призраком между мною и Викторией Павловной в каждом раз-

говоре, и обоим нам будет досадно, противно, неловко.

Виктория Павловна воспользовалась моею медлительностью и продолжала:

— Я понимаю, что с тою неловкостью которую внес в наше знакомство сегодняшней случай, гостить у меня не доставит вам удовольствия. И, все-таки, если можно, если вы хоть немножко расположены ко мне, я прошу вас: не уезжайте еще несколько дней. Я обещаю, что не буду надоедать вам...

— Помилуйте, что вы... — начал было я сконфуженный.

— Если угодно, вы меня и не увидите. Мне бы только иметь уверенность, что сейчас я не одна, что есть в доме человек, к кому, в случае какой-либо беды, я могу дружески обратиться за нравственной поддержкою... Признаюсь вам: я выбита из колеи. Мне надо одуматься, успокоиться, разобраться в себе и в том, что случилось. Я боюсь остаться совершенно одна — сама с собою... с Ариною... Очень прошу вас: подарите мне несколько дней.

Я отвечал, что всегда готов к ее услугам и

останусь в Правосле, сколько она пожелает. Виктория Павловна протянула мне обе руки. Они дрожали и были холодны, как лед.

Колокольчик и бубенцы залились во дворе, глухо пророкотал под копытами и колесами бревенчатый мосток перед воротами усадьбы. Я подбежал к плетню и взглянул на Буруна. К удивлению моему, он уезжал не один, — рядом с ним, понурым и сгорбленным, солидно сидел в тележке кто-то в белом картузе и сереньком костюмчике.

— Да это Ванечка... — воскликнул я. — Зачем он Ванечку увез с собою?

Обернувшись с этим вопросом к Виктории Павловне, я не нашел ее на прежнем месте, у стола. Она исчезла, как тень, беззвучно, бесследно.

Я смотрел вслед Буруну, покуда не исчезло пыльное облако, взбитое тощею мужицкою парочкою по песочной дороге. Потом пошел домой.

ХІ.

Арина Федотовна сидела на ступеньках балкона и чистила кухонным ножом огромную лиловую репу. Когда я приблизился, она, не оставляя своего занятия, подняла голову и пронизала меня таким взглядом, что меня, буквально, шатнуло от нее. Лицо ее было сплошь клюквенного цвета, губы сжаты, скулы напряглись, по лбу прокатилась толстая синяя жила, белесые брови сползли к носу; до сих пор я никогда не замечал в ее серых глазах зеленых искр, — теперь они так и прыгали.

— Наговорились? — не сказала, а толсто как-то пролаяла она, при чем могучая грудь ее ходила ходуном, а от репы в засученных руках так и полетели оскребки. — Много умного наслушались? До завтра, небось, не пересказать?

— Я-то при чем? — возразил я не столько в ответ на слова ее, как на взгляд и жесты. На меня-то за что вы злитесь?

— Я не на вас. Сердце расходилось. Нарочно сюда в засаду села, дьявола этого синего

взяла крошить: авось, кроша, полегчает. Мою-то где оставили?

— Я думал, она в дом прошла?

— Не видала. О, дура! Вот дура-то непро-свистанная!

Я сделал вид, что не слышу, и прошел мимо, но оказалось, что от Арины Федотовны не так легко отвязаться, когда она желает разговаривать. Она весьма бесцеремонно последовала за мной, вошла в мою комнату и, когда я, присев к столу, начал шевелить бумаги, притворяясь, будто хочу заниматься, она, не обращая никакого внимания на мои символические жесты и намеки, тоже преспокойно уселась, с своею репою, на подоконник, свесив босые ноги на рядом стоящий стул.

— Я приказала Ваньке с ним ехать, — начала она.

— Ах, это вы распорядились?

— Я. Пусть хоть в первой горячке не останется один, покуда его ветром не обдует. Мало ли чего этакий жеребец может натворить стогряча? Я Ваньке строго-настрого наказала: не оставлять его ни на минуту, — репейником чтобы к нему прицепился: с чужими гово-

рить с глазу на глаз не давай, а если станет поминать что о барышне, заминай речь, замазывай, переводи на другое.

— Вы надеетесь, — Ванечка это сумеет?

— Ванька-то?

В тоне ее даже изумление послышалось: ну, стало быть, действительно, сумеет.

— Ведь это ему дня на три, много на четыре беснования хватит, — не боле. Перебурлит до дна, и обойдется, — продолжала Арина Федотовна. Постигла я его, ирода, довольно достаточно: глотка широка, а доньшко — не глубокое, скрозь видно.

— Но, значит, Ванечку-то он во всяком случае введет в секрет, — на это вы рассчитали?

— Зачем? Совсем не надо тому быть. И нельзя. И не будет, — возразила она, опять с удивлением. Пламенная окраска ее ланит понемногу выцветала, и обычное благообразие, хотя медленно, но уже возвращалось правильным чертам ее широкого, круглого лица.

— Почему вы так уверены?

— Потому что, говорю же вам, Ваньке велено: как он заикнется о барышне, так переводить на другое.

— А если Ванечка сам заинтересуется и послушается вас?

Она положительно не захотела поверить своим ушам.

— Кто меня послушается?

— Да Ванечка ваш.

— Ванька послушается? — воскликнула она, широко открыв на меня свои жесткие глазницы, — и опять понял я и поверил ей, что Ванечка послушаться ее никак не посмеет.

— Впрочем, — сказала Арина Федотовна после короткого раздумья, — если и успеет тот выболтать, то все же лучше своему, чем чужому. Ванька — рыба. Что он знает, да не велено говорить, того и подушке своей не скажет. Но и подлые же мужчанишки! — воскликнула она, со злобою погрозив ножом дороге на станцию, — так бы я этого Буруна и перервала пополам. А уж тому голубчику, воши этой...

Арина Федотовна не договорила: от злости в зобу дыхание сперло, и снова она апоплексически налилась кровью и даже пятками затопотала по стулу. Я промолчал.

— Пятый год твержу дура: гони в шею, до-

ждемся шкандала. Нет: совестно. Вот тебе и досовестилась. У него-то где совесть была — этакое куралесить? А, ежели оставить его сейчас без хорошей острастки, то он еще злее штучку подведет. Я знаю. В этих делах только первую песенку, зардевшись, поют. Ну, да уж погоди, — я тебя, Ирода жидовского?

— Я возразил:

— А, собственно говоря, что же, однако, вы можете сделать Ивану Афанасьевичу?

Она ответила мне с еще большим недоумением, чем я предложил вопрос:

— Как, батюшка, что могу? Да — что захочу, то с подлецом и сделаю.

Ответ был — нельзя сказать, чтобы определенный и удовлетворительный, но в тоне его звучало столько уверенности в своих праве и силе над Иваном Афанасьевичем, что я и на этот раз покорился и уверовал.

— Где он теперь-то? — спросил я.

— Сидит на леднике. Заперт.

— Что-о-о?

— Чтобы не удрал, — спокойно пояснила Арина Федотовна. — А то удерет. Пуцдай прохладится, да с мышами посплетничает. А я

тем временем подумая, в какой мне с ним поступок поступить.

— Послушайте, Арина Федотовна, — возопил я. — Бог с вами! что же это вы такое делаете?

— А что?

— Как же можно? Взять взрослого свободного человека, — ни он пьяный, ни он сумасшедший, ни он вам родной, ни он вам свояк — взять и посадить его к мышам в погреб... Ведь это насилие, лишение свободы... По какому праву? Вы преступление совершаете.

— И, батюшка, — поучительно возразила она, давно уже и окончательно побелев в лице, — воров да лихих людей и не в такие места вяжут-сажают. Где нам права разбирать. Наше право: поймал вора, так и дуй его по за гривку.

— Так, вора же. А Иван Афанасьевич ничего у вас не украл и никакой уголовщины не совершил.

— Еще чего дожидаться — насмешливо протянула Арина Федотовна. — Нет, барин, вы это оставьте: не разжалобите. Одначе я его посадила, — должен сидеть, покуда ему мое

решение не выдет.

— Не понимаю, как он вам дался, позволил так с собою поступить.

— Как же бы он смел не датья? Велела идти в ледник, — и пошел. Не первый год живет: знает, что у меня такой порядок.

— Странные у вас порядки.

— Не взыщите, — сухо возразила она.

— И это... с ведома Виктории Павловны? — не без колебания задал я брезгливый вопрос.

Арина Федотовна презрительно сжала губы.

— Зачем? Очень нужно. Чтобы опять о совести да о жалости, да о правах разговаривать? Слыхивали. Нет, батюшка, я сама по себе. Дура моя только для людей умна, а что взять по своему обиходу, так у нас спокон веку: ейное дело глупить, а мое — дурости ее заштопывать.

— Хорошо штопаете: бесправно лишаете человека свободы. По-моему, это скандал на скандал. Еще если бы он безобразничал, буянил. А то, как на зло, трезв сегодня, как стеклышко...

— Вот и пусть на трезвую совесть о себе по-

раздумается, — отозвалась она, углубляясь в чистку репы.

— Смотрите, чтобы он до сухой беды не додумался, — погрозил я.

— Она прищурилась:

— Что-с?

— Не удавился бы там, в леднике вашем, от обиды и злости.

Арина Федотовна спокойно обратилась к своей репе:

— Не на чем ему удавиться: ни крюка, ни сука. Да и отобрано у него все, и ремнишко с брюк, и галстучишко... не удавится...

— Что же он, в дополнение всех удовольствий, голый что ли сидит?

— Не голый, а в безбелье, чтобы прохладился, и выйти было совестно.

Я встал со стула.

— Я пойду и сейчас же его выпущу.

Она возразила с хладнокровною ядовитостью:

— Руки коротки, батюшка.

И, не позволяя мне прервать ее, заговорила:

— Что вы себя беспокоите? Не стоит он то-

го, сукин сын, чтобы мы с вами о нем разговор рассуждали. Говорю вам: не в первый раз, имеет свой опыт. Что положено ему мною отсидеть, то и отсидит, — это будьте в полной надежде. Потому что стоит того. По-настоящему судить, так жаль, что и того-то, сокола ясного, я не спохватилась — отпустила гулять. Самое бы правое место ему теперь — на леднике, с красноносим чёртом, дружкой новым: вместе намерзли, вместе бы и каялись. Умник какой нашелся полуночный; в потемках за людьми с револьвером бегаёт... Ещё — как меня Бог уберёг, жива осталась.

И у нее, при жалобе этой, явился тот же фальшивый взгляд, что раньше у Виктории Павловны, и у нее также искусственно зазвучал мнимо негодующий голос, и скользнула предательская улыбка по губам.

— Ну, милые, — подумал я, — Бурун-то, бесспорно, пред вами виноват, но, — что какие-то странные шашни вы вчера устраивали, и очки ему втерли, — это тоже для меня вне сомнения...

Вслух я сказал-и довольно резко:

— Буруна тоже пожалеть надо. Что он вел

себя и вчера, и сегодня глупо, грубо, даже нечестно, — о том и слова нет. Однако, войдите и в его положение.

— А какое же его особенное положение, ба-тюшка? — остановила она меня холодно и злобно.

— Ни один мужчина не простит подобных открытий о любимой женщине.

Арина Федотовна посмотрела на меня долгим и нельзя сказать, чтобы очень уважительным взглядом, покачала головою и процедила сквозь зубы и как бы в сторону:

— Вот я и говорю: все мужчанишки псы.

— Как-с?

— Псы. Лютые враги наши бабьи. «Не простит». Ишь ты! Да, чёрт задери его душу! Кто ему плант-превелегию нарисовал, чтобы прощать нас али не прощать? Жили мы себе, бабы, в Правосле, горя-начальства над собою не знали. Вдруг, милости просим, — широкополого нелегкая принесла. В короли-судьи мы его не звали, в мужья-полюбовники не брали, — со всех боков чуж-чуженин. Так нет, вишь ты, норовит самовольщиной: на стол сел, жезло взял и закнязил. Энто прощаю... за

энта лютой казни предаю... А — тьфу нам на тебя, командира, и с прощеньем-то твоим.

Она и впрямь, с гневным присвистом, плюнула за окно.

— Простители!.. Через десять лет девке в глаза былым срамом тычут. А ведь я все знаю. У меня, барин, на сто верст вокруг тайного нет. О том же господине Буруне. Тот же Афанасьич и выдал, как они, пьяные, две недели назад, в Пурникове у солдатки Ольги в овине пировали. И — ничего: не засрамило молодца. Каков ушел он нас, таков и пришел, — чистенький, как ни в чем не бывал. Ах, проститель! Что девка, десять лет назад, к другому в овраг бегала, — рассказать ее за это мало. А он, проститель, от пьяной солдатки выбравшись, ручки вымыл, личико ополоснул, ладикалоном набрызгался, — и шабаш: с гуся вода, с Алексеюшки беда. Вот подойти бы к простителю этому, когда он, еще ничего не знавши, за Викторией увивался, да и спросить при всей честной компании — Как же, мол, сударь прекрасный, вы, опосля всего, вам известного, — однако, довольно смело подходите к хорошей барышне, и чувства ей сообщаем.

те, и слова нежные говорите, и на всю жизнь себя ей заклинаете? Жалею, что не спросила, не оскандалила. Тогда бы хоть одна радость: не мы в дураках, а он бы, широкополый, остался.

Она провела языком по пересохшим губам и, точно колесо подмазала, затрещала еще проворнее и резче:

— Дьяволы, барин, истинно дьяволы. Тюремщики наши, палачи сущие. Вы вот обижаться изволите, что я Афанасьича в погреб засадила. А ваша-то братья нашу сестру с колыбели до могилы в погребке держит.

— Бурун расвирепел вовсе не за то, что она к другому, как вы говорите, в овраг бежала, а за то, что другой-то этот уж очень плох оказался.

Арина Федотовна рассмеялась громко и нагло.

— Полно вам, барин. Сами не верите, что говорите. Откройся за Витенькою не Афанасьич, а Михайло Августович, князь, Келепов господин, земский, вы, принец заморский, королевич выписной, — все равно, не лучше бы комедию представил. Потому что все вы, му-

жики, друг к другу завистные и всегда такое засилье над нами, бабами, взять норовите. Которая женщина вам полюбилась, так вы сейчас о себе и о ней так уже и воображаете, что только вы один для нее и хороши, и все ее счастье в жизни только в том может быть, чтобы она вас беспременно любила. И того еще узнать не успели, по нраву вы ей, нет ли, а уж порешили в уме своем твердо — Моя! И коли она после того вас полюбит, а всем другим покажет поворот от ворот то, значит, она, по-вашему, чистая. А, ежели полюбила не вас, но другого, а поворот-то, стало быть, на вашу милость пришелся, — то и пошли вы ее на все перекрестки костить: подлая, бесстыжая. Такое чудо, право. О всякого другого, будь он хоть семи пядей во лбу, по локоть руки в красном золоте, по колен ноги в чистом серебре, женщина, вишь ты, поганится; а чистоту находит только при тебе, благодетеле, будь ты сразу на всех зверей похож. С тобою и грех не грех, а на другого ласково посмотреть анафема проклятущая. И выходит, барин, таким манером, что для всякого мужчишки один только мужчишка на целом свете и хорош:

сам он, голубчик. сокровище в зеркало ненаглядное. А остальные все — поганые. Хорошо еще, что хоть сами цену себе назначаете. Спасибо и на том.

Арина Федотовна, серьезнейшим образом, поклонилась мне в пояс, как бы сосредоточив в лице моем ответственность за все мужское население шара земного.

— Афанасьич — дрянь-человечишка, это что и говорить. И старый, и пьяница, и бабник, и необразованный Гнусь, жаба. Известное дело, не ему было Викторией владеть, дуrom она ему досталась. Ну, сглупила девка, испортила себя. Что же? Сама-то она того не знает, что ли, и не понимает? Небось, брат: и без комедиев твоих, девятый год Фенюшку скрываем, да в дурости своей каемся. Кабы не понимали да не каялись, так Фенюшка-то у нас в доме жила бы, барышней бы звалась. Нечего нам свою беду растолковывать! Сами не без глаз. И без вас знаем, что лучше бы Фенюшке от князя родиться, от Александра Маркеловича, от красавца писанного, умницы образованного. Да уж вышел грех, не поправишь: что было, не перебывишь. Однако,

что вы, мужской пол, за смола такая липкая? Скажите, не оставьте милостью. Схватись один раз за которого-нибудь из вашей братьи, — так уж и во век от него ни отмыться, ни отмолиться нельзя. А вот мы, бабы, по вашему мужчинскому рассуждению, оказываем себя супротив вас совсем обратно, вроде, как вода текучая: сколько нас мужчина ни знай, каких ни знай, ничего-то от нас к вам, милым, не липнет; все-то вы, соколы ясные, остаетесь чистенькие, благородные. Викторю взять. Ах, ужаси какие! Этакая красавица, умница, голосом поет, фортупьян играет, на все языки говорит, — и поддалась такому хаму и скоту. Ах, позор какой! ах, Срам! ах, разврат!

— Согласитесь же, однако, что хорошего, действительно, ровно ничего нет! — воскликнул я. Она замахала руками, как бы умоляя меня не перебивать.

— Верно, верно, истина ваша, барин. Ничего хорошего нет, очень все худо. Согласны мы в том. Говорю же вам: потому и грех наш прячем, чтобы чужие глаза не видели, да не осудили. Потому и Феню в чужие люди отда-

ли. Только, если это уж очень так гнусно и даже как бы против естества выходит, что красавица, умная, образованная унизила себя до Афанасьича, — как же из вас-то, господа хорошие, иные не брезгают — увиваются за нашу сестрою, дурою деревенскою? Образование наше известное — около дубового пня осиновым поленом: только всего и ниверситету. Вон Аннушка Петра Петровича: давно ли в том же самом Нурникове индюшек пасла? А ноне его, Петра Петровича, в сердце вошедши, за бакенбард дерет, на лик посягает. Витенькин грех — один, может быть, на тысячу нашей сестры, а из вас, мужчин, один, может быть, на тысячу найдется, у которого бы этого греха не было. Плох Афанасьич между мужчинами. А лучше, что ли, между бабами солдатка Ольга, у которой Алексей Алексеевич гулял-пировал, не брезговал? Если угодно, я вам о ней такую правду матку порасскажу, что Афанасьич белым ангелом покажется. А все-таки, у господина Буруна такое оказалось мужское рассужденье, что от Ольги, как только она с глаз долой, так на тебе — ни пятнышка. А Афанасьич на всю жизнь грязен. Ах

вы, бессовестные!

Она злобно захохотала.

— Выбежал из сада, точно оглашенный. Орет — Не могу ее видеть... Так унижить себя! Так себя осквернить!.. Хорошо, что студента дома нет, — к докторше земской в гости уехал. А то сразу бы осрамил, дьявол. Противна ему стала, видишь ты. Ну, а как же тебе, горло ты распренесчастное, Ольга твоя не противна? Чать, она не десять лет назад Афанасьича знала, а и сейчас он у ней свой человек, — гуляет с нею всякий раз, что в кармане гроши ма. Ольку распутную после Афанасьича целовать-миловать не противно, а от Витеньки смеет рожу воротить. К Ольке Афанасьич, стало быть, не пристал, а к Витеньке так печатью и припечатался. Брезговать затеял, так хоть брезгуй-то с разумением. А то смотрите, люди добрые: наш поросенок сам по уши в грязи увяз, а на хозяйку хрюкает — Ай, баба-грязнуха! на фартуке штину видать.

— Женский грех, барин, — прячучись, крадучись, с оглядкою, под страхом, стыдом. Уж на что Витенька дерзновенная, на что она к людям страха не имеет, а в этом случае — во-

на как себя стерегла: комар носа не подтачивал. А у вас, господа прекрасные, и страх, и стыд пред нами, бабами, — как есть, на разговоре одном. Это для нас, женского пола, вы заправский страх да стыд учредили, а сами от него, удивительно даже, как отлично все свободные. Вон недалеко ходить: студент за Аниською гайгайкает. Всем дело видимое, что не молитвы читать он ее в рощу водит. Кого он, однако, в том боится? От кого прячется? Никто ему ничего не говорит, что мол — ах, как ты себя с этою неотесою на всю жизнь унижаешь. Всем смешно, и ему смешно. А разницы-то между ними, пожалуй, не меньше, чем между Витенькой и Афанасьичем. Мы Феню, как ни как, ухитрились у добрых людей вырастить. А тут — уедет студент в Питер, об Анисье думать забыл, а она, поди, к весне дитя в Осну топить понесет. Потому что баба бедная, баба глупая, ей в одну свою голову прокормиться — и то едва в пору. И кроме того, — срам: вы же, мужчиньё, ее студентом попрекать будете. А студенту — ничего: в городе заживет, и никто его проклясти анафемой не проклянет за то, что он, по образова-

нию своему, прижил дитя с необразованною. С кем, мол, не бывало? Даже и пословица такая сложена, что быль молодцу не укор. Он вон и сейчас все какой-то барышне письма пишет, длиннейшие, марки лепит-лепит, откуда только денег достает. И портрет у него возле постели на тумбе стоит: тощая такая, Бог с нею, ровно лихорадка, молоденькая, цыпленок невинный. Ну, вот, увидит он в Питере Миликтрису свою. Небошь, и благородная, и образованная: по рожице видать, что из хороших барышня... почище господина Буруна вашего, может, в десять тысяч раз. Что же он, при свидании, на радостях-то? Недостойным себя объявит: я де с Аниською гулял? Как же! держи кармане шире, а то просыпешь. Не больно вы каяться охотники. Да чего говорить? Барин! Каково дурно вы про нашу сестру ни рассказываете, а все же того еще ни в одном царстве на свете в заводе нет, чтобы бабы себе в открытку утехы устраивали, как устраивают мужчины. Так оно вам все дозволено, таково маловы утехы свои скрывать должны, что даже законов себе понаписали, как их лучше устраивать, чтобы вам, со-

храни Бог, вреда не было. Который город без веселых домов стоит? Для кого они заведены — для необразованных что ли? Как бы не так. У необразованных на баловство и денег нет: господами держится, да всякими, которые себя под господ подражают. А кто в тех домах живет, у кого вы утехи ищете? Какие такие принцессы-профессорши, вашему званию образованию ровни? Все наша же сестра живет, дура безграмотная, обманутая бессовестным мужчиной. И все больше, барин, тоже городскими, образованными, служащими на господских местах. У самой две племянницы пропали.

— Все вы, господа прекрасные, себе разрешаете и извиняете. Натура, вишь. Да что она, натура, вам одним что ли от Бога отпущена? Удивительное, право, дело, барин. На десять ваших мужских грехов творится ли один женский, — такой, чтобы имел себе начало от нашей женской воли-слабости? Стало быть, мы, бабы, на-туру-то свою не балуем, а отражаемся с нею, и грешит из нас только та, которая отражения не выдержала. А вы перед натурой стоите с поклонною головой. И ниче-

го-то вам в себе не конфузно, что вы натуре покоряетесь. И слова такие себе прибираете — Не согрешил, не покаешься; грех раскаяться чист живет; и праведник семь раз на день падает. Но, ежели женщина оплошала, отражения своего не выдержала, — она у вас сейчас и потаскушка, и развратница. В ту пору, как несчастию этому нашему случиться, — помню я: мало ли вокруг Витеньки соблазна было? Вот уж, кабы по натуре-то себя распустить, так нашлось бы, из кого мил-дружка в свое удовольствие выбрать. А она — шалая, гордая, лев у меня; чем бы по натуре жить, да хорошего человека полюбить, принялась себя муштровать; натуру-то свою не то, что скрутила, — под пятку зажала; да позабыла, что так нельзя, что натура змея хитрая: не успела спохватиться, как та и укусила ее за пятку. Кабы Витенька греха искала, а не грех ее нашел, мы бы теперь княгинями звались, либо первыми купчихами по губернии были. А она вон с кем себя потеряла. Витенькин грех, — вот это уж правда сущая: натуральный грех, без расчета, негаданный. А ежели кто одноё женщину в любви уверяет, а сам в одночасье к

солдатке шляется, — никакой, барин, в том природы я не вижу, а одно ваше мужчинское безобразие.

— Не любите же вы нас, Арина Федотовна, — улыбнулся я.

— Нельзя любить, и дуры те бабы, которые мужчин душою любят. Мужчине душу отдать, — его себе не найдешь, а волюшке скажи: Ау, потеряла! Во всем стала на отчет, — хоть святою живи, а все за тобою сторожа ходят, да грехи твои ловят — усчитывают. Вас любят только те бабы, которые не подумавши, — потому что, ежели женщина подумает, — за что ей вас любить окажется? Уж так вы нас со всех сторон окружили, так очень себя над нами превозвысили, — терпения нашего не хватает Себе всю волю взяли, а нам одни грехи оставили. Такие добренькие И сколько это, право, из мужиков развратных, — прямо надо в удивление придти. Я, барин, женщина не молодая, сорок шестой год пошел в канун Витенькиных именин. Стало быть, пора бы и в старухи записываться, о смерти думать, грехи замаливать, душу спасать. Только не люблю я этих занятий: все

как будто хочется еще пожить и греха накопить.

Она лукаво ухмыльнулась и подбоченилась не без грации.

— А вот именины были... Сколько которые из гостей, — тоже, значит, господа настоящие, образованные, — ядовито подчеркнула она, — ловили меня по пустым комнатам, да закустьям, подманивали, чтобы я вечерком выбежала к ним за околицу. Это что? Натура, повашему? Их, — пятьдесят верст по машине проехать, — ждут молодые жены, а они к старой бабе льнут. Натурщики!

Арина Федотовна засмеялась удалым, самодовольным смехом и на несколько мгновение стала молода и красива.

— Вы портрет мой у барышни в комнате видели?

— Видел. Прелесть, как хорош.

— Третье лето, как писан. Знаменитый, сказывают, художник-то? Получше Буруна будет.

— Еще бы. Один из первых в России.

— И барыни, небось, в нем души не чают?

— Общій любимец.

Арина Федотовна пренебрежительно показала босою ногою и, ткнув в нее пальцем, победоносно протянула:

— Ноги мне целовал. Тоже натура?

— Вот вы какая покорительница! — усмехнулся я не совсем доверчиво.

Она равнодушно пожала плечами.

— Коли не верите, спросите барышню: она знает, видела, не солжет. А он мне даже и не нравился вовсе. На парей его заманула, чтобы парей выиграть, — только и всего...

— Интересные же бывают у вас с барышней пари!

— Да не с барышней. Он сюда не для барышни приезжал. А у Витеньки подружка есть, в гимназии вместе учились, — Евгенья Александровна, госпожа Лабеус, — может быть, тоже заметили ихний портрет? В барышниной же комнате, стоит на полу, потому что рама сломана...

Я вспомнил антипатичную даму, вульгарные и наглые черты которой в первый день моего приезда в Правослу навели на меня подозрения, не особенно лестные для ее обительниц.

— Это такая...

— Корпусная барыня. Замужем за стариком, богатейшим инженером. Жисти хорошей с мужем не имеет, — ну, и блажит: катается по теплым водам, счастья ищет, с кавалерами романцы разводит. Только и в романцах неудачлива. Потому что который предмет ей полюбится, беспременно у нее денег займет и не отдаст. А она хотя барыня тароватая, этого терпеть не любит, чтобы не отдавали. Художник ваш знаменитый, надо полагать, тоже денег занять хотел. Иначе какой бы ему расчет сидеть с нею целое лето у нас в Правосле? Подловила она его где-то в Крыму, али на Кавказе и примчала к Витеньке, — похвастаться каков. Витенька, как очень Женичку любит, приняла его с большим почтением. А он приехал важный, преважный, ходит промеж моих двух принцесс, как павлин, красуется, хвост пушит. Все разговаривает про красоту какую-то, да вкус свой необыкновенный выхваляет, что ни у кого другого такого вкуса нет. Он хвастает, а Евгенья Александровна ушки развесила и в рот ему смотрит, словечка боится недослышать, словно у него на языке

ке бибель Божий. Останется с барышнею вдвоем, ахает:

— Ах, как он знает! Ах, как он понимает! Ах, какой умный! Ах, какой великий! Ах, как чувствует!

Инда мне надоело слушать. Не охотница я, грешная, чтобы женщина, особливо, ежели своя, не чужая очень уж распинала себя за козлиную бороду.

— Что вы, — говорю, — Женичка, так много его превозвышаете? Мужчинка, как мужчинка, и ничего в нем особенного нет.

— Ты, Арина Федотовна, не можешь его понимать, по своему необразованию. Это человек удивительный. Таких людей, быть-может, он один только на целом свете и есть.

— А, по моему глупому рассуждению, только в нем и удивительного, как он вас, Женичка, ловко за нос водит. Потому что прекрасно я вижу, что вы к нему со всем пламенем, а он вам очки втирает умными разговорами, и, чем бы проводить время в радости, идет промеж вас одна сухая любовь.

Она, чем на меня обидеться, как захочет:

— Аринушка, ты глупа. Неужели ты вооб-

ражала, что у нас с ним могут быть какие-нибудь низкие отношения?

— А почему не быть? — спрашиваю. — Дело житейское.

— Потому, что он не может любить земной женщины.

— Здравствуйте! Какую ж ему надо? Водяную что ли? Так зальется, гляди...

Стала она мне тут, барин, объяснять... только я, скажу — не совру, и по сей час ничего не поняла. Он видите ли, художник наш — на самом деле, не художник, а какой-то дух, — по-нашему, простому, выходит, оборотень что ли? — и в люди ненадолго определился, а прежде всегда состоял не на земле, а на звезде... Вы что, барин, усмехнулись? Ей-Богу, правда.

— Нет, ничего. Охотно верю. Это я так.

— Уж как его луканька занес на звезду, не умею вам рассказать. Только, жимши на звезде, влюбился он в тамошнюю женщину...

— В Аматузию, — подсказал я.

Арина Федотовна уставила на меня глаза с выражением искреннейшего изумления:

— Вы откуда знаете?

— Вот видите: знаю.

Не знать было мудрено. Достаточно говорили, одно время, в петербургских «оккультических» кружках и дурачаствующих салонах об этой идеальной Аматузии, которая была женою знаменитого художника, когда он жил на планете Юпитер, в качестве не то архонта, не то суффета, не то еще какого-то архаического вице-губернатора. Аматузия умерла в юных годах от избытка нервной чувствительности и, умирая, взяла с горестного супруга клятву верности ей в предбудущих существованиях. И сам художник, — томный, бледный, рыжеватый блондин, в воротничках и галстуке à la Rostand, — после хорошего обеда, за кофе и ликерами, — любил импровизировать мистические эпизоды из истории своего планетного счастья, набожно внимаемый психопатками, пред ним благоговеющими. Один из соперников таланта, малый желчный и не без остроумия уверял меня, будто талант со своею Аматузией так уже заврался, что едва-ли сам не верит в ее бывшую реальность. А на одной из декадентских выставок красовалось очень эффектное полотно, одно из луч-

ших произведений таланта, изображавшее безбрежное пространство, полное таинственного голубого света, чрез которое протянулась длинная полоса серебряного тумана, сквозящая прекрасными женскими чертами. Картина называлась «Слева от вечности», а поклонницы таланта разгласили по городу, будто женоподобный туман есть именно портрет дивной Амагузии и при том очень схожий. Желчный соперник, впрочем, и тут сехидничал, чуть не клятвенно убеждая всех и каждого, что если туманная девица или дама — Амагузия, то он давно и очень близко знаком с нею, и жительствоует она отнюдь не на Юпитере, а в Чубарове переулке. Не чаял я встретиться с интересной планетной покойницей в правосленской глуши!

Арина Федотовна продолжала:

— Вот я и говорю Женичке: по-цыгански это лапораки, а по-русски враки. В ихнем мужском поле, — муж, если отъехал от жены за семь рек, то уже и тут надуть ее грехом не числит. Станет он Матусии на звезде опасаться! Никаких Матусиев за ним нет, а просто он в интерес вас вгоняет, чтобы себе цену на-

бить.

И пошел у нас с нею спор, и решили мы идти на парей, а барышня разнимала.

— Попросите, — говорю, — нарисовать с меня портрет: десяти ден не минет, как он ушлет свою Матусию ко всем дьяволам, считать самые дальние звезды. Ну, и выиграла.

— И легко? — осведомился я.

— До срока двое суток в запасе осталось.

— Ловко.

Арина Федотовна прищурилась с игривостью:

— Слово имею.

— Не секрет, какое? — пошутил я.

Она отшутилась:

— Много будете знать, скоро состаритесь.

И, весьма кокетливым движением, прыгнула с-подоконника.

— Моя по саду идет... Пойду, отчитаю голу-бушку! Да! Зачем шла к вам, то и забыла. Барин милый, — перешла она в просящий, извиняющийся тон, — Бурун этот, как отъезжать ему, в комнату к вам заходил и записку писал...

— Где же она? — взыскался я по столу.

— А вот.

Арина Федотовна достала письмо из кармана, весьма засаленное, захватанное грязными руками а, главное, распечатанное.

— Неужели Бурун поручил вам письмо в таком, виде?

Она посмотрела в глаза мои, с вызовом самой наглой лжи.

— Как есть.

Возражать было нечего. Но я вспомнил, что Арина неграмотна, и сама прочесть письма не могла, а при обстоятельствах истекавшего дня, вряд ли она дала бы прочитать письмо от Буруна кому-либо, не посвященному в тайну. Ванечка, говорит она, ничего покуда не знает. Кто же ей прочитал? Кому она так крепко доверяет?

В окно я видел, как Арина подошла к Виктории Павловне и сказала ей что-то зло, возбужденно. Та остановилась, окинула ее мрачным взглядом развенчанной, королевы, тоже уронила несколько слов и прошла к дому. Издали было видно, что Арина снова налилась в клюкву.

— Хорошо, матушка, хорошо, — доносился

ко мне ее, повышенный, гнусавый голос. — Все еще не в своем-уме? Ладно. Я подожду, я потерплю. А свое ты получишь, за мною не пропадет, не беспокойся, получишь.

Записка от Буруна была коротенькая.

«Извините, что уезжаю, не пожав руки Вашей..

Впрочем, пожалуй, Вы теперь не захотите пожать моей. Не думайте обо мне очень худо, я Вам докажу. На-днях, с Вашего позволения, напишу подробно. Уважающий и преданный Бурун».

— Не разболтает, — подумал я. И отправился выручать Ивана Афанасьевича из его холодной тюрьмы.

Моя попытка найти поддержку и содействие против Арины Федотовны в авторитете самой хозяйки дома не удалась: я нашел дверь в комнату Виктории Павловны запертою изнутри на ключ и, когда на осторожный стук мой не последовало ответа, не решился настаивать. Впоследствии Виктория Павловна говорила мне, что в это время она спала глубоким сном. Оставалось действовать самостоятельно, за свой страх и риск. Но, придя к

леднику, я увидел на его дверях дубовый засов такой крепости, а на засове замок-исполнин такой солидности, что предприятие мое осложнилось, если не в штурм, то по крайней мере, в грабеж со взломом. Беспомощно погуляв вокруг, мне удалось найти в бревенчатом срубе ледника отдушнику. Приложив к ней ухо, я услышал, что, внутри, действительно вздыхает и движется живое существо.

— Иван Афанасьевич, это вы? — окликнул я в отдушину.

Он замер, как испуганная мышь, и несколько секунд не отвечал. Потом отозвался робко и нерешительно.

— Александр Валентинович?

— Он самый.

— Что прикажете?

— Ничего не прикажу. Пришел вас выпустить, да ключа нет, а так, на взлом, с замком не справлюсь.

Он возразил:

— Разве Арина Федотовна разрешили, чтобы я вышел-с?

Очень нужно ее разрешение!

— Ах, — протянул он с горьким разочаро-

ванием, — ах, так, стало быть, вы это от себя-с? Нет уж, Александр Валентинович, лучше оставьте-с. Очень вам благодарен, только не надо этого-с, оставьте.

— Странный вы человек: что же вам удовольствие что ли мерзнуть там в потемках с мышами?

— Какое же может быть здесь удовольствие-с? Решительно никакой приятности нет-с. Но только, ежели я нарушу их приказание, то мне может быть много хуже-с. Потому что они очень раздражены против меня.

— Так вот: я вас выпущу, и удирайте во все лопатки.

— Как можно-с? Что вы-с? Куда я пойду?

В голосе его слышался неподдельный испуг, — и даже едва-ли не слезы.

— Оставьте-с. Очень они раздражены. Боюсь: еще больше раздражатся. Совсем мне может худо быть-с.

— Странно.

— Да-с. И вот, что беседуете вы со мною, они могут заметить.

— Так что же?

Он помолчал и с горькою тоскою пискнул:

— Обидятся на меня, что вы участие изволите принимать. Нет, уж оставьте меня... Бог милостив-с... Я посижу-с... Оставьте...

Я отошел в глубочайшем недоумении...

ХII.

На завтра, рано утром, меня разбудил робкий стук в дверь.

— Войдите.

— Иван Афанасьевич.

— А, узник! Ну, что? Выпустили?

— Являюсь засвидетельствовать живеюшую признательность. Освобожден еще вчера на ночь. Так и сказано, что по-вашему желанию-с. Очень много вами благодарен, чувствительнейшие тронут-с.

Он был бледен, серьезен и даже терпимо приличен, потому что трезв.

— Ну, поздравляю. Только удивительный вы, батенька, человек.

— Чем же так-с? — тихо спросил он.

— Да, как же можно допускать такое обращение с собою? И от кого? Чужая баба командует вами, как пешкою, — можно сказать, словно тряпкою, вытирает вами погребную

грязь, — и вы позволяете, молчите... Что за трусость? Есть же у вас какая-нибудь амбиция.

— Я очень виноват-с, — сказал он с какою-то заученною твердостью, — и, будучи виноват-с, обязательно должен претерпеть-с.

— Да, сколько бы ни виноваты, — не мальчик вы... Что это? Карцеры для взрослых завели. И хоть бы побарахтался сперва, поборолся, поспорил, а то — так и пошел, куда велено, словно на веревочке... Именно, как нашаливший мальчишка идет в карцер... Недоставала только, чтобы она вас за ухо вела.

— Ах, Александр Валентинович!

— И чем она нагнала вам такого страха? Этак она вас высечь захочет, — вы и высечь себя дадитесь?

Иван Афанасьевич покосился на меня.

— Весь день трепетал... этого самого-с... — выговорил он с унылостью.

— Чего?

— Да вот-с...

— Что Арина Федотовна вас высечет?

— Так точно-с.

— Н-ну...

Я уставился на старика во все глаза и с большим любопытством: столь глубокого принижения личности мне еще не случалось встречать. Поминая Арину Федотовну, он от заочной трусости, даже судорогою ка-кою-то сокращался во всем теле.

— Вы их не изволите знать-с, — заговорил он в ответ на мое бесцеремонное разглядывание, — а я— давно здешний-с, знаю-с. Примеры были-с.

— Какие примеры? Неужели...

— Нет-с, не меня, — поспешил он рассеять мое недоумение. — Меня покуда бедствие это миновало... я разумею: наказание на теле-с. В погреб сажать, — не потаю: сажала-с, опускала в преисподнюю пьяненького-с, за безобразие мое-с. А этого не было. Нет-с, не меня, других-с.

— Ребятишек каких-нибудь, конечно? — сказал я с недоверием.

Он потряс головою.

— Никак нет-с, не ребятишек... Кутова Ивана Федоровича изволите знать?

— Слышал.

— Так вот-с, между прочим, ихнего управ-

ляющего немца-с.

— Даже немца? Это серьезно. За что?

— Девушек очень обижал-с. которые в экономии работают-с. И не то, чтобы, значит, по согласу, а с вымогательством, — вроде как бы повинность установил-с. Арина Федотовна пригласила его к себе в гости, будто чай пить, и высекли-с. Анисья стряпка и еще две бабы из Пурникова немца держали-с, девушки эти, которые обиженные, смотрели-с, а они, Арина Федотовна, секли-с. И здоровеннейший, доложу вам, был немец.

— Был? А теперь он куда же девался?

— Уехал из наших мест. Должность служения своего принужден был оставить, потому что уж очень широко лихая молва пошла-с, засрамили немца-с. И жена его бросила — Не могу, говорит, с тобою жить, — тебя, бабы пороли. Очень конфузно-с.

— Пьяным, что ли, она его напоила?

— Не без того-с.

— Отчего же он не жаловался по суду?

— Помилуйте, срам-с. При том же, ежели следствие, то и его дела должны были выплыть на свежую воду-с: я понимаю, — с де-

вушками-с... Однако, он в них стрелять приходил.

— Немец? В Арину Федотовну?

— Так точно-с. Это позже, — когда он места лишился и уезжать собрался, уже и пожитки свои на воза уложил. Арина Федотовна в роще с Анисьей грибы брали. И вдруг Анисья видит: невдалеке, над оврагом, в кустах, что-то поблескивает. Ан, это немец: лежит за пнем, ружье на них навел, прицел на солнце отсвечивает. Арина Федотовна на него крикнула, — он и не стал стрелять, ушел-с.

— Так-таки послушался и ушел?

— Да-с. Потому что они ему очень неприятное сказали.

— Что же именно?

— Они сказали — Что ты, Богданыч, из-за куста, в потайку, метишься? Я, небось, не таилась: вспорола тебе спину при всей честной публике, — а ты с ружьем в овраг залез... Смотри, — говорят, — не промахнись: коли мимо дашь, — опять высеку, и в тарантас не сядешь...

— Может быть, он вовсе не стрелять приходил? Им только так вообразилось?

— Уж не знаю-с. Анисья вернулась тогда из рощи белее снега-с, ни жива, ни мертва.

— А Арина Федотовна?

— Ей что? Смеется. Вот тоже с Мишкою, кучером келеповским. Похвастал на празднике, сидючи подле винной лавки, будто он Арину Федотовну знает-с, живет, стало быть, с нею-с. Оно и правда-с, жила-с, — однако, Арина Федотовна очень обиделись, как он смел говорить при народе. Заманили Мишку в кладовку, якобы для угощения-с. А там уже Анисья-с, ее Личарда верная, ждет... с розгами-с. Ну, Мишенька, — говорит Арина Федотовна, — похвалился ты моим конфузом, а теперича я твоим похваюсь. Выбирай: либо тебе, Мише, на свете не жить, либо — ложись, мы с Анисьей тебя высечем. И восписали-с.

— Однако!

Иван Афанасьевич нагнулся к моему уху и зашептал:

— И хорошо сделал Мишка, что не препятствовал, дозволил им каприз свой исполнить и гнев избыть. А то могло быть хуже-с.

— Вы полагаете... — начал было я, невольно смущенный таинственным рабым стра-

ХОМ, ВНОВЬ ИСКАЗИВШИМ ЕГО ЛИЦО.

Он сделал круглые глаза, желтые и тупые, как у спугнутой совы, и не прошептал уже, а прошелестел как-то:

— Отравят-с.

Я даже отодвинулся.

— Полно вам...

Он закивал лысиной быстро, часто, с убеждением.

— Да-с, изведет-с, тихою смертью уморит-с. Они бесстрашные-с. Им ни себя, никого не жаль. И никого на свете не боятся.

— Это — ваши предположения? От страха говорите? Или было что-нибудь такое, похожее? — спросил я, понизив голос.

Иван Афанасьевич развел руками.

— Положительного ничего неизвестно-с. Только все говорят это, что она своего мужа отравила.

— Час от часа не легче. Давно?

— Годов уже двадцать.

— Неладно жили?

— Не то, чтобы очень-с. Не хуже других-с. Она и в браке властная была, головоила над мужем, во всем он ее слушался. Товарищи

стали над ним подсмеиваться, — он плотник был-с, ходил по отхожим промыслам, с артелью-с. Уж какой, мол, ты, — дразнят, — мужик, какой мастер? У бабы из рук глядишь. Где видано, чтобы баба мужем этак верховодила. Дай ей взвошку, чтобы знала свое место у печки. Раззудили парня. А дело было о масляну. Иван пришел на праздник домой, надул губы, на жену не глядит. Сели блины есть. Он и придрался, якобы блины худы. — Ты, сволочь, чего напекла? Это блины? Только умеешь городские платья носить, да за воротами зубы скалить. Слово за слово, — он ее в ухо-с, да за виски-с... Всю избу ею, как метлою, вывозил-с. Насилу отняли. Потому что мужик зверь-с: когда колотит свою бабу, в восторг приходит и теряет разум-с. И, сказывают люди, покуда он ее истязал, Арина Федотовна словечка не выронили, только прикрывали личико ручками, чтобы не изувечил. А, как оставил ее, встала с полу, оправилась, подошла к мужу и поклонилась ему в пояс — Уж прости, говорит, Петрович, бабу-дуру, для первого раза, — и впрямь у меня ноне блины для тебя не задались. Вдругорядь буду печи, —

останешься мною доволен. Все на Ивана удивлялись, как он умел смирить жену: шелковая стала, поклонливая. Однако, пост и Святую затем он, Иван Петров, на свете пожил-с, а на самую Радуницу взял, да и отдал Богу душу-с: скоропостижно-с, якобы от вина-с. А при потрошении обличилось, что он опоен ядом — хлороформой. Вот, стало быть, какие блины она испекла-с.

— Производилось дознание? Была она в подозрении?

— Какое же могло быть против нее подозрение, когда он помер в городе, а она оставалась в Пурникове, за восемьдесят верст, — после Светлого Праздника и не видались? Следствием установлено, что видели на Радуницу, как Петрович, уже в сумеречках, поминал на городском кладбище камрада-плотника, шибко пьяный-с, и пил на могилке водку с неизвестным человеком-с. А, кто тот неизвестный человек, и куда потом делся, по сие время неизвестно. К тому же у Ивана Петровича не оказалось на ногах новых сапогов-с. И денег тоже при нем никаких не нашли, а, между тем, он только-что взял расчет и в артели. Постанови-

ли решение, что отравлен хлороформом в водке, с корыстной целью грабежа-с, а к розыску виновного приняты энергические меры-с.

— Да, вероятно, так оно и есть, — сказал я. — В городах такие отравления часто случаются. В Сибири, например, жулье сплошь и рядом работает с хлороформом. А ей, простой бабе, откуда раздобыться хлороформом, да еще в деревне?

— А уж это фершала надо спросить.

— Какого фельдшера?

— Тут неподалечку есть богатое село, называется Полустройки. Там земская больница, и служил при ней фершал Матвеев — хороший человек, ученый, только пил очень, так что даже делался вроде как помешанный. Все ему спьяна красные бабы казались, будто дразнят его, и он бегал за ними с топором-с. И до того однажды допился, что вышел в безобразном виде на базарную площадь и, при всем честном народе, всю казенную аптеку побросал с моста в речку Осну, — пузырь за пузырем-с, порошок за порошком-с, ящичек за ящичком-с. — Так, — кричит, — приказали мне

красные бабы: теперь они больше ко мне приставать не будут. Как составили протокол, да пошло дело к разбирательству, да приехала ревизия, — обнаружилось, что, кроме того, фершал растратил казенные деньги. Хотя он и клялся, что его обокрали красные бабы, однако начальство не поверило, и в Сибирь он не попал только потому, что в тюрьме у него сделался делирий тременс, и в том он и жизнь свою кончил, лепечучи ерунду-с о красных бабах-с. Глас же народный таков, что и из денег похищенных, и из аптеки утопленной много чего Арине Федотовне перепало-с, иона-то будто-бы — эта самая красная баба и была-с, которая фершала застращала.

— Правда — не правда, а... нравы же у вас! — вырвалось у меня. — Признаться откровенно, мне жутковато сделалось.

— Да-с... Потому, собственно, я вчера очень испугался-с, когда вы пожелали меня освободить-с. Сами посудите: кому жизнь не дорога? Ну, выполню я ихний каприз, отсижу на леднике свою порцию, — что мне поделается! Пятьдесят восьмой год живу на свете-с, а ни разу болен не бывал, не знаю, как это и боле-

ют-с. Ну, если бы даже и пришлось претерпеть... это самое... наказание-с... — стыдливо потупился он. — Оно, конечно-с, ужасно тяжело и неприятно-с... можно даже сказать: обидно до слез, кому ни доведись... Но все же от того не умрешь. Оно — на теле было-с, на теле и останется. А, ежели ввести их в настоящий гнев, наругаться над их приказом, — они, может быть, спервоначала и ничего... смолчат-с, не покажут вида-с. Только сейчас-то побахвалишься, поторжествуешь, а в скорости, пожалуй, подохнешь крысиною смертью. Очень неприятно-с.

— Хорошего мало. Однако, любезнейший Иван Афанасьевич, вот что. Все, что вы рассказали мне, очень интересно, но — не верю я вам ни в одном слове.

Он поежился.

— За что же-с?

— Если бы Арина Федотовна была такая характерная, как вы рассказываете, то, прежде всего, вы не посмели бы мне о ней рассказывать.

Он усмехнулся.

— Я рассказываю вам о ней то, что и вся-

кий другой, из тутошних расскажет-с. За это мне от нее ничего не может быть-с. Они тоже свою справедливость соблюдают. Не я этим рассказам начало дал-с. Не моя в них и вина-с. Люди ложь, и я то-ж: повторяю, что ветер носит. Им очень хорошо известно, что о них говорят в околотке, и они того во внимание не ставят-с. А о немце и Мишке так даже и любят-с — Пусть, говорят, молва идет, — по крайности, разные прохвосты будут знать, что надо мною, Ариною, не пошутить. Ничего-с... Вот, кабы я дерзнул что-нибудь от себя-с...

— Скажите, какие тонкости. Ну, а зачем же вы Буруну-то «от себя» разболтали?

Он долго молчал, глядя в половицу. Потом проговорил глухо и с лицом, совершенно криковым от обиды и подавленной злости:

— Уж очень они меня оскорбили.

— Арина Федотовна? Виктория Павловна?

— Господин Бурун-с.

— Бурун?

— Тогда в лесу... третьева дня... вот как я в ручей-то упал-с...

— Что же он вам сделал? — спросил я,

небезосновательно недоумеая: чем можно довести до мстительных эксцессов человека, который только-что выразил трогательную готовность подвергаться, по востребованию, заключению в леднике и даже без особенного ужаса говорит о наказании на теле.

Иван Афанасьевич потупился еще ниже и буравил глазами половицу с нарочитою тщательностью.

— Они назвали меня мокрою вороною-с. Мокрая, вшивая ворона. Так и сказали-с.

— Только и всего? — воскликнул я. Конечно, вопрос мой прозвучал довольно дико, ибо повод к обиде в ругательстве Буруна имелся совершенно достаточный. Но, в бесцеремонном командовании своем Иваном Афанасьевичем художник десятки раз употреблял по его адресу словечки, в сравнении с которыми титул мокрой вороны звучал только что не ласкательно, а между тем Иван Афанасьевич хихикал в ответ, не проявляя ни малейшего неудовольствия.

— Только и всего-с... — странно протянул он. — Очень показалось мне обидно.

И, прочитав на лице моем выражение

изумления, весьма мало почтительного, поднялся с места.

— Увольте-с... Не спрашивайте-с... Мне об этом говорить тяжело-с...

— Да, Бог с вами, мне ваших секретов не надо. Только уж очень вы чудак: за погреб не в претензии, а за мокрую ворону — чёрт знает, в какое неистовство пришли, навредили себе и другим...

Он жалобно посмотрел на меня, еще раз пропищал:

— Увольте-с.

И ушел.

Посмотрел я ему вслед: никогда еще не казался он мне таким жалким, старым, придавленным, заношенным; никогда еще гордый, сверкающий молодою силою, красотою, здоровьем, образ Виктории Павловны не представлялся, в сочетании с ним, более невероятным, несвойственным. Нет, что Арина Федотовна ни распевай, а и Бурун прав: есть за что озлобиться и возненавидеть, если подобное существо вдруг врывается в твою возвышенную мечту о любимой женщине и все в ней нарушает, грязнит, пятнает своим прикосно-

вением... Действительно, ведь, мокрая ворона какая-то. Однако, отчего же он так рассвирепел на эту мокрую ворону? Скрывает, может быть, — случилось что-нибудь посерьезнее вороны? Но, опять-таки, какую серьезную обиду можно нанести человеку, не смущаемому даже перспективами наказания на теле? Или эта «мокрая ворона» для него идиосинкратическая кличка, которой природа оставила-исключительную монополию приводить его в ярость? Я знал когда-то купца, о котором меня предупреждали еще до знакомства, чтобы я не поминал при нем о моченых яблоках: невинный фрукт этот имел способность приводить его в совершеннейшее бешенство, и всякий разговор о моченых яблоках почтенный коммерсант вменял в личную себе обиду. Так что, — ходила легенда, — обеда однажды с весьма важным петербургским генералом, по крупным подрядным делам, и быв угощен от одного генерала именно злополучным моченым яблоком, купец, даже и в таком серьезном для себя случае, не мог противостать своей идиосинкразии и обругал генерала ругательски. И многих трудов и тысяч

стоило ему потом помириться, и, конечно, на сумму всех этих трудов и тысяч, он усугубил ненависть свою к моченому яблоку.

К моему большому удовольствию, Бурун не заставил долго ожидать обещанного подробного письма. Его привез Ванечка, — веселый и свежий, как всегда, и с непроницаемыми глазами, в которых решительно невозможно прочесть: знает или не знает? посвящен или не посвящен? Такие глаза бывают только у актеров-комиков, врачей секретных болезней и хороших полицейских и жандармских офицеров. Так как он явился ко мне с письмом, едва успел приехать, еще в железнодорожной копоти и проселочной пыли, то полагаю, что оно дошло до меня без предварительного просмотра правосленскою цензурою, так неприятно изумившею меня в первом письме.

Бурун писал чуть не целый том.

XIII.

Дорогой Александр Валентинович!

Говорят, что когда Бог хочет наказать человека, то прежде всего отнимает у него разум. Боюсь, что именно это несчастье постигло меня в Правосле. Оглядываясь на свое поведете против Виктории Павловны, я сознаю себя кругом виноватым, глупым, бестактным; стыжусь себя настолько, что, если бы и открылась мне хоть малая надежда получить от нее прощение, то я не посмел бы стать пред ее очи. Я пишу ей отдельно. Вам, конечно, неинтересно, что чувствует к ней мое бедное сердце. Боюсь, что я, и без того, уже слишком утомлял ваше внимание своими праздными разглагольствиями на эту однообразную тему. Все влюбленные эгоисты и не понимают, как могут быть скучны другим чувства и волнения, которые так любопытны им самим. Поэтому оставляю совершенно в стороне подробности моего нравственного состояния в данную минуту, довольствуясь для него кратким определением: никогда еще в жизни моей, правда, не слишком долгой, не чувствовал

я себя подлее, — так мне тяжело, мучительно, грустно. Вам же я считаю себя обязанным изложить все, что может, если не извинить, то хоть объяснить несколько мои поступки в те два последние дня.

Прежде всего, — о моем печальном, безумном, невозможном открытии. Вы, конечно, помните, что я сделал из Афанасьича нечто вроде Санчо Пансы, Станареля, Лепорелло, и обращался с ним скот-скотом. Почему-то я воображал, будто моя манера с ним ему очень нравится: есть ведь на свете лакейские души, которым импонирует повелительная грубость. Он своею терпимостью к моим дерзостям и рабскою услужливостью навстречу всем моим прихотям поддерживал мою уверенность. У него прямо удивительный талант к послушанию. — это шут без самолюбия. Не знаю, как принял бы он побои, но нравственные и словесные пощечины глотает с ловкостью клоуна в цирке. Однако, оказалось, что даже у столь резинового самолюбия имеются пределы, дальше чего оно не растяжимо: должно лопнуть и всевыносящее терпение.

Если не ошибаюсь, Иван Афанасьевич при-

стал ко мне со своим нежным расположением не совсем по доброй воле и не по личному своему вдохновению. Похоже, что первоначально он был ко мне прикомандирован, — быть может, просто для того, что хозяйки дома заметили, что вы несколько тяготитесь чересчур навязчивым моим обществом, теряете со мною много времени и настроение писать. Я очень извиняюсь за свои надоедания. Неприятность их я, как сам человек рабочий и свободной профессии, могу оценить вполне. Этакое постороннее вторжение способно иной раз в одну минуту разрушить мне — скомпонованную в уме картину, вам — спланированную статью. Но повторяю: эгоизм влюбленных слеп и беспощаден. Сам ничего не делаешь, думаешь только о «ней», — да и другим мешаешь делать дело. И еще чуть ли не воображаешь, будто доставил им своею интимностью огромное удовольствие. Все это, к сожалению, я взвесил и оценил только теперь, задним умом, коим русский человек всегда крепок. Хозяйки наши, кажется, были более предусмотрительны и, с женским тактом, втерли между мною и вами Ивана Афа-

насьевича. А так как люди экспансивные и с характером довольно властным, каков мой, предпочитают слушателей внимательных и почтительных слушателям зевающим и равнодушным, то, мало-помалу, я, действительно, оставил вас в покое и сдружился с этим проклятым Афанасьичем.

Он сам проговорился мне, что Арина Федотовна приказала ему «поводить» меня по правосленским окрестностям, чтобы, видите ли, «жир спустить», а то я де «застоялся» и «очень топочу передними ногами». Из этих милых конских выражений легко заключить о незаметной высоте, на какой стоял мой нравственный кредит: немного уважения питали ко мне в Правосле. Но, так как эти слова сделались известными мне только в канун всей драмы и моего отъезда, то, в течение слишком двух недель, я, самым добросовестным образом, играл роль коня, гоняемого на корде, ради укрощения страсти и выпотнения турков. Не лестно, но заслужил. Хотя, уезжая, об одном сожалею, что, на прощанье, не плюнул этой госпоже Арине, за все ее подлости, в рожу.

В тот же самый день, как осведомился я о милостивом распоряжении относительно корды, Иван Афанасьевич, пьяный, сделал мне признание в совершеннейшей ненависти, которою он, будто бы, пылает ко мне с первого дня, как был ко мне приставлен. Но это он врёт, это ему теперь так кажется, когда он, действительно, меня ненавидит. Напротив, несомненно, был период, когда он меня обожал. Видите ли: он алкоголик томящийся; скучно ему в трезвом виде страшно, до мучительности; денег у него нет; общества нет; компанию разделить не с кем; даже природного шутовства некуда избыть, даже природного лакейства не к кому применить. Он один, давно уже и безнадежно один: у него нет ни компаньонов, ни милостивцев, к которым он привык, без которых он изнывает, ему жизнь не в жизнь. Я был с ним груб, капризен, но, вместе с тем, позволил ему стать в отношении меня почти на приятельскую ногу, — чего с ним тоже давным давно не случилось. В Правосле он одичал, как в богадельне, потерял способность видеть в себе человека сколько-нибудь равного другим людям,

сколько-нибудь нужного хоть кому-нибудь. Виктория Павловна его королевски не замечает. Арина Федотовна им помыкает со всею ядовитостью, на какую способен ее милый характер. Поэтому он вцепился в меня с ладностью, на которую мои православенские опекуны вовсе не рассчитывали, думая дать мне в его лице только безгласного, послушного и опытного чичероне. Он в амикошонстве моем забытую молодость вспомнил, ожил, голову поднял. У Чехова есть рассказ о захолустном портном, — как он пришел в слезный восторг, когда должник, армейский капитан, вместо платежа, дал ему затрецину: это напоминало ему нравы столичных заказчиков, на которых он когда-то работал и о которых потом вожделенно мечтал весь свой век, загубленный в медвежьем углу. Думаю, что чувства ко мне Ивана Афанасьевича несколько напоминали чувства этого портного к дерущемуся капитану.

Мне тоже было тоскливо и скучно адски. Нервы взвинчены, самолюбие оскорблено. Виктория Павловна беспощадна. В общем, сплин, хоть застрелиться из грошевого писто-

лета. В таком настроении всякому шуту рад, всякому развлечению обрадуешься. Дух смутен, — до кистей ли и красок? К чёрту всю эту мазню! Афанасьич! Подумай-ка лучше: нет ли по близости какого-нибудь капернаумчика, где возможно очутиться вне действительности, отдохнуть от своего нытья и провести час в радости? Он изумительнейше осведомленный знаток по местному Бахусу и Венере. На двадцать пять верст вокруг Правослы нет такой четвертной бутылки вина, с которою он не был бы знаком интимно, нет деревенской Фрины, с которою он не был бы нежнейший друг. Я скажу вам с полною откровенностью: изыскивая часов радости, я лично подразумевал всегда Бахуса, а не Венеру, — не даром же, помните, Виктория Павловна так часто поддразнивала меня страстишкою к коньяку. И, в самом деле, это мое несчастье. Я не пьяница, и наследственность у меня благополучная: значит, пьяницею не буду; но выпить я никогда не прочь и, что дурно, — когда пью, быстро и сильно пьянею и сам того никогда не замечаю, — особенно, если у меня скверно на душе и уж очень дребезжат нервы. Поэто-

му, пьяный, я очень нехорош и опасен. При том, есть сказка о пустынноике: проиграв бесу на пари обязательство совершить один из смертных грехов, он выбрал пьянство, как самый легкий, но, напившись, уже без всякого обязательства, естественным течением настроений, втянулся во все остальные. Нечто в этом роде произошло и со мною.

После двух или трех довольно безобразных оргий, имевших очень мало сходства с Нероновыми, я вдруг страшно озлился на Афанасьича, как он смел втянуть меня во всякую грязь, я сделался с ним особенно груб и дерзок. Знаете, Фауст всегда не прочь сорвать недовольство собою на своем Мефистофеле, — хотя... Афанасьич — и Мефистофель! А, между тем, я не заметил, как в оргиях этих я пропил и истратил все уважение, какое он до сих пор питал ко мне. Теперь он видел во мне своего брата, потаенного гуляку, которому совсем не приходится пред ним надмеваться и воздыматься, хвалиться превосходством, особенностью и возвышенностью натуры: он знал меня в родном и близком ему образе свинском, и, быть может, что касается послед-

него, я его иной раз даже опережал. Говорю вам: очень нехорош я пьяный. Не невероятно, что он сообразил и то, что, после этих сомнительных походов, я очутился немножко в руках у него, потому что, расскажи он секрет наших гулянок Арине, а та — Виктории Павловне, я, конечно, изувечил бы Афанасьича, но и сам бы бежал из Правослы без оглядки. Он прекрасно это знал. Вообще, он далеко не так глуп, как кажется или представляется: он, например, очень тонко различал, что все наши безобразия в Пурникове не мешают мне оставаться влюбленным в Викторию Павловну до безумия, и хитро подсмеивался над моим раздвоением между, так сказать, Гретхен, — хотя Виктория Павловна далеко не Гретхен, да вряд ли Афанасьич и слыхивал когда-нибудь о Фаусте и Гретхен, — над раздвоением между Гретхен и Вальпургиевой ночью. Сам он, по-моему, весь, с головы до ног, — призрак Вальпургиевой ночи, ее порождение, ее одну любит, ценит, считает настоящею жизнью, чаёт в идеале. Фантом! Не демонический, не из бесов, конечно, а — знаете, из той «сволочи», что мчится вокруг Блокс-

берга в полуночном вихре: «вила везет, метла везет, кто не взлетел, тот пропадет».

Итак, Афанасьич меня презирал; а, так как я того не замечал и продолжал держаться с ним тона интимно-повелительного, то он стал потихоньку обижаться и возненавидел. Впоследствии, все в том же нашем объяснении, он, с полной откровенностью, признался мне, что втайне огрызался на каждую мою дерзость очень злобно и люто, но вслух не смел, потому что — «я уже старичок-с, а вы она какая орясина-с». Выходит, что я разыгрывал перед ним высшую натуру, а он из всей высшей природы признавал превосходными только мои кулаки и только кулаков моих боялся.

Неудачи мои у Виктории Павловны, несомненно, тешили его до глубины души, хотя он всегда изъяснял мне самое горячее сочувствие. Что он навел меня на мысль писать Феню в Нахижном, — это одна из его глумливых выходок. Воображаю, с каким злорадным чувством следил он, когда я, только-что выплакавшись пред ним после какой-нибудь обиды от Виктории Павловны, садился писать эту

девочку: — Рисуй, мол, высшая натура, рисуй мою дочку... А тебе-то — шиш!!!.. К слову сказать, я начал писать этот этюд потому, что Афанасьич сказал мне, будто это будет приятный подарок Виктории Павловне, так как из всех девочек околотка Феня Мирошниковых самая большая ее любимица. Оно и понятно: девчонка симпатична и очень хороша собою... Молва о наших сеансах дошла до Арины Федотовны; та своим колдовским нюхом сейчас же заподозрила в моих студиях недоброе, и Иван Афанасьевич даже имел по этому поводу объяснение с самою Викторией Павловной, но убедил ее, что тут нет никаких злых целей, и дело идет только о портрете хорошенькой малютки. И это правда. Я решительно ничего не подозревал до самого последнего дня. Что касается преднамеренности в его поведении, то против них, православных, он, действительно, не имел и не мог иметь никаких злых целей, потому что Викторию Павловну он боготворит, почитает только что не сверхъестественным существом каким-то, а Арины Федотовны боится суеверным страхом, тоже близким к обожа-

нию. Он нанес им вред бессознательно, в дикой запальчивости, сам не помня, что говорил. Против меня он имел не злые цели, но злые желания, злорадные мысли — наслаждение тайных издевательств, невинных в наружном действии и язвительно обидных в скрытом заднем смысле, ему одному понятном. Хотелось потешиться, позабавиться, поиграть мною, без ведома моего, — вырядить меня в тайные свои шуты, как я рядил его в своего шута явного. В проступок против Виктории Павловны он ввалился нечаянно, как в яму, которую рыл мне, но, оступившись, сам рухнул в нее со мною вместе.

Я не заметил его ненависти ко мне, но не мог не видеть, что он не тот, как был вначале, потому что он — нет-нет, да и огрызнется на меня. После каждого такого случая, я становился с ним вдвое грубее и насмешливее, как с провинившимся Лепорелло, а он, точно спохватившись и раскаиваясь, делался особенно угодливым и низкопоклонным. Я давно уже подметил, что между Фенею и Афанасьичем, при всей ее детской красоте и при всем его старческом безобразии, есть родственное

сходство. Зная, что Феня — подкидыш, я подтрунивал над Афанасьичем на ее счет в том миллом тоне, какой вы знаете, — то-есть попрекал его разными Дашеньками, Ольгами, Таисиями... Чей, мол, тайный плод любви несчастной? Признавайся, Севильский Обольститель! В первый раз он рассердился, но затем в издевательствах моих о Фене стал находить даже как бы особое удовольствие. Теперь, когда все разъяснилось, можете представить себе, каким, в своем неведении, я выходил пред ним ослом, какие спектакли ему давал, как щекотал его самолюбие.

Вы помните вечер в саду, когда Виктория явилась пред нами так неожиданно, вела себя так странно, двусмысленно, вызывающе... О, чёрт! ее проклятый Лель до сих пор звучит у меня в ушах!.. расстроила она меня, — кровью бы рад плакать. Вот тут и влезло мне уже окончательно, настойчивым, острым колом, в голову, что морочит она: есть у нее, есть любовник, ради которого она пренебрегает мною, которого от нас ловко прячет, к которому она бежала в темную рощу, босая, по росе, на свиданье, и, — спугнутая нами тогда, —

быть может, теперь, как она выразилась, «наверстывает пропущенное». Целую ночь я проходил по саду... зачем? Спросите меня. Не знаю. Просто ли размыкивал тоску бессонницы, словить ли и уличить кого думал... должно быть, всего было понемножку. Тогда, в эту бурную, досадную, злобную ночь, и я сам еще задавал себе все вопросы о нравственном праве на Викторию, что вы мне потом задали так резко. И понимал, что нет у меня нравственного права, и неоткуда ему быть. Но в то же время чувствовал всем существом своим, что плевать я хотел на всякое нравственное право: люблю, должен быть любимым, не дам любить ее никому, кроме себя.

К утру развинтился нервами, как старое фортепиано. Пошли, все-таки, на сеанс в Нахижное... Никуда не гожусь, руки дрожат, в виски стучит, кисть еле плетется по полотну... Афанасьич видит, что я уже очень не в своей тарелке, рекомендует:

— А не поправиться ли нам, Алексей Алексеевич? Не совершить ли легкий опрокидонт?

И отправились мы с ним в недалекое село

Пурниково, и засели в овине у некоторой гостеприимной солдатки Ольги и выпили не один опрокидонт, а опрокидонтов несть числа. Явились деревенские девицы, принялись играть песни, и было по этому случаю пито еще и еще, и еще. И так почти до самого вечера, когда я очухался, идучи с Афанасьичем через лес, при чем он ковылял впереди и почему-то горестно охал, а я шагал сзади в самом развеселом настроении, швырял ему в спину еловые шишки и доказывал, что нет глупее и сквернее его человека на свете, и что даже его косая Дашенька ему изменяет, потому что питать к нему какие-либо нежные чувства ни одна женщина не сумеет найти в себе добровольного расположения. Когда хмель попадает на расстроенные нервы, находит иногда на человека такое настроение, что прицепишься к кому-нибудь веселым злорадством, как репейник, да так уже и не выпускаешь его, куда не выйдет история, — дуэль, плюходействие, протокол... словом, что-нибудь такое, от чего на другой день только за голову схватишься, лицо в подушку спрячешь, лежишь и стонешь — Ай, какой я был дурак, ай, стыдно

на свет смотреть!.. Горы, падите на меня! Камни, закройте меня, чтобы люди не видали срама моего!.. А тогда-то, в пьяное накануне, всенепременно кажешься себе и героем блистательным, и умницей сверкающим, — просто, целый мир под ноги свои покорил и заткнул остроумием за пояс всех Гейне и Салтыковых.

Дошли мы таким манером до Синдеевского ручья. Я знаю, что Афанасьич боится воды на смерть. Стой же, думаю, я с тобою сыграю штуку. Нарочно перешел на другой берег по жердям вперед Афанасьича я, когда он поплелся следом за мною, я выждал, чтобы он дошел до середины кладки, и спихнул его с жердей. Он так и шлепнулся, бултыхнул в воду, как крыловский чурбан на трясиное царство. Конечно, в Синдеевском ручье, который куры переходят в брод, нельзя не только утонуть, но и хорошо вымокнуть. Но мне, пьяному дикарю, и в мысли не пришло, что я шучу над пьяным же трусом, что лужа ему воображается глубиною в волжский омут, что, вдобавок обиды, я, значит, испортил его единственное носильное платишко, и теперь ему

не в чем показаться в люди... Выполз он на берег на четвереньках, мокрый, облипший песком и тиною, дрожит весь. Так он показался мне тут противен, жалок, смешон... Главное, смешон. Хохочу во все горло, как лесной филин, за бока хватаюсь.

— Этакая ты ворона! Этакая мокрая, глупая ворона!

Он шагает, ворчит что-то себе под нос. Я смеюсь, измываюсь:

— Ах, ворона! ах, мокрая, старая ворона!

Раз двадцать я его изворонил... И вдруг он — скок ко мне: лица на нем нет, белый, губы трясутся, руки-ноги ходят ходуном, глаза выострились, словно у крысы в западне, — чёрт чёртом. Трепещет весь, прыгает вокруг меня, как вздорная собаченка на чужого прохожего, визжит:

— Да-с! Я ворона-с! Я мокрая, глупая, вшивая ворона-с. Таково мое звание-с. На большее претензий не имею-с. А вы-с? Вы кто таковы? Позвольте униженно спросить. Не оставьте великодушным ответом!

Я опешил. Говорю ему:

— Что ты? С ума сошел? взбесился? очу-

мел?

Прыгает и визжит:

— Нет-с, позвольте-с! Поломались, и будет! До-вольно-с! Больше не желаю! Не позволю-сь! Не по-терплю-с! Вы какая будете птица? — благоволите ответить мне: мокрая ворона вас спрашивает-с. Орел, небось? Орел-с? Я так полагаю, что вы о своей особе никак не ниже орла мыслите.

Думаю:

— Что же это? Бунтует, каналья? Нагличает в глаза? Надо осадить.

Говорю:

— Рядом с тобою всякий орлом покажется.

А он уже и подхватил налету:

— Да-с? Вот и отлично-с! Вот и прекрасно-с! Так и запишем-с: я ворона, а вы орел-с. Ворона и орел-с. Басня в лицах сочинителя Крылова.

— Это, — обрываю его, — ты, пьяный шут, басня в лицах, а меня касаться не смей.

Но он меня не слушает и визжит, визжит, визжит:

— Орел! Царь птиц, величественный в полете! Кто вдруг, кто, как и он, кто быстро, как

птиц царь, порх ввысь на Геликон? Только вот что доложу вам, господин орел Геликонский! Великолепны вы и важны весьма, хвост пистолетом, гребень трубою, а все-таки орлица-то ваша и смотреть на вас не хочет. С тем возьмите, да еще и выкусите.

— Что такое? Какая там орлица?

— Да-с, плевать она хотела на вас, орлица прекрасная. А я, хоть ворона, мокрая ворона, однако, орлица ваша ко мне, вороне, вот в этот самый перелесок на рандеву летывала-с. Да-с. В полной любви со мною находилась орлица ваша-с. А вам, господину орлу Геликонскому, — милости просим мимо воротей щи хлебать.

— Что ты говоришь, глупый человек? Какая орлица? Какие рандеву? Ничего не понимаю.

Хотя это я уже врал, Александр Валентинович, потому что, при первом же подлом намеке его, сердце у меня так и заглодело. А он подступил ко мне нос к носу и шипит в самое лицо:

— А вот та именно-с, которая вас за этот самый ваш прекрасный носик водит и знать

вас не желает, орла высокопарного. Фенички моей, которую вы рисуете, родная маменька-с. Витенька-с, Виктория Павловна Бурмылова, любовница моя-с.

И отпрыгнул: боялся, что я бить его брошусь. Но у меня зеленые круги пошли перед глазами. Чувствую: ноги пустили корни в землю, руки налились свинцом.

— Врешь... врешь... врешь...

И тогда он выложил мне всю историю. Торопится, захлебывается, боится передышку сделать, остановиться хоть на секунду. В настоящей истерике! Видно, что намолчался он с секретом этим и тяготился им страшно, что прямо счастлив облегчиться от него, свалить с души давний груз, — да еще при таких насмешливых, ликующих условиях, так победоносно надо мною.

— Доказательство вам? Подробности-с? Извольте, господин орел, извольте!

И, что ни новый эпизод, так меня целою скалою и прихлопнет. Я не стану передавать вам всего, что он говорил. Важно то, что он не оставил мне даже тени сомнения к его словам. Важна суть. Важно, что, девять лет назад,

Виктория Павловна, действительно, была его любовницею, и не было тут с его стороны никакого насилия, обмана, шантажа, дурмана или хлороформа, и выбрала она его из числа своих ухаживателей по собственной доброй воле, по своей развратной прихоти. Все это, — как они сошлись, как жили, как разошлись, — было передано мне в эпизодах, с издевательством, с торжествующим хихиканьем:

— Да-с! Вы у Витеньки ручку поцеловать не смеете, а у меня от нее дочь. Хи-хи-хи! Выходит, что из нас двоих ворона-то будет кто-нибудь другой, а не я-с... Хи-хи-хи!

Он меня ошеломил, пришиб, уничтожил. Я стоял пред ним в каком-то столбняке. Все слушаю, всему верю, знаю, что это для меня самое ужасное, но... не имею в душе злобы ни на него, ни на нее, только тоска душит, такая жестокая тоска, словно у меня умер кто-то самый близкий, и я его, собственными руками, зарываю в могилу. А он, как выболтался весь, как истерику свою отбыл, как злость и хмель из него испарились, тоже тут только спохватился, какой беды он натворил, да — как ах-

нет, как застонет, как замечется. Долго ли мы с ним потом говорили, о чем говорили, как говорили, — право, даже трудно сообразить. Теперь мне мерещится в воспоминаниях, что я, как будто, несколько времени лежал под деревом и спал: до того, стало быть, обессилел и сдал нервами. А, может быть, того и не было, только теперь так сдается, по воображению. Помню опушку в красном зареве заката, Осну совершенно червонною полосой и Правослу вдали, с румяными, блестящими окнами, точно глазами, налитыми кровью. Я стою, прилонясь спиною к березе, и голова у меня лопнуть хочет от мигрени и от вихря мыслей. А Иван Афанасьич хнычет, на колени становится, в ноги кланяется, лезет целовать руки:

— Алексей Алексеевич! Батюшка! Кормилец! Ради Господа Милосердного, простите меня, собаку бешеную. Позабудьте, все, что я вам брехал. Врал все. Ну, вот, право же, ей-Богу же, не сойти бы мне с этого места, — врал. Со зла, чтобы вас подразнить. Пьяный, и со зла. Все сам выдумал, из своей дурацкой фантазии, а, в действительности, никогда не было ничего похожего... Брехал-с.

— Ну, — сказал я ему, наконец, — это, Иван Афанасьевич, ты поздно затеял. Слово твое сказано веско, я ему поверил теперь, разуверить меня нельзя. За секрет свой не бойся: что ты мне передал, во мне умрет. Можешь мне верить: хвастаться твоим соперничеством и твоею победою надо мною мне не лестно. Теперь я хочу только знать правду: совсем это у вас кончено и забыто так, что и помина нет, или все еще откликается иногда? Отвечай по всей истине, как на духу, потому что это мне очень важно, и честью тебя уверяю: если ты мне солжешь, я тебе разломаю голову.

И начали мы говорить уже без всяких масок. Божится:.

— Что же мне лгать? Было все это дело девять лет назад. Жила со мною Виктория Павловна около двух месяцев. Потом, через Арину Федотовну, приказала, чтобы я не смел попадаться ей на глаза. Несколько лет она жила в Петербурге и по другим городам. Потом поселилась в Правосле, потому что дела ее пришли в упадок...

— Вот-с, перед тем, как переехать в Право-

слу, они, точно, вызывали меня к себе, в губернию-с, однако, не для чего-нибудь дурного-с, а, как человека знающего и им преданного, — продать их городской дом-с. При этом именно случае, они сообщили мне насчет Феночки-с, и где она находится. А до тех пор я даже и понятия не имел, что они тяжелы были-с. Вот и все-с. Тому уже пять лет-с. Ежели с того времени между мною и Викторией Павловной были не то, что какие-нибудь отношения, а сказано есть больше сотни слов, — разрази меня в том Царица Небесная. Не охотница она, чтобы я ей очи мозолил. Прячусь я от нее... неравно, встренёшься не в добрый час, когда они бывают смущены сердцем и мыслями, неравно прогневишь видом, всем напомианием своим. Велит выгнать, — Арина и рада будет: сейчас вышвырнет за ворота, как бродячего пса. А куда я пойду? Тут мне угол, кров, хлеб дают. А где мне искать нового угла? Старые мои милостивцы попримерли, либо живут в далеком отъезде, новых наживать старенок я оказываюсь, плох, глуп, скучен... да и трудно уже мне-с: характер не тот-с. Вот, хоть и вас взять, Алексей Алексеевич: все-

го-то две недельки с малым походил я за вами, а уж не под силу... вон какой вышел про-
меж нас неприятный скандал.

Клянется, крестится, — понимаю духом, что не лжет. Требую:

— Еще говори: кто сейчас ее любовник?

Вытаращил глаза:

— Ей Богу-ну, никого и ничего не знаю. Разве что-нибудь обозначилось?

— Вот что вчера случилось.

И рассказываю ему всю эту бесовскую сцену, как она морочила нас у пруда, с Лелем ее язвительным, с наглостью русалочьей. Заинтересовался страшно: глаза прыгают, лысиной кивает.

— Да-с, — говорит, это верно. — Это, — говорит, — действительно, не иначе, что так: она на свидание пробиралась. Я, — говорит, — её узнаю: вся ее дерзновенная манера. Когда она в своем загуле, — он так и выразился в «загуле», точно говорил о пьянице, — это для нее первое наслаждение: с опасностью играть, смерть накликасть, — по тонкому льду ходить, да ножкою щупать, провалюсь аль выдержит. Прямо бес-дразнилка в нее вселя-

ется. В обычное время нет человека добрее и жалостливее, а, как найдет загул, кипит в ней лютая какая-то злость против людей. И, чем кто ближе и сердечнее к ней, тем горше она, в таком стихе своем, норовит его обидеть.

И повествует мне случай из «своего-с, извините-с, времени-с». Ухаживал тогда за Викторией Павловной некто Нарович, моряк, красавец собою, силач необыкновенный и совершенно бешеного нрава человек. Был романтик, пред дамою сердца благоговел, звал ее мадонною, с ума по ней сходил, ревновал ее даже к воздуху и самым откровенным образом заявлял, что, если он узнает, что Виктория Павловна принадлежит другому, то он убьет и другого, и ее, и себя. А был он человек крепкого слова, и верить ему было можно. Виктория Павловна была очень дружна с этим Наровичем, отличала его между всеми, звала своим рыцарем; думали даже, что она непременно выйдет за него замуж.

— И вот-с, однажды, в совсем уже вечернее время-с, нахожусь я у них в комнате, у Виктории Павловны-с. А ночь лунная, месяц в окна так всем лбом и светит-с. Вдруг они насторо-

жили ушки... — А ведь это я слышу, — говорят, — непременно Федя Нарович по саду мычется. И, не успел я моргнуть глазом, как они прыг к окошку, распахнули его настезь... — Фединька, это вы? Идите сюда к окну, будем фантазировать. Я обмер. Шепчу — Что вы делаете? Увидит, догадаете я, убьет-с... А она хочет, вот именно, как русалка какая-нибудь. Уселась с ножками на подоконник, белая вся от луны, глаза блестят, точно у кошки: истинно, говорю вам, злой дух ею водит. Нарович, конечно, бегом прибежал: осчастливила! позвала! Слышу: бух! вскочил на фундамент. Господи! Помяни царя Давида и всю кротость его! Отведи руку мужа кровей и Ареда!.. Конечно, соображаю, что головою он до окна не достанет и, значит, заглянуть в комнату не в состоянии. Однако, — долго ли такому буйволу? — руку протянул, за кирпич прихватился, за другой придержался, вот он и на окне, а я покойник-с... А между ними, тем временем, разговор идет-с, да такой ли нежный, чувствительный, задушевный. Нарович ей ручку опущенную за окном целует, любовь свою изливает. А она ему — Фединька, вы знаете та-

кие стихи? — Знаю. — Прочтите... Все про звезды, про цветы, про теплые моря, про синие небеса... А я в темный угол забился, сижу, не шевелюсь, как крот или ежик, не чаю себя ни в живых-с, ни в мертвых-с. Часа полтора они меня, изверги, морили своими звездами да цветами. Наконец, слышу: слава Создателю! Виктория Павловна зевает. — Довольно, Фединька! Хорошенького понемножку. Спать хочу. И вам пора баиньки. А, в награду за ваше благонравие обещаю вам всю ночь видеть вас во сне. Ступайте, а я погляжу, как вы пойдете садом, при луне: у вас такая рыцарская фигура... И стояли они у окна, покуда он не скрылся из глаз, и поцелуй ему воздушный вслед послали, а потом обернулись ко мне. — Жив еще?.. — Подхожу к ним, а у них руки холоднее льда, и все личико судорогами дергается: истерика-с... — Вот, — говорит, — и пустилки все! вот и не убил!... А у самих зубки стучат...

Не знаю, почему, Александр Валентинович, но анекдот о Наровиче привел меня в такую ярость, точно он был рассказан обо мне самом. Я так и представил себе, что не Наро-

вич, а это я Бурун, вишу влюбленным шутом на ее окне, полный самых красивых, идеальных настроений, с импровизацией любовной песни, со стихами Гейне или Шеллера на устах, воображающий себя новым Ромео у ног новой Джулии. А там, за стеною, за стройною фигурою этой романтической красавицы, жадно внемлющей моим словесным серенадам, копошится и бесстыдно хохочет злорадный и трусливый любовник-Калибан, и у Джулии двойное лицо: в профиль ко мне, в матовом лунном свете, нежно улыбаются девические черты целомудренной камэи, а туда — в беспутную темноту опозоренной спальни — хитро и нагло подмигивает чувственный глазок молодой ведьмы с шабаша Вальпургиевой ночи. И так я взбеленился, что даже затопал на Афанасича ногами... Кричу:

— Уничтожить надо всех вас тут за ваши мерзости! Ложь вы все! Гадины! Говори: кто был с нею вчера?

— Убейте, а не знаю.

— Кто был с нею близок после тебя?

— Не знаю.

— Так что же? Ты, что ли, остался у нее

первым и последним? После тебя она в монахини пошла?

— Нет, — говорит, — конечно, впоследствии были и другие.

— Кто? О них-то я и хочу знать.

— А я, — говорит, — не позволю себе никого назвать, потому что у меня ни на кого нету никаких доказательств, одни голые подозрения. Если что и было с нею у тех людей, не уличите: все господа, которые молчать умеют. Ведь и я, Алексей Алексеевич, тоже умею молчать, хоть сегодня и оплошал пред вами. До этого дня, в девять лет секрета, я не проговорился о нем даже ветру в поле. А с их стороны — уличить еще труднее: они всегда заодно с Ариною Федотовною, а уж эту на то и взять: проведет и выведет самого беса.

И опять началось:

— Не разболтайте! Не погубите!

Спрашиваю:

— Отчего ты так боишься их? Ведь, если судить справедливо, не тебе их, а им следует бояться тебя, — что ты разгласишь и осрамишь. А, между тем, Арина держит тебя в черном теле, Виктория едва допускает тебя на глаза, ты

пред ними раболепствуешь, смотришь виноватым.

Отвечает:

— Да я и есмь виноватый пред ними во все дни живота моего. Удивляюсь, как вы, человек образованный и благородный, этого не понимаете.

— Но ты же утверждаешь, что она склонилась к тебе по доброй воле.

— Воля воле рознь-с. Неужели вы думаете, будто я тогда не понимал, что Виктория Павловна, как ни взгляни, никогда и ни в чем мне не пара? Очень хорошо знал, что не таков я топор, чтобы рубить столь прекрасные деревья. И, если бы я был человек хорошей души и чести, мне бы тогда к греху их не подводить, безумием ихним не пользоваться. Но, как я был в ту пору сущая свинья-с, то, по свинской своей опытности-с, и подделался к ним, когда они были в себе не властны. И за чем-с? Решительно, зря-с. Им жизнь испортил-с, и себе добра не устроил. Именно так, что лежало чье-то чужое хорошее имущество, а я мимо проходил, украл, да слопал-с. И, конечно, это было с моей стороны весьма подло,

и удивляюсь, что вы не хотите взять того во внимание.

— Ты всегда держался таких мыслей?

— Нет-с, не всегда. В то время, конечно, по грешности своей, я был чрезвычайно как собою доволен, — даже смешно немножко себе на уме представлялось, что этакую Царь-Девуцу себе приручил. Мысли пришли потом-с... Вот, когда я о Феничке узнал-с. Когда я имения решился, а они дали мне в Правосле угол и велели меня хлебом кормить... Тут я, действительно, о многом пораздумался...

— Обращаются-то с тобою все-же очень скверно.

— Так ведь это не они-с. Они о том и знать не могут-с. Да и...

Он не договорил и посмотрел на меня глазами, в которых я прочитал ясно:

— Не ты бы о хорошем обращении говорил, не я бы слушал.

— Кто со мною лучше-то обращался? Хлебом кормят, угол дают, — какого еще обращения могу ждать? За какие особенные услуги?.. Нет-с, этого, чтобы я против них пошел, как вы говорите, никогда не могло быть. Каков я

ни есмь, а конечным подлецом пред Викторией Павловной явиться не согласен. Лучше удавлюсь, чем им узнать, что их секрет чрез меня обнаружен. Все эти старые баловства дело давно прошедшее, я о них и вспоминать не смею. А знаю одно: они — моя благодетельница, кров мне дают, хлебом меня кормят, даром, что хлеба у них самих уж так-то ли немного-с. А, — что касается Арины Федотовны, — так еще вопрос: кто больше хозяйка в Правосле — Виктория Павловна или она? Как же мне не страшиться ее, когда я знаю: она меня терпеть не может, и только заступничеством Викторией Павловны я здесь и существую? Хорошо, коли только выгонит, а то ведь... Я откровенно скажу: ни Бога, ни дьявола не опасаясь так, как ее. Потому что она родилась без жалости в сердце, и сжить человека со света для нее все равно, что выпить стакан воды. Я же человек чрезвычайно какой грешный, и, при грешности своей, в ад спешить отнюдь не желаю: подтопки для костров у чертей и без меня довольно-с.

Если помните, мы воротились в Правослу уже в глубокие сумерки. Встретили вас во

дворе. Помню, что я отвечал на ваше приветствие очень нелюбезно, в чем и прошу теперь извинения. Во мне все черти ада бушевали. Этот предполагаемый вчерашний любовник засел в моих мыслях просто жгучим нарывом каким-то. Кто? Думал на студента, на вас... Все выходило так непохоже, неестественно, нескладно с обстоятельствами. Да, наконец, чёрт возьми! Почему этому таинственному господину победительному надо непременно жить в правосленской усадьбе, почему не быть ему чужаком? И почему думать непременно на вас, на студента, словом, на «барина»? Женщина, не смутившаяся пасть до такой мелюзги, как Афанасьевич, легко может ласкать просто какого-нибудь красивого парня с Правослы ли, из Пурникова ли... Вы казались мне подозрительны, потому что она уж очень благоволила к вам при всех, была как-то особенно почтительна и любезна... Вот зачем я счел нужным потом ночью осчастливить вас этим пошлым, пьяным визитом с револьвером и всяческими цветами красноречия. Сказать — не забыть: когда я вернулся от вас на террасу, то Афанасьича на месте, где

оставил его на часах, уже не нашел; струсил, дрянь этакая, бежал, спрятался в свою баньку, и насилиу я его оттуда вытащил, чтобы снова пойти к вам, — оправдаться, так сказать, в произведенном скандале. Хотя, почему мне хотелось непременно идти оправдываться, и в чем собственно, и по какому праву вы должны были явиться нашим первым судьей, я теперь решительно не соображаю. Тут было много безумного и, быть может, столько же пьяного... Но сперва я должен вам рассказать, что было на террасе, как и зачем мы туда попали.

Вы знаете, что моя комната в Правосле была угловая, и поэтому из нее окна в спальне Виктории Павловны видны прекрасно. Вот-с, хожу я по своему покою в страшном волнении чувств, ругаюсь, проклиная и, в конце концов, не знаю, что же мне теперь делать, каким выходом из моего глупого положения мне такое оборвать и заключить? Афанасьич сидит, слушает и только пищит время от времени:

— Да тише же, тише, Алексей Алексеевич. Ведь вы же обещались... Арина Федотовна мо-

гут пройти по коридору: подслушают... Вот и пропал я, вот, значит, и погубили...

Луна плыла уже высоко и заливала сад своим молоком, а я все неистовствовал, рвал, метал, пил коньяк, плакал... Афанасьич, очевидно, решился не оставлять меня ни на минуту, чтобы я не наделал один еще больше глупостей, чем наделал потом вместе с ним. И вот, в то время, как я, стоя пред окнами своей комнаты, декламировал к окнам Виктории Павловны какую-то трагическую бессмыслицу и даже грозил им кулаком, я заметил тень, мелькнувшую по саду к террасе, и кто-то с террасы скользнул в дом, и вслед затем в спальне Виктории Павловны зажглась свеча, которую сейчас же потушили, — однако не настолько быстро, чтобы на занавесках не отразилось двух силуэтов; из них один был женский, конечно, самой Виктории Павловны, а другой мужской... И я это видел, и Афанасьич видел... И я, схватив револьвер, бросился на террасу, таща за собою и Афанасьича, как он ни просил, ни молил, чтобы я уволил его и не впутывал в похождения своей ревности. Его я оставил стражем на террасе, а сам, прежде

всего, побежал взглянуть, дома ли вы, потому что фигура силуэта показалась мне похожею на вашу, и подозрения мои опять зароились, как дикие пчелы...

Что из всей этой авантюры вышло, вы знаете. Вышло гадко, глупо, неблагородно и неблаговидно. Но я продолжаю стоять на своем: кто-то чужой был у Виктории Павловны во время нашего за нею шпионства. Когда вышла от нее и побежала Арина Федотовна, я так мало ждал ее, так был удивлен, ошеломлен ее поведением, что невольно, машинально бросился за нею вслед, чтобы убедиться, проверить, заглянуть ей в лицо, она это или не она... Она пробежала прытко, я слышал, как вы окликнули ее во дворе, и как она ответила... И тут я опомнился, что, стало быть, терраса-то, покуда я гнался за Ариною, оставалась свободною, и, если кто был у Виктории Павловны, он, наверное, уже спугнут тревогою и ускользнул в сад. Но, перед тем, я сам, своими ушами, слышал смех, поцелуи, мужской голос. Я сам. Клянусь вам: это не обман ревнивого воображения. Еще минута, — и я забарабанил бы в дверь кулаками, снес бы ее

с петель, сотворил бы жесточайшее безобразия — лишь бы обличить лицемерие, сорвать маску, отомстить за себя и за всех Наровичей, здесь изнывавших и изнывающих, с их дурацкими идеальными иллюзиями... Но, как говорю вам, тут-то и выюркнула Арина, все спутала, и все пошло к чёрту. А потом в спальне сделалось уже тихо, как в могиле... ждать стало нечего... Поутру я, чуть свет, пошел в сад — искать следов ночного гостя, но земля перед террасою так исхожена и истоптана, что я ничего не определил по ней, — я не Куперов Патфайндер.

Бешенство мое против Виктории Павловны было очень велико: уверенность в ее распутстве совершенна. Но, быть может, я сумел бы совладать с собою и не предпринял бы более ничего обидного для Виктории Павловны, если бы не вызывающий тон, с каким она явилась по утру к чаю и принялась меня отчитывать, будто правая, при вас и при Арине Федотовне. Позволь, матушка! Ведь я-то превосходно знаю, кто ты и что ты; уверен, чувствую всем нутром, всем чутьем, всем инстинктом своим, что ты обморочила меня и

вчера, и третьего дня; что ты даже сейчас не успела еще остыть от чужих объятий, — чьих? Ведь знаю же я теперь, в какие руки бросали тебя твои загулы, — вот он, Афанасьич-то, стоит на-лицо. И ты еще смеешь читать мне нотации? Смеешь толковать о своих правах? о самостоятельности? об уважении к твоим тайнам? Врешь! Не имеешь ты права на самостоятельность, потому что самостоятельность учреждена не для развратных: не заслужила ты самостоятельности. А уважать тебя пусть уважает тот, кто тебя не раскусил, — с меня этой игры довольно. Не мне тебя уважать, не мне считаться с твоими правами и тайнами. Тайны! Я из-за тебя исстрадался, весь нервами разбился, и еще должен жантильничать с тобою, так и этак Обходить, не зацепить бы ненароком твои поганые тайны? Не разыгрывай королеву: вижу тебя насквозь и приму меры, чтобы и другие Буруны и Наровичи не висели впредь на твоих окнах в то время, как у тебя в темном углу спрятан любовник...

Вы тут сидите, смотрите на меня с неодобрением. Арина Федотовна ухмыляется, полная

злости и яда, будто я мальчишка, которого сейчас велят ей высечь. Взорвало меня, взяло за сердце прямо сверхъестественное зло... Все, — как я собирался себя благоразумно повести, как обещал торжественно и даже, кажется, клятвенно Ивану Афанасьевичу пожалеть его, не выдавать секрета, — все вылетело из головы. Я закусил удила, помчался вперед, как взбесившийся конь, и почал бухать во всеуслышание все, что накопил про себя... про сатира и про нимфу... и там прочее... Ну, Александр Валентинович! Ну, скажите сами: не прав ли я? Ну, не наглая ли, ну, не злая ли дрянь? Ведь сама же она мне эту язвительную тему навязала, растолковала, сама же о себе аллегория, сама же на себя карикатуру велела писать. Что это? Болезнь глумления над собою и другими? Безумие самооплевания? Шальной вызов? Я теряюсь, я понять ничего не могу...

А сквернее-то всего то, что, зная все, прези-рая и ненавидя ее во всем, что знаю, — я чувствую на дне сердца моего, что люблю ее больше, чем когда-либо.

Ну, это опять уже личные чувства, кото-

рых мне к тому же стыдно, и написал я вам эти слова через силу только потому, что дал себе слово быть вполне правдивым в этом письме. Нет никакого сомнения, что я никогда больше не увижу Виктории Павловны, по крайней мере, употреблю все усилия с моей стороны, чтобы ее не встретить... На это, слава Богу, у меня характера хватит. Я не умею прощать обид, а здесь во мне обижено все: поругана личность моя, оскорблено мое мужское достоинство. Обожать женщину порочную мужчина, по-моему, не может, не теряя уважения к себе. А без уважения к себе нельзя жить. Если человек не уважает и не любит себя, на что ему существовать на земле, что он в силах совершить? А я очень хочу жить и думаю, что мне есть зачем жить. Хоть вы тогда и не купили моих рисунков, но я знаю, что я большой талант, и в состоянии создать кое-что недюжинное. Не таким людям, как я, сидеть у женской юбки, разыгрывая какого-то оперного дон-Хозе при доморощенной Кармен. Я сказал Правосле прости навсегда. Не жду легкого и скорого забвения, потому что ранен очень глубоко, но, все-таки, забуду, вы-

здоровлю от проклятого кошмара: не тревожьтесь за меня, — обещаю вам, даю вам в том слово. А, если не сумею забыть, то, значит, грош мне цена, и тогда я лучше умру, а «ей», все-таки, не поддамся...

XIV.

В столь энергическом настроении было окончено письмо, что от размашистых букв последней страницы и свирепого рощерка фамилии веерами рассыпалась по бумаге чернильная пыль. В общем, послание Буруна произвело на меня впечатление хаотическое. То — как будто и впрямь человек расстроен и потрясен до последней степени волнения, то — как будто и рисовки много, слышно самолюбование своим несчастьем. «Я», «я», «я» — звучит без конца. Викторию Павловну он, заметно, очень любит, но в себя влюблен куда больше и предпочтительнее. Взволнован до того, что боится сойти с ума, а, между тем, запомнил все свои позы, все жесты, как сел, где стал, что сказал. Положим, — художник: сказались артистическая впечатлительность, привычка к живописному наблюдению

нию; но, все-таки, если бы проще, — оно бы лучше. И эти литературные примеры... Сколько их! Подумаешь, что он сдает мне экзамен в прочитанной им беллетристике... И все какие эффектные и лестные для него!.. Афанасьичу отказал в роли Мефистофеля (положим, справедливо) и Викторию Павловну разжаловал из Гретхен (тоже законно), но себя, небось, не усомнился оставить в Фаустах. Не сомневаюсь, что он был искренно огорчен, разгневан, смущен после своей неудачной облавы, но смешно, что человек, сгорающий ревностью до жажды убийства, сохраняет еще память для Купера и Патфайндера. Да и для многого, кроме Купера. Жалуется, что все его чувства оскорблены, обида заполонила всю его душу, заслонила от него весь мир, — а не упустил случая растравить давнюю, мелкую рамку самолюбия: как это я не оценил его, не купил рисунки. Потом эти последние высокопарные строки, с воплями о таланте... И с какой стати он успокаивает меня за судьбы своего таланта? Мне-то какое дело? Я и не думал тревожиться...

Я вышел в сад. На полянке, под березою с

Грачевыми гнездами, у которой когда-то так смешно был посрамлен тяжеловесный Петр Петрович и отличился находчивостью Ванечка, я увидел как раз этого последнего. Прислонясь спиною к стволу дерева, он, с веселым жаром, рассказывал что-то Виктории Павловне. Она сидела на траве, охватив руками свои колени, и слушала внимательно, с живым и серьезным интересом. Когда я подошел, разговор не прервался, но, показалось мне, — по безмолвному согласию, — был круто повернут в другую сторону.

— Помните, Александр Валентинович, — сказала Бурмылова, — как было здесь весело — тогда, накануне моих именин?

— Да, смеялись довольно.

— Так как же, Виктория Павловна, — сказал Ванечка, коверкая язык, — рлазрлешаете взять вашу терлежку?

Она улыбнулась и пояснила мне:

— Помните земского начальника? Это он так картавит. Правда, похоже?.. На что вам тележку, Ванечка? Куда едете?

— В Пусторось, к попу. На крестины зван. Сын у попа родился.

— В Пусторось? А вы как поедете?

Ванечка, состроив глубокомысленное лицо, сделался необыкновенно похожим на вице-губернатора «комариные мощи», моего приятеля, и проговорил в оттяжку, печальным и певучим баритоном:

— Согласно предписанию вашего высокопревосходительства за номером тысяча сто седьмым, при посредстве четвероногой лошади.

Виктория Павловна фамильярно бросила в него цветок, который сорвала подле, в траве.

— Не глупи! На Пурниково?

— Нет: там путь размыло, лошадь не вывезет.

— Надо ладить крюком, на Полустройки.

— На Полустройки? Это отлично. Тогда и я поеду с тобою. Ты довезешь меня до Полустройек, там оставишь и можешь ехать дальше к своему попу... Клавдию Сергеевну сто лет не видала, — пояснила она мне, — докторша наша, милая женщина, там ее пункт.

— Я знаю.

— Вас знобит? Измеряли температуру? Нервируете? Чувствуете боль? — восклицал

Ванечка, спешно топоча на месте, будто нетерпеливыми дамскими ножками, и судорожно потирая рука об руку. Он, кажется, задался непременною целью — рассмешить свою хандрящую повелительницу, во что бы то ни стало.

— Не смей над нею смеяться: она хорошая.

— Надолго собираетесь? — спросил я.

— Нет, конечно: сегодня же к вечеру буду назад.

— Прикажете заехать за вами и обратно? — осведомился Ванечка.

— Нет, не надо. Уж Бог с тобою: веселись. Мне Клавдия Сергеевна даст свою лошадку. Ведь у вас там, в Пустороси, конечно, пойдет пир до поздней ночи?

— Да, как вам сказать? Собственно говоря, если хотите... более или менее... — нерешительно отвечал Ванечка, с усилием морща бровь и уходя головою в плечи. На этот раз старания его увенчались успехом: Виктория Павловна засмеялась.

— Ванечка, вы становитесь нахалом, — заметила она ему не слишком строго. Вы узнали, кого он представлял?

— Нет, хотя, если хотите... кого-то более или менее знакомого...

Она продолжала смеяться:

— Еще бы не знакомого: вас представлял.

— Покорнейше благодарю.

— Да плохо выходит, — возразил сконфуженный Ванечка. — Вон — даже вы сами не признали.

— Кого копируют в глаза, тот никогда сам себя не узнает, если копия хороша.

— Так, стало быть, можно терлежку зарложить? — обратился он к хозяйке.

— Да. Ступай, скажи матери. Я одеваться не намерена. Поеду, как есть.

— Слушаю-с.

— Ванечка говорит: вы получили от Буруна письмо? — начала Виктория Павловна, поднимаясь с травы, когда наш молодой комик отдалился уже на достаточное расстояние.:

— Получил... — нерешительно ответил я, чувствуя себя неловко от ожидания, что она станет экзаменовывать меня о подробностях.

— Я тоже получила. Вы позволите мне прочитать, что он вам пишет?

— Я не знаю, в праве ли я...

— В праве. Могу вам доказать это цитатой из того же автора.

Виктория Павловна вынула из кармана толстую тетрадку почтовой бумаги, исписанную крупным, неустойчивым почерком Буруна, и прочла вслух:

— «Многое, чего не пишу вам, я только-что изложил в письме к Александру Валентиновичу. Прочтите, если хотите. Оно скажет вам, кто я и что я»...

— И, так как я желаю пополнить свои сведения, кто такой и что такое господин Бурун, то очень прошу вас: дайте познакомиться с его литературой.

— Виктория Павловна! Я должен предупредить вас, что там имеются места, которые читать вам будет очень неприятно. Я даже не понимаю, как он решается предлагать вам это письмо к прочтению.

— Вероятно, когда он писал ко мне, — едко произнесла она, — он успел уже позабыть, что именно писал вам, и сам не знает, что предложил мне читать... Но разрешение дано, право прочитать письмо я имею и желаю

им воспользоваться.

Она протянула руку за письмом.

— Я оставил его в своей комнате, на столе... Но, Виктория Павловна, право же, в письме слишком много грубого. Позвольте хоть...

— Процензуровать Буруна для детского чтения? Нет, уж рискну остаться взрослою, пусть дело идет на чистоту до конца. Обвинительный акт надо знать во всех подробностях. А там, конечно, обвинительный акт?

Я принес ей мою тетрадку от Буруна. Она, взамен, подала мне свою:

— На квит, познакомятесь с этим произведением.

На той же самой скамейке у пруда, где впервые беседовали мы с Буруном в Правосле, и где потом, как он выражается, «морочила» нас Виктория Павловна, читал я теперь его прощальное послание к даме сердца. И, покуда читал, мне чудилось, что я слышу его раздражительный, страстный голос, его приподнятый декламационный тон, вижу его гневные, красивые глаза. Но, чем дальше я читал, тем шире и шире открывал изумленные глаза, а, дочитав, положил письмо на

скамью и, даже наедине с собою, проговорил вслух:

— Что же это такое?

В начале своем, послание являлось как бы логическим продолжением того, что получил я: тот же гневный экстаз, та же страстность, с тою же самообличительною горькою иронией, с теми же бичами сатиры на виновницу несчастья, с тем же множеством литературных цитат, хотя и менее тщательных. Но, повопив и выбравшись всласть на четырех страницах, Бурун, в переходе с пятой на шестую, восклицал патетически — О, Виктория! Виктория! — а затем седьмую и до десятой включительно посвятил изъяснению, что никто не в состоянии понимать ее так глубоко и ценить так высоко, как он, Бурун, и неужели она, холодная, того не сознает, и душа ее его душе не отвечает? На одиннадцатой великодушно уверял, что «все забыл и простил». На двенадцатой жалобным и униженным тоном умолял ее забыть и простить ему самому. А на остальных... просил позволения вернуться в Правослу, ибо жить вдали от своей Виктории для него все равно, что не жить вовсе,

«как поется в известном романсе, так вами любимом». Он бессилён будет чувствовать, откажется творить. Если Виктория Павловна поддастся теперь своему больному и мелочному самолюбию настолько, что сохранит гнев и досаду на влюбленного друга из-за нескольких неосторожных, но вполне извинительных слов и поступков его, если она оттолкнет его, не захочет принять и видеть, не простит, не позволит всегда быть близ нее, — то пусть она помнит, что не он один проклянет ее: с ним вместе грянет проклятием вся Россия... На нее будут показывать пальцами, как на злую силу, загубившую один из самых блестящих и многообещающих художественных талантов.

— Что же это такое? — повторил я, видя, что Виктория Павловна подходит ко мне с полянки, гордая, торжествующая, с гневным румянцем на лице.

Она молчала, язвительно улыбаясь.

Я продолжал:

— Кажется, вы правы: бедняга, действительно, покуда писал к вам, совершенно позабыл, что писал ко мне.

— Да, — все с тою же улыбкою невыразимого презрения сказала она, — два эти документа вместе, — он правду говорит, — полная его характеристика.

От дома слышались знакомые голоса. Ванечка и Арина Федотовна вышли на террасу и о чем-то спорили между собою, усиленно рассуждая руками. Ванечка, жмурясь против солнца, закрыл голову белым носовым платком. Сходство его с Ариною Федотовною, всегда очень резкое, на этот раз, — подчеркнутое бабьим головным убором, — особенно поразило меня.

— Удивительно похож на мать, — указал я.

Виктория Павловна взглянула не на Ванечку, а на меня, — быстро, зорко, и тотчас же отвела глаза.

— Да, — сказала она, — если одеть его в юбку и кофту, то и не отличить, кто. Мы рядились как-то зимою, на масляной. Было очень смешно... Две живые Арины!

В глазах и по губам ее опять скользнула все та же фальшивая, хитрая усмешка, что уже дважды смутила меня, — сперва у нее, потом у Арины Федотовны.

— Вот как...

Странная мысль, смутная догадка мелькнула в моем уме.

Мы незаметно вышли опять на полянку. Виктория Павловна подняла глаза на березу с грачами и засмеялась.

— Помните: Бурун тоже пробовал силу... Оборвался, не смог.

— Ведь и, в самом деле, высоко, — возразил я.

Она, с обычным ей выражением вызова, потрянула головою:

— Ванечка же сумел.

— Не всем быть Колумбами, — напомнил я ей ее шутку.

Виктория Павловна ответила мне странным, острым взглядом:

— Конечно... только, если так рассуждать, то Америка осталась бы неоткрытою.

Она потянулась усталым жестом, точно сбрасывая с плеч большую тяжесть, — и остановилась предо мною, высокая, прямая, будто предлагающая всею своею фигурою роковую борьбу какую-то. Письмо Буруна опять очутилось у нее в руке, и она с пренебрежением

щелкнула по нем пальцами.

— И такой-то господин воображает себя в праве быть собственником и повелителем женщины. И оскорбляется, как она смеет не сгибаться под его сапог.

И, с лукавым взглядом по моему адресу, докончила:

— И некоторые едва ли не советовали мне...

— Ну, уж это, извините, преувеличение, — прервал я не без легкой досады, — никогда я не советовал.

— Коли едешь, лошадь готова, — крикнула Арина Федотовна с террасы.

— Готово, готово, готово, — пел Ванечка, прыгая сорокою к нам навстречу по лужайке.

— Вот комик! — невольно засмеялся я.

— Да, не правда ли? — словно обрадовалась моим словам Виктория Павловна. — Прелесть, что за малый. Несокрушимая жизнерадостность какая-то. Я ему только-что сейчас, пред вами, говорила: ты, Ванечка, мой бромистый натр, мои лавровишневые капли...

— Каррррета в барыне и гневаться изволит! — отрапортовал Ванечка, нарочно пере-

вирая грибоедовский стих, как плохой актер на выходах.

— Отлично, едем. До свиданья, Александр Валентинович.

— До свиданья.

— Ну, кавалер, предложи даме руку...

Виктория Павловна оперлась на руку Ванечки. Отойдя несколько шагов, она оглянулась, как бы ожидая от меня чего-то. Я, тем временем, уже успел улечься под березу и искал, как бы поудобнее вытянуться в зеленой, душистой мураве.

Они отошли еще дальше. Но — опять она замаялась, покинула на минутку руку Ванечки и сказала, глядя на меня через плечо, в пол-оборота:

— Вы не спрашиваете меня ни о чем?

— Нет, — ответил я, приподнимаясь, удивленный.

— Даже после письма?

— Ах, вот что... Нет, Виктория Павловна. Не считаю себя в праве.

Она медленно взяла Ванечкину руку.

— И хорошо делаете. Все равно, — я... не отвечаю.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

До настоящего издания, роман мой печатался предварительно в фельетонах очень распространенной газеты, ныне уже не существующей. В период этого первого печатания, центральная фигура романа дала повод многим читателям, преимущественно провинциальным, обратиться ко мне с письмами. Большинство корреспондентов интересовалась вопросами:

— Настоящее ли живое лицо Виктория Павловна? Существует ли ее Правосла?

И мужчинам, по-видимому, весьма хотелось, чтобы Виктория Павловна жила на свете, а Правосла существовала. Из дам же, хотя некоторые на бедную, грешную героиню мою негодовали с приличествующим нежному полу, свирепым целомудрием, но должен оговориться: негодующих было меньшинство, а одна писала даже, что устроить жизнь свою по упрощенному образцу Виктории Павловны было всегда ее идеалом, только бодливой короле Бог рог не давал.

Могу утешить: и Виктория Павловна —

жив-человек, и Правосла цела, если не сгорела. И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, — в рот не попало.

Конечно, повесть моя — не фотографический снимок. Взят из жизни общий набросок главной фигуры и помещен в ситуации и обстановку, тоже действительные, но в жизни не сосредоточенные в одном центре с такою компактностью, как того хочет роман. У меня нет способности к тематической изобретательности: в рассказе своем я привык повторять то, что рассказала мне текущая жизнь. Единственное мое изобретение в данном случае — комбинация фактов и условий, на самом деле окружавших многие и разные лица, около одного лица, родственного тем многим разным лицам основными чертами характера и способного, в тех же обстоятельствах житейских, вести и держать себя так, как ведет и держит Виктория Павловна. Но, повторяю, последняя не портрет.

Очень может быть, что читатель, которого случай свел бы с оригиналом Виктории Павловны, далеко не сразу узнает ее по картине моей работы, будет разочарован, скажет даже

сторяча: все наврал А. В. А.! — и лишь время и пристальное наблюдение обнаружит ему, что А. В. А. не наврал.

Сам оригинал Виктории Павловны пишет мне:

— Вы сделали меня умнее и образованнее, чем на самом деле. О многом, что я говорю у вас, я никогда не думала.

Это правда. Виктория Павловна интересовала меня вовсе не как единичная «особь женского пола», ухитрившаяся любопытно и необычно устроить свою частную жизнь и иметь в ней несколько любовных приключений. Фигура ее показалась мне достопримечательною потому, что в ней я нашел более обыкновенного яркое и решительное выражение того, к сожалению, небезосновательного скептицизма общественного, которым все чаще и чаще болеют молодые женские силы века. Вот почему Виктория Павловна говорит в моей повести многое, чего даже «никогда не думал» ее непосредственный оригинал, но что говорили и писали мне многие, многие сестры ее по житейскому неудачничеству, из которых одна так и написала мне в письме

своём:

— Ушла бы, заключилась в Правослу, — да Правослы-то у меня нету.

Я не беллетрист «чистой крови», я журналист, мое дело — фельетон, публицистика. Вот почему я со смиренным доверием принимаю упрек, что многие горькие слова Виктории Павловны звучат не совсем правдоподобно в устах ее, кажутся развитием мыслей не героини моей, но моих собственных. Стало быть, не сумел — прошу извинения за ужасный барбаризм! — «обеллетристричь» речи публицистические.

Мое глубочайшее убеждение, что нет житейской отрасли, в которой общественное лицемерие водило бы прогресс за нос с большим искусством и постоянством, чем в женском вопросе. Предки наши были грубы и откровенны: держали «бабу» в терему. Отцы «бабу» из терема вывели, объяснили ей, что она, баба, не баба, но женщина, равноправный человек; наговорили ей с три короба хороших слов и любезно предоставили ей возможность пройтись, — все, впрочем, вокруг да около того же терема, без долгих и далеких

от него отлучек, — по некоторым общественным и трудовым дорожкам, протоптанным мужчинами и, обыкновенно, захоженным уже до того, что странствия по ним утратили для «мужского сословия» не только всякую привлекательность, но и сколько-нибудь серьезную оценку на рынке жизни. Словом, — «на тебе, небоже, что нам негоже». — Вот-де такие-то выгодные и серьезные виды труда принадлежат мужчинам, как полу сильному, а к таким-то и таким-то можно, пожалуй, допустить и женщин: они честны, исполнительны, не пьют и рады работать за гроши, — все качества, потребные для этих отраслей труда, почитаемых нами, мужчинами, разнообразностью житейской каторги... Это называлось женской самодеятельностью — Предайся ей и будь счастлива!

Женщина очень обрадовалась такому великодушию мужчин и дорожки утаптывала и утаптывает с самым похвальным и трогательным самоотвержением, за что и удостоивается лестных и справедливых отзывов о своем уме, талантливости и т. п. Но дорожки крутят-крутят женщину по лабиринту жизни,

а решительно никуда не приводят. Самодея-
тельность, ограниченная практически со всех
сторон традициями трудовой конкуренции
мужчин, обращается в препровождение вре-
мени— для одних; в покушение с негодными
средствами — для других; в медленное само-
убийство чрез разнообразные формы непро-
изводительного или мало производительно-
го, но египетского труда — для третьих. На до-
рожках голодно, холодно. Когда трудящаяся
женщина просит хлеба, ей подадут камень —
не камень, но прошлогоднюю булку. Если она
протестует, ей удивленно возражают; а вели-
кие идеи женской эмансипации?! Однако, вы
не на высоте... Мы были лучшего мнения о
вашей энергии. Неужели вы не понимаете,
что можете получить право и активную силу
в обществе, только доказав свое умение нести
обязанности и свою полезность в качестве си-
лы пассивной? Равенство с мужчиною надо
заслужить. Мы были так великодушны, что
признали его в принципе, теоретически. Ну, а
на практике, уж устраивайтесь сами, доволь-
ствуйтесь, как и чем пришлось... И, конечно,
жареные голуби не полетят сами к вам в рот.

*Даром ничего не дается: судьба
Жертв искупительных просит.*

Женщина долго верила и еще верит в великие идеи, продолжала и еще продолжает голодать и холодать во имя их. Готовность русской женщины быть искупительной жертвою во благо будущих женских поколений была и есть прямо изумительна. Но, все-таки, дух силен, а плоть немощна. От женщины, желающей трудовой равноправности с самым заурядным мужчиною, мы требуем, чтобы она была женщиною необыкновенною, самоотверженною героинею. Только фанатизм самодеятельности может примириться с жалким заработком и каторжными условиями, в какие сложился в России женский труд. К стыду нашего пола, «слабая половина» русского населения выдвинула и еще выдвигает в жизнь этих героинь и кандидаток в героини едва-ли не столько же, сколько сильная половина, за те же годы, выдвинула заурядностей, негодующих, что «бабы у них отбивают хлеб». Однако, никакая нация и никакая эпоха не могут рассчитывать на то, что производство ими героинь бесконечно, — бес-

полезное или мало полезное самоотвержение обесценивается, теряет смысл, фанатизм, вознаграждаемый только разочарованиями, гаснет в сомнениях. Страдающая плоть все чаще и чаще наводит тружениц на печальную мифистофельскую мысль — Так ли уж велики, как их малюют, и самые идеи, которым мы себя отдали, и из которых не выходит для нас ничего, кроме холода и голода?

— Альтруистическая идейная деятельность — прекрасная вещь, — задумчиво говорила мне одна из Викторий Павловн, — но зачем мужчины с таким исключительным великодушием передали ее всецело нам, женщинам? Оно, конечно, лестно, что мы в труде такие благородные, бескорыстные, и цена нам грош, но... мы охотно предпочтем, чтобы нас не считали уж такими всесовершенными ангелами, даже побранивали нас за эгоизм, — только бы дали возможность труда, настоящей оплачиваемого и обеспечивающего, а не притворных его призраков.

Трудящуюся женщину общество не кормит или кормит впроголодь, морозит в нетопленной комнате или дает ей возможность то-

пить свою печь раз в три дня. Героиням и фанатичкам все это нипочем, но повторяю: немислим общественный класс, сплошь состоящий из героинь и фанатичек, и непрочен вид труда, возможный к осуществлению только при посредстве героинь и фанатичек. Общество живет затратами средней своей энергии и только средних ее размеров имеет право требовать от своих членов. Нельзя требовать от каждого генерала, чтобы он был Скобелевым или Тотлебенем, звание врача дается не одним Захарьиным и Боткиным, печатают свои статьи и зарабатывают ими деньги не одни Михайловские, Горькие, Чеховы. Нельзя требовать и от трудящейся женщины, чтобы каждая была Софьей Кавелиной или Софьей Ковалевской, — и тогда мы удостоим ее своего просвещенного внимания и своих восторгов. Надо, чтобы и Софья Иванова, Анна Петрова, Катерина Сидорова и другие сестры их, не будучи Кавелиными и Ковалевскими, все-таки, были удовлетворены в труде своем настолько же, насколько удовлетворены в нем Александр Иванов, Алексей Петров, Константин Сидоров и братья их, не

будучи ни Тотлебенными, ни Боткиными, ни Михайловскими и Чеховыми. Иначе, нечего и удивляться, а тем паче негодовать, что в женском стане, погибающем за великое дело любви, так часты обидные побеги от знамени.

Когда человеку холодно, он ищет где ему пригреться. Когда человеку голодно, он изыскивает, где и за что его накормят хлебом. Обголодав и обхолодав на традиционных тропинках женского труда, лишенная прав гражданских и образовательных, женщина, естественное дело, начинает высматривать те возжеленные дороги жизни, на которых женщины сыты и согреты. И, к ужасу своему, видит, что, в конце концов, вопреки всем хорошим и либеральным мужским песням, такими благополучными дорогами оказываются только те, что обусловлены не обще-человеческими признаками и способностями женщины, но специально женскими, половыми. Почетно и хорошо живет замужем. Позорно, но сытно живет проститутке.

Последняя дорога слишком отвратительна для женского стыда и самолюбия, слишком унижена и загрязнена исторически, двадца-

тивекowymi усилиями христианской этики, чтобы составлять серьезную конкуренцию интеллигентному женскому труду, хотя было бы слишком смело утверждать, будто она бес- сильна конкурировать с ним вовсе. [Писано в 1900 году. Летом 1902 г., по сообщению «Ни- жег.Листка», среди проституток на ярмарке в Нижнем Новгороде зарегистрированы: одна бывшая гимназистка 1го класса, одна бывшая учительница, одна курсистка и две воспитан- ницы приюта».] Другое дело — отказ от само- стоятельности и самодеятельности в пользу замужества, ради замужества, чтобы «при- строиться». В голодном и холодном труде, не одна женщина среднего уровня, не героиня, начинает с завистью поглядывать через пле- чо в сторону теплого терема, откуда ее выве- ли. Это, по-нынешнему, называется «в семью уйти». Вышла замуж и в семью ушла! — слова весьма обыкновенные, почетные, но — рядом с именем недавней труженицы-деятельницы, они всегда звучат чем-то вроде эпитафии.

Другие — посмелее, поумнее, — говорят гг. мужчинам:

— А ведь вы дорожками-то нас надули! ко-

торые во дворцы и храмы ведут, те оставили себе, а нам указали тропки, по которым никуда не выйдешь, кроме пустырей и оврагов.

И начинают искать путей-выходов своим умом своими средствами: мужчина из друга и союзника обращается для них в хорошо сознаваемого врага и предателя их свободы.

Это мы объявляем женским бунтом. Это — феминизм. И этого мы, господа мужчины, боимся, терпеть не можем, и против этого напридумали великое множество всяких обманов, возвышающих низкие истины, компромиссов, взаимно надувающих морем фраз и житейских подлогов и мужское самолюбие, и женское.

Один из этих компромиссов, — расширение понятия семьи, очень тугое, в большинстве случаев крайне притворное, неискреннее, но все же принимаемое хоть видимо-то. Век легче смотрит на нелегальные связи, условия супружеской верности, положение батардов и т. п. [Писано в 1900 г., до закона 1902 г. о внебрачных детях]. . Это считается уступками общества в пользу женщины, снисходительным упорядочением ее общече-

ловеческих прав.

Когда я читаю историю этих компромиссов, известную под именем истории женского вопроса, я всегда думаю.

— Как много ловкости и красивой изобретательности тратится мужскою половиною человечества для того, чтобы приводить женщин в спальню и кухню не прямым путем, но окольным, — так, чтобы, очутясь в спальне и кухне, женщина сгоряча и не заметила, что она в спальне и кухне, а приняла бы спальню за храм, а кухню за лабораторию.

— Но, — «каких ни измышляй пружин, чтоб мужу-бую ухитриться, не можно век носить личин, и истина должна открыться». Все больше и больше становится на свете женщин, понимающих, что самая либеральная на вид и на звук система женской самостоятельности, поддерживаемая самыми либеральными мужчинами, в глубоком нутре своем все-таки носит зернышко полового рабства. Свобода же для женщины возможна лишь там, где женщина сумеет или совершенно выделить половой элемент из житейских отношений своих к другому полу, или

наотрез откажет мужчинам в продолжении привычки быть повелителями ее половой воли и жизни, категорически объявит себя хозяйкою самой себя, живущею по собственной своей этике, по собственным своим разуму и совести, а не по этике, исторически сложеной и изложенной мужчинами, в угоду условий первенства Адама над Евою.

Первое «или» невозможно. На то и два пола созданы, чтобы существовала половая жизнь. И женщина может быть врачом, адвокатом, хоть президентом республики, хоть римским папою, — а все-таки должна она платиться за райское интервью со змеем и в болезнях рождасть чада. Возможно ли «или» второе? Не знаю. Но вижу все чаще и чаще женщин, полагающих, что оно возможно, понимающих, что истинная свобода женщин состоит отнюдь не в любезном предоставлении ей мужским великодушием тех или иных видов мужской деятельности («на тебе, небоже, что нам негоже»); но в том, чтобы половой инстинкт перестал быть источником и символом покорности слабого пола сильно-му, чтобы он перестал быть решающим и

опорным пунктом отношений между женщиною и мужчиною, чтобы воля полового выбора и этика половых отношений стали для самки-Евы такими же широкими, как исторически завоевали их себе самцы-Адамы. Мужская этика поставила женщин в обществе так, что половое чувство делает их либо наседками, либо проститутками, либо бросает бессильно барахтаться между этою Сциллою и Харибдою, покуда Бог смерти не пошлет. Мужская этика обязала женщину тяжким и коварным контрактом с совестью, по которому мужчины остаются и в своем собственном мнении, и в мнении общества порядочными и приличными, хотя бы в свободе половых отношений они оставляли далеко за собою самую разнузданную проститутку; женщина же, по этике этой, — как скоро она хотя бы однажды настояла на праве своем распорядиться своею половую волею, как ей угодно, — становится уже безнравственною и отверженною и может искупить грех свой только тем, если сейчас же наденет на себя цепи и возьмет обязательства впредь подчиняться брачному договору (церковному ли, гражданскому

ли — все равно) и всем его житейским последствиям. Женщин, находящих такие отношения полов безобразными и лицемерными, повторяю, видишь все чаще и чаще.

В знаменитой «Перчатке» Бьернсона героиня, от лица всех девушек своего поколения, ставит основное и вполне логическое условие полового равенства: если я не имею права на половую жизнь до законного брака, то и ты его не имеешь; если мне предписаны обязанности воздерживаться от половых слабостей, то обязанности эти равносильны и для тебя; если я должна выйти замуж девственницею, то и ты женись девственником. Правила прекрасные и были бы еще лучше, если бы проповедовались в обществе ангельском, а не грешно-человеческом. Они представляют собою взаимоограничение двух полов в известном праве и соответственное взаимоотношение их известным половым обязательством. Ни до отягчений, ни до ограничений род человеческий не большой охотник, а, в сильной своей половине, — в особенности. Будущее женского равноправия состоит вовсе не в том, чтобы мужчина отказался от прав, кото-

рых не имеет женщина, а в том, чтобы женщина приобрела все права, которые имеет мужчина. Прав этих так много, и деятельность их так плодотворно разнообразна, что вопрос о свободе половой жизни далеко не займет в них того господствующего и исключительного положения, как пугают общество враги женской эмансипации. У мужчин нашего времени вопросам половой жизни предшествуют десятки жизненных и общественных вопросов; и, если последние бывают в мужчине побеждены первыми, и половая задача возводится в первый и главный интерес жизни, такой мужчина не только не пользуется общественными симпатиями и уважением, но даже причисляется к показателям мужского вырождения, считается аномальным, эротоманом, половым неврастеником. Точно так же теряет свою повелительную силу и первенствующее значение половой интерес и в женской жизни, когда общество начнет считаться в женщине прежде всего с ее данными общечеловеческими, а потом уже с половыми. Выдающиеся женщины иногда добиваются такого отношения к себе уже и в настоящее

время. С знаменитым женским именем уже возможно считаться без экзамена его с половой точки зрения. Я знаю, что Софья Ковалевская была великая женщина, — и этого для меня достаточно, без ее семейной биографии. Какое мне дело: был у нее муж или не было мужа? ладно она жила с мужем или дурно? изменяла мужу или была верна? Деятельность ее не в семье выразилась. Если половая жизнь ее была безупречна, — тем лучше; если нет, — слишком мало в том интереса человечеству и науке, для которых она работала целую жизнь. Разве Жорж Занд, Джордж Элиот, В. Крестовский — «женские» имена для миллионов их читателей? Кто, кроме ханжи или сладострастника-эротомана, способен сосредоточить свое любопытство об Екатерине Великой на количестве, мании и особенностях ее фаворитов? Участь выдающихся женских единиц рано или поздно распространится и на всех самостоятельно живущих женщин. В настоящее время «гений не имеет пола». Будет время, когда «общественная единица» не будет пола иметь. И начали уже появляться женщины, достаточно смелые, чтобы

смотреть на половую жизнь свою с совершенно мужскою логикою, мужскими глазами. то есть, они видят в ней не главное назначение своего существования, а лишь одну из сторон физиологической деятельности, прикрашенную красивыми душевными эмоциями, и умеют, когда с них требуют отчета за то, возразить, как мужчины возражают: «Это дело моей совести, а не ваше». Одну из таких женщин попробовал я описать. Вышло или не вышло, — не мне судить.

Дочь Виктории Павловны.

Роман в 3 повестях

Часть 1. Злые призраки

ОТ АВТОРА.

Одиннадцать лет тому назад, когда вышел в свет первым изданием роман мой «Виктория Павловна», я получил, в Вологде, письмо от В. Ф. Коммиссаржевской, в котором эта прекрасная муза порубежной встречи двух русских веков спрашивала меня, не переделаю ли я роман для театра, так как она заинтересована героинею и желала бы создать ее образ на сцене. Я был очень удивлен этим предложением, исходившим от артистки, имевшей репутацию жрицы мировоззрения, казалось бы, совсем чуждого моему реалистическому направлению и тону. Роман свой я не находил и не нахожу пригодным для инсценировки, а образ Виктории Павловны менее всего сливался в воображении моем с фарфорово-хрупкой, как бы оторванной от земли и к небу летящей, с полными тайны,

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ

ДОЧЬ ВИКТОРИИ
ПАВЛОВНЫ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ПОВѢСТЯХЪ:

ПОВѢСТЬ ПЕРВАЯ:—ЗЛЫЕ ПРИЗРАКИ.

ПОВѢСТЬ ВТОРАЯ:—ЗАКОННЫЙ ГРѢХЪ.

ПОВѢСТЬ ТРЕТЬЯ:—ТОВАРИЩЪ ѲЕНЯ.

КНВО „ПРОМЕТЕЙ“.

Н. Н. МИХАЙЛОВА.

глубокими и широкими очами, мистической Коммиссаржевской... Все это я Вере Федоровне с совершенною искренностью написал, а, потом, в короткой встрече 1904 года, пред отъездом своим за границу, имел с нею по этому поводу разговор. Она мне свое желание еще раз повторила, с тою тихою и упорною настойчивостью, которую хорошо помнят, я думаю, все, сколько-нибудь знавшие Коммиссаржевскую, — так выразительною, когда она желала чего-нибудь хорошо ею обдуманного и прочувствованного. Я не был близко знаком с В. Ф. и не принадлежал к пылким поклонникам ее сценической деятельности, которую знал лишь в Александринском периоде. В собственном театре Коммиссаржевской я видел В. Ф. только однажды, много позже, в «Детях Солнца» (декабрь 1906 или январь 1906 г.). Известно, что Коммиссаржевская была очень застенчива и, говоря с людьми мало знакомыми, выражала свою мысль несколько отрывочно и темно. Интонация давала больше, чем речь. Так и теперь было. На мое недоумение, зачем ей понадобилась Виктория Павловна, так не согласная с ее общим настроением,

нием, В. Ф. отвечала тоном большого убеждения: «я ее чувствую». И, мало-помалу, объяснила мне, что героиня моя занимает ее двумя своими чертами: публицистическою, как одна из первых ласточек русского феминизма, и физиологическою, — тою властью тела над духом и мыслью, которая, по временам, одерживает мрачные победы над свободою и энергией Виктории Павловны и предает ее цепям, ей самой ненавистным и отвратительным, и — в особенности — казни обмана, отравляющего всю ее жизнь... Вера Федоровна говорила об этой второй стороне Виктории Павловны с особенным жаром и даже не без волнения, не мало меня удивившего... Речь ее стала яркою, меткою, понимание она явила глубокое, трагическое...

Переделать «Викторию Павловну» в драматическую вещь она, тем не менее, меня не убедила, так как я и считал и считаю, что в пьесе, из этого романа извлеченной, был бы слишком заметен недостаток действия... Но разговор, многозначительный тон и выразительные глаза Коммиссаржевской, когда она объясняла мне мою собственную героиню,

остались в моей памяти неизгладимым впечатлением. Очень хотелось мне воплотить это воспоминание в сценический образ, написав для В. Ф. не переделку, а совсем новую пьесу с такою Викторией Павловной, как ей представлялось... Даже и начал было, назвал «Дионис», набросал несколько картин, но Париж, где я поселился, увел меня к другим работам и не позволил осуществить эту...

Вот причина, по которой я решился посвятить «Дочь Виктории Павловны» памяти незабвенной Веры Федоровны, а объяснить это нахожу нужным потому, что посвящение у многих может вызвать естественный вопрос:

— Почему?

Не успев поднести живой Коммиссаржевской фигуру, которую она желала художественно воплотить, я приношу к могиле ее этот роман, являющийся продолжением и окончанием «Виктории Павловны», как запоздалый траурный венок женщине глубокой, умевшей чувствовать и сознавать и цепи старого века, и цели нового... Хорошо ли, дурен ли венок мой, не мне о том судить, но спле-

тен он внимательным наблюдением, а возлагается с глубоким благоговением и тою светлою грустью, которою овеивает стареющего человека мысль об отшедшем прекрасном-прекрасном и невозвратном-невозвратном... Настолько невозвратном, что — совершись чудо и возвратись невозвратное — еще узнаем ли мы его в новом-то перевоплощении? Каждому времени — своя песня, каждой эпохе — своя муза... Несчастлива Коммиссаржевская, что умерла рано. Счастлива Коммиссаржевская, что ушла в вечность, не вытесненная возрастом из великой символической роли, которую дала ей судьба: что легла она в гроб молодою музою переходного века, — и такую навсегда запечатлелась в памяти людей. И никто никогда ее, — эту белую лилию, нежданном морозом убитую, — иначе, как светлою музою, не в состоянии будет ни людям изобразить, ни себе представить.

Александр Амфитеатров.

1913. VIII. 14. Fezzano.

I.

Каждый человек, если оглянется внимательно на свою жизнь, непременно заме-

тит, что его отношения к другим людям слагались, во времени, более или менее резкими полосами. Полоса приходила, полоса уходила и полоса полосе меняла. Да так, что часто следующая полоса даже как бы стирала предшествующую — и на столько решительно, что от первой не оставалось и следа.

Вот — люди, не только знакомые, а даже близкие, приятные, милые, свои и как будто родственные по духу и деятельности. А затем эти люди, вдруг, ни с того, ни с сего, как-то исчезают из вашего кругозора. Не было ни ссор, ни охлаждения, ни недовольства, просто, вот взяли да исчезли. Иногда даже дальней разлуки нет, — остаетесь в одном городе, а люди — исчезли. Зачем, почему, куда, как, — вы вдруг теряете из вида и понимания, и, что удивительнее всего, это вас, тоже вдруг, даже не интересует. Отношения, точно платья, сносились и — что хочешь, то с ними и делай. Бережлив, так сложи в сундук, в кладовку. Щедр, — подари прислуге или прохожему бедняку. Жаден или нуждаешься, — продай татарину-старьевщику. Потому что самому — «все равно» и «ненужно». Вот — как в газетах пуб-

ликуют пожертвуйте, что вам ненужно. Так и тут. Были люди, были отношения, были общие обстоятельства, — ну, и отлично. А теперь — кончено с ними. Когда придется, вы вспоминаете о них с большим удовольствием, но вспоминаете, именно — только когда придется; когда встречный житейский случай притянет их имена и образы в ваши мысли, и — случайные образы случайных воспоминаний — они возвратятся к вам просто интересными анекдотами. Иначе же вы о них не вспоминаете и надобности в них не чувствуете, — как, разумеется, и они, в это время, данным давно забыли вас, и тоже вспоминают о вас только анекдотически, по случайной схожести с чем-нибудь параллельным в их новой жизни, вызывающим ваш образ в их памяти. А сами вы, по существу своему, им несколько не нужны. Когда от таких людей вы получаете поклон с случайным знакомым, письмо, или, вообще, какуюнибудь неожиданную памятку, вы, конечно, бываете рады, довольны, что вас не забыли, но, в основе своего приятного чувства, почти столько же удивлены, как будто увидали покойника,

пришедшего навестить вас с кладбища. Чем человек пестрее и быстрее жил, больше стран и городов посетил и усерднее пытался создать себе оседлую жизнь, а насмешливая судьба снова уносила его от людей к людям, из страны в страну, от профессии к профессии, из условий в условия и из обстоятельств в обстоятельства, тем, конечно, и таких полос у него в прошлом больше, и тем они разграничены, и тем решительнее полоса стирает полосу.

Вот так-то в 1899 году, летом, случайно попал я гостить к некоей Виктории Павловне Бурмысловой {См. мой роман «Виктория Павловна»}, весьма красивой, интересной и оригинальной особе хорошего дворянского рода-племени, но совершенно разоренной и устроившейся в жизни столь странно и своеобразно, что — одни из соседей, за это, пред нею преклонялись, как пред кумиром, воздавая ей только не царские почести, а другие столь же искренно ненавидели и презирали, не находя слов достаточно сильных, чтобы эту бедную Викторину Павловну обругать. Едва с нею знакомый, я, каким-то не то счастливым, не то, наоборот, несчастным случаем,

вдруг оказался прямо, можно сказать, в центре ее жизни, невольным свидетелем ряда событий, бывших для нее весьма внезапными и решительными, и, кто ее знает, быть может, даже совершенно повернувших ход ее жизни на новые какие-нибудь пути. Но тут то вот и подступила та, как я только что говорил, фатальная, сменная полоса. расставались мы с Викторией Павловной — лучше чего нельзя; мало сказать, друзьями, сердечнее родных: думали, что не на долгий срок и, конечно, обещали и писать друг другу часто, и сноситься чрез общих знакомых. Даже, помнится, собирались вместе начать и вести одно издательское предприятие. А случилось так, что после того Виктория Павловна, для меня, как в воду канула. И — более того; я уже не встречал никого, решительно никого из тех, с кем тогда свела меня судьба в ее имении, никого из всех этих, влюбленных в нее, преданных ей, считающих ее богинею своею, мужчин, и страстно ненавидящих ее женщин. Правда, что, несколько недель после того, как я покинул приют Виктории Павловны, и в мою жизнь тоже ворвался вихрь таких широких и

трудных перемен, что стало не до чужих страстей, затруднений, щекотливых положений и из них исходов. Пришла, одним словом, именно новая полоса и заполонила собою ум, чувства и память, а все, что осталось в старой полосе, потускло, выцвело, стало не нужно, не интересно и— заживо умерло. Раза два или три я, все-таки, получал от Виктории Павловны маленькие записочки, обыкновенно, имевшие целью рекомендовать какую-нибудь девицу, нуждавшуюся в интеллигентной работе, с просьбою устроить ее при редакции или конторе. О себе Виктория Павловна в этих случаях никогда ничего не приписывала. А года через полтора, уже совершенно замолкли всякие о ней сведения, и никто от нее не приходил ко мне, и писем никаких не было. Затем судьба — и воля и неволя — начала меня швырять с одного края света на другой, и, правду сказать, мало-по-малу, я совершенно забыл о Виктории Павловне, и она вышла у меня из ума, как будто никогда в нем не бывала. И так прошло не много не мало, двенадцать лет.

То швырянье с одного края света на дру-

гой, о котором я только что говорил, бросило меня, наконец, в Париж, в русскую эмигрантскую парижскую колонию, близко к ее стону и шуму, делам, страстям, страданиям, ссорам, увлечениям, обличениям — ко всему ее хорошему и дурному. Крутился я довольно долго в этом нервном и страстном круговороте людском. Много и старых, и новых знакомых прошло перед моими глазами, выброшенных революцией с отечественного корабля и порядком таки швырком этим помятых. Но, мало-помалу, и парижская полоса должна была отойти в сторону перед другими и новыми запросами, ворвавшимися в жизнь. В один прекрасный день я почувствовал, что в Париже мне делать больше нечего, и пришла пора вечному кочевнику опять собирать свои тюки и вьючить верблюда для нового ковчеганья куда-то в даль житейской пустыни. Нашел себе глухой угол «у лукоморья», отправил туда, будто в ссылку, библиотеку, и начал готовиться к новой полосе, прощаясь и с людьми, и с улицами, со всем горем и со всею радостью, со всем делом и бездельем этого удивительного города городов, и веселого, и

милого, и отвратительного, и проклятого, — Парижа.

Это было в последнее колониальное собрание, на котором я присутствовал в Париже. Невообразимая давка. Седой туман над морем голов, пропитанный мягким молочным светом электричества. На эстраде — дюжий, здоровенный великан в ранней седине, но молодой лицом, к которому хорошо пошли бы омофор и митра. Встреченный громом рукоплесканий и совершенно от них растерявшийся, он сконфуженно и вяло бормочет что-то длинное и почти неслышное, но, тем не менее, понятное публике, сплошь революционной, по догадке. Говорит ведь о том, что все присутствующие чуть не наизусть знают. Публика сошлась не столько его слушать, сколько смотреть. Через каждые пять-шесть минут свет в зале гаснет и на экране волшебного фонаря вспыхивают, по очереди, портреты шлиссельбуржцев, всем знакомые по старому календарю «Народной Воли» и вновь народившемуся «Былому»...

Жара и духота нестерпимые, убийственные. Воздух-как в Черной яме Нена Саиба. Я,

опоздав пройти к своему месту в первом ряду, беспомощно стою в проходе, тесно стиснутый плечами и боками малорослой, в большинстве, молодежи. Протолкаться вперед невозможно. Да и бесцельно: место мое, наверно, уже занято. Публика парижских колониальных собраний не считается с условностью билета. Если вы не будете на месте своем, по крайней мере, за полчаса до начала собрания, то можете быть уверены, что на нем уже уселся кто-либо из даровой публики. Бурным наплывом врывается она — сплоченная в тесную, ревущую слитным шумом, толпу, бесшабашная вольница бульвара Сен Мишель, едва, на бешеный ритмический стук ее палок и зонтов, открываются двери зала, если только не выламывает их, наскучив ожиданием. И тщетно распорядители собрания вступают в бессильные убеждения и еще более бессильный бой с этою лавиною тел, в крике, хохоте, перебранке, топоте ног, свисте, гиканье, катящейся вперед к эстраде, опрокидывая стулья, мешая ряды, сокрушая барьеры, расшвыривая встречную публику и награждая весьма не лестными и еще более ядреными остро-

ми тех, кто на пути ее приходится ей не по праву, потому что «смахивает на буржуя».

В этот раз, по случаю реферата новопривывшей большой знаменитости революционного прошлого, наплыв колониальной публики был особенно велик. А буйная лавина навалила в преувеличенно громадном количестве и с особенно пылкою готовностью устроить как можно лучше и удобнее самих себя и как можно теснее сжать остальную публику. Я с удовольствием покинул бы зал, в котором нельзя было ничего слышать и с минуты на минуту все меньше и меньше оставалось чем дышать. Но, как вперед нельзя было пройти, так и назад тянулась по всем проходам та же река голов, в большинстве черных, густоволосых, кудрявых. В этот день я очень много ходил по Парижу и ноги мои ныли весьма нудно, прося покоя. А сесть было решительно негде и нечего было даже лелеять на то надежду. Как ни как, а предстояло удовольствие простоять часа полтора на ногах, колыхаясь вместе с толпою и терпя от нее тычки локтями в бока. Понемногу, колебание толпы при-сунуло меня к крайнему стулу в ряду, против

которого я стоял. Не знаю, имел ли я уж очень усталый вид, что ли, но сидевшая на этом стуле девица, выделявшаяся среди чернокудрых соседей своею белокурою, пышноволосою головкою, вдруг обратилась ко мне с тихими словами:

— Не хотите ли сесть на мое место?

Я поблагодарил ее с удивлением, объяснив, что не настолько устал еще, чтобы отнимать места у дам.

— Да я то очень устала сидеть, потому что — пришла рано и все берегла место, чтобы не заняли, а вот теперь не могу им больше пользоваться... Пожалуйста, не стесняйтесь.

Против этого сказать было нечего. Я поблагодарил любезную девушку и занял ее место, а она осталась стоять подле, с видимым удовольствием расправляя члены своего молодого тела. Так мы и пробыли до конца реферата. Когда электричество перестало мигать в угоду волшебному фонарю, и референт ушел с эстрады под гром аплодисментов, я мог разглядеть, что девица, оказавшая столько милости моим усталым ногам, весьма недурна собою, очень стройна и прилично одета. Да и не

имеет того измученного и тревожного вида, которым отличаются большинство русских эмигранток в Париже, до мученичества изнервленных нуждою и бессодержательною трепкою жизни, привычною к большой и тревожной деятельности, а вдруг очутившейся «не у дел», не имеющей, куда приложить энергию, и вынужденной придумывать для того мелочные суррогаты. Я еще раз поблагодарил девицу за оказанную мне услугу, и мы вместе вышли из зала. Оказалось, что девица живет весьма недалеко от зала собрания, и так как она разминулась в толпе со своими подругами, сожительницами по квартире, то я предложил ей проводить ее до дому. Это было буквально в двух шагах, так что мы и разговориться не успели, только представились друг другу, при чем девица заявила, что давно меня знает и слушала меня, когда я читал публичную лекцию о роли женщин в русском освободительном движении. Свою фамилию она мне назвала так невнятно, что я ее толком не раз-слыхал. Что-то на малороссийский лад — оканчивается на енко или онко. У ворот ее дома я откланялся. Этот вечер тем и

кончился. Несколько дней спустя, я уехал в Италию... Прощай, Париж!

В прошлом году, в Ницце, гуляя по Promenade des Anglais я был внезапно окликнут чьим-то незнакомым мне молодым женским голосом. Оглянувшись, увидел молодую девушку, розовую лицом и белокурую волосами, волнисто выбивавшимися из-под легкой соломенной шляпы. Девушка внимательно смотрела на меня из-за высокой, с будкою из зеленой материи, детской тележки, которую она перед собою катила. Рядом с тележкой бежали мальчик и девочка, совсем еще «младшего возраста», и выступала степенная, хорошо одетая няня, которая сразу обличала в себе русскую, хотя одета была по французской моде. Сдав тележку няне, девушка подошла ко мне, улыбаясь, как старому знакомому, и напомнила нашу парижскую встречу. Я, конечно, по давнему времени, за три года, успел уже позабыть лицо моей случайной благодетельницы на том собрании, когда читал шлиссельбуржец. Да и, по близорукости своей, не очень хорошо разглядел ее тогда. Помнил только, что, кажется, молоденькая и хо-

рошенькая. И, действительно, девушка и теперь еще была совсем юница — лет двадцати, много двадцати одного, не больше. Очень хорошо сложенная, свежая, белокурая, с лицом, несколько странным, в какой-то смешанной и как бы скомканной красоте. Ее беспримесно-русское происхождение сказывалось некоторою неправильностью миловидных черт и тою большеголовостью, которою отличаются уроженки наших средних, ближайших к северу, губерний. Чем больше я вглядывался в это красивое и добродушное лицо, тем больше казалось мне, что я когда-то его видел. Не в Париже видел, а давно, где-то в России. Может быть, даже не его, не это именно лицо, а какое-то другое, ему родственное, и мне очень знакомое, приятное и милое. Мы поздоровались.

— Я должен извиниться перед вами, — сказал я. — Я совершенно забыл, как вас зовут.

— Забыть этого вы не могли, сказала она, смеясь грудным звуком и обнаруживая очень милый и симпатичный, полный серебряного звона, голос. — Никак вы не могли забыть. По

той простой причине, что вы этого и не знали.

— Однако, извините, я помню, что мы с вами назвались друг другу.

— Я сказала только фамилию и ясно заметила, что вы не расслышали. А фамилия моя, если вам угодно ее знать, Пшенка.

— Как?

— Пшенка... Правда, странная фамилия?

— Вероятно, малороссийского происхождения?

— Право, уж и не знаю... Откуда мой почтенный папахен обзавелся такою рассыпчатою фамилией, изложить вам обстоятельно не могу, но, насколько мне известно, родители мои чистокровнейшие великороссы...

Фамилия Пшенка решительно мне ничего не говорила. Никогда никакого и никакой Пшенки я не знавал. А Пшенка говорила:

— Откровенно говоря, я тогда нарочно пробурчала фамилию так, чтобы вы не расслышали. Это на меня иногда находит, — засмеялась она, играя веселыми ямочками на румяных щеках, — что мне вдруг делается ужасно стыдно и досадно, зачем я Пшенка. Точно

кличка на смех. Глупости, конечно, но — если бы вы знали, сколько я претерпела из-за этой глупой Пшенки в гимназии и даже на курсах...

— Очень легко могу представить, — сказал я, — потому что и мне когда-то в гимназии покоя не было из-за странной фамилии. Только вам доставалось за то, что она у вас слишком коротенькая, а мне — наоборот — зачем вытянулась в три сажени...

Пшенка ободрилась и, блестя из-под полей шляпы пышными волосами, цвета, в самом деле, тленной каши, — весело продолжала;

— А зовут меня Федосья Ивановна... тоже недурно, неправда ли? Этакое бабье, кухарочье имя — Федосья Ивановна... Впрочем, благодарение небесам, никто мне этой чести не делает — полным именем, противной Федосьей Ивановной, меня не зовет... А уменьшительное свое Феня, хотя оно тоже не имеет аристократического звука, я даже люблю...

— А мне-то как же прикажете вас звать, для первого знакомства?

— Да так и зовите, Феней...

— Товарищ Феня?

Она окинула меня быстрым пытливym взглядом и, с легкою улыбкою немножко лукавства, немножко самоиздевательства, сказала:

— Нет, просто Феня... потому что я не знаю, товарищ вы или нет...

— Ага! Значит, вы человек партийный?

Она рассмеялась.

— Нет, хотела быть партийною, да не успела; покуда программы изучала и партию выбирала, они все разложились и рассыпались... Жду теперь, в числе многих, что будет по возобновлению, и куда откроется, так сказать, ваканция.

Девушка говорила бойко, смотрела ясно и самостоятельно и ничем не обнаруживала в себе ни внешней, явной застенчивости, ни той внутренней, тайной, которая во многих ее подругах, ровесницах и сверстницах выражается вызывающе дерзостью, нарочною распущенностью жеста и слова, напускною изломанностью условных тонов и придуманных манер. Одета она была очень хорошо, и заметно, что не у совершенно дешевой, хотя и не чрезвычайно дорогой, портнихи. Очевид-

но, не одиночка, но дитя семьи зажиточной и не пренебрегающей внешностью своих чад. И опять казалось мне, что где-то эту Пшенку или кого-то вроде этой Пшенки я когда-то знал и видел.

— Да — тоже крупинки Пшенки! — улыбнулась она, заметив, что я разглядываю детей, с которыми она гуляла. Сестренка и братишка... Крохотный джентльмен в колясочке — тоже мальчик... Ему полтора года... Существо смиренное и покуда никому не вредит, но, за то, — увы! до сих пор и не ходит... А это — позвольте вам представить: няня Василиса Анкудиновна, родом новгородка, характером человек вечевой, большая моя приятельница, хотя в убеждениях расходимся. Я — конечно, нехристь, а она богомольная, как игуменья иоаннитского монастыря.

Я учел в уме то обстоятельство, что, находясь в Ницце в разгар сезона с тремя малыми детьми и русскою нянею при них, одевать такую орду хорошо может только семья с весьма недурными средствами, и, следовательно, новая моя знакомая отнюдь не принадлежит к пролетариату русской эмиграции, как я мог

думать по собранию, в котором ее впервые встретил. Собственный туалет женщины в этом отношении еще ничего не доказывает. Париж быстро снимает с русских эмигранток демократическое безразличие к одежде и внешнему виду, которое они привозят из России, и по которому легко узнается новое или сравнительно новое лицо в женской эмиграции. Своеобразное щегольство экзотическим видом в русской революционерке держится год, иногда два, а затем, обыкновенно, эмигрантка не доест, не допьет, во всем себя ограничит и урежет, но оденется так, чтобы не бросаться в глаза на улице и в кафе, — хотя скромнее скромного, да по парижскому. Дети, которых Феня Пшенка сопровождала, мне не понравились. По сходству со старшею сестрою, они должны были от природы быть милостивы, что подтверждали красивые глаза ребенка, которого везти в тележке Феня передала теперь няньке. Но их несчастные личики были так обработаны золотухою, что просто неприятно было глядеть. Должно быть, во взгляде моем выразилось сожаление или, может быть, даже брезгливость. Больной ребен-

нок всегда производить на меня самое тяжелое впечатление. Потому что девица Пшенка вздохнула и сказала:

— Да, вот, что поделаешь? Я еще сегодня имела из за них целую сцену с моей мамою, — она так смущается их искалеченною наружностью, что даже не хочет выпускать их гулять на Promenade des Anglais. Стыдится. Что за предрассудки? Как будто они одни — золотушные и рахитичные дети в Ницце? Здоровых трудно найти, а таких сколько угодно. А вы сами посудите: возможно ли детям сидеть дома в гостинице, окнами на rue de France, почти без солнца, да еще детям, как эти? Ведь воздух и солнце для них все... Им, правду-то говоря, даже не здесь бы следовало быть, а где нибудь на серных водах. Я уверена, что они быстро поправились бы, потому что ведь они, собственно говоря, очень здоровенькие. Но вот эта ужасная корка... Каждую весну и осень их так отделявает... Пройти бы основательный курс серного лечения, — и конец однажды навсегда...

Но нам уехать отсюда нельзя... Родитель мой греется здесь... Вот возим его так же, как

этого Павлика недвижимого по солнцу... обезножил он... не знаю, то ли подагра, то ли ревматизм, то ли нервное какоенибудь поражение... доктора еще не решили.

— Вы всегда живете при родителях? спросил я.

Она взглянула меня как-то пристально и подозрительно и сказала;

— Нет, в Париже, когда мы с вами встретились, я еще одна жила. А в Ницце я только две недели. Мама меня вызвала, потому что ей одной трудно с отцом и вот этим потомством... Пришлось даже отложить экзамены...

— Вы студентка?

— Да...

Она всем лицом зарумянилась и сказала, будто извиняясь:

— Право слушаю... Мечтаю адвокатессою сделаться... Ведь, говорят, скоро и у нас в России можно будет... Да что-то все мешает: третий год ни с места...

— Политика, поди, тормозит?

— Нет, — сказала она просто и искренно. — Какая же теперь политика? Выжидание... Все в резервах, либо в отпуску... А для

теоретической деятельности и революционной диалектики у меня нет призвания, умения и даже, пожалуй, понимания... то-есть, вернее то, если говорить по чистой правде и до конца, нет охоты уметь и понимать... Я человек действенный... Солдатом могла бы быть, а в штабные не гожусь... И политическое воспитание мое — слабое, и спорить терпеть не могу... Дойду сама, наедине с своей душой, до внутреннего убеждения, что надо, — ну, и тогда вот — крепко... Назад не пойду, да и вперед меня, пока я сама не захочу и не раскачаюсь, никто не сдвинет... Зачем же я, став на якорь, дальше буду состязаться и спорить? Все равно, ведь, я уже непременно сделаю так, а не иначе. А — согласны или нет со мною другие и захотят ли они поступать, как я, — не все ли мне равно? Это их дело... Я — когда в Париж приехала и с революцией соприкоснулась, то именно активности искала и ждала... Ну, не ко времени попала, опоздала... Дни то, и в правду, стояли тяжелые, разгромные, азефские... Все растерялись и волками друг на друга косились... За готовность и решимость была одобрена, а — на

счет дела сказали: не сезон!.. Мы поосмотримся да подумаем, а вы поживите да пооглядитесь... Так вот и живу... — засмеялась она, — вроде запасной, ожидающей призыва...

— Скучно?

— Нет, что же... Скучать в подобных обстоятельствах значит не понимать... А я имею претензию, что понимаю... Я на свое положение не жалуясь... А только досадно, что я, воображая, будто призыв будет не сегодня, завтра, истратила напрасно целый год, не принимаясь ни за какое другое дело...

— Целый год? Так что — оказывается — вы в эмиграции-то уже очень давно? — удивился я, помня, как она только что сказала мне, что у нее по студенчеству ее идут третий год неудачи.

— Да, вот, уже четыре года! — отвечала Феня с некоторою гордостью, поднимая красивую, золотом в солнце отливающую головку свою и как-то особенно — извиняюсь за лошадиное сравнение — породисто дрогнула розовыми ноздрями...

— Четыре года? — Как же это случилось, что я вас в Париже не встречал, кроме того

раза, и о вас не знал?

— А это потому, что я приехала не задолго до того, как вы уехали. Ну, а затем: когда я убедилась, что работы мне не дадут, и революция отложена в долгий ящик, то сейчас же сказала колонии «прости»... Знаете, что же вариться в собственном-то соку? Разве затем ехала? Все время и вся энергия уйдет на жалость к ближнему, теоретические споры о дальнем и колониальные интересы... Этак не стоило и покидать родного моего Рюрикова, потому что предметов для жалости, теоретических споров и кружкового обсуждения там не меньше... Сбежала... Нарочно даже переселилась на правый берег, нашла пансион в очень буржуазной семье, в которую меня еле-еле допустили за то, что я русская... Сами, поди, знаете, как обожают нас союзники-то наши, когда мы в Париже не для того, чтобы s'amuser и деньги швырять, а учимся или работаем... Из русских только двух приятельниц имела, — еврейки... ух, рабочие же! Эти по три года на месте не топчутся... По сторонам не глядят и даже родственную сентиментальность спрятали в карман... Это, мол, по-

том, когда выучимся и завоюем себе место в жизни... А покуда потерпите, други любезные: что и жалеть, коли нечем помочь?.. Железные воли... И не скажу вам даже, чтобы очень способные были, а своего добьются... завоюют жизнь! Куда легче и скорее, чем я!..

— Так вы рюриковская? спросил я с интересом, так как часто бывал в этом городе во дни оны и знал там кое кого. И я назвал ей несколько фамилий. Но— оказалось, что одних она не слыхала вовсе, и, должно быть, выселились эти семьи из Рюрикова, нет их, о других слыхала, тоже как о выбывших, третьи ей известны, но она с ними незнакома, и лишь о двоих или троих она могла мне сообщить кое что, так как училась в гимназии с их дочерьями... Гимназию кончила семнадцати лет, сейчас же компрометировалась в политике и— благополучно выпутавшись из под одного ареста— не стала дожидаться следующего: уехала за-границу... Теперь ее разыскивают... Пусть!

— А и рано же выпорхнули вы самостоятельным птенчиком на свет!— сказал я.— Родители-то, видно, были не суровы?

Девушка Пшенка сделала гордое лицо с вздрагивающими ноздрями и с достоинством возразила:

— Я, знаете, не из тех, кого можно держать на цепочке... Да и мама у меня не такая... Сама человек строптивого духа и понимает его во мне... Да — что же ее вам рекомендовать с этой стороны? Вы знаете ее — быть может — даже лучше, чем я...

Последние слова она произнесла с лукавою, шаловливою улыбкою, бросая мне вскользь выразительный, напоминающий взгляд, которым вдруг опять сделалась необыкновенно похожа на ту, давно знакомую, забытую, которую я смутно помнил и никак не мог теперь хорошо вспомнить. И продолжала:

— Я уж и то удивляюсь, что вот вы сколько знакомых из Рюрикова назвали, а о маме не спрашиваете...

— Виноват, — сказал я. — С того самого момента, как я с вами встретился, мне все время кажется, что вы напоминаете мне кого-то... Необыкновенно близко напоминаете... Но — кого, — хоть убейте, не могу сообразить...

Быть может, это именно с вашей мамою я был знаком когда нибудь в Рюрикове... Однако, сколько мне помнится, я никогда не знал ни одной дамы, носящей вашу фамилию.

— Да это и не удивительно, что вы не знаете маму под ее новой фамилией... Ведь мама вышла замуж сравнительно недавно... Вы знали ее гораздо раньше... И урожденная ее фамилия вам очень хорошо известна... Моя мама — Виктория Павловна Бурмыслова, — сказала Феня, не то с гордостью, не то со смущением, окидывая меня взглядом и стыдливым, и пытливым, и как бы вызывающим.

Я, действительно, встрепенулся и уставился на нее в большом удивлении. Старые, забытые впечатления лета, проведенного мною близ города Рюрикова, на реке Осне, при селе Правосле в полуразрушенной усадьбе Виктории Павловны Бурмысловой, так сразу и хлынули в память. Вспомнилась мне и удивительная сцена, положившая конец моему пребыванию в этой благодатной обители. Вспомнился красавец художник Бурун, с его нелепою, требовательною и без прав ревнивою любовью, которою он безуспешно пре-

следовал прекрасную хозяйку дома, его самолюбование, декламация, позы, трагические представления, таинственные исследования и открытия, и, в результате, конечная решительная катастрофа, которая вдруг приподняла для нас занавес, прикрывавший прошлое Виктории Павловны, и обнаружила в прошлом этом большое — и нельзя сказать, чтобы красивое — пятно весьма низменного любовного приключения и наличность у нее малолетней дочери, отданной в чужие люди. Несомненно, вот этой самой Фенички... Да, да! Я именно так и вспоминаю теперь, что ту девочку звали Феничкой... Вот этой самой Фенички, которая теперь, вот, стоит предо мною и смотрит на меня вопросительными и смелыми голубыми глазами. И по годам выходит! маленькой Феничке было, помнится, лет восемь или девять. Прибавить одиннадцать или двенадцать, как раз будет вот эта. взрослая Феничка... И вся она, именно так и есть, на нее, на Викторю Павловну похожа, и рост, и фигура, и овал лица. Однако, в глазах у нее только выражение материнское, а форма их и цвет совсем иные. И, когда я подробно

вглядываюсь, то изящный облик Виктории Павловны, — яркой брюнетки, несколько смуглый и южного типа, — исчезает, будто расплывается, в этом слишком белом и румянном северном лице. У той профиль был, как из слоновой кости точеный, а здесь чувствуется некоторая огрубелость и, главное, неопределенность черт, будто красивое на картине лицо слегка смазано неосторожным прикосновением, прежде чем живопись успела совершенно засохнуть. Это уже — не от Виктории Павловны, а, надо думать, говорит об отцовской наследственности. А родитель этой Фени, этот тягчайший и тайнейший позор Виктории Павловны, так несчастно и без всякой к тому надобности открытый и выведенный на свежую воду ополоумевшим Буруном, тоже ожил предо мною теперь с необычайною яркостью. Со всем его унижением стареющего приживальщика, смиренньким пьянством, маленьким зауольным развратцем, тихонькою бессильною злостью, нарядившеюся однажды навсегда в всевыносящее добродушие и так привыкшее к маске своей, что она стала второю натурою. Человек, кото-

рому некуда идти... «Красноносая окказия»... «Сатир и нимфа» Буруновой обличительной картины... Вспомнил я и трагикомическую сцену, как, в наказание за то, что этот злополучный прощальга разболтался некстати с Буруном, засадила его, горемычного, всевластная домоправительница Виктории Павловны... как бишь ее звали? Кажется, Арина Федотовна или Марина Федосеевна... что-то в этом роде.... Как посадила она его, словно провинившегося мальчишку, в холодный погреб, и мне же пришлось выручать оттуда этого узника всякими правдами и неправдами, а узник и выходить на волю не хотел; до такой степени он своих властных повелительниц боялся.

Конечно, этот жалкий человек, со своим случайным приключением, как всплыл тогда — волею рока, что ли, — из неизвестности, неожиданный и в полный разрез с возможностями правильного хода действительности, чтобы всю ее отравить и перебаламутить, так и опять вернулся в неизвестность, отставной от жизни и никому в ней не нужный. Поди, давно уже спился и умер. Потому

что задатки к тому, чтобы пойти на конечную смарку, у него были и тогда уже серьезные. Не кондрашка подбирался, так рано или поздно хороший delirium tremens должен был покончить не с ним, так с его рассудком, и непременно сдать его в сумашедший дом... Тогда ему было близко пятидесяти, — теперь, значит, было бы под шестьдесят, если не все шестьдесят лет. Разумеется, так долго не мог выдержать: лопнул. И отлично сделал, конечно. По крайней мере, развязал руки Виктории Павловны по отношению к дочери, которой она, из-за него, стыдилась и прятала ее в крестьянской семье. То обстоятельство, что она теперь открыто признала дочь, ясно доказывает, что у нее с тайным отцом тайной Фени житейские счета покончены, и, освободившись от этого старого привидения случайного греха, она возвратила себе, обычную свою во всех случаях жизни, безбоязненность. Вычеркнула из быта своего последний, его омрачавший, секрет и обман и обнажила гордым вызовом своего женского права и этот самый решительный и щекотливый факт своей биографии. Признаюсь, я подумал об этом с боль-

шим удовольствием: люблю я цельность человеческую, а тайна Виктории Павловны и боязнь ее признать дочь тянулись в моей памяти по ее прекрасному образу единственною, но, за то, глубокою и непримиримою трещиною, которая нарушала его смелую гармонию резкою и грубою фальшью диссонанса — «совсем из другой оперы»...

Итак, все изменилось за двенадцать лет. Ой, сколько же воды-то утекло! Виктория Павловна — не только приобрела новую фамилию (однако, уж и выбрала! фамилия!) и новые обстоятельства жизни, но и нажила целую семью собственного производства, как то свидетельствуют присутствующие младенцы... Стало быть, в конце концов, нашелся какой то, счастливый более Буруна, добрый молодец, который и ее, убежденную и суровую противобрачницу, победил таки удальством своим и прикрутил к себе законным браком, привенчав вот эту ее миленькую Феничку. И наградил ее вот этим не весьма симпатичным потомством, которое водит и возит по Promenade des Anglais вот эта нянька, с иконописным и не весьма приятным лицом. По сво-

ему красивая женщина, но никогда не согласился бы я держать подобную в своем доме. От нее так и веет скрытностью себе на уме, тихим жульничеством хитрой святоши, секретом, интригою, а, при случае, пожалуй, и преступлением. Этакое лица наводят на размышления о благодеяниях антропометрии и дактилоскопии... По обращению Фени с нянею Василисою, я видел ясно, что госпожа эта в доме не последняя спица в колеснице. Показалось мне также, что эта, по своему весьма нарядная, особа с большим любопытством прислушивается одним ухом к нашему разговору, хотя и хранит на иконописном лице своем, с византийскими чертами, чуть бурыми от старой болезни печени или когда-то бывших тяжелых родов, вид совершенного бесстрастия и притворяется, будто бы вся поглощена надзором за детьми. А те — мальчик и девочка — успели тем временем благополучно расцарапать между собою и ревели теперь дикими голосами, да так зычно и напряженно, что и младенец в тележке обеспокоился, похлопал, выжидая, большими молочно-голубыми глазами своими и тоже за-

визжал...

— Вот не ожидал! Это большой и радостный сюрприз.! — сказал я Фене. — Мне очень хотелось бы повидать вашу маму. Мы с нею когда-то были, хотя не долго, но очень большие друзья.

— Да, она мне говорила... Она даже очень взволновалась, когда узнала, что я встретила вас в Париже...

Феня ускорила шаг, при чем я не мог не заметить совершенно определенно, что делается это для того, чтобы отдалиться от иконописной няньки и ее чуткого уха.

— Только, — понизив голос, сказала Феня, с глазами не то жалобщицы, не то заговорщицы.— Только... вряд ли вы маму теперь узнаете... Она стала совсем другая, чем в те молодые годы, когда вы могли ее знать...

— Неужели так состарилась? — удивился я, потому что помнил красоту Виктории Павловны, как такую, которой, что называется, и износу не должно быть. Да и знал-то я ее уже не первой молодости — для незамужней женщины: хотя своей молоджавостью и свежестью она очень обманывала относительно

своего возраста, однако, ей и на вид можно было дать года двадцать четыре, а в метрике, как Виктория Павловна сама мне говорила, значились и все двадцать восемь.

— Ну, конечно, не девочка... — как будто несколько обиженно возразила Феня. — Но я не в том смысле... Вы так меня поняли, что мама очень подурнела с годами... Нет, она, по прежнему, очень хороша собою... чарует... Когда мы вместе, так на меня, бедняжку, никто и не взглянет... Я рядом с нею просто мещаночкою какою-то кажусь... Я не про наружность говорю, что другая стала... Нет... человек в ней очень переменялся... И уж, право, не знаю... Вы вот говорите, что хотели бы ее видеть... А я, извините, не знаю, можно ли и надо ли... То есть я несколько не сомневаюсь в том, что маме очень хотелось бы с вами повидаться. Но — захочет ли она, — Феня подчеркнула голосом эту разницу между «хотелось бы» и «захочет ли», — захочет ли она, — это еще вопрос...

— Вы очень удивляете меня, — сказал я, в самом деле, несколько смущенный этим неожиданным признанием. — Разве Викто-

рия Павловна не самостоятельна в своих желаниях и поступках? В былые годы ее характер обещал, что, как бы ни сложилась ее дальнейшая жизнь, она, все-таки, всегда останется полною хозяйкою самой себя и своих поступков...

— То есть вы поняли мои слова в том смысле, что ей может ктонибудь не позволить с вами видеться? — быстро спросила Феня.

— Признаюсь, иначе ваши слова трудно истолковать... Ведь мы с Викторией Павловной были, в самом деле, большими друзьями... Конечно, при нынешних русских обстоятельствах, приезжие старые друзья из России иногда сторонятся нашего брата, опального изгоя... Но мне кажется...

— О, это-то, верьте мне, не при чем! быстро воскликнула Феня, — мама нам совершенно не сочувствует, но она не из таковских... Сколько она ни изменилась, но в ней осталось настолько-то закваски старого политического либерализма, чтобы не воевать с людьми за разницу убеждений и не бегать от старых друзей, в угоду или по страху полиции...

— Ну, вот видите. В таком случае, мне, конечно естественно предположить, что супругу Виктории Павловны будет неприятно...

— Это еще менее... Феня не дала договорить. — Он вас уважает и любит как немного кого... Уж не знаю, чем вы заслужили такое его благоволение... — сказала Феня, с маленьким оттенком добродушной насмешки, из которой я мог заключить, что супруг Виктории Павловны ее большим уважением не пользуется. Но — час от часу не легче. Если господин Пшенка, мне неведомый, меня уважает и любит, то, следовательно, он так или иначе меня знает? Чемнибудь да заслужил же я в его глазах уважение и любовь. Но — как же в таком случае я то его не знаю и даже фамилии его раньше в жизни своей не слышал? А Феня, тем временем, говорила, слегка покраснев, что очень шло к нежному цвету ее лица:

— Впрочем, я все забываю, что вы маму знали очень давно, и, значит, позднейшие ее дела и обстоятельства вам совсем неизвестны... Нет, — продолжала она, — нет, в этом-то вы не ошибаетесь, что характера своего мама не могла изменить и не изменила... Вряд ли

ктонибудь может заставить ее делать то, чего она не хочет, и удержать ее от того, что она серьезно решила и хочет... Красота прежняя, характер прежний, но вот мысли-то у нее чрезвычайно переменились с того времени, как вы ее знали... Вот в этом отношении она стала, как я говорю вам, совсем другой человек... Даже я еще помню ее другою, на заре первых моих сознательных дней... И она знает, что она переменилась, и что ее перемена дает неприятные и тяжелые впечатления людям, которые знали ее в молодости... И я часто замечала, что встречи с людьми ее прошлого действуют на нее чрезвычайно волнующе... Каждый раз, после таких встреч она становится мрачнее ночи и сама не своя... А волноваться ей вредно... У нее болезнь сердца...

— Признаюсь, — сказал я, — мне чрезвычайно любопытно было бы узнать, в каком именно отношении изменились, как вы говорите, мысли Виктории Павловны? Неужели...

— Да, да, да, — быстро перебила Феня, закивав хорошенькою своею головкою. — Вы вряд ли узнаете свою Викторю Павловну в

даме, которая, живя в Ницце, не бывает почти нигде, кроме православной церкви... Читает исключительно богословские книги и более всего на свете интересуется судьбами инока Илиодора и прочих рясофорных акробатов...

— Да, — сказал я, действительно, ошеломленный. Этому я, признаюсь, не поверил бы, если бы слышал от человека, ей постороннего... Помню ее — она такое впечатление производила — способною и пригодною решительно для всего хорошего и, не стану скрывать от вас, может быть, для многого дурного, но только не для ханжества.

Феня покосилась на меня из-под лба, довольно таки крутого по всему окладу ее лица, не похожего на материнский; ведь у Виктории Павловны было настоящее чело богини! Лба, который говорил о несколько рахитической наследственности и придавал девушке вид упрямый и капризный; намек нарушенною симметрией черт о возможности выходов, знаменующих не совсем ясный и прямой характер, обнажил дно души, вероятно, и самой Феничке еще не известной глубоко, — ду-

ши, в которой — на ряду с силою и добро-
тою — таятся, быть может, начала отрица-
тельные и недобрые, резко противоположные
всему ее симпатичному общему облику и ви-
димому духовному складу.

— Да, я думаю, что мама иногда и сама на
себя удивляется... — сказала Феня задумчиво
и опять с оглядкою через плечо, которую я
опять хорошо заметил, понимая, что она
должна относиться к сопровождающей нас,
среди ревущих детей, няньке, хотя последняя,
по прежнему, делала вид, что не обращает на
нас никакого внимания, и разговор господ
нисколько ее не касается.

— Давно это у нее началось? — спросил я.

Феня отвечала:

— Да я то застала маму почти уже такую,
как она теперь... Может быть, не с такою яр-
кою выразительностью и настойчивостью, но
уже на этой стезе... благочестия и принятия
действительности, как воли высшего разу-
ма... От той, прежней Виктории Павловны, о
которой мне потом рассказывали ее прежние
же знакомые, оставались очень малые сле-
ды... Я ведь с мамой познакомилась позд-

но... — прибавила она, краснея. Я ведь, извините за откровенность, внебрачная... До двенадцати лет я жила в крестьянской семье, воспитывалась, как, подкидышек... Только на тринадцатом году я узнала, что мама — мне мама... Вы извините... но ведь вы это знаете... Мама мне говорила... Я потому вам все так прямо и говорю... Вы знаете, только забыли...

— Я теперь, действительно, очень хорошо вспомнил вас, — сказал я. То есть, вернее сказать, не вас вспомнил, а о вас...

— Знаете ли, — возразила Феня, — мне чрезвычайно трудно говорить с вами о маме... Между тем временем, как вы с нею расстались, и тем, когда я ее сознательно поняла, прошла какая то темная пустая полоса, после которой вдруг все сразу изменилось... И мне с вами, как с многими людьми, знавшими ее в тот период, до полосы этой, до провала темного, всегда очень трудно понять друг друга. Потому что, вот, и в выражении вашего голоса, и в вашем взгляде, и во всем складе вашего лица я сейчас читаю, что вы, как и другие, знали какую то особую Викторину Павловну, какой я уже не застала, и она внушала вам

симпатию и уважение, а многим, я знаю, и самую пылкую любовь и преданность... Теперь около нее этого ничего нет... И, по моему, даже быть не может... Вы не подумайте, что я жалуясь... И — еще того хуже — не люблю маму или хочу ее осуждать... Напротив, уж если мне жаловаться, то кому же и быть счастливою от родителей... Может быть, немного в русских семьях найдется столь счастливых дочерей, как я... Нет, нет, — дело тут не меня касается, а мамы... Она — скажу вам откровенно, — человек, внушающий мне к себе какую-то необычайную жалость... Нет никого на свете, кого бы мне так жалко было, как мою маму..

— Вот чувство, — сказал я в новом изумлении, — которое, именно, менее всего могла вызывать в те старые времена ваша мама...

— Да, я слышала это уже не раз... И вот поэтому-то все в ее прошлом мне так и удивительно... Когда я о маме раздумаюсь или поговорю с хорошим человеком, который, я знаю, относится к ней сердечно и с пониманием, мне всегда хочется плакать... Я, может быть, даже бываю не справедлива иногда, потому

что меня на эту мою симпатию легко подкупить... Вот, — понизила она голос почти до шепота, — эта госпожа Василиса, которая идет сзади нас и унимает любезных моих брата и сестрицу... О ней говорят много нехорошего и многое из того, что говорят, по видимому, совершенно справедливо... Но я никогда не в состоянии на нее ни рассердиться, ни дуться даже, потому что она очень любит маму, и мама без нее была бы еще жалче и несчастнее, чем она в настоящее время... Потому что — дурна ли, хороша ли особа эта, но она маме что-то дает, а я, к сожалению, ничего дать не могу: между ними есть что-то общее духовное, чего нет во мне, — и я его не понимаю и не чувствую...

— Вы, — сказал я, — извините меня, если я задам нескромный вопрос: это, все-таки, что же — брак ее, что ли, так переработал? Позвольте узнать, господин Пшенка, нынешний супруг вашей мамы, кто он такой по общественному своему положению и где они сошлись?

— По общественному своему положению, — отвечала она просто, — он землевла-

делец одного с нами уезда, долго был управляющим маминого имения... Да вы же его знаете, он же был при вас и всегда вспоминает о вас, как я уже говорила, с особенным уважением...

Я порылся в своей памяти, но, по-прежнему, не нашел в ней решительно никакого Пшенки и должен был извиниться, что, к стыду моему, совершенно его не помню; это, впрочем, и неудивительно, так как я ведь попал тогда к Виктории Павловне на ее именины, когда у нее в гостях были чуть ли не все сколько либо интеллигентные мужчины чуть не со всей губернии. А имением Виктории Павловны господин Пшенка стал управлять, вероятно, позже, так как в мое время дела ее были в руках не управителя, но управительницы.

— Я, конечно, не посмею отрицать того, чтобы брак не сыграл важной роли в перемене мамы, — сказала, выслушав мое объяснение, серьезная и внимательная Феня. Конечно, на ответственность брака и можно, и должно возложить известную долю в ее настроении... В особенности, хроничность его,

постоянную поддержку... Но далеко не все... Самый брак-то ее — уже, кажется, результат ее перемены... А началось это, как вы спрашиваете, с одного очень трагического случая, внезапно ворвавшегося в жизнь мамы и очень много для нее значившего... Незадолго до брака своего она пережила чрезвычайно сильное и острое потрясение... Вы никогда не слыхали, что у мамы была очень хорошая приятельница и большая ее поклонница, некая госпожа Евгения Александровна Лабелус? [См. мой роман «Виктория Павловна».]

Я что-то смутно помнил, но — что именно, стерлось с мозга, как след грифеля с аспидной доски.

— Ну, так вот с этой Евгенией Александровной — так, в результате того же самого случая, теперь еще хуже... Мама хоть семью какую-то сложила и, если в божественность бросилась, то, по крайней мере, только сама же и одиноко в ней тонет, — никого не руководит и на путь своей новой религии не толкает, и не насилует. А Евгения Александровна, о которой все говорят, что, еще десять лет тому назад, жила она пестро, богато и грешно,

всей России на смех и удивление, теперь вла-
स्याницу одела, разъезжает по сектантам раз-
ным, старцев и отшельников ищет в сибир-
ских дубрах и глухих станицах, родными под
опеку взята, потому что стала раздавать са-
мую широкою рукою все свое колоссальное
состояние разным проходимцам, которые
пред нею играли роли пророков или юроди-
вых. Нашла какого то полоумного монаха, ко-
торого воображает Христом, и бьет ее, конеч-
но, удивительный инок этот. И обобрал совер-
шенно. И даже, — говорят, это в газетах бы-
ло, — однажды запряг ее и еще двух таких же
безумных своих поклонниц в санки и прокат-
ился на них по первопутку от села до села...

— Вы эту метаморфозу госпожи Лабеус и
считаете тем трагическим случаем, который
дал толчок Виктории Павловне к ее новому
направлению?

— Нет, я, наоборот, хотела сказать, что
вот — не мама одна... Сколько могу понять, на
них обеих произвела очень тяжкое и страш-
ное впечатление смерть одной женщины, ко-
торая к ним была очень близка... Вы, может
быть, ее знали... Даже непременно должны

были знать... Это — простая женщина была бывшая нянька или кормилица мамы, а потом ключница или экономка, что ли... Звали ее Ариною Федотовною...

— Как же! — воскликнул я, живо вспоминая, — как же! отлично помню... Интереснейшая в своем роде фигура! Мы с нею тоже в добрых приятелях были... Любопытнейший тип русской простонародной черноземной феминистки... Так Арина Федотовна умерла? Жаль. Очень не глупая и с большим характером была женщина... И отчего же, собственно, она умерла? Сколько вспоминаю ее, производила впечатление здоровеннейшего человека... Обещала жить много лет...

— Да, вероятно, и выполнила бы обещание, — сказала Феня, — я ее тоже помню, ей тогда никто не давал и сорока лет, а между тем было уже под пятьдесят... Была человек жизнелюбивый и жизнеспособный... Но ей было суждено умереть не своею смертью... Ее убили... Да неужели вы не читали, в свое время, в газетах? Громкое было дело, убийство вдовы Молочницыной... Ведь это она... Когда-то очень много шума наделало... В...

Она назвала мне один из больших городов средней России.

Я стал припоминать, как будто что-то померещилось, мелькнув в профессиональной памяти журналиста, но сейчас же и потухло... Несомненно, что фамилию эту я видел в газетах, но обстоятельства, при которых она мелькнула в глаза и механически усвоилась памятью, совершенно потускли и как бы испарились...

А, когда Феничка указала мне год и месяц, когда произошло убийство, я понял, почему ничего о нем не знаю: в то время, я был как бы умершим для всего очередного, что происходило в сутолоке русского общества, так как отбывал первое время своей ссылки в Восточной Сибири, долго не получая ни писем, ни газет... В этот то промежуток, оказывается, и покончила свое земное странствие от руки убийцы старая моя приятельница Арина Федотовна...

— При каких же обстоятельствах это произошло? Кто ее убил? спросил я. расскажите, пожалуйста.

— Знаете ли, — слегка вспыхнув, отвечала

Феничка, обстоятельства ее убийства были настолько щекотливы, что, знаете, хотя я и не страдаю ложным стыдом и чужда предрассудков, но пусть уж лучше кто-нибудь другой это расскажет вам во всех подробностях... Я ограничусь тем, что сообщу вам, что, в один печальный вечер, Арина Федотовна была найдена в номере городских бань мертвою и страшно изувеченною... Убийца вскрыл ей полость живота и выбросил все внутренности... Его нашли тут же удавившимся на дуге душа... Чудовищная грязь, понимаете... И маме, и госпоже Лабеус эта история, в свое время, испортила очень много крови. Тем более, что им, как свидетельницам, пришлось выдержать бесконечно много допросов и, вообще, всяких неприятностей...

— Вы сказали: как свидетельницам? — заметил я.

— Ну, да; как женщинам, которые очень близко знали убитую и, последнее время, пред преступлением, жили с нею вместе, в одной гостинице, даже в одном номере.

— Так вот как кончила Арина Федотовна... — сказал я, в самом деле очень заинтере-

сованный и даже несколько взволнованный известием. Не могу сказать, чтобы я его нашел слишком уж не обыкновенным и странным — в соображении лица, которого оно касалось. Напротив; когда я вспоминал эту женщину, с молвою о ней ходившей, навязывая ей беспрестанную смену любовников, обставляя ее легендами разврата и преступления, сплетнями о бесконечной ее дерзости против людей, — вроде того, что однажды она высекла управляющего соседними богатыми имениями господ Тиньковых; когда я, наконец, вспоминал, как она держала взаперти злополучного Ивана Афанасьевича, — то совокупность этих впечатлений рисовала мне покойную Арину Федотовну человеком, для которого подобный насильственный конец — пожалуй — вид естественной смерти. Слишком отчаянно вела она грубую чувственную игру и презрительную войну свою с всевозможным мужским полом: рано или поздно было не сдобровать ей, как паленице удалой, столкнувшейся с богатырем сильнее себя, и вот, действительно, пришлось таки поплатиться жизнью за свою женскую удаль и неуважение к муж-

ской силе.

Не удивило меня нисколько и то обстоятельство, что этот трагический случай так страшно повлиял на Викторию Павловну. Стоит только зацепиться мыслью за какой-нибудь штришек воспоминания, а затем остальные уже так и побегут сами, сплетаясь лучистою паутиною, один другого подсказывая. Ведь покойная Арина Федотовна была для Виктории Павловны гораздо более, чем другом и домоправительницею. Чувствовалась связь родственных душ, между которыми только та и разница, что одна — первобытная грубая, а другая окультуренная. Не мог забыть я и того, что Арина Федотовна и сын ее, великий комик и дразнилка, всеобщий пересмешник, белобрысый писарек Ванюшка, о котором я слышал после, что он таки ушел на опереточную сцену, сыграли известную роль и в том большом скандале, разыгравшемся при мне в Правосле, когда был изгнан из этой счастливой местности красивый, ревнивый художник Бурун... Я уехал тогда с впечатлением вполне определенным, что Виктория Павловна находится не только

под влиянием, но, можно сказать, всецело в руках у своей бывшей няньки, а ныне домоправительницы, которая, вдобавок, в это время чуть ли не приходилась ей, по тайну, чем то вроде свекрови с левой стороны, потому что комик Ваничка успел высмеять у Виктории Павловны отношения, которых Бурун не умел выплакать. А Арина Федотовна, конечно, души в своей воспитаннице не чает, но, на сколько лишь Виктория Павловна вообще поддается управлению, руководит ею эта самая Арина Федотовна, — даже в делах и вопросах морального порядка. А уж материально то — во всем, что ей, Виктории Павловне, принадлежит, — во всем этом Арина Федотовна хозяйка и распорядительница безусловная и даже в гораздо большей степени, чем сама Виктория Павловна... Потерять такого человека, конечно, значит потерять почти что половину, а может быть, и большую часть самой себя... Одного не понимал я: почему же потеря Арины Федотовны привела Victорию Павловну к перемене именно в том духе, как теперь сообщила Феничка? Ни Виктория Павловна, ни покойница Арина Федотовна не бы-

ли не то, что религиозны, а, наоборот, Виктория Павловна однажды указывала мне в этой своей Арине доказательный образец того природного атеизма, наличие которого когда-то подчеркивал в русском народе Белинский... Совершить скачек из такой крайности к православию фанатического толка, включительно до увлечения иноком Илиодором, казалось бы, не легко, — особенно женщине с определенным даром пытливости и исследования, вдумчивости и самоповерки, каким, помнится, отличалась Виктория Павловна.

— Это все отец Экзакустодиан, — шепнула мне Феничка, с легкою оглядкой через плечо в сторону няни Василисы, называя имя, которое, действительно, могло, если не объяснить существо процесса, то дать ключ к его внешнему началу и развитию. Об этом Экзакустодиане я уже не впервые слышал, как о недюжинном демагоге-православисте, [См. мои романы «Сумерки божков» и «Паутина»] успевшем натворить много чудодейств в разных губернских городах средней России, в том числе и в Рюрикове. Человек из тех, которые сами не знают, где в них разграничен фана-

тик с мошенником, и — несомненный талант. О нем много писали в газетах, да и из частных сведений я знал, что он окружен, как стеною, толпами поклонниц и поклонников, между которыми называли мне имена совершенно неожиданные. Но найти в их числе Викторию Павловну я, все-таки, уж конечно, никак не ожидал...

А Феничка шептала:

— Мне не хочется говорить об этом, а то я кое-что, конечно, могла бы вам сообщить... Но я боюсь, что, все-таки, мало знаю... Гораздо меньше того, сколько надо знать для уяснения... Если мама захочет вас видеть, то, вероятно, она вам сама даст ключ... Знаете ли, хорошо было бы, если бы так... Мама часто производит на меня впечатление человека, у которого от вынужденного молчания запеклись сердце и уста, и это ей больше невмочь, а сказать — некому... Мы с нею очень большие друзья, но, все-таки, я же девочка, перед нею. Затем она — мать, я дочь... может быть, у нее есть какие-нибудь тайны, которые просятся наружу и, как бесы, мучат ее, просясь на волю, а она мне, как дочери, сказать не хо-

чет... словом, она вот уже много лет — немой человек с какою-то заключенною скорбью в душе...

— А муж? — спросил я осторожным тоном, но прямым вопросом. Феничка досадливо передернула плечами...

— Ну, какой же он поверенный для мамы? сказала она, словно отвечая на величайшую нелепость. Он недурной, по своему, человек, гораздо лучше, чем может по первому взгляду показаться но между ними — как пропасть — разница воспитания, положения и вкусов... да, наконец, и лет... Люди совершенно разной психологии и... ну, словом, если хотите знать мое мнение, то мне кажется, что — это последний человек, с которым мама может поделиться своею сердечною тайною и задушевною мыслью...

Она опять умышленно ускорила шаг. Я последовал за нею.

— Значит, ваша мама не слишком-то счастлива в браке? — дозволил себе спросить я уже напрямик.

— Я не знаю, — искренним звуком вырвалось у Фенички. Я ничего не знаю и не пони-

маю. Не потому, что не хотела бы с вами об этом поговорить. Напротив... Потому что мама меня мучит, как загадка. Нет, я просто так не знаю и не понимаю. Мама никогда не жалуется. Между ними никогда не происходит никаких ссор. Как вы видите, у них большая семья, потому что был еще брат, который умер. А за всем тем мама одинока, как я не подберу даже сравнения, и, чем она спокойнее в своем одиночестве, тем мне больше жалко ее. Когда она улыбается, то мне хочется плакать, а если она весела и смеется, то мне делается страшно, и я тогда не сплю ночей, все думаю, а вдруг она в это время что-нибудь делает или уже сделала над собой и умирает...

— Может быть, милая Феня, это у вас мнительность?

Феня повела плечами, в жесте недоумения.

— Не знаю... Конечно, может быть, я маму уж очень высоко ставлю и, кто бы рядом с нею ни стоял, мне все кажется, что она не нашла настоящего своего положения и места в жизни, и все как-то унижена сравнительно с тем, чем быть она могла бы и должна была

бы... Но нет... Это, знаете, не мое одно впечатление... Это все почти, кто ее знавал раньше, находят... На всех точно такое же тяжелое впечатление ложится... И она сама это знает, — что производит тяжелое впечатление, и это главная причина, что она стала совершенно избегать людей...

Феня покосилась через плечо и, убедясь, что няня Василиса в это время занята упорядочением каких то очередных нужд раскричавшегося младенца в тележке, быстро шепнула мне:

— Вот эта женщина, кажется, одна из немногих, а, может быть, и совсем одна, с кем мама вполне дружна, спокойна и, по-видимому, даже откровенна... Чем она приобрела такую ее доверенность — я не знаю... но это так... Я не имею причин жаловаться на эту женщину. Она, как я вам сказала уже раньше, очень ко мне хороша и добра... Но, вместе с тем, я не скрою от вас, что я, сама не знаю, почему, но не только всегда держу с нею ухо востро, но даже, просто таки, боюсь ее немножко... Она имеет на маму громадное влияние... А — хорошо это или худо — я уж,

право, и не знаю...

— Послушайте, — сказал я, — если хотите, то вот в этой черте я опять узнаю Викторию Павловну. Она не новая. Ведь и тогда — вот, с этою злополучною Ариною, которая так странно погибла, — Виктория Павловна была в точно таких же отношениях... Не знаю, право, как характеризовать точнее, но — на язык просится даже слово — «подчинение». Потому что Виктория Павловна даже от самой себя не скрывала, насколько она считалась с волею и советами Арины Федотовны, хотя, во всех внешних проявлениях, казалась совершенною и повелительною ее госпожею...

— Да, я знаю, слыхала и даже немножко помню, — сказала Феничка. — Но...

— Так что, — сказал я, — разница только в том, что тогда двух женщин роднили между собою смелость отрицания и неверие, сходство властных характеров и своеобразный, что ли, феминизм, а теперь, — вы же мне отрекомендовали эту госпожу ханжою — они сроднились на почве общего религиозного увлечения...

— Так то оно так... — выговорила, разду-

мывая, Феничка. — Но это не все... понимаете; это, может быть, фон, основной фон отношений... но я чувствую, что есть тут и какие-то совершенно мне неведомые и чуждые узоры...

— Вы говорите, — сказал я, — что супруг Виктории Павловны ранее управлял ее имением... Это меня еще и потому несколько удивляет, что имение Виктории Павловны вспоминается мне в таком плачевном состоянии, что управлять там, правду говоря, было нечем... Все готово было рухнуть и с аукциона пойти.

— О! — воскликнула Феничка, — вы не можете себе вообразить, как поправились дела мамы за эти последние десять лет... Знаете ли, на что уж все почти землевладельцы пострадали в период аграрных беспорядков, — они и нас, конечно, коснулись, кое что сгорело, кое что было разгромлено... Но, тем не менее, в настоящее время Правосла, то есть большая часть Правослы, принадлежащая маме, там ведь мильон совладельцев, считается из лучших имений в уезде...

— Вот как! — удивился я, — и это результат

управления господина Пшенки?

— Да, он имеет репутацию прекрасного хозяина и очень оборотистого человека... Так что, вот, в настоящее время маме дают за Правослу хорошие деньги... Там, знаете ли, на Осне лесопилка есть... Мерезов, Скорлупин, Климушкин и К°... [См. мой роман «Паутина»] Громадное дело... Так вот они очень хотят приобрести и наши земли... большие деньги дают... Дело почти уже кончено и предварительный договор подписан... Потому мы и здесь... на задаток кутим! — засмеялась она.

— Однако, раз именье пошло таким успешным маршем и приносит хороший доход, то — зачем же продавать?

Феничка кивнула на детей, ковылявших за нами, и сказала:

— Да, ведь, видите: больница... Полон дом прокаженных и расслабленных... Одна я, покуда, совсем здоровый человек, потому что и маме, говорила я вам, маме изменяет сердце... А остальные не живут, жизнь тянут... Работать в таких условиях нельзя, надо ликвидировать свой успех, пока не поздно, на дожи-

тье и отойти в сторону, пустив к своему труду новые силы и новых людей...

— Вот у вас какая суровая философия!

— Практическая, — спокойно сказала Феничка. Можно, конечно, барахтаться и упираться. Да ведь растопчут...

— Но, я думаю, Виктории Павловне было нелегко расстаться с Правослою? Она так любила этот свой угол...

— Почему? — с удивлением возразила Феничка, широко открывая чистые голубые глаза свои. Вот уж не замечала... Напротив... Именно она и настаивала на скорейшей продаже... Я уже четыре года, как из тех мест, да и раньше мало бывала в Правосле, так как училась в губернской гимназии... Но, сколько помню, мама вела там убийственно скучную жизнь. Ведь это же пустыня. У них месяцами никто не бывал...

— У Виктории Павловны никто не бывал?! — вскричал я, даже приостановившись от удивления.

— Ну, да, — возразила Феничка с некоторым смущением и досадою, раздувая розовые ноздри свои. — Что же тут странного? Так и

должно было быть... Дамы местные маму всегда терпеть не могли, а мужчины вознегодовали на нее, зачем она совершила *mésalliance* и вышла замуж за неровню... Обвенчаться с своим управляющим! Променять фамилию Бурмысловой на фамилию Пшенки! Фи!.. Ну, и отпали все понемногу... Ну, и еще неприятная история была... Там у нас один магнат уездный... князь Белосвинский... Не слышали?

— Нет, знаю, очень знаю... — торопливо опроверг я, сильно заинтересованный мрачным тоном, которым Феничка произнесла эту фамилию, — так знакомую мне фамилию русского рыцаря Тогенбурга, столько значившего в жизни Виктории Павловны и так верно и безнадежно ей поработившегося...

— Ну... — хмуро и видимо нехотя продолжала Феничка, — этого нелепого князя... не имела чести его знать, но терпеть его не могу... столько зла он принес маме!.. Этого нелепого князя умудрило, вскоре после маминой свадьбы, отправиться на охоту и, пробираясь частыми кустами, зацепиться ружьем за сучек так неловко, что оно выстрелило полным зарядом в княжескую голову, после чего кня-

зю не оставалось, конечно, ничего больше, как умереть... Очевидная случайность... Ну, а но всей губернии заговорили-загудели, что самоубийство... Будто потому, что мама привела его в отчаяние браком своим...

Она покосилась на меня из-под крутого лба своего и с тихой досадою произнесла:

— По выражению лица вашего, замечаю, что вы такое объяснение тоже допускаете...

Я видел, что для Фенички этот вопрос — больной и острый, и постарался уверить ее как можно правдоподобнее, что нет, никак не допускаю, хотя, внутри себя, с печалью вспоминая этого благородного и поэтического князя, наоборот, думал:

— Еще бы не допустить!..

Так мы дошли до Jetée, откуда мне надо было поворачивать в свой пансион. Я дружески распростился с Феничкой, раскланялся с няней, покивал детям и, дав Феничке свой точный адрес, чтобы на всякий случай передала маме (от самостоятельного визита Феничка меня категорически отговорила), расстался с этою красивою и милою девушкою, и ушел, полный воспоминаний, образов и ожида-

ний... Словно вдруг призраки старые встали из давно опущенных в могилы гробов...

* * *

Весь остаток этого дня и утро следующего я усердно и с беспокойством ждал, не будет ли весточки от Виктории Павловны. Напрасно. Ничего не получил. После завтрака, в тот же час, как вчера, я вышел на Promenade des Anglais, в расчете встретить Феничку или, по крайней мере, иконописную няньку с детьми... Но и тут неудача: никого не встретил. Когда живешь в Ницце, на положении, так сказать, «знатного иностранца», то Promenade des Anglais делается, хочешь не хочешь, центром жизни, деваться то больше некуда, — и оказывается необходимым пройти по ней, в течение дня, по крайней мере, раз десять. Не встретиться, в этих условиях, с кем либо из таких же «знатных иностранцев», решительно невозможно. Все видят всех каждый день и знают друг друга наперечет. Но, вот, мои десять раз были мною сделаны, а Фенички — все-таки, нет, как нет. Это было уже подозрительно и заставляло думать, что девушка не выходит преднамеренно, чтобы

не встретиться со мною. Если бы нездоровая была или занята, то, все-таки, хоть нянька то с детьми гуляла бы. А тут — изволите ли видеть — все, как сквозь землю провалились. То же самое повторилось и завтра, и послезавтра. Я помнил слова Фенички, что Виктория Павловна очень болезненно относится к встречам со старыми знакомыми, и понимал теперь дело так, что Виктория Павловна видется со мною отказалась, а Феничке неловко мне это передать в глаза, — вот, она и спряталась. Остановившись на этом решении, я, хотя и с глубоким сожалением и даже некоторою обидою, поставил на ожидаемом свидании крест: не навязываться же! — и уже не ждал дальнейших встреч и разговоров... Но однажды вечером, в конце обеда, хозяйка пансиона, в котором я жил и столовался, сообщила мне с таинственным видом, что меня спрашивает дама... Я немедленно вышел в разговорную комнату — и увидел у окна, близ пианино, высокую фигуру, в черном, в которой — даже со спины — не трудно было узнать величавую осанку старой моей приятельницы,.

— Виктория Павловна!..

Радостно окликнутая мною, она встрепенулась, обернулась, знакомо блеснув глазами на вспыхнувшем лице, бросила ноты, которые рассматривала в ожидании, и быстро пошла ко мне навстречу, протягивая обе руки. И знакомый глубокий грудной голос заставил вздрогнуть мое старое сердце, переполняя его разом хлынувшими воспоминаниями хорошей прошлой полосы еще почти что из молодости.

— Извините меня, ради Бога... Я вот четвертый день все думала да гадала, надо ли увидаться нам... Все не решалась... Может быть, это и теперь лишнее, не следовало бы...

— Да — как же не надо-то? — воскликнул я, сильно растроганный. — О чем было думать? Ну, как вам, право, не грешно...

А она, знай, оправдывалась — не столько передо мной, сколько пред самою собою, — уже с беспокойными глазами и морщинкою на лбу:

— Обстоятельства так ведь переменились... Что теперь может быть общего между мною и вами? Но, знаете ли, не вытерпела, не

могла уехать из Ниццы, не повидавшись с вами... Молодостью, знаете, пахнуло...

Вздохнула и прогнала морщинку с таким движением, точно тяжесть с себя стряхнула:

— Ну, и вот... здравствуйте же!.. Давайте ваши руки... Следовало бы, говоря по настоящему, даже поцеловаться, на радостном свидании после многих лет... Да — вот у вас какие то уж очень серьезные англичане сидят... что их шокировать!..

Она, на мой взгляд, почти не переменилась, только пополнела очень, как почти всякая женщина ее сложения, перешагнувшая за роковой рубеж тридцати пяти лет, и это огрубило и отяжелило несколько ее, все еще прекрасные черты. А ей теперь, пожалуй, можно было считать уже под сорок, если не все сорок. Чувствовалось, что запас сил, здоровья и свежести у женщины этой еще громаден, и она не скоро «сдаст». рассматривая ее лицо, великолепный образ гордой и даже надменной несколько Юноны, — я не видел ни единой обличительной морщинки. Разве, пожалуй, тон кожи, и прежде смугловатый, стал слегка темнее и напоминал теперь уже не

столько слоновую кость, сколько полежавший в библиотеке пергамент. И вокруг глаз потемнело, и к вискам потянулись желтоватые длинные пятна, говорящие уже о некоторой изношенности организма и не весьма здоровой печени. Я с удовольствием видел, что Виктория Павловна осталась верна себе в манере казаться такою, как она есть, не скрывая ни возраста, ни недостатков своих. Одета превосходно, а косметиков, по-прежнему, не употребляет, — вся натура! Но если бы эту женщину немножко подкрасить, то, конечно, никто ей не дал бы настоящих ее лет, да и не в большой грех было бы ошибиться, приняв ее никак уже не за мать Фенички, а разве за старшую сестру. Я вспомнил шутливую жалобу Фенички, что ее, при маме, не замечают, и внутренне должен был согласиться, что — и впрямь — «застит»!.. Хороша Феничка, но до матери ей далеко и не быть ей такою в возрасте Виктории Павловны. Как теперь я мог судить по живому сравнению, сходство между ними было, действительно, близкое, несмотря на то, что дочь блондинка, а мать брюнетка. Трудно даже объяснить, в чем соб-

ственно так ярко определялось сходство. Не те глаза, много почти противоположного в чертах, а между тем, каждый взгляд, каждое движение, каждый поворот головы или тела обличал их несомненное родство, напоминающее и подчеркивающее... И, покуда Виктория Павловна сидела передо мною и говорила, я все время видел перед собою Феничку, — даже еще явственнее, чем тогда утром, при встрече с Феничкой, покуда она шла рядом со мною и говорила голосом матери, видел перед собою Викторину Павловну... Когда первое радостное возбуждение встречи схлынуло, и сидели мы уже наверху, у меня в номере, Виктория Павловна впервые показалась мне тем другим новым человеком, о котором предупреждала Феничка... Она вдруг как-то угасла и потускла. Вместо прежнего жизнерадостного, насмешливого, гордо-веселого существа, с яркою и дерзкою речью, сидела предо мною женщина угрюмая, несловоохотливая, к чему-то внутри себя пристально и мрачно приглядывающаяся и прислушивающаяся... Пришла, очевидно, с намерением излиться, — а между тем, слова не шли с языка, парализо-

ванные гордостью ли, застенчивостью ли... То, что Виктория Павловна сообщила мне о перемене в своей жизни и о своем браке, заставило меня невольно приподняться с места и, должно быть, уж очень выразительно вытаращить глаза, потому что она вся вспыхнула красным цветом, потом побелела, как снег... Ох, не люблю я таких быстрых смен в лице — в особенности, у людей, о которых имею предупреждение, что у них неладно с сердцем!.. Воображаю, какая сейчас стукотня у нее в груди!.. А я чувствовал себя тоже не в своей тарелке, проклиная про себя легкомысленную небрежность, с которою я не расспросил Феничку о муже Виктории Павловны подробнее, и, через то, не подготовил себя к самому неприятному впечатлению, какое только мог испытать по этому поводу, и не мог этого неприятного впечатления скрыть. И, таким образом, пришлось теперь нам обоим пережить сквернейшую минуту обоюдной стыдной неловкости...

Желая расшевелить несколько гостью свою и помня, как живо и охотно она всегда отвечала на всякий вызов к словесной поле-

микe, на лету ловила колкую шутку и быстрым ударом отвечала на удар, я нарочно позволил себе немножко поддразнить ее насчет новой ее религиозности. Но, к удивлению моему, она на этот вызов ответила лишь бледною улыбкою, брошенною как бы несколько свысока и двусмысленно; эх, мол! понимаю тебя и очень тебе благодарна за участие и доброе намерение, да только не из той оперы ты запел... Во всяком случае, она на меня за вольтерианскую шутку мою нисколько не обиделась и готовности к возражению не высказала, брошенного мяча не подхватила... И тогда, вдруг, мне стало ясно, что и это для нее совсем не играет той глубокой важности, какую, в разговоре со мною, намеренно приписывала Феничка... Фанатичка разве так бы вскинулась? И — тем более фанатичка-неофитка, фанатичка, нашедшая свой фанатизм после долгих лет неверия, отрицания? Обретшая последний приют раздраженью пленной мысли и ревнивая ко всякому покушению на его, приюта, достоинство, авторитет, силу и, главное, покой?.. Большинство фанатичек потому и страшны так в своей ненависти к сомне-

нию, что сомневаться им — «себе дороже», и боятся они смертельно быть столкнутыми на этот путь силою доказательного убеждения... Виктория Павловна не обнаружила ни этого пугливого раздражения верующей, во что бы то ни стало, хотя бы и насильно, хотя бы и *quia absurdum*: ни — равным образом — в бледной равнодушной улыбке, которою сопровождался ее ответ, не нашел я оттенка и той спокойной, самоуверенной веры, которая чувствует себя настолько твердою, что не хочет уже и возражать, не вступает даже и в спор с невером... Нет, это — я очень хорошо видел — улыбнулась мне сейчас не новая, а прежняя Виктория Павловна... Только не радостная, гордая и уверенная в себе, а разбитая и опустошенная... Да, да, с религией у женщины этой, по-видимому, обстоит не лучше, чем со всем другим... В конце концов, и это едва ли нетолько маленькая попытка влить какое-нибудь содержание в душу, опустелую, темную и больную... И попытка зыбкая и ненадежная — которой сама душа, лечась ею, очень плохо верит: не больше, чем образованный человек знахарю, соблазнясь у него ле-

читься, вопреки рассудку и здравому смыслу, — как утопающий хватается за соломинку, — потому что механически действует инстинкт самоохранения, диктующий хвататься, пока можешь, за что попало, — а совсем на нее не надеясь...

Попробовал я заговорить с Викторией Павловной об ее детях... И это прошло вяло и холодно... Оживление она выразила только, когда речь коснулась Фенички и ее занятий в Париже, а также ее ожиданий и житейских возможностей в недалеком будущем... К Феничке она, видимо, относилась любовно и горячо, и то обстоятельство, что девушка мне понравилась, очень обрадовало ее и наполнило ее прекрасные глаза теплым благодарным светом... Я напрасно подозревал Феничку, будто она от меня пряталась. Отсутствие ее объяснялось тем, что в тот же день, вечером, после нашей встречи, девушку увезла погостить к себе на виллу в Вильфрант знакомая дама, общая и матери, и дочери, новая приятельница, некая Эмилия Федоровна фон Вельс... [См. мой роман «Паутина»]

— Вы, конечно, знаете? Слыхали? Ну, из-

вестная нимфа Эгерия этого короля в изгнании, князя Беглербей Васильсурского... О ней говорят и даже пишут очень дурно, но— вы знаете — я сама всю жизнь окружена была ненавистью и злословием, и не мне обращать внимание на толки и сплетни о другой женщине... тем, более, о такой красивой и удачливой, как эта Эмилия... А Феничке она нравится, и девочке там уютно и весело... Пусть порезвится хоть сколько-нибудь, покуда молодая. Дома я не могу доставить ей много радости: у нас так однообразно, скучно, болезненно и угрюмо... Больной старик, больные дети и две стареющие печальные женщины... куда как весело для девушки в двадцать лет... К остальным детям Виктория Павловна показалась мне довольно равнодушною. Видно, что обязанности материнского долга исполняет добросовестно и обстоятельно, но большой страстности нет...

— Ведь вы, как мне говорила Феничка, — сказал я, — имели несчастье потерять одного ребенка?

Она на это кивнула головой и почти холодно, вскользь как-то, сказала:

— Да, от эклампсии... Он еще совсем маленький был, на третьем месяце...

И продолжая прерванную моим вопросом речь о том, как она опасается сейчас за Феничку, которая, желая быть ближе к ней, намеревается возвратиться в Россию. А между тем, Феничка здесь, за границей, свела знакомство и вошла в тесные дружбы с революционными кругами, что, конечно, сейчас уже хорошо «освещено» (она так именно этим полицейским термином и выразилась) и, при возвращении, Феничку могут ждать большие неприятности...

— Я все уговариваю ее — сидеть здесь смирно и, как говорят хохлы, не рипаться... — говорила Виктория Павловна.

Конечно, я очень желала бы иметь ее близко около себя... Ведь она, по существу то, теперь единственный и последний человек на земле, к которому я привязана... Но не настолько же я эгоистка, чтобы ради своего удовольствия подвергать дочь опасности тюрьмы и ссылки и всех тому подобных благ нашего милого отечества... Ну, зачем ей туда ехать — такой, как она теперь, с ее взглядами,

с ее симпатиями, с ее планами, с ее характером! Ах, если бы вы только знали, какой она огонь! Что она там позабыла? Здесь она получает хорошее образование... Работает — как хочет, в каком ей угодно порядке и сроке... А там она высшего образования не найдет сейчас вовсе... Вы знаете, конечно, какие пришли у нас времена и порядки на этот счет... Аудитории под замком, а участки и тюрьмы настезь... Что ей делать? Участкологию, что ли, практическими занятиями постигать? Да, наконец, я просто не понимаю, как она может уехать в Россию, когда она здесь должна оставить большой кусок своего сердца... Ведь она, если признаться вам по дружески, в семейной нашей тайне, она уже почти невеста... А, если не объявленная невеста еще, то все равно — накануне того, чтобы дать слово..

— Да что вы?! А я и не подозревал и мне она ни словом не намекнула...

— О! Она о своих делах не болтлива... Вообще то поговорить охотница... в мать! слабо улыбнулась она. Ну, а свои секреты бережет и на витрины для обозрения проходящих не выставляет...

— Тоже в мать? — попробовал пошутить я и в тот же миг раскаялся, потому что лицо Виктории Павловны болезненно сжалось...

— Надеюсь, что умнее и счастливее, — с насильственным спокойствием возразила она и продолжала, оправясь:

— Да, невеста... и, кажется, по очень хорошей и яркой любви... Спокойного буржуазного счастья, которого все родители желают своим детям в браке, ждать трудно, но я, — вы, конечно, понимаете, — не такая мать, чтобы могла в подобном случае ставить препятствия своей дочери... Всегда все чувства свои считала свободными и не подлежащими контролю третьих лиц. В этом отношении, — выразительно подчеркнула она голосом, — желала бы, чтобы и дочь также жила и думала... Но не без гордости смею сказать: когда у нее это чувство появилось, она первым долгом почла мне сообщить... Конечно, не в виде просьбы о разрешении или даже о совете, — улыбнулась она, — где уж! Нет, все это было преподнесено, конечно, уже в виде совершившегося факта, но — просто, нашла нужным поделиться своею радостью... Не как с матерью,

а как с подругою... Я должна, признаться, что очень счастлива своими отношениями с дочерью... Это, если хотите, единственный светлый луч, оставшийся мне в жизни... Если он погаснет, то, право, уж и не знаю...

Голос ее оборвался и глаза сделались испуганными, недоумевающими...

— И он здесь... — продолжала она, оправившись. — Удостоили познакомиться... Решительно ничего не нахожу сказать против, за исключением разве того, что с таким мужем рискуешь скоро остаться вдовою... Человек, которого ищут по всей России, и в каждом участке наклеены объявления с его приметами и обещанием награды за его выдачу и указание места, где он находится... Блестательная в своем роде известность.

Она засмеялась с усилием, сохраняя грусть в глазах и горьком складе губ...

— У вас дома известно об этой предполагаемой свадьбе? — спросил я.

Она отрицательно мотнула своею большою, в густых черных волосах, головою, причем я впервые заметил, что на висках у нее поблескивают тонкие седины...

— Нет, нет, как можно? — сказала она с каким-то презрительным испугом.— Нет... Да, и не будет известно. Она, Феничка, умела поставить себя так, что живет между нами — отрезанным ломтем... Доверенностью ее в семье пользуюсь исключительно я, да еще, пожалуй, одна женщина... Моя служанка... Вы ее имели случай видеть... Феничка мне говорила... Вот, скажу я вам, хороший и преданный мне человек...

— Да, — сказал я, — я обратил на нее внимание. Интересное лицо, с характером...

Должно быть, в голосе моем прозвучало скрытое сомнение в достоинствах так лестно рекомендуемой особы, потому что Виктория Павловна, быстро вскинув на меня глаза, со смущением и даже как бы с некоторым испугом спросила:

— Не понравилась?

Я должен был сознаться, что — нет. Нисколько.

— Ну, вы неблагодарны, — возразила Виктория Павловна, — потому что вы, наоборот, произвели на нее превосходное впечатление... И это отчасти по ее настоянию реши-

лась я наконец преодолеть дикую робость мою и пойти к вам.

— Однако! — невольно удивился я, — вы с нею советуетесь даже о том, с кем вам видаться, с кем не видаться?

— Что же вы подделаете? — воскликнула Виктория Павловна тревожно и как будто извиняясь. — Это очень странно, но я не умею, не могу жить без дружбы с сильным человеком... Ведь вот такая удивительная черта... Всю жизнь прожила, собственно говоря, безлюбовною... Любовников имела много. Замуж вот вышла. А любви, настоящей любви так вот и не узнала и в могилу, без нее, вероятно, сойду... Знаете: сорок лет — бабий век... О романах поздно думать... Да и с искренностью говорю вам: до отвращения ко всему этому дошла, — выговорила она с усилием над собою, стараясь, по гордости своей, нарочно смотреть прямо мне в лицо, так что я невольно опустил глаза, но — пониженным, упавшим голосом.

— А без дружбы никогда не могла жить... И с дружбою только считалась... Искала дружб и влиянию дружб подчинялась... Вот,

как помните, — мою Арину...

Голос ее слегка дрогнул и она уставилась на меня пугливыми, вспоминаящими глазами:

— Уж как меня удивила Феня, когда сказала, что вы совсем не знаете ужаса, которым ее жизнь кончилась... Ах, как бы мне хотелось рассказать вам все подробно и обстоятельно, выяснить психологию, так сказать... Да что-то я совсем оплошала в последнее время и на речь, и на память, и на желание говорить... Хочется сказать как будто много, а усилие, которое приходится сделать для того, чтобы сказать, убивает и речь, и охоту к ней...

— Эта ваша новая телохранительница с того самого времени у вас появилась? — спросил я.

— Почти... Я познакомилась с нею во время следствия по делу... обеих вызывали, как свидетельниц... Она ведь приходится племянницею покойной Арине Федотовне... А тому то, — голос ее затрепетал и закачался, — тому то несчастному, который Арину зарезал... родная сестра!

— Ого! Однако, роман то сложный!..

— А вы думали, — как? — с странною угрюмою дерзостью почти огрызнулась она. — Жалею, что у меня нет литературного таланта; написать мою Арину Федотовну во всю ее глубину, как я ее знала, — никакому Сологубу не придумать... правда то и проще, и страшней!

Она помолчала, тревожно думая и нервно вздрагивая плечами, и опять возвратилась к Феничке.

— Нет, о предстоящем браке Фенички, если будет, конечно, брак, у нас в доме нету и речи... Венчаться, ведь, конечно, не будут: вольный союз... Ну, а супруг мой, — принужденно выдавила она из себя слова эти, — не того поколения и не тех убеждений, чтобы это понять и для дочери своей одобрить... Он, знаете, на старости лет ужасным блюстителем нравственности стал и, что больше дряхлеет, то пуще сокрушается о развращении века и падении семейной морали... Ну, что же его, больного, тревожить?.. Переменить ведь он, все равно, ничего не в состоянии, а только обострятся преждевременно отношения с дочерью, которые, и без того, не очень хороши... Она, знаете, мало уважает... ну, и... — подави-

лась она словом, — конечно, имеет свои причины... не могу же я заставить... У нее всегда найдется, чем закрыть мне рот... А он чувствует и злится... Так что только мы с Василисою иногда шепчемся об этом и, по старушечьи — улыбнулась она, — придумываем возможности и расчеты будущего... Нет, если бы муж знал, то, вероятно, умер бы от страха... Потому что господин, которого Феничка себе выбрала, слишком уж нашумел в наших местах... Его именем только что детей не пугают... Вы, вероятно, его знаете — если не лично, то по слухам... В революционных кружках он известен под именем товарища Бабая... Ну, вот, уже по тому, как вы подняли на меня глаза, я вижу, что этот псевдоним вам очень хорошо известен... [·] См. мой роман «Паутина» и повесть «Разбитая Армия».]

— Да, — сказал я с большим любопытством, — я знаком с этим именем... О нем сейчас говорят очень много и интересно...

— А вы лично его знаете? спросила Виктория Павловна.

— Видите ли, — отвечал я в некотором затруднении... Но она меня перебила:

— Нет, я ведь вас спрашиваю не с тем, чтобы врываться в какуюнибудь конспирацию или заставить вас, по дружбе, совершить нескромность... Я вам прямо говорю: Бабая этого я сразу признала, так как видела его в России... Кто он, мне очень хорошо известно, да, я думаю, и всем отлично известно... Только ведь делают вид, будто это великий секрет... Но, раз псевдоним этот здесь принят, — так будем его держаться... Я только хочу слышать: знаете ли вы этого Бабая, какое он на вас производит впечатление?

— Да — что же? — отвечал я. — Человек, кажется, крепкий...

— Да... — быстро подхватила она. — Вот это настоящее слово... Мне тоже показалось, что крепкий... Из тех, на кого можно положиться...

Она немножко примолкла, омрачившись, будто охваченная темною тучею... Потом тихо сказала:

— Знаете, когда я впервые его увидела, мне сделалось немножко страшно, будто мне призрак почудился... Вы не находите, что он чрезвычайно похож на покойного князя?

Я чуть было не переспросил:

— Какого князя? — но во время вспомнил, что речь идет, наверное, о покойном ее поклоннике, князе Белосвинском, который так странно застрелился на охоте...

— Я не нахожу, — сказал я не с особенною впрочем решительностью. — Нет, не нахожу... Издали — может быть, потому что оба высокие, тонкие и ярко выраженные блондины... Но князь был мягче лицом и главами... У него не было этих солдатских челюстей, которые так портят Бабая...

— Да, это, пожалуй, правда... согласилась Виктория Павловна. — Но первое впечатление удивительно схоже... Да еще Феничка впервые показала мне его в сумерки... я страшное тогда потрясение испытала...

И, помолчав, с горькою улыбкою прибавила:

— Много панихид я по князю отслужила... Да что то не помогает... Видно, уж очень виновата перед ним... Вспоминается, и так ярко, что... пожалуй, даже видится... Ах, дорогой мой, не дай Бог этого никому — злейшему врагу своему не пожелаю, — чувствовать и со-

Знавать, что по твоей милости отправился на тот свет ни за что, ни про что, хороший человек...

— А вы так уверены, что, в самом деле, было самоубийство? спросил я, сам то в том убежденный совершенно твердо, и только желая облегчить, — может быть, удастся, — зернышком сомнения бремя гнетущей уверенности, которая, уж слишком заметно, была тяжела и колюча для души этой женщины.

Она печально улыбнулась — как на детское возражение.

— Уверена? воскликнула она. — Да больше, чем все, кто меня за смерть его обвиняет... Все ведь, как я раньше предвидела и ему в шутку предсказывала, все, точно по расписанию, проделал... Чтобы никто не мог подумать, что это самоубийство, чтобы на меня тень подозрения в том не упала... Уж такие ли предосторожности принял, чтобы умереть, как можно, естественнее... Ну, и, как водится, именно от обилия то предосторожностей и сделалось каждому ясно, что человек сам покончил счет с собою, в самом деликатном и хитро обдуманном плане, чтобы с формаль-

ной стороны было чисто: кроме случая никто не виноват... Уж так то ли сложно умер... Рыцарь! По княжески!..

И, опустив голову, глухо прибавила:

— Любил очень!.. А, все-таки, пожалуй мало... Потому что не простил... Любил очень, а простить не сумел... Смертью наказал... Харакири — сухую беду мне устроил, бедняк!.. Не пожалела мол меня, душу из меня вынула, идеал разбила и осквернила, — так вот же тебе! походи по белому свету, чувствуя себя убийцею, с совестью в крови!.. Не простил...

Возражать на это было нечего. Она говорила то, что я думал.

Примолкли мы оба. Вижу: давят ее воспоминания, — и мне остается только ждать, во что они выльются... Но, с минуты на минуту, она становилась все мрачнее, точно в самом деле гробовая тень обвевала ее своими крыльями... И это нас уже совершенно онемело... Вот тебе и раз!.. Ждали-ждали, желали-желали друг друга, собирались говорить много-много — выпорожнить души до дна, а не сказали ровно ничего... Часов около девяти Виктория Павловна очень искусственно спо-

хватилась, что ее должны ждать дома, и зато-ропилась уходить... Так как она раньше сообщила мне, что завтра или послезавтра они, всею семьею, должны покинуть Ниццу, потому что врачи посылают ее мужа в Швейцарию, да и для детей находят полезным побывать в горах, то, прощаясь с нею, я уже потерял надежду узнать ее новейшую историю от нее самой более подробно и понятно, чем давали мне возможность те короткие и нелепые признания, которые она мне наскоро пробормотала запинаящимся и смущенным языком, и которые так меня ошеломили... Нерешительно и довольно холодно пожали мы друг другу руки, оба понимая, что, собственно говоря, виделись не по что и из свидания оба не извлекли ничего; я не услышал, что хотел знать, она не сказала того, что приходила сказать... Так проводил я ее по коридору и еще раз простился с нею наверху лестницы, с которой она начала медленно спускаться... И с каждою ступенькою, которую проходила она, понурая, черным угрюмым привидением, овладевала мною все большая печаль, все тяжелее ложился свинец на сердце,

словно, вот, я ее заживо хороню и она, на глазах моих, спускается в землю, в могилу... Прошла уже два марша, и я хотел уйти с площадки, так как на повороте должен был потерять ее из виду, как вдруг она остановилась, повернулась и, сделав мне предостерегающий знак, быстро побежала опять вверх по только что пройденным ступеням...

— Нет, — сказала она, задыхаясь, с лицом в красных пятнах, с глазами, горящими будто красным каким то светом, — это невозможная бесхарактерность... Нельзя расстаться так глупо... Я потом сошла бы с ума от раскаяния... Ведь, может быть, это наша последняя встреча в жизни и последний случай мне быть откровенною с человеком и на человеческий суд поставить себя...

А затем мы опять очутились у меня в комнате, и Виктория Павловна, сидя предо мною на жестком стуле, ломая руки и разливаясь слезами, заговорила, зашептала и закричала ту удивительную историю, которая будет теперь вот изложена в ближайших главах этого романа.

Стояла лютая, поздняя зима умиравшего 1902 года. Лесное село Правослу, что на реке Осне, и заколоченную при ней барскую усадьбу, совсем замело вьюгою. Ранний вечер все сравнивал — и жилье, и поле, и лес, одев их в мглу, полную крутящегося снега. Сквозь пляску и суету вьюги, на зло ее вою и морозным иглам, ползло от села нечто еще более темное, чем ночь, похожее на средней величины движущийся скирд. Ползучая темная куча эта ругалась и ворчала голосом человеческим и фыркала голосом конским, так как представляла собою нарочного рассыльного, посланного верхом на малорослом одре от ближайшей к Правосле станции, с телеграммою. Нарочный долго метался на усталом коне своем вокруг усадьбы, обнесенной забором, какими то чудесами еще не раскраденным на дрова, пока счастливо не наехал на ворота, в которые он, соскочив с коня, и забарабанил обеими руками, и завопил всюю глоткою, стараясь перекричать свист и визг вьюги. Стучал и ревел он более получаса, проклиная крепкий сон рано завалившихся спать или оглохших обитателей, и чуть было уже

не решил поворотить на село, чтобы там у знакомого найти приют до утра, а телеграмму можно будет послать завтра с каким ни будь мальчишкою. Однако, наконец, счастливый порыв ветра донес его грохот и крик до флигелька, в котором проживал приказчик, управлявший этим покинутым имением; пожилой человек, известный в округе под именем «Ивана Афанасьевича», или, иногда, в отличие от других возможных Иванов Афанасьевичей, с прибавлением, вместо фамилии, которую все забыли, клички — «Красный Нос». Иван Афанасьевич в это время собирался ужинать и, в приятном ожидании, сидел за столом, раскладывая весьма затрепанными и пухло-грязными картами сложный пасьянс, — он по этой премудрости был дока и знал их, пасьянсов, великое множество. Стук и зов нарочного заставили его выйти во двор, гоня перед собою собаку, имея в руках заряженное ружье, а позади себя он заставил идти, вооруженную тяжелым косарем, гигантского роста бабу, — стряпку и сожительницу свою Анисью. Собственно говоря, эти меры предосторожности были совершенно излиш-

ними: вряд ли кому либо пришло бы в голову напасть грабежом на полуразрушенную усадьбу, бедность которой давно уже была притчею во языцех по всему уезду. Поживиться в Правосле с тех пор, как отбыли из нее хозяйка ее, Виктория Павловна Бурмылова, и ее домоправительница Арина Федотовна, увезя с собой последние сколько-нибудь ценные вещи, остававшиеся еще под осунувшимися потолками покосившегося господского дома, — поживиться здесь было не чем. Но год стоял тяжелый, голодный, смутный, — народ шалел, был неспокоен и часто сам за себя не отвечал. Преступления вспыхивали странные и неожиданные, которым потом удивлялись сами их совершавшие. Было в них что-то непроизвольное, как бы инстинктивное. Точно люди вдруг — от чрезмерности терпения — теряли всякое терпение и, вместе с терпением, всякий разум, всякую целесообразность поступков. Без толку убивали, без толку грабили, без толку попадались. Что-то зрело в воздухе, свивалось ядовитым клубком и невидимо ходило по деревням, темное, душное и выжидающее. И это

чувствовали все, сколько-либо прикосновенные к какому-нибудь землевладению. И хозяева-помещики, и хозяйственные мужички кулацкого образа и подобия, и управляющие, и приказчики, и сельские власти, словом, все собственники и владельцы, и ими приобретенные на службу, либо приставленные охранять их, люди. Раньше Иван Афанасьевич был в превосходнейших отношениях со всем крестьянством и в Правосле, и во всей округе. Человек пришлый и бродячий, он появился в здешних местах лет пятнадцать тому назад — профершилившимся и ошельмованным по суду баринком, который как то сразу пришелся ко двору во всех классах местного населения. По усадьбам помещиков — приживальщиком и потешником, у попов и деревенских тузов — приятелем, по крестьянству — за пани брата. Кому кум, кому сват, с кем собутыльник, большой любимец женского пола и еще больший его любитель. Чудесно играя на гитаре и не чуждаясь никакого общества, он приобрел большую популярность в уезде и без него редкий праздник обходился, как без желанного и любимого гостя. Даже буйная и

бурная новая деревенская молодежь, которую в то время называли еще просто «парнями», а не ругали «хулиганами», проклинаясь за бесшабашность и удаль свою всем окрестным жителям старше тридцати лет, даже и она ладила с Иваном Афанасьевичем, хотя сам то он каждому в молодежи этой годился в отцы, даже поглядывал и в деды. Ибо — выпить ли, закусить ли, с девушками ли поиграть, на удалецкую ли какую штуку компанию настроить, похабную ли песню спеть, анекдот ли рассказать, от которого уши вянут, показать ли неприличные карточки, представить ли, как в городских господских кабаках танцуют канкан, — на это было никого не найти лучше Ивана Афанасьевича. И, однако, даже этот человек, дважды защищенный — и репутацией своей нищеты, и благосклонностью окружающей среды, даже и он последнее время стал чего-то побаиваться и, при всех своих скудных доходах, не поскупился купить ружье и завести большую собаку, ужасно много жравшую и жестоко объедавшую его более, чем скромное, хозяйство. Да и Анисю то Иван Афанасьевич привязал к себе

узами любви не столько потому, чтобы эта исполин-баба уж очень ему нравилась, сколько по совершенно справедливому расчету, что, в случае надобности, богатырь Анисья за двух мужиков ответит и, чтобы справиться с таким лешим женского пола, надо привести немалую шайку.

— Еще хорошо, — думал Иван Афанасьевич, — что сторона наша лесная и за дровами никто не гонится. Без того, давным бы давно от усадьбы нашей щепочки не осталось бы, всю растаскали бы по печам...

Очень наблюдательный и чуткий, потому что привыкший за много лет к нравам и настроениям своей округи, Иван Афанасьевич замечал назревание неладного. На нем это сказывалось меньше, чем на ком-нибудь другом из его звания и положения. Однако, как то и сам вспомнил, и о нем вспомнили в последнее время, что он не свой брат, простолюдин, а, хоть и принизила его судьба в невольное опрощение и бедноту, все-таки, по происхождению он барин, и когда то был богат, самостоятелен, служил, и, — худ ли, хороши ли, — значит, принадлежит к образованному

и властному классу... И, как только вспомнили крестьяне его захудалое и давно забытое дворянство, так и сейчас же начали его сторониться и сторожиться... А он, в свою очередь, тоже невольно начал держаться ближе к бабюшке и становому, вместо «наши правослинные», стал говорить «они» и — вот подумал-подумал, да и завел ружье, собаку и Анисю.

Долгою переключкою через забор, сквозь вой и визг ветра, личность нарочного была несомненно установлена, и полузамерзший горемыка был впущен сперва в темный двор, где собака чуть его не разорвала, несмотря на присутствие хозяина, который уж едва-едва отбил ее прикладом, а потом и во флигель... В привезенной окоченелым мужиком телеграмме Иван Афанасьевич нашел короткий приказ от владелицы имения, Виктории Павловны Бурмысловой: по получении телеграммы выехать в губернский город Рюриков, где она сейчас находится и ждет его к себе по важному делу завтра, не позже двенадцати часов дня, а потому велит не откладывать ни минуты и торопиться...

Телеграмма эта взволновала и испугала Ивана Афанасьевича... Известия и распоряжения от Бурмысловой он получал не то, что очень редко, а можно сказать— почти никогда не получал, и потому очень их боялся, как боится всякой неожиданности человек, не уверенный в месте, на котором он находится, и чувствующий, что сохранением этого места он обязан скорее добродушию хозяйки, чем собственным заслугам и достоинствам...

— Ужли от барышни? — зевая и почесывая плечами о стену, спросила его громадная Анистья.

Иван Афанасьевич, молча, с значительным видом, кивнул головою, потом перечитал телеграмму с начала до конца и тогда сказал:

— Да... Вот... в городе находится... Требуется немедленно к себе...

Его испуг и смущение передались и Анистье.

— Зачем бы? — спросила она.

Иван Афанасьевич только плечами пожал:

— Да я то откуда же могу знать? — огрызнулся он с неудовольствием.

— То то вот кабы знатье... — добродушно возжалела Анисья. — Кабы знатье, стало быть, к добру или худу...

— Ты на пальцах погадай, — буркнул Иван Афанасьевич, вчитываясь в каждое слово телеграммы и оценивая каждую букву с таким усердием, что даже лысина его задымилась испариною и нос разгорелся, как зардевшаяся головешка.

Анисья приняла его иронический совет, как серьезное приказание, зажмурилась, свела пальцы, — не сошлись.

— К худу, — сказала она равнодушно, качая головою. — Как есть, к худу. Должно быть, Афанасьевич, крышка приходит тебе.

— Ври больше! Крышка! — хмыкнул Иван Афанасьевич в усы, испытывая глазами телеграмму.

— И очень просто, — возразила Анисья, с тем же несокрушимым спокойствием, заставляя стену вздрагивать мерным трением могучих своих лопаток, — то есть чего проще быть не может... Надоело, видать, барышне кормить тебя, дармоеда...

— Сама больно рабочая!

— Не иначе, что зовет тебя, чтобы рассчитать; пожаловался, видно, на тебя кто-нибудь из недругов твоих... О-хо-хо! Жалко мне тебя, Афанасьевич: скверное выходит твое дело, — придется тебе среди зимы идти на мороз...

— Чего каркаешь? а? ну, скажи, пожалуйста, чего ты раскаркалась, как ворона? — обозлился и струсил Иван Афанасьевич, бледнея в лице, так что один нос продолжал светиться заревом. — На мороз... скажет тоже!.. Зажале-ла!... На мороз... Себя жалеи! Коли на мороз, то не один пойду... с тобою вместе!

— Она! — равнодушно ответила Ани-сья, — а мне то что? С какой такой кстати? Врущий ты, врущий и есть! Я, брат, барышни-на хлеба даром не ем, сама в себе вольный че-ловек и сама на себя, стало быть, потрафляю... Думаешь: счастье великое мне здесь с тобою, филином, в совах-то вдвоем сидеть, да волков под забором слушать? Так уж только — жале-ючи, потому что характер мой чрезвычайно какой добрый... А то — собрала узел, да и на село... Слава те Господи, не чужая в Правосле, своих дворов уроженка, родни полно село... Мне, брат, когда захочу, все ворота настезь,

потому я человек рабочий, надобный...

— Распелась! — с досадою оборвал ее Иван Афанасьевич, но она, зевая, договорила:

— Но только никогда я не надеюсь этого, чтобы барышня меня отпустила... Разве что именье продаст и сама лишится родового своего угла... А то — вряд ли, никак не ожидаю этого от нее... Потому что она — мне — скажем — разве госпожа? Друг! лучше сестры родной!.. Я, брат, за барышню в огонь и воду... И это ей довольно известно, насколько я преданная...

Она всхлипнула и подняла передник к глазам.

— Последний-то год, как зимовала она здесь, — помнишь? Я ей не то, что слуга, а можно сказать — даже вместо печи была... Морозы когда стукнули, — дом дырявый, в комнатах по ночам вода мерзла... Бывало, спальню то самоварами греешь-греешь... нет, хоть бы ты что!.. Только тем и спасались, бывало, что стелились вместе, — барышня, Арина Федотовна покойница, да я — все трое под один тулуп... Нетто барышня позабудет это, как мы вместе бедовали? Ни в жизнь. Не та-

кой человек... Никогда я от барышни этого не жду, чтобы она меня, бабу, обидела...

— И меня ей обижать не за что, — проворчал Иван Афанасьевич. — А что — если кто ей наговорил на меня, так это пустое дело, взять с меня нечего, мои отчеты всегда готовы...

Анисья сейчас же передалась на его сторону, опустила передник от высохших глаз и смигивая последние дешевые слезы, оглушительно захохотала:

— Ох, уж ты! Уморить хочешь. Скажет тоже: отчеты... В чем отчитываться то?.. Врущий ты, врущий и есть... Живем на дыре, стережем пустое место... Тут поневоле честен будешь... Ваньку Каина посади на это место, так и тот не найдет, что украсть.

— А если так, то чего же ты меня пугаешь? — вскинулся Иван Афанасьевич. — Жалованье тебе, что ли, домовою платит, чтобы наводить на меня ужас и печальный дух?

На это фантастическое предположение Анисья не ответила, потому что уже опять мечтательно чесалась о стену и жмурилась от удовольствия, гудя певучим голосом:

— Ах, и повидала бы я ее, любезную ба-

рышню мою, ах, уж и посмотрела бы, какая она теперь, красавица наша, стала... И откуда только взялась? Скоро два года, как ни слуха, ни духа от нее не было...

— Два?! Третий к концу идет... четвертый не пошел ли? — поправил озабоченный Иван Афанасьевич. — Она от нас отъехала после похорон, — когда старая барыня, тетенька, скончалась, а теперь скоро уже два года будет, как Арину убили...

— Не к ночи будь сказано! — зевнула Ани-сья. — Эка, в самом деле, время то бежит...

— А ты думала, стоять будет? Нет, извини: не моложе становимся, а старше...

— Ты, однако, как полагаешь: сама то барышня пожалует в наши места или нет?

— А кто ж ее знает?.. Она шалая, от нее станется... Однако, думаю, что нет... Потому что — если бы собиралась сюда, то зачем бы ей меня вызывать в Рюриков?.. Ну, и опять не все же она без памяти: знает, в каком состоянии находится дом... Ни одной комнаты нет, в которой сейчас жить можно было бы... Только вот во флигелишке этом и держится еще кое какое тепло...

— Только уж ты, Афанасьевич, если она думает к нам быть, не отговаривай! — жалобно пропела Анисья. — Смерть хочется ее, голу-бушку нашу, повидать.

— Ну, да, как же! Для твоего удовольствия заморозить ее прикажешь, либо тифом наградить...

— Ты когда же думаешь ехать то?

— Да мешкать нечего... — с большим неудовольствием пробормотал Иван Афанасьевич, снова перечитывая телеграмму. Тре-бует властно... Вот — мужиченка оттает ма-лость, так вместе пошагаем на село...

— Лошадь наймешь?

— Нет, вот так, на станции за семь верст, но сугробам, через вьюгу, пешком пойду!.. — вышел из себя Иван Афанасьевич, что на Анисью не произвело, однако, никакого впе-чатления, ибо она лишь возразила с невозму-тимым хладнокровием:

— Трудно! Навряд кто повезет. Пора позд-няя. Я, чай, на селе все давно спать полегли... И не достучишься...

— Ничего, попытаю счастья у Лаптева... Как ни как, а поспевать надо... Виктория Пав-

ловна требует редко, но — уж если требует, то — подавай, не зевай...

Часа полтора спустя, крепко ругаясь, ковыляя по снегу, проваливаясь в сугробы и оступаясь с дороги. Иван Афанасьевич плелся вслед за посыльным на его коньке, придерживаясь то за костреч, то за репицу, на село, совершенно заплеванное метелью, которая от перемены ветра вдруг стала, из сухой и колючей, мокрою и липкою. Здесь ему повезло счастье. У Лаптева, знакомого мужика, промышлявшего зимним извозом, он нашел не только готовую, но даже запряженную пару, которую Лаптев обрядил было для господ из ближнего, за четыре версты, села Тинькова, да они испугались погоды и прислали нарочного — сказать, что не поедут. И вот, Иван Афанасьевич потрепался на бодрых коньках по недурно разъезженному проселку, просекою, между деревьями, похожими на привидения, сквозь темную ночь, начавшую, как только смягкла и улеглась вьюга, проступать яркими изумрудными звездами. Станция отстояла от Правослы верстах в семи... По ухабам и заносам ехать было трудно... Отшибло поясницу,

наколотило затылок о задок кибитки... Тем не менее, Иван Афанасьевич приехал задолго до поезда... Станция была— третьего разряда, курьерские и скорые поезда на ней не останавливались... Поэтому ночной пассажирский поезд собирал народа видимо невидимо... Зал третьего класса, — тесный, душный, вонючий, с тускло мерцающими от удушья лампадами в углу, перед образом святителей Зосимы и Савватия, — был переполнен... Краснолицые и зеленолицые от усталости и дурного воздуха, мужчины в шапках и женщины в пестрых платках толпились тесно, качающиеся массой, заполняя маленькую комнату, Чуть не плечо к плечу, сидя на скамьях, лежа на полу, стоя во всех углах, только что друг на друга не влезая... Крик и шум гудели невообразимые, точно с грохотом, не переставая, сыпались с горы тяжелые камни... Иван Афанасьевич, проехавший весь путь, почти его не заметив от тревожных своих дум, даже сразу очумел было от этого гвалта. Отряхивая плохую свою шубенку, оливкового цвета, смахивая мокрый снег, нападавший с деревьев на лысую коричневую шапченку, снимая с

усов и бороды ледяные сосульки, он протолкался прямо к буфетной стойке...

Буфетчица, — пожилая толстая женщина, желтолицая и одутловатая от привычки к бессонным ночам, небольшого роста и очень степенного и вместе, очень грешного вида, надо думать, копые-баба, прожившая свои молодые годы не без пестрых приключений и каких-каких только видов не выдавшая на белом свете, — встретила нового прибывшего, как старого знакомого и привычного гостя, но нельзя сказать, чтобы с большим почтением. В колючих глазах ее, на терновые ягоды похожих, сразу написались цифры, которые уже должен ей этот подходящий человек. Эти же грозные цифры отразились в смущенно согбенной фигуре Ивана Афанасьевича, в заискивающем выражении виноватых его глазок, проворно заморгавших редкими ресницами на красных веках, в дробном смешке и в усиленном потирании рук, во всей позе и во всем движении, покуда он приближался, хихикая и жалуясь на бесовскую погоду, совершенно его заморозившую, и на волков, которых и помину не было в дрянном, полувывруб-

ленном, так, что насквозь видать было, ле-
сишке между Правослою и станцией, но кото-
рые, тем не менее, будто бы, едва его, Ивана
Афанасьевича, вместе с ямщиком и с ло-
шадьми не съели... Если по платью встре-
чать, то уважать и почитать нового своего го-
стя степенная буфетчица, действительно, не
имела никакого основания: яркий электриче-
ский свет, наполнявший станцию, как то осо-
бенно обидно выдавал, насколько Иван Афа-
насьевич человек потертый. Лысая шапчен-
ка, в незапамятные времена — возможно,
что — бывшая поддельною котиковою, и пле-
шивая, зеленоватого сукна, линялая шубенка,
на крашенных зайцах, которые тщетно усили-
вались притвориться волками, и с воротни-
ком «американского зверя», который только
что не лаял на плечах хозяина своего, необы-
чайно складно, необходимо, можно сказать,
гармонировали с самим Иваном Афанасьевичем,
в бесконечной поношенности его крас-
ноносого лица, в темно рыжих с сильною
проседью усах и бороденке, которую он стриг
довольно франтовским клинушкой, в блудли-
вой растерянности бегающих зеленоватых

глазок, в походке, обличавшей слабые ноги, гнущиеся в коленях, расшатанных алкоголем и распутством... Телеграмма, показанная им, несколько смягчила суровый взгляд желтолицей буфетчицы. Она сообразила:

— Барышня в городе, вызывает к себе приказчика, стало быть, авось, привезла какие-нибудь деньги и, наконец, сколько-нибудь из денег этих перепадет и ей, буфетчице, в уплату за зимний забор правосленских усадебных прощелыг, по которому давно уже не поступало ни единой копейки...

— Ишь ты... как спешно... — удостоила заметить она. — Не знаете, зачем понадобились?

Иван Афанасьевич не знал. И, как подумал о том, что не знает, то в глазах его опять выразился невольный страх за свою судьбу, что буфетчица, как опытный психолог, сразу угадала...

— Душонка то, видно, как овечий хвост дрожит? — ухмыльнулась она, прищуривая лукавый левый глаз и наливая Ивану Афанасьевичу рюмку водки. Он отвечал ей жалкою улыбкою, в которой смешивались и трусость

и хвастовство человека, потерявшего почву под ногами, но не желающего в том удостовериться... пропасть мол, так пропасть! лететь так лететь!

— Ох, должно быть, уж и много же грехов против госпожи накопили, вы, Афанасьевич, — продолжала дразнить его буфетчица...

Он, проглотив рюмку водки, сунул ее по стойке неопределенным жестом, выражавшим одновременно и просьбу налить другую, и — буде буфетчица найдет, что жирно будет, — готовность сделать вид, будто и не думал просить...

— Да что же, Ликонида Тимофеевна, — выговорил он козлиным вежливым голоском, усиливаясь быть веселым... — Как без греха проживешь? Я и не отрекаюсь. Живой человек, пить-есть надо, жалованья не получаю, за квартиру живу, питайся тоже — чем хочешь, как птица небесная, что промыслил из усадьбы, тем и сыт... В подобных условиях жизни, с нашего брата безгрешной жизни спрашивать нельзя...

— Так и барышне ответишь? — насмешливо спросила, переходя с холодного вы на сер-

дечное ты, буфетчица, — удостоила заметить подsunутую рюмку и благосклонно ее наполнила.

Иван Афанасьевич хихикнул.

— Так и барышне отвечу... Что же, я не боюсь... Виктория Павловна человек справедливый... Она может рассудить... Вот, ежели бы покойная ведьма жива была...

— Ну, брат, ежели бы покойная ведьма была жива, так ты управления и не понюхал бы, — выразительно произнесла буфетчица, зевая, и налила ему третью рюмку, с предупреждением:

— А больше не проси... уж и так что-то я больно расщедрилась... Страница целая у меня за тобою в книге мелким-на-мелко исписана... Муж то, когда в субботу берет книгу проверить, так уж ругает меня, ругает: что ты, говорит, старая дура, прекрасными глазами его пленена, что ли? Какой он гость? За что, про что ему, ледащему, подобный кредит? Вот, как пропадут твои денежки, так будешь знать, глупое твое бабье сердце, как ихнего брата жалеть, да прикармливать...

— Ликонида Тимофевна, когда же за нами

пропадало? — пискнул Иван Афанасьевич каким-то даже мышинным будто голоском...

— Да — ежели и не пропадет, то, все-таки, товару расход, а деньги в оборот не поступают... учительно заметила буфетчица. Не платишь годами, а проценты то, ведь, на тебя не насчитаешь: у меня не вольный торг, такция положена и начальством в Петербурге через правление утверждена... Лишнего за подождание с тебя не возьмешь... Ну, да авось, Бог милостив, не в последний раз видимся и еще сочтемся... А насчет того, что барышня тебя вызывает, так, может быть, ты еще и напрасно робеешь...

— Да я нисколько не робею, — взъершился было Иван Афанасьевич.

Буфетчица отрицательно качнула головою и сделала ему глазами такой решительный знак, что Иван Афанасьевич сразу перестал возражать и свял, как тот цветок, что, голову склонив на стебелек, уныло ждал своей кончины.

— Робеешь, это ты мне не говори... Это я вижу: совсем ты всякого мужества решился... А я тебе говорю: погоди... Не для того ж она не

весть откуда прискакала, чтобы в самом деле учитывать тебя в хоромах своих... есть чего! Я того мнения, не имение ли она продать приехала?

Иван Афанасьевич поднял палец вверх:
— О!..

Приложил к красному носу своему и задумался, пораженный новою идеею. Предположения этого он не считал невозможным.

— Давно бы, собственно говоря, пора ей, — сказала буфетчица. — Что, в самом деле? Одна маята. Еще кабы жила здесь, в прекрасных палестинах то наших. А то все равно — скитается без вести, где день, где ночь. А здесь только рухлядь стоит, гнильем гниет, да в щепу разваливается... На что похоже? Ехала я намедни мимо, — диву далась... Как еще вы живы? Костер, суций костер стоит... Только спички ждет... Вот, — как нибудь ребятишки побалуется огнем у забора, только вы и видели хоромы ваши прелестные...

— Чего уж там ребятишки, Ликонида Тимофеевна! — льстиво и в тон подхватил Иван Афанасьевич козлиным хохочущим голоском. — Чего ребятишки... Сами боимся, не

спалить бы... В дому, верите ли, с осени не смеем печи топить; все развалились... огонь сквозь изразцы так и пышет... Прошлую зиму еще пробовали топить, — так Анисья у печи до последнего огня с ведром стояла... Потому что — не угляди, так кругом и займется полымем... Ну, а постройка, вы знаете, какая обветшала... Ведь это такое трухляво загорится, так и сами не выскочим, да, мало того, и село по ветру пустим... Теперь только и топлю, что у себя во флигельке, — знаете ту спальню, где покойница тетушка барышнина померла, ну, и кухню при ней... для себя и Анисьи... А остальное — без внимания — не натопишься, пусть промерзает... Намедни вошел в дом: холоднее, чем на улице, — право! Углы промерзли, по стенам иней, а в столовой, в углу, через щели сугроб намело... Честное слово благородного человека! Что из всего этого по весне будет, так Господи упаси и помилуй, а я и думать не смею... Хорошо, коли сползет оползнем, — а, вдруг, разом ухнет? Батюшки!.. Со всем конец пришел... Капут кранкен... ферло-рен ди ганце постройка!

— Беспременно госпоже Бурмысловой

свою хибарку надо продать, — поддержала buffetчица. — Ты бы ей советовал... И чего только держится она за мусор этот?.. И почище ее кругом господа жили, да и те почти все уже с обузами своими усадебными разделались... Да и поторапливать бы, — сразу понизив голос, сказала она. Обузы много, а прока нет... Пожалуй, если времена то пойдут все таким же путем да шагом, как сейчас, то — через год, другой и не продать уже... Не найти дурака в покупатели то... Потому что времена наступают сомнительные, жуткие, а мужички у нас — сам знаешь, каков народец: новгородчина, вольница... Пойдет шёпот, да ропот, подует с Питера фабричным ветром, — так, того гляди, без всякой платы отберут... Народ то шумит... Станция место бойкое. Мы слышим... — шепнула она, подмигивая Ивану Афанасьевичу смышленными глазами.

— Ты, Иван Афанасьевич, ежели она окажется в подобных мыслях, — уж я на тебя надеюсь, по дружбе, — не оставь меня без весточки. Ты не бойся: цену мы с мужем дадим не хуже других, потому что имение довольно нам известное... Запущено ныне, грош ему це-

на, конечно, что с того начать придется, чтобы всю постройку снести... Да мы на том не стоим, а есть наше такое желание, чтобы устроить для себя угол на предмет будущей старости лет... А тебя тоже постараемся убоготворить за комиссию, как следует... Уж ты верь, обижен не будешь... Не первый год друга друга знаем... Ты— нам, а мы — тебе: чтобы, знаешь, по приятельскому, по соседскому, чтобы рука руку мыла и обе чисты были...

Иван Афанасьевич, выслушав это предложение, мгновенно учел его, как возможность получить еще несколько рюмок водки — притом теперь уже даровых, — и приосанился... Прежде всего он наврал буфетчице, что, пожалуй, она права в своих ожиданиях; но всей вероятности, барышня, действительно, вызывает его именно затем, что продает Правослу, так как теперь он вспомнил, что, месяц тому назад, он имел от барышни письмо, в котором Виктория Павловна писала, что ей уже надоело возиться с Правослою и — вместо того, чтобы иметь с нее доход, тратить на нее свои же заработанные деньги... Наобещав буфетчице, что, в случае желания Виктории

Павловны непременно продать Правослу, он всецело будет на ее стороне и употребит все усилия для того, чтобы имение не минуло ее рук, Иван Афанасьевич очень мило провел время на станции до прихода поезда, который должен был унести его, за сорок семь верст, в Рюриков — навстречу неизвестному еще поручению...

В душном вагонном тепле Иван Афанасьевич как-то сразу успокоился, и отошел от него терзавший его страх. Водка, выпитая им на полустанке, начала приятно его греть и навела привычные, веселые мысли. Из угла своего, прижатый к стенке дюжим попом в меховой рясе, а насупротив имея долговязого студента, которого острые колени толкались в его колени, Иван Афанасьевич, как хорек из норки, поглядывал по вагону, оценивая едущих женщин глазами и опытом старого потаскуна и волокиты и думая, что, если бы переезд до губернского города был дольше, да не так бы полон был вагон народом, непременно бы он которую ни будь «подманул». Дело знакомое, бывалое: только пошептаться с кондуктором и войти в компанию с брига-

дой... бутылка водки, дюжина пива... сейчас предоставят служебное отделение, либо откроют во втором классе купе: блаженствуй!.. Вон ту бы белокуренькую девчонку, что заплетает на ночь жиденькую косичку свою, держа голубую ленточку в зубах: подросток еще, не сложилась, тощий цыпленок порционный, а уже видать, что не невинная, — ишь глаза то какую синевой окружила!.. Либо вон ту кривую толстуху в голубой кофте с зелеными линялыми пятнами по бокам: надо думать, чьянибудь господская няня или экономка... в доме такие строги — не подойди к ней, солидность свою соблюдают и младшим пример дают... а вот этак, в дороге, нет их охотнее на амур с случайным проезжим человеком, чтобы, значит, здравствуй и прощай, моя твою не видала, а и увидала — не признала... Весноватая сборщица на монастырь с книжкой... Купеческая вдовица либо мещанка из зажиточных, с утиным носиком, вся в черном — из тех, что мыкают свое вдовье горе по мужским обителям... А уж всех доступнее вон та черная с пером шляпа, как воронье гнездо, над желтым личиком с дерзкими бес-

цветными глазами... сразу видать, что за птица! была на побывке в родной деревне, а теперь опять в Питер едет хвост трепать по панели... С этою и кондуктора угощать не надо, только вызвать на тормоз, — рубль посулил, а после обманул, — небось, скандала в поезде поднять не посмеет...

И Иван Афанасьевич не утерпел, подмигнул пышно-перой девице. Но проститутка беглым профессиональным взглядом скользнула по его облезлой шапченке и потертой шубейке бутылочного цвета, и отвернулась к окну, не удостоив заигрывающего претендента даже презрением... Это оскорбило Ивана Афанасьевича, он тоже отвернулся к своему окну и, с внезапною сердитою слезливостью, замигал воспаленными глазами в ночную темноту, океаном струившуюся навстречу поезду мимо густо-потного, дребезжащего в сотрясении громахающей оконницы, стекла... И думалось ему о том, что, вот, он стар, нищ, оборван, унижен, противен, — и даже какая-нибудь проститутка жалкая, жмущаяся, подобно ему самому, в уголке вагона третьего класса и, наверное, едущая даром, на заячьем

положении, милостями бригады, — известно чем купленными — и та от него отворачивается, брезгует им, и для нее он уже не мужчина...

— Дрянь!., очень ты мне нужна!., как же!., не видал я таких!.. У меня, может быть, бывали женщины, которых князьям и графам не видать...

И торжествующие, злорадно и весело замелькавшие, воспоминания прошедшей молодости, удачливой, богатой, проказливой, пьяной и блудливой, съели огорченный гнев...

— Да — что молодость! — усмехался он про себя, — тогда — диво ли? Я в гору шел, богат был, собою не-дурен, в обществе вращался, — известно, жених для хороших невест, для барышек милый любовник... Что молодость! Давний сон... Иной раз подумаешь, — сдается, может быть, и не было ее вовсе... Может быть, сразу так и началась жизнь-то: нищим, с запачканным формуляром, в скитании по чужим людям, которые кое как, с грехом пополам, кормят хлебом, поят водкою, дарят обносками, суют в руку мелкие подачки и дают

упавшему человеку какой-нибудь кров над головою, и всем тем покупают его и в шуты, и в лакеи, и в сводники... Сколько лет тянется подобная жизнь? Да уж близко к тому, чтобы перегнуть на третий десяток... Довольно времени и было отчего поколеть. А он — вот, хоть пощупай, жив и бодрого духа не теряет! А что помогло ему выдержать, что скрашивало ему это его собачье житье? Женщины! Без них — лопнул бы в каторге этой приживальщицкой на первый же год, как осенила его судьба разорением и позором и выкинула за круг порядочных людей без надежды на возвращение. Без женщин, заступниц и баловниц, давно босячил бы, а, того вернее, окошел бы где-нибудь под забором... А с ними...

И сердце в Иване Афанасьевиче радостно и самодовольно усмехнулось:

— Брось ты меня на остров необитаемый, к эфиопам каким-нибудь людоедным, — я и там не погибну, потому что уж найдется же такая черномазая Аида, которая меня пожалует и не оставит без ласки... не даст пропасть червем капустным... Вон как теперь Анисья, облом трехколенный... Она работает, а я с то-

го живу... А — по существу рассуждая — что мне еще нужно? Ничего такого, в чем бы я не мог обойтись самою малостью. Жил в палатах — живу в мурье, ел фрикассен с бламанжеями — тарань лопаю и предоволен, пил шампанское и ликеры дорогие — теперь на двадцатку водки променяю ведро хоть самого, что ни есть, либфрауенмильху и не почувствую себя в убытке, ходил во фраках и визитках от лучших портных, а ныне — в такой капот облачен, что можно сказать: просто страм-пальто!.. даже вон уличная тварь поглядела и рванью коричневою меня поняла, закобенилась. И сделайте ваше одолжение, и не надо... Ха-ха-ха!.. Ваше при вас и останется, а — что было наше, так этого уже от нас не отнять; прошлое уничтожить — дудки-с! — сам Господь Бог не в состоянии.

И еще картина встала пред ним — самая значительная и яркая, самая важная и тайная во всей его жизни... Тринадцать лет назад... Знойный лесной полдень... Стоит под вековым дубом на глухой поляне, от которой ближе двух верст — ни жилья человеческого, она — нынешняя Ивана Афанасьевича хозяйка, Вик-

тория Павловна Бурмыслова, которой теперь он паче огня боится и которой загадочная повелительная телеграмма, лежащая в его бумажнике, заставляет его сердце стонать от испуга и виться, точно бересту в печи... Девятнадцать лет ей тогда было, царь-девице, красавице из красавиц, умнице-разумнице, своевольнице, горячке... И кто только за нею не ухаживал! каких красавцев, богатырей и умников она у ног своих не видала. Князь Белосвинский, из первых вельмож, миллионер, имений — герцогство целое, сватался-сватался, а она ему — все отказ, да отказ... так он, любви то не могли преодолеть, и остался на весь век неженатым, гуляет где то за границею, в холостом состоянии, и — не дай Бог помрет, тысячелетний род его прекратится... Ну, Ивану ли Афанасьевичу было зариться на такую царственную паву?.. Да и не терпела она его, в глаза обзывала — из мифологии — сатиром блудливым... А он — из всех мужчин, которые вокруг нее толпились, молясь на нее, как на свое божество, — один проник в ее истинную натуру и решил попробовать своего счастья... И, в душный лесной полдень, на

глухой поляне под вековым дубом, умел такие слова сказать гордой красавице, такую страстную чарою помутить в ней разум, такую властною мужского ласкою ее обойти, что, — сама не своя — как овечка, стала в руках его строптивая львица, божество живое, послушную рабою пошла за ним в глубь лесную и там, на дне оврага Синдеевского, предала ему свою девичью красу... И потом, что еще лета оставалось, была она его любовницей — тайною, жадною и пламенной, покуда не пришла осень и не увезла красавицу в Петербург... И все кончилось... Как нитка оборвалась!

Жмурится Иван Афанасьевич и плывет перед ним прекрасно-смуглое тело, в солнечных, сквозь листья, кружках, будто из слоновой кости выточенное, сверкают глаза-брильянты, сверкают зубы-перлы в кораллах-устах.

— А теперь панельная дрянь нос воротит... Что? молодость? Чёрта ли! Мне тогда под сок подкатывало, и волос седой в бороде и на висках просвечивал, и лысина, хоть и невеликая еще, а уже обозначалась, и рубины эти

вот на носу, хоть не горели жаром, а уже поблескивали... И нищий я был такой же... И перед ее же поклонниками должен был дурака ломать... по целым ночам заставляли на гитаре играть ради хлеба насущного... при ней же и плясал, и через голову кувыркался, чтобы изверга Ореста Полуриябова или Федьку Наровича тешить!.. Да! Хи-хи-хи! Кому посмеешься, тому и поработаешь. Они по ней умирали, а она мне досталась... Что? Молодость? Нет, это не от молодости, а от счастья... Счастье мое, значит, было тогда со мною... а потом вот отвернулось счастье — и пошли мои бедушки да полубедушки...

Слишком четыре года не видал Виктории Павловны Иван Афанасьевич после того счастливого лета: она жила то в Петербурге, то в Москве, то в больших провинциальных городах и за границею, трудом зарабатывая жизнь, а бездоходным и обремененным долгами именишкой ее правила, с неограниченными полномочиями, бывшая нянька ее Арина Федотовна, по кличке — Молочница, которую кличку вышедший в люди сын Ариин, Ванечка, превратил в фамилию Молоч-

ницын... Впрочем, теперь уже и Молочницын исчез из природы. Викториним зовет себя. Намедни батюшка вычитал в газете «Свет», что был в Петербурге, в театре Буфф, бенефис любимца публики, молодого простака Викторина, театр был полон, бенефициант получил дорогие подарки и смешил публику до упаду!... Да-с! Не Молочницын Ванечка теперь, а Викторин... в честь Виктории Павловны выбрал имя себе... В гору идет! Большие капиталы загребать скоро будет.

А Ивана Афанасьевича те четыре года привели в большой упадок. После Виктории Павловны угораздила его нелегкая связаться с лавочницей из недалежного села Пурников — бабою озорною и пьющею, и закрутили они любовь такую веселую и бесшабашную, что — вернулся лавочник из Москвы, где должен был проживать по процессу, ан, в лавке ни товару, ни выручки, жена беременная и с круга спилась... Еле успел скрыться Иван Афанасьевич от ярости оскорбленного мужа. Лавочница от побоев выкинула и в три дня померла, а лавочник — суда ли испугался, затосковал ли от совести-мучительницы — похоро-

нив жену, в тот же вечер удавился... Драма эта имела то последствие, что Ивана Афанасьевича перестали пускать во многие дома, милостями которых он жил и кормился, и, опускаясь со ступеньки на ступеньку, дошел он до такой бедственной нищеты, что осенью 1896 года предвидел — в наступающую зиму остаться буквально без крова... В этом отчаянном положении, решился он прибегнуть к Виктории Павловне, которую ранее он, к счастью своему, никогда никакими материальными просьбами не беспокоил. Добыл ее адрес и написал ей прежалкое и препочтительное письмо, в котором имел такт ни словом, ни полсловом не намекнуть на то, что когда-то между ними было, а только, как человек, которому буквально некуда деваться, умолял ее разрешить ему поселиться в Правосле до приискания какого-нибудь места:

*Лишь до вешних только дней
Прокорми и обогрей!*

С своей стороны, в виде ответа на благодеяния, предлагал приставить его, как человека грамотного и привыкшего к счетам, в по-

мощь Арине Федотовне по управлению имением.

Долго путешествовало письмо Ивана Афанасьевича в погоне за Викторией Павловной, которая, в тот сезон, актерствуя в кочующей труппе крупного петербургского гастролера, быстро переезжала из города в город... Иван Афанасьевич готов был уже отчаяться, как вдруг откуда-то из за тридцати земель, не то из Благовещенска, не то из Хабаровска, не он, но Арина Федотовна получила распоряжение — устроить Ивана Афанасьевича в Правосле, по сколько то возможно без риска голодать самим... Арина Федотовна развела толстыми руками, хлопнула себя по жирным бедрам, обругалась крепко, но повиновалась... Иван Афанасьевич был водворен в одном из полуразрушенных флигельков усадьбы с тем, чтобы сам его ухитил... Для этого он ровно ничего не сделал, а помещением и положением своим, остался преддоволен. Никаких новых мест он не искал и не желал и год за годом жил себе, беспечный и ленивый, под осунувшимися досками закопченного потолка, который давно должен был бы упасть, од-

нако, почему то не падал, с печкою, которой уже лет пять пора было обвалиться, однако, она почему то не валилась. И, хотя дымила, когда ее зимою топили чуть ли не во все пазы изразцов своих, и на всех предметах в флигельке лежала, точно в черной избе, лоснящаяся копоть, — однако, Иван Афанасьевич ухитрялся в жилище своем даже не угорать... Так он существовал — что то ел и пил — откуда то всегда имел водку и папиросы — благодушествовал — и решительно ничего не делал, за исключением игры на гитаре, в которой упражнялся с утра до вечера, достигая совершенной виртуозности...

Бытие свое он почел бы безусловно счастливым, если бы находил в Правосле хоть малое удовлетворение господствующей страсти своей, — неукротимому женолюбию. Но Арина Федотовна блюла за ним в этом отношении с какою-то, будто ревнивою даже, злобою. И — душенек и милушек у Ивана Афанасьевича по окрестным селениям наклевывалось премного, но — стоило какой либо из них показаться во флигельке Ивана Афанасьевича, чтобы Арина Федотовна сию же ми-

нуту, будто духом святым, прознала и нагрязнула на место преступления, потрясая коромыслом, грозным орудием своих расправ, с жесткостью которого в энергической и сильной руке — увы! — очень скоро ознакомился Иван Афанасьевич...

Бабы этой умной, властной, насмешливой, злобно обуянной всеми демонами женской гордыни — он всегда потрухивал, потому что ходили о ней в народе зловещие слухи, в которых всего было понемножку — и о муже, отравленном после первой же супружеской драки, и о любовниках, странно умиравших вслед за неверностью, либо нескромною болтовнею, и о детях новорожденных, якобы спущенных в речку Осну. Не то, чтобы Иван Афанасьевич всем этим бредням верил, но то обстоятельство, что они ползли упорно и постоянно, как дым, которого не бывает без огня, действовало на воображение. Что-то есть! оплела какая-то угрюмая тайна эту сероглазую дородную бабу, в сорок лет со свежим тридцатилетним лицом, со взглядом в упор, пред которым опускались наглейшие встречные глаза, и с таким презрительным складом

румяного, свежего рта, что от иных его улыбок — тому, кто вызвал их, лучше бы провалиться на месте сквозь землю... Вдовела Арина Федотовна как будто очень скромно и честно, — решительно никаких открытых любовных приключений ее не всплывало на свежую воду, а молва, все-таки, не вразумляясь отсутствием улик, упорно стояла на своем:

— Из потаскух потаскуха, да и барышню-то свою развратила, на ту же дорожку свела...

И фантастически, бесконечно исчислялись предполагаемые любовники обеих. Иван Афанасьевич понимал, что этот вздор наобум мелеется. Но, так как одного-то любовника Виктории Павловны он знал слишком хорошо, и так как всем слишком очевидно было огромное, почти повелительное влияние Арины Федотовны на бывшую свою питомицу, то для него, если не было много вероятного, то и ничего не было невероятного в общем лепете: «барышню свою развратила и на свою дорожку свела»...

А совсем забоялся он Арины Федотовны с тех пор, как — в конце того давнего, счастливого своего любовного лета с барышней Бур-

мысловой — он, однажды, придя на условленное место лесных свиданий, узнал в ожидающей его, сидящей под дубом, женщине не Викторию Павловну, но Арину Федотовну.

— Не ожидал, сокол? — насмешливым утиным кряканьем раздался голос ее.

А он, растерявшись, молчал, глупо переминаясь с ноги на ногу по палому листу... Она же смотрела на него снизу вверх ненавистными серыми глазами, точно череп ими буравила и под черепною крышкою мысли ловила, — и говорила, поливая его словами, как холодным презрительным ядом:

— Хорош голубчик, очень хорош! Можно чести приписать!

И, так как он все еще только моргал глазами да мял губами, то продолжала:

— Ты что же это, мерзавец, с моей барышней сделал? а?

Тогда он, подстегнутый «мерзавцем», словно ленивая лошадь кнутом, набрался в обиду храбрости, чтобы ответить:

— Что же вы ругаетесь? Разве я нудил... ее воля...

Жирное лицо управительницы исказилось

холодною злобою и уничтожающим, медно шипящим голосом заговорила она, словно старые стенные часы долго и мерно били:

— Ее воля! Новость сказал. Известно: ее воля. Того еще недоставало, чтобы твоя воля была... ее воля... Да у тебя то, гнуса, откуда смелость взялась, чтобы этакую блажную волю ее принять и исполнить... Ровня ты ей? Пара ты ей? А?... Видя такую ее блажь, как ты посмел оставаться здесь, тварь ты! В леса дремучие должен был бежать, в пески сыпучие, в болота зыбучие — лучше, чем в подобном скандале ее увязить и самому увязнуть... Ну, да уж дело сделано, — нечего, значит, толковать. С тебя — взять нечего, а, что было, того ни Богу, ни чёрту не переделать. Это в сторону. А теперь, значит, слушай — да ухом, а не брюхом. Словечка не пророни и крепко на носу своем красном заруби. А то худо будет.

И, подступив к нему близко, так, что грудь груди коснулась, положила на плечи его цепкие, злые руки, — пальцы ястребиными когтями в плечи впились, — и — дурманя глаза его прямо в них уставленным змеиным взглядом, — звонила медным, ровным звуком:

— Была у Витеньки одна воля, теперь будет другая. Что было, то было. Вины на тебе не числим, наш грех, наш и ответ. А больше тому не быть. Понял? Кончено. На прошлом поклон, а вперед пожалуйста вон. Это я тебе и от барышни говорю, и от себя прибавляю. А ежели ты какой скандал в мыслях затеешь, либо озорничество...

Она тряхнула его, очарованного ее взглядом, так, что он невольно мотнул головою, как кукла, и продолжала:

— Умел пакостить — умей молчать. Не хвастай, ворона, что орлёна — гулёна. Рот на замок запри, да и ключ забрось. Потому что — это я тебе истинно говорю и хочешь Богом, хочешь дьяволом поклянусь: если дойдет до ушей моих хоть слово худой молвы про Витеньку по этим вашим похождениям, — зови попа да кайся во грехах, потому что только и было твоей жизни... Недели не пройдет с того часа, а ты будешь лежать на погосте. Это я тебе говорю, — так то, сокол ясный, нос красный! А про меня ты, коли сам не знаешь, людей спроси: бывало ли когда, чтобы Арина Молочница тратила слова даром. Я теперь с

тебя, покуда ты будешь в наших местах, глаз не спущу, — так ты и знай. А уедешь куда, не надейся, что далеко. Вздумаешь хвалиться да врать, — я тебя за тридевять земель в тридесятом царстве достану... от меня, как от судьбы: не уйдешь!..

Возвратясь с этого свидания, Иван Афанасьевич, впервые в жизни, узнал, что у него есть нервы, ибо с перепуга серьезно заболел лихорадкой... И, когда, изумленный такою неожиданностью, верный приятель и собутыльник его, фельдшер при земской больнице в селе Полустройках, спрашивал:

— Да что с тобою, Иван? Или ты в лесу лешего встретил?

Иван Афанасьевич только головою мотал, да руками отмахивался, а про себя думал:

— Лешего не лешего, а ведьму — с тем возьмите!

Большой страх, который внушала ему Арина Федотовна, был главною причиною того, что, когда стряслось несчастье в Пурникове и растерял Иван Афанасьевич своих благодетелей и покровителей, он предпочел опуститься до последнего упадка, только бы не обра-

титься к милости Виктории Павловны, хотя был уверен, что она, по доброте своей и великодушию, сжадется над ним скорее и проще, чем кто либо. Но Правосла, под властью Арины Федотовны, представлялась ему чем-то вроде пасти адовой, в которую только попади, а выхода назад не будет...

— Съест меня змеища эта... — думал он. — Поработит!

Но когда холод и голод, приближаясь, взглянули в глаза, он струсил их больше змеищи и пошел к адовой пасти на поклон...

Ожидания его сбылись только отчасти. Арина Федотовна, действительно, приняла его, презрительнее чего уже нельзя, и продолжала держать его в черном теле все время, что он жил в Правосле, — но — ни к каким своим делам и счетам она его не подпустила и вообще никакими обязанностями его не обременила. А обленившемуся, стареющему человеку это было первое дело. Осень и зиму протренькал на гитаре, весну проловил на силках для певчей птицы, лето пробродил за ягодами и грибами, попутно вступая в романчики с ягодницами и грибовницами, — так

слагался зоологический год Ивана Афанасьевича. И если бы он еще не боялся огнестрельного оружия и был охотником, то в существовании своем он, правду сказать, разве только возрастом да красным носом разнился бы от знаменитого лейтенанта Глана, который в ту пору уже народился на свет, но Ивану Афанасьевичу известен, конечно, не был, да и по сю пору остается неизвестным. Ибо с тех пор, как Иван Афанасьевич, в юности, окончил какой-то курс какого-то учения и получил соответственный диплом, он не взял ни единой книги в руки, кроме разве «Запрещенных русских стихотворений» и «Русского Эрота», замасленные и разрозненные страницы которых хранились где то на дне его сундучка, а также — в недрах его памяти... В этом зоологическом бытии Арина Федотовна ему совершенно не препятствовала, за исключением все того же строгого запрета:

— На стороне амурься с кем хочешь, как хочешь, но в усадьбе — ни-ни-ни! Заведешь разврат, нагишом в сугроб высажу...

На дело же никакое она не употребляла его даже как бы с подчеркнутою нарочно-

стью: вот, дескать, держим неизвестно для чего на шее своей несчастного дармоеда, лежебока никуда негодного, которому бы только жрать, да пить, да по кустам девок подлавливать...

И, вдруг, в один день, Иван Афанасьевич понадобился. Пришла к нему во флигель — не вызвала к себе, а сама пришла — Арина Федотовна, ругательски его изругала за сор на полу и копоть на стенах, заставила на своих глазах вытереть мокрую тряпкою стул, на который затем и села, а, сев, спросила:

— Ты, ведь, Афанасьевич, по науке своей ахтахтехтор?

Иван Афанасьевич, подумав, усмехнулся, точно его спросили о другом человеке из Ардовых времен, и отвечал, что, действительно, было время, когда он был архитектором, но собственно, ничего никогда не строил, а только служил при управлении, откуда и вылетел, по несправедливостям начальства, настолько лютого, что мало было еще той ненависти к нему, чтобы выгнать, — оно его еще под суд уpekло и в конец разорило казенными начетами...

— А ты бы крал меньше, — остановила его ничуть неразжалобленная Арина Федотовна. — Ну, всех твоих мошенств не переслушаешь... Но, коль скоро ты ахтихтехтор, можешь ли ты, например, осмотреть дом, который к продаже, и определить ему настоящую цену?

Иван Афанасьевич мог. Тогда Ирина Федотовна приказала ему немедленно собираться в дорогу и ехать в «губернию», где в настоящее время находится, только что прибыв, сама барышня Виктория Павловна, приехавшая из Сибири с тем, чтобы продать свой городской дом и уже имеющая на него покупателя... Сама барышня в этом деле ничего не смыслит; она, Арина, человек деревенский и грамоте не знает, на словах никакого адвоката не боится, а на бумаге ее и дурак обойдет; советчиков же и сводчиков в губернии хотя много, но барышня им не доверяет, а на Ивана Афанасьевича надеется, что он, памятуя хлеб-соль и все благодеяния, не окажется против нее свиньей. и проведет дело по совести...

И на завтра, Иван Афанасьевич — вот совершенно так же, как теперь, даже в той же шапке и шубейке, только поновее они были,

даже с тем же самым ночным поездом — ехал в губернию в таком же, тесно наполненном людьми и трясучем вагоне. И только мысли в голове были у него тогда другие — куда бодрее и веселее, чем сейчас...

Тогда он ехал с большим нетерпением и любопытством. Свидание, которое ему предстояло с Викторией Павловной было первым после тех летних, так внезапно и решительно оборванных появлением Арины Федотовны, и поэтому думать о Виктории Павловне значило для Ивана Афанасьевича вспоминать, как он видел ее в последний раз... Красная шелковая кофточка на зеленой траве... солнечные кружки на теле цвета слоновой кости... бриллиантовые глаза, гаснущие под дремучими ресницами... стройные руки, обвитые вокруг его шеи... смешливый взаимный шепот бесстыдных слов, передающийся из целуемых уст в целующие уста... и дикие вздохи вакханки, схваченной сатиром... И когда Иван Афанасьевич вспоминал все это, то в любопытство свидания вползала лукавою змейкою и робкая, блудливая мечтишка:

— А вдруг опять?..

Что же? Переменилось-то, сдается, немного... Виктория Павловна по-прежнему не замужем, человек свободный, по-прежнему живет гордо, независимо, ни с чьим чужим мнением не считаясь, по-прежнему молва приписывает ей все новых и новых любовников, по-прежнему не зная, кто они... по-прежнему, значит, есть у нее кто-нибудь настоящий тайный, вроде того, как был он в то лето в Правосле... И почему бы теперь, когда она, измотавшись по свету и профершпилившись, — вона! дом продает, — возвращается в родные места с очевидным намерением в них поселиться, почему бы ей не вспомнить о нем на этот случай, как о человеке испытанной скромности, и опять не поиграть в русалку с лешим? Ну, уж если... уж если... И вся его утроба сладострастно играла и хихикала воображением проснувшихся надежд...

Увы! Все его игривые мечты разлетелись, как дух под северным ветром, от первого же взгляда на Викторию Павловну. Если четыре года тому назад звали ее царь-девицей, то теперь перед изумленным Иван Афанасьевичем явилась уже, во-истину, царица — из ца-

риц царица — во всем величии созревшей, державной красоты, с глубокими, полными опыта и силы, глазами, каждым взглядом кладущими непроходимую пропасть между собою и всякою попыткой к фамильярности. Разговор ее был деловой, ледяной. Иван Афанасьевич сразу встряхнулся, послал своим мечтам дурака и покладисто вошел в тон послушного и исполнительного поверенного, беспрекословно готового творить волю доверительницы. Впрочем, обращалась с ним Виктория Павловна очень любезно и ласково, дала ему немножко денег, чтобы поправить ответшавший гардероб, настояла, чтобы он переехал с постоянного двора в ту же хорошую гостиницу, где она сама стояла, и даже приглашала его несколько раз завтракать и обедать вдвоем с нею, у нее в номере. Но — когда, ободренный, он однажды, все-таки, попробовал смотреть на нее прежними глазами, прежним голоском говорить и прежним смешком хихикать, — то Виктория Павловна только посмотрела на него не — то, чтобы сердито, а... вдруг Иван Афанасьевич, бедный, почувствовал, будто она где то этак на луне

или, по крайней мере, на вершине горы снежной, а он, вроде лягушки, квакает вниз, на неизмеримой глубине, в болоте... И, однако, при всем том, хоть ты что, казалось Ивану Афанасьевичу, что не для одной продажи дома вызвала его Виктория Павловна. Сдавалось ему, что держит она про себя что-то, его касающееся, — и сомневается, надо ли ему знать, и присматривается к нему с экзаменующим любопытством, — как лучше поступить: оставить про себя или заговорить?.. А дело, для которого Иван Афанасьевич был вызван из Правослы, не спорилось. Обещанный покупатель все что-то не ехал из Петербурга, и Ивану Афанасьевичу начинало уже казаться, что никакого покупателя нет и не было. Подозрения его превратились почти в уверенность, когда, на шестой день по его приезде, Виктория Павловна утром объявила ему, что сделка расстроилась и она продавать дом раздумала, извинилась за беспокойство и велела Ивану Афанасьевичу отправляться обратно в Правослу. А сама она намерена, дескать, ехать к приятельнице своей, госпоже Лабеус, в Крым в Гурзуф... При этом она казалась

очень расстроенною и взволнованною, так что Иван Афанасьевич даже подумал про себя:

— На что горда, а тоже, видно, не сладко, что денежки то мимо рук проплыли... Ишь, даже глаза наплаканы и личико пятнами вспыхивает...

Он уже простился, принял от Виктории Павловны разные поручения и наставления в Правослу для Арины Федотовны и откланивался, говоря разные почтительные и благодарственные слова, когда она, вдруг, резко оборвала его красноречие коротким приказом:

— Заприте дверь...

И, когда он, изумленный, повиновался, она, отдаляясь в глубину комнаты тем выразительным и грациозным, неопишуемым движением, которым умные и опытные женщины так хорошо умеют предостеречь мужчину, что остаются с ним вдвоем не для любовного секрета, — продолжала:

— Послушайте, Иван Афанасьевич... Я хочу сказать вам... Быть может, это лишнее и будет мне во вред... Но, во всяком случае, моя

совесть этого требует, чтобы я вам сказала... Вам я говорю, — понимаете? — но никому другому... Да... Судя по известиям, которые я имею о вас от Арины, вы, когда хотите, молчать умеете... Ну, так вот — я вам кое-что скажу, но вы молчите... никому ни под каким видом... Обещаете?.. Дайте слово, что будете молчать...

Иван Афанасьевич, в величайшем любопытстве и изумлении, поклялся всеми страшными клятвами и присягами, что будет нем, как рыба, и даже, протянул руку к стоявшему в углу фикусу, изъявил готовность съесть столько земли, сколько Виктория Павловна прикажет.

Тогда она, глубоко вздохнув и не глядя на него, сказала голосом упавшим, но как будто успокоенным:

— Хорошо... Помните же!.. Я вам поверю... Ну, вот...

Глубокий вздох опять прервал ее речь, и она с усилием, судорожною дрожью исказившим лицо, договорила:

— Дело касается, конечно, наших с вами милых походов в том лете...

Иван Афанасьевич, живо читая на лице ее, как она теперь относится к этим «милым похождениям», сделал шаг вперед, положил руку на сердце и сказал с благородством:

— Виктория Павловна, к чему вам себя беспокоить? Это — верьте слову — как в могиле... Не лучше ли вам не вспоминать?

Сам же думал в эту минуту;

— Не иначе, как она думает мне, в награду за скромность мою, отсыпать сотнягу-другую... Вот был бы ловкий коленкор!

Но Виктория Павловна, давась новым вздохом и бледная, возразила:

— Совсем нерадостно вспоминать мне это, Иван Афанасьевич, и вдвое неприятнее вот так — пред вами вспоминать, но, если уж я сама вспоминаю, то, значит, вспомнить надо...

Она опустилась в кресло, к круглому номерному столу, и с силою мяла в красивых, длинных пальцах крупной руки своей забытую на столе муфту...

— Игра тогда не прошла мне даром, Иван Афанасьевич... — говорила она, усиливаясь быть спокойною. — Тогда из Правослы я уеха-

ла... — она приостановилась, выбирая выражение, и, встретив жадно-любопытный взгляд Ивана Афанасьевича, нарочно, с вызывающей злобою самобичевания, подчеркнуто грубым словом договорила — беременная и к весне имела удовольствие произвести на свет дочь...

Иван Афанасьевич стоял с видом человека, которого невидимый индеец изо всей силы оглушил томагавком по темени. Не слыша более голоса Виктории Павловны и видя перед собою вопросительное — издали — враждебное блистание ожидающих глаз ее, он облизнулся, с кротостью улыбнулся и с еще большею кротостью произнес глубокомысленно:

— Да-с.

Есть сила, которая живого и страстного человека, когда он страдает и волнуется, озадачивает и обливает холодной водою хуже всякого громкого протеста, негодования, оскорбления: это — когда то, чем он страдал, волновался, терзался и уже в конец себя измучил, встречается без всякого впечатления, совершенным равнодушием, со стороны тех, кто со причастен его страданию и, казалось бы, по

чувству и разуму, должен оттого зажечься пламенем не менее остро, чем сам он. Бледное лицо Виктории Павловны залилось огненной краской, она встала, гневно оттолкнула муфту, которая, сорвавшись со стола, покатила по полу, роняя из нутра платок и портмонэ... Иван Афанасьевич бросился поднимать.

— Оставьте, — сказала Виктория Павловна в изумлении.

— Нет, как же можно? — горячо отвечал он, собирая вещи и возвращая их на стол.

Виктория Павловна решительно начинала думать, что он ее не расслышал...

— Вы поняли, что я вам сказала? спросила она в упор, стоя пред ним, со сложенными на груди руками.

Он подумал и ответил;

— Да-с...

— Что такое — да-с? — гневно вскрикнула Виктория Павловна. — Я говорю вам; дочь у меня от вас... дочь мы имеем...

Иван Афанасьевич слышал и понимал очень хорошо, но впечатление было слишком велико и внезапно, чтобы, отвыкшая от эмо-

ций, натура могла его воспринять и выразить сразу хоть приблизительно всю ту силу и важность, каких оно требовало и заслуживало; чтобы прошлое, настоящее и возможное будущее нахлынувшей новости встали пред ним во всей своей настойчивой наглядности и вызвали наружу слова или хоть движения удовольствия или недовольства, восторга или ужаса, радости или скорби... Лишь каким-то механическим, внешним, верхним чутьем догадался он, что остолбенение его совершенно неприлично случаю, и — насилуя себя — соболезнующим тоном, который, в других обстоятельствах, заставил бы Викторину Павловну расхохотаться, — выговорил:

— Жива-с?

Викторина Павловна взглядывалась в него, словно в первый раз, за эти дни, рассмотрела, как сильно он постарел, обрюзг и опустился в минувшие четыре года... Она уже догадалась, что его мнимое равнодушие зависит от того, что он новости еще не «вместил», и ей стало жаль его и досадно на себя, что оставила это объяснение на последнюю минуту... Потому что — она знала, — когда впечатление дойдет

до глубины сознания и будет им усвоено, оно запоздало вызовет тем большее волнение, чем холоднее сперва было принято...

— Сколько вам лет? — спросила она вдруг, с резким участием, которое он почувствовал.

Он подумал и отвечал:

— Сорок, что ли, минуло... я аккурат на Покрову родился... с октября, значит, месяцы пошли...

Она зло, насмешливо засмеялась.

— А мне двадцать третий... Родители! Папа и мама!.. Пара, нечего сказать!..

Иван Афанасьевич машинально посмотрел в большое номерное зеркало — увидел в нем великолепную, мрачную фигуру царственной красавицы, будто фею ночи, в дорогом черном туалете, с венцом темных кос на голове; увидел и полуседую голову с изрядною плешью, красный нос, налитые кровью жилки алкоголических глаз, дешевый табачного цвета костюм, осанку человека, привычного, чтобы его была судьба, а иногда и люди...

А Виктория Павловна рассказывала.

Да, девочка жива и здорова. Она сама доче-

ри не видала с тех пор, как Арина Федотовна увезла дитя из приюта, в котором Виктория Павловна рожала, но от Арины Федотовны знает, что дитя растет превосходно, находясь в руках людей достаточных и хороших. Ее, Виктории Павловны, намерение — оставить ее в тех руках на весь бессмысленный младенческий возраст, потому что сейчас, при кочевом своем быте, при недостаточном и неверном заработке, она не может дать ребенку никаких удобств и только разобьет его нервную систему беспрестанными переездами, хаотической жизнью, обществом взвинченных беспорядочных людей. Переменить свою жизнь она, покуда, не может: средств нет. Зарыться в Правосле с внебрачной дочерью, открыто живущею в доме, значит не только закопать себя, в двадцать три года, в могилу, но и еще иметь удовольствие от соседей, чтобы в усадьбе, по крайней мере, раз в месяц мазали дегтем ворота, а — выйдешь или выедешь из дома — парни свистать будут вслед по дороге. Главное же: не чувствует еще Виктория Павловна, что настолько нужна она дочери, нет в ней позова на жертву самоотре-

чения. А, если заставить себя насильно, то боится, что из этого выйдет не добро, а только худо, так как то горячее, далекое, может быть, сантиментальное, воображенное чувство, которое она теперь имеет к дочери, очень рискует смениться тоской по самой себе, по личной, слишком рано насмарку сведенной, жизни, а отсюда вырастут и разочарование, и нерасположение, и, наконец, отвращение и злоба. Помилуйте! Разве такие, как я, в двадцать три года себя исчерпывают и жизнь кончают? Не могу я сейчас искренно отдать себя такой случайности, как этот ребенок, — вот не чувствую, ни что это надо, ни что это будет правда... вот не могу и не могу...

Так говорила она, увлекаясь и забывая, с кем говорит. А новость до сознания Ивана Афанасьевича уже дошла, потрясла его совершенно, овладела им, как чародейное обаяние какое-нибудь. И первое чувство, которое она разбудило в нем, была гордость, та самая злорадная, половая гордость, с которою, бывало, издевался он, счастливый тайный обладатель Виктории Павловны, над ее вздыхателями явными, князем Белосвинским, Орестом Полу-

рябовым, Федею Наровичем, Сашею Парубковым: один другого богаче, красивее, моложе, интереснее, каждый для нее — прикажет — в омут бросится, прикажет — ко льву в клетку войдет, прикажет — лучшего друга на дуэли убьет и не пожалеет... А она — нимфа лукавая с ним, с Афанасьевичем — хи-хи-хи! — днем в лесном овраге, ночью в своей девичьей спальне. И — вот — будто этой только заключительной ноты к тому далекому, злорадному чувству и не доставало для полного удовлетворения: Виктория Павловна Бурмыслова от него беременна была! Виктория Павловна Бурмыслова от него дочку имеет!... И хохотало в нем все нутро и, как ни старался он, а не мог скрыть веселья на покрасневшейся, вспотелой, возбужденной роже... И Виктория Павловна, всмотревшись в смеющиеся, сатиры глаза его, нахмурилась тучею и подумала, что, кажется, сделала она огромную ошибку и не следовало Ивану Афанасьевичу тайны открывать...

Но что же было делать? Первоначально таково и было ее намерение, чтобы дочь была только ее дочь: когда дитя взойдет в разум,

взять девочку из той богатой, на положении деревенских купцов, живущей крестьянской семьи, в которой она теперь растет, — и заслонить от нее все вопросы о роде и племени своею материнскою фигурою. А отец — умер, когда ты была маленькая... и — конец!.. Но нечистая больная совесть, маявшая ее с тех пор, как она себя сознавать стала, никогда не умевшая помирить грехов ее темперамента с широким, покаянным сердцем и гордою, властною натурою, — не дала ее решимости ответить на вопросы своим умом, в одиночку... И все три года по рождении дочери металась молодая мать по советчикам и исповедникам больных русских совестей — духовным и светским, священникам и писателям, монахам и адвокатам, сектантам и профессорам-психологам, умным старицам, блюдущим средневековую мораль, и смелым людям, ломающим старое общество, чтобы выстроить новое... И слышала:

— Какое же право имеете вы лишать дитя его отца?

— Какое право имеете вы лишать отца его ребенка?

— Утаить от дитяти его отца значит ограбить их обоих.

— Скрыть дитя от отца — значит опустошить две жизни.

— Дитя вы лишаете происхождения, отца — потомства...

Десятки красноречивых тирад, заостренных эффектными афоризмами, впивались ей в уши. А тут еще прибавилось увлечение петербургским Саванаролою — красавцем-священником из дворян, вдохновенным проповедником-аскетом, которому непременно хотелось сломать строптивую женскую волю Виктории Павловны, обратив ее к семье... Энергически схватясь за то смутное, беспокойное чувство, которое она имела к дочери, он убеждал молодую женщину не только открыть девочку отцу ее, но и признать его пред Богом и людьми своим мужем... Так далеко Виктория Павловна не решалась пойти, а полдороги сделала: возвратила отца ребенку и ребенка отцу — открыла секрет свой старому сообщнику, который его нисколько не подозревал и которому был он совершенно не нужен...

Когда Виктория Павловна сказала, что девочку зовут Феней, Иван Афанасьевич встретился и проявил большое, внимательное оживление:

— Позвольте-с... извините-с... — забормotal он, — так это-с... это-с... уж не Феничка ли будет?... в Нахижном у Мирошиных приемная дочка взята?..

Виктория Павловна, молча, склонила голову.

А Иван Афанасьевич, неизвестно зачем согнувшись и взяв в руки колена свои, глядел на нее снизу вверх глазами, в изумлении потерявшими всякое выражение, и не в силах будучи согнать с лица расплывшуюся улыбку, глупость и неприличие которой в этот торжественный момент он сам чрезвычайно понимал, но ничего не мог с нею поделать: она, выпираемая наружу из неведомой какой-то глубины самодовольно удивленного инстинкта, оказывалась сильнее воли. Смотрел, тянул шею, как гусак, качая на ней голову, как черепаха, и лепетал мятым языком какие-то бессвязности, в которых ни один смертный не понял бы, что это — восторг, сожаление, ис-

пуг, извинение: скачка слов, прыгающих на язык неизвестно из какой клеточки мозга, внезапно пораженного забастовкою задерживающих центров.

Виктория Павловна наблюдала его, тоже молча, и слышала в себе, что ей теперь, когда все так смело, честно и откровенно сказано, вдруг, стало страшно, зачем она сказала... И не стыдно, не жаль, не раскаянно, не досадно, а именно — страшно... Чего? Она сама не знала. Жалкий человек, стоявший пред нею, как был, так и остался жалким человеком. Она, как была гордою самовластительницей, самой себя царицей, так и осталась — в прекрасной и надменной силе своей... Что он пред нею? что он против нее? Ползущее насекомое, которое, задумай оно вредить, она раздавит носком ботинка. А, между тем, вот, странно. И — как будто именно потому, что она видит, как открытие обезумило его, как оно оказалось для его ничтожества настолько за пределами возможности и ожидаемости, что, вот, он — хихикает и моргает воспаленными глазами своими, идиот идиотом: не в состоянии совладать с объемом и силою ново-

сти и, значит, настоящее то его впечатление, которое разбудит его волю и подскажет ему образ действий, еще впереди... И тогда — как знать, во что разыграется риск, который она себе теперь позволила, какой скандал, какой позор из него могут вырасти? И — подозрительной и смущенной — ей показалось, что бессмысленная улыбка огорошенного Ивана Афанасьевича становится хитрою и злорадною, и в мутных глазах его зеленым маслом расплывается мстительное торжество... И она, в позднем раскаянии, вспомнила давние предостережения Арины Федотовны — паче всего беречь секрет свой на счет дочери именно от этого вот виновника дней Фениных — и мгновенно исполнилась мрачным гневом на себя, зачем не выдержала характера и «разболтала»; на него, — зачем он слышал и теперь знает; на всех, кто ей советовал «открыться», — как смели они, легкомысленные теоретики, отвлеченно философствующие за чужой счет, толкнуть ее в такую волчью яму; и опять на себя, — где же у нее разум был, откуда она такая дура стала, что пришла на чужом поводе к омуту и в него прыг-

нула... И, сквозь мгновенную черную тучу злых мыслей, как молния, сверкала одна — предостерегающая: боясь, не показать, что боится...

— Если этот человек поймет, что со мною, — он поработит меня... Вся жизнь отравлена... Пропала моя свобода...

И чувствовала, что — висит на ниточке: еще несколько секунд этого жуткого молчания во взаимную приглядку, и — «не понять» нельзя... И, хотя говорить ей хотелось много, чтобы сразу, однажды навсегда, твердо определить и поставить будущие отношения между ним, этим внезапным родителем, и новооткрытою его дочерью, — она не решилась долее оставаться с ним вдвоем... Скрывая расстроенное лицо, она повернулась к Ивану Афанасьевичу спиною и, удаляясь от него медленною поступью к дверям другой комнаты своего номера, где была ее спальня, сухо и не оборачиваясь, произнесла:

— Для того я вас, главным образом, и вызвала, чтобы не носить в себе больше этой лжи... Теперь вы знаете, — и, как вам в этом случае повести себя, ваше дело... Прошу толь-

ко помнить, что в наших отношениях это ничего не меняет... ни на пылинку... Прав на Феню вы никаких не имеете, и я вам дать их не намерена... не советую и искать... иначе — враги будем... А затем — прощайте, можете ехать. Кланяйтесь Арине Федотовне, и я надеюсь, что вы будете вести себя хорошо, и от нее жалоб на вас не будет...

III.

Того, что Виктория Павловна пред ним оробела и его забоялась, Иван Афанасьевич заметить не успел. Но, что она сделала большую неосторожность, разоткровенничавшись ни с того, ни с сего насчет тайны, которой он не подозревал и в которой не имел никакой надобности, это он сообразил, едва только прошел его первый столбняк и успокоились мысли. Личное отношение его к прошедшему продолжало быть мутным и неопределенным, и, покуда, расставшись с Викторией Павловной, он чувствовал только облегчение и радость, что кончилось тяжелое объяснение, во время которого ему было жутко и неловко. Точно — человека, страдающего головокружением, внесли, с завязанными

глазами, на большую высоту, которой он и не подозревал; а как сняли с него повязку, так и ахнул — и от великолепия необъятного вида, ослепившего его глаза, и от ужаса к пропасти, отверзтой у самых ног его. Машинально покорный приказанию, он сейчас же отбыл из города. На вокзале, конечно, изрядно выпил в буфете и тем окончательно возвратил себе душевное равновесие. Обдумывал новость — и в то самое время, как Виктория Павловна тревожилась, не догадался бы он, что она его испугалась, он, наоборот, изумлялся ее бесстрашию и легкомыслию, с которым она «ляпнула»... Придумывал причины, поводы, и не находил ничего удовлетворительно объясняющего, и это было обидно, и возвращало мысли к всесторонней разнице, лежащей между ним и Викторией Павловной, как непроходимая бездна...

— От гордости это все в ней, — рассуждал он, хоть и сквозь водочный туман, а неглупым, но существу, своим умишком. — Не иначе. Всегда была такая. Всегда ее на вызов публике тянет... Стукнет ей в голову, будто она чего не смеет, боится или стыдится, — ну, и

на дыбы... Ведь, и в те поры, амура то нашего, если бы не мое благоразумие да не Арина ее в возжах держала, — сколько раз весь секрет на ниточке висел... Хе-хе-хе... Мне, говорит, обман претит... если я сама себя не боюсь и самой себя мне не стыдно, так и нечего надуть почтеннейшую публику: пусть хоть весь свет приходит любоваться, какая я гадина... Хе-хе-хе... Именно такими словами, без всякой жалости к полу своему и достоинству... Ей это и в голову не приходило, что она подобными дерзостями себя в чужие руки предает, а чужие руки то — безжалостные, беречь не станут, что хрупко, то и сломают. Как можно! Она теменем в облаках, во лбу — звезда, под косою месяц ясный! что мы, маленькие людишки, лягушки болотные, земляные черви, можем сделать против этакой Марьи Моревны, Кипрской королевы?.. Ах, ты амазонка Пенфезилея, воительница удалая! Так чёрта за рога и хватает... А не хочешь ли ты...

Но пугался дерзновенной мысли своей, прежде чем она успевала родиться, и спешил перехватить ее и исправить другою, смиренною и лицемерною:

— Счастлив ваш Бог, что на порядочного человека напали. Другой бы на моем месте...

Но здравый смысл останавливал его:

— Что же другой на твоём месте?

— Да уж... да уж... — веселым злорадным смехом загорался в сердце Ивана Афанасьевича беспутный бесенок, совсем уже ничего общего с порядочностью не имевший, но ответа другого не находил, кроме смутного, то волною плывущего, то стеною с яркою вывескою на ней стоящего, то пестрым клоуном хохочущего, кувыркающегося слова:

— Скандал!

— А на кой чёрт тебе скандал? — допекал здравый смысл. — Шантажиком, что ли, рассчитываешь заняться помаленьку? Так — не тот предмет. На камне, брат, пшеницы не пожнешь и с голого человека рубашку не снимешь...

Дела Виктории Павловны Иван Афанасьевич, как давний свидетель ее хозяйства, знал в совершенстве. Имение совершенно разорено, заложено-перезаложено, описано-переописано, — только тем и держится Правосла, что, когда уж совсем зарез подходит, Арина

Федотовна ездит на поклон к Михаилу Августовичу Зверинцеву, либо князю Белосвинскому. Покучится, пошепчется, — глядь, проценты и внесены: гуляем, значит, до нового визита от судебного пристава... Положение, можно сказать, отчаянное, а, ежели приглядеться, то Арина Федотовна точно нарочно делает его еще хуже. Они с Викторией Павловной так живут, словно знают, что завтра будет всемирный потоп или светопреставление и ни о чем, значит, заботиться не стоит, — все равно, сами покойники будем, а все — наше ли, ваше ли, ихнее ли — пойдет тленом и хинью. Арина, невесть с каких великих афер прослыла по уезду дельчихой, а — какая она дельчиха, если проверить резоны и по справедливости говорить? Только властница безмерная да горлом широка, языком быстра и на злое слово зубаста. Дельчиха была бы, — так Правосла не стояла бы каждую треть года в аукционных списках. Вон — дельчиха то настоящая, госпожа Тинькова, соседняя землевладелица: на глазах обрастает и строением, и имением, — не по дням, а по часам, — ну, просто, как грибное гнездо! А у Арины — один

разор. Продавать — так за бесценок, а покупать — так втридорога. На скотном дворе три коровенки от голода шатаются, а — на барышнины именины гости шампанским — хоть ноги мой. Оно, конечно, не своим, дареным... гости же и привозят... да, ведь, чёрт! Шампанскому то в городе — бутылка — семь с полтиной цена. Все равно, что деньги. По четыре целковых бутылку в любой трактир продал, а гостям — по восьми гривен крымского купил, — вот тебе и три двадцать экономии... с трех дюжин проценты за имение можно внести... Добро бы еще хоть в коня корм был! Ну, для князя там, для приезжих каких-нибудь из губернии или из столицы — я понимаю — оставь, пожалуй, бутылку-другую. А нас — удивила ты шампанским... Горла суконные, глотки луженые: только оловом расплавленным не угощай, а то, какой ни подашь оцет и омег,[Уксус и болиголов.] выпьем-не поперхнемся, да еще и спасибо скажем.

Да... Просвистались, — Господи, ты, Боже мой. Земля — что распродана, что в арендах долгосрочных, клочками, так и видать, что

вся враздробь, по случаю продавалась, — какой набегал покупатель, к трудному времени, лишь бы раздобыться деньжонками для очередного взыскания по какому-нибудь летучему долгу. Чересполосицу такую устроили себе продажами этими удивительными, что на собственной земле не повернись: куда ни сунься, в чужое право упираешься... Остаточки недурные, пожалуй, еще есть кое какие, уцелели чудесами. Так ведь только с того и живем, что соседи на них зарятся, каждый надеется все забрать рано или поздно на свою руку, вот, по зависти друг к другу, и не позволяют, чтобы хороший участок погиб, разбившись дольками. Но долго тянуть так нельзя. Вот — не дай Бог, хватит Михайлу Августовича Зверинцева кандрашка, либо князю Белосвинскому наскучат его рыцарские вздохи-то, да послушает он родни, женится на принцессе какой-нибудь — тут, значит, нам и капут. Слопают нашу Правослу не Тиньковы, так собственный наш мельник-арендатор... богат рыжий чёрт... Мне бы десятую деньгу из кубышки его в кармане иметь, так показал бы я Арине, как из ее остаточков настоящее име-

ные склеить. Если бы к ним приложить руку — настоящую, практическую, мужскую, так, пожалуй, побарахтавшись годов десяток, можно бы Правослу на путь направить и даже иметь с нее хороший доход... Но, когда, вместо управителя, держишь глумливую ведьму, которой, кроме наливки к обеду да парня здорового на ночь, все остальное в природе плевки да смешки, то — понятное дело: не ты от земли сыт будешь, а земля тебя съесть должна... Так именно сейчас у нас оно и движется: мы тут, ежели дареного не видим, то с хлеба на квас бьемся и лошади, с голодухи, не дают назему, а Виктория Павловна, как питерщица какая-нибудь, должна рыскать во всяких отхожих промыслах и от скудных своих заработков кормить в Правосле землю... А, между тем, если бы она только подпустила меня к имению, — ну, хоть так, — на годик, хоть бы попробовать...

Но тут он, со вздохом, вспомнил, что для того даже, чтобы лишь мечту подобную себе позволить, надо переступить сперва через непреодолимый заслон Арины Федотовны. А, при одной мысли о борьбе с нею, Иван Афана-

сьевич ощущал нечто вроде озноба, быстро ползущего вдоль спинного хребта.

— Свяжись с дьяволицей, так потом — во всю жизнь — и съест-выпить нечего не придется, кроме парного молока и воды из ручья... Да и за молоко то тогда только ручайся, если собственными пальцами корову выдоил... Не то — сам не заметишь, как уморит крысиною смертью... Кабы ей впервой... Ведьма. Вон — мужики по округе верят, что она человека в пса оборотить может... Чудушка!

А, действительно, ходил по окрестным деревням и такой слух об Арине Федотовне. Пустил же его кто-то из ее недоброжелателей после того, как пропала без вести молоденькая свояченица пурниковского попа, отца Василия, девица красивая и довольно смелого поведения, очень неприязненно относившаяся к обеим хозяйкам Правослы. А в особенности, чего-то не поделила она с Ариною Федотовною, которую и поносила бранью на всех перекрестках с такою энергией, что даже сама Арина Федотовна удостоивала ее злобным одобрением:

— Здорова лаять, — ей бы собакой быть.

Эту ее аттестацию вспомнили, когда, — около того времени, как исчезла пурниковская поповна, а самые азартные кумушки уверяли, будто даже в ту самую ночь, — пробелила окрестными деревнями и была захвачена господином Тиньковым на своих землях, невесть откуда взявшаяся, великолепнейшая сука редкостной породы, оказавшаяся, по определению знатоков, чистокровною ньюфаундлэндскою... Нашлись над Осною умники, которые и самих себя, и ближних убеждали с совершенною искренностью, будто сука эта — совсем не собака, но исчезнувшая из Пурникова красавица, повернутая в собачий образ чарами — известно чьими... Люди здравомыслящие смеялись, а сплетня, все-таки, бежала, да бежала, суеверная басня росла да росла... И, хотя очень скоро стало известно, что исчезнувшая поповна, просто, сбежала с акробатом из бродячего цирка и в настоящее время, — отнюдь не в собачьем, а, напротив, в чересчур уж человеческом образе, ибо чуть не нагишом, — распевает шансонетки на эстраде одного из московских загородных кафешантанов; хотя еще скорее нашлись хозяева

заподозренной в человечестве собаки, которая, оказалось, препровождалась известным петербургским собачником в имение князя Белосвинского, но с православенской платформы удрала от своего проводника в лес и — была такова; хотя, искусно зажиленная господами Тиньковыми, которым — что в руки попало, пищи пропало, нью-фаундлэндица благополучно прожила у них несколько лет, каждую весну и осень принося превосходнейших щенят, на что оборотни, по утверждению специалистов деревенской демонологии, неспособны;—все-таки, к темной репутации Арины Федотовны прибавилось еще одно черное пятно, памятное для многих... Курьезнее всего, что дурацкий слух не пал совершенно даже после того, как бывшая пурниковская поповна опять побывала в родных местах — весьма шикарною барынею, завоевав себе великолепного супруга из гвардейцев и покинув ради того свою артистическую карьеру...

— Что ж такого? возражали неумолимые скептики в избах над Осною. — Кабы она прежде приехала, а то ведь собаки-то у Тиньковых больше нет... в прошлую зиму пропа-

Ла...

— Пропала! Свой же охотник, спьяну, за волка застрелил... только признаться не смел, барыни опасаясь...

— Мы о том неизвестны, — с загадочною политичностью уклонялись скептики от спорного факта. — А только нет...

— Да, пропала ли, застрелена ли, — какое это имеет отношение к поповне?

— А такое, что, значит, собачий срок свои она отбыла, смилостивилась, значит, над нею Арина-то. Вот, значит, поповна из собак расколдовалась и опять женщиною разгуливает по белому свету.

Из слов Виктории Павловны Иван Афанасьевич понял, что Арине Федотовне происхождение и существование маленькой Фенички не только известно, но именно она то и оборудовала это, что девочка очутилась, в качестве приемной дочери, в селе Нахижном, в богатом крестьянском, на купеческом положении, доме Ивана Степановича Мирошникова, когда-то предеятельного булыни, на промысле этом и разжившегося, а ныне шестидесятилетнего старика, сложившего с себя

все мирские дела и хлопоты, чтобы, на капитал, спокойно доживать век свой, вместе с своею пятидесятилетней старухой.

— Здорово, однако, тогда околпачили меня сударыньки эти, — размышлял Иван Афанасьевич, сердито усмехаясь в запотелое окно. — н-да... Аринушка... Есть за что ей спасибо сказать. Эка лгуша безмолвная, эка глаза бесстыжие!.. Ну, на что мне теперь это открытие — про дочь мою, с неба упавшую? Ну, дочь так и дочь, ну, отец так и отец... никакого сахара для нас обоих из того не вырастет. Нет, вот если бы мне в те поры догадаться, да Арины то не пугаться, а удариться бы за Викторией Павловной в Питер... Так — поди же ты: мысли словно тестом залипли, затмение обволокло... Уж именно, что ведьма эта Арина; только что, каков я ни есть, но образование имею, а то поверил бы, что в самом деле умеет колдовать. Ну, как было не сообразить: путались мы с Викторией Павловной два месяца слишком без всякой осторожности, — статочное ли дело, чтобы беспоследственно?.. Хи-хи-хи! Бывало, ежели что мимоходящее в кустах поймашь, так и то-гля-

дишь — своевременно, не сын, так дочка... мало ли их, моих отпрысков, императорский воспитательный дом растит!.. И ведь приходило в голову, вот, ей Богу, приходило, что удивительно это, как ей счастливо повезло... Ан, оно, оказывается, вон как повернулось. Дочка. Феничка. Очень приятно, но покорнейше вас благодарю. Вы бы еще мне ее, уже совершеннолетнюю, предъявили...

С досады стал курить; табак притуплял раздражение и нагонял мечту.

— Если бы мне только знать тогда, что она уехала беременная, я бы такую драму разыграл... Осеклась бы ты, Аринушка, сколько ни бойка... Потому что это позиция твердая: позвольте-с! вы мать моего ребенка! где мой ребенок? вам его не угодно, вы его стыдитесь, так я признаю и желаю, чтобы он был при мне... Прав нету? вне брака? Хе-хе-хе! А скандалище-то? А князь-то? А Федька Нарович? А Сашка Парубков и прочие влюбленные черти-дьяволы?.. Конечно, палка — она о двух концах и — по ней они лукошком, а по мне безменом... Да, я тогда не очень-то их боюсь, извергов кулакастых: в газеты брошусь, всю-

ду защиту найду, со свету сживу... Потому что — спасите мол, заступитесь, во имя человечества! дитя с отцом разлучают! родную дочь отняли из рук! что же мол это, Господи? или у нас лесные обычаи и звериные нравы? Блудить могла, а рождения своего устыдилась?.. Д-да... хорошие козыри в руку шли, — играть было! Теперь шевельни эту историю, — ну, ей напакостишь, а себе вдвое... только людям смех. А тогда... эх, чёрт Иванович! проворонил! Обошли..

И он даже плюнул, и замигал слезливо, стараясь тупиться как можно ниже, чтобы не привлекать внимания соседей своим разогорченным и разгоряченным лицом... Докурил папиросу, бросил, в дрему потянуло, — закрыл глаза, прислонился головою к стенке, качался от тряски вагона и мечтал:

— С таким хлюстом у меня на руках, наша Марья Маревна, кипрская королева, пикнуть не успела бы, как я бы ее вокруг своего пальца обвел и в законное супружество ввел бы... Вот те и Правосла... И был бы ты, Иван Афанасьевич, теперь опять барин, и была бы у тебя теперь и земелька, и усадебка, и жена краса-

вица, и, как следует, семейка... хе-хе-хе! уж я бы Феничку в единственном экземпляре сохранять супруге не попустил бы... не-е-ет... А Арину со двора согнал бы... Нет, вру: не надо Арину со двора гнать, — нарочно, оставлю: пусть видит и казнится, а я ею, шельмою, помыкать стану...

Остановка поезда заставила его открыть глаза. Правосла, — он узнал знакомую платформу. Пожался всем телом, сложил губы трубочкой и, свалив с полки над скамьей себе на плечи тощий и обдерганный чемоданчик свой, поплелся, ковыляя слабыми в коленях ногами, к выходу, додумывая про себя, и в досаде, и в насмешке, и в огорчении, и с издевкою, кусающую, щиплющую, обидную думу:

— Н-да-с. Все это: если бы да кабы, да росли во рту грибы... Прозеванного куса не проглотишь... Ты бы Ариною помыкал, а Арина то тобою помыкает... разница-с! Кончились празднички, — пожалуйста, Иван Афанасьевич, опять в черную баньку, под ведьмин башмак... эх, бабы чёртовы! кабы смелость, так и треснул бы чем ни попадя... Только вот — где ее взять, смелость-то подобную? Я и

не чувствовал отродясь, какая она бывает... Что на баб смел бывал, так там ведь больше хитростью: перелестничать был горазд, большой на ихнюю сестру плут и обманщик... Кажется, вот только одна эта дьявол-Арина и понимала меня насквозь, каков я есмь в натуре своей... Оттого и легла мне на пути бревно бревном: ни переступить, ни объехать... Эх, не судьба моя! провалило счастье мое мимо! сорвалось!

Арина Федотовна встретила Ивана Афанасьевича довольно милостиво, хотя, по страсти и привычке повелительно лаяться, не преминула обругать его, зачем не продал дома, точно, подумаешь, это от него зависело. Много расспрашивала о своей возлюбленной барышне, в каком она здоровьи и духе, каковы ее намерения, куда она теперь едет, когда можно ее ждать в Правослу. Но о том, о главном, ради чего вызван был Иван Афанасьевич Викторией Павловной в город, не сделала ни намека, ни вопроса. Из этого Иван Афанасьевич, отвечавший ей осторожно, точно по льду ступал, и каждое слово, каждый взгляд пытливо поверяя, так сказать, вторым зрени-

ем своего сердца, заключил, — и справедливо, — что, вопреки своему обыкновению советовать с Ариною Федотовною не только в важных делах, но почти в каждой мелочи, на этот раз Виктория Павловна поступила совершенно самостоятельно и скрыла от нее свое намерение посвятить Ивана Афанасьевича в тайну Фенички. Это ему очень понравилось. Хе-хе-хе! Таким образом, вот, между ним и Викторией Павловной теперь опять завелась связующая ниточка, которая, невидимо ни для кого другого, тянется только от нее к нему, от него к ней, и, вот, даже она, эта всеведущая и всевластная здесь ведьма Арина, и та, на поди, облизнись, ни беса лысого не знает и не чуёт... Лестно!.. Любит последняя спица в колеснице колесо присрамить...

— А, что, чертовка? втихомолку хихикал он, валяясь в черной баньке своей на колченогом одре, служившем ему постелью. Знай наших... съешь-ка! Кабы ты знала да ведала, какую мы с Викторией Павловной собачку промеж себя зарыли, так ты бы себе, со злости, на голове плешь надрала...

Злорадное чувство это очень забавляло его

и удовлетворяло в течение довольно долгого времени, пока, в один прекрасный день, Арина Федотовна не была, в свою очередь, вызвана Викторией Павловной в Крым, в то имение подруги своей, госпожи Лабеус, у которой она теперь гостила. Дама эта питала к Арине Федотовне уважение, вряд ли меньшее, чем сама Виктория Павловна, и теперь не только звала ее к себе тоже погостить, но еще и перевела телеграфом денег на дорогу. Арина Федотовна пробыла в отлучке недели три. Иван Афанасьевич струсил и впал в раздумье самых неприятных предчувствий, еще в ее отсутствие. А, когда, возвратившись, она пригласила его побеседовать наедине, да, вместо того, ни слова не говоря, уставила ему в лицо серые свои презрительные глазищи, он тут же, на месте, сделался совсем болен. И подогнулись под ним колени, и уж так то ли живо вспомнилось ему, как некогда сероглазая ведьма, совершенно с таким же лицом и взглядом, трясла его за плечи там, на лесной полянке, и какие ему при этом заклятья приказывала и кары сулила... По одному взгляду этому он понял, что с барышнею у Арины обо

всем переговорено, и теперь Арина не прощает ему ни того, что барышня наделала глупостей, рассказав ему, что не след, ни того, что он, ее, Аринин, подневольный человек, закабаленный заручник, смел так долго носить в себе скрытую от нее тайну.

А у барышни с Ариною Федотовною, действительно, было переговорено и нехорошо переговорено. Домоправительница, как только приехала в Крым, сразу по первому взгляду, заметила, что Виктория Павловна беспокойна и относится к ней с несколько принужденною ласковостью, которая в ней, для старой няньки, была верным признаком, что барышня натворила «глупостей», кругом в них запуталась и ждет от нее помощи, как от «оракула царя Соломона»...

И вот— Вышли они на берег синего моря, пестрого от зеленой прорези ползущих с горизонта плавных волн, уселись на пестрые камешки, в глухом промежутке двух, углом сошедшихся, серых, разгоряченных вешним, уже жарким на юге, солнцем. И были-одна, как прекрасная Ифигения, эллинская жрица, дева-лань, смешавшая, в себе божественное с

звериным, сильная и гордая молодым буйством обоих начал; другая, тяжеловесная и недвижимая, с каменным лицом и не моргающим презрительным взглядом, как тот равнодушный и мудрый, в холодном бесчувствии, женский идол скифский, пред которым некогда, в этой самой Тавриде, вот такая же точно Ифигения проливала кровь пленных чужеземцев острым жертвенным ножом на алтарях, сложенных из дикого камня. Ифигения, красная и нервная, признавалась, а скифский идол покачивал мерно головою, встречая кивками кружева наплывающей к ногам его морской пены...

— Что ж молчишь? — с нетерпением воскликнула Ифигения — и гневно отбросила носком туфельки камушек, который подкатила к ней волна.

Скифский идол отозвался:

— А что мне говорить? Не маленькая... сама понимаешь.

— Да хоть душой назови...

Идол усмехнулся:

— А разве легче станет? Ну, изволь: дура.

Помолчала и прибавила:

— Очень даже дура. Не ожидала я от тебя... Эх тебя Питер-то портит!

— При чем тут Питер? — с досадою отозвалась Виктория Павловна.

— Тем, что расхлябываешься ты там очень. У меня на глазах — любо дорого взглянуть: воля! коза дикая! А там натуркают тебе в уши разные твои умники овечьих добродетелей, и приезжаешь ты с развинченной головою... Овца не овца, да не скажешь и молодца... Ведь не свое это ты придумала. А? Ну, говори правду, гляди в глаза: ведь, не свое? Ага, предпочитаешь очами своими ясными в море рыбку ловить... То-то!.. Эх, ты! Кто навертел тебе в мозги кружеров-то этих? Поп твой, что ли, — а?

Виктория Павловна, с угрюмо склоненною головою, чуть промолвила:

— И поп, конечно... да он не один...

По каменному лицу пробежала усмешка.

— Еще бы одному быть... Удивительно это мне, Виктория: спрятала ты дочку, признаваться в ней не хочешь, а, между тем, года не пройдет, чтобы ты к кому-нибудь не слетала поисповедоваться на счет своего приключе-

ния...

— Да — если меня мучит? — горячо воскликнула Виктория Павловна.

— Что тебе мучиться, раз дело решено? Семь раз примерь, один раз отрежь, а, снявши голову, по волосам не плачут.

— Я все эти прибаутки премудрые и без тебя знаю, да оно спокойствия не дает... Пойми ты: мысли мои о Фене для меня душевный ушиб какой-то... И, чем дальше время идет, тем все чаще и чаще, больнее и больнее.

— Совсем не о чем тебе беспокоиться, — холодно остановила ее Арина Федотовна, — Девочка — на своем месте и ей хорошо.

— Да, вот, того не доставало, чтобы худо было!

Арина Федотовна обратила к ней внушительный взгляд и произнесла веско, значительно:

— Начнешь вокруг этого дела суеты разводить, шуметь да тормозиться, так может быть и худо... Они, умники, твои, попы-советники, тебя еще устроят, погоди!..

— Привязалась к попу! — усмехнулась Виктория Павловна, — а я именно в нем то и

разочаровалась совершенно... Он полоумный, в конце концов... Ты знаешь, что он мне внушал? Чтобы за Афанасьевича замуж вышла... Очиститесь, говорит. Да! Похоже!

Она засмеялась резко, злобно, искусственно. Но скифская идолица несколько не удивилась.

— То-то ты его вызвала дом то продавать, — ухмыльнулась она, — А я то думаю: откуда ей в мысли пришло — вдруг, этакое собственного оценщика вспомнила? Ну, Виктория, извини, а я еще раз скажу: ах, дура, дура!

Помолчала и продолжала:

— А на попа за что же ты в претензии? Поп свою линию ведет и по своей линии прав. На то они, попы, и выдуманы мужчанишками, чтобы нашу сестру на цепь сажать. Подумаешь, не знаешь ты, как эти ихняя обедни служатся!

— Говорю же тебе: не один поп... Что ты за него ухватилась?

— А все они попы! с досадою отбросила Арина Федотовна эту оговорку ее. — Когда мужчанишки женский грех судят, то все

они — попы... только одни в рясах, а другие в пиджаках и визитках... то-есть — вот... разрежь ты меня на кусочки, если я могу понять, как это умная женщина может настолько себя унижать, чтобы спрашивать у мужчины совета в своем женском тайном деле... Все равно, что овца бы пошла с волком советовать, как ей себе волчьи зубы вырастить, чтобы волки ее трогать не смели...

— Положим, что волчьих советов никто мне не давал, — угрюмо возразила Виктория Павловна, следя глазами, как металась над морем белогрудая чайка, падала на волны и все промахивалась по добыче.

— Как никто? как не давал? — вспыхнула на нее Арина Федотовна вдруг румяным лицом и загоревшимся взглядом. — Довели умную девку до того, что она одурела — сама себе, не весть зачем, новую петлю надела на шею, да не давали? Ах, ты! Ну, не надеялась я. В самом деле, по овечьи блекотать обучилась!

Она встала с камней и, отряхивая от них крутые бока свои, говорила:

— Жаль, велика выросла, не то, что поперек лавки, а и вдоль не уложишь... А то —

сечь бы тебя надо, Виктория, просто таки сечь — прутом, как маленькую, бывало, тебя секла... Перед кем расчувствовалась! в чью совесть поверила! Вот теперь и возись с сокровищем этим... эх, ты!.. Нет этого хуже, чем когда человек перед врагом своим рассыропливается... Ценить тебя в деликатности чувств твоих — враг никогда не оценит, а все твои слабые места высмотрит, да потом по ним и ударит...

— Это я понимаю, — тихо защищалась Виктория Павловна, — но почему ты так настаиваешь — перед врагом? Он, покуда, ничем не обнаружил... Напротив, показался мне чрезвычайно благодарным за все, что мы для него сделали...

Арина Федотовна посмотрела на нее и, вздохнув с усмешкою, сказала коротко:

— Ложись.

— Зачем? — ответно усмехнулась молодая женщина.

— Да, видно, в самом деле время высечь тебя... До благодарности договорилась! Нет, вы ее послушайте!

И, прислонясь спиною к приятно теплой

скале, она устала на Викторину Павловну толстый указательный перст свой и заговорила учительно, точно с амвона:

— Когда мужчина женщине благодарность являет, это значит, что он еще не все с нее получил, что можно, и еще получить рассчитывает. И — как только мужчина тебе благодарен, так ты и знай, что он тебе первый враг. Потому что, первое дело, обязан он тебе, и, через это, пред тобою в мужской гордости своей сконфужен. А кто же это любит? Второе дело: чтобы ты для него ни сделала, он, все-таки, думает, что мало, и могла бы ты его, этакое великолепного кавалера, оценить по высшему прищкуранту. А третье дело — вот это самое главное и сидит у него против тебя в мыслях: «как бы мне эту ласковую дуру так устроить, чтобы она расшиблась на высший то прищкурант»... Нет, Витенька, я по опыту своей жизни неблагодарных завсегда предпочитаю благодарным. Потому что — который въявь неблагодарный, — он человек ясный и с ним дело чисто: это, значит, что ты для него — как для вора выпустощенная клеть. Он свое, что мог, стибрил и от тебя отвернул-

ся, потому что думает, что тут взятки гладки, больше с тебя снять нечего... Я тебе, по чести, скажу: потому я и Афанасьича то в Правосле терпеть согласилась, что особой благодарности в нем не замечаю. Да и не за что, если правду говорить, быть ей в нем. Жить позволяю, кормлю, одеваю: так, не собака же, все-таки, человек. Ну, а затем — ты меня не благодари, а смирно седи, не пакостничай, смотри на свет из руки моей властной, — это мне надо, пожалуйста, а на благодарность твою — наплевать! И уж как хорошо у меня эта музыка была налажена, а вот теперь ты больно не влад моей песнихватила, из голоса его вывела — то-то, поди, ему жару поддала!

— Не враг! — язвительно продолжала она, уперев руки в бока, — если не враг, то зачем же ты испугалась-то его и сейчас боишься? почему теперь на совет меня вызвала, как от него остеречься? И резон! И должна остерегаться! И хорошо сделала, что вызвала. Давно пора. Уж если раньше не нашла нужным предупредить, так следовало бы — хоть сейчас же после откровенностей твоих остроумных, чтобы и меня то, вместе с собою, в просак не

усадить...

— Я так и хотела, — мрачно возразила Виктория Павловна. — Как только спохватилась, что сделала глупость, сейчас же хотела... Но писать тебе, — ты по писанному читать не умеешь, а посторонним такого письма в руки дать нельзя. Вызвать тебя к себе было неудобно, раз уж раньше не вызвала, когда поднялся вопрос о доме. Да и все распоряжения для тебя я уже передала через Ивана Афанасьевича...

— Могла бы сама заехать в Правослу, — недовольно заметила Арина Федотовна. — Сорок верст от Рюрикова не велик крюк, а хозяйке в своем имении всегда есть за чем побывать...

— Да, — перебила Виктория Павловна. — Но он то ведь уже знал, что у меня нет никакого спешного дела в Правосле и нового быть не может. Значит, если бы я, вдруг, ни с того, ни с сего прискакала к тебе вслед за ним, он бы, наверное, сообразил, что я струсилась и с перепуга бросилась под твое крыло... Опасалась еще большую карту ему в руки дать. Поэтому что свой страх ему показать — согла-

сись, — уж самое последнее дело. Я этого больше всего боялась.

— Это она, умница, называет не считать человека врагом! — насмешливо заметила скифская идолица и, зевнув, договорила:

— Подобных друзей, мой ангел, хорошо только в одном положении видеть: когда они на спине под холстинкою лежат...

— Арина, — глухо и спешно откликнулась ей Виктория Павловна, — я тебя уже просила когда-то и еще раз прошу теперь — серьезно, настойчиво, — чтобы ты мне подобных намеков никогда не смела делать...

— Вона! Да разве я в серьез?

— Все равно... Хотя бы и в шутку... не надо... Ты умеешь так шутить, что...

— То-то я и говорю: на расправу ты жидка... — равнодушно возразила Арина Федотовна. — Блудлива, как кошка, труслива, как заяц.

— И вот, пословицу эту, — угрюмо отозвалась Виктория Павловна, — ты же знаешь, что я ее ненавижу...

— Ах, матушка, да ведь шила в мешке не утаишь!..

— Ну, и пусть... Да зачем дразнить? Ведь ты знаешь, что есть слова, которые во мне чертей будят...

Арина Федотовна одобрительно рассмеялась:

— Да ежели я тебя именно вот такую и люблю видеть, когда в тебе черти разыграются? А уж овцою... не смотрели бы мои глаза!.. и-ну-с... так, значит, — в конце концов — опять подошло мне возиться с нещечком этим? Ах, пропади он пропадом, красноносый! Вот уж подарила бы знакомому чёрту, да совестно: назад приведет... Но — каков сукин сын, Витенька? а? каков? Приехал — как праведник. Воды не замутит. Хоть бы глазом сфальшивил, хоть бы не то, что словом ошибся, голосом сквозил... А ты говоришь: может быть, и не враг! Нет, душенька, уж ты мне поверь: он все два месяца тем жил, что обдумывал, какую бы пакость сочинить... Ну, а, за то, уж теперь я его, голубчика, извини, почтенный, приструню...

И, подумав, прибавила:

— Меняются времена-то. Помнишь, как я была против того, что ты ему позволила жить

в Правосле и кормить его велела. Самим жрать нечего, — а тут еще фрукт с волчьей пастью. А вот, сейчас — нахожу, что все обращается к лучшему. Раз уж ты осведомила его насчет Фенички, то, конечно, теперь надо его пришпилить к Правосле. Глаза своего я не спущу с него, милого. Разве, что сама раньше окачурюсь, а то слово даю: отныне его из-под моего надзора, в самом деле, только под холстиною вынесут...

— Слушай, — остановила ее хмурая Виктория Павловна, ты, все-таки, уж не очень...

— Уж как умею! — презрительно фыркнула в ответ скифская идолица. — Я не барышня, у которой в голове питерские мысли играют и язык с привязи некстати срывается. Мужчинским подлостям не потатчица.

Виктория Павловна не ответила на этот попрек, а, в нервном движении, сжимая по очереди руку рукою, расшвыривая камешки носком правой ноги и крепко упираясь всем корпусом на левую, говорила:

— Как ни как, но он Феничкин отец...

— За то и кайся! — отрубилА Арина Федотовна.

— Ну, я эту твою паучью логику, по которой самка уничтожает самца за то, что он ее сделал матерью, — понять могу — принять не в состоянии... Так ты уж, пожалуйста, все-таки... как-нибудь помягче...

— В вату заверну! — фыркнула Арина Федотовна, но, видя, что Виктория Павловна очень расстроена, прибавила:

— Не беспокойся: слова дурного не услышит... Я, душенька, и без слов могу... Он помолчал со мною, — и я с ним помолчу... Да... И больше ничего: только помолчу вот...

И она оправдала свое обещание, потому что, призвав Ивана Афанасьевича к объяснению, привела его в смущение и трепет именно тем, что к объяснению не приступала... А она, вполне насладившись его ужасом и молчаливым разглядыванием своим доведя его до трясучей лихорадки, наконец, отверзла вещи уста и протяжно возглагонала, как пролаяла:

— Отличаешься, соколик... хорош!.. Глядела бы не нагяделась, да нонче неколи: от Анисьи двор надо принимать... Приходи, душечка, об эту пору завтра: я на тебя, красав-

чика-умника, опять полюбуюсь.

Иван Афанасьевич стоял пред нею, с опущенною головою, как проворовавшаяся и ожидающая заслуженной порки собака и, право, даже, кажется, физически ощущал, что у него растет уже хвост, который так и хочется зажать между ног, и заскулить, с смертной тоски, жалобно-жалобно...

Возвратясь в черную баньку свою, он, в самом деле, свалился совсем больной, и, то пылая жаром, то трясясь, хоть и под шубкою, от лютого озноба, проклинал свое приключение, как некое дьявольское наваждение, вместе со всеми, истекавшими из него, честолюбивыми планами и мечтами...

— И бес ли понес меня на эту чепуху? Как будто я Арины не знал, Виктории Павловны не знал, себя не знаю? Ведь, очевидное же это дело было, что ничего очиститься тут мне не может, потому что я человек натурою больной, духом слабый и против них упорствовать не могу... Да и мне ли судьбу свою менять? куда? на что? Чего мне, старому дураку, надо? Какие и где чертоги могут быть для меня построены? Слава те, Господи, сыт, одет,

обут, кровлю над головою имею, работою не нудят... Да, Господи же, чего мне еще? В самом деле, бес какой то меня обошел и мутит... Не дай Бог, выгонят меня, вышвырнут, — куда я пойду?.. На какие коврижки польстился, что вздумал над собственной головою крышу ломать, покоя себя лишать и этакую страсть на себя нажил?

Арина Федотовна, услышав, что Иван Афанасьевич слег, пришла его проведать, — все такая же спокойная, грозная, загадочная и не словоохотливая. А Иван Афанасьевич, — едва наклонилась она над болезненным одром его, испытывая пронзительным оком, действительно ли он болен или ломает комедию, чтобы разжалобить, — вдруг, взревел, как бык, взвыл, как волк, запищал, как заяц, и стал лупить ее руки, поливая их горькими слезами и умоляя — больше не пугать его и простить, потому что у него душа не на месте, желудка в животе не стало, ног не чувствительно и во всем составе смерть.

Арина Федотовна, на каждое из заявлений этих, одобрительно качнула головою, как бы подтверждая, что именно этого она и ждала,

ничего другого с Иваном Афанасьевичем теперь и быть не может, — да еще мало ему по грехам его, следовало бы хуже... Но опять ничего не сказала в прямой ответ жалкому его вою, а только, помолчав, заметила с хладнокровием, что довольно глупо этак, свиньей, в грязи валяться, когда на дворе весна...

— А что мне весна? вопиял отчаянный Иван Афанасьевич, — Какая весна в состоянии мне помочь, если вы на меня сердце держать будете? Вы скажите, что меня простили, снимите с меня вину мою, так я, и без весны, оживу...

Тогда Арина Федотовна повернула к нему лицо, как толстую каменную маску, правильно раскрашенную белым и розовым, и блеснул ему в глаза тот издавна знакомый — лесной, змеиный — взгляд, что заставлял его, обмирая, холодеть до костей, и памятный медный голос, который казался ему судною трубою, прогнусил:

— Смотри, Иван: до трех вин терплю, а на тебе уже две накопилось...

И — с тем — ушла.

А Иван Афанасьевич, проводив ее глазами,

чувствовал, что колени у него стали не то из губки, не то из ваты, и опять по нем заиграла мурашками лихорадка, может быть, последняя пред окончательным выздоровлением, но за то уж и знобкая же — пуще знобкая, чем все, которые его за это время трясли.

IV.

Мирошниковы, у которых воспитывалась, на положении приемной дочери, белокуренькая и голубоглазая найденыш девочка Феня, были только слава, что крестьяне. Не выписывались в купцы лишь потому, что было не для кого. Родные дети, два сына и дочь, попримерли, когда семья еще была в бедности. А когда упорный труд и практическая сметка неумолимого булыни Ивана Мирошникова сложили таки довольство, из которого затем стало быстро расти богатство, старуха Мирошникова уже перестала рожать. Стало быть, привилегий купеческих приобретать было не к чему: род кончался, а купечества, как сословия, Иван Мирошников не любил. Свое же крестьянское звание он почитал Божьим и, втайне, осмеливался ставить его пре-

выше всех иных званий и положений человеческих, справедливо утверждая, что, сколько не худо в нем пребывать в настоящий век, оно — единственное, которое не только само себя, а и все государство кормит, и наступят некогда такие умные времена, когда люди опомнятся и поймут, что это-то и есть самое главное, и поставят крестьянина «во главу угла». Торговое свое дело Иван Мирошников уже лет семь, как оставил, начав утомляться разъездами, а, главное, надумавшись, что — ни к чему. Жить с семьею себе" не в обиду есть на что, а всех денег со света не огребешь. Когда маленькая Феничка ночным грибочком выросла у калитки его двора, старику Мирошникову было уже близко шестидесяти лет и крестьянствовал он только по привычке и пристрастию — как убежденный любитель. Надел свой он обществу давно возвратил, а, чтобы не прерывать связи с родною кормилицей землей, купил себе — в одну из тех трудных для Правослы минут, на которые так справедливо негодовал Иван Афанасьевич — небольшой, принадлежавший Виктории Павловне Бурмысловой, участок. Да и то уже

больше возился по усадьбе, ухичивая свой старческий покой, а поле сдал на руки троим работникам, — немолодым, много лет живущим при нем, мужикам, ему под пару: дюжим, серьезным, невеселым и — все с глазами, смотрящими куда-то много дальше того дела, которое они делают. И жену Мирошников имел такую же: высокая, ражая, жилистая старуха, еле обтянутая желтою кожею по широким костям, как ястреб — лицом и как голубь взглядом: задумчивая, — на вид, ух, суровая, а на деле — мягче воска; по суете домашней и по вездесущию в хозяйстве громкого ее голоса — колотовка, а, по существу, мечтательница, для которой самым большим наслаждением было запереться одиноко в камору и читать житие Алексея Человека Божия. Впрочем, в последние годы, она стала изменять этому святому, — для Франциска Ассизского, павленковскую книжку о котором подарила ей Виктория Павловна. Старик тоже любил читать. Выписывал газету — и не какуюнибудь, а «Русские Ведомости». Но главное его чтение было рукописное: какие-то тетрадки, которые он хранил под замком и

столь тайно, что никто никогда уследить не мог, откуда он их вытаскивает и куда прячет. Смолоду Иван Мирошников остался в памяти многих горячим спорщиком — любителем бесед о вере, о божестве, о братстве человеческом, о таком взаимоотношении мирском, чтобы люди не ели друг друга, как двуногие волки. Теперь он, напротив, никогда ни с кем не спорил, а все уединялся, да молчал, но думал — должно быть — все о том же. Потому что, вдруг, возьмет, да и пропадет из дома. Старуху спрашивают: где хозяин? — Уехал по своим делам... А он, вернувшись, глядь, читает своей старухе и работникам красную книжку, издания «Посредника», — «Чем люди живы» или «Где любовь, там и Бог», — и на первой страничке ее, крупным косым почерком, написано, точно частокोल нагорожен — Душевному Ивану Мирошникову от сочинителя... Прослышал Иван Мирошников, что в сибирских далях, в минусинских степях, есть село Юдино, в котором крестьянство живет, по Второзаконию, «хлебную верою», — и пропал на полгода. В Юдине побывал, с пророком царем Давидом — Тимофеем Бондаревым

сдружился, рукопись его о хлебе и труде читал, — ту самую, о которой Бондаревым заповедано: «кто мою книгу понять хочет, так прежде, чем читать ее, пусть три дня не ест...» Иван Мирошников этот завет исполнил, и очень ему понравилось, как Бондарев советует отменить воинскую повинность, а на место ее ввести земледельческую, чтобы хоть на два месяца в году выгонять городской народ на работу в поле... Но не понравилось многоженство и — зачем Новый Завет прячут в тень за Ветхий и тем как будто клонятся в иудейство... И так-то понемножку развелись у Ивана Мирошникова дружки подобные во всех концах России. Многие из них писали ему с okazиями длинные письма, которые он читал в большие круглоглазые, с выпуклыми стеклами серебряные очки, а потом прятал в неведомые свои тайники. Сам же, будучи малограмотен, писал неохотно. Но нередко, по получении писем, уезжал в город, и там не раз заставляли его на почте, либо в банке отправляющим куда-то значительные суммы денег. Другому бы, пожалуй, все это даром с рук не сошло: и батюшка на селе закопошил-

ся бы, и становой обеспокоился бы. Но Иван Мирошников как-то удивительно спокойно умел и угостить, и взятку дать, и в гости съездить, и у себя принять, — так что и с властями, и с попами пребывал в наилучших отношениях. Только, мол, ты меня не тронь, как я никого не трогаю, а уж от меня, за то, можешь рассчитывать на всякое уболагодворение. В церкви бывал, даже говел доволно аккуратно, на свой счет выкрасил главы церковные и вызолотил иконостас. Но в старосты не шел упорно и всячески откупался от этой принудительной почести, которую мир не раз уже старался на него навалить. За что Ивана Мирошникова, при таком его благоразумном и благонадежном поведении, все-таки, считали еретиком, — трудно сказать. Приход Нахиженский слыл бедным и скупым, однако, старый поп Наум, почему-то полюбившийся Мирошникову, всякий раз, как архиерей хотел перевести его из этого нищего прихода в лучший, спешно скакал в губернию — откланяться и отмолиться в консистории от владычной милости, уверяя, что он де уже, хотя и трудно, притерпелся и привык, паству свою лю-

бит, паства его любит, — избавьте, государи мои, старого человека от житейской порухи, а я рад на сем месте хоть и живот свой скончать! А Мирошников, в свою очередь, очень держался за попа Наума, который, однако, был старик — на ногу ему не наступи, и вся поповка по его струнке, не пикнув, ходила: воспитывал причт свой железным жезлом. Но был в гораздо большей мере сельский хозяин, чем священник, и уж совсем не фанатик. Шел в народе слушок, будто Мирошников ублажает духовенство для того, чтобы оно не охотилось по следам некоторой новой секты, вроде хлыстов, к которой, будто бы, принадлежит он с женою и всем двором своим, и которая быстро, хотя и в глухой тайне, катится по уезду, цепко забирая над Осною одну деревню за другою в свою обаятельную власть. Но на сектанта Мирошников был непохож. Жили старик со старухою, как все богатые крестьяне живут, ничем не отличаясь в быту своем от православных. Обставили домик свой с посильным деревенским комфортом, ели хорошо, не чуждались убоины, а старик, при случае, не был отказчиком даже умерен-

НО ВЫПИТЬ.

Во всем везло Мирошниковым, но потеря детей и позднейшая бездетность наложила грустный отпечаток на всю их жизнь. Старуха долго не сдавалась на злую насмешку природы, отказавшей ей в потомстве, — к докторам обращалась, травы пила, воды, потом пошла по лекарям. В этот-то период и сошлась она с Ариною Федотовною, которая, хотя лекаркою и знахаркою не была, но окрестный женский пол привык прибегать к ней, как к стене нерушимого совета, во всех затруднительных положениях и горях семейного быта. Несмотря на резкую разницу между двумя женщинами, из которых одна метила в рай в соседство к Алексею Божьему Человеку и Франциску Ассизскому, а другую шабры почитали чуть ли немножко не с родни чёрту, они как-то сблизились, и Арина Федотовна приобрела на супругов Мирошниковых большое влияние, что удивленной округе опять таки нельзя было иначе объяснить, как — «Аринка Мирошниковых приворотным корнем в чаю опоила»...

Когда в марте 189* года неизвестная мать

оставила у калитки Мирошниковых плетушку из дранок, в которой, закутанная грубым тряпьем, спала крепким сном, опоенная маком, двухнедельная Феня, событие это осветило весь дом радостью и зажгло увядающее существование двух хороших стариков новым огнем.

То обстоятельство, что Мирошниковым подкинули младенца, никого не удивило. Напротив, удивлялись, что, при их богатстве и известной любви к детям, это — только первый случай. Убогий короб из драни и тряпье, в котором нашли девочку, не оставляли сомнения в деревенском и бедном происхождении найденныша. Нравы-то на берегах Осны аховые, — на всю Россию славятся и песнями, и пословицами, и прибаутками, и даже А. С. Пушкин, побывав в здешних местах, увековечил при-осненских красавиц эпитетом «податливых крестьянок». Но подкидыш местного производства в деревне — дело хлопотливое и неверное, потому что может повести, ежели урядник придирчив, да поп любит мешаться не в свое дело, к полицейскому дознанию, повальному обыску с участием акушер-

ки и тому подобным радостям, которых в крестьянском быту боятся пуще огня. Поэтому большинство местных грешниц находило гораздо более простым способом отделяться от своих плодов любви несчастной, спуская их в проруби на Осне — зимою, а в теплые времена года — в ее же омута. Решили на сем, что какая-то из «наших шлюх» готовила подобную же судьбу и Феничке, да разжалобилась и, проходя мимо двора Мирошниковых, решила на ура испробовать девочкино счастье — подкинула ребенка к калитке богачей... И нет никакого сомнения, что счастье девочке, действительно, везло, потому что — надо же быть этакому чуду: обыкновенно, старуху Мирошникову, — как многие деревенские женщины, храбрую днем, а впотьмах трусоватую до визга, — и на крыльцо-то не выманишь в сумерки из дому. А тут она почему то, в течение вечера, будто ее тянуло неведомым предчувствием, трижды выходила за калитку и, в третий раз, наткнулась на подкидыша, едва ли не в тот самый момент, как только что положила его на талый снежок убежавшая мать... Это обстоятельство, — что

девочка нашлась уже очень как то для себя удачно, — хоть бы чуточку зазябнуть и попищать успела! — заставило многих кумушек предполагать, что Феня у Мирошниковых — не совсем-то безвестный подкидыш, и получили они ее — по предварительному уговору с таинственной матерью, которая захотела с нею расстаться. Думали на одну вдову, на двух девушек, на жену питерщика, которого родитель-снохач упорно держал в столице, не желая разрушать его возвращением в деревню свое новое любовное счастье, на бобылку-черничку, на праздношатающуюся нищенку Секлетею и даже на одну пятидесятилетнюю однодворку. Но никому в голову не приходило искать настоящую мать Фенички в далеком Питере, в приюте для секретных рожелиц, откуда Арина Федотовна примчала ее курьерским поездом и — это кумушки верно угадали — действительно, с рук на руки сунула ее предупрежденной Мирошниковой, с которою они всю эту маленькую драму разыграли художественно, как по нотам. Но, надувая народ, обе бабы и друг дружку надували. Арина Федотовна, подготавливая событие, уверила

Мирошникову, будто Феничка — дочь ее племянницы, живущей в Питере на месте, в горничных. Свихнулась, мол, с барчуком, да уж очень некстати, потому что, вот, теперь девушке представился случай выйти замуж за очень солидного жениха. На Красную Горку назначена свадьба, а невеста — на тебе! на сносях! Дело, покуда, облажено ловко, жених ничего не подозревает, — теперь вот только бы роды так провести, чтобы никому в нос не ткнуло... Любя свою племянницу, Арина Федотовна обещала ей, что не отдаст ее будущего младенца в воспитательный дом, а сохранит его и воспитает в надежных руках. Как женщина почти что одинокая, потому что единственный сын ее Ванечка учится и живет в чужих людях в городе Рюрикове, Арина Федотовна взяла бы, пожалуй, младенца к себе.

— Да — знаешь, как обо мне худо люди думают, будто я и такая, и этакая; не поверят мне, станут говорить, что мой. Мне бы и наплевать, да — сын уже взрослый, пожалуй, вздыбится. А племянницу жениху тоже — если вести протянут — покажется подозри-

тельным: откуда, вдруг, у тетеньки на воспитании обрелось какое-то неведомое дитя?..

Арина Федотовна лгала очень складно, но женское чутье подсказало обрадованной старухе Мирошниковой, что приятельница что-то скрывает и путает. В племянницу питерскую она не поверила ни на волос. А из того, что Арина Федотовна в последнее время повадилась часто ездить в Питер, будто бы вызываемая своею барышнею по хозяйственным делам, заключила, что правда-то — как раз именно та, которую Арина Федотовна затемняет и затирает, будто бы она боится, не подумали бы люди: просто, грешница неумная, сама беременна и конфузится осрамиться ребенком во вдовстве своем, а сбыть младенца, как-нибудь, лишь бы отвязаться, жаль... Не подавая Арине Федотовне мысли, что она подозревает, счастливая Мирошникова столкнулась с нею в плане, в числах, наконец, уже из Петербурга, условным письмом, в дне и часе, когда младенец будет подкинут и в каком виде. И все у них, хитрых баб, из которых одна сгорала от страстного желания усвоить себе хоть чужое-то порождение, а другая столь-

ко же страстно искала, куда ей чужое порождение сплавить, — удалось, как по механическому заводу, и сошло, как по маслу. Уряднику Мирошников сунул четвертную, попу Науму другую, и подкидыш вкатился в жизненный круг села Нахижного так мирно, гладко и бесшумно, как давай Бог всякому законному.

В выборе Мирошниковых приемными родителями для Фенички Арина Федотовна не ошиблась. Старики в девочке души не чаяли. Единственное, в чем Мирошников не согласился изменить для Фенички крестьянскому своему понятию, — не позволил взять к ребенку кормилицу. Выросла девочка на коровьем молоке, но такая здоровая, большущая, сильная и красивая, что на селе не было ни одной, ей подобной, из питавшихся в правильном законе природы.

Иван Афанасьевич хорошо знал прелестного ребенка, которому теперь было четыре года, с сильным перегибом на пятый, и который так неожиданно оказался его дочерью. И не только знал, но даже был с Фенею большой приятель. Люди серьезные и нравственные, Мирошниковы были не компания Ивану

Афанасьевичу с его грязноватою репутацией в околотке. Старик Мирошников принимал его, когда Иван Афанасьевич бывал посылан из Правослы с усадьбы за каким-либо спросом, вежливо, но неохотно и к близости с собою не допускал. Но однажды случилось Ивану Афанасьевичу гримасами и прибаутками своими рассмешить маленькую, едва начавшую ходить, Феню. А к кому Феня благоволила и кому она улыбалась, это, для стариков Мирошниковых, было уже настолько властной рекомендациею, что против нее не могло устоять никакое предубеждение и испортить ее ничем было невозможно. Таким образом, Иван Афанасьевич получил самостоятельный доступ к Мирошниковым, куда его прежде не очень-то пускали, и стал у них, если не всегда желанным, то довольно частым посетителем, потому что там угощали.

В свое время сближение это привлекло к себе внимание наблюдательной Арины, и она задумалась было: удобно ли? к добру ли? Но, поразмыслив, решила: пусть. Так как нашла это верным признаком того, что ни Иван Афанасьевич не подозревает в Феничке своей до-

чери, ни Мирошниковы в нем — Феничкина отца... Сама она, наоборот, бывать у Мирошниковых теперь избегала, потому что дружба ее со старухой пошла врозь вскоре после того, как подкинута была Феничка. При каждом посещении своем, Арина, от раза к разу, все прозрачнее замечала, что старуха Мирошникова, при ней, сама не своя, — безумно ревнует ее к Феничке, — ненавидит и боится, аж даже трясется, точно — вот, пришла ведьма, которая наше сокровище унесет и похитит... Арина Федотовна уже давно догадалась, что Мирошниковы считают ее матерью Фенички, нашла, что, в общем составе тайны, это очень не дурно, и сообщила о том Виктории Павловне: вот, мол, как дело-то повернулось, — цени — собственную худую славою твою прикрываю... Таким образом, ревность старухи Мирошниковой — матери приемной к подозреваемой матери родной — была ей понятна, и, хотя заблуждение старухи ее не мало смешило, дразнить такого рода ревность Арина Федотовна находила безнужным и опасным... От частых посещений Мирошниковых она уклонилась тем легче и охотнее, что де-

вочка ее не взлюбила и, в ее присутствии, всегда куксилась и дичилась...

— Вот, и говори после того, что дети не вещицы, — шептала старуха Мирошникова мужу, в тайных разговорах, которые только стены слышали. — Уж на что ласковый ребенок Феничка, а — при Арине — словно обменок: такая угрюмая да сердитая... Чувствует ее невинное сердце, что не чужая ей эта дрянь: не прощает, что Арина ее от материнской груди оторвала и, как щенка, в чужие люди бросила... А той, ведьме, хоть бы что. Только глаза пучит да зубы скалит.

Но, ругая Арину Федотовну за отсутствие нежных материнских чувств, старуха, пуще всего на свете, боялась, как бы чувства эти в ней не пробудились. И малейшая ласка Арины ребенку, ничтожнейшее ее к нему приближение уже заставляли старуху бледнеть... А, вдруг, опомнится, ощутит совесть и скажет: я мать? Вдруг — предъявит права, потребует, отнимет?

Наоборот, Викторцию Павловну старуха Мирошникова очень любила, отнюдь не подзревая, что, если есть угроза для материнских

чувств ее к Феничке, так ходит он по свету, роковой страх этот, не пожилою сорокалетней бабою, но таинственно-воплощенный в сверкающем образе нарядной и гордой красавицы-барышни, которая так весело качает радостную, хохочущую Феню на коленях своих, так любовно осыпает ее бриллиантами-взглядами из своих темных и ярких, как звездная полночь, очей...

Когда Виктория Павловна бывала в Правосле, она навещала Мирошниковых и два, и три раза в неделю, и отнюдь не делала секрета из того, что очень любит Феню и балует ее, как умеет и как ей позволяют средства... Но эта привязанность не бросала на нее подозрений, тем более, что бывали у нее и другие любимицы на селе, — нарочно заводила она множество детских дружб и старалась во всех быть ровною... Некоторое предпочтение другим Фенички со стороны Виктории Павловны легко объяснялось тем, во-первых, что девочка, действительно была хороша собою — чудо, настоящая игрушка. А во-вторых, и тою естественною жалостью, которая является у женщин к ребенку, находящемуся, все-таки,

как ему ни хорошо на чужих руках, но в несколько ложном положении, без родных отца и матери... Так понимал раньше это дело и Иван Афанасьевич, который, конечно, о большой симпатии Виктории Павловны к семье Мирошниковых вообще, а к девочке в особенности, тоже знал... И тоже ему никогда и в мысли не приходило подозревать, что тут есть что-нибудь другое, кроме интереса к красивой милой девочке-игрушке. Феничка Викторию Павловну тоже очень любила, но Виктория Павловна, вообще, была очень любима детьми, как почти все веселые и молодые женщины, которые не имеют своих детей и потому рассыпают материнскую любовь, находящуюся в их сердцах в праздном и, так сказать, статическом состоянии, в динамическую розницу ласки, оказываемой детям чужим...

Теперь, когда Иван Афанасьевич знал тайну Фенички, он легко мог объяснить себе, почему между Мирошниковыми и Викторией Павловой завелась в последние годы уж такая очень большая дружба. Понял он и то, почему в те месяцы и недели, которые Виктория Пав-

ловна проводила в Правосле, Арина Федотовна, бывало, не только не посылает его с поручениями в Нахижное, но и напрямки предупреждает, чтобы он, покуда, к Мирошниковым не «шлялся»...

— Можешь с барышнею встретиться... Она любит у них время проводить, — чай-сахары, печки-лавочки... Не больно ей приятно видеть твое красноносое личико в одной компании с собою... Довольно того, что дома сияешь...

Теперь, когда он знал — третьим, потому, что Виктория Павловна и Арина тоже знают — его стал теревить и грызть вопрос: знают ли Мирошниковы? Молчат по неведению или только потому, что уж очень хорошо умеют держать язык за зубами?... Очень любопытно стало это теперь Ивану Афанасьевичу, и страшно досадовал он на себя, что тогда, в губернском городе, не сообразил сразу, в растерянности, и не догадался расспросить Викторию Павловну, известно ли Мирошниковым происхождение Фени... В том, что они не подозревают в нем, в Иване Афанасьевиче, отца девочки, — в этом то он был уверен, это-

го-то им, конечно, ни Виктория Павловна, ни Арина Федотовна не сообщили. Но знают ли они, что Феня дочь Виктории Павловны?.. Если знают, что дочь, — ау! много тут вокруг дела не натанцуешь... Значит, обо всем переговорено и условлено, все решено, покончено и подписано, в каких отношениях им между собою быть и какое у кого право... Ну, а если это для Мирошниковых такой-же секрет, как был для меня по сю пору, то еще можно посмотреть... Этак — при случае, выбрав хорошую минуту, взять да и намекнуть, что мол, вот, вы девочку-то растите да холите, а ведь у нее родители есть... Смотрите, не потребовали бы ее от вас в одну печальную минуту...

— Ведь у них в этом случае так остро зашло, — рассуждал он, — что случись, подобный грех — Фени как-нибудь лишиться, то — не знаю, как старик Мирошников, а старухе — хоть взять осиль, да удавиться на воротах...

Что собственно мог извлечь Иван Афанасьевич из воображаемой игры, которая его в мечтах соблазняла, он еще определенно и сам не знал, а только чувствовал смутно, что из

этого вытечет какая-то власть его над Мирошниковыми, а иметь власть над сильным и богатым человеком — штука всегда приятная и лестная. Но, сколько он ни вертелся вокруг Мирошниковых, а к интересующему его вопросу никак не имел случая подойти, равно как не мог составить вывода из косвенного наблюдения. Иногда ему казалось, что Мирошниковы знают о Фене меньше, чем кто-либо, потому что, как слепые, прячутся от вопроса об этих таинственных ее родителях, которые, вот, в один прекрасный день возьмут — явятся и ее от них отберут... А иногда начинало казаться, по случайной фразе, которая подозрительно настроенному уму чудилась намеком, а то просто по взгляду, по обращению, что Мирошниковы знают все не только о принадлежности Фени Виктории Павловне, но даже, пожалуй, едва ли и не о нем... А каковы бы из того не были результаты, но оба эти состояния тайны предполагали и различные тактики, которых он в отношении Мирошниковых должен был держаться... Родительскими чувствами Иван Афанасьевич не был богат. О чужих детях он, с цинизмом, ему

своиственным, говорил, что начинает их любить в возрасте четырнадцати лет, да и то только девочек. А когда друзья-благодетели предлагали ему, шуту, вопрос:

— Иван Афанасьевич, есть у тебя дети?

Он отвечал клоунским дурачеством, что есть, и даже очень много:

— Если в городе увидите, — мальчики на улице спички-ваксу продают, — из троих один мой! Ежели в деревне увидите, — девочки босые милостыню просят, — из трех одна моя!

Но к Феничке зародилось в нем несколько иное отношение... Нежностью особенною он и к ней не воспылал, но смотрел на нее с невольною гордостью: она ему казалась очень похожею на него и — вглядываясь в ее беленькое, еще мелкое чертами лицо и голубые глазки, он, с тайным самодовольством, думал про себя:

— Вылитый я, когда водки не пил и бороды не растил... Ай да мы!.. Какова принцессочка растет!..

А принцессочка — славная, деревенская принцессочка — в самом деле, росла на сла-

ву...

С наступлением теплой внешней погоды, день деньской теперь бродило и шныряло по дому, по двору, по улице маленькое светловолосое, светлоглазое существо, — аршин росту, — с улыбающимися ямочками на румяных щечках, с оскаленными молодыми, точно белые грибочки, зубками-жемчужинками и с пытливым, допрашивающим взглядом — на встречу каждому предмету, будь то живчеловек, лошадь, курица или, у ворот, уродливый серый камень... Ходило и лопотало невнятным языком, слушая который, старик Мирошников только ухмылялся, терпеливо покачивал сивою головою, наслаждаясь звуками детского голоса, хотя старый, тупеющий слух его не разбирал в них ни единого слова. И, в конце концов, звал жену:

— Старуха, чего она тут плетет?

Старуха не только растолковывала, но еще и обижалась, как это старик не хочет понимать Феничку, когда она такая умница и так прекрасно, для своего возраста, выговаривает...

— Феничка, что ты тяте сказала? ну, ска-

жи, будь умница, что сказала?

Феничка вынимает изо рта палец, который она обсасывала в очередном порядке, обтирает его о ситцевое свое пузичко и с укоризненной самоуверенностью произносит:

— Бонти мака бя.

— Ну, чего же тут не понять? — изумлена старуха. — Глухой ты, что ли? Пришла тебе доложить, что Фарафонтий больную овцу маслом намазал... сам же наказывал вчера с вечера...

— Ах, ты, Господи! смотри — пожалуй! заливается смехом Мирошников и, подхватив девочку на руки, начинает бросать ее, взвизгивающую, вверх, голубым пятнышком, точно бабочку, реющую под зеленою березой. — А мне и не в домек, что у нас подобная хозяйшкa завелась... Я ведь думал, кроха, что ты у меня зонтик просишь...

— Она у нас дому рачительница! с гордостью подтверждает старуха. — Все видит, ничего не упустит... от земли не видать, а уже глазок-смотрок...

Друзей у Фенички — полон мир. Друг рабoтник Фарафонтий, которого она зовет то

«Бонти», то «Понти», но тогда он ее поправляет, что этак не надо, нехорошо, потому что Понтии бывают Пилаты, а он человек крещеный. Что за зверь Пилат и зверь ли он или какая-нибудь другая скверная штука, Феничка не знает, но, при имени Пилата, ей представляется огромная пасть, ощерившаяся, вместо зубов, пилами, которые висят у тяти в кладовке, как запертые в темной кануре собаки. На синий отлив их приятно и жутко смотреть, когда в кладовку, через отдушины, льется слабое сияние светлого солнечного дня... И девочке становится жаль и совестно, что она обозвала такую отвратительно зубатую тварью милого Фарафонтия, который живет в таком прекрасном сарае, где по стенам висят такие прекрасные хомуты и шлеи, и от них идет такой очаровательный, прохладный и острый запах... Она просит прощения, уверяя, что больше никогда не будет... А Фарафонтий рассказывает ей удивительные, любопытные вещи о ее других приятелях — пегом мерине, которого зовут Скобелев, и гнедой кобыле Неряхе, умной, с своими четырьмя ногами, за двух двуногих баб, и великой мастерицы от-

лынивать от работы, хотя, уж если захочет она везти, так против нее — жеребцу не вытянуть...А, чуть пожалел кнута, сейчас — Неряхи будто и нет в упряжке, всю тяжесть переложит на Скобелева, либо на Мальчика, а сама только делает вид, будто везет... вона какая искусница!

Бродит дитя и лепечет. Взберется на навозную кучу в углу двора, — говорит с огненно-красным, чуть не с нее ростом, петухом Гусаром, а он всегда стоя к Фене боком, бессмысленно и гордо поглядывает на девочку желтым ярко-стеклянным колесиком глазка своего, точно хочет, дурак, уверить ее, что он «все это уже давно знает»... И вдруг, в самом интересном месте, захлопает крыльями, заорет, загорланит, и бегут к нему со всех сторон, рассыпавшиеся по двору за кормом, суетливые, глупые куры.

— Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!..

А Гусар им смеется в ответ:

— Да что вы, глупые, разве я вас звал? Я так, на хорошую погоду...

Говорит Феня с пегим Скобелевым, который медленно поворачивает к ней от ясель,

жуя и чмокая овес, кроткую морду с отвислою губою и светит на нее глазами, налитыми коричневою влагою, странно отражающею в себе четырехугольник распахнутых в конюшню дверей, — синий-пресиний от веселого дня, который так и прет с яркого неба на зеленую землю, чтобы поиграть с Фенею и сделать еще синее ее голубые глаза — из незабудочек в василечки... А однажды Виктория Павловна Бурмылова, придя навестить Мирошниковых, застала, как Фарафонтий стыдил Феничку, — а она — только головка из соломы торчит, забила в собачью конуру и прячется.

— Ну, уж это, как хочешь, девица, не порядок... это, как хочешь, я должен тятеньке доложить...

И, увидав входящую в калитку барышню, обратился к ней с лицом, и сердитым, и хохочущим:

— Помилуйте, барышня, озорница то наша: Полкашку за ухо укусила!..

А девочка барахтаясь в конуре, в обнимку с грозным Полканом, которого все воры на сорок верст кругом знали и боялись хуже чёрта, за неподкупно свирепый нрав его, звенела

его цепью, смеялась — волосенки все в соломе, — и кричала:

— Он сам меня первый... Он сам первый...

— Совсем бесстрашная растет... Никакого на нее пугала нет... — восхищались Фенею в доме.

Уйдет через огороды, спустится в овраг, раздирает сухие выползины, сменивших свою шкуру, ужей... Лежат они, медноголовые, узорно мраморные пресмыкающиеся, вокруг нее, словно вытянутые палки. Другие ребята, при одном взгляде на них, воем воют и криком кричат, а — ей хоть бы что... Навьет на руку да и носит: браслет! Один раз искали-искали ее, — пропала!.. Где-где?.. Старика Мирошникова, хорошо еще, дома не было, а старуха мало, что сердцем не лопнула с перепуга: то ли девочка в Осну свалилась, то ли ее цыганы увели... А она, оказывается, через овраг, на кладбище удрала — смотреть, как хоронили Андрея-плотника... Всю службу отстояла, покуда покойника в землю опустили и насыпали над ним глиняный бугор... И, тем же вечером, Феня торжественно закопала в ямку на огороде дорогую куклу, которую ей

подарила Виктория Павловна, в последний свой приезд... И ходила вокруг ямки, и что-то бормотала, и будто пела и кланялась... А на самой — мамкин платок длинный, с хвостами бахромы, тянется по грядкам. И на головке — по самые плечи — Фарафонтьев облезлый треушок, будто батюшкина скуфья... Пот с нее так и льет в три ручья... А она-то попит, она-то попит...

Восхищения принцессочка, как звал Феню Иван Афанасьевич, вызывала много, но были глаза, которые приглядывались к ней с хмурою опаскою — и по той же самой причине, что породила самодовольные восторги Ивана Афанасьевича: что дальше, то больше обозначалось сходство девочки одновременно и с отцом — глазами и носом, и с матерью — гордым, изящным ртом, статуйною смелостью лба, тонким благородным завитком уха... Сходства еще не замечали чужие люди, далекие от подозрений об истинном происхождении Фени, но те трое, кто знал, уже смущались им, потому что находили его уже поразительным, ужасающим, и только удивлялись, какое это счастье еще, что, покуда, как-

то никто не обращает внимания...

— Эх ее вылило! — с досадою наблюдала Арина Федотовна, — такая рожица обозначается, что о родителях и в газетах не надо печатать: оба лика — как на медали!

К собственному своему удивлению, Иван Афанасьевич чувствовал себя равнодушным к мысли о том, как устроена и живет Феничка, и ему было очень приятно сознание, что ей у Мирошниковых хорошо, и, значит, это его произведение не осуждено скитаться, собирая под окнами кусочки в деревне или продавая на улицах спички в городе. И это условие умиротворяло его положительным влиянием едва ли не в той же мере и с теми же благими результатами, как отрицательным влиянием парализовала его брыкливый, но сердитый, да не сильный, задор боязнь Арины Федотовны... если бы девочка не влюбила его или гнала от себя прочь, он, может быть, оскорбился бы, и тогда, с неразборчивого зла мог сделать Мирошниковым какую-нибудь неприятность... Но, наоборот, Феничка, рассмешонная им, подкупила Мирошниковых в его пользу, а его — тем самым — и в ее,

и в их, и даже в свою собственную... И, чем больше вглядывался он в ее положение и обдумывал свое, тем больше ему казалось совестным и нехорошим сделать что-нибудь такое, что сейчас может испортить Фене пребывание в семье Мирошниковых...

— Я, положим, человек беспутный и морали строгой в жизни своей не был подвержен, — соображал он, — но злобы или жестокосердия там какого-нибудь особенного тоже в душе не питал, не питаю и питать не надеюсь... Ежели человек мне напакостит, конечно, это большое удовольствие, в свою очередь, угостить его, на отместку, так, чтобы голубчик и внукам, и правнукам своим заказал не то, что со мною, — с моим родом связываться... Вот, например, если бы с госпожою Ариною Федотовною Молочницыною привел Бог когда-нибудь этак честно сосчитаться, — так я бы потом, кажется, ограбить готов кого-нибудь, а уж пудовую свечу Николе Угоднику непременно бы поставил... Но — что касается Фенички... Господи, ты, Боже мой! младенец невинный, несмышленьш... Как это возможно, чтобы мыслить ко вреду ее? На

кой прах мне ее извлекать из нынешнего ее состояния? если бы еще я был, в самом деле, родитель, а то, ведь, только одно воображение... Какой я отец? Какая она мне дочь? Ну, что бы я с нею стал делать, если бы, вот, например, и Мирошниковы, и Виктория Павловна сейчас отступились от нее — сказали бы мне: хорошо, твое счастье, на, бери, воспитывай... Ну, что бы я стал с нею делать?.. Одно — продать шарманщику, чтобы вместе с обезьянкой водил по улицам, да песни пела бы тирольские, либо в трико по ковру кувыр-калась. Так не подлец же я, в самом деле, какой-нибудь, не людоед и не Ирод, сорок тысяч младенцев в Вифлееме истребивший... Ну их... Пускай себе живут, лишь бы и мне немножко жить давали.

А жить ему сейчас давали. Он очень хорошо замечал, что открытие, все-таки, несколько повлияло на устройство его быта к лучшему. Видя, что он в своей закопченной баньке сидит смирно, ведет себя хорошо и с тактом, проследив за ним, каков он, когда бывает у Мирошниковых, и получив от последних о нем хороший отзыв, Арина несколько

смягчила в отношении его свой презрительный и властный режим. Стала снисходительнее смотреть на его маленькие выпивки, и даже на любовные шашни, прежде для него столько запретные... Это совсем устроило Ивана Афанасьевича. Он понял, что это — ему платят, чем могут. А, так как он хорошо знал, что больше заплатить сейчас и нечем, то отвоеванные уступки до известной степени пощекотали его самолюбие и разбудили и ввели в обычную силу податливое легкомыслие, которое в нем, уже много лет развинченном водкою, распутством и привычкою робеть сильных людей и почти инстинктивно угрождать им, даже когда они того не требуют, — заменяло характер. Иван Афанасьевич мало-помалу, в самом деле, стал позабывать все горделивые и корыстные планы, обуревавшие его после открытия, в течение остальной зимы, когда он — одинокий за гитарою, — чего-чего только не перемечтал в черной банке своей, при мигании тридцатикопеечной жестяной лампочки. Как он теперь, стоит только расхрабриться да захотеть, покажет себя: скрутит и Арину Федотовну, злодейку, и

Викторию Павловну, гордячку, и Мирошниковых, богатых дураков, родительски завладеет принцессочкою Феней и начнет, через ее посредство, управлять-командовать в Правосле, а отсюда...

— Ага, Марья Моревна, кипрская королева! Голова в облаках, во лбу звезда, под косою месяц! Мы— земляные черви, болотные лягушки... что мы против вас? что мы можем вашему непоколебимому величию сделать? Хи-хи-хи... Да вот Феничку сделал же!.. Хи-хи-хи... Глазки мои, волосики мои... Ай да мы! Принцессочка-то какая растет... Ваше счастье, подянки, что хороша удалась и к месту ладно пристала... Только ради ее терплю и прощаю! И... и ничего мне не надо! И... и я великодушный человек! И... и точка!

И он не лгал, потому что принадлежал к числу тех счастливо-пассивных людей, которые, отволновавшись и отболев нервами по вопросу, как бы он ни был колюч для них и важен, затем, в один таинственный наплывающий момент душевного переутомления, вдруг по какому-то спасительному инстинкту, — самохранения, что ли? — слагают его

как бы в некий внутренний архив свой, будто дело решенное и не требующее больше никакого внимания.

Когда же разыгралась весна, да зацвели рощи, да запели птицы, и потянуло его ставить силки по кустам и верши и морды в заводях Осны; да начал он, старый фавн, шныряя по лесным оврагам, по-прежнему, ловить своих деревенских нимф — подманивать старых любушек и улещать новых, — зимняя драма улетучилась из его легкомысленной памяти, точно пар промчавшегося мимо поезда, растаяла, как гримаса праздного кошмара...

В один майский день, когда Иван Афанасьевич, босой и без пиджака, шагал, с удочками на плече и с банкою копошащихся дождевых червей, торчащую из брючного кармана, Арина Федотовна остановила его окриком из амбара, где меряла и освежала пересыпкою бедные остатки слежавшегося овса.

— Слышь-ка, — сказала она довольно мягко, когда он подошел, — я вчера ввечеру депешу получила: барышня едет... все лето думает в Правосле прожить...

Иван Афанасьевич не замедлил выразить

по этому поводу искреннейшее восхищение, но несколько рассеянное, потому что нетерпеливо косился на свою банку с червями: в этот момент караси, ждущие его в пруду, были ему интереснее всех барышень в мире... Арина Федотовна очень заметила настроение Ивана Афанасьевича и оценила его.

— Так вот я и хотела тебя предупредить, — сказала она, пересыпая с белой руки на белую руку золотисто струящийся овес. — Ты там... когда ездил в губернию дом продавать... оценщик! — барышня в нервах была и много лишнего наговорила... Ну, так вот; если ты от нее слышал что-нибудь этакое... ненужное... так ты запомни: ничего этого, что барышня тебе говорила, не было и нет... Понял?

— Помилуйте! — даже обиделся Иван Афанасьевич, думая о серебряных карасях, — что же тут не понять? Не мудрость какая... Напрасно даже упоминаете: имею достаточно собственного соображения...

Арина Федотовна посмотрела на него с некоторым изумлением к благоразумию, превзошедшему ее ожидания, и упористо повторила:

— Да ты так это хорошо запомни, что, если даже она сама снова заговорит с тобою о том же, так ты ей должен сказать: это вам, Виктория Павловна, во сие приснилось, я знать ничего не знаю и ведать не ведаю... Понимаешь?

— Так точно, Арина Федотовна: именно, — знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Великолепно. Именно это настоящее, что должен сказать.

— Чтобы вычеркнуто было, — и конец.

— Конец, — как эхо откликнулся веселым согласием Иван Афанасьевич, зажмуря глаза свои, пред которыми сверкала воображаемая серебряная чешуя.

Арина Федотовна опустила его, конечно, не преминув, на всякий случай, прибавить:

— А иначе на меня не пеняй.

Но даже это злое напоминание не вывело Ивана Афанасьевича из вешней безмятежности духа. Он шагал с своими удочками к своим карасям и, когда мысль его, от предстоящего удовольствия следить на блестящей черни пруда, под ольхами, качающиеся в пробке перья поплавка, — отрывалась к только что выдержанному разговору, его охваты-

вало смутное недоумение, готовое, право, уже не по Арину приказу, а по собственному со-
мнению — думать: а и впрямь не было ли все
тогда во сне?

V.

Вслед за телеграммою о скором приезде,
пришло письмо. Виктория Павловна не со-
общала Арине Федотовне, что театральная по-
ездка, в которой она рассчитывала принять
участие, расстроилась, и, таким образом, она
осталась на лето без приличного ангажемен-
та; да и вообще сценическую карьеру намере-
на бросить, так как убедилась, за два года, что
таланта у нее никакого нет, а обращаться в
театральную проститутку с туалетами что-то
не по вкусу. Итак, — она зачеркивает еще
один неудачный опыт приспособиться к жиз-
ни и возвращается в Правослу, где и прожи-
вет, сколько будет возможно, по средствам и
по силам. А выдержать такое отшельниче-
ство собирается долго, — может быть, даже до
конца дней своих, а уж года то два-три — на-
верное. Деньгами, покуда, надеется обойтись,
потому что дом она, все-таки, продала, хотя

уже и без экспертизы Ивана Афанасьевича.

Однако, именно эта продажа и подорвала ее окончательно. Дом был продан дешево, и почти все деньги ушли на уплату текущих долгов. А, между тем, распространился слух, будто она, напротив, очень много получила за продажу дома, — и, вот, решительно все кредиторы, как ее личные, так и покойных ее родителей, сразу двинулись к ней с требованиями окончательной расплаты... Виктория Павловна расплачивалась направо и налево, как могла, но весь этот неожиданный наплыв устроил ее так хорошо, что она оказалась, в буквальном смысле слова, без копейки и принуждена была засесть в Правосле уже не только по своему желанию, а по необходимости, потому что здесь ее хоть сколько-нибудь и как-нибудь кормило и содержало «натуральное хозяйство». Значит, оставалось, в самом деле, позабыть на время все другие возможные исходы и планы и надолго затвориться в своем углу, пережидая тяжелую полосу, покуда Арина Федотовна как-нибудь обернется и покончит с наиболее досадными, с ножом к горлу пристающими, долгами.

Вопреки такому невеселому положению, приехала Виктория Павловна очень спокойною, бодрою, в духе, так что даже странно было видеть тем, кто знал ее тяжелые и трудные дела. Сразу чувствовалось, что она очень много сломала и порешила в своей жизни старого и привезла в себе громадный свежий запас сил, воли и самообладания для нового, которое теперь, авось, жизнь укажет. Арина Федотовна, по глазам возлюбленной своей питомицы, угадала, что за срок, в который они не видались, Виктория Павловна успела пролететь сквозь какой-то бурный, кратковременный роман, — и теперь, как всегда после подобных встрясок, тайными вихрями врывающихся в ее жизнь и вихрями же бесследно улетающих, она будет надолго «умницею» — спокойною, рассудительною и совершенно равнодушною к презираемой Ариною Федотовною «козлиной породе — несытому мужчине». Перед приездом Виктории Павловны, Иван Афанасьевич, несмотря на свое внешнее опьянение, струхнул было, как-то она теперь встретит его — впервые после городского разговора-то, — и не было бы ему от нее ху-

до за тот сон, что ей привиделся, а она неосторожно рассказала. Да и не один он, а даже Арина Федотовна побаивалась и зорко приглядывалась к Виктории Павловне в первые дни ее появления. По оба ошиблись, и Иван Афанасьевич теперь даже не мог отдать себе отчета, приятна была ему ошибка или— совсем напротив. Виктория Павловна по нему, буквально, как по неодушевленному предмету, взглядом скользнула, любезно подала ему руку, спросила о здоровьи, и осведомилась, что он поддельывает, как гитара, велик ли прилет певчей птицы в этом году, хорошо ли клюет рыба. Затем вассал был отпущен без всяких других речей, успокоенный насчет своей судьбы милостивым разговором, которого был удостоен, но с совершенно ясным показанием, что он «Марье Моревне, кипрской королевне» ни на что не нужен и как бы вычеркнут ею из записной книжки своей жизни.

Как всегда, с появлением Виктории Павловны в Правосле, началось к ней усердное мужское паломничество со всего уезда. В этом году даже больше, чем когда либо, так

как, сверх обыкновения, этим летом к Виктории Павловне наезжали и дамы, хотя, конечно, не местные а, в своем роде, тоже экзотические и — «на особом положении», как она сама.

Верстах в двадцати от Правослы, вверх по Осне, в глухом лесном селе, оказалась на подневольном жительстве юная барышня, высланная еще по прошлой осени в эту глушь, на попечете родных, из Москвы, в результате много нашумевших в свое время первомайских беспорядков на фабрике мануфактуриста Антипова. Барышня эта, красивенькая, как белый и румяный херувим, сливающийся на итальянской иконе золотой пух кудрей своих с пропитанными солнечным светом облаками, звалась по паспорту Диною Николаевною Николаевою, но слыла в своем обществе Чернь-Озеровой, по фамилии одной весьма блистательной московской дамы — Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой, которая эту херувимоподобную Дину воспитала, как приемную дочь. [См. мой роман «Девятидесятники».] Но Москва даже не подозревала, а давным давно уверена была, что слово «при-

емная» тут совершенно лишнее: как Дина, так и другая воспитанница г-жи Чернь-Озеровой, помоложе первой года на четыре, Зинаида Сергеевна, — приходятся великолепной Анимаиде Васильевне несомненнейшими родными дочерьми, прижитыми во внебрачном сожительстве этой дамы с Василием Александровичем Истукановым, крупным московским дельцом-коммерсантом, директором-распорядителем громадного универсального магазина Бэр и Озирис. Секрет своего происхождения девушки могли подозревать и, конечно, подозревали тоже давным давно. Однако — лишь ссылка Дины, запутавшейся в политическую историю, сломала лед тайны, которую Анимаида. Васильевна искусственно и властно поддерживала не только во внешних и показных, но и в домашних, интимнейших отношениях с дочерьми своими, словно не замечая, что они уже взрослые, и держать их в состоянии детского неведения о самих себе — и жестоко, и нелепо. Ссылка старшей «воспитанницы» потрясла «воспитательницу», вопреки ее репутации женщины холодной и сухой, да, к тому же ученой педантки,

полупомешанной на феминизме, вне идей которого ей — хоть трава не расти. Анимаида Васильевна, кажется, только теперь впервые почувствовала, настолько дорога ей дочь, которую до сих пор, она, пожалуй, даже мало любила, как не совсем-то удачный опыт свой феминистической дрессировки. Она растерялась, размякла, пожелала непременно сопровождать Дину в ссылку и, без предупреждения нагнав дочь в глухом селе, ей назначенном, бесконечно изумила Дину своим неожиданным появлением. Девушка никогда не ожидала, не смела не то, что надеяться, а хотя бы даже мечтать и грезить, чтобы блестящая Анимаида Васильевна пожертвовала ради нее Москвою и обществом, в котором она царила, привычная к поклонению пред ее красотой, умом, изяществом, образованием, окруженная известнейшими, интереснейшими, талантливейшими, остроумнейшими людьми столицы... Дина была и растрогана, и смущена жертвою, наотрез отказалась принять ее, уверяя, что этого ей уж чересчур много. Она счастлива уже тем, что Анимаида Васильевна не пожалела времени и труда для

свидания с нею, — но поселиться в медвежьем углу?! Как это можно? Анимаида Васильевна, чем облегчить ее положение, только отяготит его, потому что она истерзается совестью, чувствуя, как Анимаиде Васильевне здесь, с нею и из-за нее, нехорошо, скучно и одиноко.

Анимаида Васильевна, выслушав ее доказательства, долго молчала... Так долго, что Дина думала уже, что убедила ее, и — не без злорадства за свою угадливость, пополам с горечью разочарования в блеснувшей было и так быстро погасающей надежде, — говорила про себя:

— Что и требовалось доказать... Кусок чувствительной мелодрамы отмерян ровно настолько, чтобы совесть была чиста и публика довольна... А затем...

Но Анимаида Васильевна встала перед нею — в изсера-фиолетовом парижском дорожном костюме своем, делавшем похожим ее, прекрасную и стройную, в поздней неувядаемой молодости, на богиню красивой осени, которая тогда стояла на дворе. И — изящная и строгая, с чуть согретым, новым светом

в глубине хрустальных глаз, которые Дина всю жизнь свою так любила и которых ледяной власти так боялась, — она произнесла:

— Мне вдвоем с тобою не может быть одиноко, Дина. Я — твоя мать.

Сказано это было спокойно и просто: «точно она мне стакан чаю предложила», не то восхищалась, не то негодовала потом Дина, рассказывая сцену эту новому другу своему, Виктории Павловне Бурмысловой.

Но тогда она только растерялась... Настолько, что ни удивлением, ни радостью не откликнулась, а, заикаясь и не зная, куда девать ей глаза, пробормотала:

— А Зина?

Спокойный голос отвечал:

— Твоя родная сестра... Отец ваш — конечно, Василий Александрович Истуканов... Ты, вероятно, и сама была готова к этому...

Только теперь Дина почувствовала, как была она ошеломлена признанием матери, и, по мере того, как ошеломление проходило, возвращающееся сознание несло ей с собою чувство какого-то горького, долгого, насквозь проникшего и пропитавшего душу, оскорбле-

ния... И, неожиданно для себя, она вдруг заплакала обильным дождем детских слез и, по-детски пряча в ладонях херувимское лицо свое, произнесла с горьким упреком:

— Вы могли бы раньше сказать мне это... Да, могли бы раньше...

Теперь вот Анимаида Васильевна побледнела...

— Это правда, — сказала она, и что-то в ее голосе стукнуло в сердце девушки, прося, в немом сознании греха, о прощении к приюту.

И больше между ними, в вечер объяснения, не сказано было ни одного слова... Выждав, не будет ли от дочери ответа, но, вместо того, слыша лишь, как нарастает безмолвие, давая простор сверчкам перекликаться с маятником стенных ходиков, Анимаида Васильевна отошла прочь и принялась разбираться в своих дорожных вещах... Дина, сидя, водила уже высохшими глазами вслед ее спокойным, размеренным движениям, полным уверенности, что каждое из них необходимо и делается именно так, как должно его делать совершенно разумное существо, — и сама не знала, чего ей больше хочется: взвыть на го-

лос и затопать ногами от обиды, которую чувствовала, но состава которой не понимала и стыдилась понять, или броситься на шею к этой женщине, которая сразу и так близка, и так далека от нее, которую она привыкла обождать с тех пор, как самое себя помнит, и которую — вот сейчас, да, именно вот сейчас, при всем кипении обиды своей, она обожает больше, чем когда-либо...

Но не взвыла и на шею не бросилась, — со владела с собою и, когда, вместо розовых сумерков, с бельмом молочной луны на небе, в окно глянул уже золотой вырезок месяца, и мать сказала ровным голосом:

— А не лишнее было бы зажечь лампу...

Дочь так же ровно и спокойно ответила ей:

— Сейчас...

А потом, уже при свете, подошла к ней, нагнувшись над чемоданом, и сказала:

— Я знаю, что вы не любите театральных сцен, а потому извините меня, если и я сейчас не театральна в той мере, как следовало бы прилично «событию»... Однако, поверьте мне: я чувствую глубоко... может быть, даже слыш-

ком глубоко... И... и позвольте мне сейчас удалиться от вас: мне надо подумать наедине с собою и разобраться в себе... может быть, утро вечера будет мудренее, но сейчас у меня в голове — нисколько не стыжусь признаться — чудовищная сумятица...

Голос ее звучал печально и насмешкою, направленною на свою печаль... Анимаида Васильевна, распрямившись, стояла у чемодана на коленях и говорила:

— Конечно, Дина милая, ты совершенно права, я тоже чувствую себя совершенно усталою от дороги и с наслаждением думаю о приличной постели...

Так расстались они — мать и дочь — впервые после того, как открыто стали матерью и дочерью — и впервые, за долгие совместные годы, даже без обычного поцелуя на сон грядущий... И, тем не менее, Анимаида Васильевна, проводив уходящую дочь одобрительным взглядом, думала, вынимая из чемодана, одну за другой, принадлежности богатого туалетного прибора:

— Да она у меня оказывается совсем молодец... Не ожидала... Боялась, что раскиснет, и

придется пройти через мелодраму... Нет, мы поладим... В ней, все-таки, моя кровь... Быть может, пободаемся сперва и поцарапаемся немножко, но поладим...

Надежда Анимаиды Васильевны, очевидно, сбылась полностью, потому что в Правослу они — Чернь-Озеровы, мать и дочь, — приехали в самых лучших и уже вполне откровенных отношениях: воспитательница и воспитанница отошли в область преданий, которые теперь обе старались забыть с таким видом, как будто их никогда и не было. Анимаида Васильевна была знакома с Викторией Павловной еще ранее, по встречам в Москве и Петербурге. В настоящее время, приезд ее к ссыльной дочери и пребывание в глухом лесном селе сделали не мало шуму не только в уезде, но и в губернии. Даже, можно сказать, откликались всероссийски всюду, где только были у Анимаиды Васильевны знакомые и известно было ее имя, а — где же у нее не было знакомых и в какую же дыру захолустную не проникали лучи ее московской славы? Комфортабельный быт, которым Василий Александрович Истуканов не замедлил окру-

жить свою подругу в добровольном ее уединении, откликнулся по уезду во всех господских домах и усадьбах преувеличенную славою неслыханной роскоши, богатства и влияния. Дину, и без того, еще раньше считали ссыльною княжною, впавшею в немилость при дворе. [См. роман "Дрогнувшая ночь".] Теперь эта репутация совершенно уже установилась — прочно на-прочно, крепко-на крепко. В двух-трех добродетельных гостиных, при имени Анимаиды Васильевны, продолжали презрительно фыркать, называя ее зазнавшейся содержанкой. Но — увы, добродетель, по любопытству своему, весьма редко бывает в состоянии утерпеть, чтобы не пойти навстречу пороку и с ним не познакомиться, хотя бы из предосторожности узнать его в лицо, конечно, с благоразумною целью — потом избегать его опасных и коварных, особенно врасплох, обольщений. Такое мужество добродетели требовало — опять увы! — известной готовности поклониться, так как порок, выраженный в лице Анимаиды Васильевны, сам решительно никому кланяться не желал, а жил себе да поживал, не нуждаясь ни в

чьем обществе, либо выбирая его себе по собственному вкусу... Однако, отправившись вместе с дочерью гостить в Правослу, порок сделал уездному обществу уже такой наглый, по местным условиям, вызов, что даже наиболее подкупленные его союзники содрогнулись... Если бы Анимаида Васильевна и Дина взяли себе гласно по десяти любовников, и то вряд ли бы они себя уронили во мнении уездных дам глубже, чем отправившись гостить к ненавистной правосленской Цирцее. Зато в Правосле Анимаида Васильевна принята была с великим почетом и вниманием. Уже не молодая, но поразительно моложавая, все еще красивая и эффектная, в своей искусной замороженности под английскую лэди, дама эта, что называется, «импонировала», а ее репутация смелой феминистки была хозяйкам Правослы как нельзя более по сердцу и сочувствию. Виктория Павловна, далеко не привычная склонять перед кем-либо свою гордую выю, тем не менее смотрела на госпожу Чернь-Озерову— невольно — немножко снизу вверх. Точно младшая ученица и, покуда, еще неудачница, на много старшую ее учи-

тельницу, успешно оправдавшую ту самую программу независимости, которую хотела бы Виктория Павловна осуществить в своей жизни, — да, вот, все срывается. Это был восторг — не восторг, а уважение большое и не без некоторой зависти... Даже никого из ближних своих в грош не ставившая Арина Федотовна, при Анимаиде Васильевне, как-то уважительно притихала и держалась, если не с опущенными, то во всяком случае, лишенными обычной дерзкой усмешки, глазами. Точно, вот, наконец-то она чувствует себя в обществе равного ей человека, с которым можно поговорить по душам о жизни и людях, о планах и их исполнениях. И, когда Анимаида Васильевна вела в обществе Виктории Павловны и других ее гостей, какой-нибудь феминистический разговор: обыкновенно, разговоры эти начинались в саду, на площадке перед домом, — пребывать под кровлею дома своего, с обветшалыми потолками, Виктория Павловна и сама не любила, и гостям не советовала, — Арина Федотовна тоже, и совсем себе не в обычай, приходила послушать. Усаживалась она, массивная и тяжелая, на

ступеньки террасы, упирала локтями толстые руки в толстые колени, укладывала на ладони скифски-красивое каменное лицо свое, и вся его умная бело-розовая маска, с серыми, чуть подвижными, зоркими глазами, как будто говорила без слов:

— Вот умные речи приятно и слушать...

Совсем уже идоло-жертвенно поклонялась Анимаиде Васильевне третья гостя Правослы, Евгения Александровна Лабеус, чрезвычайно богатая, но и чрезвычайно же некрасивая собою южанка, из того типа, который на севере с улыбкою называют «одесситка», а в Одессе от него отмахиваются руками и навязывают его — Кишпепеву, Крыму, Таганрогу — пусть будет чья угодно и откуда угодно, только бы не наша... Будучи еще гимназическою товаркою Виктории Павловны, эта госпожа Лабеус была ее великим и даже неразрывным другом, связавшись с нею длинною и сложною цепью множества общих дружб и враждебностей, симпатий и антипатий, похождениям и приключениям, хороших и дурных, веселых и печальных, порядочных и порочных. Дама эта, которая сама себя звала и в письмах

подписывалась «сумасшедшею Женькою», тем и жила, в духе своем, что привязывалась к кому-нибудь мучительным, страдальчески-страстным обожанием. Исключением из этого правила являлись только два человека, — Виктория Павловна: к ней господа Лабеус чувствовала просто большую дружбу, как человек, уверенный в совершенной честности отношений к себе со стороны другого человека, — и собственный супруг госпожи Лабеус, Вадим Карлович, прелюбопытный в своем роде господин. Всероссийски известный инженер, строитель нескольких железных дорог, он зарабатывал такие сумасшедшие деньги, что, несмотря на двойные старания — свои собственные и супруги своей — разориться, никак не успевал почувствовать убыли в кармане. С женою своею господин Лабеус жил почти всегда врозь и видался редко, перейдя с нею, чуть ли не в первый же год брака, в отношения безобязательного дружества.

— Вадим — хороший товарищ! — одобряла мужа Евгения Александровна.

Но разойтись с нею совершенно, ни, тем паче, развестись формально, Вадим Карлович

ни за что не хотел, несмотря на бесчисленные к тому поводы и неоднократные просьбы самой супруги. Более того. Говорили, что, если этот (к слову сказать, весьма эффектный по своей наружности и смолоду избалованный успехом у женщин) господин, которому, к тому же, по средствам было покупать любовь каких-угодно красавиц, на что он даже и не весьма ленился, — так, вот, говорили, что если Вадим Карлович когда, либо любил женщину, по настоящему, жертвенно и самозабвенно, то это — именно свою супругу, Евгению Александровну. Да, ее, — и только одну ее, с ее оливковой скуластой физиономией мопсоподобной мулатки; с ее звериными круглыми глазами, с ее фигурой девицы из цирка, играющей шестипудовыми гирями; с ее ужасным хриплым смехом и говором кафешантанной певички; с ее бомбообразными грудями, которыми она, по какой-то аберрации вкуса, гордилась и, в туалетах своих, нарочно как-то особенно обтягивалась, чтобы эта часть тела сразу бросалась в глаза; с ее кривыми рахитическими пальцами на маленьких красных руках... Житейский форму-

ляр этой госпожи был из тех, о которых Тургеневский помещик говорил, что он подобной репутации даже своей бурой кобыле не пожелает. Где бы, когда бы ни появилась госпожа Лабеус, за нею неизменно тащился грязный хвост скандального романа. А, между тем, право, нелегко было бы найти на свете существо, которое усерднее и страстнее мечтало бы о какой-то особенной — надземной — чистой и возвышенной любви. Природа злобно подшутила над этою женщиною — странною и несчастною, — смешав в ней, невесть каким атавизмом вдохнутый, дух сантиментальной Лауры у клавесина с дюжим телом рыночной хохлуши-перекупки, какою и была некогда почтенная мамаша госпожи Лабеус, и отравив этот бестолковый состав безудержно-чувственным темпераментом семитско-молдаванской смеси в крови ее отца, бессарабца. Да сей последний, вдобавок, породил это сокровище на шестидесятом году бытия своего, — аккурат перед тем, как отравился, во избежание перспективы сесть на скамью подсудимых за растление и убийство малолетней служанки... Евгения Александровна

всю жизнь искала и ждала какого-то неведомого рыцаря — Лоэнгина, который вот-вот придет к ней в ладье, запряженной лебедем, во всеоружии всех высоких качеств идеального мужчины, а, главное, тончайшей способности к любви чисто духовной, кристально-перламутровой, не опозоренной хотя бы малою примесью низменной чувственности и... корысти! Нельзя сказать, чтобы поиски Евгении Александровны были совершенно безуспешны. Напротив, кандидатов в Лоэнгины вокруг нее всегда вертелось даже слишком много и, так как женские прелести ее были, что называется, на охотника, то и первому условию — отсутствию низменной чувственности — многие из Лоэнгинов легко удовлетворяли. Но, вот, второе условие так и резало их одного за другим. Потому что, — к счастью своему... впрочем, пожалуй, и наоборот, к несчастью, — эта женщина, вместе с необузданною истерическою сентиментальностью, не лишена была практического смысла, и он позволял ей, хотя не сразу, но все же в довольно быстром порядке, разоблачать в своих Лоэнгинах рыцарей совсем не лебеди-

ного, а разве вороньего образа. И тогда хронически повторялась одна и та же история. Разочаровавшись в очередном Лоэнгрине, госпожа Лабеус никогда не обнаруживала сразу, что уже разобрала в нем очередного жулика. Напротив, некоторое время, — словно себе в наказание, а противнику в вящее унижение, — она тут то и осыпала его усиленными щедротами, тут то и позволяла грабить себя с какою-то нарочною, будто радостною, презрительностью, точно заставляла себя испытать до дна всю горечь своей ошибки и зрелище неистоцимой подлости человеческой. Но в один мрачный день, когда чаша унижения, разочарования и подлых впечатлений становилась уж именно — «как кубок смерти, яда полный», — еще одна капля, — и вдруг, словно плотину прорывало. Бедная обманутая Эльза отчитывала Лоэнгрину в выражениях, от которых краснели мраморные статуи, и фигуры на картинах поднимали руки, чтобы заткнуть свои целомудренные уши. А иногда в физиономию Лоэнгрину летели и вещественные знаки, вроде горчицницы или салатника с помидорами, чернильницы, шан-

дала, а то, за неимением под рукою метательных предметов, и просто плевков из метких уст расsvирепелой Эльзы. Не все Лоэнгрины принимали подобное обращение, как заслуженную и благопотребную дань, — весьма нередко эпопеи скандалов госпожи Лабеус оформлялись полицейскими протоколами и попадали на страницы газет. Справедливость требует подтвердить, что в таких случаях она проявляла непоколебимое гражданское мужество и никогда гроша медного не истратила на то, что бы откупиться от скандала и неприятных последствий своей горячности. Штрафы платила, аресты отсиживала, но — раз дело дошло до гласности и протокола — считала долгом справедливости претерпеть все мытарства скандала до конца. Но худшее для нее было не в том, а в нервной реакции, которая следовала за бурей. Упав с краткосрочного своего неба на землю, Евгения Александровна не помнила себя от огорчения и гнева и, — в злобе отчаяния и во имя забвения, — норовила — уж падать, так падать! — шлепнуться в какое-нибудь такое болото, что грязнее нельзя. Как она тогда пила, что она

публично проделывала, каких любовников находила и въявь с ними безобразничала, — этими повестями в скандальной хронике южных городов исписано не мало хартий. А вывести ее из подобного, явно патологического, состояния могла — увы! только новая идеальная влюбленность, то-есть обретение нового какого-нибудь Лоэнгина, с бесовскими рожками под серебряным шлемом и с черным хвостиком под белоснежным рыцарским плащом. В шатаниях такой нелепой жизни, госпожа Лабеус давно уже сожгла все свои корабли, кроме неистоцимого мужнина кармана. Потеряла порядочное имя, потеряла доступ в общество своего круга, потеряла даже женское здоровье, потому что кто-то из Лоэнгинов наградил ее болезнью — хотя и не самого скверною, но противною и истощающею, и хронический недуг этот еще более ослаблял Евгению Александровну, расшатывал ее нервную систему, обострял и развивал истеричность. В последние годы, госпожа Лабеус вела себя так, будто дала себе честное слово непременно угодить в сумасшедший дом, куда всякий другой муж ее давно бы упрятал

и даже за доброе дело почел бы... да, может быть, оно и впрямь было бы добрым делом! Громадный запас сил в могучем организме, которым благословила Евгению Александровну маменька-плебейка, покуда выручал... Но, когда ей случалось знакомиться с психиатрами, эти наблюдательные люди приглядывались не без любопытства к ее круглым звериным глазам, к низкому лбу крутым полушаром, почти заросшим волосами, к судороге ее неверных, лишенных ритма, движений, к произвольному сокращению мышцы, то и дело жмурившему ее левый глаз, будто она кому подмигивает, и порывисто качавшему ее огромную, курчавую голову на левый бок...

Грабили госпожу Лабеус все, кому не лень было: и мужчины-друзья, и женщины-приятельницы. Только покажись ей, что — «честная душа», а уж она рада будет распяться для человека, вся, как сумеет. Из всех друзей и знакомых Евгении Александровны, Виктория Павловна Бурмыслова была едва ли не единственной, которая никогда от нее не попользовалась ни даже копейкою. За это госпожа Лабеус отличала свою подругу среди смерт-

ных мира сего, как совершенно исключительное существо. Но, в то же время, если был у нее серьезный предмет огорчения, это — именно — зачем Виктория Павловна не позволяет ее вмешиваться в свои плачевные дела и поправить их ссудою, которая для супругов Лабеус — едва ли больше дохода за одну неделю, а между тем могла бы устроить Викторию Павловну, с ее Правослою, на долгие годы. Но Виктория Павловна твердо выдерживала свою линию. Она была уверена, что именно отсутствие счетов и обязательств между нею и подругою дает ей некоторую сдерживающую власть над Евгенией Александровною, которую Виктория Павловна очень искренно и тепло любила. Виктория Павловна могла похвалиться, что она — единственный человек, способный и умеющий унимать эту буйную анархическую волю, которая именно тогда, когда чувствует попытку обуздать ее, тут то и начинает брыкаться самоубийственным метанием, словно пленный мустанг, почувствовавший на себе петлю лассо. Госпожа Лабеус отвечала Виктории Павловне глубоким доверием и прибегала к ней

за утешением всякий раз, когда становилось ей уж очень тошно среди алчной толпы всевозможных охотников и охотниц по капиталу, тормозивших ее, простодушную истеричку, точно золотую руду, чтобы растащить по крупинкам. Принадлежа к той породе женщин, которая искренно почитает деньги за сор, для того и изобретенный, чтобы швырять его за окно, Евгения Александровна, однако, любила под-час чувствительно похныкать перед приятельницей, то слезно жалуясь, то громко издеваясь над собою, какая она уродилась несчастная, что ее все обманывают и обирают. Но «Москва слезам не верит», и, когда Евгения Александровна, бывало, расхныкается, Виктория Павловна только улыбалась. Она давно уже убедилась, что ее злополучная подруга втайне — еще больше, чем хныкать, — любит именно быть обманываемой и обираемой, болезненно находя в этом какое-то особое презрительное наслаждение и торжество.

— Что ты плачешься, казанская ты сирота? — обрывала ее Виктория Павловна. — Ведь только — так, по традиции, а, в существе

то, тебе нисколько не жаль, и ты даже довольна...

Госпожа Лабеус, с возмущением, округляла и без того круглые, звериные глаза свои, протестуя:

— Помилуй, душечка., чем тут быть довольною? Он у меня шесть тысяч упер...

Но Виктория Павловна стояла на своем:

— Фальшивишь. Довольна. Не упри он, как ты выражаешься, у тебя шесть тысяч, ты бы в недоумении пребывала, по какому случаю ты еще не ограблена. А теперь все в порядке: шесть тысяч «уперто», твое провиденциальное назначение исполнено, — и ты спокойна...

— Конечно, — оправдательно возражала госпожа Лабеус, — мне, все-таки, приятно, что он, хотя и подлец, но, по крайней мере, скоро себя обнаружил... мог, пользуясь моею к нему слабостью, снять с меня много больше!

Но Виктория Павловна и в том ей не уступала:

— Нет, нет, миленькая моя, не виляй, пожалуйста, — совсем не потому... А просто это у тебя — мазохизм особого вида... капитали-

стический, что ли?

— Выдумашь!

— Да, да. Поверь. Любишь чувствовать себя жертвою, поруганною в своем доверии к человеку... Только ты все это по мелочам, вроде того, как наши актриски от несчастной любви нашатырем травятся: чтобы на границе смерти потанцевать, а взаправду умереть — ни-ни!.. А вот однажды какой-нибудь Лоэнгрин тебя на все состояние обработает, — что ты тогда запоешь?

— Повешусь!

— Очень может быть, но, сперва, я уверена: момент преострого наслаждения испытаешь... Вот уж мол когда, наконец, на подлнца-то нарвалась! Вот это подлец так подлец! Квинт эссенция! Из подлецов подлец! Раньше бывали — что! Искала — только время теряла! Мне бы сразу на подобного налететь...

Но тут госпожа Лабеус набрасывалась зажимать ей рот, визжа режущим уши хохотом, пламенея африканским лицом, сверкая одичалыми звериными глазами, звеня бесчисленными браслетами и всякими драгоценными цацками, которыми всегда была увешена:

— Витька! безумная! не смей читать в моей душе... откуда ты знаешь? какой домовый тебе говорит?

Виктория Павловна спокойно отстраняла ее тревожные, всегда в движении, слегка трясущиеся, руки своею властною твердою рукою и со вздохом говорила, сдвигая морщинку на лбу, гордом и ясном, как слоновая кость:

— В самой доля этого есть... Сердце сердцу весть подает... Родственность натур, моя милая!

Деньги женщины влекут за собою свиту, еще большую и усердную, чем доступная красота. Поэтому, сколько госпожа Лабеус ни хотела скрыться от мира в захолустной усадьбе приятельницы своей, — напрасно. Тотчас же начали являться из Одессы, Киева, Ростова на Дону и других южных центров, где гремела фамилия Лабеус, Лоэнгрины и Парсифали разнообразнейших званий и профессий. Необычайно переполненные чувством собственного достоинства и в той же мере рослые актеры, с величественною осанкою и синими щеками, с наигранною «интеллигентностью» взгляда, с полнозвучным рокотом тихого, внушитель-

ного разговора на «глубокие» темы, с цитатами из ролей, и с такою совершенною пристойностью в изысканных сюртуках и учтивых манерах, что, право, было уж и не пристойно. Журналисты с растерянными близорукими глазами под непротертыми пенсне и напряженно хмурым выражением интеллигентно-бородатых лиц, так что и не разобрать сразу: то ли это гражданская скорбь, то ли мучительное ожидание «совчерашнего», скоро ли подадут водку. Приехал знаменитый художник-портретист из Петербурга, умевший уверить уже несколько богатых дур, что он помнит свое существование бесплотным духом на какой-то звезде и неземную любовь свою, в этом удивительном состоянии, к планетной женщине Аматузии. И вы, мол, мне мою Аматузию чем-то напоминаете... А потому я очень желал бы написать ваш портрет... за который, — подразумевалось, — вы заплатите мне не менее пяти тысяч рублей: вам, при вашем капитале, пустяки, а мне удовольствие. Приехал поэт-декадент из Москвы. Приехали два офицера, до смешного похожие друг на друга, хотя были вовсе не родня и да-

же из совсем разных частей и губерний, — один со взглядом меланхолическим, другой со взглядом победоносным. Приехали два адвоката — один с стихами Верлэна и Бальмонта, другой с остротами, вычитанными у Дорошевича. Вся эта саранча промелькнула в Правосле в продолжении лета, оседая на короткие сроки, покуда находила или чаяла найти некоторый корм. В каждого из пришельцев госпожа Лабеус с неделю была влюблена, с каждым мечтала в течение двух-трех дней связать свою жизнь навсегда, трижды — в июне, июле и августе — собиралась разводиться с мужем, а в августе даже и написала ему, что не может более носить брачные узы и требует свободы, так как безумно любит офицера с победоносным взглядом. Муж отвечал телеграммою:

— Всякая роза имеет шипы, а маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию.

Из этого скептического афоризма офицер с победоносным взглядом справедливо умозаключил, что госпоже Лабеус его супругою не бывать, и благоразумно удалился, взяв на

прощание у кратковременной невесты своей тысячу рублей займа. А Евгения Александровна имела удовольствие переписать еще одного адоратера из графы Лоэнгринов в графу подлецов, — и, на этот раз, даже без традиционного последования скандалом с отчаяния... Но та была атмосфера в Правосле, хотя и странная атмосфера, и, в это лето, странность ее была особенно ощутима. Тем более — для нового, свежего человека, как Дина Чернь-Озерова...

С великим любопытством приглядывалась она к четырем женщинам, которыми теперь определялся быт и двигалась жизнь Правослы, и все они — мать ее Анимаида Васильевна, ключница Арина Федотовна, госпожа Лабеус и сама Виктория Павловна — казались ей странно похожими между собою, несмотря на разницу лет, положения, образования, характеров, темпераментов. Слово все они были запечатлены каким-то тайным общим знаком, который выделяет их из толпы в обособленное сообщество и позволяет им «масонски» узнавать друг дружку и прочих, им подобных, среди тысяч женских лиц, по како-

му-то неуловимому «необщему выражению»... Она не удержалась, чтобы не высказать этого своего наблюдения матери, после первого же визита в Правослу. Но Анимаида Васильевна, выслушав ее с некоторым недоумением, только пожала плечами и возразила, что она никакого сходства не замечает, и была бы очень огорчена, если бы оно имелось, например, между нею и госпожею Лаббус, так как последняя в высшей степени вульгарная дурнушка, совершенно не воспитана и обладает прескверными манерами.

— Ты не хочешь меня понять, — с нетерпеливым неудовольствием возразила Дина, — я не о физическом и внешнем сходстве говорю, а о внутреннем, психическом, что-то такое есть... склад ума и души у вас общий... У Арины Федотовны совсем никаких манер нет, она не дама, да баба, а, между тем, этим сходством — вы похожи... может быть, из всех — ты и она — больше всех...

Анимаида Васильевна чуть улыбнулась хрустальными глазами:

— Даже с Ариною Федотовною, о которой говорят в о колодке, что она отравила своего

мужа, высекла чужого управляющего и превратила какую-то попадью или поповну в собаку? Merci, ma fille, vous êtes trop aimable... [Спасибо, девочка, ты слишком любезна ... (фр.)]

— Ты шутишь...

— А ты фантазируешь...

Дина умолкла, но осталась при своем убеждении.

И, одиноко размышляя, расценивала, по новой мерке подмеченного сходства, дам и девиц своего недавнего московского знакомства.

— Вот — в себе сходства нисколько не чувствую, а в сестре Зине, хотя она еще полуребенок, оно уже обозначилось, почти с такою же резкостью, как в самой нашей маме, — думала она, с тою, сразу стыдливостью и гордостью, которые давали ей новое, так поздно к ней пришедшее, слово «мама». — Почему — вот — вспоминая приятельниц мамы, я княгиню Анастасию Романовну Латвину [См. «Девятидесятники», «Закат старого века» и «Дрогнувшую ночь»] могу вообразить в Правосле вполне на своем месте и как у себя дома? А

кроткую Алевтину Андреевну Бараносову [См. «Девятидесятники», «Закат старого века» и «Дрогнувшую ночь»], с ее застенчивою ласковостью и отзывчивыми наивными глазами, которую я так люблю и она так безгранично добра ко мне, я — ну, просто, не желала бы сюда? Мне было бы здесь больно за нее, как за человека, попавшего не в свое общество и ежеминутно рискующего очутиться в неловком положении и быть, если не явно оскорбленным, то тайно осмеянным... Здесь, ведь, над всеми смеются и — больше всего — над такими женщинами, как она: мягкими, немножко восторженными, уступчиво примиряющимися и почему то — не то, чтобы несчастными, а... несчастливými... А, между тем, Алевтина Андреевна, такая же свободо-мыслящая, как мама и Виктория Павловна, она любимая мамина подруга и, если взвешивать общественное положение, то даже и здесь небольшая разница: с супругом своим она разъехалась и живет одинокою безмужницею, как все они... Нет, это не оттого... А теть Аня, которой открытый роман с Костею Ратомским был три года притчею во языцех

всей Москвы? [См. «Девятидесятники» и последующие романы.] По здешним понятиям, она — в этом случае — героиня, настоящая женщина, как быть должна. И, однако, опять-таки я ее здесь себе просто не представляю и думаю, что если бы случай какой-нибудь забросил ее сюда, она была бы тоже несчастна и страдала бы среди этих женщин, как рыба на песке, как птица без воздуха, а они относились бы к ней предубежденно, как к чужой или, может быть, даже как к человеку из враждебного лагеря... Ведь мама и тетя Аня друзья тоже только потому, что сестры, а, в существе, — что между ними общего? Мама, про себя, считает тетю Аню слабою, игрушкою маленьких страстей, тряпичным характером, дамочкою-безделушкою, рожденною для упражнения в чувствах, куколкою для любования и баловства господ мужчин... Говоря по чистой правде, она, просто таки, презирает немножко эту нашу очаровательно-женственную и хрупкую тетю Аню, с ее красивыми чувствами, пылкими страстями и бесконечными болезнями, которых даже и в энциклопедии медицины не найдешь... А те-

тя Аня, в глубине души, мамы побаивается. Определяет ее холодной и жестокою эгоисткою. И— хотя не смеет попрекать ее, как грешницу, потому что сама грешна слишком открыто, но, собственно-то говоря, тетя в маме именно грешницу не любит: убежденную, но раскаянную, спокойную, — в то время, как она, тетя Аня, что ни согрешит, то грех свой оплакивает и слезами, и жалкими словами, а то и на одр болезни сляжет от угрызений совести и боязни самой себя... А когда-нибудь— надеется — и вовсе отринет от себя всякое искушение: побежденный грех из жизни уйдет и останется одно торжество покаяния, — блаженство очищенной совести и предвкушение небесных наград... Ведь она религиозна и во все это верит. Серьезно. Так что даже как-то конфузно становится, бывало, если пошутить при ней на этот счет...

— Нет: сходство их определяется вовсе не признаком свободной грешности... Евлалия Брагина [См. «Восьмидесятники» и последующие романы.] — самая строгая и целомудренная женщина, которую я знаю и могу вообразить, — она и с мамою хороша, хотя мама не

любит социалисток; и с Викторией Павловною дружески переписывается, хотя Виктория Павловна совсем не политический человек и откровенно признается, что три раза пробовала прочитать первый том Марксова «Капитала», но засыпала уже на первых страницах введения... Однако, если бы я, однажды поутру, увидала Евлалию Брагину в Правосле за чайным столом, я не думаю, чтобы она произвела впечатление карты из другой колоды и уж очень не к масти... А вот, уж если брать наших революционерок, Ольга Волчкова [См «Девятидесятники» и последующие романы.] ужасно испортила бы пейзаж... Так, вот, и делаются, точно агнцы и козлища, одни — направо, другие — налево, свои и чужие... Нет, право, есть какое-то... je ne sais quoi, [Я не могу уловить, что именно (фр.)] но — в нем-то и есть вся суть, потому что оно-то и категоризирует, и определяет..

Виктория Павловна, в которую Дина, не замедлила влюбиться с тою идеализирующею и идеалистическою восторженностью, как только совсем молоденькие девушки умеют влюбляться в старших и уже успевших вку-

сильно житейского опыта, подружка, поняла ее лучше, чем мать. Выслушав с вниманием, она сказала:

— Это нас бунт в один цвет красит. Бунтовщицы мы.

— Помилуйте! — даже с обидою некоторою, возразила Дина, — я сама бунтовщица, однако...

— Флюидов слияния с нами не чувствуете? — улыбнулась Виктория Павловна. — Милая моя бунтовщица, это оттого, что мы с вами против разных сил бунтуем... Вы социалистка, революционерка, вон, на демонстрации какой то громкой взяты и, за то, с рюриковскими медвежьими углами знакомитесь... А мы...

— Моя мать — тоже сочувствует движению... — предостерегающе перебила Дина.

Виктория Павловна равнодушно качнула головою: знаю, мол.

— Да и я сочувствую... Почему же не сочувствовать? Я, в некотором роде, еще молодежь, — хотя и не первый свежести, а все же, поколение скорее будущего, чем прошлого... И Женя Лабеев, хотя в политике совсем

невинна, и вряд ли точно знает, какой у нас в России образ правления — тоже, конечно, сочувствует вам, а не уряднику, который поставлен блюсти, чтобы вы из рюриковских болот не убежали... А об Арине Федотовне — что уж и говорить. Всякая предрержащая власть для нее связана с идеей о взыскании штрафов, об исполнительных листах, судебном приставе, и наложении печатей. Так, в результате подобного печального опыта, другой столь убежденной анархистки — вам по российским нашим тущобам и не найти...

— Ну, вот, как вы объясняете!..

— Позвольте! как же иначе-то? Веду прямо — от настоящего корня: от собственной шкуры... Разве вы в исторический материализм не веруете?

— Есть, я думаю, другая сторона...

Виктория Павловна согласно кивнула головой.

— Есть. Удаль мы, женщины, очень любим, смелый вызов Давида Голиафу, умной слабости — грубой силе. А удали в революции конца краю нет, — вот и сочувствуем... Красива она и горда, захватывает. Но и только... Вы,

вот, революцией увлечены — хоть и не на баррикадах, а, все-таки, где-то вроде того побывали. А мы на баррикады не пойдём. Либо, если и пойдём, то не потому, что революцию любим, а вот, зараза красоты и гордости, вдруг вот возьмет, поднимет и кинет... ау! где упадем, — лови!.. Но страданием за ваш бунт — нет! себе дороже! не окрестимся...

— Какое уж мое страдание! — с горечью возразила Дина. — Думала — лишения буду терпеть, а, вместо того, просто на даче живу, устроили мне бархатную ссылку...

Виктория Павловна засмеялась:

— Милая! Как же иначе-то? Вы не тем дебутом игру начали... Кто вооружается на идейный бой, тому рекомендуется оставить мать и отца, а вы ведь, кажется, как раз наоборот, тут то и нашли их?

— То-есть, они меня нашли, — с некоторою хмуростью поправила Дина.

— И прекрасно сделали, — внезапно и мимолетно омрачась и глянув в сторону, сухо произнесла Виктория Павловна. — Вам жаловаться по на что...

— Да я и не жалуясь, а только — нужна

точность... Одно дело, если материнское крыло само меня догнало, и другое, если бы я, в момент опасности, бросилась под него по собственной инициативе — искать приюта с перепуга от охватившей меня грозы...

— Хорошо это — иметь крыло, под которое можно укрыться от грозы, — задумчиво произнесла Виктория Павловна, глядя в землю. — Не отталкивайте крыльев, предлагающих вам убежище. Берегите их и свое право на них, Дина...

Дина, в удивлении, уставила на нее лазерные глаза свои:

— Это вы говорите? вы?

— Я, Дина... А что?

— Да, удивительно... не ожидала... не похоже на вас... вы кажетесь такою... ну, как бы это сказать? — преимущественно самостоятельною... — с смущенною улыбкою, заигравшею детскими ямочками на щеках, пояснила розовая Дина.

Виктория Павловна, держа глаза опущенными в землю, отвечала, — и брови у нее ползли одна к другой:

— Я не себя и имела в виду... Вообще...

Дина почувствовала себя несколько уязвленной и гордо вскинула хорошенькую головку свою, в пушистом золоте кудрей:

— Ах, вы — вообще... в виде правила, провозглашаемого от имени исключения, которого оно не касается... А вы не находите, что это несколько надменно? Я, может быть, тоже не «вообще?»

Виктория Павловна подняла веселые глаза на ее разобиженное личико и резво, искренно рассмеялась:

— Какой вы задорный цыпленок, Дина!.. Ужасно вас люблю... И еще спрашивает, почему она не такая, как мы...

Но Дина ее ласковым тоном не умилилась, а произнесла учительно и резко:

— Всякое прикрывающее крыло есть в то же время и ярмо... Согласны?

— Совершенно, моя милая, — подтвердила Виктория Павловна, обнимая ее за плечи, — а, уж если угодно знать, то, пожалуй, к тому и весь бунт мой... Или, пожалуй, наш, потому что в нем мы и с вашей мамою, и с Женькою Сумасшедшею сестры... Весь наш бунт сводится к тому, что не желаем мы принимать ярма,

под видом крыла... А так как нет на свете крыльев безъяремных, то не надо их вовсе... пропади они от нас, женщин, оба эти удовольствия — и ярмо, и крыло!.. Полагаю, что нового вам ничего не говорю. От мамы своей вы, наверное, уже слыхивали подобные формулы и аллегории...

— Ну, да, конечно... мама — феминистка... — подтвердила Дина, нельзя сказать, чтобы слишком уважительным тоном, и даже, пожалуй, не без насмешки в голосе. — Как же... в некотором роде, столп движения... Но... разве и вы? Вот не ожидала...

— Почему?

— Считала вас более передовой... Ведь, это же, в конце концов, vieux jeu, [Старая игра (фр.; об устарелом, старомодном).] чисто буржуазная отжившая выдумка... праздный идеал либералок, застрявших в старой вере в историческую личность, в психологические категории, в движение политики вне социальной необходимости... Новому миру, к которому мы принадлежим, пролетарскому строю, который мы создаем, нечего делать с феминизмом... Мы уже впереди: перешагнули че-

рез него и пошли дальше...

Виктория Павловна выслушала ее с весьма большим вниманием и покачала головою:

— Эти большое счастье, если перешагнули... Я шагаю, стараюсь шагать, но — серьезно признаваясь — не дошагнула... Ужасно высокий порог, Дина.

— Недурное признание для женщины, которая называет себя бунтовщицею!

— Бунт, дорогая моя, надежда победы, но еще не победа... Мужевластие — страшная сила... Я читала в какой-то легенде, что один рыцарь, нагрешив безмерно, наложил на себя покаяние — не питаться иною пищею, кроме той, которую он зубами вырвет у собаки из зубов... Вот — вроде этой богатой добычи и те счастливые приобретения, которые отвоевывает себе женщина, отрекшаяся от мужевластной опеки...

Она гневно передернула плечами — был у нее такой характерный жест, когда она возбуждалась, резкий, а красивый — и продолжала:

— И не охотница я, и не умею вести теоретические споры. Да и нет у меня никакой

предвзятой теории, а просто весь мой характер, весь мой темперамент кричит и возмущается против того, чтобы мне быть рабою мужчины, чувствовать к нему самоочье почтение и страх... Женька моя глупая — еще идеалистка: бунтует, а верит в «ихнюю братью, козлиную бороду», как выражается моя Арина Федотовна, — все духовного равенства полов ищет, придумывает возможность какого-то рыцаря, вроде Лоэнгринна или Парсиваля, совершенно подобного ей, потому что она то, ведь, уж совершеннейший рыцарь в юбке... И печального образа рыцарь... Донна Кихот... Вы смеетесь? Вам она не нравится? Мещанкою веселящеюся кажется? Да? Нисколько не удивляюсь. Сверху преотвратительною корою обросла, а внутри — чистейшее золото... Ах, если бы на свете было больше женщин подобной души, да господа мужчины их, еще девчонками, не коверкали, игрушки ради, — хорошо, друг мой Дина, могла бы выстроиться женская жизнь... А то ведь все мы сломанные, все искаженные мужскою дрессировкою... Рабыни... И в покорности — рабыни, и в бунте — рабыни... И только тем мстит раб-

ство наше за себя, что от него, чем дальше цивилизация развивается и растет, тем больший в ней водворяется женский хаос и сумбур... Но — ведь — это, знаете ли, как в народе смеются, «наказал мужик бабу — в солдаты пошел»... только — наоборот: наказывает баба мужика — и все свою природу ради того наизнанку выворачивает... Какой, бишь, это поэт делил женщин на мадонн и вакханок? Либо мать семейства, либо проститутка? Ну, и вот... Женщину-мадонну общество, что год, то больше в проституцию сталкивает, а природные проститутки облеклись в покрывала мадонн и играют роли жен и матерей... Иногда талантливо с той и с другой стороны, но — всем тяжело и всем скверно, и всем подло... Потому что — обман... кругом — обман... в атмосфере обмана живем и им одним дышим... Противно, тошнит, точно каждую минуту слизняков глотаешь...! — Обман этот, о котором вы говорите, я очень понимаю, — возразила Дина, с удивлением наблюдая ее горячность, торопливую, почти судорожную, с быстротою слов, как река несет, с мерным движением брови к брови, с нервным потира-

нием правую рукою тыльной части левой. — Я, как и вы, задыхаюсь от ощущения всегдашнего, повсеместного обмана, нас проникающего... Но почему вы ограничиваете обман отношениями полов? Это только одно из социальных его проявлений, органические причины глубже...

— Ну, да, да! — перебила Виктория Павловна не то с насмешливою ласкою, не то с легкою досадою, — я уже слышала: вы возвысились до классовой точки зрения... Меня крылья так высоко не несут. В пролетарскую победу — верю, а в то, что в ней мы, женщины, и себе завоюем победу, и пролетарская победа будет также нашею, женскою победою, — не верю... Это пускай Евлалия Брагина верит, а я — нет!..

— Тогда чему же вы в ней, — вы сказали. — сочувствуете? — возразила Дина с снисходительностью, не лишенною надменности, потому что в беседе этой она чувствовала себя гораздо развитее своей собеседницы и ушедшею далеко вперед от ее самодельного мирозерцания.

Но Виктория Павловна засмеялась, сверкая

зубами и глазами, и сказала:

— Да, покуда нам по дороге, отчего же не сочувствовать? А покуда — по дороге...

— Я это уже однажды слышала, — задумчиво возразила Дина, припоминая, — именно Евлалия Брагина говорила, которую вы поминули...

— Да? Это несколько удивительно, что она посмела гласно. Она теперь так прочно уверила себя в том, что она социал-демократка...

— Уверила? — с удивлением и неудовольствием остановила ее Дина.

— А разве без уверенности можно? — не без ядовитой невинности отозвалась Виктория Павловна.

— Нет, вы словами не играйте... Уверить себя и быть уверенною не одно и то же, — хмуро возразила Дина. — Я серьезно спрашиваю...

— Да, вот именно, — хладнокровно согласилась Виктория Павловна. — Именно, что не одно и то же. Но без веры жить тяжело. А если ее нету? Нет хлеба, — едят лебеду. А потом, кто не может верить, старается уверить себя... Это у пас на Руси, обыкновенно, и называется

уверовать. Я много моложе Евлалии Брагиной, но еще застала и помню ее просто либеральной петербургскою дамою, из красных—цвета саumon, как тогда острили: она уверовала — и действовала! То есть я вам скажу: что она в то время «маленьких дел» натворила, — это удивительно!., летопись! музеи!.. Потом разошлась с мужем, встретила с Кроликовым, который посвятил ее в народничество: она уверовала и, — действовала! Потом — является в Москве высокоумный господин Фидеин, клянущийся налево Марксом, направо Энгельсом, и она становится социал-демократкою: уверовала — и действует! Теперь, вот, вы говорите, она эмигрировала. Кто-нибудь еще ее захватит там, в эмиграции, новою теорией, — она уверует и будет действовать! Потому что не действовать она не может, весь ее характер и темперамент — действие. А действовать без веры нельзя. Это неточно нас в катехизисе учили, что вера без дел мертва. Для таких вот, как эта Евлалия Брагина, дело без веры мертво. И уж насилует она себя, насилует, чтобы веру-то приобрести и найти в ней право на веру...

Она засмеялась и прибавила:

— Я тут мужские имена пристегнула... Надеюсь, вы не подумаете, что это, с моей стороны, попытка к сплетне и злословию... Нет, я Евлалию Александровну знаю: чистейшее существо, сотканное из высокого целомудрия... И, если хотите, в этом-то и особенность ее среди других, ей подобных, что она всегда заражается мужским общественным энтузиазмом — как-то от противного... другие в это усердие втягиваются мужьями или любовниками: известное дело, что мужчинам на Руси — теория и ресигнация, а бабам — практика и жертва... А Евлалия Александровна — наоборот — всегда летит вслед за врагами или, по крайней мере, за людьми, которых она несколько не уважает... Она сама говорила мне, что, когда выходила замуж, то была светскою барышнею зауряд, без всяких политических взглядов и убеждений, и радикализм ее развивался в ней по мере того, как в муже ее падал и увядал, и она разглядела в своем почтеннейшем Георгии Николаевиче ветряную мельницу и будущего ренегата [См. "Восьмидесятники" и "Закат старого века"... В народ-

ничестве, — это я уже от Кроликова знаю, — она отравляла своему апостолу существование вечным волнением и попреками, жизнь обратила в экзамены и враждебный диспут, искала самых крайних выборов и исходов и все расценивала, все проверяла... и сама себя, и всех других, и всю идею... Социал-демократы посулили ей дело, — так и бросилась к ним... Но воображаю, как теперь счастлив в душе ваш противнейший господин Фидеин, что Евлалия Брагина — наконец, за границу. Ведь, я же знаю: она с ним зуб за зуб грызлась... Он, этот диктатор ваш восхитительный, — извините уж мою непочтительность, Дина, — привык госпожами Волчковыми пошвыривать, как щепками, куда бросит, туда и падай. А тут явилась этакая — вот — товарищ Евлалия, которую никак не спрячешь в карман, потому что она ни от каких смелых выступлений не отказчица, а, напротив, их требует и с азартом несет свою голову в первую очередь опасности, но — начальственный авторитет для нее пустое слово, а не угодно ли выложить перед нею все свои карты на стол...

Она расхохоталась и, отсмеявшись, про-

должала:

— Ужасно я люблю в ней этот положительный энтузиазм, из отрицания и сомнения сплетенный... Она над нами — мною и вашею мамою — тоже посмеивается, вроде вас... А сама, того сознавать не желая, феминистка больше всех нас... Вся ее деятельность — одно кипучее желание перерастить мужчину, который берется управлять общественным движением, и доказать ему, что он не знает дороги, либо — знает, да хитрит и обманывает, а дорога то — вот она, не угодно-ли? И как же вы, сударь, смели от нее отлынивать, притворяясь, будто ее не видите? Не притворялись? Тем хуже: значит, вы бездарность, невежда, дурак. Изволили руководствоваться особыми соображениями и высшими целями? А нас почему же не соблаговолили о них осведомить? Значит, вы демагог, враг коллективизма, политический авантюрист... Да! Уж если женщине суждено загребать своими руками жар для мужской политики, то — пусть хоть по методу Евлалии... Воду возить на нас можешь, — чёрт с тобой! вози!.. и не считай нас дурами и не втирай нам очков... Уж извини-

те, что говорю вульгарно... Я сегодня подсчитывала с Ариной Федотовной наш приход-расход, а эти интервью всегда отражаются на моем слогe самым плачевным образом...

— Вы не любите мужчин, — задумчиво сказала Дина, — а, между тем, всегда ими окружены, и я не знаю, может ли девушка больше нравиться мужчинам, чем вы правитесь...

— Любезность за любезность, — поклонилась ей Виктория Павловна, — одну я знаю, которая нравится больше... А кто вам сказал, что я «не люблю» мужчин? Напротив. Приятная публика. Посмотрите, сколько у меня хороших друзей. Князь, Зверинцев, Келепушка с Телепушкой [См. "Викторию Павловну" и "Дрогнувшую ночь"... мало ли! Очень люблю, — только на своем месте... Что вы смеетесь?

— Я свою тетю-псаломщицу вспомнила, у которой мы с мамою жили, пока не перешли в новый дом... она, когда на любимую кошку сердится, так всегда ей говорит: «ты думаешь, — ты важная госпожа? твое место — под лавкой»... Вы сейчас ужасно похоже на нее

сказали...

Виктория Павловна полгала плечами:

— Согласитесь, что кошка под лавкою — зверь уместный, а на письменном столе или на этажерке с безделушками, — вот как у вашей мамы в Москве кабинет заставлен, — от кошки одно несчастье... А, поди, сердита те-тушка-то на вас, — улыбнулась она, — что вы у меня бывать стали? .

Дина, с недовольною гримаскою, кивнула херувимскою головкою и схватилась за этот вопрос:

— Вот и этого я никак не могу понять, Виктория: за что вас так ненавидят все эти госпожи здешние?.. Такая вы откровенная стоялица за женщину и женские права...

— Не за права, — заметила Виктория Павловна, — в правах я ничего не понимаю... За общее женское право, — скажите, это так... За достоинство наше женское, чтобы глядеть на свет своими глазами, а не сквозь пальцы властной мужской руки... А права... — я к этому равнодушна: не знаю, которое из них нужно, которое — нет, чтобы мы, женщины, были счастливы... Ведь все это — их, мужское, муж-

чинами надумано и устроено, и нам великодушно втолковано — какие, будто бы, нам, женщинам, нужны права... А может быть, оно нам, женщинам, окажется и вовсе не нужно... Может быть, мы совсем другое устроим, по-своему, по-женски, как нам понадобится... Когда женщины борются за право учиться наравне с мужчинами, быть врачами, адвокатами, судьями, чиновниками, я сочувствую им всею душою не потому, что нахожу каким-то особенно-необходимым счастьем для женщины быть адвокатом или чиновником, а потому, что она должна иметь право устраивать свою жизнь, как она хочет, выбирать науку и профессию, какую она хочет, строить тот быт, то право, ту мораль, какие она для себя изберет и хочет... она — понимаете? — сама, она, а не извечный ее победитель, ласковый враг...

— Следовательно, непримиримая война Адама и Евы?

— О, нет, — быстро возразила Виктория Павловна. — Такой войны нету и не бывает, или она лишь шуточная распря у домашнего очага: знаете, милые бранятся, — только те-

шатся. Ева — союзница Адама, Ева — адамистка больше самого Адама. Вот, вы спрашивали, почему меня женщины не любят? Так Евы же все, счастливые, что они — ребро из Адамова тела, гордые, что есть над ними глава, крепкорукий господин с мужевластной опекою. Нет, уж какие мы Евы. Не та порода... А — вот — Фауста вы, конечно, читали, так не вспомните ли некоторую Лилит?

— Я не была бы другом Иво Фалькенштейна [См. "Девятидесятники" и "Закат старого века"], — рассмеялась Дина, — если бы не умела различить Еву от Лилит, солнечное от лунного и так далее, и так далее...

— Знаю, это не то... — перебила ее Виктория Павловна. — Это декадентские изощрения и выдумки. Я люблю ту настоящую Лилит, которая у раввинов в легендах Талмуда...

— Откуда вы такие премудрости знаете? — изумилась Дина.

— Умные люди не оставляют — рассказывают... Что же вы думаете — у меня нет приятелей из евреев?

— Да — как будто вы не из того круга, который интересуется талмудическими легенда-

ми?

— Да ведь это только притворяются, потому что — несовременно же, а у евреев ужасно этот ложный стыд силен — не быть *moderne*... А о Лилит мне один харьковский приват-доцент рассказывал... Премилая особа. Ужасно ее люблю. Творец выдал ее, созданную из огня, замуж за Адама, созданного из земли. Она нашла, что, для такого *mèsallianc*'а надо было спросить, желает ли она, и быть Адаму женою отказалась, главенство его признать — отвергла, мужевластную семью строить не захотела и улетела в Аравийскую пустыню. Адам, как всякий муж, от которого бежит жена, бросился просить защиты и помощи у высшей администрации. Ангельская полиция разыскала Лилит где-то на берегах Красного моря, но возвратить ее покинутому супругу не могла: Лилит предпочитала, чтобы ее утопили в море и истребили все ее потомство, чем подчиниться «куску глины»... В море ее топить пожалели, но превратили в бесовку, в призрак... А Адаму, в утешение, создана была Ева — из собственного его ребра... И с этою он поладил, хотя, как известно, и не без неприят-

ностей. Так, вот, с тех пор и делимся все мы, женщины: одни от строптивой Лилит — из огня, другие от Евы — из ребра... Я — от Лилит...

— А я? — тихо спросила Дина, исподлобья поднимая на нее пытливые глаза.

Виктория Павловна увертливо засмеялась:

— Откуда же мне знать, моя дорогая? Это разделение, как мне кажется, определяется только встречей с Адамом. Мы все — я, Женя Лабеев, ваша мама, Арина Федотовна, Евлалия Брагина — это испытание прошли и, как Евы, провалились: не годимся. Вам оно еще предстоит... Кстати, дорогая Дина, ходят слухи, что в нашем уезде имеется некий барон [См. "Дрогнувшую ночь"], у которого, как у всякого барона, есть фантазия, и фантазия этого барона состоит в том, чтобы предложить некоторой херувимской девице, не пожелает ли она, в качестве Евы, взять его, в качестве Адама?.. Извольте краснеть?

— А разве в ампула Лилит входит повторять уездные сплетни?

Виктория Павловна отвечала комической гримасой — шевельнула глазами, бровями,

свернула румяные губы трубочкою — и отвечала:

— Увы! Лилит — хоть и привидение, а, все-таки, баба... Любит знать, что делается на белом свете, и перемыть в обществе других Лилит косточки своим ближним, а в особенности, Евам и кандидаткам в Евы... Нет, серьезно говоря, — предложение уже сделано или еще висит в воздухе?

Дина, румяная и прелестная с лазурными глазами, потемневшими от смущения в цвет морской воды, отвечала, задерживая слова насильственным смехом:

— Это зависит от того, когда я захочу понять, что мне при каждом свидании говорится...

— Разве невразумительно?

— Нет, при желании быть догадливой, — нетрудно... Да что-то не хочется...

— Не нравится?

Дина вспыхнула, как маков цвет.

— Да... нет... как вам сказать...

— Можете и не говорить, — весело засмеялась Виктория Павловна. — Ответ на лице написан... Ах, вы, маленькая плутовка! Разве

вас на то в ссылку отправили, чтобы вы в баронессы вышли?

— Ах, и не говорите уж! — омрачилась — Дина, — вы себе вообразить не можете, как именно эта мысль меня мучит...

— Оттого и тянете?

— Ну-ну... не совсем... Но-что же это, в самом деле? Вчера — «Отречемся от старого мира», а сегодня — «Исаия ликуй»... ведь, пошлость выходит...

— А с другой стороны, — усмехнулась Виктория Павловна, — в новом мире баронов уже не будет и, значит, надо пользоваться удобствами старого, пока они есть... Что делать, голубка моя? Маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию, как справедливо пишет сумасшедшей Женьке ее превосходный супруг...

— Ну, вот, видите, какая вы, — огорчилась Дина, — уже смеетесь...

— Простите! не буду!

— Даже вы смеетесь. А что же скажут другие?

— Да — вам-то что? Имейте мужество собственного желания... Ведь, любите?

— Ах, право, уж и не знаю... Человек то уж очень хороший... А с другой стороны...

— Воли девичьей жаль, — положительно договорила за нее Виктория Павловна. — Все в обычном порядке. Любите!.. Ах, Дина моя прелестная, какая же вы хорошенькая будете в подвенечном уборе!.. И она еще осмеливается спрашивать, кто она — Ева или Лилит!.. Оставьте! Вам — жить, двести да радоваться, а Лилит... ну ее! бестолковое оно и мрачное привидение, эта наша Лилит!

И — дружески притянув девушку за обе руки — крепко ее поцеловала.

— Тогда, — слегка отстранилась та, — зачем вам ее держаться? Что лестного в том, чтобы чувствовать себя привидением, как вы себя назвали?

— Да вот то-то, что это надо разобрать, — с некоторою резкостью возразила Виктория Павловна, выпуская ее руки. — Надо решить еще: я ли держусь Лилит, Лилит ли меня держит...

На лицо ее легла тень, глаза под упавшими на них ресницами, омрачились, брови затрепетали и сдвинулись.

— Знаю одно, — продолжала она, — что всякий раз, когда случай приводит меня на Евину дорожку, Лилит является мне с таким глумливым лицом, с таким бешеным хохотом во всем существе своем, что я — мгновенно — чувствую себя сварившеюся в стыде за себя, как живой рак в кипятке, краснею, как этот грациозный зверь, и — ау! прощайте вы, Евины перспективы! «Свободной я родилась, свободной и умру!» — запела она из «Кармен» — настолько громко, что госпожа Лабеус, тем временем писавшая какие-то письма в своей комнате, во втором этаже дома, с любопытством высунула в окно африканскую свою голову и, вращая по саду круглыми глазами, крикнула пронзительно и хрипло:

— Витька, где ты там оперу разводишь? С кем?

— Ау! Иди к нам... — звонко откликнулась Виктория Павловна. — Мы здесь с Диночкой философствуем... напоследок, — уже тихо, для Дины одной, произнесла она, щуря на Дину пронизательные яркие глаза свои, полные печальным лукавством.

— Почему — напоследок? — удивилась Ди-

на, со строгим любопытством в внимательном лице.

— А потому, мой друг, — с большою сердечностью возразила ей Виктория Павловна, — что я человек само-отчетный и всегда знаю свое место.... Вы не дали мне докончить поверье о Лилит... А ведь она в пустыне-то не усидела, затосковала, заметалась, затомилась и — бросилась таки назад в мир — посмотреть, как живет он, населенный людьми, и, авось, найдется же в нем какое-нибудь местечко с уютом и для ее угрюмой свободы... Но — что же? На всех домах, в которые хочет постучаться, она видит черную надпись: «здесь Адам и Ева; прочь отсюда, Лилит!»... И, вспыхнув новым гневом, бежит она назад в свою дикую пустыню — хохотать с лешими, перекликаться с филинами, перегоняться с страусами... Так то, Дина моя милая, — где Адам и Ева, прочь оттуда, Лилит...

Дина передала этот странный разговор матери. Анимаида Васильевна, опустив на колени английскую книжку, которую читала, слушала с обычною ей холодною внимательностью, что не мешало ей, в то же время, любов-

но изучать тонкие длинные пальцы правой руки своей и именно теперь вдохновиться фактоном кольца с аметистами, которые она пред отъездом из Москвы присмотрела у Фабержэ, а теперь Василий Александрович может их приобрести и привезти в следующий приезд свой. И, когда Дина, с негодующим сожалением, рассказала, как Виктория Павловна, в качестве Лилит, посулила от нее отстраниться, если она станет Евою, — Анимаида Васильевна, с спокойным сочувствием в хрустальных глазах, возразила:

— У Бурмысловой это врожденная слабость — обнажаться без надобности... Всегда спешит и слишком много темперамента... А поверье, я знаю, читала, даже доклад когда-то о нем делала в Society Mythologie... Оно остроумно... Впрочем, Бурмыслова, вообще, женщина, не лишенная остроумия...

— Это остроумное поверье, — перебила Дина, сверкая взорами, налитыми голубым огнем, — упускает из вида одну возможность: что однажды Ева не позволит вывешивать на дверях своих заклинательную надпись, а распахнет пред стучащеюся Лилит двери на-

стежь и скажет ей: «добро пожаловать!»

Аниманда Васильевна, — окончательно решив, что будет носить кольцо на четвертом пальце, и камень должен быть длинным и тонким, вот вроде ее отделанного, как розовый лепесток, ногтя, — произнесла:

— Ты ошибаешься. Поверье эту возможность предвидело...

— И?

— Оно уверяет, что, если Ева впустит к себе Лилит, Лилит загрызет ее ребенка...

— Ай, какие страхи! рассмеялась Дина — однако, озадаченная неожиданностью и немножко принужденным звуком. — Зачем?

— Да — затем же, зачем кошка мышей ловит. Потому что природа ее такова. Потому что она — Лилит.

— Ну, от Виктории Павловны я подобных ужасов не надеюсь.

— Само собою разумеется, что мы изъясняемся символами и, как сказал бы твой друг Иво Фалькенштейн, плетем гирлянду иносказаний...

— Для того, чтобы Лилит загрызла ребенка, — сказала Дина, помолчав, — еще надо

иметь ребенка...

В хрустальных глазах чуть мелькнула насмешливая искра.

— А для бездетных у нее готово другое коварство. Жаль, нет под руками «Фауста»... Впрочем, может быть...

Анимаида Васильевна сомкнула глаза, прикрыла их рукою, откинула голову назад и, медленно припоминая и скандуя, прочитала:

— *Nimm dich in Acht vor ihren
schoenen Haaren,
Vor diesem Schmuck, mit dem sie
einzig prangt!
Wenn sie damit den jungen Mann
erlangt,
So laeszt sie ihn so bald nicht wieder
fahren...*
[Обрати внимание на ее прекрасные волосы,
На это украшение, в каком она
единственно щеголяет!
Когда она коснется ими молодого
человека,
То не отпустит его так уж за-
просто ... (нем.)]

— Какая у тебя память! — завистливо уди-

вилаась дочь.

— Кажется, и у тебя недурная?

— Да, но куда же мне до тебя. А, между тем, ведь, ты старше меня на весь мой возраст...

— То-есть, ровно на двадцать лет... Не будем касаться этого грустного вопроса, моя милая... Мы, стареющие, его не любим... А секрет хорошей памяти я, если хочешь, тебе скажу. Очень простой: не пей вина, не влюбляйся без памяти, не рожай слишком усердно, не переутомляйся ни в умственной работе, ни в развлечениях, и каждый день читай страниц пятьдесят какой-нибудь умной книги, о которой потом приятно думать... И благо тебе будет, и получишь ты награду...

— В виде способности цитировать «Фауста» наизусть— перебила дочь. — Благодарю. Обдумаю на досуге, стоит ли игра свеч. Так как ты говоришь-то?

Nimm dich in Acht... nimm... Acht?..

— Nimm dich in Acht vor ihren schoenen Naaren... — поправила Анимаида Васильевна. — Видишь ли: несмотря на всю былую обиду, Адам, втайне, сохранил смутное влечение к Лилит и Ева не окончательно вытесни-

ла ее из его сердца. Поэтому, если Лилит удастся приблизиться к Адаму, она обвиняет его своими волшебными волосами и — очарованного уводит за собой... Поняла? Damit—Punctum.

Она удостоила улыбнуться и, подумав, прибавила:

— Впрочем, нет: еще — подробность... Лилит может действовать так разрушительно для благополучия Евы и ее семейного очага — даже без злого умысла, бессознательно и ненамеренно... А, просто, натура ее такова, — ihre schoene Naaren того требуют, что — где она появляется, там Еве приходится плохо... И, сколько я знаю Бурмыслову, она всегда была вот именно такую бессознательною Лилит... кстати же, у нее и волосы — прелестные... Потому что, вообще-то, она женщина с серьезным самопониманием, знает себе цену и на праздные любвишки тратить себя вряд ли способна... Но — хороша собою очень, и — ты видишь, что вокруг нее делается... Кроме разлучницы и прочих милых эпитетов женской ревности ей от уездных Ев имени нет... Хорошо, что в этой глуши не принят витри-

оль, а то ей давно бы выжгли глаза... А как ее усадьбу до сих пор не сожгут, этому я даже удивляюсь... необыкновенное счастье... должно быть, их с Ариною Федотовною, в самом деле, Лилит бережет.

Дина слушала, стоя с опущенною головою, с потупленными глазами. Мать скользнула по ней видящим насквозь, хрустальным взглядом, и слабое подобие улыбки тронуло ее тонкие губы, давно отученные от смеха нарочною дрессировкою, чтобы лицо каменело вечно молодым мрамором, не зная морщин.

— Дина!

— Что?

— А ведь Бурмыслова угадывает тебя: ты, если полюбишь и по любви возьмешь мужа, ревнивая будешь...

Дина хмуро молчала, бледная, отчего лицо ее теряло красоту и выдавало свою неправильность, а лазурные глаза, темнея, стали, как синие омуты...

— Не знаю, — выговорила она, наконец, нехотя и с насильною, неестественною небрежностью. — Откуда бы? Разве по далекому какому-нибудь атавизму. Потому что

ты-то, кажется, этим пороком не страдаешь...
— Жестоко ревнивая, — не отвечая, подтвердила мать. — Ты и в детстве ревнива была... Страстна, горяча и ревнива... Такие, как ты, берут мужа в собственность и скорее позволят с себя кожу снять, чем... ну — опять как бишь это?... «из любви, которою владеют, малейшую частицу уступить»... Нет, это Бурмылова сказала тебе правду: ваша дружба — до свадьбы... Если ты, в самом деле, намерена превратиться в баронессу, то соседства Лилит ты, златокудрая Ева, не вынесешь, и общество ее не для тебя...

VI.

Спокойное и почти радостное лето протекало над Осною быстро и как будто хорошо кончилось. Василию Александровичу Истуканову, при помощи каких-то особенных связей, а всего вероятнее, очень больших денег, истраченных им в Петербурге, удалось выхлопотать для дочери сокращение ее ссыльного срока и разрешение выехать за границу для лечения. От какой именно болезни, над этим изобретением долго ломали себе голову врачи, выдававшие Дине медицинское свиде-

тельство: настолько она, словно, вот, назло, оказалась человеком физически здоровым и хорошо построенным... Перед отъездом Дина, наконец, согласилась понять, что ей лепетал ее влюбленный барон при каждом свидании — и прощальное свидание их заключалось предложением с баронской стороны руки и сердца, а с Дининой — принятием предложения. Правосле, таким образом, выпал еще один веселый день, отпразднованный шумно и радостно. Затем Чернь-Озеровы, мать и дочь, быстро, как только успели собраться, отбыли в Петербург, брать заграничный паспорт, — разрешение Дине пробыть две недели, для устройства своих дел в столице, также легко было дано. Барон уехал вслед за ними. Все как будто слагалось очень удачно, лучше чего нельзя было желать. Но из Петербурга Виктория Павловна получила от Дины отчаянное письмо. Барон, повидавшись с своею именитою остзейскою роднею, был совершенно огорошен тем приемом, которым эти люди встретили его сообщение о предстоящей женитьбе. Благородные бароны заявили молодому человеку, что на поступок этот

он не имеет решительно никакого нрава. Барон протестовал, что он человек взрослый и самостоятельный. Бароны, с своей стороны, объяснили, что он ошибается: в баронском звании человек никогда вполне самостоятельным не бывает. Он представитель их рода, более чем пятисотлетнего, и, следовательно, связан с ними обязательствами несокрушимых баронских традиций. В течение пяти веков благородные бароны не знали прилива другой крови, кроме самой, что ни есть, голубой: даже на русских-то дворянках стали жениться и за русских дворян выдавать своих дочерей всего только за два, много за три поколения. Молодой же барон задумал какое-то совсем противоестественное осквернение своей родословной, вводя в нее невесть кого: какую то мещанку Николаеву, бездокументно слывущую Чернь-Озеровой, внебрачную дочь женщины, имеющей сомнительную репутацию, и господина, который, какими бы директорскими титулами не определял свое общественное положение, но, в конце концов, просто главный приказчик на службе магазина интернациональной, то-есть еврейской фир-

мы. Все это благородные бароны разузнали до тонкости и торжественно заявили своему отпрыску, что тут выбор должен быть решительный: или — они, или — этот брак. Незаконнорожденную мещанку они баронессою никогда не признают, принять ее в свою среду — не примут, а вместе с тем попросят и барона прекратить с ними всякие сношения родства, свойства и знакомства. Словом, мы вас из своего баронского рода вычеркиваем, — можете, исполняя слово писания, прилепиться к жене своей в полном смысле слова и стать с нею таким же ничтожным мещанином, какова и она мещанка. О том, что вопрос идет о девушке прекрасной, образованной, воспитанной, наверное, лучше, чем большинство юных баронесс их голубой крови, — никто не хотел даже слушать. Это было — ж делу не относящееся и вне круга понимания остзейских голов. Корыстные мотивы, в этом случае, вряд ли кем-либо преследовались. Барон был не малолеток и давно уже хозяйничал в своих обширных и богатых владениях не только самостоятельно, но и с большими чудачествами, довольно таки для него

разорительными. Бароны все чудачества его знали, но никогда в них не вмешивались каким-либо родственным давлением, — находили, значит, что, именно, всякий барон имеет свою фантазию и волен ее исполнять, как ему, барону, угодно. Так что в запрете, который они теперь предъявляли своему родичу, спасали только, так сказать, родословный коллектив и химическую чистоту голубой крови.

Барон, приняв паровую баню милых родственников объяснений, явился к невесте, совсем сконфуженный и растерянный. Конечно, он, как человек порядочный, ни одной минуты не колебался в выборе и — не давши слова, крепись, а давши держись, — предложения назад не взял. Жребий был брошен: он остается с невестою и уходит от рода. Но было слишком заметно, что жертва стоит ему очень большого усилия над собою и обходится дорого во всех отношениях. Он теряет целую группу людей, которых искренно любил и уважал до сей поры, и это создает в жизни его целый моральный перелом, из которого он не знает сам, как и с какими чувствами

выйдет. Наконец, даже с материальной стороны, он должен сильно пострадать от разрыва с родными и создать себе условия трудной и непривычной житейской борьбы в таких новых условиях и столкновениях, о возможности которых до сих пор не только что не думал — даже ее и не подозревал. При всей природной мягкости и деликатности барона, это смущенное и неприятное настроение его проглянуло сквозь разговор с невестой, — и они с Диной не то, чтобы поссорились, но как-то сразу вдруг — будто потеряли «моральный аппетит» друг к другу. Дине барон показался трусом пред родней и, втайне, полным надменных предрассудков аристократом, который, вот, извольте ли видеть, находит какую-то необыкновенную жертву с своей стороны в том, что женится на любимой девушке, назло глупому чванству неразвитой, застрявшей в средневековьи, устарелой и отжившей родни. А барон огорчился, вообразив Дину девушкой жесткого характера, которая не уважает семейного начала, легкомысленно относится к историческим традициям и не достаточно ценит мужество, с каким он отстаивает

свое право на женитьбу от протестующих баронов, что совсем уже не так легко, как она воображает. Так пробежала между ними первая черная кошка. Известно, что этот зверь, только узнай дорогу однажды, а там и пойдет шмыгать. Среди бароновой родни, кроме консервативно-неумолимой правой, нашлась, конечно, и более либеральная левая, относившаяся к матримониальным планам барона, хотя и не одобрительно, но согласная поискать каких-нибудь компромиссов, чтобы и барон мог исполнить свою фантазию, и именитый род получил бы некоторое удовлетворение и возможность эту фантазию хоть отчасти признать. Ознакомившись с Диною в том искусном порядке, как только в Петербурге сватовские дела обделываются, так что Дина даже и не подозревала, что она — жертва вражеских смотрин, — либеральная часть бароновой родни нашла ее, действительно, *très distinguée*, и, по крайней мере с наружности, баронессою хоть куда. А так как в это время Василий Александрович Истуканов, по новому договору с хозяйскою фирмою, был уже не только директором-распорядителем универ-

сального магазина Бэра и Озириса, но и одним из главных его пайщиков, то бароны-либералы находили, что за хорошее приданое, которым, по всей вероятности, наградит свою дочь господин Истуканов, можно было бы и примириться с некоторыми недостатками в фамильном гербе невесты. Но — по крайней мере, хоть бы она, эта Дина, была узаконена. Хоть бы родители ее потрудились, на старости лет, прикрыть свой грех, поженились бы и привенчали дочерей... На таком условии либеральные бароны обещали барону-жениху, что сохранят с ним старую родственную связь и будут ходатайствовать за него пред более суровыми и непреклонными членами рода... Барон очень обрадовался такому компромиссу. Прилетел он к Чернь-Озеровым, совершенно счастливый и полный уверенности, что теперь дело в шляпе, так как хорошо знал, что никаких формальных препятствий к браку между Анимаидой Васильевной Чернь-Озеровой и Василием Александровичем Истукановым не существует, и долголетняя, не прерывающаяся связь их не оформлена церковным браком только по нежеланию

Анимаиды Васильевны поступиться своими религиозными и социальными взглядами свободомыслящей феминистки. Ну, взгляды, — это хорошо, пока не серьезно приспичит, теорию разводи, сколько хочешь, а, когда: практика жизни глядит тебе в глаза и жмет тебя в угол, — тут не до отвлеченных рассуждений и выспренных соображений... Тут судьба и счастье любимой дочери на карте... Реторику-то в сторону, дело — на сцену!.. Но, сперва, к удивлению барона, потом к негодованию, потом к отчаянию, то, что он считал самым легким, в действительности оказалось всего труднее. Когда он заговорил с невестою о желательности церковного брака для родителей, Дина открыла на него свои лазурные глаза; с таким выражением, будто видела сумасшедшего, и заявила ему, что он, очевидно, не понимает, что говорит. Неужели барон хоть минуту может думать, будто она, Дина, способна потребовать от своей матери, чтобы та, ради пустых капризов бароновою родни, изменила главному убеждению всей своей жизни?

— Но это же пустая формальность!.. —

убеждал озадаченный барон. — Никто не требует от Анимаиды Васильевны, чтобы она изменяла своим убеждениям. Пусть она хранит свои убеждения в какой ей угодно целостности. Я ее убеждения уважаю и сам держусь точно таких же убеждений. Но мы люди слабые, мы не в состоянии переделать общество. Значит, пока не произошло торжества наших убеждений, мы должны делать обществу возможные уступки. Убеждения убеждениями, а жизнь жизнью. Надо применяться. Феминизм и свободомыслие Анимаиды Васильевны нисколько не пострадают оттого, что она, ради формальности, ну, просто, только ради формальности, дозволит повенчать себя в церкви...

— Которую она не признает, — язвительно подчеркнула Дина. — Великолепно!

— Да — что же из того? Ведь, и мы с вами не признаем, однако — решили же венчаться...

— А вы думаете, это с нашей стороны очень честно и искренно?

— Однако, мы идем на это, потому что любим друг друга и желаем взаимного счастья...

— Да, но я, с своей стороны, сознаюсь от-

кровенно, что это — измена своим взглядам, и чувствую за нее большой стыд, как человек, не выдержавший испытания своей зрелости... Но я — хозяйка самой себя. Мой поступок — мой и стыд. Но я не хочу и не имею права требовать, чтобы, ради моих удобств, близкий мне человек сдался на капитуляцию своим врагам и наживал себе внутреннее недовольство и стыд.

— Помилуйте, Дина, — возразил барон. — Зачем так глубоко зарываться в самоанализе? Ведь это какое-то предвзятое желание мучить себя смирением в корень.

— Очень может быть, — резала Дина, — но что же мне делать, если я не принадлежу к числу людей, способных утешаться тем, что удачно скользят по лакированной поверхности?

— Да и меня, надеюсь, вы не имеете основания причислять к поверхностным людям. Я лишь стою за то, что существо предмета не изменяется от его видимых приспособлений к непреодолимой необходимости. И, наоборот, очень часто, — именно для того, чтобы сохранить целым существо, благоразумие и

долг требуют подчинения наружной формальности...

Дина на это отвечала, что мало-ли какие бывают формальности:

— В первые века христианства тоже никто не приглашал мучеников непременно верить в идолов и в божественное имя цезарей, а надо было только покурить перед ними щепоткою фимиама и сделать публично несколько благоговейных жестов. Формальность, пустая формальность, — однако, люди предпочитали ей — идти на кресты, на костры, на эшафоты, в львиные челюсти...

— Дина, вы ужасно экзажерируете, — воскликнул барон: он любил подобные слова. — Что общего между христианами в цирках и амфитеатрах и десятью минутами стояния и хождения вокруг аналоя? Неужели тут — в отказе подобном — вы способны видеть какой-то героизм?

Дина заметила, что о способах героизма она спорить не будет, но — убеждение, какое бы ни было и в чем бы оно ни проявилось, есть убеждение, и насиловать его нельзя. А к жертвам и уступкам его понуждать — это все

равно, что сказать человеку, что вера его — пустая вера, которая совсем ему, по существу, не нужна и не важна, и может он ее, значит, применительно к обстоятельствам и по мере надобности, и коверкать, и обрезать, как ему в данный момент выгоднее и удобнее... А — захочет и условия приятные до дойдут, — то и совсем пустить ее по боку... Она настолько уважает свою мать, что подобного компромисса требовать от нее не в состоянии и не станет.

— Помилуйте, — спорил угнетенный барон, — что вы и меня, и себя пугаете словами? компромисс не бешеный волк и не тигр бенгальский... Как же быть без компромиссов? Это воображаемая жизнь. В действительности подобной не бывает. Все общество — по идее своей — сплошной компромисс. Мы все компромиссам подчинены и ими только живем и целы... Почему, наконец, в отношениях своих вы одним позволяете вступать в компромиссы, не боясь, что они нарушают тем свою веру, а Анимаида Васильевна, одна, является для вас каким то неприкосновенным исключением?

Дина, строго нахмурившись, немедленно остановила его вопросом:

— Какие же это, собственно говоря, веры с компромиссами и кому я позволяю?

— Да, например, мне, — бухнул сгоряча зарепортовавшийся барон. — Ведь для меня-то вот, например, вы компромисс признаете возможным...

Дина еще строже полюбопытствовала узнать, о каком именно компромиссе он говорит. А барон, увлекаемый своею несчастною судьбою, так же поспешно и неосторожно брякнул, что — вот, для него, барона такого-то, его фамильный культ — тоже в своем роде почти что религия, убеждение глубокое и драгоценное, однако, вот, он же поступается этими своими взглядами для счастья жениться на такой девушке, как Дина...

Если бы барон целый месяц нарочно придумывал случай и повод, чтобы разорвать свой короткий союз с Диною, он не мог бы успеть в том лучше, чем эту несчастную обмолвкой. Девушка побледнела так, что сразу вся красота ее пропала и сделалась она почти безобразной, в углах и комках своего ассимет-

ричного лица. И голосом, полным ледяных нот и сделавшимся изумительно похожим на голос матери, хотя в обыкновенное время между двумя их голосами ничего не было общего — заявила барону, что она очень извиняется — решительно не подозревала до этой минуты, будто такова внутренняя религия и основное убеждение господина барона. С носителем подобной веры связать свою судьбу она и не может и не желает, а потому — конечно: предложение она барону возвращает и свое согласие берет обратно.

Барон пришел в отчаяние, но Дина была непреклонна. Барон бросился за помощью к Анимаиде Васильевне. Та страшно взволновалась, но когда пришла переубедить Дину, дочь не дала ей говорить...

— Я знаю, что я делаю, — восклицала Дина, сверкая глазами на подурневшем, опасном, ассиметричном лице, ставшем похожим на Истуканова, как Анимаида Васильевна видела его в последний раз в Москве, больным. {См. «Дрогнувшую Ночь»}. — Я очень люблю барона и мне страшно тяжело все, что произошло, но женою его я не буду. Ни в каком

случае. За барина, приносящего «сословную жертву», я не выйду. Это значит всю жизнь потом чувствовать себя должницею по векселю, которого не признаешь, а платить по нему, почему-то, надо.

И — раз, два, три, — со стремительностью, ей свойственною и всегда отмечавшею все ее поступки, она, оборвав знакомство, возвратив письма и подарки, не попрощавшись даже лично с женихом своим, — уехала за границу, как только исполнился дозволенный ей срок пребывания в Петербурге. Анимаида Васильевна угрюмо возвратилась в Москву, и теперь уже от нее Виктория Павловна получала письма, мрачные и тревожные. Видно было, что несчастный роман дочери ее глубоко уязвил и удручил, как трагический конфликт ее взглядов с обывательскою действительностью, — конечно, вообще-то не первый, а, может быть, сто первый, но первый из такой категории, в которой ей приходится расплачиваться за свою веру не своею собственною силою и долею, а судьбою молодого поколения, счастьем своих, только что входящих в жизнь, дочерей... Поведением Дины в этой тя-

желой истории она как-то мрачно восхищалась, очевидно, не ожидая от дочери стойкости и глубины, которые та вдруг, внезапно, явила. Но, в то же время, чувствовалось, что она сама-то глубоко сконфужена, словно мирная богиня, на алтаре которой, вместо плодов, сыра, амфоры вина, — обычного кроткого и красивого приношения тихих поселян, — вдруг взяли да и закололи кровавую жертву...

Дина жила в Париже, училась, встретила москвичей, возобновила и сделала кое-какие революционные знакомства и, вообще, стала вариться понемножку в эмигрантском котле... Это, покуда, развлекало и наполняло интересом жизнь... Но на дне души ее остался осадок тяжелый и мутный. Он отравлял мысль и гноил существование.

Девушка жила, как будто спокойная и счастливая по наружности и глубоко уязвленная в душе...

— Не пойму я, в чем виновата перед Диною, да она меня ни в чем и не винит, — писала Анимаида Васильевна, — а чувствую, между тем, что она — разбитая посуда, и не могу отделаться от тяжелой мысли, что

несчастье ее создала я и разбила ее тоже я... И что, в то же время, иначе никак и быть не могло, и не должно было быть...

— Ничего не поделаешь, мой друг, — писала Анимаида Васильевна, — видно, судьба, наконец, жертв искупительных просит... Только уж лучше бы просила с меня, виноватой и строптивой, а девочка-то моя чем виновата?.. Или грех отцов — на потомстве до седьмого колена?

Вообще, заметно было, что Анимаиде Васильевне живется нехорошо, и, действительно, подошло к ней какое-то требовательное, назойливое, экзаменующее время, в бесконечной очереди предлагающее ей испытание за испытанием... Жалоб открытых она не писала, но в письмах ее все чаще и чаще сквозило тяжелое настроение, понятно объяснимое фактами, на которые она слегка намекала... Главным ее опасением теперь, после неудачно сложившегося романа старшей дочери, стал сожителем ее Василий Александрович Истуканов, по-видимому, быстро клонившийся к какой-то серьезной душевной болезни... В чем дело, Анимаида Васильевна не извещала,

но между строк читался страх, не свойственный этой смелой и холодной женщине...

— Только Зинаида и радуется, — писала она, — да и то... Мой портрет, я вторая. А надо ли это? хорошо ли это? довольна ли я собою? нужна ли была я? нужно ли и ко времени ли мое повторение?

Тяжелая история, пережитая Диною, произвела на Викторию Павловну глубокое впечатление. В Правосле ее конечно, обдумывали и обсуждали долго и на все лады. Женщины много негодовали на барона, браня его и трусом, и кисляем, и дутым аристократишкой... Очень, подумаешь, нужны ему его заплесневелые бароны из лифляндских дырявых башен с мышами!... Дурак! Какую девушку прозевал, сколько верного и красивого счастья упустил, как будто воду в решето! Теперь, вот, женят тебя на какой-нибудь золотушной Минне с гербом под короною, — и терпи рядом с собою всю жизнь ее картофельную физиономию и куриные мозги!.. Упрекали и Дину за непременно желание венчаться церковным браком. Если любила, так — не все ли равно? Зачем это понадобилось? Что за

освящение кандалов до гроба? Прилично ли дочери такой матери спрашивать благословение у попов? Но госпожа Лабеус извиняла и защищала:

— Я бы на ее месте также поступила бы, совершенно также, — нескладно и все в сослагательном наклонении, бросалась она быстрыми словами, летя куда-то неутомомно вперед, как на борзых конях или, вернее будет сказать, на ламах южно-американских, потому что ужасно при этом шлепала и плевалась своими негритянскими губами, — Совершенно также бы. Не потому, чтобы мне это венчание было нужно, я, напротив, может быть, сейчас же бы вот и сбежала бы от него после венчания-то, нарочно сбежала бы, хоть и бежать не хотелось бы, затем сбежала бы, чтобы он понимал, что он дурак, и что венчание, стоит только захотеть, не держит. А потому, что какой же это мужчина, если ему его какой-то там род смеет приказывать? Для того, что я выхожу замуж не за род, а за него самого. Если-бы этого столкновения его с родом не было, то — сделайте ваше одолжение: не надо мне никаких попов, венцов и аналоев. Бери

меня, я возьму тебя, и — живем, пока ты порядочный человек и я тебя люблю и уважаю. Но если мне подобные испытания ставят, то — нет, мой друг. Как законный муж, ты мне совершенно не нужен и я твоею законностью пользоваться в жизнь свою не намерена, но жениться на мне ты должен, именно назло прокисшим баронам твоим, потому что я не раба твоей пятисотлетней родни и брезговать собою не позволяю... Любишь, так женись, а не любишь, отвяжись, — чёрт с тобой, с кисляем... целуйся со своими баронами! У! ненавистная мне порода! От всех, от них мышами и крысами пахнет...

Но, когда Виктория Павловна осталась с глазу на глаз с Ариною Федотовной, она особенно тяжело задумалась.

— Ты-то что же затуманилась, зоренька ясная? — с участием спросила ее, зорко прищурившись, всегда видящая ее насквозь, домоправительница.

Виктория Павловна ответила ей долгим, значительным взглядом, покачивая своею Юнонинскою головой:

— А, вот, о том, как Анимаида Васильевна

пишет, что судьба просит искупительных жертв... Сдается мне, нянька, что подползают понемножку эти жертвы и ко мне... Сейчас, вот, Анимаида Васильевна Диною расплачивается... А лет через десяток, — если будем живы, — придет очередь и мне расплатиться Феничкою...

— Ну... — неопределенно утешительным тоном протянула Арина Федотовна, — авось, мир-то не все на одном и том же месте стоит?.. Скоро ли, долго ли, а люди, все-таки, как будто умнее становятся...

— Ой, нянька, не так быстро, как нам с тобою хочется... И мы с тобою, и дети наши — успеем в могилы лечь, прежде чем ум-то этот вблизи себя увидим...

— А ты не киселься, — посоветовала Арина Федотовна, — Это ты себе новую какую-то манеру взяла, и я тебе по чистой правде скажу, что она тебя очень как много портит... Не киселься... Что будет, то будет, а мы постараемся, как нам лучше...

— Нам, да нам... — с досадою передразнила ее Виктория Павловна. — Все — как лучше нам... А вон, оказывается, что нам то, может

быть, иной раз и хорошо, а им — то, — голо- сом подчеркнула она, — приходится уж вот как неладно и скверно.

— Не киселься, — повторила Арина Федо- товна, со свойственным ей оракульским на- пором. — Что это, право? В девчонках — и то была отчаянная, на всякое свое недоволь- ство — сейчас, головою повертишь, — глядь уж и готова: нашла ответ, оправдалась. А те- перь — в настоящем своем женском возрасте, должна была бы много умнее и победитель- нее быть, а, вместо того, совсем некстати ста- ла теряться сама перед собою... Все недоуме- ния какие-то, да триволнения, да — что как так? да — что как этак?.. И — язык стал с дыр- кою... Откуда? Замкнись ты, Виктория! чего тебя к людям на посмеих тянет? То попам ис- поведуешься, то с Афанасьевичем откровен- ности развела, то теперь хочешь на десять лет вперед заглянуть и устроить... Оставь... Былого не вернешь, будущего не узнаешь... В мире, друг ты мой Витенька, ни прошедшего нет, ни будущего... Один только миг важен — настоящий, в котором ты живешь, один толь- ко человек в свете важен — с которым ты вот

сейчас разговариваешь, одно только дело важно — которое ты вот сейчас делаешь... Тут — и счастье твое, и несчастье... А кто на будущее надеется — обманется, а кто о прошлом скорбит и сокрушается — тот сам свою жизнь съедает...

— Все это, нянька, может быть, и справедливо, — угрюмо отозвалась, хмурая, беспокойно играющая бровями, Виктория Павловна, — да что-то не утешает...

Тогда Арина Федотовна стала умильно ласковою и мягко приманчивою, точно масляный блин, и, заглядывая питомице своей — снизу вверх, в мрачные, полуночные глаза, под опущенные темным лесом ресницы, — сказала, лукавая, с преступным кошачьим светом в глазах:

— Может, засиделась ты очень? Время «зверинку» пробегать? Так, это в нашей власти... И уезжать никуда не надо, — ты мне только намекни... Есть у меня на этот случай запасец, — спасибо скажешь...

Виктория Павловна резко перебила ее:

— Никаких твоих запасцев мне не надо, а...

— Ну, это — как сказать? — ухмыльнулась

домоуправительница. — Не спеши зарекаться... Знаем мы тоже... Не в первой...

— Я и не зарекаюсь, — мрачно остановила ее Виктория Павловна, — к сожалению, не чувствую в себе смелости и искренности к за-року...

— Вона! Жалеть уже начала... Еще новости!.. Истинно тебе говорю: испортили тебя, Виктория, подменили...

— Оставь, — оборвала Виктория Павловна.

И, в воцарившемся угрюмом молчании, выговорила зло и ядовито, сквозь стиснутые зубы:

— Не беспокойся, мать-игуменья: не пере-менилась, такая же тварь, как была... Но ты знаешь, что, когда «зверинка» мною не владе-ет, ненавижу я слышать и вспоминать о ней...

— То-то вот, — учительно подхватила Ари-на Федотовна, — все у тебя не огонь, так вода, не на горе, так в болоте... Что ты, что Евгения Александровна, — горе мне с вами... На грош преступления, на рубль сокрушения...

— У тебя наоборот? — невольно усмехну-лась Виктория Павловна. — Или, впрочем, нет: и гроша сокрушению не оставляешь, пол-

ностью на весь рубль грешишь...

Арина Федотовна ударила себя руками по бедрам, подбоченилась и захохотала:

— Ну, вот это так! — воскликнула она, крикая утиным смехом, — вот это сказано! По нашенски! В этом я тебя, Виктория, узнаю...

Но — увы! — пробужденные печальной судьбою Дины, новые мысли о будущем маленькой девочки Фени все чаще и чаще приходили в красивую голову Виктории Павловны тревожить ее гордый и грешный покой. И все чаще и чаще можно было видеть ее одиноко идущую, межами сжатых полос, по направлению к Нахижному, к нарядному дому, с деревянными петухами и конями, в котором весело росла маленькая, голубоглазая девочка, в светлых волосах, со звонким птичьим голоском, неугомонная лепетунья, мелькавшая теперь, как маленькая молния, сегодня голубая, завтра розовая, послезавтра желтенькая, с чердака на погреб, с погреба на конюшню, с конюшни на огород, и так — день деньской, круг кругом, словно белка, неугомонная в вечно вращающемся колесе... И целыми часами просиживала Виктория

Павловна у Мирошниковых, любуясь девочкой и радостно смеясь на нее, — умиляясь дочерью и стыдясь самой себя... А Феничка хорошела день ото дня... И старуха Мирошникова, гордая, не раз уже говорила Виктории Павловне:

— Невозможно сказать, как наша Феничка к вам привязана, — даже все свои примеры только с вас и берет... Мы со стариком аж удивляемся: иной раз, что станет, что взглянет, — ну, совсем, как есть вы... Просто даже ахнем, как она умеет подражать вам во всем..

Виктория Павловна давно замечала это, что девочка уж очень хорошо, слишком хорошо умеет ей «подражать», то-есть, попросту говоря, удивительно похожа на нее в некоторых движениях, поворотах и даже в манере произносить иные слова, — замечала лучше, чем кто либо другой... Замечала, может быть, даже преувеличенно, по предубеждению, потому что искала сходства, которого боялась... И каждый раз подобные рассказы старухи обливали ей сердце жгучим смешанным чувством гордости и унижения... Гордости, потому что девочка была прекрасна, унижения,

потому что она не смела себя назвать матерью этой прекрасной девочки... И уже не раз после того, как поселилась она в Правосле, и начала учащенно посещать Мирошниковых, шевелились стыд, и как будто твердое намерение:

— Вот следующий раз, как пойду я в Нахижное, то более уже не буду ни напрасно терпеть и мучить себя ложным и тайным стыдом, ни бояться, а прямо и откровенно скажу Мирошниковым всю мою тайну и заявлю права, которые имею на Феничку. Да... по крайней мере, если не всем, то — пусть хоть им, Мирошниковым... Что же? Я ведь не собираюсь у них ее отнимать, не стану даже чаще бывать у них, чтобы не волновать ревнивую старуху своим присутствием, как ее волнует, например, Арина. Я только уничтожу этот круговой обман и попрошу позволения быть матерью моей дочери... хоть немножко... хоть между нами... Вот и все... Я это сделаю непременно в следующий раз... Да, в следующий раз, не откладывая...

Но следующий раз этот никогда не приходил... словно фатум какой тяготел над подоб-

ными ее решениями... Вечно выпадал какой-нибудь случай, выбивавший ее из наметенной колеи и отбрасывавший ее очень далеко от первоначальных ее намерений... Да и Арина Федотовна, угадывавшая ее настроение, зорко следила, чтобы она не сделала какой-либо новой «глупости», и, каждый раз, спешила как-нибудь разбить эти мысли... Вернейшим к тому средством являлось напоминание об Иване Афанасьевиче:

— Дочь признать не долго, — говорила она. — Да ведь она не одна. Ну, а как ты в папеньке-то ее признаешься? А ведь без этого не обойтись. Еще — если бы ты не сделала этой глупости, пред Афанасьевичем не открылась бы, — куда ни шло. Соврали бы что-нибудь подходящее к тому времени, выдумали бы любовника, которого проверить нельзя... вон, Саша Парубков застрелился, Орест в сумасшедшем доме помер.[См. "Викторию Павловну"] Вали на покойников-то: преполезная нация, — все стерпят... мертвым телом хоть заборы подпирай!.. А теперь, как сама расписалась, — и совершь; он — Афанасьевич — каждую минуту может тебя в глаза изобли-

читать... Ты думаешь, он забыл и зарекся? Нет, дудочки: только — трус да молчит, а помнит и думает... Я, ведь, слежу. Он, с того вашего разговора, теперь не хуже твоего, повадился к Мирошниковым: как тебя нет, так он и там, — тоже дочкою любит... Эдакие нежные чувства в нем не спроста... И я того мнения, что одной тебе он дочери не уступит. Теперь — да: как оно есть, так тому и быть. Ни твоя, ни его. Ты молчишь, он молчит. Ну, а если ты дочь потребуешь, вот, посмотри, он тоже часть свою заявит... Да — что я тебе разрисовываю? Сама не глупа, понимаешь. Не даром ты забоялась его. Он для тебя человек жуткий, страшный. Может, потому-то и страшен особенно, что уж очень он ничтожный, никакой он человек. Такой, что даже и расчетов-то о нем быть не может, чего от него ждать, чего не ждать... Ой, Виктория, берегись, не провались, ходя по льду! Береги ты свою молодость, береги ты свою свободу. Ведь, надо же правду понимать: только, что мы с тобою бабенки нетрусливого десятка, а Афанасьевич трус несчастнейший и за жизненку свою гнусную дрожит, как заяц, —

только тем ты и цела, а то — вся в его воле, как ему вздумается, так и осрамит...

— Я это сознаю, — мрачно соглашалась Виктория Павловна, — но уверяю тебя, нянька, все эти прятки постыдные и отчужденность моя от Фенички в такую нестерпимость слагаются, что я уже и на огласку готова...

— Боже тебя сохрани! — с ужасом воскликнула Арина Федотовна, даже бледнея. — С ума ты сошла! Погубить себя хочешь?

— А — пускай... Не очень-то, нянька, жаль мне себя погубить...

— Себя не жалеешь, так других пожалей, — строгим упреком надвигалась на нее Арина Федотовна. — Вон это даже Диночка, из гнездышка цыпленок, понимает, а ты — нет? В самой себе — твоя воля, а в других тебе воли нет, а — что народу вокруг себя погубишь? это ты считала? это хорошо?

— Может быть, и нехорошо, — невесело усмехнулась Виктория Павловна, — только уж очень удивительно мне слышать подобные речи из уст твоих... Когда это ты учила меня жалеть других и сама жалела?

— Жалость разная бывает, — холодно воз-

разила Арина Федотовна, — и погибли тоже разные. По погибли и жалость. Околей сейчас красноносый Иван Афанасьевич твой, либо какая-нибудь Тинькова госпожа, добрая соседка наша, — я скорее по псу смердячему заплачу, чем по этакой мелочи человеческой слезинку выроню. Еще и сама бы им с удовольствием помогла в землю уйти, чтобы они, обманно в человеческом образе ходя, настоящим людям света не застилали и жизнь не портили...

— Да, ведь, настоящими-то людьми ты, кажется, только и считаешь на целом свете, что себя, да, может быть, еще меня немножко... — печально улыбнулась Виктория Павловна.

— Нет, не совсем так, — спокойно возразила Арина Федотовна. — Побольше. Некогда по пальцам считать, а то бы дюжины две-три по именам назвала... Да и, кроме того, скажу тебе: я женщина справедливая. Если человек хорош, я его и во враге различу и почти хорошим человеком. И, ежели который человек сам по себе хорош, а только мне чужак, не моей жизни и веры, то я ему этого в вину никогда не поставлю и злобиться на него за то не

буду. Возьми в пример князя твоего, либо Зверинцева, Михайлу Августовича: не мои люди, всем духом своим мне чужаки, а — ничего, ребята добрые, не похую... И таких людей вокруг тебя много. Свою-то душу в жизни поизмытарили, что было своего святого-веру поистратили, а без этого капитала жить не умеют и не могут, — ну, вот, и ищут утешение в твоей ласке и красоте, — что подруга ты уж больно хорошая и сердечная, ласковая на всякое понимание, и, при тебе, в них свинья-человек молчит, а старые забытые ангелы сладко голоса поднимают. И это, Виктория, дружок мой, штука не простая, а дорогого стоит... Что головою-то затрясла?

— На обмане строено, — раздался угрюмый ответ.

— Ну, и на обмане! — с сердцем огрызнулась Арина Федотовна. — Эка беда... ушибла меня словом-то, подумаешь! Что же делать, если людишки в миришке так изолгались, что им только ложь и есть во спасение? Что же делать, если наше время еще не пришло, и мы, бабы, еще своей правды себе не отвоевали? Обман-то — в жизни человеческой — как

лестница: одному — эта ступень, другому — та... Фыркать-то на обман легко и дешево, а ты погоди плевать в колодезь, пригодится воды напиться. Если чем красна твоя жизнь, так не тобою самою, потому что ты человек беспокойный, и душа твоя буйная и смутная. А в том твое великое счастье, Виктория, что нравишься ты хорошим людям, и не оставляют они тебя, любят... Очень высоко тебя превозносят... Как икона какая-нибудь ожившая ты для них... Дай им волю, — лампадки бы зажгли перед, тобою, потому что — кажется им — в окладе ты сияешь и чудеса творишь... Ну, и, хоть считаешь ты меня женщиною жестокою, а вот тебе мои мысли: нельзя обижать хороших людей в их любви и вере... Это — все равно, что если бы, вот именно, ты к иконе чудотворной пришла с молитвою, а она, вдруг, — на! показала тебе язык или плюнула бы в тебя скверным словом. Чем ты грешна, как грешна, это твое дело. Безгрешной тебя никто не считает, а о грехах тебя не допрашивают, потому что огорчать себя не хотят. Ну, и твое счастье, и держи его. Люди, что знают, чего не знают, с тебя не взыскива-

ют, и тебя любят много и, при случае, много тебе простят. Но Ивана Афанасьевича — это будь спокойна — тебе не простят никогда... Никто!... Всякую твою «зверинку» поймут и извинят, а эту — не надейся! ни-ни!

— И не надо... пусть! и проживу одна, без них... И не нуждаюсь ни в чьем прощении...

— Верю... Ты думаешь: не верю?.. Нет, знаю: гордая ты, норовистая... Да, ведь, штука-то не только в том, что не простят, а в том, как оно скажется... Не на тебе! не на тебе! подожди! не вспыхивай горячкой!.. Я прямо тебе скажу: многие будут беды. Человек я немолодой, опытный: верь. Что с князем будет? Как Зверинцев перенесет? На что Келепова с Тепловым — и тех жалко, потому что последнее у них в душонках чистое место — что они тебя уважают. Провалится оно — аминь! не стало и души, одна помойная яма осталась... Вот ты это и рассуди. Сад у нас густой, да неплодный, — так не пришлось бы, вместо фруктов, висельников с сучьев снимать...

Она приостановилась, прислушалась и, так как Виктория Павловна, потупленная, ничего не отвечала, то продолжала напористо,

быстро, внушительно:

— Кому польза? кому радость? Себя отдать в насмешку людям, чтобы ворота дегтем мазали и парни по дорогам свистали и пели о тебе скверные песни. Фене — тоже, на всю жизнь только издевательство, будто на смех: вот, мол, чрез какое смешение естества ты, душенька, на свет произошла... за деньги надо показывать! во сто годов один раз на всю империю подобная редкость бывает!.. Мирошниковых ты — это уж не сомневайся — разрежешь: не выдержать этого удара старикам... Сама-то, я знаю, понимает Афанасьевича хуже, чем избяного таракана... Всем добрым друзьям, которые на тебя Богу молятся, — плевков в глаза от иконы... Афанасьевич... Ну, о нем, скоте красноносом, я и говорить-то — языка марать — не хочу... Чем ему хуже, тем, по моему, нам лучше... То есть — вот уж ни на одну секунду рука не дрогнула бы, чтобы этот срам твой в сырую землю положить... Ну. не буду, не буду, знаю, что не любишь, не нагоняй морщин на лоб, а то, неравен час, останутся, рано стареть начнешь... А я бы хотела, чтобы ты век была мо-

лода, — Вот такая, как теперь... Царица! Мария Моревна, кипрская королева!.. Береги молодость, Виктория, — ой, береги! Что молодость, что свобода, — одно. Ой, береги и молодость свою, и свободу...

— А, полно, нянька, оставь! Уж какая свобода, когда вся — у собственного своего обмана в цепях...

— Твой обман — твоя в нем и воля, — равнодушно возразила Арина Федотовна. — Лишь бы людям воли над собою не дать, а на собственной цепи сидеть — все равно, что не скованной быть. Хочу — ношу веригу, хочу — сбросила. Дело житейское — море житейское. А ты у меня белая лебедь, так и плыви, знай, по морю-то лебедью.

— И то плыву, нянька... — горько вздохнула Виктория Павловна. — Давно, а плыву... Плыву, плыву... а где моя пристань? Конца не вижу. Берег мне дай.

— А ты не бойся: волна свой берег знает, мимо не пронесет. От судьбы не уйдешь, куда надо, приплывешь.

— Вот, завидела бережок крохотный, хочу пристать, ты уже ухватила, не пускаешь,

тянешь в сторону...

— И тяну, и буду тянуть, — оживленно подтвердила Арина Федотовна, быстро закивав скифскою своею головою. — Потому что ладья ты моя великолепная, это не бережок ты завила, а мель подводная камешек высунула и манит тебя, чтобы ты на нее наплыла и разбилась... Еще кабы ты мелко плавала, так, может быть, и проскользнула бы, только слегка зацепившись и поцарапав доньшко. А ведь ты у меня всегда в жизни, что ни начнешь, всегда норовишь плыть самую глубокою водою... Уж худа ли я, хороша ли, а люблю я тебя, вскормленную лебедь мою, и, покуда жива, не позволю я тебе разбить свою белую грудь о мель обманную... вот, не позволю и не позволю!

Осень разогнала гостей Правослы. Ранняя зима накрыла усадьбу снегом. Сугробы занесли дороги к уединенному старому гнезду, где сбились в кучу, выбрав три комнаты, лучше державшие тепло, три женщины: Виктория Павловна, Арина Федотовна и дальняя родственница ее, молодая, богатырского телосложения, стряпка Анистья. Вне главного дома в

усадыбе был и жил отдельною жизнью флигелек, в котором медленно умирало безногое, злое, ненавистное Виктории Павловне, существо, называвшееся ее теткою. За нею ходила особо приставленная и оплаченная девчонка, терпевшая от нее муку мученскую. Зачем это существо скрипело еще на свете, оно и само не понимало. Кажется, исключительно на зло своим родным, которых она всех ненавидела, и в особенности, племяннице, которую она ненавидела несколько больше остальных родных, — за то, что уж слишком была перед нею виновата.[См. "Викторию Павловну"] И была черная банька, в которой смиренно прозябал Иван Афанасьевич. Летом он еще встречался иногда с Викторией Павловой в саду или во дворе. Зима окончательно отрезала его от главного дома и, живя на таком близком расстоянии, эти два человека были теперь едва ли не дальше друг от друга, чем когда либо. В главном доме жилось очень трудно. Денег совсем не было. Арина Федотовна билась, как рыба об лед, выворачивалась, сама не зная, из чего только она родит средства жить. Раза два Правосла уже назначалась к

продаже, но всякий раз дело как-то обходилось. Чтобы не скучать очень, выучилась Виктория Павловна, за зиму эту, по-английски. Знакомый редактор из Петербурга прислал ей толстейшую немецкую книгу для перевода, которой она понемножку и делала в короткие зимние дни. Жизнь шла однообразно и вяло, как в монастыре. Вставали со светом. Ложились спать — как только падали сумерки, чтобы не жечь понапрасну керосина. Из трех комнат, одну обратили в кухню, в которой Анисья чадила день деньской своими нехитрыми первобытными снедями; другую оставили вроде рабочей и приемной, на случай гостей; в третьей, единственной настоящей теплой, спали — все три женщины вместе, чтобы не бояться воров, а, в особо морозные ночи, даже на одной постели, завалившись всеми одеялами, шубами и тулупами, какие имелись в доме. Потому что, сколько ни топить было Правосленскую развалину, вечерний жар к утру выдувало в незримые щели, и не однажды вода в умывальнике Виктории Павловны застывала в лед. Гости бывали редко. Все в уезде знали, что Виктория Павловна

не очень-то любит принимать посетителей в своей полуразрушенной хоромине, которой зимние неудобства не искупаются и не скрываются, как летом, живописностью красивого сада и старинных служб. И себя Виктория Павловна тоже не любила в неизящном зимнем виде, с вечными валенками на зябких ногах, с варежками на зябких руках, с чалмою из шерстяного платка на зябкой голове, в домашней беличьей шубейке, и, несмотря на то, все-таки, с сизым от холода лицом, потолстевшую и потерявшую грацию от шерстяного белья, без которого она сейчас же застывала и простудилась. Она сама смеялась над собою в письмах к приятельницам и приятелям, что на зиму обращается, подобно солнечной принцессе, в «дикую Эльзу», которая, обросши еловою корою, разучивается даже говорить, а только мычит, покуда не явится, вместе с весною, великодушный красавец-королевич, чтобы разбудить ее поцелуем к жизни, радости и красоте. Но никакой королевич не являлся, да — что-то и не нужен был. Все еще расходовался запас того физического покоя, который Виктория Павловна привезла с со-

бою в Правослу, — а Арина Федотовна только диву давалась на ее благоразумие. «Зверинка», как называла она страстные смерчи, обычно так буйно повелительные в натуре Виктории Павловны и время от времени врывавшиеся в жизнь ее неодолимым физиологическим запросом, спала и молчала. Тихая и кроткая, Виктория Павловна жила, вся ушедши в самое себя и в поверку многих важных и сложных вопросов, до сих пор ей не то, чтобы чуждых, либо не любопытных, но — вихрем крутившаяся, всегда на людях, кочевая и безалаберная жизнь уводила ее в сторону от них, не давая времени ни для решения их, ни для пристальной задумчивости над ними, ни даже для возможности дать волю просимому ими чувству. Главнейший и серьезнейший из этих вопросов стучался к ней по два и по три раза в неделю, а по воскресеньям уже обязательно, в виде маленькой, тоненькой, длиненькой, разрумяненной морозом, красоти-девочки, с личиком-блинчиком, сияющими светлыми глазками, и с осанкою и миною деревенской принцессы, одетой то в новенький дубленый тулупчик, то в синюю шубейку

и повязанной по головке низко-низко, с напуском на лоб, — чтобы мозги не стыли — толстым шерстяным платком... К весне Виктория Павловна перевод свой кончила, отослала, получила за него маленькие денюжки и новый том для новой работы. Гонораром ее Арина Федотовна заткнула пасть какому-то очередному взысканию, опять угрожавшему Правосле молотком аукциониста, и, с этих пор, начала относиться с некоторым уважением к книгам, которые толстыми пачками привозил для Виктории Павловны из губернского города Ванечка Молочницын, успевший уже выроста в молодого человека, бреющего первые усы. Этот юноша, кончив в Рюрикове четырехклассное городское училище, поступил было, по протекции кого-то из друзей Виктории Павловны, в гимназию, но не замедлил нарисовать на классной доске карикатуру на директора, обратившую почтенного педагога в посмешище не только собственного учебного заведения, но и всего славного губернского города Рюрика. Из гимназии Ванечку выгнали, и теперь он служил писцом в конторе одного нотариуса, большого и

очень влюбленного приятеля Виктории Павловны. Этот последний, человек интеллигентный, но недалекий, добродушный и крайне sentimentalный, кажется, только потому и взял к себе Ванечку, чтобы было кому регулярно возить в Правослу разные съестные и книжные приношения на алтарь его кумира и, в особенности, толстейшие письма, в которых поэтический нотариус облегчал свою страстную душу изливаниями страниц по двадцати большого формата и мелкого почерка. Почте он доверять эти манускрипты не решался, так как был большим скептиком насчет скромности чиновников губернского почтамта, а имел сожительницею госпожу редкой красоты, но малого образования, совсем неспособную ценить изящество тонких платонических отношений, но чрезвычайно охочую вцепляться в бакенбарды сожителя, по первому ревнивому подозрению... Ваничка, великолепно поняв этого господина, умел прийтись ему по душе и благоденствовал в его конторе, на положении фаворита. Понемногу выравнивался в губернского франта с тросточкой и серебряным порт-сигаром, но-

сил удивительно пышные галстухи, стригся наголо, брился гладко-гладко, и был оттого столь плотен, квадратен, розов и белобрыс, что мать, Арина Федотовна, глядя на сына, все вспоминала какого-то породистого поросенка, который де, при покойнице-барыне, бросился ей под ноги и страшно ее перепугал в то время, как она была Ванечкой беременна на сносях. Являлся Ванечка в Правослу по воскресеньям, раза два в месяц, и вносил в жизнь затворниц большое оживление, во-первых, потому, что привозил почту, припасы и городские новости, а, во-вторых, и главных, потому, что был превеселый парень, превосходный рассказчик, мастер на всякие резвые выдумки и штуки. Из тех тихих и скрытно умных русских насмешников, которые, неизменно сохраняя самый серьезный вид, хватают почти бессознательною наблюдательностью всякую смешную черту окружающей действительности и каждого умеют потом мастерски передразнить, обращая все, что в глаза плывет, в улыбочивое скоморошество и карикатуру...

— Не усидеть, нянька, твоему сыну в нота-

риальной конторе, — предсказывала Виктория Павловна. — Быть ему в актерах...

На что нежная мамаша отвечала:

— А, по мне, хоть в черти, лишь бы хлеб...

В такой обстановке, тихо, как на дне озера, прожила Виктория Павловна два с половиною года, лишь изредка выезжая по каким-нибудь делам, почти всегда неприятным, потому что денежным и просительным, в губернский город Рюриков. Лето оживлялось наездами гостей, на осень и зиму Правосла опять застывала тою же сперва слякотною, потом сугробною пустынею. Так же было холодно в комнатах, так же полз по нем чад от Анисьиной стряпни, так же от сумерков заката до сумерков рассвета храпели сонные бабы, так же было неприятно поутру вылезать из-под нагретых шуб и тулупов; так же день уходил на письма и борьбу с иностранною книгою в союзе со словарем; так же, если не переводилось и читалось, то невесело думалось; так же приходила в желтых тулупчиках и синих шубейках подрастающая и все хорошеющая Феничка; так же наезжал из города с почтою, новостями и веселостями преуспева-

ющий и процветающий Ванечка... Все было так же, — прочно и неизменно так же, — и иногда Виктории Павловне казалось уже, что, вот, — дело конченное: нового уже никогда ничего не будет и всегда все останется так же...

К концу второго года стали вспыхивать «зверинки». Арина Федотовна угадывала их, как опытный врач:

— Виктория, никак у тебя губки обсохли?

Этот с давних-давних времен между ними условный насмешливый вопрос на том «своем» языке, который имеется в каждом доме, отгораживая его физиологическую жизнь от видения и догадки чужих, — обливал Викторю Павловну румянцем — и, если попадал в добрый час, то заставлял ее долго и беспричинно хохотать, а, в час злой, глаза ее темнели, как туча, и раздражалась она молниями такого же беспричинного гнева. Предлагала же свой вопрос Арина Федотовна, когда замечала, что Виктория Павловна, вдруг забросит всякую работу; по утрам, чем бы вставать со светом, лежит и нежится в тепле до десятого часа; есть почти перестала, а воду пьет ковш

за ковшем и, чем ледянее, тем она довольнее; по целым часам сидит одна где-нибудь в углу, либо у окна, обняв руками колена и что-то обдумывая, либо вспоминая, с длинною и загадочною, нехорошею улыбкою, которая делает лицо ее, в эти дни, как-то особенно великолепным и красивым и, в то же время, совсем не в свычай, недобрим, чтобы не сказать хищным и злым: истинно уж «зверинка».

Сопровождалось это состояние брезгливым отвращением, которое она вдруг получала к обществу своих женщин, к их говору, смеху, прикосновению, наконец, просто к присутствию. Обыкновенно, настолько дружная с товарками своего уединения и не брезгливая к ним, что, вот, уходя от холода и ночного страха, не избегала даже спать в одной постели, теперь она искажалась лицом, даже, если Арина ли Федотовна, Анисья ли невзначай заденут ее платьем. И видно было, что это не каприз, а, в самом деле, ей противно до физической боли... И летели с языка злые оскорбительные фразы.

— Не садись рядом, — от тебя скверно пахнет...

— Хоть бы ты, Анисья, пошла умылась. Противно смотреть: блестяшь, как сапог...

— Сделайте мне постель в другой комнате: вы обе так храпите, что я не сплю целую ночь...

— О, Боже, медведицы в лесу ловче, чем эти бабы.

— Ты, нянька, когда смеешься, то — словно из-под колоды целое гнездо змей шипит.

Если долго молчат, — следовал недовольный окрик:

— Что у нас — заведение для глухонемых? Разговорятся, — оборвет:

— Не пригласить ли еще из роци трех сорок для компании?

Запоют, — «домового хоронят». Ужинать зовут, — «не могу: все воняет салом и захватаю грязными пальцами...»

И так-то — с утра до вечера — круглый день...

Первые три «зверинки» Виктории Павловны были легко избыты, при мудром содействии Арины Федотовны, какими-то таинственными местными средствами, почти что домашними, потому что за ними обе женщины

ны лишь ездили несколько раз в недалнее село Хмырово, где останавливались на ночевки у вдовой дьячихи, Ариной родственницы, женщины с репутацией лекарки... Но снабдьба ее помогали, должно быть, плохо и не надолго, потому что — когда Викторю Павловну ударила четвертая и самая злая «зверинка» — Арина Федотовна, после нескольких дней мучения с нею, куда-то поехала, с кем-то пошептала, что-то заложила, что-то продала, — и, возвратясь, положила пред сумрачною Викторией Павловной две сторублевые бумажки, с лаконическим советом:

— Вот тебе. Пробегайся. Только, чур, недолго.

И — в тот же день ранней весны — Виктория Павловна исчезла из Правослы и вернулась в родные места только уже в первых числах июня. Где она скиталась в этот срок, о том узнала от нее, опять таки, только Арина Федотовна, а эта женщина молчать умела. Кое-какие след: все-таки наследила. Мелькнула в Петербурге, где ее видели ужинающей в загородном ресторане с очень модным в тот сезон мулатом, укротителем зверей. Побыва-

ла у Жени Лабевус в Крыму, где по пятам ее следовал какой-то исключенный за политику, молчаливый гимназист трех аршин росту и косая сажень в плечах. И, наконец, один инженер с постройки средне-сибирской железной дороги уверял, будто видел ее где-то под Омском или Петропавловском в степи, верхом, одетую по-мужски, в бурке и папахе, в компании весьма дикого барина из той удивительной породы, которую Щедрин звал «ташкентцами», а после они слыли «ашиновцами» и «вольными казаками»... Перед возвращением своим в Правослу, Виктория Павловна остановилась на несколько дней в Рюрикове, где тогда был, проездом, я, пишущий этот роман. Я был представлен Виктории Павловне в театре и получил любезное приглашение погостить у нее в Правосле, которым и воспользовался. В Правосле я встретил довольно большое и очень пестрое общество, изображенное мною в другом романе. [См. "Викторию Павловну"] Самым шумным и выдающимся лицом в этом обществе оказался уже ранее знакомый мне несколько, молодой художник Алексеей Алексеевич Бурун. Чело-

веку этому суждено было сыграть в жизни Виктории Павловны роль важную и — жалкую. Красивый, талантливый, шумно риторический, впрочем, пожалуй, даже не лишенный искренности и с темпераментом, но без всякого характера и мелко самолюбивый, — Бурун полюбил Викторию Павловну, и, в свою очередь, успел произвести на нее впечатление, более глубокое и серьезное, чем успевали до сих пор другие «флиртующие» мужчины. Но именно поэтому она зарождающегося чувства своего испугалась. И — между нею и Буруном началась капризная борьба страстно желающего мужчины и гордой женщины, сопротивляющейся покориться заманчивому любовному союзу, в котором она смутным инстинктом почуяла лукавую угрозу порабощения, подползающего в ней на коленях, но с цепью в спрятанной за спину руке. Раздраженная любовными неудачами, гневная ревность самолюбивого Буруна, заподозрив личность какого-нибудь счастливого тайного соперника, окружила Викторию Павловну целю системой влюбленного шпионства. Настоящего своего соперника Бурун не открыл,

но, зато, совершенно нечаянно, натолкнулся на старую тайну Виктории Павловны о Феничке, заставил Ивана Афанасьевича во всем признаться, а затем — однажды — обезумев от ревности, горя и гнева — бросил Виктории Павловне секрет ее в лицо, при постороннем человеке. А та, взбешенная, в ответ оскорблению, надменно подтвердила, что — да, все правда, так оно и есть: Иван Афанасьевич был мне любовник, а Феничка моя от него дочь... После этого печально-безобразного происшествия, Бурун, конечно, должен был с позором покинуть Правослу. А Виктория Павловна почувствовала, что — роковое свершилось: Феничка уже требует ее к ответу, — жизнь приплыла к точке, на которой должен свершиться переворот...

Быть может, никогда ни один влюбленный не вел себя глупее Буруна и не губил любви своей с более роковою и злополучною последовательностью. Но ревнивый инстинкт не обманул его: у Виктории Павловны, действительно, был в это время более счастливый любовник, а в появлении любовника этого был виноват никто другой, как он же, Бурун.

Виктория Павловна чувствовала, что влюблена в художника не на шутку, а серьезного влюбления боялась больше всего на свете, тем более в человека, которого она не слишком то уважала, понимая его и не весьма умным, и буйно бесхарактерным, и безмерно тщеславным и, от чудовищного самолюбия, чудовищно ревнивым. То-есть именно мужчиною-собственником, мужчиною-поработителем, как раз того типа, который она считала главным злом мужевластной семьи и препятствием к женской свободе и равенству. А влекло! И ясно различала она, что повелительная сила, ее влекущая к Буруну, — может быть, и не та, которую зовут чистою любовью, но и — какою-то таинственной перегородкою — отделена от той грубой и простой чувственности, которую она так же просто, без иллюзий и прикрас, избывала в своих таинственных поездках. Разобрала это и Арина Федотовна и пришла от развивающегося романа своей питомицы в ужас и злобу. А тут еще, как раз, на грех, «у Виктории обсохли губки», — налетела «зверинка». Дразнящее присутствие влюбленного красавца Буруна стало

для нее невыносимым, а женская гордость не позволяла ни признать его, ни бежать от него. Да бежать было и некуда: Правосла была полна гостей, съехавшихся, по обыкновению, на именины Виктории Павловны, и она, как хозяйка, была прикована к своей усадьбе. И вот, в разгаре этой угрюмо-странной борьбы, — когда обе стороны ожесточились до того, что уже не знали, любят они или ненавидят, и Бурун, влюбленным шутком гороховым, бегал и ловил еще не существующих соперников, а Виктория Павловна была как знойная ночь от душившей ее «зверинки», — произошло крохотное приключеньице, которое, однако, повернуло вверх дном весь начинавший было разгораться роман и презрительно его зачеркнуло. В одном шуточном состязании, которое затеяли гости на именинах Виктории Павловны, — кто достанет грачевое гнездо со старой, почти гладкоствольной, березы, — все участвующие, в том числе и Бурун, провалились. А Ванечка Молочницын, не будь дурак, принес лестницу, влез по ней преспокойно и гнездо достал. При общем хохоте признали его достойным приза — за на-

ходчивость и остроумие, а призом были — три поцелуя Виктории Павловны. Целовать Ванечку она, однако, отказалась, говоря, что у него еще молоко на губах не обсохло. Ванечка, со свойственным ему лукавым смиренством, с покорностью тому подчинился, великодушно заявив, что мы люди маленькие, можем и подождать. [См. "Викторию Павловну"]

Неделю спустя после именин, Ванечка опять приехал в Правослу. В кармане у него, по обыкновению, лежало толстейшее письмо от поэтически влюбленного нотариуса. Мать, встретив, объяснила Ванечке, что Виктория Павловна, только что вдребезги поругавшись с долгогривым жеребцом (ласковее слов она для Буруна не имела), ушла, вне себя, расстроенная, в сад и, вероятно, теперь бродит где-нибудь в любимой своей аллее над прудом. А долгогривый жеребец, схватив ружье, свистнул собаку, кликнул Ивана Афанасьевича, который состоял при нем вроде верного слуги Личарды, и оба убежали невесть куда... Пьянствовать, поди, на слободку, к солдатке Ольге. Охотники! Вот, кабы, с пьяных то глаз, перестреляли они друг дружку, так я бы по ним,

душкам, хоть и не охотница до попов, сорокоуст заказала бы...

Ванечка подумал и, попрыгивая и посвистывая, пошел в сад. Викторию Павловну он нашел, действительно, в аллее у пруда — и, ух, с каким нехорошим, полным темного румянца и зловеще-красивым и гневным лицом...

— Ого! Батюшки! — струхнул Ванечка. Маленький он был себе на уме и с присутствием духа, но Викторию Павловну почитал весьма и, пожалуй, хоть не без юмора, но, все-таки, немножко ее побаивался. Это не мешало ему и слыть и быть в числе ее наиболее фаворитных людей, потому что он всегда умел ее рассмешить, а смеяться и быть веселою она почитала самым большим счастьем и светом жизни. Так что и теперь, хотя была крепко не в духе, Виктория Павловна смягчила, на встречу Ванечке, чересчур уж яркие сегодня огни очей своих, ласково кивнула Юнонинскою головою и, протягивая еще издали руку, с насильственной шутливостью, заставила себя пропеть речитативом из «Гугенотов»:

— Что ищешь ты, прекрасный паж, здесь в

замке?

На что Ванечка извлек из кармана письмо влюбленного нотариуса, сделал грациозный пируэт и — с округлым жестом Светлицкой, знаменитой контральтовой примадонны, недавней гастролерши в рюриковской опере, имевшей слабость петь мужские роли, вопреки чудовищной своей толстоте, — ответил в тон, и ее густо колеблющимся голосом:

— К вэ-ам пэ-эсммо!

Виктория Павловна рассмеялась — Похоже! — и лицо ее несколько просветлело. Взяла письмо, вскрыла, начала читать, но гневные, страстные мысли брали верх, мешали понимать и делали письмо ненужным и скучным. Пробежав несколько строк, она с досадою бросила письмо на скамейку. Ветер скатил его на землю. Ванечка поднял, положил письмо на прежнее место, придавил камешком. Виктория Павловна смотрела на его размеренно аккуратные движения и улыбалась.

— Ответ будет? — осторожно осведомился Ванечка.

— А, не до него мне, — отвечала Виктория

Павловна, чуть дернув плечами, в характерном досадливом жесте своем. — Какой же ответ? Ты видишь, я письма даже не читала... Вечные сахарности и миндальности... надоел!

Ванечка вздохнул и произнес учительно:

Кто нрав дурной имеет и свирепый,
Тому покажется и сахар хуже репы...

— Это еще что? — засмеялась Виктория Павловна.

— У Белинского в сочинениях нашел... Не огорчайте патрона-то: плакать будет...

Виктория Павловна подумала и, мирно кивнув головою, протянула ему письмо:

— Ну, хорошо... Прочитай мне вслух... Тут секретов быть не может...

— Присесть позволите?

— Вот вопрос! Конечно, садись...

Но, с первой же строчки Ванечкина чтения, красные шелковые плечи ее заходили и затряслись от приступившего к ней смеха, потому что, из-за листка, который Ванечка держал перед лицом своим, так и зазвучал унылою струною восторженный, цитроподобный голос влюбленного нотариуса, так и засияли его шиллеровские очи — широкие, оловяно-

ные, как в народе говорят: «по ложке, не видят ни крошки». Виктории Павловне, право, стало уже казаться, будто безбородый и безусый Ванечка начинает даже нотариальными бакенбардами обрастать.

— Ах, Ванька, какой ты уморительный! — твердила она, красная, в слезах, задыхаясь от смеха. — Ах, Ванька, какой у тебя талант!

А Ванечка, знай, невозмутимо «фортелил». Сперва он стал выделять иные прозаические и иронические фразы, попадавшиеся в глубокомысленном письме, читая их сдобным голосом драчливой сожительницы влюбленного нотариуса, красивой и ревнивой Аннушки. Потом переменял систему и, наоборот, передал этому крикливому и вульгарному голосу, в котором за семь верст слышно полуграмотную мещанку, как раз все самые возвышенные и поэтические тирады... Этого уже Виктория Павловна не выдержала и бросилась отнимать письмо.

— Да, нет, позвольте же, — защищался Ванечка, поднимая письмо над головою и читая его снизу вверх дальнозоркими глазами, — не кончено... тут еще есть...

— Ванька, отдай!

— «Я всегда был одного мнения с Гамлетом, что наша жизнь есть заглохший сад, заросший сорными травами»..

— Ха-ха-ха! Вылитая Анна Николаевна... Ой, не могу больше! Ванька, умру, отдай!

И, в задоре борьбы и смеха, она подпрыгнула на скамье, стараясь выхватить высоко поднятое письмо, не заботясь о том, что обнаженные руки ее соприкасаются с руками юноши, и красная шелковая грудь скользит по его лицу...И, вдруг, письмо белым голубем упало ей на темную ее голову, и перелетело с нее под куст в траву, а Ванечка крепко обнял ее и поцеловал прямо в губы. Ее так и шатнуло.

— Это что?

Ванечка безмолвствовал, продолжая обнимать ее, и имел вид озадаченный: он совсем не ожидал, что выкинет подобную штуку, и теперь сам недоумевал, как это у него вдруг вышло.

Тогда — Виктория Павловна, вся до корней волос, залилась огненной краской, но молния, блеснувшая из глаз ее, уже не испугала

Ванечку: как ни быстро она мелькнула, он успел разглядеть, что в ней больше удивления, чем гнева.

— Это что?

А он, глядя ей в лицо уже лукавыми, смеющимися, общенническими глазами, прошептал:

— А долг-то за вами с прошлого воскресения... позвольте получить?

— Ах, ты... Я тебе такой долг... Пусти, сейчас же пусти...

А он, с тем же взглядом — светлым, пустым и резвым, возразил так же, как и она приказала, — все — шепотом:

— А если не пущу? если вот возьму да не пущу?

И лицо его было чуть бледное, веселое и настороженное, в одинаковой готовности — повезет и позволено будет, то прильнуть к ее лицу, а нет — сорвется, так и получить плюху, и ничуть на то не обидеться: все в своем праве и порядке вещей.

И он получил ее, жданную плюху эту, — жестокую, громкую, со всей руки, так что его даже, в самом деле, качнуло на скамье, и боль

зажгла щеку, как огнем, и в ухе зазвенело... Он чуть не взвизгнул от боли, но молниеносно успел овладеть собою и по новому шутовать: притворился, будто убит, и повалился со скамьи на траву, на левый бок, свесив голову, с высунутым языком, на плечо, точно фигурка из театра марионеток под палкою Петрушки...

— Напрасно, не рассмешишь, — сурово сказала Виктория Павловна, вставая со скамьи. И, встряхивая юбку, оправляя волосы, нравоучительно договорила:

— Нечего сказать, хорош мальчик оказался... Дрянь какая! Щенок еще, а уже бесстыдный...

И пошла по аллее. Ванечка открыл глаза, сел и произнес стоном умирающего:

— Драться-то не шутка, а вы попробовали бы, как это больно...

Она ничего не отвечала, но Ванечка видел, что красные плечи ее опять дрогнули смехом, и послал ей вслед — «с трагедией»:

— А ей весело! Она смеется! Ха-ха! О, женщины, женщины! сказал великий Шекспир — и совершенно справедливо...

Тогда она обернулась, на ходу, через плечо, и бросила ему хохочущее прощение:

— Ты такой болван, что на тебя и сердиться нельзя.

Поздним вечером того же воскресенья, Виктория Павловна, покончив с Ариною Федотовною хозяйственный и вообще обычный им, в течение многих лет, ежедневный разговор на сон грядущий, и распроставшись с нею обычным же поцелуем, собиралась уже раздеваться, как вдруг — совсем не обычно — Арина Федотовна возвратилась. Став у прито- локи, несколько в тени, домоправительница принялась жаловаться на трудное хозяйство, на безденежье, на то, что, вот, она стареет, а помощи себе ни откуда не видит, а пуще всего донимает ее Ванька-шалыган, который ее объел, опил, обносил, разорил, ничего не делает, нотариус его — того гляди, что прогонит, а ему, бездельнику, и горя мало, знай, ходит-посвистывает, да еще научился за барыш- нями ухаживать... «вот, как треснет его ка- кая-нибудь по роже — поделом ему, шуту, бу- дет знать»...

Виктория Павловна слушала в величай-

шем недоумении: что вдруг сделалось с ее нянькою и домоправительницею? Потому что подобные жалобы нисколько не похожи были на обычные речи и настроение Арины Федотовны... Удивило ее еще одно обстоятельство: ушла от нее Арина Федотовна в будничной затрапезке, а теперь стояла, покрытая праздничною шалью, которая, Виктория Павловна знала, спрятана у нее в дальнем сундуке, и юбка из-под платка тоже виднелась воскресная... Когда же это она успела достать и переодеться?... Пригляделась: и ростом как будто Арина выше стала, и в плечах шире... Подошла, дернула шаль, — она свалилась и обнажила низко стриженую белобрысую голову Ванечки, о котором все в доме — и Виктория Павловна первая — были уверены, что он уехал на Осну, верст за семь, рыбу ловить...

Рассердиться на него опять не нашлось никакой возможности...

Только на рассвете ушла от Виктории Павловны мнимая Арина Федотовна, унося с собою опасный кошмар облегченной «зверинки», но, вместе, и разбитые Буруновы надеж-

ды на победу над упрямою правосленскою царь-девицею и любовное счастье...

Настоящая Арина Федотовна, узнав о походе в этом, только ахнула:

— Ну, уж, Виктория, тут я руки мою: моей вины нету ни на ноготок. Всяких чудес я ждала от тебя, но никогда не надеялась, что буду тебе свекровью...

VII.

В ту пору, как не вышел роман у Буруна с Викторией Павловной, Феничке было уже девять лет. Она была обучена грамоте и ходила к ней заниматься учительница из Нахиженской земской школы, хорошая долгоносая старая дева, находившая, что растет девочка, просто чудо какая умненькая и способная. Мирошниковы очень серьезно обдумывали и советовались с Викторией Павловной, как быть и что делать дальше, какое давать Феничке образование. При всей своей привязанности к Фене, и старик Мирошников, ни его жена ни на минуту не сомневались в том, что нельзя ее оставить в деревне, на том уровне, как они сами прожили свой век. Необходимо,

когда подрастет еще несколько и наберется сил и разума, отправить ее в гимназию, в губернский город Рюриков. Расстаться с девочкою для старухи Мирошниковой, конечно, было тяжело, но себя она считала для города непригодною, так что, даже ради Фени, переехать в губернию не решалась. А потому весьма терзалась сомнениями, как ей быть. На чужого человека бросить Феню в Рюрикове — истерзаешься страхами и подозрениями, а сопровождать ее, бросив в деревне одинокого своего старика, — больно жертва велика, пожалуй, для шестидесятилетней старухи не по силам. Виктория Павловна увидела в этом затруднении Мирошниковых как бы некоторое благое указание. Посчитав и сообразив свои средства, она сказала Мирошниковой, что утомилась деревенскою скукою и подумывает о том, чтобы переселиться опять в город, где ей обещают приятную и довольно доходную, сравнительно с обычными условиями женского труда, службу. Это даже и правда была, так как приятель ее, петербургский редактор, успел пристегнуть ее, в качестве переводчицы, к изданию одного большого энциклопедического словаря.

лопедического словаря, и ей легко было получить от редакции ряд компиляций, для которых, разумеется, требовался материал большой публичной библиотеки, — в деревне не достанешь. Мирошниковы этому намерению Виктории Павловны очень обрадовались, так как оно открывало им ряд совсем удобных исходов из вопроса о Феничкином образовании. Поселится ли Феничка прямо на хлебах у Виктории Павловны или поместят ее в хороший пансион, а Виктория Павловна только будет ее часто навещать, следить, чтобы она не была обижена и всем удовлетворена, — обе эти возможности пришлись старикам по душе, и которую ни будь из двух они решили осуществить непременно. Так теперь и сулили Феничке:

— Гуляй, девочка, на последях. Вот барышня Виктория Павловна переедет в город, тогда и тебя с собою возьмет, и начнешь ты там учиться уже по настоящему...

Пансион старуха втайне предпочитала. Хотя она Викторю Павловну очень любила и дурным сплетням о ней не верила, или, пожалуй, не то, чтобы совсем не верила, а снисхо-

дительно думала про себя: женщина молодая, одинокая, тут и грех не в грех, — лишь бы совесть имела и соблазнов не делала! — однако, немного и побаивалась: а вдруг то, что Виктория Павловна хорошо скрывает от людей, не так-то надежно скрыто у нее дома, и девочка насмотрится у нее гуляющих по квартире вочию соблазнов и наберется от них дурных примеров? Старик Мирошников считал эти опасения пустыми. Но Виктория Павловна их чувствовала и, хотя они делали ей больно, она, чтобы не восстановить против себя подзрительную старуху, сама горячо отстаивала помещение Фенички в пансион.

Так что девочка видела в этом плане как бы уже свою неперемнную судьбу и с каждым днем привыкала к мысли о будущем переселении. А, вместе с тем, все больше и больше привыкала и к Виктории Павловне, которая теперь, после истории с Буруном, не сделавшей, к счастью, покуда никакой огласки, стала посещать Мирошниковых в особенности усердно и проводила с девочкою бесконечно долгие часы в разных беседах и забавах... Виктория Павловна чувствовала, что связь

между ними утолщается, уплотняется, делается органической, — нежность к дочери все больше обволакивала ее, становилась для нее как бы необходимою атмосферою...

Надвинувшийся вопрос об образовании Фенички естественно вытолкнул вперед другой вопрос: кем же должна Феничка быть и слыть? Нельзя же оставить девочку без имени, просто подкидышем, неизвестно откуда взявшимся, которому суждено и жить, и умереть без роду и племени... Мирошниковы задумали, наконец, официально, по настоящему удочерить Феничку, приписав ее к своей семье, крестьянкою... Это было с их стороны, конечно, естественно и прекрасно, и не долгой и не сложной процедуры требовало: в крестьянском сословии усыновление всего легче. Но тут Виктория Павловна не выдержала. Ей стало страшно, что ее дочь останется, быть может, на всю жизнь в податном сословии. А главное, ей показалось, что с того момента, как Феничка получит чужое имя, все для нее, как матери, будет кончено, и она уже никогда никак не в состоянии будет получить свою дочь... А с другой стороны, она хорошо

понимала, что как-нибудь обзаконить Феничку необходимо и время. Для хорошего учебного заведения крестьянский подкидыш — фигурка почти невозможная. Еще примут ли в порядочную то гимназию? А, затем, кто же не знает, как отвратительно тяжело положение внебрачных детей в женских учебных заведениях, как дурно и презрительно смотрят на них и товарки, и педагоги, как ядовиты бывают насмешки и придирки, и как всем этим бессмысленным позором, терпимым ни за что, ни про что, рано отравляется детское сердце, ожесточается характер, и, таким образом, приходит к своей зрелости девушка, с детства разбитою, изломанною, быть может, уже неврастеничкою и никуда не годною для жизни... Уже и узаконенной-то Мирошниковыми, если суждена ей такая доля, придется Феничке не мало вытерпеть в учебном заведении за крестьянское свое происхождение: вон как сейчас Мещерские-то разные да Грингмуты бунтуют педагогическую среду против «кухаркиных детей»... Мирошников следил за полемикою против этого скверного похода по «Русским Ведомостям», возмущался

и, все, что читал, прикидывая к судьбе, ждущей Феничку, сокрушался и вздыхал, что не легко дастся ей наука... И впервые в жизни попрекал себя «за гордость», что не приписался в свое время к купечеству, — был бы теперь уже потомственным почетным гражданином, — стало быть, оставил бы Феничку хоть в личном-то почетном гражданстве... Воспользовавшись таким настроением Мирошниковых, Виктория Павловна стала внушать им, что, может быть, будет лучше, куда Феничку не отдавать в гимназию, где, вот, как дурно сейчас относятся к крестьянским детям, а просто поселить девочку при ней в городе, и пусть к ней ходит хороший учитель или учительница из той же гимназии, которые мало-по-малу приготовят ее или прямо к экзамену на домашнюю учительницу или в высшие классы. А, может быть, тем временем, в судьбе Фенички определится какая-нибудь перемена... Намек заставил старуху Мирошникову насторожиться, тем более, что он был уже не первый, и она, чуткая любящим сердцем, давно стала замечать, что вокруг вопроса об удочерении Фенички Виктория Пав-

ловна как-то зигзагами и извилинами ходит и — точно нарочно старается затянуть это дело в долгий ящик. Сперва старуха заподозрила было здесь наущение врага своего, Арины Федотовны, могущественное влияние которой на Викторию Павловну было ей, конечно, известно. Но, когда дело дошло до открытого объяснения, Виктория Павловна набралась достаточно смелости, чтобы объяснить старухе, что она в большом заблуждении, считая Феничку дочерью Арины Федотовны. А — что, если она, Виктория Павловна, действительно, сомневается, надобно ли Мирошниковым удочерить Феню, так это потому, что у Фени, ведь, в самом деле, могут найтись родители, которые не будут довольны тем, что дочь их записана крестьянкою...

— Присмотритесь к девочке, — говорила она, — ведь она вся, с головы до ног, барышня. В ней простонародного ничего не видно. Посмотрите на эти ручки маленькие, ножки нежные... Это — порода... это дитя барское, господское, дворянской крови... Ведь вы же сами с тем согласны и сколько раз говорили мне это самое... То, что вам Арина Федотовна

относительно племянницы своей рассказывала, — это она все выдумала: племянница ее в то время, как вам подкинута Феничка, была уже с полгода замужем, да и племянница ли она Арине Федотовне — право, не знаю... Ну, вот теперь и представьте вы себе такой случай, что — тогда родителям Фенички никак нельзя было в ней признаться, и пришлось ее вам подкинуть... Привезли вам ее из Петербурга: вы это знаете... Что подкинули в жалких тряпках, так это ничего не значит, нарочно было сделано, чтобы отвести глаза... И вот тогда эти родители... эта мать преступная не могла сознаться в том, что у нее дочь есть, а времена принесли улучшение обстоятельств и возможность исправить ошибку. Ну, и вдруг она явится, предъявит доказательства, и окажется, что Феничку надо переусыновлять, и выписывать ее из сословия крестьянского? А это... право, я даже не знаю, как это делается...

Чем больше она говорила, тем больше смущалась и робела, совсем на себя не похоже, — так что, наконец, изумленная ее растерянностью, старуха Мирошникова пытливо впи-

лась в ее виноватые глаза своими честными, никогда не лгавшими, глазами, — и у нее у самой-то с глаз, как пелена упала.

— Феня, значит, ваша дочь? — спросила она Викторцию Павловну в упор.

Викторция Павловна, как стояла перед нею, так, сама не зная, какою силою, словно швырнуло ее, упала перед нею на колени, охватила руками ее старые сухие ноги, уткнулась головою в подол ее и зарыдала, завывала на голос и на долго, как простые бабы воют по покойнику или в рекрутчину.

Как ни тяжело было признание, а, все-таки, после него стало как будто легче. Оно расчистило атмосферу замалчиваний и обманов, накопившуюся вокруг Викторции Павловны в отношениях с хорошими людьми, которых доверием и уважением она очень дорожила. Со своей стороны, Мирошниковы приняли сообщение гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Старуха Мирошникова была обрадована уже тем, что Феня оказалась не дочерью Арины Федотовны, как она раньше предполагала и, с совершенной откровенностью пред собою, ставила это Фене чуть ли не в един-

ственный недостаток ее природы и в опасное обещание на взрослые годы. Арину Федотовну, чем дальше шло время, тем больше старуха не любила, — просто таки ненавидела, слышать об ней больше не могла равнодушно. Большую и в то же время ненавязчивую, осторожную, всегда почтительную к приемным родителям, любовь Виктории Павловны к Феничке она знала и в ней не сомневалась.

Конечно, она не могла не предложить вопроса об отце. Но тут Виктория Павловна сурово нахмурилась, вся как-то сразу будто толстой кожей непроницаемо обшилась, и отвечала, что разговор об отце Фени для нее слишком, тяжел и подымать его, если тетушка (она всегда так звала старуху Мирошникову) позволит, она не хотела бы — по крайней мере, в настоящее время. Отца Фени, как человека, с которым у нее все связи порваны, и совершенно недостойного такой дочери, она не намерена и близко-то к дочери подпустить. Там счеты кончены, и ни она с Фенею ему, ни он ей и Фене не нужен, никогда не понадобится, никогда не войдет в их жизнь — так сложились все обстоятельства, и дело это погребено

решительно, твердо, бесповоротно. Не совсем-то поверила ей старуха, но, деликатная, как только в крестьянстве бывают настояще деликатны хорошие и честные люди, она остереглась назойливо распытывать Викторию Павловну насчет обстоятельств, при которых Феничка появилась на свет, предоставляя Виктории Павловне когда-нибудь, со временем, самой не утерпеть и обо всем подробно распространиться. Теперь же она пришла только к одному убеждению: если Феничка, в самом деле, оказывается, по матери, барышня, господская кровь, — да, вероятно, такова же и по отцу (втайне у старухи Мирошниковой зародилось уже подозрение на близкого в оны дни друга Виктории Павловны моряка Наровича) — то, конечно, выводить ее из дворянского сословия и окрестьянивать — дело не подходящее.

— Если бы мы со стариком были помоложе, — сказала она Виктории Павловне напрямик, — то я, барышня, с вами, пожалуй, на этот счет еще поспорила бы. Но старику моему вот уже под семьдесят, мне под шестьдесят, мы люди не долговечные. А Феничке все-

го десятый годок. Если бы я уверена была, что проживу еще лет десять, то я бы ее сумела и воспитать, и вырастить, и в жизнь ввести так, что лучше всякой дворянки. Слава Богу достатками мы не обижены, не хуже людей живем. Ну, а, если ей судьба вероятная остаться от нас раннею сиротою, то покидать ее в крестьянстве, конечно, не годится... Тут уж вступает ваша пора действовать: с вами ей жизнь-то жить, а не с нами. Значит, как ни как, а надо теперь вгонять ее обратно в ваше, стало быть, дворянское звание... Если мы со стариком не можем ее узаконить, так это должна быть ваша обязанность...

Виктория Павловна съездила в Петербург посоветоваться со знакомым адвокатом о «ребенке одной моей знакомой». Адвокат, с прощательно бесстрастными глазами, сказал ей, что, с наступлением тридцатилетнего возраста, «знакомая Виктории Павловны» может удочерить девочку — при условии, если она старше удочеряемой на восемнадцать лет — и тогда удочеряемая девочка получит имя и все сословные и имущественные права своей усыновительницы... «Знакомая Виктории

Павловны» — прибавил он, — может удочерить девочку и ранее тридцатилетнего возраста, но тогда необходимо заявить, что девочка эта — в самом деле — ее «натуральная дочь» и доказать это, то-есть указать суду отца или, если отец неизвестен, те роковые обстоятельства, в результате которых девочка появилась на свет...

Виктория Павловна нашла такой процесс грязным. Адвокат, усмехнувшись бескровным пепельным лицом, согласился с нею, что оно, действительно, слегка попахивает, но делать нечего: закон... *Dura lex, sed lex...* Статья 146... Закон 1891 года... Надо благодарить Бога и за то, прежде хуже было...

— Да вашей знакомой сколько лет?

Виктория Павловна подумала и, без большого удовольствия, ответила:

— Двадцать восемь.

— А девочке?

— Десятый...

— Здоровые?

— Совершенно никогда не болели.

— И мать, и дочь?

— И мать, и дочь.

— Тогда — куда же им торопиться? Пусть переждут два года, — и дело в шляпе... Единственное, о чем придется вашей знакомой просить в исключительном порядке — если она потомственная дворянка...

— Да, потомственная, довольно старинный род...

— Тогда обязана, но это уже после усыновления, — подать прошение на Высочайшее имя — о соизволении передать усыновленной свою фамилию. Формальность. Никогда не отказывают. У вашей знакомой родители живы?

— Давно умерли.

— Все от нее одной зависит. Формальность. Отказа никак нельзя ждать.

Радостная, что все так хорошо слагается, возвратилась Виктория Павловна в Правослуду и тотчас же, даже не заехав к себя домой, помчалась, прямо со станции, в Нахижное — обрадовать стариков хорошими вестями. Но, к величайшему ее ужасу, в Нахижном не нашлось кого обрадовать. Старуха Мирошниковна лежала пятый день в жесточайшем тифе и никого не узнавала, а старик, неотступно за

нею ходивший, имел такой вид, что уже сам в жару и заговаривается и — нет, нет, тоже сейчас свалится. Феничку взяла долгоносая учительница и держала у себя в школе. Виктория Павловна сделала единственное, что могла в таких обстоятельствах, — увезла ее к себе в усадьбу, оставив больных стариков на руки рабочих, привязанных к старым своим хозяевам пуще, чем родные дети, и учительницы, которая кстати немножко и фельдшерила. Каждый день навещала Виктория Павловна больных: тиф по Нахижному ходил, кося людей, как траву. На четвертые сутки старуха Мирошникова умерла, и старик даже не слышал, как ее хоронили, потому что лежал уже в беспамятстве. Могучая натура его, однако, сломила болезнь, и он выздоровел, хотя и захирел с тех пор. Одинокий и неумелый обращаться с детьми, он сам нашел, что девочке лучше остаться при Виктории Павловне.

— Только уж, — просил он, — теперь измените прежние планы-то, не торопитесь увозить ее в губернию. Если и приотстанет немножко от возраста своего знания, так это ничего, авось, потом нагонит, девочка шуст-

рая. А то мне теперь, вдовцу одинокому, без нее уж очень тяжело будет... А я без старухи все равно, долго не проживу... Год, другой, кое-как промыкаюсь на белом свете, а потом, поди, развяжу ей руки, тоже лягу под холстину...

Таким образом, Виктория Павловна фактически получила свою дочь. А старик не ошибся в своем пророчестве и пошел в могилу догонять свою старуху даже гораздо раньше, чем предполагал. Позднею осенью, возвращаясь от Виктории Павловны из Правослы, куда он каждую неделю по нескольку раз бывал — повидать свою приемную дочь, он, переезжая Осну, попал в зажору, вымок, обмерз и горячка, ворвавшись в ослабевший после тифа организм по старому следу, скрутила и сломала его в трое суток.

Похоронив старика, горько оплаканного не только в доме своем, но и во всей округе, Виктория Павловна, вместе с девочкою, переехала в город, оставив Арину Федотовну полномочно властвовать в Правосле. Старик Мирошников оставил завещание в пользу Фенички, при чем капитал его оказался, хотя

менее крупным, чем предполагали, но все-таки значительным. Викторию Павловну старик просил быть попечительницею Фенички и, в награду за любовь к Феничке, как и было оговорено в завещании, оставил ей свою усадьбу в Нахижном. Это значительно поправило дела Виктории Павловны. Усадьбу она, конечно, сейчас же заложила, расплатилась со многими из своих кредиторов, и в истории Правослы настал мертвый период. С отъездом Виктории Павловны с Феничкою в город, Арина Федотовна, без малейшей печали от разлуки с давно насиженным местом, переехала из Правосленских развалин в прекрасный и благоустроенный нахиженский дом стариков Мирошниковых и закомандовала там. То-то неожиданное вторжение это должно было перевернуть в гробу кости старухи Мирошниковой! Что же касается опустевшей и дряхлеющей Правослы, то смотреть за нею оставлен был Иван Афанасьевич. Он, в ознаменование своего нового управительского положения, не замедлил приблизить к себе богатырку-стряпку Анисью, — и это, кажется, был его единственный самосто-

ательный акт за все годы, с тех пор протекшие... Да еще, когда, наконец, умерла безногая тетка Виктории Павловны, он, из черной баньки, в которой обитал раньше, перебрался в ее опустелый флигелек, где и застало его начало этого рассказа...

Любви и страстности в отношениях Виктории Павловны к Феничке было много, но воспитательницею она оказалась никуда не годною, нетерпеливою и без твердой линии в поведении: то являлась слабою потатчицею и потворщицею, где надо остановить, то бестолково вмешивалась туда, где девочке, наоборот, надо было бы предоставить полную свободу. Арина Федотовна, наезжая из Нахижного, только диву давалась на то, как Виктория Павловна не умеет управляться с дочерью.

— Я тебе истинно говорю: ты так и девку погубишь, и кончишь тем, что сама любить ее не будешь... — каркала дурною пророчицею Арина Федотовна.

И не одна она. В Рюрикове Виктория Павловна повстречала старую свою приятельницу еще по московской гимназии, некоторую Анну Владимировну Балабоневскую, годами

пятью старше самой Виктории Павловны, старую деву, очень добрую и очень печальную. Девушка эта в жизни своей перенесла большое потрясение. Почти на глазах ее, была зарезана, ее мать, Нимфодора Артемьевна Балабоневская, богатая и немолодая уже женщина, сумасшедшим любовником своим, Антоном Валериановичем Арсеньевым, блестящим московским баричем, к которому, вдобавок, и эта вот самая Аня, тогда шестнадцати или семнадцатилетняя, была втайне, более, чем равнодушна... [См. "Восьмидесятники"] Ужасное зрелище это подействовало на нее так, будто сразу исчерпало всю ее жизнь, и она едва ли в то время сама немножко не тронулась в уме. По крайней мере, так полагали те, кто знал величайшую странность ее жизни: боготворящий культ, обращенный ею на память матери, особы, в действительности, вряд ли достойной такого глубокого уважения, тем более со стороны такой безупречно чистой и добродетельной девушки, — и, в особенности, что было уже совсем дико и ни на что не похоже, на память ее убийцы, Антона Арсеньева. Она и с Викторией Павловной-то

теперь встретила, после многих лет разлуки без вестей и переписки, именно по силе этого болезненного культа. Кто-то ей сказал, что видел великолепный портрет Антона Арсеньева у Анимаиды Васильевны Чернь-Озеровой, с которою Аня Балабоневская была лично не знакома. [См. "Дрогнувшая ночь"] Но, так как Виктория Павловна слыла приятельницею Анимаиды Васильевны, то Балабоневская, услышав, что она в Рюрикове, явилась просить ее написать Анимаиде Васильевне, чтобы та позволила сделать переснимок с драгоценной своей реликвии. И, вот, так возобновились отношения, воскресла старая дружба. Оказалось, что младшая сестра Ани, Зоя Владимировна Турчанинова, замужем в городе Рюрикове за одним педагогом весьма передовых убеждений, держит пансион, в котором преподавание ведется на новых началах, и по городу идет дружный гул как о прекрасных успехах в науках, так, в особенности, о воспитании помещенных в него детей. Аня Балабоневская была также причастна к пансиону сестры — занималась на младшем отделении. Дети ее обожали. Если бы девушка

эта не дала себе слово никогда не выйти замуж, то из нее вышла бы изумительная мать. В совершенную противоположность Виктории Павловне, она как-то чувствовала ребенка, даже когда он не то, что не говорил, а и не смотрел на нее. Брала каким-то особенным инстинктом к ребенку. Всегда знала, что ему надо, что его обрадует, что его опечалить. В Феничкины праздники, Виктория Павловна была мученица: хотелось, а воображение отказывало — придумать девочке в подарок что-нибудь такое, что выделило бы ее дар из остальных приношений, сыпавшихся, конечно, на хорошенького ребенка от друзей и поклонников Виктории Павловны богатым дождем. А явится Аня Балабоневская — принесет какую-нибудь глиняную свистульку, за пятак купленную на улице, — и, вдруг, вот, оказывается, что именно этой-то свистульки Феничка и желала, и ее-то не доставало для полного ее детского благополучия, и никто другой, как Аня Балабоневская, не умел этого понять и отгадать, и Феничка визжит от радости и дует в свистульку целый вечер, покуда у всех уши не заболят... Приглядевшись к бы-

ту Виктории Павловны, Аня Балабоневская сделала тот же вывод, как и Арина Федотовна, и очень серьезно и дружески посоветовала приятельнице, покуда, отказаться от воспитания дочери, потому что — ты этого не умеешь; ты еще слишком жива сама и жить тебе хочется, ты нетерпеливая, нервная, страстная, и ребенка только испортишь... Виктория Павловна нисколько не обижалась на эти речи, хотя они были ей больны, — не обижалась потому, что она тоже, как Арина Федотовна хвалилась, была человек справедливый и, сознавая сама правду, уже не боялась ее в устах других...

— Но — говорила она, — что же я буду делать? Ты знаешь, что Феня подкидыш, ребенок без рода, без племени, скрыть этого в учебном заведении невозможно, а обратит это ее школьную жизнь в такой ад, что, просто, я и не знаю, как девочка это выживет?.. Она у меня самолюбивая, страстная, гордая, унижения не выносит, власть любит... При первом же столкновении, когда ей захотят показать, что она чем-то хуже других и нечто вроде парии в среде законнорожденных, это

будет такая громадная детская драма, в которой может разбиться, как драгоценная чаша, вся ее жизнь...

Аня Балабоневская, которой девочка чрезвычайно нравилась, обдумав этот вопрос и обсудив его с сестрою, предложила Виктории Павловне поместить Феню в их пансион. Здесь — она ручается — секрет ее будет соблюден строго до того времени, когда Виктория Павловна, как намеревается, найдет возможным девочку усыновить и, значит, те опасения, которых Виктория Павловна теперь трепещет, тогда отпадут. Журналов у нас нет, отметки не ставятся, мы усиленно настаиваем на том, чтобы девочки — особенно младшего отделения — дружили между собою без всякой официальнойности, все зовут друг друга полуименами, значит, до фамилии и происхождения Фени никому не может быть дела — по крайней мере, покуда она маленькая... Посоветовавшись с непреложным оракулом своим, Ариною Федотовною, — эта сказала, что, уж если необходимо вообще так много возиться с девчонкою, то предложение — лучше чего и не надо, — Виктория Павловна ре-

шилась последовать совету Ани Балабоневской. Феничка была определена в пансион по бумагам и с крестною фамилией Ивановой и пробыла там довольно долгое время...

Кроме прямых причин отдать Феню в пансион, бывших предметом обсуждения между этими женщинами, была еще одна, тайная. Связь Виктории Павловны с Ванечкою, которая началась летом в Правосле и так странно заполнила знойные июльские ночи, в одну из которых смелых любовников чуть не поймал освирепелый от ревнивой влюбленности Бурун, поддерживалась потом приездами Ванечки в Правослу, если они совпадали со «зверинками» Виктории Павловны. А с переездом последней в город, превратилась в довольно постоянное, даже не особенно таинственное сожитительство, которое Виктория Павловна, конечно, избегала афишировать, но и прилагала очень мало стараний, чтобы его скрывать. Ванечка поселился на дальней окраине города, в меблированных комнатах тихой и мирной репутации. Там же Арина Федотовна поселила некую почтенную старицу, свою родственницу, особу хилую и недугую-

щую. Виктория Павловна посещала ее по вечерам несколько раз в неделю. А по воскресеньям Ванечка у нее обязательно обедал и, потом, она нисколько не стеснялась брать его с собою в театр, концерт или на какое-нибудь гулянье... И, если кто-нибудь из друзей, не знавший Ванечки, любопытствовал:

— Кто сей?

Она, с невозмутимо дерзкою флегмою, отвечала:

— Предположите, что мой жених...

— Ну, вот!.. — улыбался друг.

— Ну, любовник...

И друг хохотал, восклицая:

— Что говорит! И как у вас язычок повертывается? Ах, проказница!..

Прислуга Виктории Павловны, да и все в доме, где она квартировала, были убеждены, что Ванечка — действительно, ее любовник, но, странным делом, никто еще из близких к ней мужчин не возбуждал так мало сплетен и разговоров, как этот. Рюриковская публика, очевидно, находила, что — дело житейское: коль скоро Виктория Павловна потеряла, по видимому, надежду выйти замуж, то, как де-

вица не совсем молодая, но и не старая, имеет она право найти себе амурное развлечение, в какой ей угодно форме, лишь бы это не производило общественного скандала. А обывательские жены, — каждая в отдельности, — еще рассуждали про себя — Ну, и слава Богу, что у этой чертовки наконец завелся какой-то там Ванечка... по крайней мере, не мой муж!..

При всей грубой упрощенности этого романа, отношения между его героем и героиней были искренни и не худы. Ванечка был весьма влюблен в свою благоговейно обожаемую повелительницу и горд ее благосклонностью настолько, что вряд ли променял бы свое счастье на царство индийское со всеми богатствами его. А повелительница относилась к нему, хотя несколько не влюбленно, но гораздо более по-человечески и дружески, чем к кому-либо ранее в своих «зверинках». Никогда еще в ее жизни отношения этого рода не принимали такой формы: спокойной, затяжной, хронической, упорядоченной, чуть не супружеской — только что под спудом. Частые любовные встречи сделались сперва привычкою, потом постоянною потребностью, и бы-

ло досадно, что они редки, случайны, зависят от чужих людей, попустительство которых надо покупать или выпрашивать. Когда Феничка поступила в пансион, Виктория Павловна объявила, что квартира, ею занимаемая, для нее теперь велика, и она намерена сдавать две комнаты жильцам. Но жильцом одной оказался, конечно, Ванечка, а другая комната никогда не была сдана. Кое-кого из друзей Виктории Павловны это шокировало, кое-кто к ней за это охладел, но скандала и на этот раз не вышло. Находили — и справедливо, что Виктория Павловна имеет и нравственное и, юридическое право сдавать лишние комнаты своей квартиры, кому она пожелает; что, сдав комнату не первому встречному с улицы, а хорошо знакомому молодому человеку, она поступила благоразумно и осторожно; что Ванечку в городе знают за юношу деловитого, скромного, порядочного, знающего свое место, и дурного сказать о нем никто ничего не может; что если подобные подозрения начнут отнимать у одиноких женщин возможность сдавать комнаты молодым людям, то, этак, и последним жить негде, кроме

каких-нибудь мебелирашек, и множеству женщин, которые только сдачею комнат и живут, придется положить зубы на полку... А — сверх того — проводилась мысль, что кому какое дело, если кума с кумом сидела? Дела, действительно, никому не было. Единственный человек, который имел способность смущать Викторию Павловну страхом своего осуждения, главный и старейший друг Виктории Павловны, весьма щекотливый в требованиях нравственности и женственности, князь Белосвинский второй года жил за границей и толков рюриковских не знал, а, если бы и знал, то не стал бы слушать. Уездные друзья ее только отмахивались от доходивших к ним слухов:

— Наизусть знаем все бабьи сплетни о Виктории Павловне... Не хотите ли еще сами прибавим — расскажем, что о ней у нас наши барыни врут?

Бурун тоже метался где-то за границею, но раза два в год обрушивался на Викторию Павловну толстейшими письмами. В них — увы! — старая любовь не ржавела, или, по крайней мере, не погасало чувство оскорб-

ленной ревности, готовой пройти сквозь какое угодно унижение, чтобы только удовлетворить дешевое самолюбие «интересного мужчины» хоть внешнею и формальною победою над женщиною, которая его оттолкнула и продолжает отталкивать... Виктория Павловна не любила этих писем. Чувство ее к Буруну давно погасло, но они волновали ее оскорбительною досадою, точно вот — была в лесу ее жизни какая-то славная, симпатичная, красивая лужайка, а теперь — что ни придет она взглянуть, — вместо цветов — кучи навоза, вместо бабочек — грязные жуки, соловья сова съела и с чахлых, облетевших берез каркают угрюмые черные вороны... Она умышленно не отвечала Буруну — ни разу. Но он чутьем оскорбленного самолюбия чувствовал, что она читает и принимает близко к сердцу. И писал со злорадством, как человек темперамента, и охочий оскорбить, и умеющий оскорблять... А то вдруг раскается, расхнычется, и плачет, плачет, плачет чернилами... А между строк — сладострастие, ревность и закусившая губы злость... Этих писем Виктория Павловна, в особенности, не люби-

ла.

Ванечка, в глубине души, по всей вероятности, рассчитывал, что рано или поздно, как скоро привычка к совместному сожителю обратится в необходимость, Виктория Павловна, входящая уже в лета, когда пора бы остепениться и успокоиться — в конце концов, осчастливить его своею рукою и из тайного любовника сделает явным мужем. Он этого и боялся, как заветного клада, сверкающего волшебным огнем, о которой схватись — обожжешься, и пламенно желал... Молчал и желал. А мать его, видя, что роман все тянется, та — просто боялась:

— Ты смотри, не отличишь, — предостерегала она Викторю Павловну. — А то, сколько мне ни лестно звать тебя невесткою, а только я скорее Ваньку на деревенской девке женю, а тебя за Ивана Афанасьевича выдам, чем соглашусь, чтобы ты этак себя унизила — выскочила, как какая-нибудь стареющая влюбленная дура, за мальчишку, моложе тебя на десять лет...

Виктория Павловна могла с совершенным чистосердечием отвечать, что уж вот о чем

она никогда не думала и чего быть никак не может. Большая — действительно, крепко и сильно выросшая — привязанность ее к Ванечке, помимо чувственных отношений, когда бушевала «зверинка», в остальное время носила характер, с ее стороны, покровительственной дружбы, в которой, пожалуй, было что-то даже как бы материнское. Именно еще молодые и добрые матери с полувзрослыми послушными сыновьями умеют быть в таких хороших, искренних, все, что можно, близко знающих и доброжелательных, товарищеских отношениях. Надо отдать справедливость Ванечке: такого хорошего чувства и внимательного участия он заслуживал. Виктория Павловна прислушивалась к молодому человеку, присматривалась и все больше и больше увлекалась его комическим талантом. И, вот, свершилось: Ванечка впервые в жизни явился на сцене и сыграл в местном художественном кружке, полулюбительском, полуклассическом, Бальзамина в комедии Островского «Старый друг лучше новых двух». Держался он на сцене, словно на ней родился, был естествен, умен, тонок, — вся актерская

суть его природы так сразу и развернулась и наполнила собою театр. Серьезен он был, точно каждою фразою какое-то откровение читал, а публика в зале каталась от смеху, билась лбами о передние стулья. Жребий был еще не брошен, но уже сам сунулся в руки. Когда, на другой день после спектакля, Ванечка пришел к Виктории Павловне, она без слов, по одним глазам его, увидала, что нотариусу своему он больше не слуга: «потребовал поэта к священной жертве Аполлон». Ванечка выступал еще в двух-трех спектаклях местных художественных обществ и о нем заговорили в Рюрикове. Шиллероподобный нотариус, гордый, что у него в конторе объявился такой даровитый человек, хоть и жаль ему было расстаться с деловым помощником, сам предложил денег, чтобы Ванечка ехал в Москву и поступил либо в драматическое училище, либо на курсы к художественникам. Ванечка деньги принял, очень пылко и серьезно поблагодарил и, действительно, уехал в Москву, но не один, а в сопровождении Виктории Павловны. Она хотела сама ввести Ванечку в артистический мирок и наметить для него путь

старыми своими знакомствами и связями. Вот эта поездка, действительно, нанесла Виктории Павловне удар сильный и оправдала правило, что «свет не карает заблуждений, но тайны требует от них»... Шиллероподобный нотариус выдрал последние волосы с своей розовой лысины, а в городе хохотали над ним, что вот, мол, добрый человек, — оплатил прогоны!.. Но, с другой стороны, Ванечка был теперь ведь не просто Ванечка, а нагремевший уже в губернском городе, кичившемся своею театральностью, талант... Увлечение талантом — кому оно не прощалось, не прощается и не будет прощаться?.. Какой талантливый актер не имел своих психопаток? Вот — и у Ванечки Молочницына они уже появляются. А — что первую оказалась Виктория Павловна Бурмылова, так это уж, во-первых, комикам всегда счастье такое, что они глотают лучшие куски, а во-вторых, доказывает, что знаменитая губернская Калипсо, Цирцея и как бишь их еще-то, очаровательниц? — стареет и впадает в тот Бальзаковский возраст, когда опытные в любви женщины приобретают как бы специальный вкус и

аппетит к мальчишкам...

Между тем, как Рюриков издевался и хохотал, Виктория Павловна с Ванечкою в Москве ходили на экзамены, испытания и пробы в разные театральные педагогии, которыми так богата Белокаменная. Результат этих экзаменов был, покуда, только тот, что по целым вечерам потом Виктория Павловна умирала со смеху в номере своем, созерцая, как перед нею — в лице Ванечки — разглаживает бакенбарды важный и тихий Владимир Немирович, как трясет седым хохлом и приглядывается французскими глазами Станиславский, как склоняет голову бочком, точно хочет боднуть, и, сверкая, расширяет голубые глаза Ленский, как хитрою немецкою лисою, прищуренный, с лицом маскою, задает неискренние вопросы Правдин. Затем Ванечка начал куда-то пропадать, все будто Москву осматривает. А, в один прекрасный день, явился с лицом сконфуженным, загадочным, имея в руках жокейский хлыст, и, недолго таясь, сказал:

— Виктория Павловна, вот, плеточка...

— Что? Зачем? — изумилась Виктория Пав-

ЛОВНА.

— Да... бить меня стоит, так я уж сам плетку купил...

Оказалось, что все эти дни Ванечка сидел по театральным трактирам в обществе провинциальных актеров, завел между ними друзей и — вот, сегодня он подписал контракт в один из южных губернских городов, в опереточную труппу, на роли первого простака. Виктория Павловна пришла было в ужас, потому что никак не ожидала, чтобы ее любимец устремился, вместо комедии, на грешные опереточные подмостки. Однако, имя антрепренера и довольно крупный оклад, на который он брал начинающего Ванечку, ее несколько успокоили. А, когда она лично увидалась с антрепренером этим, то он ей показался человеком и порядочным, и понимающим, что, в лице Ванечки, он приобрел настоящее дарование. О том же свидетельствовала весьма крупная неустойка, проставленная в контракте, и теперь, по силе ее, делать нечего, — хочешь не хочешь, а служить надо, потому что неустойку платить нечем. Плеткою бит Ванечка, конечно, не был, но отчитала

его Виктория Павловна жестоко, что, впрочем, было равносильно нотации повара коту, притаившемуся за укусным бочонком. Снявши голову, по волосам не плачут!

И вот таким-то образом исчез с лица земли Ванечка Молочницын, а родился новый опереточный простак Викторин. Любезный антрепренер, конечно, сразу угадал опытным театральным глазом существующие между Викторией Павловной и Ванечкой отношения. Тонкий ценитель красоты, он и самое-то Викторию Павловну уговаривал вступить в труппу, льстя ей обещаниями успеха, который должно иметь уже одно появление ее на сцену: — с такою-то царственною наружностью! Да вы, как только покажетесь, заполоните театр...

На это Виктория Павловна отвечала:

— А вы слышали, что служила у вас в городе актриса Июньская?

— Помилуйте! — воскликнул антрепренер. — как же не знать... Это при моем предшественнике... До сих пор о красоте ее легенды ходят... Но какое же может быть сравнение? Ведь она же, говорят, была совершенная

тупица, бездарность, не умела ни ступить, ни слова сказать...

— Совершенно верно, — подтвердила Виктория Павловна. — Это я могу вам засвидетельствовать лучше, чем кто либо, потому что Июньская — это я...

Ванечка доставил ей в этот вечер много удовольствия, изображая лицо антрепренера в момент ее ответа...

Ванечка упрямил, укланял, умолил Викторю Павловну поехать с ним в город его первого театра, присутствовать при его первом дебюте на настоящей сцене и принести счастье первым его шагам. Виктория Павловна, подумав, согласилась, — ей самой было очень интересно. Ванечка должен был дебютировать в «Птичках певчих» ролью полицеймейстера, но, вместо того, совсем неожиданно принужден был заменить внезапно запившего комика, любимца публики, который должен был исполнять роль губернатора. Для такого отчаянного первого шага надо было или совершенным наглецом быть, или сознательно чувствовать себя вдохновенным талантом. В труппе, конечно, говорили, первое, а публи-

ка, пред которою Ванечка появился, признала второе. На завтра после спектакля антрепренер явился с предложением переписать контракт с прибавкою и бенефисом вместо полубенефиса, потому что о запившем комике, во время вчерашнего спектакля, никто уже в театре не вспоминал...

Виктория Павловна следила за успехами Ванечки— баснословными, все растущими не по дням, а по часам, сделавшими его в одну неделю самым модным человеком в городе — с смешанным чувством радости и грусти.

— И приятно, матерински счастлива им я, — писала она госпоже Лабеус — что не ошиблась и, в некотором роде, вывела такой большой талант в своем правосленском инкубаторе... Но, в то же время, переживаю ежедневно ощущения курицы, высидевшей утенка... Только не мечусь от недоумения и страха, а фатально жду, когда птенец мой оттолкнется от твердой земли, на которой я его соблюдаю, и поплывет по озеру, оставив меня напрасно кудахтать, вслед ему, на пустынном берегу...

Однако, предчувствие не торопилось

оправдаться. Сезон шел уже к концу. Виктория Павловна продолжала жить в городе, не только в одной гостинице с Ванечкою, но даже в смежных и сообщенных номерах, открыто — на положении его подруги. И покуда, по чистой совести, не могла пожаловаться, чтобы положение это, так легко и просто принимаемое в театральном мире, было отравлено какими-либо неприятностями, зависящими от ее друга... Конечно, молодого любимца публики крутили разные городские кутящие компании поклонников, но Ванечка оказался породю в железную мамашу свою, Арину Федотовну, — с логическим характером и крепким самообладанием. Виктория Павловна, по первому же разу, когда увидела его в такой обстановке, с удовольствием признала, что он не из «пьяных гениев», столь обильных на русской сцене, — нет, этот паренек и с публикой поладит, и спойть себя не позволит. Другой соблазн — женский — конечно, пылал вокруг новой знаменитости еще более жгучим пожаром. Ухаживали за Ванечкою семнадцатилетние дерзкие девчонки-пажи; ухаживали кокетки-хористки и красавицы певички

на выходах, приезжавшие в театр на собственных рысаках, в тысячных шубах, каких не было и у примадонн, сверкавшие бриллиантами, щеголявшие в туалетах прямо из Парижа от Пакета; ухаживали толстые, обсыпанные пудрою примадонны с хриплыми голосами и стереотипными улыбками, первое появление которых, кажется, еще Наполеон приветствовал, когда проходил эти края во главе двенадцати языков; ухаживали дамы из публики— блудливые администраторши, великолепные коммерсантки, и чуть не семидесятилетняя местная княгиня, из восточных человечец, в драгоценных камнях тысяч на сто, как икона, пресловутая покровительница опереточных талантов, с мертвыми глазами и синими даже сквозь губную помаду губами, которая хвалилась могильным голосом, что она еще—«Сашку Давыдова в ход пустила»... Виктория Павловна была не ревнивой породы, и женская мотыльковая толкотня вокруг светоча таланта не давала ей горьких минут, хотя она очень хорошо сознавала и была совершенно уверена, что, вот, именно тут-то и обозначится теперь озеро, пруд или лужа, по

которым уплывет от нее высиженный ею утенок, оставив ее кудахтать на берегу...

И все вышло — как по расписанию, и так обыкновенно, буднично, по всегдашнему, что даже и пошлым жаль назвать, потому что какая уж, казалось бы, пошлость в фатуме? А, между тем, зачастую — нет ничего пошлее именно фатума, и вот теперь выпал именно такой случай... Миллион первая копия подобных же... из века в век, из края в край!

В один плачевный вечер, когда Ванечка ушел уже в театр гримироваться к спектаклю, а Виктория Павловна собиралась, чтобы только пойти в театр, посмотреть Ванечку в новой роли Жупана в «Цыганском Бароне», — привлек ее внимание маленький белый квадратик на полу в комнате, где молодой артист только что переодевался... Подняла: письмо... А в письме:

Милый Ванванвансюрсюрушинка

Преходи послі спектаклю куды вчера как-скора тебе тва гувернанка отпустит иначе тебе и ей вицарапу глаза старушкам ночью полезна спат а нам молдим за бавляца цилую тебе семсот шестдсат чтыри раза и жду бес-

перменно душонка моиво

Тва любяча Грузя.

Прочла Виктория Павловна, перечла... улыбнулась... Взглянула в зеркало: вот как? уже в гувернантки и старушки попала? Не рано ли? Ах, вы! молодые!..

Грузю эту она хорошо заметила, как она вертелась вокруг Ванечки на генеральной репетиции «Прекрасной Елены»... Бойкая, тощая девчонка, длинная, гибкая, в каких-то курьезных золотисто-пепельных вихрах и завитушках, зеленолицая, острозубая и с глазами светлыми, как олово, — каждому смотрят прямо в лицо с бессознательно-наглым выражением бессмысленного смеха, о котором — никак не разберешь, что это — безумие или бесстыдство... Без голоса и слуха; «поет» третью роль — Парфенис, но комическая старуха шептала вчера, что режиссер от этой девчонки без ума и ей дадут роль Ореста... То-то будет безобразничать в мужском костюме!.. по-видимому, совершеннейшая и типическая закулисная дрянь, но ей восемнадцать лет, у нее тело — как стальная пружина, а, намедни, на репетиции она, при всех, сгибалась и разгиба-

лась в платье, стоя, так, что ее золотые вихры падали то на носки ее ботинок, то покрывали пятки...

Шел третий акта «Цыганского Барона»...

*Но раз
В экстаз
Привел испанку я,
Обняв
Меня,
Шептала: я твоя!
На ней брильянт сиял,
Его я быстро снял,
И, как залог любви, себе я взял...*

пел Ванечка, едва пробиваясь голосом сквозь гул качавшегося в зале смеха...

Но когда артист Викторин, после чуть не пятого bis'a, оглушенный аплодисментами и ревом восторженной толпы, запыхавшийся, потный, с плывущим по лицу гримом, вошел в свою уборную, — он увидал: на столике перед зеркалом лежала телеграмма. Он взял ее еще дрожащею от сценического возбуждения рукою, небрежно распечатал, рассеянно пробежал глазами... и обомлел. Телеграмма была с первой контрольной станции — верстах в

50 от города — а стояло в ней:

Милый Ванвансюрсюрушинька!

Передай Грузе, что я тебя отпустила. Прощай, мой мальчик!

Гувернантка.

VIII.

Дорога Виктории Павловне лежала на Москву. Она воспользовалась этою попутностью для того, чтобы посетить Анимаиду Васильевну Чернь-Озерову, которую не видала уже несколько лет, да и почти прервала с нею всякие сношения, — не по ссоре какой-либо, а просто потому, что у обеих как-то уж очень густо слоилась личная текущая жизнь и каждой, углубленной в свое, стало не до другой. Но Анимаиды Васильевны Виктория Павловна в городе не застала, да и с прежней квартиры она съехала, на которой прожила чуть не двадцать лет. Швейцар дал Виктории Павловне адрес, удививший ее своею отдаленностью от центра. Хотела расспросить швейцара, давно ли совершился этот странный переезд, но швейцар оказался тоже совсем новым человеком, от которого нельзя было получить никаких подробностей о старых жильцах, кроме

лоскутка с адресом. Поехала Виктория Павловна к Екатерининскому институту, на Божедомку, и там, в Переулке, в особнячке, правда, очень уютном, но будто погребенном между двумя, занесенными снегом, садами, нашла новую квартиру Анимаиды Васильевны. Ее самой не было в городе, — только что уехала за-границу проведать старшую дочь. Викторию Павловну приняла младшая дочь, Зина, строгая, удивительно похожая на мать, девушка, уже по девятнадцатому году, с классическим профилем, прозрачным и нежным, будто из севрского фарфора, — «вся в само-узде», как похваливала ее мать: замороженная, глядящая прямо в глаза, говорящая очень мало, будто слова у нее на вес, без жестов, точно бережет энергию движений, почитая ее драгоценною на вес золота, тонкогубая и, должно быть, не очень добрая. Она сообщила Виктории Павловне, которой, заметно, обрадовалась, по-своему, как только могла и умела, что у них в последнее время сложились очень тяжелые обстоятельства. Василий Александрович Истуканов, уже с год тому назад, в припадке умопомешательства, покончил с со-

бою самоубийством. Дела его оказались расстроенными. Правда, он не оставил никаких долгов, но и средств тоже оставил немного. Вот почему Анимаиде Васильевне пришлось сильно изменить свой прежний образ жизни, сократить и создать себе это уединенное «логовище», рассчитанное уже не на блеск жизни, а только на комфорт «дожития». О матери Зина сказала коротко и с большим уважением, что она «все такая же». И показанная ею Виктории Павловне последняя фотографическая карточка Анимаиды Васильевны оправдала этот приговор. Виктория Павловна нашла только, что Чернь-Озерова пополнила, и это не шло к ней, так как грубило ее изящные черты. Да щеки отделились от носа новою чертою, которая придавала лицу хмурое и как бы даже несколько трагическое выражение философской иронии— отпечаток возраста, скептически оглядывающегося на прожитую жизнь, безрадостного в настоящем, пессимистически прозорливого в будущее. Дина, по-прежнему, живет в Париже, совершенно офранцузилась, в Россию не собирается, уже третий год замужем за французом-художником.

ком, не без имени. Кажется, покуда, живут довольно ладно, есть ребенок, собирается произвести второго, потому мама и уехала к ней, хотя средства не весьма поощряли... Все это Зина докладывала, как урок. Виктория Павловна чувствовала, что она бесконечно много умалчивает и взвешивает каждое слово, чтобы не обмолвиться лишним. В доме пахло недавнею драмою, но Зина избегала о ней говорить. А спрашивать Виктория Павловна не решалась, потому что в застылых глазах Зины прозрачно читала, что оно было бы и бесполезно: девушка не из тех, которые позволяют себя спрашивать. О самой себе Зина сообщила только, что она думает переселиться в скором времени в Германию, так как решила сосредоточиться на изучении естественных наук, а в Москве — женщине негде работать на этом поприще. Да и, вообще, учебная жизнь в России стала так неверна и необеспечена, что нельзя надеяться на цельность курсов. Все отравлено политикою, — и справа, и слева. Зина не винит, она понимает. Оставаясь в России, конечно, нельзя не участвовать в политике. Творятся такие безобраз-

ные дела, что скоро камни — и те возопиют. Но Зина в себе политического инстинкта не чувствует, заниматься ей надо неотрывно и серьезно, большие московские ученые видят в ней кое-какие задатки для того и обещают ей хорошую дорогу...

Виктория Павловна уехала от Чернь-Озеровых, после разговора с этою девушкою, словно в холодном погребке посидела, однако, вспоминая ее не без приятности и с чувством уважения: сказывалась в этом спокойном, сдержанном и замкнутом существе какая-то новая и большая сила, самосознательная, самоуверенная, благоустроенная и действующая без словоизвития и красноречия...

— У нее, счастливицы, как будто совсем пола нет, — думала про себя Виктория Павловна, вспоминая ясные глаза Зины, такие же хрустальные, как были у матери, но словно еще каким-то новым составом промытые и прочищенные, так что уже совершенно исчезло из них то русалочье выражение, на которое Анимаида Васильевна, все-таки, бывала иногда еще очень и очень способна.

Возвратившись от Чернь-Озеровых в го-

стиницу, Виктория Павловна нашла у себя телеграмму от Евгении Александровны Лабеус. «Сумасшедшая Женька», в отчаянных выражениях, приглашала ее к себе в один из крупных губернских городов юга... По тону телеграммы, Виктория Павловна сразу поняла, что неутомная дама потерпела какое-нибудь жесточайшее крушение с новым очередным Лоэнгрином и барахтается на дне одного из тех безобразных дебошей, которые у нее всегда за подобными катастрофами следовали... Виктория Павловна подумала и решила исполнить просьбу подруги. Спешить в Рюриков ей сейчас очень не хотелось, так как она знала, что уже совместный отъезд ее с Ванечкою сделал ее в городе предметом насмешек и пересудов. А сейчас — поди — уже дошла весть и об ее разрыве с «восходящим светилом», и, значит, она будет встречена бесконечным числом злорадных улыбок: вот, мол, и ты, гордячка, дожила до поры крушений, когда тебе стали давать отставки... Тянуло поглядеть Феничку, но, в последнее время, письма о ней, приходившие от Ани Балабоневской, производили на Викторию Павловну та-

кое впечатление, будто, именно ради Фенички, ее в Рюрикове не очень-то желают. Не то, что бы в письмах этих чуялась какая-нибудь недоговоренность, — напротив, скорее они страдали переговоренностью: точно Аня Балабоневская преднамеренно спешила доложить Виктории Павловне о Феничке решительно все, до ничтожнейших мелочей, так подробно, чтобы уже больше и узнавать нечего было, а, следовательно, не надо и приезжать лично... Отсюда Виктория Павловна заключила, что ее положение в родных местах сделалось очень щекотливым и что, в самом деле, пришло к ней время каких-то тяжелых расплат за то презрение к общественному мнению и говору, которым она отличалась в течение всей своей жизни... Подумав несколько, она решила переждать неудачную полосу... Телеграфировала Евгении Александровне, что выезжает к ней немедленно, — и, действительно, выехала... Но, когда человеку не везет, то уж не везет... Накануне отъезда, Виктория Павловна встретила со старинным и отвергнутым влюбленным своим, художником Буруном, выставлявшим у пере-

движников новую свою картину. Он не замедлил прийти к ней и разыграл страшную сцену с трагическими объяснениями, расстроил Викторию Павловну совершенно, и ей пришлось вторично — почти что выгнать его от себя вон... А когда он ушел, то Виктория Павловна, чуть ли не впервые в жизни, испытала нечто вроде истерического припадка: и в слезах, и в смехе недоумевала, что представляет для нее этот человек, — не то он лютейший враг ее, не то безнадежно и на всю жизнь влюбленный и покоренный раб, а всего вернее, — то и другое вместе...

— Что же? — злобно и насмешливо над самою собою думала она, — во всяком случае, застрахована: этот и в старости к ногам моим приползет — если уже не по любви тогда, то хоть со злости, что вот, в конце концов, ты таки от меня не ушла... Ну, что же, говорят, иногда — на последний конец — и то счастье... Пока еще живем, морщин на лице и седых волос нету... А там, о, мой возлюбленный Финн, так и быть, бери свою Наину, береги покой старых лет ее, и будем вместе спорить целыми днями, кому больнее от подагры или рев-

матизма...

Евгению Александровну она нашла в весьма жалком состоянии и сильно пьющею... Лонгрин, оставивший ее на этот раз, распорядился с нею уж как-то особенно подло, потому что в сообщницы взял компаньонку Евгении Александровны, девушку, которую она держала при себе неотлучно лет пять, относясь к ней с большою страстностью, не хуже, чем к родной дочери, и считала эту юную особу чуть ли не единственным существом, близ себя, ее искренно любящим. Дело разыгралось скверное. Мало, что у Евгении Александровны пропали любимые ценные вещи, но девочка теперь, очевидно, под диктовку жулика любовника, писала ей дерзкие письма, требуя обеспечения себе деньгами или векселями и угрожая, в противном случае, некрасивыми разоблачениями...

— Вот дура-то! — вопияла Евгения Александровна, косматая, лохматая, в драгоценнейшем, но истерзанном пеньюаре, уже два дня едва ли мывшаяся, и — как застала ее Виктория Павловна, — в комнате накуреной, хоть топор повесь, заброшенной окурка-

ми по дорогому гостиничному ковру, продушенной сильным спиртным запахом, и с недвусмысленными следами недавнего мужского присутствия, весьма бесцеремонного... — Вот дура-то! Она думает вытянуть из меня денег разоблачениями! Да, если бы она мне только просьбою — честною просьбою — заикнулась, что ей нужны не тысячи какие-то мизерные, которые вымогать у нее хватает воображения теперь, а десятки тысяч, — неужели бы я для нее пожалела? Бери! Ты моя, я твоя, все общее! Ну, а под шантаж — шуточки! Я скорее удавлюсь, а весь остаток моего состояния пожертвую на приют для новорожденных мышат, чем она увидит от меня хоть одну копейку... Грозить мне смеет... Да разоблачай — сделай милость! Чего я боюсь? Я одного боюсь: когда люди своею подлостью мне сердце царапают до крови. А бояться и стыдиться — я этого даже как-то совсем не умею... То-есть перед другими... Ежели сама перед собою не стыжусь, то перед кем мне может быть стыдно?.. Что делала, то делала... И если делала, то вот — чёрт с вами со всеми, смотри, кто хочет... Разоблачай меня, пожа-

луйста!.. Я, матушка, конфузов от шантажников не понимаю. Ты хочешь меня разоблачать, так сделай свое одолжение, вот, выйдем на площадь, и ты меня на площади разоблачай... В буквальном смысле, до гола... Посмотрим, кто первый сконфузится и убежит!

Все это говорено было и смело, и искренно, и Виктория Павловна нисколько не сомневалась, что «сумасшедшая Женька» остается, как была, и совершенно способна на все, что она говорит и обещает... Но она видела так же ясно, что еще ни одна из старых любовных историй не производила на Евгению Александровну такого оскорбительного и потрясающего впечатления; что она, на этот раз, в самом деле, вся — вне себя и что за нею, просто, как за больною, нужен постоянный призор и уход... Это, кажется, в первый раз было, что даже присутствие Виктории Павловны не могло удержать госпожу Лабеус от запоя... Виктория Павловна успела было, все-таки, по обыкновению, овладеть ее волею, и дня два или три Евгения Александровна сдерживала свое буйство и пьянство. Даже сделалась в лице белее и глаза начали терять прежнее оже-

сточенное выражение. Но на четвертые сутки, ночью, Виктория Павловна — сказать спасибо, что во время успела встать с постели, услышав, как в общей их спальне что-то звякнуло... Открыв электричество, она увидела Евгению Александровну с какою-то чашкою у рта... Сразу с постели бросилась и вышибла чашку... Евгения Александровна свалилась на ковер в обмороке, а по комнате распространился острый запах аммиака, не оставлявший сомнений в ее намерении... Приведенная в чувство, Евгения Александровна призналась, что дальше так жить не может: все противно, все разрушено, нет ни веры в жизнь, ни цели, ни желания существовать... Пить — не радость, но не пить, значит, тяжело и беспощадно думать, проверять всю свою жизнь пытками неумолимого анализа, безумно жалеть себя и жаждать смерти... Виктория Павловна написала обо всем происшедшем мужу Евгении Александровны, но — к удивлению — не получила от него никакого ответа... А Евгения Александровна, тем часом, глушила коньяк, уничтожая его в течение дня прямо-таки чудовищное количество и, соб-

ственно говоря, совсем от него не пьяная внутренне, — получался лишь внешний безобразный вид лица и движений, а мысль работала, голова была светла...

— Ты Вадиму телеграфировала? — спросила она Викторию Павловну.

Виктория Павловна сказала, что да, телеграфировала и писала...

— И нет ответа? — усмехнулась Евгения Александровна.

Действительно, нет, и Виктория Павловна очень удивлена...

— Сам пьет... — очень спокойно объяснила Евгения Александровна.

А, подумав, прибавила, с горькою усмешкою:

— Потому что все могу себе представить, только вот этого не могу, — чтобы Вадим перестал относиться ко мне с интересом и хорошим чувством... Кабы еще это пришло, так ты бы у меня чашку не отняла...

Виктория Павловна подумала под ее вопрошающим взглядом, пожала плечами и сказала:

— Да, пожалуй, и отнимать не стала бы...

— То то, тогда не стоит... — даже с радостью подтвердила Евгения Александровна.

— Да, пожалуй, что не стоит... — согласилась и Виктория Павловна.

А судьба продолжала неистовствовать и играть злые шутки. В один далеко не прекрасный день, Виктория Павловна неожиданно увидела входящую в ее номер Арину Федотовну, в шубе, повязанную по дорожному платком, сопровождаемую тяжеловесными узлами, а из себя — нахмуренную, с весьма перекошенным лицом. Первая мысль Виктории Павловны — навстречу ей — была, что случилось что-нибудь с Ванечкою, от которого, с того самого знаменательного вечера, Виктория Павловна не имела ни слуха, ни духа... Но приезд Арины Федотовны оказался вызван событием гораздо более серьезным. Дом в Нахижном, оставленный Виктории Павловне покойником Мирошниковым, третьего дня, внезапно в ночь вспыхнул, как лучинка, от лампадки пред иконою, опрокинутой котенком, который повадился играть цепочкою, — и сгорел дотла, так что и сама-то Арина Федотовна едва успела выскочить, и только чудом

никто из людей не пропал... Скотину тоже успели повывести... Но от дома и усадьбы оставалась, буквально, только одна зола, да торчащие из нее трубы... Это был большой удар по благосостоянию Виктории Павловны. Усадьба, правда, была застрахована, но в значительно меньшую сумму, чем она действительно стоила, так как страховка была давняя. Мирошников потом ее не увеличивал, а хозяйство обрастало и инвентарем, и стройками, и хозяйство все улучшалось и совершенствовалось... Таким образом, приходилось Виктории Павловне, после недолгого сравнительно благоденствия, как бы в сказке о золотой рыбке, опять вернуться к правосленскому разбитому корыту. Было тяжело и обидно. Фатум в лицо смеялся. Сама Виктория Павловна в Правослу не собиралась совсем, а Арина Федотовна прямо слышать о ней не могла, хотя видела очень хорошо, что не избыть ей этого пути, теперь опять деваться больше некуда... И, кажется, это — впервые в жизни — что она чувствовала волю судьбы сильнее своей воли и до белого каления раздражалась необходимостью подчиниться. Но,

так как еще стояла зима, а в Правосле, и по собственному ее опыту, и по письмам Ивана Афанасьевича, жить было теперь совершенно невозможно, — то Арина Федотовна решилась остаться до лета вместе с Викторией Павловной и Евгенией Александровной в том городе, где их застала...

Ее прибытие, хотя и мрачной и удрученной происшествием, ввело много порядка в их жизнь. Евгения Александровна как-то сразу опамятовалась, перестала пить... Несчастье подруги сильно на нее подействовало, и — наконец-то, — ей удалось уговорить Викторию Павловну хоть временно взять у нее денег, так как у той в это время, буквально, ни гроша своего не оставалось, а денег Фенички она ни за что не хотела трогать.

Жили они все три в гостинице, занимая отделение в три комнаты. Как только сошел с Евгении Александровны ее безобразный запой, она сделалась, по обыкновению, тиха, застенчива и очень кротка, будто виноватая, старающаяся отслужить свои вины, хотя ей никто о них не напоминал. Виктория Павловна тоже переживала хорошее время ровного,

спокойного настроения, похожее на то, как было три года тому назад. Никаких «зверинок» на нее не находило и не предчувствовалось, чтобы скоро нашли. Несмотря на все, обрушившиеся на нее и на людей вокруг нее, неприятности, она чувствовала себя очень бодрою и смотрела в будущее довольно спокойными, если не веселыми, глазами. От Ани Балабоневской приходили письма, по которым Виктория Павловна видела, что Феничке живется в пансионе очень хорошо, что она делает успехи, что к ней все очень привязаны и ее любят, что девочка обещает не совсем обыкновенное развитие, и что она, Виктория Павловна, отлично делает, покамест не приезжая в город... Арина Федотовна подтвердила эту последнюю догадку Виктории Павловны, порядочно-таки обругав ее за гласность отъезда с Ванечкою, после которого теперь в Рюриков хоть не кажись: в трубы трубят про нее всякие сплетни и гадости... Аня Балабоневская, по словам Арины Федотовны, еще не все дает понять, что могла бы...

Арина Федотовна, оправившись от первого впечатления после пожара и убедившись, что

Виктория Павловна приняла это бедствие со спокойствием, которого даже она не ожидала, тоже возвратила себе обычную самоуверенность и бодрое настроение духа. Засиделась она, что ли, очень в деревне, но городская жизнь ей теперь удивительно пошла на пользу, и она — словно сбросила десять лет с костей. Помолодела, похорошела, стала сытая, белая, нарядная. Одевалась по моде, чуть не каждый день бывала в театре, оказалась большою любительницей оперетки и фарса. А, единовременно с тем, влез ей в ребро бес, часто беспокоивший ее и в деревне, и стала она, временами, пропадать невесть куда для приключений, которые потом рассказывала своим дамам с свойственным ей юмором и цинизмом... В числе этих приключений, одно вдруг сильно ее зацепило и было не весьма обыкновенно.

В городе появилась странная личность. Монах не монах, странник не странник, бунтарь не бунтарь, сыщик не сыщик, не то уж чересчур православный, не то совсем сектант, существо в подряснике и скуфье, с посохом, сумбурное, с безумными глазами, с наружно-

стью беглеца из сумасшедшего дома, но тако-го, что в сумасшедший дом-то попал не иначе, как из-за прилавка, за которым он долго обмеривал и обвешивал покупателей. И имя у этого человека было странное — звали его отец Экзакустодиан. Но, был ли он отец, были Экзакустодиан — этого никто не знал толком. Говорили о нем и о проповеди его подспудной очень много, но, покуда еще, больше по низам. Толковали, что — хлыстовщина не хлыстовщина, а какая-то смесь того же состава. Человек был несомненно со способностью влиять — и влиять уже начинал. Полиция о нем, конечно, знала с первых же шагов его прибытия и пропаганды, но почему-то не вмешивалась, находя, кажется, что это не враг пришел, а, наоборот, скорее друг и сотрудник. В слободке, так называемой Матросской, на окраине города, происходили какие-то радения, которые даже не весьма скрывались. Настолько, что, не будучи посвящена и не собираясь посвящаться, Арина Федотовна, которая не веровала ни в сон, ни в чох, тем не менее, на радения эти попала. Рассказывали о них в городе ужасы, но она, воз-

вратившись, по чистой совести, сообщала Виктории Павловне, что решительно ничего безобразного и развратного там не видала, но, напротив, было очень скучно, потому что Экзакустодиан этот ломается и врет «от божественного» что-то такое, чего никто и сам он первый не понимает... Очень может быть, что слухи о распутствах, которые совершаются вокруг Экзакустодиана, и справедливы, потому что глаза у него такие — косятся да прыгают: черти в этом омуте вот как здорово водятся... Ну, и бабицы, которые к нему притекают, тоже фигуры известные, определенные...

— Достаточно я этой публики насмотрелась по монастырям, а двух-трех так даже и знакомых признала... Уж эти-то меня не проведут, знаю я, зачем они по обителям скитаются и к каким живым мощам прикладываются, — собственными глазами их, голубушек, на этом деле видала... Но — по внешности — все в высшей степени прилично... Если есть какие-нибудь грехи, то, конечно, хорошо спрятаны, творятся келейно... А вот верят этому Экзакустодиану, — так даже досадно видеть, как верят... И есть совсем хорошие и де-

вочки, и ребятки, которых он так одурманил, что они видят в нем только что не самого Христа...

И вот один из таких-то верующих паренков очень приглянулся и полюбился Арине Федотовне... А так как она была женщина быстрая и решительная и отказывать себе в своих блажных помыслах не любила, то немедленно и атаковала она этого юношу совсем на библейский манер, по рецепту жены Пентефрия... Но потерпела жесточайший афронт... Юноша оказался целомудренным и чистым — истинным Иосифом Прекрасным не только по виду, но и до глубины своей души... Арина Федотовна противоречий не любила вообще, подобных в особенности, и — по мере того, как испуганный молодой человек щетинился и от нее отстранялся, тем больше она к нему устремлялась и на него наседала... Проникла в его семью. Она оказалась очень бедною и суровою и с большим внутренним развалом на две части. Половина семьи, с больным ревматиком-отцом, вот этим мальчиком Тимошею, который полюбился Арине Федотовне и старшею его сестрою, угрюмою

красавицею, Василисою, «вроде женщин на Нестеровских картинах» — определила, ее увидав, Евгения Александровна Лабеус, — оказались людьми не от мира сего: поглощенными рвением к божеству, усердно читающими жития и учительные книги подвижников и пустынножителей, денно и нощно размышляющими о своей греховности и путях к спасению. Другая половина — мать, измаявшаяся в труде и хлопотах нищего мещанства, и красивые младшие сестры-подростки, уже озлобленные безрадостно протекающею голодною юностью, — была совсем другого закала: все — хоть сейчас готовые чёрту душу продать, лишь бы явился да захотел купить. Чёрт не чёрт, но Арина Федотовна явилась с предложением сделки — по характеру, как будто немножко из того же разряда. Обрадовались ей, как с неба пришедшей, неожиданной избавительнице и благодетельнице. Несколько подарков, сделанных ею матери и сестрам мальчика, окончательно расположили в ее пользу эту обголодалую, жадную, мещанскую свору, вообразившую по нарядам и расточительности Арины Федотовны, что у

этой «управительницы» денег куры не клюют. Тимошу, как только уяснили себе мать и сестры истинный источник и смысл благоволения и щедростей новой своей приятельницы, сперва вознесли до небес, а, когда он не изъявил никакой охоты идти на встречу желаниям пожилой обольстительницы, ему пришлось в семье худо. Прямо, как на врага стали на него смотреть. Чего упрямится, ломается, нищий, не уважит блажь богатой вдовы, которая при средствах своих, может его человеком сделать и семью поставить на ноги? Слиняет он, что ли? Еще — когда девица соблюдает целомудрие, так это имеет свои зоны: порченной трудно замуж выйти, ребенок может быть, соседи глумленьями прохода не дадут, ворота дегтем вымажут... Ну, а ему-то какая беда грозит, двадцатилетнему балбесу? Одно удовольствие, — всякий другой за честь почел бы. Добро бы Арина Федотовна была больная или урод какой-нибудь. А то женщина еще в соку, из себя видная, дородная, ни морщинки, ни седого волоса... Какого рожна еще тебе, привереднику, надо?.. Если бы Арина Федотовна захотела, то ей стоило только

приказать домашним: Тимошу, хоть связан-
ным, а ей предоставили бы. Но она забавля-
лась совсем иною игрою. Влюбившись на ста-
рости лет, с обычным себе грубым сладостра-
стием, она, однако, находила задорным и
лестным — в последний раз, испробовать
свою прежнюю женскую силу, свое обаяние,
которым она была так могущественна в бы-
лые времена, заставляла мужчин — как слухи
ходили и кое-что за собою она и впрямь зна-
ла, — отравлять соперников, и в воду бросать-
ся, и большие, жестокие унижения пережи-
вать [См. "Викторию Павловну"]. А теперь,
вот, какой-то мальчишка смеет говорить, что
она искушение от дьявола и бормочет что-то
о глазе, который надо вырвать, если он со-
блазняет тебя, и о прочих, еще худших, уве-
чьях. Задетая в своем самолюбии отцветшей
победительницы сердец, раздраженная, злая,
Арина Федотовна, мало-помалу, как-то, вся со-
средоточилась на своей дикой, похотливой
облаве. И, с течением дней, как женщина
опытная и в средствах соблазна не стесняю-
щаяся, с торжеством стала замечать, что ее
натиск действует и мальчишка уже не так

неподатлив, как был сначала. Раза два или три Тимоша, посылаемый матерью и сестрами под разными предлогами, приходил к Арине Федотовне в гостиницу. Приглядевшись к его благообразно аскетическому, художественному лику, тихим, скромным, святым манерам, задумчивым и глубоким голубым глазам, в которых светилась опасная сосредоточенность отвлеченной мысли, весьма похожая на задаток безумия, прислушавшись к мечтательному разговору, — Виктория Павловна, после ухода его, каждый раз говорила своей домоправительнице:

— Я бы, на твоём месте, оставила этого юношу в покое... Ты не знаешь, с кем ты шутишь... Это вода глубокая. В ней утонуть можно...

— Небось, матушка, — самоуверенно возражала Арина Федотовна, — во всяких водах плавали и на берег сухи выплывали...

— Да что тебе за радость вести игру с таким святошею? Ведь он весь в религии. Тут вся его мечта, идеал и радость. Он больше ни о чем и думать-то не хочет... Его в пустыню тянет, схиму бы рад принять, даром, что так

МОЛОД...

— Ну, вот, он в пустыню иноком, — отшучивалась Арина Федотовна, — а я туда же бесом, чтобы его дразнить, да искушать... Пусть, коли свят хочет быть, не даром ему пресветлый рай-то достанется...

И прибавляла значительно:

— А уж святошество это я из него выведу... Я этого терпеть не могу, чтобы, если женщина удостоила обратить внимание на мужчину, так после того, — оставалось бы ему еще что-нибудь ее дороже... Нет, ты промеж себя и меня богов-то не городи: они тебе не защита, мне не благодать... Он теперь, я знаю, прямо от нас к своему Экзакустодиану побежал — исповедоваться, как он у нас оскоромился, — мало того, что в этом грешном месте, в гостинице, с тремя женщинами чай пил, да еще одна из них на него, паршивца этакого, зарится... Погоди... Вот я тебя ужо доведу до точки... Не то, что перед Экзакустодианом каяться, а — велю тебе на Экзакустодиана твоего, как на коня, сесть, да так на нем верхом по улицам ко мне приехать. И — ништо: сядешь и приедешь... так-то-сь, любезный друг!

Виктория Павловна на речи эти только сомнительно качала головою, а, вообще, авантюра Арины Федотовны ей более, чем не правилась. Но она хорошо знала, что возражать тут напрасно: уж если этой бабе вошло что-нибудь в голову, то, умно ли, глупо ли, хорошо ли, дурно ли, она это исполнить должна непременно... Иначе ее замучит недовольство самою собою и сознание, будто она оказалась слабою, чего-то струсилась и не осилила совестью... А — что она влюбилась — это было несомненно. Влюбилась, как умела, — похотливо, злобно, свирепо даже, ненавидя, желая властвовать и унижать, — но влюбилась. И — настолько, что образумливающие речи Виктории Павловны стала встречать окриками и колкостями:

— Да тебе-то что, матушка? С какой стати марьяж разбиваешь? Самой, что ли, по сердцу и в охоту? Так — ништо! давай, силами померяемся, чья возьмет...

— Ну, чего ты лезешь не в свое дело? С каких пор ты мною в гувернантки нанята? Ведь не препятствовала я тебе, когда ты с Ванькою моим спуталась, — а уж тут ли ты дуру не сло-

мала...

Что Тимоша уже заколебался между Ариною Федотовною и Экзакустодианом, это была правда. Но, покуда, Экзакустодиан, все-таки, был еще сильнее. Тимоша, точно, ходил к нему несколько раз жаловаться на соблазны, которые ставит ему Арина Федотовна, и на по-творчество, с которым встречают эти соблазны в его семье, где только и спят и видят, чтобы спихнуть его то ли в законный брак (потому что, в хитростях своих, Арина Федотовна уже и на эту возможность намекала), то ли просто на содержание к этой, ни с того, ни с сего вклепавшейся в него, бабе... Не скрывал он от Экзакустодиана и того, что человек он слабый, грешный, борется, как может, но дух силен, а плоть немощна. Соблазнительница начинает ему нравиться так, что просто огнем охватывает и, кажется, иногда — все так и сделал бы, очертя голову, что она приказывает, хотя бы и погубил тем на век свою душу и пошел бы потом к чертям на растопку... Экзакустодиан сперва вскипел было. Но — навел справки, кто такова Арина Федотовна, какие у нее средства, какие ее отно-

шения к богатой госпоже Лабее и Виктории Павловне Бурмысловой, которая, хоть и не богатая, а, все-таки, землевладелица, — и быстро сообразил головою своею, на половину сумасшедшего, на половину кулака, что тут пахнет возможностью большого публичного эффекта, а, может быть, чего-либо и более существенного... И — в то время, как Тимоша ждал от него строжайшей эпитимии и средств к убиению тела и устранению соблазнов, Экзакустодиан, вдруг, совсем напротив, заговорил с ним на ту тему, что искушение, напускаемое дьяволом, есть совсем не наказание, как он понимает и боится, а, напротив, знак величайшего благоволения небесного. Потому что слабому человеку соблазнов и не посылаются, а допускает Бог дьявола озорничать таким образом только против избранников своих, вроде, скажем, Иова Многострадального, либо Моисея Мурина, затем, что любит их борьбу и победу над исконным врагом и первородным грехом... А потому Тимоше совсем не следует чуждаться и чураться женщины, его преследующей, а, напротив, всячески стараться ее, коварную и беспутную,

образумить и привлечь к своим правым понятиям... Вот это будет настоящая победа над грехом... Конечно, дьявол силен, и он, Экзакустодиан, понимает, что, при такой скользкой борьбе, возможно и оступиться, и впасть во власть дьявола, и осквернить себя блудом... Но Тимофей пусть не боится: этот грех не в грех, это — только падение, которое и величайшие праведники испытывали, которому и он, Экзакустодиан, сколько раз был подвержен... Однако, как видит Тимофей, он не погиб, а спасся и других спасает...

— Я тебе, малец, скажу: это еще под сомнением, что больше уничтожает грех: воздержание от него, или истощение его в себе... Такое, понимаешь ли, чтобы не токмо сильный дух, но и ослабленная плоть возроптала, и стал грех, чрез пресыщение, тебе противен, и потерял над тобою всякую власть, и то, что страстные люди почитают соблазном наслаждения, сделалось бы для тебя страхом истязания... Сказано: «не учащай ближнего твоего, дабы он не возненавидел тебя»... Ну, а дьявол глуп, — он соблазнитель и хитер, но в глубине своей глуп: он этого правила не знает и

учащает без меры и, учащая, так тебе в конце концов осточертеет, что ты ни его скверной рожки, ни греха, им несомого, мыслию своею воспринять уже не в состоянии и ненавидишь его всею силою своей души... Ты за средства кайся, а цель помни и блюди: в корень смотри, в корень! Как ни прийти к несмущаемому духу, лишь бы его достигь... Это, вот, самое главное и важное, а остальное все приложится... Когда достиг, — тут ты и премудр, и благ, и свят, и состояние твое, как Адама и Евы в раю до грехопадения: невинен и блажен... А — покуда смущаешься, потуда и страстен... Страстность же есть величайший грех пред Богом, потому что Бог ни к кому страстности, кроме себя, в человеке не прощает и простить не может, — ибо сказано: не сотвори себе кумира, и любление твари паче Бога — есть мерзость перед Господом... Вот ты, сыне Тимофее, говоришь, что она, дьяволица твоя, тебе голову мутит... А разве с мутною головою можно помышлять о благе? Пока в голове муть, — до тех пор и мысль, и слово ни ввысь к Господу, ни долу — к людям, — извергать ничего, кроме мути, не могут... Прочи-

щай голову-то, прочищай, чтобы ясными мыслями к Богу стремиться, а не мешать богомыслие с бабьею прелестью пополам.

Тимоша пожаловался Экзакустодиану, что общество Арины Федотовны, помимо чисто блудного соблазна, тяжело ему тем, что она, заметив, как он ревнив к святыне, — нарочно дразнит его кощунственными словами, рассказами, смеется над обрядами, которые он привык благоговейно уважать, и, вообще, богохульствует и бесует, словно одержимая целым легионом дьяволов, вместе с Вельзевулом, князем их...

— Вот, я тебе и говорю, — нетерпеливо прервал Экзакустодиан, — вступи с нею в борьбу, покори ее и всю эту погань бесовскую из нее изжени... Совершишь, — то будет твой подвиг; не сможешь — падешь, — не отчаивайся: Бог и намерение приемлет, яко жертву благопотребную... Ибо, как грех, бывает словом, делом, помышлением, — так точно и благия чувства... А, что дьяволица твоя кощунствует, того не смущайся: это не спроста, — стало быть, есть ей такое попущение от Бога... Что же ты — или Бога самого защи-

щать от нее хочешь? Не высоко ли берешь? Ежели бы Он, Батюшка, не хотел того попустить, так неужели же Он, без тебя, не справился бы с нею? Не у Одного такого кощунника, когда Господь-то указывал, язык отнимался, руки не писали, весь расслабленным становился злодей, а то и на месте умирал... А если она может и ей ничего, — так, значит, это Божие попущение. А — зачем оно, о том судить не нашему с тобою короткому разуму: тут произволение... Кто знает, может быть, затем оно именно и нужно, чтобы воссияла твоя сила и правда... Грешные люди, брат, затем именно и посылаются в мир, чтобы через них святые проявлялись.

В результате всех подобных наставлений и переговоров, Тимоша понемногу стал склоняться в том направлении, что истощить силу греха в плоти своей столь же спасительно, как от греха воздерживаться, а, между тем, много легче и приятнее. И, со дня на день, все больше и больше оплетался сетью Арины Федотовны... А она, тоже смекнув, в чем дело, повела с ним новую игру, все время на чистоту доказывая ему, что он ее только сдуру бо-

ится, а, на самом-то деле, давным давно в нее влюблен без памяти и желает ее, и плачет по ней, да, вот, беда — и хочется, и колется, и ба-тюшка не велит: робеет потерять свою свя-тость... А поэтому он, собственно говоря, про-сто, трус и дрянь, и святости за ним ровно ни-какой нету, потому что, вот, он смущается уже от одной ее близости...

— Разве настоящий-то святой смутился бы? Плевать бы на подобную опасность хотел настоящий святой... Я, брат, хоть и неграмот-ная, а Четь-Минеи то слыхала — угодники-то себя на одну цепь с ногою блудницею кова-ли, — нарочно, чтобы показать дьяволу, что — немного ему очистится от них, не вла-деет ими его искушение и думают они о нем столько же, как о прошлогодним снеге...

Юноша, который в глубине души не мог не чувствовать, что все это, собственно говоря, правда, но — слишком гордый и упорный, чтобы со смирением правду признать и еще больше остерегаться сетей, ему расставлен-ных, — нарочно, в оскорбленной дерзости, на-чинал доказывать, что он нисколько Арины Федотовны не боится, и может она рассыпать

ему какие-угодно соблазны и ласки, а он, все-таки, будет вести свою линию и тоже устоит против нее, не хуже любого святого Четь-Миней.

Свидания странной пары давно уже не производились в той гостинице, где жили три женщины. Виктория Павловна прямо сказала Арине Федотовне, что она ведет страшную игру, в которой чёрт знает какой конец может быть...

— Ты смотри: ведь у него глаза совсем сумасшедшего человека...

— А то и любо, — смеялась Арина Федотовна... Девочкой маленькой была, — любила на Осне по первому льду кататься, а теперь, на старости лет, мило молодость вспомнить... Либо вот, бывало, на Ивана Купала через костры прыгала: ожжет иль нет?... Так и сейчас...

И кончилась эти свидания тем, что злополучный малый — с лицом краснее сукна на судейском столе, с мутными глазами, с бусами испарины на лбу, — убежал, сопровождаемый хохотом Арины Федотовны, словно, в самом деле, черти гнались за ним, вырвавшись

из ада и все превратившись в голых, белотелых, толстогрудых блудниц, которые, шипя задушевым змеиным хохотом, гогоча утиным кряканьем, кричат ему, с бесстыдными движениями, блудные, преступные, кощунственные слова... На каждую подобную встречу шел он, как на сражение, — много раз выходил победителем, но, наконец, свершился и его жребий, — обезумел и был побежден...

А, быв побежден, был и покорен, и обращен в рабство женщиною глумливою и жестокою от природы и, к тому же, оскорбленную долгим сопротивлением...

— Ты, мать, можешь быть спокойна за сына, — говорила она матери Тимоши, — я твоего Тимофея не погублю, а человеком сделаю. Я его на настоящую линию выведу. Святошество-то из него я повыкурю. Он у меня — это шалишь! — ханжествовать позабудет... Этому молодцу-парню надо в жизни жить, да дела человеческие орудовать, а не у Экзакустодиа на чулане ладан нюхать... Я подобных блажей не уважаю и не терплю...

Такие дерзновенные слова она имела неосторожность говорить при старшей сестре

Тимоши, Василисе. Девица эта, в Экзакустодиане видела, если не Христа, потому что Христом для нее был — по Экзакустодиановому же внушению — Иоанн Кронштадский, то, по крайней мере, Иоанна Крестителя или Андрея Первозванного... Разумеется, рассуждения Арины Федотовны Экзакустодиану были переданы... И это обстоятельство совершенно переменяло его отношение к Тимошину роману, из которого он знал каждую страницу, как только незримая рука жизни писала ее...

IX.

В городе был чудесный бульвар, глухой, с запущенною, рощеподобною частью, в которой, зимой, городская управа заботилась расчистить только две или три дорожки к охотничьей беседке, стоявшей в самой ее глубине. Эта беседка служила ежедневною целью прогулок Виктории Павловны, которые совершала она в предсумеречное время, всегда одна, потому что потребность быть, по крайней мере, часа два в сутки на ногах и в одиночестве была в ней и теперь властна, как прежде. В один серый мартовский день, когда в воздухе уже чувствовалась начинающаяся весна, она,

по обыкновению, дошла до беседки и села на одну из ее скамеек... Задумалась о Феничке, о своих невеселых делах: о том, что, вот, вышла какая-то заминка со страховкою, и почему-то до сих пор тянут ее, не выдают; о планах на лето, которое — волею-неволею, придется, должно быть, провести в Правосле; о последнем письме Ани Балабоневской, в котором те чрезмерные заботы о Феничке, что так сильно смущали Викторию Павловну, сказались особенно прозрачною выразительностью; о том, как странно прошел в жизни ее Ванечка, — что вот, был и нет его, и писем от него нету, ни вестей, ни слухов, и решительно ей все равно это, и не нужно, и не интересно, и — словно никогда ничего не было... Задумалась — и не заметила, как к ней близко подошел, словно из земли вырос, странный человек, в каком-то призрачном одеянии, с меховым треухом на голове и в чем-то вроде мантии, вместо шубы, на длинном теле... Глаза человека — огромные белком и какие-то будто рыжие зрачками, — беспокойно бегали под крутым и нависшим лбом, словно две лисички, убегающие от незримых собак... И при

всем том, в лице человека, хотя почти курносом, вульгарном и, очевидно, простонародном, была своеобразная значительность, настолько делавшая ему «физиономию», что сперва получалось любопытство к нему и только потом уже хотелось рассмотреть черты, весьма неправильные, бороду клином, прямоволосую, точно лошадиный хвост, запотелые инеем, усы, кожу, обожженную морозом и ветром, как у мужика, долго шедшего с обозом... Роста был небольшого, а казался длинным, довольно тщедушный, а казался крепким... и, оказалось, также и зрачки человека не всегда бегали лисицами, — потому что, когда Виктория Павловна подняла на него любопытные глаза, то встретила со взглядом прямым, пронзительным и даже смущающим... белки недвижно блестели и приковывали внимание, затягивали в неотрывность... Так смотрели они — ряженный человек и Виктория Павловна — друг на друга несколько секунд, после чего ряженный человек голосом отрывистым и как бы лающим тьякнул:

— Могу?

И сел, не ожидая ответа, на ту же скамью, только не рядом, а на другой конец...

Виктория Павловна сделала движение, выразившее, что, мол, зачем вы спрашиваете, если уже сели? и я, мол, не хозяйка здешних мест, чтобы запрещать или позволять... Она, по первому побуждению воли, хотела было встать и уйти, но человек с рыжими глазами так бесцеремонно и упорно уставился ей в лицо молчаливою приглядкою, что она приняла это рассматривание, как вызов, и отчасти любопытство, отчасти нежелание показать себя оробевшею и смущенною приковало ее к месту... Она сделала вид, будто перестала замечать незнакомца, и спокойно наблюдала возню черных ворон на белом снегу вокруг какой-то брошенной синей бумаги....

— Я тебя знаю... — вдруг тьякнул незнакомец.

— Да? — усмехнулась Виктория Павловна этому началу, словно в маскараде, незнакомца, который словно для маскарада был одет.

Но он, не обращая внимания на ее усмешку, лаял также отрывисто и угрюмо:

— Да, теперь я тебя знаю. Вот, посмотрел и

знаю...

— Ну, а я, напротив, похвалиться не могу, — возразила Виктория Павловна. — Я вас совсем не знаю и, кажется, никогда раньше не видала...

— Я тебя знаю, — упрямо повторил незнакомец. — Знаю. Ты женщина грешная. Ты женщина блудная. Вот...

Виктория Павловна вспыхнула, встала, выпрямилась, бросив на незнакомца уничтожающую молнию из великолепных очей своих, так что того, на мгновение, как будто даже передернуло, но он выдержал взгляд и, прыгая перед нею рыжими глазами, все твердил:

— Видишь, я тебя знаю...

Виктория Павловна резко повернулась к нему спиною и хотела было уйти, как вдруг ей блеснула в голову быстрая мысль:

— Вы Экзакустодиан? — спросила она, рассматривая с любопытством его обожженное лицо и странный костюм...

Но он не отвечал, а продолжал бормотать, таявкая:

— Женщина грешная... женщина блудная... женщина дерзкая... А — все-таки,

врешь, не уйдешь... Меня за тобой Бог послал, я тебя к Богу приведу...

— Да?.. — несколько растерянно возразила Виктория Павловна, чувствуя себя неожиданно попавшею в глупое положение, которое, если из него резко не выйти, — кто его знает, чем разрешится... Может быть, и скандалом...

— Да, вот те и да, — пришла и на тебя узда, — подчеркнуто срифмовал он, торжествуя юродствуя. — Мечтала степная кобыла пробегать век без узды, — ан, стара штука: зарканили да и обратали...

Виктория Павловна почувствовала, что он нарочно груб, чтобы вывести ее из себя, и сдержала вспышку негодования, не позволив себе даже покраснеть.

— Ну, это, знаете, не интересно... — с искусственной холодностью сказала она и пошла по дорожке.

Тогда он вскочил, побежал за нею, нагнал и, так как она шла скоро, то долгополое привидение будто неслось за нею по воздуху, проваливаясь сбоку дорожки в рыхлый снег.

— Беги не беги, — говорил он, — а я нагоню и приведу... Что ты думаешь о себе? Что ты

очень властна и сильна?.. Врешь: ты только грешна... Бог видит твою слабость и хочет тебя поддержать... Потому и послал меня сегодня тебе навстречу... Оттолкнешь меня, — Бога оттолкнешь... А он не приходит к грешнику дважды... Не бывает этого... нет... Ой, не отталкивай великого Гостя-Батюшку! Ой, не смотри, что он в рубище и яко смех человеком! Пришел, — так ты смири гордыню-то, узнай его, узнай, гордодумная, носа-то не во роти...

Виктория Павловна остановилась и глянула ему прямо в лицо:

— Что вам от меня угодно? — произнесла она твердо и отдельно: — кто вы такой и по какому праву ко мне пристаете?

В это время они стояли на повороте тропинки от беседки на главную аллею. Экзакустодиан кивнул на близстоящую скамью и скорее приказал, чем предложил:

— Сядем.

Виктория Павловна подумала, пожалала плечами — посмотрим, какое твое представление дальше будет!.. — Сели.

Экзакустодиан долго молчал, разгребая пе-

ред собою длинною палкою своею желтый песок на промерзлом снегу. Он молчал и как будто совсем позабыл о Виктории Павловне, рядом с ним сидящей, хотя сам же ее и усадил. Виктория Павловна последила за движением его посоха и очень ясно увидала, что сосед ее старается вывести на песке какое-то подобие еврейских букв... Это ее покорило. Со всем не религиозная по природе и воспитанию, она, тем не менее, с ранней юности питала особый «человеческий» культ Христа, как Идеи, и Евангелия, как великой Легенды, и пародии, направляемые в эту область, казались ей недозволительными и невыносимыми...

Экзакустодиан, словно почувствовал ее враждебное настроение, круто к ней повернулся:

— Дети есть?—тявкнул он своим лисичьим лаем.

— Вам какое дело? — возразила Виктория Павловна холодно и спокойно.

Он, словно ожидая именно такого ответа, с удовольствием кивнул ей трехухом своим, на котором — теперь Виктория Павловна заме-

тила — нашит был потемневший галунный крест, а на остром верху болталась смешная меховая кисточка.

— Есть, — утвердительно сказал он. — Не девка, а баба. Сразу вижу. Мой глаз меня не обманывает. Подобно Демокриту, философу эллинскому, я девицу от женщины духом распознаю... Много ли рожала?

Виктория Павловна смотрела на него во все глаза, — еще впервые в жизни она сталкивалась с нахалом такого типа. И сердце в ней зажглось — на вызов отвечать вызовом.

— Один раз, — отрубилла она таким же резким отрывистым звуком, как тьякал на нее Экзакустодиан.

Он опять как бы с удовольствием кивнул головою и сказал:

— Это хорошо, что один... Жалеет тебя Бог-то, воспрещает блуду твоему расползаться по свету... Нет, значит, тебе больше от Него женского благословения, запер он твое чрево...

— Я на это совсем не жалею, — сказала равнодушно Виктория Павловна. — Если вы, по-видимому, знаете меня...

— Что я знаю? — прервал ее Экзакустоди-

ан. — Я знаю, кто ты, как сестра моя в челове-
честве. Вот что я о тебе знаю. Не по имени
знаю, — откуда мне имя твое узнать? Впер-
вые тебя вижу. Я знаю, что ты женщина греш-
ная, блудная, что душа у тебя смущенная,
сердце мутное, нечистая мысль, дерзкая со-
весть: вот это я о тебе знаю. А — кто ты по
условностям мира сего и какое положение
в них занимаешь, этого я не знаю... Ска-
жешь, — буду знать. Не скажешь, — мне все
равно... Я вижу, что ты в геенну идешь, — вот
это мне не все равно... А, как тебя зовут, бары-
ня ли ты какая-нибудь важная, горничная ли
франтиха, девка ли гулящая, — это мне все
равно... Люди предо мною равны: поставь ме-
ня в царский чертог, — я буду так же гово-
рить, как говорю с тобою... Брось меня в вер-
теп разбойничий, — я буду так же говорить,
как говорю в чертоге... Вижу грешника или
грешницу, — значит, их спасти надо... Тону-
щего человека вижу, — значит, его из реки тя-
нуть надо... Вот... А кого спасаю, кого из воды
за волосы волоку, это мы на берегу разберем...
Вот... так-то... И — не хочешь, чтобы я тебя по
имени знал, — так и не говори... Не надо...

— Да я и не имею никакого намерения говорить, — возразила Виктория Павловна с некоторою досадою. — Хотя, впрочем, извините меня, но мне почему-то сдается, что вы прекрасно знаете и мое имя, и мое положение общественное, и даже биография моя вам не безызвестна... И зачем эти комедии разыгрывать, когда можно просто познакомиться, — этого, извините, я не понимаю... Все равно, как вот этих букв еврейских, которые вы изволили перед собою начертать... Так что даже читать их некому, равно как и умилиться изяществом вашего плагиата...

Он слушал, притворяясь, будто не слушает, или в самом деле уйдя в новые какие-то размышления, колотил палкою по обледенелому снегу, — при чем Виктория Павловна успела заметить, что еврейские буквы он как бы нечаянно стер и заравнял, — и бормотал себе под нос:

— Ух, злая душа! Злая у тебя душа...

Потом — в полоборота — бросил сквозь усы:

— Девочка или мальчик?

Виктория Павловна отвечала:

— А этого «духом» вы угадать не можете?

— Ух, злая душа, злая душа... — повторил он, как бы в раздумьи, и вдруг уже не тявкнул, а гавкнул, и не по лисьи, а как большой сан-бернар:

— Помолюсь, — так и узнаю! Что? Взяла?

— Ну, из-за таких пустяков я вас не заставлю небеса беспокоить, — улыбнулась она. — Если уж вам так любопытно знать, то — девочка...

— Имя скажи, — задумчиво произнес он.

— Зачем? — удивилась она. — Ведь вы же сейчас только сказали, что именами не интересуетесь...

— Неправду говоришь. Я этого не говорил. Я говорил, что мне не надо имени, чтобы человека пожалеть, грешника в нем узнать и на путь спасения направить. А имя нужно. Без имени, как молиться за человека? Нас у Бога, с сотворения мира, миллиарды миллиардов, — у каждого было свое имя и все имена Он знает. Имя дочери скажи. Я за нее молиться буду. Я за всех таких молюсь, которых отцы и матери губят...

Викторию Павловну сильно передернуло...

— Ну... Феней зовут... — сказала она, нехотя, сквозь зубы, делая движение, чтобы подняться и уйти. Но он удержал ее рукою, снял свой треух, при чем оказался необыкновенно большелобым и с довольно красивою растительностью, волнистою и червонного золота, по крупной, ежом каким-то встопорщенной, голове. Перекрестился и произнес:

— Помилуй и спаси, Господи, рабу твою младенца Феодосию и отпусти грех родителям ее, преступникам святого закона Твоего, не ведали бо, что творили...

А потом столь же истово надел на себя обратно треух свой и, обратясь к смущенной и гневной Виктории Павловне, произнес с ласковою строгостью:

— Ежели тебе не терпится и не сидится со мною, простецом, то — ступай, не держу... Видно, нет во мне сейчас такого голоса, чтобы тебя держать... Но — помни, сестра: я тебя встретил не даром... Мне тебя Бог указал и я тебя настигну и приведу к нему... И не токмо настигну, а сама ты будешь искать меня и найдешь...

Виктория Павловна встала и, кивнув ему

головой, сказала:

— Ну, если вы так уверены, то — до свиданья... А вернее — прощайте, потому что не вижу я никакой надобности в нашей встрече...

— Не видишь, — возразил он, глядя на нее из-под треуха своего снизу вверх, так что глаза убежали под крутой лоб, — вижу это я, что ты не видишь. А не видишь потому, что дьявол, хозяин твой, глаза тебе застит... Но это не надолго... Он уже, дьявол-то, смутился, увидав, что я приближаюсь к тебе... Он уже хвост поджал... И вот ты увидишь: от сего дня начнет он от тебя уходить, да уходить... И тогда ты увидишь, что сейчас от тебя затемнено и скрыто... А — как увидишь, так и поймешь, а, как поймешь, так и начнешь искать меня, найдешь и придешь...

— Ну, вот, все в порядке, — засмеялась Виктория Павловна. — Пророчество есть. Теперь — только знамения не достает...

Экзакустодиан вдруг быстро встал со скамьи и как то так вытянулся, что показался много выше ростом, чем до того времени, и лицо его вдруг стало худое, значительное и — вдаль глядящее, как будто что-то видящее:

— Знамение тебе? — сказал он голосом таким глухим и трепетным, что Викторию Павловну, хотя она менее всего была суеверна, подрал мороз по коже. — Хочешь знамения?.. Я дам тебе знамение...

Падали сумерки, запад горел зловеще красным огнем, возвещая на завтра день морозный и ветряный, и, на красной полосе этой, нетопырья фигура в меховом треухе, с поднятыми, в широких рукавах, руками, казалась жуткою и допотопною какою-то...

— А, — с удовольствием кивнула на предложение Экзакустодиана Виктория Павловна, — а, вот это другое дело... Это я понимаю и принимаю...

— Какого ты знамения хочешь? — отрывисто сказал Экзакустодиан, все еще длинный и жуткий, мотая лошадиным хвостом клинообразной бородищи своей.

— О, это я вполне оставляю на ваш выбор, от вас зависит... — с насмешкою возразила Виктория Павловна. — Располагайте вашими средствами, как вам угодно...

Экзакустодиан важно и гордо кивнул ей головою, почти уже темною в надвигающихся

ся сумерках.

— Тогда слушай и запомни. Вот, будет тебе знамение от Господа... и скорое. Кто бы ты ни была, я вижу: около тебя и близких твоих смерть и стыд ходят... Но тебя они не тронут, потому что Бог бережет тебя для покаяния и лучших дней... Ты увидишь смерть близко около тебя — и спасешься... Некто падет, а ты спасешься... И это будет тебе знамение... Умей его понять...

— Ну, нельзя сказать, чтобы очень определенное, — принудила себя засмеяться Виктория Павловна. — Подобные знамения всех нас окружают повседневно, ежечасно, ежеминутно Смерть стоит около меня каждый раз даже, когда я с конки на ходу спрыгиваю... Вокруг каждого из нас день деньской ходит смерть...

— Пока человека не ударил Бог незримою палицею своею, — холодно возразил Экзакустодиаи, — он всегда суемудрствует и буесловит... Я сказал. Ты увидишь. Теперь — иди...

И он, круто повернувшись от нее, зашагал по аллее, мало-помалу исчезая в сумерках, точно медленный огромный нетопырь...

Виктория Павловна отправилась домой в весьма смущенном состоянии духа. Нелепая встреча тяжело подействовала ей на нервы. Она очень досадовала на себя, что любопытство и желание не уступить позиции, задержали ее с этим сумасшедшим, который так похож на плута, или, наоборот, с плутом, который так ловко разыгрывает роль сумасшедшего. А посуленное знамение, все-таки, как-то неприятно царапнуло ее воображение... И домой она пришла, рассерженная и угрюмая. Застала Евгению Александровну, наоборот, в очень хорошем духе, так как та только что получила от мужа ласковое и сердечное письмо... Арины Федотовны не было дома... Ужинать сели без нее. Пришла ночь, ее нету. Полночь — нету. Решили, что, значит, опять где-нибудь закрутил ее бесконечный ее роман с новообретенным Иосифом Прекрасным, посмеялись немножко, немножко понегодовали... Евгения Александровна легла спать, Виктория Павловна присела к столу — перед собою написать несколько писем. Но, не успела она вынуть из бювара бумагу, как в номер постучали, и вошедший человек доложил,

что приехал господин полицеймейстер и просит ее принять его или выйти к нему, по очень важному делу... Еще молодой и очень вежливый офицер этот извинился пред изумленною Викторией Павловной за позднее беспокойство и предложил ей последовать за ним — нельзя сказать, чтобы в приличное место: в городские бани. Там только что совершилось страшное убийство и лежит женский труп, нуждающийся в ее опознании, так как первые свидетели преступления показывают, что убитая женщина состояла при ней, госпоже Бурмысловой, в качестве компаньонки или прислуги... И — сверх того, сейчас в гостиницу будет судебный следователь, так как необходимо произвести и обыск в помещении убитой и сделать опись ее вещам.

Арина Федотовна пала жертвою рискованной борьбы, которою забавляясь, довела она противника своего до конечного иступления. Что именно произошло между ними в номере бань, где нашли ее, страшно истерзанную ей же принадлежащим ножом из дорожной ее корзинки-погребца для провизии, а убийцу ее, Тимошу, висящим на дужке ду-

ша, — догадаться было нетрудно. Из вещественных доказательств, — платье, сброшенное в предбаннике, остатки ветчины и полувыпитая бутылка вина немного сказали. Зато красноречивою уликою, наводящею на суть драмы, оказалась маленькая иконка, которую Тимоша всегда носил на себе... Иконка эта была найдена в таком виде, что — несомненно — она была подвергнута умышленному и весьма безобразному надругательству. Когда, на допросе у следователя, Виктория Павловна увидела это вещественное доказательство, — драма, погубившая Арину Федотовну, стала ей совершенно ясна. Не стало никакого сомнения, что надругательство над иконою было новым опытом Аринина глумления над своим насильным любовником, святошею, которого она дала себе слово отучить от ханжества, но — лучше бы не бралась. Потому что, надменная и жестокая, из тех, кто гнет — не парит, ломит — не тужит, она вела свою линию, без всякого уважения и пощады к религиозному чувству Тимоши, не жалея его мягкого характера, со всею ей присущею, прямолинейною грубостью и стремительностью,

которая, в одержимости страстью ли, властью ли, не умела ждать, а — вот, подай ей победу тут же, сейчас же, всю целиком... О религиозности Тимоши она в последнее время и думала, и даже говорила со злобою ревнивой соперницы — и, улучив возможность, нанесла иконке, главному предмету Тимошиной любви и веры, такое же расчитанно-грязное, нарочное осквернение, каким не постеснялась бы опозорить публично какую-либо живую разлучницу, если бы нашлась такая... И, так как бесконечно было обожание Тимошею иконки, то — несомненно — не взвидел он света при виде сотворенной над нею мерзости, попался ему под руку нож, которым только что резали ветчину, — ножом он и расплатился за оскорбление своей святыни... Вскрытие тела показало, что Арина Федотовна должна была умереть, не пискнув, от первого же удара, коснувшегося сердечной полости... Но ран на теле найдено было множество. Вся ненависть согрешившего аскета, в смешении с бешеною, дикою, долго сдерживаемою чувственностью, вырвалась в этот кровавый миг на волю. И так исковеркал и искажил он тело

женщины, что самые привычные к уголовным следствиям люди не могли смотреть без содрогания на это располозованное чрево, с выпавшими внутренностями, на груди, отрезанные и брошенные далеко от корпуса, на страшный рот жертвы, разорванный пальцами убийцы настолько широко, что обратился в пасть до ушей...

Убийство наделало очень много шума, но дела не создало, потому что виновник был слишком очевиден и покончил с собою самоубийством, у данные дознания совершенно ясно осветили психологическую картину преступления... Соучастников никаких быть не могло — и их не искали... Следствие довольно долго тягало Викторцию Павловну и Евгению Александровну, как почти единственных свидетельниц, которые могли пролить хоть некоторый свет на происшествие... Викторция Павловна не раз вспоминала при этом слова Экзакустодиана: «смерть и стыд ходят около тебя»... Не знала она, каким образом относится к ней первое, но что стыд ходил около и не тронул ее с тою губительною силою, как мог бы, — это она сознавала. Потому что — если

бы убийство Арины Федотовны сделалось предметом судебного разбирательства, то никакие закрытые двери не спасли бы имя Виктории Павловны Бурмысловой от громкого, всероссийского позора: до такой степени, когда дознание пораскопало прошлые грехи и тайны убитой, гнусно запахла слагавшаяся сумма всего преступления и некрасиво пачкала хотя бы самомалейшая к нему прикосновенность... И — как ни благоприятно было для обеих женщин — Виктории Павловны и Евгении Александровны — прекращение следствия за смертью преступника, — нельзя сказать, чтобы дело осталось для них вовсе без дурных последствий... Очень гордо и смело держала себя Виктория Павловна на следовательских допросах, умело и строго поддерживала она свое достоинство, но хорошо чувствовала, что достигает только внешности: внутри себя, вежливый и выдержанный следователь, интеллигент-буржуа с головы до ног, презирает ее совершеннейше и мало-мало, что не видит в ней нечто вроде шикарной и ловкой и потому лишь не зарегистрированной, кокотки... Что касается покойной Арины Фе-

готовны, следовательно повторял неоднократно, с выразительным подчеркиванием, что убийца ее напрасно поддался воплю смущенной своей совести и поторопился казнить себя: суд присяжных его, наверное, оправдал бы и, кроме церковного покаяния, вряд ли пришлось бы ему нести другую кару... А однажды даже позволил себе заметить, что очень сожалеет о том, что делу не суждено осветиться гласным судом, так как ужасная жизнь и роковая смерть убитой мещанки Молочницыной могли бы послужить учительным уроком для многих и многих женщин, идущих тою же безнравственной стезею...

Виктория Павловна умела встречать и отражать подобные выходки, соображаясь с щекотливыми условиями, в которые она попала, — что называется, закусив губы и стиснув зубы.

— Провоцируешь, милый? Ну, нет, не на идиотку напал... Оскорбляй, если не совестно, — твое счастье. Когда-нибудь, авось, сочтемся, а сейчас — оставь эти надежды: не попадусь...

Но Евгения Александровна была опасна.

Виктории Павловне пришлось чуть не на коленях умолять ее, чтобы она сдержала свой буйный нрав, потому что уже на первом допросе она дважды приходила в бешенство, которое только чудом каким-то не разразилось скандалом. А, возвратясь в гостиницу, она клялась, что, если следователь позволит еще хоть один «подлый намек», то она ему «морду побьет»...

— И тогда тебя будут судить за оскорбление чиновника при исполнении служебных обязанностей! — оборвала ее Виктория Павловна.

— И пускай! И великолепно! Только того и хочу! — неистовствовала «сумасшедшая Женька». — Свету больше! Пусть все слышат...

— Ну, а я совсем не хочу, — решительно и строго запретила Виктория Павловна. — Несчастливая ты женщина, неужели ты не понимаешь, что он был бы рад...

— По морде-то получить? — злобно захохотала госпожа Лабеус.

— До «морды» он тебя не допустит, — недовольно морщась, остановила ее Виктория

Павловна. — Не так глуп, — опытный... А протокол, который ему очень нужен, составит... Разве ты не видишь, что ему — лишь бы какой-нибудь предлог найти, хотя маленькую бы прицепочку, чтобы только провести нас фигурантками перед судом и в печати?..

— Зачем? — изумилась Евгения Александровна.

Виктория Павловна печально усмехнулась.

— Нравственный человек! — сказала она. — Страж семейных добродетелей и социального строя. Во имя общественной морали, которую мы нарушаем... Порок должен быть наказан, а добродетель должна торжествовать...

— О, чёрт же с ним! — равнодушно возразила Лабеус. — Неужели ты воображаешь, что я стану с подобною ерундою считаться? Если еще судейским крюкам шантажничать позволить, так это после того и жить нельзя.

— Да, но давать поводы, чтобы всю жизнь мою тащили в судебную палату и разрывали, как мусор, в газетах, — я тоже не согласна.

— Виктория! ты трусишь? — изумилась Ев-

гения Александровна.

Та долго молчала, с мрачно сдвинутыми к переносице бровями.

— У меня есть дочь, Женя, — сказала она наконец.

— Ты трусишь! — раздумчиво повторила Евгения Александровна. — А я то думала и верила: ты бесстрашная...

Еще больше нахмурилась Виктория Павловна и опять, выразительно упирая на слог, сказала:

— У меня есть дочь...

— Это все равно, — угрюмо возразила госпожа Лабеус.

Но Виктория Павловна пылко перебила:

— Нет, не все равно. Я, и без того, кругом виновата пред нею. Мне нечего дать ей, кроме себя самой, какая вот я есть. Ну, и если еще это сокровище достанется ей, облитое помоями, то...

Голос ее задрожал, глаза покраснели, и она едва договорила:

— Если я трушу, как ты говоришь, то не за себя и не пред буржуа этими высоконравственными... А боюсь я за Феню и перед Фе-

ней — ты права — действительно, большую виновность и страх чувствую...

— Это все равно упрямо — повторила госпожа Лабеус. — Если ты испугалась пред дочерью, то — понятно, — должна бояться и гласности. Забоявшись гласности, должна избегать суда. Избегая суда, должна примиряться со взглядом на тебя нахала следователя... Словом, ниточка за ниточкою, а приводит этот клубок разматывающийся к неизбежному результату: признать над собою волю мещанства, со всеми его законами и обычаями... со всею тою мужевластною моралью, против которой ты всегда воевала и меня научила воевать...

— Это слова, Женя, — нетерпеливо прервала Виктория Павловна, — и я их не заслужила...

Евгения Александровна покачала курчавою головою.

— Я тебе верила, — серьезно сказала она. — Всю жизнь... Ай, как я тебе верила!

— Слушай, — возразила Виктория Павловна, — я не понимаю, почему ты это принимаешь так странно... почти трагически... Неуже-

ли ты находишь неестественным и странным мое желание — остаться в глазах моей дочери, когда она достигнет сознательного возраста, достойною уважения, без грязи на имени...

— А ты уже находишь, что сейчас ты не заслуживаешь уважения? что имя твое в грязи? — быстро прервала Евгения Александровна. — Уже?

— Не я нахожу, люди уверяют.. — горько и гневно, сквозь зубы бросила ей Виктория Павловна.

Евгения Александровна нетерпеливо отмахнулась от ее возражения:

— Ах, что нам до людей... Когда мы с ними считались?.. Я о тебе говорю, Виктория... Сама-то ты, сама-то?..

Виктория Павловна склонила голову и угрюмо молчала... И тогда Евгения Александровна, от бледности став из оливковой зеленою, повторила прерывистым голосом:

— Я тебе верила, Виктория... ай, как это нехорошо... Я верила тебе, верила...

Виктория Павловна отвернула от нее мрачные глаза свои и медленно молвила, не отвечая, не возражая:

— Что же делать? О тех пор, как я видела это тело ужасное, изрубленное, будто свиная туша...

— Не говори, я понимаю тебя, — нервно перебила ее Евгения Александровна. — Я все понимаю и вовсе не упрекаю... Не виню... Потому что все, что ты чувствуешь сейчас, и я чувствую, чего ты боишься, и я боюсь, от чего ты хотела бы уйти и спрятаться, и я хочу... Давно уже и тяжело, и скверно, и подло... жизнь не в терпеж!.. Но ты-то понимаешь ли, что это значит? Ведь это крушение, Виктория, это вера в себя лопнула, это капитуляция, мировоззрению конец... совершенный край...

— У меня есть дочь, —опять — будто пригвоздила — Виктория Павловна.

Евгения Александровна отвечала с горькою улыбкою, ужасною на ее мулатском, сейчас, как трава, зеленом, лице:

— Да, в конце концов, у тебя вот есть хоть дочь... Но у меня нет дочери... Куда же мне-то, куда же?.. Я без того, чтобы у меня были храм и вера, не могу...

Как только следователь объявил им с нескрываемым сожалением, что дальнейшие

показания двух подруг ему бесполезны, Виктория Павловна немедленно покинула город и поехала в Рюриков. Сильно убеждала она сделать то же самое и Евгению Александровну, но не успела в том. Со временем их разговора о потерянной вере в себя и страхе перед гласностью — обе подруги почувствовали, что между ними, без всякой ссоры и внешней причины, как будто — если не лопнула еще — то надорвалась многолетняя внутренняя связь...

Во время следствия, Виктория Павловна ближе познакомилась с семьей покойного убийцы, Тимоши. Ей не понравились ни мать, ни младшие сестры, жалкие, о хлебе едином живущие, мещанки, но не только понравилась, а большое впечатление на нее произвела старшая сестра — Василиса. С нею Виктория Павловна, мало-помалу, сблизилась и, несмотря на кажущуюся разницу взглядов и религии, в какие-нибудь две-три недели, обе женщины почувствовали одна к другой такую симпатию и дружбу, точно они век вместе жили. Виктория Павловна, не без удивления, чувствовала себя с Василисой

этой почти так же близко, как с покойницею Ариною Федотовною, а в иных отношениях даже, пожалуй, ближе и легче... И вскоре Василиса эта, по тайну, сообщила Виктории Павловне весть удивительную: будто Евгения Александровна, все более и более мрачная в последнее время, со дня на день, — так что Виктория Павловна начала уже побаиваться, не подбирается ли злополучная женщина к новому запою, — познакомилась с Экзакусто-дианом, видимо, интересуется его беседою и обществом и уже несколько раз его посетила... Викторию Павловну в этой новости очень удивило и несколько обидело только, — почему Евгения Александровна ни слова ей не сказала о новом своем знакомстве, — а, что последнее состоялось, не было для нее столько неожиданным. Уже та встреча Виктории Павловны с Экзакусто-дианом на бульваре, когда Виктория Павловна рассказала ее своей приятельнице, произвела на Евгению Александровну сильное впечатление, которое стало потрясающим после убийства Арины Федотовны, как бы оправдавшего своим совпадением с загадочными словами Экзакусто-

диана, знамение, которое он обещал.

Что Евгения Александровна падка на оригинальных людей и имеет влечение, род недуга, ко всему таинственному и загадочному, это Виктория Павловна давно знала за ней. Спириты и теософы, в свое время, пощипали шкатулку госпожи Лабеус не хуже, чем впоследствии эстеты... Но прежде, когда врывалось в жизнь ее какое-нибудь мистическое увлечение, она с того начинала, чтобы разболтать о новом своем пристрастии на все четыре стороны света и, прежде всего, посвятить в свой секрет Викторину Павловну. А сейчас молчала, как рыба... умела молчать!.. Выдержка, почти невероятная для ее неутомимого языка!.. Оскорбленная необъяснимою скрытностью подруги, Виктория Павловна тоже решила ни о чем не спрашивать и делать вид, будто не замечает ни таинственных исчезновений Евгении Александровны, из которых она возвращалась, точно после тяжелой работы, мертвец мертвецом, с провалившимися глазами, зеленая, истощенная и вялая до бессловесности; ни появления в ее комнате каких-то странных толстых книг в старин-

ных кожаных переплетах, которые она читала преимущественно по ночам, засиживаясь долго после того, как Виктория Павловна ляжет в постель... Однажды, когда Виктории Павловне не спалось, она встала на свет, пробивающийся в дверь из соседней комнаты, — и застала Евгению Александровну, в одной рубашке, стоящую на коленях и кладущую земные поклоны...

— Что это?.. Ты молишься?.. — изумилась она.

Евгения Александровна поднялась, с лицом, бронзовым от румянца смущения, и глухо отвечала:

— Пробую...

Виктория Павловна долго молчала... Потом спросила:

— И что же? Помогает?

В голосе ее не слышно было насмешки, — одно настороженное любопытство. Евгения Александровна закрыла глаза, тряхнула с отчаянием кудлатою головою и сказала тяжелым стоном:

— Не умею... не выходит...

Виктория Павловна, ничего не сказав на

этот ее ответ, села на диван, — и так долго сидели они, обе, полунагие, безмолвные, каждая погруженная в свои смутные тяжелые думы и не смеющая, и желающая высказаться... Виктория Павловна почувствовала, что у нее заглодели плечи, и поднялась, чтобы вернуться в постель... Тогда Евгения Александровна порывистым жестом остановила и прошептала:

— Он тебя все ждет...

— Кто? — жестко, почти грубо спросила Виктория Павловна.

Евгения Александровна виновато съежилась и сказала с упреком:

— Зачем так? Ты знаешь...

— Ничего я не знаю — сухо возразила Виктория Павловна. — И знать не хочу. Одно вижу и знаю: ты опять в чью то сеть попала, и опять чьи-то хитрые руки тебя обрабатывают и коверкают...

Но Евгения Александровна подняла свои красные руки с кривыми пальцами к мохнатой, как копыта, голове и зажала ладонями уши, повторяя:

— Не говори... я не хочу слышать... не гово-

ри...

Виктория Павловна пожала плечами и пошла в спальню... Ночное происшествие это очень взволновало ее... Она долго не могла заснуть, раздражаясь сознанием, что в соседней комнате, при свете электричества, мучится и нервничает живой, близкий ей человек, почему-то вдруг заметавшийся в судорожном искании какой-то неведомой и до сих пор ему не нужной веры, насильственно дрессируя себя на молитву, которой в себе не чувствует, телодвижениями, которых не уважает и не может считать иначе, как фальшивыми и бессмысленными... А, когда заснула, то — в сонном видении — запрыгали пред нею, как две рыжие лисицы, плутовски-сумасшедшие глаза на обожженном морозами лице и затывкали лающий голос:

— Врешь... не уйдешь... придешь...

Это было за два дня до отъезда Виктории Павловны, которому Евгения Александровна как будто даже обрадовалась, точно он освобождал ее от тяжкого и стыдного надзора... Кто был очень огорчен отъездом Виктории Павловны, так это, успевшая крепко привя-

заться к ней, иконописная красавица Василиса.

На прощанье она взяла слово с Виктории Павловны, что, если ей понадобится прислуга или верная компаньонка, то она никого бы не брала, кроме ее, Василисы, так как она рада служить Виктории Павловне душой и телом, — хоть и жалованья не платите, только хлебом кормите! А в городе, где так погиб страшно ее брат, единственный любимый ею человек на свете, ей теперь оставаться и тошно, и скучно..

Взять ее с собою Виктория Павловна не могла, но пообещала вызвать ее, как только будет к тому возможность...

Х.

Путь до Рюрикова Виктории Павловне предстоял довольно длинный, по новой, только что выстроенной Волго-Балтийской железной дороге, покуда больше слывшей Никитинскою, от имени инженера, ее про активировавшего и добрую четверть века уложившего на то, чтобы доказать ее необходимость и добиться ее осуществления.[См. "Десятиде-

сятники" и "Закат старого века"] Дорога работала уже третий год. По ней можно было поехать в Рюриков в объезд Москвы, притом без пересадки. Из города пришлось выехать ночью. Виктория Павловна взяла спальное место. Войдя в купе, она нашла в нем какую-то даму, спавшую, закрывшись с головою, в синем свете ночного фонарика. Виктория Павловна была очень утомлена сборами к отъезду и проводами Евгении Александровны, которые вышли трогательными, печальными и острыми, точно женщины расставались навсегда и хоронили свое прошлое... Виктория Павловна, едва вручила проводнику билет свой и получила квитанцию, а поезд тронулся, тоже немедленно разделась и легла и, почти мгновенно, чуть коснувшись подушки, уже заснула. Но отголоски пережитых тяжелых впечатлений и вагонная духота не дали покойного сна, а налегли тяжелым кошмаром и окружили ее страшными и причудливыми видениями.

Ей снилось, что она не она, но огромная медная статуя, как Екатерина Великая, только вся нагая, — и, будто бы, она упала с пьеде-

стала, потому что у нее были глиняные ноги и — вот, подломились, не выдержав тяжести туловища... При падений, она больно удари-лась затылком и спиной, и, вот, лежит и сто-нет: доктора! доктора!..

— Я доктор, — пищит маленькое, серое су-щество, мячом прыгающее и волчком вертя-щееся у нее на медной груди, от чего внутри ее и гудит, и стонет, — показывая то — вместо лица — разинутую красную пасть гадкой и бесстыдной формы, то такую же красную спи-ну, отвратительную, как у обезьяны, которую Виктория Павловна, однажды, видела в зооло-гическом саду.

— Я доктор, я проктор, я моктор... Великое, безликое, гордое, безмордое...

Виктория Павловна хочет согнать его, но она — медная, руки и ноги не повинуются. А существо растет, дуется, теряет очертания, превратилось в огромное серое мохнатое яй-цо, которое — пух! — лопнуло и осыпалось лохмотьями... И Виктория Павловна, задыха-ясь от внезапной тяжести, видит: на груди ее сидит верхом — громадная и голая — Арина Федотовна и понукает:

— Но! но! но!..

— Я не могу, — умоляет Виктория Павловна, — ты видишь: я медная и у меня нет ног...

— А у меня верблюжьи ноги! — хохочет Арина Федотовна.

И, вдруг облившись кровью, вся расседается на части, и каждый кусок ее тела, вдруг сделавшись живым и осветившись рыжими, прыгающими по лисичьи, глазами, забегал и запрыгал по Виктории Павловне, гнуса и тьявая: придешь, придешь, придешь!.. А Виктория Павловна, под наглым топотом глазастых обрубков, чувствует себя все мертвее и недвижимее. Но, вместе с тем, она, в неподвижности своей, будто растет, и это ужасно больно, нудно, тоскливо, — ломит руки, ноет тело. А князь Белосвинский, проходя мимо с записной книжкой, высчитывает что-то карандашом и говорит:

— Вот: вы переросли уже всю Европу, сейчас кончится мыс Финистерре, и вы упадете в Атлантический океан...

— Боже мой, но я же медная, я утону... — мечется Виктория Павловна.

— Да, удельный вес меди — штука серьез-

ная, — замечает кто-то, сразу похожий и на Буруна, и на судебного следователя. — Медь почти в десять раз тяжелее воды.

Виктория Павловна чувствует, как ползет она с мыса Финистерре, и ноги ее чувствуют уже холод невидимого океана... Она плачет и томится, но кто-то сбоку шепчет ей, посмеиваясь:

— Вы не бойтесь: мы выиграем дело во второй инстанции... Ведь вы мне отдадитесь за это, не правда ли?

И обнимает ее, и сразу замер страшный рост и нет боли в теле, и — успокоение... Но лицо обнимающего — как густой туман, а в тумане что-то зыблется, мигает и хихикает, и, вдруг, качается красный нос и мигают лукавые, бутылочною искрою, воспаленные глазки... Иван Афанасьевич!..

— А... вот что!..

Виктория Павловна сразу понимает, что она видит сон, и вспоминает, что этот сон всегда приходит к ней перед каким-нибудь несчастьем, и что значит, надо непременно проснуться, проснуться, проснуться... А хихикающий сон борется с нею и проснуться не

дает, не дает, не дает... И, что всего страшнее, борьба становится забавною и смешною. Виктория Павловна, усиливаясь проснуться, боится, что, вот, сейчас она перестанет желать проснуться. А, если она поддастся лукавому сну, то завтра ее ждет какой-то неслыханный, небывалый еще ужас, в котором разрушится, быть может, вся ее жизнь... Сон мечется, кривляется, то пропадая, то выступая с яркостью скульптурной маски, и все лопочет нелепую фразу:

— Допустите, что так мажутся блины...

В словах этих есть что-то таинственное, заклинающее, потому что, слыша ее, Виктория Павловна — сама не зная, почему — едва в состоянии удержаться от смеха, бесстыдного, желающего, соглашающегося, а, между тем, она знает, что это грех, стыд, несчастье, и нельзя этого, нельзя, нельзя, нельзя...

— Допустите, что так мажутся блины...

— Простите, но вы, кажется, больны, — раздается в ушах Виктории Павловны уже новый чей-то незнакомый голос, кажущийся очень громким. И, в тот же миг, видения гаснут, словно электрический свет от повернуто-

го выключателя. А Виктория Павловна с удивлением убеждается, что она не спит, но сидит на постели, свесив с диванчика ноги, и — над нею наклонилась встревоженным бледным лицом, с черносливыми глазами, незнакомая дама, в ночной кофточке...

— Простите, но вы, кажется, больны, — сладким и тихим, но звонким голосом произнесла дама. — Вы так ужасно стонали и плакали во сне, что я решила вас разбудить...

Виктория Павловна, с глубоким вздохом облегчения, убедилась, что она уже наяву...

Извинившись пред незнакомой спутницей за доставленное беспокойство, Виктория Павловна получила любезный ответ, что, напротив, дама даже рада, что ей пришлось проснуться раньше, чем она рассчитывала, так как ей выходить на одной из близких ночных станций, и она, хотя и поручила проводнику разбудить ее, но на этот народ плохая надежда, и она с вечера очень опасалась, не проспая бы ей свою остановку... Теперь остается ей всего лишь час с минутами, и она, конечно, не ляжет до места назначения... Только что пережитый кошмар и Викторину

Павловну лишил охоты ко сну... Она вышла в уборную освежиться и, браня себя за суеверие, в то же время и туда шла, и назад пришла с назойливою мыслью в голове, что противный сон, как всегда, был не к добру, и — как-то она в Рюрикове застанет Феничку?

— Того еще не доставало, чтобы судьба меня через нее, бедную, начала наказывать... — мрачно думала она, вытирая лицо водою с одеколоном, и, думая, вспоминала, что эти слова — не ее, что она их когда-то, где-то как-будто слышала... Где? когда?.. Ах, да... От Анимаиды Васильевны, когда Дина разошлась с бароном. И мы тогда с Ариною рассуждали, что, вот, одну судьба уже настигла, — лет через десять, настигнет и меня... Ох, боюсь я, что скорее! боюсь, что скорее!..

Возвратясь, она нашла купе освещенным. Незнакомая дама извинилась, что она позволила себе открыть электричество, но mademoiselle сказала, кажется, что не намерена спать... Быстрыми и ловкими движениями приводила она в порядок вещи свои, довольно многочисленные... При полном свете, дама показалась Виктории Павловне как будто

знакомою: где-то видала она эту длинную и тонкую, гибкую женщину-змею в черном трауре, с маленькою, гладкою причесанною головкою на длинной шее, желтым, капризным по существу и сдержанным по воспитанию, личиком, черносливые глаза под разлетом своенравных бровей и рот опасным пунцовым бантиком, скрытным, лицемерным и чувственным... Минуты три дамы, как водится, убили на взаимные извинения, а потом разговорились... Оказалось, что дама тоже узнала Викторю Павловну, — и сразу, как только при свете разглядела ее, спросила: не Бурмыслова ли она?.. И тут же сообщила, что видала ее на похоронах Арины Федотовны, которые посетила из любопытства... Викторя Павловна мрачно приготовилась к неприятным вопросам: ах, мол-какой ужас! скажите, что это — собственно — за трагедия такая? так много и разно говорят! Ведь, вы, кажется, были даже свидетельницей по этому делу?.. Но дама оказалась тактичнее, чем ожидала Викторя Павловна, и, кроме упоминания о той встрече, не коснулась убийства Арины Федотовны ни словом, за что Викто-

рия Павловна почувствовала к ней благодар-
ность и — сразу — симпатию...

Вообще, дама произвела на Викторию Павловну хорошее впечатление: видимо, женщина из приличного общества, воспитанная, неглупая, образованная, охотница поговорить. Ехала она в ужасную глушь, о которой Виктория Павловна имела некоторое понятие, так как лет пять назад прожила в тех местах несколько недель на уроке, доставленном ей по протекции Анимаиды Васильевны Чернь Озеровой: в семье поэта Владимира Александровича Ратомского, живущего отшельником под городом Дуботолковым, в имении своем Тамерниках, человека, с весьма громким именем в печати, но в дуботолковском уезде известного больше под именем «мужа Агафьи Михайловны».[См. "Десятилетники" и "Закат старого века"] Место было хорошее и спокойное, но, как все педагогические опыты Виктории Павловны, дело и тут кончилось быстрым крушением. Виктория Павловна очаровывала детей при первом с ними знакомстве, но, так как они интересовали ее только несколько часов, то и она зани-

мала их только несколько дней. А затем началась скука, уроки теряли искренность и напивались ядом формального спроса и принужденных ответов, являлось обоюдное недовольство и недоумение, Викторией Павловне начинало казаться, что она — нечестная шарлатанка, взявшаяся не за свое дело, берущая деньги не только даром, но даже — за приносимый ею вред, — и следовал отказ. К Ратомским Виктория Павловна попала как раз после крупного события в их семье: когда из их дома только что бежала от жандармов, приехавших ее арестовывать, и скрылась за границу сестра хозяина, Евлалия Александровна Брагина, известная революционерка. Происшествие это и хлопоты, за ним последовавшие, ужасно потрясло и перепугало Ратомского, давно уже неврастеника, да и попивающего к тому же, и окончательно увело его на «правую дорожку», к которой он и без того клонился, вместе с уходившею молодостью, с года на год все податливее и охотнее. Викторией Павловне барин этот весьма не понравился — аффектированным тоном человека, привычного вещать глаголом богов и требующе-

го к себе внимания, манерами стареющего красавца, — уже порядком таки, впрочем, обрюзгшего от черносмородиновки, — чрезмерным красноречием, отвлеченным и туманным, и, при совершенной внутренней неискренности, всегдашним видом и тоном полной и глубокой откровенности — души нараспашку. Наоборот, с женою его, пресловутою Агафьей Михайловной, бой-бабою, державшею в руках весь уезд, точно свою вотчину, Виктория Павловна сошлась очень и характером, и взглядами, — настолько, что Агафья Михайловна уже начинала думать, не посылает ли ей судьба нового душевного друга, взамен утраченной Евлалии, которую она крепко любила. Симпатия поддерживалась тем обстоятельством, что Виктория Павловна с Евлалией Брагиной была знакома и весьма ее уважала. Но педагогическую бездарность Виктории Павловны Ратомская быстро угадала и очень вскоре сказала ей с совершенною прямою:

— Бросьте-ка вы эту канитель, не ваше дело, ничего не выйдет... Вы из тех, кто может учить только своего ребенка, да и то, пожа-

луй, через силу...

Виктория Павловна, положительно, обрадовалась этой бесцеремонной откровенности и уже начала «делать свои чемоданы», но Агафья Михайловна дружески убедила ее не спешить и побыть в Тамерниках, сколько проживет, просто, уже в качестве гостя... Виктория Павловна охотно согласилась, так как успела очень привязаться к энергической даме, из бывших горничных, сохранившей, среды столбовой и даже, в некоторых петербургских отростках, знатной родни и едва ли уже не с миллиончиком «благоприобретенного» в имени и бумагах, — душу, характер и тон глубоко демократичного человека и великое искусство женовластия. Такого спокойного и насмешливо-равнодушного отношения к сильному полу Виктория Павловна ни в ком еще не встречала, кроме своей Арины Федотовны, пожалуй. Да и то это последняя была, в сравнении с Ратомскою, уж слишком злыдня и страстница... Но долго пробыть в Тамерниках Виктории Павловне, все-таки, не удалось, так как Владимир Александрович не замедлил сделать ее предметом весьма надоед-

ливого ухаживания. И не только надоедливо-го, но и довольно противного по существу, хотя Владимир Александрович старался сделать его эффектным и красивым по форме и писал, в честь Виктории Павловны, чудеснейшие стихи, которые потом печатались в хороших толстых журналах не менее как по рублю за строчку. Но волочился он за красивою учительницею, и трезвый, и выпивший, и Виктория Павловна уж не знала, когда бывало хуже. Главное, что ни капельки искреннего увлечения ни на минуту не чувствовала она. А очень хорошо слышала, что в трезвом Ратомском говорит привычка ухаживать за каждою недурною из себя женщиною и, может быть, обиженное самолюбие, зачем на него, этакого красавца и знаменитость, не обращает внимания эта гордая дева, обучающая его детей за пятьдесят рублей в месяц. А в пьяном— играла чувственность, да уж хоть бы разыгрывалась, а то — так только, шевелилась, обнаруживая все свое безобразие, без признака властной силы, изящества и красоты. Был сантиментально труслив и оглядчив, когда ему удавалось остаться с Викторией

Павловной наедине, но зато пробовал довольно дерзко фамильярничать с нею, — хотя и был сурово обрывается, — при посторонних людях, не без расчета прихвастнуть, что, мол, понимаете, господа, как знаете, а у нас с mademoiselle Бурмысловой того — роман не роман, а кое-какой флиртишко уже завязался... Между тем, mademoiselle Бурмыслова могла чистосердечнейше хоть присягу принять, что — если бы на нее даже казнь ее жизни — «зверинка» нашла, то Владимир Александрович Ратомский был едва ли не последним из знакомых ей мужчин, который мог бы рассчитывать на ее благосклонность... Агафья Михайловна видела штуки своего супруга, как сквозь хрустальный колпак, и только издевалась над ними, как над привычною слабостью жалкого опустившегося человека. Сама же иной раз предупреждала Викторию Павловну: вот, мол, увидите, какую трагедию сегодня мой сочинитель выкинет... О том, что ухаживание, вообще, будет, она с совершенным хладнокровием предварила Викторию Павловну в первую же неделю ее приезда, как только рассмотрела, что за человек ее новая

учительница.

— Вы с ним, в случае чего, не ругайтесь: на слова у него совести нет, — учила она, — потому что слов у него у самого ужасно как много заготовлено и из книг набрано. И не деритесь: на это он очень обижается и много пьет потом... А просто скажите: надо, видно, с Агафьей Михайловной посоветоваться... Это уж — я вам ручаюсь: снимет, как рукой!

Но совсем иначе относилась к новому увлечению знаменитого поэта некая, весьма недурная из себя девица, хотя занимавшая в доме скромный пост горничной, но именовавшая себя не Анисьей (Аниской звала ее только Агафья Михайловна) но Агнесою, — носившая корсет, модные кофточки, модную прическу, проглотившая 1001 бульварный роман, умевшая падать в обморок, хохотать и дрыгать ногами в историческом припадке и пр., и пр. Эта девица Агнеса, удостоив Викторю Павловну своей ревностью, успела, пользуясь частым отсутствием Агафьи Михайловны из дома, отравить существование гостьи всякими мелкими бабьими неприятностями, недочетами в услугах и пошлыми уколами в

совершенно достаточной степени, чтобы противно было оставаться в доме. Ну, и в сплетнях гнуснейшего содержания недостатка не было, тем противнейших, что выдуманных с начала до конца, так что оставалось только изумляться творческой изощренности этого «ума из народа». Положение создавалось глупое и тошное. Чтобы выйти из него, надо было либо уехать, либо довести о всех этих гадо-стях до сведения Агафьи Михайловны, которая к наличности Агнесы в доме относилась с самым циническим равнодушием, но держала Агнесу в ежовых рукавицах, и та перед нею дрожала, как осиновый лист. Второй исход уж очень претил гордости Виктории Павловны. Возможности жаловаться на «девчины» обиды Виктория Павловна предпочла, чтобы «девка» выжила ее из дома, — и уехала, сопровождаемая всеобщими сожалениями, за исключением, конечно, тайно торжествовавшей Агнесы...

За время пребывания своего в Тамерниках, Виктория Павловна хорошо ознакомилась с околотком, верст на тридцать кругом. Знала она и тот железнодорожный поселок, куда те-

перь направлялась ее спутница. Расспросив последнюю, Виктория Павловна вынесла впечатление, что дама решительно никого не знает в тех местах и едет, точно капитан Кук к дикарям: не предчувствуя ни страны, ни людей, ее ждущих. То ли Кука дикари съедят, то ли Куку, за неимением другой провизии, дикарей есть придется

— Простите, — сказала Виктория Павловна, не скрывая своего удивления — но я, просто, в недоумении: чего может искать в подобной трущобе женщина, подобная вам? Ведь это же дрянной полустанок между двумя уездными городами в пятнадцать верст от каждого и в семи верстах от села, которого именем он назван...

Змееобразная дама улыбнулась таинственно, помолчала... Потом, слегка зарумянившись, потупив черносливые очи свои, сказала, что цель ее путешествия, собственно говоря, секрет, и не следовало бы ей впадать в излишнюю откровенность... Но m-lle Бурмыслова так ей нравится, и так много хорошего слышала она о m-lle Бурмысловой, что она не хочет таиться и лишь надеется, что Виктория

Павловна не злоупотребит ее искренностью...

— Еду, чтобы повенчаться... Замуж выхожу... — призналась она, смеясь, в кирпичном румянце, как-то странно, без всякого веселья, скорее с усилием.

Виктория Павловна поздравила, но ее удивление еще более выросло: какого жениха там могла выбрать для себя такая приличная и даже изящная госпожа?.. Вокруг Тамерников она не могла вспомнить не то, что на тридцать, а и на все шестьдесят верст ни единого холостого интеллигента, достойного претензиобладать подобною супругою... Когда же дама назвала фамилию некоего Смирнова, удивление Виктории Павловны достигло таких размеров, что она не сумела даже скрыть... Дама вгляделась черно-сливными своими очами в выражение лица Виктории Павловны и горько усмехнулась:

— Вижу по вашим глазам, — сказала она с расстановкою, — что люди, предупреждавшие меня о том, что в будущем супруге моем я найду совершенное ничтожество, в рекомендации не ошиблась..

— Разве вы сами его не знаете? — опять

изумилась сконфуженная Виктория Павловна.

Дама, с грациозною грустью, качнула маленькою головкою своею на длинной тонкой шее, которою она, видимо, щеголяла, несмотря на ее преувеличенно желтый цвет:

— Никогда...

— Но...

— Вы хотите понять, как я его узнала? Очень просто: один из моих друзей нашел его для меня через сваху... Способ несколько первобытный, но в иных обстоятельствах удобный... Вы курите?

— Нет...

— Ну, а мне позвольте...

И, затягиваясь тоненькою папироскою, весьма благоуханною, она говорила, покачиваемая упругим диваном:

— Видите ли, m-lle Бурмыслова, вы-то мне назвались, а я то промолчала... Потому что моя фамилия не из тех, чтобы ею хвалиться... не всякому человеку я спешу ее назвать... Вы видите пред собою Любовь Сальм...

Виктория Павловна встрепенулась и стала смотреть на даму с большим любопытством:

имя это много шумело в последнее время по газетам... А госпожа Сальм, куря, может быть, и с искусственным, но отлично выдержанным спокойствием, продолжала:

— Да, да, не сомневайтесь, не самозванка, та самая... «Наша знаменитая убийца» Любовь Сальм, застрелившая поручика Туркменского [См. мой роман "Паутина", повесть вторая "Аглая".]... и нисколько о том не жалеющая, — позволяю себе в скобках прибавить... Но — вместе находящая скучным и неудобным, чтобы каждый встречный и поперечный показал на меня пальцем: вот, знаменитая Сальм, которая застрелила своего любовника в гостинице так умно и искусно, что ее даже оправдали присяжные заседатели... Теперь вы, вероятно, уже догадались, почему я выхожу замуж за первого встречного... кто он там? телеграфист, что ли, или помощник начальника полустанка? за первого встречного, который, сговорясь через сваху, согласился одолжить мне свою фамилию?..

Она нервно засмеялась и, докуривая папироску, держала ее несколько дрожащими пальцами:

— Утопить свое имя хочу, m-lle Бурмысло-ва... — словно докладывала она резко и учитель-но. — Женщина я, смею похвалиться, не робкого десятка, но убедилась, что Любовью Сальм гулять по свету жутко... Это — вызов, это — поединок. А в условиях поединка мож-но геройствовать минутами, часами, но жизнь жить — нельзя. А я желаю жить и хо-рошо жить, без всякого стыда признаюсь вам в этой моей слабости, не очень, впрочем, необыкновенной. Еще если бы я была одна, то, может быть, побарахталась бы... Но — я должна, вам сознаться: я в таком положении... В моде, знаете, была после оправда-ния-то... Увлеклась успехом... свой же защит-ник наградил... Ну, и... Это, знаете, обязыва-ет... Не могу же я пустить будущего своего ре-бенка в свет с единственным званием: неза-коннорожденное дитя известной убийцы по-ручика Туркменского, вдовы штабс-капитана Любви Николаевны Сальм...

Черносливные глаза ее наполнились сле-зами и нос покраснел:

— Ну, вот... Надо выйти замуж... Нарочно искала такого, чтобы был Смирнов, либо Пет-

ров, либо Иванов... без всякой, знаете, экзотики, которая побуждает любопытных спрашивать: а кто она — эта дама с громкой фамилией — урожденная?.. Известное дело, что Ивановы, Петровы, Смирновы так и женятся на Ивановых, Петровых, Смирновых... Своего рода половой подбор... Года через три, встретив Любовь Николаевну Смирнову, никто и не подумает признать в ней знаменитую Любовь Сальм... А мне не все ли равно, как зваться? Он же, все-таки, ведь, дворянин... Я получила засвидетельствованные копии со всех его бумаг... Это у нас строго, по деловому...

— Послушайте, — остановила ее Виктория Павловна внимавшая ей как-то особенно сосредоточенно и мрачно, — а не страшен вам риск ваш? Ведь, все-таки, ярмо... Да еще по такой лотерее! С закрытыми глазами...

— А разве у него опасный характер? — насторожилась госпожа Сальм.

Виктория Павловна отрицательно качнула головою.

— Нет, сколько я помню, — наоборот... Извините, но он, ваш Смирнов этот, мне, право, белогубого теленка какого-то напоминал, ко-

того всякий — куда погонит, туда он побредет...

— Ну, вот, — облегченно вздохнула Любовь Николаевна. — Как я рада. Рекомендации сошлись в одну точку... Почти теми же словами и отец Экзакустодиан мне его изобразил...

— Экзакустодиан? — насторожилась теперь, в свою очередь, Виктория Павловна.

— Ну, — да. Разве вы, живя в своем городе, о нем не слыхивали? Святой человек. Я, вот, нарочно приезжала в ваш город из Петербурга, чтобы он благословил меня, как мне быть дальше и что делать с собою...

— Это, значит, он вас и надоумил замуж-то идти? — спросила Виктория Павловна, с подозрительною усмешкою.

Но госпожа Сальм спокойно отвечала:

— Нет, замуж идти я надумала сама, а отец Экзакустодиан только, выслушав, очень меня похвалил и был так добр, что, вот, этого жениха Смирнова мне подыскал... Вы — как — не помните ли: он не пьет?

— Кто же там не пьет?! — с досадливым жестом возразила Виктория Павловна. — Камни разве... Владимир Ратомский, акаде-

мик, спился, так телеграфисту ли Смирнову не пить?

— Но не больше других? — деловито осведомилась госпожа Сальм.

— Мертвецки пьяным не видала. Буйствующим тоже... Но — совершенно трезвым, до полной отчетливости в словах и поступках, — простите, — кажется, тоже нет..

— И за то спасибо! — вздохнула Любовь Николаевна, — мне, знаете, все-таки, ведь, придется год или даже два прожить с ним в этой дыре, покуда не уляжется все взбаламученное мною море... Так с пьяницей-то возиться в подобных условиях — знаете — уж очень было бы не в меру трудное испытание... Не люблю я пьяных... Если муж пьяница, то надо держать его очень строго, чтобы он боялся и не вздумал, — Боже сохрани — на тебя страх нагонять... Устать и уступить я, смею похвалиться, не надеюсь хоть перед самым Бахусом, но борьба с пьяным утомительна и скучна, и гнусна по обстановке... Гадость и неопрятность... А я, покаюсь вам, чистюлька...

— Вы, что же, религиозны, значит,

очень, — спросила Виктория Павловна, — если даже подобное интимное дело отдали на решение Экзакустодиана?

Да. Госпожа Сальм религиозна. А Виктория Павловна разве нет? Удивительно. Вот этого госпожа Сальм совсем не понимает, как женщина может обходиться без религии. В нашем рабстве, — единственная сила и поддержка.

— Что было бы со мною, если бы я не была религиозна, в страшные дни, когда ангел гнева вооружил мою руку на то, что люди называют моим преступлением, а я считаю, что только поступила, как следовало: истребила негодяя... за себя и за многих других... Все улики были против меня, настроение суда и общества было против меня, печать меня травила. Но я чувствовала свою правоту пред Богом и знала, что Бог не оставит меня. И Он не оставил, хотя дьявол вооружил против меня злобного и хитроумного прокурора, с которым моему защитнику было очень трудно бороться...

А с отцом Экзакустодианом госпожа Сальм советует мадмуазель Бурмысловой, если слу-

чится ей где-нибудь с ним встретиться, непременно сблизиться. Потому что она даже изобразить не в состоянии, какой это неистощимый кладезь утешений, какой глубокий и великий психолог, так толко понимает он и грех, и покаяние, сколь густые залежи благодати на нем починут... Знаете, ведь на нем — благословение отца Иоанна... сам отец Иоанн послал его уловлять человекoв и целые народы...

И до того расчувствовалаcь госпожа Сальм, что, вынув платочек, оросила она хрустальными слезами из черносливных очей желтые свои щеки и проплакала, — от умиления ли, от воспоминаний ли, от нерадостной ли перспективы полуфиктивного брака, к которому теперь устремлялась, — до самого того полустанка, где надо было ей выходить...

Слыша, что госпожа Сальм в Экзакустодановом кружке чуть что не свой человек, Виктория Павловна попробовала попытаться ее с осторожностью, как далеко зашли отношения к этому кружку Евгении Александровны Лабеус. Но оказалось, что госпожа Сальм об Евгении Александровне ничего не знает. По-

койного Тимошу знала, о сестре его Василисе имеет понятие — и весьма уважительное... Но госпожа Лабеус?..

— Слышала, что есть такой инженер Лабеус, один из строителей железной дороги, по которой, вот, мы с вами теперь едем...

— Это его жена...

— Да? Понятия не имею. Впрочем, у отца Экзакустодиана так много поклонниц из общества...

— Значит, Женя до сих пор, в числе их, по крайней мере, не выдается, — с некоторым успокоением подумала Виктория Павловна. Лучше, чем я ожидала... — Женька привыкла — уж если прыгать в воду, так в самый глубокий омут и на самое дно, а здесь — пока — умница еще плавает по поверхности...

Женщины расстались чрезвычайно дружелюбно, и, видимо, серьезно понравившись друг дружке, с намерением не прекращать случайного знакомства и когданибудь свидеться. Обменялись адресами и обещали каждая каждой — писать...

В Правосле Виктория Павловна с радостью могла убедиться, что сон ее не был в руку. Фе-

ничку она застала выросшею, здоровою, с хорошими успехами, в полном довольстве своей обстановкой и, обратно, с бесконечными ей похвалами со стороны Ани Балабоневской и ее сестры. Но — одним из первых вопросов от Ани Балабоневской к Виктории Павловне было — долго ли она намеревается пробить в Рюрикове?.. И, когда Виктория Павловна, полшутя, сказала:

— Ça dépend..

Аня Балабоневская поторопилась сделать вид большой радости и воскликнула:

— Ах, как это хорошо, как я тебе завидую, что тебе не надо жить в этом противном городе... Ты не можешь себе представить, какая это тина... Задыхаешься от мещанства и сплетен...

Из чего Виктория Павловна справедливо заключила, что молва и пересуды и окружившие ее имя там, на юге, после убийства Арины Федотовны, уже успели добежать сюда и приготовить ей встречи безрадостные, а, может быть, и оскорбительные...

— Еще новое удовольствие, — угрюмо размышляла она, возвращаясь в свою гостини-

цу. — Кажется, я здесь оказываюсь тоже на положении маленькой госпожи Сальм...

Две-три сухие встречи с старыми знакомыми, наглость, с которою набивались на знакомство некоторые новые лица, с дрянною местною репутацией, прежде не смевшие к ней соваться, и весьма прозрачный ядовитый фельетон в одной из местных бульварных газет быстро доказали ей, что так оно и есть... Виктория Павловна пришла к убеждению, что — дальше, что будет, то будет, а, покуда, в родном городе ей не житье. Выждала с большим трудом, покуда не кончилось ее дело в страховом обществе, и не получила она свою страховку. А потом, к большому удовольствию и при искренних поздравлениях Ани Балабоневской, не заботившейся даже скрывать свою радость, уехала — еще впервые — за границу...

Уезжала она чрезвычайно озабоченная... Феня ее беспокоила теперь, больше, чем когда-либо... Девочка выростала умненькая, сообразительная, развитая, на много опередила свой возраст, всматривалась во все окружающее с пытливым любопытством и уже экза-

меновала себя и свое положение, в котором она находила много непохожего на положение своих подруг. Почему ее мама, если она мама, не живет с нею? почему ее нельзя называть мамою при всех? почему у нее в списках, которые были, конечно, давным давно подсмотрены, фамилия Ивановой, тогда как мамина фамилия — Бурмыслова? почему у нее нет отца, тогда как у всех других девочек, они либо есть, либо были?... почему у нее совершенно нет родных? почему она так безвыходно живет в пансионе Балабоневских, и они словно ограждают ее от других, никогда не пускают ее в общество малознакомых девочек? почему Аня Балабоневская не любит, чтобы Феня выходила в люди без ее надзора? почему следят, чтобы она не очень якшалась с прислугою?.. Все эти вопросы либо уже прямо предлагались девочкою, либо — видно было по глазам, по поведению, они назревали и скоро будут предложены... Ясное дело, что с официальным признанием и узаконением девочки надо было спешить и спешить... Виктория Павловна удивлялась несколько, что, когда она говорила об этом, Аня Балабоневская

соглашалась, но как-то неохотно и уклончиво... Утверждала эту необходимость, но будто о ней жалела.

— Должно быть, — с горечью думала Виктория Павловна — и эта милая моя подруга уже поколебалась в хорошем мнении относительно моих «качеств»... И не находит для Фенички большим счастьем переделаться из неведомой Ивановой в девицу Бурмыслову... А ведь она, Аня эта добродетельная, убеждена, что любит Феню больше, чем я... Феня ее тоже несравненно больше меня любить должна... Она видит Аню годами, а меня часами, в Ане для нее все, а я что ей дала, даю, могу дать? Дюжину игрушек и плату за учение?... Недурно! Этак я — в один прекрасный день — после всего — самым бессмысленным образом — останусь без дочери и даже некого будет в том винить...

И снова, и снова приходила Виктории Павловне в память мимолетная встреча с госпожею Сальм, утопившею, как она выражалась, свою фамилию в замужестве за первым встречным для того только, чтобы своим прошлым не компрометировать свое будущее ди-

Тя...

Если бы она захотела последовать примеру этой дамы, то теперь был у нее случай удивительный. За границею, в чудесном уголке на Женевском озере, между Монтрё и Веве, встретила она своего старого друга и вернейшего рыцаря, князя Белосвинского. Князь этот, породистый барин и хороший человек, — неведомо сам для себя, основная причина, с которой началось несчастье жизни Виктории Павловны [См. "Викторию Павловну"],—встретил ее с таким восторгом, точно в первое свидание, четырнадцать лет тому назад, когда только что началась и порознь разыгралась их, — все время певшая соло, оба порознь, так и не слившаяся в согласный дуэт, — любовь... В себе Виктория Павловна уже не обрела никаких любовных чувств, кроме большой дружбы, в благодарность за долготлетнюю бескорыстную привязанность... Но она видела, что князь и любит ее, и страстен к ней, как в первый год, и в ее воле вылепить из этого воска ту фигуру, какую она захочет. Приняв предложение князя, она сделает его счастливым на весь остаток жизни, быть мо-

жет уже недолгой, потому что в роду Белосвинских мужчины, вообще, недолговечны, а князь уже страдал болезнью печени, по-видимому, довольно серьезно. Когда-то фарфоровое и нежное лицо его теперь, к сорока двум годам, стало желто, как пупавка, а в глазах, по-прежнему красивых, но теперь, как будто, слегка испуганных, светилась неподдельная неврастения...

Во время одной поездки из Уши в Эвиан, на палубе пароходика, Виктория Павловна получила от князя формальное предложение руки и сердца, уж она и не знала, какое по счету, за долгий срок их приязни. Но, на этот раз, оно звучало особенно решительно, обстоятельно и глубоко... И — обыкновенно, отделявшаяся от княжеских предложений смехом или короткими грустными фразами о том, что это, мол, между нами совсем лишнее, было дело, да быльем поросло и мертвых с погоста не носят, — на этот раз Виктория Павловна серьезно задумалась... Не о себе, и — должна была сознаться в своем материнском эгоизме, — еще менее о князе, но о том, что может дать его предложение Феничке... И

вот, впервые на страницах долголетнего их романа начертано было ее полушутливое обещание..

— В виду вашей неизлечимости, надо подумать...

Князь находил, что думать нечего, так как знают они друг друга достаточный срок, в который все (он выразительно подчеркнул это слово) могло быть взвешено и обдуманно... По крайней мере, с своей стороны он ручается, что у него все, что касается, может касаться (опять подчеркнул он) Виктории Павловны, обдуманно вполне — ясно, определено и бесповоротно...

Виктория Павловна насторожилась. Ей слышалось в этих подчеркнутых словах отрадное... Ей показалось, будто князь намекает ей, что он гораздо более знает о ней, чем она предполагает, и что, зная, он уже все простил и со всем примирился... И, растроганная, она пошла навстречу его чувству...

— Знаете ли вы, дорогой мой друг, — сказала она князю, — что я когда-то вас безумно любила?.. И оттолкнуть вас от себя мне стоило перелома всей моей жизни, всей моей на-

туры... Я после трагедии этой, невидной и неслышной, стала никуда негодный, изломанный человек...

— Зачем было отталкивать? — сказал князь таким голосом, что Виктории Павловне опять показалось: он все знает.

— Не могла я... — отвечала она. — Чувствовала — себя слишком грешною, для того, чтобы стать вашею женою...

— Об этом лучше вам теперь не вспоминать и не говорить, — быстро сказал князь.

— Нельзя, мой друг, — мягко возразила она. — Мы оба довольно прожили на свете, чтобы знать, что прошлое не умирает, и, куда настоящее не знает его совершенно, оно всегда останется угрозою будущему...

— Да, — согласился князь, — мы оба оскорбительно больно наказаны за неискренность, которую мы между собою допустили, и теперь единственное, что нам остается сделать для нашего благополучия и счастья, — это — совершенно упразднить ее...

Он помолчал, ожидая, что скажет Виктория Павловна, но видя, что она сидит сама не своя, и язык у нее прилип к гортани и не хо-

чет повернуться, продолжал, слегка побледнев:

— О том, что у вас есть дочь, — я знаю уже довольно давно... Три года...

— Откуда? — прошептала Виктория Павловна...

Он подумал и потом сказал:

— Сперва были анонимные письма... Мои хорошие отношения к вам вообще подлежали весьма внимательному надзору разных лиц, оберегавших меня от ваших «чар»... На анонимы я не обратил, конечно, никакого внимания... Но потом мне уже не анонимно, а совершенно открыто и дружески к вам написали из Рюрикова, что вы там устраиваете какую-то девочку, как свою воспитанницу, поместили ее в пансион Турчаниновой и, по всей видимости, начиная с внешнего сходства, это едва ли не ваша дочь... Я просил лицо, которое мне писало, по возможности, проверить это предположение... Кто это, я не имею причин от вас скрывать: ваш большой друг Михаил Августович Зверинцев, который очень просил меня не ставить вам этого вашего секрета в вину и не переменить к вам

моего отношения за такую новость... А писать мне он взялся потому, что забоялся за вас, не написал бы кто либо другой и, изобразив дело в ином свете, не бросил бы между нами черную кошку... Если бы только знал он, этот старый хороший человек, сколько я за вас в то время переболел душою и упрекал себя, что не мог поставить наши отношения настолько прямо и искренно, чтобы между нами не могла держаться годами такая острая и ненужная тайна...

В Эвиане, на горной прогулке, они продолжали этот разговор. Князь нарисовал Виктории Павловне картину, как воображает он будущее их семейное устройство. Конечно, девочку после брака, надо будет объявить их дочерью и «привенчать»... Предложение было более чем великодушно, но смутило Викторию Павловну. Она сразу сообразила, что для того, чтобы беспрепятственно утвердить за Фенею такое право, необходимо прежде всего быть вполне уверенною, что Иван Афанасьевич не выступит с заявлением о том, что эта будущая княжна — в сущности говоря — его кровная дочь... А князь, как буд-

то отвечая на думы, которых она не успела, да и не хотела высказывать, говорил:

— Ведь все это зависит, на сколько мне известно, исключительно только от вашей воли... Простите, если я должен коснуться такого печального предмета, но, ведь, сколько мне известно, отец ребенка умер?

— Откуда вы знаете? — быстро вскинувшись, Виктория Павловна. — Кто вам писал?

Князь посмотрел на нее с удивлением и сказал:

— Я читал в газетах... Неужели вы пропустили?.. Это уже довольно давно... месяцев семь или восемь... Я, на всякий случай, сохранил тогда этот номер, и он у меня всегда с собою в бумагах... Специальных справок я не наводил, так как известие было официальное..

Виктория Павловна решительно не могла понять, о чем говорит князь, и каким образом смерть Ивана Афанасьевича могла бы попасть в газеты, да еще в официальные известия. Осторожность, женская, звериная осторожность, которую она в себе ненавидела, как пережиток рабской трусости, но которая

была в ней властна над нею помимо ее собственной воли, несмотря на то, что она сотни раз убеждалась, что именно эта осторожность портит ей жизнь всякий раз, как в нее вкрадывается, — эта потайная хитрая осторожность заставила ее промолчать и теперь... Ей было почти ясно, что князь в заблуждении и говорит о ком-то другом, относительно кого дошли до него сплетни. А в то же время мелькнула молния безумной надежды: а вдруг, в самом деле, в мое отсутствие, случилось что то такое, что убрало Ивана Афанасьевича с моей дороги, в сопровождении такого же неожиданного скандала, какою была смерть Арины Федотовны, о которой, ведь тоже мало ли писали газеты...

Быть может, если бы разговору этому было суждено развиваться дальше, то что-нибудь и выяснилось бы к взаимному уразумению с той и другой стороны... Но, в этот самый момент, из маленького ущелья, сбоку дороги, по которой шли князь и Виктория Павловна, вывалилась целая компания знакомых французов, которая окружила их со смехом и разговорами, — и, почти на целый вечер, они уже

не могли остаться не то, что вдвоем, а каждый из них даже наедине с собою...

Но на завтра поутру, проснувшись и позволив прислуге, Виктория Павловна получила в свой номер, вместе с кофе, старый-старый номер «Нового Времени», в котором синим карандашом отмечено было, что, вот, такого-то числа, такого-то года, в японских водах, в Нагасаки, погиб от несчастного случая, купаясь в море, молодой, многообещающий моряк, капитан второго ранга, Федор Нарович...

Виктория Павловна опустила газету на колени и, наедине сама с собою, горько засмеялась...

Вчерашний разговор был убит этою пулею... Некролог бедняги Наровича, словно загробная месть за покойного, чувством которого она много и легко играла, показал ей, как не могло бы выяснить самое подробное объяснение, — что думал о ней князь и с чем в ее прошлом он мог помириться, докуда могло идти его понимание и прощение...

И самая злая насмешка тут была в том, что как раз и мириться-то было не с чем... Именно с ним, кому приписывали ее ребенка слу-

хи и, вот, даже, оказывается, подозрения самого князя, — именно с этим покойным Феду Наровичем, превосходным и нежным другом ее, никогда у нее не было — даже мига единого, даже позова жадного — грубой плотской любви...

Она обдумала свое положение. То, что теперь предлагал ей князь, — конечно, было лучше всего, что она могла бы выдумать для Фенички и устроить для нее... Но тут выдвигалась на первый план, давно забытая, красноносая фигура Ивана Афанасьевича, который, почтительно приложив руку к сердцу, склонив голову на бок, смотря исподлобья почтительными и насмешливыми глазами, с бутылочной искрой, тем не менее, решительно заявлял:

— Извините, это моя дочь... И, как вам угодно, а я и в княжны уступить вам ее дешево не намерен... Поторгуемся!

Нет, впрочем, сомнения, что, если хорошо заплатить Ивану Афанасьевичу и, вообще, устроить его жизнь, то есть, вернее сказать, дожитие, потому что не век же он существовать намерен. А сейчас ему, все-таки уже за

пятьдесят лет, — то, несомненно, она согласится, в конце концов, вычеркнуть Феничку из своей памяти без воспоминаний... До сих пор, он по линии этого интереса не проявлял решительно никакой самодеятельности... С того дня, как Виктория Павловна поговорила с ним в Рюрикове, а потом Арина Федотовна поговорила в Правосле — вопрос был похоронен. Только нелепость Буруна взмутила было это затишье, да и то Виктория Павловна не могла не сознаться, — поведение Ивана Афанасьевича в то время было в отношении ее безукоризненно и именно по этому случаю она могла считать его гораздо более явным другом, чем тайным и злоумышляющим врагом... Словом, с Иваном Афанасьевичем так ли, иначе ли, спеться будет можно... Но — вот — от чего никто, даже сам Иван Афанасьевич, не может ее застраховать; что, если признать предложение князя, даже не признать, а просто промолчать в ответ, — она, впрочем, не скрывала от себя, что в данном случае молчание равносильно признанию, — что, если, после всего этого, настоящая правда, все-таки, выйдет наружу?.. Как? Да кто же знает, как?

Вот, разве она предполагала, что князь может знать о Фене? — а, оказывается, что он превосходно знает, сам проделал большой анализ фактов и извещений и сам пришел к убеждению, что Феня ее дочь... Ошибся только, будто тут при чем-то бедный Федя Нарович... И ошибка эта роковая для Виктории Павловны, потому что вчера полученное княжеское предложение все строено как раз на ней, на ошибке... И вспомнились ей страшно и горько слова покойной Арины Федотовны, как злое заветное завещание:

— Ивана Афанасьевича тебе никто не простит...

И, когда она обдумывала это, все больше и больше казалось ей, что покойница, порочная, дикая скифская ведьма, знала людей и мир в тысячу раз лучше, чем она, и вот в этом пункте она особенно права: никто никогда не простит... Из объятий увлекательного романтика, красавца и гуляки, всесветного бродяги и поэта, князь, переломив свою мужскую гордость и скрепя сердце, берет ее. Ну, а с той лесной полянки, где она играла с Иваном Афанасьевичем в нимфу и сатира, — нет, это-

го испытания князю не выдержать, не помирится, не возьмет... Да и знала она: при всех своих передовых взглядах и либеральных убеждениях, князь большой аристократ. Он верит в породу, придает значение крови. И если бы ему стало известно, что он последнею княжною Белосвинскою делает дочь Ивана Афанасьевича, то, опять, вряд ли пред подобным искусом родословной выдержит его безграничная — покуда, по виду — любовь...

В большом волнении, в буре сомнений, прожила Виктория Павловна дни и недели, в которые предполагалось и позволялось еще «думать»... А оборвалось все это — опять таки — вдруг и катастрофически...

В одно печальное утро, очень впрочем солнечное и яркое, в Монтре, на исходе уже приблизительно месяца после объяснения с князем на пароходе, Виктория Павловна получила от князя, — тоже, как тогда, газету, вместе с кофе, — распечатанное, анонимное письмо... В письме — изящным, косым, английским, по видимому, женским почерком — излагалась по-французски, в весьма сдержанном тоне вежливого предостережения, но с

большою осведомленностью, решительно вся история происхождения и воспитания Фенички, с того проклятого лета, когда она была зачата, и кончая ее пребыванием в пансионе Балабоневской... Писал человек, настолько знающий дело, что и Виктория Павловна сама вряд ли могла бы рассказать лучше...

Уронила она письмо на пол и был у нее момент, когда она пошла было к балкону, — с решительною мыслью — броситься с него вниз на мостовую...

А Феня?

И не пустила Феня... Стала между нею и улицей...

Невидимая стояла, спорила и говорила:

— Оставь... Всех оставь... Никто тебе не нужен... Я тебе нужна... Ты мне нужна... Живи...

И переспорила...

Пошла Виктория Павловна к письменному столу своему, подобрала по дороге, оброненное на пол, письмо, села, подумала и приписала к нему в конце по русски:

— Все, что здесь обо мне рассказано, совершенная правда. Простите мою жалкую трусость, что молчала и довела себя до позора та-

ких разоблачений, а вас до тяжелой неожиданности. Прощайте. Ваша Виктория Бурмылова.

Позвонила. Отдала письмо слуге, чтобы снес князю...

Прошел час, другой, третий, — ответа не было... Да Виктория Павловна и не ждала его... Она была уверена, что сейчас, по крайней мере, сейчас, — ответа не будет...

Завыл гудок полуденного женевского парохода... Сама не зная, по какому инстинктивному побуждению, Виктория Павловна вышла на балкон взглянуть на муравьиную кучу людей, толпящихся на пристани и палубе парохода... Зрение у нее было чудесное — и она сразу угадала в толпе серое пальто и оригинальную мятую шляпу князя... Пошла в комнату, взяла бинокль, посмотрела: да, это он...

И рядом, у груды чемоданов стоит с недовольным лицом его француз-камердинер... А у князя самого лицо спокойное, точно он совершает простую прогулку...

Позвонила Виктория Павловна... Слуга ей сказал, что князь, действительно, только что

отбыл и адрес свой дал на Рим... Ну, значит, и это кончено... Бежал от нее... И объясниться не захотел... Роман вычеркнут из жизни вместе со всеми действующими лицами...

Горько засмеялась Виктория Павловна, но не знала, смеется она или плачет...

Обдумывая анонимное письмо, известившее князя о ее грехе, она никак не могла приложить ума, кем бы оно могло быть послано. За смертью Арины Федотовны, оставалось очень немного людей, которые знали ее тайну всю до конца. Один — главный — Иван Афанасьевич — выпадал из счета уже потому, что не знал ни о том, где она сейчас находится, ни об ее возобновившейся близости к князю, да и вообще никогда не совался ни в какие ее отношения с людьми. И где бы он, в своей уездной глуши, нашел человека, — тем более, судя по почерку, женщину, — так хорошо владеющего французским языком? Второй человек — Евгения Александровна Лабеус. Но подобной возможности Виктория Павловна не могла вообразить себе практически, зная глубокую привязанность этой женщины, ее прямоту и благородство и полную неспособ-

ность действовать какими-либо обходными путями.

— Если бы я обманно, не посвятив князя в тайну свою, вышла за него замуж, — думала Виктория Павловна, — то, может быть, Женя встретила бы меня на паперти, чтобы плюнуть мне в лицо. Это так, это в ее духе, — но анонимных писем она писать не станет...

Затем следовал петербургский литератор, при котором разыгралась сцена между нею и Буруном, когда она гласно признала Феню своею и Ивана Афанасьевича дочерью. Но этот литератор давно порвал с нею всякие связи, забыл, вероятно, об ее существовании, до князя Белосвинского ему нет никакого дела, они едва были знакомы, да и с какой стати он, кипящий, как в котле, в публицистических заботах и общественной жизни, стал бы соваться в такую, в конце концов, частную и грязную историю...

Тот эффектный батюшка из благородных, красавец-поп, Савонаролла, который, одно время, в Петербурге, имел на Викторю Павловну такое громадное влияние, против которого возмущалась покойница Арина Федотов-

на, и который когда-то убеждал ее выйти замуж за Ивана Афанасьевича, мистически внушая, что женщина, однажды принадлежавшая мужчине, навеки связана с ним таинственным браком, неразрывным, что бы они потом не предпринимали для того, чтобы разлучиться, и должным рано или поздно обнаружиться перед высшим господним судом?.. Но и петербургский Савонаролла не годился для анонимного письма — уже потому, что все свои признания Виктория Павловна делала ему лишь в общих чертах, не называя ни имен, ни мест, ни времени, ни обстановок, — а в письме было все...

И, наконец, оставался последним — вечный неудачный кандидат в ее любовники, безумно влюбленный, безумно ревнивый, безумно ненавидящий, целующий след ноги ее и весьма способный при этом укунить за пятку, Бурун... Этот был достаточно осведомлен для такого письма и достаточно бешен, нервен и невоспитан, чтобы на него посягнуть... Было несколько удивительно, что он так хорошо осведомлен, где в настоящее время находится и Виктория Павловна, и князь.

Но — тем не менее, кроме него было думать не на кого, и Виктория Павловна стала думать на него... И, думая, озлоблялась тем более, что письмо было написано не почерком Буруна, — да он же и по-французски едва ковылякает — а почерком женщины, и женщины, очевидно, очень интеллигентной, хорошо образованной, пишущей без орфографических ошибок, безупречно прошедшей школу каллиграфии, даже вставившей в французский текст одну английскую фразу, из Байрона, что-ли... Итак, Бурун не только пользуется всяким случаем, чтобы вредить ей непосредственно, давая чувствовать свое презрение и ненависть и в письмах, и при свиданиях, но еще выдает ее секреты посторонним... быть может, своим любовницам? — Да и наверное, своим любовницам, потому что — кто же такие вещи о любимой женщине станет рассказывать другой посторонней женщине...

А затем жизнь Виктории Павловны — одинокая и не ищущая общества — потянулась надолго в бесцельном и вялом скитании по Европе, в обычном маршруте неопытных русских туристов, так как за границую она была

всего лишь третий раз в жизни, причем первые ее выезды ограничивались Берлином и Парижем... Теперь она ездила в дешевом порядке круговых билетов, лишь бы убить время, и немного отдохнуть нервами и мыслями от ряда житейских разгромов, обрушившихся на нее в эти последние годы... Деньги были: жила экономно, на траты не тянуло...

В Париже встретила она Анимаиду Васильевну Чернь-Озерову, постаревшую, осунувшуюся, уже придумывающую себе изящный старушечий наряд, совершенно одинокую и гордо-несчастную... Из дочерей она охотно говорила о Зине, которая училась в Гейдельберге. Но — чувствовалось, что здесь слишком велика разница лет и поколений, и что между Анимайдой Васильевной и младшею дочерью есть большая связь породы и симпатий, но вряд ли возможна связь возраста... О Дине Виктория Павловна узнала от Анимаиды Васильевны, что муж златокудрой красавицы, художник, идет в гору, зарабатывает большие деньги, преуспевает, кажется, уже стяжал орден почетного легиона... Что у них — салон, но Анимаида Васильевна в нем не бывает:

для нее — слишком moderne... Вообще, она страдает мизантропией, удаляется от людей и старается ни у себя не принимать, ни в людях не бывать...

А люди посторонние осведомили Викторю Павловну, что Анимаида Васильевна — из гордости — скрывает, что ее просто-напросто выжили из новой дочерней семьи французы-свойственники, которым присутствие между ними этой матери, осмеливавшейся родить без брачного свидетельства особу, вошедшую в их высоконравственную буржуазную среду, резало глаза и возмущало чувства... И — сперва на их стороне оказался, мало-помалу, муж Дины: господин, в 1900 году называвший себя анархистом, в 1901 довольствовавшийся званием радикала, а в 1902 уже возмущавшийся дерзостью синдикалистов и антимилитаристов, с сочувствием говоривший о расстрелах стачечников, одобрявший машину мосье Дейблера и сожалевший, что она мало работает, имевший бумаги русского займа, и получивший правительственный заказ на патриотические фрески в hôtel de ville большого провинциального города... И вот —

уже года полтора минуло с тех пор, как Дина сперва стала редко бывать у матери; потом намекнула ей, что не надо делать неожиданных визитов, потому что у них с мужем, как беспартийных артистов, бывают люди самых различных лагерей и направлений, от Лафарга до Рошфора, и мало ли с кем неприятным для себя мать может встретиться, — так лучше всегда предупреждать о том, что она придет... Анимаида Васильевна, не без угрюмого юмора, уверяла, что, если бы они говорили по-русски, то Дина никогда не посмела бы высказать ей подобных намеков, но французский язык, ведь, создал для того, чтобы золотить пилюли и превращать грязь в конфеты. А по-русски Дина уже почти не говорит: или забыла или находит красивым притворяться, что забыла... И, после предупреждений этих, Аиимаида Васильевна, приезжая, уже не заставала в доме никогда никого, кроме самой Дины и прислуги... Да и Дина была всегда такая восторженная и неестественно ласковая, что не мог чуткий и умный человек, как Анимаида Васильевна, не чувствовать, что ее принимают лишь в виде трогательного само-

пожертвования, в результате трудной победы в какой-то огромной борьбе наперекор сильному течению... Что каждый прием ее Диною — со стороны последней, — в своем роде подвиг гражданского мужества, который обходится не дешево и, в конце концов, — когда-нибудь утомит подвизающуюся. И тогда Дина тоже скажет себе, что она сделала довольно в защиту своих убеждений и привязанности к этой — помимо закона родней ее — преступной матери: последняя должна, наконец, оценить ее самоотверженную деликатность и сама удалиться с ее сцены. Анимацида Васильевна, конечно, не допустила себя до возможности подобного намека... Спокойно и тихо отошла она в сторону... И теперь, в глуши Латинского квартала, жила одинокою, любительски рабочею жизнью, среди книг и рукописей, окруженная, по большей части, такими же усталыми и пожилыми неудачницами. Каждая из них потерпела большое крушение в жизни, каждая из них мечтала о какой-то новой утопии с счастливою женскою жизнью, как куртиною роз в июньском саду; каждая из них едва ли не каждый месяц бы-

вала так несчастна, что хоть в Сену броситься, и — перемогалась. А, перемогшись, опять говорила громкие и сильные слова, пылала обветшалыми, но негаснущими надеждами, жила будущим и заживо умирала в настоящем...

В таких-то странствованиях, делах и обстоятельствах Виктория Павловна прожила почти целый год в чужих краях, редко получала письма с родины, где кружок ее изрядно распался, либо повымер, но имея очень аккуратные, хотя и всегда суховатые, подробные сведения о том, как живет, учится, развивается Феничка. Аня Балабоневская была в этом случае идеальной осведомительницей... Но пришел конец и этому светлому лучу в темном царстве, все мрачневшей и мрачневшей, жизни Виктории Павловны... Однажды, она получила от Ани Балабоневской письмо отчаянное. Кто-то постарался не только воскресить, но и подчеркнуть, и распространить в Рюрикове слух, что Феничка Иванова, обучающаяся в пансионе госпожи Турчаниновой, незаконная дочь пресловутой госпожи Бурмысловой, известной своим эксцентрическим обра-

зом жизни, пороками и бесстыдными романами и даже причастной как-то к «известному делу Молочницыной»... Собственно говоря, новостью для Рюрикова это не было, но — до сих пор — мало интересовало. Теперь молва была пущена по городу такую сильную и острую струей, что сразу зацеплены были и общество, и администрация, и попы... Все как-то сразу зашевелилось, зашумело, заворчало, — и, вот, теперь, в результате, либо им, сестрам Балабоневским, надо закрывать пансион, либо надо убрать из него бедную Феничку, с которою своих дочерей рюриковские губернские мамы не желают оставлять ни в каком случае, дабы они не набрались дурных примеров... Сестра Ани, — своя рубашка к телу, конечно, ближе, — струсилась... Гражданским мужеством она никогда не отличалась... Муж ее возмущен, но что же тут поделаешь? Можно только погибнуть, но какая от того кому польза? — а победить нельзя. Покуда, слава Богу, девочка сама ничего не подозревает... Аня воспользовалась легкою болезнью Фенички, чтобы увести ее из города и поместить у одной большой своей приятельницы, одних

с нею взглядов и убеждений, переждать как-нибудь эту грозу и найти способ из нее лично выйти... Она, Аня, в этом случае теряется, так как, уже просто по неопытности и непрактичности своей, не видит, какие для того имеются пути и возможности. Виктории Павловне следует, немедля, возвратиться в Россию и как-нибудь, наконец, дать дочери имя и упрочить ее будущее положение в обществе...

Получив это письмо, Виктория Павловна мешкала не долго и на той же неделе выехала. Но не в Рюриков, а в Петербург, так как она сперва хотела посоветоваться снова с тем знаменитым адвокатом, ее приятелем, который когда-то говорил ей о способах удочерения Фенички, как скоро Виктории Павловне минет тридцать лет... В настоящее время возраст этот был Викторией Павловной не только достигнут, но и превзойден... Ей шел уже тридцать второй год... А Феничке — тринадцатый.

Произошло это позднею осенью 1902 года, а в одну зимнюю ночь затем, Иван Афанасьевич в заметенной снегом Правосле получил

ту внезапную телеграмму, которая так спешно вызвала его в Рюриков для свидания с внезапно налетевшею, невесть откуда, хозяйкою, и — предстоящим свиданием этим — столько его перепугала...

Конец первой повести.

ПРИМЕЧАНИЯ

(Примечания по изданию: Амфитеатров А.В., Собрание сочинений в 10 тт, том 8)

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Злые призраки. Повесть. СПб.: Прометей, 1914. В трилогии из трех повестей, которую автор назвал романом «Дочь Виктории Павловны» (1914—1915), «Злые призраки» являются первой и лучшей. Роман был продолжен повестями «Законный грех» и «Товарищ Феня».

От автора

«Виктория Павловна» — роман Амфитеатрова, изданный в Петербурге в 1902 г.

...получил в Вологде письмо... — Амфитеатрова в Вологду перевели в конце 1902 г. из Минусинска, куда он был в январе 1902 г. сослан на пять лет за публикацию памфлета «Господа Обмановы» (см. т. 6 наст. изд.). В июле 1904 г. ему удалось выехать за границу.

Из этой первой эмиграции писатель вернулся в 1916 г.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — актриса. В 1896—1902 гг. играла в спектаклях Александрийского театра. Осенью 1904 г. создала свой драматический театр символистской ориентации.

...в «Детях солнца»... — Амфитеатров написал очерк-некролог очерк «О Комиссаржевской», в котором вспоминает об этом спектакле по пьесе М Горького: «Я видел В<еру> Ф<едоровну> только в «Детях солнца» в Пасажном театре при коротком наезде моем в Петербург в 1905 г. <...> Вера Федоровна превосходно читала великолепные стихи, освещающие порядком-таки нудную и скучную роль ее, и была изумительно сильна в истерических финалах, которыми изобилует эта тоскливая пьеса» (Амфитеатров А. Маски Мельпомены. М., 1910. С. 21—22).

Шлиссельбургцы — политические узники тюрьмы в Шлиссельбургской крепости.

«Народная воля» — революционно-террористическая организация, основанная в Петербурге в 1879 г. Совершила восемь покуше-

ний на Александра II, после убийства которого в 1881 г. была разгромлена. Руководители повешены.

«Былое» (Лондон, 1900—1904; Париж, 1908—1912) — журнал (историко-революционные сборники), издававшийся публицистом, историком Владимиром Львовичем Бурцевым (1862—1942).

Иоанниты (госпитальеры) — орден рыцарей-монахов, основанный в начале XII в.

Илиодор (в миру Сергей Михайлович Труфанов; 1880—1952)—иеромонах, религиозный проповедник, один из организаторов «Союза русского народа». Впоследствии прославился скандальными обличениями Г. Е. Распутина, антисемитскими выступлениями и выпадами против интеллигенции. В конце 1912 г. Св. Синод удовлетворил его прошение о снятии с него сана. В 1914 г. бежал за границу. Автор книги «Святой черт» (о Распутине).

Юнона — в римской мифологии богиня брака, материнства, покровительница женщин.

Эгерия — в римской мифологии пророчица — нимфа ручья. Возлюбленная и наставни-

ца царя Нумы.

Эклампсия (греч. вспышка) — детские судороги, родимчик.

Аида—эфиопская царица, ставшая пленницей египетского фараона, героиня одноименной оперы (1870) Джузеппе Верди.

... человек из Аредовых времен... — Аред (Иаред)—древнейший библейский патриарх, проживший 962 года.

Савонарола Джироламо (1452—1498) — настоятель доминиканского монастыря во Флоренции, обличитель пап, выступал против тирании Медичи, призывал к аскетизму, организовывал сожжения книг и произведений искусства. В 1497 г. был отлучен от Церкви и казнен, его труп публично сожгли на костре.

Пенфезилея, Пенфесилея (Penthesileia)—в греческой мифологии царица амазонок, пришедшая на помощь троянцам во время Троянской войны. Погибла в поединке с Ахиллом.

Соломон—царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н.э., славившийся мудростью. Ему приписывается авторство библейских книг «Песнь Песней», «Екклесиаст», «Притчи».

Ифигения — героиня трагедий Еврипида (ок. 480—406 до н.э.) и Гёте (1786) «Ифигения в Тавриде», а также оперы (1779) Кристофа Виллибальда Глюка (1714—1787). В греческой мифологии дочь Агамемнона, принесенная им в жертву богам, чтобы спасти флот от безветрия, из-за которого корабли не могли отправиться в Трою. Однако богиня охоты Артемиды укрыла Ифигению облаком и унесла в Тавриду, где сделала ее своей жрицей.

... издания «Посредника», — «Чем люди живы» или «Где любовь, там и Бог»... — Названы сочинения Л. Н. Толстого, выпущенные его просветительским издательством «Посредник» (1884—1935).

Давид — царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в. — ок. 950 до н.э. В Библии о нем повествуется как о юноше-пастухе, победителе Голиафа, полководце, царе, составителе псалмов, мессии.

Красная Горка — древний славянский праздник весны; отмечается в первое после Пасхи воскресенье. К этому дню приурочивались свадьбы.

Ирод I Великий (ок. 73—4 до н.э.) — царь

Иудеи с 40 г. до н.э., родоначальник других одноименных царей, упоминаемых в Новом Завете. Здесь о нем повествуется как о жестоком правителе, который, узнав о рождении Иисуса Христа, повелел избить 40 тысяч младенцев из Вифлеема.

Лоэнгрин — герой немецкой поэмы XIII в. о лебедином рыцаре. Легендарная драматическая история любви благородного рыцаря и красавицы принцессы Эльзы Бранбургской стала сюжетом оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин» (1848).

Парсифаль — герой одноименной оперы-мистерии Р. Вагнера.

Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт-символист.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942)—поэт, критик, эссеист, переводчик; один из вождей русского символизма. В 1905—1913 гг. жил за границей. С 25 июля 1920 г. в эмиграции во Франции.

Дорошевич Влас Михайлович (1865—1922) — публицист, театральный и художественный критик, прозаик.

Адоратор (лат. adorator) — обожатель, по-

КЛОННИК.

«Фауст» (1808—1832) — трагедия немецкого поэта, прозаика, драматурга Иоганна Вольфганга Гёте (1749—1832). Французский композитор Шарль Гуно (1818—1893) написал на сюжет первой части трагедии одноименную оперу (1859).

Лилит — в иудейской демонологии злой дух женского пола, овладевающий мужчинами, чтобы родить от них детей. По одному из преданий, Лилит была первой женой Адама, сотворенной Богом из глины.

«Отречемся от старого мира...» — Первая строка «Новой песни» (1875) Петра Лавровича Лаврова (псевд. Миртов; 1823—1900); свободная переработка французского гимна «Марсельеза». После Февральской революции 1917 г. до Октябрьского переворота песня была официальным гимном России.

«Исайя, ликуй» — название литургического гимна, исполняемого во время бракосочетания. Исайя (евр. «спасение Господне») — библейский пророк, автор «Книги пророка Исайи». Погиб мученической смертью: был перепилен деревянной пилой за обличения

царского двора в грехах. Память великомученика Церковь отмечает 9 (22) мая.

«Кармен» (1874) — опера Жоржа Бизе на сюжет одноименной новеллы П. Мериме.

«Гугеноты» (1835) — опера Джакомо Мейербергера на сюжет романа П. Мериме «Хроника времен Карла IX».

...Мещерские-торазные даГрингмуты... против «кухаркиных детей»... — Владимир Петрович Мещерский (1839—1914) — публицист, издатель еженедельной газеты «Гражданин» (основана в 1872 г.); в российском обществе имел репутацию ретрограда. Владимир Андреевич Грингмут (1851—1907) — публицист, критик, политический деятель. Автор статей в защиту классической системы образования и реформы министра народного просвещения И.Д. Делянова, который издал в 1887 г. циркуляр о «кухаркиных детях». Этим предписанием ограничивался прием в средние учебные заведения детей из «недостаточных классов населения». В 1905 г. Грингмут возглавил монархическую партию.

Бальзаминов — персонаж «бальзаминовской трилогии» А.Н. Островского: комедий

«Праздничный сон — до обеда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861) и «За чем пойдешь, то и найдешь» («Женитьба Бальзамина»; 1861). У Амфитеатрова неточность.

«...потребовал поэта к священной жертве Аполлон». — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Поэт» («Пока не требует поэта...»; 1827).

Шиллероподобный нотариус... — Шиллер — вероятно, жестянщик, персонаж повести Н.В. Гоголя «Невский проспект» (1833—1835), который устроил порку поручику, пристававшему к его хорошенькой жене.

Калипсо — в греческой мифологии нимфа, которая приютила у себя Одиссея, потерпевшего кораблекрушение.

Цирцея — в греческой мифологии волшебница, обратившая в свиней спутников Одиссея, а его самого год не выпускала со своего острова. В переносном значении — коварная обольстительница.

Владимир Немирович... Станиславский... — Режиссеры Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858—1943) и Констан-

тин Сергеевич Станиславский (наст. фам. Алексеев; 1863—1938), создатели Московского Художественного театра.

Ленский Александр Павлович (наст. фам. Варвициогги; 1847— 1908)—актер Малого театра с 1876 г.

Правдин Осип Андреевич (наст. имя и фам. Оскар Августович Трейлебен; 1849—1921) —актер Малого театра с 1876 г.

«Птички певчие» — под таким названием в России шла оперетта Жака Оффенбаха «Перикола» (1868).

...«Самку Давыдова в ход пустила...» — Александр Давыдович Давыдов (наст. фам. Карапетян; 1849—1911) — популярный оперный и эстрадный певец (лирико-драматический тенор), артист Малого и Большого театров, а также Московского артистического кружка и театра оперетты.

«Цыганский барон» (1885)—оперетта Иоганна Штрауса-сына.

«Прекрасная Елена» (1864) — оперетта Ж. Оффенбаха.

.. по рецепту жены Пентефрия... — Имеется в виду библейская история о жене началь-

ника телохранителей египетского фараона Потифара, которая пыталась совратить Иосифа, но была им отвергнута.

«...вроде женщин на нестеровских картинах...» — Имеются в виду картины Михаила Васильевича Нестерова (1862—1942).

Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев; 1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте; проповедник и благотворитель. В 1990 г. канонизирован Русской Православной Церковью в святые.

Иоанн Креститель, Предтеча — ближайший предшественник и предвестник Иисуса Христа как Мессии, пришедшего к Иоанну принять обряд покаяния и духовного обновления—крещение.

Андрей Первозванный—апостол, один из первых учеников Иисуса Христа и первый проповедник христианства. Считается покровителем страны в России и Шотландии. Был распят на кресте в Греции. Андреевский крест изображен на кормовом флаге кораблей русского Военно-Морского флота и стал знаком ордена Андрея Первозванного.

Кук Джеймс (1728—1779)—английский мореплаватель, руководитель кругосветных экспедиций.

Лафарг Поль (1842—1911)—один из основателей французской рабочей партии, автор работ по философии, политэкономии, языкознанию и литературоведению.

Рошфор Виктор Анри (1830—?)—французский публицист, прозаик и политический деятель. За участие в Парижской коммуне (1871) был сослан в Новую Каледонию.

Повесть 2 "Законный грех" (Санкт-Петербург; Прометей, 1914—1915 401 с.) пока не присутствует в электронном архиве РГБ в оцифрованном виде. Детали ее сюжета подробно и неоднократно излагаются в повести "Звезда закатная".

Часть 3. Товарищ Феня. Повесть первая — Звезда закатная

I.

Золотым, далеким еще до вечера, августовским днем, ехал Михайло Августович Зверинцев, верхом на гнедой кляче из тощей и малорослой породы «невольных хлебопашцев», просекою, ведущею сквозь две стены старого соснового бора и, под ними, молодую, березовую и орешниковую, поросль, к Правосле, имению Виктории Павловны Пшенки, урожденной Бурмысловой. Всадник был громадный, лошадь крошечная. Ползла она шагом, подрагивала впалою спиною, которую вогнуло седло, обремененное тяжелым седоком, пофыркивала горестными вздохами, недружелюбно косилась и думала про Зверинцева:

— Чёрт ты! Двадцатую версту шагаем... или совести нет? Ведь, по настоящему рассуждая, — тебе бы меня везти-то, а не мне тебя...

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.

Дочь Виктории Павловны.

64 Роман в 3-х повестях.

124 Повесть 3-я.

ТОВАРИЩЪ ОЕНЯ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ПОВѢСТЯХЪ.

ПОВѢСТЬ ПЕРВАЯ:—ЗВѢЗДА ЗАКАТНАЯ.

ПОВѢСТЬ ВТОРАЯ:—РУБЕЖЪ.

ПОВѢСТЬ ТРЕТЬЯ:—ГОРОДОКЪ.

П. Г.

КН-ВО „ПРОМЕТЕЙ“.

Н. Н. МИХАЙЛОВА.

Старый гигант, насупясь под белым картузом, ехал, погруженный в глубокую волнующую думу. Вот уже второй месяц на исходе, как Виктория Павловна Пшенка, с мужем, прибыла и летует в родных местах, а Михайло Августович — недавний лучший друг — «дед» — до сих пор ее не видал; не имел духа увидеть; — точно опоганенное божество, точно драгоценную вазу разбитую, выброшенную в черепках на сметник — замужем за человеком, которого он не то, что презирал, а даже, просто-таки, не почитал человеком.

С первой минуты, как Михайло Августович услышал о приезде Виктории Павловны, жажда свидания загорелась жгучею, острою тоскою — томящею, неизбывною...

— О, дьявол! — метался он мыслями наедине с самим собою, — ну, чего ты, старый дурак? Чего? куда еще? Мало тебе, что, из-за этого ее брака прелестного, ты зимою целый месяц пил запоем, почти сошел с ума, болел горячкою, и — вон — на голове, вместо былых буйных кудрей, до сих пор торчат какие-то перья. Ведь, отмучился уже, — было решено и отрезано: кончилась сказка, умерла фея — вы-

черкнута из сердца, — выброшена из памяти... Что же тебя опять тормозит и тянет — точно муху на ядовитую бумажку? Ведь, знаешь, что там обман... обман... всегда был обман, есть обман, всегда будет обман!.. Будь она проклята! Будь она... несчастная, жалкая, милая... тьфу! будь она, подлая обманщица, развратная, лживая, проклята!..

Удерживал себя богатырь от свидания с преступною «внучкою», точно коня железными удилами, но — за прошлые июньские и июльские недели — больше ни о чем серьезной и жадной мысли не было в его высоколобой, зевсоподобной голове старого дьякона-расстриги, за буйство исключенного из духовного сословия, — ни о чем, как:

— Только бы раз в глаза посмотреть... может быть, обругать, может быть, утешить... но по чем я знаю? — нет у меня ума и соображения, когда думаю о ней... только бы один раз!

И единственным заграждением, которое успевало сдерживать томительные порывы старого идеалиста к осколкам разрушенного идеала, была мысль о муже Виктории Павловны — Иване Афанасьевиче Пшенке, встречи с

которым Михайло Августович никак не мог осилить своим воображением в хоть сколько-нибудь приличной и спокойной форме... Это был порог, который ум отказывался переступить, за которым, вместо мысли, поднимались какие-то зловещие краснобурые клубы...

— Просто, — и не замечу, как убью сволочь! — с ужасом просыпался бедный Зверинцев от гневного кошмара. И, с еще большим ужасом, открывал, вслед за пробуждением, в руках своих обломки — один раз бича, другой раз оливковой палки, честно служившей ему лет пятнадцать, а однажды — некий металлический шар, оказавшийся, по рассмотрении, смятою в комок златоустовскою тростью, которою он заменил было столь плачевно погибшую любимую оливку.

Вопреки огромному интересу уезда к «молодым» Пшенкам и бурному обилию предшествовавших им сплетен, слухов о них плыло теперь очень мало, по крайней мере в той части уездного общества, которая прежде близка была Виктории Павловне и которой она теперь так резко изменила. Слышно, что строятся. Сам дни и ночи хлопочет по имению: и

не узнать былого лодыря — уж такой-то ли вышел усердный хозяин и рачитель! Сама недавно уезжала — отвезла куда-то свою девочку, — в ученье, что ли, хотя какое же ученье летом? А, возвратясь, все сидит дома, даже и в саду и во дворе почти не показывается. А уж чтобы выйти в люди, этого нет и в помине. То ли больна, то ли конфузится неравного брака и боится соседского недружелюбия, но — так и живет, в одиноком дикарстве. Обменялась визитами со становихою, двумя попадьями в ближних селах, была на именинах у станционной буфетчицы Еликоницы Тимофеевны: нечего сказать, — уж и компанию себе нашла! А затем ни она ни к кому, ни к ней никто, кроме тех полумонашенок, которые купили у нее погорелое место в Нахижном и тоже возводят там постройки, возбуждающие в уезде любопытства не меньше, чем жительство самой госпожи Пшенки в ее перерождающейся и воскресающей Правосле. Одна из нахиженских полумонашенок даже поселилась при Виктории Павловне — то ли приживалкою, то ли прислугою — и, слышно, так-то ли забрала хозяйство в свои руки, что

и при покойнице Арине Федотовне не было подобного. А уж что касается самой Виктории Павловны, то, помимо этой сестры Василисы, к ней теперь невозможно и проникнуть. Стоит полумомонашенка перед нею, точно калитка с замком, и — кого хочет, впустит, кого не хочет, отвадит. Сама ли Виктория Павловна эту голубушку нашла и возлюбила, ревнивый ли старый муж изобрел подобного стража и приставил к молодой жене, — кто их знает!

Третьего дня Михайлу Августовичу Зверичеву случилось быть на железнодорожной станции, обслуживающей весь их околоток, и с Правослою. Буфетчица Еликонида, которую он терпеть не мог, как уездную ростовщицу и железнодорожную сводню, самодовольно похвастала ему посещением госпожи Пшенки, а о господине Пшенке сообщила, что он сегодня с курьерским поездом уехал по делам в губернский город и обещал вернуться только через неделю... С этой минуты стремление посетить Правослу и видеть Викторину Павловну разожглось в «деде» уже прямо-таки темновитым пламенем, которое в аду неугасимо

поджаривает грешников. Сутки ломал себя, выдерживал муку, но сегодня не стало терпения. Оседлал бедного гнедка, — на изумленный вопрос супруги, пресловутой на весь уезд «многодесятиной дуры»: «куда»? — медведем рыкнул с седла:

— Не твое дело!

И — вот, проехав на недовольной кляче двадцать верст дремучего бора, он — на опушке, сквозь которую блестят ему синий извив и белая заводь Осны, чернеет и слышно, как стучит, старая мельница, пятнами видать разбросавшуюся по косогору деревню... Все знакомое, привычное, хотя давно не виданное. Не стало только старой бурмысловской усадьбы, в которой столько раз бывал — и привык бывать — «дед» у своей дорогой внучки-чаровницы. И чего-чего только с усадьбою этою не было связано — каким только весельем и горем не была она освящена, сколько в ней было нафилософствовано, по вольности дворянства, сколько покаянно выплакано в скорби и насмеяно в утешение, как лилось румяное и золотое вино, какие хорошие люди бывали, какие хорошие слова го-

ворили... что задушевности накопилось в старых стенах, что мыслей и чувств бродит незримыми призраками в аллеях под зелеными шатрами лип и кленов!.. И вот, вдруг, нет ее — с дырявой красной крышей, с облупленными деревянными колоннами, с обвисшим балконом, который уже лет десять угрожал падением, но так-таки и выдержал характер — не упал, пока не сломали... Дом разобран и свезен покупательницею, буфетчицею Еликонидою: еще третьего дня Михайло Августович видел знакомые витые балясины террасы, точно чьи-то толстые мертвые ноги, сваленными серою кучею под рогожею, в углу депо, при станции. Сад широко повырублен, чтобы дать место новой постройке, на которой сейчас стучат и блестят под солнцем топоры, и, шевелясь, синеют и розовеют мужицкие рубахи. Новая стройка уже густо засыпала щепью оголенный рубкою пригорок над прудом, и выведенный кирпичный фундамент будущего нового дома прегордо смотрит сверху вниз на мусорные бугры и ямы — кладбище умершего дома старого... Михайло Августович, глазом хозяина, не может не оце-

нить, что стройка планирована дельно и ведется хорошо, но ненавидит ее — может быть, в особенности, именно за это, что хороша-то она. Так всегда старикам бывает досадно то удачливое и победоносное и, от удачи, хвастливое собою настоящее, которое приходит на смену любимому прошлому, чтобы стереть его с лица земли, не оставив ни следа, ни — вскоре — даже памяти...

Между новой стройкой и мусором старой усадьбы, немножко в сторону вглубь от обоих, на лысом месте, где, как говорится, ни лужицы, ни прутика, Михайло Августович заметил новенькую дачу-избу в две связи, с парусиною на крыльце-террасе и занавесками в окнах. Догадался, что это — временное помещение, в котором супруги Пшенки пережидают, пока воздвигнутся их новые хоромы, — и, с шибко бьющимся сердцем и побледневшим лицом, направил туда гнедка, зафыркавшего от радостной догадки, что, наконец-то, они, кажется, у цели, и он спустит с себя семипудового всадника... Мужики в синих и розовых рубахах, стучавшие топорами на стройке, озирались и кланялись...

Михаила Августовича встретила на крыльце действительно особа в полумонашеском темном одеянии, о которой он уже слышал. Но она совсем не показалась ему тем лютым цербером женского пола, как ее описывали, а, напротив, — прежде всего, молодою и красивою, а, затем, учтивою и даже приветливою. Только цвет лица ее был как-то болезненно темен, в коричневый оттенок, что делало ее похожею на старинную икону, и в больших, длинно прорезанных, серых глазах, которые, однако, казались темными под длинными черными ресницами, залегла глубокою основою недвижная угрюмость, что-то свое особое знающая, что-то скрывающая, что-то помнящая и обдумывающая — всегда, постоянно, независимо от того, что эта женщина среди людей делает и при людях с людьми говорит...

Зверинцев попросил доложить о себе, но женщина показала ему длинною, узкою рукою в сени и возразила голосом, искусственно тихим, но, по природе, звонким — певчим:

— Пожалуйте, батюшка Михайло Августович, милости просим: какие о вас доклады!

Барыня лежат в столовой.

— Больна? — испугался Зверинцев, позабыв даже удивиться, откуда эта иконописная фигура, которую он видит в первый раз в жизни, знает его имя и отчество, и вообще приветствует его, точно сто лет знакома.

— Нет, зачем, Боже сохрани! Просто — лежат. Они у нас вообще больше в том время проводят, что лежат, потому что утомляются летнею жарою... Пожалуйста! О лошадке не извольте беспокоиться: кучерок выводит и приберет...

Зверинцев — и сам не знал, почему, — заранее ожидал найти Викторию Павловну очень изменившеюся, но, все же, не настолько, как увидал. Он едва узнал ее в желтолицей, с опухлыми щеками, раздутыми губами, женщине, которая, в просторном ситцевом капоте, лениво поднялась навстречу гостю из лежащей позы и села на тахте, между опустошенной наполовину коробкою коломенской пастилы и толстою старою книгою, на которой глаза Зверинцева остановились с недоумением, потому что она показалась ему церковною...

— А, дед... вот кто! ну, здравствуйте... — знакомым милым звуком, произнес голос, которому Зверинцев и ответить словом не возмог, схваченный рыдающим волнением за горло. А, между тем, он слышал, что голос — и тот же, и не тот: равнодушный, будто обесцвеченный, отчужденный, далекий, не греющий. Он видел, что знакомые, любимые глаза, теперь обведенные ужасными синяками, смотрят на него без удивления и радости. Чувствовал, что восторженные, умиленные поцелуи падают на протянутую ему бесстрастную руку, точно на дерево автомата.

Что говорил Михаил Августович в волнении встречи, он потом и сам не помнил. Но, когда успокоился и прояснело немножко в встревоженной голове, опять увидел он перед собой равнодушное, скучливое, с отпечатком чуть не досады во взгляде и напряженной улыбке — опухлое, желтое лицо, с настороженными, внутрь себя глядящими и только к тому, что там видят, пытливыми, глазами.

— Витенька! Виктория Павловна! ангел мой райский! — возопил он, почти с всхлипыванием, высоко поднимая дрожащие муску-

листые руки, в рукавах потертого плисового кафтана, — что ж это такое? что это?

— Что? о чем вы? — возразила она, не глядя и будто каменея склоненным лицом.

— Мыслимое ли дело? Что ж это? в каком положении я вас застаю?

Тогда брови молодой женщины, тучею, сдвинулись и из-под них, черных, вылетела молния, в которой — на мгновение — узнал Михаил Августович прежнюю Викторию Бурмыслову и, оробев, слышал, как, — по прежнему же, когда хотела поставить фамиллярного человека на свое место, — она чеканила металлические слова:

— Что же вам удивительно в моем положении, Михаил Августович? Положение самое обыкновенное для замужней женщины... А ведь я замужем уже полгода.

Зверинцев, подавленный ее отчуждающим тоном, слыша и понимая его больше слов, тряс поределою, за зимнюю болезнь, но все же косматую сединою своею и бессмысленно лепетал:

— Ах, Витенька, Витенька... что над собою сделала!.. Ну — что? Как можно было? Зачем?

Судорога глубокою волною прошла по искаженным чертам Виктории Павловны... и исчезла, будто погасла. Взгляд опять сделался вялым, сонным, безразличным, и, — будто горестно вопрошающие восклицания «деда» на ветер улетели, — без внимания и ответа, — вялый, сонный, безразличный голос лениво тянул:

— А что же вы не скажете мне, как здоровье Антонины Никаноровны? Вы уж извините меня пред нею, любезный сосед, что я до сих пор не собралась к ней с визитом... С самого приезда все недомогаю, муж даже стал беспокоиться, не лучше ли было бы возвратиться в Рюриков, «где хорошие врачи... Но я не хочу: что за баловство? зачем? Если бы даже понадобилось, то в Полустройках Клавдия Сергеевна, земская врачиха, стоит любого профессора, а до Полустроек всего четыре версты... Но, как я только немного оправлюсь, поверьте: к вам первым... И, пожалуйста, не забудьте передать уважаемой Антонине Никаноровне мой самый, самый сердечный привет...

Кровь кипела в старике Зверинцеве и

алою краскою заливала ему виски.

— Это кулебяке-то от вас сердечный привет? — грубо рванул он и — встал. — Это к многодесятилетней дуре-то вы с визитом собираетесь?

Виктория Павловна поднялась, вслед за ним. Только теперь, когда она этим движением обтянула на себе капот, Зверинцев заметил ее большой живот и раздувшиеся груди и вполне осознал, что давеча она сказала ему о своем положении. И, не дав ей ответить на горький свой укор, спросил, быстро и грубо, испуганным рывком:

— Вы беременны?

Она пронзительно взглянула ему прямо в глаза и угрюмо возразила:

— А разве нельзя? Ведь я же замужем, любезный Михаил Августович, я же замужем.

И, так как он молчал, потерянный, и не находил слов, она, вздохнув, отошла к простенку между двумя окнами, покрытому длинным зеркалом, как в парикмахерской, и, перебирая на подзеркальнике наставленные, между двумя японскими вазами с огромными букетами фрезий и тубероз, флаконы и безделуш-

ки, заговорила спокойно и веско:

— Я боюсь, Михаил Августович, что вы, бедный мой, сегодня ошиблись адресом. Сейчас вы мне напомнили время, когда мы были буйны и надменны, любили смеяться над людьми, давали им злые и презрительные клички. Вижу из этого, что ехали вы к Виктории Бурмысловой, и нисколько не рады, что попали к Виктории Пшенке. Что делать, дорогой? Как говорила покойная Арина Федотовна, девке — девичье, бабе — бабское...

— Вы — и бабское!.. — пробормотал «дед», мотая, поперек груди повешенную, сиво-косматую голову.

И — получил ответ медленный, продуманный, будто заученный:

— То-то, вот, говорю: горда слишком была, возносилась над женством своим. А Бог выждал время — принизил — и смирил...

Зверинцев поднял на нее изумленные, недоверчивые глаза, перевел их на толстую книгу, которую она оставила читать с его приходом и, нахмуренный, возразил:

— Это новое. Давно ли вы стали мешать в механику вашей жизни такие высокопостав-

ленные пружины?

Она ответила просто и сухо:

— Я не могу и не хочу говорить об этом в вашем тоне.

И продолжала начатое свое:

— Он снял меня с призрачной высоты и поставил на сужденное мне место. И поверьте мне, Михаил Августович, хотя вас это возмущает: я сейчас, действительно, гораздо ближе к вашей Антонине Никаноровне, над которою мы когда-то так преступно смеялись, чем к вам. Я знаю, что она меня не любит и презирает, и, все-таки, если бы она сейчас была здесь на вашем месте, то она нашла бы что сказать Виктории Пшенке понятного, общего, задушевного, и я, Виктория Пшенка, — ей. А у вас Виктории Пшенке сказать нечего: она вам ненужна и даже презренна, потому что — и она, подобно вашей Антонине Никаноровне, — вежливо сказать: дама, прямее сказать: баба. То самое досадное, скучное, будничное существо, от которого вы в былое время бежали — жаловаться, браниться и плакать — к Виктории Бурмысловой. И теперь, конечно, — повторяю, — вы приехали оплакивать и, мо-

жет быть, воскрешать Викторию Бурмыслову, которую дьявол мчал вихрем по свету, как новую Иродиаду, которая свой пол обратила в игрушку своеволия, которая в своем позоре видела подвиг жизни...

— Вы, говорят, теперь с какими-то монахинями все водитесь, — сурово перебил ее Зверинцев. — Это оттуда, что ли? До Иродиады и дьявола договорились. Это, действительно, хоть моей Антонине в пору... А — что видеть вас такую, как я нашел, мне невыносимо горько, — это безусловная правда, и скрывать от вас тоже не могу, и не хочу. И за то, чтобы Виктория Бурмыслова, как вы говорите, воскресла, я, старый ваш друг, с удовольствием отдал бы правую руку свою, а, пожалуй, если надо, и голову. Потому что Виктория Бурмыслова была нам, малым болотным человечкам, — как небо, в нас отражавшееся, потому что от Виктории Бурмысловой шли на нас, горемычных людишек, свет и тепло, и я первый скажу: с тех пор, как ее не стало, мне солнце темно, меня лето не греет...

Виктория Павловна сухо остановила его:

— Нельзя всю жизнь искать тепла и света

у чужого очага. И как часто мы принимаем за такой очаг — просто огонь адский. И, пока греемся этим злым обманом, собственный наш очаг, сужденный нам Богом, хиреет в презрении, покрывается пеплом, гаснет, охладевает в ничтожестве смерти... И это преступно. Грех, которого не замолить и не загладить потом всем остатком жизни... Одно упование — Божие милосердие, но, ведь, и оно не беспредельно, потому что основа милосердия — справедливость...

Михаилу Августовичу очень хотелось резко возразить ей, что есть очаги, которые очень хорошо сделали бы, если бы не только погасли и охладели, но и песком рассыпались бы. Но он сдержался и только спросил угрюмо:

— Вы уж не поэтому ли и замуж-то вышли — спасая воображенный очаг? От ваших фантазий станется...

Лицо ее опять пошевелилось судорогою, но она спокойно ответила:

— Нет, не поэтому.

Подумала и прибавила.

— То есть вернее будет сказать: думала,

что не поэтому, так как была еще горда и воображала, будто человек властен управлять своею жизнью помимо Бога. Но Он взял меня, бессознательную и воображавшую, будто я осуществляю свою волю, и повел меня — куда предопределил, и теперь, когда мои глаза просветлились, я поняла, что — да, вы правы, именно поэтому...

— До фатализма уже смирились! — горько заметил «дед».

— Нет, — спокойно отразила она. — Это не фатализм. Это ему совсем противоположное. В мире нет судьбы, но есть сужденность, которую верующие люди зовут Промыслом, Провидением, — величайшим действием силы и любви Бога к человеку. Я сознаю себя во власти своей сужденности — она меня настигла, открыла мне, кто я и зачем я, и указала мне цель жизни и путь спасения. Нет, это не фатализм...

Она подошла к тахте, взяла с нее свою толстую, книгу, перевернула несколько листов и — из-за нее — подняла на Зверинцева внимательные зоркие глаза, убежденные и внушающие:

— Слыхали вы имя святого Исидора Пелусиота?

— Мне-то не диво слышать, — проворчал Зверинцев, — я в семинарии учился, хотя и скверно, и дьяконом был, хотя и извержен, но вас-то как умудрило добратся до Исидора?

— Он говорит, — продолжала Виктория Павловна, не отвечая: — «если есть судьба, то нет закона; а если есть закон, то нет судьбы. Если есть судьба, то нет места увещанию; а если есть место увещанию, то нет судьбы». Вот это именно моя вера. Я не судьбу признала, а вняла увещанию и приняла закон.

— Это игра слов, Виктория Павловна. Что принять закон значит выйти замуж, к этому только деревенские бабы жизнь свою сводят...

— Я не виновата, если деревенские бабы правы. И не думайте, чтобы я приняла ваше сравнение себе в упрек. Говорю же вам: бабе — бабское... я отгуляла девичье, теперь живу бабьим веком...

Михаил Августович только качал буйною головою, уныло повторяя:

— Нет, это даже не религиозное помеша-

тельство... это хуже..., это просто возвращение в суеверие, в первобытную дикость... ушам своим не верю, что вы такое говорите... когда пришло к вам это? как вас этим охватило? кто научил?

— Когда?., кто?..

Она стояла перед ним, колеблясь в задумчивой нерешительности, — и, вдруг, опять сверкнула прежнею Викторией Павловной, точно внезапный огненный язычок взвился из-под пепла, лизнул воздух и погас...

— Вот что меня научило, — вызывающим голосом непреклонно властного убеждения произнесла она, тихим указующим движением кладя руку на свой высокий живот.

Зверинцев глядел, не понимая. Виктория Павловна села на тахту, облокотилась обеими руками на мутаки, положила щеки на ладони и, пытливо глядя снизу вверх в глаза Зверинцеву, спросила страшно серьезно:

— Вы способны поверить в чудо?

«Дед», сердито хмурый, проворчал:

— Див на свете видал много, чудес — никогда.

— А это разве вам не кажется чудом?

Зверинцев ответил ей взглядом предостерегающей, унылой иронии и сердито сказал:

— Вы опять собираетесь играть какими-то большими словами. Не надо, Виктория Павловна. Нехорошо. Мне не хотелось бы обидеть вас грубостью, но... вон, из ваших окон видна деревня: чудо, подобное вашему, найдется там, вероятно, в каждой избе...

Она прервала его с некоторым нетерпением:

— Там это не чудо, а у меня — чудо.

Зверинцев усмехнулся с неестественным сарказмом:

— Ну, если вы исключаете себя из законов природы, то смирение, которое вы теперь проповедуете, овладело вами еще не слишком сильно...

Виктория Павловна возразила тихо, грустно и кротко:

— Не я исключаяю себя из законов природы, а природа меня исключила из своих законов. Слушайте. Тринадцать лет тому назад, Феничка родилась у меня легко, но после родов я в чем-то не остереглась, заболела, потребовалась операция, которую сделали скверно,

последовало какое-то смещение, выпадение... je ne sais quoi... словом, три, исследовавшие меня с тех пор, гинекологические светила, в один голос, ставили диагноз, что я женщина совершенно здоровая, но — в другой раз матерью мне не бывать, разве лишь я соглашусь на какую-то новую операцию, которая исправит мою внутреннюю порчу. Но я детей иметь не стремилась нисколько, а напротив, почла свое бесплодие большою любезностью со стороны природы, отнявшей способность материнства у женщины, которая его не желает, а свободу пола исповедует и любовников имеет... Не морщитесь и не краснейте, Михаил Августович: из песни слова не выкинешь, а ведь это же биография вашей Виктории Бурмысловой... дело прошлое... угасшая бэль... Ну, и жила себе в свое удовольствие: с каждою «зверинкою», как называли это мы с покойною Ариною, безобразничала, сколько хотела, переходила из объятий в объятия — грешила, а материнством не расплачивалась. И была очень довольна, и совсем не рассуждала о том, что эта мнимая снисходительность природы к нераскаянной грешнице, в

действительности, есть проклятие бесплодной смоковнице, пышной, красивой, но бесполезной и — осужденной. Осужденной — за непроизводительность — завять и засохнуть в одинокой и угрюмой старости и — в то время, как все старые деревья возродятся и обновятся в молодых ростках и листьях, — остаться мертвым, никому не нужным пнем... Вы помните Ванечку Молочницына, Аринина сына? — круто повернулась она к Зверинцеву.

«Дед» хмуро склонил сивоусое лицо: он слишком помнил!

Виктория Павловна продолжала:

— Это — почти открытый роман мой, о нем все знают. Я жила с ним долго и — нежно. Я почти любила его. Если бы я не была много старше его, я, вероятно, вышла бы за него замуж. Но он был сравнительно со мною мальчик и я не хотела связать его молодые крылья обязательствами к стареющей жене. Я предчувствовала, что связь наша ненадолго, и он меня скоро бросит. И мне было жаль — не его, как любовника, не себя, как любовницы, — а той опекающей привязанно-

сти, которую я успела к нему получить. Это были первые мои отношения к мужчине, в которых страстность затушевалась нежностью... пожалуй, что — именно — почти материнскою. И, когда я думала о том, что Ванечка меня скоро бросит, мне приходило в мысль, что было бы хорошо, если бы мне остался от него ребенок, на которого я могла бы перенести эту новорожденную нежность усталой стареющей души... Но ребенок не зачинался, а желание иметь его было все-таки не настолько сильным, чтобы я рискнула на операцию... И вот тут-то впервые я подумала то, что сейчас говорила вам: что моя неспособность к деторождению — может быть — вовсе не любезность природы, а, напротив, проклятие, не попустительство, а наказание... Вы знаете отца Экзакустодиана?

— Это... тот... пресловутый... иоаннит, о котором пишут в газетах?

Виктория Павловна кивнула головой.

— Это человек вещей, — с убеждением сказала она. — Муж, осененный благодатью Божией! Да... человек вещей!.. Я не люблю его и боюсь... или, может быть, только боюсь... Ко-

гда я впервые узнала его, он духом проник во мне безмужнюю блудницу и спросил: сколько у тебя детей? Я отвечала: одна дочь. А он сказал на это: «Жалеет тебя Бог-то, воспрещает блуду твоему расползаться по свету... Нет, значит, тебе больше от Него женского благословения, запер он твое чрево»... Слышите? поняли?

— Виктория Павловна! Мало ли что юродивые мелят? Еще сдержан был, мог ляпнуть и хуже... Я, матушка, знал юродивого, который в животы беременным женщинам апельсинами швырялся... и не только не обижались, а почитали за благодать!.. А — что Бог вас женского благословения не лишал и чрева не запирали, доказательство: — нынешнее ваше положение, в котором вам угодно усматривать чудо...

— Да, чудо! — резко оборвала Виктория Павловна.. — И я не понимаю, как вы-то теперь после того, что я вам рассказала, не видите чуда? Ведь, это надо нравственно слепым быть...

— Может быть, Виктория Павловна, но — поскольку я еще зрячий — глаза мои видят

только то, что господа врачи ваши ошибались, а могучий организм ваш, сам собой, оздоровел до степени, которой вы не подозревали...

Виктория Павловна, слушая, качала головой, храпя на лице выражение победы, как бы сожалеющей о неразумии, которое не может примкнуть к ее торжеству:

— Организм мой оздоровел, — произнесла она важно и значительно, — но не сам собою, а — таинством...

— Что?

Зверинцев даже приподнялся с тахты, на которую было опустился. А Виктория Павловна, держась руками за мутки позади своей спины, твердила, будто наступая, упрямо, напористо, сверкая мрачно ликующими глазами сквозь опущенные ресницы:

— Да, да. Таинством брака, святыне которого я, неверующая блудница, думала посмеяться, сочетаясь в притворный союз, а оно овладело мною и совершило чудо, чтобы вырвать меня из греха и возвратить к Богу...

— Час от часу не легче! Этому вас тоже Эскустодиан научил?

— Нет, — тихо отвечала Виктория Павловна, — он меня ничему не учил, он только благословил меня на это...

— Ну, Виктория Павловна, вы знаете, я человек не злой и миролюбивый, но, за подобное благословение, я бы ему, вашему Экзакустодиану, бороденку выдрал... Безумная женщина! что вы с собою сделали? кому вы позволили распоряжаться собою? кому вы позволили отдать себя? Ведь над вами же — если так — преступнейшее надругательство совершено, какой-то гипнотический обман — хуже убийства...

— Перестаньте, — прервала она, с покровом гнева в глазах и голосе. — Это грубо, напрасно и несправедливо. Никто мною не распорядился — сама собою распорядилась. А отдала себя тому, кто имел на меня право. Я это право украла, но — пришло время справедливости и возмездия, и Бог меня покарал и образумил, а право восстановил и возвратил... Говорю же вам, — многозначительно подчеркнула она, — я заключала брак фиктивный, только чтобы девочку свою узаконить и снабдить отцовским именем, а, вместо того, вы види-

те — оказалась настоящей женою и опять готовлюсь быть матерью... И — воли моей к тому не было! да! не было! — это сделалось властью, которая была вне меня и оказалась сильнее меня...

— Позвольте! — горячо воскликнул Зверинцев, — ведь, это же формальный абсурд, непримиримое противоречие. Сейчас вы уверяли — сама собою распорядилась, теперь уверяете — воли вашей не было... Что же вы, в самом деле, загипнотизированы были? или негодяй этот принудил вас? запугал?

— Прежде всего — не надо браниться, — спокойно остановила она. — Никто меня не гипнотизировал, не принуждал, не запугивал, а — просто и именно — я воображала, будто творю волю свою и низменную, между тем как осуществляла волю внешнюю и высшую — божественную волю, выраженную в совершенном надо мною таинстве...

— Знаете ли, Виктория Павловна, — сухим, почти гневным вызовом возразил Зверинцев, — когда человек говорит, будто божественная воля имеет о нем особое попечение и, так сказать, специально вмешивается в ру-

ководство его судьбою, мне совсем не кажется, чтобы он очень смирился...

— Но ведь вы же сами сказали, что то чудо, которым обнаружилось это попечение, можно видеть в каждой избе? Неужели это гордость для женщины — открыть, что Бог простил ее настолько, чтобы поставить зауряд с другими женщинами ее возраста и позволить ей исполнить общий закон, которым он благословил и проклял праматерь Еву?... Скажите мне, Михаил Августович, вы помните молитвы, которые читаются, когда совершается обряд венчания?

— Я, по былому дьяконству моему, обязан помнить, — сердито отозвался Зверинцев. — А из мирян — конечно, кто их помнит?.. До того ли человеку, когда его венчают, чтобы ему запомнить, что бормочут поп и дьячки, вопят дьякон и певчие?

— К сожалению, вы правы, — согласилась Виктория Павловна. — Это одно из ужаснейших обольщений дьявола, что в самые важные минуты своих религиозных подчинений, мы не обращаем внимания на слова, которым отдаем себя во власть, и не придаем значения

действиям, которые над нами совершаются... Мы приемлем таинство, как условность, как шутку, а оно безусловно и не умеет шутить. Вот в этой книге, — указала она на лежавший на тахте толстый том, — я вчера читала рассказ о мученичестве актера Генезия... Мне его еще раньше указывал и советовал к руководству один мой друг, священник... Но тогда я ему не вняла, а теперь дошло до сердца... Подождите, я сейчас найду вам, — подхватила она книгу. — Слушайте... вот... «Генезий хотел представить на сцене в смехотворном виде таинство христианского благочестия. Посему в присутствии императора и всего народа, лежа посреди театра как бы больной, Генезий просил крещения в таких комических выражениях: *эх, други, мне тяжело, хочу облегчиться.* Другие актеры отвечали: «как же мы облегчим тебя? Разве мы столяры, чтобы обстрогать тебя?» Эти слова возбудили в народе смех. Генезий продолжал: *чудаки, хочу умереть христианином.* «Зачем?» Генезий отвечал: *затем, чтобы в оный день я, как беглец, обретен был в Боге.* Явились пресвитер и заклинитель, и Генезий, внезапно, по вдохнове-

нию Божию, уверовал. Ибо — когда те сели около его постели и сказали: «чего ради послал ты за нами, чадо?» — Генезий уже не притворно и фальшиво, а от чистого сердца отвечал: *я желаю принять благодать Христову, чтобы, возродившись ею, избавиться от бездны беззаконий моих.* Таинственные обряды были совершены, и облеченный в белые одежды актер был схвачен на сцене воинами и, подобно мученикам, был подвергнут розыску за Христа. Поставленный пред императором на возвышенном месте, Генезий держал такую речь: *«Слушай, император и все войско, мудрецы и народы сего города! всякий раз, когда я видел христианина или оглашенного, я чувствовал отвращение и издевался над твердостью исповедников веры. Я отрекся от родителей и сродников из-за их христианства, и, осмеивая христиан, прилежно изучал их таинства, чтобы из их священнодействия сделать для вас потеху. Но когда вода коснулась моего обнаженного тела и на вопрос о вере я признал себя верующим, то я увидел руку, сходящую на меня с неба, и лучезарных ангелов около меня, которые прочитали по кни-*

ге все грехи, совершенные мною от детства, и омыли их в той воде, в которой, в виду вашем, я был погружен, и показали затем мне книгу белее снега!».

— Виктория Павловна...

— О, не возражайте! Я не для спора... Мне все равно, верите вы этой легенде или нет... Пусть даже сказка — я беру ее только для аналогии... Вы видите, как древне и сознательно убеждение в силе таинства, овладевающей человеком не только помимо его воли — даже наперекор ей, лишь бы оно было совершенно? в вещую власть священных слов, лишь бы они были произнесены?.. И — вот — я чувствую себя в такой же области чуда, совершенного надо мною таинством брака, как этот насмешливый Генезий преобразован был в христианина чудом, которое совершило таинство крещения... Я, как Генезий, стал под венец, надеясь после обряда снять его, как маскарадный наряд, а он прилип к голове и повелевает тою, осуществив, вопреки моей воле, те заветы, во имя которых религия его на меня надела... «Сочетается мужу жена, в восприятие рода человека»... «еелее податися

им чадом в приятие рода»...

— Виктория Павловна, эти прошения возглашаются при каждом бракосочетании, а — сколько браков остаются бездетными.

Она страстно воскликнула с раздражением:

— Какое мне дело до того, что бывает с другими? Я не могу судить Промысла в чужих мне тайнах. Я знаю, что было со мною, — и этого мне довольно. Я знаю, что, не веруя и не ожидая силы слов, я позволила молиться о себе: «Да явиши, яко твоя воля есть законное супружество, и еже из него чадотворение», — «сопрязи я во единомудрии, вльгай я в плоть едину, даруй има плод чрева, благочадия восприятие»... И все это исполнилось — как крещение над Генезием — победив мое нежелание, в ничто обратив мой обман, восторжествовав над запретом природы и мудростью медицинских оракулов... Тринадцать лет неродиха — вне закона, не зачинавшая от молодых и сильных, — в законе понесла плод от пятидесятилетнего слишком мужа. А вы говорите: не чудо...

— Тринадцать лет тому назад, — мрачно

возразил Зверинцев, — точно такое же чудо произвел с вами тот же самый человек, и закона для этого опыта тогда совсем не потребовалось...

— Нет, требовалось! — горячо воскликнула Виктория Павловна, — нет, требовалось, но я не услышала требования, не вняла призыву... Ослепленная гордостью, я тринадцать лет не могла ни понять своего тогдашнего падения, ни простить себе его, всю жизнь свою безнужно изломала, трусливо скрывая его, как стыд и позор, — хуже смерти... А, между тем, дело было так просто: надо было лишь смириться и понять, что грехом моим Бог указывает мне путь к покаянию — мужа, которому я должна была принести жертву брака, и жертвою просветиться... Но дьявол закрыл мне глаза надменным отвращением...

— Виктория Павловна! — быстро и громко перебил ее Зверинцев, точно обрадовался и поспешил поймать на слове. — Вы так хорошо изучили чин бракосочетания, что, конечно, помните и то, что жена должна хранить пределы закона не как-нибудь, но — «веселящаяся о своем муже»... Да-с, это точный текст:

«веселящихся о своем муже, хранящи пределы закона, зане так благоволи Бог»... Заметьте: «зане так благоволи Бог»... это, значит, не совет, а заповедь, предписание... Ну, и что же — этому вот предписанию вы удовлетворяете?

Виктория Павловна бросила на него быстрый взгляд, полный тревожного подозрения:

— Я не понимаю, что вы хотите сказать?

— Да именно то, что говорю: веселитесь вы о муже своем, которому вас, по нынешним понятиям, сам Бог уготовал в жертву? Очень он вам приятен и мил? Любите вы его?... Ага, молчите? То-то!

— Я молчу, — глухо произнесла Виктория Павловна, бледнея, — потому что обдумываю, как лучше объяснить, чтобы вы поняли...

— Что тут обдумывать! Мой вопрос прямой и короткий — и ответ на него, если искренний, должен быть тоже короткий и прямой. Любить господина Пшенку вы не можете — и сами знаете, что никогда вам не удастся заставить себя его полюбить. И, хотя вы обставились катехизисом, точно каменной стеною, а все-таки внутренняя-то ваша правда протестует из вас, помимо вас, — словами, ко-

торых вы и сами не замечаете, как они у вас вырываются. Уж какое там веселье о муже, когда я только и слышу: «искупление», «жертва», «покарал», «смирил», «наказание... Да иначе и быть не может, потому что, вот, сейчас у вас с языка спрыгнуло еще выразительное слово — «отвращение». Ну-с, и позвольте вам прямо сказать: я вас знаю двенадцать лет и столько вас любил и о вас думал, что немножко-то вас, все-таки, изучил и понимаю. Переступить через отвращение вы, по гордости своей, — заметьте: не по смирению, которое вы все подчеркиваете, я в него ни капельки не верю и настаиваю: по гордости, непременно по гордости, только и непременно! — переступить через отвращение вы еще можете, но — возвеселиться об отвращении, возлюбить отвращение... Это — извините: не обманете, никогда не поверю, не того закала вы женщина...

— Каких же вы обо мне мыслей должны быть в таком случае? — спросила Виктория Павловна еще глуше, низко опустив голову и пылая ушами.

— А каких мыслей? — видя ее смущение,

храбро хватил «дед», — таких мыслей, что попали вы в какую-то прескверную ловушку, из которой не могли выбраться с честью, а, когда она вас захлопнула и погубила, вы, в гордости своей, уверили себя, будто сами такую гибель избрали, и других в том уверяете... А Экзакустодиан и монашенки какие-то, с которыми вы теперь дружите, сейчас же бросили вам вспомогательную веревочку, ну, и...

— Ловушка, в которую, как вы полагаете, я попала, называется чувством долга, Михаил Августович, — внушительно прервала она, хотя головы не подняла. — Ее выстроило для меня лучшее, что есть в женском сердце, — пробудившееся материнское чувство...

— Ну, да, ну, да... — отмахнулся Зверинцев. — Я это уже слышал, знаю, разобрался в этом... А кстати: где же ваша дочка? покажете вы мне ее?

— К сожалению, не могу: она в Дуботолковке, с Анною Балабоневскою, о которой вы, вероятно, слышали от меня...

— Вот как. Жаль, крепко жаль... И надолго? Виктория Павловна, оживившаяся было при спросе о Феничке, опять омрачилась:

— Да, она там учиться будет, скоро уже начало занятий...

— Как? Стало быть, и на зиму?

— Да, на всю зиму...

— А вы здесь?

— Я буду здесь... Рожать, впрочем, муж убеждает в Рюрикове... мне все равно!

Оба примолкли, — «дед» в новом сердитом недоумении, Виктория Павловна в новой беспокойной печали...

— Как же так, Виктория Павловна? — начал Зверинцев, угрюмо дергая седой казацкий ус, — я опять не понимаю: ведь, вы же всю эту свою, извините за выражение, брачную канитель только для того и затеяли, чтобы соединиться с дочерью в неразрывные открытые узы и не жить врозь... А вот, оказывается, — вы опять в разлуке, да еще и далекой, и долгой... Видно, и тут у вас что-то не так...

Виктория Павловна молчала и горела опущенным лицом. Наконец заговорила медленно и тихо:

— Другому человеку я ответила бы какою-нибудь условною причиною, которая не была бы ложью, но не сказала бы и чистой

правды. Но вам, «дед», отвечу полною истинною. Страшно тоскую по девочке, но удалила ее от себя я сама...

— Зачем? — изумился Зверинцев, высоко подымая по кирпично-красному лбу косматые сивые брови.

Виктория Павловна сурово сдвинула брови.

— Затем, что для тринадцатилетней девочки совсем не воспитательное зрелище наблюдать беременность своей матери...

Зверинцев подумал и сказал уступчиво:

— С этим я, пожалуй, согласен, хотя... если держаться вашего взгляда строго, то половине подрастающих девочек в России не пришлось бы никогда и дома побывать, потому что материнский период у русских женщин долгий, и роды частые... Да и вряд ли девочка тринадцати лет — в наше просвещенное время — может быть настолько неразвита, чтобы поверить, если мамаша покажет ей родившегося в ее отсутствие братца или сестрицу и объяснит, будто нашла их в капусте или получила в подарок от аиста...

— Подобных объяснений я и не собираюсь

давать, — сухо возразила Виктория Павловна, — но не нахожу также удобным, чтобы девочка слушала по целым дням разговоры о родах, высчитыванье их сроков, сравнительную оценку акушерок и повивальных бабок, приметы и гаданье, будет мальчик или девочка, предположения, кого позвать крестным отцом, кого матерью...

— Несомненно, но — почему же такая откровенность, при девочке, необходима? Мне кажется, избежать так легко...

Виктория Павловна нахмурилась, закусила губу.

— Не совсем, — процедила она сквозь зубы, не глядя на Зверинцева. — Вы видите, как тесно мы сейчас живем... А муж мой... он, конечно, человек очень добрый, во всяком случае, далеко не такой дурной, каким вы его воображаете, но он принадлежит несколько старшему веку, выработал свои привычки в другом и нельзя сказать, чтобы высоко, обществе, в иных понятиях и правилах, чем мои и которые я желала бы видеть в своей дочери... Тем более, что он... как бы это сказать вам?., ну... уж слишком счастлив нашим се-

мейным союзом и выражает это немножко чересчур громко и откровенно...

— То есть, — мысленно перевел Зверинцев в уме своем, — ты своего брака и беременности стыдишься, а он тобою хвастает во все горло, рад был бы на базаре распубликовать... чего и ожидать следовало!

А вслух сказал, значительными ударениями давая понять, что уразумел смысл ее слов:

— Предположение то мое, значит, оправдывается: до веселья о муже своем вам далеко...

— Я и не говорю, что я совершенная жена, — тихо возразила Виктория Павловна. — Я столько лет пробыла во власти дьявола и так отравлена ею, что не в состоянии сразу побороть все свои недостатки...

— Дело тут не в дьяволе и не в ваших недостатках, а, просто, в том, что нельзя заставить себя любить того, кто любви недостоин... Ну, а безлюбовный брак, это, какими софизмами и текстами вы ни защищайтесь, — мучительство самой себя и надругательство над своим женским достоинством... вот что-с, уж извините меня! — и — тогда — понятно — уж ка-

кое тут вам «веселящихся»!

— Софизмов мне не надо, — бледная, возразила она, вставая, — а текст один я вам тоже напомним. Вы все о любви... А что такое любовь, как ее понимают в мире? Смесь эстетизма с чувственным своеволием. Разве браки для этого заключаются? разве таинство нисходит с неба, чтоб освящать женскую прихоть и каприз? разве церковь молилась о том, чтобы я получила изящное удовлетворение плотских страстей? Неправда! «Даждь рабе сей во всем повиноваться мужу, и рабу твоему быти во главу жены, яко да проживут по воле твоей!» — вот оно, брачное моление-то, и вот где они — тайна и долг брака...

— Виктория Павловна, когда вы, — вы! вы!! — требуете от женщины брачного повиновения мужчине, это так же естественно и правдоподобно, как если бы прокурор синода стал проповедывать свободу развода или гражданский брак.

— Ах, да позабудьте же вы, наконец, видеть во мне Викторию Бурмыслову! — истерически взвизгнула она, даже взмахнув рукою, точно вырвала из груди девичье свое имя и

бросила его себе под ноги. — Помните, что пред вами стоит Виктория Пшенка, замужняя Виктория Пшенка, законная жена Ивана Пшенки, а совсем не то безумное чудовище, которым играя, дьявол обольщал несчастных людей — в том числе, и вас, обманутого, ослепленного... Виктория Пшенка, которая только о том и молит Бога, чтобы Он помог ей выдержать с честью бремя взятого на себя подвига... Вы опять усмехнулись на слово... Так не боюсь же я ваших усмешек! Ну, да! И подвиг, и жертва, и наказание, и насилие над собою... все, все слова, на которых вы меня поймали... Но — что, что, что из этого следует? что следует, спрашиваю я вас?

— Да то следует, — разозлился, в свою очередь, тоже и «дед» и весь встопорщился усами, бровями и чубом, — то следует, что бывают подвиги и жертвы, которые нелепостью своею равняются преступлениям против природы... да-с!.. То следует, что есть долги, которых и принять-то на себя вы — да-с, да-с, именно вы, — не можете, не извратив всей своей природы — до самоуничтожения! А уж платить по этим долгам с искренностью, не

чувствуя себя истязуемою мученицею, вы могли бы только — разве выколов себе глаза, уши и ноздри залив носком, от осязания отка-завшись, рассуждения лишившись, из женщи-ны в вещь обратиться...

Он осекся, испугавшись, что говорил, по-чти кричал грубо, но его возмущение — на-оборот — Викторию Павловну как будто успо-коило. Тихо качая головою, протянула она ру-ку за толстою книгою на тахте, а сама говори-ла:

— Я предостерегала вас, Михайло Августо-вич, что нам не надо спорить... Мы говорим на разных языках и на разные темы... Я вам — о долге и подвиге духа, а вы мне — все о том же чувственном эстетизме... Послушай-те: ведь это же в конце концов ничтожно и жалко, об этом не стоит говорить... Всякая плоть — гниение, уничтожение; одна обезоб-разится и разрушится раньше, другая поз-же — только и разницы... Дух, просвещенный религией, как орел с обновленными крылья-ми, перелетает эти границы, которыми дья-вол бунтует смущенную и запуганную плоть... Де становитесь же его союзником.

Господь послал мне, в таинстве своем, ангела повиновения...

— Сумасшествие он вам ниспослал! — вне себя, вскрикнул багровый Зверинцев. — О, сто чертей! Подарила себя свинье, которая ее лопает, да еще и волшебным кругом себя очертила, чтобы какой-нибудь сострадательный человек не вмешался и не отнял... Уж именно, что справедлива пословица: захочет Бог наказать — так прежде всего разум отнимет... Жаль, что я не верю в вашего дьявола, о котором вы теперь так много разговариваете. А то бы сказал я вам, сударыня моя, без обиняков: никакого ангела повиновения небеса вам не посылали, а это именно дьявол рабства в вас вселился... да-с! да-с! дьявол, дьявол, нашептанный вам монашенками вашими, Экзакустодианами-шарлатанами и чёрт их знает, кем там еще и как их зовут... с удовольствием бы всю эту шваль перетопил в первом поганом болоте!.. Но знайте, прекрасная вы моя госпожа, что — к счастью человечества — сумасшествие в нем не правило, а только случайность. И — пусть случайность позволяет, чтобы свинья иногда лопала розы,

но — чтобы розы это свиное их лопанье находили нормальным и им от Бога предназначенным, — такого закона в природе, извините, нет! Нет и нет!

Виктория Павловна как будто даже и не слышала его гневных выкриков, листуя свою толстую книгу.

— Скажите, — кротко произнесла она, — вы читали когда-нибудь «Шестоднев» Василия Великого?

— А, право, не помню, — с досадою отозвался, как огрызнулся, Зверинцев, — что мне до вашего Василия? Может быть, и читал, может быть, нет... Ведь я семинарию кончил на девятнадцатом году, а сейчас мне пятьдесят седьмой...

Виктория Павловна протянула ему книгу.

— В таком случае, будьте добры — вместо дальнейшего напрасного препирательства о повинности и бунте — прочтите вот эту страницу...

Зверинцев почти машинально взял у нее книгу, сел, положил книгу на колени, оседлал нос очками в серебряной оправе и — глядя дальнорезкими глазами, все-таки, поверх оч-

КОВ — стал внимательно читать, свысока вглядываясь в предложенные строки:

«Ехидна, самая лютая из пресмыкающихся, для брака сходится с морского муреною и, свистом извещая о своем приближении, вызывает ее из глубин для супружеского объятия. И мурена слушается и вступает в союз с ядовитою ехидною. К чему клонится эта речь? К тому, что если и суров, если и дик нравом сожитель, супруга должна переносить это и ни под каким предлогом не соглашаться на расторжение союза. Он буен? Но муж. Он пьяница? Но соединен по естеству. Он груб и своенравен? Но твой уже член и даже драгоценнейший из членов. — Да выслушает и муж приличное ему наставление. Ехидна, уважая брак, предварительно извергает свой яд: ужели ты, из уважения к союзу, не отложишь жестокосердия и бесчеловечия?»

Зверинцев прочитал, перечитал и — бросил книгу на тахту в совершенном бешенстве, так что злополучный том высоко подпрыгнул, шелестя страницами.

— Да ведь это же чепуха! — завопил он, —

как вам не стыдно? Это же ерунда! Этого же не бывает в природе... Вы же знаете!

Ответа ему не было...

Он, сконфуженный и озадаченный, растерянно оглянулся: Виктория Павловна, пока он читал, тихо исчезла из комнаты, а в дверях стояла и кланялась в пояс ее красивая полу-монашенка и медовым голосом просила:

— Не обессудьте, Михайло Августович, пожалуйста на террасу, к самоварчику, — чайку напиться. Барыня извиняются, что им немножко не поздоровилось, прилегли отдохнуть: обещали выйти попозже к ужину. А вы уж — с дорожки-то — пожалуйста, пожалуйста, окажите честь, милости просим...

II.

Как ни был расстроен Михаил Августович беседою с Викторией Павловной, а севшая за самовар, чтобы напоить гостя чаем, полу-монашенка его заинтересовала. Сперва — очень враждебно, потому что он видел в ней представительницу или союзницу той мистической силы, которая овладела бедною «внуч-

кою» с такою удручающею силою захвата, что огорченному и негодующему «деду» он серьезно казался началом развивающегося психоза.

— Где я? что это? с кем я был? кто со мною говорил? — летели в уме его мысли, как волны в прибое. — Оборотень! Подменили человека!.. Ехидна... Мурена... «Шестоднев»... Василий Великий в качестве решающего авторитета... Ну, а Дарвина-то куда же? Псу под хвост? Ведь, двенадцать лет тому назад, вместе читали... «Происхождение видов»... толковала, чего но понимал... Непостижимо!.. Если бы не такой больной и несчастный ее вид, почел бы за насмешку и притворство... Ну, я понимаю: сделала глупость, вышла замуж чёрт знает, как... спохватилась, что дала промашку и закабалила себя свинье, а не хочет показать себя людям в обиде и несчастий... понимаю!.. Ну, приняла на себя крест, — скрепила сердце, сжала зубы, остепенилась на строгую линию: была Калипсо, буду Татьяна, верная супруга и добродетельная мать... понимаю!.. Но, чёрт возьми, не суй же ты мне в глаза Экзакустодианов с «Шестодневами», не отрекайся от

здорового смысла, не издевайся над законами природы... Ехидна... Мурена... Беременна не потому, что с мужем спала, а потому, что поп вокруг аналоя обвел... чудо!.. Текстами жарит... ишь! до Исидора Пелусиота проникла... Его и из попов то не всякий помнит... Памятища-то прежняя осталась... Унижение паче гордости... С пресмыкающимися себя сравнивает... А самое, между прочим, так и вскидывает... Словно кошмаром захватило!.. Бред, бред и бред!..

На террасе свежий воздух тихо и ясно веереющего дня обнял разгоряченного старика и немного охладил и успокоил.

— Вы откуда меня знаете? — недружелюбно спросил Зверинцев, когда полумонашенка, за чаем, опять назвала его по имени и отчеству. — Я что-то не припомню, чтобы вас видал. Кабы встречались, помнил бы: у вас лицо приметное...

Полумонашенка объяснила, что Михаила Августовича она, действительно, видала только издали, но была дважды принимаема его супругою, Антониною Никаноровною, в его отсутствие, и весьма ею благодетельство-

вана. Да и вообще она всех в округе знает, так как перед тем, как община уволила ее в услужение к Виктории Павловне, она всю зиму и весну ходила по уезду, собирая на обитель. Михаил Августович вспомнил, что, и в самом деле, его «кулебяка», месяца два или три тому назад, говорила ему, после одной его хозяйственной поездки на станцию, что, без него, приходила к ней презанимательная сборщица: молодая, собой довольно хороша, языком бойка и страх какая дошлая и тонкая выведчица.

— А сами вы из каких будете? — допрашивал «дед».

— Я из дальних, — лаконически уклонила иконописная девица, но Зверинцев настаивал:

— Это поговору слышно, что не наша северная, а какой губернии?

Сестра Василиса, немножко поджав губы и будто нехотя, назвала большой губернский город Олегов, в котором Михаил Августович признал тот самый, где, — как было ему известно — Виктория Павловна пережила столько тяжелых дней в связи с пресловутым

«делом Молочницыной», то есть после убийства ее няни и домоправительницы, Арины Федотовны, любовником-сектантом.

— Вот где спознались, — подумал он. — Гм... все к тому же корешку тянется... Любопытно.

И спросил:

— Вы, значит, тамошней обители?

Нет. После того сестра Василиса долго жила в Петербурге, при одной благочестивой общине. Да и, вообще, Михаил Августович напрасно принимает ее за монахиню, она не в постриге и даже не готовится к тому. Недостойна и призвания не слышит. А, просто, у них в петербургской общине принято было одеваться так — поскромнее да потемнее, не то, чтобы вовсе по-иночески, но отлично от мирских... Затем община купила у Виктории Павловны ее погорелый пустырь в Нахижном, начала строиться, а ее, сестру Василису, послала по уезду с кружкой собирать на построение.

— Тут вы, стало быть, и познакомились с Викторией Павловной?

Нет. Викторию Павловну Василиса знает

давно, уже четвертый год, встретившись с нею в тех самых родных своих местах, в Олгове. И тогда уже Василиса очень полюбила Викторию Павловну и желала служить ей, но не удалось. А сейчас, когда Бог их снова свел в Нахижном и Правосле, Виктория Павловна очень обрадовалась встрече и выпросила у матери настоятельницы, чтобы благословила Василисе жить при ней.

— А кто у вас настоятельницей?

Василиса, опять поджав губы, объяснила, что, собственно-то говоря, настоятельницы никакой нет, потому что — не монастырь же, в самом деле, у нас! — но так принято звать в общине ее благотворительницу и хозяйку, Авдотью Никифоровну Колымагину, богатую петербургскую купчиху и домовладелицу, которая именно и приобрела у Виктории Павловны землю в Нахижном...

— Только она в здешних местах не живет и не бывает, имея большие дела в Петербурге. А в Нахижном орудует ее доверенная помощница, Любовь Николаевна Смирнова... ну, и еще там одна, — прибавила Василиса, слабым, чуть заметным содроганием какой-то

черточки около почти недвижимого рта дав понять, что об этой одной не стоит говорить: не она голова делу.

— И что же, — продолжал допрашивать Зверинцев, — местом своим при Виктории Павловне вы довольны?

Еще бы ей не быть довольною! Виктория Павловна прекраснейшая дама и ангел доброты. Это уж надо быть совсем неблагодарною, чтобы еще иметь против нее какие-нибудь претензии. К служащим людям она — как мать или сестра родная, а, уж в особенности, к ней, Василисе...

— Ведь, я к ней как попала? Когда барыня переехала сюда, ее намерение было взять к себе одну здешнюю женщину, прежнюю свою служанку, Анисью. Но Иван Афанасьевич тому воспротивился по тому поводу, что, за время отсутствия Виктории Павловны, Анисья, будто бы, впала в дурное поведение... Тогда Виктория Павловна обратилась ко мне, потому что никакой чужой женщины приблизить к себе не пожелала... И, конечно, ей, в ее новом положении, да к тому же будучи в тягости, необходимо иметь при себе своего, пре-

данного человека...

В тихом говоре полумонашенки настороженный слух Михаила Августовича уловил две намеренно подчеркнутые «декларации»: во-первых, что сестра Василиса — Виктории Павловне, свой, преданный человек, необходимый ей в он новом, т. е. замужнем положении, как бы в противовес мужу, который, значит, предполагается чужим и как бы враждебным. Во-вторых, что Василиса несколько не одобряет Ивана Афанасьевича за недопущение Анисьи и как будто отрицает ее дурное поведение. Первой «декларации» Михаил Августович обрадовался, а вторая его очень удивила.

— Я должен вас предупредить, — сказал он, — что хозяина вашего, господина Пшепку, я не то, что не долюбливаю, а просто-таки совсем не выношу. Уж не взыщите.

Серые, под темными ресницами, глаза на иконописном лице бессловесно сказали:

— Знаю. Продолжайте. Это ничего.

— Мне, вот, даже совестно, что я сейчас сижу в доме, где он хозяин. И, кабы не большая моя привязанность к Виктории Павловне да

кабы я не знал, что все это принадлежит Виктории Павловне, потому что он-то, голодранец, — извините за выражение, — и пуговицы к штанам купить не в состоянии, то, конечно, ноги бы моей здесь не было...

Иконописные глаза, в том же безмолвии, согласились:

— Понятное дело. Что бы вам тогда здесь?

— Но, — продолжал Зверинцев, прихлебывая чай, — при всем том, я должен одобрить, что господин Пшенка устранил из Правослы эту Анисью... Я ее много лет знаю. Баба, если хотите, добродушная и преданная, но всегда была непутевая, а, уж в последнее время, ославилась отъявленным поведением навесь уезд... Извините за выражение, но теперь это — просто — потаскуха. Держать при себе подобную особу для Виктории Павловны было бы совершенно предосудительно. Тем более, что это же ни для кого не секрет: перед браком своим с Викторией Павловной господин Пшенка обретался с Анисьею в открытом сожителстве и удалил ее из Правослы всего несколько месяцев тому назад... Какой же, после того, вид имело бы, если бы она остава-

лась при Виктории Павловне?

Сестра Василиса внимательно выслушала возражения Зверинцева, но — как доказательство, давно ей знакомое и ею не признанное. Вздохнула и, вытирая вымытый стакан полотенцем, произнесла, с опущенными на глаза ресницами:

— Един Бог без греха. В Нем и грех, и спасение. А человек человека как может судить? Завсегда ошибется.

— Ну, уж какая тут ошибка! — воскликнул Михаил Августович, сам со стыдом вспоминая, как, во время зимнего своего запоя с горя о безумном браке Виктории Павловны, он — назло своим седидам — и два соседа-помещика, Келепов и Шелепов, безобразно кутили в компании этой именно Анисьи у местной притонодержательницы, солдатки Ольги...

Но полумонашка возразила:

— Что дивного, если согрешит плоть человеческая? На то она и плоть. Сказано есть: «якоже бо свиния лежит в калу, тако и аз греху служу»... Что же с человека за тело взыскивать? Был бы Бог в душе...

Михаил Августович оставил на сестру Ва-

силису большие, вылинялые годами из голубых, глаза свои с большим недоумением: он ожидал от нее, после спора с Викторией Павловной, совсем иных рассуждений. А полумонашенка, с блюдечком чаю у рта, прихлебывала и говорила:

— Что угодно, а я Анисью эту знаю и похулить ее никак не могу. В Господа Бога, Троицу милосердную, верует, к церкви прилежна, разумом — как дитя, доброты столь непомерной, что даже как бы юродивой — рубашку с себя готова снять и нищему отдать. Овча Египетское. Как за подобным богоозаренным существом смею я числить ее плотские грехи? Грешит земля, — земля в земле и останется, — а наше упование-то, я чаю, маленько повыше...

— Вот вы бы, — заметил Зверинцев, — вы бы этими мыслями поделились с вашей госпожей... А то я не смею скрывать: она меня сейчас в отчаяние привела... у нее все чувства каким-то страхом пришиблены и в мыслях мрак беспросветный.

— Виктория Павловна, — перебила его сестра Василиса, не дав договорить, точно

ждала его замечания, — Виктория Павловна, как я вам уже докладывала, для меня, вроде как бы некоторого обожаемого ангела Божия, но единственный недостаток, который я могу ей приписать и очень он меня огорчает, это — что она не тверда в вере в Бога и имеет в себе мало религии...

— Мало религии? — изумился Зверинцев, даже приподнявшись со стула, — сколько же вам, после того, надо ее, почтеннейшая сестра Василиса? Мне Виктория Павловна сегодня показалась, наоборот, совершеннейшею... даже страшно употребить такое слово о ней... совершеннейшею ханжею... Она пяти минут не говорит без того, чтобы не упомянуть о воле Божией, да о своей греховности, да как ее таинство брака спасло, да как она теперь счастлива, обретя в себе Веру, Надежду, Любовь... только вот, по моему скромному суждению, отошла от нее мать их София... Она в кругу вашей религии вертится и мечется, точно пойманная мышь в мышеловке... А вы все недовольны... Чего же вам еще?

— Мне тут ни довольною, ни недовольною быть нечем, — все так же степенно возразила

Василиса. — Мое дело сторона. Я женщина неученая, Виктория Павловна дама много образованная. Стало быть, если примеры брать, то, конечно, должна я с нее, а не она с меня. Но что ее вера шаткая и неглубокая, заключаю из того, что уж очень она опасается Божеской справедливости и мало уповает на Божие милосердие... Она их вровень ставит — да еще правосудие-то, пожалуй, и повыше. А это не так, это старозаветное. Правосудия-то Божие нам, грешным, даже и знать не дано, а милосердие Его мы на себе ежечастно чувствуем. Извольте почитать преподобного Исаака Сирина: «Будь проповедником Божией благодати; потому что Бог правит тобою недостойным; потому что много должен ты Ему, а взыскания не видно на тебе, и за малые дела, тобою сделанные, воздаст Он тебе великим. Не называй Бога только правдивым к тебе, потому что в том, что делается с тобою, не дает себя знать правосудие Его. Хотя Давид именует его правдивым и правым; но Сын Его открыл нам, что паче Он благ и исполнен благодати. Ибо говорит: благ есть к лукавым и нечестивым»... Позвольте стаканчик ваш, я

еще налью...

И, поглядывая исподлобья сквозь повалившийся из крана, вместе с кипятком, — пар, продолжала:

— Это вы справедливо изволили заметить, что она слишком обеспокоена сомнениями о своей греховности, и очень заботится, чтобы оную греховность искупить, яко возмездием, новым подвигом супружеской своей жизни. Что же с? Дурного тут, конечно, ничего нет. Коль скоро в человеке беспокойна совесть и ищет искупительного бремени, то отягчить себя узами подвига дело похвальное. Но позвольте, сударь мой, Михаил Августович. Конечно, каждый человек знает тайная своей души лучше, чем другие, и не нам судить суды Божии. Конечно, совесть совести рознь. Иному медная копейка, с голода похищенная, всю жизнь прожигает душу, словно целый медный рудник расплавленной рекою в нее льется. А другой миллионы крадет и тысячи людей пускает нищими по свету — и даже малого угрызения не ощущает, точно душа-то у него запрятана в каменный мешок. Но, все же, если раскинуть кругом сравнением, то —

какие уж такие особенные грехи найдутся на Виктории Павловне? Что в ранней юности, извините, детства не соблюла и, прежде чем придти к прагу законного супружества, впадала, по женской слабости, в блуд? Но, ежели Господь простил блудницу Рааву, о чем и в венчальном чине читается, за что Он возненавидит и отвергнет блудницу Викторию? Я уж ей и то говорю: барыня! оставьте вы себя истязать и собою терзаться. Разбирать, где ваш грех, где вашего греха нет, — разве это ваше дело? Это дело Божие. Он разберет и — за что надо, наградит, за что восхощет, накажет. А ваше дело — одно: памятовать, что человек и грех есть одно и то же, ибо грешит — все равно, как дышет. «В беззакониях зачехомся и сквернави есмь пред Тобою». И, стало быть, надлежит нам самих себя судить отнюдь не дерзать, но выжидать милосердного суда Божия, он же учинит довлеющее коемуждо. Всякая торопливость тут есть своеволие, а своеволие в нас — от врага рода человеческого, рекомого — диавол. Так ежели дьявол приступает с сомнениями и наводит мысли на отчаяние и бунт, — не поленись, стань на

коленки пред Спасовым образом, да — коли наизусть не помнишь — возьми в ручки молитвослов и прочти пред-причастную молитву, иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого: многомудрые просительные слова как раз нашей сестре, грешнице, благопотребные...

Она зажмурилась, откинулась на спинку стула, молитвенно сложила руки и быстро зачитала:

— Якоже не неудостоил еси внити и свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, тако изволи внити и в дом смиренные моея души, прокаженные и грешные, и якоже не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, аще умилосердися и о мне грешней, приходящей и прикасающей ти ся: и якоже не возгнушался еси скверных ея уст и нечистых целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверных оных уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен и сквернаго и нечистейшаго моего языка...

Она умолкла и, открыв глаза, теперь победно глядела ими, через стол, на Зверинце-

ва.

— Так что, по вашему, — сказал Михайло Августович, подумав, — выходит, что, пожалуй, греха и бояться не надо?

— А, конечно, — быстро подтвердила она. — Остерегаться греха — это чувство телесное, человеческое: природа человека, к добру предназначенная, возмущается и огорчается, впадая во зло. Но — в Боге — бояться греха как же возможно? Много ли значит пред Богом грех верующего? Христос-то на землю, чай, недаром нисходил и кровью Своею пречистою ее вымыл. Грешить нехорошо, но бояться согрешенного — это еще хуже, это значит ставить себя выше Бога, свою тленную мудрость возвышать над Господним произволением...

— Ежели так, — заметил Михаил Августович, с несколько лукавым лицом, пошевелив в памяти старые следы семинарских тетрадок, — то, пожалуй, проще будет принять, что греха-то и вовсе нет в мире?

— Нет, — быстро возразила Василиса, как испуганная, что ее не поняли. — Это еретичество, этого говорить нельзя. Есть грех и даже

великая он сила, только не самая сильная, как почитают ее отчаянные, а столько же подвластная Богу, сколько и все от высочайших звезд до глубочайших пропастей земли. Сказано: ни один волос не спадет со главы человека без воли Божией, — так, после того, может ли человек без воли Господней согрешить?

— Вот как вы рассуждаете! — ухмыльнулся Зверинцев. — А знаете ли вы, благочестивая госпожа, что сим мудрованием вы тоже изволите впасть в Оригенову ересь?

— А что за беда? — спокойно возразила сестра Василиса.

— Да, по мне-то никакой беды нет, но, ведь, за это самое Оригена отлучили от церкви и предали анафеме?

— Велел царь Юстиньян — в угоду ему и отлучили, — с тем же учительным спокойствием отвечала Василиса, — разве что значит это пред Господом? Отлучают-то, поди, люди, а не Бог. Вон, евреи архидиакона Стефана отлучили, и апостола Павла, и самого Христа Батюшку. Что же сии отлученные от того — Бога утратили? Ан нет: отлучением-то их

Господня церковь созиждилась. Нет, сударь. Господь Батюшка никого не отлучает, но обратно тому, всех зовет к себе, имели бы только уши слышать...

— Так что, — любопытствовал Михайло Августович, — вы не одобряете и отлучения Толстого?

Иконописное лицо, на мгновение, исказилось фанатической ненавистью:

— Толстой — мало, что еретик, — сухо сказала она, сверкнув глазами, точно ножом ткнула. — Он изверг, антихрист, истинно леврыкающий, иский кого поглотити. Его с Оригеном на одних весах не весить. Толстой божество в Христе отрицает, церкви ругается. Во истину есть анафема-проклят. Хуже Лютера и Ария, ему часть с Магометом. А Ориген только тем и провинился, что милосердие Божие возвышал над правосудием Божиим. И известное дело: земным властям это невыгодно, чтобы милосердие возвышалось над правосудием, — оттого и возлютовал на Оригена царь Юстиньян. А до Юстиньяна-то он триста лет почти во святых был, числился Отцом и столпом церкви: вы сами в духовном звании

были, должны это помнить. Что ж, что отлучили? Это тебе не офицер, которого вот так взял, да и разжаловал в солдаты. А Оригена не хотите, — тогда вот вам: святой Исаак Сирин что речет? «Как песчинка не выдерживает равновесия с большим куском золота; так требование правосудия Божия не выдерживает равновесия в сравнении с милосердием Божиим. Что горсть песку, брошенная в великое море, то же грехопадение всякой плоти в сравнении с Божиим промыслом и Божиею милостию. И как обильный водою источник не загрязждается горстью пыли, так милосердие Создателя не побеждается пороками тварей». Что же, и его отлучать? И Ивана Богослова, когда учит: «страха несть в любви, но совершенна любви вон изгоняет страх, яко страх муку имать, бояйся же не совершися в любви»? Этак — ежели дерзновенно взять на себя Божественную власть да отлучать по собственному человеческому, разумению о Божеской правде — то святых в Церкви сразу убавится на треть, поелику пребудут в ней, значит, токмо делатели страха и мзды, а делатели любви отыдут... Как же это возможно? И

что же — по вашему — Богородица-то, которая есть величайшая делательница любви и всех нас заступница, разве отступится от мира, покинув нас, горемычных? Да ни в жизнь. Покров ее синезвездный над всем миром простерт. Гляньте-ка ввысь: вон он, батюшка, зажигается вечернею зорькою, зовет свои звездочки, чтобы охранять нас и лелеять в ночи. Это, сударь, вечное. Куда ему от нас деваться, а нам от него? Богородица — свет наш, меч наш, щит наш. Господь Бог весь мир объемлет, а она, матушка, избрала себе удел — грешную нашу землю. Она Феофилу-богоотступнику, душу свою продавшему врагу человеческого рода, за почесть епископскую, возвратила его богоотметное рукописание, — так нам ли отчаяваться, хотя бы и нечистым, и блудным, но верующим?.. Читайте у св. Иоанна Лествичника: «отчаяние самая злая из всех дочерей греха»...

Михаил Августович давно заметил, что Василиса отвлеклась от мыслей о Виктории Павловне и как бы обобщает свой протест, постоянно употребляя местоимения «мы» и «наш», а, вместе с тем, и как бы сохраняя и да-

же подчеркивая в нем что-то личное, остро пережатое... И, точно отвечая на его тайную мысль, она, вдруг, заговорила быстро и смело, с странным, вдаль куда-то отвлеченным и, словно пламень в тумане, загадочным блеском в глазах...

— Позвольте вам, сударь Михаил Августович, сказать хотя бы о самой себе. Не для того, чтобы жизнь свою рассказывать: Боже сохрани! Я и одна-то, про себя не люблю и даже ужасаюсь вспоминать ее прохождение, не то, что обнажать пред посторонними людьми сей соблазн и смрад. Единственно, что могу сравнить: если Виктория Павловна собою напугана настолько, что все ее житие сделалось как бы адом покаянного размышления и смиренного подвига, то что же со мною было бы, если бы я допустила себя до подобных сомнений в благости Божества и до дерзновения упреждать Его суд и правду? Потому что я-то, Михаил Августович, — покуда Господь не привел меня к Себе — была столь удалена от Его благости, как, может быть, на миллион женщин одна бывает. Вы, вот, изволили с презрением отозваться об Анисье, — что же

бы сказали, если бы знали, в смраде какого греха пресмыкалась я, окаянная? Анисья ли, другая ли блудница, — что они? Безвинные жертвы человеческие, слабые игрушки демонические. Я же была не то, что игралищем демонов, но изумлением их и излюбленною подругою. Вся запуталась в сети, ею же змии запят ны страстми плотскими и блудным навождением. Единое, что сберегла, чего не возмог злодей осетить: не приняла я в себя духа сомнения, он же есть начальник уныния и малой веры, рождающей отчаяние. Бывало, нечистый шепчет мне в уши-то, шепчет: — Проклята еси и уготована огню! где тебе Христовою невестою быть, — ты невеста Вельзевулова... А я на колени да за акафист Сладчайшему Иисусу... Оцепит меня змий кольцами палящими, пламенем дышет, очи слепит, слух сожигает, кровь ядом огненным отравляет, — нет у меня против него силы... имам плоть страстми люте бесящуюся и яростию палимую... Шепчет, ластится, издевается:

— Можешь ли измерить бездну падения твоего? Тело твое оструплепо грехами, душа твоя зол исполнися, ангел хранитель твой с

омерзением отворотил от тебя лик свой и отлетел в пославшему его... Отступился от тебя Владыко неба и земли. В руки наши пришла еси и нам предана еси! Присягни мне, да будешь мне супругою в радости греха и в отчаянии бездны... А я, хоть и гибну огнем геенским, но — про себя — все твержу: — Неправдою коварствуешь, бесе. Не отринет неукорный, благий Господь моего упования, занеже и согрешив, не прибегла к иному врачу и не простерла руки моя к богу чуждому. Не отлетит от меня ангел мой, хотя и восплачет, егда враг попирает мя и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения. Не отлетит, да не изимет Преблагий души моя в день нечаяния моего и в день творения злобы, да не погибну во отчаянии и да не порадуется враг о гибели моей...

Лицо ее, разгоревшееся в экстазе волнующей речи, приняло выражение одушевления почти страшного, но — как казалось Михаилу Августовичу, с любопытством наблюдавшему, менее всего святого. Румянец, бросившийся в щеки, еще больше вытемнил иконописные черты, а в глазах, теперь, и в самом деле,

почти черных от увеличенных зрачков и сделавшихся громадными от широко раздвинутых ресниц, точно траурных рам каких-то, мелькали блуждающие огни... И в них Зверинцев замечал очень мало общего с успокоительным присутствием сияющего ангела-хранителя, — скорее вспыхивали глубокие отблески того — противоположного — огня, в котором, именно, говорят, обитает древний погубитель-змей, столь злобно преследовавший сестру Василису какими-то своими коварными кознями...

— Ну, матушка, спасена душа, — думал про себя Михайло Августович, — в святых отцах и молитвенных текстах ты сильна, но черти в тебе прыгают таки — да и прехвостатые... Баба ты, может быть, и впрямь верующая, допускаю даже, что фанатическая, пожалуй, согрешив, и каешься искренно, но и любишь же ты согрешить! С яростью грешишь, с испуплением каешься... вроде двуострого лезвия грех в душу вонзаешь... оно — для многих — и слаще!.. Верю, что Бога любишь, но и дьяволу доставляешь не мало радости...

А сестра Василиса, смилив встревоженное

внутреннюю бурю лицо свое, говорила уже спокойно, почти елейно:

— И что же, сударь? Казалось бы, погибель мне конечно в подобных сему злообольщени-ях, — ан, нет: пришел час воли Божией, и от-крылось Его благое произволение... Послала мне Матерь Божия великого наставника, из-бавителя, мужа свята, иже, вышняя Красоты желая, нижняя сласти телесные оставил есть, нестяжанием суетного мира, ангельское жи-тие проходя...

— Это знаменитый ваш Экзакустодиан, что ли? — перебил Зверинцев с сердитою и недо-верчивою усмешкою.

Сестра Василиса молча и благоговейно склонила голову в торжественном знаке со-гласия.

— И что же именно воспоследовало из ва-шей встречи? — допытывался Зверинцев.

— А то и воспоследовало, что — как только увидала я его, батюшку, да взглянул он мне в глаза — так всю меня насквозь и прочитал, какова я есмь... И еще единого слова он мне не сказал, а меня уже всю затрясло от его про-видящего взора и упала я пред ним в земном

поклоне и колени его обняла:

— Добрый, — кричу, — пастырю овец Христовых, — кричу и сама не слышу, — не предаждь мене крамоле змиине, и желанию сатанину не остави мене: яко семя тли во мне есть!

А он, слова не молвя, возложил руки мне на голову и покрыл меня полою ризы... Молчит и творит умную молитву... А у меня чутье такое будто был раньше вокруг головы моей обруч железный, был — и вдруг треснул и ниспал. И глаза, будто доселе были под туманом, а сейчас просветлели и видят ясно и радостно. И тело, будто раньше покрытое чешуею или еловою корою, вдруг сбросило ее с себя и почувствовало и воздух, и ветер, и всякое иное осязание природы... А в душе... Господи! да этого ни пересказать, ни выразить невозможно обыкновенными человеческими словами... Величит душа моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем...

Она проворно вынула из кармана платок и утерла глаза, ставшие совершенно огненными, думая, будто они в слезах, но они оставались сухи. Тем не менее, Зверинцев видел,

что ее движение не притворно, и поверил ему. Он знал эту особенность и за Викторией Павловной, что, огорченная или сильно раздраженная, она начинала больно гореть глазами, ощущая в них все возрастающее жжение, точно прилив слез; но слезы не показывались, а пожар в глазах разгорался все больнее, до тех пор, пока она не тушила его холодным умыванием, — иначе понемногу нарастал и раздражался бурей истерический припадок...

— Однако парочка подобралась! — мрачно размышлял он. — В самом деле, пожалуй, и об Анисье пожалеешь... Та хоть колода дубовая, беснервный кус мяса... А эти две, одна другой лучше: что госпожа, что служанка... одну трясет, другую корежит... Воображаю, о чем эти две истерички беседуют между собою и как они должны друг дружку заражать...

— Так, значит, и спас вас отец Экзакусто-диан от крамолы змеиной и прочих ужасов? — спросил он, видя, что его собеседница справилась с собою и заликает пролетевшее возбуждение поспешно глотаемым чаем.

Он ждал восторженного утвердительного

ответа, но, к его удивлению, сестра Василиса слегка нахмурилась и отвечала уклончиво, с заметною неохотою:

— Спасти от демонского стреляния человек человека никогда не может: силен один Бог, Агнец Вифлеемск, льва и змия поправый, да Пречистая его Матерь... Довольно уже того, что отец Экзакустодиан облегчил мне муку змеиных соблазнов и снял с меня вину их, а с души моей ответ... Псалом «Живый в помощи Вышнего» изволите знать? Там все есть, что подобной мне грешнице надобно, полное обетование. «Яко на Мя упова, и избавлю, и покрюю и, яко позна имя Мое»... А вот барыня-то, моя милая, тут-то как раз и упряма и не хочет этого понять и принять... Чрез то и ма-ется...

Оклик Виктории Павловны позвал сестру Василису в комнаты. Она извинилась и ушла на зов, но почти тотчас же возвратилась и пригласила Михаила Августовича войти обратно в столовую, так как барыня, по вечерам, немного лихорадит — зябнет и опасается быть на воздухе. Сейчас барыня отдыхала и дремала, но через несколько минут уберется

и выйдет, а она, Василиса, тем временем, накроет стол поужинать, чем Бог послал... В столовой было жарко, душно и странно пахло. Как жаркое сырое облако, заполняла комнату томящая смесь нового дерева, лака, духов, курительной свечи, лампадок, цветов и, с тем вместе, — Михаилу Августовичу совестно было признаться, но ему, обладающему довольно острым обонянием, несколько раз чудилось, будто, ко всему вдобавок, откуда-то, вдруг, нет-нет да и потянет гнилью, точно где-нибудь в углу или под полом разлагается дохлая мышь либо другая мертвечина...

— Это от тубероз, — решил он, глядя на огромные их букеты на подзеркальниках, — туберозы, когда начинают увядать, — всегда с ними так: не разобрать, то ли аромат, то ли вонь...

И заметил суетившейся у стола Василисе:

— Цветочки-то выбросить пора бы: должно быть, забываете воду менять, — уже испортились...

Но она, стоя к нему спиною, откликнулась живо и как будто с неудовольствием:

— Что вы! Помилуйте! Только сегодня сре-

зала и поставила... Аккурат перед вашим приездом.

Михаил Августович вспомнил, что, действительно, цветы стояли на подзеркальниках уже когда он говорил здесь с Викторией Павловной, но в то время этого пряного тропического запаха он не слышал: не было, или — он сгоряча, в волнении, не замечал...

— Ну, стало быть, это они к вечеру так уж очень раздышались, — сказал он.

На что сестра Василиса; ответила:

— У нас с барыней, по деревенской скуке, теперь только и удовольствия, что цветничок. Уж так-то ли удались, так то ли ныне поднялись цветочки — истинное утешение.

От приторного запаха, который, чем дальше, тем гуще наполнял комнату, плывя по ней, при каждом движении Василисы, будто всколыхнутыми волнами, у Михаила Августовича разболелась голова. Он попросил позволения закурить трубку и, обдавая себя густым дымом, припоминал без всякого удовольствия из далекого прошлого, когда он был в Алжире солдатом Иностранного Легиона, что совершенно также, только посильнее, — пах-

ли у одной арабской деревни, — на другой день после усмирённого восстания, жасминовые и розовые заросли, в которых остались спать вечным сном засевающие в них и перестрелянные накануне повстанцы. И, — как тогда, отряд ожесточенно шагал, чтобы поскорее уйти от зловещих кустов, в дыхании которых благоуханнейшие ароматы живой земли смешались в ужасную отраву с миазмами смерти, так и теперь Михаила Августовича только трубка спасала от невежливости вскочит среди разговора, броситься опрометью на крыльцо и глубокими вздохами свежего воздуха выгнать из ноздрей, рта и легких облепивший их противно-сладкий яд. Едва терпя, он недоумевал, как это ни сестра Василиса, ни, когда появилась, Виктория Павловна, не только не задыхаются в этой несносной атмосфере, не то теплицы, не то кладбища, но даже, по-видимому, просто не замечают ее.

Упавшие сумерки выгнали Михаила Августовича от Виктории Павловны. Чаем его напоили, закусить ему дали, а ночевать не предложили. Да он и сам понимал, что — нельзя, прошли те времена, когда «дед» гостил в Пра-

восле по три, по четыре дня, и проводил ночи в задушевных беседах с любимою внучкою до вторых и третьих петухов, а то и до белого дня. Когда сестра Василиса подала закуску, Виктория Павловна вышла к гостю, но — с таким измученным и усталым лицом, что Михайло Августович почувствовал угрызение совести: зачем не воздержался от буйного и волнующего разговора, который — видимо — совершенно разбил ей нервы. И рассердился на себя страшно: как мог он не догадаться, позабыть, что с женщиною в ее положении так нельзя... С первыми огнями вдали на деревне, он стал прощаться. Его не удерживали, хотя Виктория Павловна) простилась с ним ласково, почти по-старому, нежно.

Гнедко был очень утомлен, — нечего и думать было сломать на нем обратный путь, хотя время было лунное и ясный вечер обещал светлую ночь. Михаил Августович пожалел садиться на лошадь, чтобы доехать и до мельницы-то, на которой решил он ночевать, ежели пустит хозяин, мужик ему знакомый, но взбалмошный, артачливый, с придурью. Зверинцев много раз ругался с ним до лютой ссо-

ры и, с последнего раза, еще не помирился. Но, — по мере того, Как он шел, ведя лошадь на поводу, под светлеющим от восходящей за Осною луны небом, тропинкою, вытянутою, как белый холст, между двух темных тесемок-опушек курчавой травы, вдоль пыльной битой дороги, — его захватило чарование теплой, полной дыханием скошенных лугов, синей, чуть туманной, ночи, и жаль было с нею расстаться.

— Какого чёрта мне прятаться в вонючую душную избу к полоумному дурню, когда над головою этакий чудесный потолок? — подумал он и остановился, глядя в сизо-голубую, почти дымчатую, высь, в которой понемножку уменьшались и тускли зеленые звезды Большой Медведицы, потому что подкрадывалась к ним криволицая, почти полная луна, разливая жемчужное сияние, как светящееся молоко.

— Вспомни-ка бродячую старинку, когда кроме матери сырой земли другой постели не знавал, а туман бывал пологом... Ой ты, месяц, месяченьку, казацкое солнышко!..

Он свернул с дороги, перевел гнедка через

окоп и канаву, и, посвистывая, зашагал по рослой щетине скошенного луга в сторону — туда, где, как неуклюжие башни, темнели, сквозь ночь, расплывчатыми в лунной туманности и будто выросшими ввысь и вширь, очертаниями, сметанные на ночь, сенные копны... Выбрал одну, поближе к околице, привязал гнедка к колу, а к морде гнедка торбу с овсом, улегся на сено — пахучее, полувывсохшее — закинул руки под голову и стал смотреть в небо, по которому, возвещая приближение осени, так и вспыхивали, так и чиркали голубым ярким светом летучие метеоры... Тихо было так, что человек слышал самого себя и весь тот странный ночной полевой шорох, о котором деревенские люди говорят, что это — трава растет... Прекрасная ночь овладела Зверинцевым и утихомирила его взбунтовавшуюся кровь: лежал он, думая о бедной своей «внучке», мрачный и грустный, но уже без этой гневной скорби, которая душила его в Правосле, все время позывая не то сломать вещь какую-нибудь, диким бешеным вепрем, сорвав злобную печаль свою хоть на неодушевленном предмете, не то упасть буй-

ною седою головою на стол, зареветь неточным голосом, облиться, не стыдясь, как дождем, долгими тяжелыми слезами... Лежал, курил, думал, слушал... Иногда ему казалось, будто шорохи поля усиливаются, вырастая в легкие человеческие шаги, в шелест платья... Он приподнимался, оглядывался: поле было пусто и тихо, — вдали скрипел коростель и перекликались перепела... Потом ему почудилось, что кто-то, зашедши за другую, ближнюю к нему копну, прячется в ее тени и осторожно наблюдает за ним, высовываясь сбоку копны, как только Михаил Августович отвернется в сторону, и скрываясь, будто ныряет, едва Михаил Августович повернется обратно... Иллюзия была настолько настойчива, что Зверинцев даже привстал было на локте, чтобы пойти и взглянуть, что там такое, но в этот же миг понял, что его обманывает игра тени, и с локтя перевалился опять навзничь. А ночь все больше и громче кричала перепелами и скрипела коростелем и, все-таки, оставалась тихою и немою, потому что не слышно в ней было главного нарушителя природы, человека и ничего, сопряженного с его суе-

тою. Единственными близкими звуками, нарушавшими гармонию безлюдного безмолвия, и хоть несколько отражающим человеческую домашность, было чавканье и фырканье гнедка над торбою. Но — едва улегся — сейчас же Михаилу Августовичу зачудилось, будто то, что подглядывало за ним из-за соседней копны, теперь прячется уже за его копною, бесшумно ползет на нее, перегибается через нее длинным туловищем и смотрит на него сверху вниз упорно, насмешливо и зло...

— Вот дьявол, как расшалились нервы! — досадливо думал он. — Наслушался от безумиц про змеев да мурен... того гляди, что вокруг самого ехидны заползают... «Шестоднев»! Гм... А?... Нет, прошу покорно: вы, говорит, Василия Великого читали?... Начетчица какая!.. из феминисток-то!.. Тьфу!.. Однако же, это ползание там за копною пренеприятно выкручивает нервы: в самом деле, точно ехидна подбирается и ест тебя глазами...

Но — в эту самую минуту — Зверинцев заметил, что на него, уже не в воображении, а действительно, смотрят, только не с копны,

а с дороги через околицу, и не два, а четыре глаза, принадлежащие двум неслышно подошедшим женщинам, в белом. В одной из них, просто высокой, он, с удивлением, узнал красивую полумонашенку Василису, с которою так недавно простился, а в другой, громадной, будто выбеленная месячным светом колокольня, Анисю, о которой он— тоже всего два-три часа назад, вел с Василисой такой горячий спор.

— Вот вы где упокоились, — окликнула Зверинцева Василиса. Голос у нее теперь был совсем не такой, как давеча в комнатах, но веселый, громкий и глумливый, а глаза, отражая в себе лунные лучи, блестели, сквозь ночь, как у кошки.

Анися поклонилась низко и сказала грустным, — мужским почти, басом:

— Здравствуйте, барин хороший, сколько лет, сколько зим...

— Здравствуйте, — медленно отвечал Зверинцев, очень удивленный их появлением в такой поздний — для деревни — час так далеко от дома: от усадьбы он отошел с версту, до села оставалось столько же, пожалуй, даже

немного больше. — Куда это собрались, на ночь глядя?

— Прогуляться немного, — отвечала Василиса, — днем-то кипишь в работе, как в котле, так хоть ночью дать себе свободу... воздуху взять, ножки размять...

— А ночь-то, и впрямь, дивная!..

— Мы этак часто, — ленивым басом подтвердила Анисья, — Василиса с усадьбы выйдет, я с деревни, сойдемся на полдороге и бродим по полям...

— Вот какую дружбу свели! — и одобрил, и удивился Михайло Августович: несмотря на давешний разговор, в котором Василиса так пылко, почти страстно защищала Анисью, эта обнявшаяся женская пара у околицы — почти монахиня с заведомой «девкой» — казалась ему весьма странною.

— А чего нам ссориться? — блеснув кошачьими глазами, возразила Василиса, — нам делить нечего. Это мужчины не умеют между собою ладить, потому что спорщики, вздорщики, и напрасные спросчики, а мы, женщины, всегда найдем ниточку одна к другой...

— Это она меня укоряет за давешний спор

с Викторией Павловной, — подумал Зверинцев с конфузом за себя, — действительно, отличился... Но странно, что она говорит то, что я сам сейчас думал, и я даже не разбираю толком, — я ли это думаю или она говорит... И отчего они обе такие белые, точно меловые, и простоволосые? И — что это на них надето? Рубахи не рубахи, хитоны не хитоны, саваны не саваны?

— Ха-ха-ха! — неожиданно ответила на мысль его басистым смехом Анисья, — что ты, Михайло Августович, уставился на нас, будто век не видал?

Он медленно и подозрительно возразил:

— Да... ишь вы сегодня какие... необыкновенные. Этак кто незнакомый вас встретит, испугается: примет за русалок.

Они обе переглянулись, захохотали двусмысленно — и Василиса сказала, с загадочно трунящею, злою веселостью:

— А, может быть, мы — и впрямь — русалки, по вашу душу пришли?

Анисья же, держась руками за бока, тряслась — помирала со смеху и басыла!:

— Пойдем с нами, Михайло Августович.

Что тебе тут валяться под копной? Мы тебя в лес заведем, да и защекочем...

— Ах вы, шельмы! — внезапно и резво развеселился Зверинцев на грубое деревенское кокетство, — ну, погодите же! Я вас!

Он уперся руками в землю, чтобы вскочит на ноги, но — так же внезапно сознал всем существом своим, что он не на яву, но спит и — именно от сознания этого — окончательно проснулся, смутно дея действительность призрачной ночи и отлетевшую грезу...

— Вот ярко привиделось, — пробормотал он себе в отсыревшие усы, — а ведь я было думал — и в правду...

Но, оглянувшись, он заметил слева — на дороге — саженьях во ста от себя — два белые пятна, точно пропитанные лунными лучами клубы тумана, быстро уплывающие, будто два паруса, к чернеющему на дальнем краю поля лесу...

— Вот тебе раз! — воскликнул он в новом изумлении, — никак они? Значит, не сон... чудесия, право!.. Да куда же они так бегут? Эй! эй! вы! сестра Василиса! Анисья!..

Но белые пятна ему не откликнулись, а,

докатившись до опушки, исчезли в ней, будто растаяли...

Михаил Августович глядел вслед им — в совершенном изумлении, которое, — он сознавал без всякого ложного стыда перед собою, — начинало походить на страх... И, куда он присматривался да озирался, — то ли смущенное зрение зашалило, то ли правда была, — замерещилось ему, будто на опушке опять мелькают, но уже не две, а четыре, пять, шесть белых, человекоподобных пятен, и такие же точно пятна плыли — будто летели по воздуху — к лесу по полю от деревни Правослы и разрушенной усадьбы Виктории Павловны...

Зрелище было фантастическое. Михайло Августович, хотя человек больших и чуть не всесветных приключений в своем молодом прошлом, — даже он едва не поддался суеверному впечатлению, к которому, вдобавок, подготовил его странный сон. Но, в ту же минуту, стряхнул смущение, уже тронувшее было ознобом богатырскую спину его, и:

— Це діло треба разжуваты! — размышлял он, созерцая мутно испятнанную белыми фи-

гурами лунную даль, — кой бес? сходка, что ли, какая?.. Ишь — все к лесу да к лесу, а из леса никого... Любопытно... Не пойти ли и мне?.. Авось, попаду не к русалкам, а к живым людям... Только вот, что я с гнедком... А, впрочем, чёрт их бери... что я — сыщик, что ли? Ночью сходятся — значит, секрет у людей: заговор... Либо агитатор какой-нибудь наехал — поплелась деревенская молодежь, как мотыльки на огонь, послушать его брошюрок... времена-то — ох-ох-ох! — темные, грозные... Либо, того вернее, мир на конокрадов советует... Все равно, не мое дело, в чужой тайне сторонний глаз — подлец... Только как же тут Анисья-то с Василисой? Бабье ли дело? Или я осмотрелся — и это были не они?

Размышляя, он остановился на последнем мнении.

— Очень просто. Тут у меня сон с правдою перемешался. Белых этих я успел, засыпая, наяву видеть, а Анисья с Василисой померещились мне, между ними, уже во сне, — а любопытством я разбудился... вот и все...

Тихий, густой, глухо и спешно стучащий шум, точно выбивали дробь на нескольких,

покрытых сукном, барабанах, дошел до его ушей со стороны деревни. По убитой дороге сильно пылило. Скоро к Зверинцеву, опередив пыльную тучу, шаром подкатилась большая пестрая собака, деловито обнюхала его и гнедка и сию же минуту возвратилась вспять, обегая кругом движущейся тучи. А затем, уже в недрах самой тучи, приблизился, медленно катящаяся живую лавою, безмолвный и дробно топочущий, будто крупный дождь идет, овечий гурт, с высоким черным погонщиком. Зверинцев окликнул:

— Чей гурт?

— Тиньковой барыни.

В протяжном сиплом ответе Зверинцев признал голос знакомого бобыля из Нахижно-го, безземельно промышлявшего всякою случайною работишкою по окрестным владельцам.

— Никак, ты, Пахом, полуночничаеть?

— Здравствуйте, барин... Вас-то какими судьбами Бог привел опоздниться?

Зверинцев кратко объяснил. Он был рад встретить знакомого. Одиночество среди этой таинственно-светлой ночи, с ее перепелами,

коростелями, фыркающим гнедком и загадочными белыми пятнами на черной опушке, утомило его, — сердце начинало ныть тоскливою жутью... рассказывая, отвязал гнедка, вынул из околицы в перемычке поперечные жерди, вывел лошадь на дорогу, напугав гнедком овец, а гнедка овцами, приладил жерди на старое место и пошел рядом с погонщиком к деревне, ведя за собою на поводу лениво ступающую, недовольную, что хозяин оторвал ее от вкусной торбы, лошадь...

— Овец на станцию гонишь?

— Так точно. Еликонида купила. К ней.

— Что же тебе дня-то мало, что ночью волков дразнишь?

Мужик засмеялся.

— Скажете! Волки ноне сытые... Гоню, когда велят. Днем Еликонида опасается, что жары ноне стоят безо всякого времени. Оно точно, что из первого гурта, — это я третий перегоняю, — три ярочки притомились, не дошли. Уж ругала-ругала меня Еликонида... ух, выгодчица! А моя какая вина? Солнце-то я выдумал, что ли? Вольно ей овцу покупать на срок, за тридцать верст, в один перегон, без

передышки. Хоть и шельма, а все не наша, — городская: правил на скотину не знает. А барыня Тинькова известная сквалыга: чтобы поберечь проданный скот, получивши деньги, этого от нее не жди, а подсунуть хворь да слабь — это пожалуйста, с нашим удовольствием... Меня не то, что ругать, а я, может быть, как начнет которая приуσταвать, на руках ее нес — точно ребенка, котору пять верст, котору все десять... ей Богу!.. Ну, велела гонять после полуночи, к рассвету, по утренним холодкам... Мне что же? Нанялся-продался, — гоню...

— Погоди-ка ты! — перебил Зверинцев, настороживая ухо. Слышал?

Но мужик продолжал, увлеченный:

— А и ту правду сказать, — что это, барин, какое несуразное лето стоит ныне? Слава те, Господи, — два Спаса отпраздновали, третий на дворе, давно пора бы утренникам быть, а, вместо того, солнышко, все себя трудит — печет как на Афимью-стожарницу... У нас на селе робьята грешат: опять в Осну купаться лезят... право! На Илью, как следовало, бросили, а ныне невтерпеж — давай опять! И водяного

деда не боятся нисколечко...

— Да погоди! помолчи! — повторил Зверинцев, — ужели не слышишь?

Лесная полоса дышала на них предрассветным ветерком, и черная даль присылала с ним странные, красивые аккорды, будто где-то медленно сжималась и разжималась громадная гармоника...

— Поют, — равнодушно сказал мужик. Зверинцеву, волнующемуся, даже досадно сделалось на его спокойствие.

— Поют! — передразнил он, — слышу, что поют... да как поют, — вот в чем штука!.. Это не песни горланят, это — церковное...

— Секта поет, — с тою же невозмутимостью объяснил мужик, направляя батогом в гурт отбившуюся в канаву овцу.

— Секта?

Короткое слово это сразу просветило мысли Михаила Августовича, сняло с него волнение, почти обрадовало.

— Секта поет! Вот оно что! И как это я сразу не догадался?..

А мужик хладнокровно толковал:

— Наша нахиженская... Мирошникова по-

койника знали? Сказывают, еще он завел... А ныне монашки эти или как их там лучше звать — не сумею, — которые у правосленской барыни землю купили...

— Ну, ну? — подогнал заинтересованный Зверинцев.

— Так вот они... размножают... У нас, почитай, пол-села в сехте... и по деревням поползло... Эти-то, — он показал батогом в сторону леса, — все правосленские... пятеро меня повстречали на просеке. Люди из леса, а они в лес... Они этак часто... чуть ночь посветлей да тепло стоит, — сойдутся в лесу, сядут кружком на полянку и справляют свою службу, поют... Что ж? Худого в том ничего нет, а кто с ними водится — сказывают: умирительно... Только, вот, что в рубахах они все — и мужики, и женщины — все одинаково, — вроде как бы в бабьих — этого похвалить нельзя: зазор... Уж коли рядиться, так ходили бы, что ли, в хлыстовских балахонах своих дома, а то — ишь, мало: надо им водить, в этаким безобразии, танки по полям...

— Гм... так, секта... ну, а куда же ваш поп Наум смотрит?

Мужик выровнял батогом с боков разбредающийся гурт и, помолчав, возразил:

— А что попу Науму? Поп Наум уже у Мирошникова на жалованьи был, а теперь ему монашки вовсе отступного сулят, чтобы он, по преклонному своему возрасту, ушел на покой, а они, значит, на его место посадят своего попа, из секты... Науму расчет. Он сейчас пчельником своим на две тысячи в год торгует, а ежели, отложив священство, займется пристально, то зашибет и все пять... Как Науму с сектою воевать, ежели он за пчелу душу продаст, а Смирниха ему выписывает из-за границы, что ли, стеклянные ульи? Ты посмотрел бы улей-то, милый человек: я тебе скажу, — не то, что пчеле роиться, сам бы сел да жил, кабы влезть, — вот оно — какова штука!.. Да они и не скрываются нисколько: говорят, им дозволено, и есть даже из Питера благословенная бумага, что дело их доброе и никаких бы препятствий им не чинить... Так что им после того поп? Есть чем оборониться и от архирея.

— Видал кто бумагу-то?

— Этого не знаю, но, кабы не было бумаги,

как бы они этак смело дерзали? Вот — по ночам — в белых саванах бродят, народ пугают. Кто не знает, — не к ночи будь сказано, почитет за еретиков... знаете, которых земля не принимает, маятся безмогильными...

— Да мне и то уж русалки померещились! — усмехнулся Зверинцев.

— И очень просто. Ежели у них русалкам не быть, то где и искать? Бабья к ним льнет — толчея!

— Знаешь которых-нибудь?

— А то бы нет? Говорю вам: у нас пол-села, а здесь вон, — сказывают, даже самое барыню заневодили...

Мужик ткнул батоном по направлению к усадьбе Виктории Павловны.

— У них там всякие есть — и простые, и благородные. Всею сектою бабы правят, а главная ихняя архирейша, сказывают, к нам еще не бывала, живет в Питере и оттуда верховодит. Строгая! А у нас только две ейные казначейши... Ах, братец ты мой! Одна — и красивая же!

— Смирнова, что ли? — спросил Зверинцев, вспоминая недавние слова Василисы.

— Нет, — даже как бы с негодованием отверг Пахом, тряся кудлатою головою, бросавшею огромную, как копну, качающуюся тень на белую пыль дороги, — куда ей, Смирнихе... желторожая, кожа да кости, длинная, как глиста, вся гнется да изгиляется, а глазищи — по ложке, будто дегтем налиты... По господскому вкусу, может быть, оно так и надо, а по нашему, мужицкому, холера... Нет, другая, молоденькая, Серафимою зовут... ну, барин хороший, и королева же! то есть я тебе скажу: на всех анделей схожа!

— А ты их видал?

— Кого?

— Ангелов-то, что больно хвалишь?

— Чудак-барин! — чай, они в церквам писаны... Только этим, которые в церквах, скажу по совести, хотя и грех: куда же! до Серафимы далеко... Истинно — пуще света светит... А прежде, сказывают люди, была еще лучше, да — есть молвишка — родила недавно, — так, половину красы сбавила... Что ж! известно, — баба не девка, девке цвести, бабе вять...

— Постой, как же это, однако? — озадачил-

ся Зверинцев, — ты сказал: у них — вроде монастыря и сама эта Серафима — вроде казначейши... а теперь — вдруг — родила?!

— А, может, и не рожала, — поспешил благодушно согласиться мужик, подсвистывая собаку, устремившуюся было рыть крота. — Люди ложь и я тож. Однако, сказывают, — у них вольно... даже замужних принимают и постригаться не нудят... По ихней, значит, вере дозволяется: только что темная одёжа, а не настоящие, выходит, монашки, — сехта.

Помолчал и, — с новым тычком батога в сторону, усадьбы, — добавил:

— С этою-то, вашею знакомою, дружбу ведет. Все к ней ездит в тележечке. Дивись, что вы ее не встретили...

— Я там другую встретил, — сказал Зверинцев, с любопытством насторожившись, — тоже из них, кажется... Василисою звать... темная такая с лица... ее знаешь?

— А! эта! — протяжно выкликнул мужик и в сишлом голосе его послышались смущение и неохота говорить.

— Знаешь? — повторил Зверинцев.

— Что знать-то? — возразил Пахом, с оже-

сточением ровня неповинный гурт, — вот, о ней, точно, по ночному времени, пожалуй, лучше не поминать... такое люди рассказывают про нее... не очень хорошее... А, впрочем, — сию же минуту спохватился он, едва замолчав, — вы не подумайте на нее худа: ее вины в том никакой нет, а только привязалось к ней... может быть, каким-нибудь злым человеком напущено, али от родителей не в добрый час обругана, или еще что...

— Да что ты, убей тебя Бог, мямлишь? — рассердился Зверинцев. — Ничего нельзя понять... Говори толком..

— Сказать можно, отчего не сказать... — кривился мужик. — Я только на счет того, значит, что не такой час, чтобы крещеному человеку его поминать... особливо, в поле?

— Кого «его», чудо ты болотное?

— Ну — сами должны понимать: который черненький и с рожками... Знается она с ним, говорят... Василиса-то...

— Вот оно что! — даже присвистнул, приостановившись, Михайло Августович. — Колдует, что ли?

— Кабы колдовала, — с каким-то гневным

сожалением отозвался мужик. — Мало ли их, волшвиц окаянных, по деревням? С волшвицею счет короткий: не проказит — терпим, начала пакостить — пришибли, осиновый кол в спину и конец... А от этой мы никакой беды себе не видим, а только ходит он к ней... ну, оно, — знаете, — и жутковато...

— Что значит — «ходит»? В гости, что ли, — чай пить? Так я, брат, тоже сейчас с нею чай пил и никакого подобного компаньона не заметил.

— Ой, что эта, право, Михайло Августович, — даже уж и обиделся мужик, — какого непонятого вы из себя строите... Обыкновенно: ходит, как мужик к бабе... Сказывают люди: еще маленькую он ее осилил и себе приспособил и — вот — годов уже пятнадцать мучает... Оттого и в секту вошла, что есть у них там такой святой дьякон, который ей против ее беды очень помогает — отчитывает ее по псалтырю... И совсем было отчитал, да она сама сплеховала... Вы Арину Федотовну, покойницу, знавали ли?

Зверинцев кивнул головою: еще бы нет!

— Тоже, знаете, была спасена душа: не по-

минай ночью, — не вылезла бы из оврага... Побывшилась эта самая Арина, как, может быть, вы слышали, нехорошею смертью — зарезанная любовником... И был этот самый парень, который ее зарезал, Василисе родной брат...

Михайло Августович остановился среди дороги, как вкопанный, так что морда гнедка, которого он вел в поводу, наехала ему на плечо.

— Да что ты говоришь? Брат Василисы зарезал Арину?

— Верно. Кого хотите, спросите, всякий скажет. Ее зарезал, а сам повесился.

— Это я из уголовного дела помню, читал, — только удивительно мне, что убийца оказывается Василисиным братом... не воображал... Как же ее после того Виктория Павловна взяла к себе и терпит? Она покойную Арину любила паче родной матери, — легко ли иметь при себе ближайшею женщиною сестру ее убийцы? Каждую минуту этакое напоминание...

Мужик внимательно выслушал это восклищающее рассуждение вслух, которым

увлекшийся Михайло Августович, забывшись, вовсе не к нему и обращался, — и сказал:

— Этого ничего я не знаю, но — когда Василсин брат Арину прикончил и сам прикончился — тот, черненький-то, опять пришел к Василисе и говорит — Вот, тебя у меня ваш подлец дьякон оттягал, так, за то, теперь у меня в пекле твой брат сидит, — уж я на нем вымещу. Каину, — говорит, — с Иудою не было такой муки, как я ему придумал... Василисе крепко жаль брата, стала молить врага: — Помилосердуй... А тот: — Нет, — говорит, — словами нашего брата не умаслишь, мы чугуны. А хочешь, — говорит, — чтобы брат не терпел от меня муки, будь со мною по-прежнему: так и быть, ради веселой любви твоей, не трону свояка... Василиса, от жалости, позабыла, сколько от него муки приняла, и согласилась, подпустила его к себе, стало быть... С той поры опять мается, а дьякон ее все отчитывает по псалтырю, да уж не больно помогает, потому что тот-то, стало быть, ныне в своем праве: не силою взял, сама предалась. Отчитает погрознее, — ну, он хвост-то подо-

жмет, не приходит и месяц, и другой... а там опять за свое. Цепкая порода!.. И, когда он приступает к ней, то — сказывают, кто видал: уж так то ли ее крючит, уж так то ли корчит, — ужас смотреть...

Михайло Августович слушал и шагал, размышляя:

— Вот, значит, на что она намекала, когда говорила мне, что была во власти дьявола и удалена от Бога, как, на миллион женщин, разве одна бывает... Полоумная истеричка с демоническими галлюцинациями... Ах, ты, бедная, неразумная моя внучка! С ее-то нынешними нервами да держать при себе подобное сокровище!.. Ведь это же зараза!

— А как ты, Пахом, полагаешь, — спросил он, — в нынешнюю ночь Василиса была тоже с сектою на ихнем богослужении?

И он показал пальцем через плечо, на лес, откуда недавно неслись торжественные, молитвенные аккорды, теперь замолкшие.

— А беспрременно была. Без нее эти дела не делаются, потому что она от наших, нахиженских, представлена сюда в Правослу за уставщицу, что ли, или за старшую. Она да Анис-

ка-работница тут первые тому коноводки, — без них молитва не спорится. Потому что у обеих — голоса. Бывало, когда Аниска еще при барышне жила, то она на усадьбе песни кричит, а на Правосле в деревне слышно. А Василиса поет — словно в колокол благовестит: густо таково, да звонко, — умейница!.. С месяц назад, около Петрова дня, — были слушки, — и барыня жаловала к ним из усадьбы. Ну, теперь — вряд ли. Намедни брал я красноносого с усадьбы везти на станцию, — видал ее мельком: шибко тяжелая. С эким животом, ночью, по нашим рвам и кочкам, женщине, которая непривычная и ножки нежные, не гулять... Куды? сбесились?! — рывкнул он на невесть с чего шарахнувшихся с дороги — грудую — овец. Собака, сконфуженная, что прозевала, забежала вперед, гавкнула два раза предупреждающим хриплым лаем — и восстановила порядок.

— А и удачливый же шельма этот красноносый! — продолжал Пахом. — Давно ли за счастье почитал, ежели не то, что господа дворяне, а даже наш брат, серый мужик, угостит стаканчиком в трактире? А ноне — фу

ты, ну ты, вон поди! Его высокородие Иван Афанасьевич Пшенка, помещик, красный околыш... И чем только он ее обошел? — вся округа диву дается. Да ведь как обошел-то! Плотники, которые работают у них на стройке, рассказывают: только одного хозяина и знаем, — хозяйка ни во что не вступается, не видеть ее, не слышать! Вся, значит, в мужниной руке, словно бы, вот, овца у меня в гурте: куда погоню, туда пойдет... Диковина!

— Прощай! — резко остановил его и сам на ходу остановился, опять с лошадиною мордою на плече, Зверинцев: ему невыносимо сделалось, что даже мужик — грубый, темный, серый мужик, по найму, погонщик, по случаю, извозчик — считает себя в праве судить и осуждать Викторию Павловну и удивляется на нее, глядя почти что сверху вниз...

— О?! — изумился Пахом, — а в деревню нешто не пойдете?

— Нет, задами пройду: ближе к мельнице... Не спал ночь-то, утро сном морит...

— А чего вам на мельницу? Еще достучитесь ли к дураку? Блажной он. Ступайте лучше к Аниске — у нее все сутки ворота на-

стежь: самой нет, товарка примет...

Зверинцев подумал:

— А ведь это мысль! Пойду ка я, попытаю это гигантское дитя природы: может быть, разужнаю и еще кое-что поподробнее...

А вслух усмехнулся:

— А не зазорно к Аниске — с седым волосом-то на голове?

— Вона! чай, к ней не все с худым ходят, а кто и с добрым: вина выпить, а то — опозднится дорожный человек, вроде вашей чести, так и просто ночевать... Кабы не овцы, то и я бы вам компанию сделал: право! Вино-то она держит чудесное, — баба совестливая: воды не льет, махорки не сыплет, что в складе купила, то и на стол...

Но Михаил Августович, — взвесив в уме, что ночевка его у деревенской Цирцеи, хотя бы и самая невинная, не может остаться неизвестною в Правосле и рано или поздно дойдет до ушей «многodesятинной кулебяки», которая устроит ему плаксивейшую сцену, — передумал уже:

— Нет, нехорошо, неловко... пойду на мельницу... прощай!

— Счастливого оставаться!..

Михаил Августович пропустил мимо себя дробный и пыльный дождь овечьих ножек и, переведши гнедка через канаву, свернул направо, между сильно и остро пахнущими на встречу дню, коноплями, еще не зелеными, а черными в лучах, уже теснящего, но еще не успевшего одолеть ночь, рассвета. Месяц в белом небе стоял бледно-желтый, быстро выцветая в белое облачко над синею полосой леса, между которым и деревнею все поле курилось седою росой, а на краю его, под длинным-длинным клубом змея-тучи, будто надымленной крупно и кругло из гигантской трубы незримого паровоза, горела кровью и золотом длинная-длинная заря...

Однако, не успел Зверинцев пройти и сотни сажений, как увидал быстро идущую ему навстречу, между коноплей и приветно машущую руками, громадную Анисью. Теперь она была уже не в белом хитоне, как привиделось ему давеча, а — как обычно одеваются в будни крестьянки на Осне, — в темной набойчатой кофте, с засученными выше локтя рукавами, в юбке, поддернутой почти до коле-

на, и, хоть шита с претензией на городской фасон, все-таки смахивающей на извечную великорусскую бабью паневу...

— Еще здравствуйте! — сказала она, подходя, с широчайшей улыбкою «во все роже-ство» — краснее восходящего солнца и дыша могучею грудью шумнее кипящего паровика. — Ухта, батюшки! Уж как бежала полевам на перекоски: боялась, не догоню, — не сели бы на коня, да не поскакали бы... Слышь-ка, Михайло Августович, у меня к тебе словечко есть...

— Погоди, — остановил ее Зверинцев, — скажи прежде: шла ты давеча ночью с Василисою, когда я спал у копны, или я видел тебя во сне?

— А как же не шла? — даже удивилась Анистья, — конечное дело, шла... А нешто вы нас признали? Мы думали, вы спите... Тихонько мимо прошли, чтобы не потревожить...

— Коего чёрта мимо, когда я с вами разговаривал добрые десять минут?! — в свою очередь, изумился Зверинцев, сдерживая наступающего гнедка.

Анисья широко открыла на него невозмутимо оловянные очи свои:

— Врущий ты — врущий и есть! — вымолвила она любимую свою недоверчивую поговорку и басисто захохотала.

— Правду говорю, — настаивал, в хмурой тревоге, Михаил Августович, — если хочешь, повторю все, что мы друг другу сказали...

Но Анисья твердо стояла на своем:

— Не словечушка не вымолвили ни вы нам, ни мы вам... вы спали, мы мимо прошли, — только и было всего...

— Странно... Не врешь?

— Да зачем же мне? Помилуйте! Я, правда, хотела остановиться: давай, мол, Василиса, побудим хорошего барина, давно не видались, охота поговорить... А она не позволила — Нет, говорит, пусть себе спит, — некогда нам, нас ждут, да и напугаем мы его еще сонья-то, — еще примет нас, в белом, за русалок... Так и прошли...

Зверинцев слушал ее, с совершенною растерянностью в глазах и даже с испариною на лбу, даром что утро, еще не обогретое солнцем, пробирало дрожью, — и размышлял:

— Ну, уж это прямо из области — «есть много, друг Горацио, чудес, о коих не смеет грезить наша мудрость»... Что-то телепатическое... Они думали и говорили между собою, а я слышал и отвечал... Чудеса!

— В секте ты? — спросил он коротко и просто, предупреждая тоном голоса, что от него скрываться излишне, — не враг! — и ждет он непременно положительного ответа, а вопросом только проверяет, что знает.

Анисья, с совершенною доверчивостью, склонила свою, громадную в отдельности, но маленькую по отношению к туловищу, голову, с благоговением перекрестилась и, поклонившись на, алыми и розовыми букетами расцветающий, восток, навстречу быстро стремящемуся вверх солнцу, — серьезно произнесла:

— Привел Господь, помогли хорошие люди, узнала свет Христов...

— С моленья, что ли? Слышал я издали, как вы пели...

— И пели, и кафизмы читали, и человек один от евангелия говорил... больно хорошо было! Разок бы тебе, Михайло Августович, по-

сидеть с нами у огонька под небесными звездочками да под сосенными лапочками, — не расстался бы во век...

— Скажите, пожалуйста! — невольно усмехнулся Михайло Августович, — проповедница какая: уж и меня в свою веру тянет... Нет, друг, оставь заботы: слышал я апостолов и поумнее, Да на это ухо глух...

Анисья же продолжала, сложив на животе под фартуком монументальные свои ручки:

— А словечко я несу вам от барыни Виктории Павловны... Ступай ты, говорить, Анисья, на мельницу, найди верного друга моего Михайлу Августовича...

— Стой! — резко перебил Зверинцев, отталкивая плечом насунувшуюся морду гнедка, — где же и когда могла Виктория Павловна дать тебе поручение ко мне после того, как я сам у нее сидел весь вечер, а тебя потом видел с Василисою на дороге в лес?

Анисья еще больше покраснела смущенным лицом, переступила в траве босыми ногами, точно недовольная лошадь, когда ищет шага, — и, не без наглости уставившись на Зверинцева, произнесла хитро и замыслова-

то:

— А вам что? Где видела, там видела...
Ночь долгая, а земля велика...

— Ну, и обставились же вы здесь секретарями! — качая сивою головою, укорил, почти с оскорблением в голосе, Зверинцев. — Нечего сказать, — сторонущка стала! Уж на что ты, Анисья, всегда была бесхитростная простыня, и тебя не узнать... ишь, бельма-то — словно занавесила!.. Только ты не старайся понапрасну: я не дурак, а секрет твой не больно мудреный. Что Виктория Павловна водится с вашею сектою — или как там ее прикажете называть? мне все равно! — я уж знаю. Но как же это она так себя не бережет — в таком-то дурном состоянии своего здоровья выходит к вам в лес, на ночное моление?

Анисья, слыша Михайла Августовича настолько осведомленным, вздохнула, точно у нее гора свалилась с плеч, и отвечала уже гораздо свободнее:

— Давно не бывала, а нонче пришла — нарочно, чтобы меня найти и к вам послать...

— Гм? значит, вы видаетесь? — опять перебил Михаил Августович, — а как же я слыхал,

будто тебя новый правосленский хозяин не велел на выстрел подпускать к усадьбе?

— Мало ли что он велит, красноносый! — равнодушно отвечала Анисья, качая, как медведица, могущественное тело свое. — Врущий он — врущий и есть. Командир он, что ли, мне? Посчастливилось дурню: обзавелся женою, — ну, женою и командуй, коли дается, а я — нет, брат, я тебе — не венчанная: девка, вольный казак... Это барыня сблажила, от большой своей совести, — много ему воли против себя дала, а на меня — налегай, да с отладочной: подвернешься в нелегкий час, то и ребро пополам... Как жили мы с ним в Правосле, он был управляющий, а я при нем за управляющую, тогда не очень-то он у меня смел безобразить: щупа-глупа, а унимала в лучшем виде... пробовал он тоже ручки-то моей не раз... знает, сколько в ней весу.

Она захохотала, густо, медно, точно зазвонила в колокол, но, отсмеявшись, продолжала серьезно, даже торжественно:

— Как же бы мне с барыней моей не видаться? Слава тебе, Господи, я ей верная слуга, тетенька-покойница меня, еще девчонкою, в

дом, взяла, а — что мы вместе бедовали то, Го-о-осподи!.. Этакой приверженной, как я, — был ли еще когда друг у барыни, да и не будет!.. Чего нам не видаться-то? К красноносому, что ли, она меня ревновать будет? Так, по мне, дал бы Бог его век не видеть. Да, поди, и она, хоть не показывает вида, приняла на себя послушание и усильствует над собою, а тоже не заплакала бы, кабы луканька провалил его сквозь землю...

— А очень в послушании? — угрюмо спросил Зверинцев.

Анисья недоуменно развела руками, красными, будто она сейчас свеклу чистила:

— Как в чем... На хозяйство, деньги — глаза закрыла: все ему предоставила, будто и не ее... Себя самое — тоже хоть по суставчику разойми, она словечка не пикнет... Ну, а вздумал он как-то раз Феничку за ухо взять, и, ежели правду вам сказал, то стоило, потому что напроказила, — так Виктория Павловна такую бучу подняла, мало-мало его из дома не выгнала... Только уж, что Любовь Николаевна Смирнова тогда три дня в Правосле прожила, так, вместе с Василисой, уговорили. Да отец

Экзакустодиан из Питера прислал телеграмму, чтобы беспременно помириться и жить в совете... А Феничку, все-таки, после того не захотела держать дома: отвезла в Дуботолков, к барышне... как бишь ее? Балабоневская, что ли...

— Вот тоже, — добавила она, подумав, отчего брови ее всползли по низкому лбу почти к самым волосам, — что она с сектою... Ему это нож острый, потому что — хотя мы и не скрываемся, а все же не совершенно дозволенные, и — которые попы за нас, которые против, которое начальство говорит: пуцай, а которое грозитя: дайте срок, мы вас ужо! А у него, красноногого-то, становой первый друг и все попы кругом, которые наши ненавистники, тоже приятели... Настращали его, — дрожмя дрожит: ну, как придет из Питера бумага, чтобы нас порешить и в Сибирь услать? А уж ему известен барынин характер: если что стрясетя, она в беде дружков не покинет, уйдет за нами, куда Бог велит. И, при всем том, не смеет не то, что запретить, — словечка против не молвит... Потому что Виктория Павловна сразу ему язык отрезала: это, — го-

ворит, — не ваше дело, прошу в мою душу носа своего не совать... Ну, и аминь ему... Заюлил, запрыгал... Витенька, Витенька... да я... да что же я?.. То-то! Молодец против овец, а против молодца сам овца... Теперь — только на Василису зыркает волчьими глазами, когда жена не видит: воображает, будто от нее все зло идет, — так бы и разорвал ее в мелкие клочья... Да и то не очень смеет, потому что опять-таки — через секту только и привалило ему это счастье, что Виктория Павловна выбрала себе судьбу — пойти за него замуж. Кабы отец Экзакустодиан не приказал, не видать бы ее ему, красноносому, как своих ушей...

— Значит, она этого вашего Экзакустодиана — действительно — решительно во всем слушает? — спросил Зверинцев, дергая усы на красном, воспаленном от бессонной ночи, лице и тупя в землю полные гневной печали, потемневшие глаза.

Анисья уставилась на него с невыразимым изумлением:

— А как же его не слушать? — медленно произнесла она, — чать, он с неба...

— А не из острога?

Громадное лицо Анисьи все вспыхнуло гневным заревом:

— Врущий ты — врущий и есть! — резко ругнулась она, — только, что давно знакомы, да человек вы хороший, а то не стала бы больше и говорить с вами...

— Ну, ладно уж, ладно, — смутился Зверинцев, — больше не буду... считай, что я насчет острога ничего не сказал... И, наконец, что ж такое? Я, ведь, не ваш брат, сектант, человек мирской... в пророков, которые с неба приходят, не очень-то верю, а мало ли шляется по Руси самозванцев и пройдох, которые промышляют святыми словами...

— Отец Экзакустодиан, — учительно проговорила Анисья, и грубые черты ее опять просветлились торжественным умилением, — не пройдоха... врущий ты, врущий и есть... Его бесы боятся, ему люди радуются, ему ангелы друзья... вот он какой человек... Василису пламенный змей пятнадцать годов держал в крепости, блудом терзал, все нутро ей сожег, — оттого она и в лице почернела, коли видел... И — из себя красивая, а, ежели

близко к ней сидеть, то от нее тянет дух нехороший, потому что кипит еще в ней яд-то змеиный, и черева, им спаленные, в ней, понимаешь, еще не зажили, гниют. Уж она и духами, уж она и мылами, — нет, пышет из нее неумный демонский дух... Что ее лечили, что отчитывали, — ничего не помогало... На всем свете только одного Экзакустодиана и боится этот ее змей, от икон чудотворных не бежал, над мощами смеялся, а — как помянет ему Василиса Экзакустодиана — он хвост-то и подожмет и, глядишь, нету его... А ты — из острога! Врущий ты, врущий и есть!

— Ты про меня послушай! — воскликнула она с азартом, в перебив замечанию, которое хотел сделать Зверинцев, но не успел и рта открыть. — Как привела меня Василиса к нему под благословение, я дрожала, как осинный лист. Потому — ну, сам же ты знаешь, милый человек, какова моя жизнь, пристойно ли мне смотреть святому человеку в провидящие его очи?.. А, как глянул он на меня, веришь ли, будто согрел: сразу весь мой страх и стыд прошли: нет, — думаю, — этот меня не обидит... Трясусь вся, плачу, а боязни нет, и

только радостно, что его вижу, и охота — ну, просто, скажу тебе, словно бы, вот пить очень хочется, жаждою палит, и к воде ручьевого тянет, — услышать, что он мне скажет... — Ты, — говорит, — девка? блудом живешь?... Слышу, — другому, за такие слова, не знаю, что сделала бы, а от него нисколько не обидно, и сама отвечаю: — Грешна, батюшка, девка, кормлюсь от греха человеческого... А он, ничего мною не брезгуя, положил мне руку на плечо: — Ну, ничего, — говорит, — не сокрушай сердца, не отчаивайся: пред Богом и девка человек... И пошел прибираться от Писания... Мария Египетская, — говорит, — либо взять хоть бы святую Пелагею, — были не лучше тебя, да восхотел Господь прославить свою великую милость — и спас, очистил, возвеличил, во святыню возвел... Восхощет, так и тебя взыщет, на путь наведет... А не взыщет, то, стало быть, угодно Ему, чтобы оставалась ты, какая есть. Ему, ведь, сестрица милая, всякие люди нужны: кто во славе, кто в унижении, кто в святости, кто в грехе... А — кому что как Им суждено — это, говорит, не нашего ума дело: Ему виднее, Его нам не пе-

ремудрить... — Батюшка, — плачу я, а как мне теперь быть с тем ужасным грехом моим, что я, окаянная, много рожала, а детей теряла?.. И вот опять — поди же ты, Михайло Августович, говори, что он простой человек! — этот свой грех я, может быть, только в подушку шептала темными ночами, на исповеди не всякому попу каялась, а тут — кругом народ стоит, смотрят на меня во все глаза, а я во весь голос каюсь, и ничуть мне не страшно, и на сердце уж такая-то ли свобода и легкота... И — хоть ты меня сейчас под все казни веди, пойду, веселешенька, и ни чуточки мне ничего и ничего не страшно... Он, знаешь, этак, потемнел было глазами, личико как бы судорогою дернулось, и ручка его святая у меня на плече задрожала... — Нехорошо ты это делала — говорит, и голос такой, знаешь, глухой, толстый, — вперед остерегись: великий грех, из всех на земле величайший. Богу люди нужны; кто истребляет семена, тот жатву истребляет... а жатва-то Божья близится! Не замедляй же ее, это дело бесовское. К своему, божескому, Бог людей людьми же ведет, а дьявол пакостит и мешает, чтобы не дошли мы: вво-

дит нас во всякий друг против друга грех и вред — вот, даже до человекоубийства... Вперед — строго тебе заказываю: этим не греши. Пошлет Бог тягость, — терпи, неси, роди, корми. А — что было — что же с тобою теперь делать? Уповай: Бог попустил, Бог и простит, — без воли Его и волос не падет с головы человека, так разве бы не защитил Он утерянных младенцев от матери неразумной, если бы не было на то Его пощущения?.. Отпускаю, говорит, тебе великий грех твой именем Христовым... Живи, веруй в Его святую милость да побольше молись... Потом обернулся к людям, которые стояли:

— Слышали, — говорит, — что эта женщина сейчас про себя рассказала? Народ говорит: — слышали. — А, если слышали, то знайте же: за такое бесстрашное ее покаяние снял я с нее грех и взял его на себя. И нет, говорит, теперь между нею и Богом никого, кроме меня, и есть, значит, на нее теперь только суд мой, а на меня — Божий!.. И если, говорит, найдется между вами такой злодей человек, который, после того, предаст ее суду человеческому, то все равно, что он меня предал, и

будет он от Господа анафема проклят, все равно, как Иуда или Ирод!.. Сказал — и пошел. Народ кто за ним, кто стоит, на меня дивуется... Пошла я — расступились предо мной, точно я становиха, поклоны в пояс... мне-то! Аниске! а?.. А ты говоришь: пройдоха! Врущий ты — врущий и есть...

Рассказ Анисьи произвел на Зверинцева сильное впечатление.

— Кто бы ни был этот ихний Экзакустодиан, — думал он, — а не трус и человек не маленькой души... При всем народе подобное на себя взять, донос запретить... это уже, выходит, не с архиереем война, но маленько и с прокурорским надзором!

А вслух сказал:

— За что же он, если такой жалостливый, ее-то погубил, нашу Викторию Павловну?

— Чем он ее погубил? — огрызнулась Анисья, видимо давно готовым ответом на привычный вопрос, — не погубил, а в закон привел... Божьему делу помог... жена мужа нашла...

— Да не сама ли ты сейчас мне его ругала? Какой он ей муж? Стыдно подумать — не то,

что видеть.

— А — какого Бог выбрал и послал. Это уж кому счастье, кому несчастье. Судьбу-то женскую святой Покров батюшка не на земле, а на небе ткёт.

— Жаль, тебе не выткал! Куда бы приятнее было видеть!

— То-то, вот, вы, баре, все умнее Бога хотите быть, хотите его поправлять, кому что лучше, кому хуже... Значит, мне была не судьба, а ей судьба. Чего тут еще? Венца поп спроста не наденет, а — как написано на роду.

И, ежась от утреннего холодка, продолжала:

— А кабы не это, что вы напомнили, я бы от моей милой барыни ни за что не отошла, сколь ни лютуй на меня красноносый. Небось, отгрызлась бы. Но — думаю: она от него в тягости, я только что опросталась... в одном дворе! Нехорошо, зазорно, — мне плевать, а на нее от людей будет смех. А тут, слава Богу, и Василиса подъехала. Ну, вижу, эта барыне будет человек верный, есть с кем ее оставить, не выдаст ее, нашего поля ягода!.. С тем и ушла... А видимся мы по-прежнему, и

доверенность ее ко мне все та же. Вот хоть бы и теперь — не кому другому, а мне велела бежать за вами...

— С чем бежать-то? — угрюмо переспросил Зверинцев, — с добром или худом?

— Ох, Михайло Августович, — сокрушенно закачала Анисья огромной головою, — жаль мне тебя, старого, не очень с добром... Велела сказать тебе, что уж больно рада была тебя видеть и крепко благодарна тебе, что навестил, никогда не забудет твоей ласки... А только впредь — пожалел бы ты ее, не бывал к ней больше. Потому что, — говорит, — отрезала я себя от прежней жизни и прежних друзей, и тяжело мне смущаться... Тебе — свое, ей — свое... понимаешь?.. Порвалась веревка, — как ни связывай, а узел будет, а этого, говорит, я не хочу... пусть уж лучше концы врозь, чем узел... Ну, значит, и того... не вороши... уйди... не надо... не приходи!..

III.

В последний месяц перед тем, как Виктория Павловна Пшенка, в Рюрикове, объявила

мужу своему Ивану Афанасьевичу о своем неожиданном положении и отменила предполагавшуюся поездку вдвоем с дочерью за границу, она чрезвычайно сдружилась с человеком преклонных лет, самым уважаемым, заслуженным и народным из всего рюриковского духовенства. Ученый, искренне благочестивый, священник этот захватил Викторю Павловну впечатлением первой же встречи в пансионе Зои Турчаниновой, где он законоучительствовал, и — затем — с каждым днем, влиял на нее все сильнее и глубже, и едва ли не чрез то именно, главным-то образом, что, как будто, совершенно не старался влиять. Из духовных лиц, с которыми жизнь сводила Викторю Павловну до того времени, она не встречала еще ни одного, настолько — казалось — равнодушного к ее религиозным мнениям и настроению. Знала она попов-фанатиков, недоверчивых и подозрительных, которые ловили ересь или неверие в каждом слове слышимом, в каждом действии наблюдаемом. Знала попов-неверов: таких, которые, наоборот, чуть не с первого слова, подмигивали и речью и глазами: ты, мол, су-

дарыня, моей рясы не стесняйся, это служебный мундир, а сам я человек просвещенный и свободомыслящий и — ежели ты имеешь склонность к вольнодумному собеседованию, то сделай одолжение, охотно составлю компанию и даже, пожалуй, сам расскажу новейший кощунственный анекдот, — только не насплетничай о том именитым прихожанам и архиерею... Знавала попов к вере усердных, но — формалистов, холодных, как лед, которые, однако, проэкзаменовывать каждого нового встречного в вере и обряде считали непременным долгом служебной добросовестности. Знавала и добродушно-беспечных, которые не то, что никаких экзаменов пастве своей не чинили, а и вообще придерживались того взгляда, что, ежели человек упорствует, то не на аркане же его тащить в рай: захочет спастись, так найдет, как спастись, а не найдет, так его Бог спасет; а не спасет его Бог, — значит, так ему, собаке, на роду написано, не стоит о нем и говорить. Знавала страстных и вдумчивых исследователей, которые исповедь обращали в длинные психологические диспуты, рыться в чьей-либо вверяющейся

им, омраченной совести полагали своим долгом, призванием и высшим даром. Знала и таких, которые, обратясь в живые машины треб, давно забыли, что бывают в мире не только религиозные сомнения, волнения, муки колеблющейся совести, искушения буйной мысли, но и что евангелие существует не только для чтения по требнику, а катехизис не только для задавания уроков от сих до сих в классах Закона Божия. Таких, которые, если в воскресенье или праздник не скажут проповеди, то им кажется, будто они что-то украли у себя, у людей и у самого Бога. И таких, которые, при мысли о проповеди, с ожесточением чесали в затылках: обуза ты моя! — и старались раздобыться какою-нибудь старенькою рукописною проповедкою от приятеля-соседа, либо, просто, приспособляли к празднику нечто из Филарета, Евграфа Ловягина, Иннокентия Таврического... Таких, которые, услышав о новой секте или ереси, немедленно устремлялись — хоть за тысячу верст — чтобы сразиться с нею во имя и славу церковного авторитета. И таких, которые, когда секта или ересь победоносно врывались в их собствен-

ные приходы, полагали с наивною искренностью, что это гораздо более касается станового и полиции, чем священника и церкви... Знала изящного и блестящего отца Нила, петербургского Савонароллу, с его домашнею часовнею-капеллою, в которой звучали красноречивейшие проповеди, мешавшие православленную прямолинейность с католическою театральностью, причудливо сшивавшие, точно лоскутное одеяло, кусочек Киреевского с кусочком Владимира Соловьева, Константина Леонтьева с тюбингенцами, Достоевского с Ренаном, Иннокентия Борисова с Толстым, Ламенэ с отцом Иоанном. Знала и нахиженского попа-мужика, о. Наума, который о Ламенэ, тюбингенцах, Штраусе, Соловьеве и не слыхивал, да, пожалуй, и слушать не стал бы; служба обедню, между строгими и истовыми возгласами, думал, глядя в окно алтаря, о всходах гречихи, о сенокосе, а то и вполголоса спорил с дьяконом, тоже страстным хозяином, о возможных весенних ценах на хлеб, овес и скотину. Но все они, пламенные и холодные, усердные и небрежные, искренние и притворщики, имели хоть малый отпечаток

того профессионального любопытства, который меряет новых знакомых, если не словами, то глазами, аршином вопроса:

— Како веруеши? Наш или чужак? С нами или против нас?

Рюриковский кафедральный протоиерей, отец Маврикий, — первый — ни разу не дал Виктории Павловне почувствовать себя под машинально испытующим спросом профессиональной «поповской» поверки. А, между тем, редко в ком раньше она угадывала — чутьем же — большую глубину, силу и цельность религиозного мирозерцания, чуждого громкой словесной навязчивости, но, в безмолвии, насквозь пропитавшего всю жизнь, всю деятельность, всю мысль старого протопопа... Наслышанная, что о. Маврикий очень хорошо служит, — Виктория Павловна, из любопытства, отправилась в собор: впервые — не с иным чувством, как в театре, где, говорят, красиво поет модный тенор, или играет знаменитый трагик. Но, отстояв обедню, вернулась домой, откровенно пристыженная, почти потрясенная, давая себе слово, что больше она никогда не пойдет «смотреть отца

Маврикия»:

— Это стыдно — стоять праздною зевакою пред искренностью такого чувства, пред честностью такой веры... Это не зрелище для неверующих глаз... Ведь, когда он — похожий на Саваофа — в серебре кудрей и бороды, в золоте риз — стоял с чашею в царских вратах, я же видела: он не только верит, что держит в руках не вино и хлеб, но тело и кровь Христова, — он это знает... И — либо надо верить, как он, и знать вместе с ним, либо отойти в сторону и опустить глаза: тут постороннему человеку не место... Стыдно, словно ты прочитала интимнейшее чужое письмо или подглядела чью-либо сокровенную тайну — такую наивную и трогательную, что зло берет на себя, зачем узнала: сочувствовать — не умеешь, не можешь, улыбнуться свысока — жаль и совестно... и... и — сознайся уж, душа, ведь, никто не слышит! — страшно...

Человек большого образования, — много и разнообразно читающий, отец Маврикий никогда не говорил с Викторией Павловной на религиозные темы, и первая такая беседа их была вызвана и начата не им, но ею... Застала

она однажды старика разбирающего старый книжный хлам в шкапу — взялась ему помогать. Среди книг богословских и философских попалась ей толстая тетрадь в темнокрасном бумажном переплете. Развернула: что такое? Переписано мелким круглым почерком что-то с разговорами, вроде повести или романа... Перевернула страницу, другую... Что такое?... Выцветшие строки на пожелтевшей бумаге мелькают знакомыми именами... Вера Павловна... Кирсанов... Лопухов... Никитушка Рахметов...

— Отец Маврикий, неожиданная находка: рукопись «Что делать»? Чернышевского, — и, извините, если ошибаюсь, но, кажется, вашей рукою...

А отец Маврикий, в «бордовом» подряснике, стоя, высокий и тучный, на переносной лесенке, и пыльно шевеля ветхие инкварты на самой верхней полке шкафа, весело отозвался сверху вниз:

— Непременно моею! Что же вы думаете, — старый поп никогда молод не был? Я, матушка, Виктория Павловна, в свое время, сон Веры Павловны — почитай, что наизусть

знал... Да, поди, если понапружу память, то и сейчас страницу-другую отхватаю, хоть и с ошибками...

— Так вам нравилось?

Протопоп перевесил через руку седую бороду и, с улыбающимися из-под седых бровей, умными, стариковскими глазами, произнес в расстановку:

— Зачем прошедшее время? Нравится и теперь. Умный человек писал, хороший человек писал. Художество плохое, а голова большая. Запрещено у нас. Напрасно. Читать подобное да думать, — полезнее многого... Что вы смотрите на меня этак... сомнительно? Разве не согласны?

— Удивлена немножко...

— Что поп запрещенную книгу переписал и хвалит?

— Нет, не запрещенную, — это что: слыхивала! — а материалистическую... Вероятно, к семинарскому или академическому вашему времени относится? Тогда ведь все семинаристы, говорят, материалистами были...

— Он, что вы! Восьмой год священствовал. Скуфью и набедренник имел, в благочинные

метил...

— Тогда и вовсе странно. Я знаю, что вы в священники пошли не только по сословной традиции, но по призванию. Материалистические симпатии с этим как-то не вяжутся...

Протопоп, лицом к шкафу, широчайшею «бордовой» спиной в комнату, спустился по лесенке, точно медведь по стволу дерева от борти, вытер пыльные ладони о полы подрясника, сел на клеенчатый диван у стенки, упер руки в боки и возразил:

— Да что же — материалистические? Кому дар духа послан, тот благослови за то Господа своего во век, а на материю очень-то плевать тоже не годится: небось, ведь, она создана Господом Богом, а не бесом.

— ...Это только чуваши да мордва верят, что тут и шайтанка чего-то помудрил, а мы крещенные, православные, нам грех... А коль скоро Господь материю создал, то, следовательно, всеведение Его предвидело, что создается и на что создается... Ежели Бог материю приемлет, нам ли отрицать и брезговать? Ежели Он над хаосом сжалился и дал ему разделение стихий и формы, и органическое бы-

тие, и, в законе тяготения, взаимодвижение миров, из ничего вызвал лестницу тварей и увенчал ее от глины взятым человеком, — нам ли, глиняным, презирать материйное естество?.. Речено было апостолу Петру с небеси гласом Божиим: — Яже Бог очистил есть, ты не скверни... Дух Господень дышет, идеже восхощет, — flat, ubi vult!.. Слыхивал я, голубушка моя, и читывал много слов человеческих, которые все были о духе и хвалились, будто идут от духа, а ничего в них не было, кроме мертвости — именно той материальной мертвости, которой еще не касалось творческое дыхание Божие, которая еще есть косный, хладный, жизни враждебный хаос. А знаю и такие слова и целые книги, которые каждую буквою кричат — хвастают: я материя! да здравствует материя! знать не хочу духа! долой дух! нет духа! прочь Бога!.. А я читаю — и не верю: врешь, брат! сам себя не понимаешь! Весь ты жизнь, а, коли жизнь, то и дух, а коли дух, то между Богом-то и тобою, как ты там ни чурайся, а перегородочка) то-о-о-оненькая... Дунет Он, — и рухнет она, — возьмет Он тебя и притянет к Себе: мой!.. А на

людей Он жадный: не любить уступать их враждебному мраку. Даже самый плохой и завалящий человечешко Ему нужен и важен — и уж какую-нибудь удочку Он ему да подбросит, чтоб поймался на нее человечешко. И, хотя бы, может быть, даже против желания и бессознательно, но, в конце-то концов, доползет он-таки по ней до Него...

— Разве что — бессознательно, — угрюмо усмехнулась Виктория Павловна, — а то тридцать три года на свете прожила, никакой удочки вокруг себя не нащупала...

Старик взглянул на нее быстро и остро — и спокойным, не строгим голосом спросил:

— А нащупать-то желаете ли?

Виктория Павловна, отвернувшись к полкам, на которых подбирала и ставила в порядок перепутанные томы французского собрания проповедей Массильоно, уклончиво возразила:

— Чтобы сама искала, не скажу, но от возможности испытать никогда не отказывалась...

— Да? — переспросил протопоп с ласковостью, — ну, ежели так, то ничего, встрети-

тесью... Там, — он указал толстым пальцем вверх, — не спесивы: визитами не считаются...

— Это не вы первый сулите мне, о. Маврикий, — отозвалась Виктория Павловна от пыльных книг, — слышали про Экзакустодиана, о котором теперь столько говорят? Ну, так вот он — каждый раз, что меня встретит, то и пригрозит: не уйдешь, — придешь!..

О, Маврикий возразил с серьезностью, которой она не ожидала:

— Если Экзакустодиан вам это пророчествует, то — так оно и будет...

Виктория Павловна, изумленная, быстро повернулась к нему, оставив книги:

— Как? — воскликнула она, — вы верите... вы признаете Экзакустодиана?

Протопоп раздумчиво склонил голову на бок и отвечал с ударением, деля рукою бороду надвое:

— Что обозначает это слово — «признаете»? Признание есть плод знания, а знания у меня о нем немного. Я не знаю, кто он и чему учит, но имею понятие, как учит и кто его слушает. Он экстатик, а у экстатиков — вели-

кое чутье на беспокойных и ищущих меры. Мятущийся дух человеческий они видят, как будто он сквозит им чрез стеклянное тело. Великие чтецы борющихся чувств и смятенной мысли.

— Не отрицаю этих качеств за собою, но простите: сколько я знаю этого человека, его собственные чувства и мысли нисколько не в лучшем порядке...

— О! — воскликнул протопоп, — кто же в том усумнится. В много худшем, наверное, в много худшем... Но чему в сказанном это противоречит и препятствует? Разве уравновешенный дух и прозорливое внимание взаимно обуславливаются? Отнюдь. Напротив. Наши духовные примеры вам мало внятны, потому что вряд ли вы хорошо знакомы с историей церкви. Но возьмите вашего светского провидца: писателя Достоевского... он ли не чтец в бурных и омраченных сердцах, и он ли — сам — не наиболее бурное и омраченное сердце?

Он помолчал, тихо думая, двоя пальцами длинную серебряную с чернью бороду, потом добавил:

— Есть удивительный библейский образ. Дважды он является: один раз — у Иезекииля — пророка, о нем самом, другой в книге Даниила — про Аввакума — пророка.

Живет себе человек... ну, хороший человек, благочестивый, честный, но ничего нет в нем особенного, человек, как все порядочные люди. И способы жизни его, и занятия — тоже не какие-нибудь особенные, а самые обывательские. Ну, Иезекииль еще был хоть священнического рода, все-таки, значит, из духовенства, касты религиозных тайн и вдохновенный, но Аввакум, например, был просто офицер — и даже не инженерный, как наш Федор Михайлович Достоевский, а обыкновенный гарнизонный пехотинец — так что даже и пророческий дар-то осенил его, когда он был дежурным в карауле. И, вот, вдруг, Господь избирает подобного человека, в свои пророки. Да, ведь каким знамением избирает-то? Спустилась Рука с неба, схватила Иезекииля за голову, подняла в воздух: виждь и внемли! Налетел на Аввакума ангел, ухватил за волосы и помчал в Вавилон — на общение с другим великим пророком родственного ему ду-

ха. Поставил на возвышенное место: — Смотри и понимай! И — о диво! Се — как бы некоторое второе зрение: открываются глаза на весь современный Аввакуму мир, средства логического наведения обостряются до силы откровения и достигают совершенного прозрения в будущее, и — нет больше гарнизонного офицера Аввакума — есть пророк Аввакум, владыка мыслей Аввакум... И весь он восторг, и стража его божественна... «днесь спасение миру, днесь воскресе Христос!»

— А, ведь, поди, больно было Аввакуму, когда ангел нес его за волосы по воздуху? — усмехнулась Виктория Павловна.

О. Маврикий подхватил почти радостно, точно он только и ждал этой насмешки:

— Непременно больно. Именно — больно и страшно. Совершенно справедливо изволили заметить: ужасно должен был страдать Аввакум и вне себя быть от страха, несомый над землею в терзающей руке ангельской... Именно потому я и избрал сей образ, чтобы явить вам, что в великом мучении зачинается пророческая сила.

„И он мне грудь рассек мечом,

*И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую подвинул!*“

— Оцените-ка этот образ: каково это мучительство для слабой плоти — в груди, вместо сердца, бьющийся трепетными сокращениями и расширениями пламени, сожигающий уголь? Великое и страшное терзание дар провидения, и воеет и ужасается душа, обязанная принять его в себя... А знаете — почему? Потому что она, прежде всех других душ, самое себя провидит, и зрелище приводит ее в великую скорбь. Мы-то, обычные, спокойные, душ своих не видим либо, хотя и видим, да не дозираем, отсюда и паше житейское равновесие. Знаете, как, говорят, на войне самыми храбрыми воинами оказываются близорукие, потому что не видят опасности во всей ее сложности и подробностях. Так вот и мы, мирские и полумирские, подобные же близорукие храбрецы в битве жизни. А они — зрячие. Мало: со зрением, болезненно, сверхъестественно обостренным. Вместо глаз у них как бы соединение микроскопа с телескопом... «Раскрылись вещие зеницы, как у испу-

ганной орлицы» — и узрели мир, как хрустальный, а в мире грех и ужас, а в грехе и ужасе — первых, грешных и ужасных самих себя... с самих себя обязанных начать казнь греха и ужаса! «И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый»... Хорошо, когда это делает ниспосланный с неба шестикрылый серафим. А когда серафим не приходит и — надо самому? Искушение-то какое, буря духа-то какая, мука решимости-то чего стоит!.. Именно их состояние, близких к пророчеству, но еще недовершенных пророков, я уподобляю Аввакуму, когда его ангел, схватив за волосы, от земли и обывательской доли уже оторвал и к облакам вознес, а на пророческое место еще не поставил: совершенным экстазом-то, понимаете, — до откровения-то — еще не благословил... О! как же, в подобном страдании, не быть душе смятенною и чувствам возмущенным — иногда даже до некоторого свирепого как бы извращения? Великая происходит борьба озарения с мраком нелюбви с мучением, — и безмерная от нее пытка, пугающая, огневляющая, иступляющая дух. Я, голубушка моя, старый

поп — принимал тайною священства своего исповедание всякого греха человеческого, слышал и видал всякую веру. От слепой младенческой, прелестно бессмысленной, которая неразумными семилетними устами, по слабой детской памяти, лепечет, любя и благоговей, «Богородицу» пополам с «Стрекозой и муравьем»: «оглянуться не успела.....!» — которая вся не в словах и мыслях, а только в чувстве, в инстинкте, в подсознании, — до той безотрадной веры-злости, которую, по словам апостола, бесы веруют: веруют и трепещут. Это — знаете — как некий великий меридиан, тянущийся от полюса к полюсу. И скажу я вам без утайки: на великом протяжении этом, счастья веры спокойной, тихой, мирно-уверенной, блаженной — столь мало, что вспоминаются ее светлые образы одиночными звездами, едва мерцающими сквозь стремительные тучи бурной ночи. Но верь страдающей — мучащей и мучимой — ужасающей и ужасаемой — о, сколь неисчерпаемое множество и многовидное разнообразие! Ибо нет такого волнения, такой страсти, такой ярости человеческого духа, которые не мог-

ли бы воспламениться верою и любовным стремлением к Божеству и наполнить человека борением, в сравнении с которым сотрясение эпилептика — едва ли не счастливая эмоция... Удивительно пестро любит грешный человек Господа своего, и, увы, редко и мало кому Он постижим в благодати. Но для скольких людей любовь к Нему есть гнев и свирепость духа. Сколько знаю любящих Его сквозь сластолюбие и разврат. В скольких она превращается в строптивость, ожесточаемую даже до богохуления. Обретение веры и любви к Богу подобно горению сырых дров. Трудно и нудно затлевают костер, а, возгорев, дымит, чадит, трещит; дерево корчится, лопается, испускает влагу шипящим паром, сыплет залпами искр, в муке огненного претворения, чернеет углем, рассыпается белой золою. Но — в конце концов — о, радость! пламя победило: существо дерева незримым теплом разлилось вокруг костра и согрело все ближнее, незримым газом поднялось к небу, чтобы слиться с его атмосферой: незримое тонет в незримом...

В этом разговоре, между старым протопопом и Викторией Павловной как бы растаял

последний лед и, с того именно вечера, и началось медленное, но постоянное и неуклонное сближение — взаимодействие мысли опытного, осторожного катехизатора с обрацаемою — скептической и строптивою, но уже занесшую одну ногу за порог сомнений, уже сказавшею самой себе — правда — еще не «да», но:

— Может быть.

Свидания и беседы вершились чуть не ежедневно. Виктория Павловна всегда была охотница поспорить на отвлеченные темы. Теперь, попав на новую почву религиозных диспутов, диалектический задор нашел себе новый интерес, новое удовлетворение. Сначала спорила — что называется, «отсебятиной», то есть по непосредственной логике здравого смысла, в прямолинейном порядке первой практической мысли, которую рождает возражение противника. Но противник-то был серьезный, искушенный в силлогизмах спекулятивной диалектики пятидесятилетнею практикою, а потому, в сознании своей силы, до обиходного терпимый и покладистый — прежде всего — в выборе арены для словобор-

чества. Притом, Виктория Павловна с досадою, стыдом и завистью сознавала, что о. Маврикий гораздо сильнее ее в области даже ее собственного светского образования, и — что ее большая, но, все же, только зауряд-любительская начитанность, то и дело, сталкивается в нем с научным изучением и, конечно, пасует. Философы материалистического мировоззрения оказались известными о. Маврикию гораздо больше, шире, глубже, тоньше, чем его прекрасной оппонентке. И очень часто, когда она с торжеством выдвигала против него, как решительный логический авторитет, мысль Конта, Дарвина, Спенсера, старый протопоп, мягко улыбаясь, поправлял:

— Извините, но Спенсер никогда ничего подобного не говорил. Эту мысль вы у Михайловского вычитали. Он ее высказал, как раз полемизируя со Спенсером в этом пункте, — он, а никак не Спенсер... Спенсер же, напротив, говорит...

И следовало обстоятельное изложение того, что говорит Спенсер. Возвратясь домой, Виктория Павловна рылась в своей библиотеке, находила нужное сочинение либо по-

сылала за ним в книжный магазин, в боевом спехе искала нужные страницы, — и всегда, с конфузом, убеждалась, что о. Маврикий был прав: Спенсер говорил совсем не то, что она утверждала от его имени...

Подкупало ее в о. Маврикии еще то обстоятельство, что он решительно не сочувствовал мирскому ханжеству — ни в каком его виде: от вульгарных салопниц, праздно обивающих церковные пороги, обращая храмы в клубы благочестивого лицемерия и злословия до учителей «нового христианства» и «светских богословов», столь бесчисленно расплодившихся в последнем десятилетии XIX века и в первом нового. Считал «богоискателей» носителями опасной романтической реакции и — всех без исключения — актерами, сознательно или бессознательно играющими религиозную мистерию. Сознательные — холодные, головные резонеры, «головастики»: мучают себя и других гимнастикой силлогизмов, создающих рассудочные построения — суррогаты религии, чуждые искренности, полные самообмана и обмана, насилия над совестью собственной и искусственной мороки ближних.

Из бессознательных иные, горяченькие, заигрались до того, что, так сказать, уже в самом деле «умирают, гладиатора смерть представляя». Другие смешивают эстетику с религией и воображают себя верующими в то время, как они-то именно больше всех и суть язычники. Толстого протопоп выделял, глубоко уважая, как великого этика, но в богословии почитал наивным и задорным младенцем, которого мнимая непобедимость обусловлена, прежде всего, именно прямолинейной дерзостью гениального младенца, *enfant terrible*, который озадачивает взрослых внезапными допросами вроде:

— Почему вилка — вилка, а нож — нож?

Ответить можно — и вполне удовлетворительно, но для этого надо прочитать младенцу длинный урок сравнительной этимологии и корнесловия... А *enfant terrible* не хочет и не умеет ждать, но всякий медлительный и сложный ответ принимает за умственное бессилие и спешит торжествовать, как отсутствие ответа, как решительную победу над противником, безмолвно и безвыходно прижатым к стене. И, так как гениальному мла-

денцу шел уже восьмой десяток лет и стоял за ним несокрушимый авторитет несравненно-го художника, внимательнейшего наблюдателя и человека честнейшей мысли, то взрослым принимать его атаки было особенно трудно, тем более, что взрослые-то — то есть российские богословы — увы! куда как сами слабы и хромы в области своего ведения и, в большинстве, бездарны, а даровитые — безмерно ленивы и равнодушны...

— Ну, а вот вы, отец протоиерей, — экзаменовала его Виктория Павловна, не без язвительности, — вы, вот, и не ленивы, и не равнодушны, и знающие, и уж, конечно, талантливы... Почему бы вам не выступить против Толстого с полемикою, которая всем явила бы его богословское младенчество, если он, в самом деле, как вы утверждаете, в этой области только старый младенец?

Протопоп отвечал:

— Причин много. Во-первых, вы делаете мне много чести, считая меня не ленивым: напротив, я ужасный, настоящий русский ленивец. Только тем и спасаюсь от лени, что возложены на меня многие обязанности, доб-

росовестное отношение к которым держит меня все время, как бы лошадь в упряжи, чующую то возжи, то кнут. Но попробуйте выпрячь меня из оглобель: лягу и — шабаш. Во всем, что превышает мои обязанности, я ленив, как переутомленный неврастеник, бездеятелен, как Тит, у которого — чуть молотить, то и брюхо болит. Усерден лишь пялить глаза в книгу да еще ходить но комнатам, через весь дом, залажа руки за спину, а в голове строя воздушные замки. Что я, за жизнь свою, половиков шмыганьем протоптал и половиц ножищами своими тяжелыми порасшатал, — эту статистику, сударыня моя, усчитать невозможно. Даже в семинарском аттестате у меня значится: поведения похвального, но питателен и мечтателен. И — каков в колыбельку, таков и в могилку. Вот, поговорить с вами о Толстом — это я могу, потому что — найдено, наброшено, руками за спиною наворачено: в мечте и думе накопилось много, и слова назрели на языке. Но сесть писать, ответственно созидать сложную полемическую систему, — мать моя! да ведь это же трудище! бремена неудобноносимые!.. Хотя бы, вот, в са-

мом деле, Толстого взять... Когда я читаю, как с ним полемизируют, то испытываю великий испуг и стыд... не то! не так!., почти до сознания, что подобной полемике я предпочел бы отрубить себе правую руку! Наша школа, Виктория Павловна, была скудная, жестокая, но добросовестная, воспитание мысли давала суровое, — тесное, но твердое ж упрямое. Либо ты не берись за вопрос, либо — взялся, то не отходи от него, пока не погасил все грани его ответами исчерпывающими, да не так, чтобы тят да ляп, а чтобы комар носом не подточил ни с которого бока, ни в корне, ни на поверхности. Вот, мы намереди с вами Николая Гавриловича Чернышевского вспоминали. Чем он тогдашнюю публику победил, чем ее Добролюбов взял? почему «семинаристы» дворян разбили и гегемонию мысли у них отняли? Таланты-то имелись у дворян посильнее их, новые идеи плыли в наше время потоком: — значит, и помимо их, — и не мало имелось витий, которые выкрикивали их задорнее и громче. Но не было до них гигантов логики: — этой-то, исчерпывающей тему так, что, после их анализа, читатель, со спокойным ду-

хом, выбрасывал исчерпанный вопрос за окно, будто выжатый лимон. То есть — чувствовал себя убежденным до нрава приять *verba magistorum*, как свои собственные, слить свое мышление с ихним в совершенное тождество, даже, пожалуй, до аргумента — *ipse dixit*. И эту силищу свою они вынесли из нашего закала: однокашники! Весь секрет их победы в том, что они, потомки и ученики священнослужителей, попросту говоря, кутейники, перенесли в вашу светскую словесность — в критику, в политику, в публицистику, даже в сатиру, — логические формы и диалектические приемы духовной полемики и апологетики и, путями их — наследственными и от школьной дисциплины приобретенными, — шли к своим победам даже тогда, когда сами над нею издевались и ее проклинали... Вот-с, в каком роде и понимаю полемику и единственно как не почел бы за стыд себе ее вести. Но литературного дарования Господь мне не дал, бойким пером не обладаю, а имею самолюбие — если уж переносить свои мысли на бумагу, то не иначе, как изрядным слогом, чтобы не быть хуже дру-

гих. Посему — тяжеловоз: пыхчу-пыхчу над фразой-то, пру-пру ее в гору, яко слабосильный конь телегу с великою кладью... Так что — где уж мне, старому, усталому протопопу, воевать с Толстым. Тут молодые силы нужны, — им честь и место, а я лучше пойду в свой садик подрезать яблоньки, либо почи-таю своей больной протопопице вслух ее любимого Фому Кэмпийского...

— Ну, а если вам синод предпишет?

О. Маврикий хитро улыбнулся и возразил:

— Не предпишет, потому что — теперь следует во-вторых: не очень-то они мне там доверяют... Попробовал я смолоду миссионерства-то: живо меня, раба Божия, выперли. Только-только что сам не был обвинен в ереси... Ну, это, отцы, шалите! в догме ли, в обряде ли, я, и в двадцать пять лет, мог любому из них преподать полезные уроки: с тех самых моих ответов и замечен был, и в гору пошел... Но, все же, граф Дмитрий Андреевич, — в то время обер-прокурором тоже Толстой был, граф Дмитрий Андреевич Толстой, — так он, когда объяснялся со мною заключительно, изволил изрещи сиятельными своими устами:

«ответные пункты ваши, батюшка, я читал и с мнением синода, что неправославия в них не обретаются, согласен, но согласитесь и вы, что это — все-таки — м-м-м... вариант»... Понимаете? Ересь — не ересь, но — вариант... Так, на всю жизнь и остался я с репутацией попа с «вариантом»... Что же? Не сетую. Компания в том у меня не худая: и Иннокентий Таврический, и Макарий Булгаков Московский, и Хрисанф, и Иоанн Смоленский... мало ли! Чуть кто разумом побыстрее, да знанием пообильнее, тот, глядишь, и наш брат: «вариант»!.. Ха-ха-ха!..

Отсмеявшись со стариковским кашлем, — добродушный и веселые, хотя с покрасневшими от напряжения глазами,—о. Маврикий продолжал:

— В сектантском вопросе я, вообще, с позволения вашего сказать, несколько жид. Но не из свиты Анны и Каиафы, а из школы Гамалииловой. От юности держался его мудрости: «отступите от человек сих и оставите их: яко аще будет от человек совет сей или дело сие, разорится, аще ли же от Бога суть, не можете разорите то да не нако и богоборцы об-

рящетесь»... К полемике же с Толстым имею еще и то третье препятствие, что — поздно: он уже отлучен и, стало быть, став вне церкви, для служителя церкви сделался как бы вне мира — отверженным и отсеченным членом, заживо обреченным смерти, духовным покойником. Существование горестное, бесправное и незащитное, на которое человеку, находящемуся во всеоружии церковных прав, нападать не только бесполезно, но и не великодушно, и не справедливо, — в той же мере, как вторично судит на смерть человека, которому уже отрубили голову, или одевать новую цепь на узника, который прикован к стене за руки, ноги и шею...

Если Виктории Павловне случалось бывать разбитою протопопом Маврикием на собственных своих позициях светской науки и литературы, то уж на его-то поле, в области религиозного мирозерцания, она чувствовала себя совсем беспомощною. Это ее раздражало и сердило, как незаполненный пробел, который лишает ее диалектику оружия, может быть, архаического и слабосильного, но в совершенстве приспособленного именно к

тем условным боям, что кипят между нею и протопопом и дают последнему легкие победы, окруженные мистическим ореолом таких слов, как «чудо», «тайна», «откровение», «наитие», «благодать», «таинство». Когда она отражала их натиск протестом:

— Отец Маврикий, я этой категории аргументов не признаю и считаться с нею не желаю.

Он спокойно возражал:

— В таком случае, прекратим собеседование. Диспут невозможен, по неравности сторон, ибо я ваши аргументы признаю и считаюсь с ними подробною критикою, а вы с моими не хотите считаться — даже до отказа в критическом опровержении!

Разбить однажды о. Маврикия на могущественных позициях его идей, логики и диалектики его же собственным оружием сделалось для Виктории Павловны задачей как бы спортивного самолюбия. И вот — подобно тому, как жилище чэмпiona, готовящегося к решительному состязанию, наполняется гимнастическими приборами и средствами тренировки — библиотечка Виктории Павловны

начала пополняться литературою источников и классиков религиозной мысли. Перечитала Виктория Павловна давно забытый Новый Завет и Псалтырь, Пятикнижие, Пророков, книга Соломоновы, книгу Иова, Руфь. Приступила к чтению с предубеждением и насмешливым отрицанием, но очень скоро начался и стал зреть тот процесс, который переживает почти каждый, кто не лишен эстетического чутья и пристрастия, когда, в зрелом возрасте, воскрешает для себя библейскую литературу, заново открывая ее, как некую исчезнувшую и забвенную Помпею. Величавая красота библейских образов мало-помалу покоряла фантазию, последовательно торжествуя в ней над всеми следами предшествовавших поэтических впечатлений. Бесстрашная правда несравненно искренних характеристик делала родным и близким каждое библейское лицо, врезывая его в память неизгладимым уроком-типом добра или зла, друга или врага, — столь глубоко и вечно человеческим, столь неизменным даже в тысячелетиях. Могущественные афоризмы впивались в ум с меткостью стрел с

наконечниками зазубренной стали, которую, раз попала в цель, уже не вытащить, а уходит она все глубже и глубже. Экстатический лиризм томил и волновал чувство, будил и мучил мысль властными вопросами, — предтечами всей европейской поэзии последующих двадцати веков. Поразительное сочетание мистического вдохновения с прикладным житейским практицизмом заставляло задумываться над множеством первоначальных повседневных явлений, мимо которых привычно приглядевшееся внимание современного человека проходит, уже не видя, которые оно глотает, не замечая, будто незримые бактерии. Требовательная страстность социальной и бытовой морали невольно обращала мысль к самоанализу и давала ему новые средства, еще не испытанные отправные точки, с которых смущенному зрению, вдруг, открывались какие-то невиданные и нечаянные горизонты, широкие и заманчивые, как океанская даль.

Мало-помалу открывались слышащие уши для пафоса молитв богослужения. С изумлением познавалось, что за неразборчивым гро-

могласием дьяконов, безобразным бормотанием и скороговоркою псаломщиков и безразличной холодной гармонией профессиональных хоров, не заботящихся понимать, что они поют, скрываются слова неподражаемой, потому что не подражающей, красоты и страшной неотразимой убедительностью силы — покоряющие выразительностью, захватывающие совершенством обдуманности, выливающие формулы мыслей с решительной, строго точной незаменяемостью. Иные речения подставить вместо них — невозможно; не только синоним, но иногда даже перемена правописания уже колеблет значение, изменяет понятие, извращает символ... И, познавая это таинственное обаяние вещей слов, с новым удивлением и интересом убеждалась Виктория Павловна, что не так уж глупы и наивны, как представлялось ей раньше, были изуверы, которые волновали Византию страшными бунтами за разницу в одной иоте — ὀμοούδιος и ομοιοούδιος или, в русских деревнях, предпочитали сожигаться красною смертью, чем называть «Исуса» — Иисусом... Убеждалась, что, кроме косности и недвижно-

сти умственной, есть и еще какой-то особый инстинкт в том, что люди простой веры и строгого благочестия чуждаются светской книги; что тут не только боязнь соблазна становится между ними и нашею литературою, но и своеобразное эстетическое чутье, не променявшее непосредственности на изысканность и предпочитающее примитив барокку и рококо, еще чувствующее первобытные мистические очарования и превосходства стиля в том давнем душевном, что мы отвергли и забыли, а они сохранили и помнят... Убеждалась, что «религиозная поэзия» совсем не та скучная канитель, которая классифицируется этим определением в учебниках словесности и составляет отчаяние гимназистов и гимназисток на страницах хрестоматий; что, кроме неумолимо длинных и соответственно зевотных Мильтона, Клопштока, Державина, были некогда на свете гениальные поэты, носившие имена Георгия Писиды, Андрея Критского, Григория Богослова, Романа Сладкопевца, Ефрема Сирина, Амвросия Медиоланского... Тесные слова просторной мысли, простые образы возвышенных и сложных идей, психо-

логические глубины, в меткой краткости и простоте выражения, серебряный благовест благороднейших и естественнейших человеческих эмоций и порывов — в такой стройной и общедоступной ясности, что, казалось, толковать гимны и тексты церковных певцов значило только затемнять и искажать их... Читая впервые Иоанна Златоустого, Виктория Павловна, с жадным восторгом сочувствия, отметила красным карандашом его демократическое суждение:

«Благодать Духа святого потому устроила так, чтобы священные книги были написаны мытарями, рыбаками, скинотворцами, пастухами, людьми простыми и неучеными, — дабы для всех понятно было читаемое, дабы и ремесленник, и слуга, и вдова, и самый малосмысленный человек приобретали какую-нибудь пользу от слушания. Ибо не для суетной славы, но для спасения слушающих писали те, которых Бог удостоил благодати св. Духа... В самом деле, кому не понятно все, что написано в евангелии? Кто, слыша, *блаженны кроткие, милостивые, чистые сердцем* и другое сему подобное, будет иметь нуж-

ду в учителе, дабы уразуметь это? А знаменья, чудеса, повествования не каждому ли ясны и понятны?»

Увлечение торжествовало не без протестов. Очень часто, когда Виктория Павловна брала в руки речи Иоанна Златоустого, стихотворения Григория Богослова, письма Иеронима или «Исповедь» Августина, пред взором ее памяти мрачно вставал предостерегающий образ Евгении Александровны Лабеус. Четыре года тому назад, Виктория Павловна начала заставлять ее за книгами в кожаных церковных переплетах... А теперь... что такое теперь Евгения Александровна Лабеус? Виктория Павловна содрогалась, вспоминая последнее свое свидание с подругою, полупомешанною от религиозных экстазов и страстной, двусторонней любви к странному человеку, который ей экстазы внушает... [См. "Злые призраки" и "Законный грех"]

— Ну, положим, я-то не сумасшедшая Женька! — гордо успокаивала себя Виктория Павловна. Но, в глубине души, иногда, как бы вроде нравственного озноба какого-то, чувствовала мгновенно пролетающее, но уже

внятное признание, что — хвались, не хвались, дерзничай не дерзничай, и на строптивые силы свои, сколько угодно уповай, но на тропу сумасшедшей Женьки ты-таки ступила и даже, пожалуй, сделала по ней довольно много шагов...

В соборе Виктория Павловна теперь бывала почти каждый раз, когда служил о. Маврикий, — и уж со спокойною совестью, не стыдясь, что пришла наблюдать верующего священника, точно смотреть актера в театре. Потому что, с накоплением новых знаний, богослужение открыло ей свой символический строй и язык, и храм — особенно при внушающем, толкующем служении о. Маврикия — повысился в ее представлении из занимательного зрелища в многодумную лабораторию новых психологических наблюдений и мыслей еще непчатого, чуть знакомого, порядка. И более того: очень часто недавние «спектакли» дарили ее теперь теми волнениями сочувственного понимания, которые граничат уже с переживаниями и которых Виктория Павловна в себе никак не подозревала и не ждала...

Замечала она и то, что, в беседах с о. Маврикием, она все чаще и чаще превращается из спорщицы в молчаливую слушательницу, часто готовую одобрительно кивнуть головою на слова, которые — еще два месяца тому назад — показались бы ей диким голосом с чужой планеты... Любя «философствовать», она не любила философских систем, скучала ими, относилась к ним с насмешкою, как к построениям на тему «что было, когда ничего не было», и умела их вышучивать очень ловкими и забавными пародиями. Истинно уважала одного лишь Шопенгауэра, крепко веруя в его афоризм: «кто ясно мыслит, ясно выражается», — гордо следуя его пессимистическому бесстрашию... Но разве о. Маврикий не доказал ей, что Шопенгауэр — прямой и лишь не в меру пространный потомок Экклезиаста? Разве он не показал ей своего христианского Шопенгауэра в самом сойме Отцов церкви, когда — трепетным старческим голосом — декламировал размышления Григория Богослова о природе человеческой и о существе жизни:

— «Кто я был? кто я теперь? и чем буду по

прошествию недолгого времени? Куда приведешь и где поставишь, бессмертный, великую тварь, ежели есть великое между тварями? А по моему мнению, мы ничего незначащие одnodневные твари и напрасно поднимаем высоко брови, ежели в нас-то одно и есть, что видят люди, и ничего не имеем мы, кроме гибнущей жизни. Телец, едва оставил недра рождающей, уже и скачет и крепко сжимает сладкие сосцы... Пестровидный олень, едва из матерней утробы, и тотчас твердо становится на ноги подле своей матери, бежит от кровожадных псов и скрывается в чащах густого леса. Птенец, едва оперился, и высоко над гнездом кружится по просторному воздуху... У всех у них готовая пища, всем пир дает земля. Жизнь их не обременена трудами. Под камнем или ветвями всегда готовый у них дом. Они здоровы, сильны, красивы. Когда же смирит болезнь, беспечально выпускают последнее дыхание, не сопровождают друг друга плачевными песнями, и друзья не рвут на себе волос. Скажу еще более: они бестрепетно теряют жизнь; и звери, умирая, не боятся никакого зла. — Посмотри же на жалкий челове-

ческий род, тогда и сам скажешь с поэтом: нет ничего немогнее человека... Если верно уставишь весы и взвесишь, что в жизни есть приятного и что прискорбного, то одна чаша, до верха нагруженная злом, пойдет к земле, а другая, напротив, с благами жизни, побежит вверх... Не плачешь ли, слыша, сколько было скорбей у живших до нас? Впрочем, не знаю, будешь ли ты при этом плакать или смеяться. Мудрецы древности находили для себя личным и то, и другое; и что у одного из них извлекало слезы, то в другом возбуждало смех... Не избежали злой участи и Киря, и Крезы, а равно и наши, как будто вчерашние только, цари... Какое преимущество между согнившими? Тот же прах, те же кости, и герой Атрид, и — нищий Ир, царь Константин, и мой служитель; и кто страдал, и кто благоденствовал, у всех нет ничего, кроме гроба. — Такова здешняя участь; но что же в другой жизни? Кто скажет, что приносит последний день?»...

«Философствовать» для Виктории Павловны, как для большинства женщин вообще, а русских в особенности, значило — усердно

рыться в душе своей этическим самоанализом... Могла ли она не откликаться полным сочувствием тому же поэту-богослову, когда он советовал:

«Есть тебе дело, душа моя, и, дело немало-важное. исследуй сама себя, что ты такое, куда тебе стремиться, откуда ты произошла и где должна остановиться; действительно ли то жизнь, какую теперь живешь, иди есть и другая, кроме нее? Есть тебе дело, душа моя! очищай жизнь, размышляя о Боге и о Божиих тайнах; размышляй, что было прежде вселенной, и что для тебя значит эта вселенная; откуда она произошла и до чего дойдет?.. Есть тебе дело, душа моя! обращай взор к единому Богу. Какую славу имел я прежде и в каком поругании теперь? Что это за сопряжение во мне и какой конец моей жизни?»

Могла ли она равнодушно отстранить от себя влияние другого великого совершенствователя человеческой совести, который советовал «все свои помыслы растягивать как бы посредством мучительного орудия и когтями страха Божия оскребать их», — могла ли не полюбить она этого бесстрашного обличите-

ля Златоуста, когда он угадал не только самый процесс ее самоиспытания, но и привычный житейский порядок, как и когда она им предается?

«Есть у тебя свиток, в котором ежедневно вносишь расходы свои; равным образом, пусть совесть будет у тебя свитком, в котором записывай ежедневно грехи свои. Когда ты ляжешь на постель свою и никто уже не мешает тебе, то, прежде, нежели придет к тебе сон, положи пред собою свиток — совесть свою, и вспомни грехи свои, совершенные словом или делом или помышлением, ибо это внушает нам пророк, говоря: «гневайтесь и не согрешайте, яже глаголете в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь». Днем ты не имел времени, ты занят был или тяжбою или исполнением порученного тебе дела; тебя развлекала беседа с друзьями, домашние нужды, попечение о детях, забота о жене и множество других дел. Но когда придешь к ложу твоему, чтобы дать покой членам твоим, и никто уже тебя не беспокоит, никто не докучает тебе, тогда скажи душе своей: рассмотрим, душа моя, что мы сделали доброго

или худого в этот день. И если что-нибудь доброе ты сделал, то возблагодари Бога; если же — худое, то удержишься от сего впредь, и, вспоминая грехи свои, пролей слезы; ты можешь, не поднимаясь с ложа, отирать их».

О. Маврикий указал ей это место в книге толстым, красным пальцем с желтым ногтем, крепким, как рог, — и заметил внушительно:

— А помните Пушкина? Вот где оно:

*Когда для смертного умолкнет
шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи
тьень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в
тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей го-
рят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавлен-
ном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо
мною
Свой длинный развивает свиток:*

*И, с отвращением читая жизнь
мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы
лью,
Но строк печальных не смываю.*

И, — быстро зашагав по комнате тяжелыми стопами, заставлявшими содрогаться и жалобно дребезжать шкаф с посудой, — огромные руки полуфертом в карманах «бордового» подрясника, — говорил с живостью:

— О, как он все это знал и понимал... «Отцов пустынников» помните?.. О!., насколько сей русский великан-язычник мог быть нашим... по существу, был нашим, должен был быть нашим, если бы еще жил!..

*„Владыка дней моих! дух праздни-
сти унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе мо-
ей;
Не дай мне зреть мои, о Боже,
прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет
осуждения,
И дух смирения, терпения, любви*

И целомудрия мне в сердце оживи!“

Хотя у Ефрема Сирина еще проще и лучше, но так передать мысль аскета, делателя любви, полагавшего всю жизнь свою в том, чтобы примирить Божеское с человеческим, — кому же? Камер-юнкеру, вскоре убитому на дуэли за ревность к женщине!.. По грешному пристрастию моему к господам светским сочинителям, читал я, Виктория Павловна, однажды некоторую комедию Александра Николаевича Островского, в коей некая благочестивая особа утверждает, будто гусару не может явиться священное видение... Весьма много смеялся и нахожу достаточно дерзновенным для писателя в государстве, в коем гусар Протасов однажды был даже обер-прокурором святейшего синода... Федор Михайлович Достоевский также утверждает нечто подобное в сочинении, именуемом «Подросток»... Полагаю несправедливым, ибо велика ли разница между гусарским офицером и камер-юнкером? А между тем камер-юнкер сей был несомненным тайновидцем, и Дух сходил на главу его огненным языком, ибо он уже вещал

нам гласы и глаголы сверхчувственные. А — что бы еще возвестил, если бы Господь не призвал к себе избранного своего; в силах молодости, рановременною смертью, — о таких возможностях не достаёт ума человеческого рассуждать, их лишь сладко и страшно воображать мечтою... Не поймите меня настолько глупым и дерзновенным, чтобы уподоблять себя апостолу Павлу, но — когда, в пятидесятилетнюю годовщину кончины Александра Сергеевича, служил я по нем панихиду, чувства мои были те же, которые приписывает средневековое сказание апостолу языков, когда неапольские христиане привели его к могиле Вергилия:

*Ad Maronis mausoleum,
Duclus fudit super eum
Piae rorem lacrimae;
Quem te, inquit, reddidissem,
Si te vivum invenissem,
Poetarum maxime!*

— Понимаете?

— Откуда же мне? Это — латынь.

— «К мавзолею Марона приведен будучи, источил на оный росу благочестивых слез:

«каким бы, — рек, — содеял я тебя, если бы обрел тебя в живых, о, величайший в поэтах!»

Виктория Павловна улыбнулась наивно-сти старика и возразила с испытующею, нарочно рассчитанною, язвительностью:

— Пушкин на пути своем миссионера-обратителя не встретил, но был у нас на Руси другой великий писатель, Гоголь, и был некто отец Матвей Константинов из Ржева... Нельзя сказать, чтобы встреча их была счастлива для Гоголя...

— Нет, нет, — с живостью возразил, шибко и тяжело шагая, задумчивый и ясноглазый, с мечтою в зрачках, протопоп, — нет, нет... этого не могло быть... Пушкин не мог кончить, как Гоголь, — никогда... хоть сто Матвеев!.. Свет — свету, темное — тьме. Солнечное — солнцу, ночное — ночи!.. Да и я то, обидчица вы пренасмешливая, — меня-то за что же вы жалеете в Матвее? Ужели похож и — Матвеева духа поп?

Он весело рассмеялся, но Виктория Павловна ему не вторила.

— Настолько мало похожи, — сказала она сердечно и серьезно, — что, вот, сколько вре-

мени и ласкового внимания вы на меня тра-
тите, а отец Матвей, в присутствии грешни-
цы, мне подобной, вероятно, постарался бы
закрыть глаза, уши, нос и рот, чтобы не
оскверниться от меня ни зрением, ни слухом,
ни воздухом, которым я позволяю себе ды-
шать в одно с ним время... Очень сожалею,
что вы опоздали родиться в мир, чтобы обра-
тить великого язычника, которому идея во-
площения Христа представлялась в образах
«Гаврилиады»...

— Это не доказано! — горячо вскричал о.
Маврикий, выхватив руки из карманов и вы-
ставив их пухлыми розовыми ладонями впе-
ред, будто ограждался от врага, — принадлеж-
ность «Гаврилиады» Пушкину не доказана!
Да— если бы даже и его... не говорил ли я вам
уже, что знал людей, в борении греха, кото-
рых ложный вольтерианский стыд любить
Бога заставлял скрывать свою любовь к
Нему — богохулением?

Он зорко взглянул почти в самые глаза
Виктории Павловны, погрозил ей красным
толстым пальцем и строго произнес:

— И в вас эта склонность, наследием лож-

ного вольтерианского стыда питаемая, имеет-
ся отчасти... замечается и в вас!..

Виктория Павловна, не ожидав, смути-
лась — засмеялась насильно и неестествен-
но — и возразила:

— Право? Не замечала... Ну — что ж? За
неимением великого язычника, исправьте и
обратите хоть маленькую язычницу...

Протопоп, опять — руки в карманы, круто
повернув, остановился против нее, вперил в
нее серьезный, проникновенный взор и ска-
зал с важным ударением, четкою расстанов-
кою:

— Если бы мне было дано обратить вас, я
был бы счастлив, как никогда в жизни. Но
мне не дано.

— В таком случае, — значит, никому в ми-
ре! — отозвалась Виктория Павловна с неко-
торым изумлением, что о. Маврикий не по-
спешил навстречу ее вызову. — Но почему
же, однако? почему?

Протопоп, покачивая седобородою голо-
вою, отвечал:

— Оттого, что вы любительница диалекти-
ки, а во мне, старом, уже нет огня, который

спалил бы в вас диалектическую страсть и обратил бы ее, так сказать, в подтопку для костра веры, которым холодное и сухое древо должно превратиться в воздушное тепло. Я могу доказать вам необходимость обрести веру, но не в состоянии привести вас к той точке, когда потрясенная человеческая душа вопиет: — Верую, Господи, помози моему неверию!.. А только на этой точке, когда человек постигает всем нутром своим необходимость веры — до того, что, в самом неверии своем, отдается Богу, как слепой ребенок любящей няне, — лишь на этой точке и совершается обращение: начинается вера. Раньше — только спор о вере, борьба катехизатора с катехуменой. Как катехизатором вашим быть могу, обратиться вас мне не дано... нет!

— Тогда и никому в мире! — повторила Виктория Павловна, — и, все-таки, опять спрошу: почему?

— А потому, что — «Иудеи чуда ищут, а эллины мудрости»... вот почему! Но, когда апостол изрек это противоположение, мир был проще, и линии в нем прямее. А сейчас, после девятнадцати христианских веков, эллинизм

с иудейством перемешались так, что почти в каждом человеке имеются они оба, будто в яйце белок с желтком, и разграничить их и выявить, кто хозяин в человеке, кто гость, бывает иной раз куда как трудно. Вот взять хоть бы вас, например. Наверное, почитаете себя эллинкою?.. И, действительно, вся видимость вашего духа, все ваши пристрастия, привычки, системы, методы, все ваше язычество жизни и мудрования, — как будто — эллинские... Я тоже сначала ошибся было и принял вас за ищущую из эллинской категории... Но это заблуждение, оптический обман... Эллинского элемента в вас ровно настолько, чтобы язычески бороться с потребностью в религии, которая стучится в вашу душу, и отгораживаться от нее — будто баррикадами — все новыми и новыми силлогизмами. Сокрушит она один, вы выставляете другой, третий, пятый, десятый... без конца... Так оно есть — и так будет всегда, потому что вы остроумны, находчивы, задорны, любите борьбу, и спор о вере вам любезнее веры. Потому что потребность веры в вас еще смутное облако, а не жгучий огонь. Потому что вы ищете ее еще, как духовного

комфорта и почти роскоши, а не жаждою путника, одиноко изнемогающего в пустыне, не алчною голодного, почувствовавшего, что, если чудо не сбросит ему с неба корку хлеба, он — мертвец... И я уверен — почти уверен: до такой благодетельной алчбы и жажды вы, в порядке эллинского логического искания, никогда не достигнете. Потому что эллинизм ваше — как бы густо на вас ни насело, — все-таки, лишь наносный плод культуры, которым, по мере надобности, можно поступиться так, можно приспособить его этак, здесь урезать, там прибавить. А, по натуре то, которая ни урезкам, ни прибавкам, не поддается, которую можно вуалями покрывать и красками замазывать, но в существе она остается всегда и неизменно одна и та же, и которая, в конце концов, есть единая истинная показательница и хозяйка человека, — по натуре-то, вы — извините — Павлова Иудейка! Уж не в гнев вам будь сказано! Типичнейшая-с!

Виктория Павловна — усмехнулась.

— Извиняться не в чем: не «жидовкой» обругали!.. Но, не имея ничего против расы, не слышу в себе даже самого слабого шепота ее

мировоззрения... Ко всему чудесному, сызмалу, питаю глубокое недоверие, подозрительность, именно непрременное желание поверки факта эллинскою мудростью...

— И именно потому-то, — подхватил о. Маврикий, — именно потому вы и не придете к вере рационалистическим путем, а только вдохновением, потому что вдохновение и чудо — родные сестры, а часто, может быть, даже одно и то же. Ведь это же два пути исконные — к одному ведущие — никогда не совпадающие. Кому нужен Павел, а кому Петр. И Павел бессилен пред Петровыми, а Петр пред Павловыми. Вам, по культуре вашей, привычкам, симпатиям, по системам мысли и жизни, кажется, что вы Павлова, а на деле то вы — Петрова, и вот Павловы методы против вас бессильны... Если бы вы жили девятнадцать веков тому назад, то с Павлом любили бы встречаться, чтобы диспутировать с ним, но, расставаясь, всегда чувствовали бы незавершенность диспута, приостановку и заминку на проблемах, открытых и поставленных, но — «в них же суть неудобь разума некая»... Но Петр и Иоанн, исцеляющие хромца име-

нем Иисуса Христа Назорея, вооруженные формулами, которые в одно и то же время звучат прямо и неуклонно, как аксиомы, и таинственно, как заклинания, овладели бы вашим воображением с первой же встречи и повлекли бы вас к купели, пламенную, трепещущую, но покорную, яко обретенное пастырем овча... и уже не рассуждающую, — главное превращение: уже не рассуждающую!..

— Не знаю, — с раздумчивым сомнением возразила Виктория Павловна, — не знаю... Мне кажется, что вы представляете себе меня не тою, какова я на самом деле... В восприятии чуда всегда играет большую роль чувство стадности, а стадный элемент имеет особенно подчеркнутую особенность поднимать на дыбы все мои осторожности и предубеждения...

Протопоп выслушал, рассмеялся и, лукаво сощуриив добродушные глаза, перебил:

— Ой ли? А вот кто-то мне рассказывал преудивительную сцену на Николаевском вокзале в Петербурге. Некоторая сомневающаяся, но высокоумная и образованная девица одним махом решила вопрос своего замужества в момент, когда, окруженный исступ-

ленным скопищем, Экзакустодиан осенил ее крестным знамением и, не зная даже, о чем она вопрошает, напутствовал: «благословен грядый во имя Господне!»...

Виктория Павловна покраснела и возразила, смущенная:

— Это минута!

— Конечно, — согласился протопоп, — но, ведь, и чудеса не часами и не днями делаются. Даже не минутами: мгновения, секунды решают... Разве вы думаете, что Рука, вознесшая Иезекииля в пророки, долго мчала и томила его воздушной мукою?.. Или — быть может — вам, как читательнице светской, больше знаком образ вдохновенного человека чуждой нам религии: вспомните Магомета, который посетил семь небес прежде, чем пролилась вода из опрокинутого сосуда...

Виктория Павловна пожала плечами.

— Это эпилепсия.

— Да, — быстро подхватил протопоп, — эпилепсия. Но что значит слово эпилепсия? Разберите этимологию. Схватывание, захватывание... В том и дело, в том и чудо, что человека захватывает... Налетает власть чуж-

дая, воля неведомая, вдохновение внешнее, тайна непостижимая и уничтожает тебя, как тебя, подменяет тебя собою и, твоим именем, но своею силою и волею, творит чудо в тебе и вокруг тебя...

— Законы этой силы, о. Маврикий, изучены невропатологами, и мы не в средних веках, чтобы, для изъяснения эпилепсии, звать на помощь небеса или ад, с сверхъестественным вмешательством Бога или демона...

— Очень знаю-с, но позволю себе заметить и то, что все изъяснения касаются только ее феномена: — то есть физических средств ее действия и физического же предрасположения; существо же ее и внутренний двигатель продолжают таиться в области спорных гипотез и загадок... Вон теперь существует теория, что, собственно говоря, каждый человек — до известной степени эпилептик, и разница между здоровым и болезненным состоянием только в силе нервного напряжения и потрясения, но отнюдь не в качестве. Эпилептическое состояние — половой акт, эпилептическое состояние — самый сон человеческий, под покровом которого, вы знаете, медики

ныне учат, — падучие припадки проходят незамечаемыми и неузнаваемыми иногда в течение десятков лет. И эпилепсия — пророческий восторг Магомета: видение шестикрылого серафима аскету, томимому духовной жаждой... Эпилепсия — сновидение, которое мы с вами равнодушно забываем, просыпаясь поутру, не только не изыскивая в нем чуда, но даже смеясь над теми, кто заглядывает в сонники. И эпилепсия — сновидение-чудо:

*И внял я неба содрогание,
И горных ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...*

Чудо! Это слово испорчено пониманием духовной черни, которая видит в нем что-то вроде религиозного фокуса или волшебства с другой стороны. В слове «чудо» современному уху слышится нарушение законов природы супранатуралистическим вмешательством. По закону, мол, дважды два четыре, а по чуду может быть и пять. А, между тем, как раз наоборот: чудо, обычно, именно является, чтобы исправить дважды два пять на дважды два четыре, логическую ошибку или заблуждение

возвратить на путь логического правила, — не более, как оправдать целесообразность природы, восстановить ее нарушенный закон. Действие чуда вершится естественно, в пределах физических средств, но лишь в усиленной энергии и ускоренном темпе... Чудесные исцеления, явления телепатические, общение с загробным миром, видения спящих и бдящих, — все, без исключения, свершается в недрах и средствах материи; от духа — только движение попускающей воли... Я очень люблю полемические объяснения чудес материалистами, потому что никогда характер чуда не обозначается с большею яркостью, чем именно в них. Благочестивая девушка чистит к празднику ризу на иконе Богоматери и, в то же время, молится Ей со слезами об исцелении от годами томящего ее паралича. Она получает исцеление. Мистики говорят: чудо. Материалисты говорят: нет, эффект металло-терапии в сочетании с обостренным восприятием экстатически возбужденной нервной системы. Как будто — полюс и полюс. А, на самом деле, одно и то же. Конечно, металлотерапия, конечно, экстаз и исключительно ост-

рая нервность, но — в том-то и чудо, что все физические условия к исцелению соединились под влиянием и в момент молитвы об исцелении. Конечно, чудо, но чудо осуществилось тем, что молитва заставила соединиться все физические условия исцеления в быстрый действенный процесс. Мистики знают причину, но пренебрегают поводами. Материалисты отлично исследуют поводы, но, получив их, довольствуются слишком малым — не хотят возвыситься к причине...

— А из охотников мирить причины с поводами, — засмеялась Виктория Павловна, — выходят отцы протоиереи, которых мистики считают рационалистами, а рационалисты — мистиками, и те и другие — не то, чтобы во все еретиками, но с «вариантом»...

— Бывает, выходят, — ласково согласился о. Маврикий, — и вот именно потому, что вы знаете, как они выходят, не мне будет дано обратить вас. Вы меня слишком понимаете, я для вас — свой. А если несть пророк в своем отечестве, то уж в своей-то семье и подавно. Мое доказательство вы можете принять, но еще приятнее вам его оспорить и отверг-

нуть, — а в мое вдохновение вы не поверите и будете правы, потому что мое убеждение не от вдохновения, а от размышления. Я, с моим «вариантом», доволен и тем, что — как умею — подготавливаю в вас почву для грядущего вашего обращения, распахиваю ниву, которую засеивает некто другой. Кому суждена эта радость? как и где впадете вы в руце Бога живого, и Он уже не выпустит вас из них? — не пророк я, не предвижу, не предсказываю... а — только чувствую и, может быть, наблюдением, отчасти подсознательным, постигаю, что благодатная буря к вам уже близко-близко... И, — может быть, даже по всей вероятности, — когда чудо обращения достигнет вас, оно окажется так просто средствами и обыкновенно явлением, что вы и не заметите сперва или, даже заметив, не сразу поверите, что уже находитесь в области чуда и под его властью...

IV.

Однажды, когда Виктория Павловна возвращалась, поздним вечером, от протопопа Маврикия к себе в гостиницу и, для сокраще-

ния пути, свернула с людной и светлой улицы в пустынный, почти без прохожих, переулок, рядом с нею, вдруг, вынырнул, будто из тьмы родился, человек, на которого она даже не взглянула, но которого, не глядя, почувствовала и признала... Виктория Павловна никак не рассчитывала встретить этого человека здесь и предполагала его далеко от Рюрикова, но, странно, нисколько не удивилась его появлению, точно так и надо было: — однажды вынырнуть ему из мрака, подобно бесу, пришедшему за ее душою, — точно она давно того ждала, как непеременимости, хотя и без срока... она только почувствовала, что сердце ее сжалось мгновенным испугом предчувствия какой-то большой и серьезной минуты, вдруг, к ней придвинувшейся, а, разжавшись, забилося часто-часто, будто, предостерегая об опасности, стучало барабаном тревогу и лепетало: «будь готова на бой! это не шутка! будь готова на бой!»... И вот, даже не поздоровавшись друг с другом, шли они рядом узким тротуаром и оба молчали в волнующем ожидании, которое оба друг в друге злорадно чуяли и оба выдерживали харак-

тер — перемолчать друг друга, точно первому или первой заговорить значило обнаружить слабость и проиграть что-то, а противной стороне дать победный шанс.

— Гора с горою не сходится, — вымолвил, наконец, тот, вынырнувший из ночи, — а человек с человеком всегда сойдутся... Вот и свиделись... Здравствуй!

Виктория Павловна радостно вспыхнула внутри себя: ага! заговорил-таки, ну, теперь, у меня есть позиция! знаю, какой тон с тобою взять!.. Склонила голову, не подавая руки, и, не отвечая приветствием, возразила:

— Насчет гор есть еще пословица: «если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе»... Ваше появление к которой половине пословицы позволите отнести?

Человек блеснул, сквозь сумрак, глазами, которые теперь не бегали, как обычно им, рыжими лисицами, а скорее зеленели волчьей злобною тоскою, и ответил с грустью сознательного принижения:

— Ко второй половине, — успокой гордыню свою: ко второй... Можешь торжествовать, если, в суетности своей, находишь, что победа

твоя достойна торжества... Да. Ждал, ждал тебя — не дождался и не вытерпел, сам пошел... Пошел к горе... именно к надменной горе неверия и нечестия, закрывающей уши от зова пророков!

— Если только у гор бывают уши и руки, чтобы их зажимать, — заметила Виктория Павловна, с умышленною небрежностью. — Вот что, отче Экзакустодиан. Надоели мне ваши монашеские метафоры и притчи. Говорите прямым языком. Что вам надо? Зачем вы меня преследуете? То вы мне письма пишете, которых — после первого — читать не следовало бы, а возвращать бы вам их, не распечатав, до того они грубы и неприличны. Вы воображаете себя пророком или апостолом, а ругаетесь, как извозчик. То вы посылаете ко мне своих поклонниц, о которых я уж и не знаю, что думать: то ли они у вас слишком сумасшедшие, то ли слишком подлые... И вот — наконец — последнее явление — точно из театрального трапа: сам великий пастырь душ и целитель скорбей человеческих, отец Экзакустодиан... Очень приятно и лестно, но — чему же, все-таки, обязана?

Экзакустодиан отвечал спокойно, как старший — взбалмошному ребенку:

— Тому, что, за грехи мои и беззакония мои, покарал меня Господь Бог мой: попустил злему демону войти в естество мое и озлобить плоть мою искушением, которое вы, светские люди, зовете любовью, а мы, бегущие мира, скверною блудною похотью... О, сестра моя, несчастная и возлюбленная сестра моя! Если бы только ты, могла знать, какое борение перенес я, защищаясь от грешного помышления, которым ты меня отравила...

— Да, — жестко перебила Виктория Павловна, — слышала от Жени Лабеус, этой несчастнейшей жертвы вашей, что вы недавно чуть не допились до белой горячки, и будто я тут при чем-то... Ну, знаете, я вас крупнее считала... Ох, уж как же это обыкновенно, пошло и неумно!

Выговорила жесткие слова — и почти пожалела о них, потому что, уже кончив, вдруг сознала, что произнесла их с чрезмерной горячностью, — и что, в самом деле, она, все это время, после свидания с Женею Лабеус, была ужасно зла на Экзакустодиана за его кутеж в

Бежецке, хотя до сих пор совершенно о том не думала, да и о самом Экзакустодиане-то старалась забыть... Выговорила— и смутилась, рассердилась на себя, будто поймав себя на чем-то новом — неуместном — бестактном...

— Я, кажется, ему семейную сцену устраиваю? — подумала она. — Это еще с какой стати? Что я ему: —жена? любовница? опекунша? Какое мне дело? Еще вообразит...

— Было, — с кротостью покаяния подтвердил понуренный Экзакустодиан, тихо плетясь рядом, будто затрудненными, тяжестью обремененными, шагами, — было и это... многое было... все было... было и прошло...

Последние слова он подчеркнул голосом важным, значительным, и — умолк. Но, пройдя несколько шагов, выпрямился и снова выкрикнул радостно, вдохновенно:

— Да! было и прошло!.. Смилоствивился надо мною Господь Владыка: было и прошло!..

— От всей души радуюсь, — отозвалась Виктория Павловна. И за себя, и за вас. В качестве пророка и чудодея вы еще и так, и сяк, но в качестве героя романа — поразительно... неуместны... Но продолжаю ждать объясне-

ния: что же вам теперь-то от меня угодно? Сейчас — когда «все прошло» — это, пожалуй, становится еще менее понятным...

Переулок близился к концу и, в устье его, уже сияла электрическими огнями и гудела пестрым шумом улица Виктории Павловны. Экзакустодиан остановился:

— Если ты разрешаешь мне говорить с тобою, — сказал он, — то повернем обратно. Иначе люди меня узнают и погонятся за мною, и окружают толпою, и я буду оторван от тебя прежде, чем скажу тебе то, с чем я к тебе послан...

— Хорошо, — подумав, согласилась Виктория Павловна. — Я не спешу домой. Меня никто не ждет.

— А твоя дочь?

— Она в Христофоровке, у Карабугаевых...

— А твой муж?

В высоком, хотя сдерживаемом на улице, голосе Экзакустодиана, что-то дрогнуло...

— Менее, чем кто-либо другой... Какое ему дело?

— Нет дела? — переспросил Экзакустодиан, и теперь голос его прозвучал строгим

удивлением.

— Решительно нет.

— Мужу нет дела до жены... странно!.. А тебе до него есть дело?

Голос, в темноте, рос все строже.

— Что с ним? — удивленная, подумала Виктория Павловна. И отвечала:

— Еще того менее... Но... мне кажется, что и вам ни до меня, ни до мужа моего тоже нет никакого дела, и допрос этот лучше прекратить...

Экзакустодиан вдруг остановился. Они были теперь на пересечении переулка с другим, тоже темным, но в глубине которого тускло светили занавешенные окна дешевого трактира, пользовавшегося в Рюрикове довольно темной репутацией.

— Зайдем туда, — предложил Экзакустодиан грубым рывком.

Виктория Павловна откинулась, изумленная:

— Что такое?!

— Зайдем, — повторил он настойчиво. — мне надо много сказать тебе, на улице неудобно. Вот уже восходит луна — и, в свете

ее, начнут узнавать меня люди. Зайдем. Или боишься меня?

— Вас — нет, — гордо отозвалась Виктория Павловна, — но меня знают в городе, а в Рюрикове не принято, чтобы дамы бывали в ресторанах вообще, а уж в такой трущобе — и подавно...

— А что тебе? — воскликнул Экзакустодиан со странным, удушливым смешком. — Если я, в монашеской одежде, я, которого портреты в газетах печатаются, не боюсь и не стыжусь войти с женщиною в подозрительный трактир, — то тебе то что? Ведь ты же гордая, смелая, на мнения и суд людской плюешь, что хочешь, то и делаешь... тебе-то что?

— То, что у меня дочь растет, — спокойно возразила Виктория Павловна. — Да и мужа не желаю обижать.

— Ага! — злорадно подхватил Экзакустодиан. — Мужа!.. Но ведь ты же только что сказала, что тебе нет до него дела?

— Как до мужа — нет дела, — отразила она и этот выпад, — но человек же он, — и, значит, я обязана ему человеческим к нему отношением. Я не люблю причинять напрасную

боль. Он очень уважает меня, гордится, что я ношу его фамилию. Если завтра по городу пойдет сплетня, что Виктория Павловна Пшенка сидела с вами в трактире, Иван Афанасьевич будет незаслуженно оскорблен и огорчен до глубины сердца... за что?

— За то, что я чаю хочу, — ответил Экзаку-стодиан капризным детским звуком.

— Тогда пойдете ко мне: напою...

— Нет, — бросил он коротко, будто камень уронил.

И, помолчав, прибавил искренно, точно признавался любимому другу:

— Если ты меня не боишься, то я-то тебя боюсь.

— Напрасно. Я гостей не обижаю.

Но он возразил голосом глубокой, проникновенной и как бы покорной грусти, искренность которой — против воли женщины — дошла до ее сердца:

— Верю. Ты-то меня не обидишь, да я-то себя тобою обидеть могу... Поняла?

— Да, — слегка смутилась она, — может быть, и поняла... Но — тем не менее — не по трактирам же мне с вами ходить, ради ваших

целомудренных страхов... Как знаете.

Он стоял перед нею, в голубоватой мгле светлеющей ночи, как будто вырезанный из черной бумаги, зеленоглазый, странный в своей остроконечной скуфейке, со своими широкими рукавами и долгими полами, — качал головою, на которой тьма скрывала черты лица в длинном белесом пятне, и скорбно твердил:

— А между тем я должен говорить с тобою... много... свободно... часы, может быть... Никем, кроме тебя, не слышимый... Понимаешь ли ты: должен... Из души просится... Чего родной матери не сказал бы — тебе скажу... Потому что — послан я к тебе... Из-за тридцати земель прикатил видеть тебя, потому что — сильнее оно меня... необходимо... Духом несло... Послан... Дай мне говорить с тобою... Это не блажь, не прихоть... И для меня, и для тебя — равная необходимость...

— Для себя необходимости не чувствую, — возразила Виктория Павловна с умышленною холодностью и, вместе со словами — до жуткости четко слыша в себе: «а, ведь, это я, кажется, лгу». — Но, если вы так настаиваете,

укажите место и время, где мы можем спокойно встретиться, — я приду...

— Крумахеры... фабричный бульвар знаешь? — быстро, радостно спросил он, взмахнув рукавами рясы, точно летучая мышь крыльями.

— Конечно, — я же здешняя, рюриковская...

— Завтра, об эту пору, туда — можешь?

— Об эту пору? — засмеялась Виктория Павловна, — но об эту пору там, говорят, людей режут?

— Про всякое безлюдье идет такая напрасная слава, — возразил Экзакустодиан. — Все равно, что про человека угрюмого и одинокого: не якшается с людишками, не мешается в толпе, — ну, как же не злодей?.. Не бойся, никто не тронет.

— О! Я не из робких. Гораздо серьезнее, что, идя туда впотьмах, легко ногу сломать: ведь, это уже загород, мостовой нет, а луна завтра взойдет поздно...

— Не бойся, — повторил Экзакустодиан. — Завтра вечером ты, конечно, по обыкновению, будешь у кафедрального протопопа?

— А вы уже успели узнать, что я бываю у отца Маврикия — по обыкновению? — быстро спросила Виктория Павловна.

Он отвечал с растяжкой, с важными ударениями:

— Я все о тебе знаю, дорогая сестра любимая, все! Хорошее, дурное, большое, малое... все...

И, переменяв голос, упростив тон, продолжал:

— А место, которое я тебе предлагаю, прекрасное место. Когда Бог приводит меня в Рюриков, это — здешняя пустыня моя. Человек я бессонный, ночи мои длинные, думные, тяжелые. Так, вот, от бессонницы я — туда. Много неба над головою, а на земле — не то, что человека не встретишь, собака не пробежит, кошка не прыгнет... Только летучки мечутся в воздухе, да сычи аукаются жалобно, ловя полевков... Для молитвы ли уединенной, для размышления ли, для беседы ли тайной — лучше не найти... А злых людей в пустыне, душа, не опасайся. Поле злого человека — торжище, улица: суетою кипящие, сборища праздных и беспечных людей, обладающих

нехранимым и легко отъемлемым, достоянием, а никак не пустыня — нищая, голая, скудная. Дабы грабителем быть, надо, прежде всего, иметь — кого грабить. Что разбойники-то — дураки что ли, чтобы сидеть по пустырям, в коих человек есть самое редкостное явление. Этак им давно пришлось бы всем переколоть голодную смертью...

— Что же? — улыбнулась Виктория Павловна, — хорошо, я приду... Уж, должно быть, так нам с вами на роду написано — встречаться в закоулках, которые людьми уступлены совам и летучим мышам... Помните нашу первую встречу два...нет, уже три года назад — зимою — в Олегове — тоже на бульваре — в беседке заброшенной? Кроме меня туда, кажется, никто никогда не забредал, да вот вы еще как-то проложили тропу...

— Я-то помню, — грустно откликнулся Экзакустодиан. — Ты хорошо ли помнишь?

И опять поспешил упростить — опустить тон:

— Итак — завтра — когда ты выйдешь от протопопа, я перейму тебя в переулке, и мы пройдем, куда условлено... За ноги не бойся. У

меня рысьи глаза. Проведу, как по бархату, — ни о камушек не запнешься... «Ангелом своим заповем о тебе сохранит тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою»...

— А вы помните, кто обещал это? — спросила Виктория Павловна с быстрою насмешкою.

Он отвечал равнодушно:

— Не забыл. А что?

— Так — как же тогда повторяете-то? Вам неприлично. Вы же, говорят, святой?

— А ты плюнь в глаза тому, кто это говорит.

Виктория Павловна засмеялась:

— Ну, настолько решительные жесты не в моих привычках. Но согласитесь, что для того, чтобы так удачно и кстати делать цитаты из дьявола, надо немножко чувствовать его у себя в душе.

Экзакустодиан возразил грустно-грустно, без малейшей обиды в голосе:

— Эх, Виктория Павловна, умница. В чьей душе его нету, кому он своих слов не подсказывает? Один только и был за все века, Который не пустил его в Себя, — так, за то самое,

мы, человеки, Его распяли...

Виктория Павловна не нашлась, что ответить.

Экзакустодиан еще несколько секунд шел с нею рядом, молча, — потом, вдруг, остановившись, резко протянул ей руку:

— Ну, значит, прощай. С Богом.

И исчез в темноте так же внезапно, как появился. Изумленная, озадаченная, Виктория Павловна даже не успела заметить, в которую сторону он ушел. Постояла минутку, напрасно оглядываясь по переулку, пожала плечами и пошла домой...

Шла — и теперь чувствовала, что внутри ее все дрожит непостижимым волнением испуга и любопытства, точно с нею сейчас был не живой человек, а, в самом деле, привидение, точно она только что выскочила из пасти великой беды, размеры которой она только теперь сообразила, и сама не понимает, как спаслась. Шла — чувствовала на руке, которую едва сжала горячая сухая рука Экзакустодиана, будто обожженное пятно — и знавала в себе — не думая, помимо думы, — что-то новое, странное, — не мысль, а как бы стру-

ящееся рядом с мыслью, разливаясь по всему существу каким-то жутким ознобом души и тела, до дрожи подбородка и стука зубами, до холода в оконечностях. И, когда привычка к самоотчету овладела этим чем-то и заставила его формулироваться в мысль, Виктория Павловна опять, как давеча, сжалась предчувствием:

— Отец Маврикий прав... Этот человек не пройдет мне даром— Не знаю, спасет он меня или погубит, но — не пройдет! не пройдет!..

На завтра Виктории Павловне выпал день хлопотный и трудный, с поездкою в Христововку к Карабугаевым, которым она помогала укладываться к предстоящему им далекому переезду. Возвратилась домой — усталая, потому что укладку вещей она, как всякая женщина, обладающая здоровьем и значительной мускульной энергией, очень любила и отдавалась ей, даже и вчуже, с веселою страстью, неутомная, покуда не выбьется из сил. А, кроме того, Феничка заставила мать сделать с нею предлинную прогулку, что вошло у них в обыкновение для каждого приезда Виктории Павловны и доставляло ей

столько радости и живящего, обновляющего любопытства, что от наслаждения побыть час-другой втроем — с дочерью и природой — она никогда не находила в себе воли отказаться, хотя бы была утомлена до измученности и чувствовала себя нездоровою, как именно и было сегодня. В последнее время она, вообще, часто недомогала — в результате сильной нервной встряски, пережитой за зиму, — и, по общей слабости, одолевавшей ее в иные дни беспричинно, и частым головокружением — начала уже побаиваться, не нажила ли себе острого малокровия. Да еще на-днях случилось ей, возвращаясь из Христофоровки, очень проголодаться и — в буфете железнодорожного вокзала — ее отравили каким-то битком, о котором она, вот уже неделю, — не могла забыть: все он ей вспоминался! А первые два дня была так больна, что уж струсила, не начинается ли у нее холера, о которой шли тогда в газетах зловещие слухи с юга. Короткий перегон поезда от Христофоровки до Рюрикова Виктория Павловна продремала сидя, и немногие минуты полусна почти освежили ее. Но на вокзале ее неожиданно сму-

тил и взволновал Иван Афанасьевич. Совсем не в обычай между ними, он — на этот раз — прилетел встречать и ждал на дебаркадере в таком очевидном волнении и нетерпении, что Виктория Павловна, завидев из вагона его перекошенное испугом лицо, сама перепугалась, не произошло ли, в ее отсутствии, чего-нибудь ужасного. Однако, оказалось, что ужасного только и было, что Виктория Павловна получила от судебного следователя по особо важным делам повестку, вызывающую ее для дачи дополнительных показаний, в качестве свидетельницы по громчайшему местному уголовному делу, которое волновало тогда сенсацией не только богоспасаемый град Рюриков, но откликалось некоторым эхом и по всей России... Следователь — почтеннейший и уже седовласый, но все еще живчик и дамский поклонник — Петр Дмитриевич Синев — простер свое внимание и любезность к прекрасной свидетельнице, за которую в ее недавнее девичье время, довольно усердно ухаживал, до того, что — весьма по домашнему — завез повестку в гостиницу лично и очень сожалел, что не застал Викторию Пав-

ловну дома. Но Иван Афанасьевич совершенно не оценил этой деликатности. С той давней эпохи, как сам испытал удовольствие сидеть на скамье подсудимых и оставил на ней свое общественное положение, состояние и имя, он питал ко всякому юридическому или полицейскому вторжению в жизнь священный ужас — до рабского трепета, до потери всякого рассуждения, почти до безумия... Бог знает, что ему представилось в полученной повестке, но Виктория Павловна застала его в совершенном изнеможении — бессвязно лепечущим что-то об уголовщине, Сибири, сраме, газетишках. Так что Виктория Павловна сперва заподозрила даже, не выпивши ли ее названный супруг — с перепуга-то. Но он был не только совершенно трезв, а даже и не пил и не ел ничего, после визита следовательского: в рот не шло и нутро не принимало. И теперь все еще не мог успокоиться и, едучи в гостиницу на извозчике, весь дрожал и, дрожа, осведомлялся:

— Да что такое вы сделали то, Виктория Павловна? за что вас тянут-то? Что вам за это быть-то может? Ах-ах-ах! И как вы это так...

право, ну, — как это вы так?..

И насилу то, насилу успела она втолковать несчастному трусу, что ничего она не «дела-ла» и ей решительно ничего быть не может и никто ничем не грозит.

Тем не менее, повестка была неприятна Виктории Павловне, как обязательство к публичному выступлению, которого она легко могла бы избежать, если бы захотела, и на которое — с поздним неудовольствием — считала себя почти что напросившеюся. Потому что при первом расследовании «Аннушкина дела», — так слыл в Рюрикове этот громкий процесс — о разбойном убийстве местного нотариуса и богатого домовладельца Ивана Туесова — о Виктории Павловне, как свидетельнице, никто и не помышлял. В пору преступления она жила за тридевять земель от Рюрикова, за границею, и узнала о трагической смерти Туесова, большого своего приятеля, только много месяцев спустя и совершенно случайно — от знаменитого петербургского присяжного поверенного Дмитрия Михайловича Пожарского [См. "Законный грех"]. Последний для нее хлопотал но узаконению Фе-

нички, а в «Аннушкином деле» должен был выступить защитником главной героини его, Анны Николаевны Персиковой, сожительницы убитого Туесова, по уменьшительному имени которой слыл в Рюрикове и самый процесс. Полицейское дознание и судебное следствие держали Аннушку Персикову в подозрении, как участницу преступления, но Пожарский был убежден в совершенной ее невинности и надеялся добиться от присяжных заседателей безусловно оправдательного вердикта. Дело было сбивчивое, трудное, осложненное сплетениями с самыми неожиданными и далекими от Рюрикова обстоятельствами и нечаянными людьми самой пестрой сословности. Прокуратура дважды опротестовала обвинительный акт и возвращала дело к доследованию, пока, наконец, по министерскому распоряжению, не попало оно в опытные ловкие руки Синева. Он, подобно Пожарскому, тоже пришел к убеждению, что Аннушка Персикова к гибели своего сожителя не причастна, но, тем не менее, не хотел выделить дела о ней к погашению — находил, что ей выгоднее будет торжественно

сойти со скамьи подсудимых гласно оправданною, чем, после грома и крика, которым окружено было ее мнимое преступление, остаться в памяти человеческой лишь как бы ускользнувшей от суда и наказания по недостатку улик. И теперь оба они — и Синев, и Пожарский, каждый со своей стороны, старались, чтобы Аннушка, — судиться-то была судима, но как-нибудь, грехом, не была засужена неповинно, по судебной ошибке, вроде Мити Карамазова... Фактический материал следствия был разработан выгодно для обвиняемой, — теперь Пожарский заботился об одном: окружить свою клиентку благоприятною атмосферою свидетельских показаний на основе психологической:

— Чтобы присяжный до слезы восчувствовал... не жалея носового платка, каналья, — возрыдай, возрыдай!., не угодно ли?..

Из случайного разговора с Викторией Павловной, хорошо знавшей и убитого, и мнимую убийцу, Пожарский уверился, что для симпатичной психологии, которую он ищет, Виктория Павловна — клад, и настоял, чтобы она позволила ему вызвать ее свидетельни-

цей со стороны защиты. Виктории Павловне было очень неприятно выступать, после всех своих «историй», пред недоброжелательные и злорадные очи рюриковской толпы, но Пожарский умел убедить ее, напугав именно возможностью судебной ошибки, слепо отправляющей на каторгу безвинного Митю Карамазова, не удостаивая вниманием и пониманием, повисшего самосудом в петле, Смердякова...

Очень одобрил и приветствовал решение Виктории Павловны также и о. Маврикий, успевший хорошо узнать Аннушку Персикову в психиатрической больнице, которой он был попечителем, а Аннушка — подобранная на месте убийства Туесова в бессознательном состоянии и долго потом безумная — содержалась там сперва на излечении, потом на испытании. Старый протоиерей вполне разделял мнение Синева и Пожарского о невинности Аннушки и считал долгом каждого честного человека содействовать ее оправданию. Даже и в этот вечер, когда Виктория Павловна принесла с собою — показать о. Маврикию — полученную повестку, вышел

между ними оживленный разговор, в котором Виктория Павловна еще несколько колебалась, а о. Маврикий пылко настаивал...

— Но, ведь, я за границу еду, — слабо защищалась она, — мне давно пора... Девочка моя Бог знает который месяц не занимается систематически, и вообще мы висим в воздухе, в самом неопределенном положении... Хочется к берегу, отец Маврикий.

А он твердил:

— Успеете. Судьба хорошей женщины — великая ценность. Чтобы выручить Аннушку из судебной паутины, не грех вам будет и еще обождать — хотя бы даже месяц-другой... Успеете на берег. Не так уж невыносимо колеблют вас волны житейские: согласитесь, что не бури же вы переживаете, а много-много, что мертвую зыбь... А то — смотрите: начнет потом вас совесть мучить, что сами-то с дочерью — на берегу, а утопающую оставили в пучине без помощи...

— Ну, положим, — выручателей у нее совершенно достаточно и без меня. Сами же вы говорите, что ее оправдание — дело верное...

— Согласен: есть на что надеяться, есть... И

без вашего вмешательства, может быть, выскочит из челюстей львиных. Но — может быть, очень может быть, почти наверное может быть — все-таки, только может быть. Фемида-то — ведь — она слепая. Держит меч и весы, а — что весит, не видит, куда мечом угодить, не зрит. А с вашим показанием — уже не может быть, а непременно. Вон, у вас в шкатулочке какой документик нашелся... Ведь в нем полное Аннушкино оправдание.

— Да, — задумчиво подтверждала Виктория Павловна, — письмо выразительное... Но мне-то, отец Маврикий, каково будет, когда его станут читать на суде?.. Ведь, я в нем — просто, ужас в какой роли являюсь... И без того уже всю жизнь слыла какою-то губернской Армидою или Цирцеею, а тут — не угодно ли, как говорит мой друг Пожарский, получить на эти милые звания патент, утвержденный в судебном порядке?

Документом, о котором шла речь, было поздравительное письмо, посланное Аннушкойю Викторией Павловне по поводу распространившихся было одно время в Рюрикове ложных слухов, будто Виктория Павловна выхо-

дит замуж за князя Белосвинского. Письмо это, отправленное, весьма незадолго до убийства нотариуса, по неточному заграничному адресу, гуляло по Европе, гоняясь за переездами Виктории Павловны, добрый год и возвратилось, все исстуканное штемпелями, в Рюриков. А здешний почтамт заслал его в Правослу, где оно долго валялось на станции, но, однажды и не весьма давно, было, наконец, обретоено Иваном Афанасьевичем, — уже в звании запойного супруга Виктории Павловны, — и доставлено ей в Рюриков. Читая этот архаически запоздалый листок, горько посмеялась Виктория Павловна, наедине с самою собою, над новой шуточкой своей иронической судьбы: госпожа Пшенка получила поздравление, как ожидаемая княгиня Белосвинская!.. Письмо она сохранила, как курьез, но, когда рассказала о нем Пожарскому, тот ухватился за него с жаром, убеждая Викторину Павловну непременно передать документ в распоряжение судебного следователя, так как наивное и малограмотное письмо Аннушки содержало, помимо поздравлений, полную картину ее отношений к покойному Туесову,

как раз в эпоху убийства. Отношения же эти рисовались в таком розовом и приятно многообещающем свете, что уничтожали всякую мысль о мнимой выгодности для Аннушки смерти Туесова, на чем настаивали ее обвинители. Напротив, из письма ясно определялось, что нотариус погиб накануне того, как должен был осуществить самые заветные Аннушкины мечты и материальные, и моральные и что намерения его были Аннушке хорошо известны. Так что, если бы Аннушка, в самом деле, содействовала убийцам своего сожителя, то — выходило — она, невесть зачем, но совершенно сознательно и преднамеренно, собственными руками зарезала собственное счастье...

Покойный Иван Иванович Туесов был человек весьма курьезный. Как будто и кругом обыватель — зауряднейший провинциальный интеллигент с капиталом и доходною деятельностью, а как будто, в то же время, своеобразник, достигавший в кое-каких чертах своей жизни и обстановки почти что оригинальности. Проживал он в Рюрикове, на улице Спасопреображенской, удаленной от цен-

тра, но и не так, чтобы уж очень окраинной, в собственном одноэтажном доме-особняке. Здесь же помещалась и его контора. Дом был стар и не велик. Серый и не весьма взрачный на вид, он как бы терялся на огромном пространстве своей усадьбы, между обширным двором, обстроенным службами, и прекрасным, дедовским садом, запущенным в роцищу. В Рюрикове, быстро растущем узловом пункте двух важных железных дорог, — туюсовская усадьба смотрела изрядным-таки анахронизмом даже на тихой улице, которую она украшала. Землю давно торговали у Ивана Ивановича и предлагали прекрасные цены. Но Иван Иванович не спешил продавать. Состоятельный и умеренный в требованиях от жизни, он тратил гораздо меньше, чем зарабатывал, острыми и дорогостоящими пороками не уязвлялся, хронические грешки удовлетворял задешево и в деньгах никогда не нуждался. Кроме того, он хорошо знал, что цена на его землю не может упасть ни в каких обстоятельствах, за исключением разве нашего иноплеменников, которых в Рюрикове ждатель мудрено: чего бы они там забыли? Го-

род, правда, за сто тысяч жителей, но из тех, откуда именно хоть три года скачи — ни до какого иностранного государства не доскачешь. А, напротив, земельные цены здесь должны расти и крепнуть с каждым годом, пропорционально быстрому заселению города развивающеюся фабричною промышленностью и постройке новых, обещанных Рюрикову, железных путей. И наконец, сверх всего, Иван Иванович, хотя и далеко не старый еще возрастом, принадлежал к поколению былого века: слыл и был человеком весьма поэтической души. Он очень любил свой красивый старомодный уголок и жалел пустить его под топор и ломку. В городе его, за это и многое другое, однородное, звали «Шиллером». И, в самом деле, в нем, даже по наружности, замечалось как будто что-то немецкое, хотя происходил он от чистокровных славянских родителей, столбовых дворян, и маменьку имел пресуровую и строгих нравов, совсем не из тех блудливых барынь, которые заглядываются на немцев-гувернеров. Так что, в кого он вышел такой голубоглазый, белокурый длинноносый, длинноногий, жилистый, педанти-

чески аккуратный в житейских правилах и привычках и поразительно сентиментальный в своих симпатиях и антипатиях, — это осталось недоуменным не только для посторонних людей, но и для папеньки с маменькой. Выскочил на свет живую загадку какого-то давнего-давнего атавизма. Шиллероподобие и сентиментальность не мешали Ивану Ивановичу быть, в своей профессии, прекрасным практиком. Он имел богатую клиентуру, едва ли не солиднейшую в городе. Отдаленная от центра контора его работала ничуть не слабее тех, которые помещались на самых бойких улицах, вблизи гостиного двора и присутственных мест. Несколько щеголяя старомодностью своего быта, Иван Иванович и деловую сторону своей жизни обставил и вел по старомодному — домашне и интимно: клиент к нему — словно в гости шел. Контора сливалась с квартирою, занимая передние ее комнаты, а служащие в конторе были поставлены на совершенно фамильярную ногу, — подумаешь, со стороны глядя, что свои семейные, а вовсе не люди на жалованьи. Дом имел три входа. Один подъезд с фонариком цвет-

ных стекол и необширную переднюю на улицу считался специально конторским, но чрез эти официальные ворота искали доступа к Ивану Ивановичу только уж совершенные чужаки. Люди, более или менее знакомые, предпочитали проникать в нотариальное святилище со двора. Кто почище, через парадное крыльцо, с повешенным над ним старинным навесом, точно верхом, снятым с гигантской коляски; кто попроще, через кухню и людскую.

Жил да поживал Иван Иванович, себе на пользу и удовольствие, рюриковцам — в доброе соседство и компанию, и дожил до 45 годов. К этому возрасту голубые глаза его выцвели, превратились в оловянные и стали как то странно пучиться, что придало чертам рюриковского Шиллера выражение несколько телячье; из-под белокурых кудрей воссияла изрядная плешь; а сахарные смолоду природные зубы заменились несколько лет тому назад, когда Иван Иванович совершил заграничное путешествие, искусственными, еще более белоснежными. Но великолепные русые бакенбарды, гордость Ивана Ивановича

от молодых ногтей, по-прежнему, висели по самые плечи и делали его благообразный, хотя и слегка оплывший и как бы полинялый, лик замечательно внушительным и значительным. В Рюрикове упорно держалась смешливая легенда, будто какой-то мелкий жулик из бродячих фотографов, сняв Туесова в удачном повороте, с удивительно олимпийским выражением лица, потом продавал простакам в уезде его портретики — кому за Михайловского, кому за Сипягина, кому за великого князя, кому за шлиссельбуржца: кто кого любит, кто кого как воображает, кому кто нужен. И, покуда не нарвался на знающего и дошлого, на всех отлично потрафлял... Большинство из тех, кому приходилось иметь дело с нотариусом Туесовым, отнюдь не догадывалось, то есть, главным образом, не смело догадываться, что этот величавый, образованный, благовоспитанный, читающий, либеральный, экзальтированно грустящий и важно глаголющий, господин, с наружностью Шиллера, дожившего до пожилых лет, непроходимо глуп. Но даже тех, кто догадывался, подкупали в пользу Ивана Ивановича его

редкостное добродушие, честность, ласковая услужливость. В городе — над ним подсмеивались за глаза, а немножко и в глаза, но, в общем, его любили. Да еще успел он как-то прослыть в Рюрикове великим знатоком и ценителем всякого рода изящных искусств, а потому и попал на бессменное амплуа того присяжного покровителя губернских художеств и друга художников всех видов оружия, без которого в России не живет ни один мало-мальски крупный город. Амплуа это, конечно, обязывало Туесова к роли устроителя всевозможных губернских развлечений, загнало его в директора местного музыкально-драматического кружка, в председатели городской театральной комиссии и проч. и проч. — включительно до попечительства в местной школе иконописцев. Заманивал было Ивана Ивановича в почетные члены даже кружок «Эпопея», посвященный, как гласил его устав, нуждам рюриковских поэтов-декадентов, при чем рюриковские остряки уверяли, будто первым параграфом устава мудро предусматривалось деление декадентских нужд на большие и малые. Но этой марки да-

же Иван Иванович, при всей своей страстишке «фигурировать», не выдержал. После первого же заседания, на котором приезжий из Москвы знаменитый поэт Халдобиус, угрюмый и волосатый, как дремучий лес, читал громовым басом стихотворение, уверявшее, будто он, Халдобиус, —

*Прелестный саламандр-герма-
фродит,
Улепленный лилейными грудями,*

Иван Иванович нашел, что c'est trop, и постыдно сбежал, возвратив «эпопейцам» билет, за недосугом, дескать, бывать по множеству занятий... За это «эпопейцы» всюду ругали его «классиком» и «парнасцем», произнося эти огорчительные аттестации с таким омерзением, будто на язык им попадало нечто вроде кончика чертова хвоста или что-нибудь еще худшее.

Несмотря на весьма усердную, даже, пожалуй, преувеличенную влюбчивость, рюриковский Шиллер умудрился как-то дожить до лысины и седых волос неженатым. Чудо не малое, в особенности для губернского города,

как Рюриков, где и вообще-то всякий жених на счету, точно редкая дичь, а уж тем паче — богатый и с видным положением. Сам Туесов объяснял свою закоренелость в холостом состоянии тем условием, что он-де смотрит на женщину слишком идеально и предъявляет к каждой, которую хотел бы назвать своею женою, слишком высокие моральные и эстетические требования. Но, так как он был препорядочный волокита и не раз видали предметами его увлечений таких госпож, которые не удовлетворяли не то, что самым высоким требованиям эстетики и морали, но прямо-таки были живым их отрицанием и поруганием, то рюриковские скептики Ивану Ивановичу нисколько не верили.

— Дело, мол, совсем не в эстетике и морали, а в Аннушке. Если бы не Аннушка, которой Иван Иванович боится, как самый жалкий подбашмачник, то наши ли рюриковские мамы не искусницы окрутить доброго молодца? Давно бы наш Шиллер, со всю своею эстетикою и моралью, пошел к венцу с какою-либо засидевшеюся девою — хорошо еще, если хоть сколько-нибудь недурной из себя, а

то и флюсатой, и кривобокой... Где у нас в обществе красавиц-то взять? На всех вас, прихотников, не напасешься. Одна, две, много три на весь город. А там и обчелся.

Скептики были правы. По существу, Иван Иванович был давно и далеко не прочь прилично жениться и продолжить славный дворянский род свой. Но, какой бы пылкий роман ни затеял он, — все — только до последнего порога к законному браку. У этого же предела он сразу охладевал, как финляндская зима, и обращался на стезю благоразумия, ибо:

— А Аннушка?..

Это имя действовало на него вроде отрезвляющего ледяного душа, после которого долго бежит мороз по спине. Между тем, принадлежало оно молодой особе, которая, во-первых, была хороша собою, почти как ангел, впрочем, несколько широкоскулый, узкоглазый и опасно растолстевший в свои 27–28 лет; во-вторых, любила Ивана Ивановича любовью страстной, нежною, внимательною, безусловно верною, — была ему всем: в женою, и любовницею, и нянькою, и сестрою, и матерью,

и слугою. В третьих, Иван Иванович тоже любил свою Аннушку гораздо крепче, чем в том признавался, пробыв десять лет спаянным с нею узами привязанности, вряд ли легко расторжимой даже помимо того тайного страха, который поливал его спину холодом до мурашек.

Аннушка была полною хозяйкою в доме Ивана Ивановича. Если прислуга не звала ее барыней, а лишь по имени и отчеству, Анною Николаевною, то исключительно потому, что она, не забывая в себе природной мещанки Персиковой, иного обращения стыдилась и не любила. Но в то же время ее с Иваном Ивановичем соединяла откровенная общая спальня, с величественным двухместным одром, близ которого Аннушка поставила и туалетный столик свой, так что она даже не имела своей особой комнаты в квартире, как госпожа, которая во всем помещении всюду у себя дома. Хозяйка она была превосходная: энергическая, зоркая, опытно наметанная, экономная в будничном обиходе, тароватая на праздничный случай — мастерица сберечь и прикопить, умейница и принять,

угостить, удовлетворить пиром на весь мир. Холодную жизнь Ивана Ивановича она делала весьма приятною и — что редко — была очень любима и уважаема его друзьями, хотя все они слегка подтрунивали над ее мещанскою добродетелью до недоступности и над безумною ревностью, которою она портила жизнь себе и Ивану Ивановичу, как бочку меду — ложкою дегтю. И это в ней была не блажь, но болезнь: — несомненная и не шуточная; в проявлениях — часто смешная, но, в существе, опасная и очень мучительная. Малые сцены ревности, обыкновенно, беспричинные и по самым призрачным поводам, Аннушка устраивала своему сожителю приблизительно каждый день. Но, так как они не заходили дальше слез, попреков небывалыми грехами и жалких слов... разве — разве иной раз полетит в голову Ивана Ивановича какой-нибудь предмет средней тяжести, вроде головной щетки, туфли или книги, — то к ним Туесов притерпелся и не ставил их в большую важность. Гораздо серьезнее разыгрывались сцены большего калибра. Их Иван Иванович претерпевал 1) иррегулярно — вся-

кий раз, когда Аннушка, бывало, заподозрит, а, тем более, обличит какую-либо новую его неверность; 2) регулярно — каждый месяц, в известное женское время, приближение которого делало Аннушку как будто немножко сумасшедшею. Она тогда совершенно переставала владеть собою и, бешено раздражалась по самым ничтожным предлогам, выходила из себя — иногда до полнейшего самозабвения: не сознавая ни ответственности, ни людей, ни обстоятельств, и вытворяя — ну, просто, чёрт знает, что! После иррегулярных сцен большего калибра, русые бакенбарды Ивана Ивановича, обыкновенно, лишь подозрительно редели с тем же отсутствием симметрии, которое некогда замечалось у Ноздрева после карточной игры. Но в одну из регулярных сцен, Аннушка, недолго думая, ткнула в шиллеровский лик сожителя зажженной свечою. Бакенбарды вспыхнули, как сено, огонь перекинулся на голову, и Иван Иванович, только чудом не потеряв зрения, с опаленными усами, бровями, ресницами, лишенный всякого волосяного украшения на лице и голове, должен был затем просидеть более двух месяцев

безвыходно дома, пока не оброс в благопристойный вид. А рюриковские шутники присылали ему анонимные денежные переводы — кто рубль, кто два — на погорелое место, что бесило его даже больше потери бакенбард. Он-таки был самолюбив и, хотя не всегда понимал, когда над ним смеялись, но не обожал о том догадываться и, если догадывался, то становился лют. Это самая острая и дикая из ревных выходок Аннушки. Слабейшим же скандалам и буйствам ее Иван Иванович давно потерял счет. Надо, однако, огорчиться в пользу Аннушки, что, хорошо зная свою слабость и бессильная с нею, непривольною, бороться, она старалась всегда избавиться ее с глазу на глаз с коварным возлюбленным и принимала все, от нее зависевшие, меры, чтобы сор не выносился из избы. Но и шила в мешке не утаишь, — тем более, в губернском городе, не утаить ревнивых драк между сожителем и сожительницею. После каждого ревнивого неистовства Аннушка, разрешивши свою нервную грозу молниеносным взрывом, словно пробуждалась от тяжкого, дикого сна. И тогда не было границ ее

раскаянию и стыдному изумлению пред самою собою. Плакала, выла, ползала на коленях, волосы на себе рвала, билась головою о стенку, и, примирясь, надолго затихала, скромная, милая, кроткая, покуда опять не вселялся в нее подозрительный бес и не обуял ее кровавым гневом. Вообще же, вне вот этих своих припадков, Аннушка была женщина чудеснейшая: поискать да и поискать по свету такой участливой и отзывчивой души. В безграничной и самоотверженной доброте, преполезный человек для всего своего знакомства и — необыкновенно жалостливая к бедным: именно уж рада была поделиться последнею рубашкою. В поведении своем, манерах, образе речи и движений она отличалась ровностью и спокойствием, которые менее всего позволяли постороннему человеку заподозрить в этой степенной, так хорошо и ласково красивой, русской женщине, с ясными голубыми глазами на круглом розовом лице, истеричку, способную на буйства — почти что человекоубийственные... Но Иван-то Иванович знал ее слишком хорошо. И именно припадки Аннушкины всплывали на поверх-

ность его памяти всякий раз, когда на дне мыслей начинали копошиться какие-либо матримониальные позы. Он был совершенно уверен, что, если бы он, в самом деле, вздумал жениться на другой, то в день свадьбы, Аннушка, в трагическом неистовстве, обольет его серною кислотой, зарежет невесту, подожжет церковь, отравит свадебный стол и, в заключение, сама повесится. Теперь вот и к его чести надо сказать, что от риска подобными возможностями его удерживал отнюдь не один только жизнелюбивый страх. Нет, Иван Иванович жалел и Аннушку и, любя, не хотел ставить ее на границу тяжкого испытания, способного сделать ее не преступницею, так сумасшедшею, или и преступницею, и сумасшедшею вместе. Не хотел тем искреннее, что, — будучи великим сантименталистом или, как в просторечии зовется, Сердечкиным и влюбляясь едва ли не в каждую барышню или дамочку, хоть сколько-нибудь смазливую и умеющую разговаривать о чувствах, — он, по чистой совести, признавался себе, что настоящей любви, глубокой и захватывающей, он не переживал, в своих увлече-

ниях, ни разу, и единственным серьезным и большим чувством, которое теплилось в его холостяцком сердце, оставалась, все-таки, привязанность к Аннушке.

Почему бы ему была, в таком случае, не жениться на самой Аннушке? Вопрос этот много раз задавали Ивану Ивановичу его ближайшие друзья, а, из числа их, всех чаще — Виктория Павловна Бурмыслова. К ней Иван Иванович питал благоговейное чувство, которое, пожалуй, могло бы в самом деле, развиться в любовь, если бы в полной и слишком очевидной безнадежности успеха, не выродилось оно в мирную дружбу. В последней же рюриковский Шиллер был стороною обожающею, а Виктория Павловна — покровительствующею, с чуть заметным насмешливым оттенком. К Виктории Павловне Аннушка ревновала своего возлюбленного едва ли не лютее, чем к которой-либо иной из женщин, но почему-то: — именно в отношении ее — умела несколько сдерживать своего ревнивого беса. И, хотя нельзя сказать, чтобы после визитов к Виктории Павловне в ее имение, Правослу на реке Осне, русые бакенбар-

ды нотариуса Туесова сохраняли совершенно неприкосновенную целость, — однако Аннушка как будто понимала, что Виктория Павловна на ее влюбчивое сокровище несколько не покушается, и тут ее милый злодей понапрасну ходит, понапрасну ножки бьет. А в то же время, чутьем любящей женщины, она догадывалась, что Виктория Павловна относится к ее Ивану Ивановичу очень хорошо, искренно, желает ему добра, а потому не враг, но скорее благожелательница также и ей. Встреч между женщинами случилось мало, и они выходили всегда сдержанные, настороженные, холодноватые, но не враждебные. Притом, обе, будучи женщинами со вкусом, не могла не восхищаться друг в друге двумя редкостными образцами красоты — разной до противоположности почти полярной. Уважение свое к Виктории Павловне Аннушка выражала, между прочим, тем, что, хотя была не то, что малограмотна, а прямо-таки почти что безграмотна, но — к каждому высокаторжественному дню, на Новый ли год, на Пасху ли, к именинам ли, непременно посылала барышне Бурмысловой по-

Здравительное письмо или открытку с картинкою. За десятилетнее знакомство это вошло в обыкновение — и, как все, входящее в обыкновение и привычку, имело свое тайное значение, которого, конечно, никак не могли угадать обе женщины, ни пишущая, ни получающая. Да и кто вообще мог бы предчувствовать, что однажды наступит такое время, когда скромная Аннушка Персикова должна будет пережить ужасную трагедию, которая разрушит всю ее жизнь, бросит ее в тюрьму и на скамью подсудимых? что придется ей, невинной, бороться с судом за честь, доброе имя и свободу свою, — и спасет их ей именно вот эта ее маленькая и смешная, почтительная привычка?..

На вопрос Виктории Павловны, Иван Иванович отвечал с неизменной обидчивостью, что было бы очень странно, если бы он, Иван Туесов, потомок окольного Варлаама Туесова при Алексее Михайловиче и лейбкомпанца Измаила Туесова при Елизавете Петровне, ввел в свою родословную, в качестве супруги, темную мещаночку Анну Персикову, подбранную им в страшный 1892 год в избе, опу-

стошенной голодным тифом. Виктория Павловна справедливо находила возражение своего друга «фиоритурно глупым». Но Иван Иванович, — кажется, единственно в этом пункте — имел стойкость не поддаваться авторитету царицы своих желаний и, твердо упершись на своем, отмалчивался от ее доказательств, даже осмеливаясь слегка надуться. Любопытно, что нелепым убеждением своим он успел заразить и самое Аннушку. Хотя выйти замуж за Ивана Ивановича было счастливейшею мечтою ее жизни, с первого дня их связи, тем не менее она почитала эту дерзкую надежду совершенно несбыточною: где же мол мне, мещанской сироте, да — за Туесова... В глубине души Аннушка, природно совсем не глупая, почти разделяла глупейшее мнение, которое премудрый Иван Иванович, однажды, глубокомысленно провозгласил, нисколько не стеснившись ее присутствием: что с такими, как она, порядочные люди живут, но на них не женятся. Тогда она много и обидно плакала, но сквозь слезы думала: «правильно это!.. куда же!»... Еще если бы у них были дети, то, может быть, Аннушка на-

шла бы в себе смелость настаивать на необходимости узаконить их браком. Но детей почему-то не рожалось, хотя оба были люди как будто вполне здоровые и родоспособные и никаких мер против детопроизводства не принимали. Не было детей — и Аннушка деликатно молчала.

В последние два года сожителства, Аннушка утратила даже и последний, сколько-нибудь серьезный предлог тешить ревнивого беса, так как многолетняя дружба Туесова с Викторией Павловной лопнула, подобно несостоятельной банкирской конторе, — крахом, в котором было кое-что жалкое, но много больше смешного.

Иван Иванович получил в свое чувствительное сердце очень глубокий и болезненный удар. Боготворимая им Виктория Павловна, которую он почитал неземным созданием, вокруг коего самый воздух напоен изяществом чувства и благородством мысли, на двадцать девятой весне своей, вдруг, очень откровенно, почти цинически вызывающе, впала в любовную связь с дюжим юнцом, сыном своей няньки и домоправительницы, ко-

торый служил у Туесова же в конторе простым писцом. Виктория Павловна сошлась с этим юношею, — словно в дополнение насмешки, его звали тоже Иваном Ивановичем, только по фамилии Молочницыным, — почти супружески, открыла в нем большой комический талант для театра и уехала с счастливым любовником в Москву определять его на сцену. При чем еще заняла у Туесова денег на путешествие, которые он с радостью дал, не подозревая, на что они пойдут [См. "Злые призраки"]. Романическое приключение это, ставшее в Рюриюове притчею во языцех на весьма долгое время, очень тяжело отозвалось на Туесове. Он знал, что в городе над ним смеются много и злорадно, и принимал обидные слухи — остроты и насмешки губернского празднословия — очень болезненно: глубоко уязвленным сердцем. Очень постарел, запустил все свои председательства, директорства и искусства, сделался домоседом — конечно, к великому Аннушкиному восторгу и утешению! И все чаще и чаще повторял, что, в конце концов, Аннушка — единственная женщина, которая умела его

понять и оценить, и, во истину, достойна быть любимой, потому что сама умеет любить... Нараставшее сближение, со дня на день все более нежное, наверное, привело бы к тому, что, назло окольниковому, Варлааму Туесову и лейбкампанцу Измаилу Туесову, нотариус Иван Туесов, все-таки, возвел бы мещанскую сироту Анну Персикову в высокое звание законной супруги.

Именно на эту близкую возможность и намекало письмо, полученное Викторией Павловной, с поздравлениями ее, как будущей княгини Белосвинской: письмо к женщине, которая — предполагалось — нашла свое счастье, от женщины, которая также предполагает себя на пороге счастья и плавает в блаженстве уже от одного предвкушения. На душе у Аннушки, видно, накопилось много — и, однажды начав писать бывшей сопернице, она не удержалась — расписалась широко, с великою откровенностью распахнувшегося русского бабьего сердца. Все вылила! И — как она мучилась ревностью к Виктории Павловне, и как ее, несмотря на то, уважала и почитала, и как злорадствовала, когда ее увез Ва-

нечка Молочницын, а Иван Иванович, чрез то, остался в дураках, и как теперь ей совестно прошлого злого торжества, потому, что именно тут-то Виктория Павловна и оказалась ей благодетельницею, хотя, может быть, и сама того не подозревая... И — как она теперь рада, что Виктория Павловна пристаёт к берегу, ее достойному, — в лице мужа, блестящего титулом, громадным состоянием, с репутацией превосходного во всех отношениях человека... И — как Иван Иванович, тяжело захандривший от обиды после отъезда Виктории Павловны с Ванькою Молочницыным, совершенно воскрес духом от вести, что она бросила этого негодного мальчишку и выходит замуж за князя Белосвинского, пред которым он всегда преклонялся так глубоко, что даже не позволял себе видеть в нем соперника, — и брака этого всегда ожидал и желал... И — как он, в восторге, велел откупорить бутылку шампанского, хотя обедали они только вдвоем, Аннушка да он, и пили они здоровье князя и Виктории Павловны, и Иван Иванович весело твердил:

— Ну, вот, Виктория Павловна наша у при-

стани. Пора, видно, Аннушка, и нам с тобою, пора и нам!..

— Как видите, — с горькой иронией объясняла Виктория Павловна Пожарскому, — полная моя амплитуда от полюса до полюса: так — великолепный князь Белосвинский, этак — гороховый шут, Ванечка Молочницын, Аринин сын, чуть не на десять лет моложе меня, а по середине — нелепо вздыхающий, кругом одураченный, губернский Шиллер... И, в дополнение эффекта, в публике — законный супруг, в лице Ивана Афанасьевича Пшенки... Красиво, нечего сказать!.. Иллюстрированное издание, под заглавием «Les aventures de ma vie»... Вы, ради этой своей милейшей Аннушки, меня к позорному столбу ставите — вот что, Дмитрий Михайлович, любезнейший мой друг.

— Для прочтения письма двери и закрыть можно, — защищался присяжный поверенный, — ни один председательствующий не откажет... не угодно ли?

— А тогда почтенные и добродетельные сограждане мои, рюриковцы, будут рассказывать, будто про меня читались такие ужасы,

которых не в состоянии слышать человеческое ухо...

— Эх, Виктория Павловна! Извините на грубом слове, но — «наплевать»!

— Наплевала бы, Дмитрий Михайлович, и даже с аппетитом, с наслаждением наплевала бы... Да, ведь, дочь у меня, а у дочери глаза и уши! Для глаз — газетные отчеты, для ушей — молва... Не наплюешь!

Но однажды, приехав в Христофоровку к Карабугаевым, Виктория Павловна застала Феничку за огромною старою книгою Гербеля «Английские поэты в биографиях и образцах».

— Что ты читаешь, детка?

Феничка подняла белокурую, цвета ржи, головку, оторвала от книги глазки, просиневшие васильками во ржи, на личике возбужденно-розовом и пылком, как заря над нивою, и отвечала тонким щебетом жаворонка, вьющегося над ржаным полем:

— Поэму Теннисона — «Леди Годива»... Знаешь?

— Нет, не помню... Что это?

Девочка, торопясь и ошибаясь в словах, вся

сверкая радостным сочувствием, объяснила, что это — история одной доброй лэди, имевшей мужем ужасно свирепого графа, который беспощадно тиранил своих подданных. Как-то раз она, с напрасными слезами, просила супруга помиловать нескольких несчастных, осужденных на лютую казнь, за неплатеж нового чудовищного налога.

— Нет жертвы, которой я не принесла бы, лишь бы получить от вас эту милость! — воскликнула Годива.

— Очень хорошо, — захохотал супруг. — Ловлю вас на слове. Если завтра, в полдень, вы проедете весь наш город, от заставы к заставе, верхом на коне, шагом и — совершенно нагая, то я, так и быть, оставлю этим мерзавцам их жалкую жизнь...

Лэди Годива сперва ужаснулась, но, подумала, и приняла стыдный вызов. Она оповестила горожан, чтобы все они завтра, от колокола, который возвестит полдень, до колокола, который пробьет час, — сидели дома, закрыв свои окна ставнями. Горожане свято повиновались просьбе любимой госпожи. И, вот, с первым ударом полуденного колокола

Годива двинулась в странную поездку свою — городом, пустым и безгласным, — совершенно нагая, как требовал ее глумливый супруг, — и с колоколом, ударившим час, въехала обратно в ворота своего замка. Граф, видя свое условие выполненным, должен был сдержать слово: казнь была отменена... Предание гласит, что лишь один из горожан не исполнил просьбу Годивы и, когда святая лэди следовала мимо его дома, не утерпел, чтобы не посмотреть на нее в щелку ставни. Но небо сейчас же покарало нечестивца: у него вытекли оба глаза...

— Нравится тебе лэди Годива? — спросила Виктория Павловна.

Девочка, молча, кивнула головкою, сияя глазами.

— Хотела бы ты быть ею?

Феничка вся вострепелась, прижалась к руке матери разгоревшимся личиком:

— О, мамочка, еще бы!..

Виктория Павловна помолчала, обдумывая. Потом начала голосом, вздрагивающим смущенными колебаниями:

— Ну, а скажи мне, Феня, как ты думаешь:

если бы эти господа горожане не послушали приказа Годивы, не закрыли бы окон и остались бы на улицах, как ты думаешь: поехали бы Годива, все-таки, нагою через город или осталась бы дома?:

— Конечно, поехала бы! — горячо вскричала девочка, — еще бы нет!.. Разве в этом дело?..

— Да, ведь, смеялись бы над нею, позорили бы ее, грязью в нее швыряли бы?..

— Ну, и пусть! А у них, за то, у всех, кто такой подлый, повытекли бы глаза... Да, — да! И нисколько не жаль!.. Кто смеется над тем, как человек приносит себя в жертву другому человеку, достоин того, достоин!.. Мамочка. Я ничего в жизни не представляю себе выше того, чтобы принести себя людям в жертву и пострадать за людей...

Виктория Павловна рассматривала оживленное личико дочери с любопытством изучая, — и хмурая, и довольная...

— Погоди... Ну, а представь себе, — медленно произнесла она, — вообрази, что Годива не преодолела искушения... струсилась...осталась дома... как бы ты ее тогда судила? а?

Девочка, с поспешным негодованием, отвечала:

— Я сказала бы, что она самая недостойная, безжалостная, жалкая женщина... Но, мамочка, этого же не могло быть: разве Годивы трусят и отступают?...

Виктория Павловна вздохнула.

— Годивы-то не отступают, но, милая девочка., Годив немного на свете. А, когда в положение Годивы попадают женщины обыкновенные, — ох, дорогая, как же это тяжело и жутко и как же тогда велик соблазн остаться тихонько и смирененько за стенами своего замка!

Феничка прервала:

— Ну, мамочка, это разве уж какие-нибудь именно обыкновенные!.. А, вот, например, о тебе я совершенно уверена: ты ни за что не осталась бы, ни за что...

— Уверена? — весело переспросила Виктория Павловна.

— Совершенно! Разве это похоже на тебя? На тебя-то? на тебя?

Бездонно глубокая вера в мать звучала в ее обожающем голосе, сияла синим огнем нали-

тых глазах. Виктория Павловна смотрела в них, тронутая до пристыженности, и, внутренне содрогаясь, думала о том, как страшно и непростительно — не то, что обмануть и разрушить, а хоть оцарапать эту детскую веру... А вслух говорила медленно и пытливо:

— И потом тебе, дочери Годивы, вообразим, что у нее была дочь, не было бы стыдно за мать, что она разъезжала, нагая, по городу, и негодяи могли смотреть на нее сквозь щелки ставень?

— Нисколько! — как отрезала Феничка, будто взрослая, непоколебимым ответом на давно продуманный вопрос.

— В самом деле? Вполне ручаешься за себя?

— Мама! Ты меня спрашивала: хотела ли бы я сама быть Годивою. Я отвечала: хочу. Как же мне, после того, стыдиться, что у меня мать — Годива? Не стыдилась, а гордилась бы...

Виктория Павловна взяла Феничку ладонями за виски, притянула к себе, поцеловала и произнесла серьезно:

— Смотри, девочка, я, может быть, ко-

гда-нибудь, напомню тебе эти твои слова...

— О, я не забуду!

Виктория Павловна продолжала ее удерживать:

— Скажи еще: ты понимаешь, что человек может быть обнажен не только телом, но и душою... всем нравственным существом своим?..

— Конечно, понимаю... Это — как исповедь... И, конечно, стыдно и страшно... Отец Маврикий добрый, ласковый и на исповеди почти не спрашивает, а больше сам говорит, а, между тем, уж как мы дрожим, когда идем к нему за ширмы...

— Видишь! А если исповедь не за ширмами, но пред народом — целою толпою, насмешливою, издевающеюся, злорадною?..

Феничка подумала и, решительно тряхнув головкою, сказала:

— Что же? Я читала «Катакомбы»: при апостолах так и было... все исповедовались при всех... А — кто издевается и злорадствует, — я же говорю тебе: пусть у него, как у этого бесстыдника, который подсмотрел Годиву, лопнут глаза...

Виктория Павловна крепко поцеловала ее в лоб и отпустила со вздохом. И, едва невинное личико девочки скрылось из глаз ее, пред умственным ее зрением выплыло, почему-то, как из тумана, грешное, беспокойное, но тоже с детскими глазами, только черными, лицо, — безобразное, с негритянскими раздутыми губами, но прекрасно одухотворенное глубоко потрясающим горем, — лицо Жени Лабеус, когда та, в Олегове, отчаянно лепетала ей:

— Я верила в тебя, Виктория... ах, как я в тебя верила!.. В силу твою, в правду твою... Нельзя было больше верить... А ты... а ты...

И потом — та же самая Женя... в рюриковской гостинице... ужасный сумеречный призрак спросонья... злобный, ненавистный... руки, нервно и цепко ухватившиеся за красный шелковый шарф, обмотанный вокруг горла спящей подружки...

— Я верила тебе, Виктория, я верила тебе, а ты обманула мою веру...

Вспоминала и, с сокрушением до отчаяния, шептала про себя:

— О, эти детские сердца! о, эти цельные на-

туры! Истинно уж, что тому, кто соблазнит вас, лучше повесить себе на шею камень осельный и ввергнуться в пучину морскую...

В тот же вечер Виктория Павловна написала Пожарскому в Петербург, что, поразмыслив хорошенько, готова выступить свидетельницей по «Аннушкиному делу» и представляет пресловутое Аннушкино письмо в полное распоряжение защиты. Пожарский отвечал короткою благодарственною телеграммою, а — вскоре вслед за тем, вот, теперь пришла и повестка Синева...

V.

Виктория Павловна пробыла у о. Маврикия, на этот раз, недолго. Сидела нетерпеливо, слушала рассеянно, отвечала вяло и небрежно и, с первым боем десяти на старинных стенных часах протопопова кабинета, так засуетилась и заторопилась уйти, что старик даже слегка обиделся:

— Да что вам не сидится? Свидание, что ли, назначили? — сердито пошутил он.

На что Виктория Павловна отвечала, с насильственным смехом:

— Вы не ошиблись!

И почти убежала, чувствуя себя смущенною, точно, в самом деле, девочка, которая бежит на первое свидание, — с пылающими, под кровом ночи, щеками, с жаром — почти до слез — в глазах...

Луна в ущербе уже поднималась, и в ее еще за-крышном, уныло-серебристом свете, тускло испятнавшем переулочек слабыми тенями, Виктория Павловна не замедлила заметить черный силуэт человека-нетопыря в остроконечной суфейке, притаившегося шагах в пятидесяти от протопопова крыльца, к заключенным воротам соседнего дома-особняка, много лет покинутого и нежилого, потому что находившегося в спорном владении не разделившихся наследников богатого купца Паробкова... Имя это Виктория Павловна ненавидела — тайным, глухим чувством, о котором никто не знал, как и о том, что значило это имя в ее молодой жизни, на самой ее заре, скорее даже в отрочестве, чем юности. [См. Виктория Павловна“ („Именины“).] Даже и теперь, завидев Экзакустодиана ждущим ее именно у паробковского дома, она суеверно

вздрогнула сердцем. Но едва Экзакустодиан к ней приблизился, Виктория Павловна, вдруг, странно успокоилась, точно прочла в нем, тревожно движущемся призраке, волнение и испуг, большие ее собственных, и, — для битвы, которая ее ждала и звала, — почувствовала себя сильнейшею стороною...

Молча, как и вчера, встретились они, молча, пожали друг другу руки, молча, шли безлюдными окраинными переулками, состоявшими сплошь из заборов, освещенными почти исключительно печальной ущербленной луною, потому что редко-редко и тускло-тускло мерцали здесь желто-красными пятнами даже не газовые, а еще старинные керосиновые фонари, как будто недоумевая, кому и зачем светить поставлены они в эти безнужные пустыри. Город незаметно кончился, перейдя в предместье Крумахеры: рабочую слободу громадной гончарной и майоликовой фабрики, обслуживающей, по крайней мере, пол-России изразцами и посудой чайною, кухонною и столовою. Фабрика и слобода слыли по имени первого их основателя, обруселого немца Крумахера, хотя он дав-

но уже ушел на покой, продав свое миллионное дело товариществу, во главе которого стояла знаменитая московская капиталистка и делица, княгиня Анастасия Романовна Латвина.

Кумахерова рабочая слободка, вытянутая скучною полуулицею-однорядкою однообразных белых домиков — казарм, — которые побольше — на четыре, которые поменьше — на два семейства, — обступала обширный, как озеро, почти квадратный пруд, по прозвищу Бык, с самородными ключами и двумя довольно сильными ручьями-истоками, Большим и Малым Бычками. Благодаря им фабрика и ее поселок не слишком уж засаривали свое озеро. Так что оно, хотя и подванивало, но не настолько, чтобы отравлять местность заразою, как имеют обыкновение подобные воды. В ключевых местах из него даже брали воду для самоваров, хотя это и запрещено было санитарным надзором, особенно сейчас, когда городу грозила двигавшаяся с юга холера.

Бычки, чуть поблескивая под луною, скромно пробирались сквозь густые поросли

заболоченных ими низин, в огиб невысокой горушки, обделанной еще первым хозяином фабрики, немцем Крумахером, в подобие бульвара, с чахлыми березами, производившими впечатление такой непрочности и беспомощности, будто они не растут, а только воткнуты в землю, ради Троицына дня. Со стороны города в этот унылый вертоград попадали утлым мостиком через Малый Бычок, по пляшущим ветхим доскам которого Виктория Павловна прошла не без страха. Впереди — за Большим Бычком — в полуверсте, то же на горушке, темнело-туманилось черною тучею неопределенных очертаний городское кладбище, чуть искрясь слабыми огоньками своей поповки и изредка подавая голос плаксивым тьявканьем сторожевого колокола. До главного фабричного корпуса, сиявшего электричеством из сотни окон, отсюда было, пожалуй, с версту. Мерный машинный шум, летя оттуда непрерывною волною, не нарушал ночной тишины, но сливался с нею в глухое величественное единство, точно какой-то исполинский счетчик неслышно бегущего времени. На слободе полаивали собаки, чуя при-

шедших на бульвар людей, но, очевидно, и они почитали это, заброшенное и почему-то упорно нелюбимое фабричным населением, место вне своей компетенции, потому что по голосам слышно было, что лают, лежат, и только для очистки совести:

— Чуем мол, чуем, но не придаем никакого значения. Есть у нас на кого лаять и кроме чудаков, невесть зачем шляющихся ночью по гиблому пустырю...

— Сядем, — предложил Экзакустодиан, указывая на обставленную скамейками площадку, от которой спускалась лесенка к Большому Бычку. Виктория Павловна, молча, кивнула головой: хорошо!..

Скамья была сырая от росы, Бычок, кутаясь в туманную кисею, дышал сыростью и болотною гнилью, шептал ольхою и осокою, тосковал лягушками, которые в нем жили, должно быть, скучно, голодно и глупо, потому что кричали лениво, вразброд и без малейшего увлечения...

Молчание, в котором встретились Экзакустодиан и Виктория Павловна, было прервано ими давно. Давно уже, из мрака пустынных

переулков, которыми они брели, звенел в уши ей полный волнения, высокий голос, — дрожал искреннею певучею струною, точно жаловался горько и напрасно обиженный ребенок: главное-то первое горе он уже выплакал и избыл слезами, но скорбь несправедливости еще рдеет в его маленьком, неопытном сердце — рдеет и саднеет, будто расчесанная ранка, что крови уже не дает, но и заживать не заживает — все сочится и зудит — напоминает о себе — зудит и сочится...

— Послана ты мне в угрюмое и дикое сердце мое, подобно великой и острой занозе... Попрекнула меня вчера безобразием в Бежецке... и вообще... Милая сестра моя! Когда человек ощущает в себе губительную занозу, вокруг которой воспаляется и нарывает плоть его, когда он чувствует, что, если заноза не выйдет из нарыва, то — сгореть ему от Антонова огня, — разбирает ли он, какими средствами и кто уврачует его боль и отгонит смертную опасность, жар палящий, тоску отравленной крови? Не то, что люди, звери это понимают: вспомни Андроклова льва... То же и с душою, в которую вонзилась стрела

страстная... Ты думаешь: счастлив я был тем, что бес осетил меня тобою? Думаешь, — так он меня затуманил, что мне и гибель любезна. — не жаль кровавить руки шипами, лишь бы розу сорвать? что я, как мальчишка, впервые узнавший любовь к женщине, рад жуткой сладости — бессознательно ходить по краю бездны адской, в коей мрачные огни пылают, смолы кипят, грешные стоны воют, хохот дьявольский громами перекачивается?.. Нет, сестра милая! Счастлив страстями гореть только тот, кого пожалел Бог при рождении — окружил его отрадным о самом себе мнением: даром бессознательных радостей, — от самого себя радостей. Берет такой самодовольный человек соты медовые из улья жизни и не считает жал, которые вонзают в него мстительные пчелы... И — наплевать ему, что от их укусов рожа у него распухла, как арбуз, и стал он — чудище чудищем, пугалом для людей... Меня же Господь покарал: меды жизни приемлю тупо и недоверчиво. Редко сласть их ощутительна вкусу моему в такой мере, чтобы совесть признала: да! ради счастья сего стоило претерпеть нападение

разъяренных пчел и покрыться их укусами... Пчелы же, стрегущие меды, которыми прельщает меня искушение, суть особо огромные и свирепые. Железножалящим сих не знает зауряд-человек, мирской, не удостоенный припадать к подножию престола Господня, трепетать о нем, впитывать от него блаженное откровение... Бес силен, сестра моя, очень силен, — львом, ищущим добычи, рыщет он вокруг людей, нам с тобою подобных... Да, да! не изумляйся, что обобщаю тебя со мною в одно... Много бессонных ночей продумал я над тем, кто ты, кто я. И теперь-то уже знаю без ошибки, — не сбить меня мирскими ложными видимостями, — сколько тебя в моей душе, сколько меня в твоей... Львом рыщет бес, змеею подползает, коршуном ниспадает на добычу... Я привык к ловитвам его, — равнодушно приемлю их, равнодушно их отражаю. Что же делать? Может ли человек, возлюбивший зеленую мать-пустыню, благую сень лесов, плавный ток рек и тихое плескание озер, укрыться, чтобы не терзал его гнус воздушный? Равным образом — и сие: ищешь Бога, — приемли и ярость бесовские орды,

устремляешься в небо, — помни, что в полете твоём тысячекратно преградит тебе дорогу князь силы воздушные. И не всегда о, как не всегда! — восторжествуешь ты над хитростью и злобой его, Сколько будешь рабствовать ему! скольких падений, стыд и горе узнаешь! сколько слез потом должны будут источить твои покаянные глаза, пока вымоют униженную, отравленную адом, душу!.. Ты должна понимать меня! ты должна понимать меня! — воскликнул он почти восторженно, — потому что, хотя равны были доселе пути наши, но не дороги делают людей, а люди — дороги: и ты — на своем пути — такая же, как я на своем, Там, где я говорю — да, ты говоришь — нет, но тем же голосом, тою же волею, с тем же чувством, в той же сознательности... Ты не знаешь меня на пути к Богу, но я знаю тебя на пути к дьяволу, я знаю, как натружены на нем твои белые, нежные ноги, как мучит и отвращает тебя налипшая на них дорожная грязь, как привычны тебе падения и самоистязующий расчет за него... О, как я знаю тебя, душа угрюмая и презрительная! И ты, и ты то же должна узнать меня, должна

понять!..

— Да я и понимаю, — мрачным, глухим звуком вырвался у Виктории Павловны невольный отклик.

— Так ли? Ой, так ли? — торопливо схватился за него Экзакустодиан — и продолжал свое, голосом тихим, почти придушенным, но твердым, вдумчивым, безбоязненным:

— Да, сестра, не в первый раз заножать мне душу уязвлением женской прелести, не в первый раз и извлекать занозу из души. Но, вон, я сравнил бесов с воздушным гнусом. А гнус гнусу рознь. Кусает тебя муха или комар, — стоит ли внимания? Много, если почешешь. Хватит злой овод, оса, жигалка, — ну, больно, вскрикнешь, но — обмыл рану водою, в крайнем случае, приложил смягчительную мазь или припарку, — и кончено: исцелел! Но в тайгах сибирских строка доводит до самоубийства не то, что человека, — медведя! И — уж прости, что, может быть, глупо и невежливо сравниваю: человек я не светский, дьячков сын, семинарист, спрашивать с меня воспитания и дамского разговора — все равно, что доить козла: молока не добудешь!.. Именно, вот

этакою-то строкою язвительною и неотступною и впилась ты в меня... Знаешь ли? Иной раз в Сибири охотник убьет медведя ножом и рогатиною, — риском жизни своей добудет, значит, шкуру его. Ободрал, — ан, шкура-то — никуда негодна: висит, как нищенское рубище, вся в лысинах и дырках: это его, медведя-то, заживо строка источила... Так вот и с душою моею было от тебя, о, ты, нечестивая и ужасная! Вся она — источенная — в дырках и лохмотьях! А ты изумляешься и негодуешь, что я в Бежецке куралесил... Изумись лучше тому, что я жив остался!

— От белой горячки редко умирают, — холодно возразила Виктория Павловна, чувствуя про себя, что ей стоило большого усилия произнести эту злую фразу и, вообще, трудно выдерживать предрешенный жесткий тон.

Он отвечал со страданием:

— Зачем ты так говоришь, сестра? Ведь ты не веришь тому, что говоришь! против себя говоришь!.. Не надо! Будем просты и искренны... Смотри: я пред тобою — как дитя на первой исповеди... Если бы я хотел тебя обидеть,

неужели ты думаешь, — не сумел бы я тебе ответить такую острую стрелюю, чтобы навсегда засела в твоей памяти неизвлекаемою зазубриною?.. Не обижай же и ты меня понапрасну, — будь проста и кротка... Не врага ведь видишь пред собою... хорошо знаешь, лучше меня, может быть, знаешь, что не врага...

Виктория Павловна, сконфуженная, долго молчала.

— Извините, если я сделала вам больно... — пробормотала она наконец. — Вы правы: это грубо и глупо...

Но, вдруг, ударив рукою по спинке скамьи, сверкнув глазами, в которых отразился бегущий сквозь белые тучки, месяц, — вскричала, неожиданно для себя самой:

— Но — если меня, в самом деле, бесит, если я, в самом деле, не могу простить, что вы вели себя там — из-за меня — как пьяный военный писарь, неудачно влюбившийся в жестокую модистку или коварную белошвейку? Если меня, действительно, оскорбляет это — и за себя и... за вас — понимаете вы это? — прежде всего, за вас?

— А что тебе до меня? — отозвался Экзакустодиан, насторожившись, с радостным удивлением в голосе. — Что тебе до меня, сестра?

— Не знаю, что, — отрывисто бросила Виктория Павловна. — Я вас едва знаю, никаких нежных чувств к вам не могу питать и не питаю, — скорее напротив. Все, что я о вас слышу, что от вас слышу, мне антипатично, восстанавливает меня против вас. Но в вас есть что-то, выделяющее вас из других людей и поднимающее над ними. Вы, конечно, знаете, что не все вас считают святым. В обществе — для большинства — вы, просто, шарлатан. Не сердитесь, что напоминаю: это не со зла и не для обиды. По настоящим моим взглядам и убеждениям, должна была бы и я числить вас по тому же разряду. Но — вот — не могу. А, когда хорошенько подумаю, то, в искреннем самоотчете, и не хочу. Когда я осведомилась, что вы удостоили влюбиться в меня, это мне было неприятно, потому что любить вас я не могу и никогда не полюблю. И видеть вас своим неудачным поклонником — вдруг — снизило мое тайное мнение о вас до того, что я... просто-таки, обиделась! Да! Именно обиде-

лась, точно — вот — в кои-то веки завела знакомство с великаном, а он оказался надутым из резины и, уколовшись о мою булавку, стал уменьшаться-уменьшаться, худеть-худеть, пока не обратился в карлика... Лет десять тому назад, когда я была самовлюбленно надменной девчонкою, подобная метаморфоза сильного человека, может быть, и польстила бы мне. Но женщине опытной и утомленной, которой в глаза глядит уже осень жизни, уважать человека, который ей не безразличен, гораздо дороже, чем упиваться сознанием и зрелищем, как он, бедный, страждет и неистовствует в жестоких ее Армидиных чарах... Повторяю вам: подобные отношения люди неглупые и порядочные должны представлять военным писарям и горничным, читающим романы в бульварных газетах... А к вам во мне живет какое-то инстинктивное уважение... суеверие, что ли?.. И — когда вы компрометируетесь так, что вас нельзя уважать, мне больно, точно мы с вами не чужие, и я слышу о безобразии и грехе не постороннего, но близкого и родного человека...

— Я счастлив, что ты так говоришь! —

вскричал Экзакустодиан, порывисто схватив ее руку, бледный, как мел, в мутных лучах унылой заоблачной луны, — да, именно счастлив, что ты именно это сказала! Гораздо счастливее, чем если бы ты откликнулась на то мое чувство, которое ты зовешь «влюбленностью»... Ибо то мне было от беса, — бысть послан мне в плоть аггел сатанин, — а сейчас та изрекла божеское...

— Ах, теперь вы разобрали, что от беса? — засмеялась Виктория Павловна, убирая руки свои, — очень рада. А то бедная Женя Лабеус горько плакалась, что вы потеряли критерий — не можете в своем чувстве ко мне разграничить Бога с дьяволом...

Экзакустодиан остановил ее тихим движением руки — черной против света, длинной, с худыми острыми пальцами: совсем лапа отщалай хищной птицы!

— Ты мастерица говорить остро и горькую правду облекать в веселые слова, — произнес он серьезно. — Но, все-таки, не смейся над этим, потому что тут больше достойного слез, чем смеха. Опытom многих покаянных свидетельств и признаний научен я, что, вообще,

мужчина, устремляясь к женщине с любовью, не ведает, что творит и кому он тем служит — Богу или дьяволу. Я же — в особенности, больше, может быть, всех прочих сынов Адамовых... Слушай... открою тебе тайну моей жизни... Узнаешь ее, — поймешь, каков я есмь сам в себе, — может быть, засмеешься, а, может быть, пожалеешь...

Он задумался, нервно пощипывая ястребиною лапою бороду, в лунном свете, темную, как волокнистый табак.

— Вот ты сказала, — начал он, — что меня многие считают шарлатаном. Правда. И только ли шарлатаном? Тысячи глаз следят за каждым шагом моим, и каждая моя ошибка записана, каждый грех мой усчитан, наипаче же всех прочих — блуд... Ежели бы верить всему, что клеветуют обо мне враги мои, то подобного мне блудника не существовало ни в Содоме и Гоморре, кои Господь истребил огнем, ни в Ниневию, кою Он осудил на разрушение и пощадил только ради ста двадцати младенцев, не умеющих отличить правой руки от левой... Клеветы презираю, но — совесть велит и не имею страха признаться те-

бе, что не все клеветы. Есть на дне молвы человеческой нечто, дающее ей правдоподобие, а меня облакающее в грех и видимость блуда...

— Только ли видимость? — с брезгливою недоверчивостью прервала его Виктория Павловна. — Слушайте, отец Экзакустодиан, я теперь то же скажу: не надо так... А на ваши откровенности не напрашивалась и могу спокойно остаться без них. Но, если вы сами находите их нужными, то уж повторим условие говорить чистую правду и не морочить друг друга видимостями... Ведь я на Петербургской-то стороне была, с Серафимою не только знакома, а даже подружилась и теперь откровениями меняемся... И всех юниц, уготованных для вас доброю мать-игуменьей, Авдотьей Никифоровной Колымагиной, для будущих утех, тоже видела, поняла и оценила... Какая уж тут видимость! Самый настоящий гарем.. [См. „Законный Грех“. Амфитеатров.]

— Ты осудила — и каждый осудит, — мрачно согласился Экзакустодиан. — Но погоди, не спеши... Что Серафима? Разве она первая? Может быть, десятки их остались на совести мо-

ей — Серафим-то подобных...

— Вот поэтому я и советую вам, — сухо заметила Виктория Павловна, — не извиняться видимостями, но употреблять слова прямые и точные — например, «разврат»..

— Нет! — пылко воскликнул Экзакустодин, даже вскочив со скамьи и подняв руки к небу, что опять, как в давний зимний вечер, когда впервые встретился он с Викторией Павловной, сделало его похожим на огромную летучую мышь, — нет, Виктория! нет, сестра! Все, что тебе угодно, только не это... не это слышать из твоих уст! Богом истинным, живущим во мне, глаголющим чрез меня верным и обличающим маловеров, заверяю тебя: не развратен я, не блудник... Пусть другие ошибаются, облыгают, клеветуют, но ты — должна понять! должна!

Он сел и заговорил быстро, внушительно, как речь привычную и давно лежащую в мысли и на языке, — без ошибок:

— В ранней младости моей, когда я был еще полуотрок и девственник, возлюбил я мыслью отречение от мира и суеты его, возлеял мечту иноческого жития и только о

том и думал, как, с исполнением возраста, удостоюсь приять ангельский сан и затворюсь на молитвенный подвиг. Достигши совершеннолетия, с жадностью приступил я к осуществлению своего намерения — и, прежде всего, отправился в Оптину пустынь, испросить на то благословения от великого подвижника и учителя, старца Амвросия... Слыхивала ли ты о святом муже сем?.. Но что же? Вещий старец, едва взглянув в глаза мои, не только не благословил меня, но строго-на-строго воспретил мне даже и помышлять об иночестве... И, когда я горько плакал, старец рек:

— Не отчаивайся, сыне, что подвиг иноческий закрыт для тебя. Господь избрал тебя на иное служение, коим оправдаешь себя в очах Его, поелику — се аз духом глаголю тебе: дано тебе спасти и привести к Нему многие и многие человеки. Тернист и тяжек будет путь служения твоего, многими бесовскими соблазнами окружен, в многих падениях ты низвергнешься и опять восстанешь... Посему и не подобает тебе иночество, — дабы, зря падения твои, не соблазнялись о тебе люди, не покива-

ли главами и не хулили иноческий сан, который в современном развращенном мире много терпит от напрасных поклепов...

Он тяжело вздохнул, перевел дух и — пониженным, грустным голосом — продолжал, теребя бледными пальцами темное длинное пятно бороды:

— Не хотелось мне поверить святому старцу, горько было отказаться от мечты, которою полна была и огнем чистым горела и светилась прекрасная юность моя... Но тщетно я заверял его, что он ошибается во мне, что, избрав целомудрие жребием своим от младых корней, не изменю ему во век, что противны мне женская прелесть и всякая похоть плоти, что соблазны я уже ведал и знаю бороться с ними и побеждать... Неумолимо качал старец седобрадою главою своею и — когда я настаивал даже до гнева — прорек:

— Хвалишься ты, юный, победою над плотью, истинной борьбы с которою ты еще и не отведывал. А я тебе говорю: не пройдет даже нынешний день до вечера, как ты уже падешь...

— Покинул я старца — мало, что в недоуме-

рии: в негодовании, почти в злобе... Но что же, сестра? Выходя из монастыря, недалече от святых врат, нагнал я двух жен, паломниц, которые начали предо мною жалобиться, что не нашли места в переполненной богомольцами монастырской гостинице, и вопрошали, не знаю ли я поблизости какого-либо странноприимца, у которого они могли бы найти приют, обед и ночлег. И Богу угодно было попустить, а бес устроил так, что я, хотя и чужой в Козельске, знал такого странноприимца и проводил к нему сих новых своих знакомок. По дороге, сообщили они мне, что они из Петербурга, вдовы купеческого звания, обладают достаточно обеспеченными капиталами, но ни торговлею, ни иными мирскими делами не занимаются, а проводят жизнь свою в благочестивых мыслях и странствиях, коими ищут Бога и уповают спастись в Нем. Женщин подобных я, дикий, захолустный семинарист, никогда еще не видывал в близости. Обе они были уже не первой молодости, но видные из себя, одеты, вроде монашенок, в черные, но дорогие, городские ткани, речь имели учтивую, но смелую, обращение столичное...

Одна из них уже умерла: не стоит шевелить ее грешные кости и поминать ее забвенное имя. Другую ты знаешь: это — Авдотья Никифоровна Колымагина...

Он примолк, понурившись, потом, с грубым взглядом, грубым жестом, будто пролаял грубою скороговоркою:

— Ну, и исполнилось предвещание прозорливого старца. Далеко еще до вечера было и солнце высоко стояло в небе, когда я, впервые в жизни упоенный сладким вином и обаянный лукавою женскою лестью, утратил столь долго и бережно лелеянную чистоту свою... И, когда, потом, в отчаянии, хотел удавиться, она, Авдотья, уследила меня, вырвала петлю из рук моих и убеждала меня:

— Безумец! За что замыслил ты казнить себя? Не воображаешь ли угодить Богу самосудною и самовольною смертью? Отнюдь! Не Богу ты послушествуешь, но наводящему обман и отчаяние бесу. Разве не предрек тебе святой старец того, что ты считаешь своим падением? Если оно, предвиденное, все-таки, совершилось, — значит, Господь его попустил. А если Господь его попустил, то — еще

вопрос — есть ли оно падение? Не исполнение ли, напротив, неведомой и неуяснимой воли Божией, ведущей тебя, яко избранника с таинственным предназначением — чрез благо кажущегося греха, к целям святым и высоким? Разве юроды Христа ради не творят мнимых грехов, чтобы в самоуничижении ими найти свое спасение? Как знать? Быть может, и тебе послано юродство — юродство блуда, в коем ты не грех обрящешь, ниже падение, но новую чистоту, превысшую чистейшей невинности и целомудреннейшей девственности? Ибо, хотя блаженно и свято изображается неведение Адама и Евы в раю, однако, отнюдь не было последнею ступенью совершенства человеческого, поелику не спасло их от дьявольского порабощения: сами заковались в кольца Змия-прельстителя и весь род человеческий ему закрепостили. Мы же, после Христа, разрушившего наши крепости, должны жить не в неведении, но в ведении. Кто Христа в себе носит, тот смеется над грехом, — не грех над ним хозяин, а он хозяин греха. Все, чем дьявол Адама с Евою осквернил и что вокруг них напутал, смыто Христо-

вою кровью, — и остался для мужчины и женщины только восстановленный завет Господа Творца нашего: плодиться, множиться и населять землю. Потому что лишь слова Божии непреходящи, а всякое иное мудрование, человеческое ли, демонское ли, есть пепел, прах, тлен... Если бы Адамов грех, по-прежнему, владел человеком и определял его пред лицом Божества, то тогда — значит — напрасно Христос приходил в мир, и нисколько Он его не отвоевал у дьявола, и владыками вселенной остаются по-прежнему древний Змий-Сатана, с сынами своими, отверженным родом Каиновым... Но подобное грешно помыслить даже нечаянно, против воли — не то, что принять верою... Если дьявол осетяет тебя отчаянием, — это не раскаяние, но демонский обман: это он тебя в дохристову веру тянет, в царство прельщенной Евы и запуганного Адама...

— Никогда и никто еще не говорил мне подобных речей. Не вихри — смерчи, ураганы новых мыслей они во мне породили. Я понял, что свел знакомство не с простою женщиною, берущею первого встречного в случайные лю-

бовники сластолюбия ради... Понял, что тут, действительно, было предопределение: что, в лице ее, Господу было угодно открыть мне яд и лекарство, грех и спасение, бездну и путь в небо...

Он примолк, чуть косясь беспокойным левым глазом на безмолвную, в большом и живом любопытстве, Викторию Павловну.

— Итак, оказывается, это Колымагина вас в секту ввела, — отозвалась Виктория Павловна. — Это для меня неожиданно. Я думала — наоборот.

— Секту! — недовольно повторил, без ответа, Экзакустодиан, даже дернувшись всем телом, как уязвленный. — И ты туда же за другими повторяешь нелепое слово, в котором нет ни смысла, ни правдоподобия! Какая у нас секта? Нет секты. Мы не в секте, но в Церкви. Разве человек таких чувств и мыслей, как я, как Авдотья Колымагина, может удовлетворить беспокойство своей души, отколовшись от верующего мира, обособившись в какую-то секту? Нам нужно прямое общение с Богом, спасение, благодать, а в сектах благодати не бывает. Спасает только Цер-

ковь — единая, православная, апостольская. Грех — потоп. Един был ковчег Ноев, спасший живую тварь для имевшего обновиться мира. Так и Церковь одна. Спасение наше в Церкви, как в ковчеге Ноя, и нигде больше. Не сектанты мы, а самые верные и твердые из всех детей Церкви. Но дети должны понимать свою мать, а для великого большинства своих детей Мать-Церковь непостижима, загадочна, неудобовразумительна. Мы же ее понимаем. Всегда, всюду, во всем. Духом понимаем. Вдохновением. В том все различие наше от прочих православных. Мы вдохновенны — они нет. Секта! Да, если нас силою гнать будут из церкви, и то мы не пойдем — ляжем на дороге и кричать будем: нельзя! мы свои здесь! это наше! Отлучат нас, анафемою разразят — мы не поверим. Ибо — жизненная стихия душ наших находится в церкви православной и в храме православном: там Престол Божий, там св. Евангелие с Посланиями богомудрых апостолов, там небесное богослужение, там лики Господа, Богоматери, св. ангелов и святых, там фимиам Господу, там лампы и свечи горящие и знаменующие нашего духа горе-

ние пред Господом. Там привитаем, туда прибегаем, там почиваем душой своей. Ты видишь, каковы мы: люди падающие, ежеминутно нуждающиеся в прощении. А разве секты прощение дают? Откуда бы взяли они власть сию? Они суть искание, а не обретение, мрачное преддверие, а не обитель света. Они требуют, экзаменуют, мудрствуют и посему исключают себя от мира, отрицаемого, избегаемого, не прощаемого. Секта — ухищрение, вымысел, изворот, тонкость, а мы — простецы. О, простота сердца! О, вера нелукаво-мудрствующая! Сколь ты драгоценна и приятна пред Богом и спасительна человеку!

Он говорил с волнением, в голосе как-будто задрожали слезы... И, вдруг, внезапным, порывистым движением, сполз со скамьи и не стал — бухнул на колена пред Викторией Павловной, простирая к ней длинные, трепещущие руки в широких, веющих рукавах.

— Сестра моя! Сестра моя! — воскликнул он страстным и, в то же время, бормочущим, точно душило его, молящим лаем, — горемычная, несчастная, прекрасная сестра моя! жемчужина, Богом в прославление свое со-

зданная для солнца и света и дьяволом похищенная в мрак и грязь! Заклинаю тебя Христом-Спасом, Богом живым: найди ты себя! Обрети в сердце покорность и простоту! Слейся с нами в простой и святой нашей вере... О, сколько исходил я за тобою в пустыне мира, яко огорченный пастырь за утерянную овцу, без коей не полно стадо мое! О, какая радость пастыря, обретши, возложить утраченную ягницу на рамена и возвратить в дом Отчий!

— Но зачем я вам? зачем? — вырвалось у Виктории Павловны, тоже взволнованной, даже беззащитным каким-то криком, потому что она чувствовала, что пламенный натиск Экзакустодиана заражает ее сочувствием — подчиняет — влечет... — Почему вы и ваши окружили меня магнитным кольцом каким-то и тянете к себе, тянете, тянете, — точно неподатливое железо? Что я вам? Чем могу быть полезна в рядах ваших, если бы даже и обрела в себе эту простую веру вашу, о которой вы говорите так красноречиво... и, кажется, искренно?.. Кстати — о вашей искренности. В числе своих доброжелателей вы може-

те считать здешнего кафедрального протоиерея, отца Маврикия, — вот того самого, у которого, как вы попрекнули меня, я бываю «по обыкновению», и от которого сегодня я вышла на это свидание с вами. Вы о нем какого мнения? Он большой мой друг, а к вам питает серьезное любопытство и все пророчит, что, если мне суждено найти веру, то именно вы обратите меня... И вот он-то уверяет, будто искренности в вас так много, что вы даже не в состоянии искусно притвориться иным, чем вы в ту или другую минуту себя, в самом деле, чувствуете. Вериги носить — искренни, пьянствовать — искренни, поститься до пророческих экстазов — искренни, подростков растлевать — искренни. И даже не можете смешать этих моментов вместе: таким полным захватом каждый из них берет вас...

Экзакустодиан, медленно поднявшийся с колен, отряхивал рукою с рясы приставший сор и молчал...

— Отца Маврикия знаю, — сказал он наконец. — Старец мудрый и учительный, приемлющий истину и терпимый к исправлению ошибок. Не случилось мне беседовать с ним,

но наши его знают и одобряют. Мог бы совсем быть нашим, если бы не две беды: первая — слишком учен, тесно ему в простоте веры, а другая — из первой родится: чрез большое рассуждение, нет в нем вдохновения... Велик в нем дух Фомы, истину приемлющий, но чающий для нее доказательств в средствах человеческих. И — поскольку Фома апостол Господень, постольку и отец Маврикий полезен Церкви, которой служит, яко истинный и несокрушимый столп ее. Но никогда не было и не будет того, чтобы Дух огненным языком спустился на главу его и зажег его своим вдохновением. Ибо Дух отвращается от анализа, а Маврикий — весь целиком — аналитик. Вся его вера от знания, а не от вдохновения и откровения. И, как ни мудр, сколько ни учен сей Маврикий, сколь — скажу с дерзновением — ни близок он прекрасною жизнью своею почти что к святости, но, в нашем обществе, любая баба стоит выше его на лестнице спасения, поелику ее вера — от Духа, а его — от себя самого, от логической работы человеческого разума. Дух неизменен и вера, им внушаемая, такова же. Веру по Духу нель-

зя утратить — разве что затемнится она иногда на краткий срок по демонскому обольщению. Да и то, слыхала ли ты: и бесы веруют — веруют и трепещут... А тем паче ими затемненные... Вера же, обоснованная логическим доказательством, прочна лишь до тех пор, пока живут и действуют законы логики... А кто сказал, что они непременны и вечны?..

— Как вы, однако, друг друга хорошо понимаете и верно определяете! — невольно вырвалось у Виктории Павловны.

Экзакустодиан остановил ее движением руки и продолжал:

— И, по всему тому, мудрый и проницательный Маврикий часто бывает слеп там, где мы, простецы, видим явственно и без сомнений... Обратить!.. Что тебя обращать? Ты давно обращена... Тебя лишь привести в церковь надо, а обращена ты давно...

Он произнес эти слова спокойным, уверенным голосом, как нечто несомненное, твердо известное, не требующее доказательств. И именно этот его тон — несокрушимой уверенности — ударил Викторину Павловну в глубину сердца неожиданно острым толчком, от

которого оно сперва сжалось, а потом, расправившись, бешено забилося — и голова вспыхнула от хлынувшей в нее крови, а спина, руки, ноги сразу заглодели, как лед... Ей — вдруг — впервые за все это время — сделалось ясно, до жуткости прозрачно и ясно, что Экзакустодиан говорит правду — прочел в ней — угадал то, чего она сама о себе еще не знала...

А он, близко придвинувшись, скорее шептал угрожающе, чем говорил:

— Попробуй сказать, что ты не веруешь... ну-ка, возьми на себя дерзость... скажи!

Она молчала. Буря волнующей мысли крутила ее, растерянную и возмущенную, — и хотелось бороться, отречься, протестовать, а язык не поворачивался и чувство, откуда-то со дна сознания, шептало:

— Молчи...не спорь... солжешь!

А он говорил:

— То-то, вот и есть... Ты честная... Ты удивительно какая честная, Виктория!.. Ты думаешь: я не знаю жизни твоей? Всю, с самой ранней твоей юности, могу рассказать тебе из года в год... И истинно, на основании именно всей жизни твоей, говорю тебе: честная ты!..

И, когда я вопрошаю тебя именем Божиим, ты ли солжешь?

— Полно вам, — нашла она в себе, наконец, слабое слово возражения. — Какая уж там честность! Если вы, в самом деле, несколько знакомы с моим прошлым, то должны знать, что, напротив, я только то и делала в жизни, что людей собою обманывала... Каждый день был комедия — обман и ложь!..

— И страдание за них, — спокойно остановил Экзакустодиан. — Великое страдание, которое несла ты, добровольцею, за ложь, ворвавшуюся в жизнь твою и не свойственную твоей прекрасной природе. Великое страдание стыдной утайки, которое ты возложила на себя не ради своей пользы и чести, не из боязни суда человеческого, но, в дружеском подвиге, ради ближних своих... Не унывай, Виктория! не отчаивайся, сестра! Много любившей много и простится...

— Слыхала это я, — горько усмехнулась Виктория Павловна. — А, вот, не знаю, слыхали ли вы, что один великий русский писатель и сердцеведец сказал однажды, что, если бы

Христос предвидел, как станут злоупотреблять этими словами, то никогда бы их не произнес?

— Знаю, — холодно отозвался Экзакустодиан. — Достоевский сказал. От беса сказал. Несмысленное кощунство.

— Да? Смелый же вы критик!.. Ну, а, все-таки, не находите ли вы, о, вдохновенный человек, о, прозорливец, читающий тайное прошлое, как открытую книгу, что, в сопоставлении, например, с моей плачевной биографией, это святое обетование обращается, действительно, в двусмысленный каламбур?..

Он резко оборвал:

— Гони от себя дьявола, смущающего тебя подобными мыслями! Празднословие и кощунство! Гони!

— Не могу, — глухо возразила она, с неожиданною искренностью, — дьявол этот слишком долго живет во мне... Если выкинуть из счета только самое раннее детство, то сдается мне: всю-то жизнь, как есть, всю жизнь простоял он, мучитель, рядом со мною...

Экзакустодиан опять прервал сухо, сурово:

— Даже во плоти.

Виктория Павловна, озадаченная странным тоном Экзакустодиана, подняла на него темные, пристальные глаза, недоумевая. А он повторил настойчиво, с напором:

— Да. Даже во плоти. Что? Не догадалась? То-то, вот, слепота ваша, не просвещенных откровением вдохновенной веры! В телескопы жителей планет наблюдаете, в микроскопы изучаете, как микроб микроба жрет, а беса своего не видите, сети его на себе не замечаете..

И, сурово нахмурясь, пониженным, грубым голосом, опять почти зашептал, иногда срываясь в так свойственный ему, взволнованный лай:

— Помнишь ли ты, как встретились мы с тобою впервые в Олегове? как зимою, на снегу, под нагими древами вечеряющего бульвара, издевалась ты надо мною и, не верующая, презрительная, требовала знамения, что однажды Бог приведет тебя ко мне?

— Слишком помню... — горьким звуком откликнулась она.

Он настаивал:

— Что же — получила ты тогда обещанное знамение? а? получила?

Она тяжело мотнула головою:

— Не знаю.

— Нет, не «не знаешь», — пылко поправил он, — но боишься сознаться... В ту же ночь был взят от тебя демон-губитель твой, воплощенный в сатанинской бабнице, которая некогда продала отрочество твое на растление блуда... Что ты дрожишь? Думала, — первый погубитель твой, купец Паробков, помер в одночасье, так никто и не знает? Нет, сестра, — нет такой человеческой тайны, которую Господь рано или поздно не обличил бы в явность, когда восхощет Он призвать к Себе заблудшее творение свое... И не смотри на меня такими глазами, как будто я явил пред тобою чудо. Чудеса будут — ты много чудес увидишь и испытаешь на себе, но здесь еще нет никакого чуда. А, просто, Авдотья Никифорова Колымагина, в девичестве Саламаткина — покойному Парубкову родная племянница, младшей сестры его, Александры, дочь. В своей ранней юности она так же была жертвою его сластолюбия, а впоследствии, хотя и вы-

дал он ее за Колымагина, своего приказчика и впоследствии компаньона, осталось между ним и Евдокией своеобразное приятельство, в котором он от нее ни в чем не таился. Была поверенною всех его бесовских дел и блудных утех, покуда не осиял ее Господь прозрением в ужас порочной жизни своей и не призвал из греха к покаянию...

— Не знаю, — дрожащим голосом и чувствуя себя всю заолодевшею откликнулась Виктория Павловна, — не знаю я, отец Экзакустодиан, увижу ли другие чудеса, но должна сознаться: поразили вы меня... Да, вы правы: с этою тайною моею печальной юности я давно перестала считаться... Уверена была, что все, прикосновенные к ней, уже легли в землю и позор мой унесли в нее с собою...

— Не бойся, — прервал Экзакустодиан, — позор твой нам не нужен и никто не думает употребить секрет твой тебе во зло... Ты видела: он двадцать лет спал, как в могиле... Если я разбудил его, то лишь для того, чтобы дать тебе свидетельство, что не обманываю тебя, когда говорю, что знаю о тебе все — от великого до малого — все!..

Виктория Павловна, потрясенная молчала, чувствуя, будто на мозг ее, внутри черепа, легла какая-то железная сетка, обессилившая оробелый ум, не позволяющая недоумелой мысли вылиться в слово и вырваться на волю, будто птице, запертой в клетку, будто страннику, внезапно схваченному и брошенному в тюрьму...

Экзакустодиан продолжал, победоносный, внушительный:

— Одну дьявольскую посланницу — ко-рыстную тетку свою — ты умела понять и от-странить от себя. Но она была лишь слабей-шею силою в наслании, которым ополчился на тебя ад. Но другая — молчи! не называй ее проклятого имени, потому что оно приносит тебе несчастье! — другая подчинила тебя се-бе, как рабствующую ученицу, сделалась для тебя идолом-оракулом, из которого глаголал к тебе развращающий бес. Научила тебя сладо-страстию и лжи, отравила тебя мечтами себя-любия неукротимого, жаждою наслаждений надменных, глумливых и презрительных, хитроумием обманов, разбивших цельность жизни твоей в призрачную двойственность.

Лестью приковала к земле дух твой, предназначенный Господом для возвышеннейших устремлений в святейшие круги небес, поработила чистоту мыслей твоих телу, гордому, самоуверенному в победной красоте своей, грубому, сотворшему себя кумиром себе и людям, позабывшему, что оно — земля есть и в землю возвратится... О, сестра моя, драгоценное перло из ризы Господней! Если бы знала ты, как ужасна и безобразна была ты, в дивной красоте своей, тогда — зимою — на обмерзлой скамье снежного бульвара! Как нестерпимо тянуло от тебя сатанинским духом! Как живо виделся мне и чувствовался бродящий вокруг тебя и отенетяющий тебя бес!.. Но неисповедимы суды Господни и неизреченны милости его к избранным своим. Подобно бдительному пастырю, стерегущему стадо свое, не щадит Он смрадной крови волчьей... Приспел час гнева Его — и пролилась она, отверженная, в позоре и сраме! И, хотя ты не сразу сознала, но для тебя эта кровь — ради тебя пролитая — была таинственным крещением в новую жизнь...

— Я не отрицаю, — отозвалась Виктория

Павловна, с угрюмым содроганием, невольно обращал взоры к темному пятну мигавшему тусклыми искорками, огоньками поповки, кладбища: к обители мертвых, чтобы вообразить мертвую... — Что же? Я готова признать: совпадение было удивительное и им действительно определился известный перелом в моей жизни и... пожалуй, в мировоззрении... Только уж не слишком ли много чести вы делаете бедной покойнице и не преувеличиваете ли ее значения? Женщина она, конечно, была жестокая, циническая, развращенная. Не спорю, что ее влияние на меня было скверное, и поддавалась я ему гораздо больше и легче, чем следовало бы. Но — все-таки — за что же ее так уж прямо в живые дьяволы-то? Пожалейте!.. И кстати, раз уже зашла о ней речь. Замечали ли вы, отец Экзакустодиан, странную игру случая, что моя покойница Арина Федотовна, которая, по вашим словам, была бесом во плоти, и ваша боговдохновенная Авдотья Никифоровна Колымагина поразительно схожи между собою лицом и фигурой? Когда я впервые познакомилась с Авдотьей Никифоровной, то даже смутилась, по-

чти испугалась: совсем будто Арина встала из гроба, — только, что оделась в монашеское платье... Ну — прямо — как две родные сестры!

— Да они и суть сестры по плоти, — равнодушно подтвердил Экзакустодиан. — Одного семени плод, одного отца дочери...

Виктория Павловна уставила на него большие глаза:

— Как это?..

— Да, обыкновенно, как... Только одна в законе, а другая вне закона, приبلудная...

— Отец Экзакустодиан! Вы, кажется, поклялись ошеломлять меня новостями? Я никогда ничего подобного не слыхала...

— Откуда же было тебе слышать, если, по всей вероятности, и сама покойная дьяволица твоя о том не знала? Купеческие семьи умеют беречь себя от марали. Александра Паробкова держала язык за зубами крепко.

— Но помилуйте: я же помню я отца Арины, Федота Степановича... приходил иногда к нам в Правому — навестить дочь... Он совсем не так давно умер, лет десять, двенадцать не больше... Такой был смирный-смирный, се-

дой-седой, тихий, согбенный старичок... жил, помнится, не то в богадельне, не то сторожем при каком-то монастыре...

— Стал смиренный, как Бог смирил, — усмехнулся Экзакустодиан, — а смолоду тоже был дьяволов слуга, мало чем лучше своего отродья... Промышлял извозом и был первый разбойник во всей ямщине... Железной-то дороги тогда у вас в губернии не было, так ямщики загребали большие деньги, жили барами... Но малыми казались ему честные, хотя и щедрые, доходы. Увлекаемый корыстью, связался с конокрадами, долго злодействовал вместе с ними, как укрыватель похищенных лошадей. Но — однажды уличен был крестьянами, схвачен ими, избит до чахотки, и только чудом не замучен на смерть... Чай, сама знаешь, что из рук мужицкого самосуда живыми не уходят. Но, должно быть, хорошо он помолился в свой предсмертный час: пожалел его Господь, дал ему срок к покаянию, нанес на место расправы станového, который отнял его, полумертвого, у крестьян... Судили. Присяжные из жалости оправдали, потому что сидел на скамье подсудимых живым мертвецом, —

все равно, мол на сем свете не жилец, завтра покойник. А он оказался живуч: отлежался, отдышался, еще лет тридцать промаячил на свете... Вот откуда и с каких пор смирение-то его. А раньше, — Господи Боже мой! как послушать стариков, — чем только изверг сей не был перед людьми виноват? каким только грехом не гневил Господа?

— И вот, изволишь ли видеть, в то-то его первое, старое, грешное время, и приключилась эта история. Когда старуха Парубкова, мать твоего погубителя, смертно заболела, отвезли ее из вашего уездного города в Рюриков, к докторам. Старшие дети все были при ней, а дома, для хозяйства, оставалась младшая дочь, Александра, юница, не вступившая даже осемнадцати лет, но быстрая разумом и прекрасная собою. Однако, получив депешу, что матери очень худо, также и сия Александра поспешила в Рюриков, уповая еще принять от умирающей драгоценный дар родительского благословения. И столько торопилась, что даже не избрала себе верной провожатой или почтенного провожатого, но выехала в тот же час, как получила депешу, од-

на-одинешенька, везома́я сим диаволоугодным ямщиком Федотом. Сей же окаянный, прельстясь красотой девицы и беззащитным ее одиночеством, завез ее, под предлогом сокращения пути проселком, в безлюдную лесную десь и тамо, под угрозами смертными, учинил ей насилие и отнял у нее девство ее... К благополучию Александры, мать свою в Рюрикове она не только застала живою, но старуха, хотя и в едва сознательном состоянии, протянула еще более месяца. А за этот срок, старшие сестры, коим Александра принесла полное признание о всем, с нею бывшем, успели покрыть ее невольный грех, сочетав юницу супружеством с скромным служащим ихней парубковской фирмы, Никифором Саламаткиным... Вот, значит, какого происхождения и какой крови есть наша Авдотья Никифоровна... Злодей же Александры Парубковой, диаволоподобный ямщик Федот, оставшись в то время безнаказанным, вскоре также сочетался законным браком, избрав себе жену, во всем себе подобную, как злонравием, так и бесстыдством. Они имели достаточно детей, но надо полагать, что Господь,

милосердую о человечестве, не допустил размножения ехиднина рода: все примерли в младенчестве, кроме одной, возросшей на твое несчастье...

— Это мне известно, рассказывала покойница, — сказала Виктория Павловна, — но все остальное удивительно. Не то, что не знала и не подозревала, — даже случайно в мысли мои не запало бы предположение о таком романическом родстве... Как странно и издали-ца цепляются в нашем мире друг за друга люди и события! Но вы то, отец Экзакустодиан, совершенно уверены в том или тоже только предполагаете?

— Как же мне не быть уверенным, если было мне поведано самою Авдотьей Никифоровною и матерью ее, Александрою Саламаткиною, подтверждено в признании, подобным исповеди, на смертном одре?..

— Признаний на исповеди оглашать священник, кажется, не имеет права? — язвительно напомнила Виктория Павловна.

Экзакустодиан спокойно возразил:

— Я не священник, подобное исповеди не исповедь, и — если я говорю тебе что, то, зна-

чит, облечен на то правом. А тебе сие да по-
служит свидетельством, насколько мы тебя
считаем своею. Если мы знаем твои скрыт-
нейшие тайны и не разглашаем их, то, в от-
вет, и от тебя своих секретов не прячем и уве-
рены, что ты их тоже не будешь объявлять,
без надобности, людям посторонним и празд-
но любопытным...

Он умолк... Луна бежала, примеривая на
себя тучку за тучкой, как вуали... Тявкнул
кладбищенский колокол... В Бычке журча-
щею трелью полицейского свистка, точно
подводный городской, залился одинокий три-
тон... На слободе тягуче гнусавила гармоника
и заунывно дребезжащий тенор, высоко-вы-
соко, старательно выводил:

*Разлука ты, разлука,
Чужая сторона,
Никто нас но разлучит,—
Ни солнце, ни луна...*

— Скажите, отец Экзакустодиан, — тихо
начала Виктория Павловна, — а вас не пора-
жает это?

— Что?

— Из одного источника — две настолько

разные реки?

— Почему — разные? — задумчиво произнес он, размышляя. — По моему суждению, все люди равны и одинаковы, ни один не разнится от другого по существу, — более того, чем повелевает или попускает Господь. Реки-то, может быть, и одинаковые, но русла разные в к разным устьям привели... Я же говорил тебе: Авдотья Никифоровна тоже не сразу нашла путь праведный, тоже и в ней сидел бес буйственный и кипятил ее кровь бунтами грехов, тоже и она на веку своем вдоволь поклонялась и поработала врагу человеческого рода... Но однажды Господь призвал ее — и она умела услышать Его. Искала Его, в любви и покаянии, — и нашла. Но та, заложив перстами уши от зовов Божеских, умела слышать только зовы дьявольские. Ну, а дьявол — это, я тебе скажу, такой барин, которого и искать не надо: только лишь были бы мысли праздны и сердце пусто, — сам придет и займет. Всегда так — всюду — со всеми: кто Бога не ищет, того дьявол найдет... Тебя-то она теперь совсем покинула? совсем? — быстро, пытливо, заботливо спросил он.

— Что значит?.. Не понимаю вопроса.

— Не чувствуешь ты ее около себя? Никогда?

— Покойницу-то?! Я не духовидица и не спиритка.

— А в сны твои не врывается она тревогою и ночным страхом? не мучит их бешенством страстей? не сквернит глумлением и соблазном греховным?

— В сны?.. — Виктория Павловна задумалась, смутно вспоминая кошмары, душившие ее — однажды в вагоне, перед тем, как встретиться ей с Любовью Николаевною Смирною, и другой, от которого так странно пробудила ее в Рюрикове, в гостинице, Женя Лаббус...

— Угадали, — сказала она. — Арина, действительно, снится мне часто — и всегда нехорошо... в тяжелых кошмарах.

— Блудных? — коротко и деловито спросил Экзакустодиан привычным тоном духовника, слушающего признания исповедницы.

— Н-нет... Может быть, отчасти... косвенно... Но скорее... чаще... просто, противных...

— Ага!

— Невыносимо пугает и не столько — прямо — страхом, как отвращением... Кровь... смрад... разложение... брр!..

— Ага! ага! — твердил Экзакустодиан с удовольствием эксперта, верно попавшего в точку, потирая тощие руки и зловеще, как астролог, кивая остроконечную скуфейкою.

— И вы, пожалуй, правы: именно с оттенком какого-то сквернящего глумления... Хотел, от которого задыхаешься, который бьет по телу железным молотом и разбивает все нервы, так что начинаешь их чувствовать, точно подкожную проволочную сетку...

— Это дьявол, — убежденно остановил ее Экзакустодиан. — Верь мне. Это не простая сонная мечта — это дьявол. Если привидится вновь, спеши читать молитвы против бесов. «Да воскреснет Бог»... «Живый в помощи Вышнего»...

— Да я не помню их... — усмехнулась Виктория Павловна. — В детстве знала — давно забыла...

— Повтори! выучи!.. О, вы несчастные, образованные невежды! Как же возможно так? Вся жизнь наша есть сплошная война с дьяво-

лом, а вы на битву выходите без ружья и сабли!..

— Послушайте, отец Экзакустодиан, — начала Виктория Павловна после короткого молчания, — ну, хорошо, — я попробую стать на вашу точку зрения, — хорошо, Арина была воплощением дьявола, ко мне приставленного, и зато погибла ужасною смертью... Но, ведь, она же погибла не одна: убийца ее, злополучный мальчик этот, фанатик, ваш ученик, умер вместе с нею и столько же ужасно... Этот-то несчастный чем же был виноват?

— А почему он несчастный? — возразил Экзакустодиан равнодушно, почти небрежно. — Воин Христов истребил лютого змия, сам скончался от ран, удостоен от Главы воинства вечного нетленного венка: какое же тут несчастье? Разве мученики за веру несчастны? Смерть, любезная моя, сама по себе, ни счастье, ни несчастье, — все зависит от того, куда потом... Тимошенька, мой незабвенный, сладкий сынок, обрел в смерти блаженство несказанное: со ангелы сопричтен, лик Христов зрит, поет чистые хвалы неизреченному Свету... Его не жалеть — завидовать ему на-

до... А ведьма твоя — вон — и в могиле не нашла себе покоя. Земля только истлила гнусный прах ее, а она — ты сама свидетельница — носится над землею с отверженным князем силы воздушные и, уподобясь свирепейшим демонам его, тяжело мучимая сама, вымещает свои мучения на тебе: в ужасных привидениях, прилетает пугать, осмеивать и развращать отчаянием твою робкую юную веру... И вот мой совет тебе, сестра: если она опять явится тебя мучить, призови против нее святую память Тимошину. Ты увидишь: чудовище побежит тенью, распадется паром. Ибо воин Христов, истребивший ее из чувственного мира, страшен ей и в сверхчувственном. Молись, зови, и мученик не оставит без защиты бедную, робкую душу, прибегающую к нему с верою и упованием... Что ты так уставилась на меня большими глазами? Какое еще сомнение? Спрашивай: отвечу.

— Хорошо, спрошу, — медленно вымолвила Виктория Павловна — глубоким и твердым вызовом. — Спрошу... Скажите правду, отец Экзакустодиан: Тимоша ваш сам — по собственному разуму и умыслу — убил Арину

или это вы его послали?

Спрашивала и, полная внутренней дрожи, твердила про себя:

— Если он отречется или ответит увертками, я скажу ему, что он — действительно — шарлатан, встану, уйду и навсегда освобожусь от него, как от живого кошмара...

Но услышала спокойный ответ:

— Я послал.

Кровь живым пламенем заструилась в теле Виктории Павловны.

— Так я и думала! Так я всегда думала! — вскричала она.

А он продолжал:

— Я послал, хотя не знал, на что посылаю. Он пришел ко мне — просить благословения на дело, которое замыслил, не говоря — что... И я благословил.

— Только-то! — медленно выговорила Виктория Павловна, отодвигаясь с презрением. — Ну, это немного, отче Экзакустодиан!.. Этак именно вы и меня на Николаевском вокзале в Петербурге благословили на брак... а? помните?.. «благословен грядый во имя Господне»? Помните?..

— Мне ли не помнить? — отозвался Экзакустодиан с глубокою грустью в голосе, в померкших глазах, во всей поникшей фигуре, — мне ли не помнить минуты, которая — бессознательная — могла изменить весь путь моей жизни, и только чудо — вот когда было чудо — великое чудо! — только безграничная милость ко мне Господа — спасли меня... от тебя, Виктория! от тебя!.. Потому что — истинно говорю тебе: когда я увидел тебя на вокзале, схватил меня дьявол за уши и зашептал в них:

— Вот женщина, которую ты, единую, любишь, вот жена, которую ты ищешь, — подойди к ней со словами любви и, если она внемлет тебе и ответит, брось все и иди за нею!.. И я пошел... да, Виктория, пошел к тебе — с готовыми дьявольскими словами на устах... Но — о, Господь и Бог мой! о, чудесное Его милосердие к нам обоим!.. Когда я взглянул в очи твои, из них — неожиданная — смотрела на меня, вместо демонского соблазна, детская вера и — внезапно же: — прозвучала ко мне из обычно гордых и кощунственных уст твоих робкая детская просьба — благословить те-

бя именем Божиим... И дьявол, отогнанный чистотою твоего желания, отлетел от меня, яко дым, искушение растаяло воском пред лицом огня... Восторг Духа сошел на меня вещью силою — и, благословляя тебя, я чувствовал, как она сотрясает меня и струится на твою главу решающим жизнь твою, благодатным потоком.

Он ударил себя ладонью по колену и воскликнул— почти закричал с восторженным визгом:

— Но нет, Виктория! нет! Ошибаешься ты в том, будто я благословил тебя на брак в том же чувстве, как Тимошу — на казнь ведьмы, сладострастной и безбожной губительницы чистых душ. Я не знал, на что его благославляю, но — если бы и знал, благословил бы, без сомнений и колебаний. А если бы я знал, на что благословляю тебя, то, быть может, скорее язык себе откусил бы, чем произнести святыя слова, скорее руку себе отрубил бы, чем перекрестить тебя!.. Да! да! В том-то и таится чудо той нашей встречи, что — против воли моей и в неведении моем — Господь заставил меня, прилепившегося к тебе всем

сердцем, всеми помыслами, всем греховным пламенем плоти, — благословить тебя на шаг, коим ты навсегда от меня отлучалась. Спас меня от тебя, ибо сильно и страстно владел мною, через тебя, коварный враг, который, когда хочет обольстить пламенного раба Божия, умеет принять на себя вид даже ангела света... Давеча ты посмеялась надо мною, что я критерий потерял — от Бога ты мне или от дьявола... А я, сестра, от потери критерия этого — мало, что не сошел с ума. Ибо, когда человек великой цели набредает в пути своем на распутье, без единого указания, который путь истинный, который ложный, — люди, беззадачно существующие, даже вообразить не в состоянии, какими бурями сотрясается его обливающееся кровью сердце...

Он умолк, уставившись нервно и проворно моргающими глазами на желтый месяц. Потом заговорил медленно и важно:

— Ты женщина, уже начитанная в Писании. Помнишь ли ты, как царь и пророк Давид, смилив всех врагов Израиля и утвердив царство, задумал строить храм Господу, ибо — «вот я живу в доме кедровом, а ковчег

завета Господня под шатром!»... Но в ту же ночь было слово Божие к пророку Нафану: «Пойди и скажи рабу Моему Давиду: — так говорит Господь: не ты устроишь Мне дом для обитания...» Слышала? Не ты...

— Да, но не понимаю, какое отношение...

— погоди! Слушай дальше: «Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда Я восстановлю семья твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, — и милости моей не отниму от него. Я поставлю его в доме Моем и в царстве Моем на веки, и престол его будет тверд вечно». Слышала? *Не ты устроишь Мне дом, но один из сынов твоих*, которого царство я утвержу на веки...

— И, все-таки, отношения не вижу.

— А, между тем, — как ясно! — терпеливо объяснил Экзакустодиан. — От юности моя я, смиренный раб Божий, посвятил себя великой цели — восстановить в русских людях расшатанную и вянущую веру их, утвердить и распространить власть истинной Церкви.

Кто подобное строит — не храм ли строит? Но — увы! и я, как Давид, получил на свою долю только борьбу за веру — торжества же ее мне увидеть не суждено. Ибо — кто много боролся, тот, в борьбе, и много греха на себя принял. Руки его, хотя, бы чистейшему делу служившие, чрез борьбу, касаясь противников своих, не могли не загрязниться — и уже недостойны зиждить святая святых... И, вот, Виктория, однажды, когда я горевал и тосковал о недостойнстве своем даже до кровавых слез, бысть мне — не видение, сим не похваюсь, но как бы внезапное озарение:

— О, безумец! Почто сокрушаешься и плачешь? Начался ли ты вот этим собою на земле, собою ли кончишься? Не живет ли еще в существе твоём даже отдаленнейший твой предок? не остаешься ли ты жить в отдаленнейшем твоём потомке? И если ты сам не можешь дожить до предела, открывающего врата Славы Моей, — я восстановлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и поставлю его в доме Моем и в царстве Моем на веки.

— И тут, Виктория, понял я, что Господь

благословляет меня родить сына, великого пред лицом Его, зиждителя Церкви, большего, чем Соломон, святителя тайн, яко Мельхиседек, царя верующих, пророка пророчествующих... И, поняв, упал я пред Господом с молитвою: — Боже Святой, если Ты настолько милостив к рабу Твоему, укажи же мне и жену, достойную быть матерью сего сына... Но Господу угодно было испытать меня искушениями, и Он не ответил мне... Демон же губитель, посланный мне в плоть, слышал молитву мою и взъярился. И, насмехаясь надмною, окружил меня призраками и соблазнами, вовлек в обманы и падения — во все то, за что люди, не ведающие истины, попрекают меня развратом... И ты, в числе их, тоже попрекнула меня... и ты!..

— Да, покуда, и не чувствую себя виноватою, — холодно возразила Виктория Павловна. Теперь я вас понимаю: хотите основать — извините, если прозвучит грубо, — мастерскую для производства какого-то необыкновенного святого. На себя, как на производителя, надеетесь, а производительницу приискиваете... лично или через поклонниц и причет-

ниц ваших, вроде Авдотьи Никифоровны Колымагиной... Друг мой! Давеча я говорила вам, что мне тяжело видеть вас пошлым и себя недостойным. А неужели вы не замечаете, как то, что вы рассказали мне сейчас, именно пошло... пошло и смешно?..

— Смешно! — с горечью перебил Экзакстодиан, — когда кого дьявол мутит, тому все смешно... Я вон недавно в Питере у графини одной чай пил, книгу французскую видел: вся библия в смешном виде представлена... Только и делаете вы, образованные, дьяволом развращенные и порабощенные интеллигенты, что со смехом входите под своды храмов и смехом скверните живущие в них таинства... Потому они и безмолвны для вас... Нет откровения для глупцов, обращающих веру в комедию, верующих и, — о, ужас дерзновения! — самое Божество — в скоморохов...

— Так что, — продолжала Виктория Павловна, уже не смеясь, а сурово сдвинув вздрагивающие брови, — эта злополучная Серафима, которую видела я на Петербургской стороне, и прочие, о которых вы сами в том же сознаетесь, — все это — в некотором роде —

опыты?.. Неудачные опыты?

Экзакустодиан, понурый, утрюмо кивнул:
да, мол...

Виктория Павловна, злая, безжалостная, настаивала, чувствуя в себе великий — почти ревнивый — гнев:

— А смею осведомиться: чем именно определялась неудача?

Экзакустодиан глухо проворчал:

— Девчонок рожают.

На простоту этого исчерпывающего ответа Виктория Павловна не нашлась, что возразить... А Экзакустодиан поднял голову и произнес с большою твердостью:

— На тебя возлагал я великую надежду. С первого мгновения, как увидел я тебя в Олгове, заразила ты меня, захватила, повлекла. О, если бы ты знала, сколько раз я, незримый тобою, следил за тобою, на стогнах града, сквозь толпу человеческую, очами жадными и зовущими и мечтал: Вот она, наконец, вот она, моя избранная, моя голубица от Ливана, моя звезда утренняя, предрассветная, которой суждено вывести на небо — да воссияет мирови — мое перворожденное солнце!

— Утренняя! Предраассветная! — грустно засмеялась Виктория Павловна. — Как лестно и как несправедливо! Это он говорит женщине, считающей себе тридцать четвертый год! Уж хоть сказал бы: вечерняя и закатная...

— Да, ведь, это же — одна и та же! — быстро, и пылко перебил Экзакустодиан.

— Любезно сказано, — хоть бы и не семинаристу. Звезда одна, отче Экзакустодиан, да роли-то у нее разные. Утренняя, как вы изволите выражаться, выводит солнце на небо, а вечерница его с неба уводит, и наступает ночь: холод и мрак!.. Они уже глядят мне в глаза, отче, и, вообще, могу лишь удивляться, как это умудрило вас остановить свой выбор для такой возвышенной цели на подобном мне изношенном перестарке. Из истории и легенд известно, что для производства младенцев, которые должны воссиять миру солнцами, всегда избирались чистые девы, не ведающие греха и мирских соблазнов, едва вышедшие из отроческого возраста. Да, сколько могу судить по затворницам Петербургской стороны, ведь и вы раньше придерживались той же... системы? Серафима ваша — и сама

еще ребенок, а Маргарите, в которой она предвидит свою преемницу, исполнилось ли пятнадцать лет? Что хотите, но конкурировать в избранничестве с только что не малолетними мне не по возрасту и не по репутации... просто, юмористический анекдот!

— Соломона, — угрюмо возразил Экзакустодиан, — царь Давид родил от Вирсавии, грешной вдовы, которую он добыл в супружество через величайший из смертных грехов — коварством умертвив ее первого мужа... И не повелел ли Господь пророку Осии взять в жены блудницу Гомерь, дочь Дивлаимову? И родила ему Гомерь сына Изрееля, «град поражения», дочь Лорухаму, «непомилованную», сына Лоамми, что значит «не мой народ»...

— Да, вот, разве по силе этого лестного прецедента! — горько засмеялась Виктория Павловна.

Экзакустодиан смутился, но ничего не ответил.

— Слушайте, о, современный Осия! — продолжала она, — вы такой чудак, что мне как-то совсем не страшно и не стыдно предлагать

вам самые щекотливые допросы... Как ни странно ваше увлечение мною, я, кажется, разбираюсь теперь в его происхождении и развитии... Но вчера вы дали мне понять, что это «было — было да прошло»...

— Прошло, — утрумо подтверждающим звуком, не глядя на нее, следя глазами скупившиеся вокруг месяца облака, повторил Экзакустодиан.

Она подхватила с добродушной насмешкою:

— Так вот, поняв лестное начало нашего оригинального романа, хотелось бы мне постичь и его скоропостижный конец?

Экзакустодиан молчал, мрачный, с белыми лунными пятнами и резкими тенями на худом лице, сделавшимся похожим на те черно-белые рисунки-негативы, к которым, в святочных забавах, дети пристально приглядываются, чтобы потом на белой стене явился им призрак-позитив. Затем заговорил, избегая смотреть на собеседницу, но с достоинством и твердостью:

— Конец ли это, не знаю, ибо все еще боится тебя слабая плоть моя, яко лютейшего из

соблазнов. Но Господь не оставил меня своею милостью: образумил меня и положил непреходимый предел моему стремлению к тебе, — удостоил явить, всемудрый и многомилостивый, что ошибся я: ты не та — еще не та суженая моя, которой ожидаю и уповаю...

— Несомненная истина, — улыбнулась Виктория Павловна. — Но как вы дошли до нее? что именно вам глаза на меня открыло?

Экзакустодиан отвел глаза от месяца и весь пощурился.

— То, что ты замуж вышла, — объяснил он просто и грустно.

И, видя, что Виктория Павловна смотрит на него с не совсем понимающим удивлением, быстро придвинулся, теперь сверкая глазами прямо ей в лицо, горящий болью и негодованием:

— Как же ты не понимаешь? Если бы Господь уготовал в тебе свою избранницу для меня, неужели Он допустил бы, чтобы я сам, своими руками, отдал тебя — благословил святым именем Его в супружество другому мужу?

Виктория Павловна отвернулась, не вы-

держав пламенного взгляда его, и, бледная, с закушенной губою, возразила:

— Об этом судить не умею и не берусь. Но, отче Экзакустодиан, вы ужасно мною говорите о моем браке и придаете ему непомерно большое значение... А, между тем, вы, который так много знаете обо мне, как же вы того-то не знаете, что брак мой — фиктивный?

Он усмехнулся с досадою, с презрением:

— Что это — фиктивный брак? Не знаю такого... не бывает...

И — в усмешке и голосе его зажглась ненависть, когда он, не дав ей возразить, продолжал едко, чеканно:

— Все-то вы комедии строите, комедии и маскарады, — вы, интеллигенты, образованные... С кем, дурачки? с кем? С Богом, всемогущим владыкою земли и тверди! Ах, вы, несчастные! Господа всеведущего обмануть и провести воображаете, Церковь зовете в союзницы ваших плутней!.. Ну, и что же? Удалась тебе плутня твоя? а? Обманула ты Бога? а? Вступила Церковь с тобою в компанию, чтобы произвести подлог брачный?..

И, опять не дав ей, потупленной, ответить,

наклонился к уху ее и злобно зашептал:

— Фиктивный муж? — да? Одно звание да бумаги, а брака нет? да? А в Труворове что было? а? Несчастливая! Да — хочешь ли, я назову тебе день и час, когда он — фиктивный-то муж твой — впервые спал с тобою? Каждый шаг твой там мне известен, каждая ночь сочтена..

Виктория Павловна, испуганная, резко отодвинулась от него, порывисто встала... Поднялся и он...

— Я не ожидала, что за мною шпионят так внимательно... — произнесла она, растерянная, дрожа голосом, задыхаясь, чувствуя, что новая неожиданность выбила ее из колеи, и изумление лишает ее обладания собою. — Но, если так, то вы должны знать и то, что это вышло случаем... только непроизвольным, диким, болезненным случаем, которого я стыжусь, который проклиная...

— Знаю, — властно остановил ее Экзакустодиан: поскольку она растерялась, постольку он чувствовал, что забирает силу и овладевает ее смущенным воображением. — Все знаю, бедная сестра моя! И — как приходил

художник, чаявший пробудить в тебе бурные страсти для себя, но ожививший их для другого... Как ты боролась с ним и самою собою, как победила соблазн и прогнала его... все известно мне, Виктория! И — подивись же теперь и умились милосердию Божию о тебе: на самом краю адской пропасти стояла ты — на границе непрощаемого греха, которым дьявол соблазнял тебя совершенно надругаться над принятым тобою таинством... И что же? Не чудесно ли Господь обратил зло в благо? Не очистил ли он скверну уже готового свершиться греха, обратив его в исполнение закона? Не нашла ли ты там, где искал поглотить тебя блуд, мирного и невозбранного супружеского объятия, за которое не в праве осудить тебя ни Бог, ни люди, ни ты сама, ибо...

— Только не я сама! — истерически вскрикнула Виктория Павловна, отталкивая его слова, как вещи, в воздухе, сжатыми вместе руками. — Мою совесть оставьте в покое! Ах, вы, всеведущий угадчик! да как же вы не понимаете, что именно вот этого законного греха моего я стыжусь и ненавижу больше всех, которые ранее свершила в жизни мо-

ей — порочной и темной? И стыд и срам свой полагаю здесь именно в том, что, по обществу, грех мой был самым жалким и грязным блудом, а две бумажки, полученные из церкви и участка, превратили его в защищенную со всех сторон семейную добродетель...

Экзакустодиан остановил ее слабым движением руки, почти пренебрежительным.

— Виктория! Прекрати! Ты не скажешь мне ничего нового...

— Да и вы мне тоже! — гневно вспыхнула она. — Все вы, почтенные господа в рясах, поете одну и ту же песню... изучила уж я ваши поповские софизмы! Довольно!.. Сама умею силлогизмами-то играть...

— В силлогизмах ли дело? — возразил все более и более спокойный и самоуверенный Экзакустодиан. — Позволь ответить тебе притчею. Некий ученый профессор доказывал перед аудиторией своей невозможность делать золото алхимическим путем. И, так как был он человек ученый и мудрый, то доказательство его было блистательно, логическое построение безупречно, и никто не дерзал ему возражать, подавленный силою его

силлогизмов. Но между слушателями был некто из числа братьев Розового Креста. Он попросил позволения произвести опыт. Принесена была жаровня, расплавлен свинец, алхимик бросил в него щепотку таинственной эссенции, — и в тигле оказался, вместо свинца, слиток золота, который алхимик и поднес изумленному профессору, со словами — *Domina, solve mi hunc syllogismum!*.. Господин профессор, разрешите мне вот этот силлогизм...

Виктория Павловна пожала плечами:

— Мораль?

— Та, что мне не зачем тратить доказательства там, где факт говорит за себя... Как ты ни хитрила, как ты не увертывалась, но Церковь не дала себя обмануть — и ты уже не по бумажкам жена господина Пшенки, а по плоти, как велит закон Божеский и человеческий... *Domina, solve mi hunc syllogismum.*

— Разрешу, отец Экзакустодиан, — сдержанно, хотя все нервы в ней трепетали, — возразила Виктория Павловна. — Буду счастливее вашего профессора, разрешу скоро и просто. На днях мы с Феничкой уезжаем на-

всегда, или, по крайней мере, очень надолго за границу. Там от фиктивного брака моего — этого всемогущего таинства, которым все вы, ваши преподобия, стараетесь меня запугать, — останется только зеленая книжка заграничного паспорта на имя Виктории Пшенки... Вот вам! И тогда я в свою очередь попрошу вас: разрешите-ка вы мне мой силлогизм!..

— Никуда ты не уедешь, — холодно сказал Экзакустодиан.

— Да? — гневно рассмеялась Виктория Павловна, — вот это мило!.. Для прошлого и настоящего вы пророк недурный, но будущее угадываете плохо.

— Никуда ты не уедешь, — еще тверже повторил он. — Прошло время твоих своевольных разъездов.

— Мне не у кого спрашиваться, — надменно возразила она. — Я та же, как была, и свобода моя все та же. Кто может не пустить меня?

Экзакустодиан окинул ее странным, приглядывающимся взглядом.

— Как — кто? Муж.

Виктория Павловна ответила новым смехом:

— Нет, вы сегодня решительно не в ударе пророчествовать! Во-первых, я совершенно ограждена от его власти надо мною и дочерью. А, во-вторых, он и претензий подобных не имеет. Напротив, сам же хлопочет по устройству нашего отъезда. По существу, он у меня совсем недурной и очень добрый человек...

Экзакустодиан слушал, с слабою презрительною улыбкою, как взрослые принимают лепет умничающего ребенка, и, вдруг подняв руку, — с притворным и обидным добродушием, — потрепал Викторцию Павловну по плечу:

— Полно, полно! — сказал он, — куда и как можешь уехать ты, благословенная мною на брак, от законного мужа и семьи зиждимой? Ты — уже супруга и вскоре мать?

— Ну, уж извините, от этого-то Бог милывал! — еще ярче и гневнее рассмеялась Виктория Павловна.

А Экзакустодиан подхватил, ловя ее на слове:

— Именно! Вот это чистую правду ты ска-

зала: именно миловал тебя до сего времени Господь... Не позволял тебе зачинать в сраме беззакония и окружаться, на посмешище людям, порождениями греховной похоти. Но с тех пор, как даны тебе честный брак и нескверное ложе, зачем бы оставил Он затворенным чрево твое? Церковью освященное деторождение — не стыд, но гордость и слава в глазах человеческих...

— Ну, на этот счет позвольте мне остаться при особом мнении... А от исполнения вашего предсказания я, к счастью, защищена физической невозможностью.

Экзакустодиан — с видом презрительного снисхождения — только пожал плечами.

— Что значит физическая невозможность там, где Господь восхощет явить свою благодать и силу? И узкогорлый кит, питающийся инфузориями, по велению Божию, поглотил пророка Иону. Четверодневный и уже смердящий мертвец Лазарь вышел из гроба живым и здоровым... Где веет Дух Божий, безмолвно раболепствует материя и немотствуют физические законы... Помешал ли физический закон девяностолетней Сарре родить Исаака от

столетнего Авраама? И великий богатырь Самсон, судия Израилев, не нарушил ли физических законов, родясь от жены неплодной и не рождавшей? И не заключенное ли Господом чрево Анны, жены Елкановой, отверзлось, по молитве первосвященника Илии, дабы дать жизнь пророку Самуилу?.. Истинно, истинно говорю тебе, женщина: ты уже посещена милостию Божией и имеешь во чреве. Пройдут лето и осень, и — се вместе с снегом и зимними холодами, придет к тебе новорожденное дитя...

— Даже сроки пророчествуете?

— Это не трудно, — холодно возразил он, — ныне май, в Труворове ты прожила февраль, значить, рожать будешь в декабре.

— Нет! — вскрикнула она, срываясь со скамьи, вся охваченная внезапною тоскою и испугом.

Он тоже встал и, упрямо сдвинув брови над зелеными, при луне, искрами глаз, стиснув зубы, стиснув руки, произнес с силою совершенного убеждения:

— Да.

— Нет!

— Да.

— Это невозможно!.. Поймите же: это, просто, смешно, что вы уверяете... Это невозможно!

— Это будет.

— Нет! Если бы было хоть что-нибудь похожее, неужели же я сама не угадала бы? Я не шестнадцатилетняя институтка, чтобы не знать признаков беременности. За кого вы меня принимаете, отец Экзакустодиан?

— За женщину, которая так уверила себя, что ее воля сильнее Господней, что — чудо свершается над нею, а она не замечает, не видит, не хочет видеть...

Он приблизился к ней, нагнулся так близко, что, говоря, обдавал ее своим дыханием, и, со сверкающими зелеными глазами, тряся бородою, которая в ярком лунном свете, позолотилась, выдавая свой рыжий цвет, зашептал:

— Признаки? А у кого каждое утро начинается головокружением? Кто, по ночам, зябнет в теплой комнате и кутается в три одеяла? Кто, две недели тому назад, вообразил, что заболевает холерою? Кому вчера дважды было дурно, почти до обморока, сперва в Христофо-

ровке, потом у себя в гостинице? Кто каждый день покупает в аптеке лепешки против тошноты и изжоги?

С каждым вопросом он наступал на Викторю Павловну, гневный, выбеленный луной, и, если бы она хоть сколько-нибудь думала о нем в эту минуту, то заметила бы, что длинное и еще вытянутое бороною лицо его, сразу потерявшего всякое самообладание, коверкают судороги бешеной скорби, которая, без слов, кричит о неистовстве потерянной надежды, о бездонном ревнивом отчаянии... Но Виктория Павловна была слишком поглощена испугом пред тем, что он говорил ей, чтобы обратить внимание на то, как он говорил. И, под яростным натиском его вопросов, она только инстинктивно пятилась, выставляя вперед отталкивающие руки, и отшептывалась едва шевелящимися губами:

— Откуда вы знаете? Кто вам мог сказать?

Потому что каждый вопрос Экзакустодиа-на говорил о ней правду и, соединяя все эти маленькие правды вместе, она, вдруг, с необычайною ясностью и четкостью, сообразила и приняла также общую грозную прав-

ду, которую возвестил ей этот, похожий на черное привидение, друг-враг.

Так, он — наступающий, она — отступающая, дважды окружили они площадку, внутри скамей, покуда Виктория Павловна не притиснулась спиною к столбику, для давно несуществующего фонаря, которым начинались перильца лесенки, сбегавшей к Большому Бычку... И, нащупав ногою край примыкавшей скамьи, опустилась на нее, задыхаясь, водила безумными глазами с Экзакусто-диана на месяц, с месяца на кладбище, обира-лась судорожными руками по всей себе, с шляпы до колен, будто ловила на себе что-то невидимое, и — уже сама себе не веря, хотя еще самое себя уверяя, пытаюсь уверить, — твердила-лепетала:

— Это невозможно... невозможно, говорю я вам... Но, если это так... если так... Нет! нет! нет! невозможно! невозможно! невозможно!

VI.

«Аннушкино дело», по которому Петр Дмитриевич Синев приглашал на зав-

тра Викторию Павловну свидетельницей, рисовалось в городских представлениях, после двухлетней следственной волокиты, в такой обстановке и последовательности раскрывшихся покуда фактов.

Дом нотариуса Туесова по Спасопреображенской улице был небольшой, одноэтажный особняк, с семью окнами по уличному фасаду, с тремя выходами — одним на улицу и двумя во двор, отделенный от улицы каменным забором, с врезанными в него солидными воротами. Днем они стояли, открытые настежь, и во двор свободно въезжали к парадному крыльцу экипажи посетителей, принадлежавших к числу более или менее близких знакомых Туесова. Чужаков дворник, всегда сидевший у ворот, направлял к подъезду с улицы. К сумеркам ворота запирались, но в них оставалась калитка, устроенная с такою щеколдою, которая из двора на улицу давала свободный выход, но с улицы во двор войти не позволяла; надо было либо иметь ключ, либо звонить. Калиткою этою, по вечерам, пользовалась преимущественно прислуга и иногда, возвращаясь из гостей, Аннушка.

Иван Иванович, если засиживался поздно в Соединенном клубе, который он посещал почти ежедневно, а раз в две недели, по званию старшины, даже дежурил всю ночь, предпочитал возвращаться парадным подъездом с улицы, для чего имел свой особый ключ. Слева к дому примыкал рощеподобный сад, обнесенный деревянным забором с многочисленными в нем гвоздями. Забор тянулся по Спао-опреображенской улице до ее пересечения с Большим Гренадерским переулком, по которому в Рюрикове расположены кадетский корпус, военный госпиталь и частная психиатрическая лечебница: все здания, углубленные в большие сады, что превращает этот переулок в две параллельные линии опять-таки бесконечных заборов. Днем эти места довольно оживлены движением, ночью пустынно и мертвенны, за исключением тех случаев, — довольно, впрочем, нередких, когда у Ивана Ивановича Туесова засиживались поздние гости. Тогда сквозивший на улицу в ставни на окнах свет приманивал ночных извозчиков, — дремать, вытянувшись гусем вдоль садового забора в ожидании возможных сего-

ков. В сад из дома тоже были окна — счетом пять, но в зимнее время они не освобождались от ставень с болтами, а одно даже было заколочено, так как приходилось на спальню — большую угловую комнату, которую Иван Иванович находил несколько холодной, именно из-за обилия в ней окон. Остальные смотрели в сад из нежилых помещений.

И вот, в одно плачевное зимнее утро, уже на белом рассвете, некто Иван Евграфович Сизов, почтенный лавочник и богатый домовладелец Спасопреображенской улицы, случайный сосед нотариуса Туесова, пробудившись от сна, подошел к окну взглянуть на термометр — какова температура после вчерашней оттепели. Термометр показал легкий мороз в восемь градусов, а окно второго этажа, к которому он был прикреплен, показало Сизову нечто гораздо более необыкновенное. Надо сказать, что внутренность Туесовского сада открывалась из сизовских окон, как на ладони. Сизов ее при каждом взгляде в ту сторону, даже не хотя, видел. И так к ней пригляделся, что давно уже не обращал никакого внимания на этот всегда неизменный снеж-

ный пустырь с деревьями в лохматом серебре. Но сейчас он весьма удивился, так как заметил, что в одном из, всегда слепых, садовых окон сегодня приоткрыты ставни и опущены болты. Вообще, странно, и тем более — в такую-то неурочную рань. Приглядываясь, Сизов убедился, что мало того: окно лишено стекол... Он сразу осенился догадкой, что дело недоброе: у Туесова похозяйничали ночью лихие люди... Человек энергичный и неробкого десятка, Сизов быстро оделся: побежал к соседу, стал звонить и стучать, а не дозвонившись и не достучавшись, окончательно пришел к убеждению, что тут нечисто, и сию же минуту дал знать по телефону на ближайший полицейский пост.

Явилась полиция. Зазвонила в парадный подъезд с улицы: не отпирают. Зазвонила у калитки в воротах: не отпирают. Глубокое безмолвие, будто в доме все вымерли. Добыли лестницу, перебрались во двор через каменный забор. Здесь сразу стало ясно, что в доме совершено преступление. Снег, выпавший за ночь после вчерашней оттепели, где рыжел, где розовел каплями крови, рассеянными от

дворового парадного крыльца по направлению к калитке, а дворовое парадное крыльцо стояло зловеще распахнутым настезь. Полиция сейчас же вошла в дом.

Он распадался, по расположению покоев, на четыре части, объединенные большими холодными сенями, в которые вход давало дворовое парадное крыльцо. Из сеней вели двери — первая направо в контору нотариуса и вторая, дальше по той же стене в его жилое помещение. Почти насупротив ее слева, третья дверь вела в людскую и кухню. Четвертая на промежуточной стене, против входа с крыльца, в нежилые помещения, разбитые перегородками: хозяйственную кладовку, комнату архива, два чулана, два отхожих места: господский ватер-клозет, всегда на ключе, и другой, для служащих в нотариальной конторе, запиравшийся только, когда бывал занят, задвижкой изнутри. Три двери: в контору, жилое помещение и кухню — полиция нашла крепко припертыми, из сеней, посредством досок, наклонно затиснутых между дверью и полом. Короткие и толстые доски эти оказались потом полками, взятыми из ар-

живной комнаты. Четвертая дверь, в нежи-
лую часть дома, была отворена, и через нее
дышало из архивной комнаты в сени мороз-
ным ветром то самое окно в сад, которое по-
утру привлекло внимание Сизова. Ставенные
болты в окне оказались развинченными из-
нутри, а стекла выдавленными при помощи
листов бумаги, намазанной клейким веще-
ством. Пол в сенях был сильно затоптан. В
нескольких местах замечались кровавые
брызги, а также и на полках, которыми были
приперты двери, виднелась кровь, однако, не
в большом количестве. Столько могла дать и
простая ссадина на руке одного из воров, ко-
гда они укрепляли полки. А то обстоятель-
ство, что воры полки укрепили и все двери в
сени приперли, подавало надежду, что, раз
ворам потребовалось обезопасить себя от лю-
дей, находившихся за дверями, то, значит,
люди эти живы; и если не откликаются на
зов, звонки, шум и топот, то, еще, может
быть, лишь потому, что обмерли со страха.

Прежде всего, отняли доску от двери, веду-
щей в жилые комнаты, но она оказалась за-
пертою также и изнутри. Тогда отняли доску

от двери в контору. Эта дверь, наоборот, в тот же миг, сама распахнулась, открывая темный коридор, служивший конторе как бы прихожей с этой стороны. Вошли.

Помещение конторы состояло из четырех комнат: прихожей, примыкавшей к парадному подъезду с улицы, канцелярии — большой проходной комнаты правого угла по фасаду, с двумя окнами на улицу и одним во двор, приемной — одно окно на улицу, и рабочего кабинета самого нотариуса — два окна во двор. Эта последняя комната имела два выхода — в канцелярию и в упомянутый уже темный коридор, который был как бы главною жизненною артерией квартиры, так как именно из него открывались обе двери в сени, а в него впадали последовательно двери — из канцелярии, приемной, гостиной, столовой, и, наконец, спальни. О последней уже упоминалось выше, что это была большая комната по левому углу фасада — два окна на улицу, одно (заделанное) в сад. Это расположение дома давало квартире Туесова как бы круговое устройство: все комнаты оказывались и в обходном, и в проходном сообщении.

Едва распахнулась дверь в контору, последние оптимистические надежды должны были погаснуть и рассеяться. Глазам вошедших предстала картина ужасного разбойничьего разгрома. Домохозяина — Ивана Ивановича Туесова — нашли в спальне — телом, распростертым на ковре почти обнаженным, в одной ночной рубашке. Он был страшно изрублен по голове, лицу, плечам и рукам каким-то тяжелым острым орудием, должно-быть, топором. Крови из него вытекло море.

Сразу обратило всеобщее внимание странное обстоятельство, что убитый нотариус оказался совсем один в господской половине своего дома. Непонятно было: куда же могла исчезнуть его верная сожительница Аннушка Персикова, которая всегда с ним ночевала? Явилась мысль, что Аннушка, вероятно, заключена в кухне, вместе с прислугой, за дверью, которая тоже приперта доскою. Но кухонная дверь была уже взломана. За нею нашли — в кухне, за столом, сидя спящих и бесчувственно пьяных, кучера и дворника, а в людской, в таком же точно состоянии, кухар-

ку, женщину пожилых лет, имевшую репутацию непьющей. Напрасно пробовали поставить ее на ноги: она, как сноп, валилась от сна. А мужчины только хлопали глазами и лепетали нечленораздельную бессмыслицу. В кухне, противно господской половине, не заметно было никаких знаков насилия, ни даже, — чтобы, в течение ночи, здесь побывал кто-нибудь еще, кроме найденной в бесчувствии тройки пьяных. Но не было также и Аннушки.

К пьяным прикомандировали фельдшера для вытрезвления, а против исчезнувшей невесты куда Аннушки сразу явились смутные подозрения. За бесчувствием кухарки и дворника, никто не мог засвидетельствовать, ночевала ли она эту ночь дома. Но сейчас же один из подоспевших сыщиков, по фамилии Ремизов, обратил внимание на то обстоятельство, что, во-первых, постель в спальне смята двумя телами, а не одним, — значит, Аннушка дома ночевала. Во-вторых, участковый пристав, взглядевшись в кровавые следы, пятнавшие пол, ясно отличил между ними маленькие и узкие следки женской ноги. И сле-

дов таких, рядом с громадными мужскими, виднелось множество. Это доказывало, что Аннушка не только присутствовала при убийстве, но тоже бегала зачем-то вокруг квартиры — то ли в качестве спасающейся жертвы, то ли в качестве сообщницы убийц, сама преследуя своего, обреченного на смерть, сожителя. И бегала босиком — в то время, как другие были в какой-то мягкой обуви, надо полагать, в валенках. При первом же осмотре комнаты обнаружено было Аннушкино платье, белье, чулки и башмаки, закрытые опрокинутым в борьбе креслом. Эта находка поставила обыск в новый тупик. Если бы Аннушка даже бежала с убийцами, то не могла же она уйти зимою босая и в одной сорочке. А между тем в доме ее не было.

Разгром в квартире был страшный, однако даже первый поверхностный осмотр по приглядке показал, что настоящего грабежа произведено не было. Несгораемая касса осталась цела, письменный стол в кабинете не взломан, шкафы с деловыми бумагами тоже. Может быть, убийцы и унесли что-нибудь, но крупными ценностями овладеть они не успе-

ли. Что-то их испугало и заставило бежать, не воспользовавшись выгодами своего страшного дела. Тот же самый полицейский, который первый обратил внимание на кровавые женские следки, заметил, что они всюду смешаны с мужскими и как бы затоптаны последними, за исключением одной маленькой комнатой: той прихожей, к которой примыкал фонарик парадного подъезда с улицы. Здесь все вещи были в ужасном хаосе. Шубы и пальто сброшены на пол, вешалка опрокинута, два велосипеда валялись поперек двери в канцелярию, точно кто-нибудь хотел ее ими баррикадировать. И вся эта куча разнородных предметов была почему-то покрыта белым порошком осыпавшейся с потолка штукатурки. По следам было несомненно, что, если они, вообще, Аннушкины, то Аннушка здесь была — и была одна, никто не входил сюда, кроме нее. И, значит, весь здешний беспорядок произведен каким-то образом и за чем-то именно ею. Явилась догадка, что она, схватив на себя какую-нибудь шубейку, выскочила от разбойников на улицу. Но сейчас же и пала эта мысль, так как дверь подъезда

оказалась надежно запертою изнутри — на ключ, железным крюком и цепью. Это начало походить на чертовщину. Женщина несомненно где-то здесь, некуда ей пропасть. А, между тем, нет ее, провалилась без вести в четырех стенах, — невидима! Кто-то подал мнение, что находка платья, белья и башмаков еще вовсе не доказывает, чтобы Аннушка не могла уйти из дома: не одно же платье, не одна же смена белья и пара башмаков у нее была. Мнение оказалось неверным, но было счастливо в том отношении, что дало идею внимательно осмотреть узенькую гардеробную комнату между спальнею и столовою. Шаря здесь, один из городских нащупал стеной шкаф, существования которого производившие обыск и не подозревали, а в нем — открыл скорчившуюся под густо навешанными юбками Аннушку. Нашли ее без чувств, онемелую, не внемлющую, окоченелую от холода, потому что была полунагая, и страшно выпачканную в крови. В руке она сжимала — застывшую судорогою — бесполезный велосипедный револьвер-пугач... На теле ее, однако, никаких серьезных повреждений как буд-

то не замечалось. Когда ее привели в чувство, она оказалась вне себя от испуга и — как бы помешанною. Никаких показаний дать не могла и с месяц после того прожила, как в столбняке, только дрожала всем телом по целым дням, едва успокаиваясь лишь на время короткого и прерывистого сна, от которого пробуждалась с неизменно страшным, взывающим о помощи, криком. При зрелище этого плачевного состояния, первые подозрения против Аннушки пали также быстро, как народились. Однако, на всякий случай ее арестовали, чего она, в своей одурелости, даже не поняла, и поместили на испытание в психиатрическую больницу.

Арестованы были также кучер и дворник с кухаркою. Но от них ровно ничего не узнали, кроме того, что, накануне вечером, кучер, убравшись с лошадьми и по двору, неожиданно был обрадован находкою: обрел на черной лестнице забытую кем-то бутылку малороссийской запеканки. Над находкою кучера много смеялись кухарка и сидевшая с нею на кухне, играя в карты, Анна Николаевна. Они предполагали, что бутылку забыл один из

двух конторских посыльных, человек, вообще, рохлеватый и почти что дурачок. нотариус только и держал его, что за необычайную, почти лошадиную быстроту и неутомимость в ходьбе.

Вскоре — часов около десяти — Анна Николаевна ушла к барину, а кучер с кухаркою и дворником распили наливку и — больше ничего не помнят, кроме того, что опьянение пришло как-то уж очень скоро и от ничтожного количества напитка, совсем уж не так крепкого. Они и сами не заметили, как уснули, — спали мертвым сном и ничего не слышали и не чуяли до тех минут, когда их, уже отвезенных в больницу, доктора привели в чувство. Было совершенно ясно, что несчастные опоены дурманом. Химический анализ оставшихся капель запеканки это подтвердил. Состояние здоровья отравленных было очень слабое, почти тяжелое. О том, какая беда стряслась в доме, все трое узнали только в больнице и пришли в великую скорбь и ужас. Барина жалели крепко, со слезами. Люди эти были, очевидно, неповинны в злодеянии, но и подозрения ни на кого не заявили. Из до-

машних, по их словам, принять участие в подобном зверстве было некому. И прислуга, и служащие в конторе обожали покойного Ивана Ивановича: у какого злодея поднялась бы на него рука! Чаще других ссорилась с покойным его сожительница Анна Николаевна, потому что очень уж его ревновала.

— Да это — что же? В какой семье не бывает. Милые бранятся, только тешатся. А, помимо ревнивых ссор, жили — как голубки.

Точно также сразу пришлось устранить подозрения в соучастии с преступниками и для остальной прислуги нотариуса, которая в эту ночь оставалась вне дома: для горничной, девчонки-судомойки и двух рассыльных.

Горничная, отпущенная с вечера в гости к подруге на именинный балик, запиновалась у приятельницы своей до утра — там и спать залегла. Там ее и нашла полиция и временно задержала.

Судомойка, четырнадцатилетий подросток, ночевала по обыкновению, при матери, поденщице, имевшей жительство во дворе того самого купца Сизова, который первый открыл преступление, во флигеле, ходившем

под угловые квартиры, весьма населенные. Таким образом, и женщина, и девочка оставались всю ночь на виду у десятков людей; об убийстве они узнали только по утру, когда поднялся шум в переулке.

С посылными же обстояло дело так.

Тот быстроногий дурачок, на которого было подозрение, не он ли подкинул бутылку с отравленною наливкою, божился и клялся, что никак нельзя было этому быть — чтобы он позабыл или оставил на лестнице непочатую бутылку спиртного. Он настолько любовно привержен к этому сладостному напитку, что решительно неспособен, обретя такое сокровище, не попробовать его немедленно и, уж конечно, не стал бы делиться своим нектаром с кем бы то ни было, а вылакал бы все до последней капельки сам. Кроме сих психофизиологических оправданий, признанных следствием весьма вероятными, было выяснено, что быстроногий дурачок, если бы и хотел подбросить бутылку, то никак не успел бы это сделать. Весь вчерашний день и, по закрытии конторы, вечер он метался по городу, разнося спешно пакеты, и, как отправил его

Иван Иванович, часов около пяти вечера, на срочную беготню, так уж потом и не пришлось ему побывать на Спаоопреображенской улице до поздней ночи. Ночь же посыльный провел у себя на квартире, через два дома от конторы, на углу Малого Гренадерского переулка. О преступлении он осведомился от жены, молочницы, торгующей в разнос. Она, с рассветом, выйдя с ведрами, возвратилась разбудить мужа, так как нашла дом Туесова уже оцепленным полицией и окруженным глазевшею толпою.

С другим посыльным приключилось нечто странное, однако, в том же роде, как с кучером, дворником и кухаркою. Человек этот, большой любимец покойного нотариуса, отставной солдат, слуга многократно доказанной честности и преданности, десятки раз раньше носил на себе тысячные куши и секретные документы дороже денег. В этот же вечер, он имел лишь два незначительные поручения — отнести на далекую окраину Рюрикова, называемую Лобки, предуведомления каким-то двум злополучным плательщикам об их, поступивших к протесту, векселях. С

поручением этим он покончил часов около десяти вечера и, сильно прозябнув на ходьбе, зашел в трактир погреться чаем. Здесь привязался к нему какой-то стрюцкий, который приветствовал его по имени и отчеству, уверяя, будто они — земляки: оба калуцкие, Лихвинского уезда, Веретьевской волости, только разных деревень. Посыльный, будучи, действительно, родом оттуда, обрадовался земляку и стал угощать его водкою. Таким родом, они вместе напились, а, напившись, заспорили и передрались, а, передравшись, были оба вытолканы из трактира за дебош. Затем — что было, чего не было, посыльный, к стыду своему, не помнит, а очнулся он по утру, в участке, куда, оказывается, был забран часов около одиннадцати ночи, поднятый на улице в бессознательно пьяном состоянии. По собственным словам посыльного и по отзывам знавших его людей, подобный грех случился с ним впервые в жизни, и, как случился, он не может понять, потому что на вино он осторожен и крепок, а выпито было как будто уж не так много. Получалось впечатление, что и этот человек был опоен. Прямой причастно-

сти к убийству он, явное дело, иметь не мог: его alibi было обосновано даже надежнее и доказательнее всех прочих. Однако, и его задержали.

Горничная, судомойка и быстроногий посыльный были отпущены с отобранием от них подписки о невыезде; учреждена была за ними тайная слежка. Другого посыльного, кухарку, дворника и кучера нашли нужным придержать, хотя не сомневались в их невинности. Расчет сыска был тот — чтобы настоящие преступники, находящиеся на свободе, думали, будто дознание попало на ложную дорогу. Аннушка все еще была не в себе и к ее допросу приступить не удавалось. Настроение следователя было в ее пользу, но, покуда, из всех задержанных, все-таки, она одна оставляла кое-какие поводы к подозрению. Главным образом смущали два обстоятельства. 1) Она присутствовала при том, как кучер с кухаркою нашли наливку и принялись ее распивать, но отказалась хотя бы пригубить, за компанию. Этот отказ женщины, правда, и вообще-то не пьющей, но зато большой охотницы до сладкого, подавал повод

предполагать, будто она знала, что наливка отравлена. 2) Дверь из жилого помещения в сени оказалась запертою изнутри на щеколду. Значит, после убийства в квартире оставался кто-то, находившийся настолько в твердой памяти, что даже, вот, затворил за злодеями дверь, которая, вдобавок запиралась очень туго. Этим кем-то могла быть только Аннушка. А, раз она это сделала, то явным становится ее соучастие с разбойниками, а безумное состояние, в котором ее нашли и которое еще продолжалось, приходилось понимать просто как искусную симуляцию. А так как она была известна за истеричку, то способность ее к симуляции истерического состояния предполагалась уже а priori. Да, при этом, не удивительно было бы, если бы, начав симуляцией, Аннушка, как свойственно подобным истеричкам, впала затем в припадки уже не притворные, а самые настоящие, и тем сильнейшие, чем с большим напряжением приходилось ей раньше играть истерическую роль и в ней себя расчетливо сдерживать.

Кроме того, множество мелких улик пока-

зывали, что преступление было отнюдь не внезапным, а подготовлялось исподволь и непременно при помощи кого-либо из домашних, кто в хозяйстве нотариуса знал все ходы и выходы. Важнейшею из улик этого рода оставались развинченные болты ставень в окне, через которое убийцы проникли в дом. Окно это выходило в сад из заваленной бумагами и книгами архивной комнаты, которая посещалась очень редко, потому что настояще важные документы нотариус хранил у себя в кабинете в несгораемом шкафу. Чтобы вынуть болты бесшумно, надо было снять замыкавшие их внутренние гайки. Последние же, как выяснилось, были с осени закручены наглухо, так как ставни на этом окне, по ненужности его для нежилой комнаты, обращенной в архив, и имевшей другое, светлое окно во двор, никогда не отворялись. Работа эта требовала времени и спокойной подготовки. А слесарь, приглашенный экспертом, утверждал по своим приметам, что она произведена никак не сразу, но велась понемножку, в несколько приемов, день за днем. Кому же, казалось бы, удобнее было произве-

сти ее, если не Аннушке, которая вечно возилась, по каким-нибудь хозяйственным надобностям, в соседней с архивом — дверь в дверь — кладовке? Правда, ключ от архивной комнаты находился у нотариуса. Но для Аннушки, которая полномочно владела покойным Иваном Ивановичем вместе со всеми его делами и тайнами, раздобыться ключом не представляло никакой трудности. За редкою надобностью в этой комнате, Иван Иванович легко мог не схватиться ключа и день, и два, и больше. Правда, тут же рядом имелся ватер-клозет для конторских служащих. Но уже самое назначение этого многопосещаемого учреждения устраняло возможность, чтобы из него велась какая-либо долгая тайная работа. Покойный нотариус был очень мягкий человек в житейских отношениях, но претребовательный по службе, и лодырничать, под предлогом отдания долга природе, не позволял. Да и Аннушка, которой писцы весьма побаивались, всегда внимательно следила, чтобы они не слонялись без дела. А, в особенности, не толкались бы подолгу в сенях, служивших им курительною комнатою, и в коридор-

чике нежилого помещения, где было их отхожее место. Очень любезная и добрая вообще, она почему-то не любила конторских служащих и была предубеждена против них настолько, что не стеснялась высказывать опасения за напитки и съестные припасы, хранившиеся в кладовке. Так что участие конторы в подготовке преступления приходилось отстранить. Разве лишь предположить, что все служащие были в заговоре, вместе обладали ключом в архивную комнату и работали над развинчиванием болтов — каждый по очереди. Но такой сложный заговор, само собою разумеется, представлялся совершенно немыслимым. Писцы, конечно, тоже были допрошены и тщательно проверены во всем своем поведении и отношениях. Но произведенное дознание безусловно свидетельствовало о полной неприкосновенности их к преступлению. Все это были люди безукоризненные, давние в доме, — служили у покойного лет по семи, восьми. Самый младший новичок, Михайло Александрович, проще Миша Гоголев, кончал уже третий год службы. Покойный Иван Иванович взял его в себе после

того, как от него ушел в актеры знаменитый ныне опереточный простак Викторин, бывший Ванечка Молочницын, столь огорчивший Ивана Ивановича своим неожиданным романом с Викторией Павловной Бурмысловой.

Этот новый юноша, Миша Гоголев, обратно своему предшественнику, пришел в нотариальную контору прямо со сцены. Приехав из Москвы выходным актером тоже в опереточной труппе, которая вскоре ужасающим образом прогорела, Миша застрял в Рюрикове, без средств на выезд. Местный председатель земской управы, Осип Иванович Бараносов, обратил внимание на бедствующего молодого человека. Помог ему, поговорил с ним и, убедись, что он человек грамотный и сметливый, хотя и без образования, рекомендовал его, пока что, нотариусу Туесову на убылое Ваничкино место. Миша, наголодавшийся в актерском бродяжестве, в котором он запутался без призвания и без таланта, обрадовался верному куску хлеба, как дару с небес — нечаянному и не по заслугам. Работал он, стараясь заслужить и обеспечить себе прочность

места и любовь хозяйскую, паче еврея на египетском плиноделании. И, помимо беспредельного усердия, оказался достаточно сметливым и распорядительным, чтобы, мало-помалу, в самом деле, заменить для Туесова Ванечку, столь коварно изменившего ему и в качестве любовного поверенного и в качестве делового сотрудника. Молодой человек жил бедно и чинно. Единственною его укоризненною слабостью было слишком частое посещение местного кафешантана «Буэнос Айрес», содержимого некою госпожею Агнией Аркадьевной Шапкиной. Но заведение это в Рюрикове отнюдь не почиталось неприличным и открыто посещалось самою, как выражалось горделивая госпожа Шапкина, «вышенебельною» публикою, во главе с самим Осипом Ивановичем Бараносовым. Здесь-то именно юноша и имел счастье сделаться известным этому центральному человеку города Рюрикова и всего губернского хозяйства. Кафешантанские визиты Мити Гоголева не остались без внимания следователя, но произведенным дознанием не удалось обнаружить в них ничего такого, что хоть сколько-нибудь ком-

прометировало бы юношу. Вход в кафешантан он имел даровой, так как г-жа Шапкина приходилась ему дальнею родственницею, троюродною или даже дальше теткою, что ли. От тетенки было дано прислуге кафешантана однажды навсегда распоряжение, что Михаил Александрович имеет право получать из буфета каждый вечер две чашки черного кофе и рюмку коньяку. Эту не пышную жертву на алтарь родственных чувств и уничтожал Миша, медленными глоточками, часов этак с одиннадцати ночи до закрытия кафешантана, — всегда за одним и тем же столиком в уголке, всегда одинокий, тихий, скромный, приличненько одетый и ласково на всех поглядывающий, словно каждый входящий был его сердечным другом. Если гостей в кафешантане было слишком много, и Мишин столик надобился для платных посетителей, Миша спокойно удалялся из кафешантана во свояси. Но никогда не было примера, чтобы он использовал свое право на даровое угощение у буфетной стойки, либо за перегородкою, где ютилась вечерами, наблюдая зал сквозь прорезное окно, сама хозяйка, либо в

посудном отделении, где, на ходу, закусывали случайными кусками не только голодные слуги, но и артисты эстрадных номеров: вообще, в условиях, которые своею фамильярностью свидетельствовали бы о близости Миши к заведению г-жи Шапкиной или, тем паче, о материальной зависимости от нее. Установлено было также, что, несмотря на почти что ежедневное посещение кафешантана, Миша Гоголев, три года, что знали его в Рюрикове, не завел в тетенькином учреждении ни одного романа, что было даже удивительно, так как мальчик он был красивый, и почти все хористки строили ему глазки. Но благоразумный юноша вел себя воистину Иосифом Прекрасным. Непоколебимость же твердого характера и умеренных правил своих явил лучше всего тем наглядным доказательством, — что, получая у нотариуса сперва 30, потом 40 и, наконец, 50 рублей в месяц, имел уже до 500 рублей на книжке в ссудо-сберегательной кассе. В ночь, когда был убит нотариус, Миша, против обыкновения, не был в кафешантане «Буэнос Айрес», но тому оказалась особая причина. Г-жа Шапкина справляла в тот вечер

свое рождение и, в собственном апартаменте, устроила для ближайших гостей «Буэнос Айреса» пир горой, к участию в котором удостоила пригласить и скромного Мишу Гоголева. Необычный кутеж быстро свалил трезвого юношу с ног. Тетка, видя его жалкое состояние, распорядилась отправить его домой со знакомым извозчиком, который благополучно доставил бедного Мишу по адресу, на Старо-Кадетскую улицу, и сдал на руки квартирной хозяйке, в состоянии совершенной невменяемости. Так как молодой человек бушевал, не желал ложиться спать и непременно хотел уйти назад, в «Буэнос Айрес», то хозяйка, дама опытная и энергичная, втолкнула Мишу в занимаемую им комнату и заперла дверь на ключ. Миша порычал и помычал малую толику, а там и захрапел. Это было часов около одиннадцати, может быть, немного больше, может быть, немного меньше, во всяком случае, задолго до полуночи. Поутру Миша проснулся таким больным, и что хозяйка даже уговаривала его не идти на должность. А, тем временем, прибежал один из товарищей Миши по конторе, успевший уже побы-

вать на Спасопреображенской улице, и сообщил об убийстве...

Следствие велось энергически. Полиция сильно хлопотала, потому что убийство популярного обывателя взбудоражило и волновало не только весь город, но уже нашло отклики в столичной печати. Недавно назначенный губернатор, новая метла, язвительно отзывался о своем предшественнике, распустившем город до плачевности таких ужасов, и требовал со свирепостью, чтобы полиция, хоть родила, а подала бы убийц, не то он весь состав представит к увольнению, за неспособностью. Но, как ни много наслежено да на-топтано было, в квартире убитого нотариуса, ни один след не вел к раскрытию преступления. Поневоле держались за все еще не пришедшую в себя Аннушку, которая, все-таки, хоть какую-нибудь ниткою была связана с тайной. Но и в пользу Аннушки открылось новое обстоятельство: когда вымеряны были все кровавые следы, ни один из них не оказался по ноге убитому нотариусу. Значить, он получил свои смертельные раны там, где его нашли, и не бегал вокруг квартиры, спасаясь

от убийц, как предположено было сначала, — а гонялись разбойники за Аннушкой. Было их двое, обутых, по-видимому, в мягкие кенджи, почему ноги казались особенно огромной величины. Дактологическое исследование пятен на дверях и стенах подтвердило, что все они сделаны руками трех типов, из которых один несомненно Аннушкин, а другие два принадлежат разбойникам, так как руке покойного нотариуса ни один оттиск не соответствует. Таким образом, общественное мнение торжествовало: из соучастницы убийц Аннушка прояснялась в жертву их, недобитую только чудом. Объясняли уже довольно правдоподобно и самое чудо: бегая по квартире, Аннушка, в прихожей, наткнулась на велосипеды, вспомнила, что при них имеется револьвер-пугач и выпалила из него несколько раз в негодяев. А эти последние, вообразив, будто она вооружена настоящим револьвером, — и сами огнестрельного оружия не имея, не посмели ее преследовать и поспешили уйти, из боязни, что шум выстрелов уже услышан на улице и не замедлит привлечь народ... Этот момент преступления, как оказа-

лось впоследствии, был угадан совершенно верно.

Недели две спустя после убийства, в фабричном предместьях Крумахеры, весьма отдаленном от Спасопреображенской улицы, дети, расчищая на пруду именуемом Бык, место для катка, заметили, что во льду проблескивает что-то большое, светлое. Позвали маток, а те сказали батькам, а батьки кликнули городского, который и вырубил изо льда обмерзлый топор-дровокол без рукоятки. Сразу возникло подозрение, что это — орудие убийства нотариуса Туесова. Топор был не новый, отшлифованный долгим употреблением. Стали искать его хозяина и нашли очень скоро, в лице молодого дворника, совсем из другой части города. Он, оказывается, уже сам, три недели тому назад, заявлял в участок, что его обокрали: унесли из дворницкой одежду, обувь, подушку и топор. Дворник сейчас же признал топор за свой, даром, что без рукоятки, и очень обрадовался находке, но, когда узнал, к какому делу причитают ее причастною, сильно струсил. Огромные следы в квартире нотариуса не пришлись по мерке ног

дворника, но, так как убийцы были в кеньгах, которые значительно увеличивают размер ноги, то отсюда трудно было сделать вывода, как за, так и против участия дворника в совершившемся убийстве. На вопрос, были ли ему кеньги тесны или просторны, он с полным простодушием отвечал, что слишком просторны, так что надо было много окручивать ногу подвертками, чтобы не набивало ее ходьбою. Это подвинуло следователя к догадке почти наверняка, что один из убийц был обут в пропавшие кеньги дворника. Опять-таки явно было, что и этот парень не при чем, к тому же и ночь убийства он просидел на дежурстве. Тем усерднее стали искать вора Дворникова. Можно смело сказать, что редко на Руси выпадает на долю обокраденного бедняка такое доброжелательное усердие сыска. Полиция все рюриковские нары и трущобы перевернула вверх дном, разыскивая Дворникову одежду, обувь и подушку. Однако, не нашла.

Аннушка понемногу начала оживать. Допросы ее пришлось вести очень осторожными и короткими сеансами, потому что она

быстро утомлялась, впадала в истерику, галлюцинировала. Подозревать симуляцию было трудно, хотя на этой почве всякие виды виданы. Но, со дня на день, ответы ее становились все толковее, а картина преступления выступала из них все яснее. По словам Аннушки, возвратясь с кухни, где она оставила кучера и кухарку распивающими наливку, она нашла Ивана Ивановича уже в постели, читающим газету.

— Ты почему не откликаешься, когда я тебя зову? — спросил он, из-за газеты.

— Когда ты меня звал? — удивилась она. — Я была на кухне, только что вошла.

— Значит, я ослышался: мне показалось, что ты у меня в кабинете, — шуршишь бумагами...

— Должно быть, кошка мышей ловит, — отвечала Аннушка, разделась и легла.

Но, едва она погасила свет, шорохи слышались опять и сильнее.

— Это несносно, — сказал Иван Иванович, — встань, пожалуйста, выбрось ее в сени: она всю ночь будет прыгать, не даст уснуть.

Аннушка открыла электричество и, как была, в одной сорочке, босая, пошла искать кошку, — к счастью своему, комнатами, а не коридором. Кошку она, действительно, нашла, в приемной, но совсем не за ловлей мышей, а лежащею очень спокойно на кипе газет, глядя навстречу хозяйке внимательными зелеными глазами, которых Аннушка почему-то внезапно забоялась... Ей вдруг вспомнилось, что она, когда уходила на кухню, собственными руками вынесла кошку из комнат в сени: как же она теперь-то прошла назад и очутилась здесь? Кто ее впустил? Не сквозь стену же пролезла?.. Она взяла кошку, а та трется об нее мордой и поет.

— Мурлыкай не мурлыкай, а тебя сюда в гости не звали: пожалуйста вон!

Понесла кошку к двери и, вдруг, чувствую, что по ногам так и тянет холодом.

— Батюшки, думаю, да неужели же я оставила не запертою конторскую дверь? Вот умница-то, отличилась... Этак не то, что кошка влезет, а и недобрый человек...

Пощупала дверь, — нет, заперта, и ключ в ней торчит, но из-под нее дует морозным вет-

ром, как из погребца. Аннушку это удивило, потому что сени, куда выходила дверь, хоть и холодные по постройке, отапливались печкою — галанкою и не было причины быть оттуда такой холодной тяге. Открыла дверь, мороз ее так и охватил. Она поспешила выбросить кошку, хлопнула обратно дверью и повернула ключ... Страшный холод в сенях так смутил ее тревогою, что она решила сию же минуту пройти в прихожую, накинуть на себя шубейку, одеть калоши и выйти в сени освидетельствовать, в чем дело.

Но, в это самое время, слышит: Иван Иванович прокричал ей что-то из спальни странным голосом, от которого Аннушка обробела.

А он опять — как замычит коровою. Аннушка, со всех ног, бросилась к нему в спальню. Ей вообразилось, что с Иваном Ивановичем приключился, давно уже ему предсказанный, апоплексический удар... Но то, что она увидела в спальне, было страшнее...

Барин лежал на ковре, весь в крови, еще защищая, однако, голову руками, по которым молотили, как цепями, два человека с черными лицами, один топором, другой — ломом.

Были ли люди эти в масках или закрасили лица сажей, Аннушка не может сказать. Они ей показались настоящими дьяволами. Она не помнит, но, должно быть, она закричала, потому что они вдруг перестали рубить барина и бросились на нее... Она — от них, они за ней... Тут-то вот и началось та страшная беготня вокруг квартиры, следами которой испятнан пол... Аннушка не знает, сколько раз она окружила комнаты, — кажется ей теперь, мильон раз это было и сто лет продолжалось. А те все за нею, да за нею... Кричала ли она, тоже не помнит: может быть, и не кричала, потому что не чувствовала духа в груди... Спасло ее исключительно то счастье, что разбойники, в растерянности, оба гонялись за нею в одном направлении, вместо того, чтобы разделиться, и одному настигать ее сзади, а другому бежать ей навстречу... У нее в беге, была одна надежда: как-нибудь, выгадав несколько секунд, выбраться через одну из дверей в сени, к кухне. Там, авось, кучер и кухарка не заперлись на ночь. Несколько раз, пробегая коридором, она хваталась то за тугую задвижку на двери против столовой, то за

ключ в конторской двери, которую она сама же только-что, на беду свою, заперла. Но приостановиться нельзя: чуть замедлила, те уже настигают. Расшатанный ее хватаньями ключ конторской двери выпал из скважины, и разбойники его подхватили. Одною надеждою стало меньше... Пробегая— Бог знает, в который раз, спальнею — Аннушка поскользнулась и упала в лужу крови, истекшей из убитого барина, но сейчас же вскочила на ноги. Настигавший ее разбойник уже схватил было ее за сорочку. Но она рванулась. Он, потеряв равновесие, шлепнулся прямо под ноги товарищу, и оба растянулись на паркете. Это падение дало Аннушке счастливо выиграть минуту времени. До двери в сени она не успела добежать, но зато сообразила, что может сделать попытку — выскочить через темную прихожую, где нет электричества, в парадный, на улицу, подъезд, если только не заперты его двери. Она вбежала в прихожую и, зацепив, уронила велосипед. Его грохот мгновенно молнией осветил ей идею, что при одном из двух велосипедов имеется револьвер-пугач. Как она его нашла и добыла, не

помнит. Разбойники, не успев видеть, как она юркнула в прихожую, дважды обежали квартиру, недоумевая, куда бы Аннушка могла скрыться. Наконец догадались, обрадовались, сунулись... Аннушка выпалила...

Они отскочили. И Аннушка слышала, как один сказал другому:

— Вот тебе раз... Что же ты врал, что револьвер в починке?

Другой что-то буркнул.

Аннушка опять выпалила и, на ее счастье, от громкого выстрела посыпалась краска с потолка и карниза.

Разбойники отступили, и тот же самый, что раньше, сказал:

— Этак из темноты она нас перестреляет.

Другой что-то горячо говорил ему, убеждая, но тот качал страшною, чернолицею головою и твердил:

— Суйся сам!

Другой разбойник сделал было шаг вперед, но третий выстрел Аннушки грянул с таким громом и осыпал столько штукатурки, что тот первый осторожный разбойник повернул тыл и опрометью бросился бежать, по комна-

там, назад в спальню. Товарищ его, помявшись один миг, побежал за ним. Аннушка, наскоро ощупывая двери, убедилась, что выйти ей не удастся, но уже меньше опасалась за себя, видя, что ей удалось смутить негодяев. Она забаррикадировала дверь велосипедами и вешалкою, зашвыряла их шубами... Разбойники были уже не в спальне, а в кабинете. Аннушка слышала, как они бранились, и осторожный говорил:

— Что же, что стрелять не умеет?.. Довольно одному прохожему услышать, чтобы здесь была вся улица...

Вслед затем голоса замерли. Минуты три длилось полное молчание. Аннушка сидела на шубах и прислушивалась. И, вдруг, ей почудился звук осторожно отодвигаемой щеколды. Затем тихо и знакомо скрипнула дверь... Аннушка мигом сообразила, что это разбойники думают уйти или переменили план нападения и производят рекогносцировку, свободны ли сени... Аннушка осторожно высунула голову из своего убежища: тихо и, за конторскою дверью, в сенях шорох. Она осмелилась заглянуть в кабинет: пусто. В ко-

ридор — аккуратно во время, чтобы видеть, как против столовой тихо затворилась дверь в сени... Как тигрица, одним скачком прыгнула она — и сразу защелкнула задвижку... Дверь сейчас же рванули назад, но было поздно... Для остротки Аннушка еще раз выстрелила из пугача... Разбойники тотчас же перешли к другой конторской двери... Аннушка слышала, как они ругаются шепотом и попрекают друг друга, что нет ключа, а ломать дверь — явно — не решаются, боясь получить пулю в лоб... Затем они долго, топтались в сенях, стуча как будто поленьями.

Аннушка не знала, что обозначает эта возня, но ей пришло в голову, будто они хотят поджечь дом, и эта мысль привела ее в совершенное исступление... На самом деле, в то время, как она боялась, что разбойники к ней опять вернуться, разбойники боялись, что она, вооруженная револьвером, испортит им отступление и баррикадировали дверь, чтобы она не могла за ними погнаться...

По большому шуму, который подняли разбойники в сенях, Аннушка сообразила, что они нисколько не боятся тревоги со стороны

кухни. Тут вспомнилась ей бутылка запеканки, которую кучер нашел на лестнице. Ее охватил новый ужас. Теперь она была уверена, что кучер, дворник и кухарка отравлены и уже лежат трупами, и она осталась одна живая в доме, полном мертвецов... В отчаянии страха, она стала бегать из комнаты в комнату и звонить во все звонки, надеясь, что если кухарка и кучер живы, то ее услышат. Одурманенные люди не слышали, но разбойники услышали очень хорошо и, как впоследствии оказалось, вообразили, что звон идет с парадного подъезда— стало быть, выстрелы Аннушки достигли своей цели, услышаны, и в дом звонят люди, пришедшие на помощь... Надо было удирать, пока целы, и теперь Аннушка, в самом деле, осталась одна в квартире с покойником. Не зная, что разбойники ушли, она непременно ждала нового от них нападения с какими-нибудь новыми средствами. Пугач ее был почти расстрелян. Она вспомнила, что патроны к нему лежат в спальне, в тумбочке около кровати и, как ни страшно было войти в комнату убийства, пошла их искать. Но вид изрубленного тела,

продолжавшего точить кровь, одурманил ее паническим ужасом. Она почувствовала страшную дурноту, позыв на рвоту и не знает, сколько времени была в полуобморочном состоянии. В дополнение несчастья, пробило три часа, когда станция прекращает ток, и свет во всей квартире сразу погас. Вместе с тьмою на Аннушку упало безумие. Ей вдруг сразу почудилось, что ломаются во все двери и окна, идут к ней изо всех углов, что мертвый барин тоже поднялся и ищет, и ловит ее в темноте... Где ее нашли, и как она попала в шкаф, в котором ее нашли, Аннушка не помнит и совершенно не в состоянии объяснить.

Показания Аннушки дали полную картину преступления, но — ровно ничего для опознания убийц, равно как для нескольких темных находок, которые ставили в тупик, как сперва дознание, так затем следствие. Совершенно ясно было, как вошли убийцы. Свое вторжение они произвели с наглостью, можно сказать, на то и бьющую, чтобы невероятная, ошеломляющая откровенность и простота ее не заставила чужаков со стороны подозревать ее возможность, пока она сама не глянет

в лицо первому встречному чудовищными своими глазами. От садового забора, немного не доходя Большого Гренадерского переуллка, до взломанного окна в архивную комнату двойные следы, запорошенные снегом, обозначались почти прямой линией с небольшим лишь изгибом. Последний, в обход запорошенной снегом канавы, еще раз доказывал, что преступлением руководил человек, превосходно ознакомленный с местностью — настолько, что мог безошибочно идти к намеченной цели даже в темноте. И такие же обратные следы, но с несколькими и гораздо большими уклонами от прямой линии, указывали возвратную тропу злодеев к тому же месту в заборе. Торчавшие на нем и очень часто насаженные гвозди были, к удивлению, и здесь целы, так что становилось на первый взгляд непонятным, каким образом грабители могли перебраться чрез эту грозную преграду, не напоровшись. Но сыщик Ремизов объяснил, что разбойники, по всей вероятности, пустили, в ход «нахлобучку», то есть толстый брус дерева, в аршин или полтора длины, в котором заранее проверчены углубле-

ния соответствующей гвоздям величины и глубины. Надетый на гвозди, снаряд этот превращает часть забора в совершенно безопасную гладкую плоскость и — милости просим! перелезай, кому угодно. Но, так как нахлобучка — штука довольно громоздкая и должна быть сделана строго по мерке, то она тоже не могла быть приготовлена внезапно; применение ее указывает на сложный и давний умысел. Однако, никак не на то, чтобы лицо, сделавшее нахлобучку, должно было непременно принадлежать к пострадавшему дому. Это допустимо, но не необходимо. Весь вопрос ведь в точной мерке с гвоздей в намеченном месте забора, а такую мерку легко может снять любой прохожий хулиган, выбрав время, когда улица безлюдна. Можно даже с уверенностью сказать, что нахлобучка была принесена или привезена грабителями с собою, а не хранилась для них выжидательно в доме. В противном случае, кроме двух линий парных следов в саду имелись бы еще следы человека, который, сообщничая злодеям из дома, доставил бы и приладил нахлобучку к забору. Отсутствие таких следов доказывает,

что грабители прилаживали нахлобучку сами, не из сада, а с улицы. К забору они подъехали несомненно на извозчике, так как пронести городом такой крупный снаряд, как нахлобучка, незаметно — пешему человеку даже и ночью невозможно, провезти же под полостью нет ничего мудреного. Что грабители не подошли, а подъехали, доказывается и моментальным исчезновением следов их по сторону забора. Как только они вывалились, через забор, из сада, в ту же секунду, едва коснувшись ногами тротуара, они очутились в каких-то поджидавших санях и умчались, с награбленными вещами и «нахлобучкой», осторожно увозя эту последнюю, как слишком приметную улику.

— Кроме того, — говорил Ремизов, — отсутствие следов на тротуаре легко объясняется и тою возможностью, что, взобравшись на свою «нахлобучку», каждый из злодеев, прежде всего, снимал с себя кеньги и, может быть, перебрасывал их в сани, может быть, доносил их до саней, держа в руках. Легкий же след ноги босой или в чулке, слабо отпечатавшись на оголенном оттепелью тротуаре, был затем

быстро уничтожен падавшим и тающим снегом. Ведь морозить-то начало лишь около четырех часов утра. Необходимость грабителям уехать, а не уйти пешком вводила в игру непременно третьего сообщника — того настоящего или мнимого извозчика, который привез убийц к забору, ждал их, пока они «работали» в доме и, после убийства, увез с добычей. Что должен был участвовать в деле непременно извозчик, Ремизов заключал из того, что собственные упряжки в Рюрикове все наперечет и ни одна из них не могла бы показаться в районе Спасо-Преображенской улицы в столь глухое время, не будучи замечена на полицейских постах: каждый городской поименно знает, какой экипаж — какого владельца. А если бы появилась упряжка новая, незнакомая, тем более любопытным и стеснительным вниманием она сопровождалась бы. Всякий воз, ломовой ли, въезжий ли из уезда в ночное время на такой тихой улице, тоже стал бы предметом всеобщего внимания — особенно в выжидательном положении, в котором он должен был оставаться у забора не малое время. Каждый полицейский

обход должен был заинтересоваться такою редкостью и подвергнуть возницу опасному опросу. Торговая часть города отсюда далеко и обозы проникают в нее от других застав, более близких к железнодорожным станциям и паровой пристани. Наоборот, легкой извозчик, стоявший у забора сада Туесова, был настолько обычным явлением, что не мог возбудить никаких подозрений. Самое большое, что ему могли бы заметить: напрасно, мол, ждешь, у нотариуса сегодня гостей нету. Да и как бы ни был легкий воз, он должен был оставить свежие следы: ломовик — колес, деревенский — широких полозьев, которые никак не могли бы исчезнуть до утра. А этого нету.

Соображения Ремизова были найдены следователем основательными, приняты к сведению, и ему было поручено произвести поверку всего легкового извоза в Рюрикове с усиленной тайною слежкой за подозрительными из этой среды. Осуществить такую поверку и слежку было нетрудно, в виду многочисленности в числе промышляющих извозом — лиц, в то же время тайно состоящих сыскны-

ми агентами. Однако, эта мера, хотя привел ее в исполнение человек расторопный и смысленный, не дала никаких результатов.

Уход убийц несомненно совершился садом, через забор. Об этом, помимо следов, свидетельствовала бурая куча грязного снега под одним из деревьев у возвратной тропы, очень неподалеку от взломанного окна. Очевидно, на этом месте преступники, приостановились смыть с себя грязь и кровь. По-видимому, не уверенные, в темноте, что им удалось отмыться всюду и сразу, они и дальше, по дороге, нагибались, хватали снег и терли им себя: утро приморозило следки грязных хватков. Но, утвердившись окончательно на решении об уходе через сад, дознание остановилось в недоумении пред загадками: 1). Что обозначают в таком случае настежь открытое парадное крыльцо во дворе и кровавые пятнышки, ведущие от него к воротам? 2) Почему злодеи, баррикадировав все двери в сени и, в числе их, кухонную, оставили свободным черное кухонное крыльцо? Забыть о нем они не могли; оно входило в их расчеты, так как именно на нем и найдена была роковая бутылка с за-

пеканкою. А, между тем, оставляя черное крыльцо свободным, почти бесполезно было баррикадировать кухонную дверь в сенях. Если бы люди в кухне проснулись и захотели прийти на помощь господам, им легко было бы обежать по двору к парадному крыльцу, которое, вдобавок, почему-то оказалось открытым. Это обстоятельство оставалось единственным, по силе которого продолжало еще держаться легкое подозрение прочив кухарки, кучера и дворника, не были ли они в сообществе с убийцами, если не фактическом (это-то последнее опровергалось с достаточной выразительностью беспомощным состоянием, в котором их нашли), то, так сказать, моральном. Не виноваты ли они в попустительстве к убийству и в неподании помощи погибающим жертвам? И — в таком случае — не было ли их опьянение, хотя и не притворным, что утвердили медицинская и химическая экспертиза, но умышленным и проделанным по предварительному соглашению с злодеями? Вроде того, как в других грабежах подобного же рода прислуга-соучастница оказывается связанною и иногда даже побитою и

с поверхностными поранениями? Что касается кровавых пятен, их пробовали объяснить предположением, что сперва убийцы рассчитывали уйти из ворот, через калитку. Но, подойдя к ней, 1) либо не сумели открыть щеколды, что невероятно, так как щеколда открывалась мудреным секретом только с улицы, а со двора — как все щеколды: простым нажимом. Кроме того, неимение грабителей открыть калитку совершенно упразднило бы гипотезу об участии домашнего сообщника, а за нее следствие крепко держалось. 2) Либо были испуганы каким-нибудь шумом или движением на улице и потому, возвратясь в дом, предпочли пойти наутек садом. Однако, и это предположение пало, благодаря Ремизову. Он указал, что, в таком случае, следы убийц должны были бы вести не только к калитке, но и обратно, тогда как ничего подобного не замечалось. Ремизов шел дальше. Он утверждал, что убийцы и вовсе не были во дворе. Потому что, хотя и наслежено между крыльцом и калиткою очень много, но это — следы дневной ходьбы посетителей и прислуги Туесова, а нет ни одного следа, похожего на

те огромные кровавые лапы, которые отпечатались на полу в квартире и уже гораздо более бледные пятна которых заметны в сенях и почти не окрашенные, только грязные провалы обозначаются по возвратной тропке в саду. В комнатах, сенях и саду злодеи были, а во двор не спускались. И тогда легко объясняется почему осталось свободным кухонное крыльцо: баррикадировать его убийцам не было никакой надобности, так как между ними в сенях и кухонную прислугую, если бы она выскочила во двор, еще оставалось крепчайшее всяких импровизированных баррикад, запертое парадное крыльцо. Следовательно, недоумевавший, куда, действительно, могли бы деваться следы, если они однажды были, однако, возразил:

— Да ведь, парадное-то крыльцо мы нашли открытым?

Ремизов отвечал, что преступники, вероятно, открыли его пред самым своим уходом, будучи уже убеждены, что со стороны двора они обеспечены от преследования, а, в то же время рассчитывая, что открытое крыльцо на первых шагах дознания, собьет полицию с пу-

ти и заставит думать, что они ушли двором, а не садом.

— А какая им выгода в этой разнице?

— Выгоду я вижу ту, что, если бы вы утвердились на мысли, что они вышли воротами, то естественно было бы дальше искать их след направо в сторону Малого Гренадерского и Камкова переулков. Тогда как, на самом деле, они вылезли почти пятьюдесятью саженьми выше. Оттуда им естественно либо повернуть сию же минуту в Большой Гренадерский, либо продолжать путь налево по Спасо-Преображенской, пока она не сливается с площадью и людными улицами, в которых уже более чем легко замести след...

— Вы думаете, что именно так они и поехали? — спросил следователь с недоверием.

Ремизов подумал и отвечал отрицательно.

— Нет, я скорее буду за то, что они поехали направо — и именно потому, что ехать налево было им естественно; поэтому они, хитря и кидая петли, чтобы сбить нас с толка, непременно сделали то, что неестественно, и поехали направо. В этом меня убеждает и то обстоятельство, что у забора нет следа поворота са-

ней. Значит, лошадь, когда ее тронули, побежала в ту сторону, куда стояла мордою.

— Она могла стоять мордою, как вправо, так и влево, — небрежно заметил следователь разочарованный: он ожидал менее наивного соображения.

Но Ремизов упорствовал на своем:

— Нет, она была мордой направо.

— Да откуда вы заключаете?

Сыщик объяснил, что, в качестве бывшего военного, притом недавно возвратившись с русско-китайской войны, на которой ему пришлось быть много употребляемым для разведочной службы, он привык обращать внимание — с позволения вашего сказать, г. следователь, — на конский помет. Это своего рода письмена о том, кто, когда и как ехал дорогою. От лошади, увезшей убийц, письмена эти остались. Расстояние их от того места, где преступники перелезли через забор почти совпадает с обычною длиною городских извозничьих саней. Если бы лошадь стояла мордой влево, то и помет лежал бы, по крайней мере, на полторы сажени левее.

— Чёрт знает, как это у вас тонко! — недо-

верчиво усмехнулся следователь, — может-быть, еще и совсем не та лошадь даже оставила вам свою визитную карточку...

Но на этом Ремизов стоял твердо:

— Нет, та.

— Почему?

— Потому что весь остальной конский помет на Спасо-преображенской улице сосредоточился на битом пути, посредине улицы, и разъезжен до полного смешения с снегом или, по крайней мере, растоптан копытами и раздавлен полозьями. А этот остался в неприкосновенности, на краю мостовой. Значит, позже, чем он был выброшен лошадью, по этому месту уже не проезжали ни одни сани.

Следователь задумался и сказал:

— Это любопытно и, пожалуй, похоже на дело... А могли ли бы вы определить, хотя бы предположительно, в какое время лошадь подарила нас сим вещественным доказательством?

Ремизов быстро ответил:

— Но предположительно, но с уверенностью могу сказать, что очень задолго до четырех часов ночи. Этак около часа или полови-

ны второго, как раз в то время, когда убийцы кончали разгром...

— Можете сообщить мне ваши приметы?

— С удовольствием, тут нет никакой хитрости. Сейчас этот навоз — в замерзшем виде. Но вчера весь день, вечер и ночь стояла оттепель. Следовательно, замерзать он стал только в четвертом часу утра, когда повернул ветер и ударил легкий мороз, который к рассвету достиг восьми градусов. Если бы навоз был выброшен в это позднее время, он замерз бы твердою компактною сухою массою, вроде камней. Но, прежде чем замерзнуть, он успел несколько распуститься и напитаться влагою, отчего утратил компактность, — значит, оттепель влияла на него довольно продолжительное время. Однако, не настолько продолжительное, чтобы окончательно расквасить его, что непременно случилось бы, если бы до мороза, он лежал на тающем снегу с вечера, — даже, я так скажу, часов с одиннадцати или двенадцати ночи... А, ежели вам понадобится и угодно будет исследовать, то ведь не составит никакого затруднения определить с близостью и — когда эта лошадь была кормле-

на... На войне, бывало, когда передвигаемся в тылу неприятеля, то это — вместо часов: почти с точностью можно сказать, когда отряд вышел с места последней кормежки, а, следовательно, сколько он от нее отошел и где она могла быть.

Оставалось еще крупное возражение:

— Если бы злодеи хотели сбить дознание со следа, сделав вид, будто они ушли со двора, они лучше бы замаскировали свое отступление и, главным образом, не покинули бы взломанного окна в архивной комнате в таком обличительно указующем виде, что оно привлекло внимание Сизова, даже еще в полусумерках рассвета.

По мнению Ремизова, убийцы это понимали и хотели замаскировать свой уход, но не сумели. Внимательно осмотрев окно, Ремизов нашел под ним на снегу сор: землю, прелые листья и сухие древесные сучки, нападавшие сюда отнюдь не случайно. Такой же сор остался, в небольшом количестве, и в отверстиях, в которые продевались снаружи внутрь замочки развинченных болтов. По мнению Ремизова, сор этот свидетельствовал, что уходя пре-

ступники старались привести окно в наружный порядок, будто нетронутое. Для этого они затворили ставни, всунули болты, но, так как завинтить их изнутри было некому, то разбойники натаскали в замочные дыры сучков и всякого сора, в надежде, что он сдержит тяжесть болтов несколько часов, покуда они будут скрывать следы своего преступления, а люди о нем узнают. Так бы оно и было, если бы продолжалась оттепель и не переменялся, на их несчастье, ветер, пронесшийся перед рассветом почти что бурею, с сухим снегом. Он расшатал болты и выдул их непрочную закрепку, замычки выскользнули из дырок, болты выпали и повисли качаясь. В таком виде зазрел их Сизов на рассвете и поднял шум. Если бы разбойники сделали закрепку солиднее, то окно и поутру сохранило бы самый мирный вид, и преступление было бы открыто не ранее, как еще часом позже, а то и двумя. А им только того и надо было. За этот срок они из вещественных улик, что могли, уничтожили, чего не могли, спрятали, чтобы уничтожить в более удобное время. Но они, очевидно, были очень взволнованы и спешив-

ли. Вон как прямолинейно шагали они к дому, когда шли убивать и каких вавилонов накрутили, когда; возвращались с кровавыми-то руками.

— Хитро, но остроумно, — улыбнулся следователь. — Объясните мне еще кровь во дворе, между калиткою и крыльцом, — и я вам поверю.

Ремизов, пожимая плечами, возразил, что этой крови объяснения он не находит — за исключением разве того предположения, что кровь во дворе не имеет ничего общего с кровью в комнатах и пролита из другого так сказать источника...

Следователь усмехнулся с недоверием.

— Кроме бедного Ивана Ивановича, кажется, никто другой не зарезан...

— Зачем быть зарезану? — возразил Ремизов. — Сохрани Бог всякого. Но разве кровь течет только из убитых? Мало ли прошло здесь вчера вечером людей? Мог идти человек с кровотечением из носа, мог идти человек с обрезанной рукою, — могла кухарка нести зарезанную курицу, из которой капало на снег, могла идти какая-нибудь баба-неряха в из-

вестном женском периоде...

Следователь, с сомнительною улыбкою, покачал головою и заметил:

— Вы, — почтеннейший Ремизов, как я вижу, изыскатель с вывертом. Не отрицаю остроумия ваших гипотез, но — вспомним дедушку Крылова: «а ларчик просто открывался». Когда целый дом залит кровью, вытекшей из человека, изрубленного в котлету, согласитесь — как-то странно искать для крови во дворе источника от кровоточивых петухов, — мужчин и женщин... Но, во всяком случае, — я вам очень благодарен. Если вы и увлекаетесь несколько, то и наводите на полезные идеи, из которых, многие признаюсь охотно, мне до вас, не приходили в голову... Еще раз благодарю вас и почту приятным долгом отнестись о вас к вашему непосредственному начальству с самой лучшей стороны. Очень рад иметь вас своим сотрудником. А вы мне уж сделайте любезность — поработайте над этим делом и, вот, главным образом, приналягте на извозчиков-то: тут, — мне что-то мелькает, — может быть толк!

Фигуры грабителей мелькали в больной

памяти Аннушки, как смутные призраки. Она не умела даже описать, как они были одеты. Впечатление черных рож заслонило образы. Что-то как будто синее, но сверху синего висит в воздухе блестящий топор. Внимание, ужаснувшись, впивается в него и теряет из своего поля все остальное. однако, Аннушке казалось, что, если бы она услышала голоса убийц, то непременно их узнала бы. Самым важным ее указанием для сыска была почтена осведомленность убийц, что револьвер нотариуса находился в починке. Это свидетельствовало, что из двух убийц один, действительно, был свой человек, хорошо знакомый с бытом покойного. Но, с другой стороны, как будто бросало тень и на самое Аннушку. Ведь никто лучше ее не знал об отдаче револьвера в починку, так как она сама и завезла его, за два дня до убийства, к оружейному мастеру. Мнение об Аннушкином показании разделялось. Следователь ей верил, полиция сомневалась. История с пугачом казалась слишком невероятною, почти опереточною. Дерзкие громилы, не побоявшиеся вдвоем, без огнестрельного оружия, атаковать дом, где, при

малейшем их промахе в расчете, что прислуга удалена или опоена, ждало их сильное и многолюдное сопротивление, кончили какою-то уж слишком покладистою трусостью. Унесли они только то, что успели захватить в спальне да на письменном столе в кабинете и из незапертого буфета в столовой. То есть так немного, что не стоило из-за подобных пустяков не только идти на отчаянный риск и душегубство, а разборчивый вор-профессионал, пожалуй, еще подумал бы, стоит ли руки марать. Из похищенных вещей порядочную ценность имели только старинные золотые часы с цепью, да и те трудны были к сбыту, так как их хорошо знали в Рюрикове, по старинной осьмиугольной форме, редко встречающейся на часовом рынке. А в бумажнике, по словам Аннушки, вряд ли грабители поживились даже сотнею рублей, потому что нотариус больших денег на себе не имел. Несгораемую же кассою овладеть разбойники или не сумели, или не успели. Аннушка не высказала подозрений ни на кого и, кажется, долгое время не подозревала, что она сама-то подозреваема. Прислугу — всю без исключения —

она горячо отстаивала и дала всем наилучшие аттестации. Лишь о кухарке, несколько запнулась, заметила, что женщина — очень хорошая и честная, но имеет один недостаток: несмотря на довольно пожилой возраст и не весьма красивую наружность, весьма склонна к романам с молодыми людьми и едва ли не все свои деньги, в жалованьи и сбережениях, тратит на любовные похождения с разными дрянными мальчишками.

— Да и то, — оговорила Аннушка, — это былое дело, а вот уже года два я не замечаю за Маремьяной Никифоровной старых проказ и всегда и во всем совершенно его довольна.

Таким образом, несмотря на энергию сыска, остроумные догадки Ремизова, показания Аннушки и пр., следствие подвигалось медленно и туго.

Но вот, одним вечером, в плохоньком трактире пригородной рабочей слободки, переодетый сыщик из маленьких услышал, как за ближним столиком рассказывают историю о найденном в Быке топоре. Ничего особенного в том не было: историей этой гудел не только весь город, но и весь уезд, если не вся

губерния. Но внимание сыщика привлекло любопытство, с которым прислушивался к рассказу — с ближнего столика — молодой рабочий, сидевший совсем в другой компании. Рассказчик, пожилой человек благочестивого и даже как бы аскетического облика, упирал на то чудесное обстоятельство, что топор найден был не на дне пруда, а вросшим в лед, — словно мол Господняя десница удержала его, вопреки естеству, — чтобы явить людям и дать нить в раскрытию великого греха.

— Чуда здесь никакого нет, — вдруг громко вмешался рабочий, прислушивавшийся с соседнего стола. — А просто не рассчитал человек: надеялся, — что спустил топор в полынью, ан, угодил в налед... Ее за ночь приморозило, — топор и остался поверх льда-материка подо льдом-молодытником...

Уверенный тон, которым говорил рабочий, показался сыщику подозрительным. Он выбрал случай заговорить с молодым человеком. Рабочий оказался формовщиком с Крумахерова завода. Сыщик подсел к нему и, без особенного труда, получил признание, что, кажется, он видел, как был утоплен топор в

Крумахеровом пруду. Несколько недель тому назад, по расчету, выходит, сутками двумя позже убийства, рабочий этот, в поздние сумерки, возвращался с завода домой, короткою дорогою, через Бык, по льду. Этак уже с полпути, он заметил, что с противоположного берега, по спуску от рабочих домиков, сошел человек и — вместо прямой дороги — взял влево. Рабочий понял из этого, что человек — нездешний, и испугался, не попал бы он там, налево-то, в полынью, не замерзающую, от сильного ключа, даже и в большие морозы. Он крикнул прохожему, чтобы поберегся, — полынья!.. Тот быстро пригнулся, должно быть, рассматривая, куда зашел, и повернул назад, па настоящую дорогу, на которой встретился с рабочим и поблагодарил его за окрик:

— Чуть было не утоп... Ногою уже в воде был... Спасибо, что крикнули...

Прохожий был небольшого роста, одет по-немецки, сильно замотан шарфом и в очках — синих или черных, рабочий не разобрал по сумеречному времени... Рабочий спросил:

— На завод?

Встречный отвечал утвердительно и назвал одного из директорских помощников, к которому он идет. На том и расстались. Уже поднявшись к рабочим домикам, рабочий вспомнил, что директорского помощника, названного встречным, сегодня нету на заводе: услан в уезд, — и пожалел, что не предупредил прохожего. Но его уже не было видно на пруду.

Встрече этой рабочий, конечно, но придал никакого значения — ни тогда, ни даже когда был найден топор. Мысль, что человеком, бросившим топор в воду, мог быть тот встречный прохожий, пришла рабочему только вот теперь — под впечатлением слышанного разговора.

Сыщик убедил рабочего пойти с ним в участок и сделать заявление. Из допроса директорского помощника, к которому будто бы шел прохожий, выяснилось, что его в тот вечер никто не спрашивал на заводе. Значит, прохожий рабочему солгал и на заводе не был, но прямо с пруда вернулся в город кругом, через другую заставу. Это было уже со-

всем подозрительно. Тогда помощника проэк-заменовали подробно обо всех его городских знакомых, а главное — не мог ли кто-либо из них знать наверное, что его не будет вечером дома. Оказалось, — что знать могли очень многие. Утром того дня помощник был, по заводским делам, в местном учетном банке и громогласно рассказывал служащим, — а могла слышать и публика, о том, что дирекция посылает его сегодня в уезд, к одному земле-владельцу, на экспертизу открывшейся в имении последнего белой глины.

Здесь рюриковское сыскное отделение блистательно отличилось. Несколько дней проверялось, кто именно из публики мог быть в тот час и в том отделении банка, где и когда помощник рассказывал о предстоящей ему поездке. В числе слышавших, оказался некто Фликс, — комиссионер и средней руки фактор, аферист из неудачников, который, в напрасной жажде разбогатеть, примазывался решительно ко всякому возникавшему в Рюрикове промышленному и торговому пред-приятию, лишь бы улыбнулась хоть тень вы-годы. Он получал тогда деньги по переводу и

отнесся к рассказу о глине с особым интересом, конечно, вполне в нем естественным. Фликса, по уходе его из банка, почти сейчас же видели закусывающим в баре. Он оживленно беседовал о чем-то с подошедшим к нему Мишею Гоголевым. Подозрительного тут ничего не было, но начальник сыскного отделения — словно по вдохновению — почувял «нить» и за нее схватился, на авось, по инстинкту. За Фликса взялись. он был очень изумлен, но без всякого запираательства показал, что, действительно, говорил с Гоголевым о глине, на разведки которой отправлен был с Кумахерова завода директорский помощник.

— Почему это могло быть интересно Гоголеву? А потому, что Гоголев не так давно говорил мне, что предвидит в скором времени получение значительного капитала, и спрашивал у меня совета как бы его выгоднее поместить... Так вот теперь я и советовал ему: если слух о глине окажется достоверным, приобрести акции Крумахерова завода, так как они должны шибко пойти на повышение. Но он отвечал, что — увы! — надежда обманула его, и деньги он, хотя получит, но, кажется, еще

очень нескоро и небольшие.

Этого, конечно, было мало, чтобы предположить в Мише человека, утопившего топор в Быке. Однако, на всякий случай, его искусно показали рабочему свидетелю. Рабочий Мишу не признал, да и установлено было, что Миша, в вечер потопления топора, находился совсем в другом месте. Денег он, действительно, ждал — по наследству от недавно умершей московской тетки своей, Марфы Алексеевны Винтовой, которую почитали очень богатую. Но по смерти ее, оказалось, что капитал еще прижизненно передан ею в руки некой богомольной петербургской купчихи Авдотьи Никифоровны Колымагиной на благотворительные и богоугодные цели, а недвижимое имущество находится в спорном владении. Так что, вместо чаемой Голконды, Мише перепадут сущие пустяки, да и то еще Бог весть когда. Все это узнали от содержательницы кафешантана «Буэнос Айрес», Агнии Аркадьевны Шапкиной, которая тоже была в числе наследниц и тоже горько обманулась в расчетах. Тем не менее, вокруг Миши стали сгущаться подозрения, сотканые из булаво-

ных мелочей, но каждое требовавшее поверки. Так, было выяснено, что, незадолго до убийства, Миша получил из Москвы сундук с вещами, который показался квартирной хозяйке несколько странным, так как железно-дорожные ярлыки на нем были старые и полубодранные. А вскоре после того Миша в своей печи спалил что-то, страшно навонявшее по всей квартире жженым пером и пригорелым салом. Когда хозяйка стала ему выговаривать, он очень сконфузился и объяснил, что жег свою старую переписку.

— Помилуйте, — возразила хозяйка, — что вы мне рассказываете? Бумагу даже нарочно жгут, чтобы очистить воздух, а ведь это зараза.

Тогда Миша, с еще большим конфузом, признался, что бросил в печь старое ватное одеяло, которое родственники имели глупость уложить вместе с другими вещами, не сообразив того, что оно — вещь вредная и давно подлежащая уничтожению: под этим одеялом болела и умерла в туберкулезе его, Миши Гоголева, мама. Вообще, за последнее время Миша Гоголев, по словам хозяйки, как-

то слишком много «вертелся у печек». Однажды хозяйка пошутила с ним, сказав, что дрова все дорожают, — вот, последние поленья на исходе, а денег нету, не знаю, чем завтра буду топить. И что же? Миша, добрая душа, принял ее шутку всерьез — и, на завтра, чуть свет, изрубил свой безобразный московский сундук и вытопил им, голубчик, две печи: в столовой и в детской. Как постояльцем, хозяйка Мишею не могла нахвалиться. Такого хорошего — кроткого, аккуратного, учливого и участливого умницы-жильца у нее никогда не было и не будет. Особенно выхваляла она Мишину трезвость и целомудрие. За два года, что он квартировал, у него не бывала ни одна женщина. А пьяным хозяйка видела его только один раз, — вот — когда какие-то злые люди напоили его на теткиных именинах. Зато как же он и стыдился после, милый! Верите ли, поутру, когда очуствовался, в такое пришел отчаяние, что совестился показаться людям, прислуге не позволил войти — комнату убрать. Сам все, что нагрязнил, привел в порядок и вычистил, и пол тряпкою вытер, и грязную воду вынес и вылил в раковину...

— Я даже рассердилась, зачем он так обижает себя? Нет ничего особенного: дело мужское, самое обыкновенное... Своего покойного супруга я, бывало, каждое двадцатое число, поджидаю в подобном виде... Так — что же, — говорит, — делать, Марья Тимофеевна? Натура на натуру не приходится. Я, говорит, кажется, до гробовой доски не забуду этого стыда, что допустил себя до подобного скотского бесчувствия... Боже мой! Боже мой! да неужели меня таким по городу везли? Если кто из знакомых видел? Как я теперь покажусь на улицу?...

Все эти простодушные хвалы были приняты в сыскном отделении с любопытством, которого смысл был, однако, далек от восхищения.

Миша подвергся передопросу, но очень осторожному, который он выдержал, несколько не смущаясь и очень свободно и охотно отвечая на вопросы.

За три дня до убийства, он, действительно, получил из Москвы от родных сундук с вещами, выкупленными из заклада. Дубликат накладной он, к сожалению, уничтожил, за

ненадобностью, но проверить получку легко по книгам багажного отделения местной станции и, если угодно, то вот имя и адрес отправительницы: Вера Александровна Холстякова, Москва, Уланский переулок, дом номер такой-то. Почему сундук пришел с железной дороги в таком обшарпанном виде, что даже ярлыки на нем показались хозяйке старыми, — Миша не знает. Сам был удивлен, когда получил вещь. Внутри сундука, однако, все оказалось цело и в порядке. Правда и то, что он сжег сундук. Но совсем не с теми благотворительными побуждениями, которые предположила хозяйка, — это он говорил ей просто в шутку, — а по той же причине, которая заставила его сжечь одеяло. Сундук слишком долго находился в спальне покойной Мишиной матери, скончавшейся от туберкулеза, и не мог не превратиться в рассадник заразительнейших микробов. Покойница была женщина простая и, вдобавок, не признавала характера своей болезни. Но соблюдала никакой осторожности, — кашляя, плевала и харкала где попало и т. д. У Холстяковой, — это Мишина сестра, замужем за банковым служащим в

Москве, — после нее, подозрительно закашляли двое детей. Миша, хотя и не получил правильного образования, человек культурный и следит за прогрессом. Он уважает гигиену и санаторию и знает, как опасна туберкулезная зараза. Будь он более состоятельным человеком, так он и все присланные вещи истребил бы, во избежание заразного риска. Но, к сожалению, такая роскошь для него не по средствам. Поэтому он сжег только одеяло, которое представлялось ему опасным более других вещей и, будучи изношенным, не имело никакой ценности.

По проверке фактов, все оказалось точно так, как показывал Миша Гоголев. Единственным неблагоприятным для него обстоятельством, которое обнаружила посылка сундука, было его близкое родство с Верою Александровною Холстяковой или, правильнее, Холостяковой, потому что так стояло в паспорте; а «о» дама эта выпускала только по капризу, потому что ей не нравилась фамилия мужа. Сама Вера Александровна, не замеченная лично ни в чем худом, кажется, была женщиной не худая, хотя и чрезвычайно взбалмош-

ная. Но супруг ее, Семен Автономович Холостяков, был хорошо памятен в полицейских списках, как господин, пять лет тому назад жестоко скомпрометированный участием в прескверном сообществе гомосексуалистов, раскрытом, впрочем, по его же доносу. В сообществе этом занимались не только развратом, но и более опасными делами-делишками, покуда еще только скользившими по границе уголовного, но уже готовыми ее переступить. Главою общества почитался юный господин с графским титулом, которого от тюрьмы и суда спас дом умалишенных: человек совершенно фантастического настроения, смесь жулика с жестоким психопатом-садистом, эпилептик и морфиноман, искренно вообразивший себя каким-то Гелиогабалом в пиджаке и громко проповедовавший, что он призван в мир, чтобы делать зло. Большого зла ни этот юный декламатор, ни его пестрая компания надумать не успели, но большие безобразия и несколько мелких мошенничеств, которыми беспутная шайка пыталась пополнить скудную кассу своих кутежей, привлекли внимание полиции. Холостяков,

очень двусмысленный и вульгарный господин из тех, которые одною ногою всегда стоят на пороге сыскного отделения и не служат в сыщиках только потому, что в сыщики их не берут, играл в сообществе очень важную роль, как организатор всяческого беспутства и разврата, но был достаточно осторожен и хитер, чтобы уклоняться от преступлений свойства приобретательного. Когда, после двух-трех удачных жульнических проделок, на суммы, впрочем, не свыше десятков рублей, фантазия Гелиогабала в пиджаке окрылилась до идеи воскресить в Москве знаменитейшее из ее преступных преданий — пресловутый клуб червонных валетов и, для первого дебюта, «помочь царю делать деньги», т. е. открыть фабрику фальшивых бумажек, — Семен Холостяков струсил и нашел, что время выйти из игры, — это уже не шутки... И донес. Правда, не о фабрике фальшивых бумажек: она существовала только на языке пиджачного Гелиогабала совершенно необузданном импровизировать злодейства, которыми он удивит мир и заставит упокойников в гробах сказать спасибо, что померли. Но о сообще-

стве, сложившимся с целью систематического нарушения статей 995 и 996 Уложения, уже натворившей и творящей великие мерзости, а собирающейся творить еще большие. Полиция неохотно доводит до гласности и суда подобные интимные преступления, раз они не производят слишком откровенного скандала или не осложняются серьезною уголовщиною. В данном случае она действовала тем осторожнее, что в сообществе, наряду со всякою швалью из подонков общества, вроде самого Холостякова, было замешано несколько молодых людей из знати и коммерческой аристократии. Следовательно, приходилось срамить семьи, являющиеся, в некотором роде, столпами отечества, пачкать имена, которые суть символ благородного патриотизма и приятно звучат для слуха высоких сфер. Поэтому предпочли дело смять и потушить в первом периоде дознания. Сообщество распалось и уничтожилось уже от одного предчувствия острастки, хотя последняя пришла к безобразникам не по суровому официальному пути, а больше — в виде «отеческого внушения». Гелиогабала в пиджаке семейный со-

вет упрятал в лечебницу для душевнобольных.

Поэт-декадент, барон Иво Фалькенштейн, стремительно уехал за границу. Примеру его последовали еще кое-кто из компрометированных. Однако, шила в мешке не утаишь. Молва расплзлась. Москва гудела злословием и называла имена. В связь с этим плачевным делом приводили и много на шумевшее тогда самоубийство студента, Сергея Чаевского. Редкая красота этого очаровательнейшего юноши, была известна, можно сказать, европейски— по картинам его родственника, знаменитого академика Константина Владимировича Ратомского. Сережа Чаевский не раз служил ему моделью и, в том числе, для юноши-поэта в наиболее прославленной картине Ратомского «Ледяная Царица» [См. "Закат старого века"]. Необычайно талантливый, симпатичный, порывистый, всеми, кто его знал, любимый, юноша-красавец застрелился как будто совсем беспричинно, не оставив никаких разъяснений, кроме обычного «в смерти моей прошу никого не винить»...

Но каковы бы ни были нравственные каче-

ства господина Холостякова, а из того условия, что сестра имела несчастье выйти замуж за развратника-негодяя, менее всего следует, чтобы брат оказался убийцею и грабителем. Словом, диверсия дознания в сторону Мишеньки кончилась ничем и даже с большею для него выгодой. Даже сыщик Ремизов, питавший большое предубеждение против молодого человека, уверился, что эту карту надо скинуть из игры, как лишнюю и бесполезную. Приглашение к следователю и едва не постигший арест нисколько не повредили Мишеньке в глазах рюриковцев. Напротив: на него смотрели, как на человека, чуть было не постигнутого напрасным несчастьем, что даже увеличивало симпатию к нему и как бы ввело его в моду. Его всюду охотно принимали, жалели, а он всюду столько же охотно и свободно рассказывал обстоятельства своего допроса, великодушно оправдывал подозрения лиц, производивших дознание, и следователя и, когда слушатели приглашали, скромно высказывал свои собственные предположения об убийстве. В них он явил много остроумия, сметки и способности к логиче-

скому построению. Слушали его с большим интересом, хотя некоторые из его гипотез производили не совсем приятное впечатление на тех из рюриковцев, которые, симпатизируя Аннушке, отстаивали ее полную непричастность к делу. Не то чтобы Мишенька обвинял Аннушку, — напротив: он прямо во всеуслышание говорил, что — Боже сохрани, чтобы он когда либо поверил, будто Анна Николаевна тут виновна. Пусть ее хоть все присяжные в мире приговорят, я и тогда не поверю. Но из всех его рассказов и соображений как-то выползло само собою, что, кроме Аннушки, некому было подготовить в бесшумном взлому окно, через которое вошли грабители. В предположениях об этой подготовке он высказал даже чересчур уж догадливое остроумие, которое походило на уверенную осведомленность. Вместе с тем, по мнению некоторых, Мишенька уж слишком настойчиво, словно кружево, плел доказательства, что ему никак нельзя было ни по времени, ни по месту, принимать участие в этой подготовке, ни, тем более, присутствовать при ее кровавых результатах. За Мишенькою, все-таки,

последствиями, и все его рассуждения становились известными Ремизову, а тот учитывал их безмолвно, но не весьма благосклонно. Он и сам не знал почему, но этот, всем нравившийся, красивый, рассудительный, приличный молодой человек, ему ужасно не нравился. Учел он и то обстоятельство, что Мишенька, усердствуя бросать темную тень на Аннушку, очевидно, не знает, что она уже пришла в себя и дает показания, и продолжает почитать ее, по городским слухам, сумасшедшею и, следовательно, как бы вычеркнутою из следствия. Своего рода — живую покойницу, а, ведь, мертвые, как известно, сраму не имут и, значит, мертвым телом хоть забор подпирай: вали на него, — что хочешь, — стерпит!..

За исключением Аннушки, в это время уже все, первоначально арестованные по делу, были освобождены, по явной неприкосновенности к преступлению, обнаруженной дознанием. Из числа освобожденных, мужчины, напуганные тюрьмою, поспешили разъехаться по своим деревням, но кухарка, крестьянка Маремьяна Никифоровна Блохина,

осталась в Рюрикове, сняла квартиру и стала промышлять комнатами с мебелью. Дело пошло успешно. Первым, кто снял у нее комнату, был Мишенька Гоголев, расставшись для этого с комнатою на Старо-кадетской улице, где он квартировал почти три года. Вторым явились какие-то безразличные, тихие пожилые супруги без детей, проживающие в Рюрикове из-за длинной судебной тяжбы, и очень от нее обнищавшие. Третьим — молодой человек, носивший странную фамилию Благоухалов. Он только что приехал из Петербурга помощником бухгалтера в одну рюриковскую промышленную контору, но контора прогорела и, как раз накануне прибытия Благоухалова, прекратила свою деятельность. Благоухалов остался на бобах и теперь день-деньской бегал по Рюрикову, ища места. Но не находил и только проживал, у Блохиной, последние свои сбереженьица, откровенно подумывая уже о закладе вещей. Уехать же не хотел, ибо говорил:

— Я упрям.

Мишенька Гоголев, вообще, не весьма поспешно сходявшийся с людьми, долго отно-

сился к упрямому Благоухалову с испытующею подозрительностью: что за тип и откуда взялся? Но добродушие милого юноши преодолело Мишенькины предубеждения и молодые люди сделались большими приятелями... Сближение их началось незадолго до того, как рюриковский прокурорский надзор и сыскная полиция получили жестокий нагоняй из министерства за медленность и безуспешность следствия по «Аннушкину делу». Следователь обиделся и подал прошение об отпуске, который и был ему дан. А к «Аннушкину делу» прикомандирован был разобрать его путанную паутину известный сих дел мастер Петр Дмитриевич Синев.

Взявшись за Аннушкино дело, он сперва тоже никакими конан-дойлевскими чудесами рюриковской публики не ошеломил. О нем даже начали уже поговаривать:

— Такая же баба, как все прежние!

В сыском отделении Синевым тоже были недовольны, так как он настоял на выделении дознания по Аннушкину делу в специальное ведение Ремизова, которого бесцеремонно характеризовал:

— Этот каналья у вас единственный и сколько-нибудь честный человек...

Но, вот, в одно прекрасное утро, разнесся по Рюрикову слух о ряде быстрых и энергичных арестов, однодневно произведенных по предписанию Синева в весьма разнообразных кругах местного общества. В первую очередь опять очутился под замком Мишенька Гоголев. А из других арестованных, кроме упрямого молодого человека Благоухалова и хозяйки меблированных комнат, крестьянки Маремьяны Блохиной, произвел наибольшую сенсацию арест одного юноши с громкой фамилией, но малыми денежными средствами, принадлежавшего к лучшему рюриковскому обществу и вхожему во все аристократические дома, не исключая губернаторского. Взят был также самый удалой и известный в городе извозчик-лихач, слывший под кличкой Алехи Оглобли...

Ход следствия держался Синевым в большой тайне. Тем не менее в городе скоро узнали, что — припертый к стене уличающими показаниями Оглобли и упрямого Благоухалова, оказавшегося подосланным от Ремизова

сыщиком, — Мишенька Гоголев принес, наконец, полное сознание в разбойном нападении, по предварительному умыслу и уговору, на дом своего бывшего хозяина и благодетеля, нотариуса Туесова, который и был при этом убит в самозащите. Сознался и сообщник Миши Гоголева — аристократический отпрыск, входящий в лучшие дома. Но, сознавшись, Мишенька в то же время уже решительно оговорил и Аннушку Персикову. С нею, по его словам, он имел любовную связь, и она приняла участие в преступлении под условием, что Мишенька, на ограбленные туесовские деньги, увенчает свою с нею любовь законным браком... На Синева показание Мишеньки произвело впечатление оговора по злобе, тем более, что другим соучастникам в разбое — аристократическому отпрыску и Оглобле — любовные отношения между Гоголевым и Аннушкой оказались совершенно неизвестными. Но их подтверждала свидетельница Блохина, хотя как-то неуверенно и — по убеждению сыщика Благоухалова — только пела с голоса Мишеньки, который, живя в меблированных комнатах Блохиной,

успел совершенно забрать сластолюбивую хозяйку в цепкие свои руки. Синев очень хорошо видел, что оговор шит белыми нитками и хотел уничтожить его одним рывком: свел Мишеньку и Аннушку на очную ставку. Но он слишком понадеялся на Аннушкино выздоровление. На очной ставке Аннушка сразу признала Мишенькин голос и впала в сильнейший истерический припадок, после которого ее недавний невроз возвратился к ней с новою силою, чередуя светлые промежутки с совершенным помрачением сознания... Оставалось опять лечить и ждать.

В таком положении стояло «Аннушкино дело» в момент, когда настояния присяжного поверенного Пожарского и Феничкин восторг к лэди Годиве прибавили к огромному свидетельскому сонмищу процесса еще одну свидетельницу в лице Виктории Павловны Пшенки.

VII.

Петр Дмитриевич Синев допрашивал Викторию Павловну не более получаса и, когда, отпустив и проводив ее со всеми любез-

ными извинениями, которыми, чем больше старел, тем богаче и щедрее становился, возвратился в камеру, то сказал своему письмоводителю:

— Наша прекрасная свидетельница сама, точно только что сейчас преступление совершила... Ужас, до чего нервная... Так и дергает ее при каждом вопросе... А с чего нервничать-то? Чисто формальный допрос... Письмом, которое она представила, исчерпывается все, что нам от нее надобно по существу... Остальное — так, вроде гарнира к блюду... И она достаточно умна, чтобы понимать... Да и, наконец, я-то уж старался, старался подчеркнуть это, ставил, ставил точки на i... Так что — умываю руки: это не мы ее развинтили, она уже к нам пришла развинченной...

Письмоводитель поддакнул:

— На меня она произвела впечатление серьезно заболевающей... Перед тифом я наблюдал, когда больной еще не отдает себе отчета, что захворал, тоже вот так-то людей бьет нервная лихорадка, и прыгают у них руки и речь...

— Нет, — задумчиво отверг Синев, — нет,

это не тиф... Тут моральное, психическое... Должно быть, большое горе приняла на себя и — прячет... Замечательно одинаковы все женщины подобного типа, когда ворвется в них какой-нибудь тайный стыд или страх, заляжет змеем на душе и давай их изнутри точить и разрушать... Она мне сегодня удивительно ярко напомнила покойную кухню мою, несчастную Людмилу Александровну Верховскую... Та, накануне своего самоубийства, совершенно так же вся ходила ходуном, точно у нее каждый мускул плясал на незримой ниточке, и ко всякой ниточке был приставлен незримый бес, чтобы ее дергать. [См. "Отравленную совесть"]

— Замужество-то, должно быть, приходится красавице не сладко, — заметил письмоводитель.

Синев пожал плечами.

— По-видимому...

Письмоводитель продолжал из-за бумаг, которые проглядывал:

— Курьезная и загадочная история это ее замужество... Тут у нас в Рюрикове одно время этого красноносого Пшенку, нынешнего ее

супруга, приняли было за какого-то богатого помещика с юга. Но теперь миф пал, и господин Пшенка оказывается ее же бывшим служащим или приживальщиком, человеком безусловно нищим, с сомнительным прошлым, грязной репутацией... На днях я обедал в «Белой Звезде» с Оливетовым. Знаете: частный поверенный, длинный, рыжий такой, всегда одет в самое пестрое, под англичанина, и совершенно сумасшедшие глаза?.. [См. "Законный грех"] Весьма любопытный господин и ужасно как много знает про всех рюриковцев, кто на виду... Он Пшенкам какие-то коммерческие дела обделывает— не то что-то продает, не то что-то покупает... Так этот Пшенка подошел к нашему столику и Оливетов нас познакомил. Они совершенно фамильярны, даже на ты... Тут я имел случай рассмотреть господина Пшенку близко: фигура, совершенно непристойная в хорошем обществе...

Синев, слушая, курил, кивал головою, улыбался и — подтвердил:

— Вот именно, что непристойная. Так и просится своею красноосою физиономиею,

что когда-нибудь, кто-нибудь ему преподнесет: — Что ты, любезный, здесь вертишься не у места? Ступай себе к своим обязанностям, — когда надо будет, позвоним...

— Уж вы, Петр Дмитриевич, скажете! чересчур!

— Да, нет, право же, так... Барин не барин, лакей не лакей. Платье хорошее, а сидит на нем, точно краденое или дареное с чужого плеча. И — словно сегодня первый день, что его научили умываться, постригли, причесали и вывели людей посмотреть и себя показать.

Письмоводитель засмеялся:

— Положим, что, по рассказам Пожарского, оно почти так и было... Всею своею нынешнею цивилизациею господин Пшенка обязан его верному Абраму Яковлевичу, который из лесного чудища привел его хоть в некоторое подобие человека...

Синев, тоже смеясь, продолжал:

— Вы посмотрели бы, как лакейски он струсил и извивался предо мною, когда я заехал к ним в гостиницу с визитом... Я того и ждал, что бросится калоши подавать... Прият-

но, должно быть, изящной женщине бывать в обществе в сопровождении такого благовоспитанного супруга... И, притом, уже пожилой человек, едва ли моложе меня, а мне, как вам известно, шестой десяток — и уже близко к перелому...

— Ну, вам что годы считать! Вы у нас еще совсем молодчина! Покрасить волосы — так и юноша...

— Юноша не юноша, — самодовольно принял комплимент Синев, — но все же от развалины далек... А ведь этому господину только плюща и осла не достает, чтобы изображать Силена накануне апоплексического удара... И на этакое-то сокровище променять князя Белосвинского?... Ведь я-то все знаю: у нее в Швейцария было с князем совершенно налажено, чуть ли не назначен даже день свадьбы... И, вдруг, однажды, сразу лопнуло — Почему, как, — чёрт их знает... Он направо, она налево... Князь уехал в Африку стрелять не то жирафов, не то львов, а она стремительно возвратилась в Рюриков и вышла замуж за это красноносое чучело... Как, что, почему, — опять-таки никому неизвестно. Узакон-

нили какую-то девочку...

— Да, ведь, говорят: дочь.

— Подите вы! Ей-то, может быть, и в самом деле, дочь, но разве по здравому смыслу, вообразимо, чтобы у подобной богини была дочь от господина Пшенки? Ведь в этот банк много вкладчиков было. Девочку — кто на князя сказывает, кто на покойного Наровича, кто припутывает какого-то актера... А господин Пшенка, просто, покрыл чей-нибудь грех...

— И вознагражден за то, потому что — я слышал от Оливетова — имеет полную от жены доверенность и распоряжается ее именем, как собственностью...

— Ну, вот видите. Нет, тут нечисто, — что хотите, но тут нечисто...

— А — к слову сказать, не забыть, — вспомнил письмоводитель, — я вчера в банке встретил княжеского управляющего...

— Шторха?

— Да, Андрея Андреевича... Сказывал: получал телеграмму от князя из какого-то такого места, что три часа искал по картам, — не нашел: то ли в Африке, то ли в Австралии... мало-мало, что не на том свете!.. Приказано

ремонтировать к осени в Белых Ручьях большой дом: его сиятельство намерены провести зиму у родных пенатов...

— Новость приятная, — одобрил Синев, — значит, будем иметь великолепнейшую охоту... Вы по этой части — как? любитель?

— Один раз в жизни был взят приятелями на облаву, да и то собственному псу хвост отстрелил...

— Нет, я, грешный человек, балуюсь... и очень... Ну, а князь — не знаю, как сейчас ему его почти позволяют, а то был совсем Немврод... Ружье его знают зверь и птица всех частей света. Ах, да и ружья же у него, разбойника! Кто эту часть понимает и любит, — умрет, а прочь не отойдет.

Расстройство Виктории Павловны, столь удивившее следователя, объяснялось тем, что, перепуганная вчерашним предсказанием Экзакустодиана до мистического ужаса, она мало, что всю ночь не сомкнула глаз, в буре размышлений, но еще и утром — как раз перед допросом — бросилась к знакомой акушерке для освидетельствования. Та сказала, что, покуда, не может сказать ничего реши-

тельного, — дело определится недельки этак через полторы или две, а похоже, как будто, что — да, имею честь поздравить, изволите быть в положении... Женским оракулом Виктория Павловна не удовлетворилась и только мучительно продумала о нем все время, покуда была у следователя и, в угрюмой рассеянности, едва отвечала, что и как попало, на его вопросы, совершенно переставшие ее интересовать. Тем более, как скоро она догадалась, что тревожилась за характер своего показания совершенно напрасно, — спрашивает ее Синев исключительно в пределах письма, ни в какие щекотливые отступления не вдается, и, значит, угрожающая роль лэди Годивы ее минула, по крайней мере, на предварительном следствии. Едва Синев освободил ее, Виктория Павловна сейчас же помчалась к лучшему рюриковскому врачу по женским болезням, Илье Ильичу Афинскому.

По возрасту, этой местной знаменитости давно уже пора была бы числиться в масти-тых. Но над Афинским сбывалась пословица, что маленькая собачка до старости щенок. После чуть не тридцатилетней практики в

Рюрикове, этот тощенький, жиденский, востроносенький, востроглазенький живчик все еще как-то ухитрялся не только быть в бесменной моде, но и слыть врачом передовым, вооруженным самыми, что ни есть, последними словами и средствами науки... только что не молодым!.. В действительности-то, Афинский, частью заторможенный, почти растерзанный огромною практикою, частью обленивавшись в ее обеспеченности, давным-давно уже запустил свои былые знания, как одичалое поле, беспечно оставленное под паром, и вряд ли даже когда-либо заглядывал в новую медицинскую литературу. Хотя специальных книг и журналов он выписывал множество, но злые языки уверяли, будто вся эта печатная мудрость поступала в великолепные книжные шкафы, предназначенные пугать доверчивых пациентов бездною докторской учености, неразрезанною, а за прогрессом медицины Афинский, если и следит, то разве по научным фельетонам «Нового Времени» и «Русских Ведомостей». За то природа наградила этого человека дарами, драгоценными для врача вообще, для гинеколога в

особенности: диагностическим чутьем — почти до вдохновения — и «легкою рукою». А отсюда большою смелостью в назначениях и оперативной технике. А сверх того — и это, может быть, было самое главное — весьма резвым и веселым характером, именно благодаря которому Афинский, покладисто и фамильярно приспособляясь к быту и нравам своих пациентов, мало, что завоевал под свою руку весь Рюриковский женский monde, но и упрочил завоевание до непоколебимости. Остальные рюриковские акушеры и гинекологи, хотя между ними были ничуть не уступавшие Илье Ильичу ни знаниями, ни способностями, только тою добычею и существовали, подобно шакалам или гиенам, которую оставлял на их горемычную долю, Афинский, как некий, хотя прожорливый, но, все же, великодушный лев. Если уж Афинский начинал лечить в чьей-либо семье, то навсегда оставлял ее за собою как бы в крепости, на освобождение от которой закабаленные даже не покушались: ну, разве можно, мол, обидеть нашего милейшего Илью Ильича и перебежать от него к другому врачу? как же потом

ему — милому человеку — в глаза-то смотреть, встречаясь с ним в обществе?..

А в обществе рюриковском Илья Ильич был человеком ходовым — не хуже покойного нотариуса Туесова, с которым искони соперничал в покровительстве всевозможным художествам и искусствам и даже имел пред ним некоторые преимущества. Туесов не обладал музыкальным слухом и, хотя притворялся ужасным меломаном, но, в действительности, был по этой части туп и неразборчив. Афинский же не только премило играл на рояли и слегка импровизировал, но смолodu готовился к оперной карьере, в тенора, учился в Петербурге у знаменитого Эверарди и, по темным слухам, даже дебютировал где-то Раулем или Фаустом, но, жестоко провалившись, бежал из жестоких объятий музы Полигимнии в лоно более снисходительной богини Гигии. Однако, посрамяв бедного Афинского на публичной сцене, святое искусство дало ему полный реванш в интимном быту, явившись огромным подспорьем для завоевания им славного города Рюрикова. За тридцать лет в Рюрнкове переменялось нема-

ло губернаторов, но губернаторши, почти все подряд, одна за другою, оказывались — которая рьяною музыкантшею, которая певицею, которая, просто, усердствовала помогать супругу в «объединении общества» и, стало быть, разрывалась — старалась по устройству любительских концертов и спектаклей, литературно-музыкальных вечеров, благотворительных балов и маскарадов, живых картин и проч. и проч. Таким образом, все тридцать лет Илья Ильич Афинский оставался в губернаторском доме, какие бы административные перемены ни переживались, бессменно необходимым человеком. А это давало тон и всему рюриковскому обществу. Ни один великосветский концерт в Рюрикове не проходил без того, чтобы Илья Ильич не появился на эстраде и, потрясая седенькими кудерьками, обрамляющими розовенькую лысинку, не провопил бы гласом дребезжащим, но великим — так что даже удивительно было, как столько рева может исходить из такого маленького и худенького существа — арию Элезара из «Жидовки»:

„Рахиль, ты мне дана небесным

Провиденьем“...

Любил Афинский также завлечь в свои коварные дилетантские сети какую-нибудь дамочку или девицу с достаточно легким соргано, чтобы оглушительно проорать с нею — и непременно по-итальянски! — дуэт из «Ромео и Джульетты» Гуно, который он считал своим коньком:

„А, нон партир ми, тачи!“

„А, нон партир ми, тачи!“...

Рюриковские клубные остряки уверяли, будто по-русски это обозначает:

„Голос у Ильи собачий!“...

Но злоречие празднолюбцев не мешало Афинскому твердо держать знамя первого рюриковского певца-дилетанта и музыкального знатока, вне конкуренции. Можно было залюбоваться им, когда он, маленький, седенький, но с значительнейшим выражением крошечного личика и гвоздеобразных серых глазок, делал маленькою ручкою маленькие жесты и авторитетно дребезжал:

— Бог в небе, Толстой в литературе, Вирхов

в науке, Венера Милосская в пластическом искусстве, Камилло Эверарди в пении...

Если в Рюрикове гастролировала опера или концертировала какая-нибудь звезда музыкального мира, редактор «Рюриковского Листка» приезжал к Илье Ильичу кланяться о статейках. Афинский, каждый раз польщенный до глубины признательного сердца, сперва, каждый же раз, считал своим долгом помолиться:

— Ну, какой я вам дался литератор? Мое дело — латинская кухня: рецепты строчить...

Но затем — как распишется — унять его нельзя! хоть связывай!.. Катает каждый день статьищи столбца по четыре, так что, хотя материал и бесплатный, «Рюриковский Листок», издаваемый в формате носового платка средней величины, начинает стенать: некуда ставить городской хроники и хоть вынимай из номера посещение его превосходительством, господином начальником губернии, новооткрытого приюта для вдов и сирот лиц евангелического вероисповедания, состоявших на государственной службе не менее 35 лет...

Рецензии свои Афинский подписывал псевдонимом «Манрико» и усиленно фаршировал самодовольными экивоками, вроде:

«В наш упадочный век, когда так редки представители истинного итальянского *bel canto*»...

Или:

«Артист недурно распоряжается своими недюжинными голосовыми средствами, но наш избалованный Рюриков, который даже в своей скромной любительской среде знает учеников великого Эверарди, трудно удивить вокализацией»...

А то, вдруг, щегольнет — пустит и таких жучков:

«Мой гениальный друг Анджело Мазини однажды показал мне в арии Фернандо интересный нюанс»... «Мы много спорили об этой фразе Германа с многоуважаемым Н. Н. Фигнером, и этот великолепный и тонкий артист, в конце концов, должен был согласиться, что истина не на его, но на нашей скромной стороне»...

В клубе клялись, что, когда Илья Ильич охвачен демоном музыкальной критики, он

не ест, не пьет, не спит. А, как медик, становится невменяемым на столько, что однажды, будто бы, даже собственную супругу свою оставил без помощи при родах, потому, что спешно дописывал рецензию о концерте Шаляпина; а почтенная Ольга Николаевна, по свойственной женщинам строптивости, никак не хотела обождать родить, пока увлекшийся супруг поставит точку. Меломанство Ильи Ильича, действительно, граничило с болезнью. Даже на визитации он не мог воздержаться, чтобы не насвистывать оперных арий, не напевать романсов, не рассказывать анекдотов о знакомых артистах, портретами которых была увешена его щегольская квартира. Те же клубные остряки изобрели, что, будучи приглашен к одной из губернаторш, при весьма трудных родах, Афинский, когда роженица начала уж очень сильно вопить, не нашел ничего лучше, как спеть ей:

*За миг свиданья
Терпи страданья!..*

Другие врали и того злее, будто в кабинете Ильи Ильича долгое время висело изображе-

ние покойного А. Г. Рубинштейна в гробу, но с собственноручною подписью: «Другу-приятелю Илье Афинскому от сердечно любящего Антона»...!

Но, при всех своих маленьких и маленьким же смехом вышучиваемых слабостях, Афинский в Рюрикове был и любим, и уважаем, как человек не только знающий свое дело и успешный удачник в его практике, но и безусловно порядочный, как его ни поверни: профессионально ли, граждански ли, в обществе ли, в семье ли. Подчиненные в больницах его обожали за мягкость обращения и участливость к их нуждам, пациентки — за бескорыстие и внимательность. Женскими дружбами и конфиденциями Афинский мог бы хоть поезда грузить, но — о, величайшая редкость для женского врача! — умудрился пережить тридцатилетнюю практику, не имев никакой соблазнительной «истории» даже по сплетням, не говоря уже — о фактах... Женат он был, как полагается ходовому врачу женских болезней, на весьма богатой и чрезвычайно образованной купеческой дочери, которая содержала его в великой строгости.

Совершенно, впрочем, напрасно, так как трезвостью и целомудрием Илья Ильич был одарен уже от самой природы даже в преувеличенном количестве. Если бы хотя лишь в ночном сне случилось ему увидеть, будто он изменяет своей обожаемой Олюсеньке, то, наверное, поутру он заболел бы от угрызений совести и страха, Олюсенька это и сама прекрасно знала и, если не выпускала супруга из ежовых рукавиц, то отнюдь не по ревнивым каким-либо опасениям, а, просто, имела уж такой повелительный характер и с детства восприняла житейское убеждение и методы, что мужчина только тогда и удовлетворителен, когда безгласно лежит под башмаком.

Викторию Павловну Афинский знал давно. Когда-то они в каком-то концерте пели какой-то дуэт. С тех пор Илья Ильич, вообще обладавший старомодною привычкою давать всем знакомым фамильярные клички, заменяющие, при личном обращении, имена, звал Викторию Павловну, при встречах, не иначе, как «примадонною». В былые годы, когда она металась в напрасных поисках призвания, случилось ей взять несколько уроков пения

именно у Эверарди. Этим случаем она завоевала себе Илью Ильича в друзья вековечные. И сейчас, получив ее визитную карточку, — немножко поразмыслив, Виктория Павловна послала ему такую, из старых, где значилось только девичья ее фамилия, — Афинский принял ее сию же минуту, не в очередь громадной записи смиренно ожидавших пациентов.

— Примадонна! — задрбезжал он высоким фальцетом, идя — маленький, сухонький, седенький, с трясущимися кудерьками — навстречу ей, входящей в двери, — вас ли вижу? Очень рад, очень рад. Как поживает ваше чудеснейшее контральто? Что? Не поете? Бросили? Ах, греховодница! запустить такой великолепнейший дар Божий! Кому же было учиться, если не вам? Конечно, вы правы: да! да! да! у кого теперь учиться? Наш великий Камилло в гробу... Остальные — голь, шмоль, ноль и компания... Но я слышал: вы долго были за границею... Что же теряли время? Там-то ведь еще есть кое-кто из старой гвардии... Конечно, до Камилло всем им далеко, но — что делать? За неимением гербовой,

пишем на простой... Итак, вы опять в Рюрикоче? Великолепно, примадонна!.. Как-нибудь сойдемся вечером — помузицируем... Дуэтик споем... Например, из «Князя Игоря», — знаете? Кончаковна и Владимир Игоревич:

*Любишь ли ты? Любишь ли ты?
Любишь меня?
Скоро ли ты? Скоро ли ты? Бу-
дешь моей?
Скоро ли я
Назову тебя
Мо-о-о-ей?
Ладой моей?
Моо-е-е-ей женой?*

Больные в приемной, вероятно, весьма смутились неожиданным концертом, долетевшим до их ушей из докторского кабинета. Но Виктория Павловна не препятствовала и не унимала, памятуя, что, если Илье Ильичу навернулась в мысли какая-нибудь мелодия, то он на несколько минут впадает как бы в экстатический столбняк и, куда не прокричит в свое удовольствие, говорить с ним почти бесполезно. Даже не поймет. Только, знай, будет хлопать не довольными, нетерпе-

ливыми, бессмысленными от ушедшей в музыкальную даль мечты, глазами...

Терпение ее было немедленно вознаграждено. Откричавшись, Илья Ильич самодовольно щелкнул языком: знай, мол, наших! — похвалил со вздохом:

— Ах, что хотите, а великий гений был покойный друг мой Александр Порфирьевич!

И, успокоенный, зататорил с прежнею быстротою, уже совсем иным тоном:

— Ну-с, какому же приятному случаю обязан вашим посещением? Концерт? спектакль? благотворительный вечер? Потому что — надеюсь, вы-то ко мне уж, конечно, — как к артисту, а не врачу?

— Не надейтесь: напротив, именно за врачебным советом...

Илья Ильич даже всплеснул маленькими беленькими ручками, которые, изяществом и миниатюрностью своею, некогда определили для него факультет и избранную специальность и которыми он и по сие время гордился почти не меньше, чем голосом и эверардиевскою школою.

— Что я слышу, примадонна? Вы больны?

вы нуждаетесь в совете гинеколога? Ушам не верю: всегда считал вас идеалом здоровья... А, впрочем... те-те-те! позвольте, позвольте... я что-то где-то слышал о вас краешком уха, будто вы вышли замуж?

— Да уже пятый месяц.

— Доброе дело, доброе дело... Поздравляю, поздравляю... А почему же на карточке-то, которую вы мне послали, осталась девичья фамилия?

— Да ведь вы новой моей фамилии не знаете... боялась, что незнакомую не примете, заставьте долго ждать... А новой фамилии моей, не сомневайтесь, не скрываю. Рекомендуюсь — Виктория Павловна Пшенка... Для примадонны, как вы меня зовете, не очень благозвучно — неправда ли?

— Отчего же? — возразил врач, внимательно вглядываясь в нее и удивляясь нервности, с которой она говорила. — Что неприятного слышите вы в Пшенке? Вот, я помню, у Эверарди был ученик, бас, из малороссов, — так его фамилия была Таракан... это, действительно, по-русски не очень хорошо, даже для баса. Но итальянцам, представьте, очень нра-

вилось... Та-ра-кан... Та-ра-кан... Находили, что удобно для вызовов... Однако, я знаю, — кажется, — все наше губернское общество на перечет по пальцам, а, между тем, фамилию Пшенки мне не приходилось слышать... Супруг ваш, вероятно, не здешний?

— Да, нездешний, — нетерпеливо подтвердила Виктория Павловна. — Итак, дорогой Илья Ильич...

Но он не дал договорить ей:

— Итак, поздравляю еще раз... А — что касается болезни, то, для юной дамы, переживающей пятый месяц супружества, я, вероятно, угадываю ее и без опроса... так, ведь, а?

И весело, весело рассмеялся дробным хохотом молодого сердцем и благою духом старчика, который, от большой уверенности в своей целомудренной порядочности и репутации, не прочь иногда и пошутить с некоторою скабрешностью — впрочем, наивнейшею и скромнейшею.

— Дело житейское, примадонна, дело житейское... Да — что вы так волнуетесь, право? Оставьте, не трусьте: совсем не страшно. В народе говорят: крута гора, да забывчива. И по-

верьте: если бы было уж так нестерпимо, то вдовы не выходили бы замуж... Нескромный вопрос, примадонна: вам который годок?

— Тридцать три...

— Гм... для первородящей несколько запоздали, но — с вашим сложением...

— В том-то и дело, Илья Ильич, — прервала Виктория Павловна, дрожа руками и подбородком, — в том-то и сомнения мои, что... что, если бы это было в самом деле... если бы... то я... к сожалению, я не первородящая...

И — уставившемуся на нее с глубоким, профессиональным вниманием — рассказала трепетно и подробно процесс первых своих родов, произведенной ей после них операции, последовавшего затем тринадцатилетнего бесплодия...

— Так-с, — выслушал и вздохнул врач, — антракт, действительно, продолжительный и не совсем обыкновенный. Длиннее даже, чем в Мариинском театре, когда идут вагнеровские оперы... «Тристана и Изольду» слышали? Ершов и Литвин изумительны... Да-с... А обычные женские сроки свои когда изволили отбывать в последний раз?.. Не знаете точно?

Ну, еще бы. Не были бы русскою дамою, если бы помнили. Ах, вы, легкомысленнейшие создания мира сего! Вон — учитесь у соседок: немочки-умницы — каждая имеет в сумочке календарик и отмечает дни красными крестиками...

— Да... это, конечно, неосторожно и глупо с моей стороны, — сконфуженно согласилась Виктория Павловна, — но я как-то никогда не умела делать события из этих... обстоятельств... Приходят, уходят... почти не замечала... а уж хронология и вовсе из памяти вон...

— То-то вот, что здоровы очень, — с обычным вздохом заключил врач. — Болело бы — так помнили бы.

Предложил еще несколько вопросов относительно общего состояния здоровья и встал с места.

— Ну-с, примадонна, будьте любезны прилечь. Надо вас исследовать по всем правилам нашей науки...

Кабинет Ильи Ильича сверкал громадным шкафом, за стеклами которого сияли грозною сталью разнообразнейшие зеркала, зонды, щипцы, жимы, катетры, и, в особенности,

ножницы и ножи: совсем застенок или отделение паноптикума, показывающее «пытки инквизиции». Кабинет Ильи Ильича был заставлен снарядами, наводящими на простого смертного унылое недоумение, видит ли он средневековую дыбу или Прокрустово ложе. Какие-то кресла предательского вида — вроде тех легендарных, на которые, будто бы, при Николае I, в третьем отделении присаживали провинившихся господ и дам знатного звания для приятия негласного наказания на теле. Какие-то столы с ремнями, скобами и дырами, внушавшими испуганному уму мысли о вивисекции или, по крайней мере, о свежесвальном отделении образцовой бойни... Кунсткамера содержалась в щегольской опрятности. Илья Ильич очень любил показывать ее гостям своих пятниц, с наслаждением изъясняя профанам, какой нож называется скарификатором, какие ножницы метротомом, что есть троакар, что есть экразер, почему зеркало Симона он предпочитает зеркалу Симса, и какую уйму аппаратов в этом роде надумали англичане и американцы. Но — какое бы новое изобретение ни объявилось

там у них в каталогах, а оно у него, Ильи Ильича Афинского, хотя и прозябающего в Рюрикове, уже вот оно, есть. В особенности он гордился одною кушеткою, презаманчиво обитою красным плюшем, на которой усиленно приглашал прилечь любопытствующих. Но редко находил охочих. Потому что в городе твердо держался рассказ, может быть, и легендарный, будто рюриковский предводитель дворянства, мужчина восьми пудов веса и соответственного телосложения, имел неосторожность поддаться соблазнам Ильи Ильича и возлег на предлагаемый одр. А Илья Ильич — как повернет какую-то рукоятку: кушетка сразу превратилась в стол для исследования, — предводитель и вознесся на него, во всем своем великолепии, с ногами в таком положении, которое дают больным при операции камнесечения.

Но это уже не злые языки, а решительно все пациентки, обращавшиеся к Илье Ильичу, утверждали, что, щеголяя своим гинекологическим застенком пред здоровыми знакомыми, он никогда не тревожил ни шкафа с страшною сталью, ни гимнастических снаря-

дов с внезапностями для серьезно исследуемых больных. Когда-то смолоду, быть может, верил в чудодейственную силу и надобность сложных и дорогостоящих аппаратов, но, давно уже, как почти всякий старый врач по женским болезням, приведен был практикою к скептическому взгляду, что вся эта хитрая механика — от лукавого, и нет критерия надежнее собственных пальцев да острого зрения. Так что великолепные инструменты и снаряды лишь учено грозились на больных из шкафа и из углов, а действительную службу несли только старенькая и довольно уже потертая Фергюсонова трубка и не менее пожилая и облезлая, морозовским Манчестером крытая, кушетка, не скрывавшая в себе решительно никаких сюрпризных фокусов, но к которой Илья Ильич так привык и приспособился, что не променял бы ее на все лукаво мудрствующие столы Англии, Америки и Германии...

Совершив осмотр, Илья Ильич вымыл руки спиртом и, вытирая их одна о другую, покачивал головою в кудерьках, косился на Викторию Павловну, с лица которой страх

ожидаемого приговора мало-помалу стонял густой румянец только что пережитого стыда, и дребезжал:

— Эка здоровья-то, эка здоровья-то отпущено вам благою матерью природою... «Полна чу-чудес приро-о-ода»... помните, примадонна, Берендея из «Снегурочки»?.. Ах, велик мой дорогой друг Николай Андреевич, велик!.. Дас! И вы, примадонна, в некотором роде, то же чудо природы... Если бы вы меня не предупредили, что вас когда-то как-то оперировали, я бы не предположил... Вы идеально здоровая женщина, — понимаете, примадонна? Идеально! На выставку вас!.. Что же касается ожидаемого нового пришельца, положительно утверждать еще не смею, но допускаю вполне возможным и вероятным... Но не извольте бледнеть и трястись: совершенно не от чего! Пустое, пустое!.. Женщине с вашим тазом роды не страшны не то, что в тридцать, а хоть в пятьдесят лет... Стыдно, просто стыдно, сударыня моя, что столько лет потеряли даром. Что это, право? Петь не училась, детей не рожала: все таланты втуне! Есть женщины, которым я законом запретил бы детопро-

изводство, чтобы не разводили человеческой гнили на земле, а вот вам подобных я законом обязал бы: рожать, рожать, рожать! кормить, кормить, кормить!

— Если я так здорова, доктор, — отозвалась Виктория Павловна задушенным голосом, тщетно стараясь возвратить на пожелтевшее от бледности лицо свое хоть слабое подобие спокойствия, — то чем же вы, как человек науки, объясните мое тринадцатилетнее бесплодие и теперь — вот — внезапный конец его, без всяких новых причин? Согласитесь, что это ошеломляет... похоже именно на чудо... природы...

Она пыталась засмеяться, но вышла только гримаса на лице, да хриплая судорога в горле, сквозь которую она продолжала, задыхаясь, скрытно опустив виноватые блуждающие глаза:

— Тут... одни люди так именно и пытаются убедить меня, что это чудо... к-ха! то есть, вы понимаете: религиозное чудо... к-ха!.. Бог простил грешную неродиху и послал ей плодородие в законном браке...

Афинский смотрел на Викторину Павловну

с большим изучающим любопытством.

— Чудо не чудо, — медленно выговорил он, наконец, — а клинический случай замечательный... Определенного ответа на ваш вопрос я не могу дать потому, что не знало, как именно операция была вам сделана тринадцать лет тому назад... И справиться не у кого, потому что профессор, производивший вам операцию, давно умер... А бесплодие — что такое? Собственно говоря, для женщины вашего возраста бесплодия не существует вообще. Есть только трудность зачатия, обусловленная механическими препятствиями, с которыми болеющий организм борется, как со всяким регрессивным явлением, не допускающим живую особь в размножению своего вида. Наша медицинская помощь на то и выдумана, чтобы облегчать организму эту борьбу, но, вот, как мы видим на вашем примере, иногда организм побеждает и сам собою...

„Победа, победа, Людмила!“...

запел он из «Руслана» и, с умилением просмаковав в уме красивую фразу, продолжал, все еще с тем восторженным взглядом, которым зажгло его серенькие глазки музыкаль-

ное воспоминание:

— Я думаю, что неудачная ли операция, которой вы подверглись, имела последствием, другие ли причины повлияли, но, вскоре после первых родов, вы приобрели перегиб матки вперед в более или менее высокой степени. Определить ее задним числом невозможно, потому что сейчас вы здоровы, как редко можно видеть женщину в современном обществе. Умеренная степень перегиба вперед многими авторитетами признается даже за нормальное явление, с которым вы можете жить годы и годы, даже не замечая его в себе. Потому что, если оно не сопровождается дисменорреей, то не влечет за собою никаких болезненных припадков, и единственным указателем остается тогда, вот, именно временное бесплодие, подобное бывшему вашему...

— Хорошо, — с нетерпением перебила Виктория Павловна, — эту часть вашего диагноза я понимаю и принимаю... Не трудно... Вы мне исцеление мое объясните! — вот в чем загадка, которую мне в чудо-то ставят...

— А вы не религиозны? — с спокойным любопытством осведомился врач.

Она неопределенно мотнула головою.

— Не знаю...

— Я потому интересуюсь, — объяснил он, — что очень религиозным женщинам, действительно, Микола Чудотворец чрезвычайно как помогает... иногда — куда больше нашего брата... Но, если «не знаете», то на этой степени веры ни прямого самовнушения, ни обратного не бывает, а, следовательно, не бывает и религиозных чудес...

Афинский задумался.

— Вы никакого курса общего лечения не проходили в последние годы?

Виктория Павловна отрицательно качнула головою.

— Последние годы мои были сплошным курсом общего не лечения, а расстройства, — сказала она с горестью, — расстройства душою и телом... Какое уж там общее лечение!

— А за границею-то вы что же делали? Было бы вам покупаться в Франценсбаде, водицы попить...

— Мучилась тоскою по дочери, нервничала, перессорилась с лучшими друзьями, потеряла аппетит, сон вес и — если бы не верну-

лась в Россию, то, вероятно, сидела бы теперь где-нибудь в безумном доме...

— Странно, — протянул Афинский, потирая переносицу средним и указательным пальцем правой руки, что свидетельствовало у него о большом и несколько смущенном любопытстве. — Очень странно. Видите ли — в иных случаях, подобные перегибы объясняются не местными какими-либо причинами, но общим расслаблением тканей и вялостью других жизненных органов. И вот тогда, хотя и редко, но бывает, что попытается больная железцом, покупается в море, либо в щелочной и железистой водице, погуляет в деревне несколько месяцев на хороших харчах, словом, что называется, попасется на подножном корму, *procul negotiis*, глядь, организм-то и окреп. Ткани восстановились, вялости органов — как не бывало, а с ними — сам собою — прощай и перегиб...

— Не знаю, — мрачно усомнилась Виктория Павловна, — лечебных курсов я никаких не проделывала, а о том, как жила, вы сейчас слышали... Если эти перегибы могут проходить от беспокойства, горя, стыдных волне-

ний и страхов, опасений за будущее, то в таком случае мне было чем вылечиться... Иначе придется, кажется, в самом деле, признать чудо да на том и остановиться...

Афинский пристально смотрел на нее.

— Извините мое замечание, — вымолвил он в ответ, — но врачи, особенно моей специальности, для женщины все равно, что духовник... Я нахожу, что для новобрачной, переживающей всего пятый месяц супружества, вы несколько унылы...

Виктория Павловна подняла на него глаза, полные страдальческой усмешки.

— Несколько!.. Я полночь в душе ношу: вот оно какое мое несколько... Скажите мне, что я не беременна, — может быть, и оживу...

— Я не могу взять на себя такой ответственности. Если бы дело шло о пятом месяце, даже о четвертом, то не поколебался бы вас успокоить, что нет ничего похожего. Но по вашим расчетам может быть только второй месяц в середине или конце. Тут и вообще то врач должен быть осторожен, а уж в особенности, когда пациентка сама возбуждает столько сомнений. В своих менструальных

сроках вы не уверены, да теперь этот признак, хотя и важнейший, уже вычеркнуть из числа абсолютных. Матка увеличена, но шумов нет, аускультация, значит, покуда безмолвна: не утверждает и не отрицает. Грудные железы как будто напряжены больше нормы, но вы обладаете вообще очень энергичною грудью, — следовательно, до появления молока, это не признак. Соски пигментированы довольно темно, по вы брюнетка и не перворождающая: опять не признак. Есть то, что французские врачи называют *lie de vin*, но сейчас этот признак, который прежде считался непогрешимым, нами упразднен вовсе: это такая же народная примета, как малиновые губы и странное, внутрь устремленное выражение глаз. Местных варикозов нет и следа. Вообще, с объективными признаками дело обстоит, покуда, неясно, слабо и двусмысленно. Надо с ними переждать недели две или даже три, как и рекомендовала вам ваша акушерка...

— Илья Ильич! я, за этот срок, с ума сойду!

— А что же мне делать? По субъективным признакам, вроде головокружения, тошноты,

затылочных болей и пищевых прихотей, теперь определяют беременность только деревенские бабки-повитухи. Если хотите слышать мое мнение... только мнение! — то, пожалуй, скорее — да: вы беременны... Если вы настаиваете на точном определении, — наука просит извинения и приглашает вас через три недели для выслушания окончательного диагноза и решительного приговора...

*Я пррриговор твой жду,
Я жду решения*

запел он, привставая и тем давая знак, что прием кончен...

*— иль нож ты мне в сердце вон-
зишь,
Иль рай мне откроешь...*

Эх, неблагодарные времена, неблагодарные люди! Забывают Петра Ильича... А, ведь, что хотите, все-таки, гений! Вы согласны, что гений?..

Он проводил Викторию Павловну до двери, но здесь последний взгляд на отчаянное лицо и как бы даже согбенную под гнетом страха фигуру пациентки внушили его добро-

му сердцу великую жалость и как бы некоторую догадку.

— Послушайте, — сердечно сказал он, дружески задерживая руку Виктории Павловны в своей, — вы так волнуетесь, что... ну, словом, позвольте повторить вам, что врач тот же духовник, и предложит несколько нескромный вопрос: супругу вашему известно, что вы отправились ко мне для определения вашего положения?

— То есть, иными словами, — медленно произнесла Виктория Павловна, не отнимая руки, — желаете знать: беременна ли я от мужа и скажу ли ему, или от кого-нибудь другого и не знаю, как скрыть от мужа?.. Нет, доктор, в этом отношении — полная гарантия: если беременна, то только от мужа... все обстоит в наизаконнейшем порядке... слишком в порядке!

Она подняла глаза и в великолепном звездном блеске их Афинский опытно прочел, что она говорит правду.

— Ну, вот видите, примадонна, — сказал он, несколько сконфуженный за грубое подозрение, — вот видите, как вы умеете быть

смелою: прямо — цап быка за рога... Значит, обиняки с вами излишни... Но тогда убей меня Бог, если я понимаю, что вас нервирует... В семейную психологию врываться не считаю себя в праве и не люблю... Но, если, как немцы говорят, ваша собака зарыта не в этой области и просто обуял вас физический страх пред родами, — еще и еще настаиваю: бросьте... Обещаю вам лично принимать вашего будущего и вот увидите, как легко обойдется дело: родите— будто на маслянице с ледяной горы скатитесь... «Широкая масляница! ты с чем пришла? ты с чем пришла»?.. Итак, имею честь кланяться. До свидания через три недели... А, нет, нет! Вот это уж лишнее: извольте спрятать обратно в сумочку... С товарищей не беру... мы с вами товарищи по искусству... с товарищей не беру... Супругу вашему, хотя и не имею чести его знать, мое нижайшее почтение...

— Не пойду я к тебе через три недели! — в мысленной злобе восклицала, про себя, Виктория Павловна, идя от Афинского, солнечною, жаркою улицею. — Что сказал? Это я и без тебя все знала, что ты сказал... Был пере-

гиб — не было детей, исчез перегиб — зачался ребенок... Трудно как сообразить, подумаешь! Ты мне объясни тайну, во мне сотворившуюся, если на то достанет твоей науки, а иначе — грош ей цена и тебе с нею вместе...

Она шла как раз мимо собора, ярко сиявшего, под юным майским солнцем, белыми стенами и пятью золочеными главами... Блеск их показался Виктории Павловне даже оскорбительным, будто злорадным...

— Ишь слепит! — подумала она, — точно победу надо мною торжествует... Что же? Правда ведь... Здесь, по крайней мере, не просят отсрочки на три недели, а рубят напрямик, без компромиссов и условностей... Чудо — и на колени перед ним! без разговоров! веруй и трепещи — трепещи, но веруй...

Кораблевая форма старинного рюриковского собора как-то впервые привлекла ее внимание:

— Какой гордый фрегат выстроили!.. Несется себе по житейскому морю, на белых парусах, мачты светят золочеными маковками, крест, как солнечное знамя, сыплет искрами... Не для нас!.. Mit schwarzen Segeln

segelt mein Schiff wohl über das wilde Meer... Но как, же устала я от этого бесконечного плаванья под черными парусами, как оно меня истомило и издергало!.. Пересечь разве под новый-то флаг? Доставить Экзакустодиану торжество, отцу Маврикию удовольствие? А себе что? Розовый самообман, убаюкивающий глупцов? Так — неспособна!.. Вчера Экзакустодиан требовал: если не веруешь, сознайся, скажи... Не посмела, промолчала!.. Сегодня вот эти главы сверкающие смотрят — будто приглашают: ведь, веруешь же! сознайся, скажи, иди к нам!.. Не смею, молчу... Было бы смолоду — может быть, даже кокетничала бы сама с собою нерешительностью-то... Как же! Фауст в юбке!..

*Wer darf ihn nennen?
Und wer bekennen:
Ich glaub ihn?
Wer empfinden,
Und sich unterminden,
Zu sagen: ich glaub ihn nicht?*

— Ах! Все это очень прекрасно, когда в теории и от тебя далеко... А, вот, когда прямо — житейски — в упор подступает, в глаза смот-

рит, за горло берет... тут на Фаустах-то не отъедешь!..

Проходя соборным сквером, мимо часовни, воздвигнутой городом в память спасения царской фамилии в Борках, Виктория Павловна слышала из нее молебное пение и приостановилась...

— Бывало, гимназистками, мы, в этой часовне, гадали о своей судьбе... Тогда она еще новенькая была, под мрамор, блестела золотом... Войдем — и первое, что услышим, как поют или читают, применяем к себе... Удивительные бывали совпадения... Попробовать разве и теперь... на склоне лет к бабьему веку?.. Что же? И часовня ведь постарела... Ишь какая сделалась тусклая, облупленная... По Сеньке и шапка!

Усмехнувшись, повернула к часовне, поднялась по медным узорным ступеням, мимо нищих и сборщиков, и — став в дверях, позади густой черноспинной толпы, — вытянула шею, ловя в настороженные уши неразборчивые слова, которые плыли к ней изнутри, вместе с синим кадильным дымом, вздохами и потным духом молящегося народа...

Гнусавый, профессионально привычный, голос бормотал равнодушно, безразлично:

— Се бо, яко бысть глас целования твоего во ушию моею, възгрался младенец радощами во чреве моем...

Виктория Павловна откинулась, будто незримая рука ударила ее в лицо. И, закусив губу, бледная, медленно спустилась с медных ступенек. Но, едва нога ее коснулась щебня дорожки, она — что было духа, помчалась прочь от часовни, мимо цветочных клумб-вензелей и подстриженных кустарных шпалер соборного сквера. И так — в широкой шляпе своей, с дорогим кружевным зонтиком, над плечами, — скорее летела, чем шла, словно от погони, смущенным темным привидением, пока на дороге ее не встала простая, одетая в черное, женщина, которая остановила ее приветствием и поклоном в пояс:

— Здравствуйте, хорошая барыня! Вот где Господь привел свидеться. А я то, грешная, иду да приглядываюсь к вам издали: вы или не вы?

В византийских чертах темнолицой, странноглазой под длинными темными рес-

ницами, встречницы, будто сошедшей с почерневшей от древности иконы, Виктория Павловна с удовольствием признала красивую Василису: благочестивую сестру несчастного олеговского фанатика Тимоши, убийцы Арины Федотовны. А впоследствии — одну из обитательниц тайного монастырька Авдотьи Никифоровны Колымагиной в Петербурге, на Петербургской стороне. Узнала — и опять, как вчера, Экзакустодиану, нисколько не удивилась внезапному появлению Василисы. Точно вот только именно ее и не доставало в тумане мистических людей, слов и событий, который сгущался вокруг Виктории Павловны в последние недели, которым она дышала, и хотя, и не хотя, и который — она чувствовала — обволакивает ее уже так густо и напорчиво, что начинает как бы поглощать...

Женщины очень обрадовались друг дружке. Василиса сообщила Виктории Павловне, что благословлена отцом Экзакустодианом и отправлена матушкою Авдотьей Никифоровною в Рюриков и губернию ходить книгоношею и сборщицею на построение именно той обительки, которая воздвигается в Нахижном

на земле, купленной у Викторией Павловны. Василиса потому и приняла поручение с особенною радостью, что рассчитывала непременно встретить когда-нибудь Викторию Павловну, больно ей полюбившуюся, в родных рюриковских местах. О браке Викторией Павловны Василиса уже слышала, равно как и о намерении уехать с Феничкой за границу. Когда говорили об этом, Василиса не выразила ни порицания, ни одобрения, но голос ее сделался строгим, губы сжались в ниточку, серые глаза скрылись под темные ресницы. Виктория Павловна поняла, что план ее Василисе совершенно не нравится, а не нравится, вероятно, потому, что жестоко и гласно раскритикован на Петербургской стороне. Мнения тамошних «игумений» Викторией Павловне были безразличны, но ей показалось неприятным и нежелательным, что о ней дурно думает вот эта Василиса, которая, вообще-то, чувствует к ней такую глубокую симпатию и сама ей так симпатична. О себе Василиса порассказала много нового и интересного. О присутствии Экзакустодиана в Рюрикове она знала. Да Викторией Павловне показа-

лось, — может быть, и ошибочно, — что осведомлена Василиса и о вчерашнем их свидании в Крумахерах, на фабричном бульваре. Но вообще-то Экзакустодиан в Рюрикове скрывается от народа, местопребывание его известно только самым близким друзьям — вот, вроде ее, Василисы, — из дома выходит лишь поздно вечером, когда на улице совсем темно. Что-то все не в духе, скучает и, вероятно, уже охотно уехал бы из Рюрикова, если бы, но его собственным словам, не держали его здесь два дела. Одного Василиса не знает...

— Зато я знаю, — подумала про себя Виктория Павловна.

А другое не секрет. Ему писала из тюремной больницы несчастная обвиняемая по делу об убийстве нотариуса Туесова, Анна Персикова, прося утешения и молитв. Она очень трогательно изобразила свое печальное состояние среди безумных и полоумных, к которым она помещена, как находящаяся на испытании, и от примеров которых она, чувствуя себя теперь совершенно здоровою, боится, в самом деле, опять с ума сойти... Письмом, которое передала Экзакустодиану

не иная кто, как именно Василиса, очень входя в тюремную больницу, где у нее полно дружек и между больными, и между сиделками, батюшка очень расчувствовался. Дал Василисе слово, что не уедет из Рюрикова, не повидавшись с горемычною заключенницею и не сделав возможного для облегчения ее участи. Но разрешить свидание должны прокурорский надзор и медицинское начальство больницы, а оно-то как раз и уперлось — не допускает отца Экзакустодиана до больной. Уверяют, будто Аннушка, едва начав поправляться, и без того, слишком возбуждена нервами от мыслей о религии, так что появление к ней столь прославленного духовного лица, как инок Экзакустодиан, может потрясти ее до возврата в сумасшествие. Но все это докторские хитрости и выдумки. Просто, как всегда, боятся, не посрамил бы их батюшка, не исцелил бы там, где их колдовская наука бессильна, и ревнуют! Но — пустое. Не удадутся им, безбожным колдунам, ихние каверзы! О том, что Аннушка сама писала Экзакустодиану и звала его, доктора, конечно, не знают. А вчера отец Экзакустодиан написал записку

губернатору и жандармскому начальнику, и сегодня утром к нему приезжали уже чиновники и от губернатора, и от жандарма, с обещанием, что на завтра все будет улажено.

Узнав, что Виктория Павловна вызвана свидетельницей по «Аннушкину делу» и была уже допрошена следователем, Василиса очень насторожилась. Но, когда Виктория Павловна объяснила, что ее свидетельство сводится только к характеристике Аннушки, которую она, конечно, осветила с самой лучшей стороны, и к поздравительному Аннушкину письму, иконописная девица пришла в восторг. Еще раз подчеркнуто сообщила, что в тюремной больнице она свой человек, и с Аннушкой очень близка.

— Вы, барыня, если узнаете ее покороче, то и не расстанетесь: такая, право, хорошая женщина. Только бы оправдали ее, а то мы на нее очень много как уповаем, что беспременно войдет в наше смиренное стадо...

Виктория Павловна подумала про себя — опять с тем странным уколом произвольной ревности, который уже дважды испытала вчера и третьего дня:

— Что же? Одною красавицею больше...
Еще, значит, кандидатка в королевы небес... и
в матери таинственного сверх-младенца!

А вслух возразила:

— Но, ведь, она душевно-больная... Разве у
вас не боятся принимать сумасшедших?

Василиса отвечала с учительностью:

— Мы, барыня, сумасшествия не признаем
и сумасшедшим никого не почитаем. Разум
человеку дан от Бога в основание жизни и че-
ловек никак не может сойти с того основа-
ния, которое под ним утвердил Господь. Если
же разум в человеке помутился и жизнь чело-
века извращается в его мыслях, словах и по-
ступках, это никак не обозначает, что человек
сошел с ума, а только указывает в нем жертву
бесовской ярости, вселяющей в него буйные и
мрачные адские силы... Ну, а их коварства и
неистовства мы не боимся: всю жизнь с ними
сражаемся, побеждаем и гоним их, трекля-
тых, из мира верных и праведных в ихнюю
преисподнюю бездну. Доктора боятся допу-
стить отца Экзакустодиана к Аннушке: это в
них бесовское внушение препятствует, пото-
му что уже зачуял ад, что грядет на него вели-

кая благодатная сила отнять добычу из его челюстей, и, зачувявши, воет. Я вам скажу, барыня, что, может быть, после самого кронштадского батюшки, потому что в нем живет сила благодати несравнимой, нет на свете человека, которого демоны боялись бы больше, чем отца Экзакустодиана. Вот ужо вы увидите, как брызнут от него одержащие Аннушку бесы, — и все это сумасшествие, как вы называете, снимет с нее — как рукой... Не тачайте головою, барыня, — строго заключила она, — не извольте сомневаться: грех... Не с ветра говорю: на себе самой испытала...

Виктория Павловна с любопытством воззрилась на нее:

— Вы были душевнобольны?

Василиса опять поправила с некоторою резкостью:

— Бесом одержима была... Душа болеть не может. Она, в нас, есть дуновение Духа Божьего, а Дух Божий не болеет... Да... Ужасно и греховно страдала от беса с младенческих лет... До встречи с отцом Экзакустодианом — я едва смею признаться вам, барыня, в каком ужасе бесовского одержания я состояла... Что Ан-

нушка! ее бесы смиренные, незримые, только мутят мысли унынием, наводят напрасный страх пред людьми... А меня блудный бес Зерефер, в зримом образе змия, пламенем палил, кольцами огненными истязал, кровь мою отравил горючим ядом, нутро мое сожег адским жупелом...

— Послушайте, — остановила ее Виктория Павловна, в жуткой догадке, что рядом с нею идет сумасшедшая, но, в то же время, с странною неохотою принять догадку и с великим, болезненно цепким, новым любопытством к своей спутнице. — Послушайте, Василиса! Вы или выдумываете, или бредите... Это же неправда! Этого не бывает!..

— Ну, еще бы вы поверили! — с насмешливым высокомерием отозвалась Василиса. — На то науки проходили, чтобы не верить. А наукам-то вашим, если хотите знать, я цену даю — тьфу!.. Аннушку докторишки в сумасшедшем доме держат. Да, если бы я им, негодяям, в свое время призналась, что со мною бывало, они бы меня заперли за семь замков, семью печатями запечатали бы, чтобы и не выйти мне из безумных-то стен до конца мое-

го века...

— Когда мы с вами впервые познакомились в Олегове, вы уже болели этим? — внимательно спросила Виктория Павловна.

Василиса подхватила даже как бы с буйным каким-то самоуслаждением:

— С детства, с детства, — говорю я вам, — маялась... По тринадцатому годку, — едва начала приходить в возраст, — поработил меня проклятый Зерефер... Я тогда не такая чернуха была, как ныне, опаленная адским пламенем: беленькая, бледненькая, — подобна кудрявому гиацинту или лилии долин... А что из меня стало? Страсть взглянуть...

— Это вы уже клеветеете на себя, — возразила Виктория Павловна. У вас странный цвет лица, но вы, в своем роде, очень красивая женщина, мимо вас нельзя пройти, вас не заметив...

Василиса отвечала почти с надменностью:

— Да ведь и мимо пожарища тлеющего нельзя пройти, не заметив, и угли гаснущие красивы, когда сверкают в золе из-под пепла... Красота, милая барыня, бывает ангельская и дьявольская... Была я от рождения хо-

роша красотою ангельскою, но оный зловередный Зерефер спалил ее и переделал на свой демонский вкус... Ах, мыслимо ли и рассказать, милая барыня, что я от него, моего злодея, греха приняла! Может быть, одной этой погани змеиной — нечистой силы — что нарожала во вред христианам... Опять не верите? А вот дайте срок: приду я как-нибудь к вам на квартиру, — прикажите мне раздеться: до сих пор на мне обозначены змеиные-то кольца, как Зерефер окаянный меня охватывал и сожигал...

— Почему вы тогда в Олегове не рассказали мне? — робко спросила Виктория Павловна, невольно втягиваясь любопытством в круг этого самоуверенного безумия, так спокойно и реально повествующего о невозможном, что уму оно казалось — заученным притворством, а чувство чутко оправдывало: нет, это искренно, — галлюцинирует, но не лжет...

Василиса отвечала:

— Когда я заболела, то долго никому не признавалась. Одному только и открылась: покойному брату Тимоше, святой душе. Он-то понимал. Ему самому искушения бывали...

еще лютее моих! Сами изволите знать, на чем он свою жизнь кончил... А Тимоша, спасибо, научил меня молчать еще строже. Не то, что посторонних вводить в секрет или докторов спрашивать, от отца — матери скрывала я свое несчастье. Это мне тоже Тимоша велел, потому что они были люди маловерные... Так — только Тимоша один и знал, покуда не явился к нам в Олегов сей несравненный бич демонов, богоугодный и возлюбленный отец Экзакустодиан. По Тимошину же совету, к нему прибегла, ему призналась... И, вот, как видите: здоровая... Живу среди людей, на них не жалуюсь, им беспокойства не причиняю, тружусь по мере сил моих... Хотела было даже проситься к вам в услужение, да вы говорите, что уезжаете за границу... жалость какая...

— Что же? Поедемте со мною: мне и за границую служанка будет нужна.

— Нет, туда мне не рука: этого я никак не могу терпеть, чтобы между мною и возлюбленным батюшкою лег рубеж чужеземного отдаления...

Как ни удручена была Виктория Павловна

собственными тяжелыми мыслями, признания Василисы заинтересовали ее впечатлением глубоким и необычным. Она следила за их быстрым потоком — мало, что с вниманием, но и с новым, странным чувством какого-то мрачного удовлетворения. Точно среди чужого мира, от которого надо враждебно таиться и скрываться, мелькнуло ей, вдруг, существо как будто родственное, с которым можно быть искреннею, самою собою, потому что эта, похожая на икону, темнолицая женщина в черном, ничему не удивится, все поймет...

— Ваш батюшка, любезная Василиса, — произнесла Виктория Павловна — голосом почти советующимся, — тоже против того, чтобы я ехала за границу...

— А если батюшка не благословляет, — подхватила темноликая черноризица, — то и не следует ездить: уж поверьте, он лучше знает, кому что во спасенье. Поедете без благословения, — добра не будет...

— Ах, и здесь я добра немного вижу! — вздохнула Виктория Павловна. — И — уж если на то пошло — то именно Экзакустодианово благословение и погубило меня. Послуша-

лась я его, вышла замуж, очертя голову. Была вольная птица, а сейчас чувствую себя в такой ли сети...

— Всякое замужество есть сеть, — спокойно возразила Василиса. Кто замуж идет, известное дело, не свободу обретает, но порабощение. По погодите жаловаться-то, пробыв замужем без году неделю. Ежели батюшка благословил вас на сеть супружества, должны вы уповать, что, какова бы она вам ни была, но ею он избавил вас от какой-нибудь много худшей сети, погибельной для вашей души, а, может быть, даже тяжелой и для тела. И еще позвольте сказать вам о сетях. Которая птица, попав в сеть, очень в ней бьется, в надежде вырваться, чрез то самое только больше и больше себя запутывает. Так что, в самом деле, ей становится невыносимо, — то лапку сломит, то крылышко вывихнет, а — обернется петелька вокруг горлышка, и вовсе задохнется птичка и помрет. А которая, поняв свое невылазное положение, сидит тихо, так та, по крайней мере, сетью ножек и крылышек себе не изломает, жизнь свою сохранит... и жизнь-то, чай, — помимо того, что есть дар драго-

ценнейший, — дана нам не для одних себя. У каждого человека, ежели он не совершенный изверг, есть кто-нибудь такой, о ком он заботится больше, чем о самом себе, и кому он больше, чем самому себе, нужен. О том уже не говорю, что надо Бога помнить. Богу-то, милая барыня, жизнь человеческая тоже — ох, как нужна! Потому что ею — жизнь от жизни — совершенствуется род человеческий, идет к лучшему и когда-нибудь достигнет той равно-ангельской высоты, на коей мы узрим Новый Иерусалим и внидем в оне в убеленных одеждах пальмоносяще и славословяще... Смею вам доложить: кто воображает угодить Богу смертью, делает большую ошибку. Смерть есть не более, как Божие попущение, порожденное нашим грехом, стало быть, чадо диаволе. Кто о смерти помышляет более, чем о жизни, тот на диавола работает...

— Может быть, — глубоко вздохнула Виктория Павловна, — но признаюсь вам, Василиса, — потому что и сама не знаю, право, почему, но чувствую к вам доверенность, как к родной сестре, — признаюсь вам, что, если бы у меня не было дочери, минутки не задума-

лась бы — умереть...

— То-то вот и есть, — авторитетно подтвердила Василиса, — «если бы не было дочери». Дети нам посылаются, как помощники ангелам, чтобы отгонять от нас дьявольские искушения и козни... Теперь вот многие женщины перестали понимать это, начали избегать — детей-то иметь, особенно в вашем образованном сословии... Иная с мужем спать — меры всякие берет, чтобы не забеременеть, а забеременела — едет к какой-нибудь душегубке из акушеров, чтобы устроила выкидыш... Не знаю, каково ваше мнение, но, по моему простому суждению, это в нас, женщинах, самая большая пакость и наибольшее из всех непослушание... Ежели Господь повелел человеку плодиться и множиться, откуда бы это мы взяли на себя право, чтобы отказываться от плода и уменьшать человеческий род?.. Я даже так понимаю, милая барыня, что оттого в веке сем и возобладал враг рода человеческого преимущественно пред всеми бывшими временами, что произошло на свете великое уменьшение детей... Помилуйте! Любовь Николаевна Смирнова, — изволите

помнить? — сказывала мне, что за границую, вот, куда вы собираетесь, есть уже такие страны, где народу родится меньше, чем помирает... Как же в подобной юдоли диаволу не пановать над человеком, коль скоро безумные супруги сами отстраняют от себя стражу душ своих — живых ангелов своего порождения?.. Дочка-то у вас велика ли?

— Кончает тринадцать лет, на-днях пойдет четырнадцатый...

Василиса покачала головою.

— Дочка четырнадцатый год, а замужем вы пятый месяц... Вольно прижили, стало-быть?.. Поди, потому у вас и с муженьком-то нелады? Завистливы они, ревнивые мужики, к чужому плоду на своей яблоньке.

Виктория Павловна объяснила, что Ивану Афанасьевичу завистью и ревностью гореть ни к кому не приходится, так как Феничка — его же дочь.

— Да и вообще вы напрасно предполагаете между нами нелады. Если вы это вывели из моих слов о сети, то напрасно: я говорила в другом смысле... Нет ни ладов, ни неладов, — совершенная чуждость и отсутствие отноше-

ний...

— А отчего же у вас губы — как клюквенный сок и матежи на скулах? — резко перебила ее и резко воззрилась на нее Василиса. — Ох, барыня, хитрите, скрываете: да ведь нашего простого бабьего глаза не обманете...

— Я и не собираюсь обманывать, — вспыхнула Виктория Павловна, — только что думала вам сказать... вы мне договорить не дали... Сама только вчера узнала. Никому еще не говорила, кроме врача и акушерки и никому не хотела говорить, но вам сказала бы... и говорю... Доктор определенно еще не утверждает, обещал сказать наверное только через три недели... Да это что же! Все равно, я уже инстинктом чувствую...

— Ну, и давай вам Бог! — горячо воскликнула Василиса. — Чего же вы, извините на простом слове, скисли-то? Мать должна плакать, когда ее дитя помирает, а — что носит да родит — ей только ждать да радоваться... Неужели и супругу не сообщили?

— Я и не видала его еще, — уклонилась Виктория Павловна от ответа. Он, кажется, сегодня утром уехал в Правослу...

— Муженька вашего я видала, — протяжно отозвалась Василиса. — Знакомством не похвалюсь, а показывали мне его на право-сленской станции... знаю...

— Если видели, — возразила Виктория Павловна с глухим вызовом, — то, полагаю, можете и оценить, есть ли между нами что-либо общее... для ладов и неладов...

— Ну, что вы это! — воскликнула Василиса, — кто это может оценить между мужем и женою? Это, милая барыня, дело, от посторонних глаз крутом запертое: тут тайна!

— Ну, не очень-то оно запертое от чужих... от ваших глаз! — подумала Виктория Павловна, с краскою в лице вспоминая вчерашние внезапные обличения Экзакустодиана.

А Василиса наставительно, пылко внушала:

— Как нет ничего общего? Вон оно — общее: лежит в вас, изнутри губы ваши красит, на щеках выступает желтыми пятнышками. Если бы вы нашли себе не в труд и не в конфуз духовное чтение, которым, обыкновенно, интеллигенты пренебрегают...

— Я, напротив, очень люблю его, — возра-

зила Виктория Павловна, — и много читаю... Что именно хотите вы предложить мне? Может быть, я уже знаю?

— Есть у меня сборная книжица, — задумчиво отвечала Василиса, — еще от покойного Тимоши осталась... вместе переплетены разные, им излюбленные, из творений святых отец... И вот, ежели бы вы пожелали, я могла бы вам ее представить, с уверенностью, что вы почерпнете из нее много доброполезного...

— Рада буду ознакомиться, но, вероятно, я все уже читала...

— Да что же, если и читали? — возразила Василиса с легким оттенком пренебрежения. — Читать — что в лесу гулять: тенисто, прохладно, а — какие деревья дают тень — человек часто ли разбирает? Не к обиде вашей сравню, а, вообще, по наблюдению житейскому. Иной поп, тридцать лет подряд обедню служа, каждый день читает мирянам евангелие, а ни единое-то слово ни разу не дошло до мысли ни ему самому, ни пастве. А видала я и таких людей, что, евангелие впервые в жизни открыв, так, вот, и попадали сразу на то самое место, которое было им нужно, чтобы и самих

себя переменить и направить пути своих ближних от греха к спасению. Нет, уж вы позвольте принести вам мою книжицу. Есть там в ней одно словцо св. Григория Богослова — как раз по нынешнему вашему сомнению. Я бы и сейчас сказала вам его на память, да не помню в точности наизусть, боюсь перервать...

Василиса сдержала обещание и, в тот же вечер, доставила Виктория Павловна в гостиницу ту самую толстую и неуклюжую, квадратную книжицу в кожаном переплете, которой суждено было впоследствии так возмутить Михаила Августовича Зверинцева притчею об ехидне и мурене... По указанному Василисою тексту Виктория Павловна должна была признать, что даже внимательное чтение, действительно, подобно прогулке в лесу, безразличной к древесным породам. Уже не раз читала она размышления Григория Богослова о природе человеческой и о суете жизни, но раньше как-то проскальзывала глазами именно то, что теперь подчеркнула ей Василиса:

— Сперва заключался я в теле отца, потом

приняла меня мать, но как нечто общее обоим...

Простодушные и столь обыкновенные выражающие строки— слившись с ее мистически настроенным настроением— поразили Викторину Павловну, как новость, как эхонеслыханного откровения... Взволнованная, она упростила Василису оставить ей квадратный Тимошин сборник в кожаном переплете и... уже не рассталась с ним годы и годы!

Виктория Павловна имела привычку, еще из юности, убираться ко сну медленно и долго, руками — механически, наизусть — делая преднощный туалет, а глазами следя строки в какой-нибудь, прислоненной к зеркалу, серьезной книге. Только в это время общего домашнего затишья и сосредоточенного одиночества она умела читать так внимательно и самоотчетно, чтобы критически учиться от книги и мысль воспринимаемую превращать в мысль продуктивную, вычитывать между строк жизнь свою — своих близких — жизнь человеческую. Двадцать лет тому назад так прочитала она Шекспира и Белинского, пятнадцать — Шопенгауэра, десять — Карла

Маркса, пять — Фридриха Ницше попеременно с Владимиром Соловьевым, а в последнее время — Григория Богослова, Василия Великого, Афанасия Великого, Кирилла Александрийского... Сейчас же лежала перед Викторией Павловной толстая старая книга Василисы с захватанными пальцами многих поколений страницами, где печатными, где писанными... И, свивая на затылке тяжелые жгуты темных волос и втыкая в них роговые шпильки, молодая женщина втягивала, точно мозг ее был губка, а книга влага, угрюмые восклицания Шопенгауэра четвертого века: — Кто я был? кто я теперь? и чем буду? Ни я не знаю сего, ни тот, кто обильнее меня мудростью... Я существую. Скажи: что это значит? Иная часть меня самого уже прошла, иное я теперь, а иным буду, если только буду. Я не что-либо непреходящее, но ток мутный реки, который непрестанно протекает и на минуту не стоит на месте? Что наиболее, по твоему, составляет мое я? объясни мне это; и смотри, чтобы теперь тот самый я, который стою перед тобой, не ушел от тебя. Никогда не перейдешь в другой раз по тому же току реки, по которому

переходил ты прежде. Никогда не увидишь человека таким же, каким видел ты его прежде. Сперва заключался я в теле отца, потом приняла меня мать, но как нечто общее обоим; а потом стал я какая-то сомнительная плоть, что-то не похожее на человека, срамное, не имеющее вида, не обладающее ни словом, ни разумом; и матерняя утроба служила мне гробом. И вот мы от гроба живем для тления... Душа моя! кто ты, откуда и что такое? Кто сделал тебя трупоносицею, кто твердыми узами привязал к жизни, кто заставил непрестанно тяготеть к земле? Как ты — дух — смесилась с дебелистию, ты — ум — сопряглась с плотию, ты — легкая — сложилась с тяготою? Ибо все это противоположно и противоборствует одно другому. Если ты вступила в жизнь, будучи посеяна вместе с плотию, то сколь пагубно для меня такое сопряжение! Я образ Божий и родился сыном срама, со стыдом должен матерью моего достоинства наименовать похотение, потому что началом моего прозябания было истекшее семя, и оно сотлело, потом стало человеком, и вскоре не будет человеком, но прахом, — та-

ковы мои последние надежды! А если ты, душа моя, что-нибудь небесное; то желательно знать, откуда ведешь начало? И если ты божие дыхание, божий жребий, — как сама думаешь, — то отложи неправду, и тогда поверю тебе...

VIII.

В течение трех недель, которые Афинский поставил сроком своего диагноза, Виктория Павловна жила в очень странном психическом состоянии. Будто она раздвоилась. Одна Виктория Павловна, волнуется, гневается, стыдится, советуется, то собирается за границу, то принимает место библиотекаряши в Дуботолкове, — вообще, суетится текущею жизнью, верит в какое-то будущее и готовится к нему, стараясь вымести из него возможности, угрожающие злом, и упрочить возможности к благу. А другая Виктория Павловна, будто вылетев из первой, стоит или сидит в сторонке и равнодушно смотрит на суетливые волнения своего «я», вполне уверенная, что ничего из них не получится. Да и вообще, все, кругом творящееся, пустяки, самообман дальновид-

ных людей, чтобы занять себя и провести время: призраки вещей, а не вещи, тени свершений, а не свершения. Воображают, будто строят будущее, а никакого будущего не будет. Кончилось будущее. Есть прошлое, которого стыдно, есть настоящее, которого еще стыднее: с тем и возьми себя, милая женщина! только твоего и есть. А о будущем здесь на земле тебе мечтать поздно: на четвертом десятке лет не возрождаются к счастью и новых горизонтов не открывают. Вот — о жизни будущего века подумать... если уже верить в нее... это — другое дело! как раз самое время!.. А земное будущее предоставь новому веку и новому женскому поколению, в котором будет твоя Феничка, — и смотри: она уже занесла ножку через порог детской, чтобы вступить в сознательную жизнь...

И мало-помалу вторая Виктория Павловна все больше и больше, все решительнее и решительнее брала верх над первою. Настолько, что, наконец, первая совсем смолкла и как бы уничтожилась. Жизнью, намерениями, приготовлениями, планами и судьбами Виктории Павловны теперь пылко волновались

супруги Карабугаевы, Аня Балабоневская, Зоя Турчанинова, Иван Афанасьевич, о. Маврикий, — все, сколько-нибудь к ней близкие, только не она сама. Вокруг нее спорили, что для нее лучше, что хуже, как она должна поступить, как не должна поступать, горячились из-за нее, даже ссорились. А ей казалось, что все эти ненужные речи и хлопоты ведутся о какой-то совсем посторонней неинтересной ей женщине, и совершенно безразлично, как они сладятся и во что разрешатся. У нее едва доставало машинальной вежливости, чтобы не обижать друзей слишком прозрачно выраженным невниманием. Они пытались определить ее собственную судьбу, устройство и воспитание ее дочки, — любимой и едва ли не едино-любимой Фенички — а ей непрерывно думалось и часто хотелось воскликнуть вслух:

— Какими праздными беспокойствами и расчетами вы заполняете свои дни! Зачем? Оставьте... Все будет, как будет... Кто-то внешний стоит над нашей жизнью, как неумолимый страж, и направляет ее, как ему угодно. Планировать человеческие отношения, загля-

дывал вперед, значит переливать из пустого в порожнее... Уж если есть у вас потребность обманывать себя суетою, то не будьте же в ней, по крайней мере, так серьезны. А то вы смешны!..

Экзакустодиан, пред отъездом из Рюрикова, виделся с Викторией Павловной еще раз. Заехал к ней днем, совершенно открытым и официальным визитом, и произвел в гостинице страшный переполох, так как за ним валла по улице толпа парода, которая осталась шуметь вокруг подъезда на все время, покуда «батюшка» сидел у своей знакомой. Пробыл недолго. При дневном свете, Виктория Павловна нашла его очень изменившимся, постаревшим и — страшно утомленным. Он прибыл к ней прямо из тюремной больницы, навестив несчастную Анну Персикову... Виктория Павловна спросила, как он ее нашел. Экзакустодиан почти небрежно махнул рукавом рясы.

— Чего ей? Господь к ней милостив... Искусил веру ее великими испытаниями, — видит: тверда! — и простил... И здорова будет, и у человеческого суда справедливость обря-

щет, получит возмездие в будущей жизни, да и в сей не останется без вознаграждения Иовлева... Говорили: бессонным бесом замучена... ни порошки, ни воды не помогают... пятые сутки не смыкает глаз... Помолились вместе, — так-то ли уснула!.. Сонную и покинул ее. Проснется завтра в шесть утра, как за благовестят к ранним обедням... Раньше воспретил...

Рассказывая, прямо смотрел на Викторию Павловну, видел, что она ему верит и не удивляется, и быстро заключил:

— Ты гораздо опаснее больна, чем она... гораздо!.. О, Виктория, найди себя, умоляю: найди!.. Обрети в себе смирение и покорство Божией воле!.. Иначе страшна будет гибель твоя и страшная зараза пойдет от тебя на близких твоих...

Встал, широко перекрестился, ее перекрестил и начал прощаться. Но, уходя уже, остановился с усмешкою:

— Ты, говорят, по докторам ходишь— проверяешь меня... экзаменуешь Моисея у жрецов египетских... Ну, что же возвестила тебе их ученая премудрость? что наволовали Ян-

ний и Замврий? Поучи меня, простеца, расскажи...!

Виктория Павловна, вспыхнув, хотела бросить в ответ резкое, обрывающее слово, но оно прилипло к гортани, а, вместо него, едва раздался тихий лепет умоляющего упрека, который сама говорящая услышала с недоумением, ее это речь или не ее...

— Ведь вы знаете, что... Зачем же смеяться?

Желтые лисицы в глазах Экзакустодиана, на мгновение, позеленели по-волчьи, потом, вдруг, стали золотыми, точно пронизанные лучом внутреннего солнца...

— Не смеюсь, — произнес он мягко и проникновенно, — не смеюсь, сестра... Но предостерегаю и благословляю... Во имя Отца, Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовеки веков... Приемлешь благословение? Есть воля сказать — аминь?

— Аминь, — пролепетала Виктория Павловна, смотря на него во все глаза и изумляясь — до растроганности — его взгляду: до чего вдохновенно и свято, в беспредельной ласковости, может зажигаться внезапный огонь

В этом странном взоре, то лисьем, то волчьем, то, вот, оказывается, способным низвести на землю пленный солнечный луч...

Экзакустодиан безмолвно положил руку на ее голову— медленно сомкнул глаза — прошептал молитву Иисусову — медленно снял руку — отошел — вышел...

А, когда черная спина ею была уже в дверях, Виктория Павловна, смущенная, догадалась:

— Надо же его проводить до подъезда...

И, вдруг, потрясенная, заметила, что она стоит среди комнаты на коленях и — в ужасе вскочив — не помнила, как это случилось, что она на колена стала...

Рев толпы на улице, возвестивший выход Экзакустодиана, бросил ее к окну... Но он уже успел сесть в поданную карету, и Виктория Павловна увидела только быстро удалявшийся черный кузов ее, за которым, как черная река, заструилась во всю ширь улицы догоняющая толпа...

— Любишься на дураков? — шепнуло ей в уши. — Не превозносись: сама стала такая же... Что? Постояла на коленках пред святым

мужем?.. Ах, ты, умница!.. Нет, если бы ты умна-то была, то не ты бы пред ним на коленях была, но он у тебя в ногах валялся бы...

Насмешливый голос чудился с такою знакомою, яркою язвительностью, что Виктория Павловна чуть не — окликнула свою собственную мысль:

— Арина, это ты?..

И, когда сзади скрипнула дверь, было почти жутко оглянуться.

Вошла Лидия Семеновна Карабугаева. [См. "Законный грех"] Заехав на перепутья, — только проведать, — потому что спешила к поезду в Христофоровку, миниатюрная дамочка разохалась и разжалелась, что упустила такой счастливый случай — не застала у Виктории Павловны знаменитого Экзакусто-диана...

— Потому что, душечка, это даже ужасно, до чего бегают за ним народ... Такой еще густой мрак висит над нашею матушкою Русью, прямо непроглядное даже невежество...

— Если вы относите Экзакусто-диана к явлениям русского невежества, — очень холодно возразила Виктория Павловна, — то зачем

вам с ним и знакомиться?

— Душечка, но, ведь, интересно же. Я никогда не видала, даже издали, никого из подобных шарлатанов... Это даже совсем новое для меня наблюдение...

— Вам придется наблюдать его при чьем-нибудь другом посредстве, — еще холоднее и суше сказала Виктория Павловна, — я Экзакустодиана шарлатаном не считаю и выводить его пред моими знакомыми, как зверя на показ, не намерена...

Изумленная тоном ее еще больше, чем словами, Карабугаева только ручками всплеснула:

— Не считаете шарлатаном? Душечка, вас ли я слышу?...

И загорелся между дамами пылкий русский женский спор, в котором обе договорились до резкостей. Лидия Семеновна, спохватившись о своем поезде ровно за пятнадцать минут до его отхода, уезжала, при всей своей незлобивости, совсем разобиженная, почти до слезинок-бусинок на поэтических карих глазках.

— Вы, душечка, сегодня в парадоксальном

настроении, — говорила она, быстро поправляя дрожащими руками, перед зеркалом, сбившуюся на бок шляпу. — Говорите такие абсурды, что даже неприятно слушать... Верить в Экзакустодиана позволительно господам вроде моей прелестной Марьи Спиридоновны [См. "Законный грех"], но от вас слышать подобное — просто, можно принять за насмешку... даже оскорбительно....

— А Марья Спиридоновна верит? — с быстрым любопытством спросила Виктория Павловна, живо вспоминая христофоровскую приятельницу Фенички — эту неуклюжую двуногую бегемотицу, с ее мутными глазками-шариками на огромном рябом лице, с ее телячьими губищами, с ее неуклюжею беременностью, приобретенною, по мнению Фенички, от частого сидения на чердаке.

— Еще бы! — пренебрежительно бросила Лидия Семеновна, топыря негодующие губки, — страстнейшая поклонница... Поговорите с нею:, найдете полное сочувствие...

— Непременно поговорю, — невозмутимо приняла Виктория Павловна язвительное предложение либеральной подруги.

— Поговорите, поговорите... Она даже умнеет, когда об Экзакустодиане разглагольствует... Тут ходит книгоноша одна, Василисой зовут...

— Я ее знаю, — насторожилась Виктория Павловна.

— Ах, даже и ее уже знаете? Так, вот, когда она к нам жалуется, это даже не неприятность, а просто стихийное несчастье... Весь дом вверх дном... Марья Спиридоновна в экстазе и даже забывает доить коров... Даже Онька озаряется угрызениями совести, начинает каяться во всех мерзостях, которые он нам сделал, — ну, и даже вообразить невозможно, как ужасно он затем напивается... Ай, душечка, поезд мой ушел! Ни за что мне не успеть... До свиданья, до свиданья, до свиданья... Феничку поцеловать? Конечно, конечно, конечно... Поцелую, поцелую, поцелую... Хотя вы сегодня гадкая, гадкая, гадкая и не стойте, не стойте, не стойте... Mes adieux!

— Вот, значит, каким путем дошло до Экзакустодиана, что в Христофоровке, в последний приезд, мне было дурно, — сообразила Виктория Павловна. — Ну, это чудо не из ве-

ликих... Странно, что Василиса ни слова не сказала мне о том, что знает Марью Спиридоновну. А, если бывала в доме у Карабугаевых, то, значит, видала и Феничку. Между тем — спрашивала: велика ли у меня дочь?... Что это? Комедия дисциплины?... Во всяком случае, чувствую себя в паутине надзора и сыска... и прегнусного!..

И — как только пришла Василиса, а теперь книгоноша ходила к ней почти каждый день, выбирая лишь такие часы, чтобы наверное не застать никого чужого, Виктория Павловна поставила ей вопрос в упор:

— Вы Карабугаевых знаете? в Христофоровке у них бываете?

Василиса отвечала без малейшего смущения:

— Господ не могу назвать своими знакомыми, но имею в ихнем доме подружку, зовут Марьей Спиридоновной, извольте знать? Неказистая такая, Бог с нею, из себя, но сердцем золотая и уже тронута просвещением истины...

— Это, через нее вы узнали о моем, припадке и сообщили Экзакустодиану? — резко

перебила Виктория Павловна.

Василиса уставила на нее иконописные очи свои в большом, не лгущем недоумении.

— О каком припадке? Я ничего не знаю. А Марьи Спиридоновны не видала уже кое время... месяцев, поди, шесть или семь... Я ту сторону, вокруг Христофоровки, первую обходила, как только была благословлена в эти места... А с тех пор там не бывала и вестей от Марьи не имела...

Прикинув время, Виктория Павловна сообразила, что, если Василиса не бывала в Христофоровке полгода, то Фенички, отвезенной Анею Балабоневскою к Карабугаевым только в декабре, она знать не могла... Значит, подозревать ее в лицемерной скрытности, как и в шпионстве, напрасно...

За исключением Фенички, Василиса теперь оставалась единственным живым существом, которое Виктория Павловна видала охотно. И единственным, даже без исключения, в присутствии которого чувствовала себя вполне легко и свободно. Потому что при Феничке ее мучительно жгло стыдное беспокойство за близкое неминуемое объяснение с до-

черью о своем положении. Она всем существом своим чувствовала, что не найдет в себе достаточной дозы простодушного женского... нет, вернее: бабьего, — лицемерия, чтобы — пред чистыми, внимательными глазами девочки-подростка, под ее вопросами, может быть, даже и бессловесными, только во взгляде да в чутко ждущем молчании скрытыми, — бестрепетно явиться тою грешною, грубою самкою, которою безусловно представлялась Виктория Павловна самой себе...

— Всем на свете могу зажать рот простым и наглым ответом: не ваше дело, я замужем... Но пред ребенком, который больше всех в праве спросить и спросить, должна стоять, опустив глаза, молчать, — как преступница... Еще если бы она продолжала хранить ту детскую наивность, в которой я застала ее зимою, когда она твердо верила, что дети рождаются от того, что муж и жена сидят вместе на чердаке... Но, — ведь, она за полгода выросла, как иная не разовьется в пять лет... Она уже примолкла и думает про себя... Пытается читать серьезные книги... На днях Лидия Семеновна застала ее — забрала из библиотеки

Андрея Викторовича «Первобытную культуру» Тэйлора и — только страницы мелькают... Обещает быть еще большею скороспелкою в развитии, чем я в ее годы... И людей понимать начала... Зимой она видала отца с удовольствием, — по крайней мере, он ее забавлял.... А сейчас — я же замечаю, я же чувствую: задумалась и приглядывается... Он пред нею дурачится, как пред ребенком, а ей не смешно... Не понимает и недоумевает... Девочка с природным тактом, деликатно молчит, но уже не уважает... Ко мне нежна беспрельдно... Инстинктивна ребячья любовь уже подогрелась сознательною жалостью... Вероятно, считает меня несчастною жертвою... Ну, как я подойду к ней, такой, будто ни в чем не бывала, взгляну ей в лицо и, подобно другим матерям, беспечным в своей супружеской правоте, скажу:

— А мама тебе, Феничка, готовит на новый год живую куколку... Ты кого больше, хочешь, братца или сестрицу?..

Ведь она уже о любви слыхала и читала, знает хорошие стихи о ней, рыцарские чувства из романов Вальтер Скотта, понимает

брак — не иначе, как святым союзом взаимной любви, видит, наконец, пред собою Карабугаевых, Турчаниновых... И я уже чувствую, что мой брак сбивает ее в этом с толка, вносит сумбур в ее мысли, потому что она признает, что любви тут нет и не может быть... Больше того: пожалуй, уже содрогнулась бы перед возможностью допустить тут любовь... Эти полудети — такие нравственные эстеты, каких в другом возрасте уже и не бывает... Нашу сознательную эстетику красоты им заменяет инстинкт чистоты: прекрасно то, что чисто... И, когда они не находят чистой красоты там, где ее непременно воображают, приходят в отчаяние, отравляются отвращением... Кто-то из критиков доказывал, что Гамлет — переодетая женщина... Парадокс, но — ах, сколько девушек Гамлетов знавала я в семьях, где дети не могли уважать свою мать!.. И неужели же я должна увеличить их число своей дочерью?..

Отъезд с Феничкой за границу, в случае беременности, начал представляться Виктории Павловне не только излишним и бесцельным, но позорным, почти омерзительным..

— Это — Бог знает что! В каком виде должна я пред нею обрисоваться? Здесь еще сохраняется хоть видимость супружества, хоть какие-нибудь отношения, хоть условность... Но увезти девочку с собою, чтобы на глазах ее, растить живот: вот, мол, поразвратничала на законном основании, оплодотворилась и — права: больше мне нет никакого дела ни до моего безлюбовного брака, ни до моего случайного мужа, который нечаянно наградил меня сыном или дочерью, а тебя братом или сестрою... Но это же звериное! Это же отвратительно! Это хуже той Соломоновой прелюбодейки, которая — «поела и обтерла рот свой и говорит: я ничего худого не сделала!»... Это все равно, что собственными руками тянуть девочку в омут, собственными устами читать ей уроки полового негодяйства...

Самым разумным исходом казалось Виктории Павловне — как скоро ее положение выразится уже нескрываемо, отправить Феничку вместе с Аней Балабоневской, к новому месту служения последней, в Дуботолков, в тамошнюю гимназию, как предполагалось это и раньше... Но тут вступали в сердце материн-

ская ревность и огромная саможалость... О том, чтобы самой перебраться вслед за дочерью в Дуботолков, приняв предложение городского головы Постелькина заведывать земскою библиотекою и книжным складом, Виктория Павловна, хотя место было ей обеспечено, назначение состоялось и ее непременно ждали в Дуботолков к августу, думала как-то скептически, что хорошо то оно хорошо, да нет, не состоится...

— В августе являться... это, значит, мне седьмой месяц пойдет... хороша я буду в августе!.. Великолепная земская работница... на новом-то месте... в новом-то городе... ни вдова, ни разводка, но почему-то одинокая... и на сносях!.. Да нас засмеют!.. И еще я знаю: новой моей беременности мне не извинит никто из моих идейных и эстетических друзей, кое как еще мирящихся с моим браком за фиктивность... Первая же Аня Балабоynesкая будет возмущена и окончательно испугается за Феничку в руках такой ненадежной матери... И будут правы, потому что я сама себя не извиняю. и сама себя боюсь для Фенички, не отравить бы ее как-нибудь нечаянно своим

примером... Вон что Экзакустодиан-то поднес мне на прощанье: «найди себя или зараза твоя перебросится на близких твоих»... Это он про нее, про Феничку мне напомнил... Но самой спасать от себя Феничку — это я, как ни больно, еще могу, но видеть, как ее от меня другие спасать будут... нет, это выше сил! мать же я! собственная же это плоть моя и кровь!.. Ну, пусть я дикая, распутная лесная волчица, а для нее сознаю, что лучше вырасти честною дворовою собакою... Отдала: дрессируйте, воспитывайте, вытравляйте из нее мою волчью породу!.. Но любовь-то ее для себя сохранить позвольте!.. А как сохранить, если вся ваша воспитательная система сводится к живому примеру: видишь ты своевольное лесное чудище? это — увы! — твоя мать! ну, так, прежде всего не будь на нее похожа и презирай всех подобных... и от первой отвернись от нее... от нее!

Больше всего соблазняла Викторию Павловну мысль — поручив Феничку заботам Ани Балабоневской, уехать за границу одной, прежде чем беременность ее сделалась известною. Прожить там где-нибудь в глуши до

родов, ребенка оставить кому-нибудь на воспитание и — затем — вернуться, с новой тайною за спиною, но опять в той же неуязвимости самоуверенного обмана, как прожила она тринадцать лет после Фенички.

— То есть, — колола ответная язвительная мысль, — до сих пор ты всех вокруг себя обманывала, что одна неприкосновенная правда была в твоей жизни — Феничка, а теперь хочешь и Феничку обмануть? вставь! Это тебе дьявол нашептывает, опять Аринина школа!..

Думалось и так:

— Василиса отказалась ехать со мною за границу только потому что не может вообразить, как это между нею и Экзакустодианом ляжет рубеж чужой земли... Неужели я с Феничкою связана слабее, чем она с Экзакустодианом? Я не могу уехать от нее в такую даль, истоскуюсь... И без того уже хороша стала. Только наедине с тобою и похожа сколько-нибудь на нормального человека... А то какой-то препарат анатомический — содранная кожа и обнаженные нервы... Вчера ни за что, ни про что наговорила колкостей Ане, третьего дня разобидела бедняжку Карабугаеву... Зою

Турчанинову, с ее высокомерною добродетелью, уже вовсе выносить не могу, — голос ее, каждое движение мне противны... едва сдерживаюсь... Пусть они смеются и негодуют, но в обществе Василисы и даже какой-нибудь Марьи Спиридоновны, в самом деле, мне легче, чем с ними, такими премудрыми и безупречными, так все знающими и все решившими...

Однако, быстрота и энергия, с которыми росла ее, со дня на день более тесная, дружба с Василисою, смущали даже и ее самое.

— Я помню, читала, что душевнобольные, пока живут еще в обществе, инстинктивно узнают друг друга, влекутся друг к другу, выбирают друг друга приятнью и сближением из тысяч здоровых... Быть может, и для меня эта Василиса — магнит того же происхождения? Ведь, если даже она здорова, сейчас, то бывшая-то ее психическая болезнь — вне сомнения... Она не сознает, что была не в своем уме, только по невежеству, по религиозному фанатизму, который ничего не хочет знать о демономании, а упорствует считать дьявола за реальный факт... Да уж и так ли необычно-

венно безумие Василисы среди других истеричек, не исключая даже нашего кружка? Что мудреного, если полуграмотная фанатичка верит в беса Зерефера, сладострастные припадки женской болезни принимает за свое с ним сожителство, маточные судороги и ветры — за незримые роды, показывает громадный ползучий лишай вокруг бедер, как огненный след дьявольских объятий, и странный запах своего истерического тела объясняет адскою отравою, разлитую в ее крови?.. Разве уж так далеко ушла от нее высоко образованная, умная, целомудренная Аня Балабо-невская, с ее капризною, шальной любовью к грешному мертвецу, чуть не двадцать лет тому назад ушедшему с этого света? С возложением цветов на портреты Антона Арсеньева, со сборанием всяких его реликвий? Вон — ее за эту любовь чуть со службы не выгнали, едва не разорили всего турчаниновского гнезда, а ей — хоть бы что. [См. "Злые призраки" и "Законный грех"] Потому и в Дуботолков едет с такою радостною готовностью, что там живет сестра Антона Арсеньева: есть с кем разделить безумный культ свой! Разве я не знаю,

что она одно время втянулась в спиритизм и из последних средств тянулась, разорялась на медиумов, обещавших ей общение с духом Антона и его материализацией? Ну, и если бы этим плутам удалось, в конце концов, обмануть ее каким-нибудь подобием материализации, — разве это не был бы тот же Василисин бес Зерефер?.. Да и что я показываю пальцами на чужие примеры? «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться!»... Когда на меня наплывают чудовищные сны, не я ли переживаю их с такою реальностью, что потом, проснувшись, еще долго чувствую действительность — призраком, а действительностью — их? Не меня ли трепала дрожью суеверная лихорадка, когда Экзакустодиан убеждал меня, что, в виде Арины, мне грезится дьявол? И не сбылись ли в Труворове плачевною правдою те пророческие кошмары мои, — в которых я видала себя опять любовницею нынешнего моего законного супруга?

С содроганием вспоминала она одичалые зеленые глаза и странный голос шепчущего волка — как Экзакустодиан бросил ей в лицо ту, подслушанную и подсмотренную кем-то

у дверей номера труворовской гостиницы, обидную скверную правду... Как сухо и властно твердил:

— Никуда ты не уедешь...

— Кто же меня не пустит?

— Муж не пустит...

И — когда Виктории Павловне угроза эта, в сотый раз всплывавшая в уме, в сотый раз казалась бессмысленною, на место ее память выдвигала черную квадратную книгу в кожаном переплете, которая раскрывалась на пожелтелой, замасленной пальцами, странице и говорила черными неуклюжими буквами:

— Сперва я был в теле отца, потом приняла меня мать, но как общее им обоим...

И, усваивая эту мысль, Виктория Павловна вновь и вновь переживала тот тайный и таинственный физический страх пред Иваном Афанасьевичем, который впервые закрался в нее, когда она — много-много лет назад — сообщила ему, нарочно вызванному в Рюриков под предлогом продажи дома, что на свете есть некая девочка Феничка, и Феничка, эта — их дочь... [См. "Викторию Павловну (Именины)" и "Злые призраки"] Который так

трудно было преодолеть ей, не выдав себя, шесть месяцев тому назад, в вечер, когда Пожарский и Абрам Яковлевич привезли к ней Ивана Афанасьевича — во всем его новом великолепии, *comme il faut*, — делать предложение, заранее условленное во всех подробностях и разыгранное, как по нотам... [См. "Законный грех"]

Вряд ли найдется в русской интеллигенции хоть одна супружеская пара, которая не знала бы Платонова мифа о первобытных людях — парах, объединявших в себе мужчину, и женщину — пары, потом разлученные опасною завистью богов. Не знала бы и не прибегала бы к ней когда-нибудь для проверки собственных супружеских отношений... Задумывалась над нею и Виктория Павловна...

— Обыкновенно, предполагается, что разлученные половинки сделались очень несчастными в момент разлуки. Что они с тех пор неустанно ищут одна другую в громаде мира, влекомые таинственным магнетизмом общности своего существа, и обретают спокойствие и счастье, только когда друг дружку найдут и опять сольются во едино... Ну, а если

были и такие половинки, которым ампутация их распада казалась совсем не несчастьем, а, напротив, радостным благодеянием, — вроде отсечения гангренозного члена от члена здорового? Было дорогое породистое яблоко: половина сгнила, а половина осталась душистою, сочною, пригодною в пищу... Развалилось яблоко: гниль — сама по себе, здоровое мясо — само по себе... ужели надо им срастаться? Если Платоново взаимопритяжение родственных половинок такая непреодолимая сила, то счастлив ли будет здоровый организм, когда магнетическое тяготение заставит его вновь воссоединиться с отсеченною и отброшенною гангренозною частью? Не почувствует ли он, что в жизнь его вновь вливается, таким образом, тление смерти, и не затрепещет ли от ужаса, вместо той радости, которую сулил добрый Платон?.. Как жаль, что в городе нет сейчас отца Маврикия: с ним бы порассуждать на подобную тему... любитель!..

Из давних дуботолковских воспоминаний, когда Виктория Павловна служила гувернанткою в Тамерниках при детях Владимира Александровича и Агафьи Михайловны

Ратомских, выплывало, как будто сквозь туман, белое, широкоглазое лицо монументальной красавицы-купчихи, Софьи Валерьяновны Постелькиной, жены того городского головы, который теперь предлагает Виктории Павловне место библиотекарши, а урожденной Арсеньевой, сестры того Антона Арсеньева, пред памятью которого идолопоклонствует Аня Балабоневская... Красавица чуть улыбается мягкими алыми губами, светит ласковым сиянием карих газельих очей и журчит ленивым ручьем медленного рассказа:

— Тихон Гордеевич охотник вспоминать мое дворянское родство и барскую породу, а, вот, маменька его, моя покойница свекровушка, Степанида Федотовна, напротив, терпеть этого не могла. [См. "Девятидесятники"] Если, бывало, на первых порах нашего житья, ошибешься какою-нибудь барственностью, — свекровь так и вскинется. — Ты, мол, кто? да ты, мол, что? Все еще аристократкою себя считаешь? Так, разуверься, милая: муж — мещанин, и ты — мещанка, дитя, которое носишь, тоже будет мещанское дитя... У нее, знаете ли, была своя... как это? — теория, — не знаю, от-

куда она ее взяла... Что если жена пришла в интересное положение, то это обозначает, что ее кровь смешалась с кровью мужа и существо ее сделалось совершенно подобным его существу... Это, говорила она, и обозначают слова: будете два в плоть едину...

Агафья Михайловна Ратомская, дама, выскочившая в барыни из горничных, очень смеялась этому рассказу и говорила:

— Ежели так, Софья, то моя кровь теперь куда благороднее твоей, хотя твои папенька с маменькой — по бархатной книге, а мои и по сейчас землю пашут и подати платят...

Но теперь притча Софьи Валерьяновны встала пред смущенной Викторией Павловной пугающим вероятием...

— Разве Феничка не похожа лицом на Ивана Афанасьевича? Блондинка — в него, глаза — его, форма носа — его. Уж, конечно, если бы это было хоть сколько-нибудь в нашей женской воле, я ни за что не допустила бы ее вылиться так ярко в его тип и удалиться от моего... Но вот оно — уподобление-то крови — торжество мужского начала над женским, обработка женского существа в покорный тип,

принужденный производить копии существа мужского... Вот оно — от Григория Богослова-то:

— Сначала в отце, потом в матери, но как нечто общее им обоим...

— И — сейчас — я могу бежать от мужа хоть на край света, но «нечто общее нам обоим» и туда увезу с собою. Ребенок, которого я ношу, — частица его, — значит, он во мне. Кровь его разлилась в моей крови, чтобы образовать это зарождение, я уподобилась ему, я — то же, что и он... И — куда же я уйду от него внешним бегством, если внутренне всюду понесу его в себе или с собою?.. Зародыш — он, дитя будет — он... Феничка моя разве не он?.. И если даже когда-нибудь мне суждено было бы рождать детей от другого мужа, как знать, не останется ли он и в них? Вон — как у Антонины Никаноровны Зверинцевой, во втором браке, удался в Михаила Августовича только младший Колька, а старшие четверо вылились в первого мужа...

План тайного воспитания ребенка за границу начал казаться ей не только нелепым — преступным, грязным:

— Опять, значит, повторить Феничкину историю — Аринину выдумку? Но и то — теперь — еще хуже. Отдавая Феничку в люди, я, по крайней мере, не лишала ее, внебрачную, никаких прав, а ведь этот явится на свет — законнорожденным!.. Хороша мать, которая, нося младенца, обдумывает, как бы, в своих выгодах, ограбить его, лишив прав и имени!.. Аринины пути! Аринины хитрости... Нет, прочь от них, подальше... Я знаю, куда они ведут... Ведь она уже и то, что Феничка в живых осталась, считала лишь слабохарактерною уступкою моей сентиментальности... Дай ей волю, — все неприятные и компрометирующие беременности разрешались бы выкидышами в секретных убежищах. А — не спохватилась женщина во время, все-таки, родила, — то вольна хоть бросить дитя в прорубь, только не будь дура, не полос.....[См. "Викторию Павловну"]

— В Неву нельзя: у вас тут в Питере городских много понаставлено, а в Осну очень можно! — услышала она в памяти своей медный смех и утиный голос. [См. "Законный грех"]

И, вспоминая, что ведь это советовалось ей

для того будущего ребенка, который теперь, выросши, зовется Феничкой! — ее Феничкой! — вся трепетала поздним гневом и отвращением...

— Что меня тогда достало на отказ и я запретила ей предлагать подобные мерзости, — разве этого было довольно? Но как я могла слушать их? как я могла — после того — оставить при себе женщину, способную на такие планы? как я могла дорожить ее дружбой, подчиняться ее влиянию, идти за нею в жизни почти как слепая за поводырем?.. О, иногда, ей-Богу, хочется думать, что правы Иван Афанасьевич, который считал ее ведьмою, и Экзакустодиан, когда уверяет, что она для меня была живой дьявол!..

Афинскому Виктория Павловна уже не хотела идти даже и в условленный трехнедельный срок. Но однажды врач встретил ее на улице и сам напомнил, что ждет ее. После такой любезности уклониться было бы неловко. Виктория Павловна пришла и, на этот раз, удивила маленького доктора — совсем обратно первому осмотру — угрюмым, но совершенным, как бы окаменелым даже, спокой-

ствием, с которым она приняла теперь его утвердительный диагноз.

Два дня спустя, Виктория Павловна объявила мужу о своем положении, отказалась от поездки за границу, вернула заграничный паспорт и приняла проект Ивана Афанасьевича поселиться на конец весны в Христофоровке, на купленной им ферме отбывающих на Урал Карабугаевых. А лето — до отъезда в Дуботолков — провести в Правосле, где Иван Афанасьевич, счастливый до одурения, принялся поспешно строить маленькую дачку-избу для предстоящего летования жены и дочери...

Карабугаевы уехали в первых числах июня, и Виктория Павловна с Феничкой заняли их покинутое пепелище на другой же день. Иван Афанасьевич остался в городе, в гостинице — часто ездил в Правослу наблюдать за своими постройками. Состояние духа его, после признания Виктории Павловны, было весьма сумбурное. Он сразу оценил все счастливое значение факта и — в первый момент — едва не зарычал от радости веселым хищным зверем, настигшим, наконец, давно

желанную и преследуемую добычу. Но каким-то инстинктивным вдохновением сдержал себя и, в свою очередь, изумил Викторию Павловну совершенно. Не откликнувшись ни словом в ответ ее сообщению, нашел глазами в углу образ, опустился на колени и долго молился — торжественно — истово и медленно крестясь — с земными поклонами. Потом встал, отряхнул пыль с коленок, повернулся к безмолвно и почти испуганно глядевшей на него жене и — по-прежнему безмолвный и важный — отвесил ей низкий-низкий русский поклон в пояс, даже коснувшись пальцами земли... И вышел. Даже позабыл поднять с пола темнозеленую книжечку паспорта, которую обронил, когда Виктория Павловна ошеломила его словами:

— Я беременна!..

— Комедия? — думала вслед ему растерянная Виктория Павловна.

Но — насколько происшедшая сцена была сыграна, насколько искрення, Иван Афанасьевич и сам не сказал бы. Потому что, возвратясь от жены в свой номер, он битый час просидел, один, на кровати, заливаясь слеза-

ми, даже не утираемыми, трепеща волнением, диким и мутным, в котором умиление смешивалось с злорадством, и восторг неожиданно осчастливленного отца переходил в почти мстительное самодовольство мужа-собственника, — Адама, долгою и тяжкою борьбою смирившего непокорную Еву, рабу бунтующую и сильнейшую своего господина.

Когда Иван Афанасьевич поуспокоился настолько, чтобы увидаться с Викторией Павловной, — чего она ожидала со смятением и страхом, — можно было подумать, что между ними не произошло ничего хоть сколько-нибудь важного. Как будто все бывшее объяснение сводилось только именно к тому, что раньше Виктория Павловна, доверительница, собиралась ехать за границу и Иван Афанасьевич, доверенный управляющий, устраивал ей этот план, а теперь она переменяла намерение, желает остаться в Христофоровке и Правосле, и Иван Афанасьевич, с тою же безразличною покорностью, устраивает план новый... Никаких разговоров с Викторией Павловной по поводу ее признания он не начал. Виктория Павловна тоже молчала, находя,

что, покуда, она сказала все, что должна была открыть, и очередь исповедываться о свершившемся теперь не за нею... Единственно о чем позволил себе осведомиться Иван Афанасьевич, это — намерена ли Виктория Павловна открыть свое положение знакомым, то есть Балабоневской с сестрою и Карабугаевым, или до времени промолчит, — так как, соответственно тому, и он тоже должен сообразовать свое поведение. Виктория Павловна отвечала, что в газетах печатать о своем положении она не собирается, но ведь оно — секрет из тех, которые, если их не обнаруживают другие, в самом скором времени обнаруживают себя сами. Поэтому, скрываться она не намерена, но — до времени — хотела бы, действительно, помолчать...

— Пред девочкою неловко, — объяснила она с полною откровенностью.

Иван Афанасьевич, про себя, несколько удивился: почему? — но удовлетворился... Объяснение Виктории Павловны успокоило его в главном опасении, которое он тайно возымел почти с самой минуты ее признания: не устроила бы она себе выкидыша...

А — что Виктория Павловна от девочки, пока незаметно, скрывает, а, когда станет заметно, хочет ее удалить — это Иван Афанасьевич даже одобрял.

Если Виктория Павловна замечала, что Феничка переменялась к отцу, то и Иван Афанасьевич это чувствовал. баловаться ему было не на что, но он сознавал, что между ним и дочерью, по мере того, как она растет, ложится отчуждающая полоса, которая тоже со дня на день ширеет, определяя их, как две разные натуры, совершенно неспособные сойтись в духовную близость...

— Скажи, пожалуй, — изумлялся про себя Иван Афанасьевич, — личиком уж как в меня вылилась, а характером — ух, ты! вся — мамина дочка...

И в отношения свои к Феничке невольно и бессознательно вносил много такого, что отличало его отношения и к самой Виктории Павловне, — словно видел в дочери копию с матери. Господствовало несомненно смотрение снизу вверх, как на художественный кумир, предназначенный к благоговейнейшему почитанию — почти до страха. Но, на дне, все-

таки, нет-нет да и копошилось темное чувство чуждости — то обидою за себя, низшую породу, то злорадством за свое насильное родство с высшею, неотделимое, налагающее цепи кровной зависимости...

Но Феничка была малютка и дочь. Приятно было сознавать себя автором такого изящного произведения — «принцессочки», как прозвал девочку именно Иван Афанасьевич, и кличка привилась. Гордо и сладко было показать людям: смотрите, моя дочка! а? как-ва?... Было язвительное удовольствие напомнить и самой Феничке, когда ее отчуждение от отца проскальзывало — или так Ивану Афанасьевичу казалось — в какой-нибудь более обычного прозрачной явности:

— А что, мол, Федосья Ивановна? Учила ты в гимназии заповеди Божии? Прочти-ка пятаю...

— Чти отца твоего и мать твою — и дол-голетен будеши на земли...

— То-то! «Чти отца твоего»... Этого забывать не надо, девочка! никогда — ни-ни! А-то и вырасти не успеешь: помрешь...

На этой почве между ними — старым и ма-

лою — вышел однажды даже богословский спор, кончившийся, однако, постыдным поражением Ивана Афанасьевича:

— Отец для детей главнее матери, — доказывал он (Виктории Павловны не было дома), — вот почему и в заповеди он стоит на первом месте, а мать на втором..

Феничка признать превосходство отца над матерью отказалась решительно, а перемещение матери на второе место с первого толковала тем, что:

— Заповеди Моисей писал, — мужчина и поставил на первое место мужчину...

— Дурочка, — победоносно заметил Иван Афанасьевич, — да ведь Моисей-то, чай, не сам заповеди сочинил, ему их продиктовал на Синае Бог...

Феничка на секунду озадачилась, но затем возразила с совершенным торжеством:

— Так что же из того? Бог тоже мужчина...

Иван Афанасьевич растерялся пред неожиданным аргументом и, — хотя чувствуя, что тут что-то не так, но в то же время в нерешимости отнимать у Бога мужское достоинство, — проворчал:

— А вот сказать отцу Маврикию, чтобы он тебя хорошенько прожучил... Быстра больно!.. А на счет матерей я тебе скажу только, что и поминать-то их в родословии — это — новый обычай. Началось с Девы Марии, когда она родила Иисуса Христа, а до того, в ветхом завете, считались одни отцы...

— Это неправда! — возмутилась Феничка.

— Как неправда, глупенькая? Тем евангелие начинается. Возьми, почитай: «Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова, Иаков же роди Иуду и братию его»...

Феничка очень смутилась, но побежала к матери добыла у нее с этажерки святую книгу, открыла главу от Матфея, прочитала и возвратилась с ликующим укором:

— Ай-ай-ай, папа! Как же тебе не стыдно? Ведь там же сейчас дальше говорится: «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари... Саломон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи»... А ты уверяешь: одни мужчины...

— Ну, ну... с тобою не сговоришь... начетчица! — бормотал Иван Афанасьевич, делая вид, будто победоносная находчивость дочери ему очень нравится, но, в действительно-

сти, сконфуженный и почти обиженный... — Умны вы уж очень с матерью-то. Где нам за вами!..

В отношении дочери-принцессочки даже самое обиженное из многочисленных «где нам за вами», которые Ивану Афанасьевичу приходилось произносить и вслух, и мысленно, не могло звучать иначе, как звуком чистым и невинным... Но к матери принцессочки, к прекрасной своей номинальной супруге, Иван Афанасьевич привык питать — помимо всех благоговейных страхов — влечения, весьма далекие от чистоты и невинности. Со времени его краткосрочной удачи в Труворове, они выросли в огромное постоянное вождение неудачного собственника к ускользнувшей из рук добыче... Этим вождением он жил с тех пор месяц за месяцем, как своего рода идеалом, то вспыхивая надеждою, то приходя в отчаяние... Десятки раз мучила его напрасным призраком именно та мысль, что — если бы труворовские ночи не прошли Виктории Павловне даром — то уж теперь-то он не сваял бы такого дурака, как тринадцать лет назад, в Феничкино время.

— Дай мне в срок отцовское-то право: скручу!.. Да — где ждать от нее, неродихи...

И вдруг призрак оказался и не напрасным, и не призраком...

Иван Афанасьевич был очень мало в состоянии разобраться в чувстве, которое, при сообщении Виктории Павловны, повалило его на колени пред образом. Очень может быть, что в молитве его звучали оттенки, напоминавшие несколько аллилуйю тех благочестивых горцев в Alpes Maritimes, которые ходят благодарить Sainte Marie de la Haine после того, как им удалось сделать величайшую пакость кровному врагу. Но, во всяком случае, молитва — добрая или злая — родилась из чувства бесспорно религиозного и в религиозную форму вылилась. Обычно Иван Афанасьевич был не из набожных — скорее из тех, кого в более интеллигентной среде зовут индифферентами, а в народе о них говорят: «гром не грянет, мужик не перекрестится». Но под громом крестился охотно и искренно, верую тогда твердо в просительную силу молитвы, в свечку, поставленную пред образом угодника, в договоры обетов и т. д. Гром гре-

мит не всегда страшно, — бывает, что и радостно. Сообщение Виктории Павловны прозвучало в ушах Ивана Афанасьевича именно радостным громом... И он, подобно Экзакусто-диану, Василисе и другим того же ряда людям, нисколько не сомневался, что положением своим Виктория Павловна обязана исключительно переживаемому ею религиозному перелому. Идея о таинстве была для него слишком сложна, — он, просто, думал:

— Вот, бросила безбожие свое, перестала водиться с атеистами и кощунами, приблизилась к людям благочестивым, православным, начала бывать в церкви, слушать честных иереев, каяться да молиться с усердием, — Бог-то и простил: вымолила себе дитя честно-брачное... Это тебе будет не Феничка, которую надо было удочерять через суды при помощи адвокатов... Что денег то одних извели, — Господи! страшно сосчитать!

Узнав Феничку поздно вообще, а близко — уже совсем взрослою девочкою, Иван Афанасьевич был, конечно, весьма доволен иметь такую прелестную дочь, но не мог приобрести той привычки к ней, которая в родителях,

знающих своих детей с колыбели, укрепляется годами до превращения, в самом деле, во вторую натуру. И ласкаемый, и ласкающий, он, все-таки, чувствовал себя как бы лишь полуотцом полудочери, да еще имел чуткое подозрение, что он-то, в представлениях Фенички, является вряд ли даже четвертью отца... Он не мог не встречаться в этой тоненькой, беленькой барышне, почти ежеминутно, с подавляющим преобладанием материнской породы — и, будучи достаточно смышлен, чтобы не оскорбляться тем запоздало и едва ли поправимо, ощущал, однако, в сердце некоторую завистливую пустоту:

— Вывела себе орлица орлицу, а мне, старой вороне, и места подле нет!

Сообщение Виктории Павловны, что она беременна, хлынуло в эту пустоту наполняющею радостью, пьяною, как искрометное вино. Иван Афанасьевич был почему-то уверен, что на этот раз Виктория Павловна родит непременно сына, и:

— Уж этот-то будет мой... извините-с! желаю, чтобы совершенно был мой... Иван Иванович Пшенка— и никаких!.. Пусть его не

выйдет орлом: не претендую!.. Мне орлов и не надобно... Подайте мне вороненочка... да-с! вороненочка!.. чтобы я узнал свою кровь и видел продолжение своего рода...

И, при всей деликатности, которую он соблюдал в отношении жены и по естественной, привычной опаске, и по искусственно принятой осторожной тактике, Виктория Павловна иногда, в быстром, внезапном повороте, от которого Иван Афанасьевич не успевал спрятать глаз своих, ловила в них странное выражение...

— Он следил за мною, — думала она, — точно человек, который дал на сохранение другому громадный капитал, а теперь трясется от страха за его судьбу... Точно я кассир сомнительного банка, а он главный вкладчик и трепещет, не убежала бы я с кассою в Америку... Не дрожи напрасно, бедный вкладчик! Никуда я не убегу: получишь свое сокровище полностью... «Сперва был я в отце, потом приняла меня мать, но как общее им обоим»... Много грехов на душе, но ни губительством младенцев, ни кражею их не занималась...

Религиозное толкование, которое Викто-

рия Павловна, под влиянием Экзакустодиана и Василисы, начала давать своему положению, сделалось известным Ивану Афанасьевичу по излюбленному его способу — через подслушанный разговор... И успел он слышать не только это, но и — как Василиса доказывала Виктории Павловне непоследовательность ее отчуждения от венчанного мужа и необходимость сойтись с ним в совершенное сожитительство... Виктория Павловна слушала и молчала...

А Иван Афанасьевич, после того, поймал Василису, — которую он до того времени, почему-то инстинктивно возненавидел с первого взгляда и со дня на день все больше и больше терпеть не мог, — вблизи гостиницы, в глухом переулке, наедине, и задыхающийся, с униженными поклонами, бормотал восторженно робкою скороговоркою искательного человека:

— Я слышал, что вы сейчас внушали моей супруге... покорнейше вас благодарю... Никак не ожидал, чтобы вы были ко мне так любезны... и... покорнейше вас благодарю!

Иконописная девица смотрела на него в

упор громадными серыми глазищами, открывшимися от черных ресниц, но решительно ничего не выражавшими, точно она слышать слышала, но понимать не понимала.

Иван Афанасьевич, истолковав ее недвижимый взгляд и тупое молчание по своему, осторожно коснулся рука ее и интимно зашептал:

— Послушайте! Если вы будете продолжать в том же роде, я... позвольте мне быть благодарным... Сто, даже двести рублей на вашу обитель — это я вполне готов... А ежели замечу, что ваши убеждения имеют успех, и Виктория Павловна начинает склоняться, то могу больше...

Продолжать ему не удалось, потому что Василиса, в той же тупой немоте, с тем же бессмысленно недвижимым взглядом, с тем же бесстрастным лицом, подняла черную руку и отстранила Ивана Афанасьевича, с своего пути, точно щепку, подлежащую уборке... И медленно прошла, безответная, мимо него, растерянного, облив его, по ветру, тем странным, удушливым запахом, который, когда она волновалась или делала сильные движения, распространяло ее больное истерическое

тело... Иван Афанасьевич, испуганный и злой, стоял в совершенном недоумении, потому что ранее, при людях Василиса всегда обращалась с ним, хотя чопорно, но в высшей степени вежливо...

— Вот проклятая, — размышлял он, трусливо оглядываясь на удалявшуюся черную фигуру, — что ее укусило? Кажется, я не сказал ничего обидного... вполне деликатно и честь честью... И здоровенная какая! Ручища — словно у мужика... Поперла, — едва устоял на ногах, ей-Богу!.. Не хуже бывшего моего правосленского сокровища, госпожи Анисьи!.. Ей бы не книгоношею ходить, а в городских служить...

Иван Афанасьевич очень опасался, чтобы Василиса — после того, что так странно приняла его предложение, — не пожаловалась Виктории Павловне. Однако из обращения с ним последней, ничуть не изменившегося к худшему, заключал, что — нет, черноризица промолчала... Это еще более сбивало его с толка, как донимать эту странную особу, и, понемногу, начало внушать ему к ней — темнолицей, глазастой, непонятной, в черных

одеждах, — робкие чувства, отдаленно напоминаящие ту хроническую лихорадку страха, в которой держала его покойная Арина Федотовна...

— У Виктории Павловны, — размышлял он, — истинно, дарование — заводить себе служек-дружек, которые на обыкновенного человека, вроде меня, многогрешного, нагоняют оторопь и жуть... Покойная Арина ведь мою слыла, поповну черную сукою обернула, а эта даже сама про себя рассказывает, что была у беса в любовницах... Да едва ли и врет: ишь, глазищи-то у нее... жернова!.. Я о ней всякому страху поверю... Ну, да, пока твои жернова мелят муку на нашу мельницу, — потерпим, куда ни шло... Ишь как она мою-то гордячку хорошо уговаривала! Сильна в Писании, чернорожая шельма! Ах, да и пронзительные же там есть слова, ежели кто умеет их прибирать кстатии... Но, если она не ищет от меня денежного вознаграждения и, вообще, даже не пожелав меня в том выслушать, взамен всего, спихнула с дороги, то из-за чего же она для меня старается? Неужели даром?..

— Нет, — дошел он наконец до мысли, —

этого не может быть, а есть ей на то приказ от
ейных тамошних, Экзакустодиановых по-
слушниц, с Петербургской стороны...

И утвердился на этом заключении, хотя —
почему интимная сторона его супружеской
жизни с Викторией Павловной могла интере-
совать обительку на Петербургской стороне,
это оставалось совершенно неясным...

Но гораздо больше, чем на советы Васили-
сы и благоволение Петербургской стороны,
Иван Афанасьевич уповал, по прежним опы-
там, просто на время.

— Знаю я тебя, орлица! — размышлял он
влюбленно и угрожающе, — без «зверинки»
не проживешь... Придет твой срок, — начнут
губки сохнуть... Ну, а уж я-то не слепой и не
дурак, чтобы пропустить свое счастье... Чер-
норизницам спасибо, но будешь моя — и без
них!

Однако, время шло, а чаемая Иваном Афа-
насьевичем «зверинка» не приходила. Напро-
тив. Как всякая очень здоровая женщина,
Виктория Павловна обрела в ношении плода
дар совершенной половой бесстрастности.
Чем дальше шли ее недели, тем немее молча-

ли чувственные желания, тем дальше уходила от них мысль, тем глубже успокаивалась плоть, сосредоточившая свою жизнь на выработке новой, зреющей к нарождению, плоти, тем чище высветлялось, будто роняя с себя ветхую грязную чешую, сердце, инстинктивно освящаемое приближением нового материнства...

Мирная жизнь в Христофоровке очень согласно слилась с тихим настроением Виктории Павловны. На новом поселе она с дочерью очутились как бы отрезанными от своего мирка в Рюрикове. Карабугаевы, со всею своею ордою, были уже на Урале и, в обычном энтузиазме к новому делу, возвращали реке Мрее судоходные качества. Василиса уехала по семейным делам на родину, в Олегов. Аня Балабоневская отправилась в Дуботолков — присмотреться к будущему месту своей службы — и что-то там застряла. Зоя Турчанинова не любила Викторину Павловну и, хотя обещала сестре проведывать Феничку, но, за множеством хлопот по пансиону, все не успевала. Был однажды отец Маврикий, но очень на короткое время, невнимательный и грустный, в

ожидании личного большего горя, потому что у него задумала умирать его, двадцать лет безногая, параличная старуха-протопопица... Так что единственным гостем из Рюрикова христофоровские отшельницы имели того, кому, конечно, и всего приличнее и естественнее было им быть: главу дома, законного супруга и родителя, Ивана Афанасьевича Пшенку.

По воскресеньям Иван Афанасьевич аккуратно являлся к семье на дачу с двухчасовым поездом — пил чай, ужинал — и отбывал с вечерним, девятичасовым. Вел он себя, в побывки свои, безукоризненно. С Викторией Павловной был изысканно любезен и услужлив, но без малейшего оттенка навязчивости или, сохрани Боже, фамильярности. Феничке привозил игрушки, книжки, конфеты и, вообще, заметно, старался войти к ней в милость и ее к себе приручить, что ему, однако, не очень удавалось. Девочка его не дичилась, но, все, как-то уж очень серьезно и с недоверием его изучала, будто существо особой породы, и видимо, трудно находила папаше место в своем и матери быту... Виктория Павловна была

очень довольна установившимся безобязательным спокойствием своих супружеских отношений. За то новая молодая нянька Фенички, Акулина, веселая деревенская вдовка, никак не могла понять, в какую это странную семью она попала: барин с барыней как будто между собою не в ссоре, а сожителства не имеют. Ну, что она с дочерью на даче, а он в городе и приезжает только по праздникам, — это еще куда ни шло: мужчина, человек занятой, дожат быть, держит его служба или торговля. Но вечерние отъезды Ивана Афанасьевича, в праздники, с дачи обратно в город, потрясали Акулину изумлением, прямо-таки гневным:

— Да что он, козел старый? обезумел, что ли? куда бзырит, на ночь глядя? От этакой-то королевы!

Супружеский жребий Виктории Павловны представлялся ее простоте самым несчастным и оскорбительным:

— Погляжу я на вас, барыня: живете вы скучнее меня, вдовы, — бесцеремонно выговаривала она, пригорюнившись. — И как это умудрило вас, молодую, выйти за пожилого?

Вижу я: нет вам от него никакой прогулки в жизни, и очень мне вас жаль...

Виктория Павловна ее уняла. Акулина обиделась и, с сердцов, стремительно перебежала на сторону Ивана Афанасьевича:

— Что за жена, ежели не может привлечь подобного превосходного мужа? Барин у нас — ангел: ни от него охальства, ни от него дурного слова, должность свою правит, деньги зарабатывает, подарки возит; за ним — как за каменной стеною. Что немолод — так было барыне раньше рассчитывать возрасты, да не выходить, ежели стар. А вышла — тут уж, голубушка, брезговать поздно, потому как ты есть принадлежащая... Муж не башмак: с ноги не снимешь, — судьба навечная!

Христофоровские бабы, пред которыми Акулина развивала свои протесты, в один голос поддакивали, согласно качали головами... Когда Акулина доведалась, что барин с барыней повенчались недавно, а прежде «жили вольно», и Феничка прижита была в беззаконии, — ее возмущение обострилось особенно люто:

— Вишь ты: молод был, — почитала за че-

ловека: дочь-то — вон она, на лицо! кто ни взглянь, скажет, — папашин портрет. А вошел в годы, ослабел, — ну, и отставила муженька к козе на пчельник!., эх ты, справедливая душа!..

В третье воскресенье весь день дождь лил, как из ведра, — тем не менее Иван Афанасьевич явился аккуратно с своим дневным поездом и аккуратно же ушел на платформу к своему поезду вечернему. Но поезд не пришел: где-то на линии приключился размыв насыпи, приостановивший движение часов на пять. Иван Афанасьевич смиренно сидел на платформе под зонтом, по которому дождь стучал, как по барабану, когда предстала перед ним, укутанная с головою в платок, Акулина и, с весельем в голосе, объявила, что барыня очень удивляется, зачем он мокнет и стынет под дождем, и приказывает сию же минуту возвратиться домой, а то еще, неровен час, простудится. Феничка была уже в постели, а Викторю Павловну Иван Афанасьевич застал за самоваром, с двумя нечаянными гостями, учительницами из ближнего села. Они тоже приехали было на поезд и, пострадав от

его опоздания, не решились возвращаться во свояси под дождем и в густых потьмах, а попросились к Виктории Павловне ночевать. От них-то Виктория Павловна и узнала, что путь размыт, поезда не будет всю ночь, и сейчас же послала Акулину — вывести Ивана Афанасьевича из его плачевного положения под разверзшимися небесными хлябями.

— Вы что же сами-то не догадались вернуться? — встретила она его, — захотели получить воспаление легких или острый ревматизм?

Иван Афанасьевич сконфуженно оправдывался, что он не верит железнодорожникам, чтобы размыв был так велик, и, конечно, поезд пройдет гораздо раньше, чем обещают, а ему завтра утром рано необходимо быть в Рюрикове для срочного платежа.

— Нет, — сказала Виктория Павловна, — если размыв, то, при таком дожде и ночью, трудно чинить путь, это надолго... А в Рюриков успеете и с утренним поездом, а, если бы движение не возвратилось, то возьмете лошадь, — тут близко.

Прочаевали до одиннадцатого часа. Разо-

шлись по комнатам, на ночлег. Учительницам Виктория Павловна предложила свою спальню, но девушки постеснялись и так упорно отказывались, что пришлось поместить их в светелку, в которой сперва предполагалось уложить Ивана Афанасьевича. А ему сердобольная Акулина, с превеликим негодованием, постелила на диване в столовой, причем ужасно сердито и громко взбивала кулаками подушки и ворчала так, чтобы Виктория Павловна — хочет, примет во внимание, хочет, пропустит мимо ушей, но слышала бы непременно:

— В кои-то веки хозяин дома ночует, — кладут бедненького валяться, как собачонку, на клеенке... У! своеобычница! Все не как у людей! тьфу!

И, то ли в отместку, то ли в поучение, — когда Виктория Павловна, уложив учительниц, вошла в свою спальню, то увидела, что — вместо постели на софе, где она всегда спала, Акулина торжественно приготовила для нее громадный двуспальный одр супругов Карабугаевых, не служивший никому после их отъезда, потому что Виктория Павлов-

нашла его слишком величественным и похожим на катафалк.

— Несносно глупая баба! — подумала она с досадою. — Если бы не так поздно, стоило бы, в наказание, разбудить ее и заставить перестелить...

Перед тем, как проститься на ночь, Иван Афанасьевич счел долгом еще раз извиниться пред женою.

— Виктория Павловна, — сказал он со смущением, которое, однако, показалось Виктории Павловне не слишком глубоким, — право, ужасно как неприятна вся эта случайность... что причинил вам столько беспокойства... И наконец, кроме всего прочего... боюсь вам, что, если бы не ваша бесконечная любезность по случаю дождя, то у меня и в мыслях не бывало того, чтобы вас своим напрасным присутствием...

Он искал правильного глагола и, не найдя, нерешительным, полувопрошающим голосом dokonчил:

— ... компрометировать...

Она отвечала с совершенным равнодушием:

— Компрометировать меня собою вы не можете, потому что, в глазах людей, мы муж и жена. Покойной ночи. Вам завтра рано вставать...

По уходе ее, Иван Афанасьевич минут двадцать и больше просидел, уставясь в стену, воспаленными от непривычного позднего вечернего напряжения, утомленными глазами старого алкоголика, который, хотя перестал отравляться, но разрушений, произведенных ядом в организме, восстановить уже не может и по вечерам, особенно очутившись в непривычной обстановке, сильно устает всем телом. Крупная дробь дождя по крыше часто сменялась сплошным гулом, обличавшим, что небо, вместо крупных капель, разверзлось водопадом. Слышно было, как плачут и хлюпают дождевыми слезами, ручьем катящимися в уличные лужи, ставни на окнах. Музыкально, звонко и бурливо kloкотали кадки под желобами на углах... Иван Афанасьевич слушал, думал:

— Важно после этого ливня трава подыметя, — только бы не пошел в затяжку: всходы сгноит... Да где! этак лить — неба не хва-

тит... ишь, его прорвало!

— Иван Афанасьевич, когда вы ляжете, не забудьте погасить лампу: боюсь, когда в доме ночью остается огонь...

Слова эти глухо дошли к нему, сквозь барабан дождя, откуда-то издалека, и, спохватясь, он сообразил, что — под шум непогоды — сидя, задремал...

— Слушаю-с! — покорно закланялся он в сторону стены, из-за которой прозвучал приказ. Не премину исполнить... Позвольте вам почтительнейше пожелать доброй ночи...

— Доброй ночи.

Он разделся проворно, тихо, скромно, стараясь не шелестит платьем, не стучать обувью, осторожный неаккуратный, выставил за неслышно отворенную дверь чуть скрипнувший придвинутый стул... Свет погас... Виктория Павловна, за стеною, на «катафалке» своем, с удовольствием и благодарностью убедилась, что названный супруг ее расположился — совсем, как деликатный пассажир, которого судьба обрекла провести ночь в купе поезда в соседстве с незнакомою пассажиркою. Он и спал-то вежливо, чуть-чуть шипя носом

и, даже во сне, стараясь сохранить неподвижность и тишину.

А дождь лил, лил и лил, стучал, стучал и стучал. И, под глухой барабан его, Виктории Павловне, на ее катафалке, вдруг, почему-то стало думаться и чудиться, что он не водяной и бесцветный, как все дожди, но кровавой и красный...

— Я знаю, — соображала она, — читала: бывают такие гусеницы... Вихри увлекают их с поверхности земли в тучи и, когда они падают обратно с дождем, то придают ему кровавую окраску... Какой-то ученый объясняет гусеницами кровавый дождь, который был вызван Моисеем, в виде казни египетской... «Волною морского скрывшего древле гонителя мучителя под волною скрыша»...

Волна, тяжелая, теплая, липкая, мерно качает и все наплывает, подступая свинцом к горлу, от нее трудно дышать и хочется вскрикнуть. Виктория Павловна протягивает руки, чтобы оттолкнуть свинцовый напор, но, вдруг, чувствует и видит, что никакой волны нет, а на ней лежит неподвижною глыбою покойная Арина Федотовна и злобно све-

тит смеющимися глазами, налитыми желтым пламенем...

— Что тебе надо? — борется задыхающаяся Виктория Павловна. — Зачем ты ходишь ко мне? За что ты меня душишь?

Чудище хохочет, бесстыдно кривляется и гудит:

— Как — зачем? Я твой муж!

— Неправда! — лепечет Виктория Павловна, отбиваясь от насунувшегося ужасного тела, — ты не можешь быть моим мужем: ты женщина... мертвая женщина на катафалке... ничего больше!

Чудище хохочет так оглушительно, что Виктории Павловне смех трупа кажется ударом грома.

— Врешь: я мужчина! Посмотри: разве это женское?

И — в один миг — покрывается отвратительными красными гусеницами; они сидят на веках, клубятся вместо волос, извиваются на сосках, ползают по зубам оскаленного хохотом рта...

— А! — кричит Виктория Павловна, и в тоске отвращения, и в торжестве отгадки —

теперь я знаю, кто ты! не обманешь меня! Ты — не Арина: ты дьявол! Сгинь! пропади!

— Хо-хо-хо! — кривляется чудище, — видеть, что повелась с попами. А ну, прочитай молитву от злых духов! а, ну! прочитай!

Виктория Павловна радостно и спешно начинает:

— Да воскреснет...

И — холодеет от нового ужаса: она забыла, как дальше. В смертной тоске, мечется она под тушею, которая становится все тяжелее, наглее, противнее, и повторяет, в беспомощном отчаянии:

— Да воскреснет... да воскреснет... да воскреснет...

А туша, ухватясь руками за бока, заливается громоподобным хохотом, дразнится длинным красным языком и ревет, как медная труба:

— Скорее у тебя лоб треснет!..

— Да воскреснет Бог и расточатся врази его! — диким визгом вылетает наконец из уст Виктории Павловны позабытый стих, с таким усилием памяти, что, в самом деле, голова, в мгновенной страшной боли, будто треснула

от напряжения. И в тот же миг, Виктория Павловна, вскинутая сонным ужасом, просыпается от страшного удара грома и видит, что она не лежит, а сидит на кровати, спустив ноги на пол, будто собиралась бежать... А в щели ставень непрерывным голубым трепетом молнии смотрит разгулявшаяся воробьиная ночь... гудит и рокошет... Голова трещит и страшное сердцебиение... Нет сил отдышаться от ночного перепуга... И вертятся в голове беспорядочным вихрем пестрых соринки взметавшиеся дикие мысли:

— Проклятая... проклятая... давно не бывала... опять пришла пугать и мучить... К какому еще несчастью?... Да воскреснет Бог... Экзакустодиан советовал... О, прогони ее, святой мученик Тимофей! Отжени от меня демона, истребленного тобою с сего света...

Первой разумною «ручною» мыслью, в хаосе этом, было:

— Какая ужасная гроза... Не перепуталась бы Феничка?

Виктория Павловна всунула ноги в туфли, зажгла ночник и поднялась, по сообщаемой с спальнею лесенке, в мезонин, к своей де-

вочке. Но Феничка спала спокойно, видимо, даже не слыша непогоды... Виктория Павловна улыбнулась на ее детский сон, перекрестила ее и хотела уже возвратиться к себе в спальню. Но ее мучила жажда. Она тронула Феничкин графин и с досадою увидала, что Акулина с вечера забыла поставить девочке воды. Взяв графин, Виктория Павловна вышла другою дверью и спустилась в сени к чану с водою... Но тут едва не закричала во весь голос, едва не выронила графина из рук. Молнийные вспышки показали ей — на пороге сеней — в отворенной из столовой двери — сидящую понурую фигуру в белом, которая затемненному сознанию молодой женщины едва не почудилась призраком продолжающегося сновидения... Но тут прояснившаяся память вспомнила и подсказала, при каких обстоятельствах Виктория Павловна вечер отошла ко сну, и кем, значит, может быть, таинственная фигура... А фигура, слышав и увидев ее, спускающуюся с ночником, быстро вскочила и скрылась за дверь...

— Это вы, Иван Афанасьевич? — окликнула Виктория Павловна — и получила слабый

ответ:

— Я-с...

Голос дрожал от страха, как у человека, только что пережившего большую, может быть, даже смертную Опасность...

— Почему вы не спите? — строго изумилась Виктория Павловна. — Зачем вы здесь?

Иван Афанасьевич молчал, очевидно, стыдясь сознаться, — и лишь на повторенный тревожно вопрос — ответил:

— Я очень испугался...

— Вы боитесь грозы?

— Нет-с, помилуйте! — возразил Иван Афанасьевич поспешно и даже с некоторою обидою, — чего же ее в доме бояться? Случалось под подобным Божиим благословением и в степи ночевать... Никак нет-с... не грозы... Извините, Виктория Павловна, если я, все-таки, попрошу у вас разрешения зажечь лампу... Потому что... должен признаться, к стыду моему: темнота эта, просто, удручает меня...

— Вы боитесь темноты, — возразила Виктория Павловна, — а я керосинового взрыва... Эти «Молнии» преопасные и, вдобавок, у Акулины они всегда в беспорядке... Погодите. На-

бросьте на себя что-нибудь и откройте дверь: я пройду к себе через столовую и оставлю вам свой ночник... мне не надо...

Иван Афанасьевич, пошуршав немного платьем, явился на пороге, в пальто, наскоро надетом на рубаху, и босой. Лицо его, в тусклом свете ночника, показалось Виктории Павловне столь больным, что даже мертвенным...

— Да вы совсем нездоровы! — воскликнула она.

Иван Афанасьевич отрицательно качнул лысою головою и пробормотал трясущимся голосом:

— Никак нет... благодарю вас... Но я, извините... я ужасно какой страшный сон видел...

— Как? и вы? — встрепенулась Виктория Павловна, невольно делая шаг вперед, так что переступила порог из сеней в столовую.

Иван Афанасьевич, настолько взволнованный, что не заметил ее приближения, лишь посторонился инстинктивно и — вопреки своему почтительному, обыкновению, — позволил себе даже перебить ее:

— Мне, Виктория Павловна, такое присни-

лось, такое... и с такую живостью, такую... Я уж, просто, знаете ли, даже в сомнении, сон ли то был, не наяву ли... Вот, соблаговолите — удостойте — руки моей коснуться: до сих пор дрожу и... и, вот, даже — не стыжусь признаться — сбежал из предназначенного мне помещения... сидел здесь в одиноком неприличии... не смел пойти обратно и лечь: не привиделось бы вторично...

— Что вы видели?

Он жалобно пискнул:

— Простите великодушно: даже не решаюсь назвать... конечно, жалкое суеверие, но... язык не поворачивается... простите великодушно...

— Я хочу знать. Ну?

Он опять помолчал, колеблясь, и пробормотал отрывисто, точно, с отчаяния, прыгнул в воду:

— Арину видел.

Виктория Павловна быстро выпрямилась:

— Арину? Вы?

Он слабо кивнул лысиною и продолжал:

— И... ужасно нехорошо видел... просто можно сказать, удручающе душу...

Виктория Павловна с содроганием, повторяла:

— Как это странно... как странно... я тоже...

Иван Афанасьевич резко повернулся к ней переполошенным лицом, принявшим в свете ночника, цвет позеленевшей штукатурки, с темными пятнами испуганных глаз, бородки ни носа:

— Вы-с?

— Да, да... и это-было чудовищно...

Любопытство неожиданности заслонило в памяти обоих странность их ночной сходки. Полураздетые, женщина и мужчина глядели друг на друга во все глаза, даже не замечая своего беспорядка и — взаимно — ловя только лихорадочный блеск глаз, полных взаимного же испуганного ожидания...

В ответ на слова Виктории Павловны, Иван Афанасьевич выразительно покрутил головою и произнес, с значительною расстановкою:

— Не знаю уж, может ли быть что-нибудь чудовищнее моего... Я видел...

У него перехватило дух. Он, с усилием, проглотил дыхание и договорил:

— Я видел... я видел, будто она пришла... извините... из вас ребенка украсть...

— Что-о?!

— Ребеночка выкрасть, — жалобно повторил Иван Афанасьевич. — Вы — будто покоетесь на этой вот самой вашей кровати, которую изволите называть катафалком. А Арина, вдруг, ползет вон оттуда, через порог... на брюхе, будто жаба, голая... рожа у нее синяя, глаза волчьи, свечами светятся, зубы ощерила, а лапы в шерсти и — то ли с когтями, то ли с клещами... И я, будто бы, проникаю ее зверское намерение и стараюсь вас от нее загородить. Но она — и так-то, и этак-то, и отсюда-то, и оттуда-то... Играет со мною, как кошка с мышкою, а вы все изволите почивать и ничего не замечаете... А я — что ни рванусь вас разбудить, голоса нет и руки-ноги не владают... тоска и ужас... А она это видит и гогочет:

— Был венец, а будет конец!

— А вы не слышите и спите... А у меня ни рук, ни ног — слов нету, молитв не помню... А она присела, как кошка, да — как прыгнет... По вас-то, однако, промахнулась, ударилась о

столбик, опрокинулась и загремела по полу, будто камнями рассыпалась... Тут я проснулся, а на небе-то — гром! а в окнах-то — молния!.. Щупаю: жив я или нет? во сне или наяву?.. Рубаху, извините за выражение, хоть выжми и лоб застыл в холодном, простите, поту...

Он умолк. Виктория Павловна молчала. Крыша не шумела больше дождем, и только кадки булькали, принимая последние стоки прекратившегося ливня. Небо тихо рычало уходящею, уже отдалившеюся грозой, поблескивая прощальными короткими молниями, точно шпажными салютами...

— Который час? — спросила Виктория Павловна.

— Должно быть, не поздно... еще темно...

— Взгляните, пожалуйста, — хочу знать точно...

Иван Афанасьевич перешел через комнату, к часам своим, оставленным с вечера на чайном столе. Холод крашеного пола, коснувшись подошв, заставил его вспомнить, что он бродит в виде, слишком фамильярном и, неожиданно для себя, очень сконфузился...

— Че... четверть первого, — произнес он, от смущения, петушьим почти голосом. — До рассвета еще долго...

Виктория Павловна стояла, прислонясь к дверной притолке с графином в одной руке, с ночником в другой, и шептала:

— Это удивительно... да... это удивительно...

— Что-с?

— То, что она, в эту ночь, явилась так нам... обоим... Скажите, Иван Афанасьевич, раньше вы видали ее во сне?

Иван Афанасьевич, понуро стоя у стола и стараясь спрятать под него худые ноги свои, отвечал не скоро, с принужденностью:

— При жизни... когда бывал ею очень утешен... случалось... могу сказать: не давала покоя ни наяву, ни во сне... Но в подобном демонском образе — никогда...

Ему очень хотелось спросить:

— А вы?

Но не посмел. Однако Виктория Павловна, как бы в ответ на его не высказанное желание, сама заговорила медленно и мрачно:

— Для меня, — наоборот, — она, с некото-

рого времени, каким-то бичом сделалась. Каждый мой кошмар— непременно, с нею. Это, по крайней мере, пятый раз, что она приходит мучить меня... А, покуда она жила на земле, я не видала ее во сне — никогда... И... кто знает, — не справедливы ли ваши сомнения? Точно ли эти сны наши — только сны?

Иван Афанасьевич, подумав, возразил:

— Не умею вам ответить, но пусть уж лучше будет сон, потому что, ежели бы подобное наяву, — это что же? сойти с ума от страха.

Виктория Павловна, не отвечая на его сомнение, говорила, рассуждая больше с самою собою, чем с ним:

— Экзакустодиан убеждал меня, что она — наваждение дьявола... Я читала: индусы верят, что люди грешные, по смерти, превращаются в злых духов, бутов, обращающих свою ярость на людей, которые были им близки, и на местности, в которых они обитали...

— Если подобное может быть вообще, — горячо подхватил Иван Афанасьевич, со всею злобою ненавидящего труса, — то, уж конечно, больше этой окаянной — я и не знаю, кто бы годился, чтобы превратиться в злого ду-

ха... Ах, Виктория Павловна! — воскликнул он, — перенести этого воспоминания невозможно, сколько зла и горя она мне причинила!.. Да уж позвольте взять на себя смелость — сказать правду в глаза: и вам тоже, и вам!..

— И мне, — угрюмо согласилась Виктория Павловна.

Он, ободренный, твердил:

— Может быть, даже больше моего, наверное, значительно больше-с...

— Больше, — подтвердила и Виктория Павловна. — Ну, вот вам ночник, не трусьте...

Она перешла через комнату, направляясь к дверям своей спальни.

— Уходите? — жалобно, по мышинному, пискнул Иван Афанасьевич.

— Надо же когда-нибудь и спать...

Но, пристально взглянув на него, прочтала в его глазах почти смертельный ужас — остаться одному, с трудом заслоняемый стыдом сознаться в том и страхом пред нею, не осмеела бы, не оборвала бы... Но ей и самой было не до смеха: суеверный страх Ивана Афанасьевича заражал ее, и она крепко сжи-

мала обеими руками холодный графин, чтобы они не плясали.

— Не бойтесь, — попробовала она пошутить, — будем надеяться, что почтенная Арина Федотовна ограничится одним визитом и больше к вам не пожалует...

Он возразил серьезно и выразительно:

— Я боюсь, что она к вам пожалует...

— Это ребенка-то красть?

Он промолчал. Виктория Павловна продолжала:

— Ну, Иван Афанасьевич, это уж и стыдно. Как ни как, а смолоду и вы учились кое-чему, принадлежите к образованному классу, должны понимать, что это невозможно...

Он перебил даже как бы с отчаянием:

— А откуда нам с вами, Виктория Павловна, знать, что возможно, что невозможно? Вон, вы думали сколько лет, что иметь ребеночка вам невозможно, а, между тем, носите... Конечно, глупое деревенское суеверие, но почему же подобная нечисть всегда вертится вокруг беременных? Объясните подозрение: почему? И как это случилось, что в эту ночь мы оба разом увидели ее в угрожающем обра-

зе и проснулись в общем, так сказать, испуге?... И... вы можете полагать, как вам угодно по вашему образованию, но я — извините — позволю себе, на этот раз думать, что отец Экзакустодиан судит основательно: истинно, наваждение от нечистого духа... Хорошо, что мы во время вспомнили имя Божие, и ангелы-хранители душ наших поторопились — дали нам пробуждение от сна...

— Вы, во сне, очень испугались за ребенка? — спросила Виктория Павловна — с глубоким любопытством.

Иван Афанасьевич отвечал почти с негодованием:

— Как же было не испугаться? Небось, он — мой!

Это было в первый раз, что Виктории Павловне пришлось услышать его отцовское приращение на плод ее тела...

— Сначала я был в отце, потом приняла меня мать, но как общее нам обоим...

Потупилась и, ничего не сказав, направилась к двери. Но, пока шла, ей с тою же яркостью, как в только что бывшем сне, представилось, что — едва она отворит дверь — Ари-

на сейчас же опять померещится ей на «катафалке»... Может быть, это будет просто подушка или сбившееся одеяло, но — оттого не легче... В призраке не образ пугает, а скрывающаяся за образом мечта... И, уже чувствуя на пальцах холод дверной ручки, обернулась, бледная, с трясущеюся челюстью...

— Не могу, — произнесла она, спешно ставя графин на близ стоящий диван, чтобы не выпал из задрожавшей руки. — Напрасно храбрилась... Боюсь пуще вас...

И — села.

Иван Афанасьевич смотрел на нее с недоумением и — когда понял, что она не уйдет — загорелся от того единственной радостью: что — слава тебе, Господи! не останется он один в комнате, где ему почудилось привидение. А она, помолчав, продолжала:

— Нечего делать, протоскуем — трус с трусихой — вдвоем до белого света... Засветло привидения, говорят, не ходят...

— Лампадочку пред Спасовым ликом хорошо засветить бы, — с радостною робостью предложил Иван Афанасьевич, совсем ободряясь.

— А что же? Засветите, — одобрила она, вставая с дивана, в новом незнакомом волнении, от которого все задрожало в ее груди. — Засветите, пожалуйста... Если только есть в ней масло... Акулина вечно забывает... Как мне раньше не пришло в голову?... Непременно засветите!

Мысль-стрела о лампадке пред образом пронизала ее ум, как неожиданный луч забытого спасительного солнца. Пока Иван Афанасьевич устремился осмотреть лампадку, Виктория Павловна вся даже тряслась от нетерпеливого ожидания. Она чувствовала, что, если масла не найдется и лампадку не удастся зажечь, она зарыдает от этой случайности, как ребенок, ужаснется ей, как знамения, как символа победы той темной силы, враждебное сгущение которой вокруг себя она так явно ощущала в эту жуткую ночь.

— Есть масло! — радостно воскликнул Иван Афанасьевич со стула, на который влез, и бойко зачиркал спичками.

У Виктории Павловны свалился с сердца тяжелый камень, — она вздохнула так глубоко, что стало на мгновение больно где-то воз-

ле сердца, — и слезы брызнули из глаз... А, — когда маленький желтый огонек, грустно вспыхнув, рассыпал тусклую светлую дробь по запыленному серебру иконки, на которую горько жаловались все попы, приходившие к Карабугаевым с крестом на Рождество и Пасху: «эка Бог-то у вас какой маленький! и не найти его в углу!» — Виктория Павловна медленно подошла к круглому угловому столику, покрытому скатеркою белого тамбурного вязанья, взяла со столика голубую книжку с таинственным золотым восьмиконечным крестом на переплете, нашла нужную страницу и, опустившись на колени, зачитала внятно и трепетно:

— Живый в помощи Вышнего, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него. Яко той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна. Плещма своими осенит тя, и под криле Его надеешися. Оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме преходящие, от сряца, и беса полуденного...

Иван Афанасьевич, стоя сзади тоже на коленках, усердно крестился... Страх его совершенно прошел и, усердно кладя земные поклоны, он почти весело думал о том, что эта их странная совместная ночная молитва — как будто некий необходимый обряд, который попы забыли совершить при их венчании и который они теперь довершают сами.

Так молились они до тех пор, пока во все щели ставень не ворвались, с омытого ночью неба, бодрые солнечные лучи... Виктория Павловна поднялась с колен, будто пробужденная, и Иван Афанасьевич изумился ее новому лицу, исхудалому, измученному и — просветленному... Не глядя, протянула она ему руку на прощанье и, без единого слова, ушла в спальню, где, сию же минуту, и заперлась.

Иван Афанасьевич уехал с утренним поездом в Рюриков, чрезвычайно в духе, всю дорогу забавлял и смешил своих спутниц, учительниц, и казался таким резвым, будто помолодел на двадцать лет... На завтра он возвратился в Христофоровку, хотя не было никакого праздника. Остался ночевать, хотя не

было дождя. И — когда дом уснул — пришел к Виктории Павловне на «катафалк» очень просто и спокойно, как супруг, имеющий на то полное законное право и уверенный, что, — угодно-то жене или не угодно, — все равно: она уже не посмеет прогнать его, мужа, Богом данного, Церковью благословленного.

IX.

Дня три спустя после той жуткой и многозначительной ночи, Иван Афанасьевич сообщил жене, что помещение в Правосле почти готово и — «если вам, Виктория Павловна, угодно, то к Казанской можно и въехать». Виктория Павловна приняла это сообщение с удовольствием: унылая летом Христофоровка — неистово припекаемое солнцем, селенье на блюдечке, над отравленною фабриками речкою — ее истомила. К тому же, получила она из Петербурга открытку, в которой Серафима извещала, что именно на Казанскую она и Любовь Николаевна Смирнова придут в сооружаемую в Нахижном обительку, и, глядя по готовности последней, будет назначено на одно из поздних июльских воскрес-

ний или, самое позднее, в августе на Преобра-
жение либо Успенье торжественное освеще-
ние, которое предполагается с участием само-
го Экзакустодиана, а, может быть, упроят
приехать кое-кого и повыше. Об Экзакустоди-
ане Серафима ничего не писала — и, вообще,
открытка производила впечатление поднад-
зорной осторожности и подцензурной сдер-
жанности, очевидно, пройдя через контроль
и Авдотьи Никифоровны Колымагиной, и Лю-
бови Николаевны Смирновой с ее чернослив-
ными очами. На Викторию Павловну открыт-
ка Серафимы пахнула ветром из того мира,
который теперь единственно ее занимал и
манил, как новое обаяние — неразгаданное и
тем более могучее. Она заволновалась и про-
сила Ивана Афанасьевича — как возможно
поторопить отделку помещения, потому что
на Казанскую она желала бы непременно
встретиться в Нахижном с своими приятель-
ницами. Иван Афанасьевич, осведомившись,
кто были эти приятельницы, удвоил стара-
ния. Ко всему, что исходило из общины на Пе-
тербургской стороне, он питал великое и бо-
язливое почтение.

Правосла поразила Викторию Павловну своими переменами. Вместо старого дома, в котором было пережито столько горя и радости, греха и счастья, серела голая плешь пустыря: буфетчица Еликонида вывезла даже щебень!

— На будущий год прикроется цветником, — утешал Иван Афанасьевич.

Виктория Павловна отвечала:

— Мне все равно.

С глубоким равнодушием смотрела она на воздвигаемые новые хоромы, ради места для которых Иван Афанасьевич безжалостно вырубил добрую треть сада, погубив самые старые и любимые деревья Викторией Павловны. О временной же дачке-избе, принявшей ее теперь для летования, сделала только одно замечание:

— Вы построили ее так тесно, словно нарочно рассчитывали, чтобы не было никому больше места, кроме вас и меня...

— И Фенички! — подхватил Иван Афанасьевич, не отрицая, — и Фенички тоже, Витенька! Вот каморочка для Фенички...

— За досчатую перегородкою от общей

спальной? Подумайте!

— Да что же, Витенька? — несколько обиделся даже Иван Афанасьевич. — Что вы видите тут особенного? Во всем мире так. Если бы мы были чужие, а то, ведь, своя семья... Никакого соблазна тут для дитяти нет: слава Богу, уже не в грехе живем, а по закону...

Виктория Павловна прервала с нетерпением:

— Да, да, но Феничке быть здесь не годится.

Внутренне ворча на каприз жены, Иван Афанасьевич прорубил окно в одной из сеяных клетушек, и, таким образом, Феничка была устроена.

Молодая нянька ее, неохотно последовавшая за господами из Христофоровки, заскучала на чужой стороне и, не дожив даже недели, запросила расчета. Виктория Павловна охотно отпустила ее, рассчитывая взять в дом старую свою служанку, исполиншу Анисью. Эта последняя, в первый же день приезда барыни с барышней, прибежала к ним со слезами влюбленной радости, со словами домогильной преданности... Но Иван Афанасьевич

восстал против намерения жены с такою непреклонною настойчивостью, с таким жаром, что и ее удивил, и сам на себя удивлялся.

— Это мне изумительно видеть в вас, Витенька, — говорил он с раздражением. Так вы оберегаете Феничку от дурных влияний и примеров, а между тем, желаете взять в дом заведомо позорную женщину, корчемную проститутку...

— Я знаю Анисью десять лет. Тело у нее грешное, но душа чище, чем у иного ребенка наших дней. Детей она обожает, святыню в них видит...

— То-то и таскает их, что ни год, топить в Осну! — проворчал Иван Афанасьевич.

Виктория Павловна отвечала:

— Это ее грех, она за него и ответит. Может быть, в том есть люди виноватее, чем она сама. Но, какова бы ни была ее жизнь, она и сама не способна подать соблазна ребенку, да убережет его и от соблазна со стороны других...

— Это проститутка-то?

— Да что вы так привязались к этому слову? При мне, она проституцией не занима-

лась. Когда с вами жила, тоже...

— Виктория Павловна! Это вам донесли сплетни...

— Ах, полно, пожалуйста! какие там сплетни? И от нее самой знаю, и все здесь знают, и вы лучше всех знаете... И, пожалуйста, не трудитесь отрекаться: нисколько вам того в вину не ставлю и решительно мне все равно... А вот — что вы ее выгнали — это было скверно. Куда же ей было деваться — позднее зимою-то, когда в деревнях хлеб съеден? Тут, за неволю, бабы в проститутки идут... голод не тетка!

— Как вам угодно, Витенька, но я на ваше желание согласиться никак не могу, потому что прямо вам докладываю: уже одна мысль, что вы находитесь под одним кровом с этой беспутной возмущает во мне все внутренности...

— А я вот этого вашего возмущения никак не могу понять: по какому оно праву? Если я ничего не имею против Анисьи и, наоборот, желаю ее поселения у нас, то — вам-то что?

— Ваша снисходительность есть чисто ангельская, а мы люди и живем среди людей.

— Однако, не бойтесь же вы людей, когда заставляете меня принимать стационарную буфетчицу Еликонида, о которой люди говорят, что она сводничеством разжилась и до сих пор им приторговывает?..

— Это дело совсем другое-с. Что было, чего не было — Еликонида на том не поймана, а старики сказывают: не пойман, не вор... Вне же той напрасной молвы, женщина обстоятельная, деловая, положительная, много денежная... С нею водить знакомство значит соблюсти свой интерес... Но эта ваша, извините за выражение, голопятая Аниска — один срам и вред. Вот уже и вам стали известны хитро-сплетения человеческие относительно будто бы меня с нею. Извольте же представить себе, что заговорят, если это бревно всунется к нам в избу. Меня тогда каждый человек в уезде подлецом назвать должен, потому что — выходит — я оказываюсь, будто ставлю вас на одну доску с гулящею тварью и совершенно не умею вас уважать...

— Ну, а я так совсем никакой разницы между собою и Анисьею не вижу... разве, что — в ее пользу!

— Виктория Павловна, мне это даже слушать возмутительно!

— И превозноситься над нею особым вашим уважением тоже не вижу причины. Со мною вы живете, с нею жили...

— Даже, если бы так, то позвольте заметить: за мною вы в супружестве, — а вольно мало ли кто с кем живет!

— Вот именно: мало ли кто с кем... Давно ли мы в супружестве-то? А греху нашему — годы и годы... Анисья еще и не объявлялась в наших местах, когда я для вас именно подобною же Анисьею была...

— Повторяю вам, что я подобных сравнений слышать не желаю.

— Как не желаете, когда я у вас же их беру? Не вы ли сами признавались мне в Труворове, что в то время даже не питали ко мне никакой любви, а просто — говорили — вижу: девочка заносчива, потешается, — ну, и я потешусь?

— Виктория Павловна, это совсем не в том смысле... И я очень прошу вас этот разговор превратить.

— То есть — как это прекратить? Вы, ка-

жется, уже воображаете себя в праве выбирать для меня темы разговора?

— Но если ваши слова меня оскорбляют? Неужели вы говорите со мною затем, чтобы меня оскорблять?

В конце концов, Иван Афанасьевич, конечно, уступил бы, тем более, что почитал упорство Виктории Павловны блажью беременной женщины. А к беременности ее он относился, как к величайшему и желаннейшему ожиданию, которое когда-либо посылала ему жизнь. Ради будущего «вороненочка», которого носила его пленная орлица, он примирился бы не то, что с Анисьею, а хоть с бесом в доме. Но возвращение сестры Василисы спасло его от капитуляции счастливым компромиссом. Василиса, зорко взглядевшись в происходящее, сама предложила Виктории Павловне остаться при ней за хозяйку. А обрадованная Виктория Павловна решила, что теперь ей в дом никого больше не надо, и легко оставила мысли об Анисье. Тем более, что последняя и сама, хотя барыню свою любила сердцем, однако, не очень-то рвалась на житье туда, где хозяин теперь глядел на нее зверь-зверем, по-

тому что раньше глядел уж слишком ласково.

Отношения между супругами сложились престранные. Всякий другой муж, более тонкий и духовной организации, чем Иван Афанасьевич Пшенка, почел бы их мучительными и обидными, но он был не только доволен, а даже находил, что лучших и желать нельзя. Доведенная мистическими кविताми и беседами с новыми своими друзьями до идеи полного полового подчинения мужу, как человеку, освященному таинством, Виктория Павловна, в новом быту своем, со свойственной ей крутостью своенравия, что называется, перегнула палку в другую сторону. Насколько раньше вся ее половая жизнь внушалась и руководилась исключительно ее личным желанием и произволом, не терпевшими никакого принуждения, не считавшимися никогда ни с чьею, не то, что повелительною, но хотя бы молящею волею, — настолько теперь она, отрекшаяся от произвола, чуждая и далекая от желаний, жила в угрюмом бесстрастии, отвечая бесчувственным, не возбуждающимся телом только понуждению, покоряясь только требованию мужней воли. Иван Афанасьевич

очень ясно видел, что, вместо былой страстной женщины-бесовки, бегавшей к нему некогда на лесные свидания, приобрел в законном браке безвольную живую машину пола, но перемена эта — вместо того, чтобы его обижать, — ему льстила:

— Ага, — злорадно думал он иногда. — Тот, гордячка, орлиная кровь! Покомандовала ты мною в свое время предовольно... ну, а теперь, как смирил тебя Господь, моя, выходит, очередь: я покомандую... Мое право, моя воля!.. Вся моя — душою и телом!.. Мое дело — требовать и приказывать, твое — слушать и исполнять... Когда честью прошу, ценить должна, что деликатен: вежливость соблюдаю... И — ну-ка, осмелся, ну-ка попробуй — не послушан, откажи!..

Влюбленность в жену, разбуженная в Рюрикове несправедливою ревностью к Буруну [См. "Законный грех"] со всеми ее неожиданными и столь счастливыми для Ивана Афанасьевича последствиями, тлевшая и зревшая всю весну в тисках раболепной супружеской политики, которою Иван Афанасьевич подготавливал свою конечную победу, теперь — вы-

пущенная на волю — охватила его, как пламенем: грубая, палящая, неустанно требовательная, неотступная ни на миг. Еще недавно он даже сам не мог бы вообразить, что может так прилипнуть к женщине, хотя бы даже и к ней — орлице — Виктория Павловне. Все благоговение к ней, вся привычка к, ее авторитету, весь полубожественный ореол, которым он окружал ее образ в последние годы, когда, одиноко заключенный в Правосле, он вспоминал Викторию Павловну скорее, и в самом деле, как прекрасное сновидение, чем, как женщину, которую он знал и которою обладал, — теперь переродились из обожающей только-что не молитвы в такое же постоянство и настойчивость обожающего сладострастия. В осеннем великолепии своей тридцатилетней красоты, Виктория Павловна влекла мужа гораздо больше, чем даже та юная нимфа, которая являлась ему когда-то в Синдеевском лесу и затем тринадцать лет мелькала перед ним, в мечте, веселым телом цвета слоновой кости, в солнечных пятнах-кружках, упавших с неба сквозь листья орешника. Теперь это желанное тело принадлежало Ивану

Афанасьевичу вполне, но, принадлежа, зато и завладело им все совершенно. Он, в полном смысле слова, отравился женою. Ее образ как бы заполнил собою все его воображение, отгородив его от всякого иного впечатления, истребив из воли всякое иное желание, кроме вожделения к этой наконец-то обладаемой, наконец-то порабощенной красоте, всякую потребность в ином интересе, кроме наслаждения ею. Иван Афанасьевич очень хорошо и успешно вел дела, хозяйничал, строился, но все это — в каждом моменте — будто процеживалось сквозь неразлучную, неотрывную, желающую мысль о Витеньке, как начал он звать Викторию Павловну — сперва в робких обмолвках, потом, видя, что ей все равно, постоянно. Обращение на «Викторию Павловну» теперь звучало только знаком, что он недоволен и протестует. А смелость быть недовольным и протестовать он, неожиданным инстинктом, нашел в себе, вместе с супружеским правом, и, не встретив со стороны равнодушной, как бы оцепенелой, жены никакого противодействия первым попыткам своей смелости, удержал ее, упрочил и рас-

ширял день ото дня все на больший и на больший круг отношений. Большой и ответственный приобретательный труд, который Иван Афанасьевич на себя взвалил и нес искусно и бодро, имел для него смысл исключительно как своеобразная плата за Витеньку и обеспечение обладания ею. Брак, в его понимании, обратился, буквально, в награду жениным телом за мужнины труды. Выгодно продав, дешево купив, хорошо построив, предвидя счастливый урожай и успешную уборку хлебов и сена, Иван Афанасьевич являлся к жене сияющим победителем, как кредитор с исполнительным листом, по которому пожалуйста платить — отсрочка невозможна и неприемлема. Мертвенное, машинное бесстрашие, которое его встречало, не смущало его нисколько, — скорее возбуждало. За годы и годы, что знал он Викторию Павловну, он так привык к мысли, что душа и любовь этой женщины ему никак принадлежать не могут, что даже и не добивался их. Да не из таких он был людей, чтобы придавать значение «сентиментам» и искать их. Нужны были тело и послушание. Тело было прекрасно, по-

слушание — безмолвное и безусловное. Иван Афанасьевич чувствовал себя вроде турка, купившего наложницу, с которою он — что хочет, то и сотворит: в страстях его она не участница, но повиноваться им обязана, как живая кукла... Тот черный флигелек, в котором он коротал свои безрадостные дни при Арине Федотовне, Иван Афанасьевич случайно или с умыслом уберег от ломки дольше всех других, обреченных на разрушение православенских строений. Вскоре по переезде из Христофоровки, он зашел в эту мрачную, закопченную хибарку, теперь еще больше одичавшую в заброшенности, — обросшую паутиною и поседевшими лохмотьями старой, холодной сажки... Задумался, ухмыльнулся и — послал бывшего при нем мальчишку позвать барыню, чтобы непременно сию же минуту шла к нему сюда. Виктория Павловна пришла.

— Вы меня звали... что вам угодно?

Он, сидя на старой своей, колченогой кровати нарами, притянул жену за руки, усадил к себе на колени и начал медленно и жадно целовать.

— Ровно ничего-с, — повторял он между поцелуями, — ровно ничего-с особенного... Я только хочу, чтобы вы со мною в этом месте побыли... да-с,! именно вот в этом месте... А то ведь завтра его уже будут ломать-с...

Если бы этот человек сохранил хоть тень бывшего образования и воспитанности, и был хоть сколько нибудь способен к отчетному самочувствию, то, сознавая себя в когтях пожирающей страсти, — а он сознавал! — наверное задумался бы над вопросом — «А естественно ли это? Не болен ли я?..» Но невежество ограждало Ивана Афанасьевича от подобных сомнений, как волшебным кругом, инстинкт самосохранения молчал, задавленный похотью, и, в огне ее, Иван Афанасьевич испытывал не страх, а только гордость:

— На шестом десятке лет, а вон я каков бо-ец-молодец... вы, нынешние, нутка-сь!

И — ему было мало одинокого торжества. Хотелось, чтобы те, кто знал его недавнее унижение, видели теперь его победу и блаженство. Виктория Павловна вела жизнь совершенно уединенную, избегая встреч с прежними своими друзьями и знакомыми.

Это Иван Афанасьевич одобрял, чуя, что, если бы в быту их остались люди уровня хотя бы лишь Зверинцева, то он, Иван Афанасьевич Пшенка, должен был бы съехать, во внимании своей мудреной супруги, куда-то на очень дальний план. Но свои дружбы, свои знакомства он поддерживал усерднее, чем когда-либо, воскрешая старые, — заводя новые, — сам в гости ездил и к себе звал, уверяя, что это необходимо для деловых отношений, которыми он надеется выправить захудалую, разоренную Правому и очистить ее от долгов. Начали бывать в Правосле удивительные люди, с удивительными манерами, удивительными речами. Самыми почетными гостями в этой новой компании были становой со становихою, пожилая пара безмерно толстых и добродушных взяточников, почитавших себя людьми образованными и современными, так как выписывали не только газету «Свет» и журнал «Ниву», но даже «Исторический Вестник». Очень хорошо понимая, что деловые отношения, на которые так усердно упирает Иван Афанасьевич, в действительности, только прикрывают его страстное желание

устроить для уезда живую выставку своего лестного супружества, а со стороны уезда — такое же страстное ответное любопытство, — Виктория Павловна, однако, бровью не моргнув, покорно принимала общество, которого раньше не пустила бы на свой порог, и, если сама избегала посещать это общество, то лишь потому, что интересное положение давало ей извинительную отговорку. Но, когда под этим предлогом она медлила отдать визит становихе, Иван Афанасьевич не весьма церемонно указал ей, что:

— Не хорошо-с: все-таки, начальство... От них на нас — аттестация... Становиха баба добрая, но обидчивая: вот, скажет, госпожа Пшенка мною брезгает, открытое презрение выказывает...

— Но, — возразила Виктория Павловна, — ведь мое положение ей известно... я не только у нее, а ни у кого не бываю...

— То-то, кабы ни у кого, — учительно поправил Иван Афанасьевич, — а то, где вам приятно, вы бываете довольно даже аккуратно... Вот, становиха-то и скажет: ко мне ехать — так не могу, беременна, а к сектан-

там ходить — небось, когда угодно, веселыми ногами... Вы полагаете, на собраниях ваших шпионишек нет? Сделайте милость: какой другой благодати надо искать, а этого добра сколько угодно...

— Может-быть, хотя я не понимаю, что им там делать... Ни против правительства, ни против религии, в секте, как вы ее напрасно называете...

— Да это не я-с, а — как в народе слывет...

— Ничего противозаконного не происходит... Напротив... И вы это знаете очень хорошо...

— Знаю-с... И что ваши госпожи сектантши под сильными покровительствами находятся — тоже мне неизвестно... Оттого и не трепещу за наше домашнее к ним приближение... А, все же, и не разрешено... Указано терпеть, но — не разрешено... А, что не разрешено, то, позвольте вам по опыту сказать, значит, в существе запрещено. А над тем, что, в существе запрещено, полиция на Руси все-сильна-с. Становой небольшой чиновник, но, все же, от него зависит, в каком виде представить оные благочестивые действия вверх по

начальству... Можно донести, что храм молитвы за царя и отечество, а можно и так, что — едва ли благонамеренное скопище и, может быть, даже некоторый вертеп разврата, только прикрываемый религиозным предлогом, а, в действительности, лютейший анархизм... Так что— извините меня, Виктория Павловна, но своим невниманием к становихе вы не только себе наживаете напрасного врага, но можете навлечь безнужные неприятности на ваших нахиженских знакомых, начиная хотя бы даже с сестры Василисы, которая свята-свята, а паспорт у нее просрочен и не совсем в порядке... Поедемте-ка лучше, право-с... Чего там? Люди хлебосольные, хорошие...

Виктория Павловна одевалась и ехала в Хмырово к становихе, которая угощала ее смородиновым вареньем, огурцами с медом, — удивительною вишневою наливкою и литературными разговорами, в коих безмерно восхищалась романами и Э. Гейнце и страшно негодовала на Максима Горького, зачем ходит в черной блузе и высоких сапогах. Побывав у становихи, не заехать к молодой

хмыровской попадье, значило бы оскорбить последнюю до кровомщения, а поп ее имел заслуженную репутацию кляузника первостатейного, от доносов которого только те и застрахованы, кто с ним в винт играет и, винтя, проигрывает. Не винтящий мир он почитал прямо-таки как бы вне закона и еще удивительно, как не отказывал подобным жалким тварям в благословении и причастии. А раз оказан почет хмыровской попадье, то — за что же обижать? — чем же хуже нахиженская дьяконица, дама средних лет, почитавшая себя даже вольнодумкою, потому что в юности была влюблена в студента медико-хирургической академии, у которого и обучилась курить ужасно крепкие папиросы? А вот еще нужный человек — станционная буфетчица Еликонида Тимофеевна. У нее в долгу все железнодорожные, она купила на слом старые правосленские хоромы и охотилась зимою купить и самую землю, если бы дела Виктории Павловны, управляемые ее мужем, не приняли настолько благоприятного оборота, что продажа сделалась ненужною. [См. "Злые призраки"] Она, если для затеянных Иваном

Афанасьевичем построек и хозяйственных преобразований выйдет заминка в оборотном капитале, всегда не прочь ссудить деньжонками на божеский процент...

— Уж пожалуйста-с... для меня-с... Что вам, Витенька, стоит, а мне чрезвычайно важно-с... Прошу вас... для меня-с...

И Виктория Павловна, не возражая, ехала к «копью-бабе», о которой знала, что смолоду Еликонида торговала собою, постарев и подурнев, стала торговать другими женщинами, а теперь, разжившись, почтенно и богомольно отдыхает на лаврах после жизни, которая вся сплошь была — публичный дом. Ехала, читала в колючих глазах хозяйки, на терновые ягодки похожих, в подергиваниях желтого, толстого лица великое глумливое торжество, что — экой, мол, гордой гостьи дождались, мы, маленькие люди!..

Слышала злые, унижающие намеки; отвечала на бесцеремонные бабьи расспросы о своей беременности; внимала азартным до страсти повествованиям о собственных ихних беременностях бывших; получала премудрые опытные советы, как нужно жить,

чтобы муж тебя любил и в семье был лад... Это — повсюду. А Еликонида обнаглела даже до того, что навязывалась будущему младенцу в крестные матери. Но тут уже и Иран Афанасьевич возмутился духом и, хотя с вежливыми извинениями, но заявил, что в крестные матери давно предложила себя становиха и, конечно, отказать ей теперь никак невозможно.

Тогда Еликонида Тимофеевна, обиженная и мстительная, сузив терновые глазки свои, принялась хихикать, и восклицала, пофыркивая в платочек:

— Ну, нечего делать, нечего делать... Начальство надо уважать... Сожалею, но понимаю: извинительно!.. Но, ежели так, то я — уж непременно — следующего... Иван Афанасьевич! Ты — как обещаешь на счет следующего-то? Даешь слово? Ась? У! Бестия ты, Иван, знаю я тебя, красноносый шельма! Виктория Павловна! Душечка!.. Ведь правду я говорю: бестией он задался на свет?.. Предупреждаю вас о нем: уж такой на счет нашей сестры, горемычного женского пола, уродился пройдоха, такой бессовестный пройдоха!.. За-

крутили вы свою буйную голову, что вышли за подобного плута. И как только вам достанет с ним терпения?.. А уж следующего, голубушка, как хотите, беспрерывно я, я, я у вас крещу!..

Даже Иван Афанасьевич был сконфужен...
Виктория Павловна молчала.

Иван Афанасьевич очень хорошо понимал религиозное происхождение покорности жены и потому не смел противодействовать ни ее дружбе с нахиженскими сектантами, ни тому влиянию, которое со дня на день, все более и более приобретал над нею, издали, часто писавший к ней Экзакустодиан. Он вполне отчетливо сообразил, что, если разрушится мираж, затянувший глаза Виктории Павловне мистическим флером, рухнет и внушение супружеских обязанностей, принятых ею на себя вроде покаянной эпитимии за грешную блудную жизнь. И тогда— строптивость своей супруги Иван Афанасьевич знал: никакой полицией ее не удержать, никаким этапом не вернуть... Вот разве что Феничка... Но Феничка, с некоторого времени, и в особенности после переезда в Правослу, Ивану Афанасьевичу

положительно мешала...

Чуждость между собою и девочкою он открыл, сознал и понял давно, но раньше эта чуждость была бездейственна и недвижна. Что Феничка стоит между ним и «Витенькой», как существо разделяющее, потому что Виктории Павловне несравненно более дорогое и близкое, это — Иван Афанасьевич слеп был бы, если бы не видел. Но раньше, покуда муж и жена оставались супругами только по имени, эта преграда к их сближению не сказывалась досадно и остро. Теперь же Иван Афанасьевич часто чувствовал себя — будто человеком, женившимся на вдове с полу-взрослою дочерью, которая всюду тянется за матерью, как траурный шлейф, и, подобно некоему печальному призраку лучшего прошлого, наполняет дом ревнивым недоумением; какое маме дело до этого нового папы, — почему он вдруг стал к ней близок, — зачем она его слушает, — как позволяет ему ласкать ее, — какие у него на нее права?.. Влюбленная одержимость Ивана Афанасьевича находила в пытливом призраке Фенички весьма неприятно сдерживающую узду, потому что покор-

ность и послушание Виктории Павловны были только до этого порога. Охрана Фенички, — этой девочки, которая не сегодня-завтра станет девушкой— от помыслов, смущающих чистоту, души, от догадок, способных испятнать грязью еще белоснежное воображение, сделалось для Виктории Павловны почти болезненным пунктиком, вроде навязчивой идеи у страдающих манией преследования. В присутствии девочки не то, что не допускались какие-либо знаки супружеской нежности, до выражения которой Иван Афанасьевич был охоч почти неудержимо, но уже сколько-нибудь неосторожное, вольное слово, движение, нескромный взгляд влекли за собою самые неприятные для Ивана Афанасьевича объяснения. В них он, по старой памяти, трусил до последнего и, за неимением других оправданий, спешил валить грех на свою одиочалость и необразование, что отчасти было и справедливо, так как, в самом деле, не нарочно же язык его — враг его пробалтывался иногда при Феничке непристойными супружескими обмолвками...

— Это мне безразлично, — возражала Вик-

тория Павловна. — С умыслом ли, без умысла ли — я не позволю развращать мою дочь. Я совсем не желаю, чтобы из нее выросла вторая я, которая в ее годы знала все и говорила обо всем... Я была не хуже ее, да, не хуже, но мою детскую душу взрослые обратили в плетельницу — и она отомстила за себя оплеванной женскою жизнью. А я хочу, чтобы в свою женскую жизнь дочь моя вошла светлая, как кристалл, счастливая, как утренняя роза...

Таким образом, Феничкино присутствие сделалось для Виктории Павловны как бы щитом против навязчивости мужа, а для Ивана Афанасьевича, мало-помалу, весьма тяжелой обузою. Днем мать и дочь были неразлучны и, значит, весь быт дома должен как бы фильтроваться чрез Феничкино понимание... Сердило Ивана Афанасьевича и то, что за большою любовью к Феничке, Виктория Павловна остается как будто совершенно равнодушна к своей новой беременности, которая давала столько радости ему, а ею была открыта сперва с нескрываемым страхом и враждебностью, теперь же лишь покорно тер-

пится, как неотразимая и неизбываемая кара Господня, но — без малейшей любви и радости, без слабого хотя бы призрака сладостного материнского ожидания... С Феничкою Виктория Павловна — вся — мать: нет мелочишки, которой бы глаз ее не заметил, в добре ли, в худе ли... А «вороненочку» будущему, вон, даже приданое готовить Василиса, мать и не беспокоится, не взглянет...

— Только, что носит... Так эка заслуга подумаешь! И корова носит, да еще и не имеет при том такого вида, будто кому-то милость делает... А все Феничка виновата. Феничка загородила ей свет: только в Феничкино будущее и глядит, а настоящего вокруг себя ничего не видит... У-у-у! баловницы — что мать, что дочь... Взять бы хворостину хорошую и...

Дойдя до подобных карательных мечтаний, Иван Афанасьевич спохватился, что далеко забрел, и боязливо оглядывался, но бывали минуты, когда, наедине с самим собою, он готов был признаться, что весьма близок к тому, чтобы просто-таки возненавидеть эту дочь, так явно привилегированную и в сравнении с с ним самим, и пред будущим его

ПОТОМСТВОМ.

Темноликая Василиса этим чрезмерным материнским пристрастием то же не слишком была довольна.

— Как вам угодно, Виктория Павловна, — выговаривала она, — а это уже выходит грех: любление твари паче Бога!

Но Виктория Павловна, хотя и боялась теперь слова «грех» пуще огня, в этом пункте была крепка и не верила.

— Что же делать — отвечала она. — Пусть грех, — иначе не могу. Мой грех — мой и ответ. За Феничку и ответить рада.

Больше всего смущало Василису, то странное наблюдение, что Виктория Павловна, сама с каждым днем все глубже и глубже погружаясь в мистическую пучину, не только влекла за собою туда же свою девочку, но являлась покуда как будто совершенно равнодушною к ее религиозному настроению и развитию. Сама Виктория Павловна теперь почти не пропускала церковных служб. Правда, и Феничку брала с собою в церковь всенепременно, но — ясно было — исключительно затем, чтобы девочка не оставалась дома одна

с людьми, которым мать мало доверяла. Фенюшке стоять в церкви, где пели дико, а читали неразборчиво, было скучно. Она убежала на погост резвиться с крестьянскими детьми, среди которых почти все помнили ее приездом у Мирошниковых, и — кто был постарше, — рассказывали ей любопытные истории о ее счастливом, забытом, первом детстве. Если товарищей не находила, бродила, одинокая и вдумчивая, между зеленых могил, читая простодушные надписи на убогих крестах и вросших в землю старых плитах. Либо, перейдя кладбищенский окоп, ложилась где-нибудь во ржах с захваченной из дома книгой — и лежала до красного звона, возвещавшего конец службы. Читала она ужасно много и пестро, — глаза точно магнитом тянуло к каждой печатной бумаге, будь то томик Майн Рида или календарь Суворина, новейший русский песенник или житие св. Серафима Саровского, разрозненная книжка «Собрания иностранных романов» или «Начало цивилизации» Леббока...

— Ты, просто, ужасаешь меня, Феня, — улыбалась мать, — из тебя вырастет чичиков-

ский Петрушка...

Но Феничка не боялась. Она знала, что чичиковский Петрушка не запоминал, а она — что прочтет, то с этих пор остается пред ее глазами, точно записанное четкими белыми буквами на аспидной доске. Она знала, что Петрушка не мог обмыслить и обобщить прочитанного, а у нее все, что она видела и читала, цеплялось вместе образ за образом, мысль за мысль, картина за картину, — вопрос искал ответа, ответ порождал новый вопрос. И вся эта таинственная цепь, медленно погружаясь куда-то, на дно памяти, почти бессознательно слагала там странную силу, которую девочка уже чувствовала в себе, которая иногда уже действовала в ней суждением, но которой Феничка еще не умела ни определить, ни назвать, ни объяснить, а взрослые, если бы догадались понять, назвали бы ее уже мировоззрением.

Василиса выговаривала Виктории Павловне, что девочка лениво молится, но Виктория Павловна, внимательная ко всем иным словам приятельницы, эти пропускала мимо ушей, отделяваясь короткими ответами:

— Не хочет, — не заставишь.

— Меня, маленькую заставляли, — да и вырастили в безбожницу.

— Детское тело поставить на колени — не долго, но душа-то станет ли?

— Придет ее время, — озарится и сама.

— Бога любить — ей еще много срока; теперь пусть мать любит!

Василиса умолкала, потому что сознавала, что чувство к Феничке — в бурном море души Виктории Павловны остается чем-то вроде громадной подводной мели, близ которой надо плавать очень осторожно и опасно, а не то недолго и лодочку сломать... Иван Афанасьевич едва не сломал, когда осмелился выдрать Феничку за уши, хотя права была Анисья, рассказывая о том Зверинцеву: девочка, на этот раз, была кругом виновата, потому что, вздумав устраивать иллюминации в новом срубе, между опилок и стружек, едва не сожгла свою огненную шалостью всю новую постройку.

В этот случай, супруги впервые поссорились до острой бури, в которой Виктория Павловна сразу сбросила все условные путы, воз-

ложенные на себя в последние месяцы, и явилась прежнею неукротимицею. Раздор, едва улаженный Василисою и — по телеграфу из Петербурга — Экзакустодианом, ускорил решение Виктории Павловны отвезти Феничку в Дуботолков, на попечение Ани Балабоневской. Василисе и это решение было неприятно, потому что — если не самое Аню, то ее общество она почитала безбожным скопищем либералов и вольнодумцев, которые церкви не веруют, царя не чтут, над отцом Иоанном смеются, Экзакустодиана честят мошенником и прелюбодеем, а сами преданы помыслам безусловным и геенским ухищрениям. Ей очень хотелось уговорить Викторию Павловну, чтобы та отдала Феничку в одну из петербургских частных гимназий, которой начальница так тесно связалась с обителью Авдотьи Никифоровны Колымагиной, что ее заведение даже в печати начали называть «подготовительным классом иоанниток»... Но, бродя разговорами кругом да около, так и этак наводя Викторию Павловну мыслями на свой план, Василиса не смела даже и заикнуться о нем прямо. Она хорошо знала, что религиоз-

ное перерождение Виктории Павловны не изменило ее мнения, более, чем не высокого, и о самой Авдотье Никифоровне Колымагиной, и о ее приспешнице и наперснице Смирнихе. И, так как, внутри-то себя, Василиса то же не питала к этим господам никакого уважения, справедливо почитая их наглыми торговками, которым посчастливилось захватить в свои загребущие лапы святое дело, святое место и святое лицо, — то и не поднимала голоса настаивать. Да, в конце концов, это ей и не было поручено. Благословляя ее служить Виктории Павловне, Экзакустодиан так и ограничил ее задачу:

— Соблуди мне сей измарагд бесценный, а вся прочая приложатся.

Иван Афанасьевич, давно уже углубившийся в недоумелые поиски, какими судьбами попал он под покровительство Экзакустодиановых поклонниц, успел, наконец, кое-что прознать, — не то, чтобы верное и утвердительное, но хоть позволяющее догадываться и как будто понимать. В Рюрикове, куда Ивану Афанасьевичу часто приходилось ездить по делам, много говорили о предстоящем осе-

нию приезде князя Белосвинского в свои, давно покинутые вотчины. Рыжий, с изумрудными глазами, длинный, как верстовой столб, тощий и пестрый в клетчатых пиджаках и штанах, англичанин из поповичей, частный поверенный Оливетов примазался к княжескому главноуправляющему Шторху и казался в большой у него доверенности. Этот делец в Рюрикове, вообще, был в ходу и на примете, работал по своей части чудовищно много и разнообразно и шибко гнал деньгу. С Иваном Афанасьевичем он сдружился, когда торговал пустырь в Нахижном для Авдотьи Никифоровны Колымагиной, которой был не только поверенным, но и великим почитателем и, сколько мог догадаться Иван Афанасьевич, религиозным единомышленником. И вот, в одной случайной беседе о княжеском приезде, Оливетов, слегка подвыпивший, ударил Ивана Афанасьевича по плечу и сказал:

— А ты, Иван Афанасьевич, друг мой, уж лучше не показывайся князю на глаза: он тебя живьем съест!

И захохотал, вертя зелеными сумасшедшими глазами.

Иван Афанасьевич — не то, чтобы удивленный, но очень заинтересованный — настороженно осведомился:

— Почему же-с?

И получил ответ:

— Чудак! будто уж ты не знаешь, на ком он жениться ладил?

— Мало ли кто ладил! — с достоинством возразил Иван Афанасьевич, — Виктория Павловна, с первейших дней своего девичества, не знала отбоя от женихов...

— Да ведь кто как ладил! — захохотал Оливетов, — а я тебе, Иван, скажу по дружбе: должен ты во все дни живота своего ставить свечи за здоровье Авдотьи Колымагиной да Любви Смирновой... Потому что, ежели бы не они подрадели тебе, быть бы твоей Виктории Павловне княгинею. Наши — и только наши... тамошние, с Петербургской стороны, эту свадебку разбили. А то уже все готово было, — только венцы надеть...

— Да какой им в этом был интерес? — теперь уже действительно изумился Иван Афанасьевич.

Но Оливетов — как отрезал:

— А уж на это позвольте вам сказать: много будете знать — скоро, сударь, состаритесь... А стареться тебе при молодой жене — не резон. Благодарю, значит, судьбу свою, да Авдотью с Любовью, что подарили тебе утеху на старость лет, и — с тем и останься... Ха-ха-ха!

Но Иван Афанасьевич, и без Оливетова, вскоре дошел по брошенной им веревочке до довольно верных предположений. Что брак князя с Викторией Павловной был делом решенным и распался лишь невесть каким тайным случаем и вмешательством, — это он знал давно. Теперь Оливетов открыл ему, что вмешательство шло с Петербургской стороны.

— На своей, что ли, которой-нибудь они этого князишку женить думали? — недоумевал он.

Но о попытках такого сватовства было бы слышно: князь Белосвинский человек громкий, за ним не только молва человеческая, но временами даже и газеты следят. Однако, князь, и по сию пору, остается холост и, по слухам, не собирается жениться, а, по рассказам Шторха, он, за последние годы, стал пи-

тать даже болезненную какую-то ненависть к женщинам и ведет, что далее, то более замкнутую угрюмую жизнь...

— То-то! Обжегся князек на молочке — дуешь и на воду! — с злорадным самодовольством изъяснил это себе Иван Афанасьевич, чутко угадав, что в княжеском женоотвращении — не без причины неудачный роман с его прекрасною супругою....

Но, при чем тут припутались Колымагина с Смирнихою, оставалось, все-таки, неясным.

Однажды, на пути из Рюрикова в Правослу, на перегоне к последней от станции Белые Ключи, когда поезд шел землями князя Белосвинского, сосед Ивана Афанасьевича, незнакомый купец-русак, восхитился:

— Эки угодья! И хозяйство сколь превосходное! Если вы, господин, изволите быть из тутошних, не скажете ли, чье будет?

Иван Афанасьевич назвал. Купцу имя князя Белосвинского оказалось хорошо известным. Завязался разговор.

— Да, — сказал Иван Афанасьевич, — поместья несравненные. Можно сказать, одни в империи. Но — сегодня они принадлежат

князю Белосвинскому, а чьи будут завтра — даже неизвестно...

— А что? — удивился купец. — Неужели разоряется? При подобных капиталах, даже как бы невероятно....

— Нет, с чего ему разориться, состояние из первейших в России. Но князь человек уже не молодой, больной, не женатый, а, между тем, последний в роде. Один — как перст. Помрет, — наследников нет, — вот вам и выморока!

— Как не быть наследникам на подобное богатство? — отозвался купец, — было бы болото, черти найдутся...

— Найдутся, — заметил с ближней скамьи басистый господин, отчасти похожий на Оливетова, но плотный, одутловатый, сизоносый, в висячих усах без бороды и в дворянской краснооколышной фуражке. — Это вы, почтеннейший, напрасно, будто род князей Белосвинских вымер. Скоренько хороните. Есть родственники. Когда я служил в Сибири по переселенческому делу, то имел одного князя Белосвинского даже помощником своим... Вероятно, очень далекая родня, потому что че-

ловек был совершенно бедный, жил одним жалованьем, — однако, все же, был князь Белосвинский... Но, сколько я слышал, этот мой бывший товарищ князь, лет пять тому назад, помер чахоткою...

— Вот видите! — победно возразил Иван Афанасьевич.

Но усатый господин остановил его предостерегающим кивком преогромного мясистого указательного пальца, украшенного сердоликовым перстнем с печаткою.

— Но, — учтительно продолжал он, — этот мой князь Белосвинский имел в Омске старушку-сестру, вдовицу, по мужней фамилии госпожу Доброкостину...

— Как-с? — насторожился Иван Афанасьевич: фамилия показалась ему знакомою.

— Доброкостину... И у этой госпожи Доброкостинной была дочь, которую я имел честь знать лично. Девушка уже в то время была немолодая, собою нехороша и характера престранного: от юности ханжа... Все то по монастырям да богомольям, все то с монахами да монашенками... Многие даже полагали ее одержимою религиозным умопомешатель-

ством... А, между тем, несомненная княжеская кровь и, если эта девица Доброкостина еще существует на свете, то вот вам уже и наследница после князя Белосвинского... И подобных, поди, сыщется не одна!..

Случайный, вскользь прошедший, разговор в вагоне дал Ивану Афанасьевичу ключ к занимавшей его загадке. Фамилию Доброкостиной он, положительно, слышал, и ему казалось, что — как будто слышал от Василисы. Если да, то, стало-быть, госпожа эта — в колымагинской компании, к которой она подходит и по характеру своему, как описывал ее усатый проезжий в дворянской фуражке. А если она в компании Колымагиной, тогда понятно, зачем последней понадобилось разбить свадьбу Виктории Павловны с князем:

— Нашли спасения души вероятную наследницу, закрепостили ее, поди, себе всякими неразрывными цепями и ждут способа приступить к ней, через нее, к князевым капиталам. А тут, вдруг, на-ка — князь жениться вздумал, невесту нашел... Разве потерю подобного расчета возможно снести? Это — кому ни доведись, — ад! Виктория Павловна

еще спасибо скажи, что ее только отстранили, могли бы и извести... Очень просто... За деньги-то разве то еще делают?..

По приезде в Правослу, Иван Афанасьевич постарался искусно повыспросить сестру Василису, что за птица такая живет на свете — госпожа Доброкостина — и насколько она Василисе известна. Темноликая девица отвечала охотно, с полною свободою, из чего Иван Афанасьевич мог заключить, что из существования госпожи Доброкостиной на Петербургской стороне никакой тайны не делается. Все, что рассказал о Доброкостиной проезжий краснооколышный господин, Василиса подтвердила, хотя и в ином освещении, говоря об этой девице, как — мало-мало, что не святой. Но, так как она дошла уже в подвигах своих до степеней высоких и удостоилась дара благого молчания, то в грешном и суетном мире она — не жилица. Разумом — как ребенок. Если бы Авдотья Никифоровна Колымагина не имела о ней материнского попечения, то пришлось бы ей плохо среди людей, принимающих ее за полоумную, невнимательных, насмешливых. Пожалуй, и пить-есть забыла бы,

и в лохмотьях находилась бы, — так велика ее задумчивость о божественном и небрежение к себе... О родстве Доброкостиной с князем Белосвинским Иван Афанасьевич Василису не спрашивал, боясь, не сообщила бы она о том Виктории Павловне, а та догадлива... Но ему казалось, что Василиса в родство это и не посвящена, так как она несколько раз упоминала и подчеркивала, что Доброкостина девица одинокая, сиротливая, более, чем небогатая. Только, что уж очень неприхотлива, содержать ее — грошей стоит, а то, без помощи Авдотьи Никифоровны, хоть руку на мосту протягивай либо с голода помирай..

— Может быть, поискать, так и нашлись бы какие-нибудь состоятельные родственники, — невинно заметил Иван Афанасьевич.

Василиса отрицательно махнула головою.

— Если бы были, то Авдотья Никифоровна разыскала бы: то же ведь не радость ей вчуже тратиться... А вас почему госпожа Доброкостина столько интересуется? — как бы спохватилась и насторожилась она.

Иван Афанасьевич объяснил почти полную правду, что встретил в вагоне человека, с

которым разговорился о Колымагиной и ее строящейся обители, а тот и стал расспрашивать: не знаете ли вы там некоей Доброкостиной, старой моей знакомой из Омска?.. Василиса удовлетворилась. А Иван Афанасьевич после ее вопроса окончательно утвердился в своих предположениях:

— Да... С князем Викторию разбили, а, чтобы он не вернулся на старую дорожку, постарались поскорее поставить разрушенную невесту под новый венец... Ловко приспособлено! Ай да Бисмарки! Не понапрасну, видно, старые люди говорили, что куда чёрт сам не поспеет, туда он старую бабу пошлет!..

Угадав довольно верно силу, причинившую разрыв Виктории Павловны с князем, Иван Афанасьевич не мог, однако, знать способ, которым сила в этом случае орудовала, ни многих побочных обстоятельств, которые окружили главную причину особыми поводами, столько же побудительными и спешными, как она сама.

Давно уже — гораздо раньше, чем князь, в Швейцарии, получил роковое анонимное письмо [См. „Злые призраки“.] — Авдотья Ни-

кифорова Колымагина, в Петербурге, на Петербургской стороне, призвала, однажды, Любовь Николаевну Смирнову на секретное совещание, с глазу на глаз, и сказала ей, сбросив с себя всякий след святого вида, с мрачною злобою, чёрт чёртом:

— Экзакустодианишка несносно дурит! нет с ним никакого терпения и лада. Сегодня девка испорчена, завтра другая, послезавтра третья, — ведь, это же уголовщина! По краешку пропасти ходим. Уже дважды на волоске висели: чего стоило откупиться. Этак с ним никаких доходов не хватит... Просто, я тебе скажу, опостылел он мне своим безобразием! Кабы не так нужен был, прогнала бы ясного сокола на все четыре стороны и — чтобы не видали его больше глаза мои!

Любовь Николаевна Смирнова, потупя черносливные очи свои, согласилась, что поведением Экзакустодиан, действительно, становится невозможен — и в обительке скандалит без удержа, да и в людях прорывается опасно. Намедни, у именитейших купцов Н., при большом стечении благочестивой публики, произнося учительное слово о жене Лотовой,

обращенной в соляной столп, такими красками изобразил жизнь содомскую, что присутствующие не знали, куда девать глаза. Конечно, греховные содомляне заслуживают, чтобы проповедник их ругал, но — зачем же непременно матерными словами? Толстой генеральше Х. Экзакустодиан без церемонии положил свои лапы на груди и, в этакоей позиции, при всеобщем смущении домашних и гостей, поучал ее добрые десять минут на тему, что есть млеко духовное и сколь оно превосходнее млека плотского. Хорошо, что генеральша взяла это в добрую сторону, а то, ведь, супруг-то ее — фигура ой-ой-ой! даже и во дворце принят. Но Экзакустодиан, когда влетит ему в голову блажь, разве разбирает лица? Вон — у графини У. он проповедовал-проповедовал, учительствовал-учительствовал, да, вдруг, среди соловьиного-то распева и боговдохновенных словес:

— Извини, матушка графинюшка, имею нужду выйти.

И — в зимний сад!..

Опять-таки счастлив его Бог, что на дуру напал: нашла юродивую простоту его трога-

тельною, умилилась и еще больше уверовала... Да, ведь, не все же дурами и дураками Петербург населен... Простота простотою, юродство юродством, а наконец разберут, что глумится... Как тогда?.. Газетишки нас, и без фактов, травят, а, ежели осведомятся вот об этаких путешествиях в зимний сад да руково-возлаганиях на генеральские перси, то — хоть и лавочку закрывай...

— По моему, Авдотья Никифоровна, вам на него — одна управа: везите вы его в Кронштадт к отцу Иоанну, пусть сам батюшка его пощуняет, — авось, уймет.

— Скажешь то же! — с неудовольствием возразила Колымагина, — разве святого мужа можно смущать подобными глупостями? Он, ведь, как дитя, мирской грех ему чужд, а чуждость людям и муху со слона кажет. Что Экзакустодиан лишь озорничает в дурости, этого он не поймет, блажи от злобы не отличит, а только в ужас придет, сколь сие греховно, и возымеет подозрение и испуг. Да не только на Экзакустодиана, но и на нас грешных. Он ведь премнительный. Доверия вид являет повсеместно только чтобы хранить себя в спо-

койствии и не растрачивать свою великую силу по малым волнениям, а внутри себя все думает, что его кругом обманывают, и терзается тем, и страдает... Да оно, если правду говорить, Любовь, так оно и есть: бывало ли где-нибудь еще такое плутовское и обманное царство, как вокруг его святого неведения? Нет, уж если суждено всему сему разоблачиться, так пусть хоть не с нас начнется: есть там соколы и соколихи почище... А Экзакусто-диана — что ты! как это возможно, чтобы мы сами роняли Экзакусто-диана в батюшкиных глазах! Экзакусто-диан человек, нам необходимый. Немыслимо!

Смирнова скромно возразила:

— Я посоветовала только потому, что отец Иоанн — единственное, может быть, в целом мире лицо, которое Экзакусто-диан чтит безусловно и будет ему повиноваться, какое бы он покаяние и воздержание ни назначил...

— Да, вот, именно еще этого только не доставало! — живо перебила Колымагина, — удивительная ты, право, женщина, Любовь. Что же тогда будет? Словно ты не знаешь Экзакусто-диана? Только загони его на эту ли-

нию — каяться да душу спасать, — то мы его больше и не увидим... Это для него самое сладкое занятие — в дебрь уйти, коленки мозолить, шишку на лбу набивать поклонами, голодом себя морить, видений ожидать...

— Временами и это нужно, — заметила Смирнова. — Вы вспомните, какая молва пошла, когда он в Бежецке удалился в пещеру. Отбоя не было от посетительниц и расспросов. А многие не поленились и в Бежецк съездить — подивиться, как батюшка истязует свою плоть и спасает душу...

— Временами полезно, да теперь-то больно не с руки, — возразила Колымагина. — Он мне в Питере нужен и в больших городах, а не в пустыне... Вон, теперь взять: эта новая барыня объявилась за ним, в хвосте, инженерша, госпожа Лабеус... Капитал — несть числа, считать не умеет и не хочет... Вся взбалмошная: вчерашний день потеряла, завтрашнего ищет, нынешнего не видит... Без него, этой рыбины на уду не взять... Влюблена — как кошка и сама не знает в кого: то ли ей в нем святой мил, то ли мужик здоровый... А разве она одна? Тому удивляться надо: как

только он их, священноплех своих, мирит друг с дружкой и к ладу приводит? Уж подлинно, что на это ему дана какая-то особая благодать...

Она засмеялась и продолжала:

— Нет, на хлеб, на воду и на горох под коленки мы Экзакустодиана спровадим когда-нибудь после, ежели он повыдохнется... А сейчас ты мне лучше поищи для него привязку хорошую... Понимаешь? Таковую, чтобы она его крепко держала, а мы — ее...!

— Где найти? — грустно возразила Смирнова, — если бы он был, как прежде, а то ужас как избаловался женщинами и какой сделался непостоянный: только и готовь ему новых да новых...

— Слушай, — остановила Колымагина, — а что эта барышня из Олегова, которою он все нет-нет да и забредит?

— Виктория Павловна Бурмыслова? Так она не из Олегова, а из Рюрикова, — поправила Смирнова, — в Олегове они только встретились... Я ее мало знаю, но, сколько видела, вряд ли могла бы быть из наших... Либералка и атеистка: бесов кусок... Вы об ней расспро-

сите Евгению Александровну Лабеус: вот — приятельница...

— Спрашивала, — с досадою отвечала Колымагина, — да немного узнала. Вообще-то, Евгения эта — преболтливая, но в подругу свою — влюблена, что ли, очень: только хвалит ее, будто ангела, на землю сошедшего, а не рассказывает о ней ничего...

— Ну, ангел этот, — засмеялась Смирнова, — не знаю, как вел себя на небе, но на земле накрутил достаточно... А относительно Евгении Александровны — позвольте, я с нею поговорю. Как бы она пред своим ангелом ни благоговела, но, если ей дать понять, что в ее ангела врезался Экзакустодиан, то — ее то, голубушку, я уже знаю: преревнивая и, в ревности, бешеная... Живо развяжет язык...

Дама с черносливными очами не ошиблась в расчетах. Евгения Александровна, действительно, развязала язык, и на Петербургской стороне секреты Виктории Павловны сделались известными почти в той же мере, как ей самой... До девических грехов Виктории Павловны «игуменьям» было мало дела, но открытие, что она — того гляди — выйдет

замуж за князя Белосвинского, обеспокоило их очень. Девушка Доброкостина, единственная законная наследница бездетного князя, действительно, давно уже находилась на попечении Колымагиной и — кроткая, богомольная полуидиотка — умела смотреть на мир с вещами и делами его не иначе, как глазами своей покровительницы. В неимении после князя других наследников кроме Доброкостиной Колымагина была уверена. Рюриковский рыжий и зеленоглазый друг и поверенный ее, Оливетов пол-России объездил с тайным поручением исследовать вымершее родство угасающего рода и привез на Петербургскую сторону совершенное убеждение, что — не извольте беспокоиться: это поле чисто. Таким образом, — лишь бы князь не вздумал изменить своей скептической антипатии к женскому полу, а то, при слабом его здоровье, Авдотья Никифоровна Колымагина уже почти что могла считать себя будущею хозяйкою в имениях рюриковского магната... И, вдруг, в такой-то счастливый момент, выплывает на сцену — совсем некстати — Виктория Бурмылова...

— Да что это, право, она на наших дорогах засовалась? — тревожно волновалась Авдотья Никифоровна — и сильно любопытствовала о Виктории Павловне.

С одной дороги — от князя — ее легко убрали путем ловко составленного анонимного письма, от обвинений которого Виктория Павловна пред сиятельным женихом своим не захотела отречься...

А о другой дороге — к Экзакустодиану — Колымагина со Смирнихой, напротив, задумались было: не привлечь ли на нее, Викторию Павловну, как новое орудие, через которое можно будет влиять на строптивного пророка, с каждым днем все более и более выходящего из подчинения своим антрепренерам? Но как раз в это время в секту вошла юная купеческая дочь, Серафима Алексеевна Алексеева, девушка чудной и как бы истерической красоты, осененная даром странных вдохновений, в припадках которых она, — обычно, далеко не умная, совсем не образованная, даже малограмотная, — начинала говорить очень недурными стихами. Эта бурная речь рифмующей пифии лилась из уст ее

иногда целыми часами, и внимательные, мистически настроенные, слушатели умели находить в ее четверостишиях то угадки давнего прошедшего, то ясновидение далекого настоящего, то пророчество будущего... Если бы эта прекрасная сибилла не была дико застенчива и не питала страха и отвращения ко всякой публичности до такой меры, что, при большом и чужом обществе, решительно не способна была проявить свой дар, а, наоборот, поминутно выказывала себя в самом смешном свете и глупом виде, Авдотья Колымагина сумела бы пустить ее среди мистиков и мистичек Петербурга в широкий ход, не хуже Экзакустодиана. Но на первых же опытах Серафима оборвалась самым позорным образом, обнаружив полную неспособность к шарлатанским самоприкрасам и большую, грубую, громкую искренность, от которой жутко приходилось — прежде всего — «игуменьям», терпевшим от ее честной, но нелепой дерзости ежечасные и остро уязвлявшие обличения..

— От одного Экзакустодиана смерть была, а ныне обрели честную парочку! — злобилась

Колымагина, но терпела. Во-первых, потому, что (Серафима была не какая-нибудь нищая с улицы, но имела свой капиталец, хотя и не большой, и — дура-дура, а держала свои заветные денежки крепко, очень аккуратно считаясь с Колымагиной за свое содержание, делая иной раз кое-какие вклады и пожертвования, но далее — ничего! Во-вторых, удивительная красота ее, даже и безмолвная, служила обители редким украшением, которое жаль было потерять. Многие милостивцы затем только и приезжали на молитвенные собрания, чтобы полюбоваться Серафимою, в ее царственной повязке-диадеме вокруг головы, по черным кудрям. В третьих, ближайшие и интимнейшие покровители секты, из богатых и знатных мистиков, успевшие ознакомиться с стихотворно-пророческим даром Серафимы, возымели о ней высокое мнение и разные таинственные надежды, которые преждевременно разрушать опять-таки Колымагина почитала не выгодным. А в четвертых и главных, Экзакустодиан зажегся к Серафиме короткою, но сильною страстью, которая, временно, отодвинула на задний план

все другие его увлечения. Он увидел в Серафиме родственную натуру, почти что самого себя, но — в прекрасном женском образе, вроде падшего ангела. Провозгласил ее «королевою небес» и пророчествовал ей быть матерью того удивительного младенца, мечта о котором так причудливо переплетала в его буйной жизни грех со святостью и подвиг с преступлением. Все это, по совокупности, повело Серафиму в обители на высоту в самом деле какой-то царицы, — по крайней мере, номинальной: которая господствует, но не управляет. От нее ровно ничего не зависело в секте ни морально, ни материально, но условное положение создано такое, будто зависело все. Создался культ чисто-внешний, показательный, но настолько признанный и в недрах секты общеизвестный, что «игуменьям» неожиданно пришлось согнуть головы перед собственным своим созданием. Хотя воли от них Серафима никакой себе не получила, но делался вид, будто она-то, эта новая «королева небес», и есть истинный центр секты, матка в святом улье, и все в обители творится ее волею и освящается ее именем... Фальшь и

ложь, которыми окружалась эта двусмысленно возвышенная роль, быстро довели Серафиму до глубокого разочарования в себе, и в людях, и, прежде всего, до злейшего презрения к окружающей, лицемерной среде, которой она чувствовала себя обреченною безвыходно, навсегда расстаться с нею не умела, да, избаловавшись, пожалуй, уже и не хотела, а жить в ней стало совсем тошно — до самоубийственной мечты. С тоски и бессильного гнева бросилась к обычному лекарству русских купеческих женщин: начала попивать и, с вина, делалась еще несноснее для окружающих...

— Что мы от этой девчонки терпим — невозможно пером описать! — почти плакала, трясясь в старушечьей злобе, Колымагина. — Подобной наглой не видывала!

Объяснения, уговоры, просьбы, угрозы несколько не помогали.

— Очень вам надоела? — издевалась Серафима. — А вы меня отравите! Очень просто... Любке-то Смирнихе, поди, не в первый раз стрихнин подсыпать...

— Фимочка, Фимочка! Что ты только на безвинную женщину взводишь! Что гово-

ришь!

— Или, может быть, не хотите брать греха на душу — ждете, что сама отравлюсь?.. Нет, миленькие, мне в «королевах небес» — хоть совестно, да тепло. По крайней мере, бессильною злостью вашею тешусь: то-то спектакли, — не надобно театров!.. А вот, погодите, — я вам еще, Экзакустодиановой милостью, королевича рожу... во лбу звезда, на затылке месяц, вместо темени — красное солнышко... То-то мы с Экзакустодианом над вами запануем!.. По этому! случаю, мать игуменья, соблаговолите-ка ликерцу!

Чтобы разбить опасное согласие Серафимы с Экзакустодианом, Колымагина со Смирнихой опять было надумались взяться за Викторию Павловну, благо она в это время опять появилась в Петербурге и имела с Экзакустодианом на Николаевском вокзале странную и многозначительную встречу, все подробности которой сделались Колымагиной немедленно известны.

Но, когда Виктория Павловна начала бывать на Петербургской стороне, старуха пригляделась к гостье и испугалась ее. Поняла,

что эта женщина — не ихнего поля ягода. Свести ее с Экзакустодианом хотя очень легко, потому что на его открытое влечение к ней чувствуется и в ней ответное влечение скрытое, но, тогда, — для секты — прости-прощай, Экзакустодиан! Не останется он, дикий, страстный безумец, пророк, тоскующий в скорлупе шарлатана по пламени истинного призвания, униженный оподляющим грехом, возвышенный благородною мечтою, преступный и жаждущий возрождения, вечно падающий и поднимающийся, чтобы вновь упасть, лежа в грязи, тоскующий по облакам, плывя в облаках, завистливо поглядывающий вниз, в чёртово болото, — не останется он тогда со своими льстивыми и корыстными «игуменьями», а пойдет за этою: куда научит, куда велит...

— Еще бы! — со злобою рассуждала Колымагина, — это, ведь, тебе не Серафима-простыня, либо прочие, которые вокруг него крутятся из нашей сестры, мещанская да купеческая серота... Барышня, благородная, образованная, княжая невеста, звезда звездой, — лестно!.. Хоть гулящей жизни, да, зато, взгля-

нет, рублем подарит, слово молвит — тысячей... Хоть и не так молода, но красотой не уступит Серафимке, а — уж что умна и обращением увлекательна, так это с тем и возмите... Ну, и выходит ему, дураку, который не забыл, как собою в бурсе вшей кормил, пропадать от нее, царь-девицы...

— Ну, Авдотья Никифоровна, — возражала Смирнова, — вы уж слишком... Подумаешь, не знавал он женщин выше своего сословия. Бывали и графини, и княгини. И будут — только помани.

— Тебе на этот счет и книги в руки, — уязвила старуха, — ты сама благородная. Но, любезная моя, надо понимать разницу: одно дело — по юродству хватать генеральш за груди, а другое дело — возмечтать о женщине, как о королеве небес... Ведь он ее так себе выдумал и так всю над собою превознес, что жутко слушать... Что Серафимка со своими стихами! Он теперь ее только потому и терпит, что ребенка ждет. А то, давно уже зевает при ней, морду дует, отворачивается... Родит Серафима на свое несчастье девчонку, — только она Экзакустодиана и видела. Потому

что мыслями своими он весь к той, всегда к той... Ну, и я тебе скажу по старому своему опыту: на самой он опасной для себя дороге... Когда подобный человек женщину на небо в королевы зовет, а она не очень-то спешит, раздумывает, упирается, скажи мне: чего он, в своей бешеной гордости, не сделает, чтобы пошла? чего?... Вот, как сойдется она с ним, да женит его на себе...

— Ну, что это, право, Авдотья Никифоровна. Как это возможно, чтобы отец Экзакустодиан женился?

— А чего ему не жениться-то? Сана на нем нет. Отец он такой же, как мы с тобой матери: только для своих плотских детей, а — на счет духовных — одно самозванство. Кто его рукополагал? Разве волчий архирей на лесном болоте. Сан ему я придумала, когда его старец Амвросий в монахи не благословил. А что балахон черный и скуфейку носит, так это недолго: — в магазин готового платья зайти и приобрести партикулярную переменку... И вот тебе — сейчас был отец Экзакустодиан, а сейчас стал саратовский мещанин, псаломщиков сын, Евграф Орлокрыльский... А сколь

его к ней бросает, ты смотри: он сам напуган. Уж, кажется, можно видеть: влюблен, задыхается любовью, только о ней, Виктории этой, у него и речей стало, — а встретиться боится... Нарочно в Бежецк удрал от соблазна... Нет, уж этому веры, Любовь: если она захочет, обернет его вокруг пальца, как золотой перстень... И либо его от нас уведет, либо, хотя бы и в согласии, натерпимся мы от нее такого господского строптивства, что и Серафиму начнем вспоминать с благодарностью.

Неожиданный брак Виктории Павловны положил конец опасением «игумений», но, вместе с тем, потрясающее впечатление, которым он поразил Экзакустодиана, очень их смущало. Они никак не ожидали, чтобы чувства, которое они, все-таки, считали лишь просто сильною влюбленностью очень страстного человека, было проложено в основной глубине своей мистическими надеждами, обман в которых Экзакустодиан принял, как небесную кару своих грехов и знамение своей недостойности пред Господом. Сперва, в качестве влюбленного, несчастно утратившего предмет страсти, он запил и на-

безобразил так густо и разносторонне, что даже многотерпеливая к нему столичная полиция потребовала, чтобы Авдотья Никифоровна убрала своего пророка из Петербурга, покуда его неистовства забудутся. В Бежецке своем Экзакустодиан почувствовался и, как водится, перешел в стих мучительно покаянный. Но опять-таки истязал себя на этот раз с особо беспощадным и изысканным изуверством, так что даже привычные к его аскетическим порывам мещане-гостеприимцы, хозяева сада с его пещерой, смутились и вызвали из Питера Авдотью Никифоровну телеграммою, что батюшка не в себе и уже не молится, но прямо себя убивает. Чтобы умерить скорбь и разочарование огорченного пророка, «игуменьи» всячески старались уронить Викторию Павловну в его глазах, рассказывая были и небылицы, плывшие к ним в сплетнях из уезда, где, на купленной у Виктории Павловны земле, в Нахижном уже строился их монастырек... Но достигали этим только того, что Экзакустодиан все суровее глядел, все немее молчал, все неохотнее принимал поклонниц и поклонников, и почти вовсе перестал сам

выезжать в люди... Так длилось, пока отчаянное письмо Аннушки Персиковой, умолявшей батюшку отца Экзакустодиана протянуть ей руку помощи в ее напрасную тюрьму, не дало ему предлога поехать в Рюриков и встретиться с Викторией Павловной в ночном свидании — прощальном для своей неудачной плотской любви, первом для новой: духовной — издали, — странной, не прикасающейся, непостижимой...

Викторию Павловну весьма не любили на Петербургской стороне, но теперь, когда обе ожидаемые от нее опасности прошли мимо, Колымагина и Смирнова находили, что ссориться с нею не за что, а лучше ладить. Религиозное настроение, охватившее Викторию Павловну, было им хорошо известно. Василиса, которая пристала к Виктории Павловне сперва по собственному доброму желанию, полюбив ее еще в Олехове, вскорости получила приказание остаться при госпоже Пшенке вроде миссионерки — наставницы в вере и духовной поверенной. Женщина фанатическая и умная, сожженная задавленными безвыходно страстями, истерзанная нервным

недугом тела, во всем ином составе могучего и крепкого, как железо, эта бывшая любовница беса Зерефера прилепилась к Виктории Павловне страстную привязанностью, обусловленную раньше некоторым сходством натур, теперь же и — общностью мистических симпатий... Экзакустодиан, которого Василиса считала своим исцелителем, был для нее только что не богом. В пламенных рассказах ее, он и в глазах Виктории Павловны поднимался все на большую высоту, просветлялся все ярчайшим сиянием идеала. Вопреки всему, что она знала о нем темного и некрасивого, или даже, может быть, именно потому, что это темное и некрасивое слагалось с легендарною лучезарностью пророка и чудотворца в светотень, чудно роднящую божественное с человеческим, Виктория Павловна любила Экзакустодиана с каждым днем все сильнее и глубже, оковываясь его мифом, как властью непостижимую и неотразимую. Он овладел ею именно в то мгновение, когда от нее отказался, и именно чрез то, что от нее отказался. Между ними как бы погас вопрос о поле — и с тех пор, вообще в жизни, весь этот

вопрос, во всем своем объеме, сделался для Виктории Павловны как бы забвенным и почти ничего не значущим. Ни на минуту не приходила ей больше мысль, что она могла бы сделаться женою или любовницею Экзакустодиана — этого человека, так обособленного среди других людей, такого яркого и чистого в своей угрюмой греховности, точно алмаз, сверкающий из смрадной грязи. Но ни на минуту же не оставляли ее ни чувства, ни мысль, что она вся в его власти и в его воле; что она, под его влиянием, мало-помалу, как бы становится новым двойственным существом, озаренным и утонченным, в котором она сама — как бы некое, чающее духа, усовершенствованное, астральному, что ли, подобное, тело, а он, Экзакустодиан, — нисходящая в него, озаряющая и просветляющая, душа. Да, она вся — как бы его второе тело, он — как бы душа, а собственное ее «бывшее» тело — красивый нуль: плотское ничтожество, которое, за долгий самоуверенный и надменный грех, теперь обречено брачному рабству и обязано нести его безвольно, безропотно, безуклонно. Недавний страх, в котором она

понимала оплодотворение, как унижительное уподобление природы жены природе мужа, не смущал ее более. Пусть даже так, но ведь это лишь уподобление плоти, самой ничтожной, самой низменной, смертной и обреченной тлению, части ее существа. Чем больше оскорблена и принижена будет эта презренная тленность, тем свободнее, святее, пламеннее просветится часть бессмертная: единственная, о которой должна она заботиться, в которой должна стремиться за Экзакустодианом, напрягаясь ровняться с ним, сколько осилит. Если наказующая воля Божия связала ее браком с человеком, которого она не в состоянии ни любить, ни уважать, от которого презрительно отвращается ее мысль, которого близость противна ее брезгливому телу, то это лишь искушение ее покорности Промыслу, подобное тому, которое терпел Иов, брошенный на гноище. И искушение, все-таки, милосердное, потому что поражает ее понуждением в теле, а не в духе. Если над нею свершается глубокомысленная притча Василия Великого о требовательной ехидне и покорной мурене, то ведь мурена бездушна, — без-

душно и ее повиновение, бездушно то объятие, для которого выплывает она из морской бездны в расщелины береговых утесов, где поджидает ее повелительный супруг. Что значит в жизни, сам по себе, бездушный комок материи на какой бы то ни было ступени своей эволюции— в форме ли еще морской мурены, в форме ли красивой женщины? У него нет поступков — есть только механическое действие в пределах посторонней движущей воли. Он не может ни согрешить, ни просвятиться, ни быть унижен, ни быть возвышен: это доступно только духу. А для духа вся земная жизнь, — домогильное, тюрьме подобное, сочетание с плотью, — есть не более как испытание от Бога посредством искушений от дьявола. Несчастный человек, избранный Промыслом в орудие наказания ее, рабы Божией Викторией, и теперь самодовольно воображающий себя ее хозяином, владеет не ею, а только движущимся мешком для костей,носящим ее имя. То, что творится с ним, жалким мешком, презренным материалом для смерти и гниения, это — мрак, не жизнь, чужое, это ее не касается. Жизнь — где-то там, в

высоте, куда лестницею является дух Экзаку-
стодиана, ее проникающий, ее перерабатыва-
ющий в отсвете его света, в луну его планеты,
которая уже непосредственно вращается во-
круг солнца Света Вечного и от него свой свет
приемлет. И, если ей теперь, в искушении,
нехорошо, тяжело, обидно, то это временное,
пока она еще не совершенно усвоила таин-
ственно творимое перерождение. А как толь-
ко оно завершится, все будет как должно и хо-
рошо: найдется равновесие, откроется путь к
совершенству... «Чаю: воссияешь измарагдом
пресветлым, о, возлюбленная звезда закат-
ная!» — писал он ей, ею же для себя обретен-
ное, ласкательное слово, которое теперь так
воодушевляло, так хотелось ему верить... И
значит теперь, надо лишь, сколько возможно
более, быть — как он, Экзакустодиан. Надо ве-
рить в то, во что он, и так, как он. Надо лю-
бить и ненавидеть тех, кого любит и ненави-
дит он. Надо жить, как он указывает и велит,
делать то, что он советует и приказывает.
Письма Экзакустодиана, полуграмотные,
странные смесью русацкой простоты с семи-
нарским велеречием, принимались, как ве-

сти и команда с неба. Особенно после того, как в вопросе о Феничке Экзакустодиан неожиданно принял сторону Виктории Павловны и настойчиво советовал ей, наперекор мнению Василисы, оставить дочь в Дуботолкове под надзором Ани Балабоневской. Был ли он в этом случае искренен или чутко понял, что его влияние на трудно завоеванную женскую душу переживет в этом испытании решительный психологический момент, — кто его знает. Он был, по своему честен с теми, кого любил, а хозяек-«игумений» своих, со всеми их благотворительными и просветительными учреждениями, полными лицемерно громких целей на вывесках и в уставах и честолюбивого или корыстолюбивого надувательства в осуществлении, презирал, в душе, совершеннейше. И, уж конечно, если уважал мать и желал ей добра, то не посоветовал бы ей отдать дочь в руки ставленниц Авдотьи Колымагиной и Любви Смирновой.

Виктория Павловна возвратилась из Дуботолкова в виде, уже не позволявшем даже и близоруким сомневаться в ее положении. И, как обыкновенно бывает с женщинами, на-

ружность которых это положение щадит в первой своей половине, вторая половина беременности досталась ей трудная и безобразная. Даже Василиса иногда жалостливо отвращала свои не плачущие глаза от неумолимого разрушения красоты, которое настолько изменило ее обожаемую барыню, что, казалось, Виктории Павловне уже безнадежно возродиться в прежний свой великолепный вид. Сама Виктория Павловна красоту свою подробно знала и всегда любила: не могла, значит, не видеть, как жестоко, почти насмешливо она искажается. Тринадцать лет назад, в беременность Феничкой, она не испытывала ничего подобного. Это припоминающее сравнение подало ей мысль, что и тут дьявол дразнит ее новым искушением, ловя ее на удочку оскорбленной гордости, забрасывая ей в душу червяков досады на прямого и косвенных виновников утраты прекраснейшей из всех сил, которые она в себе ценила.

— Ошибаешься, дьявол! не удастся! Перенесу.

И, с тех пор, Виктория Павловна с совершенным, вызывающим даже, хладнокровием

рассматривала в своем зеркале — будто чужое и едва знакомое — желтое, опухшее лицо с носом, вытянутым как-то по утиному, к раздутым в подушки губам, глаза, уменьшившиеся и как бы отатарившиеся от того, что поднялись к ним щеки. Она сознавала себя положительно страшною, но думала:

— Так и надо! Какая мне еще эстетика? Конечно. Для кого? На что?

Единственным человеком, который едва ли не предпочитал Викторию Павловну в этой метаморфозе даже самым блестящим дням ее красоты, оставался почтенный супруг ее, Иван Афанасьевич Пшенка. С невыразимым наслаждением и, можно сказать, самовосхищением наблюдал он, как она, потеряв фигуру, ловкость, походку, тяжело и неуклюже передвигалась по дому, едва шевеля отекшими ногами, напрасно пряча в широкие капоты вспухшие груди, выпятившийся живот... Одно, что смущало Ивана Афанасьевича, народная примета, — будто, если мать трудно носит и сильно дурнеет во время беременности, это значит — надо ждать, что родит девочку, которой, нося, понемногу пере-

дает свою красоту. Это сомнение нарушало мечту господина Пшенки о наследнике-«вороненочке»... Но, узнав, что Феничку Виктория Павловна носила совсем иначе, успокоился и в этом отношении:

— Быть сыну! быть сыну!.. Хе-хе-хе! Уж кого бы я сейчас хотел бы в гости, так это почтеннейшего друга моего, Алексея Алексеевича господина Буруна... Д-да-а-а-с... Так ворона, мокрая, щипанная ворона?.. Вот и пожаловали бы, господин хороший, полюбоваться, как щипанные вороны себе гнезда вьют...

И, вдруг, взглядывался и, почти бледнее от беспокойства, кричал:

— Витенька, вы бы с этого стульчика пересели на креслице или на диванчик... А то у него, я вчера заметил, ножка шатается: неровен час, — в вашем положении... сохрани Бог!.. Сделайте такое ваше одолжение!..

Виктория Павловна тяжело вставала, переходила комнату и садилась на указанное место, а муж с новым восторгом следил за нею и, в радостном молчании, ликовал всем нутром — так сказать, насквозь — до дна души:

— Быть сыну!.. Продолжится род Ивана

Пшенки, не захудает наше гнездо... Ах, душечка Витенька! говорил я, что посажу вас на гнездышко, — вот, и вышло мое слово твердо: посадил и — сидите, сидите!.. Ах, душечка моя Витенька! И хорошая же, доложу я вам, это штука — свое гнездо... Спасибо вашим матерям-игуменьям: устроили они мое благополучие, подрадели!..

Эту благодарность он воздавал часто, — хотя — напрасно. «Игуменьям» Петербургской стороны было приятно, что Виктория Павловна, выйдя замуж, вычеркнула себя из невест княжеских и пророческих, но в устройстве ее брака с Иваном Афанасьевичем Пшенкою они были совершенно не при чем. Покровительственное участие их он сам вообразил, надумал и сочинил, обманутый некоторыми совпадениями — особенно с тех пор, как в доме появилась, постоянною сперва гостьею, потом жительницею, темноликая Василиса. Когда же его воображение было замечено, то «сектанши», как он их звал, и из них первая именно Василиса, решили, что оно и на руку. Господин Пшенка человек проделистый, хозяйственный, иметь такого соседа, держа его

на уздечке признательности за прошлое и обязанности в настоящем и будущем, весьма приятная перспектива для устраиваемой в Нахижном обительки. Василиса, при каждом удобном случае, давала понять Ивану Афанасьевичу, что она, в некотором роде, хранительница его семейного благополучия: пока она при Виктории Павловне, жена ни его покинет, ни ему изменит. Иван Афанасьевич Василису ненавидел, потому что она обращалась с ним сурово и повелительно, но ей верил. И, веря, должен был расплачиваться. Когда «сектанши» затеяли строиться в Нахижном, он сперва сам очень хлопотал, как бы примазаться к их сооружениям, рассчитывая от них весьма и весьма поживиться. Но кончилось дело тем, что он, сверх всякого ожидания, даром планировал им стройку и за бесценок уступил лес, который мог с выгодой продать в другие руки: даже скупущая собирательница местных земель, госпожа Тинькова, дала бы больше. А теперь «сектанши» и еще подбивали его реставрировать на свой, то есть Виктории Павловны, счет обветшалую церковь в Нахижном, из которой они вы-

живали и уже почти выжили старого попа, отца Наума, чтобы поставить на его место своего, молодого, из иоаннистов. Иван Афанасьевич еще упирался, потому что смета очень кусалась, но уже сам знал, что сдастся, тем более, что ему намекали на возможность выбрать его ктитором и представить к награде... А он, хотя вязаться с сектантами, не то покровительствуемыми, не то подозрительными, почитал риском, несколько жутким, но — батюшки мои! Если не то, что орден или медальку, хотя бы только благословение от синода или митрополита, — как это его в уезде-то подымет! Сразу Иван Афанасьевич Пшенка — другой человек: смотри во все глаза прямо, руки в боки и ходи гоголем. Но главное, он предчувствовал, что, если будет упрямиться дальше, то повторится та же история, что — когда он вздумал было торговаться за лес. Его об уступках даже и не попросили, но именно в то время Василиса поселилась в комнатке за перегородкою от спальни, которую Виктория Павловна нашла непригодною для Фенички, и, таким образом, поставила под свой контроль все Ивана Афанасьевича

супружеские права и поползновения. И — в субботу жена оказывалась недоступна для влюбленного мужа, потому что завтра воскресенье, в воскресенье, потому что в понедельник — праздник равноапостольные Марии Магдалины, в понедельник — потому что во вторник — Бориса и Глеба, во вторник — потому что завтра Аннин день, в среду — потому что среда — пост, в четверг — потому что под пятницу, в пятницу, потому что пятница. И так шло, покуда Иван Афанасьевич не отдал леса себе в убыток. Тогда Василиса, хотя из занятой боевой позиции не удалилась, но стала засыпать в своей каморке так рано, а спать так непробудно-крепко, что супружеское благополучие господина Пшенки уже не омрачалось календарными протестами с ее стороны.

Викторию Павловну «сектанши» считали человеком, совершенно завоеванным, и имели к тому полное основание. Женщина, которая, за несколько лет пред тем, переводила Геккеля, теперь, с благословения отца Экзакустодиана, составляла «Житие олеговского благочестивца, раба Божия Тимофея», прилежно

записывая со слов Василисы грезы, сны и бреды ее несчастного брата, — в той самой Правосле, где еще так недавно полновластно хозяйничала женщина, которую этот олеговский благочестивец Тимофей зарезал. Родство его с Василисою имело большое значение в мистической связи, которая, со дня на день, все крепче и крепче сковывала Викторию Павловну с темноликою возлюбленною беса Зерефера. Seriously убежденная Экзакустодианом, что покойная Арина Федотовна была для нее, если не сам дьявол, то от дьявола, Виктория Павловна начала видеть в Василисе как бы живой талисман против демонического влияния, которым окруженною она себя чувствовала, которое днем посылало ей насмешливые, скептические, кощунственные мысли, а ночью — отвратительные кошмары. Близость Тимошиной сестры, с целым сундуком разнообразных реликвий этого Тимоши, которого Арина, по обещанию Экзакустодиана, должна была, и за гробом, бояться, его толстая, квадратная книга в черном переплете, беседы о нем, поминовения его на молитве, точно некоего подспудного угодника, кото-

рый не свят только потому, что еще «не явился», давали внушение, что призраков не будет. И — уверенностью внушения — их, конечно, не было. Когда-то Виктория Павловна возмущенно смеялась над одною соседкою землевладелицею, которая, несколько лет протрадав неутолимою зубною болью, вдруг, однажды, получила внезапное исцеление от нищей бабенки, зашедшей к ней в усадьбу попросить милостыни, — и уже с тех пор с чудотворною нищенкою не рассталась. Стоило бабенке не то, что уйти, а только пригрозить уходом, чтобы зубы начинали болеть с прежнею силою, а хозяйка готова была на всякие жертвы, лишь бы целительница ее не покинула. И, мало-по-малу, стала эта захудалая бабенка главным и первым лицом в доме и вертела хозяйкою, ее семьею, ее имуществом, как хотела. Открыто жила с ее сыном-подростком и лишила его образования, потому что не желала расстаться — отпустить его из деревни в город, в учебное заведение. А к дочери, чудесной барышне, только что возвратившейся из института, нагло сватала своего сына, невежду и негодяя, ославленного на

весь уезд грязнейшими безобразиями. И по-
лоумная мать сватовство поддерживала и
грозила дочери, проклятием, если она не
уступит, и уже сломила было упорство девуш-
ки, да, на ее счастье, жених утонул, свалив-
шись, пьяным, в колодезь. Виктория Павлов-
на очень возмущалась, но ей и в голову не
приходило, что теперь она идет по той же са-
мой дороге. И тем быстрее, что Василиса была
не какая-нибудь вздорная случайная плутов-
ка, но, пожалуй, даже и не плутовка вовсе,
разве что с плутцой на всякий случай, в каче-
стве камня за пазухой. А, вообще, женщина
умная, когда не безумная, рассудительная, ко-
гда не припадочная, нравственная, когда не
нападал на нее бес Зерефер, жалостливая, ко-
гда Экзакустодианом не приказывалась ей
ненависть, бескорыстная, когда дело не каса-
лось выгод секты, честная, когда интерес сек-
ты не требовал сделки с совестью, но, если
требовал, то — хоть до кровавого преступле-
ния! Она искренне возлюбила Викторию Пав-
ловну и потому именно и старалась забрать
ее в свои руки, полагая, что ее опека окажется
единственным спасительным руководством

для барынина житейского поведения и верным путем к спасению барыниной души. Стальная рука ее, одетая в бархатную перчатку, давала чувствовать себя в Правосле и зримо, и незримо. С отъездом Фенички в Дуботолков, введен был в Правосле постный стол по средам и пятницам, под большие праздники нахиженский настоятель, отец Наум, приглашался служить в доме всенощную. В Успенский пост Виктория Павловна решила не в очередь говеть...

Нельзя сказать, чтобы она была совершенно слепа к Василисе. Напротив, хорошо знала ее болезненные капризы и прорывы из выдерживаемой святости в безудержную порочность, от архангельской мечты к огненным кольцам змия Зерефера. Но — мало того, что все это слишком напоминало ей самое себя в очень недавнюю пору «зверинок». С некоторого времени, она начала серьезно склоняться к тому мнению, которое в секте было убеждением и проповедовалось с искренним фанатизмом, что есть возвышенные состояния духа, когда человек превышает законы природы, и людям, способным на достижения та-

ких высот, становится извинительным многое, что для обыкновенных смертных — грех и преступление...

— Царь Константин, — поучала Василиса, — говаривал: если бы я увидел епископа творящим грех, то лишь постарался бы прикрыть его, чтобы слабые в вере не соблазнились...

Теперь Виктория Павловна почти спокойно принимала сплетни, доходившие к ней об Экзакустодиане. Правда ли, нет ли, — все равно: раз он делает, он имеет право делать, потому что он — Экзакустодиан! Он уже в совершенстве, которое превысило грех и превращает кажущееся неразумие в тайную мудрость. И, те, на ком лежит его благословение, отражают на себе, отчасти, и его право, ибо научены им тайнам покаяния, которых другие не знают и которые смывают грех всякого падения, лишь была бы тверда вера...

Утверждение в вере сделалось теперь главной заботой Виктории Павловны, и всякое внешнее вторжение в дисциплину нерассуждения, которой она себя подчинила, приносило ей мрак душевный и жестокие угрызения

смущенной совести. Поэтому посещение Михаила Августовича Зверинцева было ей серьезно тяжело. Она приняла старого друга почти как злого духа, явившегося искушать ее, отшельницу в пустыне. Но еще более взволновался, утратил и обиделся этим посещением Иван Афанасьевич. Возвращаясь из Рюрикова, он узнал о визите Зверинцева уже на станции, от буфетчицы Еликоницы, конечно, не упустившей удобного случая пустить язвительную стрелку на счет того, как неосторожны мужья, разъезжающие от молодых жен своих. Известно, каков наш женский пол прелестный: муж в лес по дрова едет, а жена, тем временем, глядь, за другого замуж пошла. Пакостным намекам Иван Афанасьевич, к чести своей, не дал значения ни даже на секунду. Но — это еще в первый раз, после брака господина Пшенки с Викторией Павловной, старый дружеский мир ее постучался к ним в дверь...

— Вот оно: начинается, — с трусливою злобою думал Иван Афанасьевич, трясаясь в таратайке по пескам и корням правосленского, полувыврубленного леса. — Ну, уж это извини-

те... это — нет-с!..

В Правослу он приехал, надутый, злой, и — впервые не только не льнул к жене, но почти избегал обращаться к ней с разговором, отвечая лишь на прямые вопросы по делам, сухо, коротко, угрюмо... В течение дня, он успел порасспросить по усадьбе, как был и гостил Михаил Августович, — что пробыл недолго, ночевать не оставался, — чуть напился чаю, уже и простился, несмотря на усталость лошади, что потом видели его на дороге в Правослу сперва спящим под стогом, потом идущим, с лошадью на поводу... Собранные показания успокоили ревнивый страх господина Пшенки, он смяк и обошелся. Но, все-таки, решил воспользоваться случаем, чтобы выказать жене неудовольствие и дать ей урок на будущее время...

Вечером, на сон грядущий, он вошел в спальню, безмолвный и нахмуренный, и безмолвно же и нахмуренно стал раздеваться, с подчеркнутою медленною аккуратностью обиженного человека складывая платье на стул и стараясь делать вид, будто не смотрит на жену, которая, уже в одной сорочке, сидит

на кровати, свесив ноги, руками убирает на ночь волосы, а глазами следит строки в развернутой на коленях книге... Но, когда он, раздевшись, приблизился к супружескому ложу, Виктория Павловна, не отрывая глаз от книги, произнесла мерно, равнодушно:

— Вы перестали молиться на ночь? Или позабыли?

Иван Афанасьевич смутился, покраснел, сбился с намеченного такта...

— И то ведь... грех какой!., сию минуту, — пробормотал он, проклиная неудачную забывчивость. Проворно обратясь к образу с мерцающею в темно-красном хрустале лампадкою, опустил на колени и, привычно, машинально крестясь, зашептал спешные, бездумные, механически льющиеся, молитвы... Вся его дневная досада возвратилась. И почему-то всего оскорбительнее было ему, что замечание Виктории Павловны, наверное, слышала в камерке за перегородкою Василиса, незримое присутствие которой давало ему знать о себе приторным сладко-гнилостным запахом, свойственным ее истерическому телу. Иван Афанасьевич запах этот

ненавидел всегда, а сегодня раздражился им в особенности...

— Хохочет, поди, за перегородкою... проклятая вонючка! — со злобою думал он, кладя поклоны. — Воин то же... пришел жену учить, а она его на поклоны поставила... Ну, погодите же вы... Фу ты, окаянная, какую душу развела!.. Сколько раз Виктории Павловне намекал, чтобы убрать ее в сени, — так, нет: все на зло, все на зло... И как только сама она не замечает — терпит? Насморк у нее, что ли, затяжной?..

Положив последний поклон, Иван Афанасьевич медленно встал, не без труда разогнув в узлистых коленях волосатые, худые ноги...

— Что позабыл было помолиться, в том виноват, — с достоинством заговорил он, направляясь к кровати, — но многие молиться не забывают, а, между тем, грешат гораздо хуже...

Виктория Павловна, не спеша, положила книгу на ночной столик, подняла на мужа равнодушные глаза.

— Это ко мне относится?

Он отвечал, дрожа голосом, ударяя себя ла-

донями в грудь:

— Да-с, к вам... к вам... к вам!..

— Могу просить объяснения?

— Что объяснить! Сами должны знать...

Никак я этого не ожидал от вас, Виктория Павловна, никак не ожидал, чтобы — стоило мне съехать со двора долой, вы сейчас же давай старых дружков приманивать...

— Ах, вот что! — протянула она, рассматривая его с равнодушным любопытством, точно нового зверя, — это вас Михайло Августович обеспокоил?.. Да, что же делать? Он был у меня... Но я нисколько его не приманивала, он сам приехал...

— Это все равно-с! — взвизгнул Иван Афанасьевич, внезапно впадая в такую истерику, что весь побагровел и его даже затрясло, — это мне решительно все равно-с! А по какому праву вы приняли его? Я вас спрашиваю: как вы смели его, в мое отсутствие, принять?

Она — изумленная — приподнялась — гневная, бледная... Но темнокрасный огонек лампадки мигнул ей в глаза, показав за собою скорбный женский лик... Виктория Павловна перекрестилась и тихо села, как сидела рань-

ше.

— Новое искушение! — думала она. — Не спеши торжествовать, буйный демон: не обольстил, — перенесу!

И, обратясь к мужу, произнесла спокойно:

— Не принять Зверинцева я не могла, потому что он, действительно, самый старый мой друг и не сделал ничего такого, чтобы я имела право закрыть пред ним двери ни с того, ни с сего. Вы же никогда раньше мне не говорили, что я не имею права принимать моих старых знакомых. Хорошо, теперь я это знаю — и больше не буду.

Неожиданная покорность жены поразила Ивана Афанасьевича, успевшего опомниться от своей истерической дерзости и струсить до холода в селезенке, больше, чем если бы она обрушила на него самый молниеносный, самый громopodobный свой гнев...

— Да-с... — лепетал он в конфузе, переминаясь пред нею босыми ногами, в усилии возвратить себе бодрость и твердый тон, — да-с... уж потрудитесь... уж будьте так добры... уж на предбудущее... пожалуй-ста-с!..

И, вдруг, как-то чудно не то всхрапнув, не

то всхлипнув красным своим носом, сел близко рядом с нею.

— Витенька! — воскликнул он, припадая дрожащими губами к ее обнаженному плечу, — ужели же вам непонятно, что я, любя вас, могу быть ревнив?

Виктория Павловна чуть двинула плечом, которого он коснулся.

— Я, кажется, не подаю вам к тому поводов...

— Уверен! уверен! — горячо подхватил он, жадно охватывая ее мохнатою, тощею рукою, — а все-таки... все-таки... Ох, беда моя это!.. Слишком вы хороши собою, Витенька... слишком вы для меня собою хороши!..

— Ну, в настоящем моем положении вряд ли кто ваше мнение разделит и похвалу поддержит, — возразила, она со спокойною самонасмешкою. — Можете быть уверены: никому я такая не нужна.

Но Иван Афанасьевич, обнимая ее, недвижимую, не слушал:

— Никому не нужна? А вот мне так ты именно такая-то и нужна, — бормотал он, целуя, дрожащий. — Да, да... что мне чужая-то,

хоть из золота слей? А теперь гляжу я на тебя: моя! Будто я мастер, а ты моя работа... да!.. Вон, у тебя грудь молоком раздуло... Кому другому, может быть, некрасиво, а я — взглянуть, тронуть — схожу с ума от радости... Потому что — мое, от меня, для моего ребеночка, вороненочка... Вот он где, шельмочка мой, чувствую, слышу, как брыкается, растет... Что? То же скажешь: некрасиво? А я гляжу, — глаза слезами кроются... Гордость!.. Счастье!.. Хотел бы, чтобы весь свет видел, яко торжествует сеятель о засеянной ниве и чаёт плода ее... Ох, Витенька! Витенька! Витенька!

— Довольно бы уж, Иван Афанасьевич, — упрямо вымолвила она. — Поздно. Ложитесь спать.

— Сию минуту... сию, сию минуту... Витенька! Но если...

Голос его, вдруг, окреп и сделался как-то безумно твердым, почти фанатическим:

— Витенька! Но если... если когда-нибудь... кто-нибудь... Витенька! Боже сохрани и вас, и меня...

— Об этом излишне говорить, Иван Афанасьевич. Когда я дала слово, то его держу.

— Витенька! Вы можете понимать меня за ничтожество, я, может быть, так и есть оно... ничтожество... Но, Витенька, я то же... зол могу быть!.. И если... если... Витенька! я себя знаю: я очень, очень, очень могу быть зол!..

— Верю, потому что вы и сейчас мне больно делаете, — тихо сказала она, освобождая от его руки, зажатую в бессознательном щипке, грудь. — Повторяю вам; Иван Афанасьевич: все это — напрасные слова и ненужная сцена. Обязанности мои мне известны, напоминающий не требуется. Ложитесь спать: ночь коротка. Завтра Василиса разбудит меня до света, потому что в Звонницах — Адриана и Наталии престол. Мы уговорились с сестрою Серафимой вместе ехать к ранней обедне...